



Я. ГРОТ

ДЕРЖАВИН

ГЕНИЙ
В
ИСКУССТВЕ



Я. ГРОТ

ЖИЗНЬ
ДЕРЖАВИНА



ГЕНИЙ В ИСКУССТВЕ



ДЕРЖАВИН



ББК 85.4

Р 36

Редакционный совет, составители серии:
*Булатов С.М., Валов С.Л., Васильев М.Н., Коршунов В.В.,
Кувшинников А.А., Николаев С.В., Романенко К.П.*

Грот Я.К.

ЖИЗНЬ ДЕРЖАВИНА

Серия «Гений в искусстве», М., «Алгоритм», 1997.

Печатается по изданию:

Сочинения Державина в 9-ти томах под ред. Я.Грота, т.8., Спб, 1883 г.

ISBN 5-88878-009-X

О великом русском поэте Гавриле Романовиче Державине написано много, но главным памятником ему стало монументальное девятитомное собрание сочинений, сопровождавшееся биографией, изданное академиком Я.К.Гротом в 1864-1883 годах (СПб.). Яков Карлович преподавал курс литературы в Гельсингфоргском университете, а позднее заведовал кафедрой словесности в Александровском лицее. Он оставил капитальные работы о Ломоносове, Сумарокове, Карамзине, Дмитриеве, Пушкине, Крылове, Жуковском, много и плодотворно занимался изучением русского языка. Им было сделано так много что постепенно стали писать "по Гроту" и установленным им нормам.

Биография Державина, написанная Гротом, основывается на богатейших архивных изысканиях и бесчисленных документах. Не лишённая пристрастного отношения к поэту, она остается самым полным сводом фактов жизни и творчества Державина, только выигрывая от научного педантизма автора.

© Разработка серии, "Алгоритм", 1997

© Худож. оформ., "Алгоритм", 1997

*Все права на распространение книги принадлежат ТОО "Алгоритм"
(тел./факс: 197-35-97)*

*Книгу оптом и в розницу можно приобрести в фирменном магазине "Родник":
м. Коломенская, ул. Речников, 14, корп. 1 (тел/факс. 117-98-17)
и других крупных книжных магазинах Москвы.*



Я.ПРОТ

ЖИЗНЬ
ДЕРЖАВИНА

Москва
АЛГОРИТМ
1997



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ГЛАВА I. Общий взгляд на Державина | 9 |
| ГЛАВА II. Годы детства и воспитания (1743-1762) | |
| 1. Предки и родители Державина | 18 |
| 2. Первое детство | 22 |
| 3. Оренбургская школа | 24 |
| 4. Смерть отца. Домашнее воспитание | 26 |
| 5. Тогдашнее состояние России. Казанская гимназия | 29 |
| 6. Поступление в гимназию. Первый ее директор | 32 |
| 7. Учителя и учение | 34 |
| 8. Успехи и отличия. Две поездки. Празднество | 37 |
| 9. Чтения Державина. Выход из гимназии | 40 |
| ГЛАВА III. Военная служба до пугачевщины (1762-1773) | |
| 1. Солдатская жизнь в казарме | 47 |
| 2. Воцарение Екатерины II. Отъезд в Москву | 50 |
| 3. Несбывшаяся мечта. Унтер-офицер. Отпуск в Казань | 52 |
| 4. Товарищи. Первые литературные знакомства | 54 |
| 5. Вторичный отпуск. Жизнь в Москве. Серебряков | 55 |
| 6. Возвращение в Петербург. Производство в прапорщики | 59 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ГЛАВА IV. Пугачевщина. Деятельность в Казани (1773-1774) | |
| 1. Бибииков. Поступление в секретную комиссию | 63 |
| 2. Прибытие в Казань. Успехи Пугачева | 67 |
| 3. Посылка в Самару. Воззвание к калмыкам | 68 |
| 4. Пожертвование казанцев. Речь Державина. Отъезд его | 72 |
| ГЛАВА V. Деятельность в Саратовском крае (1774) | |
| 1. Посылка на Иргиз. Серебряков и Герасимов | 76 |
| 2. Распоряжения в Малыковке. Поездка в Саратов | 79 |
| 3. Воинские предприятия Державина. Князь Голицын. Производство в поручики | 83 |
| 4. Смерть Бибиикова. Князь Щербатов | 86 |
| 5. Переписка с Брантом. Доверие генералов | 93 |
| 6. Частная переписка | 98 |
| ГЛАВА VI. Дела в Саратове и их дальнейшие последствия (июль и август 1774) | |
| 1. Поездка в Саратов. Павел Потемкин | 103 |
| 2. Саратовские пререкания | 106 |
| 3. Экспедиция в Петровск | 112 |
| 4. Пугачев в Саратове | 114 |
| 5. Державин в Сызрани. Бедствие Малыковки | 119 |
| 6. Колонии. Поход в Киргизскую степь | 121 |
| Приложение. Извлечение из подлинных донесений командовавших лиц | 129 |
| ГЛАВА VII. Невзгоды под начальством гр. Панина (1774-1776) | |
| 1. Граф П. И. Панин | 131 |
| 2. Неудовольствия против Державина | 134 |
| 3. Меры для поимки Пугачева. Суворов. Выдача самозванца | 137 |
| 4. Первые известия о поимке Пугачева | 139 |
| 5. Новые неприятности | 142 |
| 6. Поездка Державина к графу П. И. Панину | 147 |
| 7. Окончание командировки в Казань и опять на Иргизе | 149 |
| 8. Пребывание в Москве. Обращение к Г. А. Потемкину. Развязка | 151 |
| Приложение. Пугачевской указ | 157 |
| ГЛАВА VIII. Служба при генерал-прокуроре (1777-1783) | |
| 1. Сближение к кн. Вяземским. Сослуживцы в сенате | 158 |
| 2. Семейство Бастидон. Женитьба | 162 |
| 3. Разные поручения. Новая должность. Начало неудовольствий | 166 |
| 4. Разрыв с кн. Вяземским. Увольнение | 170 |
| Приложение. Приказ генерал-прокурора и письмо Храповицкого | 174 |
| ГЛАВА IX. Две эпохи литературного развития (1762-1782) | |
| 1. Поэтические начатки. Образцы. Приговор Елагина | 176 |
| 2. Первые печатные труды | 182 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 3. Поэтическое перерождение. Литературные связи | 184 |
| 4. Участие в «С.-Петербургском вестнике» | 190 |
| 5. Ода «Фелица». Ее происхождение и последствия | 196 |
| Приложение. Анекдот по поводу эпиграммы на Сумарокова . . | 202 |

ГЛАВА X. «Собеседник любителей российского слова» (1783-1784)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Связь с «Фелицей». План издания. Сотрудники | 204 |
| 2. Участие Екатерины II в «Собеседнике» | 207 |
| 3. Внутренняя полемика «Собеседника». Императрица и Фонвизин | 212 |
| 4. Главный критик «Собеседника» Любослов. Неизвестный и граф Н. П. Румянцев | 219 |
| 5. Нарышкин и княгиня Дашкова | 223 |
| 6. Дальнейшее участие Державина в «Собеседнике» | 228 |
| 7. Член Российской академии | 235 |

ГЛАВА XI. Губернатор в Петрозаводске и Тамбове (1784-1788)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Назначение олонецким губернатором. Отпуск | 238 |
| 2. Преобразование губернского управления. Наместники и губернаторы | 241 |
| 3. Тутолмин. Переселение Державина. Открытие губернии . . | 243 |
| 4. Отношения между наместником и губернатором | 246 |
| 5. Две партии. Оригинальное взыскание | 250 |
| 6. Дело о медведе | 254 |
| 7. Обзор губернии и открытие города Кеми | 257 |
| 8. Занятия в дороге. Отъезд в Петербург | 260 |
| 9. Официальная полемика против Тутолмина | 262 |
| 10. Отношение к литературе и науке | 264 |
| 11. Новое назначение. Пребывание в Петербурге. Приезд в Тамбов. Гудович | 267 |
| 12. Приязнь между наместником и губернатором | 271 |
| 13. Старания об успехах образования и общежития | 274 |
| 14. Прежние неурядицы. Улучшения. Выписка указов и чиновников | 276 |
| 15. Постройки. Описание губернии. Заботы о судоходстве . . | 282 |
| 16. Вести из Петрозаводска | 284 |
| 17. Дело по клевете Сатина. Загряжский | 291 |
| 18. Открытие народного училища | 295 |
| 19. Захарьин и сказанная им речь | 300 |
| 20. Открытие театра в память учреждения училища | 305 |
| 21. Дальнейшие подробности учреждения училищ | 306 |
| 22. Малые училища в уездных городах | 310 |
| 23. Приискание директора училищ | 312 |
| 24. Учреждение типографии | 314 |
| 25. Ревизия губернии. Начало неудовольствий | 317 |
| 26. Путешествие императрицы и проезд князя Вяземского . . | 320 |
| 27. Купец Матвей Бородин. Откупное дело | 325 |
| 28. Комиссионер Потемкина Гарденин. Провиантское дело . . | 331 |
| 29. Ссора двух дам | 336 |
| 30. Вины Державина и определения сената | 340 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 31. Некоторые частные случаи | 347 |
| 32. Тамбовская переписка и отношение к литературе | 352 |
| 33. Общий взгляд на тамбовское губернаторство | 363 |

ГЛАВА XII. Суд. Оправдание и возвышение (1789-1796)

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Пребывание в Москве | 367 |
| 2. Хлопоты в Петербурге | 369 |
| 3. Решение судьбы Державина в Москве | 372 |
| 4. Милость императрицы. Жизнь в столице | 381 |
| 5. Сближение с Зубовым. «Изображение Фелицы» | 384 |
| 6. Сближение с Потемкиным. Праздник его. «Водопад» | 390 |
| 7. Знакомство с Дмитриевым и Карамзиным | 399 |
| 8. Поправление обстоятельств. Приближение к императрице | 405 |
| 9. Кабинетский секретарь | 408 |
| 10. Литературная деятельность | 414 |
| 11. Знакомство с Коцебу и Мертваго | 423 |
| 12. Сенатор | 427 |
| 13. Дело Дмитриева с Всеволожским | 431 |
| 14. Президент коммерц-коллегии | 435 |
| 15. Комиссия о растрате денег в Заемном банке | 439 |
| 16. Частная жизнь. Смерть жены | 445 |
| 17. Второй брак | 450 |
| 18. Литературная деятельность | 452 |
| 19. Отношение к делу Радищева | 457 |
| 20. Последние песни при Екатерине II | 460 |

ГЛАВА XIII. Деятельность при Павле I (1796-1801)

| | |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 1. Опала и примирение | 468 |
| 2. Московское издание сочинений Державина | 472 |
| 3. Участие в совестных судах и опеках | 475 |
| 4. Шкловская командировка | 478 |
| 5. Вторая командировка в Белоруссию | 480 |
| 6. Новые назначения | 485 |
| 7. Отдельные случаи | 490 |
| 8. Частная жизнь | 492 |
| 9. Литературная деятельность | 497 |

ГЛАВА XIV. Служба при Александре I (1801-1803)

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Воцарение нового императора | 508 |
| 2. Деятельность в первое время | 510 |
| 3. Калужское следствие | 514 |
| 4. Участие в проекте преобразования сената | 519 |
| 5. Учреждение министерств | 523 |
| 6. Начало управления министерством юстиции | 526 |
| 7. Борьба против мнения графа Потоцкого | 531 |
| 8. Другие столкновения по управлению министерством | 538 |
| 9. Участие в Еврейском комитете | 542 |
| 10. Окончательная немилость | 545 |
| 11. Пасквиль на Державина | 549 |
| 12. Два неприятных дела | 555 |

ГЛАВА XV. Положение в отставке (1803-1816)

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Отношения ко двору | 560 |
| 2. Литературные связи и предприятия | 562 |
| 3. Эпиграммы и басни Державина | 568 |
| 4. Драматические сочинения | 575 |
| 5. Переписка с преосв. Евгением и автобиография | 583 |
| 6. Беседа любителей русского слова и «Арзамас» | 591 |
| 7. Последний период поэзии Державина | 609 |
| 8. Отношения к Жуковскому, Карамзину и Вяземскому | 617 |
| 9. Путешествие в Малороссию | 623 |
| 10. Черты домашней жизни в Петербурге | 628 |
| 11. Экзамен в Царскосельском лицее | 638 |
| 12. Черты деревенской жизни в Званке | 642 |
| 13. Последнее лето в деревне. Болезнь и смерть | 649 |
| 14. Завещания. Дарья Алексеевна. Аракчеев и Фотий | 660 |
| 15. Чествование памяти Державина | 667 |
| 16. Заключение | 671 |





Глава I

Общий взгляд на Державина

Потомство — грозный судья.
«Мой истукан».

Долго имя Державина совмещало в себе понятие и литературного, и гражданского величия. При жизни своей он пользовался славой гениального поэта и заслуженного сановника. В печати выражалось безусловное благоговение к его таланту; изредка появлялись, правда, рукописные пасквили на некоторые обстоятельства его служебной деятельности, но в литературе не слышалось ни одного голоса против него. Еще и в 20-х и 30-х годах нашего столетия журналы единогласно превозносили его: это мы видим в «Сыне отечества», в «Московском телеграфе», в «Библиотеке для чтения» и проч. Лучшие представители русской мысли выражали глубокое уважение к Державину. Назовем для примера княгиню Дашкову, И. И. Шувалова, Дмитриева, Карамзина, М. Н. Муравьева, Болховитинова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Гоголя, Полевого, С. Т. Аксакова. Хотя уже и Мерзляков изредка с робостью намекал на недостатки в одах Державина, но только в начале 1840-х годов его впервые призвала на суд более взыскательная критика: Белинский, не менее высоко ценя его талант, выставил, однако, слабые стороны его произведений, именно невыдержанность их в целом и частности, преобладание дидактики, отсутствие художественности в отделке и примесь риторики. Но, признавая эти недостатки, Белинский в то же время говорил: «Нечего жалеть, что

Державин не был поэтом-художником; лучше подивиться тем светозарным проблемкам поэзии и художественности, которыми так часто и так ярко вспыхивает дидактическая по своему преобладающему элементу поэзия этого могучего таланта... Талант Державина велик, но он не мог сделать больше того, что позволили ему его отношения к историческому положению общества в России... Богатырь поэзии по своему природному таланту, Державин, со стороны содержания и формы своей поэзии, замечателен и важен для нас, его соотечественников: мы видим в нем блестящую зарю нашей поэзии... Не с легкой ношею, а весь дойдет Державин до позднейшего потомства...» Таким образом, Белинский, как он сам впоследствии высказал, сумел равно уберечься «и от детского, безотчетно восторженного удивления к Державину, и от ложной гордости успехами современности, гордости, которая мешает отдавать истинную справедливость заслугам прошедшего».

Но совершенный переворот во взглядах большинства наших литературных судей на Державина произошел внезапно в конце 50-х годов. Это было в тесной связи с обнаружившимся в начале нынешнего царствования, после крымской войны, движением во внутренней жизни России: как нарочно, в то самое время в первый раз появились «Записки» Державина. Незадолго перед тем в литературе возникло новое направление, весьма метко названное *обличительным*. Оно было тогда в полном разгаре. «Записки» Державина представляли обширное поле для приложения к писателю и гражданскому деятелю вновь заявленных требований. Державин им не удовлетворял, и вот на него ополчилась почти вся тогдашняя наша печать. Современникам открылось любопытное и поучительное зрелище. Выходки против Державина сделались любимой темой журнальных критиков, хотевших прослыть передовыми людьми; не без злорачества пользовались всякими случаями, чтобы кстати и некстати бросить грязью в сверженного идола. Настало время, которое предсказывал поэт, когда, воображая свой бюст на царкосельской колоннаде, он обращался к самому себе со словами:

Увы! легко случиться может,
 Поставят и тебя льстецом...

 То, может быть, и твой кумир
 Через решетки золотые
 Слетит и рассмешит весь мир,
 Стуча с крыльца, ступень с ступени,
 И скатится в древесны тени...

В Державине стали отрицать всякое достоинство: его бранили в журналах и учебниках, бранили с профессорских кафедр, бранили на школьных скамьях. К сожалению, эта односторонняя хула, сменившая прежний бессознательный восторг, часто отзы-

валась ожесточением, несовместным с просвещенной критикой, и большею частью обличала в судьях самые поверхностные понятия о том, что составляло предмет их беспощадных приговоров. Здесь опять невольное припоминаются как бы пророческие слова, сказанные Белинским в статье о Державине за шестнадцать лет до эпохи, о которой речь идет:

«Чем одностороннее мнение, — заметил он, — тем доступнее оно для большинства, которое любит, чтоб хорошее непременно было хорошим, а дурное дурным, и которое слышать не хочет, чтоб один и тот же предмет вмещал в себе и хорошее, и дурное. Вот почему толпа, узнав, что за каким-нибудь великим человеком водились слабости, свойственные малым людям, всегда готова сбросить великого с его пьедестала и ославить его негодяем и безнравственным человеком».

Но таким прискорбным ослеплением не могли заразиться люди, понимавшие, что каковы бы ни были недостатки, раскрытые в Державине его записками, сущность его таланта и значение его в литературе нисколько от этого не изменялись. Тогда-то II отделение Академии наук решилось безотчетному осуждению поэта противопоставить полное историко-критическое издание сочинений его как самое широкое и твердое основание для серьезной критики. Никто не станет отрицать, что этот труд, в характере которого с самого начала легко было заметить отсутствие всякого пристрастия, мало-помалу способствовал к восстановлению в обществе более спокойного отношения к Державину. Впрочем, тут действовала, конечно, и та отрезвляющая охота к изучению прошлого, которая с 60-х годов стала заметно развиваться в русском читающем мире. По мере того как расширялся его кругозор, гул легкомысленного глумления над поэтом более и более умолкал, яснее и яснее становилось его историческое значение. Правда, и теперь еще слышатся отголоски вызванной им бури; и теперь еще появляются статьи, в которых не жалеют красок, чтобы представить неблагоприятные для его памяти факты в преувеличенном или даже извращенном виде; и теперь еще рассеянные в учебниках нападки на Державина поддерживают в школе какое-то исключительное преубеждение против этого писателя, но по крайней мере уже весьма многие понимают, что крайности в этом направлении устарели и стали смешными; уже и в литературе, и в школе встречаются беспристрастные и здравые суждения о Державине.

Мы сами далеки от преувеличения заслуг его; но думаем, что при всех своих недостатках он имеет полное право на почетное место в литературной и общественной истории русского народа. Если мы, несмотря на заблуждения и слабости других писателей — Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, даже ославленного Тредьяковского, — внимательно знакомимся с трудами их, то не заслуживает ли и Державин серьезного изучения? В ряду русских людей всех веков он всегда останется знаменитым историческим лицом. По силе и самобытности таланта он был, конеч-

но, первым русским поэтом 18-го столетия и одним из самых крупных представителей поэзии во все времена и у всех народов. Кроме того, он играл весьма заметную роль в администрации и общественной жизни; имя его тесно связано со многими памятными событиями второй половины прошлого и начала нынешнего века.

Призвание писателей — развивать и направлять духовную жизнь народа. Они должны будить в нем мысль и поддерживать уважение ко всему, что дорого для человечества. Особенно важно призвание литературы в такие эпохи, когда общество еще мало образовано, когда в нем преобладают невежество и чувственные инстинкты; тогда писатель, здраво понимающий свою задачу, может иметь на своих сограждан великое нравственное и воспитательное влияние. Таково именно было положение Державина: когда еще не была выработана у нас простая и легкая прозаическая речь, он заговорил новым по звучности и складу русским стихом; очаровывая читателей, он пробуждал в них возвышенные чувства и ставил перед ними идеалы в живых примерах отечественных героев и сановников, напоминая в ярких образах святые истины, вечные законы добра и чести. При всем несовершенстве своих од со стороны художественной выдержки и внешней отделки, он вполне удовлетворял тогдашним эстетическим требованиям. Таким образом, он бесспорно отвечал потребностям своего времени, и вот в чем, может быть, заключалась одна из главных причин его необычайного успеха.

При изображении деятеля другой эпохи надо всего более остерегаться часто повторяющейся между нами ошибки, именно обсуждения и оценки понятий и поступков его по отношению к нынешним требованиям. Как ни избита осуждающая этот прием истина, считаем нелишним напомнить ее. Конечно, для нас поэзия Державина утратила значительную долю своего обаяния; но с исторической точки зрения мы должны ценить ее тем выше, что школьное образование его было крайне плохо, что вся обстановка его, с самого вступления в свет, была в резком противоречии с его наклонностями и могла бы подавить их, если бы они были слабее. Зная сферу, в которой он провел свою молодость и первые годы зрелого возраста, мы не можем не удивляться относительной высоте достигнутого им развития, силе самородного дарования, вышедшего с таким блеском из борьбы с обстоятельствами. Новейшие критики часто упрекали его за лесть, за корыстные побуждения в творчестве; в какой степени справедливы эти обвинения — окажется далее; теперь же мы только спросим, такие ли побуждения заставляли его неустанно трудиться над усовершенствованием своего таланта, читать и распространять свои сведения и в душной атмосфере казармы, и в тревогах походной жизни, и в охлаждающем ум канцелярском быту? Ни военная служба, ни соприкосновение с бюрократией, ни, наконец, придворная жизнь не погубили его дарования; за любовь к литературе его гнал начальник, бранил чиновный люд,

осмеивали царедворцы; но он все-таки остался верен своему призванию и до конца не изменил поэзии. Многие в наше время утверждали, что сам он ставил свою службу выше авторства, но это несправедливо: мысль его стиха «А я пиит, и не умру» была не раз выражаема им и в других формах. Если иногда он говорил, что пишет только в свободное от дел время, то это было лишь для успокоения других, для того, чтобы оправдать себя в глазах начальства и тех, которые твердили, что стихотворство мешает делу, что писатель не годен для службы.

№ 71. С. П. Державинъ Государю Императору Павлу
Петровичу Шваковичу.

Государь-Проксудъ откошешил ко
мнѣ от сего числа уведомить о вѣло-
кайшимъ Ово Кнѣзѣмъ Пётромъ Великимъ
повелѣніи, Вашимъ Сирѣмъствомъ Емъ
отвѣдѣнать, в скурѣшимъ гдѣхъ Турре-
миловѣкѣ оконченіи, Врѣхатѣмъ Вмоду-
нае ко мнѣ откошешил; добвилъ себѣ
поставлякѣ шибѣ-вѣтъ Милостиваго Гои-
дѣрѣ моего извѣстима, что добсонаи
по сему гдѣхъ отѣ мѣна отѣдѣлѣ, и
ко сѣмъ вѣлокоше-рѣсѣрѣтѣмъ сѣмъ от
сего числа уведомить. Объ шѣмъ мѣнамъ
потомки Емъ шибѣ мѣна вѣмъ

Вашимъ Сирѣмъствомъ
Милостиваго Гои дѣрѣ моего
Шваковичу Павлу
Петровичу Шваковичу
Секретарю
С. П. Державинъ

Автограф Г. Р. Державина

Как государственный человек он, конечно, не приобрел особенного значения для потомства, оставил менее следов своего существования; но и на этом поприще он памятен по своей энергии, честности, человечности и гражданскому мужеству. Многие

общественные вопросы решались им с замечательным практическим смыслом; многие тяжёбые дела окончены им с полным беспристрастием и справедливостью, снискавшими ему общее доверие и славу неподкупного судьи. Мы увидим впоследствии, как часто его избирали в третейские судьи и опекуны. Немного было русских людей, которые бы в такой мере, как он, умели соединить литературную деятельность с общественной и служебной. Чтобы убедиться в том, стоит хоть слегка пробежать семь томов его сочинений, из которых последний, содержащий его труды в прозе, мог бы разрастись в несколько таких же объёмистых книг, если бы мы не ограничились в нём строгим выбором из всего им написанного прозаическою речью. Ту же разборчивость соблюдали мы, впрочем, и при печатании его переписки и неизданных, особенно драматических, сочинений его и переводов. И все это писалось посреди столь же кипучей практической деятельности, среди исполнения должностных обязанностей и поручений, среди хлопот и превратностей разнообразной и тревожной службы на разных поприщах. И между тем рукописи его, исчерченные поправками, показывают, что он нелегко удовлетворялся тем, что выливалось из-под пера его, что он не только в стихах, но и в прозе часто возвращался к первым наброскам своим, изменял, а иногда и совершенно переделывал по несколько раз то, что писал. Вместе с тем он очень много читал: из самых сочинений его и собственных его объяснений к ним можно видеть, сколько произведений древней и новой литературы, отчасти весьма обширных, было ему известно и как хорошо он помнил прочитанное.

В 18-м веке резкие, угловатые характеры были гораздо обыкновеннее, чем в наше время, когда более распространенное между всеми сословиями и притом более искусственное воспитание подводит всех под один довольно общий уровень образования и на всех кладет однообразную печать сдержанности и приличия. Вместо нынешнего сходства форм и приемов прежние люди зачастую обнаруживали особенности, которые в наше время навлекают на человека кличку чудака. «Своеобразие, — по замечанию князя Вяземского, — обыкновенная принадлежность людей старого чекана». Таких людей можно встретить немало, напр., в летописях европейских университетов за прошлое столетие; в наше время мы причислили бы к подобным характерам также Ломоносова, Сумарокова и Тредьяковского. К тому же разряду людей можно отнести и Державина. Его отзыв о самом себе, что «горяч и в правде черт», не был самохвалством. Эту сторону своей личности выказал он преимущественно в многочисленных ссорах и горячих спорах со своими начальниками и сослуживцами, когда ради строгого соблюдения закона не хотел допускать в их действиях ни малейшего произвола; из этого благородного источника происходили и столкновения его с самою императрицею, когда он удостоился приближения к ней.

Для оценки характера его в связи со всею эпохою, к которой он принадлежал, необходимо взглядеться в замечательный ход его службы, представляющей непрерывный ряд сменявшихся, как прилив и отлив, возвышений и падений, успехов и неудач. Сын бедного дворянина, не получивший почти никакого воспитания, чему обязан он своим сравнительно блестящим положением во второй половине царствования Екатерины? С одной стороны, без сомнения, самому себе, но с другой — и особенному характеру этого царствования. Быстрые, разнородные способности Державина, его энергия, смелость и подвижность, его поэтический дар в таком веке, когда литературные труды высоко ценились монархами, все это не могло не выдвинуть его вперед и не обратить на него милостей государыни, которая, любя отличать все необыкновенное, еще более готова была возвышать людей, умевших хвалить и прославлять ее. Будь Державин человек дюжинный или, по крайней мере, менее тревожный, не столько решительный и настойчивый, — он, после первого падения, вероятно, уже не поднялся бы вторично. Но он не успокаивался от неудач: после каждой невзгоды он снова начинал борьбу с обстоятельствами и всякий раз выходил из нее победителем. Только в старости, при императоре Александре I, чуждый движению восторженности общества, Державин должен был уступить напору новых идей и окончательно сойти с поприща гражданской деятельности. Возвысьсь доверием императрицы и двух государей, он не хотел для поддержания себя в их милости жертвовать своими убеждениями и не сохранил вполне благоволения ни одного из трех монархов, а в последнее царствование подвергся даже совершенной опале. Своими иногда ошибочными взглядами, некоторыми поступками, которые с точки зрения нравственного достоинства, конечно, не могут быть оправданы, он платил дань своему веку и особенно жалкому своему воспитанию. Мы не можем также отрицать в нем излишней самоуверенности, заносчивости, всегдашней склонности к превышению власти, непомерного самолюбия и самообольщения, из которых истекала также его податливость влиянию лести и похвалы; но зато твердость, с какою он отстаивал свои мнения и правила, самое отсутствие в нем всякой уклончивости и уступчивости в сношениях даже с такими людьми, от которых зависела его судьба, многие общественные заслуги, его горячее сочувствие всякому истинному величию, всякому благородному порыву и поступку, его добродушие и просвещенное отношение к подчиненным ему лицам и подвластным людям примиряют нас с Державиным как человеком и не позволяют нам слишком резко или иронически осуждать его недостатки.

В Державине есть еще одна сторона, которая придает изучению его особенную занимательность. В нашей старой литературе это одно из самых живых лиц: в его деятельности чрезвычайно много жизни и движения. Он принадлежит к разряду людей, наиболее высказывающихся; это свойство, в соединении с за-

пальчивостью его нрава и резкостью языка, играло важную роль в его столкновениях. Той же особенностью его мы обязаны тем, что из всех старинных писателей наших он оставил нам самые обильные материалы для своей биографии, для объяснения связи своих сочинений с современной действительностью. Уже и в самых стихах своих он высказывается более, нежели кто-либо другой из наших поэтов 18-го века, не исключая и хвастливого Сумарокова; но, кроме того, Державин в старости задумал присоединить к своему поэтическому наследию подробные комментарии и хронологические указания, что не приходило на мысль ни одному из остальных современных ему русских писателей; а затем он, для объяснения своей служебной деятельности, написал еще и свои записки. Тщательное сбережение почти всех хранившихся у Державина до кончины его рукописей также выдвигает его из большинства наших деятелей и служит к чести как его самого, так и переживших его родственников. Но по этому самому, при многосторонней его деятельности, при обширности и разнообразии его сношений, при громадной массе материалов, сохранившихся относительно его еще и в архивах, и в печатной литературе, биография Державина представляет труд довольно сложный.

Мы надеемся, что предыдущие вступительные заметки достаточно выясняют, до какой степени этот писатель достоин обстоятельного изучения и в жизни, и в произведениях своих. В заключение, чтобы дополнить образ его, попытаемся представить некоторые внешние черты его личности. В пору полного развития сил Державин был высокого роста, держался прямо, имел быстрые движения, твердую походку. В обыкновенном настроении духа приемы у него были мягкие, во всем существе его чувствовалось добродушие, расположение к людям. Подчиненным своим и молодым литераторам он всегда оказывал участливое внимание. Крупные черты лица его никогда не были правильны и красивы; нос и губы были у него довольно толстые; но вообще это было доброе русское, приветливое лицо, с первого же взгляда внушавшее сочувствие и доверие. Говорил он скороговоркою, но, по словам И. И. Дмитриева, «отрывисто и не красно»; нам известно, сверх того, что он несколько шепелявил; зато речь его отличалась искренностью, простотою и живостью. Особенным жаром воспламенялась она, и глаза его загорались ярким блеском, когда он высказывал одну из любимых идей своих, когда, напр., говорил о том, что задумав какое-нибудь доброе дело, не следует мешкать («Добро творить — не собираться, А должно делать, делать вмиг»), или рассуждал о величии и славе России, или рассказывал о деле, в котором ему приходилось горячо отстаивать правду. Когда ничто не возбуждало его, он в позднейшие годы легко предавался дремоте, даже посреди общества. Глядя на его открытую физиономию, беседуя с ним, трудно было не поверить словам поэта о самом себе:

Не умел я притворяться,
На святого походить,
Важным саном надуваться
И философа брать вид.

Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им,
Ум и сердце человечье
Были гением моим...

Сознавая свои недостатки, он обезоруживает строгого потомка заключительными словами:

Брось, мудрец, на гроб мой камень,
Если ты не человек.





Глава II

Годы детства и воспитания

(1743 – 1762)

1. Предки и родители Державина

Происхождение Державина от мурзы Багрима, которое льстило его воображению и доставляло ему любимую поэтическую прикрасу, подтверждается семейными документами. Они содержат сведения, что этот мурза, в княжение Василия Васильевича Темного в 15-м столетии, выехал из Большой Орды служить на Руси, был крещен самым великим князем в православную веру и при этом получил имя Ильи. Ему пожалованы были вотчины в нынешних Владимирской, Новгородской и Нижегородской губерниях. От сыновей его произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы; у Дмитрия Ильича Нарбекова был, в числе других детей, сын Держава, начавший службу в Казани. Так возник род Державиных, которые «служили по городу Казани дворянскую службу», почему и называются в различных актах «казанцами».

Уже в середине 17-го столетия они являются владельцами поместьев на берегах реки Мёши, «по ногайской дороге», верстах в 35 или 40 от Казани. Волга против этого города круто поворачивает на юго-восток и течет в этом направлении до устья несущейся с востока величественной Камы. Прямой угол, образуемый обеими могучими реками, перерезывается от севера к

югу быстрою Мёшой, которая, стремясь в воды Камы, в низовьях своих извиляется параллельно с Волгой. Мёша, удобная для устройства мельниц, исстари привлекала к себе поселенцев. Некоторые из прилегающих к ней поместий рано уже перешли в собственность Державиных и Козловых. Тут этим двум родам исстари принадлежали между прочим деревни Кармачи, Бутыри и Сокуры.

Ранее всех потомков Державы в актах поименован Василий, родившийся, по-видимому, еще в 16-м столетии. Впрочем, мы знаем его только по трем его сыновьям, из которых один, Иван, является в прямой линии прадедом нашего поэта.

Сын Ивана Васильевича Державина Николай, более известный «по мирскому званию» под именем *Девятого*, значится под 1687 годом в числе городских дворян, участвовавших в крымском походе, точно так же как несколько ранее показан ходившим на крымских татар двоюродный брат его Иван Яковлевич Державин.

Николай Иванович Девятый, дед Гавриила Романовича, был женат на дочери другого казанца, Богдана Нарманского, и наследовал после отца своего поместье в Кармачах, где, кроме господской усадьбы, получил «крестьян три двора, людей в них семь человек, два недоросля, бобыльской один двор, в нем два человека, да у помещика живут во дворе, за скудостью, крестьянский сын да два недоросля».

Николай Иванович, имевший кроме того дом в Казани, умер в конце 1742 года, 87-ми лет от роду, менее чем за год до рождения своего знаменитого внука, оставив трех сыновей: Ивана, Романа и Василия. Из них Иван был позднее лейтенантом во флоте, Василий — подполковником ландмилицкого Билярского драгунского полка, а *Роман*, отец поэта, служил попеременно в разных гарнизонных полках. Это был, конечно, человек без дальнего образования, но он обладал опытностью, имел навык в делах и приобрел доверие своих сослуживцев. Так мы имеем право заключать по должностям и служебным поручениям, которые на него возлагались. Во время крымской кампании, в конце царствования Анны Иоанновны, он был полковым казначеем, потом имел надзор за межеванием некоторых владельческих земель, а в 1754 году был командирован в Яранск (ныне Вятской губернии) на следствие по делу каких-то купцов. В этом самом году он в чине подполковника Пензенского пехотного полка вышел в отставку и в ноябре месяце умер от чахотки, развившейся вследствие удара лошади. Ему было тогда не более 48-ми лет; он родился в 1706, а в 1722 поступил рядовым на службу в Бутырский полк и, следовательно, хорошо помнил время Петра Великого. Женат он был на соседке и дальней родственнице своей, вдове Фекле Андреевне Гориной, жившей в деревне Кармачах, где и сам он имел участок. Первый муж ее был капитан гарнизонного Свяжского полка Григорий Савич Горин. По отцу она принадлежала к роду Козловых, которые, как уже было замечено, издавна владели поместьями в одних с Держави-

винными дачах и уже прежде породнились с ними: дед Феклы Андреевны, ротмистр Федор Васильевич Козлов, умерший в 1730 году, был женат на вдове Никиты Васильевича Державина.

Родители поэта были очень небогатые мелкопоместные дворяне. Им принадлежало, правда, несколько имений, но все это были ничтожные дачи с малым числом душ. Впоследствии поэт называл свои родовые имения «казанские бедные деревнишки» и считал в них не более 150 душ. За год до смерти Романа Державина, следовательно, в 1753 году, пожаловано было ему в Оренбургской губернии по реке Кутулуку (в Бузулуцком уезде нынешней Самарской губернии) 300 четвертей пахотной земли, а для поселения на них он получил 13 душ, которых Фекла Андреевна, по смерти его, и перевела на эту землю. Это было началом образовавшегося тут впоследствии села Богородского (иначе Смоленского), более известного под именем Державина. После первого мужа Фекла Андреевна наследовала, на седьмую часть, небольшое число крестьян в Шацком уезде Тамбовской губернии. И эти люди были переведены в оренбургское имение.

Роман и Фекла Державины жили то в казанской деревне, то в губернском городе. Они вели тихую, но не всегда спокойную жизнь, потому что должны были часто тягаться с соседями. С главным из этих последних, отставным полковником Яковом Федоровичем Чемадуровым, секунд-майор Державин имел ссору еще в 1742 году, незадолго до своей женитьбы. Он служил тогда в казанском гарнизоне и в августе месяце отпущен был в деревню Кармачи. 16-го сентября он был по приглашению в гостях у Чемадурова, а в ноябре подал в губернскую канцелярию челобитную, в которой жаловался, что Чемадуров, задумав лишить его жизни, поил его каким-то «особливым крепким медом», от чего Роман Державин, по собственному сознанию, «стал быть и не без шумства». Тогда Чемадуров приказал своей прислуге и людям бывшего тут же шурина своего, недоросля Белавина, бить Державина до смерти, и они, стащив его с лошади, жестоко избили, вынули у него из кармана кошелек с деньгами, золотую медаль, печать, золотой перстень, у снятой с него шпаги изогнули клинок и «столкали его с двора»; от таких побоев он был несколько времени болен. Из производства дела, возникшего по этой жалобе, видно, что в числе свидетелей, на которых ссылался Роман Державин, были также отец его Николай Иванович (вскоре после того умерший) и мачеха Афимья Михайловна, а в нанесении побоев участвовал калмык Иван, которого истец, на основании тогдашних законов, просил подвергнуть пытке. Со своей стороны, Чемадуров в оправдание свое приводит, что он, приглашая Державина в гости, никакого злого умысла не имел, поил его тем же медом, который и сам пил; Державин же, кроме того, пил водку и пиво и, сделавшись пьян, всячески бранил Белавина. Чемадуров стал говорить ему, чтобы он унялся или отправился домой; а Державин, выйдя на крыльцо, ругал хозяина «непотребными словами» и бил его двоюродного брата Останкина; затем сел на лошадь, обнажил шпагу и гонялся с нею

по двору за людьми; тогда Чемадуrow велел отнять у него шпагу и свести его со двора. Вскоре после этой ссоры, именно через две недели, Державин женился. Чем кончилось дело, нам неизвестно; но оно любопытно во многих отношениях и пополняет известие поэта о семейной вражде Державиных с домом Чемадуrowых, которая продолжалась до 80-х годов прошлого столетия. Для нас важно также почерпаемое из этого дела сведение о времени женитьбы отца поэта: оказывается, что он женился 36 лет от роду, в конце сентября или в самом начале октября 1742 года, т. е. почти ровно за девять месяцев до рождения старшего сына, Гаврилы.

Из времени первого детства поэта сохранилось воспоминание еще об одном любопытном эпизоде, который рисует нам тогдашние нравы нашего мелкопоместного дворянства. Происшествие относится к июлю 1746-го года и известно нам из дошедших до нас отрывков подлинного дела. Рядом с Державиными владел землею капитан Змиев, который сам жил, однако, в другом имении (селе Чирпах). Державины и Змиевы давно вели тяжбу друг с другом: Роман Николаевич утверждал, что лет за 50 перед тем, при жизни отца его, покойный помещик Андрей Никитич Змиев сильно завладел в Сокурах большим участком земли и построил тут двор себе и несколько крестьянских дворов. Теперь слуга Змиевых подал в губернскую канцелярию жалобу, что дворовые девки Феклы Андреевны, по приказанию своей госпожи, загнали на ее двор пятнадцать индеек Змиевой и оципали их догола; когда же скотница Змиевых, увидев это, стала говорить о том Державиной, то последняя будто бы «из своих рук била ее палкой безвинно». После того Змиева посылала к соседке для объяснения своего дворового человека, а он бранил Феклу Андреевну «неподобною бранью и похвалялся озорничеством своим привести Державина и людей его в крайнее разорение». В бытность же в губернской канцелярии этот служитель называл самого Романа Николаевича «пакостником и жену его бесчестил напрасно». Так показывала обвиняемая сторона; сам же доносивший отрицал это, заявляя, что когда он приходил к Державиной, то она попала ему на улице и сказала, что «напрасно де я тем индейкам еще и голов не велела оборвать». Между тем скотница Державиных обвинялась в том, что по наущению своей помещицы украла у змиевского крестьянина из табуна барана; а вдобавок противники утверждали, что в доме Державиной найдена была под печкой утка Змиевой.

Впоследствии майор Державин жаловался, что Змиева, «неведомо какого ради вымыслу, собрався многолюдством с людьми и со крестьяны, приходила ко двору его и бранила истца и его жену всякою ругательною бранью и велела в доме Державина сыскивать жену его и людей». Змиева возражала, что она из церкви ходила гулять с дворовыми своими бабами и крестьянками для осмотра своих крестьян и домов их, и когда поравнялась с усадьбой Державиных, то оттуда вышли старостина жена и дворовая женщина, и стала Змиева говорить им об обиде от их

господ, но не бранила их и сыскивать их хозяйки и людей ее не приказывала; притом самой Державиной на ту пору вовсе и дома не было, да и Змиевой собираться было не для чего и не с кем, так как и крестьяне все были для работ в поле. Слуга ее прибавил, что названные две женщины стали пред госпожой его «невежничать» и кричать на нее, так что она поспешила уйти, «причитая, что, знатно, они чинят такое наглое озорничество с позовления помещика или помещицы своей», т. е. Державиных.

Роман Николаевич искал на Змиевой заочного бесчестья, но противная сторона доказывала, что, по силе указов, заочных бесчестий взыскивать не велено. Об исходе этого дела мы также из уцелевших бумаг узнать не могли; видно только, что оно отложено было за отсутствием в губернской канцелярии губернатора, так как два члена и губернаторский товарищ Толстой, по просьбе судившихся, были устранены от какого-либо участия в производстве.

2. Первое детство

Предыдущим рассказом мы несколько опередили рождение Гаврилы Романовича, которому было три года, когда случилась описанная ссора. Убогая чета жила и умерла бы неведомо для света, если б не дал ей Бог сына, который своими дарованиями и судьбой навеки прославил имя Державиных. Первенец Феклы Андреевны родился 3-го июля 1743 года, в воскресенье, и был назван по празднуемому 13-го числа этого месяца собору архангела *Гавриила*. Место его рождения в точности неизвестно. Сам он и в записках своих, и в стихах называет свою родиной Казань; но в деревнях, где его родители имели собственность, живет предание, что он увидел свет в Кармачах или Сокурах (ныне Лаишевского, а прежде Казанского уезда), верстах в 40 от губернского города.

В 1862 году один из владельцев Кармачей, г. Покровский, показывал нам место под горою, где некогда стоял дом Державиных, а в то время находился грунтовой сарай: там, по словам его, родился поэт. По другому преданию, его родиной было соседнее имение Сокуры, в котором он провел и часть своего детства. Как бы ни было, естественно, что он, живя нередко и в близкой Казани, признавал себя тамошним уроженцем. В позднем уже возрасте он посвятил воспоминаниям о своем детстве несколько стихов, дышащих искренним чувством и грустной задумчивостью:

Как время катится в Казани золотое!
 О колыбель моих первоначальных дней,
 Невинности моей и юности обитель!
 Когда я освещусь опять твоей зарей
 И твой по-прежнему всегдашний буду житель?
 Когда наследственны стада я буду зреть,

Вас, дубы камские, от времени почтенны,
По Волге между сел на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священные?
Звучи, о арфа, ты все о Казани мне...

Новорожденный был так мал, тощ и слаб, что сочли нужным, по местному народному обычаю, запекать его в хлебе. Через год родился у него брат. Старший, живой и острый мальчик, сделался любимцем отца, тогда как мать показывала более нежности к меньшому, смиренному и рассудительному Андрею. Позднее родилась дочь Анна, но она жила недолго. Второй сын достиг только 26-летнего возраста (ум. 1770).

Гаврила выучился читать уже на пятом году. Этим он обязан был матери, которая и потом приохочивала его к чтению, особенно духовных книг, награждая его за внимание игрушками и сладостями. Припомним, что то же самое рассказывал и Крылов о своей матери. Из немногих сохранившихся писем Феклы Андреевны, в которых только подпись ее руки, мы узнаем, что она была женщина без образования, едва умевшая писать, но вместе с тем эти вероятно диктованные ею письма, проникнутые нежностью и благочестием, а также и отзывы о ней ее сына дают нам право заключать, что она была умная и заботливая мать, понимавшая цену образования, не боявшаяся трудов и тревог для блага своих сыновей. После первых ее уроков учителями Державина в чтении и письме сделалась, как он выражается, «церковники», т. е. какой-нибудь дьячок или пономарь. Известно, что не только в первой половине 18-го века, но еще и в последующие десятилетия люди этого звания были у нас главными проводниками грамотности. Кутейкин, созданный Фонвизиним (почти ровесником Державина), был лицом современным еще в 80-х годах, когда появился «Недоросль». Подобия трех наставников, выведенных здесь на сцену, являются нам и в воспитании нашего поэта: далее мы встретим при нем и Вральмана, и Цифиркина.

Рано началась для маленького Гаврилы кочующая жизнь. Ему не было еще и года, когда отец его командирован был на следствие в Яранск (ныне город Вятской губернии); потом, по службе же, он отправился в Ставрополь (на Волге, в Самарской губернии), а оттуда, в конце 1749 или в начале 1750 года, в Оренбург. Мальчик странствовал вместе с родителями, и эти ранние передвижения по Волге не могли не подействовать на его восприимчивое воображение. Между тем надо было приготовить его к первому государственному экзамену, или, как тогда выражались, «смотру», которому подвергались дворянские дети по достижении семилетнего возраста. Таков был закон, изданный Анной Иоанновной за несколько лет до рождения Державина. Заботы Петра Великого о введении в России принудительного школьного образования не переставали занимать и его приемников, которые несколько раз подтверждали постановление о смотрах недорослей. По указу 1737 года семилетних сыновей

должно было представлять: в Петербурге — в герольдию, а в Москве и других городах — к генерал-губернаторам и губернаторам для проверки возраста и для испытания, чему мальчик дома учился. Затем, когда ему минет двенадцать лет, он должен был таким же образом явиться на второй смотр и доказать, что умеет «совершенно читать и чисто писать». После этого родители могли держать недоросля дома, не иначе как дав письменное обязательство, что он, кроме того или другого иностранного языка (по их выбору) и закона Божия, будет обучаем арифметике и геометрии; в противном же случае они принуждены были отдавать его «в государственные академии или другие школы». В пятнадцать лет молодой человек подвергался новому смотру в Петербурге или Москве и мог быть отпускаем к родителям только под тем условием, что сверх арифметики и геометрии будет учиться географии, фортификации и истории. В двадцать лет он обязан был поступить непременно на службу.

Когда Державину минуло семь лет, он находился с отцом в Ставрополе и в годовщину дня своего рождения, 3-го июля 1750 года, вместе с братом был представлен в местную провинциальную канцелярию, а в следующем августе месяце они «смотрены» в оренбургской губернской канцелярии. В выданном оттуда отцу их паспорте сказано, «что Гаврила по седьмому, а Андрей по шестому году уже начали обучаться своим коштом словесной грамоте и писать, да и впредь де их, ежели время и случай допустит, желает оный отец их своим же коштом обучать арифметике и прочим указным наукам до указанных лет». К этому прибавлено, что мальчики, по просьбе отца, отданы «на его кошт для обучения до двенадцатилетнего возраста с таким обязательством, чтоб он их, имея при себе до второго смотру, обучал, а как им двенадцать лет от роду будет, то б их на второй смотр объявил, как повелено, безотлагательно».

3. Оренбургская школа

Из приведенного паспорта, помеченного в Оренбурге 1752 годом, можно заключить, что Роман Николаевич поселился на время в названном городе, только что перенесенном на новое место, т. е. несколько ниже прежнего по течению Яика. Тамошним краем управлял тогда столь памятный в его летописях первый оренбургский губернатор Иван Иванович Неплюев, бывший при Петре Великом резидентом в Константинополе, а позднее, короткое время, малороссийским губернатором. В начале царствования Елизаветы Петровны, в 1742 году, он был назначен командиром учрежденной при Анне Иоанновне оренбургской экспедиции. Неплюев прежде всего перевел Оренбург на удобнейшее место и, с целью иметь более рук для построек, исходатайствовал, чтобы в этот город, вместо Сибири, ссылаемы были преступники из купцов и мастеровых. Таким-то образом попал туда, между прочими, приговоренный к каторжной работе немец

Иосиф Розе. С обычною сметливостью заезжего иностранца он сумел извлечь выгоду из своего положения и завел в Оренбурге школу для мальчиков и девочек. При скудости тогдашних средств к образованию во всей России, а тем более в таком отдаленном краю, естественно было, что местное дворянство стало охотно отдавать в эту школу своих детей. В числе других помещен был к Розе и будущий наш лирик. Судя по портрету этого педагога, переданному нам в немногих чертах Державиным, это был не только достойный земляк фонзинова Бральмана, попавшего в наставники из кучеров, но еще и такой образец, с которого копия далеко оставила бы за собой Адама Адамовича. Он был развратен и жесток, изобретал для своих учеников мучительные, а подчас даже и неблагопристойные наказания, и вместе с тем был круглый невежда: обязываясь преподавать немецкий язык, он сам не знал его грамматически и заставлял своих учеников только затверживать и переписывать вокабулы, который писал для них красивым почерком. Очень жаль, что Державин, в своих записках вообще не щедрый на бытовые подробности, не захотел обстоятельнее описать нам подвиги Розе. Иначе мы, может статься, получили бы для биографии нашего поэта такую же яркую страницу, какую дал нам майор Данилов в рассказе о своем учителе пономаре, действовавшем на педагогическом поприще лет за тридцать до Розе. Сходство в приемах иностранных наставников с нашими в ту эпоху не должно удивлять нас: тогда и в самой Германии воспитание было еще на очень низкой степени развития; там еще около середины 18-го столетия обучение детей в провинции часто было в руках ремесленников, и для возбуждения прилежания усердно прибегали к розгам. К разряду таких иностранных педагогов принадлежал и Розе. О множестве их в тогдашнем русском обществе, и не в одной провинции, мы имеем даже официальные свидетельства. Так в представлении Шувалова об учреждении Московского университета между побудительными причинами к его основанию прямо означено то обстоятельство, что помещики, по своей необразованности или по необходимости, принимали к себе в дом таких учителей, которые всю свою жизнь были лакеями, парикмахерами или занимались другими подобными ремеслами.

Немецкий язык, бывший почти единственным предметом обучения в школе Розе, считался тогда такую же принадлежностью образованного человека, как позднее французский. Это началось со времен Петра Великого, когда выгоды службы и занятия по другим отраслям деятельности привлекали в Россию толпы немцев, находивших себе здесь и хлеб, и почести. В царствование Анны Иоанновны их значение у нас еще усилилось. При дворе Елизаветы, во время детства Державина, стал господствовать уже язык французский, но на отдаленную провинцию такое нововведение еще не могло распространиться. Впрочем, появлению иностранного наставника вдали от столицы во всяком случае не могли не радоваться местные дворяне. Итак, рожденный на границах Азии, маленький потомок татарского мурзы слу-

чайно приобретает в Оренбурге, т. е. еще далее от Европы, важное орудие для дальнейшего образования. Пробыв у Розе года два или три, Державин, как сам он свидетельствует, умел уже читать, писать и говорить по-немецки. Возможность узнать в подлиннике труды Геллерта, Гагедорна, Галлера, Клейста, Гердера, Клопштока не могла не иметь великого значения для русского литературного таланта. Это первое умственное завоевание было тем драгоценнее для Державина, что он впоследствии не настолько ознакомился с языками латинским и французским, чтобы свободно читать писанные на них книги; древние писатели навсегда остались ему доступны только в немецких и русских переводах.

Другим приобретением Державина в оренбургской школе был твердый, красивый почерк, который ему сообщил Розе как отличный каллиграф, а оттуда и успехи мальчика в рисовании пером. Не любя оставаться без дела, он рано пристрастился к этому занятию. Лубочные картинки, купленные у ходебщиков, были тогда единственными его оригиналами: в промежутках между уроками и по вечерам он только и делал, что срисовывал разных богатей, раскрашивая их чернилами и охрой; все стены его каморки были обиты и оклеены этими первыми опытами художника-самоучки. Таким-то образом уже в детстве его начала проявляться та неутомимая деятельность, которая навсегда и осталась отличительною чертою Державина.

4. Смерть отца. Домашнее воспитание

В предыдущие годы Роман Николаевич получал командировки по межеванию владельческих земель. При нем был геодезист, и молодой Гаврила, сопровождая их, почувствовал охоту к инженерному делу, для которого его талант к черчению был бы так пригоден; но ему не было суждено попасть на это прище. В октябре 1753 года отец его выпросил себе у Неплюева отпуск в казанскую деревню, а оттуда в Москву для исходатайствования отставки из Военной коллегии. Взяв с собою и любимого сына, отец из Москвы собирался ехать в Петербург, чтобы записать его в Сухопутный кадетский корпус или в артиллерию. В Москве у Романа Николаевича были связи, и нашлись люди, которые предлагали ему определить мальчика в гвардию, но ни то ни другое предположение не могло осуществиться за одним во все времена непреодолимым препятствием: у отца истощился кошелек; и пришлось воротиться в деревенскую глушь с неудавшимися планами воспитания или обеспечения судьбы сына. Семья поселилась в Сокурах. Между тем Роману Николаевичу вышла отставка «за имеющимися у него болезнями», как сказано в полученной им по этому случаю бумаге, где он назван Оренбургского гарнизона Пензенского полка подполковником, и где в то же время обещано представить его к награждению «полковничьим рангом». Любопытно, что эта бумага об уволь-

нении от службы отца славного лирика подписана отцом знаменитейшего полководца, Василием Ивановичем Суворовым. Впоследствии между сыновьями обоих установилась многолетняя приязнь. Бумага помечена 31-м января 1754 года. Но недолго Роман Николаевич пользовался своей новой свободой: как замечено выше, он умер уже в ноябре того же года, и одиннадцатилетний Гаврила, вместе с братом и сестрой, очутился сиротою на попечении матери.

О тогдашнем положении ее можно судить по рассказу сына, что ей нечем было заплатить 15-ти руб. долга, оставшегося после мужа. В то время, при беспорядочном межевании земель, нередко случалось, что один помещик захватывал у другого часть его дачи и строился на ней. Мы уже упомянули о жалобе Романа Николаевича на соседа его Змиева, поселившегося в Сокурах на земле Державиных. Когда семья их осиротела, часть родовой собственности ее оставалась в чужом владении, так что вдова принуждена была вести тяжбу с соседями. Поэт яркими красками изображает нам хлопоты и унижения, которым Фекла Андреевна подвергалась, посещая судей со своими малолетними сыновьями. Простояв напрасно по несколько часов сряду в их передних, она при выходе их ничего не могла добиться и возвращалась домой в слезах. Тогдашние впечатления глубоко запали в душу мальчика, и, конечно, ими внушены были, через сорок лет, стихи:

А там вдова стоит в сенях
И горьки слезы проливает,
С грудным младенцем на руках
Покрова твоего желает...

С тех пор Державин, как сам он свидетельствует подобно Руссо, никогда не мог смотреть равнодушно ни на какую несправедливость, особенно на притеснение вдов и сирот.

Не находя нигде правосудия, вдова была вынуждена отдать лучшие свои угодья купцу Дряблову в пожизненную аренду за сто рублей. Не прежде как лет через двадцать пять сын ее, служа в сенате, успел полюбовно кончить ее тяжбу с Чемадуровым, от которого возвратил несколько семейств, отнятых отцом этого помещика.

Между тем наступал срок второго смотра, которому подлежали дворянские сыновья в двенадцать лет. Так как при этом они должны были доказать познания в арифметике и геометрии, то Фекла Андреевна и взяла для обучения обоих своих мальчиков сперва гарнизонного школьника Лебедева, а потом артиллерии штык-юнкера Полетаева:¹ как обучение грамоте было тогда в руках причетников, вынесших свою мудрость из духовных училищ, так знание цифири распространяли служивые, побы-

¹ Офицерский чин штык-юнкера занимал место между чинами сержанта и поручика.

вавшие в гарнизонных школах. Но Лебедев и Полетаев сами мало смыслили в своей науке, обучали без правил и доказательств и в арифметике довольствовались первыми действиями, а в геометрии — черчением фигур. Державин остался на всю жизнь плохим математиком.

Несмотря на свои скудные средства, вдова в 1757 году собралась с сыновьями в Москву, чтобы там представить их в герольдию; оттуда она хотела ехать в Петербург и, по желанию покойного мужа, отдать их в одно из двух-трех считавшихся тогда высшими учебных заведений. Но при ней не было документов о происхождении и службе Романа Николаевича, и ей чуть было не пришлось вернуться домой без успеха даже в явке детей; к счастью, нашелся родственник, выручивший семью из затруднения. Это был двоюродный брат покойного отца, живший в Можайском уезде, подполковник Иван Иванович Дятлов. Приехав нарочно в Москву, он написал так называемую сказку, в которой, исчислив главных из предков Державина, представил удостоверение о первом смотре братьев в оренбургской канцелярии и просил «отпустить обоих недорослей Гаврилу и Андрея, за его обязательством, в дом до возраста указных шестнадцати лет».

В этих хлопотах прошло много времени, настала распутица, и надо было воротиться в Казань; но вдова все еще не рассталась с мечтою исполнить желание покойного мужа и отправить мальчиков на воспитание в Петербург. Впоследствии Гаврила Романович жалел, что она не оставила его в Москве, где уже с 1755 года существовала гимназия. Вопрос о его будущем образовании разрешился неожиданно и, может быть, не совсем для него благоприятно учреждением именно в то время такого же заведения в родной Казани.

Как проводил он время от одиннадцати- до пятнадцатилетнего возраста? Ограничивались ли в эти четыре года все его занятия уроками Лебедева и Полетаева или он учился еще чему-нибудь? Читал ли, рисовал ли он, пользуясь плодами пребывания в школе Розе? Об этом Державин не сообщил нам ничего. Есть только сведение, что он эти годы прожил отчасти в имении Сокурах, лежащем верстах в двух от берега Мёши. Окрестности этой деревни однообразны. Может быть, во время детства Державина около Сокуров были значительные леса, но теперь их более нет: местность представляет характер степи. Вид несколько оживляется ближе к Мёше, вьющейся змеей у подошвы невысокой горы, на которой стоит деревня Обуховка; вблизи Каиновская роща, строевой лес, перерезываемый оренбургскою проселочной дорогой. По этой самой дороге Державины ездили из Сокуров в село Егорьево, принадлежа к его приходу, так как церковь в Сокурах тогда уже пришла в совершенную ветхость и в ней не было службы. Егорьево, с желтою каменною церковью на горе, своими неприветливыми окрестностями очень напоминает Сокуры. Несколько ниже по течению Мёши лежит более живописная Комаровка со своей мельницей и рядом крестьянских изб на краю высокой и густой рощи, которая резко отделя-

ется на горизонте от окружающих ее полей. Но с полверсты далее опять начинаются поля, и утомленному однообразием взору не на чем отдохнуть. Понятно, что, таким образом, местность, среди которой Державин провел часть своего детства, немного могла доставить пищи его воображению. Но мы уже видели, что он рано успел ознакомиться с более величавыми видами Волги. Может быть, он уже бывал и на Каме, берега которой с их девственными лесами едва ли не красивее волжских. Обрывистый, стоящий стеною глинистый берег ее, где как исполины среди других деревьев высятся дубы, не мог не поразить поэта. Недаром он впоследствии (в царствование императора Павла) припомнил камские дубы в стихотворении «Арфа».

Около того же времени одна из картин Волги, запечатлевшихся с детства в его воображении, отразилась у него в стихах «на праздник воспитанниц девичьего монастыря» (1797). Тут он вспоминает те бесчисленные стаи птиц, которые собираются на реках, впадающих в Каспийское море, о чем с большим одушевлением рассказывал под старость и С. Т. Аксаков. Навсегда врезались в памяти мальчика Державина обширные виды нашего юго-востока,

Где степи, как моря, струятся,
Седым волнуюсь ковылем.

В то же время жизнь в провинции, в близком соприкосновении с народом, при совершенном отсутствии чужеземных элементов, должна была положить печать свою на весь строй мыслей Державина и на язык его. Здесь источник того тесного родства с коренным русским бытом и простонародною речью, которое так отразилось на всем, что он писал от ранней молодости до поздней старости. Здесь же начало его глубокого знакомства со священным писанием и той искренней веры, какую дышит вся поэзия Державина.

5. Тогдашнее состояние России. Казанская гимназия

Перед вступлением в новый период жизни будущего поэта перенесем мыслью в тогдашнее состояние России и припомним некоторые явления, которые могут дать нам понятие о характере эпохи.

Представим себе, прежде всего, время рождения Державина: еще не кончилась первая половина 18-го века, то многозначительное полустолетие, которого начало ознаменовано было бурною деятельностью Петра Великого, основанием новой столицы, Полтавскою победой, Нейштадтским миром, учреждением Академии наук; за этим последовал, и так недавно еще миновал, десятилетний период ненавистной биროновщины. Предания обо всем этом были еще свежи в годы детства нашего поэта, и следы

того нередко встречаются в сочинениях его. Так, в письме к Сперанскому (которое, впрочем, не пошло в дело) он рассказывает о времени Петра Великого: «...почти не было ни правосудия, ни управления, ни охранения в безопасности, как истинное благоустройство требовало. Все на одной простой верности и правде содержалось. Много лет прошло после него (то есть после Петра I), как я, уже вышедши из ребят, был сам самовидец, что приходят к воеводе истец и ответчик, приносят ему по связке калачей, по полтине или по рублю денег, кладут на стол и пересказывают свое дело с душевною искренностью, как оно было. Он их выслушивает, уличает одного в обиде, другого наклоняет к снисхождению и уговаривает, наконец, к миру. Когда они замолчат, берет их руки, соединяет их и приказывает поцеловаться. Они ему кланяются, дают с обеих сторон также по полтине или по рублю и отходят оба довольными. Вот каким образом большею частью решались гражданские дела; а кто не брал таких коротких мер и по судам таскался, тот иногда и в пятьдесят лет не получал окончания, ходя по коллегиям и по сенату».

О нравах и порядках бироновщины рассеяно много воспоминаний в строфах «Фелицы» и в примечаниях к ней самого поэта. Около времени рождения Державина появилось на свет и несколько других писателей, играющих видную роль в истории нашей литературы. Это были Княжнин, Фонвизин, княг. Дашкова, Новиков, Хемницер, Богданович. Сама русская литература, в собственном смысле, только что зарождалась; в ее слабых начатках еще слышался лепет младенца. Названным писателям суждено было дать ей голос более твердый. Со вступлением их в возраст самостоятельной деятельности совпадает воцарение великой подвижницы русского просвещения, Екатерины II.

При рождении Державина единственным источником высшего светского образования оставалась наша Академия наук, которая тогда не прожила еще и двадцати лет. Она была в то время поприщем борьбы науки с бюрократией и отважных стычек молодой русской силы с высокомерием ученых переселенцев. Самовластный Шумахер вследствие поданных на него жалоб был удален от должности, а на место его назначен советник Нартов. Вскоре после того, в феврале 1743 г., Миллер возвратился из своего десятилетнего, столь богатого результатами путешествия по Сибири. Прошло только два года со времени прибытия Ломоносова с обильными плодами науки из заграничного университета. За неуважение, оказанное им некоторым сочленам, за разные *продерзости* он, по определению следственной комиссии, сидел под арестом, но уже дарования его, с самого появления оды на взятие Хотина, обращают на себя внимание: уже известно несколько од его, и незадолго перед тем он воспел день рождения великого князя Петра Федоровича, за год перед тем прибывшего в Петербург по зову недавно воцарившейся императрицы. Но будущая наследница русского престола еще живет безмятежно в Цербсте, не предвидя блестящего жребия, который ее ожидает.

В самый год рождения Державина происходило в Петербурге довольно оригинальное, небывалое на Руси литературное состязание. Тредьяковский завел с Ломоносовым и Сумароковым спор о ямбе и хорее, доказывая, что различный характер стихов, написанных неодинаковым размером, зависит не от их формы, а от содержания пьесы; другие двое, напротив, утверждали, что только ямб способен выражать благородные и возвышенные мысли; хорей же годен исключительно для нежного или веселого настроения. Желая передать решение спора на суд публики, все трое переложили в стихи один и тот же 143-й псалом, Ломоносов и Сумароков — ямбами, Тредьяковский — хореем. Книга была напечатана в 1744 году под заглавием «Три оды парафрастические». Таким образом, при академии нашей русская литература стала обнаруживать первые признаки жизни; отсюда, в лице Ломоносова, должно было начаться ее движение и развитие. Оттуда же в значительной мере развился план основания Московского университета, деятельность которого должна была вскоре отозваться далеко за пределами Москвы.

Одновременно с нашим первым университетом возникли при нем, для приготовления студентов, две гимназии: одна для дворян, другая для разночинцев, — разделение, понятное при тогдашнем взгляде на сословные отношения. То же еще и позднее, в царствование Екатерины II, было соблюдено при учреждении женского воспитательного заведения в Смольном монастыре. Но двух московских гимназий, составлявших, в сущности, одно и то же училище, было, конечно, недостаточно для потребностей государства, и потому университет, вероятно, по мысли своего куратора Шувалова и при главном участии своего просвещенного директора Мелиссино, представил сенату о необходимости основать в некоторых других городах гимназии, откуда молодые люди могли бы переходить в высшие учебные заведения, т. е., кроме университета, в Академию наук или Сухопутный шляхетный корпус. Опираясь в своих просветительных планах на созданный им университет, Шувалов в то же время обращался и к помощи Академии наук: он просил ее членов высказаться, где и какие гимназии должны быть учреждены в России. До нас дошел отзыв академика Фишера, который долго путешествовал с ученою целью по Сибири. Он отвечал, что при недостаточном еще понимании пользы учения в России на первый случай всего нужнее основать гимназию в Казани, а через несколько лет можно будет «разводить» такие училища и в других городах. Известно, однако, что не ранее как спустя четверть столетия (1786) дело народного образования у нас заметно подвинулось учреждением первоначальных школ, а для приобретения большого числа средних учебных заведений Россия должна была прожить еще двадцать пять лет и дожидаться 19-го века.

Казань была поставлена в исключительное положение как главный центральный пункт нашей восточной окраины, которая, по отдаленности своей от Москвы, наиболее нуждалась в средствах к образованию. До тех пор в Казани было только не-

сколько элементарных училищ, где учение ограничивалось грамотою и первыми началами арифметики. Это был один из тех городов, в которых при Анне Иоанновне заведены были *гарнизонные школы* для обучения солдатских детей, чем и объясняется присутствие в Казани бывших наставников Державина, Лебедева и Полетаева. Для учреждения новой гимназии университет вызвался отправить туда в преподаватели нескольких студентов. При посредстве Шувалова это представление было одобрено, и 21-го июля 1758 года состоялся указ об учреждении в Казани двух соединенных гимназий по образцу московских и на тех же правах; жалованье учителям, как и все прочие издержки на это училище, должно было производиться из университетских сумм. Для предварительных распоряжений, как то для приискания дома и т. п., в Казань послан был от университета один из учителей Московской гимназии, капитан Траубенталь.

6. Поступление в гимназию. Первый ее директор

Появление гимназии на родине Державина не могло не изменить планов Феклы Андреевны насчет воспитания сыновей. Она, конечно, обрадовалась возможности избежать разлуки с ними и тотчас же решила отдать их в новое заведение. Директором его был назначен один из состоявших при Московском университете трех ассессоров, т. е. чиновников, определенных при его правлении для исполнения разных поручений. Это был известный по своей авторской и переводческой деятельности Михаил Иванович Веревкин. По прибытии в Казань он поспешил нанять один из предложенных ему для помещения училища домов, именно каменный дом генерал-майора Кольцова, с платою по 180 руб. в год. Открытие гимназии последовало 21-го января 1759 года. В семь часов утра собрались в дом ее как немногие уже прибывшие на место гимназические члены, так и принятые до тех пор ученики, всего четырнадцать мальчиков, в числе которых находились и братья Державины. Остальные были дворянские же дети. Вот имена отцов их: майор Тютчев, отдавший в гимназию также двух сыновей, заводчик Глазов, подполковник Харитон Сумароков, ассессор Левашев, вахмистр Дурнев, майор Бутлеров, капитан Аристов, подпоручик Елагин, подпоручик Могутов, капрал Глазов и капитан Репьев. Это большею частью фамилии и теперь известные в Казани. Мальчики явились сперва в губернскую канцелярию, а оттуда отправлены были в гимназию. По прочтении указа об ее учреждении отслужен был молебен за здоровье императрицы, а в заключение акта всем преподавателям и ученикам розданы выписки из гимназического регламента. Но так как еще не все поступавшие в заведение были налицо, то занятия отложены на три дня и ученики распущены по домам. В тот же день Веревкин отправил к куратору рапорт о принятии

им над гимназиями «команды» и открытия их. Характеристический конец рапорта показывает нам, что составляло главную заботу директора и чем он надеялся всего более угодить Шувалову. Веревкин тут напоминает, «в каком предпочтении все отдающие детей своих в гимназии содержат французский язык, и для того, — доносит он, — гимназии приняли за сто рублей учителя первых начал французского и немецкого языков (в чем состоит наиглавнейшая теперь надобность) француза Дефоржа, свидетельствованного в знании своем в Императорском Московском университете и снабденного оттуда одобрительным аттестатом...» 25-го января, в понедельник, начались уроки. Учеников было всего тридцать; но число их быстро возрастало, так что около времени летних вакаций оно дошло уже до девяноста пяти. Долго являлись почти исключительно дворянские дети; не прежде мая месяца можно было открыть классы и в «разночинской гимназии». Так образовалась эта педагогическая колония Московского университета, который, насколько позволяло ему собственное мало обеспеченное положение, долгое время делился с нею и умственными, и материальными средствами.

Посмотрим теперь, каков был первый директор новой гимназии. При избрании Веревкина в эту должность из ассессоров университета (что могло быть отчасти следствием столкновений его с сослуживцами) ему было всего двадцать шесть лет. Воспитанный в Сухопутном кадетском корпусе, он считался весьма образованным для своего времени человеком, был умен, остер, отличался необыкновенным трудолюбием и уже обращал на себя внимание как литератор. Владея французским языком, он был ловок в обществе и говорил красно; умел при случае бросить пыль в глаза и подать товар лицом; но ему недоставало основательности и твердых нравственных начал. Однако исполнением своих педагогических обязанностей Веревкин вполне оправдал свой выбор: он неутомимо заботился об успехах молодежи, прискивал годных учителей и хлопотал о приобретении учебных пособий, а это было тогда нелегко, особенно в Казани. Надо было, напр., беспрестанно просить университет о присылке немецких и французских азбук и грамматик: более 30-ти учеников должны были довольствоваться шестью экземплярами немецкой азбуки. Веревкин уже завел было учительские «конвенты», но университетские власти, которым посылались протоколы этих собраний, вероятно, усмотрели в них опасное начало самоуправления и запретили их под предлогом, что они не могут быть допускаемы без разрешения куратора. Понимая уже значение, какое могла иметь Казань для изучения восточных языков, Веревкин позднее предлагал завести при гимназии класс татарского языка: «со временем, — писал он, — могут на оном отыскиваемы быть многие манускрипты; правдоподобно, что оные подадут некоторый, может быть и немалый, свет в русской истории». Прибавим, что Веревкин простирал свои заботы об образовании края даже за пределы гимназии: он просил университет выслать двадцать экземпляров «Московских ведомостей» для распро-

странения в местном обществе, но эти старания оказались преждевременными: из доставленных десяти экземпляров после долгого времени разошлось только четыре.

Естественно, что в молодом обществе особенно дорожат внешним лоском образования, развязностью в обращении, практическим навыком в иностранных языках. Все это высоко ценилось и самим Шуваловым, и людьми, от него зависевшими. Об этом заботились всюду, начиная от двора и до провинциальной гимназии. Веревкин старался возбудить в своих гимназистах любовь к легкому чтению, заставлял их выучивать наизусть сочиняемые преподавателями на разных языках речи, представлять трагедии Сумарокова, танцевать и фехтовать, чтобы было чем на публичных экзаменах удивлять казанское общество. Понятно, что талантливый мальчик, слыша беспрестанно о славе Фенелона и Мольера, Ломоносова и Сумарокова мог еще на школьной скамье пристраститься к поэзии и к авторству. Но при недостатке хороших образцов и разумных руководителей даже в родном языке неизбежна была тяжкая, многолетняя борьба с трудностями еще не созданной формы, чтобы выбраться на путь самостоятельного творчества. Одну выгодную сторону имело это не требовавшее больших напряжений образование, которое, хотя и в несколько усиленной мере, долгое время еще господствовало в русских учебных заведениях: оно, по крайней мере некоторым любознательным юношам, оставляло много досуга для самостоятельности, поощряло их к свободным занятиям и тем самым служило к развитию их дарований. Этим отчасти объясняется, как из среды первоначальных питомцев скудной учебными средствами гимназии мог явиться писатель, который, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, успел своим оригинальным талантом приобрести всесветную известность. Не надо забывать, что Веревкин сам принадлежал к пишущей братии; это могло способствовать к развитию в Державине охоты сделаться автором.

7. Учителя и учение

Что касается собственно преподавания в гимназии, то, по свидетельству самого Державина, главною целью было *научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике*. Предметы преподавания были: закон Божий, история и география, арифметика, геометрия с фортификацией, языки латинский, французский и немецкий, рисование, музыка, танцы и фехтование. Иностранными языками занимались во всех классах дворянской половины. Уроки вообще продолжались от 7 до 11 часов утра и от часу до 5-ти после обеда. Державин не скрывает, что в гимназии, «по недостатку хороших учителей», его учили «едва ли с лучшими правилами, как и прежде». В записках своих он называет, и то по случайному поводу, только двух из своих наставников, именно: капитан-поручика Морозова и

пастора Гельтергофа; первый, вскоре умерший, учил геометрии, фортификации и рисованию, второй — немецкому языку. О Морозове есть свидетельство, что он, «за недовольным знанием русского штиля, весьма темно или совсем невразумительно задавал свои письменные уроки, а на самой практике, без дальних изъяснений, всякую проблему наизусть учил». Из таких уроков Державин не мог извлечь никакой пользы; впоследствии он приписывал свою слабость в математике недостаточным к ней способностям, но, в сущности, большая доля этой слабости происходила, конечно, от плохого первоначального учения. О Гельтергофе скажем в своем месте. Имена остальных учителей Державина известны нам из других источников.

Закон Божий преподаваем был только по воскресеньям и праздничным дням, два часа до обедни, семинаристом Котельничким, нарочно для того возведенным в сан священника. Он был рекомендован тогдашним казанским епископом Гавриилом (Кременецким), который полюбил Веревкина, посещал гимназию в торжественных случаях и в знак особенного своего внимания к ней однажды прислал книги в подарок лучшим ученикам гимназии.

Хотя Траубенталю, при отправлении его в Казань, и было поручено приискать для русской грамоты особого преподавателя, но такого не нашлось, и родному языку обучал, вместе с латинским, студент Морев. Этот учитель ежедневно занимался латынью, а по субботам русским правописанием, т. е., вероятно, ограничивался диктовкой. Впоследствии Державин не раз сознавался в незнании грамматики.

Для французского и немецкого сначала был один и тот же учитель, парижский уроженец Дефорж (Leon de Forges), но скоро число желавших учиться этим языкам так увеличилось, что нужно было разделить преподавание их. Для французского в помощь Дефоржу взят был Лакассан, а потом прислан из Московского университета еще Дювилляр (Duvillard), которому, не в пример другим, положено жалованье по 250 руб., что уже приближалось к содержанию инспектора (300 руб.; директор получал 400). Высшие оклады учителям, не исключая и преподавателя русского языка, не превышали 120 руб. в год. При неудовлетворительности учебных пособий и недостатке практики усиление преподавания французского языка не могло иметь больших результатов: Державин ему не выучился.

Немецкому сначала обучал отставной поручик голштинской службы Тих (Tiesch); потом явились и другие учителя этого языка. Самым замечательным из них, как и вообще из учителей казанской гимназии во время Державина, оказывается названный выше Гельтергоф. О нем сохранились довольно подробные сведения. Он родился в Германии близ Рейна, получил в университете Галле степень магистра и был пастором на острове Эзеле, но по весьма сомнительному обвинению в политических замыслах отвезен в Петербург и посажен в крепость, а оттуда, после многолетнего заключения, сослан в Казань и здесь при-

глашен Веревкиным в преподаватели гимназии. Впоследствии он был профессором в Московском университете и в 1770-х годах издал два составленные им русско-немецких словаря, один этимологический, а другой алфавитный. В следующее за тем десятилетие мы находим его в Сарепте, куда он отправился доживать век между своими единовверцами, гернгутерами, и где занимался преподаванием русского языка, с которым успел хорошо ознакомиться в Казани и в Москве. Любимый и уважаемый всем населением Сарепты, он достиг там маститой старости и умер 96-ти лет, в 1806 году.

Мы не можем положительно сказать, насколько Державин обязан был Гельтергофу знанием немецкого языка; но нам известно, что он выражался на нем легко и даже писал довольно правильно. Во всяком случае нельзя оставить без внимания, что он всего более успел в том предмете, преподаватель которого заметно выдавался из ряда своих сослуживцев по Казанской гимназии. Не надо, однако, забывать, что основание знакомству Державина с немецким языком было положено еще в детстве его, в школе Розе.

Географии и истории учил сначала помощник Веревкина Траубенталь, а позднее назначенный инспектором гимназии магистр Оттенталь. Между учителями и директором происходили раздоры. Вообще в управлении гимназии было много элементов несогласия. Веревкин настойчиво требовал от университета учебников и полного по штату содержания своим подчиненным, а университет, не имея к тому средств, досадовал на слишком неугомонного директора; когда же этот жаловался на учителей, ему из Москвы отвечали только, что он «не директор, а ассессор и командир», и что учителя должны, не умничая, беспрекословно ему повиноваться. Траубенталь, кичась своим капитанским рангом, никого не хотел слушаться. Заносчивый Любинский, студент, обучавший арифметике, представил Веревкину, что Морозов не способен преподавать геометрию, и взял эту часть себе, а Морозову передал свои уроки. В одном из тогдашних университетских ордеров было сказано: «студенту Любинскому, яко известно беспокойному человеку, приказать, чтобы он смирно и тихо себя вел, и новостей, как и здесь в бытность свою при университете, не выдумывал». Оттенталь, лишившись места инспектора, злобился на Веревкина, а Дювилляр завидовал, что его землякам Дефоржу и Лакассану было увеличено жалованье. Кончилось тем, что Оттенталь и Дювилляр тайком уехали в Москву и подали донос на директора. Но не будем предупреждать событий.

Несмотря на дурное преподавание в гимназии, Державин по даровитости своей занял с самого начала видное место между учениками, которых число к концу первого полугодия возросло уже до ста одиннадцати. В исходе июня были экзамены, и затем, после публичного акта, ученики распущены на летние вакации до 1-го августа. На акте, как водится и нынче, присутствовали городские власти, духовные, гражданские и военные чи-

ны. Студент Любинский прочел небольшую латинскую речь «о пользе наук», а за ним восемь прилежнейших учеников выступили по двое и произнесли по-французски, по-немецки, по-латыни и по-русски краткие же речи «о нужде, чтобы знать учимое ими». Имена этих юношей неизвестны, но так как Державин через несколько времени упомянут в числе первых девяти учеников дворянской гимназии, то, по всей вероятности, и он был между молодыми ораторами. В заключение учитель Никита Морев сказал русскую речь. Из гимназии отправился в приходскую церковь, где гимназический священник отслужил молебен о здравии государыни и напутствовал молодых людей кратким наставлением, чем им заниматься на каникулах. По поводу этого-то учебного торжества преосвященный на другой день прислал гимназистам библию и латинский лексикон со своеручными надписями, и кроме того по книжке каждому из говоривших речи. Веревкин вслед за тем просил университет представить куратору, не выразит ли он преосвященному свою особенную благодарность.

8. Успехи и отличия. Две поездки. Празднества

Перед возобновлением в августе месяце классов было опять собрание с речами, и Веревкин, посылая эти речи при рапорте «главной команде», ходатайствовал о награждении тех учеников, которые в каникулярное время «много вперед успели в науках». Куратор приказал напечатать в «Московских ведомостях» имена лучших учеников Казанской гимназии, и в № 64, от 10-го августа 1759 г., мы читаем между прочим: «Наиприлежнейшими себя оказали и отменную похвалу заслужили: гвардии капрал Николай Левашев, гвардии ж солдат Сергей Полянский и ученик Петр Лазарев. Равным образом и нижеписанные еще за свою прилежность, успехи и доброе поведение похвалы достойными нашлись, а именно: Василий и Дмитрий Родионовы, Петр Нарманский, Гаврила Державин, Алексей и Петр Норовы».

Из гимназических товарищей своих сам Державин не называет никого, кроме своего меньшего брата Андрея, который, как он говорит, по застенчивости своей казался туп, однако успевал в математике; во всем остальном Гаврила брал над ним верх своею бойкостью. Особенную охоту оказывал будущий лирик «к предметам, касающимся воображения»: к рисованию, музыке и поэзии. Мы видели, что он еще в школе Розе пристрастился к рисованию и полюбил инженерное искусство. В гимназии его чертежи и рисунки, сделанные пером, до того понравились директору, что он захотел похвастать ими перед Шуваловым. Спустя около года после открытия гимназии, т. е. зимою 1759-1760 годов, Веревкин, взяв отпуск в Москву и Петербург, повез

с собою для представления куратору работы отличнейших из своих учеников. Это были геометрические чертежи и карты Казанской губернии, украшенные разными фигурами и ландшафтами. Шувалов, так заботившийся о развитии искусства в России и незадолго перед тем основавший Академию художеств, был очень приятно поражен неожиданными плодами учения в отдаленной полуазиатской стране.

Цель Веревкина была вполне достигнута: при этом случае утверждены разные представления его, например, о возвышении окладов некоторым преподавателям и об отнесении на казенный счет содержания беднейших учеников. В то же время те, чьих работы были представлены Шувалову, записаны по их желанию солдатами в разные гвардейские полки, а один из них, Державин, объявлен кондуктором Инженерного корпуса. Вместе с тем и самому Веревкину оказано почетное внимание: для большего авторитета при управлении гимназией он, сохраняя прежнюю должность, получил назначение быть товарищем казанского губернатора. Известие о наградах, привезенное им при возвращении в Казань в марте месяце, произвело большую радость в гимназии. Ученики надели мундиры, каждый по будущему званию своему; с тех пор Державин в кондукторской форме исполнял на училищных празднествах обязанность артиллериста и фейерверкера. Казалось, давнишнее желание мальчика и покойного отца его осуществилось.

Вскоре после своего приезда Веревкин на время перевел гимназию в губернаторский дом, с целью между тем построить особое для нее здание. По этому поводу гимназисты были распущены на целый месяц. Впрочем, тут была и другая, может быть, еще более важная причина, — приготовления к большому празднеству. В Москве день коронации императрицы, 25 апреля, и затем еще два следующие дня ежегодно посвящались празднованию годовщины открытия университета. Веревкин, выпросив у Шувалова позволение отпраздновать эти дни и в Казани, готовил торжество на славу. Описание трехдневного ликования сохранилось в любопытном рапорте его куратору, от имени которого были разосланы приглашения. В первый день, после молебна (с архиерейской службой) и пушечной пальбы, почетные гости вошли в гимназическую аудиторию и слушали речи, опять на четырех языках. Потом начался обед, в котором участвовало 117 человек. «Три длинные линии из столов касались между собою одними концами, составляя ими три тупые угла. На отдаленных концах поставлены были изображения частей света, по которым распространяются области всемиростивейшей нашей самодержицы, — Европы, Азии и Африки (?)», а в середине, где сходились столы, сделана была круглая, ущелистая гора (Парнас), на которую по узким тропинкам всходило сто человеческих фигур с книгами и инструментами в руках. Большая часть всходивших падали на трудном пути, но Ломоносов и Сумароков (оба тогда еще здравствовали) вслед за Аполлоном и Музами достигали благополучно вершины, чтобы петь Елизавете

ту по приказанию Юпитера. Его повеление прислано было через представленного тут же Меркурия, и Веревкин, при описании своего праздника входя более и более в пафос, не может удержаться от следующего размышления: «Меркурий, летящий вниз, так искусно был на тонком волоске прилеплен, что я сам, то зная, не мог волоса видеть. После обеда, — продолжает он, — почти смеркаться стало, и для того я гостей моих, немного удержав, повел в комедию. Представлена была мольерова пьеса «Школа мужей» (странный выбор!). Вот, милосердый государь, и в Тартарии Мольер уже известен. Театр, ей-богу, такой, что желать лучше не можно: партер, обитый красною каразеею, в 12-ти лавках состоявший, поместил в себе четыреста человек; в парадизе такая была теснота, что зрители картиною казались. Актерам надавали денег столько, что я их теперь в непостоянное платье одеть могу. После комедии был ужин, бал, игра и разговоры о науках. Из обедавших один пресвященный, за слабостию своею, не ужинал». 26-го числа праздник был в гимназии, а в третий и последний день 270 гостей приглашено было на загородный губернаторский двор, что на Арском поле. Кроме холодного ужина для этих лиц, дан был под открытым небом народный праздник, на котором, по счету Веревкина, присутствовало около 17.000 человек. Тут было выставлено для черни несколько жареных быков, баранов и живности; потом сожгли фейерверк, конечно, при участии Державина; вечер кончился балом; дом и сад были иллюминованы.

В заключение Веревкин сознается, что все празднества (нуждающейся в деньгах гимназии) стоили ему более 630 руб. и приписывает следующие крайне любопытные строки, столько же рисующие написавшего их, как и всю эпоху: «Ежели я вас тем прогневал, что много издержал, то прикажите мне не давать жалованья, пока выслужу. Довольно, батюшка, что кроткой государыне воздана хотя слабая, но всеусердная почесть. Ты прославлен, и целый многолюдный город погружен был мною в никогда не бывалое здесь веселие! В деньгах у меня крайний недостаток; прикажите их поскорее переслать из положенной на содержание гимназии суммы 1000 рублей».

По мере своего развития Державин все более выдавался из ряда своих товарищей. Обратив на себя внимание Веревкина своим талантом к рисованию, он в его глазах приобрел вес и свою энергию. Это видно из двух случаев, в которых Веревкин, предпринимая поездки по должности губернаторского товарища, брал с собою для помощи несколько учеников и во главе их Державина. В первый раз целью командировки было снятие плана с города Чебоксар. Державин в своих записках подробно рассказывает и странный прием, придуманный при этом Веревкиным, и притеснения, которым подверглись с его стороны богатые заводчики в Чебоксарах и хозяева судов, проходивших мимо города.

Для проверки расстояний между рядами домов он заказал огромные рамы, шириной в 8 сажень, с железными связями и це-

пиями, и велел носить их поперек улиц. Когда какой-нибудь дом настолько выступал вперед, что не давал пройти раме свободно, то над воротами надписывалось: *ломать*. Проходившие по Волге суда были задерживаемы, а бурлаков их сгоняли для ношения чудовищных рам. В то же время были приостановлены работы на городских кожевенных заводах. Все эти меры должны были вызвать со стороны заинтересованных старание «умилостивить» крутого распорядителя и потому бросают тень на его бескорыстие. Между тем Державин, по его приказанию, чертил огромной величины план, занимаемый этим на чердаке большого купеческого дома, так как чертеж ни в какой обыкновенной комнате уместиться бы не мог; но этот план остался недоделанным: его пришлось «свернуть и, уложив под гнетом на телегу, отвезти в Казань». Тем и кончилась экспедиция.

Другая поездка предпринята была летом 1761 года к развалинам древней столицы Болгарского царства, к селению Болгарам (ныне Спасского уезда село Успенское, в 120 верстах от Казани); по поручению Шувалова Веревкин должен был описать эти развалины и доставить древности, какие там отыщутся. Но сам он, пробыв в Болгарах несколько дней, соскучился и уехал; Державин же с товарищами работал там до глубокой осени и привез в Казань описание развалин, план бывшего города, рисунки остатков некоторых строений, надписи гробниц, наконец, собрание монет и других вещей, вырытых им из земли. Со всею этой археологической добычей Веревкин намеревался в конце года ехать в Петербург и поднести ее Шувалову при отчете о гимназии; но этому не суждено было исполниться. Выше было уже замечено о доносе двух гимназических преподавателей на директора: его обвиняли главным образом в растрате казенных денег; подробности дела неизвестны, да они сюда и не относятся. Нам достаточно упомянуть, что Веревкин вследствие доноса был уволен «за непорядочные поступки», и что на место его был прислан из Москвы магистр Савич, которому при этом случае, для большей важности, дали звание профессора. О нем есть свидетельства его сослуживцев, как о человеке трудолюбивом и дельном; на то же намекают и слова Державина, что по новости училища преподаватели в нем «до прибытия профессора Савича» были плохие. Однако Державин недолго оставался в гимназии при новом директоре и почти при самом поступлении его уехал на службу в Петербург. Но прежде нежели расскажем о причине его выхода из гимназии, мы должны коснуться еще одной стороны пребывания его в этом учебном заведении, именно его свободных занятий.

9. Чтения Державина. Выход из гимназии

В гимназии, между прочим, учили музыке, и преподавателя ее звали Орфеевым. У Державина явилась охота играть на скрипке, но обстоятельства не позволили развиваться этому талан-

ту. В то же время, как сам он рассказывает, чтение стало пробуждать в нем способность к стихотворству. Из прочитанных им в гимназии книг он при этом называет оды Ломоносова, трагедии Сумарокова, а также переводы «Телемака», «Аргениды» и «Маркиза Г.». Эти книги принадлежали тогда к числу наиболее распространенных в России. Собрание сочинений Ломоносова (в двух книгах) вышло третьим изданием от 1757 до 1759 года; из трагедий же Сумарокова уже были напечатаны отдельно «Хорев, Синав и Трувор», «Гамлет», «Артистона». Из дел гимназии видно, что вскоре после ее открытия Веревкину было прислано от университета, кроме «Московских ведомостей», 10 экземпляров сочинений Ломоносова.

Три книги, которые гимназист Державин читал в русских переводах, обходили тогда всю Европу и были перелагаемы на многие языки. Они в середине 18-го столетия везде читались с жадностью. «Телемак», который сами французы провозгласили эпопеей, переводился не только прозой, но и стихами; Тредьяковский даже и в форме своего пресловутого перевода не был изобретателем. Впрочем, когда Державин учился в гимназии, приснопамятная «Телемахида» еще не родилась: в его руках мог быть только перевод в прозе, сделанный неизвестно кем и изданный в Петербурге в 1747 году. «Ироическая пиима» Тредьяковского, который с презрением отзывался о первоначальном прозаическом переводе «Телемака», появилась лишь через девятнадцать лет после того, уже при Екатерине II; но будущий творец «Телемакиды» напечатал в 1751 году перевод другой, по его словам, столько же «несравненной пиимы», в которой он видел самую «превосходную философию политическую».

Это была «Аргенида», изданная в первый раз в 1621 году, в Париже, на латинском языке. Автором ее был живший во Франции шотландец, Иоанн Барклай, сторонник изгнанного дома Стюартов, написавший по-латыни, отчасти стихами, несколько замечательных сатирических сочинений. «Аргенида» есть имя вымышленной сицилийской царицы, под которою, как полагали современные критики, он разумел Францию или династию Валуа. Весь этот политический роман ничто иное как изображение, под покровом любимой тогда аллегории, состояния Франции и других западных государств в эпоху лиги, с целью служить руководством в науке правления.

Романы с такою целью сделались одним из господствующих родов литературы последующего времени; отброшена была только аллегория. Успех «Телемака» вызвал множество подражателей Фенелону. В 1730 году французский аббат Террасон издал книгу, которую впоследствии перевел Фонвизин под заглавием «Жизнь Сифа, царя египетского». Такими же нравственно-политическими романами были во второй половине 18-го века «Велизарий» Мармонтеля и «Нума Помпилий» Флориана, также переведенные вскоре на русский язык. Наконец, один из тогдашних писателей наших, Херасков, не довольствуясь переводом последней из названных книг, вздумал и сам приняться за

сочинение нравоучительных романов в этом вкусе: так явились сперва его «Кадм и Гармония», а потом «Полидор», длинные, убийственные повествования, и однако же перед вторым из них автор, без всякого сострадания к читателю, объявляет, что для прочтения «Полидора» необходимо наперед прочесть всего «Кадма». Сохранилось предание, что «Аргенида» Баркляя, которая подала нам повод коснуться всех этих романов, составляла любимое чтение Лейбница. Ее усвоили себе почти все европейские литературы; немцы и французы перелагали ее по нескольку раз; на польском языке кто-то дал и ей, как после бывало с «Телемаком», стихотворную форму. Русских познакомил с этою книгой Тредьяковский, который, при всей своей неловкости в обращении с нашим новорожденным письменным языком, заслуживает, однако, в потомстве доброго слова за свое старание переводами лучших иностранных сочинений способствовать к образованию юного русского общества. «Аргениду», так же как и Ролленеву историю, беспримерный *трудоположник* перевел два раза: первый перевод сделал он еще бывши студентом Московской академии, но сам находил его негодным, и впоследствии, по приказанию графа К. Г. Разумовского, перевел всю книгу снова. Перемешивая в ней, по примеру подлинника, прозу со стихами, Тредьяковский здесь в первый раз употребил гекзаметр и позволил себе еще другую новость — дактилическую рифму, окончательно введенную у нас только Жуковским. В конце каждой главы романа поместил он подробные мифологические и исторические примечания. Такое чтение должно было, без сомнения, обогатить ум Державина множеством полезным сведений, но вместе с тем не могло не подействовать вредно на развитие его вкуса и литературного языка. Следы этого влияния писаний Сумарокова и Тредьяковского, читанных Державиным в молодости, никогда не переставали более или менее отражаться на его сочинениях, особенно прозаических.

Третье произведение иностранной литературы, с которым Державин, познакомился в Казани, было «Приключения маркиза Г.» (Глаголя, по тогдашнему обыкновению называть буквы славянскими их именами). Оно состоит из шести томов, но Державин, находясь в гимназии, мог иметь в руках только первые четыре, переведенные И. П. Елагиним. Содержание книги составляет рассказываемая самим героем история его жизни: маркиз Глаголь странствует и испытывает разного рода несчастья — потерю родных, неволю и проч., но и в самых горестных обстоятельствах он остается добродетельным; весь роман пересыпан нравоучительными размышлениями и наставлениями. Такие мемуары разных вымышленных лиц, особливо же поучительные описания путешествий их в дальние страны, со множеством приключений, были в большой моде. Подлинник этого романа вышел в Париже в первый раз в 1729 г., без имени автора, под заглавием «Memoires du marquis*** ou Aventures d'un homme de qualite qui s'est retire du monde». Автором был один из самых

плодовитых писателей 18-го века, аббат Прево, известный между прочим своею трагическою смертью под ножом анатома.

Русские во второй половине 18-го столетия читали «Маркиза Г.» тем с большею жадностью, что для них в этом переводе была новостью гладкая и даже изящная, по своему времени, проза. И в самом деле, в пятидесятых годах что было им читать, кроме названных книг? А тем более, что было читать Державину в Казани, где, без сомнения, даже русские книги составляли тогда редкость, немецкие же доставать было еще труднее? Тогда еще не было ни «Письмовника» Курганова (изд. 1769), ни романов Хераскова, ни даже сочинений и переводов Федора Эмина, который начал печатать их только в шестидесятых годах. Сам директор гимназии, Веревкин, который лет через тридцать после того, в старости, хвалился, что перевел 168 вальжжных томов и собирался вдобавок переводить французскую «Энциклопедию», в то время издал еще немного.

Русские писатели, с трудами которых Державин познакомился в Казани, были еще живы; но Ломоносов и Тредьяковский приближались уже к концу своего поприща. Напротив, Сумароков и Елагин жили еще довольно долго после того; ниже увидим, что с первым наш поэт имел в 1770 году недружеское столкновение в Москве и написал на него эпиграмму; в доме же Елагина Державин был впоследствии (1775) одним из коротких знакомых.

Чтение подстрекнуло молодого ученика попытаться идти по следам современных ему писателей: он стал украдкой сочинять стихи, романы и сказки, но уничтожал эти первые опыты, редко показывая их даже товарищам. Для нас в этом известии всего важнее то обстоятельство, что и недостаточное образование, приобретенное Державиным в гимназии, было более плодом собственных самостоятельных занятий, нежели преподавания, и что еще в училище чтение, пробудив его врожденный талант к соревнованию литературным знаменитостям, навсегда привлекло его к поприщу писателя; важно при этом и указание тех образцов, подражание которым надолго наложило на него мертвящие оковы ложной теории.

В то самое время, как Державин воспитывался в Казанской гимназии, в Московском университете учился другой русский писатель — Фонвизин, который одним годом был моложе Державина, но почти тремя годами ранее его уже начал гимназический курс. Любопытно сравнить ход развития обоих этих талантов, которые в дальнейшей литературной деятельности своей представляют между собой резкие различия, но наиболее прославились почти одновременно, Державин — «Фелицей», а Фонвизин — «Недорослем». Положение Фонвизина было настолько благоприятнее, насколько Москва была впереди Казани в отношении к общественной образованности и богаче педагогическими средствами. Из Казанской гимназии возили в Петербург только труды учеников; из Московской — самих гимназистов: в число их попал и Фонвизин, когда ему было четырна-

дцать лет от роду. В Петербурге он познакомился лично с Шуваловым, Ломоносовым, Дмитриевским, был в театре и пристрастился к драматическому искусству. Сделавшись студентом по возвращении в Москву, он уже начал переводить для печати, и первые опыты его были изданы еще до оставления им университета. Он знал три языка: латинский, немецкий и французский, которому выучился по собственной охоте после петербургской поездки. Поступив на службу в один год с Державиным (1762), он в самом начале ее имел случай побывать за границей. Сколько задатков для более быстрого и блестящего развития! Зато Фонвизин, двадцати лет от роду, уже и снискал известность своим «Бригадиром», тогда как Державин еще и в следующие два десятилетия почти не обращал на себя внимания. Прибавим, что учение Фонвизина в гимназии и университете продолжалось около семи лет, а Державин употребил на свой гимназический курс всего три года. Но в воспитании их есть одна общая черта: оба они рано пристрастились к самостоятельным занятиям, и каждый по-своему удовлетворял этой склонности.

Державин не успел кончить и скудного гимназического курса, когда в начале 1762 года пришло из Петербурга требование, чтобы он немедленно явился в Преображенский полк. За два года перед тем Веревкин, как мы видели, привез Державину известие, что он в награду за свои успехи в рисовании и черчении объявлен кондуктором Инженерного корпуса, после чего гимназист носил даже мундир этого ведомства. Но между тем оказалось совсем другое: имя Державина очутилось в списке гимназистов, присланном от Шувалова в канцелярию Преображенского полка, и вследствие того он записан солдатом в этот полк. Как это сделалось, не объяснено в записках Державина: всего вероятнее, что куратор забыл обещание, данное Веревкину, и велел разместить всех отличившихся гимназистов в разные гвардейские полки. Во всяком случае, поступление в военную службу было противно планам как самого Державина, так и покойного отца его, который, в последнюю свою поездку в Москву, прямо отказался от сделанного ему предложения отдать сына в гвардию: издержки, сопряженные со службой этого рода, пугали Державиных.

Видя постигшую молодого человека судьбу, мы в недоумении спрашиваем себя: отчего при ясно определенной цели новой гимназии служить рассадником для высших учебных заведений Шувалов, вместо того, чтобы пропускать лучших воспитанников ее в университет, записывал их преждевременно в гвардейские полки? Вероятно, причиной тому были военные обстоятельства — Семилетняя война, поглощавшая так много людей. Известно, впрочем, что казанские гимназисты, сверстники Державина, отчасти в видах улучшения материальных условий жизни, сами рвались в военную службу, и что Московский университет, с прискорбием замечая между ними такое неблагоприятное для науки стремление, убеждал начальство гимназии стараться всеми мерами удерживать понятливых и прилежных учеников. Не-

смотря на то, в течение одного 1761 года из гимназии выбыло тридцать пять человек для поступления в военную службу.

При записывании Державина в Преображенский полк ему изготовлен был паспорт, по которому он мог пробыть в гимназии только до наступления 1762 года и который с тех пор оставался в полковой канцелярии. По смерти Елизаветы Петровны новый император, Петр III, замышляя поход в Данию одновременно с продолжавшеюся Семилетней войной, приказал потребовать на службу в полки всех отпускных. Вследствие этого-то пришла в гимназию бумага и о Державине. Он был очень озадачен таким неожиданным вызовом, но надо было ехать не теряя времени, потому что с истечения срока отпуска шел уже второй месяц. И вот директор Савич получил следующую просьбу:

«В Казанские гимназии:
лейб-гвардии Преображенского полку
солдата Гаврилы Державина

Доношение.

Нахожусь я именованной в реченных гимназиях с 759 году, где обучался до сего 762 году в разных классах, и прошлого 761 года записан я в лейб-гвардии Преображенский полк, о чем Казанская гимназия сама небезызвестна. А ныне склонность моя и лета более не дозволяют быть при оной гимназии, а желаю вступить в действительную службу Его Императорского Величества в вышеозначенной лейб-гвардии Преображенский полк. *К сему*

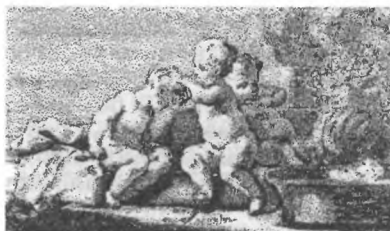
Того ради Казанские гимназии покорно прошу сие мое доношение принять, меня из оных гимназий выключить и дать о поступках моих в бытность при гимназиях аттестат и для проезда моего в Санкт-Петербург пашпорт.

Февраля 2 дня 1762 году.

Доношению лейб-гвардии Преображенского полку солдат Гаврило Державин рuku приложил».

В одном незаконченном сочинении, которое он начал было писать в 1811 году для чтения в Беседе любителей российского слова, Державин говорит: «Недостаток мой исповедую в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах империи, когда и куда не проникало еще в полной мере просвещение наук не только на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу. Нас научили тогда: вере — без катехизиса, языкам — без грамматики, числам и измерению — без доказательств, музыке — без нот и тому подобное. Книг, кроме духовных, почти никаких не читали, откуда бы можно было почерпнуть глубокие и обширные сведения». Эти замечательные слова показывают, как сам Державин ясно понимал, чего ему неоставало в сравнении с людьми, которые в молодости были счастливее его и получили более удовлетворительное воспитание. Около того времени, когда высказано было это скромное сознание, начинал свое общественное воспитание знаменитейший русский поэт, который талантом своим должен был затмить и Державина, и всех своих предшественников. Как Царскосельский лицей, возникший че-

рез сто лет после рождения Ломоносова, гордится именем Пушкина на первой странице своей истории, так и начало Казанской гимназии озарено славой Державина. Временно закрытая в 1789 году, но восстановленная императором Павлом, эта гимназия 21-го января 1868 праздновала столетнюю годовщину своего существования и удостоилась тогда получить наименование «императорской». В высочайшем рескрипте, данном по этому случаю на имя министра народного просвещения, находятся между прочим следующие слова: «из семнадцати тысяч ее воспитанников многие с честью подвизались в различных отраслях государственной службы и на поприще науки и литературы; имя одного из них — Державина — останется навсегда не забытым и дорогим для русского народа». Сопоставление Державина с Пушкиным, кстати подвернувшееся под перо наше, подает нам повод припомнить здесь еще другое сравнение между этими двумя поэтами. «Превосходный стих Державина, — по замечанию г. Шелгунова, — делал его таким популяризатором новых идей, которые он из кружка интеллигенции и вельможества, в котором вращался, проводил в начинавшую читать грамотную публику, что воспитательное его значение было, конечно, гораздо больше, чем в первой половине 19-го века воспитательное значение Пушкина». Наконец, в довершение параллели между обоими замечательными писателями, можно привести то, что и Пушкин развитием своим гораздо более был обязан своей самодеятельности и обширной начитанности, нежели правильному учению, которым он, вообще говоря, мало пользовался. «Скоро явится свету новый Державин», — говорил о Пушкине маститый лирик незадолго перед своею кончиной. Но Пушкин настолько же стал выше Державина, насколько Россия шагнула вперед в полустолетие, протекшее от учреждения Казанской гимназии до основания лицей.





Глава III

Военная служба до пугачевщины

(1762 – 1773)

1. Солдатская жизнь в казарме

Двенадцать лет военной службы со времени приезда Державина в Петербург составляют один из безотраднейших периодов в жизни его. Тяжелый телесный труд, грубая среда, невежество и разврат товарищей, наконец, полное нравственное падение, вот что пришлось испытать или увидеть в своем новом положении даровитому юноше с благородными наклонностями. Вместо жизни сердца, какой можно бы ожидать от него в этом возрасте при других обстоятельствах, мы видим его в отношениях совсем не платонического свойства. Литературная деятельность его в эти годы еще слаба и незаметна. Уже ему грозит неминуемая гибель, но, к счастью, дорогие воспоминания детства, остаток благочестия, пустившего глубокие корни в его сердце, наконец, еще не подавленная энергия духа заставляют его сделать внезапное над собою усилие — и спасают его. Так как он тогда еще не играл никакой роли, и от этой эпохи не осталось писем его, то понятно, что почти единственным материалом для его биографии за это время служат его записки, но по этой именно причине они составляют драгоценный источник для сведений о

тогдашней жизни Державина, как и вообще для истории наших общественных нравов, особенно военного быта в 60-х годах прошлого столетия.

Из Казани Державин приехал в Петербург в марте 1762 года, то есть за три с небольшим месяца до восшествия на престол Екатерины II. Когда он явился в Преображенский полк, залежавшийся паспорт, изготовленный для него на прожитие в Казани, оказался просроченным. Дежурный офицер, майор Текутьев, строгий служака и крикун, взглянув на паспорт, расхохотался со словами: «Э, брат, просрочил!» По приказанию его Державин отведен был вестовым в полковую канцелярию и там подвергся формальному допросу. Но так как обнаружилось, что он в просрочке не виноват, то его и приняли в полк, зачислив в 3-ю роту рядовым.

При этом, естественно, представляется вопрос: отчего Державин поступил в солдаты, когда многие другие дворяне около того же времени начинали военную службу в гвардии прямо с офицерских или по крайней мере с унтер-офицерских чинов? Фонвизин, кончивший свое воспитание почти одновременно с Державиным, еще при поступлении в Московский университет был записан в Семеновский полк сержантом и, разумеется, только считался в полку; Потемкин, в 1760 году исключенный из того же университета, числился капралом гвардии. Одной из причин этой разности было то, что выходящим из университета (как и из Сухопутного кадетского корпуса) или получившим отсюда аттестат о своих познаниях положено было давать обер-офицерские чины. О выпуске же из гимназий прямо в службу, собственно, не было закона, а было определено переводить отсюда в Кадетский корпус, в Академию наук или в университет. Впрочем, за исключением сказанной привилегии в пользу питомцев университета, кажется, не было точных правил о вступлении дворян в службу: как во многом другом, так и в этом господствовал произвол, и все решала так называемая протекция. Начинать военную службу со звания рядового заведено было Петром Великим и оставалось при нем в обыкновении, как видно, напр., из записок князя Я. П. Шаховского, который 14-ти лет (1719 г.) был представлен в Семеновский полк и в нем «был по несколько времени солдатом, капралом, каптенармусом и сержантом», на самом деле отправляя эти должности; но после Петра обычай этот стал ослабевать, и молодые дворяне, будучи в малолетстве записаны в гвардию, оставались дома до достижения по старшинству офицерских чинов, как рассказывают тот же князь Шаховской и князь И. М. Долгорукий. Из известных лиц, начавших уже после Петра Великого службу свою также в нижних чинах, назовем князя Н. В. Репнина, обоих графов Паниных (поступивших в гвардию солдатами при Анне Иоанновне) и историка князя М. М. Щербатова, который с 1746 г. проходил унтер-офицерские чины, подобно Шаховскому, в Семеновском полку. Болотов рассказывает, что и он лет 10-ти от роду из отцовского дома был отдан в армейский полк солдатом, а через

месяц произведен в капралы (первый унтер-офицерский чин). Как много определение молодых людей в службу зависело от связей и положений их родителей, видно из того, что и из товарищей Державина по гимназии одни уже при поступлении в нее были записаны в солдаты, напр., два брата Полянские, а другие, напр., Левашев, в капралы (Семеновского полка, как и первые). Любопытно заметить, что около того же времени, как Державин начинал свою службу в Преображенском полку, т. е. в начале 1762 г., Новиков солдатом же поступил в Измайловский полк.

У Державина, как сам он говорил, «протекторов не было», и вот, конечно, главная причина, почему он, сделавшись солдатом девятнадцати лет без четырех месяцев, только через десять лет получил первый офицерский чин (В. Румянцев-Задунайский на 19-м году от рождения был уже капитаном армии). Впрочем, поступление хотя и в рядовые старейшего гвардейского полка, без сомнения, считалось отличием. Так как у Державина не было в Петербурге никакого пристанища, то его поместили в казарме со сдаточными солдатами (т. е. такими, которые *сданы* были в рядовые из крестьян); ему пришлось жить вместе с тремя женатыми и двумя холостыми товарищами. По рассказу И. И. Дмитриева, Державин пошел «на хлебы» к семейному солдату. Флигельману¹ приказано было учить новичка ружейным приемам и фрунтовой службе, и в короткое время он оказал такие успехи, что мог участвовать в параде, бывшем в присутствии Петра III, великого охотника, как выражается Державин, до военных учений. В то же время наш поэт, с другими солдатами, должен был то ходить на ученье и стоять в карауле на ротном дворе, то отправлять разные черные работы, как то ходить за провиантом, чистить каналы, разгрести снег около съезжей, усыпать песком учебную площадку и т. п. Все это покажется нам менее странным, когда мы вспомним, что в свое время и сам Петр Великий делал то же, совершенно добровольно начав службу с рядового.

Вскоре Державин отыскал бывшего своего начальника по гимназии, Веревкина, и отнес ему бумаги и вещи, вывезенные по его поручению из Болгар: за неожиданным отъездом Веревкина из Казани они оставались в руках Державина. Веревкин представил его, вместе с этими работами и найденными древностями, И. И. Шувалову. Это была первая встреча вельможи с молодым человеком, который с этих пор на всю жизнь сохранил к нему неизменную преданность. Несмотря на доброту и любезность своего бывшего начальника, Державин, как видно, не посмел при этом случае напомнить о прежнем обещании поместить его в кондукторы. Впрочем, в то время еще нельзя было предвидеть удаления Шувалова на многие годы из России, и Державин

¹ Это унтер-офицер, который движениями, вместо команд, показывает, какие приемы должна делать рота.

имел полное право надеяться, что солдатская служба его при покровительстве внимательного сановника не будет слишком продолжительна. Шувалов принял своего клиента очень приветливо и, желая поощрить его талант к рисованию и черчению, послал его к известному граверу Чемесову в Академию художеств. Чемесов также обласкал поэта, хвалил принесенные им рисунки, звал его к себе и обещал доставить ему через Шувалова средства продолжать занятия науками и литературой. Но об этом нечего было и думать при беспрепятственных ротных и батальонных учениях, заведенных Петром III; к тому же заниматься музыкой и рисованием было почти невозможно при тесноте и неудобстве казарменного помещения. Оставалось только по ночам, когда все улягутся, читать случайно добытые книги да пописывать стихи. Тогда-то, по словам Дмитриева, Державин между прочим переложил на рифмы бывшие в ходу у военных «площадные прибаски насчет каждого гвардейского полка». Подметив в нем страсть к письменным занятиям, видя его то с пером в руках, то за книгою, его товарищи, и особенно жены их, стали просить его писать для них грамотки к отсутствующим их родственникам. Державин, стараясь при этом употребить простонародные выражения, чрезвычайно угодил им. Еще более заслужил он их расположение тем, что иногда давал им взаймы по рублю или по два из своих небольших средств (при отъезде из Казани он получил от матери сто рублей). Спустя несколько времени солдатские жены, по его просьбе, уговорили своих мужей отправлять за него очередную службу и работу. Таким образом, он успел приобрести уважение всей роты, и когда Петр III объявил гвардии поход против Дании, то сослуживцы Державина выбрали его своим казначеем, поручив ему артельные деньги и заготовление всего нужного для похода, который, однако, как известно, не состоялся.

2. Воцарение Екатерины II. Отъезд в Москву

Случайная встреча с бывшим учителем Казанской гимназии Гельтергофом, о котором было говорено выше, чуть было не изменила положения Державина. Гельтергоф, жалея о тяжелой участи одного из лучших учеников своих, вызвался похлопотать через окружавших императора немцев о переводе молодого человека в офицеры голштинского отряда. Но совершившийся вскоре переворот помешал исполнению этого плана, «благодаря Провиденцию», — многозначительно прибавляет Державин.

В событиях 28-го июня участвовал и Преображенский полк: по словам поэта, 3-я рота вместе с прочими прибежала к Зимнему дворцу, вокруг которого уже прежде расположились полки Семеновский и Измайловский. Преображенцы поставлены были внутри дворца и приведены архиепископом к присяге в верности императрице, которая также успела уже приехать во дворец в сопровождении Измайловского полка. Часу в 4-м пополудни

полки были отведены к деревянному дворцу на Мойке, а вечером пошли под предводительством самой Екатерины в Петергоф, откуда на другой день возвратились в город. Державин очень поражен был тем, что видел, но сознается, что в отчужденном своем положении, вовсе не зная обстоятельств, не мог особенно сочувствовать ни той ни другой стороне. К тому же накануне переворота у него из-под подушки украли деньги, и этот «неприятный случай» сделал его совсем невнимательным к вещам посторонним. Впрочем, и вор, и деньги были вскоре отысканы товарищами Державина, которые приняли живое участие в его горе. По словам И. И. Дмитриева, он стоял на часах в петергофском дворце в ту ночь, когда Екатерина отправилась оттуда в Петербург. Другое предание, которое много раз повторялось в печати, говорит, что Державин в день восшествия на престол Екатерины стоял на часах в Зимнем дворце. Ни одного из этих известий нет между подробностями, сообщаемыми самим Державиным; по общему же характеру записок его можно наверное сказать, что если бы то или другое из приведенных сведений было справедливо, то он никак не умолчал бы о таком замечательном для него обстоятельстве.

Когда спокойствие совершенно восстановилось, гвардии назначено было идти в Москву для торжества коронации; в августе месяце Державин получил паспорт с приказанием отправиться туда же и явиться в полк в первых числах сентября, т. е. ко времени прибытия в Москву и самой императрицы. «Снабдясь кибиточкой и купя одну лошадь, — говорит Державин, — потащился потихоньку». Денег у него было в то время немного, особенно после того, как другой солдат из дворян, Шишкин, с которым он подружился, перебрал в долг почти все, что у него было. Очень наглядно описывает Державин костюм, в котором он, до возвращения полку прежней формы, щеголял перед глазами на него москвичами: он носил тогда кургузый мундир голштинского покроя с золотыми петлицами, с камзолом и брюками из желтого сукна; на затылке красовалась у него толстая прусская коса, выгнутая дугою, а подле ушей, как грибы, торчали буклы, слепленные густой сальной помадой.

Государыня, не доезжая Москвы, остановилась на несколько дней в селе Петровском гр. Разумовского. Державин, в числе других солдат, наряженных на караул, стоял здесь в саду на ночном пикете; может быть, это-то обстоятельство и послужило поводом к упомянутым выше неверным слухам. После коронации, бывшей 22-го сентября, императрица часто присутствовала в сенате, который тогда помещался в кремлевском дворце; когда она проходила туда, Державин, стоя на часах, имел случай, наравне с другими тут же бывшими, целовать ее руку, «нимало не помышляя, — прибавляет он, — что буду со временем ее статс-секретарь и сенатор». После коронации двор оставался в Москве еще до половины июня 1763 года. На масленице Державин был свидетелем происходившего на улицах народного маскарада, памятником которого осталась небольшая книжка, напечатан-

ная при Московском университете под заглавием «Торжествующая Минерва, общенародное зрелище, представленное большим маскарадом в Москве».

3. Несбывшаяся мечта. Унтер-офицер. Отпуск в Казань

В Москве Державин опять жил с солдатами, горюя, что не мог заниматься. Услышав, что бывший начальник его И. И. Шувалов также приехал на коронацию и намерен предпринять путешествие в чужие края, он задумал воспользоваться этим случаем, чтобы побывать за границей. Написав письмо, в котором просил Шувалова взять его с собой, он сам отправился к этому вельможе и подал ему свою просьбу, когда тот, собираясь ехать во дворец, вышел в прихожую, где его дожидались многие просители. Шувалов остановился, прочитал письмо и велел прийти в другой раз за ответом. Но дело расстроила тетка Державина, двоюродная сестра матери его Фекла Саввишна Блудова, урожденная Новикова. Как женщина старого века она видела в путешествии источник ересей и всякого зла, Шувалова же, как человека с европейским образованием, считала опасным фармазоном, одним из тех «отступников от веры, еретиков, богохульников, преданных антихристу, о которых разглашали, что они заочно за несколько тысяч верст неприятелей своих умерщвляют, и тому подобные бредни». Фекла Саввишна энергически воспротивилась намерению своего любознательного племянника, порученного ей сестрою, дала ему страшный нагоняй за дерзкие замыслы и накрепко запретила ходить к Шувалову, под угрозю написать к матери, если он ее не послушает. Крепя сердце Державин должен был отказаться от своей мечты и не являлся более к своему покровителю. В середине апреля Шувалов уехал надолго, и дело было непоправимо: от Державина ускользнул единственный случай, который мог бы иметь великое значение в дальнейшем умственном развитии и во всей судьбе его. После того обстоятельства уже никогда не позволяли ему думать о возможности посетить чужие края.

Как простой солдат Державин обязан был, между прочим, нередко разносить к офицерам своего полка отданные с вечера приказы, а так как эти офицеры стояли в разных частях Москвы, то ему приходилось иногда прогулять всю ночь. Такие прогулки по пустынным, занесенным снегом улицам были не совсем безопасны: раз, проходя на Пресню, он «потонул было в снегу»; на него напали собаки, и чтобы спастись от них, он должен был прибегнуть к тесаку. В другой раз с ним был довольно забавный случай. К 3-й же роте Преображенского полка принадлежал прапорщик князь Ф. А. Козловский, известный несколькими литературными трудами, умом, который обворочил Вольтера, и геройскою смертью в Чесменском бою. Как

стихотворец он нравился Державину по легкости слога и в то время даже служил ему образцом. Живя в Москве у другого знаменитого в ту эпоху писателя, В. И. Майкова, Козловский однажды читал ему вслух какую-то трагедию, как вдруг чтение было прервано приходом вестового. Отдав приказ, Державин из любопытства приостановился в дверях. «Поди, братец, служивый, с Богом, — сказал ему Козловский, — что тебе здесь попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь». И бедный поэт должен был смиренно удалиться. Иному может показаться странным, отчего Державин, осмотревшись в полку, не старался сблизиться с такими людьми, каков был, напр., Козловский; но, не имея никаких особенных прав на внимание, как мог рядовой, хотя бы и из дворян, навязываться в знакомство кому бы то ни было из своих командиров?

Естественно, что такое унижительное положение более и более тяготило Державина, особенно когда многие, даже младшие его товарищи прежде него получили унтер-офицерский чин благодаря только протекции. Такая несправедливость заставила его обратиться к своему майору, графу Алексею Григорьевичу Орлову, с письмом, в котором он объяснял ему свои права на повышение. Просьба эта была уважена, и Державин произведен в капралы, первый унтер-офицерский чин. Внимание Орлова никогда не изгладилось из памяти поэта, и в 1796 г. он в пьесе «Афинейскому витязю» говорил:

Из одного благодаренья
По чувству сердца моего
Я песнь ему пою простую.

В своем новом чине Державину захотелось показаться матери, и он отпросился в годовой отпуск в Казань. В дороге, на Клязьме, случилась у него крупная ссора с перевозчиками, которые силой хотели принудить его заплатить более условленной платы. Эта ссора чуть не кончилась трагически: он уже хотел было выстрелить из ружья, но, к счастью, оно осеклось. Любопытны обстоятельства, которые он по этому поводу рассказывает. Отправляясь в Казань, он нашел себе попутчиков: то были сослуживец его Аристов (также капрал) и молодая, прекрасная собой «благородная девица, имевшая любовную связь с бывшим директором гимназии Веревкиным», который теперь опять был в Казани. В путешествии, будучи беспрестанно с нею и обходясь попросту, Державин живостью своею и разговорами так ей понравился, что товарищ, сколько ему ни завидовал и какие ни делал на всяком шагу препятствия, не мог помешать «соединению их пламени». Приехав в Казань, он желал чаще видиться со своей красавицей, но, будучи небольшого чина и небогат, не успел в своих стараниях найти к ней доступ: она жила у Веревкиной, под одной крышей с его женою.

По поручению матери Державин вскоре должен был ехать в Шацк для вывода оттуда небольшого числа крестьян, доставшихся ей на седьмую часть от первого ее мужа, Горина. По

исполнении этого мать и сын съехались в оренбургской деревне, где и прожили остальную часть лета. В исходе сентября мать отправила его по делам имения в Оренбург. На пути туда было с ним опять приключение. Пока у коляски его чинили ось, он пошел к речке с ружьем, как вдруг наткнулся на стадо кабанов. Один из них бросился на него и разорвал ему икру; пуля из его ружья предупредила вторичное нападение. Державин видел в своем спасении чудесное покровительство Божие. Недель шесть пролежал он после того в Оренбурге, пользуясь поначениями тамошнего губернатора, князя Путятина.

4. Товарищи. Первые литературные знакомства

По возвращении в Петербург, Державин получил в казарме помещение уже с дворянами. В материальном отношении быт его несколько улучшился, но беспрестанное сообщество с молодыми людьми, которые страстно предавались карточной игре и всякого рода разгулу, привели его на край пропасти. Между тем, однако, в нем жило как будто предчувствие, что талант выведет его в люди. Продолжая писать стихи, он начал изредка показывать их своим сослуживцам. Стансы солдатской дочери Наташе доставили ему похвалу всех товарищей и приязнь братьев Неклюдовых, из которых один был унтер-офицером, а другой сержантом. Напротив, сатирическими и непристойными стихами насчет одного капрала, жену которого любил полковой секретарь, он наделал себе хлопот. Когда-то Державин нарисовал этому секретарю пером гербовую печать его и за то попал к нему в милость, что было очень важно, потому что тот был в великой силе у подполковника, гр. Бутурлина; теперь же он из покровителя сделался врагом Державина. Стихи, где он был осмеян, разгласились неожиданным образом. Один из офицеров, нося их в кармане, подал их вместо приказа гренадерскому капитану, а тот рассказал этот анекдот своим товарищам. Обиженный полковой секретарь стал гнать молодого стихотворца и всегда вычеркивал его имя из ротного списка, подававшегося к производству в чины. Таким образом, Державин пробыл четыре года в капралах.

К числу знакомых, которых он посещал в эту эпоху, принадлежал (как мы знаем из записок Дмитриева) уроженец Казани Осокин, отец которого имел там суконную фабрику. Молодой Осокин, впоследствии сам издавший книгу по части сельского хозяйства, любил литературу, писал стихи и был знаком с некоторыми из тогдашних писателей: он задавал им иногда пирушки, на которые приглашал и Державина как земляка своего. Тут дочь Кондратовича играла на гуслях и была душою беседы; тут же поэт увидел и Тредьяковского. Встречи с современными литераторами должны были всячески поддерживать в нем охоту к авторству.

В конце 1766 года полковым секретарем назначен был Петр Васильевич Неклюдов, один из названных выше братьев, хорошо расположенных к Державину. С этих пор служба его стала принимать более благоприятный оборот. Императрица вознамерилась ехать в Москву для открытия комиссии о составлении проекта нового уложения. Державин назначен в фурыеры и командирован, при подпоручике Лутовинове, на ямскую подставу для надзора за исправным приготовлением лошадей к проезду двора. Этот Лутовинов послан был в Яжелбицы, а старший брат его в Зимогорье. Оба, картежники и кутилы, проводили почти все свое время, с ноября 1766 до конца марта следующего года, в близлежащем Валдае, — этом, по словам Державина, «известном по распутству селе». Там они иногда целые ночи напролет просиживали в кабаке; там и ему зачастую приходилось быть с ними, но, говорит он, никакими принуждениями они не могли ни разу заставить его напиться пьяным, так как он и вообще вовсе не пил не только вина, но даже ни пива, ни меду. В обществе этих двух офицеров он научился только играть в карты. В то же время, однако, он не оставлял и стихотворства и написал в первый раз правильные шестистопные ямбы на проезд императрицы. Кабинет-министр Ад. Вас. Олсуфьев, проезжая здесь вслед за двором, велел всем гвардейским командам отправляться также в Москву. Лутовиновы, а за ними, разумеется, и Державин опроретью поскакали туда; в селе Подсолнечном, где не случилось лошадей, братья подняли страшный шум, начали буяннить и чуть было не вступили в кровавую драку со стоявшею здесь другою командой; Державин приписывает себе отклонение этого «вздорного междуособия». Но старшему Лутовинову, который кроме того не платил ямщикам прогонов, все это не прошло даром: по жалобе, принесенной Олсуфьеву при его проезде, этот офицер был разжалован за свои бесчинства. Меньшой брат, по словам Державина, избег подобной участи только тем, что поручил ему и деньги свои, и плату прогонов.

6. Вторичный отпуск. Жизнь в Москве. Серебряков

Между тем еще в самом начале 1767 года, то есть через три с половиной месяца после назначения в фурыеры, Державин был произведен в каптенармусы; когда же в начале весны гвардии приказано было возвратиться в Петербург, то он опять отпросился в отпуск в Казань, куда около того же времени и императрица отправилась по Волге с блестящею свитой. Как на это историческое плавание, так и на маскарад, данный государыне в Казани, Державин написал стихи, которые впоследствии были напечатаны в «С.-Петербургском вестнике». Из Казани он вместе с матерью и меньшим братом Андреем поехал в Оренбургскую губернию и прожил там до глубокой осени. Возвращаясь

из отпуска, он взял с собою и брата своего, которого потом из Москвы отправил в Петербург и записал также в Преображенский полк. Сам же он остановился в Москве для покупки, по поручению матери, имения на Вятке, получил отсрочку на два месяца и не возвращался в Петербург более двух лет. Как это возможно было при его службе в Преображенском полку, будет сейчас объяснено.

В Москве жил он на этот раз у своего троюродного брата Ивана Яковлевича Блудова, в собственном его доме за Арбатскими воротами на Поварской. В том же доме жил еще и другой брат Блудова, поручик Сергей Тимофеевич Максимов, и общество этих обоих родственников завлекло Державина еще более прежнего в карточную игру, сперва в маленькую, а потом и в большую, так что он вскоре проиграл деньги, полученные от матери на покупку имения. Забыв о сроке своего отпуска, он хотел отыграться; когда же это не удалось, то, заняв денег у Блудова, купил на свое имя деревню и заложил ему как это имение, так и материнское, хотя и не имел на то права. «Попад в такую беду, ездил, — говорит Державин, — с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игроками, иди, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводит в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам». Словом, наш поэт сделался отъявленным шулером. В записках его прибавлено, что, к счастью, «никакой выигрыш не служил ему впрок, и потому он не мог сердечно прилепиться к игре, а играл по нужде. Когда же не на что было не только играть, но и жить, то, запершись дома, ел хлеб с водою и марал стихи при слабом иногда свете полусвечной сальной свечки или при сиянии солнечном сквозь щелки затворенных ставней». Такой образ жизни и уже полугодовая просрочка отпуска могли дорого обойтись Державину. Но покровительствовавший ему полковой секретарь Неклюдов решился спасти молодого человека и без всякой со стороны его просьбы велел причислить его к московской команде. Тогда Державин был уже сержантом. В течение того же 1768 года был он короткое время одним из секретарей («сочинителем») депутатской законодательной комиссии и ездил опять, по вызову матери, в Казань.

Оставшись в Москве и после этого отпуска, Державин продолжал вести прежний образ жизни, и вследствие того с ним было несколько не совсем приятных случаев. Так, однажды, когда он в карете четверкой возвращался из Вотчинной коллегии, куда ездил по своим делам, его окружили при звуках трещоток будочники и, взяв лошадей под уздцы, повезли через всю Москву в полицию. Сутки просидел он с другими арестантами в карауле. На следующее утро повели его в судейскую и хотели заставить жениться на дочери приходского дьякона, которая хаживала к Блудову и Максиму. Дело об этом, начатое ее родителями, тянулось с неделю; но так как ничем нельзя было доказать его связи с этою девушкой, то наконец и должны были его

выпустить. В другой раз один из трактирных его приятелей, оскорбленный откровенным предостережением Державина насчет поведения своей жены, захотел угостить его бастонадою и назвал к себе. Державин нашел у него за ширмами трех посторонних людей; один из них лежал на постели, и Державин, узнав в нем офицера, который однажды в его присутствии проигрался на бильярде, тотчас напомнил ему об этом. Между тем хозяин вступил с Державиным в разговор и, всячески стараясь вывести его из терпения, начал уже делать трюим приятелям знаки, чтоб они принялись за дело. Но лежавший на постели здоровенный, приземистый малый, имевший подле себя орясину, сказал совершенно неожиданно хозяину: «Нет, брат, он прав, а ты виноват, и ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги». Хозяин и остальные два приятеля, говорит Державин, удивились и онемели. Этот защитник был землемер, недавно приехавший из Саратова, поручик Петр Алексеевич Гасвицкий. Начавшаяся таким образом между ними дружба продолжалась во всю жизнь Державина: свидетельством ее остается его переписка с Гасвицким.

У Максимова Державин встречал бывшего монастырского слугу, экономического крестьянина Ивана Серебрякова, из села Малыковки (нынешн. города Вольска), близ которого было имение Максимова. Этот Серебряков будет впоследствии часто встречаться нам при изложении деятельности Державина во время пугачевщины. Повод, по которому он был вытребован в Москву, заключался в том, что он подавал императору Петру III проект заселения берегов реки Иргиза выходящими из Польши раскольниками; проект был утвержден, но при исполнении его происходили разные злоупотребления, и на Иргиз принимались всякого рода люди, никогда не бывавшие в Польше. Во время следствия по этому делу Серебряков содержался в Сыскном приказе. С ним вместе сидел атаман запорожцев Черняй. Известно, что под предводительством Черняя и Железняка эти казаки, опустошив польскую Украину, разорили турецкую слободу Балту и тем подали повод к первой при Екатерине II войне с Турцией. Переловленные вследствие того запорожцы, в том числе и Железняк, отправлены были в Сибирь; Черняй же под предлогом болезни остался в Москве, и тюрьма свела его с Серебряковым. По рассказам Черняя, награбленные запорожцами богатства были зарыты в землю, жемчуг же и червонцы спрятаны в пушки. Серебряков передал это Максимову, и они вместе стали придумывать, как бы добыть эти сокровища; а так как без помощников нельзя было выполнить такого плана, то Максимов склонил на свою сторону нескольких сенатских чиновников и других лиц. Прежде всего надо было выпустить на волю Черняя и Серебрякова. Для освобождения первого воспользовались законом, которым разрешалось посылать колодников, по требованиям их заимодавцев, в магистрат, а из магистрата позволено было отпускать их под присмотром для разных надобностей. На имя Черняя составлен был подложный вексель, с помощью ко-

торого и удалось доставить ему свободу. Серебряков же был отдан Максиму на поруки. Все эти обстоятельства нужно нам будет иметь в виду при рассказе о дальнейших действиях Серебрякова. Мимоходом заметим, что историею Железняка и Черная Державин воспользовался в своей комедии «Дурочка умнее умных», в которой являются два лица под этими самыми именами.



Рассказывая о разных подобных историях, случившихся с ним в Москве, Державин не упомянул еще об одной неприятности, которую навлек на себя несчастною игрою в карты. В конце 1769 года мать прапорщика Д. И. Дмитриева подала в полицию жалобу, что Державин и Максимов, обыграв ее сына, взяли с него вексель в 300 руб. на имя одного купца, а потом выпросили у него купчую в 500 рублей на пензенское имение его отца. Вследствие этой жалобы в полицию призывали для допроса как Дмитриева, так и обвиняемых и еще двух свидетелей. Дмитриев показал, что, познакомившись с Державиным в июле 1769 года, он несколько раз играл с ним в банк-фаро на кредит (у них наличных денег не было) при Максимове и подтвердил заявление матери. Напротив, Державин и Максимов отреклись от всякой игры с Дмитриевым, а насчет векселя и купчей объяснили, что эти документы имели совершенно другое, вполне законное происхождение. Дело это поступило было в юстиц-коллегию, но за отсутствием прикосновенных лиц остановилось, и, наконец, в 1782 году за давностью лет производство его прекращено.

Таковы были люди и обстоятельства, посреди которых Державину пришлось жить в Москве. Настал уже 1770 год. Тогда наконец глубокое нравственное унижение, до которого они довели его, сделалось ему невыносимым; совесть пробудилась в нем, и он решил насильно вырваться из окружавшей его среды, а для этого единственным средством было оставить Москву. Но чтобы найти в себе довольно силы к тому, он должен был долго бороться с собой, как сам говорит в написанной им перед отъездом в Петербург пьесе «Раскаянье», в которой он, сравнивая Москву то с Вавилоном, то с магнитной горой, сознается, что она неодолимою силой влечет его к себе, и между прочим так выражается:

Повеса, мот, буян, картежник очутился
И, вместо чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнью его я погубил...

Впрочем, Державин и в Москве не оставлял вполне стихотворства: известны между прочим две эпиграммы, написанные им здесь. Мы обратим на них внимание, когда будет речь о его литературной деятельности за это время.

6. Возвращение в Петербург. Производство в прапорщики

В марте 1770 г., когда в Москве уже начиналась моровая язва, Державин окончательно собрался в Петербург. Заняв 50 руб. у приятеля своей матери, он опрометью бросился в сани и поспешил. В Твери его чуть было не удержал один из прежних друзей его, но он, поплатясь всеми остальными своими деньгами, успел-таки наконец выбраться оттуда. Ехавший из Астраха-

ни садовый ученик, который вез ко двору виноградные лозы, ссудил его 50 р., но и эти деньги он в новгородском трактире проиграл почти все: у него оставалось едва столько, сколько нужно было на проезд, да крестовик, полученный от матери, который он сохранил до конца жизни. Подъезжая к Петербургу, он наткнулся в Тосне на карантинную заставу, где ему объявили, что надо будет просидеть здесь две недели. Это показалось нетерпеливому сержанту целым веком, да и чем было ему жить столько времени? Она стал упрашивать карантинного начальника не задерживать его, представляя, что у него, как у человека небогатого, почти нет и платья, которое бы нужно было окуривать и проветривать. Ему указали на бывший при нем сундук с бумагами, большую часть которых составляли его юношеские опыты в стихотворстве, накопившиеся в течение многих лет, начиная со времени его воспитания в Казанской гимназии. Чтобы уничтожить это препятствие, Державин не задумываясь употребил самое простое средство: в присутствии караульных сжег сундук со всем, что в нем было. Мы увидим, однако, впоследствии, что не все ранние опыты его были таким образом уничтожены.

Возвратясь в Петербург, Державин застал своего брата Андрея уже капралом, но большим в чахотке, почему и отправил его в Казань; там бедный молодой человек, несмотря на нежные попечения матери, прожил только до осени и умер 25 лет от роду. Издержав в дороге последние свои деньги (кроме заветного рубля), Державин принужден был занять 80 р. у своего сослуживца, земляка и старого товарища по гимназии, Киселева. На эту сумму выиграл он еще сотни две рублей у подпоручика Протасова, с которым сблизился в Москве и который впоследствии был кавалером при великом князе Александре Павловиче. Державин в это время часто виделся с этим офицером; они составляли кружок с Петром Васильевичем Неклюдовым и Александром Васильевичем Толстым, капитаном 10-й роты, в которой тогда находился и Державин. Последний часто оказывал им услуги пером своим: он писал для них то деловые бумаги, то письма, между прочим и любовные для Неклюдова. Сверх того он им угождал и искусством своим срисовывать пером гравюры лучших художников. К этому-то времени, вероятно, относится и копия, сделанная Державиным с гравированного портрета Елизаветы Петровны, работа, которую Дмитриев, едва ли верно, относит к гимназическим годам поэта. По словам Державина, «честные и почтенные люди» очень полюбили его и, кажется, имели на него хорошее влияние. Они же вскоре помогли ему получить первый офицерский чин. Вот как это было.

В 1771 г. Державин переведен был в 16-ую роту и сделан фельдфебелем. Эту должность исполнял он так усердно и исправно, что когда назначено было идти в лагерь под Красный Кабачок, то капитан роты Корсаков, вовсе не зная службы, как и большая часть тогдашних офицеров, возложил всю свою надежду на Державина. Но так как и он еще не был знаком с по-

рядком вступления в лагерь, а между тем не хотел ударить лицом в грязь, то и стал учиться у солдат, недавно переведенных в гвардию из армейских полков: каждый день, вставая на заре, он собирал роту и, расставив колья, назначал лагерные улицы и входы и вводил в них людей. Во время лагеря Державин снискал в такой степени доверие всех офицеров и унтер-офицеров, что они избрали его в хозяева и поручили ему общую свою кассу. К новому году собрание ротных командиров и прочих офицеров (которое в то время подавало мнение о производствах из унтер-офицеров) нашло фельдфебеля достойным повышения в прапорщики. Но этому старался помешать полковой адъютант Желтухин (впоследствии вятский губернатор), который хотел дать ход своему брату и легко мог успеть в том, пользуясь большим влиянием на майора Маслова. Желтухин стал гнать Державина, чтобы представить его неисправным, и однажды поставил его под ружье за то, что он пришел за приказом минутою позже приезда адъютанта на полковой двор. По наговорам Желтухина майор, действительно, решил: Державина, за бедностью, в офицеры гвардии не производить, а выпустить в армейские офицеры. Но названные выше Неклюдов, Протасов и Толстой объявили положительно, что если Державин «не аттестуется», то они никого другого аттестовать не могут. Это подействовало: 1-го января 1772 г. он произведен в прапорщики той же 16-ой роты, в которой служил фельдфебелем. Таким образом, двадцати восьми лет от роду Державин наконец офицер! «Бедность, — говорит он, — была в самом деле великим препятствием носить звание гвардейского офицера с приличием: особливо так как тогда более, даже нежели ныне, блеск богатства и знатность предпочитались скромным достоинствам и ревности к службе». К счастью, он мог получить из полка в ссуду, с вычетом из жалованья, сукно, позумент и другие вещи. Продав сержантский мундир и заняв небольшую сумму, он купил английские сапоги и старенькую карету, последнюю в долг, и таким образом кое-как обзавелся всем нужным. Мы видим из этого, как тогда действительно распространена была роскошь между гвардейскою молодежью, а это указывает на общую в то время черту нравов русского дворянства: только что произведенному офицеру понадобилась карета. Жил он тогда на Литейной (где были и Преображенские казармы) «в маленьких деревянных покойчиках, хотя бедно, однако ж порядочно, устранив от всякого развратного сообщества». Замечательна причина, которою он объясняет последнее обстоятельство: «ибо, — прибавляет он, — имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою. Как был очень к ней привязан, а она не отпустила меня от себя уклоняться в дурное знакомство, то и исправил я помалу свое поведение». Не менее характерно и его замечание, что он в это время играл в карты уже не по страсти, а благоразумно и умеренно — «по необходимости, для прожитку». Самым коротким из тогдашних приятелей его, между офицерами, был поручик Алексей Николаевич Маслов, человек довольно умный и

начитанный, особливо во французской литературе, но вместе с тем ветреный и беспутный: за дружбу с ним Державин впоследствии дорого поплатился, неосторожно поручившись за него по банковому долгу в значительной сумме. Из-за этого он не раз попадал в большие затруднения. Кончилось, однако, тем, что он, впоследствии заплатив за Маслова в банк более 7000 р., выиграл дело против отца его, неправильно заложившего сыновнее имение, и купил с публичного торга из этого имения 300 душ в Рязанской губернии.





Глава IV

Пугачевщина. Деятельность в Казани

(1773 – 1774)

1. Бибиков. Поступление в секретную комиссию

Грозная общественная буря, глубоко потрясшая все слои населения обширной части русского государства, вовлекла в вызванную ею борьбу и нашего в то время тридцатилетнего поэта. Обогадив его многосторонним опытом и плодотворным непосредственным знакомством с русским народом и Россией, эта тревожная эпоха окончательно вывела его из прежнего скромного положения, из темной неизвестности и проложила ему путь к первым успехам в службе и литературе.

В исходе сентября 1773 года в Петербурге праздновалось бракосочетание великого князя Павла Петровича с дармштадтскою принцессой Наталией Алексеевной. В то самое время при дворе начались смутные толки о волнениях на юго-востоке России и о виновнике их, Пугачеве. 15-го сентября комендант Яицкого городка (ныне Уральска) Симонов писал, что этот донской казак скитается в степи по направлению к сызранской дороге. Затем стали приходить известия о быстром возрастании его толпы и взятии им, одной за другою, крепостей по реке Яику, почти до Оренбурга. 5-го октября, наконец, он стал под самым этим городом и с тех пор целые полгода осаждал его. Со вступления на престол Екатерины II являлось в разных местах уже несколько обманщиков, выдававших себя за Петра III, но ни один из них не имел успеха; к Пугачеву же толпами приставали недовольные яицкие казаки, между которыми вследствие злоупотребле-

ний местного начальства давно уже происходили беспорядки. Посланный против самозванца в октябре месяце генерал Кар, при недостаточности бывших в распоряжении его сил, не мог ничего сделать, собирался в Петербург для объяснения с Военной коллегией и кончил тем, что под предлогом болезни позорно уехал в Москву. Императрица в негодовании поспешила немедленно уволить Кара от службы и на место его избрала генерал-аншефа Бибикова.

Окончив с блестящим успехом усмирение польских конфедератов, Бибиков (как он думал, вследствие чьей-то интриги, может быть, гр. З. Г. Чернышева, президента Военной коллегии), получил было повеление отправиться в турецкую армию под начальство нерасположенного к нему Румянцева и, таким образом, из главнокомандующего должен был сделаться корпусным генералом. Он, однако, безропотно принял это назначение, собирався в Молдавию и только выпросил позволение приехать перед тем на короткое время в Петербург. Здесь он и находился, когда императрица увидела в нем надобность для усмирения Пугачева. Державин, со слов сына Бибикова, рассказывает, что она объявила Александру Ильичу новое назначение, подойдя к нему с особенною приветливостью на придворном балу, и что Бибиков смело отвечал государыне словами народной песни:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан пригожаешься,
А не надо, сарафан, и под лавкой лежишь.

29-го ноября ему дана была подробная инструкция в рескрипте, писанном самою государыней. Со званием главнокомандующего ему были предоставлены самые обширные полномочия, и в распоряжение его отданы в беспокойных местностях все духовные, военные и гражданские власти. Он должен был на первый случай ехать прямо в Казань и дожидаться там войск, отправляемых Военной коллегией, а между тем ознакомиться на местах с положением дел и, созвав казанское дворянство, стараться возбудить его к патриотическим пожертвованиям и подвигам. Для вразумления народа ему дан был особый печатный манифест с повелением распространять его «между толпами бунтовщиков и в их окрестностях».

Недаром Екатерина в своем рескрипте назвала Бибикова «истинным патриотом». В тогдашнем русском обществе мало было людей с таким пониманием своих обязанностей, с таким высоким образованием и благородным образом мыслей. Не любя внешнего блеска, ненавидя лесть, он дорожил одним существенным и всегда служил делу, а не лицам. Екатерина II, хотя по разным причинам и не особенно благоволила к нему, однако в опасных случаях умела им пользоваться. Так на другой год после своего воцарения она послала его в Казань для усмирения бунта крестьян на уральских заводах (так называемой дубинщины), и он при этом действовал с таким благоразумием, чело-

веколубием и знанием народа, что достиг цели без кровопролития: тысячи виновных были пощажены, и только двадцать человек зачинщиков сосланы. Конечно, воспоминание о тогдашних его распоряжениях имело влияние на императрицу в новом ее выборе. При учреждении в Москве комиссии для сочинения проекта нового уложения Бибииков, избранный сначала депутатом от костромского дворянства, был назначен императрицею, из числа трех кандидатов, маршалом собрания. Как военачальник Бибииков, действуя в Польше против конфедератов, успел обратить на себя внимание первого полководца того времени, Фридриха II, который собственноручным письмом звал его к себе. Но в жизни Бибиикова есть черты, ставящие его еще выше как человека. Так, не следуя примеру своего бывшего начальника Румянцева, который в Семилетнюю войну не отдавал ему должной справедливости, Бибииков в польскую кампанию особенно отличал своего подчиненного Суворова и испросил ему награду (орден Александра Невского), которой сам еще не имел. Замечательно, что Бибииков, как и гр. Панин, не одобрял раздела Польши. Посреди своей политической деятельности он занимался и литературою. Владея языком лучше большей части contemporаных ему русских вельмож (как доказывают его письма), Бибииков между прочим перевел знаменитую в свое время поэму Фридриха II о военном искусстве. Здесь не место останавливаться на других его заслугах и обстоятельствах его жизни. Заметим только, что о любви Бибиикова к просвещению свидетельствует также школа для унтер-офицеров из дворян, учрежденная им при Измайловском полку, к которому он сам принадлежал. В характере его были два не легко совместимые качества: мучительная заботливость, не дававшая ему покоя, и рядом с нею веселость, шутка, соединенные с хладнокровием, позволявшим ему всегда владеть собою. Таков был человек, который на 45-м году жизни (он был ровесник Екатерины) должен был начать борьбу с дерзким бродягой, угрожавшим спокойствию всего государства.

При назначении Бибиикова главнокомандующим ему между прочим поручены были и следственные дела о сообщниках Пугачева; для этого к нему командированы капитан Лунин, служивший при нем еще в Польше, и два офицера гвардии по собственному его выбору. Они должны были, под его председательством, составить в Казани следственную комиссию (под именем секретной) и исполнять его поручения. Слух об этом пробудил честолюбие Державина, который давно тяготился однообразием вседневной строевой службы и не мог надеяться участвовать в походе, так как гвардию тогда на войну не посылали, а чтобы ехать в армию волонтером, у него не доставало средств. Итак, узнав о предоставленном Бибиикову выборе офицеров, Державин захотел попытаться счастья. Не будучи лично знаком с генералом, но наслышавшись о его достоинствах, он решился без всякого постороннего посредничества представиться ему. Это был один из тех смелых поступков в жизни Державина, которые не раз

выводили его из затруднительных обстоятельств и давали направление дальнейшей судьбе его. Являсь к Бибикову в первых числах декабря 1773 года, Державин объяснил ему, что, будучи уроженцем Казани и довольно хорошо зная ту сторону, он предлагает свои услуги. Бибиков отвечал, что, к сожалению, не может исполнить его желания, потому что уже выбрал двух известных ему офицеров (это были капитан-поручик Семеновского полка Савва Иванович Маврин и Измайловского — подпоручик Собакин); однако генерал вступил в разговор с развязным прапорщиком и, как вскоре оказалось, почувствовал к нему расположение. Вечером того же дня Державин, которого очень огорчила неудача, с удивлением прочитал в полковом приказе, что должен опять явиться к генерал-аншефу Бибикову. При вторичном свидании ему было приказано: через три дня быть готовым к отъезду. Мы видели, что в молодые годы Державина судьба свела его с И. И. Шуваловым; теперь она приближала его к другому знаменитому современнику высоких качеств. Это новое сближение могло сделаться многозначительным для будущности нашего поэта. Между ним и просвещенным начальником установились в короткое время самые дружелюбные отношения, которые служат к чести того и другого; к сожалению, смерть скоро положила конец поприщу Бибикова.

О деятельности Державина во время пугачевщины дошли до нас самые подробные сведения, основанные не только на записках его, но и на современной событиям официальной и частной его переписке, на журнале, тогда же веденном им, и разных черновых бумагах его руки, а также и на других подлинных документах, хранящихся в архивах. Поэтому мы имеем все средства для проверки показаний, встречающихся в его записках; но одно уже добросовестное сбережение всех его бумаг от этой эпохи служит доказательством, что ему нечего было опасаться самого мелочного анализа действий его со стороны любопытного потомка, и надобно сказать беспристрастно, что Державин с честью выдерживает такой анализ. Конечно, в его поступках и за это время легко заметить ошибки и увлечения, общие, впрочем, всем участвовавшим в тогдашних правительственных распоряжениях, но мы не найдем в его поведении ничего, что бы могло бросить тень на его честность и правдивость.

В Петербурге Державин случайно узнал, что во Владимирском гренадерском полку, который стоял при Ладожском канале и должен был также отправиться в Казань, некоторые недовольные солдаты собирались положить оружие перед Пугачевым. Державин, находя, что в тогдашнее смутное время нельзя было оставлять такого обстоятельства без внимания, рассказал об этих толках Бибикову. Тот счел нужным предписать начальствам тех губерний, где войска должны были проходить, чтобы за солдатами названного полка строго наблюдали. Распоряжение это было не напрасно: по приезде в Казань Бибиков, по свидетельству Державина, получил от нижегородского губернатора

Ступишина донесение, что между гренадерами Владимирского полка, действительно, были злоумышленники, но что они уже наказаны.

2. Прибытие в Казань. Успехи Пугачева

По распоряжению главнокомандующего, согласно с данными ему приказаниями, избранные им в «секретную комиссию» офицеры должны были, еще прежде него, ехать в Казань. Вслед за другими пустился в путь и Державин. Между Петербургом и Москвой его обогнал сам Бибииков, выехавший 9-го декабря. Он вез с собою помянутый манифест, напечатанный при сенате в 1200 экземплярах. Этот самый манифест положено было перепечатать в Москве церковными буквами. Для этого, а также для распоряжений об отправке бывших там полков к Казани Бибииков пробыл в Москве четыре дня от (14-го до 18-го декабря). Здесь в то время еще не вполне изгладились следы моровой язвы, и недавно успокоившаяся чернь волновалась опять, с явным сочувствием к самозванцу.

Таким образом, Державин приехал в Казань ранее Бибиикова. Назначение полководца, памятного в этом краю по своей деятельности во время бывших там за десять лет перед тем волнений, произвело на местных жителей самое благоприятное впечатление. При одном известии о скором его прибытии многие казанцы, от страха удалившиеся, стали возвращаться в город. Совсем другого рода молву готовили себе некоторые из подчиненных Бибиикова. Старшим офицером секретной комиссии был Лунин. Вот что писал о нем в частном письме архимандрит Платон Любарский: «На сих днях прибыл сюда г. капитан Лунин с канцеляриею и командою для строжайшего по оренбургским делам следствия; для комиссии и содержания секретных колодников занял он насильно семинарию и тем нас немало утеснил, да чуть ли и совсем скоро не выживет. Он не смотрит ни на какие привилегии и состояния». Державин также говорит в своих записках, что прибывшие в Казань офицеры, как люди зажиточные, имевшие там много знакомых, а иные и родственников, шумно встречали наступившие святки; он же, напротив, жил уединенно в доме своей недостаточной матери, пользуясь случаями, чтобы от крестьян, приезжавших из его «деревнишек» с оренбургского тракта, разузнавать о движении злодейских шаек и расположении умов в народе.

Наконец в ночь с 25-го на 26-е декабря, т. е. на второй праздник Рождества, прибыл в Казань и сам главнокомандующий. Приезд его окончательно успокоил город: все стали верить, что опасность совершенно миновала и что «благоразумие и храбрость героя», как выразился тот же Платон, скоро положат конец мятежу. Такое ослепление жителей Казани продолжалась почти до самого разгрома этого города Пугачевым. Между тем у Бибиикова еще не было войска: оно начало приходить

только 29-го числа, и медленность, с какою полки собирались, крайне тревожила его при непрерывном получаемых известиях об усилении Пугачева и распространении грозного мятежа. Беспокойство нетерпеливого военачальника выражалось во всех его донесениях императрице и письмах к жене. «День и ночь работаю, как каторжный, — писал он к последней, — рвусь, надеждаюсь и горю, как в огне адском». Он ясно видел опасное положение края, не скрывал его от государыни и понимал всю великость своей ответственности. Конечно, сам Пугачев был в то время еще далеко: овладев всеми крепостями между Яицким городком и Оренбургом, он осаждал оба эти важные пункта. Но шайки его разливались все выше и выше по Волге и прилегающим к ней с востока областям. Неистовые толпы врывались в села и города, и уstraшенные жители принимали их с покорностью. Буйные башкиры, поднявшись поголовно, производили грабежи и убийства в селениях и на заводах и окружили Уфу; калмыки также взбунтовались. Но особенно тревожило Бибикова своеволие черни, которая не только не сопротивлялась самым ничтожным шайкам, но шла толпами навстречу Пугачеву. В то же время воеводы и вообще местные власти искали спасения в бегстве. «Гарнизоны, — писал Бибиков жене, — никуда носа не смеют показать, сидят по местам, как сурки, и только что рапорты страшные присылают». По плану Бибикова, войска должны были со всех сторон сходиться к Казани — из Тобольска, Малороссии, Польши, даже из Петербурга, — чтобы потом, под собственным его главным начальством, идти к Оренбургу и не дать Пугачеву проникнуть с одной стороны во внутренние губернии, а с другой — в северо-восточный край, где он мог соединиться с башкирами и заводскими крестьянами.

3. Посылка в Самару. Воззвание к калмыкам

Через два дня по приезде Бибикова в Казань Державин отправился к нему вечером и, рассказав о разъезжающих вокруг города шайках, напомнил ему, что пора начать действовать. «Знаю, — возразил с некоторой досадой Бибиков, — но что делать? войска еще не пришли». Конечно, он не нуждался в подобном напоминании и сам не терял времени. Тотчас по прибытии в Казань он виделся с престарелым и больным губернатором фон Брантом, который уехал было в Козьмодемьянск, но вернулся, услышав о скором прибытии нового главнокомандующего. Потом разослан был с нарочными в назначенные места привезенный Бибиковым манифест.

Между тем пришло известие, что 25-го декабря, в самый день Рождества, Самарой овладела толпа мятежников, которую жители и духовенство встретили с колокольным звоном, с крестами, с хлебом и солью, как прежде в крепостях по Яику встречали самого Пугачева. Получив донесение о том, главнокомандующий послал в Симбирск приказание майору Муфелью и под-

полковнику Гриневу очистить Самару. Для производства же там следствия он решил употребить Державина. 29-го декабря, т. е. на другой день после приведенного разговора, генерал в присутствии собравших у него дворян подошел к этому офицеру и тихо сказал ему: «Вы срочно отправляетесь в Самару; сейчас же возьмите в канцелярии бумаги и ступайте». Державин принужден был уехать так поспешно, что едва мог наскоро проститься с матерью.



Державин в молодости.

Зачем он ехал, было ему самому неизвестно. Бибииков, передавая ему свое приказание, так таинственно взглянул на него, что он готовился уже на верную гибель. Подробности поручения были изложены в двух запечатанных пакетах, которые он должен был открыть не прежде, как удалясь на тридцать верст от Казани. Из них оказалось, однако, что дело было не так страш-

но, как он думал: ему предписывалось ехать в Симбирск, там присоединиться к Гриневу и вместе с ним идти на освобождение Самары, а между тем наблюдать, в каком состоянии находится войска, во всем ли они исправны и каков дух офицеров. Пушкин справедливо замечает, что Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. По бывшим уже случаям измены он стал недоверчив и обещал государыне строго преследовать «недостойных военного звания людей». По освобождении Самары Державин должен был отыскать виновных в сдаче города и зачинщиков отправить скованными в Казань, менее виновных наказать плетьюми, а о тех, которые действовали по страху, донести, представив и самые показания их.

Любопытны рассказываемые поэтом подробности проезда его до Симбирска, куда он прибыл 30-го декабря: по словам его, в народе замечен был дух злоумышления; местами не хотели ему давать и лошадей, так что он должен был требовать их, приставив пистолет к горлу старосты. Не доезжая верст пять до Симбирска, он увидел крестьян, которые по распродаже в городе своих товаров возвращались порожнем. Желая от них узнать, в чьих руках находится Симбирск, он приказывал стоявшему у него на запятках слуге остановить какого-нибудь мужика. Когда же тот, как человек вялый и непроторный, не решался на это, то Державин положил его на свое место в повозку, а сам, став на запятки и притворясь дремлющим, схватил одного из встречных: от него он услышал, что в Симбирске есть военные люди, но что они ходят не в солдатских мундирах а в крестьянском платье и собирают по городу шубы. Это обстоятельство заставило Державина подозревать, не взяты ли Симбирск пугачевцами. Одно только показание, что у всех тамошних солдат ружья со штыками, успокоило его, потому что бунтовщики не могли иметь штыков. Итак, он въехал в Симбирск. Это было уже часу в 10-м вечера. Воевода объявил, что Гринева со своею командой уже часа за два перед тем выступил по самарской дороге для соединения с Муфелем. Державин поспешил нагнать Гринева. Они нашли Самару уже занятою Муфелем, который еще 28-го числа выгнал оттуда толпу, состоявшую из нескольких тысяч, большею частью ставропольских калмыков и отставных солдат. Толпа эта бежала в пригород Алексеевск, лежащий в 25-ти верстах от Самары, выше по той же реке.

В Самаре Державин узнал, что когда к городу приближалась злодейская шайка, то жители для переговоров с нею посылали нарочных, и что в этом особенно участвовали священники. Они, по его мнению, заслуживали бы тотчас быть отосланными в секретную комиссию; но чтобы не дать повода обвинять правительство в утеснении веры, Державин в рапорте Бибикову просил наперед прислать в Самару новых священников, а потом уже отослать прежних куда следует. В ответе на этот рапорт Бибиков выразил ему свою признательность; предположение же Державина «о наказании пойманных злодеев для устрашения прочих» главнокомандующий передал на рассмотрение генерал-майора

Мансурова, которому поручено было охранять Самарскую линию; ему между тем Бибиков предписал важнейших только преступников повесить, «а других пересечь, ибо всех казнить будет много...» Другое распоряжение Державина было также одобрено его начальником: чтобы иметь возможность вполне удостовериться, можно ли полагаться на Гринева и его подчиненных, Державин решил прервать на несколько дней самарское следствие и принять участие в походе под Алексеевскую крепость, куда шел Гринев с целью прогнать укrywшуюся там шайку. Это было выполнено удачно, и Державин, видев на деле усердие команды и ее начальников, дал о них Бибикову самый похвальный отзыв. Отсюда начались дружеские отношения между Державиным и Гриневым.

Пригород Алексеевск был почти весь населен отставными гвардейскими солдатами; некоторые из них были в Невском монастыре на погребении Петра III, и, несмотря на то, тамошнее население также поддалось обману. Чтобы дать пример строгости, Державин, по приказанию Бибикова, велел на церковной ограде перед собранным народом пересечь плетью виновных солдат. В высшей степени мягкий человек, Бибиков видел необходимость при тогдашних чрезвычайных обстоятельствах действовать страхом и прибегать к жестоким мерам. Смертные казни и телесные кары для обуздания народа были в общем плане распоряжений правительствa; это необходимо иметь в виду при тех наказаниях, которые в эту эпоху не раз приходилось совершать и Державину.

Из-под Алексеевска он вместе с Гриневым ходил и к Красному Яру (верстах в 15-ти оттуда, на реке Соку), чтобы наказать калмыков, которые, овладев Ставрополем, увезли оттуда начальников, после убитых ими, и несколько пушек. Рассеяв калмыков и отняв у них эти пушки, Гринев присоединился к генералу Мансурову. По приказанию Бибикова Мансуров должен был от своего имени написать к калмыкам увещательное послание. Труд этот взял на себя Державин. «Кто вам сказал, — говорилось между прочим в этом воззвании, — что государь Петр III жив? После одиннадцати лет смерти его откуда он взялся? Но ежели б он и был жив, то пришел ли б он к казакам требовать себе помощи? Нет разве на свете государей, друзей его и сродников, кто б за него вступился, кроме беглых людей и казаков? У него есть отечество, Голштиния, и свойственник, великий государь Прусский, которого вы ужас и силу, бывши против его на войне, довольно знаете. Стыдно вам, калмыкам, слушаться мужика, беглого с Дона казака Емельяна Пугачева, и почитать его за царя, который хуже вас всех, для того что он разбойник, а вы всегда были люди честные». Далее письмо убеждает калмыков поспешить принести государыне повинную, потому что в противном случае все погибнут при первом появлении ее войск.

Донся императрице об этом распоряжении, Бибиков представил ей и самое письмо как заслуживающее особенного вни-

мания, причем упомянул, что его сочинял «поручик Державин», которого он нарочно для того посылал в Самару по его знакомству с нравами и образом мыслей ставропольских калмыков. Из такого отзыва можно заключить, что Бибилов был вполне доволен редакцией Державина. Иное впечатление произвела она на императрицу, которая в ответе своим главнокомандующему заметила: «Письмо Мансурова к калмыкам такого слога, что оно, конечно, не напечатаю». В сущности, Екатерина была неприятно поражена не слогом письма, который, по-видимому, вполне соответствовал его назначению, а смыслом некоторых выражений, которые могли показаться ей неуместными или бестактными. Сколько нам известно, тогда в первый раз на Державина было обращено внимание Екатерины II.

По возвращении в Самару, он продолжал допрашивать жителей. Чтобы предупредить всякую огласку тайных показаний и дерзких речей, он должен был производить это следствие совершенно один, даже без писца, так что ему приходилось самому записывать все показания; называя порученное ему дело «неприятною комиссией», Державин, конечно, имел в виду не только самое свойство его, но и тяжесть сопряженной с ним механической работы. Сам Бибилов, прося князя Вяземского прислать писцов, писал ему: «Нет возможности исправиться, и офицеры сами со Зряховым (секретарем тайной экспедиции, присланным также из Петербурга) день и ночь пишут, потому что число колодников умножается». Однако и в последующее время командировки своей Державин оставался без писца. Окончив допросы и отправив важнейших преступников в секретную комиссию, Державин в Самаре дождался генерала Мансурова и потом возвратился в Казань. Так кончилась первая его служебная поездка во время пугачевщины.

В отсутствие его Бибилов получил от государыни приказание собирать сведения о всех лицах, пострадавших от мятежа, о захваченных в изменническую толпу и лишенных жизни, о их женах и детях. Оценив распорядительность Державина и его способность к письменным делам, Бибилов поручил ему же составлять алфавитные списки как всем главным сообщникам Пугачева, так и лицам, от них пострадавшим. Вместе с тем он возложил на него еще и другую работу — ведение журнала всей деловой переписки по бунту с описанием и самых мер, принимаемых к прекращению его.

4. Пожертвования казанцев. Речь Державина. Отъезд его

Державин должен был также «возбуждать в земляках своих ревность к обороне» и склонять их к образованию на свой счет вооруженных отрядов. Это было одною из обязанностей, возложенных на Бибилова Екатериною: рескриптом 29-го ноября ему, между прочим, было повелено созвать к себе все в Казани и в

окрестностях ее находящееся дворянство и, изобразив ему живыми красками опасное положение края, постараться подвигнуть это сословие к вооружению части людей своих. Бибиков, при содействии Державина, сумел в короткое время с большою ловкостью исполнить это щекотливое поручение. Но ни Державин, ни впоследствии Пушкин, излагая распоряжения Бибикова, не знали, что он в этом случае буквально следовал повелениям императрицы. Умолчал о том и сын его, который притом — что очень странно — в записках о службе Александра Ильича не сообщил данных ему при его назначении рескриптов.

Через предводителя дворянства все местные дворяне к концу года были созваны в город, и 29-го декабря происходило первое собрание их. Рано утром в этот день по всем улицам Казани слышалось публичное чтение повестки от полиции, чтобы все горожане сходились в собор, а потом, часу в 10-м, раздался звон в большой соборный колокол. В церкви прочитан был известный манифест, привезенный главнокомандующим из Петербурга, и после молебна приглашены в квартиру генерала все дворяне, а с ними и преосвященный Вениамин, тот самый, который впоследствии навлек на себя несправедливое подозрение в измене; при восшествии на престол Екатерины II он занимал архиепископскую кафедру в Петербурге, а вскоре после того (еще в 1762 году) был переведен в Казань. На этом-то собрании Бибиков подошел к Державину и объявил ему приказание тотчас же ехать в Самару. Оно было немедленно исполнено.

По отъезде Державина было новое собрание дворян, 1-го января 1774 года. Бибиков обратился к ним с патриотическою речью, в которой, представив бедствия, ожидающие их в случае ниспровержения законного порядка, грозил наказанием за измену, обещал награды за верность и усердие и вызывал дворянство на содействие правительству. Речь его произвела сильное впечатление: собрание с большим одушевлением приступило в тот же день к общему между собою совещанию и единогласно определило выставить на свой счет вооруженный конный корпус, дав по одному человеку с каждых двухсот душ. Определение это было окончательно изготовлено уже 3-го января и тогда же препровождено к главнокомандующему при письме от имени дворянства всего Казанского уезда.

Известно, как Екатерина II оценила это пожертвование: в рескрипте на имя Бибикова, назвав себя «помещицей Казанской губернии», она объявила, что следует примеру дворянства и также дает по рекруту с каждых 200 душ в тамошних дворцовых волостях своих. Благодарность дворянства за эту милость, возбудившую общий восторг, взялся выразить Державин и написал речь, обращенную к государыне. Для выслушивания речи дворяне в первых числах февраля приглашены были в дом губернского предводителя И. Д. Макарова, который и прочел ее перед портретом Екатерины. Речь эта, которую Державин в одной из своих рукописей называет «первым опытом малых своих способностей», тогда же была напечатана в «С.-Петербургских

ведомостях». В ней поэт торжественным тоном, во вкусе Ломоносова, иногда с истинным одушевлением, восхваляет действия императрицы в тогдашних трудных обстоятельствах, начиная с самого назначения Бибикова. «Величие монархов, — говорит он, — наипаче познается в том, что они умеют разбирать людей и употреблять их во благовремени: то и в нем (т. е. в Бибикове) не оскудевает ваше тончайшее проицание. На сей случай здесь надобен министр, герой, судья, всенародный чтец святой веры. По прозорливому вашему императорскому величеству соизволению мы все сие в нем видим, за все сие из глубины сердец наших любомудрой душе твоей восписуем благодарение». Такие похвалы Бибикову были, конечно, искренним выражением общего о нем мнения, которое, как мы видели, давно уже утвердилось в тамошнем краю. По поводу этих похвал Бибиков, представляя речь Екатерине, оговорился таким образом: «Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что претительно подносить сочинение, где дворянство почтило и меня хвалами, но все сии хвалы относятся как к главному источнику к вашему императорскому величеству. Дворянство же о поднесении сего убедительно меня просило». В заключении речи Державин так выражается по поводу принятого императрицею названия казанской помещицы: «Та, которая владычествует нами, подражает нашему примеру... Признаём тебя своею помещицею. Принимаем тебя в свое товарищество. Когда угодно тебе, равняем тебя с собою. Но за сие ходатайствуй и ты за нас у престола величества твоего» и т. д. Речь была представлена императрице при том же донесении, как и письмо к калмыкам; однако сочинивший ее «казанский дворянин» не был назван по имени. Но речь эта произвела совсем другое впечатление, чем то письмо: в ответе своем главнокомандующему императрица заметила, что «речь, говоренная в собрании дворянском, прямо благородными мыслями наполнена», и вслед за тем прислан был манифест, который повелено прочесть во всех церквях и положить в архиве каждого города в нескольких экземплярах. Это распоряжение было вызвано тем, что некоторые уезды последовали примеру Казанского; манифест относился и к ним; в Казани же и мещане приняли участие в составлении конных отрядов.

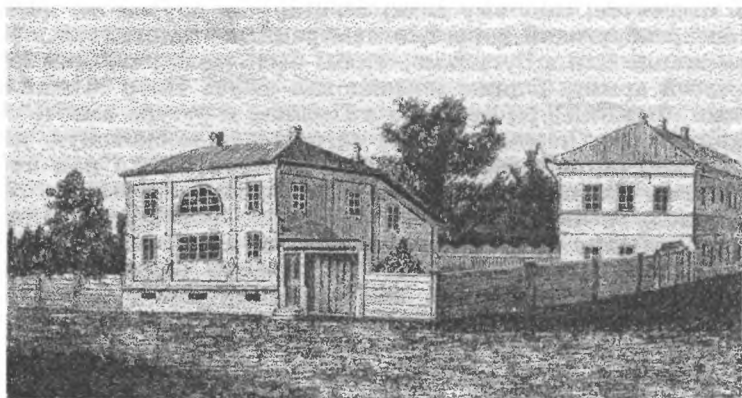
Когда прибыл в Казань этот манифест, Бибиков готовился уже к отъезду и не мог дожидаться собрания дворян (12-го марта), в котором он был читан. По состоявшемуся тут определению предводитель дворянства Макаров препроводил по экземпляру этого манифеста через нарочного, подполковника Бутлерова, при поздравительном письме, как к Бибикову, так и к Державину «как имевшему участие в полезных определениях казанского общества».

Бибиков не имел причины долее оставаться в Казани. Склонив дворян к патриотическим пожертвованиям, дождавшись посланных к нему на подкрепление войск и направив их по трем дорогам к осажденному Оренбургу, главнокомандующий мог считать свое дело в Казани оконченным. 7-го марта прибыл туда

князь Щербатов; сдав ему дела, Бибиков на другой же день выехал по оренбургской дороге, в намерении остановиться в Кичуевском шанце или в Бугульме, чтобы быть между обоими корпусами своей армии. Одним командовал князь Петр Михайлович Голицын, бывший при нем уже в Польше и оттуда вместе с ним вызванный; ему поручено было заграждать московскую дорогу между Казанью и Оренбургом. Другой корпус был под предводительством Павла Дмитриевича Мансурова, который из города Самары должен был доставлять провиант Оренбургу и Яицкому городку, а также предпринимать поиски вверх по реке Самаре до крепости Бузулуцкой на так называемой Самарской линии; обоим корпусам предписано было соединиться в Сорочинской крепости и потом идти вместе к осажденному городу.

Державин выехал из Казани еще за день до Бибикова. Главнокомандующий, оценив способности и полкубив свойства смелого и решительного офицера, нашел полезным расширить круг действий его и дать ему в другом месте более самостоятельное назначение: он послал его в окрестности Саратова с поручениями, для объяснения которых необходимо наперед войти в некоторые подробности относительно тамошнего края и тогдашнего положения дел.





Глава V

Деятельность в Саратовском крае

(1774)

1. Посылка на Иргиз. Серебряков и Герасимов

Верст сто сорок выше Саратова в Волгу впадает река Большой Иргиз, которая, вышедши из Общего Сырта, орошает потом длинную низменную полосу заволжской степи. Вдоль Иргиза расположено несколько селений, жители которых большею частью раскольники. Главным из этих селений была некогда слобода *Мечетная* (ныне уездный город Самарской губернии Николаевск) с близлежащим Филаретовым скитом. Есть по этой реке и несколько других раскольничьих монастырей, которые, по словам Екатерины II, издавна служили «укрывательством ворам и беглым, коим раскольники, тамо скиты и монастыри заведшие, за добродетель почитают давать пристанище».

Другой притон для людей этого рода представляли берега двух степных рек южнее Иргиза. Начинаясь верстах в тридцати от него, Большой и Малый Узени текут почти параллельно друг с другом по направлению к устью Урала и, не доходя до него, кончаются огромным разливом озер, соединяющихся между собой протоками.

Против впадения Иргиза в Волгу, на нагорном (правом) берегу ее, лежит город Вольск, который в занимающую нас эпоху еще составлял дворцовое село Малыковку. Местоположение его

так живописно, что, по уверению некоторых, напоминает южный берег Крыма. По другую сторону Волги лесистые горы огибают город дугою, которая северным концом своим упирается в Волгу. Нынешний Вольск находится в пределах губернии Саратовской, но при Пугачеве село Малыковка принадлежало к Симбирской провинции огромной Казанской губернии, которая на север простиралась до Перми, а на юг до Астрахани. Петр Великий пожаловал это село Меньшикову; когда же у последнего были отобраны все имения, то оно перешло в дворцовое ведомство. Тамошние дворцовые и экономические крестьяне были в большинстве раскольники. Жители, остальную часть которых составляли татары и колонисты, промышляли преимущественно рыболовством и хлебной торговлей. При учреждении наместничеств после пугачевщины Малыковка преобразована в уездный город Вольск.

Известно, что еще при царе Алексее Михайловиче множество раскольников бежало от преследований правительства в пределы Польши, где они укрывались особенно в белорусской слободе Ветке. Чтобы побудить их возвратиться, им при Петре III обещаны были разные льготы и между прочим позволено свободно селиться по Иргизу. Вот почему Пугачев, в начале своего шатания, бежал в Ветку, а оттуда пришел на Иргиз. Здесь он посетил в Мечетной раскольничьего игумена Филарета, который при этом одобрил его план взбунтовать Яицкое войско и обещал свое содействие. Съездив в Яицкий городок, Пугачев возвратился на Иргиз и явился в Малыковке продавцом рыбы. Но тут проведальки о нем как подозрительном человеке два крестьянина, из которых с одним мы уже познакомились во время пребывания Державина в Москве, а другой будет отныне играть важную роль в командировке Гаврилы Романовича. Это были Иван Серебряков и Трофим Герасимов. Последнему удалось открыть место пребывания Пугачева в Малыковке: по указанию Герасимова он был схвачен и отправлен в Казань; но отсюда, в июне 1773 года, он опять бежал на Яик; последствия этого бегства хорошо известны.

Естественно было, что на Иргизе и в Малыковке ожидали вторичного появления самозванца. Это-то предположение, впрочем, на деле не оправдавшееся, и было причиною отправления Державина в Малыковку. Поводом к тому послужил приезд Серебрякова в Казань с предложением своих услуг правительству.

Прежде всего надо знать, что за человек был этот Серебряков. Из рассказов Державина о его поступках мы вправе видеть в нем продувного плута, прошедшего через огонь и воду, готового на все для своей выгоды. Как уже было замечено выше, он был одним из составителей проекта о поселении на Иргизе выходящих из Польши раскольников; когда же эта мера была разрешена, то Серебряков, участвовавший в приведении ее в действие, стал допускать на Иргиз всякого рода беглых людей, в том числе и крепостных. Вследствие этого он был потребован для допроса в Москву и посажен в тюрьму при Сыском приказе,

где очутился вместе с известным запорожцем Черняем. В Москве нашелся для обоих освободитель: приятель Державина по родству с Блудовым. Максимов, картежник и пройдоха, а притом владеец поместий около Малыковки, был знаком с Серебряковым и, имея связи в кругу сенатских чиновников, взял его на поруки. В то же время он весьма ловким способом, как мы видели, доставил свободу Черняю, явно надеясь участвовать с ними обоими в дележе награбленной казаком добычи. С такою целью они втроем отправились на Днепр, но так как тамошний край, поблизости к театру турецкой войны, был занят войсками и, следовательно, искать предполагавшихся там кладов было очень опасно, то Максимов и Серебряков, видя трудность предприятия, «отпустили Черняя, или, — прибавляет Державин, — куда девали — неизвестно». Между тем при появлении Пугачева, когда еще не знали кто он таков, родилась мысль, не Черняй ли это, освобожденный из заключения, и потому приняты были меры к отысканию Серебрякова и Максимова. Тогда-то, чтобы избежать беды и, может быть, загладить вины свои, они решились предложить Бибикову свои услуги к поимке Пугачева.

Серебряков воображал, что самозванцу, в случае его поражения, «некуда будет броситься на первый случай», кроме как в пустынные глухие притоны по Иргизу и Узеням, к своим доброжелателям раскольникам. Пользуясь приобретенным в Москве знакомством с Державиным, Серебряков явился к нему в Казань, чтоб быть представленным Бибикову. В привезенном им донесении на имя генерала было подробно описано, как товарищу Серебрякова, крестьянину Герасимову, удалось уже раз выследить Пугачева, и затем он просил поручить им обоим поймать злодея, когда он будет снова искать убежища в тех же местах. Для исполнения такого плана Серебряков предлагалверить надзор за их распоряжениями подпоручику Максимову как тамошнему помещику и офицеру, хорошо знакомому с краем и его населением.

Бибиков, приняв Серебрякова ночью наедине в своем кабинете, сказал потом Державину: «Это птица залетная и говорит много дельного; но как ты его представил, то и должен с ним возиться, а Максимову его я не поверю». В этом недоверии к Максимову Бибиков показал свою проницательность: мы уже видели, как этот легкомысленный офицер в Москве завлек Державина в большую игру и что предпринял потом вместе с беглым разбойником Черняем. Письма его к Державину показывают, что он по образованию стоял так же низко, как и в нравственном отношении. Что касается сущности предположений Серебрякова, то, не отвергая вероятия их, Бибиков решился командировать на Иргиз Державина.

В особом «тайном наставлении» от 6-го марта ему поручалось ехать в Саратов, а оттуда в Малыковку, с тем чтобы заранее расставить Пугачеву сети на Иргизе и Узенях, а между тем собирать сведения о тех, к кому обманщик мог прибегнуть, разведывать о его действиях и намерениях, подсылать в толпу его на-

дежных лазутчиков, наблюдать расположение умов и стараться направлять образ мыслей населения. Инструкция оканчивалась следующим образом:

«Наконец, для вступления в дело возьмите себе в помощь представленных вами известных Серебрякова и Герасимова, из которых Серебряков примечен мною как человек с разумом и довольно тамошние обстоятельства знающий; но рассуждение здравое и собственный ваш ум да будет вам лучшим руководителем; а ревность и усердие к службе представит вам такие способы, которые не быв на месте и по заочности предписать не можно; их же, Герасимова и Серебрякова, к тому по рассмотрению вашему употребите, для чего они в команду вашу точно и поручаются.

Впрочем, я, полагаясь на искусство ваше, усердие и верность, оставляю более наблюдение дела, для которого вы посылаетесь, собственной вашей расторопности. И надеюсь, что вы как все сие весьма тайно содержать будете, так не упустите никакого случая, коими бы не воспользоваться, понимая силу прямую посылки вашей».

Это заключение показывает, как много Бибиков полагался на способности, усердие и ловкость Державина; вместе с тем, однако, он счел нужным предостеречь его против излишней запальчивости: дав ему письма к местным властям, он заметил в той же инструкции: «Для снискания и привлечения к вам от тамошних людей доверенности, ласковое и скромное с ними обращение всего более вам способствовать будет». На разные издержки по порученному делу Державину тогда же отпущено четыреста рублей из экстраординарной суммы. О своих действиях он должен был доносить как Бибикову, так и двум главным после него генералам, князю Голицыну и Мансурову, а для переписки с ними получил особый ключ цифирного письма, которым иногда и пользовался.

2. Распоряжения в Малыковке. Поездка в Саратов

7-го марта Державин выехал из Казани с дорожною на семь подвод, выданной ему за печатью Бибикова, на которой был вырезан столь идущий к обоим девиз: *Vigil et audax* (бдителен и смел). Он взял с собою и Серебрякова, но из Симбирска предусмотрительно отправил его вперед, боясь, что если они вместе явятся в Малыковку, то это возбудит толки в народе.

По приезде туда первой заботой его было приискать надежных лазутчиков. Серебряков и Герасимов привели к нему дворянина красноярского крестьянина Дюпина, который взялся съездить на Иргиз за раскольничьим старцем Иовом. Этот, как удостоверили все трое, был по усердию своему особенно годен

для подсылки к бунтовщикам, тем более что знал Пугачева в лицо: он познакомился с бродягой, когда тот в первый раз укрывался на Иргизе. Через два дня Дюпин воротился с Иовом. Державин решился употребить обоих, так как за них ручались Серебряков и Герасимов, у Дюпина же была на Иргизе «семья и целая изба детей». Они взялись ехать на Яик с тайными поручениями Державина; Иов должен был постоянно оставаться в толпе Пугачева и по возможности присылать известия обо всем, что там будет происходить. Державин дал им на путевые издержки сто рублей и обнадежил их милостью правительства. Сверх того он снабдил их «наставлением»: Иову поручалось сперва доставить яицкому коменданту Симонову письмо, в котором Державин просил у него сведений и ободрял его; потом идти в сборище Пугачева под Оренбург и разведать там подробно обо всех касающихся до него обстоятельствах. А чтобы прибытие Иова к мятежникам не показалось подозрительным, Державин научил его рассказывать, что он прислан Филаретом, известным игуменом Мечетной слободы, который при первом появлении Пугачева на Иргизе благословил его на дерзкое предприятие, но после был схвачен в Сызрани и отвезен в Казань. Иов должен был сказать, что виделся с ним в Казани и слышал от него следующее: Филарет склонил в пользу Пугачева очень многих, но они требовали, для своей безопасности, чтоб игумен побывал у царя (самозванца) и возвратился к ним с уверением в его милости, а так как это теперь за неволею Филарета невозможно, то вместо него отправился Иов, с тем чтобы Пугачев выслал его к ним обратно с ожидаемым удостоверением; Филарет же, взятый в секретную комиссию, готов скорее вытерпеть всевозможные истязания и даже быть замученным до смерти, нежели открыть что-нибудь. Кажется, однако, что сам Державин потом нашел эту сказку неудобною и заменил ее другою: по крайней мере в записках своих он рассказывает, что научил посланных говорить Пугачеву, что они бежали к нему с Иргиза от страха скорой казни за то, что принимали его в своих жилищах.

Предполагая между тем и возможность измены со стороны своих поверенных, Державин, согласно с инструкцией Бибикова, старался уверить их, будто он приехал в Малыковку для встречи гусарских полков, идущих из Астрахани, и для закупки им провианта. Разглашая это и вообще в населении, Державин, как сам он сознается, имел тайную цель: в случае, если скопища Пугачева уклонятся по Иргизу к Волге, где никаких войск не было, — «несколько их от того удержать», как говорит Державин в подлинном журнале, веденном им во время пугачевщины. К сожалению, он в старости, когда писал свои записки, слишком усилил это довольно умеренное выражение, сказав, что намеревался удержать впадение мятежников во внутренность империи или приостановить их до прибытия на Яик генерала Мансурова, и что «это была истинная его цель, которая ему и удалась». Такой план показывал бы излишнюю самонадеянность

в подпоручике, при котором не было никакого войска, тем более что это предприятие далеко выходило из границ данного ему поручения. Мы увидим, в какой мере слова его впоследствии получили оправдание.

В то же время он приказал Серебрякову и Герасимову находиться на Иргизе и Узенях, чтобы предупреждать сообщение с Пугачевым, ловить подсылаемых им лазутчиков, выставив для этого особых надсмотрщиков на дорогах и перевозах; в случае же ожидаемого вскоре поражения Пугачева примечать, не появится ли он между жителями, и если он в самом деле будет урываться у них, то немедленно уведомить о том Державина.

«Словом сказать, — писал он им между прочим, — чтоб уши ваши и глаза были везде, дабы чрез нерадение не упустить того, чего смотреть должно. Исполняя же сие, как можно хранить вам себя от того, чтоб никаких на вас жалоб не было: нигде ничего силою не брать, ибо должность ваша оказать свое усердие состоит токмо в пронырливых с ласкою поступках и то весьма скрытым, а не явным образом. Нигде жителей никак не страшать, но еще послаблять им их язык, дабы изведать их сокровенные мысли; уговаривать, чтоб они ничего не боялись и оставались бы в своих местах, а ежели можно, то подавать еще искусным образом и повод, чтоб они привлекали к себе желанное нами. Поступайте так, чтоб вам, кажется, ни до чего дела не было, в противном же случае вы принудите о себе мыслить и догадываться, что вы не просто разъезжаете».

При таком взгляде на дело Державин не мог быть доволен распоряжениями стоявшего на Иргизе капитана Лодыгина, который, нестати пугая народ казнями и виселицами, мог только разогнать тамошних жителей и тем самым сделать прибытие туда Пугачева невозможным. Поэтому Державин, уведомляя Бибикова о первых своих действиях, жаловался на Лодыгина. «Не прикажете ли ему, — писал он, — остаться в своем доме и помолчать? а если он здесь надобен, то по крайней мере сообщал бы мне, что он намерен делать». На это Бибиков отвечал:

«Все принятые вами на первый случай распоряжения производят во мне особенное удовольствие. Я на благоразумие ваше полагаюсь... Капитана Лодыгина не терпите. Я к нему посылаю при сем ордер, чтоб он или в доме своем остался и жил бы спокойно, или ехал бы в Казань. Если же он не поедет, то имеете отправить его под присмотром в Казань».

Сделав в Малыковке все, что на первый случай было нужно, Державин, согласно с инструкцией, поспешил в Саратов, стоящий верстах в 140 отсюда. Этот город находился тогда в пределах Астраханской губернии, куда в походе 1773 года назначен был новый начальник, деятельный, строгий и даже несколько жесткий Петр Никитич Кречетников, родной брат более известного Михаила Никитича. Ему при этом было предписано оставаться, пока потребуют обстоятельства, в Саратове как городе ближайшем к театру военных действий. Главною целью

поездки туда Державина было желание получить в свое распоряжение отряд из войска, которым располагал губернатор в Саратове. Поводом к тому могло служить полученное в Малыковке известие о готовности киргиз-кайсаков присоединиться к Пугачеву, для чего они, по его приглашению, уже и собирались на Узеньях. Вручая Кречетникову письмо Бибикова о содействии подателю, Державин упомянул об этом известии и указывал на угрожающую со стороны киргизов опасность. В то время гвардейский офицер пользовался, особливо в провинции, еще гораздо большим почетом, нежели ныне: военные люди, носившие уже высшие чины и звания, в виде отличия были назначаемы в старейшие полки гвардии майорами или полковниками. Поэтому Державин, снабженный полномочиями главнокомандующего, мог справедливо ожидать от губернатора полного внимания к своему ходатайству. Но Кречетников, вероятно, оскорбившись его требовательным тоном, наотрез отказал ему, и между ними с первого же свидания произошло недоразумение, которым начинается ряд столкновений командированного офицера с местными властями. К этому, конечно, отчасти способствовал настойчивый и заносчивый характер Державина, но были тому и другие, более глубокие причины: они заключались, главным образом, как будет ниже показано, в отношениях самих высших начальников между собою. В подлинных документах за это время есть доказательство, что Кречетников был недоволен самим Бибиковым и в рапорте от 19-го марта косвенно жаловался сенату на недостаток войска в Саратове. Пока был жив Бибиков, так хорошо понимавший Державина, несогласия между властями не могли быть опасны для последнего, но по смерти достойного полководца обстоятельства переменились.

Первая неудача не могла, однако, заставить честолюбивого офицера отказаться от своего плана. Он придумал другой способ достигнуть цели. В Саратове была (как и теперь существует, хотя на других основаниях) контора для управления колонистами, поселенными в начале царствования Екатерины II по обе стороны Волги, вниз по течению, начиная от устья Иргиза. Эта контора была подчинена учрежденной в Петербурге «канцелярии опекунства иностранных», которая на правах государственной коллегии состояла под председательством графа Гр. Орлова. В распоряжении саратовской «конторы опекунства иностранных» было несколько артиллерийских рот (всего 600 человек), которые, как и самая контора, не зависели от губернатора. Начальник этой конторы, статский советник Михаил Михайлович Лодыжинский, был даже в неприязненных отношениях с Кречетниковым. Сблизясь, вероятно, тогда же с Лодыжинским, Державин послал нарочного к Бибикову и выпросил у него позволение, в случае надобности, брать фузелерные роты саратовской конторы. Главнокомандующий благодарил его за усердие, а конторе предписал дать ему людей, с тем чтобы начальник команды «непрерменно и действительно» исполнял его требования.

3. Воинские предприятия Державина. Князь Голицын. Производство в поручики

По возвращении в Малыковку Державин услышал, что на Иргизе, за крайними селениями, явилось на хуторах несколько человек из шайки Пугачева. Он тотчас же приказал Серебрякову и Герасимову взять двадцать надежных крестьян и ехать с ними на Иргиз. На это нужно было согласие двух лиц: дворцового управителя, Федора Кузьмича Шишковского, и экономического казначея, поручика Василия Ермолаевича Тишина. Последний (из новгородских дворян) находился в дальнем родстве с Державиным: Николай Яковлевич Блудов был женат на родной сестре Тишина, Екатерине Ермолаевне, и от этого-то брака родился в 1785 году граф Дмитрий Николаевич Блудов. Шишковский беспрекословно отрядил к Державину десять человек, Тишин же отозвался, что без особенного разрешения начальства не может дать людей «в неведомую посылку», тем более что Серебряков, по прежним его делам, требуется «в юстицию» и у него, как подозрительного человека, люди под присмотром быть не могут.

Сильно взволнованный этим отказом, Державин с негодованием жаловался Бибикову на неповиновение казначея. Но Александр Ильич, измученный слишком напряженной деятельностью, был уже безнадежно болен и не мог сам отвечать. За него написал ответ родственник его, избранный в начальники казанского ополчения (но, к сожалению, не оправдавший этого выбора), генерал-майор Леонтьевич Ларионов. В этом письме было сказано, что главнокомандующий «с крайним огорчением внимал поступок» Тишина и приказал послать ему ордер, «чтоб он немедленно приказание Державина исполнил и никогда не смел отговариваться». «Сие снисхождение, — продолжал Ларионов, — показывается ему для того, чтоб он особливим радением и старанием о исполнении вами ему предписываемого вину свою загладил. И чтоб никакой надежды на экономическое правление не полагал и воле вашей повиновался, о том и в оное правление предложение послано». Казначей должен был смириться и в точности исполнить требование Державина. Однако неудовольствия между ними возобновлялись и после. Трудно при этом слагать вину на одного Тишина, но нельзя умолчать, что против него есть еще и другое свидетельство, именно жалоба протопопа Кирилла в письме к Державину. Жители Малыковки, по письменным приговорам, дали место под постройку духовного правления. Тишин, поссорившись со священником, пришел со своими людьми к начатому строению, вел им разломать сделанное и разогнал работников палкой, грозя высечь их плетью. «Когда протопоп, — говорил он, — у Державина милости ищет, так я посмотрю, как он его защитит». Мы увидим впоследствии, какую ужасною смертью погиб от разъяренной пугачевской толпы этот самый Тишин со всем своим семейством.

Требуя помощи от малыковских властей, Державин учтивым письмом обратился и к Кречетникову с возобновлением просьбы прислать 20 или 30 казаков, но получил вторичный отказ.

Бибииков в последнем письме своем к Державину, от 31-го марта, радостно сообщил ему важное известие о поражении Пугачева князем Голицыным при крепости Татищевой, вследствие чего с Оренбурга снята была осада, продолжавшаяся уже полгода. Здесь скажем несколько слов об этом первом победителе самозванца, храбром и образованном генерале, с которым Державин скоро вступит в частые сношения и который полюбит его так же, как Бибииков. Князь Петр Михайлович с отличием участвовал под начальством Бибиикова уже в польской кампании; сын знаменитого петровского генерал-адмирала, он был пятью годами старше Державина и, судя по действиям его в пугачевщину, конечно, прославился бы еще более, если бы деятельностью его не прекратила ранняя смерть уже в 1775 году. Известно, впрочем, ничем не доказанное предание о смерти его от предательского удара Шепелева на дуэли, устроенной будто бы Потемкиным из ревности. Во время пугачевщины Голицын вел походный журнал, которым пользовался Рычков в своей летописи об осаде Оренбурга.

Соединившись на Самарской линии с Мансуровым, Голицын пошел к Оренбургу. На пути его лежала крепость Татищева, которая, находясь при Яике, открывала дорогу с одной стороны к Оренбургу, а с другой — к Яицкому городку. Здесь-то Пугачев встретил шедшие против него войска, имея 9.000 человек с 36 пушками, и 22-го марта был разбит наголову, причем потерял две трети своей толпы и всю свою артиллерию. Сначала надеялись, что и сам он в числе убитых, но вскоре оказалось, что он бежал в степь за реку Сакмару; у Сакмарского городка князь Голицын настиг его и вторично разбил. Освобожденный Оренбург благословлял победителей. Генерал Мансуров 4-го апреля был отряжен к Яицкому городку, который уже давно был в руках мятежников, а крепость его три месяца терпела осаду.

О втором поражении Пугачева уведомил Державина Ларионов, сообщая при том, что самозванец пробрался в Башкирию и намерен оттуда устремиться опять на Яик. Это известие подало Державину мысль идти самому на освобождение Яицкого городка. Полученное между тем сведение о походе Мансурова не изменило плана смелого подпоручика, который полагал, что пока разлитие рек будет задерживать генерала, он (Державин) с другой стороны подступит к городку. Итак, он начал составлять вооруженный отряд. Еще прежде саратовская контора опекунства колонистов отправила, по его требованию, часть своих фузелей в крайнюю колонию Шафгаузен и с теми, которые там уже находились, отдала в его распоряжение до 200 человек с двумя пушками. Начальник этого отряда, капитан артиллерии Елчин, должен был исполнять приказания Державина. Имея, сверх того, сотни полторы малыковских крестьян, последний снова обратился еще и к Кречетникову с просьбою отпустить с

ним партию стоявших на Иргизе казаков. По этому поводу завязалась у него любопытная переписка с астраханским губернатором, все еще жившим в Саратове. Кречетников под благоприятным предлогом опять отказал ему и советовал присоединиться к гусарскому майору Шевичу, посланному тоже на Яик, «почему и можете, — заключал он с иронией, — пользоваться уже не малейшим числом казаков, а целыми эскадронами».

Не успев добром получить желаемую помощь, Державин все-таки решился поставить на своем и по пути взять в Иргазу донских казаков опекунской конторы, отданных ею в распоряжение губернатора. Не зная еще про смерть Бибикова, он перед выступлением написал ему длинный рапорт с похвалами конторе и с жалобой на Кречетникова, письма которого приложил в копии. Он очень хорошо понимал, что, в сущности, не имел права удалиться от места, где ему поручено было стеречь Пугачева, и поэтому счел нужным заранее оправдаться в своем предприятии. Он представлял, с одной стороны, что успеет вернуться прежде, нежели Пугачев может прийти на Иргиз, а с другой, — что если Мансуров и предупредит его в Яицком городке, то никакой беды не произойдет от напрасно сделанного марша (верст до 500 в один конец, по расчету Кречетникова).

Приняв все нужные меры, склонив Максимова к пожертвованию ста четвертей муки в пользу Яицкого городка и переправив этот провиант через Волгу, Державин 21-го апреля и сам выступил со своим отрядом, но уже на другой день встретил возвращавшегося с Яика посланца своего, старца Иова, который вручил ему письмо Мансурова с известием, что этот генерал занял Яицкий городок 16-го апреля, за пять дней до выступления Державина. Так первое воинское предприятие его было прервано в самом начале своем, к немалому торжеству Кречетникова.

Этот опытный служака недаром предсказывал Державину именно такой исход дела, утверждая, что полученные им сведения не могут быть верны, и приглашая его приехать в Саратов, «если вам желательно истину о состоянии Яика ведать», на что Державин очень учтиво отвечал, что если у него не будет дела на Иргизе, то он непременно явится. Вообще замечательна сдержанность, с какою он возражал на колкие насмешки и остроты своего противника. Конечно, предприятие Державина было опрометчиво, но надо сознаться, что он выказал в этом случае распорядительность, отвагу и решимость, драгоценные в военном человеке при тогдашних обстоятельствах.

В конце последнего письма своего Кречетников снисходительно приписал своею рукою: «сейчас курьер привез к вам в моем пакете письмо, кое при сем посылаю; между тем по надписи вижу вас поручиком, то всеусердно имею честь поздравить, желая, чтоб без замедления и высшими преимуществами воспользоваться». Это известие о своем производстве Державин получил 30-го апреля: в «С.-Петербургских ведомостях» имя его напечатано в числе множества тогда же произведенных в следующий чин гвардейских офицеров; во главе же этих произ-

водств стоит имя генерал-поручика Григория Александровича Потемкина, который особливим указом 15-го марта пожалован был в подполковники Преображенского полка, так что Державин сделался его сослуживцем.

Мы видели, что письмо Мансурова из Яицкого городка было привезено старцем Иовом, которого Державин подсылал к Пугачеву как надежного лазутчика. Мансуров писал, что он вырвал этого человека из челюстей смерти, что Иов был в заключении, терпел истязания и откупался от присужденной ему казни деньгами, которые с трудом занимал. Обстоятельство, что Иов попал в руки Пугачева, тогда как он должен был играть роль его приверженца, показалось Державину подозрительным, и потому в ответе Мансурову он спрашивал: «Захваченные вашим превосходительством в Яицке злодеи по строгом их расспросе не докажут ли, что они имели со здешними раскольниками, а особливо в бытность мою здесь, переписку, ибо мне чудно, что ни один шпион, посланный мною на Яик, ко мне не возвращался, даже и сей самый Иов, имея важные наставления в рассуждении Пугачева, попался к ним в руки. Неужто был он столь нерасторопен, что сам себя открыть мог?» Сомнения Державина выражены им еще полнее и положительнее в позднейшем письме к Мансурову же, где он между прочим говорит: «По смятности его (т. е. Иова) рассказов для меня его похождения непонятная загадка. Как он раскольник, а они все подозреваются в доброжелательстве к злодею, то не было ли от него, вместо услуги, каких пакостей?»

После носился слух, прибавляет Державин в записках своих, что Иов и товарищ его Дюпин, по словам его, убитый, сами пришли к бывшей в Яицком городке жене Пугачева Устинье, объявили о своем поручении и открыли письмо к Симонову.

4. Смерть Бибикова. Князь Щербатов

Первое известие о кончине любимого начальника Державин получил не прежде 24-го апреля в кратком письме астраханского губернатора. Оно должно было сильно поразить его. Не суждено было Бибикову доехать до Оренбурга вслед за войсками. Горячка, следствие непомерных трудов и невнимания к здоровью, остановила его в Бугульме. Адъютант штаба главнокомандующего Алексей Мих. Бушуев, рукою которого писана большая часть донесений Бибикова императрице, в самом начале апреля сообщал Державину: «он крайне болен, и вчерашний вечер были мы в крайнем смущении о его жизни, но сегодня смог он подписать все мои бумаги с великим трудом. Он приказал о сем таить, однако ж я, по преданности моей к вам, не могу того от вас скрыть, с тем только, чтоб никому не сказывать. Машмейер (доктор) уверяет нас, что он чрез несколько дней встанет, и сам из крайнего смущения сделался весел». Причиною видимого улучшения в ходе болезни было известие о победе при Татище-

вой: оно оживило страждущего, но не надолго. Бибиков сам уже понимал свое положение и за два дня перед смертью, в последнем донесении государыне, дрожащею рукою приписал на полях: «Если б при мне был хоть один искусный человек, он бы спас меня; но увы, я умираю вдали от вас».

Екатерина в самый день получения этих строк (20-го апреля, накануне Светлого воскресенья) своей рукою написала в Москву князю Волконскому, чтобы он немедленно отправил к больному лекаря Самойловича, «дабы не мешкав ехал к нему и посмотрел, не можно ли как-нибудь восстановить здравие, столь нужное в теперешних обстоятельствах, сего генерала». Но уже было поздно: еще 9-го апреля Бибикова не стало. Эта внезапная и невознаграждаемая утрата привела в уныние не только его приближенных, напр., Бушуева и Кологривова, которые в письмах выражали свое горе Державину, но и всю Россию. Платон Любарский, сказавший слово на погребении Бибикова (24-го апреля), писал через несколько дней Бантыш-Каменскому: «О Бибикове я уже писал; теперь нечего, ибо об нем или много, или уже ничего лучше не упоминать. О Бибиков! или бы он вечно жил, или уж его никогда бы на свете не было! тело его здесь еще, до упадения в Волге воды» (по желанию семейства покойного, оно должно было отвезено быть в его имение). Как обыкновенно бывает в подобных случаях, молва приписывала эту кончину отраве и обвиняла в ней польских конфедератов. Между тем блестящее начало деятельности Бибикова возбудило общую уверенность в скором прекращении мятежа. Думали, что Пугачев, бежав к башкирам иди киргизам, уже не оправится, что ничего не будет стоить «поймать или истребить его с корнем», как говорил архимандрит Платон. Однако как обманчивы были эти надежды, оказалось очень скоро: из юго-восточной окраины государства мятеж с ужасною быстротою разлился до средней Волги и внутренних великорусских губерний, откуда угрожал самой Москве.

Глубоко опечалила Державина кончина Бибикова: он терял в нем покровителя, который ценил и уважал его, которому он был уже так много обязан, и терял человека, к которому сам чувствовал сердечную преданность. В стихах, написанных им на этот случай, слышится искреннее чувство, и как дорога была ему память доброго начальника, видно из того, что он спустя много лет снова принялся за эту пьесу и переделал ее, отказавшись почти от всех других стихов, написанных одновременно с нею. Когда, еще гораздо позднее, сын покойного готовил «Записки о жизни и службе» его, Державин, по желанию сенатора Бибикова, написал краткую характеристику отца его, которая и напечатана при названных записках.

Вместе с известием о смерти начальника Державин получил от Кречетникова уведомление, что в должность главнокомандующего вступил старший по умершем генерал, князь Федор Фед. Щербатов, который и донес императрице о кончине Бибикова. В рескрипте от 1-го мая за ним утверждена главная ко-

манда, однако с оговоркою «впредь до новых повелений» и притом со значительным ограничением власти: он мог распоряжаться только военною силой, действуя притом по соглашению с губернаторами. О секретной комиссии, к которой принадлежал Державин, не было ничего упомянуто; в черновом же проекте рескрипта было даже сказано: «комиссия, из офицеров гвардии нашей в Казани составленная, имеет оставаться особенно от вас в нынешнем ее положении». В окончательной редакции эти слова исчезли вместе с некоторыми другими выражениями, которые могли бы дать слишком высокое понятие о доверии императрицы к Щербатову. О секретной комиссии Екатерина умолчала в намерении подчинить ее особому доверенному лицу и, действительно, вскоре поручила начальство над нею Павлу Сергеевичу Потемкину. Но еще до того в этом учреждении последовала важная перемена. В освобожденном Оренбурге оказалось так много колодников, что Бибиков признал необходимым учредить и там следственную комиссию, отдельную от казанской. Императрица одобрила это предположение, с тем чтобы каждая из обеих комиссий состояла в ведении местного губернатора. Бранту и Рейнсдорпу при этом поручалось: «конфирмовать чинимые по делам решения, наказуя злодеев по мере их преступления и соображая наказания с природным нам человеколюбием; экстракты из дел присылать в тайную при сенате экспедицию». В то же время повелено было отправить в Оренбург из Казани офицеров Лунина и Маврина с секретарем и писцами; на место же выбывших прислать в Казань из Москвы других двух обер-офицеров (Волоцкого и Горчакова).

Щербатов, находя что около Казани все успокоилось и что распоряжаться войсками ему удобнее будет из Оренбурга, передал дела по Казанской губернии Бранту, а сам 10-го мая выступил с 300 малороссийскими казаками, которых потом оставил в Бузулуцкой крепости, и 19-го числа прибыл в Оренбург. Этим он, конечно, исполнил план своего предшественника, но по принимавшим новый оборот обстоятельствам присутствие главнокомандующего, как вскоре обнаружилось, было нужнее в Казани.

Кончина Бибикова повлекла некоторые изменения в штабе войск. Почти весь состав его был распущен по желанию фаворита Потемкина, приобретающего в это время все более и более силы. Служившие при Бибикове волонтерами гвардейские офицеры просились назад в свои полки под предлогом, что главная опасность миновала, и уже на другой день после прибытия в Оренбург Щербатов писал императрице, что по поданным ему настоятельным просьбам он уволил четырех офицеров. Сверх того преображенский майор Кологривов был отставлен с чином полковника и собирался в Петербург. «Вот судьба какова! — писал он своему приятелю Державину из Казани. — Человеку и счастье превращается в несчастье... Спешу скорей уехать из сего места, дабы сколько-нибудь опомниться от горести».

При таких переменах не мог и Державин оставаться спокойным насчет своего будущего положения. Не зная, что ему пред-

принять, он советовался с Кологривовым и Мавриным. Оба отвечали очень неопределенно. «Думаю, — писал Кологривов, — что ты по своей комиссии должен быть подчинен здешнему (казанскому) губернатору или, как у тебя есть военная команда, то по оному будешь более принадлежать в команду князя Ф. Ф. Щербатова, чего бы я лучше желал, ибо он человек очень честный и тебя заочно полюбил; впрочем, сам рассудишь: тебе больше всех по твоей комиссии известно, где лучше быть».

Маврин, со своей стороны, говорил: «О делах ваших другого наставления дать не могу, как с прописанием вверенного вам дела входить письменным сношением в ту или другую комиссию, и как главные плуты и содетели великих злодеяний все почти в ведении оренбургской комиссии, а потому и уповаю, что изыскиваемые вами нечестивые каверзы следуют сюда быть присланы. Не говорю о чрезвычайности вверенной вам: в таком случае, чаятельно, вы наставление имеете».

Державин видел, что его положение стало неверным, и думал уже проситься назад в полк, на что намекал и в переписке с самим Щербатовым. Бушуев, жалуясь, что новый начальник, вопреки праву адъютантов выбирать себе назначение, самовластно определяет его в действующие полки и старается утешить его одним ласковым обращением, писал Державину: «из рапортов ваших угадываю и вашу мысль, но не думаю, чтоб без указа военной коллегии вас он уволил, почитая важным ваше дело, что из ордера усмотрите, и потому что коллегии дал он о вашей экспедиции знать, описывая с похвалою ваши распоряжения и предприимчивость. Между тем вы только один подобно мне мучиться здесь остались, а прочие гвардейские все отпущены». О добром расположении к себе нового главнокомандующего Державин слышал уже и от Кологривова, да и сам Щербатов писал ему, что императрица повелевает вести дела совершенно на прежнем основании, отнюдь не изменяя «связи и течения» их, почему он, главнокомандующий, и надеется, что Державин не поскучает продолжать свое дело с тем же усердием. Одно из последующих писем, полученных им от главнокомандующего из Оренбурга, начиналось словами: «Я всегда с особливим удовольствием рапорты ваши получаю, усматривая из них особое почтение и труды ваши, с которыми исполняете вы возлагаемое на вас дело. Все последние рапорты ваши делают вам честь, а во мне производят к вам признание».

Естественно было, что, видя такое внимание к своей деятельности, Державин переменял намерение, тем более что вскоре князь Голицын и Мансуров также стали в самых лестных выражениях изъявлять ему свое доверие. Особенно должен он был ободриться, когда, в противоположность резким суждениям Кречетникова, все три генерала стали решительно одобрять не удавшийся его план идти на помощь Яицкому городку. Теперь сами военачальники советовали или даже предписывали ему действовать вооруженною рукою, к чему давно стремилось его честолюбие, и таким образом роль его, по крайней мере на вре-

мя, изменялась. Генералы писали ему, чтобы он со своими отрядами принял участие в истреблении или поимке разбежавшихся шаек Пугачева. Щербатов приказывал ему составить от Иргиза до Яика цепь из фузелерных рот и донских казаков для прикрытия течения Волги. По просьбе Державина доблестному полковнику Денисову, шедшему с Дона с пятьюстами казаками, велено было оставить сотню в Малыковке. Прибыв туда в начале мая месяца, Денисов стал требовать провианта для своего отряда. Державин, уже отправив на Яик к Мансурову весь пожертвованный Максимовым запас, был в затруднении. Кречетников, у которого он просил провианта из саратовских магазинов, опять отказал ему. Между тем Державин, по требованию Мансурова, закупал провиант в Сызрани через тамошнего воеводу Иванова, который очень почтительно переписывался с ним и уведомлял, что припасов заготовлено на 2000 руб., но что для отправки их надо ждать прикрытия с пушками, так как по степи бродят большие партии калмыков, «с которыми без орудий сладить никак нельзя, потому что они имеют кольчуги и поступают азартно». Восстание калмыков было следствием занятия Яицкого городка Мансуровым: часть непокорных яицких казаков, под предводительством Овчинникова, перебралась через Самарскую линию и пробежала в Башкирию; другая же часть, рассыпавшись по степи, успела возмутить оренбургских и ставропольских калмыков и склонила их бежать за Овчинниковым также через Самарскую линию.

Весть о разбое этих калмыков была причиною, что Державин уже не довольствовался сотнею казаков, а с разрешения Щербатова требовал, чтобы Денисов ему отрядил их двести, с остальными же шел бы к Сызрани для прикрытия провианта, который оттуда будет послан. Денисов сначала медлил, но скоро должен был исполнить это требование и весьма учтиво известил о том Державина. Между тем к воинской предприимчивости последнего обращались уже не только Щербатов и Мансуров: Кречетников, который недавно издевался над нею, теперь посылал ему из Саратова одно письмо за другим, вызывая его на помощь другим отрядам против калмыцких шаек. К одному из этих писем губернатор svoеручно прибавил: «Я не уповаю, чтоб такое их большое число было, как пишут из Сызрани, но сколько имеется, то нужно истребить, *о чем благоволите постараться*». Державин собирался и сам идти против калмыков, которые появились на Иргизе со всеми своими пожитками, с женами и детьми; но между тем пришло известие, что посланный Мансуровым с Яика подполковник Муфель с 800 человек успел уже, в конце мая, кончить дело, рассеяв шайку из 1000 с лишком калмыков, предводимую Дербетевым. «Этот вор и мятежник, — писал Мансуров Державину, — истреблен, взят в плен и, будучи отправлен ко мне, в дороге от ран издох».

Что касается предоставленных Державину фузелерных рот, то Лодыжинскому неприятно было удаление их из Саратова. Еще прежде, узнав о намерении первого идти на Яик, он объяс-

нял ему, что этот отряд отпущен только для охранения колоний. Теперь же, когда грабежи усилились и бунтовщики уводили лошадей, да и «на нагорной стороне появились такие разбои, что и днем бедным колонистам проезда не было», Лодыжинский находил, что артиллерийские роты гораздо нужнее ему самому, и поэтому просил: всех фузелеров возвратить в Саратов. Они сделались ему еще необходимее после пожара, постигшего Саратов 13-го мая. «Город весь выгорел в два часа времени, — писал он Державину, — дела и денежную казну спас я со своими людьми и с половиною караула; огонь мгновенно распространился по всему городу и не допустил никого прийти на помощь. Все мы чисты остались... Для рассеянных повсюду колонистских и казенных вещей караул удвоить принужден». Требуя вследствие того назад свои роты, он в приписке так оправдывался: «Я все для вас сделал, что можно было, а глава низовых стран (т. е. Кречетников) не то поет». Так как незадолго перед тем калмыки, грабившие около колоний, были наголову разбиты Муфелем, то Державин, со своей стороны, покуда не имел более надобности в конторской команде и без затруднения отпустил ее назад в Саратов, оставив у себя только 25 человек с унтер-офицером для содержания колодников под караулом и для рассылок. Но при этом он просил контору в случае непредвидимой надобности опять выслать ему свои роты. Бумага оканчивалась саркастическою выходкой против первого начальника команды, капитана Елчина, которого сперва считали очень храбрым, но о котором после Лодыжинский, извиняясь перед Державиным в своей ошибке, писал, что «он великий трус и только любит стрелять по-пустому холостыми зарядами». — «О бранных подвигах капитана Елчина, — говорил Державин, — я думаю, контора меня донести уволит. Яко не бывший в сражении и яко младший его, с удивлением молчу!»

О предшествующей деятельности Державина известно еще, что он устроил по Волге пикеты на лодках, чтобы, как он писал Щербатову, «иногда рыбацкий ботик не унес язву, заразившую наше отечество». Соображая, что водою Пугачев может скорее и незаметнее пробраться на Кубань, Державин прибавлял, что если бы такая предосторожность, почти не требующая особых издержек, была взята по Каме и Волге, «то бы как земля, так и вода стерегли Пугачева». Около того же времени Державин отправил в Казань, как он думал было, «важнейшего и секретнейшего колодника», выбежавшего из яицкой степи и называвшего себя Мамаевым. Вследствие его разноречивых показаний его допрашивали несколько раз и допросы посылали в Оренбург, требуя о нем сведений. Оттуда Маврин отвечал, что этот злодей «в главной толпе у Пугачева отнюдь не был», а находился несколько времени в Яицкой крепости у коменданта Симонова, но оттуда бежал в город к мятежникам и здесь отправлял должность писаря. Маврин находил этого преступника очень важным и советовал отправить его к императрице в Петербург. Однако Державин на это не решился, боясь произвести пустую тревогу,

и колодник отправлен был в Казань. Сохранилась инструкция, данная Державиным по этому случаю одному из фузелеров, который должен был везти Мамаева под конвоем в повозке, окруженной шестью солдатами с примкнутыми штыками и заряженными ружьями. Щербатов не дождался его в Казани и с дороги писал Державину: «Этим вы оправдали то неусыпное старание и похвальные распоряжения, кои к особенной вам чести везде в рапортах ваших вижу». Из сведений, в новейшее время появившихся в печати, оказывается, что Мамаев действительно не был таким важным преступником, какого в нем сначала предполагали. Это был солдат пехотного армейского полка, который бежал из Смоленска в Саратов, а оттуда, после наказания батогами и четырехмесячного заключения в остроге, был отправлен в Казань, где содержался одновременно с Пугачевым. Потом он бежал в Яицкий городок и хотел пробраться на Узени, но был пойман и привезен к коменданту Симонову, перед которым назвался погонщиком Богомоловым. Во время сидения Симонова с верными ему людьми в ретраншементе Мамаев находился в его отряде, но, страдая от голода, бежал к бунтовщикам, которые, услышав от него, что он прежде был подьячим, поручили ему исправлять за их писарями увещательные письма к коменданту. Но пробыв в этой толпе 16 дней, Мамаев, испугавшись приближения генерала Мансурова, бежал на Иргиз и по совету одного крестьянина отдался в руки Серебрякова, а этот отправил его в Малыковку к своему начальнику. Мамаев был допрашиваем несколько раз Державиным, потом в Казанской секретной комиссии и, наконец, в Оренбургской. На одном из последних допросов он утверждал, что его показания Державину были ложны и будто бы исторгнуты у него побоями; но так как он с самого начала беспрестанно лгал и выдумывал, то и это уверение могло быть вымышленным. Державину он говорил между прочим, что был кабинетским секретарем у Пугачева, что вместе с ним бежал из Казани на Яик, и что по дороге они заезжали к игумену Филарету, а потом посылали в Петербург двух яицких казаков, чтобы известить императрицу и великого князя, других же людей посылали в Казань для отравления Бибикова. На следующий день, однако, приехавший с Яика купец узнал Мамаева, и из разговора между ними сделалось ясным, что все, рассказанное Мамаевым, было выдуманно. Державин потребовал, чтобы в конце протокола допроса он письменно сознался в этом. Но вместе с тем Державин, желая удостовериться, не было ли и в самом деле такого рода происшествия, о котором рассказывалось в показаниях, призвал какого-то раскольничьего старца и сказал Мамаеву:

— Ну вот, ты показывал, будто бы все наврал на себя напрасно, а ведь вот это (указывая на старца) отец Филарет: он сам говорит, что ты с Пугачевым к нему приезжал; так для чего же ты меня обманываешь?

— Нет, я его не знаю, — отвечал Мамаев.

— Как! Так ты не приезжал ко мне? — спросил старец, уставив на Мамаева глаза. — Побойся ты Бога! Лучше, дурак, скажи правду, так тебе ничего не будет.

— Виноват перед Богом! — завопил Мамаев. — Так и было, мы с Пугачевым приезжали к нему.

— Ну, так врешь же, дурак! — рассмеявшись, заметил Державин. — Теперь я вижу, что ты все тут перепутал; чуть было я не послал твоего вранья в Петербург.

Затем Державин отправил его в Казанскую секретную комиссию, где, несмотря на застрачивание Мамаева легкими ударами плети и застенком, он упорно отвечал, что все взвел на себя напрасно от одного только страха и отчаяния.

5. Переписка с Брантом. Доверие генералов

В это время в сношениях Державина является новое лицо, именно казанский губернатор Яков Ларионович фон Брант, которого неспособность к такому важному посту в тогдашних обстоятельствах достаточно видна из записок Бибикова. Хотя известный граф Сиверс и признавал в нем благоразумие и мужество, но этого отзыва Брант вовсе не оправдал своим поведением: Павел Потемкин, находясь в Казани при нападении на нее Пугачева, называл Бранта губернатором ничего не разумеющим. Когда, в первый раз пойманный, Пугачев, прежде своих успехов на Яике, содержался в Казани, Брант поступал очень странно. Арестанта допрашивали небрежно и пропустили много времени, прежде нежели дело было представлено в сенат. Ходили слухи, что жена губернатора, родом русская, узнав об умении Пугачева рассказывать, посылала за ним каждый вечер и не могла уснуть без его рассказней: по ее просьбе с него сняли кандалы и он был переведен из губернской канцелярии в обыкновенный острог. Когда же он бежал из Казани, циркуляр о том губернатора был разослан только четыре недели спустя. При этом погоня за ним была направлена в такие места, где вовсе не было повода искать его.

По отъезде Щербатова из Казани охранение безопасности губернии и заведование секретной комиссией лежало на губернаторе. Уведомляя о том Державина, он просил «благородного и почтенного поручика» (выражение, употребленное в письме его), чтобы тот, донося обо всех обстоятельствах в Оренбург главнокомандующему, вместе с тем давал знать о них и ему, губернатору, а также присылал бы захваченных людей в казанскую секретную комиссию. Это побудило Державина в записках своих сказать, что он в то время не знал, кто был его настоящий начальник, и решился выполнять всякое предписание, лишь бы оно клонилось к пользе службы.

Ответ Державина Бранту, написанный по-немецки в виде частного письма, очень замечателен. Любопытно это письмо уже и потому, что оно составляет почти единственный из сохранив-

шихся документов, по которому можно судить о степени знакомства Гаврилы Романовича с немецким языком; но особенное внимание заслуживает письмо это по своему содержанию. Находя, что теперь в местности, порученной его наблюдению, все успокоилось и покуда не нужно никаких распоряжений, Державин просит позволения представить на обсуждение губернатора или секретной комиссии подробный доклад по особенно важному предмету и тут же предварительно объясняет, в чем дело. Главную причину общего неудовольствия против правительства он видит в лихоимстве чиновников: «надобно, — говорит он, — остановить грабительство, или, чтоб сказать яснее, беспрестанное взяточничество, которое почти совершенно истощает людей. В секретной инструкции, данной мне покойным Александром Ильичем, было мне между прочим предписано разузнавать образ мыслей населения. Сколько я мог приметить, это лихоимство производит наиболее ропота в жителях, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их. Это делает легковверную и неразумную чернь недовольною и, если смею говорить откровенно, это всего более поддерживает язву, которая теперь свиристствует в нашем отечестве».

Известно, что повсеместное распространение лихоимства давно уже озабочивало у нас правительство: еще Елизавета Петровна, на одре предсмертной болезни, обратила внимание на это губительное зло и в указе от 16-го августа 1760 года призывала сенат «все свои силы и старания употребить к искоренению зла» и «к достижению правды», причем приписывала неисполнение законов «внутренним общим неприятелям, которые свою незаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают». «Несытая алчба корысти, — говорилось в указе, — до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и упущение — одобрением беззаконникам». Екатерина II уже с первых дней своего царствования энергически восставала против этой заразы, которую называла «скверноприбытчеством»; во время же пугачевщины она приписывала наиболее этому злу малодушие властей, которое считала столько же вредным общему благу, как и самого Пугачева. Князь Вяземский и Бибииков, быв посланы один за другим для умирения заводских крестьян, в донесениях императрице с подробностью говорили о взяточничестве, распространенном не только между низшими губернскими чиновниками, но и между воеводами; наконец, в последнем периоде пугачевщины граф Панин, разделяя мысли государыни о взятках как источнике нравственного ничтожества служащих, не раз прибегал к угрозе строгих наказаний за это гнусное злоупотребление. Понятно, что и Державин как из сношений с Бибииковым, так и из собственных своих наблюдений легко мог прийти ко взгляду, изложенному в письме к Бранту. До него никто еще так резко не высказывал мысли о прямой связи между бунтом и безнравственностью чиновного мира. Справедлива ли была эта мысль или

нет, она во всяком случае заслуживала внимания. Но минута была слишком неблагоприятна для забот о мерах к улучшению нравов, и из дальнейшей переписки Державина не видно, как письмо его было принято Брантом.



Екатерина II.

Напрасно правительство и военачальники ласкали себя мечтою, что после двух побед князя Голицына Пугачев уже не опасен. Со смертью Бибикова исчезло единство действий против возмущения, и вскоре, как сказал поэт в элегии на смерть главнокомандующего:

Расстроилось побед начало.
Сильнее разлилася язва.

Щербатов все неудачи объяснял приверженностью простого народа к злодею и великим пространством земли, которое повсюду обнять войсками не было возможности и которое причиняло замедление в переписке. Он не сознавал, что неуспех происходил главным образом от нераспорядительности полководцев: не только сам он, но и князь Голицын, один из способнейших военачальников в этой борьбе, оставались без дела на юге, тогда как их присутствие могло бы быть гораздо полезнее на северо-востоке.

Что же происходило там, пока Державин, вместе с генералами, воображал, что около Саратова уже не нужно было брать никаких предосторожностей?

Потерпев поражение при Татищевой и потом при Сакмарском городке, Пугачев бросился через Общей Сырт к селениям и заводам, расположенным вдоль реки Белой, и там, подкрепленный взбунтовавшимися снова башкирами, быстро переходил из одного места в другое. Но пребывание в том краю бдительного Михельсона заставило Пугачева опять устремиться к Яику, и теперь он начал было в верховьях этой реки забирать крепости, как прежде по среднему ее течению. Однако ж это ему не удалось. Овладев Магнитною, где был ранен в руку, он не посмел далее оставаться на Яике и перешел за Уральские горы в Киргизскую степь. Здесь взял он также несколько крепостей на Уйской линии (река Уя впадает в Тобол), но при Троицкой, бывшей уже в его руках, ему нанес поражение генерал Деколлонг, до тех пор отличавшийся только своим бездействием в Исетской провинции. Сражение при Троицкой было 21-го мая, почти ровно через два месяца после битвы при Татищевой. На другой день Пугачеву пришлось в первый раз стать лицом к лицу с грозным противником, Михельсоном, который недавно освободил Уфу и часто уже разгонял мятежнические шайки. Теперь он 22-го мая довершил поражение Пугачева, загородив ему дорогу к Челябинску, и живо преследовал его в Уральских горах. Самозванец хотел идти к Екатеринбург, но при Кунгуре встретил энергический отпор секунд-майора Попова и в середине июня поворотил к Каме, а оттуда, взяв и истребив огнем пригородок Осу, устремился к Казани.

Успех при Троицкой возбудил в военачальниках такие же надежды, как прежде победа Голицына при Татищевой. Щербатов еще не знал в точности, куда бежал Пугачев, но воображал, что он, спасшись только с восемью человеками и находясь в краю,

где много войска, не будет в состоянии собрать новые силы, а поспешит искать убежища на Иргизе. Поэтому Щербатов 12-го июня писал Державину, что считает присутствие его в том краю нужным и что все прежде сделанные им там распоряжения должны быть восстановлены. Вскоре и Брант из Казани послал Державину приказание возобновить меры для задержания Пугачева на Иргизе; при этом казанский губернатор извещал, что он, по совету Державина, при устье Камы и в Симбирске «учредил преграды» из сыскных команд и нескольких судов.

Между тем Державин, незадолго до того, отправил своих сподручников, Серебрякова и Герасимова, с провиантом в Яицкий городок, к Мансурову, который обласкал их. Они тотчас уведомили Державина, что разнесли его письма и посылки; Павел Дмитриевич (так писал Герасимов), «поговоря, приказал мне Трофиму всегда к себе ходить и от квартиры не отлучаться, и самого о происшедшем расспрашивал, и за поимку Косого ваше высокоблагородие весьма благодарил, и до нас, по вашей милости, весьма милостив и изволил говорить, что Косой очень надобный человек» и проч. Этот Косой был житель Мечетной слободы, у которого останавливался Пугачев после своей первой поездки на Яик и перед посещением Малыковки. — Вследствие нового приказания Щербатова Серебряков и Герасимов опять понадобились Державину, и он потребовал их обратно, а вместе с тем просил генералов удалить с Иргиза всякие военные команды, без чего Пугачев, конечно, не придет туда укрываться.

Как много начальники надеялись на Державина, забывая, что он, собственно, не располагал никакою военной силой, видно между прочим из письма Щербатова к Мансурову от 2-го июля, где в числе мер, принимаемых Брантом, упоминается намерение его писать к поручику Державину «о таком же учреждении на берегу команд», а в конце письма Щербатов просить уведомить г. Державина, чтобы он, «по требованию губернатора и по своему собственному расположению, взял нужные к тому предосторожности».

Вследствие полученных приказаний Державин опять усилил свою деятельность: по обе стороны Волги расставил он пикеты, каждый из 35 человек, которые день и ночь должны были делать разъезды вверх по реке, чтобы ловить подсылаемых Пугачевым для возмущения народа «передовщиков». По деревням подтвердил он приказание иметь крепкие караулы и на Волге изготовил суда. Сверх того, он решился опять потребовать из Саратова команду, чтобы употреблять ее вместе со стоявшими на Иргизе казаками и ополчением из обывателей. Наконец, замечая, что выбираемые миром старшины крестьянского общества в Малыковке по большей части пьяницы и плуты, которые потакают ворами и под видом осмотров сами грабят, он особым приказом предписал местным властям озаботиться выбором других, более надежных людей, «хотя самых первостатейных мужиков», которые бы злодеев ловили и истребляли, донося о всех попытках возмущать народ. «Ежели, — заключал Державин, —

впредь сотники и прочие начальные явятся в неисправлении своей прямой должности, то причтется сие вам в слабость, а вы можете на сей случай их выбрать не народом, ищущим ему потачки, но сами собою, на кого вы положиться можете».

На просьбу о присылке команды Державин на этот раз получил отказ: несмотря на продолжавшиеся с ним дружеские сношения, Лодыжинский не мог решиться, в угождение ему, уменьшить и без того скудные оборонительные средства Саратова. Но дело не ограничилось одной этой неудачей: едва Державин успел принять обозначенные здесь меры, как неожиданное несчастье расстроило его деятельность. 13-го июля пожар истребил Малыковку; люди лишились не только оружия, но и пропитания; нельзя было уже и думать о вооружении судов бывшими у крестьян фальконетами. Находя затем, что ему нечего более делать в Малыковке и уведолив о том генералов, Державин решил ехать в Саратов, где Кречетников давно советовал ему побывать. Он отправился из Малыковки через два дня после пожара, сделав еще последние распоряжения на случай тревоги во время своего отсутствия. Он располагал еще небольшим остатком саратовской команды и сотнею донских казаков. Фузелеры должны были по отъезде его оставаться безотлучно при селе и ночью оберегать его квартиру. Последняя предосторожность указывает на опасение, которое и в самом деле оправдалось двукратным покушением сжечь дом, где он стоял: можно подозревать, что были люди, желавшие отомстить ему за его заботы об охранении порядка. Он приказал в случае надобности вооружить народ против мятежников; если же средства для обороны Малыковки окажутся недостаточными, то командам отступить к Саратову, куда отправить и верных из обывателей, а также отвезти казну и дела на приготовленных заранее лодках. Впрочем, обо всякой опасности Державин велел немедленно извещать себя с нарочным.

6. Частная переписка

Более четырех месяцев было прожито Державиным то в Малыковке, то в колониях. До сих пор мы видели его тут по большей части только в официальных сношениях, но сохранились следы и частных его связей за это время. Служебная его переписка показывает в нем человека, пользующегося вниманием и доверием своих начальников; в частных к нему письмах он является лицом, которое считают влиятельным, которого расположением или даже покровительством дорожат; ему стараются угождать, в нем ищут. Вместе с тем эти письма указывают нам на некоторые весьма характеристические бытовые черты эпохи. Как самые ранние остатки из всей дошедшей до нас переписки поэта они тем более заслуживают внимания.

Мы уже сообщили кое-что из его сношений со своими сослуживцами под начальством Бибикова, — с Кологривовым, Бу-

шуевым, Мавриным, также с Лодыжинским. Теперь просмотрим его переписку с некоторыми другими лицами.

К числу их принадлежал, во-первых, подполковник Петр Гринев, тот самый, которому Бибиков по получении известия о занятии Самары мятежниками поручил очистить этот город.¹ Державин присоединился к нему и засвидетельствовал перед Бибиковым о его благонадежности: вот начало их взаимной приязни. После того Гринев пошел с генералом Мансуровым по Самарской линии и был главным участником в поражении шайки, овладевшей Бузулуцкою крепостью. В письме, писанном недели через две после этого дела, он благодарит Державина за присланную водку, обещает по просьбе его купить ему лошадь и жалуется, что не получил награды за бузулуцкое сражение, в котором он, как мы знаем из подлинных документов, действительно отличился. «Возьмите участие, — пишет он, — в жалости моей при сражении под бузулуцкою крепостью: кто именинник, тому пирога нет, отчего и по сих пор не выздоровел». Позднее Гринев, при письме из Яицкого городка, куда он вступил с Мансуровым, посылает Державину калмыцкую девочку с пожеланием, чтобы она ему «пондравилась». Здесь раскрывается перед нами любопытная черта нравов того века, на которую есть указания и в других письмах. В Уфимском крае, по свидетельству С. Т. Аксакова, было весьма обыкновенным делом покупать киргизят и калмычат обоего пола у их родителей или родственников, и эти малолетние инородцы становились крепостными людьми покупателя. Державин, по-видимому, обращался к разным лицам с просьбой о доставлении ему добычи этого рода. «Братец сударик, — писал ему армейский гусар Соловьев, сблизившийся с ним в Казани, — касательно до калмычат и башкирчат, так мы еще их не видали, а если случай допустит, так верьте, что не пропущу вам тем служить». Муфель же уведомлял Державина: «По прибытии моем в Яицкий городок из пленных калмычат для вас мальчиков двух и девочек двух же, выбрав, отправлю к вам». Наконец, уже после усмирения бунта, приятель Державина Вильгельми из колоний пишет ему: «Ваша девушка растет и телом, и умом-разумом».

Названный выше майор Соловьев был храбрый воин, служивший при Бибикове в Казани и потом участвовавший в походе под Алексеевск. Державин отозвался о нем главнокомандующему с большою похвалой: он вместе с Гриневым напал на известного пугачевского атамана Арапова, ворвавшегося в Самару, и разбил 10-тысячную толпу калмыков. Об этом сам он в своем письме так напоминает Державину: «Это правда, вы сказали, что завоевался: я все время был отделен вперед и в ином месте суток и за трое не получал сикурса, и не имел время к вам писать, а все, сидя на лошади, оглядался во все стороны, как волк,

¹ Этого Гринева не следует смешивать с однофамильцем его, подпоручиком Алексеем Гриневым, который обвинялся в переписке с Пугачевым, однако был оправдан.

чтоб иногда злодеи не похитили и меня... Однако, как то ни есть, а имя Соловьева с гусарами *его глупскому величеству* (Пугачеву) довольно чрез Арапова известно, который от меня и по сие время бежит».

Во время проезда из Казани в Малыковку Державин сблизился с сызранским воеводой Ив. Вас. Ивановым, который, сделавшись его усердным приверженцем, с тех пор и сообщает ему всякие слухи и вести, рассылает к начальствующим лицам его рапорты, хлопочет по поручениям его о закупке и отправке провианта; вообще предлагает почтительно свои услуги, а вместе и сам прибегает к его помощи, прося подкрепления людьми. Действительно, в конце июня Державин послал ему, с разрешения Мансурова, сотню донских казаков. Человек без большого образования, Иванов писал, однако, довольно правильно, хотя иногда и слишком уж кудревато. «Извольте, государь мой, — говорил он, — быть уверены, что принадлежит до высочайших интересов и их особ и для общества к пользе, представляю себя жертвою, как должность моя велит, и какие бы ни коснулись вам надобности, прошу меня к тому употреблять, что и исполнено будет в неукоснительном времени».

Таким же почитателем Державина был Петр Иванович Новосильцев, служивший секретарем в саратовской «конторе опекунства иностранных» и, следовательно, подчиненный Лодыжинского. Исполняя также разные поручения Державина, делая для него закупки по хозяйству и туалету, он настоятельно звал его в Саратов, называя Малыковку скучным местом и пеняя ему, что он совсем забыл город, где, говорил он, и кратковременным пребыванием вашим «несказанно обрадованы бы были многие усердные к вам из наших сограждан».

С родственником Державина Максимовым читатель уже знаком из предыдущих глав. У него было близ Малыковки на Волге, между Саратовом и Сызранью, два имения: Терса и Сосново. О тоне его писем можно судить по следующему приветствию от 23-го января 1774 г.: «Братец, душа моя Гаврила Романович. Сердцем и душою радуюсь, услыша о вашем приезде в Казань, а паче в Самару. За приписку в письме брата Ивана Яковлевича (Блудова) нижайше благодарствую; точно, что вы писали, оба да и я третий — великие дураки: у нас денег нет. Напиши, голубчик, стихи на быка, у которого денег много: какой умница он, а у кого денег нет, великий дурак! Ведь на меня и в Москве гnevаются, а в Казани бесятся, все за деньги. Черт знает, откуда зараза в людей вошла, что все уже ныне в гошпиталях валяются, одержимы не болезнью, а только деньгами, деньгами, деньгами».

Максимов считал себя обязанным Державину; в том же письме он на своем полуграмотном языке благодарит Гаврилу Романовича за помощь в получении деревни, т. е., вероятно, в счастливом окончании какой-нибудь тяжбы: «Дай Бог, — говорит он, — чтобы я в жизни имел такую ж радость, чтоб вам за то заслужить».

Часто переписывался с нашим поэтом и управлявший саратовской конторой М. М. Лодыжинский. Любопытно, что он, пересылая к Державину письма, которые получал на его имя, нередко извинялся в том, что они распечатаны. Между тем Бушуев писал Гавриле Романовичу: «Письма партикулярные посылайте осторожнее: они все распечатываются». Однажды Державин выразил Лодыжинскому свое подозрение или, по крайней мере, удивление по поводу таких странных присылок. Тот отвечал: «Повеления я никакого не имею письма распечатывать и ко мне всегда запечатанные привозятся, а только нечаянно ошибкою, от множества писем полученных, вдруг сие последовало; вы ж не токмо прежние, но и при том письме другое получили нераспечатанное, почему сами можете заключить, что сие сделалось неумышленно; а что оно никем не читано, в том клянусь вам честью, ибо по распечатании скоро усмотрено, что принадлежит не к нам».

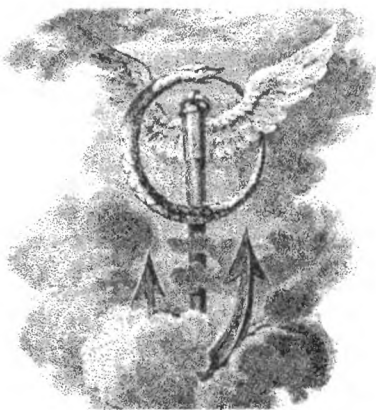
Самая дружеская переписка была у Державина с одним из крейс-комиссаров колоний на луговой стороне Волги (к юго-западу от устья Иргиза), где Гаврила Романович нередко в эту эпоху также должен был находиться. Это был живший то в колонии Панинской, то в Шафгаузене капитан Иоанн Вильгельми — Иван Давыдович, как его называли по-русски, — человек сердечный, общительный, веселый и притом масон; он особенно полюбил Державина; все письма его (до 20-ти), писанные по-немецки, без фраз и лести, доказывают искреннюю приязнь и преданность.

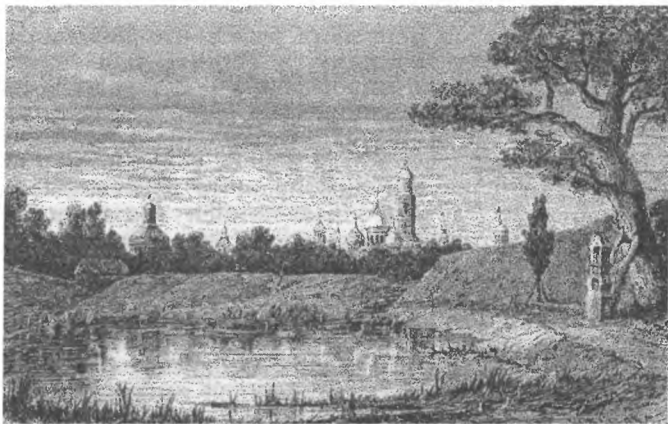
В середине апреля Вильгельми разослал по колониям циркуляр о том, чтобы по требованиям присланного поручика гвардии Державина ему оказываемо было всякое содействие и особенно давались бы подводы. Через неделю была пасха, и Вильгельми писал ему: «Христос воскрес! Я и семья моя искренно благодарим вас за добрые ваши пожелания и взаимно поздравляем вас от всего сердца. Когда вы возвратитесь, то получите здесь наши пасхальные яйца. Вам же да будет дано счастье положить к стопам великой нашей монархини Пугачева вместо красного яичка». В Малыковке Державин беспрестанно чувствовал недостаток в первых потребностях жизни, и потому как Новосильцев из Саратова, так Вильгельми из колоний доставляли ему разные предметы; напр., к этому самому письму приложен был между прочим кожаный колет. В другой раз он посылает Державину корзинку салата или снабжает его кофе. «Прошу вас, — пишет он однажды, — прислать мне завтра из Малыковки хорошую лодку, в которой я бы мог отправить к вам 800 или 1000 р. медью (казенных денег); здесь же нет ни одной годной лодки». Адрес на этом письме написан был по-французски.

В июне Вильгельми поехал в Симбирск закупать хлеб для колоний. Он уведомляет Державина о ходе своего дела и о смятении, распространяемом по Волге слухами про Пугачева, так что он не решается даже, как предполагал прежде, ехать и в Казань. Оставив семью свою в колониях, он поручает жену Державина

вину, прося навещать ее и заблаговременно предостеречь в случае опасности, чтобы она успела перебраться на другую сторону Волги. Наконец, 10-го июля, извещая Державина о конченной закупке 7000 четв. ржи, Вильгельми пишет: «Здесь новая армия Пугачева производит столько шума и ужаса, что поверить трудно; в случае надобности поручаю вам мой дом». Вильгельми и после пугачевщины продолжал переписываться с Державиным. «Вы, почтеннейший друг, — говорил он однажды, — оставили в сердце моей семьи чувство искреннейшей приязни и чистейшего уважения, которые по гроб не угаснут». Но здоровье Вильгельми в это время было уже совершенно расстроено; принужденный ходить на костылях, он в 1776 г. поехал лечиться в Сарепту (вместе с Лодыжинским, который между тем, лишившись жены, просил Державина не оставлять осиротевших детей его), и мы уже навсегда теряем обоих из виду. Вильгельми скоро умер.

Обзор переписки Державина, до отъезда его в Саратов, знакомит нас с характером его частных сношений за это время. Если значительная доля изъявляемой ему приверженности и должна быть отнесена на счет его положения, то все-таки нельзя не видеть в этих чувствах и отклика на собственные его симпатические свойства, внушавшие любовь и доверие: на его добродушие, участливое отношение к людям и общительность. Таким рисуют его многие свидетельства и в позднейшее время.





Глава VI

Дела в Саратове и их последствия

(Июль и август 1774)

1. Поездка в Саратов. П. С. Потемкин

Отправляясь в Саратов после бывшего в Малыковке пожара, Державин намеревался лично похлопотать, чтобы опекунская контора вторично отпустила ему часть своей артиллерийской команды и вместе исследовать обстоятельство, которое контора приводила как главную причину своего отказа, т. е. будто в колониях на луговой стороне Волги становилось беспокойно.

Была у него еще и другая цель при этой поездке. В Покровской слободе (против Саратова, на другом берегу Волги, ширина которой тут составляет более четырех верст) живут переселенные при Петре Великом малороссияне. До Державина дошло, будто все они втайне согласились бежать к Пугачеву в Башкирию. Доносчиком был малыковский дворцовый крестьянин Василий Иванов Попов, который сказывал, что недавно сам он это слышал в Покровской слободе от своего приятеля. Такое показание, по-видимому, подтверждалось полученным с Иргиза известием, что там шатаются малороссияне, разведывая, где именно стоят наши команды. Державин послал Попова к Лодыжинскому с письмом об исследовании этого дела. Долго не получая ответа, он решился на месте разведать, справедливо ли обвинение малороссиян, которые могли быть в сношениях с малыковскими жителями.

По приезде в Саратов Державин узнал, что Лодыжинский передал дело коменданту Бошняку, а Бошняк дал Попову отряд казаков, которые забирали малороссиян под стражу и стали грабить их дома. Между тем обвиняемые решительно отреклись от всякого злого умысла, и Попов за ложный донос посажен под караул. Надо заметить, что когда в 1772 году Пугачев был взят в Малыковке и отправлен в Симбирск, то извозчиком был этот самый Попов, впоследствии оказавшийся большим плутом и пьяницей. Пугачев тогда говорил ему, что оставил у раскольничьего игумена Филарета (на Иргизе) 470 рублей. Попов, возвратясь домой, писал к Филарету и требовал этих денег под угрозой извета. Когда впоследствии Пугачев овладел Саратовом, то малороссияне отыскали Попова, все еще сидевшего под караулом, и изранили его так, что жизнь его висела на волоске. При окончательном следствии долговременное заключение и это насилие вменены Попову в наказание, и в приговоре он отнесен к разряду оправданных.

Удостоверясь в неосновательности доноса Попова на малороссиян, Державин старался лично склонить контору иностранных к отпуску с ним фузелеров, но настояния его были напрасны: Лодыжинский слишком хорошо усвоил себе смысл пословицы: «своя рубашка к телу ближе».

В Саратове Державин получил от сызранского воеводы Иванова сообщение о бедствии, постигшем его родную Казань. Пугачев, с уральских заводов бросившись к Каме, овладел на этой реке пригородом Осою. Весть о том заставила Щербатова двинуться из Оренбурга к Казани; чтобы скорее поспеть туда, он на пути отделился от войска и прибыл в Бугульму на почтовых. Здесь он узнал о разорении Казани. Пугачев, ворвавшись в город, опустошил большую половину его огнем и мечом, но не мог овладеть крепостью, где заключились городские власти и множество жителей. Михельсон не успел нагнать его до Казани, но подошел к ней уже в вечеру того же дня. Услышав о его приближении, Пугачев встретил его в 7-ми верстах от города, около села Царицына, и здесь был совершенно разбит, что повторилось в следующее утро на Арском поле, а через два дня опять близ Царицына. После этих поражений самозванец устремился вверх по Волге. Думали, что он пойдет на Москву, и уже тамошний градоначальник кн. Волконский готовился встретить его; но Пугачев у Кокшайска переправился через Волгу и обратился на юг, — только не к Дону, как того ожидали, а по нагорному берегу Волги. Понятно, что он не хотел слишком удалиться от низовых областей и Яика, чтобы в случае неудачи иметь куда укрыться. Весть о несчастьи Казани была знаменательна для Саратова, и Державин поспешил передать ее тамошним властям.

Почти в то же время он получил другое, лично для него очень важное известие. На сцену действия вступал новый человек, и в нем еще новый начальник для Державина. Екатерина II, назначая кн. Щербатова главнокомандующим в военных действиях, не подчинила ему секретных комиссий, а отдала их в ведение губернаторов — Бранта в Казани и Рейнсдорпа в Орен-

бурге. Между тем, однако, понимая необходимость связи в действиях обеих комиссий, она приискивала человека, которому могла бы поручить их с полным доверием, и выбор ее остановился на молодом генерал-майоре Павле Сергеевиче Потемкине, внучатном брате любимца. Павел Потемкин был человек светский, получивший порядочное образование (по преданию, в Моск. университете), большой почитатель Вольтера и Руссо, которых он переводил, обходительный, любезный, но без особенных способностей и без твердых нравственных правил. Его литературные труды, между прочим драма в пяти действиях на подвиги русских в Архипелаге, давно забыты. Только что кончившаяся турецкая война, в которой он отличился, доставила ему георгиевский крест и генеральский чин. Вызвав его из действующей армии, императрица инструкцией 11-го июня возложила на него новые важные обязанности и, кроме начальства над секретными комиссиями, поручила ему: исследовать причины возмущения, изыскать на месте лучшие средства к искоренению этих причин и придумать новые основания, на которых можно впредь установить «поселянский порядок» и повиновение взбунтовавшегося «яицкого народа». Вместе с тем он должен был принимать в свое ведение казаков, возвращавшихся с раскаянием и, «персоною своею» внушая яицким казакам уважение и доверие, умиротворять их.

Прибыв в Казань в ночь на 8-е июля, то есть ровно за четыре дня до нашествия Пугачева, Павел Потемкин принял начальство над стоявшими там полками, но ничего не мог сделать к спасению города: 12-го числа, как он после доносил императрице, он вышел с отрядом из 400 человек навстречу мятежникам, но был не в силах остановить их и едва успел укрыться в крепости. На другое утро он выступил оттуда только тогда, когда Михельсон, разбив Пугачева, на рассвете занял Арское поле и дал знать о своем приближении казанским властям. Здесь Потемкин, по словам Михельсона, «своим присутствием был свидетель второй победы над Пугачевым», следовательно, сам в ней не участвовал. Вскоре определились отношения Державина к Потемкину.

Щербатов, узнав о прибытии в Казань последнего, поспешил отправить к нему все рапорты Державина и другие бумаги, отославшиеся к деятельности этого офицера, о котором в то же время отозвался с большой похвалой. Вслед за тем и Потемкин стал переписываться очень благосклонно со своим новым подчиненным. «Рассматривая дела, вами произведенные, — писал он, — с особливым удовольствием находил я порядок оных, образ вашего намерения и связь его с делами, а потому вам неместно скажу, что таковой помощник много облегчит меня при обстоятельствах, в каких я наехал Казань». Несколько позже Потемкин сообщает Державину о мерах, принятых против Пугачева: Михельсон его преследует, графу Меллину приказано отрезать его от московской дороги, а Муфелью — идти с третьей стороны, от Симбирска. «Как по таковым обстоятельствам, — продолжает он, — может быть, принужден будет злодей обратиться на

прежнее гнездо, то представляется вам пространное поле к усугублению опытов ревности вашей к службе нашей премудрой монархини. Я уверен, что вы знаете совершенно цену ее щедрот и премудрости. Способности же ваши могут измерить важность дела и предстоящую вам славу, ежели злодей устремится в вашу сторону и найдет в сети, от вас приготовляемые. Не щадите ни трудов, ни денег: двадцать тысяч и более готовы наградить того, кто может сего варвара, разорителя государственного, представить. Уведомляйте меня чаще как возможно, какие об нем слухи есть в вашей стороне. Здесь многие думают, что он пробирается на Дон, но я не думаю, а думаю, что если не усилит он своей толпы, то пойдет или на Яик, или к вам (т. е. в Малыковку). За лишнее почитаю подтверждать вам, что труд ваш будет иметь должное воздаяние: вы известны, что ее императорское величество прозорлива и милостива, а по мере и важности дел ваших, будучи посредник дел, не упущу я ничего представлять ее величеству с достойной справедливостью, и могу удостоверить вас, что хотя не имел случая вас знать, но, видя дела ваши, с совершенным признанием пребываю вашего высокоблагородия искренний слуга Павел Потемкин». После таких доказательств высокого мнения начальников о деятельности Державина нас не должно удивлять, если он иногда придавал ей слишком большую важность и выходил из границ, которые ему предписывало его служебное положение.

2. Саратовские пререкания

Посмотрим, что происходило между тем в Саратове. Это был в то время важнейший город обширной Астраханской губернии, расположенной по обе стороны Волги: граница ее начиналась на севере от устья Самары, а на юге обнимала все течение Терека. В губернском городе Астрахани было немногим более 3500 жителей, тогда как население Саратова простиралось почти до 7000. Не надо, однако, забывать, что этот город, как выше показано, очень пострадал от бывшего в мае 1774 года пожара. Многие улицы представляли печальный вид пожарища; местами строились новые дома. Уцелели между прочим на краю города обширные хлебные магазины, принадлежавшие колонистам и потому бывшие в ведении Лодыжинского.

При отправлении Кречетникова на губернаторство после Бекетова ему приказано было оставаться в Саратове как менее отдаленном месте. Несмотря на то, новый губернатор неизвестно по каким побуждениям 25-го июня уехал в Астрахань и целый месяц оставался в дороге. Может быть, он думал, что Пугачев, потерпев несколько поражений, уже не опасен: последствия показали недалководидность этого соображения. Уехав так не вовремя, он оставил Саратов на жертву несогласий двух начальников, не хотевших подчиняться друг другу. Полковник Бошняк, бывший там комендантом с 1771 г. и исправлявший вместе должность воеводы, считал себя выше Лодыжинского, чиновни-

ка гражданского и притом «человека нового», как сам он называл себя по недавнему своему определению в тогдашнюю свою должность. Тем не менее Лодыжинский, будучи бригадиром, следовательно, по чину старше Бошняка, и нося звание главного судьи опекунской конторы, смотрел на себя, как на первое в городе лицо. Такого же мнения о нем был и Державин. Служив прежде по инженерной части, Лодыжинский в вопросе о способе обороны Саратова мог, конечно, считаться более сведущим, нежели Бошняк, человек хотя и храбрый, но, как видно из его поступков, ограниченный и нерешительный. Лодыжинский не зависел от губернатора; по одному этому Кречетников не мог быть особенно расположен к нему, а с Державиным он уже прежде имел столкновения. Уезжая из Саратова, Кречетников поручил охранение города коменданту, но с тем чтобы он совещался с другими начальниками и действовал с общего согласия. В этом распоряжении заключалось уже семя раздора. Когда получено было известие о разорении Казани и о направлении, взятом Пугачевым, то Лодыжинский, по предложению Державина, решился созвать совет для обсуждения мер к обороне города. Известно, что такие совещания в тогдашних обстоятельствах бывали и в других городах.

24-го июля Лодыжинский пригласил в свою контору коменданта, нашего приезжего офицера и еще Кикина, своего товарища по должности. Комендант был того мнения, что надо укрепить Саратов и дожидаться нападения; Державин же, а за ним и другие находили, что по обширности и положению города укрепить его в короткое время невозможно, притом нет в достаточном количестве ни войска, ни артиллерии для занятия такого значительного пространства. Поэтому, согласно с настоятельным требованием Державина, положено было, в случае приближения мятежников, идти к ним вооруженною силой навстречу, а чтоб укрыть казенные деньги и тех жителей, которые не способны носить оружие, — построить земляное укрепление близ города на берегу Волги, в том месте, где находятся конторские магазины и казармы. Лодыжинский как бывший штаб-офицер инженерного корпуса составил уже и план такого укрепления. Для постройки его комендант — который в должности воеводы имел в своем ведении и полицию — согласился в один из ближайших дней прислать работников с инструментами. Он обещал также отдать артиллерийской команде, для исправления, городские пушки, поврежденные от пожара. Державин, со своей стороны, вызвался отрядить, из бывших в распоряжении его казаков 50 человек для разъездов, а в случае приближения Пугачева отдать и всю свою двухсотенную команду.

На другой день Державин, совершенно успокоенный, поскакал обратно в Мальковку, чтобы приготовить вооруженных крестьян для встречи Пугачева или поимки его в случае бегства, и, действительно, ему удалось собрать толпу тысячи в полторы обывателей, которую он и поручил командованию своего поверенного Герасимова.

Во время краткого пребывания в Малыковке Державин поспешил через нарочных известить кн. Щербатова, Мансурова и Бранта о положении дел в Саратове. Он выражал при этом надежду, что саратовское войско будет в состоянии отразить Пугачева, если он вздумает попытаться пройти на Дон. Но Державина сильно беспокоили, с одной стороны, несогласия саратовских властей, а с другой — общее настроение жителей. По первому обстоятельству он просил Щербатова прислать поскорее ордер, кому, за отсутствием губернатора, быть главным начальником. О расположении же умов он писал: «Народ здесь от казанского несчастья в страшном колебании. Должно сказать, что если в страну сию пойдет злодей, то нет надежды никак за верность жителей поручиться. Хотя не можно ничего сказать о каком-либо явном замешательстве, однако по тайному слуху все ждуть чаемого ими Петра Федоровича. Внедрившаяся в сердца язва, начавшая утоляться, кажется, оживляется и будто ждет только случая открыть себя. Ни разум, ни истинная проповедь о милосердии всемилостивейшей нашей государыни, — ничто не может извлечь укоренившегося грубого и невежественного мнения. Кажется бы, нужно несколько преступников в сей край прислать для казни: авось либо незримое здесь и страшное то позорище даст несколько иные мысли». При письме к Бранту была отправлена и копия с определения, к которому Державин, как он выразился, «подвиг начальников» в Саратове.

Но между тем, уже в самый день отъезда его оттуда, Бошняк объявил, что не исполнит определения, накануне постановленного. Поводом к тому был только что привезенный от князя Щербатова ответ на выраженные ему комендантом опасения. Уведомляя Бошняка о победах Михельсона, о стремлении Пугачева к Курмышу и о преследовании его, главнокомандующий заключал так: «Городу же Саратову опасности быть не может, потому что от стороны Симбирска и Самары приказал я обратиться, для перехвачения сего изверга, стоящие там войска». Возротивший с этой бумагой офицер (Мосолов) сообщил в дополнение слух, будто Пугачев бежит так стремительно, что почти всех своих оставляет на дороге, а сам убирается на переменных лошадях».

В этих известиях Бошняк увидел желанный предлог отступить от определения, подписанного им неохотно. Он положительно отказался дать рабочих людей и не слушал никаких убеждений Лодыжинского и других лиц, которые понимали, что «опасность не только не миновала, но еще умножилась». Между тем и Бошняк должен был так же хорошо понимать это, потому что он, в один день с ордером кн. Щербатова, получил из Пензы официальное известие, что Пугачев с толпою из 2000 человек уже в пятидесяти верстах от Алатыря, откуда до Саратова менее 400 верст. Несмотря на то, Бошняк в тот же день написал Кречетникову, что, вследствие уведомления Щербатова, он впредь до новых известий решился предположенного земляного укрепления не делать. Лодыжинский и его сторонники, не имея возможности без согласия Бошняка добыть работников, сочли нуж-

ным прибегнуть к энергической помощи Державина. Новосильцев и Свербеев тотчас же написали ему в Малыковку обо всем происходившем в Саратове. «Все здешние господа медлители, — сообщал Свербеев, — состоят в той же нерешимости, а пречестные усы (Бошняк), в бытность свою вчера здесь (т. е. в конторе), благоволили обеззаботить всех нас своим упрямством, причем некоторые с пристойностью помолчали, некоторые пошумели, а мы, будучи зрителями, послушали и, пожелав друг другу покойного сна, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх: авось, подействуют всего лучше ваши слова и тем успокоятся жители».

По этим письмам Державин 30-го июля воротился в Саратов и узнал там следующее:

По поводу известий о приближении Пугачева 27-го числа было новое совещание, на этот раз при участии местного купечества и членов Низовой соляной конторы. Здесь первоначальное определение было возобновлено, но Бошняк не подписал его. Купечество дало от себя работников, и в продолжение двух дней несколько сот человек трудились над укреплением. Между тем пришло известие, что Пугачев уже в Алатыре и идет к Саранску. Бошняк начал убеждаться в необходимости каких-нибудь предосторожностей. Он соглашался иметь около провиантских магазинов небольшое укрепление, но считал все-таки нужным возобновить вал, окружавший весь город, поставив на нем в некоторых местах батареи. Об этом прислал он Лодыжинскому 28-го числа особое мнение, объясняя, что он как комендант не может оставить города и церквей, острогов и складов вина на расхищение злодеям.

Неудобство плана сделать укрепление вокруг всего города было признано уже на первом совещании, и потому лица, подписавшие тогда определение, отправились 29-го к коменданту и старались переубедить его. Бошняк не только не принял их доводов, но на следующий день уже находил всякое укрепление около провиантских магазинов излишним, так как они лежат в яме, и предлагал перевезти провиант в город под защиту задуманного им вала, а также и лагерь переместить отсюда на большую дорогу, расположив его «перед самым городом близ каменной часовни, где и воды было бы довольно». С этим мнением Бошняк 30-го числа поехал в опекунскую контору и вместе с тем объявил только что полученный от Кречетникова ордер, чтобы все бывшие в городе воинские чины отданы были в распоряжение коменданта. Но с мыслью его о способе укрепления Саратова Лодыжинский не соглашался, находя, что провиантские магазины во всех отношениях удобнее для укрепления места, тем более что там сложено более 20.000 четвертей муки и немалое количество овса. В этом смысле Лодыжинский и Державин, только что вернувшийся в Саратов, с жаром оспаривали Бошняка. Но он, не склоняясь на их сторону, в тот же день начал строить укрепление по своему собственному плану и написал обо всем этом Кречетникову, уведомляя его вместе с тем, что

он требует из Царицына на помощь майора Дица с его отрядом. Дица звал в Саратов и Державин.

Тогда же, сильно раздраженный упорством Бошняка, Державин решился высказать ему откровенно свои мысли и написал к нему длинное, заносчивое письмо, в котором, сославшись на свое полномочие, язвительно осмеивает рассуждения Бошняка как вовсе не знакомого с инженерным делом, грозит донести обо всем П. С. Потемкину, объявляет, что он со всеми подписавшими определение берет на себя ответственность в принятом решении, и, наконец, снова настаивает на постройке укрепления по мысли Лодыжинского. Письмо в том же роде было накануне послано к Бошняку и от Лодыжинского, который выражался еще бесцеремоннее своего приятеля и просто дразнил коменданта своими грубыми выходками.

1-го августа Державин внес в магистрат предложение, чтобы укрепление было безотлагательно построено в том или другом месте; он требовал приложить к тому все силы, не исключая ни одного человека способного к работе, и приготовиться к защите до последней капли крови, а ежели кто обнаружит недостаток усердия, тот будет признан изменником и немедленно отослан, скованный, в секретную комиссию. В подкрепление этого приговора он взял с жителей подписку, которою они, в случае колебания или перехода к Пугачеву, сами себя обрекали на смертную казнь.

Предложение Державина магистрату привело к тому, что в тот же день состоялось собрание всех бывших в городе офицеров. Видя продолжавшееся упорство коменданта, тут же присутствовавшего, все единодушно соединились против него и составили определение, под которым для выигрыша времени согласились подписываться без соблюдения старшинства, кому как случится. В этом определении было между прочим сказано, что «как комендант, с 24-го июля продолжая почти всякий день непонятные отговорки, поныне почти ни на чем не утвердился и потому к безопасности здешнего города никакого начала не сделано и время почти упущено, то все нижеподписавшиеся согласно определили: несмотря на несогласие означенного коменданта, по вышеписанному учреждению делать непременно исполнение», т. е. поспешно строить укрепление по плану Лодыжинского. Этот общий приговор позволяет догадываться, что ссора Державина с Бошняком не была частным между ними делом, как можно бы заключить из записок поэта, а выражала неудовольствие большинства саратовского общества против упорного коменданта. По последнему определению работы над укреплением возобновились, но через два дня опять были прекращены. Послали спросить полицеймейстера (Мальцева), что это значит. Он отвечал, что накануне получил от коменданта приказание объявить народу через сотских и десятских, что никто на работы не наряжается, но что желающие могут идти от себя. Державин кипел гневом и негодованием: немедленно он опять написал в магистрат, строго требуя отчета в нарушении письменного обязательства. По праву члена секретной комиссии он

настаивал, чтобы воеводская канцелярия немедленно прислала к нему зачинщиков слушания.

Бошняк между тем не устал жаловаться Кречетникову на действия своих противников, между прочим и на поданное в магистрат предложение Державина, прося внушить им, чтобы они прекратили споры, которые производят в народе волнение. «В происшедших спорах, — писал он в одном из своих рапортов, — они, а особливо г. поручик Державин, всячески меня ругательными и весьма бесчестными словами поносили и бранили, и он, г. Державин, намерялся меня, яко совсем — по их мнению — осужденного, арестовать, в чем я при теперешнем весьма нужном случае вашего превосходительства и не утруждаю, а после буду просить должной по закону сатисфакции... Да и как я тому бригадиру Лодыжинскому паки про полученный мною от вашего превосходительства ордер напоминал токмо, он и на то мне объявил, что он хотя и читал, но не помнит, да и контора де у губернатора не под властью». Наконец, Бошняк жаловался, что офицеры, подписавшие последнее определение (майоры Бутыркин, Салманов, Зоргер, Быков и Тимонин), созданы были без его ведома, хотя и от имени его, и «отобрали у него команду», почему и просил почтительно новых приказаний о мерах, какие следовало принять.

Кто был прав? кто виноват? Мы не знаем, чем кончилось бы дело, если бы принято было предложение Державина идти навстречу Пугачеву и сразиться с ним в поле, но знаем, что последствия не оправдали мнения и поступков Бошняка: вместо того, чтобы, по желанно самого губернатора, энергически действовать заодно с другими, комендант посылал за несколько сот верст просить разрешения у своего начальника. Ответы Кречетникова получены были уже после занятия Саратова Пугачевым; последний ордер его даже и писан был только тогда, когда мятежники уже были в этом городе. Именно в день их прихода, 6-го августа, он писал коменданту, что одобряет его предположение о городском вале и что должно тотчас же приступить к постройке его «всем гражданством». Еще позднее Кречетников просил сенат подтвердить Лодыжинскому, чтобы он в приготовлениях к обороне Саратова поступал согласно с распоряжениями коменданта, которому он, губернатор, в своем отсутствии поручил охранение города как первому там военному начальнику. При этом он не забыл сослаться на указ 1764 г., по которому губернаторы в смутное время «берут над всеми в губернии своей главную команду», но прибавил, что ему, Кречетникову, по крайнему недостатку людей, никак нельзя прийти на помощь Саратову. Разумеется, сенат ничего уже не мог сделать по такому представлению. Эти обстоятельства еще раз доказывают, как несостоятельны были по большей части правительственные лица, которым пришлось действовать во время пугачевщины.

Пока Бошняк жаловался на своих противников Кречетникову, Державин то же делал в своей переписке с Павлом Потемкиным. «Комендант, — писал он в рапорте, который впоследствии был доставлен в руки императрицы, — явным делает-

ся развратителем народа и посеваает в сердца их интригами недоброхотство... чернь ропщет и указывает, что им комендант не велит». — «К крайнему оскорблению, — отвечал Потемкин, — получил я ваш рапорт, что г. полковник и саратовский комендант Бошняк, забывая долг свой, не только не вспомоществует благому учреждению вашему к охранению Саратова, но и препятствует укреплять оный; того для объявите ему, что я именем ее императорского величества объявляю, что ежели он что-либо упустит к восприятию мер должных как на поражение злодея, стремглав бегущего от detachementов майора гр. Меллина и подполковника Муфеля, так и на укрепление города Саратова по положению условному, о коем вы мне доносили: тогда я данною мне властью от ее величества по всем строгим законам учиню над ним суд».

Разумеется, что и это письмо опоздало. Мы увидим впоследствии, что тем дело не кончилось: Бошняк благодаря Кречетникову нашел могучего заступника в графе П. И. Панине, в глазах которого Державину сильно повредила его ссора с комендантом. Князь Голицын, как и Потемкин, был совершенно на стороне нашего поэта, но это тем более навлекло на последнего нерасположение Панина, смотревшего косо на обоих генералов.

3. Экспедиция в Петровск

Пока в Саратове происходили описанные споры, Пугачев быстро приближался к этому городу. Никогда еще его злодейства не были так многочисленны и ужасны. Устрашенные жители встречали его с покорностью, и города сдавались один за другим. В Саратове уже знали, что он 1-го августа вступил в Пензу. Державин писал Потемкину, что там он «взял довольно порошу и пушек, да более 200.000 казенных денег». «Вот ему помощь, — прибавлял Державин, — еще производить злодеяния его. Мы его покупаем за 20.000, а он за нас, уповаю, не пожалует всех 200.000». Державин продолжал принимать деятельные меры к ограждению Саратова. Еще прежде он поставил против Сызрани, на луговой стороне, сотню из казаков, остававшихся на Иргизе, и велел этому отряду делать разъезды до Самары, а другую сотню расположил в Малыковке, с тем чтобы и она разъезжала как до Сызрани, так и к стороне Пензы. Теперь он приказал на большом протяжении свести суда с нагорного берега на луговую или затопить их. Но этого казалось ему еще мало: он жаловался Потемкину на недостаточность своей власти и просил подтвердить местным начальством, чтобы его слушались.

Наконец пришло известие, что Пугачев идет на Петровск (крепость на р. Медведице), откуда до Саратова только девяносто семь верст. Тамошний воевода, полковник Зиминский, бежал через Саратов в Астрахань. Секретарь его, Яковлев, также искал спасения в Саратове, где, однако, впоследствии был убит мятежниками. Из властей в Петровске остался на свою беду только воеводский товарищ Буткевич (изрубленный при вступлении

туда Пугачева). В городе не было принято никаких мер; успели только вывезти часть казны в Сызрань. Жители бунтовали.

Еще на первом совещании, происходившем в Саратове 24-го июля, Державин обязался дать свою команду для разъездов к стороне Петровска и в случае приближения Пугачева присоединить ее к саратовскому отряду. Когда обстоятельства того потребовали, он, правда, не мог дать команды, которая оставалась в Малыковке, но зато взялся ехать лично в Петровск, выпросив из опекунской конторы сто человек донских казаков с есаулом Фоминым. Повод к этому предприятию был следующий. Державин писал в Петровскую воеводскую канцелярию, чтобы оттуда прислали в Саратов казну и государственные дела (архив). Согласно с этим деньги и бумаги действительно были сложены на подводы, но городской сотник с мирскими людьми, а потом и воинская команда со своим офицером остановили возы, сбросили с них поклажу и не позволили забирать из воеводской канцелярии остальное. Тогда секунд-майор Буткевич написал Державину (3-го августа), чтобы он для вывоза денег и бумаг немедленно командировал в Петровск «человек до ста». Державин решился в тот же день исполнить это требование и притом лично присоединиться к команде. Целью его при этом было вывезти из Петровска не только казну и дела, но также пушки и порох, узнать силы Пугачева и подать саратовским властям пример решимости. С вечера 3-го числа он послал вперед свой отряд, приказав по станциям заготовить себе лошадей. Проведя почти всю следующую ночь без сна, он написал к Потемкину рапорт обо всем, что видел в Саратове, и о предпринятом деле. Тогда-то разгоряченному воображению поэта явилось видение, о котором он рассказывает в своих записках. Стоя посреди своей комнаты (в крестьянской избе) и разговаривая с Лодыжинским, Новосильцевым и Свербеевым, он посмотрел нечаянно в маленькое боковое окно и увидел в нем голову остова, белую, будто она вся была из тумана; ему казалось, что она, вытараща глаза, хлопала губами. Хотя, говорит он, трудно было при этом защититься от суеверного страха, однако он не отложил своей поездки и никому не сказал о видении, которое всякий на его месте счел бы за дурное предзнаменование.

4-го числа, рано утром, Державин пустился в путь вместе с майором Гогелем, офицером польской службы, который, по поводу переселения польских выходцев на Иргиз, жил в колониях и добровольно присоединился к нему. Верстах в 15-ти от Петровска возвращавшийся курьер Бошняк сказал им, что Пугачев верст за тридцать от города по ту сторону его и будет в нем ночевать. Державин надеялся еще поспеть туда вовремя, чтобы, по крайней мере, заклепать пушки и затопить порох; но, проехав еще пять верст, он услышал от встреченного им мужика, что мятежники уже только в пяти верстах от Петровска. Нечего было делать: Державин остановился, чтобы послать погоню за отпавленными вперед казаками. Гогель вызвался ехать к ним сам, желая разведать, в каком числе приближающаяся толпа. Нагнав казаков, он отрядил четырех человек к Петровску. Долго

они пропадали; наконец, только двое вернулись, сознавая, что они были у Пугачева, который уже в городе. Тогда и прочие казаки объявили есаулу, что они поедут к мнимому государю. Гогель, заметив, что они и его самого хотят схватить, поспешил удалиться, а есаул прибегнул к хитрости и сказал им: «Ну, ребята, когда вы не слушаетесь меня, то я с вами; только дайте мне попридержать или заколоть офицеров». Они его отпустили. Державин между тем отправил к графу Меллину малыковского крестьянина с письмом об ускорении помощи Саратову, но едва он успел отпустить его, как увидел скачущего во весь дух Гогеля и за ним Фомина; они кричали: «Казаки изменили, спасайтесь!» Державин вместе с ними поскакал к Саратову. Сам Пугачев с несколькими из своих сообщников гнался за ними верст десять. Они уже были у него в виду, но благодаря прыткости своих лошадей не были настигнуты. В руки мятежников попал только слуга Державина, нанятый им в Казани гусар из польских конфедератов. Когда Державин ускакал верхом, этот человек остался позади в кибитке его с ружьями и пистолетами и был захвачен людьми Пугачева. Ниже увидим, какую роль он позднее взял на себя в отношении к своему бывшему господину.

Пушкин в первый раз сообщил довольно верные, хотя и не совсем точные сведения об экспедиции Державина под Петровск. В наше время некоторые критики находили бегство его в этом эпизоде постыдным, но едва ли справедливо: оставленный своим отрядом, он внезапно очутился почти лицом к лицу с толпой в несколько тысяч человек. Начать сопротивляться значило бы вступить, без всякой надобности и пользы, в неравный бой; итак, Державин мог говорить об этом случае не краснея и добросовестно передал в своих записках подробности дела. Мы дополнили их по подлинным актам. Графу Панину он писал впоследствии: «Здесь признаться должно вашему сиятельству, что я, Гогель и есаул до Саратова спаслись бегством, но и в сей необходимости я не позабыл своего долга».

4. Пугачев в Саратове

Державин возвратился в Саратов в четвертом часу утра 5-го августа. Опасность сделалась неминуемой, а между тем войска в городе было очень мало: около 400 артиллеристов, 270 казаков (волжских и саратовских), да человек 720 гарнизонных солдат. Пушек было всего 12, но вполне исправных между ними только четыре (в том числе одна мортира).

Лодыжинский и Державин решились еще раз попытаться склонить коменданта к принятию их плана обороны. Они пригласили его в контору. Отказавшись сначала ехать, он, однако, прибыл туда часу в 7-м утра, но ничего положительного не обещал. Через час Лодыжинский вновь отправился к нему, взяв с собою своих сослуживцев Кикина и Батурина, артиллерийского майора Семанжа, а также и Державина, «яко очевидного свидетеля всем происшествиям». Последний при этом случае возобно-

вил свое смелое предложение идти со всеми силами, какие есть, навстречу Пугачеву; когда же на это не соглашались, то он подал такое мнение, к которому пристал и Лодыжинский: так как вслед за Пугачевым идут наши войска, которые должны подоспеть не позже как дня через три после него, то нужно придумать средство, как бы продержаться до того времени, а для этого можно построить на первый случай грудной оплот (или ретраншемент) из кулей муки и извести и за ним отсидеться под прикрытием пушек. Однако и этот план не был признан удобным.

Комендант решился действовать по собственному усмотрению: после полудня, часу в третьем, на московскую (петровскую) дорогу выведено было около двухсот пеших солдат, вооруженных одними кольями, без огнестрельного оружия; они были расположены поперек дороги, влево от Соколовой горы. Такое распоряжение, по мнению противной партии, было чрезвычайно необдуманно: Соколова гора, господствуя над всем городом, представляла неприятелю самое удобное для батареи место, с нее можно было обстреливать и городской вал, отделявшийся от нее только буераком, за которым кое-где было поставлено по жалкой пушке. Спереди, по описанию Державина, были рвы, которые могли служить мятежникам вместо траншей, с одной стороны названная гора, с другой — открытое поле, а сзади строение, куда атакующие безопасно могли отступить в случае неудачи; люди не были размещены в определенном количестве. «Жители без начальника, — продолжает Державин, — и толпы без присмотра собирались где хотели... тут я вообразил, что это ратует на Тамерлана некий древний воевода: нарядный был беспорядок! Хотя Пугачев и грубиян, но, как слышно, и он умел пользоваться всегда таковыми выгодами. Сего не довольно. Майоры Зоргер и Бутыркин сказывали мне, что городовые пушки заколочены ядрами, и что ежели де мы сего не усмотрели, то, может быть, со всеми сие случилось. Услышав сие, я ужаснулся! Пошел к коменданту и спросил его с учтивостью, в присутствии бригадира и прочих, об оном; он отвечал, что это безделица и что это пушкарки, учившиеся, из шалости сделали».

Своими настойчивыми спорами Державин до такой степени восстановил против себя Бошняка, что еще накануне петровской экспедиции последний мог объявить ему приказание губернатора немедленно удалиться на Иргиз как место, собственно назначенное для его пребывания. Хотя после этого Державин имел полное право не дожидаться нападения Пугачева на Саратов, тем более что он, приехав сюда на время с особою целью, без воинской команды, вовсе не был обязан участвовать в защите Саратова по плану, который горячо оспаривал, однако по чувству чести русского офицера он решился разделить опасность с жителями города: выпросил себе у майора Семанжа роту, не имевшую офицера, и уже взял ее в свою команду, как вдруг неожиданное обстоятельство заставило его отказаться от этого плана, потребовав его присутствия в другом месте. Поздно вече-

ром того же дня, находясь у Лодыжинского вместе с Семанжем, он получил от своего поверенного Герасимова рапорт с тревожным известием. Припомним, что Державин успел собрать в Малыковке до 1500 верных крестьян, которых, по его распоряжению, Герасимов должен был привести на помощь Саратову. Они уже были на пути, но в селе Чардыне, услышав об измене казаков под Петровском и неудаче Державина, отказались идти без него далее и требовали, чтобы он, если еще жив, сам повел их. «То не изволите ли, — писал Герасимов, — приехать к нам поспешнее сами и ободрить проклятую чернь собою? Недалеко от сего места село Усовка бунтует, да и все жительства ненадежны, и мы с ними хотели драться. Кричат по улицам во весь народ, что де батюшка наш Петр Федорович близко, и он де вас всех перевешает. Боюсь, чтоб и наши того ж не затеяли: извольте поспешить к нам поскорее». Такого требования Державин не мог оставить без исполнения: решился ехать, о чем и сообщил Лодыжинскому, умолчав, однако, о волнении крестьян, чтоб не произвести еще большего смятения в Саратове. Желая, напротив, ободрить жителей, он обещал просить Мансурова идти из Симбирска на помощь Саратову, и для этого он, действительно, отправил к названному генералу другого своего поверенного, Серебрякова. Сам же он выехал из Саратова в ночь на 6-е августа, через несколько часов по получении письма Герасимова и часов за пятнадцать до прихода туда Пугачева. По нагорной стороне уже слишком опасно было ехать среди бунтующего народа, и потому он переправился через Волгу в село Покровское (лежащее на другом берегу реки, против Саратова). В ожидании здесь лошадей он написал длинный рапорт Потемкину, где отдал ему отчет и в своей поездке под Петровск, и в позднейших обстоятельствах.

Между тем начальствующие в Саратове, в виду предстоявшей опасности, заботились о заблаговременном вывозе отсюда казенных денег и бумаг. В день возвращения Державина из-под Петровска Лодыжинский, побывав у Бошняка рано утром, просил помочь ему в приискании судов и доставить через полицию извозчиков для перевозки на суда денежной казны. Бошняк обещал, но ничего не сделал. К вечеру казначей, поручик Стихеус, насилу мог достать одно судно и, не имея лошадей, должен был прибегнуть к караульным и случившимся в Саратове колонистам для переноса на руках медной монеты, которой было в конторе около 27.000 руб. Они проработали до 4-го часа полудни следующего дня, т. е. до той минуты, когда мятежники уже начали вступать в город. Тогда на это же судно сел сам Лодыжинский с Кикиным и Батуриным; они отплыли в Царицын и прибыли туда благополучно на шестые сутки (11-го августа).

Для удаления конторских дел и остальной монеты (15.000 медью и серебром) было взято судно с невыгруженною еще мукою; но оно было не так счастливо, как первое: его разграбили в пути дворцовые крестьяне; бывшие на нем чиновники и служители подверглись истязаниям и были отвезены к Пугачеву, кон-

вой же и купцы отпущены в Саратов. Бошняк также успел отправить водою дела воеводской канцелярии и казну ее, составившую более 50.000 руб., с воеводским товарищем Телегиным и служителями. Они прибыли в Царицын в один день с судом Лодыжинского. Но в Саратове оставалась еще порядочная сумма казенных денег (около 26.000 руб.), которая все-таки попала в руки мятежников.

По показанию Бошняка, к нему уже в 9 часов утра 6-го числа пришел майор Семанж и объявил, что Лодыжинский уехал. Накануне вечером начальник опекунской конторы приказал Семанжу: присоединив казаков к артиллерийской команде, выступить в ночь навстречу мятежникам; если же отразить их окажется невозможным, то примкнуть к команде, составленной Бошняком за городским валом, и быть у него в подчинении. В ночь на 6-е Семанж, действительно, двинулся по петровской дороге с 300 рядовыми и 27 офицерами и в двух верстах от Саратова расположился лагерем. Поутру посланные Семанжем в разъезд волжские казаки (62 человека) бежали к Пугачеву, стоявшему уже только в трех верстах от города. Вернулся один есаул Тарарин; казаки за ним погнались, и он едва спасся, заковов двух из них. Между тем комендант вывел навстречу самозванцу свои десять пушек, поставил в боевой порядок всех воинских людей по валу, по обеим сторонам московских ворот, а остальных казаков и саратовских жителей, вооружив их чем только мог, протянул от правого фланга до буерака.

Вскоре Семанжу дано было знать комендантом, что мятежники уже врываются в Саратов с другой стороны. Семанж поспешил в город и, донеся обо всем Бошняку, стал с ним в один полигон за валом. Они обложились рогатками и, где удобно было, поставили пушки. Жители стали вдоль вала группами, в небольшом расстоянии одна от другой. Пугачев приближался. С ним было, по словам Пушкина, до 10.500 человек, в том числе 300 яицких казаков, да около 150 донских, которые перебежали к нему уже из Саратова; остальную массу составляли калмыки, башкиры, татары и всякая сволочь. По показанию же Бошняка вся толпа самозванца не превышала тут 4.000 человек. Они подъехали к валу и стали разговаривать с казаками. Тогда же многие из городского войска стали перебегать к мятежникам. По совету бывшего бургомистра, купца Матвея Протопопова, жители послали к Пугачеву первостатейного купца Кобякова для переговоров о сдаче города. Бошняк велел Семанжу дать выстрел из пушки картечью. Окружавшие майора долго его оставляли; когда же он, несмотря на то, наконец выстрелил, то стали кричать, что он сгубил лучшего человека (разумея Кобякова). Особенно саратовские казаки с большим азартом кричали на Семанжа и, ставив с лошади есаула Винокурова, так что он упал замертво, все передались. С таким же озлоблением жители, особенно Протопопов, бранили Бошняка за то, что он велел стрелять, не дождавшись возвращения посланного. Между тем Кобяков вернулся с запечатанным письмом. Бошняк разорвал

бумагу, не распечатывая конверта, и растоптал ее. Но обыватели продолжали говорить, что не хотят драться с Пугачевым; офицеры и солдаты дурно исполняли свою обязанность. Тем временем мятежники открыли огонь из восьми пушек, из которых, впрочем, только одна доставала в укрепление. После десятого выстрела часть жителей с оружием побежала в толпу; другая, именно все купечество, бросилась в город. Оборону продолжали только артиллеристы и батальонные солдаты, окинувшись рогатками. Мятежники, с криком поскакав с Соколовой горы, поставили пушки против редута, и в половине 2-го часа пополудни началась с обеих сторон пальба, продолжавшаяся около часу; но убит был только один фузелер. Семанж, отчасти строгостью, отчасти лаской, успел два раза удержать солдат от бегства.

Наконец, однако, вся артиллерийская команда, внезапно поднявшись вместе со своими офицерами, также ушла в толпу. Бошняк велел отступать. Но едва успели вывезти два орудия и, сомкнувшись с оставшимися еще при знаменах солдатами саратовского батальона (человек до 70), вышли из укрепления, как новая измена расстроила в самом начале правильное отступление. Батальонный командир, секунд-майор Салманов, которому приказано было, построив солдат в каре, идти с половиною строя, вдруг поворотил со всеми бывшими при нем и ушел к Пугачеву, оставив Бошняка и Семанжа только с 66 человеками офицеров и рядовых. Этот небольшой отряд продолжал отступление под выстрелами мятежников, отстреливаясь из своих ружей и везде отражая нападавших, которые преследовали горсть храбрых верст шесть, пока не стемнело. Продолжая свой марш вниз по Волге, отступавшие верстах в 35 от Саратова сели в лодку и 11-го августа прибыли благополучно в Царицын «со знаменами и со всею воеводского ведомства казною», как доносил Бошняк Кречетникову и Панину.

Под вечер 6-го августа Пугачев въехал в Саратов с частью своих людей; остальные толпы его расположились по Улешам. В соборной церкви, куда он прежде всего отправился, все жители как самого города, так и окрестностей были приведены к присяге. По обыкновению, начались грабежи и убийства; между жертвами было несколько оставшихся офицеров. Некоторые из жителей успели бежать, в том числе и член соляной конторы генерал-аудитор лейтенант Савельев, который со своими подчиненными и служителями целых пять суток скитался в лесу. От смерти избавился также гарнизонный капитан Мосолов, но артиллерии капитан князь Баритаев был впоследствии изрублен в Камышенке. Один из передавшихся Пугачеву казаков, пятидесятник Уфимцев, назначен саратовским командантом. Из острога были выпущены все колодники, винные погреба разграблены, амбары открыты для безденежной раздачи хлеба. На другой день Пугачев с шестью сообщниками приехал к Троицкой церкви, где спрятана была часть денежной казны опекунской конторы, и велел сложить ее на возы. Денежная казна соляной конторы находилась на судне, не успевшем отплыть. Оно было за-

держано со всеми бывшими на нем людьми. Пониже Улешей Пугачев велел этим людям раздеться и плыть через Волгу, а своих заставил стрелять по ним из ружей: несчастные все до одного погибли.

9-го числа, в субботу, Пугачев со своими толпами ушел вниз по Волге, приказав следовать за собой и захваченному судну с деньгами. По уходе самозванца в соборной церкви был отслужен молебен с колокольным звоном. 11-го августа в Саратов прибыли Муфель и гр. Меллин. Они остановились было в 50 верстах, не считая себя довольно сильными для поражения мятежников, но, узнав, что Пугачев уже выступил, продолжали путь. Отставшая в городе шайка была истреблена Меллином, казаки же Муфеля на следующее утро разбила другую в поле. 14-го числа пришел и Михельсон; они все трое двинулись вслед за Пугачевым. Начальство над городом временно поручено названному выше лейтенанту Савельеву.

5. Державин в Сызрани. Бедствие Малыковки

Мы оставили Державина в Покровской слободе, где он по выезде из Саратова должен был ждать лошадей и провел ночь за рапортом к П. С. Потемкину. Потеряв столько времени, он уже не успел, как намеревался, присоединиться к собранным крестьянам: услышав о разорении Саратова, он боялся, чтобы они не передались Пугачеву, а потому и счел благоразумнейшим распустить их. После этого он провел два дня в ближайших колониях, надеясь через обывателей узнать, куда направился Пугачев, — на Яик или вниз по Волге. Остановившись у своего приятеля, крейс-комиссара Вильгельми, он едва не попал в руки бунтовщиков. Бывший его слуга из польских конфедератов, схваченный, как выше было рассказано, под Петровском, взялся за 10.000 руб. доставить ускользнувшего офицера Пугачеву. Поляк прибыл в колонии с прокламацией, успел привлечь к себе многих колонистов и разослал нарочных искать обреченного на гибель. 8-го числа Державин услышал об угрожающей ему опасности. Его спас егеря капитана Вильгельми: этот служитель, посланный подробнее разведать в чем дело, поспешно воротился с известием, что шайка, ищущая Державина, завтракает в соседней колонии. Державин взял лошадь, примчавшую егеря, поскакал в Сызрань, до которой было 90 верст, к Мансурову и благополучно приехал в этот город 15-го августа. Сам Мансуров прибыл туда только накануне. Извещение, отправленное Державиным из-под Петровска об опасности Саратова, было получено генералом за неделю, при переправе через Волгу. Но Мансуров, вопреки всем ожиданиям, не думал идти на помощь Саратову, имея при себе только слабый отряд, состоявший большею частью из ненадежных яицких казаков, которые прежде сами участвовали в бунте. Вместе с Мансуровым Державин решил дожидаться в Сызрани князя Голицына.

Этот генерал, отправленный Щербатовым из Оренбурга в Башкирию, действовал там с большим успехом и очистил край по обе стороны реки Белой до Уфы. После несчастья Казани он приблизился к Мензелинску, откуда мог продолжать следить за башкирами. Здесь в последних числах июля получил он неожиданно рескрипт императрицы о принятии от кн. Щербатова главного начальства над войсками. 8-го июля, следовательно, еще до разорения Казани, Екатерина подписала как этот рескрипт, так и другой на имя кн. Щербатова с повелением ему «немедленно возвратиться ко двору для изустного донесения о настоящих того края обстоятельствах». Мы видели, что императрица уже при назначении Щербатова не вполне доверяла его способностям; естественно было еще более усомниться в них после новых успехов Пугачева. Впрочем, кн. Голицын очень недолго оставался преемником Щербатова: уже через три недели после того как состоялся помянутый рескрипт, именно 29-го июля, главное начальство по усмирению бунта было вверено графу П. И. Панину. 30-го июля Голицын по вызову Щербатова прибыл в Казань, 1-го августа принял команду над войсками, а 8-го, находясь еще в Казани, получил уведомление гр. Панина о назначении последнего главнокомандующим. В ночь на 10-е августа он оставил Казань, чтобы, направляясь вниз по Волге, быть ближе к наступательным движениям против Пугачева. Из Симбирска он отправился на соединение с Мансуровым и 16-го числа доносил Панину, что в два дня прошел более 160 верст. Главною целью его, как он писал, было помешать Пугачеву пробраться опять в тамошние места; он надеялся настигнуть его в Саратове и атаковать с двух сторон. Но из предыдущего рассказа нам уже известно, что этот план не мог удалиться, так как Пугачев был в Саратове уже 6-го августа.

С Мансуровым и Державиным Голицын свиделся в селе Колодне, близ Сызрани, и от них узнал о последних событиях. Мансуров, по его приказанию, должен был, взяв под свою команду отряды Муфеля и Меллина, отправиться с ними для преследования Пугачева. Державин же пробыл несколько дней при князе, чтобы дожидаться от П. Потемкина, из Казани, повеления: что предпринять и куда обратиться, так как в местах, порученных его наблюдению, уже не для чего было оставаться после того, как через них прошел Пугачев.

Малыковка, по близости своей к Саратову, не могла избежать той же участи. Державин предвидел это и, несмотря на свое опасное положение при проезде через колонии, имел столько присутствия духа, что принял важную предосторожность: он послал в Малыковку приказание казначею и управителю увезти казну и бумаги на какой-нибудь островок на Волге и там окопаться. Тишин и Шишковский в точности исполнили это, взяв с собою своих жен, лучших крестьян и десятка два солдат.

9-го августа толпа малыковских обывателей, услышав о приближении мятежников, поехала к ним навстречу. Семнадцать сообщников Пугачева, ворвавшись в село, велели искать упра-

вителя и казначея, расхитили их имущество, выпустили на волю около 15-ти колодников и, разбив питейный дом, заставили народ пить за здоровье государя Петра Федоровича; многие присоединились к ним.

Неподалеку, в селе Воскресенском, стоял отряд донских казаков; есаул Богатырев послал часть их в Малыковку, но из этой партии четверо, бросив копыя и ружья, тотчас же пристали к бунтовщикам. Прочие успели схватить девять человек из этих последних и отвезли их к Богатыреву. Остальные восемь мятежников стали разезжать по селу, били крестьян плетьюми и вешали непокорных, таскали соль из амбаров и грабили деньги. К вечеру все они лежали пьяные перед кружалом. Обыватели, перешедшие на сторону самозванца, поставили при них караул, и ночь прошла спокойно. Но утром опять полилась кровь вследствие неосторожности казначейши. Живя на острове и не подозревая, что Малыковка уже в руках мятежников, она уговорила мужа съездить к оставленным дома детям. По указанию безжалостного лодочника супругов схватили, мучили, били плетьюми и наконец, застрелив, повесили на мачтах; потом отыскивали детей и также убили. После разных других неистовств злодеи, взяв на селе пятьдесят лошадей, со всеми приставшими к ним крестьянами и судорабочими разбежались разными дорогами вниз по Волге. Богатырев послал за ними погоню, и некоторые были переловлены. Затем Малыковки более не тревожили: Шишковский и бывшие при нем солдаты спокойно воротились в село.

6. Колонии. Поход в Киргизскую степь

Было уже сказано о возмущении большей части колонистов. В Сызрани Державин, известив о том Мансурова, дал ему написать воззвание к ним, составленное по-немецки капитаном Вильгельми и переведенное по-русски Державиным. В этой бумаге, названной манифестом, генерал обращается к колонистам как «к рассудительным европейцам» и приглашает их усмириться, обещая поспешить на защиту их; упорным же угрожает жестокою казнью. Тут же объявлено, что тому, кто доставит Пугачева живым, будет выдано 25.000 р., а за мертвого — половина этой суммы. Обнародование этого воззвания принял на себя писавший его Вильгельми, с тем чтобы ему дали 80 казаков для обороны от нападавших киргизов.

Слухи о набегах этих инородцев дошли до кн. Голицына. Нужно было принять меры для восстановления в колониях спокойствия и безопасности. Так как отряд Голицына был очень невелик, а притом часть его отправлена в другую сторону, к Пензе и Сызрани, то ему самому не с чем было идти на помощь разоряемым селениям. Тогда-то Державин, не получая ответа от Потемкина, вызвался предпринять с крестьянами поиск на киргиз-кайсаков и просил только дать ему в подкрепление небольшое число военных людей. Голицын согласился.

Здесь место несколько ближе ознакомить читателя с заволжскими колониями, где Державин жил не раз во время пугачевщины, где он на досуге занимался поэзией и написал свои известные «Читалагайские оды».

второму Гайду
1792

Нелюбит ружья Колодезь,
и прапоры Мухоморы,
и Милон Державин, фарфур
и старинные в сафьянах,
и Лавровые вешки,
и вешки на гребень,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки.

Державин мой второй Гайд
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,

Въ томъ мнѣ, ивъ ивъ до Кольца
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,

Кольца вешки, ивъ до Кольца
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,
и вешки на вешки, и вешки на вешки,

Автограф Г. Р. Державина

Уже в начале своего царствования Екатерина II прибегла к вызову иностранцев для заселения некоторых малолюдных местностей России, для содействия успехам земледелия и промышленности. Так возникли лет за десять до пугачевщины немецкие колонии по обе стороны Волги, около Саратова. Они состоят из четырех групп — двух на нагорном и двух на луговом берегу реки. Мы должны коснуться только последних, и именно той группы, которая, начинаясь в 35-ти верстах от Саратова колонию Екатеринштадт, тянется верст на пятьдесят вверх по Волге, почти до впадения в нее Иргиза, или до окрестностей города Вольска (бывшего села Малыковки). В этой группе 41 ко-

лония; они разделены на четыре крейса, или округа. На севере крайняя к Иргизу колония называется Шафгаузен; на юге же они кончаются Тонкошкуровским округом, который вдаётся клином в обширную Уральскую степь, по обе стороны реки Большого Карамана.

Первоначальные поселенцы собрались почти из всех стран Германии, даже из Эльзаса и Лотарингии, из Швейцарии и Нидерландов. Более всего высельников было, однако, из Гессена и Швабии. Сборным местом их для отправления в Россию был Регенсбург. По прибытии первой партии в Кронштадт Екатерина милостиво приветствовала своих гостей в Ораниенбауме. Число первых поселенцев к 1770 г. составляло около 27.000 душ или 8.000 семей; но после пугачевщины оставалось лишь с небольшим 23.000 душ или 5.500 семейств. Нынче все жители колоний говорят по-русски, но в быту сохраняют особенности своего происхождения.

Предания о пугачевщине до сих пор живы между колонистами. «Когда я, — писал нам в 1860-х годах г. Пундапи, бывший пастор колоний Баратаевки, — определился сюда лет сорок тому назад, некоторые старожилы Шафгаузена рассказывали мне про пугачевщину и говорили, что там стояли две пушки, которые потом отправлены были на Иргиз». От первых же поселенцев идет предание, что при холме, в черте Баратаевки, когда-то стояло войско, и теперь еще там видны остатки укреплений.

Недолго иностранцы, поселившиеся за Волгой, наслаждались спокойствием. Уже в 1771 году пришли из-за яицких степей киргиз-кайсаки и опустошили две верхние колонии. Слух о всеобщей неурядице во время пугачевского бунта вызвал их на новые грабежи: они повторили свой набег летом 1774 г. но, возвращаясь, наткнулись близ Яика на казаков и принуждены были бросить часть добычи и пленных. 15-го августа, в день Успения, колония Тонкошкуровка опять подверглась такому вторжению. Киргизы напали на нее в то время, когда жители были в церкви; многих перебили, других потащили в плен. Разбежавшиеся по лесам возвратились вечером, но нашли свои дома разграбленными и отправились в Покровскую слободу искать себе там пристанища.

Через несколько дней после этого набега Державин взялся идти на киргизов с крестьянами, которых он надеялся набрать в Малыковке и других селениях. По его желанию князь Голицын обещал дать ему сверх того часть казаков из отряда Мансурова и 25 бахмутских гусар; наконец, капитан Вильгельми вызвался набрать для него 300 колонистов. Начальство над последними предполагалось поручить упомянутому выше Гогелю, также изъявившему готовность участвовать в этой экспедиции, которую Голицын, в данной Державину бумаге, назвал «столь благородным для общества делом».

21-го августа Державин выступил с гусарами. На пути он должен был остановиться в двух селах для совершения казней. Князь Голицын отправил с ним восемь колодников, виновных в

задержании курьера и отсылке его к Пугачеву. Главный из них и был повешен в том самом селе (Поселках), где это случилось. В другом селе (Соснове) такому же наказанию подвергся самый виновный из солдат, оказавшихся убийцами Серебрякова.

Прибыв в Малыковку, Державин нашел ее еще под впечатлением совершившихся там недели за две перед тем ужасов. Когда там проведали о приближении его с частью отряда Голицына, то обыватели, боясь заслуженного наказания за предательство, схватили участников в убиении семейства Тишиных и посадили их под караул. Державин тотчас допросил их и, по данной ему власти, приговорил к смерти. Один из них принадлежал к известной впоследствии купеческой фамилии; это был Семен Сапожников, который в современных актах поименован между экономическими крестьянами, поехавшими из Малыковки навстречу к бунтовщикам. Этою казнь Державин желал как можно сильнее подействовать на колебавшийся народ, и потому, созвав всех обывателей села, обставил ее особенно торжественностью, о чем подробно рассказано в его записках. Зачинщики были повешены, а 200 человек высечены плетью.

Затем, по требованию Державина, в Малыковке набрано было 700 конных вооруженных ратников с обозом из ста телег. Во время остановки в этом селе получено было им несколько важных бумаг, в том числе известный циркуляр нового главнокомандующего гр. Панина о мерах строгости для обуздания народа; потом разрешение П. Потемкина Державину приехать в Казань и два приказа кн. Голицына о производстве следствий и казней в селах. В одной из этих бумаг князь повторял свое обещание прислать в подкрепление 50 яицких казаков, но Державин не дождался их и 30-го августа переправился через Волгу. Действительно, надо было спешить: пока Державин шел в степь, киргизы еще раз опустошили несколько колоний. 28-го августа они в числе 50-60 человек ворвались в Тонкошкурровку, захватили все табуны, увлекли до 200 несчастных, большею частью женщин и детей, — между прочим, однако, и католического пастера. Об этом Вильгельми на другой день писал Державину; не знаем, получил ли тот вовремя письмо его. Остановясь в селении Красный Яр, на Иргизе, Державин написал Голицыну, что он «еще третьего дня мог бы с киргиз-кайсаками иметь дело, но сии ветреные вры бегают с места на место по степи и не дают наказать себя». В Красном Яре сделал он привал, чтобы добыть съестных припасов и дожидаться крестьян, еще собиравшихся из некоторых сел, а также казаков кн. Голицына. Что же касается допроса и наказания виновных, то он писал: «Алексеевских жителей мне было пересечь некогда... Когда буду возвращаться то вашего сиятельства приказ исполню. Малыковские жители, грабившие приказчика Смирнова, разберутся также, как я возвращуся, и что от них отобрано будет, приказчику возвращу».

В колониях к Державину присоединился Гогель, но без людей, которые нужны были дома для охранения своих жилищ и семейств. В отряде был еще офицер, поручик саратовского ба-

тальяна Зубрицкий. Все ополчение состояло из 700 крестьян и 25 гусар; ни казаки, ни поджидаемые еще крестьяне вовремя не явились. Оставив сотню крестьян на Иргизе для прикрытия там селений, Державин 1-го сентября выступил из Красного Яра и пошел степью по направлению к Узеням. Трое суток подвигался отряд, не встречая тех, кого искал. Только в четвертый день, на рассвете, завидели с пригорка облако пыли, которое, как после оказалось, скрывало более тысячи киргизов. Это было в верховьях реки Малого Карамана. Державин тотчас разделил своих гусар на два отряда и, поручив один Гогелю, а другой Зубрицкому, велел им атаковать шайку с флангов, а сам, прикрыв свою пушку и сделав из обоза вагенбург, стал против центра. Завязалась стычка, и скоро киргизы, бросая добычу, ударились в бегство. На месте осталось их убитыми 48 человек, в плен взято только шестеро («ибо, — говорит Державин, — люди разгоряченные легче кололи, нежели брали в плен»); по мнению Державина, разбитая партия состояла из 1000 человек, «и я бы всех не упустил, — писал он, — если б воины мои были не мужики, и лошади были у них, как у киргизов, легкие». Но всего важнее было то, что у киргизов отбито 811 колонистов, 20 покровских малороссиян и трое русских. Нельзя описать радости освобожденных: они на коленях благодарили своих избавителей, помогали друг другу, подбирали вещи и складывали их на телеги. Люди, имущество и скот были поручены Гогелю для доставления в колонии. Он повел также и пленных киргизов; часть взятых лошадей отдана была гусарам. По прибытии в колонии Державин собрал крейс-комиссаров и сдал им как освобожденных людей, так и отбитый скот. Возвратившиеся колонисты нашли свои дома разграбленными, отчасти разоренными; все было пусто, даже спасшиеся от киргизов люди разбежались и лишь понемногу приходили назад на свои пепелища. Набеги киргизов оставили по себе глубокие следы в восьми колониях по Большому Караману; они много лет не могли сравняться с другими, расположенными по Волге. Чтобы оградить разоренные жилища от повторения подобных опустошений, Державин поставил по колониям посты и учредил разъезды из жителей. С того времени военная команда с орудиями оставалась в колониях до тех пор, пока не была построена линия укреплений от Оренбурга до Астрахани. В Тонкошкурровке и Екатеринштадте возведены были даже шанцы с батареями. Однако хищные соседи не тревожили более колонистов, которые уже просили было переселить их на Кавказ.

Немедленно по возвращении в колонии Державин написал к Голицыну рапорт об успешном окончании своего предприятия, прибавляя, что он готов был продолжать марш еще далее в степь, за той киргизской партией, которая шла впереди других и успела увести около 150 поселенцев; но он не мог этого сделать по большому числу отбитых им пленных, которые нуждались в одежде и пище и были так измучены, что надо было везти их на лошадях. Наконец, Державин в своем письме к князю

Голицыну горячо хвалил своих сподвижников, Гогеля и Зубрицкого, особенно первого, «яко более всех при сем случае рачившего и трудившегося». Недаром и в колониях до сих пор сохранилась память о Гогеле как спасителе их от киргизов. Вероятно, ходатайство о нем Державина не осталось без удовлетворения: в апреле следующего года Вильгельми писал поэту: «итак, Гогель в Польше и не доволен 2000 руб.; боюсь, что жалобы не принесут ему никакой пользы». Рапорт свой Державин отправил к князю Голицыну с Герасимовым, прося, для поощрения других крестьян, наградить его званием помещика. Вместе с тем он послал к князю и двух оставшихся в живых пленных киргизов (прочие умерли от ран), которые показывали, что товарищи их сделали набег без ведома хана, по наущению киргизского владельца Короная.

Как известие об этом успехе порадовало князя Голицына, видно из ответа его Державину (от 7-го сентября):

«Я не в состоянии описать моего удовольствия, получа ваш рапорт, в котором нашел, что вы над киргиз-кайсаками одержали совершенную победу, освобождая от неволи более осьмисот несчастных колонистов, которые были в окопах. Одним словом, чрез хорошее ваше учреждение совсем привели вы тамошний край в спокойствие и безопасность. Признаться должно, что ваша победа не столь велика бы была, когда бы вы имели команду военных людей, но тем более приобрели вы себе чести, одержав победу такими людьми, которые ни образа нашей битвы, ни малейшей привычки не имеют. За все сие приношу вам искреннее мое благодарение, равно как и соучастовавшим с вами г. Гогелю и поручику Зубрицкому, а команде вашей вы объявите, что без награждения не останется. Я же спешу о столь достохвальных ваших подвигах донести главнокомандующему, г. генерал-аншефу и трех российских орденов кавалеру графу П. И. Панину» и т. д.

В тот же день кн. Голицын, стоявший тогда на луговой стороне Волги, в селе Широком Буераке, поспешил донести гр. Панину о подвиге Державина. Передав подробно содержание полученного от него рапорта, генерал ссылается на его отзыв «о лютости киргиз-кайсацких тиранств в иностранных селениях». При этом князь Голицын выписывает следующие слова Державина: «Как щедродарная рука премудрой нашей императрицы тщилась их насаждать (т. е. насаждать колонии), так варварство свирепствовало преобратить оные в пустыню. Кто охотник до просвещения, тот заплачет, глядя на ученых людей книги; кто домостроитель, тот потужит о сокрушении домоводства; а кто человек, тот содрогнется и возрыдает, смотря на тела, по частям изорванные и избитые, где и младенцы пощажены не были, которых при одной колонии Мариентале собрал я двадцать восемь и предал погребению». Далее Голицын приводит мнение Державина, что киргиз-кайсаки действовали по наущению Пугачева, «от которого, по объявлению пленных, присланы были в их орду беглые из татар с Яику казаки».

Упомянув потом о засвидетельствовании Державина в пользу Гогеля и Зубрицкого, князь Голицын так выражается: «Я, препоручая сих офицеров в протекцию вашего сиятельства, за долг себе поставляю особливо рекомендовать начальника их г. Державина, который, по его усердию и ревности к службе ее императорского величества, удостаивается (т. е. становится достойным) за свои подвиги монаршего благоволения». Гр. Панин в ответе кн. Голицыну приказал выразить Державину свою благодарность и обещал донести о нем императрице; но между тем до Панина уже начали доходить со стороны астраханского губернатора наговоры на Державина по саратовской истории, которые должны были возбудить в главнокомандующем предубеждение против этого офицера. Из всех современных свидетельств оказывается, что смелое предприятие Державина против киргизкайсаков было по справедливости оценено как начальством его, так и окрестным населением. Тотчас по возвращении его из степи Вильгельми писал ему: «Благодарение Богу и вам, что вы освободили наших пленных». Еще через год опекунская контора сочла нужным выразить ему свою благодарность за спасение стольких людей и имущества, «о чем, — прибавлено в бумаге, — и канцелярия опекунства иностранных (центральное учреждение, в ведении которого находилась контора) давно уже уведомена». Дело с киргизкайсаками распространило известность Державина: о нем услышал Суворов; яицкий комендант Симонов особым письмом выразил желание сблизиться с Державиным; «слыша, — писал он, — от всех бывших здесь генералов об отличных ваших свойствах, касательных до совершенной похвалы, полагал я в сердце моем всегда обязанность, чтоб удостоиться вашего знакомства».

Несмотря, однако, на общие похвалы себе, которые слышал Державин, добрые отношения его к начальствующим лицам должны были измениться вследствие назначения графа П. Панина. Но прежде нежели перейдем к изложению обстоятельств этой перемены, взглянем на последние поручения, возложенные на Державина князем Голицыным.

25-го августа Пугачев был окончательно разбит настигнувшим его полковником Михельсоном при Черном Яре, в 100 верстах за Царицыном. Сначала не знали, куда он бежал после этого поражения; кн. Голицын думал, что он направился вверх по луговой стороне Волги. Узнав потом о бегстве его к Узеням, генерал просил Державина послать туда «верных подлазчиков»: «теперь, — писал он, — предстоит нам случай совсем его сокрушить... я на вас полную надежду возлагаю, что вы не пропустите всего того, что может служить к пользе нашего предприятия». Сам он шел на Иргиз, с тем чтобы оттуда идти к Яицкому городку, и назначил Державину свидание в селе Красном Яре.

В распоряжении Державина оставались еще малыковские крестьяне, с которыми он ходил в степь. Выбрав из них сто са-

мых надежных, он решился отправить их как будто для преследования киргизов, а в самом деле с тем, чтобы они, пристав к шайке Пугачева, старались поймать его. Князь Голицын одобрил этот план и перед выступлением со своим корпусом из Красного Яра, 9-го сентября, отдал приказ, в котором между прочим было упомянуто, что команда поручика Державина тронется за час до корпуса, т. е. в 4 часа утра, и будет «патрули свои посылать по сторонам, открывая землю сколько можно далее и более». Чтобы возвысить дух крестьян и предупредить всякое покушение к измене, он приказал им в полночь собратсья в лесу и, поставив в их круг священника с евангелием на налое, привел их к присяге, а чтобы подействовать на них и страхом, совершил тут же казнь над преступником: именно — повесил того из убийц Тишина, который в свое время успел скрыться и избегнул казни, постигшей его сообщников в Малыковке. Для обеспечения себя в верности посылаемых крестьян, Державин взял у них жен и детей в залог, а в поощрение дал им, с разрешения князя, по пяти рублей на каждого. Крестьяне под присягою обещали употребить все усилия, чтобы привести Пугачева живого или мертвого, и отправились под начальством избранного ими же старшины. Вслед за ними, рано утром 10-го сентября, князь со своим корпусом пошел к Яицкому городку, чтобы в случае нападения защитить это открытое место; Державин же с остальными крестьянами остался на Иргизе, в слободе Мечетной, с тем чтобы, по поручению Голицына, наблюдать за всеми по этой реке лежащими селениями. «Присутствие ваше здесь, — говорил князь, — за необходимое почитаю до тех пор, пока не откроются точные замыслы самозванца». Кроме того, он поручал Державину постоянно иметь сведения со стороны Узень и смотреть за всеми командами, расположенными в колониях, где еще было вовсе не спокойно и после поражения Пугачева бродили еще бунтующие шайки, да и между колонистами являлись изменники.

15-го числа разосланные по степи подзорщики возвратились, правда, не с пустыми руками, но и не с Пугачевым: они привели бывшего при нем полковником заводского крестьянина Мельникова, который рассказал чрезвычайно важную новость: Пугачев был схвачен своими сообщниками на Узнях и увезен в Яицкий городок для передачи бывшему там от секретной комиссии офицеру Маврину; посланный Державиным отряд опоздал двумя днями на место, где казаки связали самозванца. Известие о поимке Пугачева подало Державину мысль немедленно уведомить об этом счастливым событии Потемкина.

В это самое время над головою нашего поэта стали собираться тучи. До сих пор он по своей командировке имел несколько неприятных столкновений только с местными властями, все же начальники показывали ему особенное расположение. Теперь он вдруг увидел совсем другое со стороны нового главнокомандующего, с которым еще не был в непосредственных сношениях.

Приложение к главе VI

1. Из донесений Павла Потемкина. — 2-го августа 1774 года, на другой день по прибытии в Казань князя Голицына, П. С. Потемкин доносил императрице:

«Я уповаю, всемилостивейшая Государыня, что дела возьмут другой оборот... Весьма ослабно пекся губернатор о соблюдении города; но столько ж слабо командир воинский (*князь Щербатов*) пекся соблюсти пространство империи, в которую теперь впустили злодея. Я с отчаянием нашел на такие обстоятельства и, не имея возможности помочь к пользе дел и службы вашего величества, имею вечное сокрушение, что был в числе (*тех*), кои не могли спасти Казань; хотя сам Бог свидетель, что я не щадил жизни моей, но сего не довольно было соблюсти город и поправить дела.

Сердце мое обливается кровью от горести, всемилостивейшая Государыня, видеть в такой расстройке дела. Множество причин стеснились к произведению зла, из коих самая первая есть лихоимство...»

2. 11-го августа: «О оборотах злодея имеем здесь известие, что он, прошедши Саранск и Пензу и оставя варварства своего следы повсюду, обратился чрез Петровск на Саратов: я весьма опасаясь, чтобы по несогласию тамошних командиров не удалось ему сорвать сей город до прибытия detachementов Муфеля и гр. Меллина, которые соединились в Пензе и поспевают настичь злодея. Но ежели, Боже сохрани, удастся ему в Саратове, то весьма усилится он ополчением и людьми.

Слабости правителей и мест суть виною, что злодей, будучи разбит, бежал как отчаянный и мог вновь сделаться сильным. В Кокшайске он перебрался чрез Волгу с 50-ю человек, в Цивильске он был только во 150; в Алатыре в 500; в Саранске около 1200, где достал пушки и порох, а в Пензе и в Саранске набрал более 1000 человек и умножил артиллерию и припасы. Таким образом, из беглеца делается сильным и ужасает народ. Я с нетерпением ожидаю известий от полковника Муфеля и генерал-майора Меллина, которого усердие и добрая воля к службе вашего императорского величества достойны монаршего воззрения, ибо он прибыл в Пензу и соединился с Муфелем невероятным образом скоро и ничего больше не желает, как только чтоб настичь злодея».

3. Из донесения князя Голицына от 4-го августа из Казани:

«Нижегородский губернатор Ступишин уведомляет, что самозванец по всем своим следам оставил возмутителей, кои удачно в том и успевают, подходя из них некоторые и к Нижнему верстах в 15-ти.

Симбирский комендант писал, что в Саранске дворовые люди и крестьяне, помещиков своих разграбя, самопроизвольно к Пугачеву пристают по большей части от пьянства, и что самозва-

нец обещает каждому по 100 р. на месяц и вечную волю, ослушников же лишает жизни».

4. Рапорт графа Меллина князю Щербатову от 2-го августа из Саранска:

«Удивительно мне, что не только крестьяне, но и священнические, монашеские и архимандритские чины делают всему государству возмущение, возмущая чувственный и нечувственный народ, тем поминая в небытность уже его злодейское варварское имя в службе Божией при литургиях и молебнах, которое уже св. Синодом на анафеме проклято, что учинено здесь архимандритом Александром... Дворянство и купечество и все обыватели в Саранске никакого сопротивления с злодеем не делали».





Глава VII

Невзгоды под начальством графа Панина

(1774 – 1776)

1. Граф П. И. Панин

Граф Петр Панин, известный до тех пор особенно как «покоритель Бендер», вскоре после взятия этой крепости в 1770 году вышел в отставку. Такой неожиданный шаг приписывали тому, что он был недоволен полученными за свой подвиг наградами (Георгия 1-й степ. и 2500 душ крестьян). Живя в Москве, он громко порицал действия правительства, так что императрица считала его «персональным себе оскорбителем» и поручила московскому градоначальнику князю М. Н. Волконскому наблюдать за ним, называя его, в переписке с этим вельможею, «дерзким болтуном». Между тем брат его, Никита Иванович, как государственный канцлер и воспитатель наследника престола принадлежал к числу самых близких к государыне лиц, и доказательством милости, какую он пользовался, служили пожалованные ему в сентябре 1773 года, при праздновании совершеннолетия великого князя, щедрые награды.

Когда после падения Казани Екатерина II увидела необходимость более энергических мер против Пугачева и сама уже думала ехать в Москву, чтобы стать во главе своей армии, Никита Панин указал ей для этого дела на своего брата, который незадолго перед тем выражал намерение вооружить своих крестьян,

идти с ними против Пугачева и подчиниться начальнику первого настигнутого им в пути отряда. Екатерина, на собранном ею совете, одобрила, хотя и неохотно, предложение канцлера и 29-го июля подписала в Петергофе бумаги о назначении Петра Панина главнокомандующим войск, действовавших против Пугачева. Рескриптом императрицы даны были Панину те же обширные полномочия, какими пользовался Бибииков, и управление его вверены со всеми местными властями три губернии: Казанская, Оренбургская и Нижегородская, причем ему предоставлено «с полною и неограниченною доверенностью изыскание и употребление всяких средств и мер к прекращению продолжающихся беспокойств, по лучшему его усмотрению». О том, что происходило в душе императрицы при облечении Панина такою властью, ясно свидетельствует ее собственноручная записка к Потемкину, где она говорит, что Никита Панин «избрата своего изволил делать властителя с беспредельною властью в лучшей части империи» и т. д. Между тем бумаги о графе Петре Ивановиче Панине, в самый же день их подписания, были отправлены с нарочным в Москву. С каким восторгом честолюбивый вельможа, с этой минуты сделавшийся из невольного самым усердным слугой императрицы, принял известие о своем назначении, видно из первых писем его к ней. Но, страдая подагрой и разными болезненными припадками, хотя ему было еще не более 53 лет от роду, Панин опасался, что новая деятельность его может быть внезапно прервана болезнью или даже смертью; чтобы в таком случае предупредить последствия, подобные тем, какие повлекла за собою кончина Бибиикова, он просил императрицу избрать тогда же генерала, который мог бы заменить его, как скоро будет нужно. Екатерина и без того уже писала Румянцеву, чтоб он поскорее прислал из армии Суворова; тем легче она теперь изъявила согласие дать ему новое назначение при Панине. Со времени разорения Казани Москва с трепетом ждала Пугачева. Слух о мире с Турцией, вследствие которого большей части генералов повелено было из действующей армии отправиться в «зараженные бунтом места», значительно успокоил умы жителей древней столицы; однако нападение на нее все еще казалось вероятным. Екатерина еще до назначения гр. Панина отправила туда несколько полков под командою генерал-майора Чорбы и деятельно переписывалась с князем Волконским. После избрания Панина она просила их обоих действовать единодушно; между тем и сама собиралась ехать в Москву вместе с великим князем Павлом Петровичем.

Вступив в новую должность 2-го августа, граф Панин имел несколько совещаний с князем Волконским и не хотел оставлять Москвы, пока не выяснится вполне план движений Пугачева. Наконец, 17-го августа Панин выехал в Коломну. Удержав под своим собственным главным предводительством отряд генерал-майора Чорбы, он намеревался идти до самых передовых отрядов. Через Коломну и Переславль-Рязанский, он направил путь на Шацк, а оттуда на Керенск, Нижний Ломов и Пензу. Заме-

чая, что в местах, где проходит Пугачев, подсылаемые им люди в тылу его возмущают крестьян, и таким образом составляются новые многочисленные шайки, граф Панин решился на самые строгие меры. В первое время после его назначения распространился было в народе слух, что брат дядьки наследника едет с хлебом и солью навстречу императору. Чтобы скорее опровергнуть этот слух, Панин захотел показать всем, какую «хлеб-соль» он везет, и немедленно приступил к жестоким казням. Тогда убедились, что если уж брат великого князя так действует, то признаваемый за Петра III есть подлинно самозванец. Обнародвав печатное, сенатом утвержденное увещание ко всем жителям трех вверенных ему губерний, он вслед за тем разослал циркуляр о наказаниях бунтовщикам: между прочим предписывалось во всех непокорных селениях поставить и впредь до указа не снимать «по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания за ребро». Изю всех мест, где он останавливался, Панин писал подробные донесения императрице, поражающие нас своим плодовитым велеречием и подобострастным тоном, особливо в сравнении с безыскусственными донесениями Бибикова, который и подписывался не иначе, как *всеподданнейший*, тогда как Панин к этому всегда прибавлял еще слово *раб*. Екатерина отвечала ему всякий раз очень подробно и милостиво, обыкновенно на несколько донесений разом; эти ответы писались начерно собственной ее рукою. Вначале Панина очень тревожило, что он долго не получал известий об успехах передовых отрядов. Эту заботу он не раз выражал в переписке своей с князем Петром Михайловичем Голицыным, который до его назначения был короткое время главнокомандующим и которого он теперь называл «надежнейшим своим содейственником».

24-го августа граф Панин находился в селе Ухолове, на полдороге между Переславлем-Рязанским и Шацком. Вдруг к нему прискакал в одном кафтане, на открытой телеге Суворов и, получив его приказания, тотчас же отправился для принятия начальства над самыми передовыми отрядами. Панин поспешил донести о том императрице; Екатерина рескриптом изъявила Суворову свое благоволение «за такую хвалу достойную проворную езду» и приложила две тысячи червонцев на экипаж, «которого он за нужно не нашел взять»; но, несмотря на скорую езду, Суворов на этот раз опоздал: он явился к Панину только накануне последнего поражения Пугачева Михельсоном, при Черном Яре, и поспел в Царицын не ранее 3-го сентября.

Из подчиненных лиц, участвовавших в распоряжениях и действиях против Пугачева, особенно благосклонностью Панина пользовался капитан Измайловского полка Лунин. Он был, как сказано в своем месте, старшим из офицеров, взятых еще Бибиковым в члены секретной комиссии, учрежденной в Казани для следствия и суда над сообщниками Пугачева. При избрании Панина в главнокомандующие Лунин находился в Петербурге и повез ему в Москву указ и рескрипт о его назначении. Внимание

императрицы к Лунину доставило ему видное положение и при Панине, который, приближаясь постепенно к театру главных военных действий, поручил ему истребление бунтовских шаек в тылу Пугачева и в донесениях своих всегда отзывался о нем с особенною похвалой.

2. Неудовольствия против Державина

Не так счастлив, как Лунин, был товарищ его по секретной комиссии. Вскоре после вступления графа Панина в новую должность все обстоятельства как будто нарочно соединились к тому, чтобы совершенно испортить положение Державина.

Мы видели, что Павел Потемкин полюбил его, а отношения между Паниным и Потемкиным были недружеские. Императрица, поручив Панину усмирение мятежа, не подчинила ему Потемкина, который продолжал по-прежнему посылать прямо к ней свои донесения. Это легко могло поселить недоразумения между обоими генералами. Граф Панин не мог не знать об отношениях Павла Потемкина к Державину, получив еще в Москве от князя Голицына копию с рапорта этого офицера начальнику секретных комиссий, где, извещая о своем намерении отправиться в Петровск и выражая свои опасения за Саратов, он в резких словах жаловался на Бошняка: «комендант явным делается развратителем народа и посеивает в сердца их интригами недоброхотство, говоря, чтоб не наряжал их полицеймейстер на работу ретраншемента, а как хотят де они сами; чрез то чернь ропщет и указывает, что им комендант не велит». Сообщая потом о некоторых из своих распоряжений, Державин прибавляет: «Кажется, все беру меры, но не стае моих сил по желанию и усердию моему все исполнять за препятствием разных мнений. Снимите с меня, ваше превосходительство, бремя сие, которое назвать изволили вы пространным полем, либо дайте сил к удоношению его. Прикажите подтвердить в округу сию, чрез непосредственное могущество свое, чтоб меня еще лучше внимали. О, когда бы, при соответствовании усердию моему Божией помощи, был я вами довольно силен, то, кажется, на что б я не пустился к службе моему отечеству и моей всемилостивейшей императрице!»

Конечно, князь Голицын, хорошо расположенный к Державину, послал к графу Панину эту бумагу с самым добрым намерением. Сам он вместе с тем писал главнокомандующему: «Я по такому противному его (коменданта) поступку осмелился предложить генералу Мансурову (как старшему из начальников над отрядами, преследующими Пугачева), дабы он, достигнув до Саратова, если в самом деле усмотрит в помянутом коменданте к должности его неспособность, в таком бы случае переменял его достойным начальником. Я уповаю, что изменник не осмелится учинить покушение на сей город (Саратов), как снабженный довольным числом гарнизона» и проч. Из этих строк видно, как

Голицын верил Державину; но он не мог оказать ему худшей услуги, как препроводив к Панину письмо, в котором этот офицер искал поддержки и помощи Павла Потемкина, да притом жаловался на Бошняка: Бошняк пользовался покровительством Кречетникова, а Кречетников, как мы скоро увидим, был в дружелюбных отношениях с Паниным.

Первое известие о взятии Пугачевым Саратова главнокомандующий прочел еще в Москве, в рапорте Михельсона, шедшего по следам злодея. Потом, уже по выезде из Москвы, он получил более обстоятельное донесение об этом событии от царицынского коменданта Цыплетева, слышавшего о том от самого Бошняка, который — как было рассказано, — отбившись от Пугачева, сел на Волге в лодку и 11-го августа прибыл благополучно в Царицын. Представляя Екатерине рапорт Цыплетева, граф Панин обратил особенное ее внимание на то прискорбное обстоятельство, что при Саратове в первый раз передались Пугачеву не одни казаки, но и регулярные императорские войска и бывшая там полевая артиллерийская команда с некоторыми «их проклятыми» офицерами.

Но еще более подробные сведения о погроме Саратова привез Панину капитан тамошнего батальона Сапожников. Этот офицер, прибывший в Царицын вместе с Бошняком, ехал теперь в Петербург с депешою астраханского губернатора в сенат. Многие карантинны, учрежденные около Москвы во время моровой язвы 1771 года, оставались, в виде предосторожности, еще несколько лет после того. Сапожникова остановили было в коломенском карантине, но потом отправили вслед за графом Паниным, к которому он и явился в Ухолове, в один день с Суворовым. По требованию Панина он составил для него записку («сказку») об обстоятельствах нападения Пугачева на Саратов. Очень естественно, что этот офицер смотрел на события глазами Бошняка. Пристрастный взгляд его всего яснее обнаруживается в самом начале записки, где известная экспедиция под Петровск приписана исключительно коменданту, о Державине же нет и помину. Панин препроводил эту записку в подлиннике к императрице. В ответе ее были следующие любопытные строки: «Если заподлинно комендант саратовский поступал так, как в сказке капитана Сапожникова показано, то он достоин, чтоб верность его не осталась без награждения, что поручаю вам наиприлежнейше рассмотреть и в ясность привести, а потом представить ко мне. Доходили до меня гвардии поручика Державина о сем коменданте письма, кои не в его пользу были; а как сей Державин сам из города отлучился будто за сысканьем сикурса, а вы об нем нигде не упоминаете, то уже его показанье несколько подвержено сомнению, которое прошу, когда случай будет, пообъяснить наведением об обращениях сего гвардии поручика Державина и соответствовала ли его храбрость и искусство его словам, а прислан он был туда от покойного генерала Бибикова».

Из этих строк оказывается, что жалобы Державина на Бошняка были хорошо известны Екатерине. Вероятно, Павел По-

темкин отправлял к ней при своих донесениях и рапорты уважаемого им подчиненного или сообщал их частным образом своему могущественному родственнику. Около этого самого времени начальник секретных комиссий писал Державину: «Я уже о расторопности и усердии вашем представлял высочайшему двору». В донесении императрице от 11-го августа Потемкин говорит о саратовских событиях, как о чем-то ей уже известном, и выражается так: «Я весьма опасаясь, чтобы по несогласию тамошних командиров не удалось ему (т. е. Пугачеву) сорвать сей город до прибытия detachmentов» и проч.

Понятно, как должно было подействовать на графа Панина сомнение в его подчиненном, выраженное самою государыней, и насколько этим должно было усилиться уже пробужденное в душе его нерасположение к Державину. А между тем чувство это получило еще новую пищу. Надо вспомнить, что Державин, перед разногласием с Бошняком, давно уже был не в ладах с начальником его, астраханским губернатором. Мы видели, что когда, в начале своей командировки, он приезжал в Саратов с рекомендательным письмом от Бибикова, то остался очень недоволен приемом Кречетникова; потом, уехав, просил у него казаков, но, не получив их, жаловался Бибикову и вел с губернатором переписку, в которой с обеих сторон были высказаны разные колкости. 28-го августа Кречетников из Астрахани писал гр. Панину: «Саратов злодеями взят и разорен не иначе как по предательству купцов и на остаток (т. е. напоследок) гарнизонного майора Салманова и артиллерийской команды, кои все добровольно из фрунта к нему ушли; сей богомерзкой измене спомоществовало несогласие опекунской конторы главного судьи, статского советника Лодыжинского, с комендантом, полковником Бошняком, коему заблаговременно от меня наставление дано было, чтоб он взял все воинские команды в свое распоряжение, но Лодыжинский, и с ним ветреный человек гвардии поручик Державин, того не сделали и сбирались его арестовать, а потом сбирали на совет купцов и гарнизонных штаб-офицеров против коменданта и тем его ослабили, и укрепления никакого не сделали, а как самое зло настало и злодей пришел, то в тот самый день коменданту команду отдали, а сами — Лодыжинский в Царицын, а Державин на Яик поехали. И так люди, возмущаясь, в столь непростительное зло впали и таковые плоды от разных команд неподчиненных один другому последовали».

Подлинное письмо написано собственной рукой Кречетникова весьма поспешно, неразборчиво и притом в самом неофициальном тоне, который, несмотря на примесь лести, явно указывает на очень короткие отношения между обоими генералами. Отдав отчет в своих распоряжениях, Кречетников прибавляет: «итак, донося вашему сиятельству все сделанное мною, буду ожидать милостивой вашей апробации, кою я во век мой почитал и почитать не престану». Это письмо, конечно, еще более усилило действие приказания императрицы об исследовании поведения Державина.

3. Меры для поимки Пугачева. Суворов. Выдача самозванца

Граф Панин успел доехать только до Шацка, когда пришло известие о бегстве Пугачева от Царицына; вскоре получена весть о совершенном поражении его 25-го августа при Черном Яре. Теперь оставалось только овладеть обессиленным самозванцем. К этой цели одновременно стремились все начальники отрядов за Волгою, где главные распоряжения военными действиями вверены было князю Голицыну. Из подчиненных ему в то время лиц мы видим в этом деле с одной стороны Суворова, с другой — Державина.

Голицын, уведомляя Державина о переправе Пугачева на луговую сторону, просил его употребить всевозможные средства, чтобы, во-первых, удостовериться, куда именно злодей направит свое бегство, а во-вторых, чтобы с помощью обывателей поймать или умертвить его; причем князь уполномочивал Державина выдать на это сколько нужно будет денег, которые он, Голицын, примет на свой собственный счет. Поэтому он предписывал Державину послать на Узени верных *подлазчиков* (лазутчиков), а между тем и сам собирался переправиться за Волгу и действовать вдоль Иргиза, в случае же надобности — подкрепить Державина. Здесь мимоходом припомним, что последний незадолго перед тем совершил с отрядом крестьян свою удачную экспедицию в степь против киргизов, разграбивших немецкие колонии. Это дело, за которое Голицын в той же бумаге благодарил Державина, еще увеличило уважение его к этому офицеру: князь звал его к себе и обещал написать Потемкину, «что пребывание ваше, — как он выражался, — в здешних местах весьма нужно, и чтобы вы для того не были отсюда отлучены».

Между тем и Суворов, пробыв только один день в Царицыне, отправился по луговой стороне преследовать Пугачева, за которым перед собою велел идти также графу Меллину. 9-го сентября Суворов был на реке Еруслане и в рапорте, посланном оттуда к Панину, два раза упомянул о Державине, имя которого, конечно, тут в первый раз сделалось ему известно. «Г. поручик лейб-гвардии Державин, — писал Суворов главнокомандующему, — при реке Карамане киргизцев разбил. Сам же г. Державин, — говорил он далее, — оставясь отрядил 120 человек преследовать видимых людей на Карамане до Иргиза».

Пройдя в следующие сутки 80 верст, Суворов 10-го числа был на речке Таргуне, притоке Еруслана, впадающего в Волгу, и оттуда отнесся уже к самому Державину со следующим орденом, несомненно доказывающим, какую добрую славу приобрел тогда этот офицер.

«О усердии к службе ее императорского величества вашего благородия я уже много известен; то ж и о последнем от вас

разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачева от Карамана; по возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений. Я ныне при detaшементе графа Меллина следую к Узеням на речке Таргуне, до вершин его верст с 60, оттуда до 1-го Узеня верст с 40. Detaшемент полковника Михельсона за мною сутках в двух. Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь. Иргиз важен, но как тут следует от Сосновки его сиятельство князь Голицын, то от Узеней не учиню ли или прикажу учинить подвиг к Яицкому городку.

Александр Суворов. 10-го сентября 1774 г. *

Таково было первое начало дружеских отношений между великим полководцем и славным лириком Екатерины, — отношений, продолжавшихся до самой кончины первого.

Ни тому ни другому, однако, не было суждено овладеть Пугачевым. 11-го числа Суворов был на Малом Узене и здесь, разделив бывший с ним отряд на четыре части, «жег камыш, укрывающий разбойника (слова из рапорта Суворова графу Панину), но буде бы и там он не отыскался, так по следам его наступать постараюсь, превозмогая во всем усталость, даже до самого города Яика... Надежда блистает!» — так заключал Суворов. «Сейчас со всем detaшементом Меллина иду к другому, или Большому Узеню. Михельсону тоже подтвердил следовать за мною весьма поспешно».

Но надежда обманула Суворова. Правда, Пугачев действительно попал в руки правительства, но без всякого участия преследовавших его после поражения при Черном Яре.

По повелению князя Голицына комендант Яицкого городка Симонов 10-го сентября отправил на нижнеяицкие форпосты сотника Харчева с 50 казаками, чтобы помешать разбитому Пугачеву пробраться за реку Яик «на бухарскую сторону»; в случае же приближения его шайки напасть на нее, а особливо стараться поймать его самого. Пугачев после поражения при Черном Яре (при Купецкой Ватаге, по словам Харчева), перебравшись через Волгу, имел при себе не более 150 яицких казаков. На совете с ними он их уговаривал идти в Сибирь и там возмутить народ; но товарищи его, не согласясь на это, заставили его бежать с ними на Узени, любимый притон преступников тамошнего края. Там шайка Пугачева нашла выпущенных из Яицкого городка колодников. Капитан Маврин освободил большое число арестантов и из них же подговорил многих «во все стороны метаться» и распространять слух, что виновные, которые с раскаянием явятся к нему, Маврину, будут прощены, «а кто Емельку свяжет, тот еще и награждением воспользуется». Тогда бывшие при Пугачеве яицкие казаки, уже и без того переставшие верить ему, отправили в Яицкий городок шпионов и, удостоверясь в истине слухов, решились выдать самозванца.

Командированный из этого города Харчев, проведая обо всем в пути, пошел на Бударинский форпост, куда направилась шайка Пугачева. Еще не доходя до этого места, он встретил двух отряженных из этой шайки казаков: яицкого — Чумакова и илецкого — Творогова, который в последнее время скреплял все указы мнимого императора. Они объявили, что едут в Яицкий город с раскаянием и предложением выдать Пугачева, если получат заверение, что он будет принят с честью. Харчев, заметив в речах их двусмысленность, отобрал у них оружие и деньги и отправил обоих с одним из своих казаков в город. Продолжая путь, он 14-го числа поутру перед Бударинским форпостом съехался с их товарищами и требовал выдачи злодея, который наружно был еще в прежнем у них почтении и оставался не связанным; но казаки отвечали, что сами его доставят в руки правительства. Харчев, не решаясь тронуть его по многочисленности бывшей с ним шайки, проводил их до Коловертной лощины; здесь же, с помощью воровского полковника Фидулева, снял с Пугачева одежду и, обличив его перед казаками в самозванстве, привел их в раскаяние; потом, достигнув Кош-яицкого форпоста, взял его от них под свой караул, заклепал в колодку и привез в Яицкий городок, в самую полночь на 15-е сентября. Через нарочного Харчев предварил Симонова об успехе дела, и комендант сразу же выслал навстречу ему, для помощи, сержанта Бардовского.

По прибытии в город шайка, состоявшая еще из 114 человек, была посажена под караул в ретраншемент. Сам же Пугачев (по выражению Маврина в рапорте князю Голицыну) был «можно сказать, принесен на головах» к этому офицеру. При первом допросе он объявил прямо свое настоящее происхождение, не обнаружил, однако, ни раскаяния, ни робости, но при дальнейшем ходе следствия сознавался, что согрешил перед Богом и государыней и т. п.

Вслед за ним, на другой день, Суворов прибыл также в Яицкий городок, и писал между прочим Панину: «Не уповаю, чтобы вашему высокографскому сиятельству противно быть могло, когда я выпровожением отсюда разбойника Пугачева поспешу».

4. Первые известия о поимке Пугачева

Мы уже видели, что между тем делали князь Голицын и Державин. Голицын 9-го сентября переправился на луговую сторону Волги и, отрядив партии в разные стороны, сам пошел сперва вверх по Иргизу, а потом в Яицкий городок. 14-го сентября к Державину привели пугачевского полковника Мельникова, который бежал от самозванца, когда тому изменили его сообщники.

Державин немедленно отправил Мельникова под крепким караулом к Голицыну. Князь стоял на речке Камелике, в 130 верстах от Яицкой крепости, когда 15-го сентября ему представили

бродягу. Он поспешил отправить к графу Панину в Пензу подполковника Пушкина с радостным известием об аресте Пугачева. В рапорте князя Голицына, написанном по этому случаю, нас поражает показание, что Мельникова схватили на Узеньях двое верных яицких казаков, отправленные туда им, Голицыным, с тем чтобы тайно склонить известного казака Перфильева к поимке или умерщвлению Пугачева. Из этого следовало бы, что Державин как в журнале, веденном им во время пугачевщины, так и в позднейших своих записках несправедливо приписал своему отряду поимку Мельникова. Для устранения противоречия между обоими показаниями надо припомнить, что Голицын, по военной команде, был начальником Державина и поэтому, кажется, считал себя вправе смотреть на распоряжение своего подчиненного, как на свое собственное. Может быть, к сотне крестьян, отряженных последним, действительно присоединились два казака, посланные первым, и он, донося графу Панину о результате экспедиции, не нашел нужным упоминать еще и о крестьянах Державина. Почти в таком же смысле князь Голицын 17-го сентября писал Державину: «злодей привезен в Яицкий город отряженною от меня из сего города партиєю». Впрочем, партия Харчева, доставившая Пугачева к Маврину, была отправлена Симоновым по крайней мере вследствие ордера Голицына; экспедиция же, кончившаяся поимкою Мельникова, предпринята была по мысли и по предложению Державина, и справедливее было бы, если бы Голицын в рапорте Панину не умолчал об офицере, которому обязан был и этим, хотя незначительным успехом, и удовольствием закончить свой рапорт начальнику следующими словами: «За счастье себе поставляю то, что как я первый имел удачу сначала усилившемуся извергу рода человеческого сломить рога сильным его под Татищевую крепостью поражением, так и теперь первый же имею честь возвестить вашему сиятельству о конечной его гибели». Известие о взятии Пугачева кн. Голицын получил от Державина с присланным им Мельниковым.

Секунд-майор Пушкин, посланный к главнокомандующему из Яицкого городка с рапортом Голицына, служил во 2-м гренадерском полку. Не только князь при этом случае отзывался о нем с особенною похвалою, но и прежде еще Бибиков свидетельствовал перед императрицей об отличной храбрости и расторопности Пушкина. В деле при Сорочинской крепости он занял место поднятого на копьа неустрашимого майора Елагина и прогнал мятежников. По приказанию Голицына Пушкин заехал к Державину в Мечетную и просил сказать откровенно, не дал ли он знать о поимке Пугачева прямо от себя главнокомандующему или кому другому из генералов. Державин отвечал, что он послал уведомление только своим непосредственным начальникам, князю Голицыну и Потемкину. Пушкин был доволен этим, полагая, что таким образом Потемкин, живя в отдаленной Казани, не успеет дослать курьера до Петербурга ранее Панина, находившегося в Пензе, куда он, Пушкин, и поскакал не теряя вре-

мени. Впоследствии, когда над Державиным разразился гнев графа Панина, он объяснял себе свою невзгоду тем, что когда курьер, посланный им к Потемкину, проезжал через Сызрань, то тамошний воевода, услышав с каким известием он едет, отправил нарочного к графу Панину, который будто бы из этого и узнал, что помимо его важная весть послана Державиным к Потемкину; Потемкин же успел предупредить Панина в сообщении ее императрице. Но Державин ошибался.

Граф Панин в первый раз узнал о поимке Пугачева от голицынского курьера, как видно из следующего донесения его от 18-го сентября:

«Имею счастье поздравить ваше императорское величество с избавлением империи от извительнейшего ее врага Пугачева. Какое получил я в сию минуту извещение о его поимке, кажется, совсем вероятной, оное оригинально спешу сим препроводить с подателем, правящим при мне должность флигель-адъютанта, князем Лобановым, моим внуком родным, коего, а наипаче еще генерал-майора князя Голицына, как главного виновника первому низложению сил сего государственного врага, так и первому же извещателю о ввержении его в заслуженные им оковы и оказавшего толикую неутомленность, рвение и усердие службою в оном вашему императорскому величеству, дерзаю повергнуть в монаршую милость и благоволение, сам же постараюсь обстоятельнейшую ведомость принести к вашему императорскому величеству в самое получение ее, пребывая на всю жизнь» и проч.

По странной случайности курьер Державина прибыл в Казань в тот же самый день, как Пушкин в Пензу, и Павел Потемкин, не теряя ни минуты, следовательно, одновременно с Паниным, написал императрице:

«Сейчас получил я от поручика гвардии Державина, находящегося для защищения колоний от набегов киргиз-кайсаков, наиприятнейшее известие, что изверга и злодея Пугачева на Узеньях, т. е. на речке, идущей к Яицку, поймали и, связав, под стражею повезли в Яицкой городок.

Я поспешаю донести вашему императорскому величеству сию приятнейшую ведомость чрез ротмистра Бушуева, который сначала при покойном генерал-аншефе Александре Ильиче Бибикове находился, и которого, повергая к стопам вашего императорского величества, как и себя в монаршую милость, с неизреченным благоговением во всю жизнь пребывать главным предметом поставляю» и проч.

Естественно, что пензенское донесение должно было дойти до Петербурга ранее казанского, хотя и отправленного в тот же день. Так и случилось: доказательством тому служат следующие строки из письма Екатерины к московскому градоначальнику, князю Волконскому, от 27-го сентября: «С последним курьером я получила известие из Пензы от графа Панина, что яицкие казаки связали Пугачева и везут его в Яицкий городок». И самому графу Панину императрица писала: «Теперь ответствовать оста-

лось мне на ваше доброизвестительное письмо о поимке врага Пугачева, которая первая весть отовсюду подтверждается».

Таким образом, Державин справедливо приписывал себе честь сообщения правительству первого известия о поимке Пугачева, но он не знал, что оно в Петербург дошло прямым путем через главнокомандующего. Между тем эта весть расшевелила честолюбие генералов. Потемкин, благодаря Державина в самый день получения ее, приписал на полях своего письма: «Желал бы я охотно, чтобы злодей был доставлен в комиссию, а не в военную команду, поелику оной посредство к тому споспешествовало». Это значило, другими словами: «Устройте, чтобы Пугачев был доставлен ко мне, а не к главнокомандующему».

Но Державин не мог этого устроить, и вследствие того, как ему казалось, Потемкин стал также коситься на него. Буря подымалась, однако, с другой стороны.

5. Новые неприятности

Мы видели уже, как астраханский губернатор, в письме к графу Панину, жаловался на Державина, называя его ветренным человеком. Теперь, по приказанию Панина, вызванному повелением императрицы, началось исследование. Кречетников, узнав об окончательном поражении Пугачева, потребовал Бошняка в Астрахань. Комендант, уже много раз писавший ему о саратовских происшествиях, лично представил подробное объяснение, в котором, конечно, не были пощажены Лодыжинский и Державин. В свою очередь, Лодыжинский ездил также в Астрахань и подал губернатору оправдательный рапорт. Эти и другие бумаги, хранящиеся в Государственном архиве, доставили нам возможность проследить все сокровенные пружины последствий саратовской ссоры.

Кречетников, получив объяснения Бошняка и Лодыжинского, препроводил обе бумаги в сенат и в своем донесении повторил, почти слово в слово, жалобы Бошняка на его противников. «Лодыжинский и Державин, — писал между прочим губернатор, — не только с ним (комендантом) в наилучшей обороне не согласовали и производили спор, но и других штаб-офицеров и купцов от послушания его отвратили, а Державин в собрании всячески его ругал и поносил бесчестными словами, намереваясь яко осужденного арестовать, и 6-го августа, когда злодей со своей толпою приближался, Лодыжинский и Державин неведомо куда скрылись и его, коменданта, оставили с малою командою». Тогда же и в том же духе Кречетников донес обо всем этом князю Орлову как начальнику Лодыжинского и графу Петру Панину как главнокомандующему, который поручил ему исследовать дело.

Граф Панин немедленно предписал князю Голицыну, а для большей верности еще и генералу Мансурову: истребовать у Державина объяснение, почему он оставил Саратов перед самым

приходом туда Пугачева? Правда, в ордере Голицына Державину пилюля была позолочена благодарностью за поражение киргизов, но это не уменьшало ее горечи. Вот эта бумага (от 23-го сентября):

«Его сиятельство главнокомандующий за доказанную вами в поражении киргиз-кайсаков услугу предписывает свою благодарность и внимание по уважению оной, и что он о сем деле, по точности моего ему донесения, как об вас, так и одобренных вами в отличности чинах не оставит донести ее императорскому величеству.

Вследствие его ж сиятельства повеления изволите прислать ко мне к доставлению ему рапорт, в котором объясните обстоятельство, каким образом не случилось вы быть при защищении своего поста в городе Саратове и какая должность, кем и от кого поручена и с какою командою вам была, а потом для чего, куда и за сколько времени пред злодейским нападением на упомянутый город, с каким числом команды отлучиться были принуждены; и сие я точными объяснил словами, как его сиятельство мне предписать изволил».

Этот запрос, заключавший в себе обидное подозрение, сильно взволновал и огорчил честолюбивого офицера, который еще недавно доказал свою отвагу добровольными экспедициями под Петровск и против киргизов, и который притом до сих пор привык пользоваться полным доверием и уважением своих начальников. Смелый и самонадеянный, он решился вопреки положительному приказанию отвечать главнокомандующему не через Голицына, а прямо от себя. 5-го октября он отправил в Пензу обширный рапорт, или, вернее, отчет, в котором на 4 листах особенно большого формата и убористого письма изложил все свои действия. Вот заключение его:

«Сие есть, ваше сиятельство, сколько-нибудь ясное описание комиссии моей до падения Саратова и история об отлучке от оного; но чтоб не изволили помыслить, что я многоречием хотел затмить силу справедливости и не по важности мне вышеизбранных вопросов отвечал, то короче донесу: комиссия моя, по приложенному здесь наставлению, какая и от кого дана была, видима: команды я не имел. Пост мой подвижен, где я заблагорассужу. В Саратове был я для объявления награждения за поимку злодея и проповеди о неприлеплении к нему, для чего и собраны были от меня подписки под смертною казнью. Отлучился я от него, что услышал наклонения к бунту в другом месте, для меня важнейшем. Удалился я в Сызрань, что мне уже не можно стало в месте без команды, где случился я, никак обойтись. За 15 часов я из Саратова выехал, не имел при тысяче человек близко войска никакой опасности (т. е. опасения), кроме их беспорядка. Зрите, ваше сиятельство, мой справедливый долг, а прочее, что я делал, то из особенного моего усердия к службе нашей всемилостивейшей императрице и что должно быть бесчувственному, ежели смотреть равнодушно на гибель своего отечества и не прилагать крайних сил вымыслить ему

помощь. Подлинных документов для того я здесь не приложил, что ежели ваше сиятельство, к чести моей, прикажете нарядить суд, то я и тогда оные представлю».

Однако, удерживая у себя подлинники, Державин приложил копии с 13-ти официальных писем, полученных им от разных лиц по его командировке.

Такое многословное оправдание, подкрепленное еще целою кипкою бумаг и присланное мимо посредствующих начальников, должно было показаться дерзостью строгому главнокомандующему. Несмотря на то, граф Панин, желая дать полезный урок молодому офицеру, удостоил отвечать ему прямо от себя и притом тоном не столько жестким, сколько насмешливым и покровительственно снисходительным. Начав уведомлением, что он получил рапорт Державина со всеми приложениями, Панин продолжает: «По весьма великой его подлинно обширности, конечно, имели вы настоящую причину подумать, что при моем нынешнем многозаботном ее императорскому величеству служении может он мне представиться к прочтению великим обременением, но в том и оправдалось ваше обо мне благое заключение: я при получении его хотя уже половину ночи в делах по моей службе упражнялся, но другую половину не оставил употребить в самое внятное его прочтение». В этом ответе его отразился взгляд сановника восемнадцатого века на высокое значение чина и служебного старшинства. Оценив по донесению Державина ум его и дарования, граф Панин не мог простить неопытному, по его мнению, офицеру смелости, с какою он обсуждал распоряжения старших и вмешивался в них. Вместе с тем Панин, иронически отдавая справедливость красноречию Державина и забывая, что сам он прежде велел благодарить его за киргизскую экспедицию, говорит, что доказательством его усердия «будут служить только одни слова». Всего обиднее для Державина было то, что в противоположность ему Панин представлял саратовского коменданта, «который не покидал своего города, защищал его не токмо до самой последней крайности, но и при сущей измене и предательстве к злодею его подчиненных, с оставшимися при нем самыми вернейшими и усерднейшими к ее императорскому величеству из оных рабами, прошел с ружьем в руках сквозь всю столь многоужасающую злодейскую толпу в такую опять крепость, на которую злодей по примечанию устремлялся ж, а не туда, где б он безопасен был; почему и представляется мне, что гораздо легче сему коменданту пред военный суд явиться, если б обстоятельство того востребовало, нежели вам по изъявлению вами желания военного суда: ибо регулы военные, да и все прочие законы приемлют в настоящее доказательство и вероятность больше существительные действия, нежели сокровенность человеческих сердец, изъявляемых словами. Сего ради, по истинному к вам усердию, совету отложить желание ваше предстать пред военный суд».

Любопытно заключение письма: «Впрочем, будьте уверены, что все сие из меня извлекло усердие к людям, имеющим при-

родные дарования, какими вас Творец вселенной наградил, по истинному желанию обращать их в прямую пользу служения владеющей нашей великой государыне и отечеству и по той искренности, с которою я пробывать желаю, как и теперь с почтением сем вашего благородия верный слуга граф Петр Панин».

Теперь, имея в руках своих уже столько данных по обстоятельствам, которые Екатерина поручила ему разъяснить, Панин счел благовременным отвечать на ее запрос и в донесении от 17-го октября писал: «По окончательному исполнению повелений вашего величества... вступили ко мне по моим требованиям столь великие, особливо от Державина изъяснения, что и меня, раба вашего, удивили дерзновенным дозволением себе толикого распространения в извинении, которое требует в непорочной истине нескольких только слов; но по прочтении оно заставило меня и к единому вашего величества любопытству поднести оные здесь все в оригинале... Смее при том, всемилостивейшая государыня! о саратовском коменданте с подчиненными ему офицерами, пробившимися сквозь злодея, то присовокупить, что они в точности исполнили и заслугу свою показали по настоящей своей вашему императорскому величеству присяге, где каждый обещается и должен в потребном случае не щадить своего живота, и где от всякого требуется не витийственных слов и вмешивания в чужие, себе не принадлежащие и выше своего звания должности и дела, но существительных всякого по своему званию действ и безмолвленного повиновения одного другому по предписанному в регулах порядку, от которых, кажется мне, по приближении злодею на Саратов далеко было отступлено собиранием советов с приглашением и купечества. Усердие мое о истинном соблюдении установленных от вашего императорского величества безмолвленных повиновений, по форме правительства самодержавной власти и по чинам одного над другим установленных, не могло меня воздержать, чтоб Державину не сделать такого предложения, какое вы изволите здесь в копии усмотреть, а саратовскому коменданту дать повеление, чтоб он тамошних купцов Кобякова и Протопопова прислал сюда скованных» и проч.

При строгости, с какою граф Панин смотрел на Державина, может показаться странным, почему он отказал ему в суде. Возможно, что он, по некоторому свойственному ему добродушию, с одной стороны действительно щадил подчиненного, рисковавшего своею будущностью; но с другой стороны он, вероятно, не желал и огласки пререканий, происходивших в среде местного начальства, при чем обнаружилось бы и предсудительное отсутствие астраханского губернатора, который пользовался особенным покровительством главнокомандующего. Нельзя было также упускать из виду, что Державин своими действиями во время этой командировки заслужил полное одобрение многих высоко стоявших лиц: Бибикова, князей Щербатова и Голицына, Павла Потемкина и Суворова, чему он имел в руках самые убедительные доказательства. Поэтому гораздо проще и удобнее

должно было казаться графу Панину вести дело без суда, по своему личному усмотрению. Бошняк, успевший с помощью своего покровителя, Кречетникова, распространить в высшем начальстве убеждение что он с оружием в руках «пробился сквозь злодейскую толпу», не удовольствовался этим: он сам в ноябре месяце ездил в Симбирск к графу Панину и получил там разрешение снова вступить в свою комендантскую должность. Еще прежде того саратовские изменники, которые в сражении при Черном Яре попали в руки правительства, были преданы графом Паниным «скорорешительному» военному суду, который приказано произвести случившемуся тогда в Саратове генералу Мансурову. Состоявшийся о них приговор был препровожден главнокомандующим к императрице вместе с новым засвидетельствованием в пользу Бошняка. Екатерина, отвечая 20-го ноября разом на восемь донесений Панина, дала в письме своем следующий отзыв по этому предмету: «Касательно до дела поручика Державина и саратовского коменданта нашла я, что ваш ответ, сделанный Державину, и правила, из которых оный истекает, суть таковы беспорочны, как от ревности вашей к службе ожидать надлежало, и сей ответ таков хорош и полезен быть может сему молодому человеку, что, конечно, образ мысли его исправит, буде природное в нем здоровое рассуждение есть. Саратовского коменданта поведение, о котором вы обновляете похвалу, не оставлю без взыскания» (т. е. вознаграждения). Государыня не замедлила исполнить это обещание: в начале следующего года, после казни Пугачева, она пожаловала не только самому Бошняку 370 душ, но и жене его 2000 руб., «потому что комендантша, — как сказано было в одном частном письме к Державину, — жаловалась, что все потеряла при нападении Пугачева на Саратов».

Что касается Державина, то граф Панин, напротив, совершенно забыл или не захотел сдержать свое обещание довести до сведения императрицы об услуге, оказанной им в поражении киргиз-кайсаков. Строгий и оскорбительный ответ главнокомандующего должен был нанести жестокий удар самолюбию офицера, избалованного своими отношениями с другими генералами. Через несколько дней после того Державин получил и от князя Голицына, по прежнему благосклонного к нему, частное письмо о неудовольствии Панина:

«Я с крайним моим сожалением, — писал Голицын, — на сие следствие взирая и будучи исполнен истинным моим к вам доброжелательством, изыскиваю все удобовозможные средства к утолению графского гнева... но как не вижу еще в сем случае мнимого мною успеха, то и пишу теперь к Павлу Сергеевичу (Потемкину), дабы он, находясь над вами командиром, оказал вам в настоящем происшествии прямую свою протекцию». Но Голицын, не зная отношений между обоими генералами, напрасно надеялся в этом случае на помощь Потемкина. Притом можно почти наверно сказать, что если бы этот последний узнал, как императрица смотрела на Державина, то он, даже и

будучи в душе на стороне его, все-таки ничего бы для него не сделал. Между тем, однако, Павел Потемкин, еще вовсе не подзревая невзгоды, которой подвергся Державин, звал его в Казань, откуда сам он, по своей инструкции, собирался ехать на Яик для исследования в источнике настоящих причин бунта.

6. Поездка Державина к графу П. И. Панину

Итак, Державин во второй половине октября отправился в Казань, но эту поездку решил он воспользоваться и для того, чтобы побывать у графа Панина в Симбирске. Он откровенно сознается, что язвительный ответ главнокомандующего «внушил молодому чувствительному к чести офицеру желание ехать к графу и, лично с ним объяснившись, рассеять и малейшее в нем невыгодное о себе заключение».

До сих пор мы в своем изложении основывались на подлинных документах, которые нам удалось отыскать для дополнения и проверки записок Державина. Но в сообщении обстоятельств его представления Панину мы принуждены ограничиться свидетельством самого поэта. Рассказ о свидании с Паниным составляет одну из самых живых и всего лучше написанных страниц в записках Державина. Мы представим его здесь в сокращенном виде.

Под самым Симбирском Державин встретил гр. Панина, ехавшего с большою свитою на охоту; поэтому он отправился прежде к князю Голицыну, который в то время был также в Симбирске. Голицын чрезвычайно удивился смелости Державина и советовал ему лучше ехать, не останавливаясь, в Казань и там искать покровительства Потемкина. Державин при этом слышал между прочим, что Панин уже недели две (следовательно, с получения его рапорта) повторяет при всех за столом, что он ждет от государыни повеления повесить Державина вместе с Пугачевым.

Но это не испугало нашего приезжего поручика: по возвращении Панина с охоты Державин поспешил явиться к нему; после первых слов граф спросил, видел ли он Пугачева.

— Видел на коне под Петровском, — отвечал офицер.

— Прикажи привести Емельку, — сказал Панин Михельсону.

Через несколько минут введен был самозванец в оковах по рукам и по ногам, в старом засаленном тулупе. Он стал на колени.

Граф спросил:

— Здоров ли, Емелька?

— Ночи не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство.

— Надейся на милосердие государыни, — и с этим словом Панин приказал увести его.

Так, по предположению Державина, гордый начальник хотел, с одной стороны, похвалиться тем, что Пугачев в его руках, а с

другой — уколоть Державина, дав ему почувствовать, что он при всех своих усилиях не мог поймать злодея. После удаления Пугачева главнокомандующий и все бывшие тут штаб- и обер-офицеры пошли ужинать. Державин, хотя и не получил приглашения, однако отправился вслед за другими и занял место у графского стола, помня, что он гвардейский офицер и сиживал во дворце за одним столом с императрицей. Заметив его, граф нахмурился, заморгал по своей привычке глазами и вышел под предлогом, что забыл отправить курьера к государыне.

На другое утро, еще до рассвета, Державин, явившись опять к главнокомандующему, ждал его несколько часов. Наконец, около обедни граф вышел в приемную галерею, где уже собралось много военных; на нем был широкий атласный шлафрок серого цвета и большой французский колпак, перевязанный розовыми лентами. Панин прошел несколько раз по галерее, ни с кем не говоря ни слова, и даже не посмотрел на дожидавшегося поручика. Тогда Державин решился сам подойти к нему и сказал: «Я имел несчастье получить вашего сиятельства неудовольственный ордер, беру смелость объяснитьсь». Граф удивился, но велел Державину идти за собою и повел его в кабинет через целый ряд комнат. Дорогой он с сердцем делал выговор Державину, между прочим за то, что он в Саратове неуважительно обращался с комендантом и даже раз прогнал его от себя.

Сознаваясь во всем, Державин оправдывался пылкостью своего нрава и прибавил: «Кто бы стал вас обвинять, что вы, быв в отставке на покое, из особенной любви к отечеству и приверженности к службе государыни, приняли на себя в столь опасное время предводитель войсками? Так и я, когда все погибало, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города». Панин, надменный, но вместе и великодушный, как характеризует его Державин, был тронут этим и другими откровенными объяснениями его и наконец сказал ему: «Садись, мой друг, я твой покровитель». Вслед за тем, по докладу камердинера, вошли съехавшиеся в Симбирск военачальники: князь Голицын, Огарев, Чорба, Михельсон. Первый, принимавший в Державине особенное участие, тотчас бросил на него испытующий взгляд, желая угадать, что произошло между ним и графом. Державин старался веселым видом показать, что гроза миновала. Вскоре развязный и шуточный разговор его с главнокомандующим еще более убедил присутствовавших в добром расположении к нему вельможи. Выходя из кабинета, граф Панин пригласил его к обеду, за столом посадил его против себя и много с ним разговаривал. Державин заметил сильное любочестие и непомерное тщеславие в рассказах этого, впрочем, честного и любезного начальника. После обеда граф пошел отдыхать. В 6 часов пополудни свита, как делалось обыкновенно при дворе Екатерины, опять собралась. И в этот раз граф Панин много разговаривал с Державиным, вспоминая Семилетнюю войну, турецкий поход и особенно взятие Бендер, которым он немало превозносился; при этом он часто возвращался к мысли, которая

преобладала и в строгом письме его к Державину, т. е. что молодым людям во всех делах нужна «практика»; потом Панин сел играть в вист с Голицыным, Михельсоном и еще кем-то. Тут Державин испортил все дело одною неловкостью. Во время игры он подошел к хозяину и, сказав, что едет в Казань к генералу Потемкину, спросил, не угодно ли будет что приказать. Граф не мог скрыть своей досады и, отвернувшись, сухо отвечал: «Нет!» Державин после думал, что ошибка его состояла в бесцеремонности, с какою он, не желая попусту тратить время, потревожил графа посреди игры, вместо того чтобы побыть еще в месте пребывания главнокомандующего и потом откланяться ему в особом представлении; но причина неудовольствия скрывалась, кажется, глубже и объясняется опять-таки отношениями между главнокомандующим и начальником секретных комиссий. Первый, после приема, сделанного им Державину, был неприятно поражен, услышав, что он едет искать благосклонности Потемкина. Нерасположение к Державину снова пробудилось в душе графа. Вероятно, оно осталось не без влияния на то обстоятельство, что Державин после того так долго не получал никакой награды за службу во время пугачевщины, тогда как другие офицеры, употребленные в эту же пору по секретной комиссии или по другим поручениям, были своевременно награждены.

7. Окончание командировки в Казани и опять на Иргизе

От графа Панина Державин отправился, по вызову Потемкина, в Казань. Здесь ему показалось, что и в расположении к нему этого начальника произошла перемена. Может быть, действительно, Потемкин был недоволен тем, что, несмотря на выраженное им желание, Пугачев был доставлен не к нему, а к Панину. Тогда же Потемкин, для своих соображений, потребовал от Державина инструкцию, данную ему Бибиковым. Представляя ее, Державин приложил и бумаги, полученные им от начальствующих лиц, а кроме того краткий отчет в своих действиях («Сокращение комиссии»), где, говоря о сделанных распоряжениях для защиты Саратова, между прочим заметил: «Я и теперь не обинуясь хочу осуждения, ежели я вступил не в свое дело, ежели я помешал кому что делать и ежели найдусь в чем-нибудь тут виноватым».

Известна роль, какую в начале появления Пугачева играл раскольничий игумен Филарет, к которому самозванец не без успеха обращался за советом и содействием. В первый период бродяжничества Пугачева Филарет был схвачен в Сызрани, отведен в Казань и там посажен в темницу. Но при разгроме этого города Пугачев выпустил его, и Филарет скрылся. Понятно, что следственная комиссия считала особенно важным иметь в своих руках этого человека, и потому еще в июле Потемкин просил Державина принять меры к отысканию его. Для этого Державин

употребил между прочим хитрость, написав к Филарету подложное письмо, которым казначей скита отец Фадей звал его к себе и обещал оставить его в покое, если он уплатит 2000 руб. Но никакие поиски не удавались. По приезде Державина в Казань Потемкин возвратился к этому поручению и нашел необходимым послать Державина вторично в Малыковку. В данном ему по этому случаю длинном ордере Потемкин, расточая похвалы его усердию в исполнении поручений Бибикова, по-прежнему возлагает на него большие надежды и обещает свое засвидетельствование о его заслугах перед императрицей. Эта инструкция, составленная очевидно по образцу бибиковской, объясняет нам, почему последняя была нужна Потемкину.

Естественно, что приказание ехать опять в отдаленный край не могло быть приятно Державину, который полагал, что уже кончил там свое дело, и надеялся вскоре возвратиться в Петербург к прежней своей жизни, к своим друзьям и любимым занятиям. Поэтому неудивительно, что Державин в таком неожиданном поручении увидел знак нерасположения к себе Потемкина. Как бы ни было, приходилось ехать, и он уже собирался в путь, но, разезжая по городу в суровое и сырое время года (в ноябре), схватил горячку, которая надолго задержала его в Казани. Еще он не выздоровел, когда императрица, в декабре месяце, повелела П. С. Потемкину ехать в Москву для участия в допросе Пугачева. Наконец Державин поправился и, вероятно в феврале 1775 года, должен был снова отправиться в Саратовский край, между тем как другие офицеры, принадлежавшие к секретной комиссии, отпущены были в Москву. Это было тем досаднее, что в то время тайные меры к отысканию Филарета не имели смысла, так как «для поиска его, — говорит Державин, — отправлены были уже гласно от гр. Панина военные команды» и по распоряжению генерала Волкова стоявший на Иргизе гусарский эскадрон разыскивал беглых. Впрочем, вскоре после отъезда Державина всем офицерам гвардии приказано было возвратиться в полки; но так как он получил от Потемкина ордер о том не ранее как в конце марта, во время самой распутицы, то и не мог тотчас же явиться. По его бумагам оказывается, что он оставался на Волге до 7-го мая, а в записках своих он даже говорит, что «пробыл всю весну и небольшую часть лета 1775 года в колониях праздно». Во всяком случае, несомненно, что он был в Москве при праздновании мира с Турциею 10-го июля. В последние месяцы, проведенные им большею частью в колониях, он, имея довольно досуга для литературных занятий, написал и перевел из сочинений Фридриха II несколько од «при горе Читалагае». Кроме того, он, вероятно, тогда же составлял журнал, в котором изложил по месяцам обстоятельства своей командировки и который впоследствии послужил основанием для рассказа об этой эпохе в его записках.

В проезд через Казань, на пути в Москву, он там почти не останавливался. Не только городской дом его матери, но и имения ее, как казанские, так и оренбургские, были разорены; сама

старушка, едва спасшаяся от рук мятежников, была сокрушена горем, и свидание ее с сыном не было радостно после стольких потерь и в виду лишений, которых оба должны были ожидать в будущем. В записках сына ее есть сведение, что она при разорении Казани Пугачевым попала к нему в плен. Мы не знаем подробностей этого обстоятельства; но, вероятно, дело состояло только в том, что она, вместе с множеством других жителей города, пробывла короткое время в той «многотысячной толпе, которую, — по словам современника, — злодей великим протяжением влек за собою».

8. Пребывание в Москве. Обращение к Г. А. Потемкину. Развязка

В Москве Державин увидел себя в неблагоприятных служебных обстоятельствах: в его полку были новые начальники, вовсе его не знавшие — граф (вскоре князь) Григорий Александрович Потемкин и майор Федор Матвеевич Толстой. Оба приняли его без всякого внимания — потому, думает Державин, что первый слышал о нем холодные отзывы своего родственника, Павла Сергеевича, а последний против него предубежден был наговорами своего любимца, офицера Цурикова, который еще до командировки Державина был с ним в ссоре. Велено было «числить его при полку просто, как бы явившегося из отпуска или из какой незначущей посылки». А тут, как нарочно, встретился еще один неприятный случай. Державин наряжен был во дворец на караул; так как в отсутствие его граф Потемкин изменил строевой порядок, то наш офицер, не зная этого, и командовал неверно. Такая ошибка тем более была сочтена непростительною, что «рота, наряженная в караул, была на щегольство Потемкиным по его вкусу в новый мундир одета, и пред фельдмаршалом графом Румянцевым-Задунайским, приехавшим тогда в Москву для торжества мира, смотревшим из дворцовых окон, должна была заходить повзводно. За сию невинную ошибку, когда выступил полк в лагерь на Ходынку, провинившийся офицер не в очередь назначен на палочный караул». Конечно, и всякий другой на месте Державина был бы чувствительно оскорблен таким приговором после роли, которую он играл во время пугачевщины, после уважения, какое ему оказывали значительные лица в непосредственных с ним сношениях. Тем большее было это унижение для пылкого, честолюбивого, самонадеянного Державина, который хвалился своею необычайною ревностью в порученном ему деле и приписывал себе большие в нем заслуги. Прибавим к тому стесненное положение, в котором он находился: к дурным и без того уже домашним его обстоятельствам присоединилось еще то, что человек, за которого он когда-то поручился в Дворянском банке, Алексей Николаевич Маслов, не только не платил своего долга казне, но и скрылся совершенно, так что Державин обвинен был в подложном руча-

тельстве, и банковое взыскание обращено на него; а так как собственного его имущества на удовлетворение претензии казны было недостаточно, то и имение матери его было взято в опеку.



Покровителей у Державина не было; те, которые во время опасного бунта так высоко ценили его деятельность, так выхваляли его и обнадеживали своим предстательством пред императрицей — П. С. Потемкин и князь Голицын, — забыли его услуги и свои обещания, когда увидели нерасположение к нему Панина. Но вдруг у Державина мелькнула надежда приобрести нового покровителя. Проезжая через Свияжск, услышал он от тамошнего воеводы, что с ним желает познакомиться в Москве князь Щербатов, — не тот, который был недавно его начальником, а Михаил Михайлович, герольдмейстер, действительный камергер, уже известный тогда в литературе тремя первыми томами своей «Истории» и изданием «Журнала Петра Великого».

Такое желание со стороны знатного и довольно высоко стоявшего лица крайне удивило Державина. Явясь к князю в Москве, он узнал причину этого приглашения, не менее для него лестную: Щербатов, получив от императрицы для хранения во вверенном ему архиве донесения, относившиеся ко второй эпохе бунта, пожелал лично узнать офицера, который распоряжался и писал так энергически.

Князь Щербатов принял Державина очень ласково, но вместе с тем назвал его несчастливым и прибавил: «Граф П. И. Панин — страшный ваш гонитель. При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма черными красками, называя вас дерзким, коварным и т. п.» — Как гром поразило это Державина, сознается он в своих записках; он выразил надежду на покровительство нового своего доброжелателя, который, как он предполагал, мог помочь ему оправдаться пред государыней. «Нет, сударь, — отвечал Щербатов, — я не в состоянии подать вам какой-либо помощи: граф Панин ныне при дворе в великой силе, и я ему противоборствовать никак не могу».

Державин решился действовать: он просил майора Толстого представить его общему их начальнику, новому временщику, графу Г. А. Потемкину; когда же это не удалось, то написал к будущему князю Таврическому письмо, в котором, указав на своих уже награжденных товарищей, коротко исчислил все сделанное им во время командировки и просил сравнить его с этими офицерами. Строго судить его за такой шаг значило бы не принимать в соображение духа времени и вообще некоторых привычек, глубоко вкоренившихся в наши общественные нравы: подобные письма подавались многими в то время, может быть, подаются некоторыми еще и теперь. Для примера можно привести очень похожую на это просьбу Безбородки, поданную Потемкину же незадолго до окончания первой турецкой войны: «Я далее и больше отстаю не от сверстников уже своих, но и от младших и меньших, с коими бы могло несколько поровнять меня удовлетворение фельдмаршальской обо мне рекомендации о пожаловании меня в Малороссийский Киевский полк с чином армии полковника... На сих днях по сенату вышла о некоторых резолюция, но я и на службе, в походе пребывая, остаюсь без оной. Усугубляю мою нижайшую просьбу, чтоб ваше высокопревосходительство, по милостивому вашему обещанию, не отrekliсь пособием и предстательством вашим доставить мне, по последней обо мне реляции, пожалование».

Державин с письмом своим сам поехал к Потемкину в деревню Черную Грязь, где императрица жила в небольшом домике: там помещался и Потемкин. Ворвавшись к графу наперекор камер-лакею, который стоял у дверей уборной, он подал свое письмо. Граф, прочитав бумагу, сказал, что доложит государыне. Еще два раза Державин являлся к Потемкину, который сначала успокаивал его обещаниями, но наконец, выведенный из терпения, «отскочил с негодованием» и ушел к императрице.

Между тем Державин должен был хлопотать и у Голицына, чтобы казна возвратила ему издержки за продовольствие войска, которое в 40.000 подвод жило у него недели две в оренбургской деревне. Ему следовало тысяч до 25, но он с большим трудом выпросил у князя квитанцию только на 7000 руб.; «и то, — прибавляет Державин, — князь согласился только из особенного ко мне благорасположения».

Для получения этих денег надо было явиться в провиантскую канцелярию в Петербурге, а так как в то же время оттуда писали, что по поручению за Маслова положено описать в казну все имение Державина и самого его лично требовать к ответу, то «оставя всякое искание наград, отпросился в отпуск и поскакал в исходе сентября в Петербург». Здесь надо было, между прочим, обзаводиться хозяйством и одеждою. Более 2000 употребил он на уплату собственного своего банкового долга. Когда почти вся сумма была издержана, Державин вздумал опять поискать счастья в игре и на оставшиеся у него последние 50 руб. выиграл у некоего Жедринского и у графа Апраксина до 40.000. «Этот случай доказывает, — как справедливо заметил гр. Салиас, — до какой степени развита была тогда в лучшем обществе страсть к азартным играм, и понятно, что правительство частыми указами и разными мерами старалось всячески искоренить эту язву тогдашнего времени, вносящую в семьи разоренье, раздор, а иногда и преступление». Вероятно, счастье в игре начало уже изменять Державину, когда он, по совету своего приятеля Бушуева, решился напомнить Потемкину его обещание и отправил к нему в Москву второе письмо.

Ответа не было. Вскоре двор возвратился из Москвы. Державин продолжал играть, и «можно было бы, — говорит он в своих записках, — выиграть несравненно превосходные суммы, но фортуна переменилась». Между тем Потемкин впал на короткое время в немилость и должен был удалиться от двора: он ездил в Новгород. Это обстоятельство было благоприятно для Державина, потому что поубавило спесь и в майоре Толстом, который держался Потемкиным. В Петров день 1776 г. рота Преображенского полка, по обыкновению, была наряжена на караул в Петергоф. Попасть в этот караул считалось почетным, и Державин выпросился туда. При батальоне гвардии, наряженном для этого караула, командирован был штаб-офицер Измайловского полка Федор Яковлевич Олсуфьев, человек честный и доброжелательный. Державин, потеряв надежду на Потемкина, просил у Олсуфьева позволения подать через него письмо императрице. Олсуфьев согласился. Письмо это напечатано в записках Державина и повторяет, только пространнее, то, что было уже изложено в письмах к обоим Потемкиным. Приложив упомянутые в нем документы, Державин в июле месяце поехал с этими бумагами в Петергоф, где жила тогда императрица, и подал их статс-секретарю у принятия прошений Александру Андреевичу Безбородке, который тогда входил в силу. По возвращении двора в

Петербург Безбородко объявил Державину, что государыня, приняв милостиво его письмо, приказала спросить, какого награждения он желает. Державин, не будучи уже в нужде, отвечал, что когда служба его удостоена внимания монархини, то он ничего более не желает и доволен всем, что получит.

Однако дело не имело дальнейшего хода до возвращения Г. А. Потемкина в конце года из Новгорода. Раз, в декабре уже месяце, когда Державин наряжен был во дворец на караул и с ротой стоял во фрунте по Миллионной улице, Потемкин приехал за ним ординарца.

— Государыня приказала спросить вас, — сказал вельможа, — чего вы по прошению вашему за службу свою желаете?

Державин отвечал было ему то же, что и Безбородке.

— Вы должны непременно сказать, — возразил Потемкин.

— Когда так, — отозвался Державин, — то за производство дел по секретной миссии желаю быть награжденным деревнями наравне со сверстниками моими, гвардейскими офицерами; а за спасение колоний по собственному моему вызову, как за военное действие, чином полковника.

— Хорошо, — сказал князь, — вы получите.

К несчастью, Державин, выходя, встретил за дверьми майора Толстого, который, расспросив его о предмете разговора с Потемкиным, приказал ему подождать и, возвратясь через четверть часа от князя, сказал:

— Вдруг быть полковником всем покажется много; подождите до нового года: вам по старшинству достанется в капитан-поручики, тогда и можете уже быть выпущены полковником.

Итак, Державину приходилось еще ждать. В день нового года (1777) он по порядку произведен был в капитан-поручики. «Прошел и январь, а о награде и слуху не было. Принужден был еще толкаться у князя в передней». Наконец в начале февраля Потемкин, проходя мимо толпы просителей в своей приемной, заметил Державина и сказал бывшему тут же правителю своей канцелярии, Коваленскому, сквозь зубы: «Напиши о нем докладную записку». Коваленский, не зная в чем дело, просил Державина взять за самого себя этот труд. Державин составил записку и выразил в ней желание, чтобы его перевели полковником в армию. Но Коваленский через несколько дней объявил ему, что князь не одобрил этого доклада, по внушению Толстого, будто Державин к военной службе неспособен, почему и велено заготовить другую записку о выпуске его в статскую службу. Державин протестовал, опираясь на то, что он представляется к награде за военные действия. Но князь не согласился на его просьбу и по вторичному докладу Коваленского. Тогда Державин, по поручению последнего, написал новую записку, которая сохранилась в его тетрадах.

Вследствие этой записки указом 15-го февраля он был пожалован в коллежские советники и в то же время получил 300 душ в Белоруссии, что, конечно, покажется очень немного, если при-

нять в соображение, что через год Безбородке было даровано 1200 душ. В новоприобретенном от Польши крае Екатерина щедро раздавала свободные земли: князь А. А. Вяземский пожалованные ему при праздновании турецкого мира 2000 душ «взял» также в Белоруссии.

Так кончился для Державина период жизни, в который ему пришлось играть роль в одном из важнейших политических событий внутренней истории России и при этом на опыте изведать военные тревоги и опасности.

Просматривая кипы бумаг, составляющих далеко не полную переписку его во время пугачевщины, мы прежде всего поражены неутомимую его деятельностью: ничто не ускользает от его внимания; он предусматривает нужды и вовремя уведомляет о них кого следует, предлагает и вызывает меры осторожности, сносится непрерывно с начальниками и другими лицами, идет сам добровольно навстречу опасностям, которых легко мог бы избежать, — словом, делает гораздо более, нежели сколько, собственно, был обязан делать по своему назначению. Неудивительно, что он таким образом сумел поставить себя высоко в глазах всех своих непосредственных начальников, которые часто искали помощи в нем, как будто в равном себе по власти. Но те же свойства наделали ему и врагов между местными властями. Сохраняя полное беспристрастие, нельзя не подтвердить собственного его свидетельства, что он способствовал к ограждению иргизских селений и заволжских колоний от окончательного разорения калмыками и киргизами, возвратил около тысячи пленных, два раза снабдил войско Мансурова и Муфеля провиантом и спас малыковскую казну от разграбления, а вместе с тем истратил очень мало казенных денег (не более 600 руб.).

Правда, что деятельность Державина в эту эпоху не привела к особенно видным результатам, но нельзя, однако, не согласиться, что он, исполняя поручения Бибикова, Щербатова, Голицына, Павла Потемкина, выказал необыкновенную предприимчивость и энергию. Не он один испытывал при этом неудачи: военачальники со значительными силами долго не имели успеха в борьбе с Пугачевым; если исключить немногие частные победы, один Михельсон был счастливей. Не виноват был Державин в том, что ему поручено было дело, исполнение которого зависело от совершенно случайного, не осуществившегося условия, т. е. от вторичного появления Пугачева на Иргизе. Поэтому Державин имел полное право считать себя обиженным, когда другие офицеры, сделавшие менее его, были награждены, он же один оставлен без внимания. Наконец настойчивость его увенчалась успехом; но вследствие интриги он был признан недостойным продолжать военную службу. Скоро, однако, обстоятельства его приняли такой оборот, что он мог не жалеть о невольной перемене поприща.

Приложение к главе VII

Пугачевский указ

Самодержавного императора Петра Феодоровича всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.

Сей мой именной Указ Красногорской крепости коменданту, и сакмарским казакам, и всякого звания людям.

Именное мое повеление, как деды и отцы ваши служили, так и вы послужите Мне, великому Государю, верно и неизменно до последней капли крови. Второе когда вы исполните Мое именное повеление и за то будете жалованы крестом и бороною, рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованьем, и хлебным провиантом, и свинцом и порохом, и вечно вольностью и повеление Мое исполнили с усердием, ко Мне приезжайте, то совершенно от меня за оное приобрести можете к себе Мою монаршескую милость. А ежели вы Моему Указу противиться будете, то вскорости восчувствовать на себя праведный мой гнев, власти всевышнего Создателя нашего и гнева моего избегнуть не может никто тебя от сильной нашей руки защищать не может.

Великой Государь
Петр третий
Всероссийский.

В равной силе лист прислан был Озерной крепости и к атаману Немирову.





Глава VIII

Служба при генерал-прокуроре

(1777 — 1783)

1. Сближение с князем Вяземским. Сослуживцы в сенате

Как доволен был поэт своим новым положением, конечно, при полученной награде, видно из его «Излияния благодарного сердца императрице Екатерине Второй», — восторженного послания, или дифирамба в прозе, который был отдельно напечатан вскоре после оказанных автору милостей. «Сокровища целого света, — говорится тут между прочим, — вы менее для меня тех наградений, которые получил я от моей императрицы: они делают мне честь, они славу жизни моей составляют, они следствие правосудия великой Екатерины».

Действительно, горевать было не о чем: у Державина уже были связи в великосветском кругу, и он мог надеяться получить скоро хорошее место при помощи приобретенных еще в гимназии смелости и развязности, с которыми тогда, как и теперь, легко было выходить в люди. Эти качества уже принесли ему

свою пользу, когда он задумал искать службы при Бибикове. Мы увидим, что они и впоследствии не раз будут выручать его из беды. К числу старых его приятелей принадлежали Окуневы: при производстве его в первый офицерский чин один из них помог ему обзавестись всем нужным. Теперь Окунев выдал дочь свою за кн. Урусова, двоюродного брата княгини Вяземской, и мог оказать Державину новую услугу, — ввел его в дом своего знатного родственника. Державин был приглашен туда на свадебный бал.

Князь Александр Алексеевич Вяземский почти во все время царствования Екатерины II был одним из самых влиятельных сановников. Он родился в 1727 году, воспитывался, как тогда водилось, в Сухопутном кадетском корпусе и, выйдя в офицеры, участвовал в прусских походах. В 1763 году он, по поручению новой императрицы, в звании генерал-квартирмейстера усмирил бунт между крестьянами сибирских заводов, а в 1764 был назначен генерал-прокурором на место Глебова, который своею закоснелостью в старых формах делопроизводства не нравился Екатерине. Известно «секретнейшее наставление», данное ею князю Вяземскому. Она впоследствии гордилась его выбором и считала его одним из надежнейших своих учеников, хотя видела его недостатки и не раз предостерегала его против недостойных прислужников. В ее царствование генерал-прокурор, из всех представителей разных отраслей государственного управления, имел обширнейшую сферу деятельности, соединяя в своем лице обязанности трех нынешних министров: юстиции, внутренних дел и финансов (как «управляющий государственными доходами»), и сверх того должность начальника тайной полиции. Уже в 1773 году Вяземский получил андреевскую ленту, а вскоре после того, при праздновании турецкого мира, 2000 душ в Белоруссии «за попечение чтобы во время войны денежные платежи исправно текли». Как смотрели современники на силу князя Вяземского, видно, напр., из отзыва графа А. Р. Воронцова, что «с ним трудно бороться», что он «и в отсутствии правит своей канцелярией». В последние годы своего царствования Екатерина, говорит Державин, увидела, что слишком много власти дала одному человеку. В 1768 году он женился на княжне Елене Никитичне Трубецкой, дочери известного генерал-прокурора при Елизавете Петровне. В Петербурге Вяземские жили в своем доме, что ныне здание министерства юстиции, на Малой Садовой; на лето они переезжали в принадлежавшее им богатое село Александровское (где позднее возникла Александровская мануфактура), по Шлиссельбургской дороге, верстах в 12 от Петербурга. Это село, лежавшее на берегу Невы, состояло из каменных домов, имело красивую церковь и трехэтажный господский дом с прекрасным английским садом. Верстах в трех отсюда была у Вяземских еще другая дача Мурзинка, где они помещали своих родных и приближенных: там в нижнем этаже жила Васьильев, а в верхнем Державин. Сами Вяземские иногда жили на даче и близ Екатерингофа, на взморье.

Супруги полюбили Державина; князь охотно играл в карты *по маленькой*, и Державин попал в число его постоянных партнеров, читал ему вслух романы, проводил у него целые дни. В сенате открылась вакансия: Окунев, отец княгини Урусовой, служивший до сих пор экзекутором в 1-м департаменте, получил более выгодную должность в другом ведомстве; кандидатом на его место явился Державин. Приехав однажды на екатерингофскую дачу и застав князя за туалетом, он высказал ему свою просьбу. На ту пору в прихожей генерал-прокурора дождалась какая-то бедная женщина. Князь Вяземский велел Державину взять у нее челобитную и, прочитав, объяснить содержание. Поверив рассказ Державина по самой бумаге, он остался очень доволен его изложением и сказал: «Вы получите желаемое вами место». В тот же день, бывши в сенате, он дал о том предложение. Державин, пробыв полгода в отставке (от февраля до августа), сделался сенатским экзекутором. Хотя должность эта, по словам его, и не имела уже того значения, какое ей дал Петр Великий, однако все еще была «довольно видная» и при особой протекции князя могла на первый случай вполне удовлетворить честолюбие начинавшего свою карьеру чиновника. Бывая каждый день в доме Вяземского, Державин скоро познакомился со всеми сенаторами и другими важными лицами. Вигель справедливо замечает, что канцелярия генерал-прокурора была рассадником полезных для государства людей. Некоторые из тогдашних сослуживцев Державина достигли впоследствии высших должностей, другие заслуживают внимания как короткие его приятели, имена которых встречаются и в рассказах его о самом себе, и в переписке. Назовем и тех, и других.

Александр Васильевич Храповицкий, позднее состоявший при государыне у принятия прошений, был в это время обер-секретарем в сенате и любимцем князя Вяземского. С ним Державин был уже прежде знаком и когда возвратился из своей казанской командировки в Петербург, то Храповицкий помог ему получить деньги, которые ему следовали в возврат суммы, истраченной им по казенным делам.

Александр Семенович Хвостов, известный остряк и сатирик, двоюродный брат пресловутого бездарностью стихотворца того же имени, был также сенатским обер-секретарем; ему, как и Храповицкому, Державин показывал свои поэтические опыты и обоим обязан был полезными в этом деле советами. Через несколько лет Хвостов перешел в военную службу, потом оставил ее и под конец жизни (он умер в 1820 г.) был директором заемного банка.

Осип Петрович Козодавлев, будущий — при Александре I — министр внутренних дел, служил экзекутором во 2-м департаменте сената. В ранней молодости он был отправлен с другими молодыми людьми для своего образования за границу, учился в Лейпцигском университете, сделался сам литератором, писал, переводил с немецкого и сочинял очень легкие для того времени стихи. Он во многих случаях был полезен Державину, напр.,

позднее содействовал успеху при дворе оды «Фелица»; но после многих лет взаимной приязни отношения между ними изменились, и поэт в своих записках представляет Козодавлева человеком бесхарактерным и малодушным, готовым отвернуться от друга при первой перемене обстоятельств. Может быть, это было отчасти и справедливо, но мы знаем также, что когда Державин был тамбовским губернатором, то Козодавлев не одобрял его образа действий; знаем, что Державин, желая угодить княгине Дашковой, отверг рекомендованного ему Козодавлевым Грибовского, что, следовательно, могли быть и другие причины охлаждения между приятелями, и, таким образом, вина в их разладе не должна быть слагаема на одного Козодавлева.

Иван Гаврилович Резанов, обер-прокурор 1-го департамента и поэтому непосредственный начальник Державина, был также в большой милости у Вяземского. Он служил прежде в Саратове, занимая там, до Лодыжинского, место управляющего опекунской конторы, а оттуда переведен был в Петербург, в должность вице-президента канцелярии опекунства иностранных, где сосредоточивалось высшее управление всеми колониями. Когда Державин был в окрестностях Саратова, Резанов писал ему между прочим: «Я радуюсь сердечно, что ваше ныне пребывание в тех самых местах, которые есть прямым доказательством моих трудов и потерянного здоровья, а тем паче, что познав обстоятельства поселян, будете верные мне защитники в разглашениях для меня вредных, которые нередко и до ваших ушей доходили». С Резановыми Державин был в давнишней приязни: племянники Ивана Гавриловича, Николай Петрович Резанов, известный особенно своим посольством в Японию (1800 г.), в детстве считал Державина своим благодетелем и для упражнения переписывался с ним по-немецки; когда же поэт в 90-х годах занимал должность статс-секретаря, то Н. П. Резанов служил при нем.

Обер-секретарем в одном с Державиным департаменте был Аркадий Иванович Терский, в позднейшее время генерал-рекетмейстер.

Тогда же Державин сблизился с Алексеем Ивановичем Васильевым (будущим государственным казначеем и графом), который был женат на княжне Варваре Сергеевне Урусовой, другой двоюродной сестре Вяземской, и давно служил при князе. Вскоре Васильев сделался добрым приятелем Державина и во время управления последним Тамбовской губернией усердным его комиссионером по денежным делам. Несмотря на то, между ними произошли какие-то недоразумения, и Державин говорит, что по тамбовским делам он испытывал много неприятностей, зависевших от Васильева по его влиянию на генерал-прокурора. Между тем мы имеем о Васильеве самые благоприятные для него свидетельства современников; так Безбородко отзываясь о нем как о человеке честном, твердом и знающем.

Таковы были люди, с которыми Державин встретился на службе и в доме князя Вяземского. Нельзя не сказать, что он,

поступив в сенат, попал в самую счастливую обстановку, из которой мог извлечь много для себя пользы и в настоящем, и в будущем. У Вяземских он сделался домашним человеком, и вдобавок ко всем услугам угождал им стихами на их супружескую любовь, хотя, как сам он сознается, князь и княгиня уже знали модное искусство давать друг другу свободу. На годовщину дня свадьбы их, который праздновался в Александровском, он написал идиллию. В позднейшую пору, в 1791 году, совершенно в других обстоятельствах, он опять вспомнил этот день и сочинил «Родственное празднество», маленькое драматическое представление, сыгранное семейством Васильева, — доказательство, что отношения его и к этому старинному приятелю, и к Вяземским никогда не были так дурны, как можно бы заключить по его запискам.

2. Семейство Бастидон. Женитьба

Державину легко было бы устроить судьбу свою в доме Вяземских. У них часто гостила их родственница, княжна Катерина Сергеевна Урусова, некрасивая собой девица, но страстная любительница литературы, уже в то время напечатавшая некоторые из своих трудов. Сама княгиня Вяземская прочила ее за Державина, но он отделался от этого сватовства шуткою. «Она пишет стихи, — говорил он, — да и я мараю; занесемся оба на Парнас, — так некому будет и щи сварить». Однако он навсегда остался в дружеских отношениях с Урусовой, звал ее своею кумой, а себя, смеясь, ее мужем. Суженую свою он в то время нашел совсем иным путем.

30-го августа 1777 года, следовательно, очень скоро после поступления на новую должность Державин смотрел из квартиры Козодавлева на обычный в этот день крестный ход и был поражен наружностью девицы, которую в первый раз встретил там. Это была дочь любимого камердинера Петра III, покойного Якова Бенедикта Бастидона. Он был родом португалец, приехал с великим князем из Голштинии и поступил к большому двору. В Петербурге он женился на вдове Матрене Дмитриевне (прежняя фамилия ее неизвестна); они были обвенчаны в дворцовой церкви, и на свадьбе их присутствовала сама императрица Елизавета Петровна с придворною свитой. Когда родился великий князь Павел Петрович, то Матрена Дмитриевна была взята к нему в кормилицы. Спустя шесть лет, 8-го ноября 1760 года, у нее родилась дочь, названная по имени великой княгини Катериною. Этой девушке не было еще и семнадцати лет, когда ее узнал Державин на 35 году жизни. Во второй раз он увидел ее в театре, а в третий встретился с нею случайно в прихожей Льва Тредьяковского (это был сын стихотворца, герольдмейстер), к которому поехал, чтобы переговорить с бывшим у него в гостях своим начальником Резановым по особенному обстоятельству.

Оно состояло в том, что Окунев и Храповицкий, поссорившись из-за пустяков, вздумали решить дело дуэлью. Державин был приглашен в секунданты к Окуневу, тогда как Храповицкий выбрал себе названного выше А. С. Хвостова; но Державин боялся не угодить Вяземскому, став противником его любимца (Храповицкого), и потому хотел наперед посоветоваться с Резановым. Однако дуэль благодаря стараниям секундантов не состоялась. Подробный рассказ поэта об этом эпизоде любопытен по характеристическим чертам нравов, на которые он указывает: с одной стороны мы видим тут, как дешево в то время ценили жизнь и как легко мирились; с другой — интересно, что подчиненный просит у своего начальника позволения быть секундантом.

Между тем наш поэт был до того влюблен в девицу Бастидон, что, увидев ее в третий раз, тут же объявил Резанову свое неизменное намерение свататься за нее. Породниться с семейством, имевшим связи при дворе, могло казаться выгодным. Катерина Яковлевна была молочная сестра великого князя, а вдобавок блистала всеми прелестями южной красавицы: черные, как смоль, волосы, огненные глаза, яркий румянец на смуглом лице, правдивые черты, миловидное выражение и скромные приемы могли обворожить хоть кого, а тем более впечатлительного поэта.

Однако прежде решительного шага он захотел поближе взглянуть Катерину Яковлевну. На масленице при дворе был объявлен, по обыкновению, всенародный маскарад, и Державин поехал туда со своим приятелем Гасвицким (оба были в масках), чтобы показать ему свою избранную. Увидев ее, поэт не мог удержаться от радостного восклицания «вот она!», которое заставило и мать, и дочь с любопытством осмотреться. Друзья целый вечер внимательно следили за девушкой и были в восторге от ее сдержанности. Гасвицкий, человек хотя и простой, но умный и прямодушный, вполне одобрил выбор своего спутника. Итак, Державин решил просить руки девицы Бастидон. Приятели облегчили ему это дело. На другой день после маскарада, т. е. в понедельник на первой неделе великого поста, он обедал у князя Вяземского; бывший тут же Хвостов ускорил развязку романа, выдав своими шутками тайну влюбленного, а Кириллов, директор ассигнационного банка, старый знакомый Бастидонов, вызвался после обеда свезти к ним Державина. Вдова с дочерьми и сыном жила в своем доме близ церкви Вознесенья. Поэт так описывает это посещение.

В сенях встретила приятелей босая девка с сальной свечой в медном подсвечнике; хозяйки приняли их в гостиной, где после та же служанка разносила чай. Катерина Яковлевна все время вязала чулок и иногда с большою скромностью вмешивалась в разговор. Державин был очарован ее простотой, опрятностью, умом и любезностью. Особенно ему понравилось, что она ни минуты не оставалась праздною, тогда как сестры ее сидели без дела, тараторили, как трещотки, судили, рядили и хохотали.

Уже на следующий день Державин открылся матери; она попросила несколько дней на размышление, т. е. на справки о женихе, между сослуживцами которого у нее были знакомые, особенно Ив. Вас. Яворский, экзекутор в 3-м департаменте сената. Собранные сведения оказались благоприятными для претендента; все говорило в пользу представлявшейся партии — Державин был в милости у сильного вельможи, имел множество связей и порядочное состояние: к наследственным — правда, небольшим — имениям прибавились, кроме купленного матерью его, триста душ, пожалованных в Белоруссии, да столько же доставшихся ему по поручительству за Маслова, — всего, стало быть, вместе с материнским имением он мог считать за собою около тысячи душ. Пока Матрена Дмитриевна разъезжала за справками, влюбленный успел объясниться и с самою девушкой: она ему призналась, что он ей не «противен». Мать объявила, однако, что прежде сговора необходимо испросить на замужество дочери согласие великого князя как покровителя их семьи. Заметим здесь мимоходом, что сама она была на весьма дурном счету у императрицы, которая впоследствии, в бытность Державина статс-секретарем, однажды сказала о ней Храповицкому: «Она самая негодница и доходила до кнута, но так оставлено за то только, что была кормилицей великого князя». Еще прежде того, именно при отрешении Державина (в 1788 г.), Храповицкий, конечно, также со слов государыни записал: «Он стихотворец, и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна». Вполне ли справедливы были эти строгие отзывы? Прекрасные свойства Катерины Яковлевны дают нам право усомниться, чтобы мать такой благовоспитанной девушки была лишена всяких достоинств.

Через несколько дней после помолвки Державин представлялся Павлу Петровичу вместе со своей будущей тещей. Наследник ласково принял их в своем кабинете и обещал невесте приданое, «сколько в его силах будет». Года через два поэт напомнил об этом обещании письмом к князю Александру Борисовичу Куракину, объясняя, что в ожидании милости занял деньги на покрытие свадебных издержек. В этом письме Державин описывает свое тогдашнее финансовое положение: говорит, что на нем 10.000 банковского долга, что у него 500 душ и что весь доход его, включая и жалованье, не превышает 1500 руб., из которых целую треть он должен уделять на уплату процентов. Это показание совершенно согласно с обычным положением денежных дел Державина: мы постоянно видим в них беспорядок, у него вечные хлопоты с должниками и займодавцами, вечные просьбы о закладах, отсрочках и пересрочках.

Воспоминанием сговора Державина остались стансы «Невесте», из которых мы приведем здесь начало и конец:

Хотел бы похвалить; но чем начать, не знаю...

.....

Как счастлив смертный, кто с тобой проводит время!

Счастливей того — кто нравится тебе:
В благополучии кого сравню себе,
Когда золотых оков твоих несть буду бремя?

Подлинные рукописи поэта открыли нам любопытную тайну происхождения этих стихов: первоначальная, конечно, не совсем сходная с позднейшею редакция их назначалась, двумя годами ранее, в приветствие невесте великого князя Марии Феодоровне при ее приезде в Россию. Тогда пьеса не пошла в ход, и счастливый жених рад был случаю воспользоваться, с некоторою переделкой, куплетами, остававшимися у него под спудом.

Свадьба была 18-го апреля 1778 года. Мать Державина жила по-прежнему в Казани. Незадолго перед своей помолвкой он получил от Феклы Андреевны письмо; старушка говорит, что уже другой год ждет сына в Казань, жалуется на плохие дела по своим деревням, на неправильный набор «лекрутов»... «И так мне хлопоты надоели домашние и приказные, и всякие нужды ко мне доходят, а я уже становлюсь весьма нездорова, а тебя не могу дожидаться, хотя бы ненадолго побывал, и весьма сомневаюсь, что пишешь быть, а долго нет». Между тем сын прислал ей нарочного с известием о своих планах. Радуюсь и благословляя его, она зовет его вместе с женою к себе, посылает ему «крест Спасителя со святыми мощами» и отвечает также невесте на ее письмо, прилагая какой-то гостинец, «хотя и не в драгих вещах состоящий, но от искреннего усердия».

В августе новобракные отправились в Казань и возвратились в Петербург только в самом конце декабря. В эту поездку Державину удалось благодаря своим связям в сенате несколько поправить дела матери: именно, он кончил полюбовно многолетнюю, начавшуюся еще до рождения его тяжбу своих родителей с соседом их Чемодуровым, отец которого присвоил себе из их крестьян несколько семей. Теперь Державиной возвращено было следовавшее ей число душ, а она, взамен того, отказалась от значительного денежного иска. В это же время Державин, по просьбе Хераскова, собирал в Казани сведения о бедствиях, причиненных городу Пугачевым. Херасков оканчивал свою «Россияду», и с этим, может быть, находилось в связи его поручение. Оставив жену в Казани, Державин ездил и в оренбургское свое имение. На обратном пути он написал стихи. Был уже ноябрь месяц; по Каме шел лед, и перевоза не было; поэт, задержанный в деревне Мурзихе на берегу реки, излил свое нетерпение в «Песенке отсутствующего мужа», впоследствии получившей заглавие «Препятствие к свиданию с супругою». Пьеса оканчивается стихами:

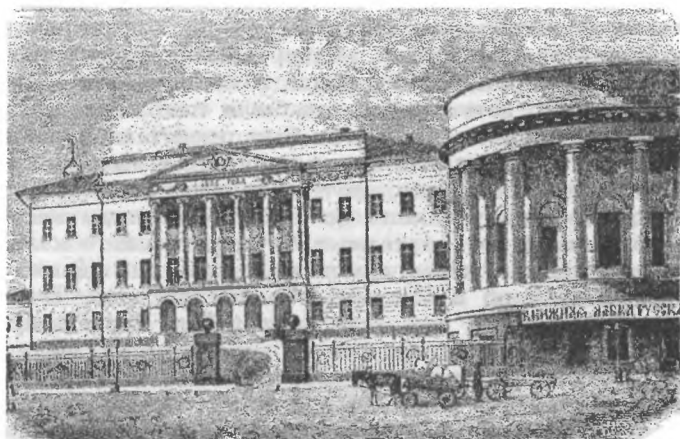
Жизнь утечи и покою!
Возвратись опять ко мне:
Жизнь с столь милою женою —
Рай во всякой стороне.

Поэт говорил от души. По всем дошедшим до нас свидетельствам, Катерина Яковлевна обладала всеми условиями для семейного счастья. С пламенной душой она соединяла кроткий и веселый характер, любила тихую домашнюю жизнь и всего охотнее проводила время в чтении, рисовании и разных рукоделиях. Она пробовала писать и стихи, но более в виде шутки. Особенно славилась она в кругу родных и друзей искусством вырезать силуэты: к изданию сочинений Хемницера 1799 г. приложен силуэт его, сделанный ее рукою. В доме, купленном супругами, гостиная была обита соломенными, вошедшими тогда в моду обоями ее работы. Во всех делах своего мужа она принимала самое живое участие, его успехи и неудачи считала своими и в друзьях его видела близких себе людей. Все они — Львов, Капнист, Хемницер, Карамзин, Дмитриев — были ее искренними почитателями, и некоторые из них оставили о ней восторженные отзывы. Сам Державин страстно любил ее: в стихах своих он часто вдохновлялся ею, называя ее Пленирой, а среди неприятностей, которые по службе навлекал на себя, она была его утешительницей. В домашнем быту своем он никогда не был так счастлив, как в шестнадцатилетний период своего первого брака.

3. Разные поручения. Новая должность. Начало неудовольствий

В первые два-три года после женитьбы Державина добрые отношения его к дому начальника продолжались; жена его была принята Вяземскими, как родная. Князь оказывал ему большое доверие. Так, когда в 1779 году по дежурству чиновников в сенате открылись беспорядки и неисправности, то исследование их возложено было на Державина. При перестройке сенатского здания, в том же году, надзор за работами опять поручен был поэту. Сенат тогда находился там же, где и теперь, но в другом доме (с башнею), который прежде принадлежал гр. Остерману, а потом Бестужеву. Делом Державина было между прочим устройство залы общих собраний, украшенной аллегорическими барельефами, которые придумывал Николай Александрович Львов. Здесь в первый раз в биографии Державина является этот замечательный человек, который с этих пор до самой смерти своей (1803) приобретает такое значение в жизни и поэзии Гаврилы Романовича. В 1780 году Екатерина II совершала свое знаменитое путешествие в Белоруссию: Державин в написанных по этому поводу стихах намекнул на один из львовских барельефов, именно на барельеф, представлявший учреждение наместничеств в виде храма Правосудия, в который монархиня вводит Истину, Человеколюбие и Совесть. При осмотре работ этой залы, рассказывает поэт, князь Вяземский, увидев на упомянутом сейчас барельефе изображение нагой Истины, нашел, что вид ее был бы для сенаторов соблазнителен, и потому приказал Державина

вину несколько прикрыть ее. По вступлении на престол императора Павла этот самый барельеф, по распоряжению генерал-прокурора князя Алексея Борисовича Куракина, был выломан и спрятан в архив.



Московский университет.

В конце 1780 года в ведении генерал-прокурора были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах; это было, собственно говоря, государственное казначейство, которое в позднейшее время и развилось из этих экспедиций. При образовании их в число советников экспедиции доходов был переведен и Державин. Этим он становился еще ближе к князю Вяземскому. К тогдашнему-то положению его относятся шуточные стихи «На счастье».

Судьи, дьяки и прокуроры,
В передней про себя брюзжа,
Умильные мне мещут взоры
И жаждут слова моего.
А я всех мимо по паркету
Бегу, нос вздернув, к кабинету
И в грош не ставлю никого.

Надо было написать проект положения о круге действия и обязанностях новых экспедиций. Князь имел для этого в виду Васильева и Храповицкого как самых сведущих из своих чиновников; но они, сославшись на свои и без того обременительные занятия, указали ему на Державина. Хотя последний был еще нов в гражданских делах, но как ни председательствующий в этом отделении, старик Еремеев, ни другие два советника, Саблуков и Бутурлин, не были способны к такому труду, то князь

Вяземский, может быть и неохотно, согласился поручить его бывшему сенатскому эзекутору.

Державин, сознавая свою неопытность в законоведении, понимал всю трудность задачи. Собрав все относившиеся к делу постановления и другие материалы, он заперся и проработал две недели; вышла целая книга. Князь Вяземский, желая узнать мнение своих сослуживцев об этой работе, созвал все четыре экспедиции и приказал читать «начертание». Присутствовавшие молчали, генерал-прокурор сердился, и наконец сам сделал кое-какие поправки во вступлении, где были изложены мотивы составления этого проекта. Затем он был представлен императрице, которая и утвердила его. Возвращенный с высочайшей конфирмацией через Безбородку, этот устав тогда же вступил в действие и сохранял силу закона до 1820 года, когда экспедиция была преобразована в департамент государственного казначейства. Это «начертание», в том самом виде, как оно вышло из рук Державина, включено в Полное собрание законов. Не замечательно ли, что человек, так мало учившийся, прошедший столько лет в самых неблагоприятных для умственной деятельности обстоятельствах и так недавно вступивший на поприще гражданской службы, мог в короткое время достаточно ознакомиться с законами и положением финансовой части в России, чтобы составить такой устав? Естественно, что Державин впоследствии гордился этим трудом; когда зашла речь об оценке его заслуг, он препроводил список устава, в числе других документов, к своему доброжелателю, графу А. Р. Воронцову, с замечанием: «это начертание, по коему теперь казна управляется, хотя по мыслям князя Александра Алексеевича, однако сочинено моими трудами». В подтверждение своих слов он приложил отзыв самого Вяземского и письмо Храповицкого; первого мы не имели в руках; Храповицкий же, возвращая Державину подлинную рукопись устава как «удостоившуюся высочайшей апробации», прямо называет его трудом Державина («имею честь препроводить при сем труд ваш»). В записках своих, однако, поэт жалуется, что Храповицкий хотел присвоить себе честь этого труда, так как скрепил его тетрадь по листам, что, собственно, следовало сделать самому редактору.

Державин ждал награды, но ничего не получил; это, кажется, и было первым поводом к неудовольствиям между ним и начальником и заставило его искать справедливости сторонними путями. В Государственном архиве нашлось подлинное прошение его на имя императрицы, в котором говорится: «Продолжаю службу двадцать второй год. За военную имел счастье получить особое монаршее благоволение. Вступя, по высочайшей воле, в статскую, я ныне в экспедиции о государственных доходах заслуживаю ли трудами и поведением моим шефа моего одобрение, уповаю на его справедливый отзыв. Между тем производятся в чины моложе меня; не упоминая о военной, и ныне двое в статской пожалованы». Из сделанной на самом прошении от-

метки видно, что вследствие его Державин 18-го июня 1782 года произведен был в статские советники, т. е. выпросил себе служебную награду помимо своего начальника. Понятно, что это не могло случиться без сильного предстательства. Кто же был новый покровитель нашего поэта? Мы видели, что еще до перехода его в гражданскую службу ему удалось подать государыне просьбу через Безбородку, незадолго перед тем переведенного на службу в Петербург. Мы видели также, что Державин, в бытность сенатским экзекутором, уже был знаком с Н. А. Львовым, который вскоре после того является правой рукой Безбородки и другом Гаврилы Романовича. Это объясняет нам, через кого последний мог действовать для достижения своих целей. Известно, какую радушную помощь все нуждавшиеся находили в Безбородке, поставившем себе за правило не желать другому того, чего себе не желаешь, и пользоваться всяким случаем делать добро; тем более он был расположен помогать приятелю Львова, уже заявившему себя своим талантом. В последующие годы мы имеем уже явные доказательства тому, что Безбородко действительно сделался усердным ходатаем за Державина, который через него выпрашивал себе разные милости. Так — вероятно, в начале 1783 года, — поэт обращался к Безбородке с просьбой выхлопотать ему ссуду для покрытия накопившегося на нем долга (вследствие убытков, понесенных его имениями во время пугачевщины) и уплаты значительных сумм по несчастному поручительству. 20-го февраля того же года он опять пишет Безбородке, что, по его приказанию, «переговоря с Николаем Александровичем», посылает письмо на высочайшее имя, в котором просит о предоставлении ему права воспользоваться дарованною жителям разоренных губерний милостью, т. е. получить ссуду в 30.000 руб. под залог принадлежащих ему 700 душ. В случае неисполнения этой просьбы он указывает на необходимость «для исправления своей экономии» оставить службу. Несмотря на эту не совсем ловкую угрозу, просьба, по-видимому, была удовлетворена; по крайней мере к ней были приложены Безбородкой два проекта указов: одного на имя графа Шувалова (директора ассигнационного банка), другого на имя Завадовского (директора дворянского банка) о выдаче Державину просимой ссуды. Еще свидетельство о милости, исходатайствованной ему тем же путем, находим в письме Львова к жене (какого года — неизвестно): «Накануне того дня, как ты мне прислала кошелек, который я отдал Катерине Яковлевне, удалось Александру Андреевичу выпросить 4000 руб. для Гаврилы Романовича». По значительности суммы, вероятно, впрочем, что это пожалование относится к позднему времени, может быть, к эпохе назначения Державина тамбовским губернатором. За год до того Державин писал Львову: «Александр Андреевич — мой ангел-благодетель, а ты его помощник во всех случаях».

4. Разрыв с князем Вяземским. Увольнение

От князя Вяземского, конечно, не могли укрыться милости, которые помимо его умел выхлопывать себе его подчиненный, и тем более они были неприятны ему, что это делалось через Безбородку, бывшего с ним не в дружеских отношениях. Кроме того, Вяземскому не могло быть неизвестно, что Державин был сочинителем, что он не только писал, но и печатал стихи и вращался в обществе подобных себе людей, как, напр., Львова, Капниста, Хемницера: все это было своего рода преступлением в глазах вельможи, который всякого чиновника, державшего пускаться в литературу, презрительно называл «живописцем» и считал никуда не годным. К этому присоединились и другие причины неудовольствия. Для контроля за движением сумм внутри государства были установлены довольно сложные правила: казенные палаты должны были ежемесячно доставлять генерал-прокурору ведомости как всем поступающим в них доходам, так и суммам, рассылаемым из них в определенные места, напр., в комиссариат, в провиантскую контору, в адмиралтейство и проч. Сверх того, экспедиции необходимо было сноситься с казенными палатами по рассмотрению ведомостей, посылать им замечания и предложения генерал-прокурора, так что в первый год по учреждении экспедиции пришлось созвать в Петербург всех вице-губернаторов как председателей казенных палат. Державин, по своей должности, настаивал на своевременных сношениях с палатами, тем более что, по слухам, они вместо отсылки денег в надлежащие места пускали их в оборот по частным рукам в свою пользу, а правительственные учреждения кое-как перебивались, прибегая к другим источникам, и приходили в расстройство. Но товарищ Державина, советник Бутурлин (зять известного И. П. Елагина), человек ленивый, игрок и гуляка, избегая лишних хлопот, считал такие сношения ненужными и утверждал, что достаточно поверять палаты при годовых отчетах. Положили отдать спор на решение князя. Между тем Бутурлин сумел восстановить его против своего противника, и когда при одном докладе Вяземский начал придирается к бумагам, которые Державин подносил к подписанию, то Бутурлин стал поддерживать князя и еще более натравлять его на товарища. Выведенный из терпения, Державин сунул бумаги Бутурлину в руки и сказал: «Пишите же вы сами, коли умеете лучше». Князь Вяземский увидел в этом выходку против самого себя и на другой день прислал к Державину Васильева с приказанием подать в отставку. Державин при первом же случае лично исполнил это приказание, но княгиня вступилась за него и рассказала причину разлада между ним и Бутурлиным. Тогда князь выразил сожаление в своей поспешности и желание, чтобы Державин остался у него на службе, что и было передано провинившемуся Васильевым: следствием было примирение начальника с подчиненным; но оно было непродолжительно.

В конце года (1782) встретился подобный же повод к неудовольствию. По смерти Еремеева председателствующим экспедиции назначен был родственник князя, Сергей Иванович Вяземский. Державин требовал, чтобы на наступающий год, согласно с законом и по прежним примерам, составлена была смета доходов и расходов на основании прошлогодней табели; он считал это тем более нужным, что незадолго перед тем окончена была новая ревизия и важно было знать, насколько вследствие ее увеличился государственный доход. Правильность этого требования видна из того, что губернским начальствам перед тем несколько раз подтверждаемо было составлять по всем губерниям окладные книги и расчетные описи о всех доходах и расходах и о присылке таких книг к назначенному сроку в экспедицию. Председателствующий противился, ссылаясь на генерал-прокурора, который будто бы приказал в этом году нового расписания и табели для поднесения императрице не делать, а руководствоваться прошлогодними. «Если так, — сказал наконец Державин, — то запишите это приказание в журнал, чтоб после нам не быть в ответе». Между тем, однако, он решился сам изготовить материалы для исчисления доходов на будущий год: взяв у столоначальников нужные к тому ведомости, он сказался большим и выработал «правила, объясняющие источники доходов» по всему государству. Потом, в один из докладных дней, он в присутствии всех членов экспедиции представил свой труд князю, заметив, что отсутствие сметы неминуемо возбудит неудовольствие императрицы. Князь прогневался. «Вот, — закричал он, — новый государственный казначей, вот умник! Извольте же, сударь, отвечать, когда не будет доставать сумм против табели на новые расходы по указам императрицы». Державин, глубоко огорченный таким приемом, попросил приказать рассмотреть его работу. Вяземский согласился в уверенности, что в ней найдут «какую-нибудь нелепицу». Вышло наоборот: собрание управляющих и советников, как ни старались они подкопаться под Державина, вынуждено было одобрить правила и подало рапорт, вследствие которого составлена была новая табель: доходов оказалось на 8 миллионов более прошлогодних.

Так рассказывает Державин об обстоятельствах, подавших ему повод оставить службу при князе Вяземском. К этому он прибавляет и известный эпизод о награде, полученной им за оду «Фелица» и еще увеличившей раздражение начальника, о чем мы подробнее будем говорить при рассмотрении литературной деятельности Державина. В существенном сообщенные нами с его слов обстоятельства не подлежат сомнению, так как они совершенно согласны с известным нам и из других свидетельств образом действий князя Вяземского. Державин объясняет его нежелание наперед определять государственные доходы тем, чтобы в случае, когда государыне понадобятся деньги, отозваться неимением их по табели, а потом неожиданно удовлетворить требованию и удивить своею находчивостью. Сама императрица подтверждает этот отзыв: в одном письме к Гримму, подшучи-

вая над неподатливостью князя на новые издержки, она говорит: «Вы, конечно, согласитесь со мной, что надо беречь здоровье человека, который, кроме всяких других добрых и почтенных качеств, отличается еще и тем, что у него всегда бывают наготове деньги для всех возможных случаев, и это еще при таком ненасытном моте, как я». Вот между прочим почему Екатерина дорожила Вяземским. В том самом году, когда вышел в отставку Державин, и сам генерал-прокурор просил об увольнении, но императрица его не отпустила. Покойный Лонгинов полагал, что причиною его желанья удалиться были его отношения к Безбородке, который в это время приобретал все более весу. Екатерина возвратила Вяземскому его просьбу с любопытными замечаниями, в которых она убеждает его остаться на службе. Державин вообще при разных случаях осуждает князя Вяземского. Напр., об отношениях его к губернским властям он замечает, что генерал-прокурор по каким-то причинам смотрел сквозь пальцы на самоуправство некоторых сатрапов и даже к управлению казны по их губерниям не смел прикоснуться. С другой стороны, Державин утверждает, что так как учреждением о губерниях генерал-губернаторам дано было право в известных случаях входить с докладами прямо к императрице, и таким образом они могли вредить генерал-прокурору, то Вяземский старался внушить мысль, что они неохотно доставляют ведомости о местных доходах и расходах и ставят экспедицию в необходимость изготовлять табель прямо от себя: этим бросалась тень на губернскую администрацию и выставлялась важность генерал-прокурора. По уверению Державина, Вяземский управлял государственным казначейством в противность законам, самовластно, раздавал жалованье и пенсии по своему произволу, без высочайших указов, и утаивал доходы, с тем чтобы, как уже было упомянуто, выслуживаться пред государыней, как уже вдруг открывши новый источник. Кроме того, Державин рассказывает, что Потемкин, имея беспрестанно надобность в генерал-прокуроре, сумел через любимца своего Фалеева склонить его на свою сторону, отдав ему на Днепре, в бывшей Запорожской Сече, обширные земли с поселенными на них казаками, более 2000 душ. Вяземский же, вопреки закону, продал их еврею (Штиглицу).

Другие современники князя Вяземского также возводят на него разные обвинения. Княгиня Дашкова жалуется на его невнимание к ее представлениям по Академии наук, на излишнее вмешательство его в дела Академии и придирки по ее отчетности. По словам княгини, он был человек деловой, умевший охранять порядок и точность, но необразованный и мстительный: так, между прочим, он всячески мешал изготовлению ландкарт, постоянно задерживал сведения и материалы, которые доставлялись губернаторами.

Князь М. М. Щербатов, называя Вяземского человеком не блистательного ума, приписывает ему глубоко обдуманную лесть: притворяясь глупым, он будто бы подавал вид, что бле-

стоящее состояние государства было только следствием точного исполнения им мудрых наставлений императрицы, и таким образом приобрел над нею большую власть.

По свидетельству бывшего поверенного в делах Франции при петербургском дворе (1769-1773) Сабатье де Кабра, князь Вяземский своим возвышением обязан был дружбе Орловых: его образовала сама императрица, не боясь, что этому «автомату» припишут ее собственные заслуги. «Действительно, — прибавляет Сабатье, — трудно найти человека более ограниченного; характер у него низкий, злобный, подлый и по ничтожеству равный его познаниям».

«Никита Иванович (Панин) — так рассказывает Порошин — изволил долго разговаривать со мною о нынешнем генерал-прокуроре, князе Вяземском, и удивляться, как фортуна его в это место поставила; упоминаемо тут было о разных случаях, которые могут оправдать сие удивление».

По сведениям Бантыш-Каменского, Вяземский был скуп и завистлив; в его доме была тайная экспедиция, и он часто сам присутствовал при допросах.

Известный Жозеф де Местр рассказывает по дошедшему до него преданию, что когда Екатерина однажды пожелала обнаружить какую-то вовсе не важную записку, касавшуюся статистики одной губернии, то Вяземский поспешил к императрице и объявил ей, что если эта записка появится в печати, то ему невозможно будет оставаться при своей должности.

В неудовольствиях, происшедших между ним и Державиным, виноваты были, очевидно, как обыкновенно бывает, обе стороны: князь Вяземский, действуя не совсем безукоризненно по своей должности, не терпел критики слишком смелого, незначительного перед ним чиновника, и вместе с тем был недоволен им за его литературный занятия; настоящая же вина Державина состояла в происках, которые он позволял себе на стороне, в слишком резком и не всегда беспристрастном осуждении того, что ему казалось неправильным, наконец, в запальчивости. В этом последнем недостатке он сам сознавался, как видно из одного черного письма его к Вяземскому: узнав от Васильева, что князь обвиняет его в неблагодарности, он оправдывается и обещает прислать откровенное письменное объяснение насчет «некоторых особенных неудовольствий, которые начали беспокоить его тому уже года полтора и от часу более возрастают...» «Словесно объясниться, — так он заключает, — я боюсь, чтоб в чувствительности моей или не сказать чего лишнего, или чего не пропустить, или по невразумительной скорости разговора моего вы меня понимать не будете». Объяснение, однако, не помогло, и наконец Державин, уже прославившийся своею «Фелицей» и другими стихотворениями, напечатанными в «Собеседнике» Дашковой, решил расстаться с бывшим своим покровителем. Вот письмо, с которым он обратился к князю Вяземскому:

«Сиятельный князь, милостивый государь. Деревенские мои обстоятельства, касающиеся до экономики, и желание матери

моей, находящейся в глубокой старости, требуют моего к ней прибытия; в рассуждении чего всепокорнейше вашего сиятельства прошу исходатайствовать мне всемилостивейшее увольнение, если не на какое-либо довольно время для моего исправления, то хотя вовсе от службы, для того что, употребля возможные труды в трехгодичное время при делах экспедиции о государственных доходах, кажется мне, оказался я не столько способен, чтоб быть как-либо в ней полезным и заслужить лестное вашего сиятельства внимание. Со временем же могу принять должность где-либо в другом месте, способностям моим подручную».

Князь Вяземский приказал Державину подать просьбу об отставке через герольдию в сенат. Письмом от 25-го ноября 1783 года поэт известил княгиню Дашкову, что сделал это. В то же время он объяснял ей, что для уплаты долгов принужден продать почти все свое имение и просил напечатать о том публикацию в ведомостях. Эта последняя просьба его осталась, однако, без исполнения, потому ли что сам он переменял намерение, или княгиня уговорила его взять просьбу назад.

Указ сената об увольнении Державина от должности состоялся 8-го декабря 1783 года, и тогда же было определено поднести всеподданнейший доклад об увольнении его вовсе от службы, но этого окончательного решения своей просьбы ему пришлось дожидаться еще довольно долго. 18-го января 1784 года он писал Львову: «Князю Вяземскому я хотя не так нужен был, как ты (Безбородке), однако же довольно нужен; но не хотел он и столько против меня быть благосклонен, чтоб принять объяснения мои, а отпустил от себя, почти не говоря ни слова. Да притом и теперь не выпускает от себя доклада; итак, я стал, как рак на мели, ни в службе, ни в отставке».

Между тем молва о ссоре поэта с генерал-прокурором разнеслась по всему городу и дошла до самой императрицы. Наконец доклад сената был поднесен ей; утвердив его 15-го февраля 1784 года, она поручила Безбородке сказать Державину, что будет иметь его в виду. При увольнении ему пожалован был, по закону, чин действительного статского советника.

Приложение к главе VIII

Переплетенная тетрадь, содержащая список с составленного Державиным проекта устава экспедиций о государственных доходах и проч., отправленная им в 1786 году к графу А. Р. Воронцову, сохранилась в Воронцовском архиве и с обязательного разрешения князя Семена Михайловича была доставлена мне М. Ф. Шугуровым. Устав носит заглавие «Начертание должности учрежденных при правительствующем сенате четырех экспедиций... что всем им вообще, порознь каждой и их чинам исполнять надлежит». Перед уставом помещен следующий приказ князя Вяземского: «1781 года февраля 15-го дня действительный тайный советник и генерал-прокурор князь Вяземский, по-

луча поднесенное ее императорскому величеству начертание должности четырех экспедиций, для казенного управления учрежденных, с таковым высочайшим отзывом, что всемилостивейшая государыня по прочтении того начертания не только не находит ничего несходного учреждениям или воле ее, но, отдав ему всю справедливость, почитает оное весьма достаточным для наставления тех экспедиций до будущего установления о генеральном управлении казною и для приуготовления всего в нужном порядке к помянутому установлению, — приказал то начертание, приложенное здесь за его подписанием, хранить в первой экспедиции, а для надлежащего сведения и исполнения сообщить засвидетельствованные и скрепленные по листам копии во вторую, третью и четвертую экспедиции, также в с.-петербургские и московские для статных и для остаточных сумм казначейства. Князь А. Вяземский».

В самом начале тетради приклеено к ней следующее собственноручное письмо Храповицкого к Державину:

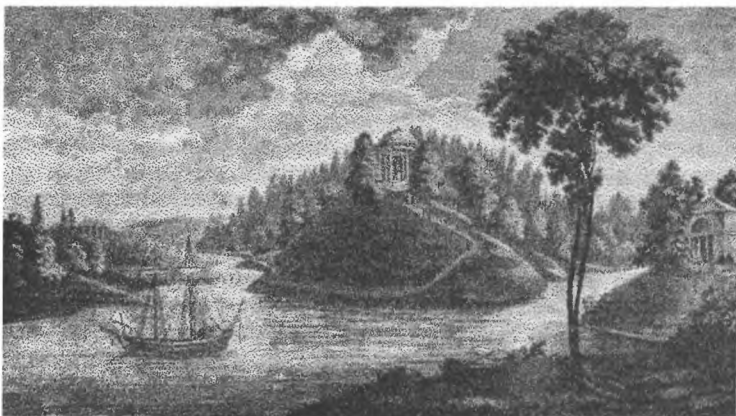
Милостивый Государь мой Гаврила Романович.

Имея честь препроводить при сем труд ваш, удостоенный высочайшею ее величества апробациею, должен предуведомить, что по воле его сиятельства скрепил я по листам сие начертание, но как может случиться, что по известной скорости, с каковою оное переписывано было, вкрались некоторые ошибки, то и прошу покорно совершить начатое и оконченное вами дело и просмотреть, нет ли ошибок.

За дружеское уведомление о концертах нижайшую приношу благодарность и, со всею моею охотою к тому приступаю, ожидаю уведомления, кому отдать деньги? С совершенным почтением покорнейший слуга

Александр Храповицкий
15-го февраля 1781.





Глава IX

Две эпохи литературного развития

(1762 – 1782)

1. Поэтические начатки. Образцы. Приговор Елагина

С детства Державин обнаруживал охоту к искусствам и литературе. Сам он говорит, что в гимназии отличался живостью и воображением, а не точностью и усидчивостью. Тогда уже он хорошо рисовал, самоучкой играл на скрипке, читал Ломоносова и Сумарокова, марал тайком стихи. Все это ясно указывает на врожденные эстетические наклонности. Впрочем, и самое тогдашнее время, и вся обстановка в воспитании Державина должны были способствовать к развитию в нем литературного направления. Так называемый век Людовика XIV надолго подчинил своему влиянию все страны Европы. В России оно стало заметно особенно в царствование Елизаветы Петровны и выразилось более всего в деятельности Шувалова. Ломоносов был, конечно, питомцем германской науки и поэзии; но посредственно и он ощутил на себе отражение золотого века французских писмен. У нас литературное направление развилось сперва в Сухопутном кадетском корпусе, потом перешло в Московский университет, где нашло себе сильного двигателя и покровителя в Шувалове, а отсюда распространилось и на гимназии, бывшие в зависимости от университета. Первый директор Казанской гим-

назии, где учился Державин, был сам писателем. Там водились известнейшие тогда книги, там бывали театральные представления; в учениках всячески возбуждалась охота пробовать и свои силы в литературных упражнениях. Державин же, вдобавок, знал немецкий язык, мог читать и германских поэтов. Начальство хвастало им; Веревкин возил к Шувалову на показ его чертежи и рисунки, посылал его в Болгары для описания тамошних развалин и в Чебоксары для измерения ширины улиц.

В казарме, куда Державин попал из гимназии, он, естественно, прослыл грамотеем и сделался секретарем не умевших писать товарищей; по ночам он читал книги и марал стихи, познакомившись с сочинениями Клейста, Гагедорна, Геллерта, Галлера и Клопштока. Как сначала он писал грамотки для солдатских жен и площадные прибаски на каждый гвардейский полк, так потом, уже бывши офицером, сочинял то письма и просьбы по поручению сослуживцев или полковые доклады, то сатирические стихи и любовные песни. Тогда же он начал переводить в стихах «Телемака», «Мессиаду» Клопштока и «Христианина в уединении» Цахарие. Из числа самых ранних своих опытов во время военной службы он упоминает стансы солдатской дочери Наташе и стихи на проезд императрицы в Москву, писанные александрийским размером. Ни та ни другая пьеса не дошли до нас. Поэт говорит, что возвращаясь в начале 1770 года из Москвы для продолжения полковой службы в Петербурге, он сжег целый сундук со своими рукописями. Заметим, однако, что между его бумагами сохранилась одна тетрадь стихов, большая часть которых очевидно принадлежит к предшествовавшему времени. Судя по почерку, тетрадь эта писана около 1776 года, т. е. уже после возвращения поэта из саратовской командировки. Надо, следовательно, полагать, что или у него оставались списки некоторых из его ранних стихотворений, или он вскоре после помянутого аутодафе снова написал их на память.

В начале этой тетради помещено 19 любовных песен под заглавием «Песни сочинения Г... Р... Д...», большею частью в элегическом тоне. Почти все они слабы, язык их тяжел, стих часто неправилен. Немногие из этих песен впоследствии им самим перенесены в другие тетради, и только две напечатаны, а именно «Пени» и «Разлука». Последнюю он сам ценил как одно из самых удачных юношеских произведений своих и часто возвращался к ней в разные эпохи жизни.

За песнями, в той же старинной тетради, следуют более пятидесяти разных мелких стихотворений: эпиграммы, мадригалы, надписи, идиллии, шуточные и сатирические стихи, наконец, молитвы. Кроме того, тут целый ряд так называемых билетов, т. е. двустихий, подобных тем, которые под этим же заглавием встречаются в сочинениях Сумарокова и, кажется, имели скромное назначение служить литературной приправой к конфетам. У Сумарокова собрано не менее 115 таких билетов; вот, напр., один из них:

Ты мне жалок, мой дружочек;
Возьми сахару кусочек.

Рядом с этим дустишием можно поставить следующее у Державина:

Одна рука в меду, а в патоке другая;
Счастлива будет жизнь в весь век тебе такая.

В том же собрании разных стихотворений находится уже и одна ода к Екатерине II, писанная в 1767 году. С этих пор мы встречаем у Державина часто повторяющиеся попытки воспеть достойным образом государыню, в которой ему представлялся высший идеал монарха, и в то же время видим стремление обратить на себя ее внимание; попытки эти наконец увенчались полным успехом в «Фелице». Остановимся немного на самой ранней оде его. Он начинает обращением к истине, желая петь с нею одною, не сзывая муз с Парнаса. Ему кажется великим делом воспевать царей без лести; когда же подобные песни лишены истины, то потомство признает их такими же баснями, как песни Гомера. Вместе с тем он отвергает излишние украшения и громкие возгласы:

На что ж на горы горы ставить
И вверх ступать, как исполин?
Я солнцу свет могу ль прибавить,
Умножу ли хоть луч один?

Переходя к самым похвалам Екатерине, поэт, по примеру Ломоносова (в похвальном слове Елизавете Петровне), воображает, что он слышит говор сел и городов; потом он переносится в судилища и изображает кротость императрицы:

Стрелец, оружием снабженный,
На сыне видя лютых змей,
Любовью отчей побужденный
Спасти его напасти сей,
Поспешно лук свой напрягает,
На сына стрелы обращает;
Но чтоб кровям его не литься
И жизнь безбедно сохранить,
Искусно метит он и тщится
На нем лишь змей одних убить.
Таков твой суд есть милосердый,
Ты так к нам сердобольна, мать...
Грозишь закона нам стрелою;
Но жизнь преступных ты блюдешь,
Нас матерней казнишь рукою —
И крови нашей ты не льешь.

Надписи в рассматриваемой тетради относятся большею частью к Петру Великому и к разным случаям царствования Екатерины II. Некоторые из ранних эпиграмм и сатирических стихотворений Державина любопытны по намекам на современные нравы и лица и по простонародному языку. Между ними можно указать, напр., на пьесы «Бывальщина» и «Похвальные стихи Суворовцу».

К числу лиц, над которыми Державин в то время упражнял свое остроумие, принадлежал уже и Сумароков. Этот «российский Расин», желая осмеять Ломоносова как автора эпической поэмы «Петр Великий», написал ему эпитафию, начинающуюся стихом:

Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер...

Державин вступился за Ломоносова и в качестве пародии на эту эпитафию написал «Вывеску», взяв эту форму эпиграммы у того же Сумарокова, который таким образом осмеял писаря Савву. В «Вывеске», написанной Державиным, то же число стихов, тот же размер и те же рифмы, как в сатирической эпитафии бичуемого им Сумарокова:

Терентий здесь живет Облаевич Цербер,
Который обругал подъячих выше мер,
Коцунствовать своим «Опекуном» стремился,
Отважился, дерзнул, зевнул — и подавился:
Хулил он наконец дела почтенна мужа (т. е. Ломоносова),
Чтоб сей из моря стал ему подобна лужа.

Вот как Державин смотрел на различие между Ломоносовым и Сумароковым. Эта маленькая пародия была написана им в Москве в 1768 году, когда прошло только три года со времени смерти Ломоносова: соперничество обоих писателей было у всех еще в свежей памяти. Сумароков доживал свой век в Москве и к прежним смешным сторонам своим прибавлял новые черты раздражительности, который роняли его в общем мнении.

Приведенною здесь эпиграммою не ограничились выходки Державина против Сумарокова. В 1770 году наш драматик поссорился и с содержателем московского театра, и с главнокомандующим, гр. Салтыковым, а наконец и со всею публикой по поводу того, что на сцене появилась без его согласия пьеса «Синав и Трувор», и что во время представления зрители, в наказание автору, вели себя неприлично. Оскорбленный трагик жаловался императрице; Екатерина в ироническом ответе советовала ему сохранять спокойствие духа, необходимое для его авторства, и прибавила, что ей приятнее видеть изображение страстей в его драмах, нежели в письмах его. В публике узнали содержание этого письма, и на Сумарокова посыпались новые насмешки, которые вызвали его эпиграмму «На кукушек в Мо-

ске». Державин отвечал эпиграммой же «На Сороку (т. е. на Сумарокова) в защищение кукушек». Рассказывают, что эти стихи распространились по Москве и дошли до самого Сумарокова, что он стал всячески разыскивать автора их, но Державин, несмотря на то, в это самое время с ним познакомился, даже обедал у него и, по словам Пушкина, исподтишка наслаждался его бешенством.

Эти выходки против одного из главных деятелей тогдашней литературы знаменательны в отношении ко всему авторству Державина, Они показывают, что наш поэт, ставя себе за образец Ломоносова, не считал Сумарокова достойным подражания. Действительно, хотя в отдельных чертах сочинений Державина и заметны следы влияния Сумарокова, можно утверждать положительно, что в кругу лучших писателей екатерининской эпохи уважение к Ломоносову исключало всякую мысль о подражании его сопернику, — правда, во многих отношениях также даровитому, но лишенному поэтического чутья и вкуса. Даже и о драматической производительности Сумарокова Державин не имел высокого мнения, и особенно осуждал его частые заимствования. Об этом свидетельствует одна из позднейших его эпиграмм, озаглавленная «Суд о трагиках». В ней он воображает, что французские трагики, повстречав на том свете Эсхила, Софокла и Еврипида и признаваясь в своих покражах, отвесили им поклон; Сумароков же и Княжнин, увидев Корнеля, Расина и Вольтера, затрепетали перед ними. Заметив это, Мельпомена подходит к новейшим трагикам и говорит им:

Хоть лоскутки на вас чужие вижу я,
Но не отдам венца я никому другому,
Как чувству собственну и гению прямому,

т. е. она отказывает в награде не только нашим трагикам, но и французским их образцам как слабым подражателям и литературным татам.

Кроме эпиграмм мы находим в старейшей рукописи Державина и стихотворения другого, близкого к ним рода поэзии, именно несколько басен. Уже в период молодости его, как и долгое время после, басня поглощала много литературных сил. С легкой руки Лафонтена она пошла в ход у всех европейских народов, особенно у немцев, а потому не могли и мы не оказать ей особенного внимания и гостеприимства. Почти все стихотворцы платили более или менее обильную дань этому вкусу. В Германии в 1750-х и 60-х годах явился, вслед за Геллертом, целый легион баснописцев. В России Сумароков увлек на это поприще Майкова, а Майков, вместе с немецкими поэтами, способствовал к тому, что Державин в юности также стал между прочим проповедать себя и в басне. Вообще первоначальные рукописи его заставляют нас думать, что он в эту эпоху как будто колебался в выборе рода поэзии и по временам сознательно отказывался от

торжественной оды. Рукописное собрание его мелких стихотворений начинается именно выражением этого намерения в небольшой идиллии, которая, конечно, только потому и заслуживает внимания:

Не мыслю никогда за Пиндаром гоняться
И бурным вихрем вверх до солнца подыматься...

Ту же мысль высказывает он иногда и в других ранних стихах своих; но это было только мимолетное настроение, как видно из отрывка, следующего непосредственно за указанной сейчас идиллией и начинающегося так:

Что день, то звук и торжество;
Летят победами минуты...

Эти стихи, сильно отзывающиеся подражанием Ломоносову, были вызваны успехами русских в первую турецкую войну. Державин задумывал, кажется, очертить весь ход борьбы христиан против ислама. Вскоре ломоносовская ода надолго заглушила все другие поэтические стремления молодого таланта. Но как мало ободрения он находил при первых своих опытах в этом роде, доказывает анекдот, рассказанный Дмитриевым, о неудаче, испытанной нашим поэтом в 1775 году в Москве, вероятно, когда он приехал туда ко времени празднования турецкого мира, возвращаясь окончательно из своей саратовской командировки. Этот случай так передан в записках Дмитриева:

«У Хераскова был обед. Между прочими гостями находился Иван Перфильевич Елагин, известный по двору и литературе. За столом рассуждали об одах, вышедших на случай прибытия императрицы. Началась всем им оценка, большею частью не в пользу лириков, и всех более критикована была ода какого-то Державина. Это были точные слова критика. Хозяйка толкает Елагина в ногу; он не догадывается и продолжает говорить об оде. Державин, бывший тогда уже гвардии офицером, молчит на конце стола и весь рдеет. Обед окончился. Елагин смутился, узнав свою неосторожность. Хозяйка ищет Державина, но уже простыл и след его. Проходит день, два, три. Державин против обыкновения своего не показывается Херасковым. Между тем как они тужат и собираются навестить оскорбленного поэта, Державин с бодрым и веселым видом входит в гостиную; обрадованные хозяйка удвоили к нему ласку свою и спрашивают его, отчего так долго с ним не видались.

— Два дня сидел дома с закрытыми ставнями, — отвечает он, — все горевал о моей оде: в первую ночь даже не смыкал глаз моих, а сегодня решил ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным и заслужить его внимание; так и сделал. Елагин был растроган, засыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и оттуда я прямо в вам».

Оды, о которой здесь речь идет, написанной будто бы на приезд императрицы в Москву, не оказалось в рукописях Державина, да едва ли и мог он написать такую оду, потому что во время этого приезда государыни, в январе месяце, он был еще в Казани. Дмитриев, писав свои записки по давним воспоминаниям и рассказам, легко мог ошибиться в обозначении содержания оды; скорее это могла быть одна из од, незадолго перед тем написанных Державиным на Волге, и в следующем году напечатанных, — «читалагайских», — именно «ода на великость», в которой последние строфы прямо относятся к Екатерине II:

Богини, радости сердец,
Я здесь высот не восхваляю:
Помыслит кто, что был я льстец...

Это ли была ода, раскритикованная Елагиним, и после, может быть, исправленная Державиным, или придворный литератор разумел совсем другую, до нас не дошедшую оду, это вопрос теперь не разрешимый, да и неважный; но важно то, что в скором времени Державин сам вполне осознал ошибочность своего тогдашнего подражательного направления.

Из неизданных до последнего времени опытов его за этот период нельзя умолчать о его «Эпистоле к Михельсону». Это, собственно, только начало задуманного им большого стихотворения вроде эпической поэмы, замечательное единственно по мысли представить картину ужасов пугачевщины, которых свидетелем был сам поэт, и воспеть заслуги главных деятелей в этой кровавой борьбе, особенно Михельсона. Но оставшийся набросок, впоследствии очевидно забытый автором, страдает устарелыми, неправильными формами языка и сильно отзывается подражанием поэме Ломоносова «Петр Великий». Любопытны стихи, относящиеся к Павлу Потемкину: из них мы узнаем, что

Потемкин, сердце, дух имея и проворство
Хотел чудовище воззвать в единоборство,
Иль славно умереть, иль славно победить;
Но был ему совет соблазна не чинить.

Вероятно, этот отрывок писан Державиным во время его пребывания в Казани перед вторичным отъездом на Иргиз.

2. Первые печатные труды

В печати Державин явился в первый раз, однако без имени, в 1773 году: именно тогда в журнале Рубана «Старина и новизна» помещена была переведенная им с немецкого «Ироида Вивлиды к Кавну», один из любимых сюжетов в тогдашних подражаниях древним, заимствованный немецким автором из «Превращений» Овидия. Державин уверяет, что сделанный им русский перевод

этого подражания попал в печать без его ведома; сравнение же довольно чистого и правильного языка «Ироиды» с позднейшим слогом нашего поэта в «Читалагайских одах» его заставляет предполагать, что она была исправлена в редакции журнала.

В том же году Державин напечатал в типографии Академии наук, в числе 50-ти экземпляров, свою оду на первое бракосочетание великого князя Павла Петровича, назвав себя «потомком Аттилы, жителем реки Ра». Здесь в первый раз обнаружилась его охота придумывать загадочные заглавия и скрываться под псевдонимами; потомком Аттилы назвал он себя в том же смысле, как после, при оде «Фелица», татарским мурзою, а жителем реки Ра (Волги) — как казанский уроженец. Самая ода — явное и с тогдашней точки зрения не неудачное подражание Ломоносову, хотя она и изобилует неправильностями языка.

Вскоре по возвращении в Петербург из командировки Державин опять попробовал явиться в литературе и на этот раз с целым небольшим собранием своих трудов: он напечатал при Академии наук, без своего имени, книжечку под заглавием «Оды переведенные и сочиненные при горе Читалагае». Это название означало местность в саратовских колониях, где он в эпоху пугачевщины несколько времени стоял с артиллерийским отрядом. Там у одного из жителей попался ему в руки немецкий перевод некоторых славившихся в то время од Фридриха II, и в часы досуга он перевел четыре из них русскою прозой. Тогда же написал он несколько оригинальных стихотворений («На смерть Бибикова», «На великость», «На знатность», «На день рождения ее величества») и, как уже было упомянуто, издал все это вместе в одной книжке. Здесь язык его все еще тяжел и неправилен; вдобавок опечатки иногда совершенно искажают смысл; стихи поражают высокопарностью тона и гиперболизмом образов, но уже выдаются и некоторые отличительные особенности его поэзии, выясняются источники его лирического настроения — великие исторические характеры и события. Он уже воспекает Екатерину, Бибикова, Румянцева; в оде «На великость» уже он собирает, как позже в «Фелице», черты дел и свойств великой государыни и в конце произведения выражает замечательную мысль, что для достижения полноты величия нужно пройти через школу несчастья, применяя эту мысль к Екатерине II. В этих одах есть уже стихи, дающие предчувствовать будущего вдохновенного лирика.

Однако из этих четырех од сам Державин впоследствии признал только две, дав им место в собрании своих сочинений, да и то одна из них была им перед тем совершенно переработана, именно ода «На знатность», под новым заглавием «Вельможа». При этом она значительно распространена во всех своих частях, но некоторые стихи в ней оставлены почти без изменения; таково, между прочим, следующее знаменитое место:

Я князь, коль мой сияет дух.
Владелец — коль страстьми владею.

Болярин — коль за всех болею,
Царю, закону, церкви друг.

Ода «На смерть Бибикова» вся включена поэтом в собрание его сочинений с частными только поправками. Конечно, он сохранил ее не только потому, что она в целом удалась ему лучше других, но и для того, чтобы передать потомству это вылившееся у него из души, искреннее и простое выражение любви и благодарности к вельможе, который был одним из украшений века Екатерины. Таким образом, в «Читалагайских одах», несмотря на все их несовершенство, мы видим ступень к будущему блестящему развитию поэта и любопытную страницу из первого периода его литературной жизни. Уже одно то, что молодой офицер в тревогах походной жизни чувствует охоту и находит досуг продолжать свои любимые занятия, есть явление замечательное. Недостатки «Читалагайских од» объясняются неблагоприятными для образования обстоятельствами юности Державина и заставляют нас удивляться силе и смелости, с какими он после восторжествовал над оковами, наложенными на него воспитанием. Но в «Читалагайских одах» явственны уже, как мы заметили, и проблески таланта. Такого мнения о них был и современник поэта Дмитриев. Державин сам сознавался, что они «писаны весьма нечистым и неясным слогом»; но Дмитриев, несмотря на то, любил их, находя, что автор и в них уже с замечательной силой «карабкался на Парнас». Позднее Дмитриев же так отозвался об этой книжке: «В стихах, помещенных в ней, при некоторых недостатках, уже показывались замашки или вспышки врожденного таланта и его главные свойства: благородная смелость, строгие правила и резкость в выражениях».

3. Поэтическое перерождение. Литературные связи

Державин сам не был доволен тем, что писал в это время: нужен был только какой-нибудь сильный толчок, чтобы пробудить в нем полное сознание недостатков своего стихотворства. Новый поворот в его жизни, с возвращением в Петербург, не замедлил оказать это действие, и впоследствии он приблизительно так охарактеризовал прежний период своей поэзии и переход к самостоятельному творчеству: «Правила поэзии почерпал я из сочинений Тредьяковского, а в выражении и слоге старался подражать Ломоносову; но так как не имел его таланта, то это и не удавалось мне. Я хотел царить, но не мог постоянно выдерживать изящным подбором слов, свойственных одному Ломоносову великолепия и пышности речи. Поэтому с 1779 года избрал я совершенно особый путь, руководствуясь наставлениями Батте и советами друзей моих, Н. А. Львова. В. В. Капниста и Хемницера, причем наиболее подражал Горацию. Однако не

доверяя их похвалам, я под своим именем ничего не издавал, а исподволь, без подписи посылал свои стихи в «С.-Петербургский вестник», издатель которого Брайко сообщал мне, что читатели одобряют мои стихотворения».

В этой авторской исповеди замечательна скромность, с какою Державин говорит о себе в сравнении с Ломоносовым; но, в сущности, он таким признанием не мог ни произнести более строгого приговора поэзии своего учителя, ни решительнее похвалить самого себя. Дело в том, что ему становилось невыносимо идти по следам писателя, который в поэтическом таланте много уступал ему, хотя по широте гения и по образованию стоял гораздо выше. Общий характер господствовавшего тогда рода поэзии, — торжественных од по образцу ломоносовских, — заключался, при безжизненности содержания, в соблюдении известных риторических правил и украшений и в ораторской высокопарности («витийстве»). Державин, хотя и не сознавал ясно этих недостатков в одах Ломоносова, но чувствовал, что не мог в таких оковах двигаться свободно, и испытывал безотчетную потребность быть верным истине и природе. Эту потребность он осознал еще яснее, когда познакомился с теорией Батте, который главным требованием искусства ставил «подражание изящной природе», а главной целью — «нравиться» и вместе «поучать». Хотя эта теория и была еще далека от истины, но все же она более прежних давала простора таланту. В чем Державин после того сам полагал свой идеал поэзии, видно из его обращения к музе в начале оды «Решемыслу»:

Веселонравная, младая,
Нелицемерная, простая
Подруга Флаккова и дочь
Природой данного мне смысла...

Последние слова особенно знаменательны.

Из приведенного выше признания Державина легко понять, какую важную роль в его поэтическом перерождении играли его новые литературные связи. Нельзя не пожалеть, что он не общался нам, когда и как познакомился с названными им в выписанном отрывке людьми, но по собранным нами из других источников сведениям мы можем предполагать, что из этих лиц ранее других сблизился он с Капнистом, который в 1772 году перешел из Измайловского полка в Преображенский, где тогда служил и Державин, воротившийся из Москвы в 1770 г. По Измайловскому полку товарищем Капниста был Львов, который сошелся с ним еще в школе этого полка, а потом через него мог познакомиться и с Державиным.

До возвращения Державина из своей командировки нет никаких следов его знакомства с Хемницером и Львовым. Может быть, он обратил на себя их внимание своими «Читалагайскими одами», изданными в начале 1776 года; но вернее, что он познакомился со Львовым или через Капниста, или в то время, когда

искал покровительства Безбородки. Мы видим, что вообще по приезду около этого времени в Петербург он приобретает многие новые знакомства и связи. Он сам называет в числе их А. П. Мельгунова (которого пикники воспеты им), князя А. И. Мещерского (известного по оде на смерть его), С. В. Перфильева (к которому поэт обращается в этой оде), С. В. Беклемишева (вице-президента коммерц-коллегии). К этим лицам можно прибавить Я. И. Булгакова (с которым он вскоре вступил в переписку), Безбородку, графа А. Р. Воронцова и др. Тогда же поэт мог встретиться впервые со Львовым и Хемницером. Таким образом, он попал в литературный кружок, который и по положению в свете, и по образованию принадлежавших к нему писателей имел право считаться избранным.

По влиянию, какое эти люди приобрели на Державина, мы должны сообщить несколько сведений о каждом из них.

Один Хемницер был почти ровесником Державина (род. в начале 1745 г.); Львов был семью, а Капнист целыми тринадцатью годами моложе нашего поэта. Несмотря на то, получив несколько лучшее воспитание, нежели он, и зная иностранные языки, они могли быть ему полезны своими советами.

Малороссийянин Василий Васильевич Капнист был второй сын Василия Петровича, который в чине бригадира, в самый год рождения этого сына (1757), был убит в Семилетнюю войну, при Гросс-Егерсдорфе. Прежде того императрица Елизавета пожаловала этому доблестному воину за службу его деревню Обуховку, лежащую в одной из самых живописных местностей Малороссии (Полтавской губ., в Миргород. уезде, на реке Псле). Он был женат два раза: первая жена его была дочь урядника; вторая — Дунина-Барковская, мать поэта. Уже четырнадцати лет от роду юноша попал в Петербург и поступил в школу Измайловского полка; скоро он пристрастился к литературе и стал с жадностью просвещать себя чтением. Французскому языку он выучился, вероятно, дома, потому что уже лет девятнадцать писал на нем недурные стихи. В это время он был уже близок с Державиным, и оба приятеля, как мы узнаем из их рукописей, иногда работали вместе. Капнист сочинил по-французски оду на Кучука-кайнарджийский мир; русский подстрочный перевод ее писан попеременно рукою то одного, то другого. Впоследствии Капнист перешел в статскую службу и благодаря Львову сделался его товарищем в почтовом департаменте под начальством Безбородки, но вскоре вышел в отставку и поселился в деревне. Не обладая таким самобытным талантом, как Державин, Капнист далеко превосходил его в светском образовании, в знании теории искусства, в версификации и даже в правильности русского языка, хотя и не мог в употреблении его освободиться от следов своего малороссийского происхождения даже на письме. Знакомый и с древними языками, Капнист содействовал к развитию в Державине любви к Горацию, переводя для него целые оды и послания римского поэта; в бумагах Гаврилы Романовича нашлось несколько русских переводов с греческого и латинского, писанных

почерком Капниста. На автографах стихотворений Державина встречаются поправки, сделанные тою же рукой. Однажды Капнист переделал целую пьесу Державина и предлагал свою редакцию взамен первоначальной, от которой, однако, поэт, к счастью, не отказался: это была его «Ласточка» — одна из самых удачных по оригинальности и задумчивости элегических пьес его.

Николай Александрович Львов также не получил основательного воспитания, но, будучи необыкновенно даровит и любознателен, он много читал, путешествовал и усвоил себе лоск светского образования. Как родственник М. Ф. Соймонова, начальника горного ведомства, он был вхож во многие знатные дома. Особенно важно было для него сближение с П. В. Бакуниным, который в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов прошлого столетия играл видную роль в нашем дипломатическом мире. Бакунин пользовался уже расположением Панина, но получил еще более влияния при Безбородке. Львов, служа в коллегии иностранных дел, жил сперва у Бакунина, а потом переселился к Безбородке, которому тот рекомендовал его. О положении его при новом начальнике свидетельствуют подлинные письма к нему этого сановника, писанные в самом дружеском тоне. В собрании бумаг Екатерины II, в государственном архиве, некоторые из самых интимных писем ее сохраняются в копиях, писанных, по поручению Безбородки, рукою Львова. Пламенный любитель всех отраслей искусства и знаток во многих из них, — поэт, живописец, архитектор, механик, а отчасти и музыкант, — Львов в этот век изысканной роскоши и прихоти был человеком не оцененным для вельможи, неистощимого в заботах о возможно великолепном и изящном убранстве своего дома. По своим познаниям и опытности Львов вместе с тем был ловким исполнителем служебных поручений своего начальника. Из художественных работ, исполненных Львовым в этой сфере деятельности, внимания заслуживают план церкви, воздвигнутой по воле императрицы в Могилеве в память бывшего там свидания ее с Иосифом II (план, одобренный ею предпочтительно перед другими, тогда же представленными), и рисунки ордена св. Владимира, учрежденного в 1782 году.

Литературное развитие Львова совершилось главным образом под влиянием французских и итальянских писателей: он любил легкую, шуточную поэзию, сам писал стихи в этом роде и между друзьями своими слыл русским Шапеллем: известно, что в то время каждый русский писатель непременно должен был уподобляться какому-нибудь иностранному образцу. Вместе с тем Львов щеголял остроумием и оригинальностью в литературных взглядах; в этом отношении он иногда составлял оппозицию общепринятым мнениям: так, признавая Ломоносова «богатырем русской словесности, сыном усилия, который трудности пересиливал дарованием сверхъестественным», он, однако, указывал на «увечья», наносимые языку этим писателем, и замечал между прочим: «Ломоносов показал дорогу везде просить милости. Я

не считаю это ни благородным подвигом, ни красным словом, да и в моральном смысле не представляется мне милость иначе, как простить преступление, и если милость без заслуги, то она, поверь мне, что наказание невинному — угнетение общее; если же милость кто по заслуге получил, то она уже не милость, и слово сие уменьшало бы достоинство действия; тогда бы была она только справедливость». В поэзии Лъвов выше всего ставил простоту и естественность, знал уже цену народного языка и сказочных преданий. Разнообразием своих талантов и обширною деятельностью при его положении в высшем обществе ему легко было приобрести репутацию тонкого знатока искусств и меткого критика. Такую репутацию составил он себе и при дворе, и в литературе.

К одной эстетической школе со Лъвовым принадлежал и друг его Хемницер. Сблизились они в доме Соймонова, под начальство которого сведущий в горном деле Хемницер поступил около 1770 года; лет через шесть после того Лъвов и он ездили с Соймоновым за границу и вместе были в Париже, посещали там концерты и театры, восхищались игрой Лекена в трагедиях Корнеля, Расина и Вольтера. По общему обыкновению того времени Хемницер выступил на литературное поприще с одою (на победу при Журже, в первую турецкую войну), напечатанною в 1770 году; потом, в 1774-м, он издал перевод в стихах героиды Дора «Письмо Барнвелля к Труману из темницы» с посвящением Лъвову, которого он уже называет «любезным другом» и просит сообщить «без лести» свое мнение об этом переводе. Первые опыты Хемницера были чрезвычайно слабы: в них он еще плохо владеет и языком, и стихом; но вскоре, с переходом к басне, он становится как бы новым человеком, усваивает себе простоту и естественность в соединении с народным духом как необходимым элементом нового рода поэзии, в котором он осознал свое призвание. Это, конечно, не могло совершиться без влияния Лъвова и Капниста. Их усердное вмешательство в авторскую деятельность Хемницера сделалось в недавнее время ясно из его рукописей, послуживших нам основанием для нового издания его трудов. Покойный М. А. Дмитриев справедливо заметил, что Хемницер «прошел через сильное чистилище».

В этом-то кругу вращался наш поэт, когда он говорил:

Блажен...
 Кто всю свою в том ставит славу,

 Что все сего блаженства мира
 Находит он в семье своей.
 Что нежная его Пленира
 И верных несколько друзей
 С ним могут в час уединенный
 Делить и скуку, и труды.

В самое то время, когда Хемницер в первый раз готовил к печати свои басни, Державин, снова поселившийся в Петербур-

ге, присоединился к кружку названных литераторов и невольно подчинился влиянию их эстетических взглядов. В примечаниях к стихотворению «Успокоенное неверие» он говорит, что эта первая по времени ода его (т. е. первая, написанная в новом духе) была исправлена им вместе с друзьями его: Львовым, Капнистом, Хемницером и А. С. Хвостовым, у последнего в доме. Что касается Хвостова, то хотя он, как видно, попал в этот круг через сослуживца своего, Державина, но Львов и Хемницер не считают его своим; это доказывают многие направленные против него эпиграммы Хемницера, обвиняющие его в двоедушии, в том что и похвалу его, и брань можно купить, и что он начал нападать на стихи Львова, как скоро перестал нуждаться в нем.

Чем Державин был обязан этим друзьям, станет нам понятно, если мы сравним прежние его стихотворения с теми, которые он писал начиная с 1779 года. В последних мы находим образы и картины, взятые прямо из жизни, часто из простого быта, шуточные и сатирические выходки, народные обороты и неожиданные, поражавшие своею новостью движения. Как заклятые враги неестественной высокопарности Львов и Хемницер без труда произвели решительный переворот в настроении и приемах чуткого поэта, а Капнист обратил его внимание на Горация. Хемницер, по ходатайству Львова, получил место консула в Смирне и там через два года (1784) умер печально, вдали от родины и друзей, в полуварварском краю, где был лишен почти всякого сообщества с образованными людьми. Во время своего отсутствия он постоянно переписывался со Львовым; сохранившиеся письма бедного изгнанника живо рисуют нам его симпатическую личность и характер отношений, связывавших его с покинутыми друзьями. Львов остался надолго главным эстетическим советником Державина, который показывал ему, до выпуска в свет, большую часть своих сочинений; на многих рукописях его сохранились сделанные Львовым заметки и изменения, отчасти принятые поэтом, как видно из печатных текстов. Поправками Капниста он пользовался реже. Позднее в окончательной отделке стихотворений Державина стал принимать участие И. И. Дмитриев. Не надо, однако, преувеличивать этого значения друзей нашего лирика в его авторстве: у него была достаточная доза самоуверенности и самолюбия, чтобы не слишком легко поддаваться на требования поправок в своих стихах. Само собою разумеется, что внимательнее к чужим советам он был вначале, пока не сделался из ученика мастером и не почувствовал, что твердо стал на ноги. Нет сомнения, что и эстетическое чувство Катерины Яковлевны не осталось без влияния на его духовное развитие. Любовь Плениры придала как бы новые крылья его таланту. Мы видим, что в первые годы после его женитьбы являются одно за другим многие из самых знаменитых его стихотворений. Ода «Успокоенное неверие» была напечатана в июне 1779 года в «Академических известиях», ученом журнале, который издавался при Академии наук и которым в разное время заведовали Румовский, Крафт, Озорецковский и

Головин. В этом журнале еще ранее, именно в феврале того же года, явилось слабое стихотворение Державина «Песнь Екатерине Великой», которого впоследствии он не поместил в собрание своих стихотворений. «Успокоенное неверие» было, по его словам, первою одой его, приобретшей известность, но с большим блеском талант его явился в другом журнале.

4. Участие в «С.-Петербургском вестнике»

Еще прежде напечатания названных двух стихотворений в «Академических известиях» Державин сделался постоянным сотрудником «С.-Петербургского вестника». Этот ежемесячный журнал возник в начале 1778 года, предпринятый, как было сказано в объявлении, «обществом любителей наук» на счет книгопродавца Вейтбрехта. Кто именно были издатели, мы в точности не знаем; Державин главным из них называет Брайко. Есть повод думать, что деятельное участие в этом издании, особенно в правительственной части его, принимал Арндт, известный многими переводами с русского на немецкий язык и издававший «St.-Petersburger Journal», где в конце 1777 года и явилась подробная программа «С.-Петербургского вестника». Г. Неустроев в своем «Историческом розыскании о русских повременных изданиях» полагает, что этот журнал основался вследствие распада редакции «Собрания новостей», к которой принадлежал и Брайко. «С.-Петербургский вестник» был довольно замечательным для своего времени журналом: несмотря на свой малый объем, он, сравнительно со своими предшественниками, если исключить «Ежемесячные сочинения» академика Г. Ф. Миллера, был богат содержанием и многосторонен. Издатели старались соединить в нем с литературным интересом практические сведения разного рода. Он состоял из двух отделов: учено-литературного и правительственного; первый содержал, между прочим, и библиографию, иногда с критическими замечаниями, и материалы для русской истории; во втором помещались правительственные постановления, политические и придворные известия. Подписная цена была в Петербурге 4 р., а в провинции — 4 р. 50 к. Несмотря на эту дешевизну и на относительное достоинство журнала, число подписчиков его в 1779 году не превышало 292. «Вестник» издавался три с половиною года, срок довольно продолжительный для тогдашних вообще недолговечных журналов; только сборник Миллера просуществовал целое десятилетие. Лучшие писатели того времени, Княжнин, Капнист, Хемницер, были в числе сотрудников «С.-Петербургского вестника»; к ним присоединился новый, в то время еще неизвестный поэт, который именно тогда готовился вступить в лучший период своего развития и вскоре всех их затмил: это был Державин. В каждой из семи частей (шесть книжек составляли часть) этого журнала мы находим по одному или более стихотворений его, однако всегда без подписи.

В июньской и июльской книжках 1778 года напечатаны его две замечательные «Песни Петру Великому», написанные еще за два года перед тем по поводу изготовления знаменитой статуи Фальконета. Появление этих песен в журнале доставило им некоторую известность, особенно между масонами, которые почитали намять Петра за то, что он, забывая свой сан, трудился, как простой смертный, и видели, что Державин воздал похвалу духу смирения и христианского братства, выражавшемуся в делах великого монарха:

Лучи величества скрывая,
Простым он воином служил;
Вождей искусству научая,
Он сам полки на брань водил.
Владыка будучи полсвета,
Герой в полях и на морях,
Не презирал давать отчета
Своим рабам в своих делах...

Рассказывая, что одна из этих песен вошла в большое употребление у масонов, Державин прибавляет, что они не раз старались привлечь и его в свои ложи, но что он никогда не поддавался на их приглашения.

В сентябре 1777 года И. И. Шувалов, после четырнадцатилетнего отсутствия, наконец возвратился из чужих краев, куда он удалился в начале царствования Екатерины II, чувствуя себя не на месте при дворе ее. Это возвращение было событием в глазах всех, ценивших заслуги и прежнее значение просвещенного вельможи. Многие стихотворцы приветствовали его приезд; в числе их был и Державин. В августовской книжке «С.-Петербургского вестника» за 1779 год прочли «эпистолу» к Шувалову, которая отзывалась подражанием ломоносовскому посланию к тому же вельможе и так же была написана александрийскими стихами. Бакмейстер, заявляя в своей «Russische Bibliothek» о появлении этого послания, заметил, что слово «эпистола» начинает входить в употребление и между русскими писателями.

Предстатель росских муз, талантов покровитель
Любимец их и друг, *мой вождь и просветитель*,
Который истинну хвалу себе снискал,
Что в счастье не одним лишь счастием блистал.
Любил отечество, науки ободряя,
Художества и вкус изящный насаждая
Елисаветиных средь радостных годов.
Был в младости министр, в вельможе философ,
Природой одарен и просвещен ученьем.

Так начинает поэт; далее он приглашает знаменитого мецената продолжать при Екатерине II дело своей юности и превозносит его заслуги; в конце автор дает знать о себе, указывая, что

этот «лирный звон» идет «с пределов болгарских, с отпадших стран Луны», где Иоанн Грозный воздвиг крест, где Елизавета через Шувалова водворила муз и т. д. По этим признакам легко было угадать в авторе бывшего питомца казанской гимназии: «эпистола» могла быть написана или, по крайней мере, окончена во время пребывания Державина в Казани, когда он ездил туда вскоре после своей женитьбы. Но послание это хотя дышит искренностью и не лишено теплоты, написано тяжелыми стихами, языком часто неправильным и страдает неуместно дидактическим тоном при множестве неудачных выражений. Державин сам понял это впоследствии и, сначала поместив «Эпистолу» в собрание своих сочинений, исключил ее из второго издания их.

И вдруг через месяц после нее в «Вестнике» явилась пьеса, в которой никто не мог бы узнать того же автора, и многие спрашивали: кто писал это? кто этот новый талант, так много обещающий? Это была ода «На смерть князя Мещерского», поразившая читателей небывалою звучностью стиха, силою и сжатостью поэтического выражения, наконец, величием образов, в которые облечена печальная истина о непрочности жизни и благе ее. В конце поэт неожиданно обращается к самому себе:

Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость:
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен,
Желанием честей размучен;
Совет, я слышу, славы шум.

Здесь Державин, сознавая свою возрастающую силу и в общественном положении своем, и в литературе, невольно рисует перед читателем. Такой оборот оды был для того времени и нов, и смел.

После этой оды в октябрьской книжке находим «Ключ», в декабрьской — стихи «На рождение порфирородного отрока», далее оды: «На отсутствие государыни в Белоруссии» (1780, май) и «К первому соседу» (август), застольную песнь «Кружка» (сентябрь), наконец, оду «Властителям и судьям» (ноябрь), не упоминая о других, менее замечательных стихотворениях. Мы видим, что производительность Державина постепенно усиливается, а в то же время становится и разнообразнее.

В оде «Ключ» высказалась любовь к поэзии в благоговении к Хераскову, который в то время занимал место куратора Московского университета и считался звездой первой величины на горизонте русской литературы. Поэт, лично с ним знакомый, переносится мыслью в его подмосковное имение Гребенево, рисует картину тамошнего ключа и выражает желание иметь такую же чистую мысль и такой же звучный голос.

Стихи «На рождение порфирородного отрока» (великого князя Александра Павловича) и «На отъезд императрицы в Белоруссию» отличаются своею игривою легкостью. Те и другие, особенно же первые, в которых всего удачнее описание зимы, приводили в восторг несколько поколений и заучивались наизусть. И действительно, живость красок, разнообразие и пластичность картин, прелесть языка, неслыханные до того плавность и музыкальность стиха не могли не производить сильного впечатления на читателей. Но еще замечательнее была человечность понятий и чувств, выраженных в обеих пьесах. Стихи, изображающие приношение последнего из слетевших к новорожденному гениев:

Но последний, добродетель
Зарождаючи в нем, рек:
Будь страстей своих владетель,
Будь на троне человек... —

эти стихи, впоследствии часто приводившиеся как пророчество, были в свое время знаменательны как выражение требования, которое уже начинало шевелиться в русском обществе и органом которого являлся поэт как один из передовых людей эпохи. Этот голос был, конечно, в связи с теми гуманными идеями, которые вносились в жизнь нации самим духом царствования Екатерины, ее примером, ее законами и учреждениями, о чем во второй из названных пьес сам поэт так выражается, описывая упомянутый выше барельеф:

Человечество тобою,
Истина и Совесть в суд
Сей начальствовать страну
В велелепии грядут;
Благодать на них сияет,
Памятник изображает
Твой из радужных лучей;
Злость поверженна скрежещет,
В узах Ябеда трепещет...

Позднейшая критика, не раз утверждавшая, что Державин в своих одах воспевал только блестящие победы и празднества царствования Екатерины, совершенно упускала из виду ту сторону его поэзии, образчиком которой может служить приведенный краткий отрывок и которая впоследствии нашла себе более полное выражение в одах, отмеченных именем Фелицы. В этой-то стороне поэзии Державина заключается, может быть, одно из главных ее значений для своего времени и вообще для русской мысли.

В некоторых из перечисленных од являются не менее важные тона, мысли и картины другого порядка; в них поэт напоминает человеку строгие уроки жизни, превосходство и торжество ду-

ховного мира над телесным, обманчивый блеск земных почестей и наслаждений. Противоположность смерти и жизни, горя и радости резко представляется нам в оде «К первому соседу», где яркими красками изображены роскошь и разврат богатого откупщика (Голикова).

Застольная песня «Кружка» благодаря своему искренно веселому тону и вполне русскому складу имела необыкновенный успех. Позднее она была положена на музыку придворным музыкантом Трутовским и вошла в моду; в Преображенском полку, в котором некогда служил Державин, ее пели еще недавно, может быть, поют еще и теперь; она изредка слышится до сих пор в разных местностях России.



В. В. Капнист.

Знаменитая ода «Властителям и судьям», отданная также в «С.-Петербургский вестник», подверглась особенной участи: ее напечатали было в ноябрьской книжке 1780 года на самой первой странице (под заглавием «Переложение 81-го псалма»), но перед выпуском этого номера положено было исключить ее и заменить разгонисто перепечатанным началом повести, которая

за нею следовала. Однако, к счастью библиографов, во всех известных нам экземплярах этого журнала листок с одою сохранился, только надорванный, а перепечатанные страницы приложены к концу книжки. Как это сделалось, о том не дошло до нас никаких сведений. Сам Державин, как кажется, впоследствии забыл это обстоятельство: в своих объяснениях он говорит, что названная ода в первый раз была напечатана в «Зеркале света», где она появилась, однако, не прежде 1787 года. Было высказано мнение, будто запрещение ее находилось в связи с прекращением «Вестника» в половине следующего года, но для такого предположения нет никаких данных, да оно и невероятно, так как журнал продолжался еще целых шесть месяцев. Превосходство этой оды, по смелости ее содержания и силе выражения, так несомненно, что еще и в наше время критики, которых никак нельзя подозревать в пристрастии к Державину, видели в ней гражданскую заслугу.

На оде «Властителям и судьям» можно лучше всего проследить, как Державин постепенно вырабатывал некоторые из своих стихотворений. В автографах его оказалось несколько редакций этой оды, и разница между первоначальным и окончательным текстом очень значительна: таким образом, замечание И. И. Дмитриева, будто Державин, хотя охотно брался за переделку своих стихов, но редко имел в том удачу, далеко не во всех случаях оправдывается. Из многократных переделок, которым он в рассматриваемую эпоху подвергал свои стихотворения (напр., оду «На рождение порфирородного отрока» он перерабатывал три раза), можно только вывести заключение, что он много потрудился над своим поэтическим развитием, и что его слава недешево ему досталась.

В большей части помещенных в «С.-Петербургском вестнике» стихотворений Державина выражалось его новое эстетическое направление. Конечно, из вышеприведенных слов его еще нельзя положительно выводить заключения, что он в своем творчестве строго держался теории, вычитанной у Батте или заимствованной из советов друзей; несмотря на то, однако, мы можем, до некоторой степени, из тогдашних его од извлечь общие начала, которым он следовал, тем более что впоследствии сам он высказал их в своем «Рассуждении о лирической поэзии». Здесь он говорит между прочим: «Величие, блеск и слава сего мира проходят, но правда, гремящая в псалмопениях, славословие Всевышнему пребывает и пребудет вовеки! Посему-то, думаю я, более, а не по чему другому, дошли до нас оды Пиндара и Горация, что и в первом блещут искры богочтения и наставления дарям, а во втором, при сладости жизни, правила любомудрия. В рассуждении чего нравоучение, кратко, кстати и хорошо сказанное, не только не портит высоких лирических песней, но даже их и украшает». Эти слова объясняют нам тот с одной стороны возвышенный, с другой — сатирический характер, которым отличается поэзия Державина. Торжество вечного и духовного над преходящим и тленным, — вот главная тема ее. Мысль о

поучении как одном из элементов поэзии, конечно, согласовалась с природным настроением ума нашего лирика и могла развиваться особенно под влиянием Горация; другое же требование пиитики Державина — блестящие, живые картины — как нельзя более отвечало его богатому воображению, и мы не можем не признать справедливым замечания, давно сделанного нашею критикой, что он в своих одах является по преимуществу поэтом-философом и живописцем. У него избранная тема служит по большей части только поводом к развитию тех мыслей и картин, в которых заключается настоящее содержание его од; так, напр., в оде «На смерть князя Мещерского» лишь несколько стихов относятся к умершему, сущность же стихотворения составляют остальные девять строф. При такой свободе творчества можно отчасти согласиться с мнением Гете, что «стихи на случай» — первый и самый истинный род поэзии.

Стихотворения Державина, напечатанные в «С.-Петербургском вестнике», без сомнения, тогда уже обратили на себя некоторое внимание; на это намекают собственные слова его, что издатель журнала, «печатая их, сообщал ему известие, что публика творения его одобряет». Но так как они печатались без всякой подписи, и журнал Брайко не имел обширного круга читателей, то ошибочно было бы думать, что Державин уже в эту пору приобрел известность в публике. К числу людей, оценивших новый талант, принадлежал И. И. Дмитриев, который жил в Петербурге, но еще не был лично знаком с Державиным. Впоследствии Дмитриев сам отдал нам отчет о впечатлении, какое на него тогда производили стихи Державина. «Долго я не знал, — говорит он, — об имени автора упомянутых стихотворений. Хотя сам писал и худо, но по какому-то чутью находил в них более силы, живописи, более, так сказать, свежести, самобытности, нежели в стихах известных мне современных наших поэтов. К удивлению, должно заметить, что ни в обществах, ни даже в журналах того времени не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. Малое только число словесников — друзей Державина, — чувствовали всю их цену. Известность его началась не прежде, как после первой оды к Фелице».

5. Ода «Фелица». Ее происхождение и последствия

Было уже показано, что Державин давно искал формы для выражения мыслей, которые ему внушала Екатерина; наконец сама она помогла ему найти эту форму и попасть на совершенно новый тон в изображении ее дел и характера. Императрица, принимая деятельное участие в воспитании своих внуков, придумывая средства для развития их ума и сердца, написала для великого князя Александра Павловича (когда ему еще не было и четырех лет) сказку о царевиче Хлоре. В этой сказке, напеча-

танной в 1781 году, молодой киевский царевич, гуляя, попадает в плен к киргизскому хану, а этот приказывает ему найти розу без шипов, т. е. добродетель. Чтобы облегчить царевичу эту задачу, является дочь хана, веселая и любезная Фелица, но так как ее не отпускает суровый муж ее, султан Брюзга, то она высылает к ребенку своего сына, Рассудок, который и провожает его. На пути Хлор подвергается разным искушениям, и между прочим его зазывает в избу свою мурза Лентяй, чтобы соблазнами отвлечь его от цели. Но Рассудок насильно увлекает его и приводит к крутой каменистой горе, где растет роза без шипов. Взобравшись на гору, царевич срывает заветный цветок и спешит к хану, который возвращает мальчика отцу.

Этой-то аллегорией, во вкусе бывших тогда в большом ходу восточных сказок, и воспользовался Державин для своей оригинальной оды. Перенеся имя Фелицы на Екатерину, он начинает обращением к ней:

Богоподобная царевна
Киргиз-кайсацкия орды,
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высокую гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает!
Она мой дух и ум пленяет:
Подай найти ее совет.

Счастливая идея, вдохновившая поэта, ведет его к целому ряду других оригинальных мыслей. Царевне, идеалу добродетели, он противопоставляет себя как одного из ее мурз, — воплощение всяких недостатков. В шуточном тоне развиваются достоинства Фелицы и слабости ее вельмож, причем ловкими намеками задеваются приближенные Екатерины — Потемкин, граф Орлов, князь Вяземский и др. Какие же совершенства государыни тут восхваляются? Простота ее образа жизни, кабинетный труд, отсутствие суеверия и изуверства, кротость, человеколюбие, правосудие, любовь к литературе. В мурзах же затрагиваются: лень и нега, прихотливость, любовь к пышности, сластолюбие. При этом, кстати, являются черты современных нравов в противоположности с прежними, припоминаются времена Анны Иоанновны, еще живущие в свежем предании, выставляются мудрые учреждения, либеральные законы Екатерины. Словом, в Фелице представлено полное воплощение мечты поэта, выраженной при рождении старшего внука государыни, — желание видеть «на троне человека». Особенную прелесть изображениям придавал игривый характер оды, при небывалой до тех пор легкости и звучности стиха. Шутка была в духе Екатерины: Державин понял это и сумел примениться к ее вкусу. Замысловатая насмешка составляет, как известно, господствующую черту русского

народного ума, и потому можно сказать, что Державин, дав оде национальный оттенок, завершил развитие этого рода поэзии на русской почве.

Вот почему нам совершенно понятен успех «Фелицы» не только при дворе, но и в публике. Ода эта рисует нам в ярких красках двор Екатерины и жизнь вельмож ее, исполненную фантастической роскоши, барской прихоти и страсти к наслаждениям. Тут отразилась целая сторона русского общества 18-го века; современники узнавали здесь себя, видели знакомые лица и нравы и не могли не восхищаться сходством мастерской картины. В свою очередь, и сама Екатерина с удовольствием увидела здесь идеал, к которому она искренно стремилась. «Фелицей» Державин еще более уяснил ей этот идеал и сделался, так сказать, истолкователем его для других, начертал популярное изображение императрицы; никто еще не говорил о ней всенародно с таким одушевлением и простотою. Неудивительно, что она в самом деле была тронута этим изображением, и мы можем верить Державину, когда он рассказывает, что ода «Фелица» послужила поводом «к сепаратному указу, посланному в Тамбов, которым колодников, содержавшихся там за оскорбление величества, запрещено было отправлять в тайную, и велено кончить дело обыкновенным порядком уголовных дел».

С другой стороны, по смелости некоторых шуточных намеков оды на сильных людей мы не имеем причины сомневаться и в уверении Державина, что он не решался показывать «Фелицы», боясь последствий ее для себя. Конечно, шутки оды были добродушны, в них дело шло о слабостях сравнительно невинных, но все-таки спрашивалось: захотят ли вообще великие мира сего быть предметом шутки? потерпят ли они, как тогда выражались, «издевку» над собою? Посмотрим, как сам поэт, в самом раннем из дошедших до нас автобиографических рассказов своих, дает отчет о постепенном оглашении «Фелицы».

«По сочинении оды автор показал ее собравшимся у него друзьям своим, Н. А. Львову, В. В. Капнисту и Хемницеру, которые хотя были ею довольны, однако не советовали выдавать ее в свет, опасаясь, чтоб некоторые вельможи не приняли чего на свой счет и не сделались бы его врагами; что он и исполнил, спрятав рукопись в свое бюро, где она целый год, никому неизвестная, и сохранялась». Он жил тогда на Литейной в доме П. В. Неклюдова, вместе с Козодавлевым, своим сослуживцем по экспедиции о государственных доходах. Раз, в 1782 году, понадобилось ему пойти в свое бюро; случившийся тут Козодавлев, увидев рукопись, прочел из нее несколько строк и под клятвой никому постороннему не показывать выпросил позволение дать ее прочесть тетке своей Анне Осиповне Бобрищевой-Пушкиной, любившей поэзию и особенно стихи Державина. Вечером того же дня поэт получил оду обратно, но через несколько дней, против всякого чаяния, услышал, что она открыто читана в доме И. И. Шувалова на обеде, в присутствии многих знатных гостей (графа А. П. Шувалова, Завадовского, Стрекалова, Безбородки).

Шувалов, призвав его к себе, спрашивает с беспокойством: «Как нам быть? и что делать? Оду вашу требует к себе князь Г. А. Потемкин: отсылать ли ее к нему так, как она есть, или выкинуть некоторые места, кои его изображают?» Державин удивился, спросил, как Шувалов про нее знает. Тот отвечал, что она у него есть, и признался, что получил ее под великим секретом; но, по случаю бывшего за столом разговора о поэзии и замечании, что у нас нет еще того легкого рода, каким славится Франция, любя автора, не вытерпел, чтобы к чести его не прочитав вслух первого в этом роде на русском языке сочинения. Они де его чрезвычайно хвалили, но при всем том он опасается, чтобы князь Потемкин на Державина не рассердился.

— Кто же Потемкину сказывал?

— Андрей Петрович Шувалов: он как человек придворный, видно, хотел тем подслужиться.

— Ежели это сочинение уже известно стало, то когда вы его не пошлете или что-нибудь из него выкинете, князь в самом деле может подумать, что оно на его счет написано; но как оно ничто иное, как изображение страстей человеческих, писанное без всякого намерения, то я подписываю на нем свое имя и прошу отослать к требователю.

Отозвавшись таким образом (продолжает сам Державин), хотя показал вид бодрости, однако же беспокоился, чтобы столь сильный человек, как Потемкин, не растолковал стихов в дурную сторону и не сделал каких-нибудь неприятных внушений императрице. И потому он рассказал про это обстоятельство другу своему Н. А. Львову, прося его разведать, что думает граф Безбородко, и не может ли он предупредить с лучшей стороны государыню. Львов, будто не нарочно, прочитывая наизусть некоторые стихи, вызывал тем графа на объявление его мыслей; хотя тот также хвалил их, но говорил ли что-нибудь императрице, неизвестно.

Вскоре после того, когда княгиня Дашкова сделана была директором Академии наук, то Козодавлев, назначенный при ней советником, показал ей эту пьесу. Ода Державина подала ей мысль предпринять издание журнала «Собеседник любителей российского слова». Никого не предварив о том, она приказала напечатать «Фелицу» на первом листе этого журнала и поднесла на одобрение государыни. Это было в воскресенье, когда княгиня обыкновенно ездила во дворец с докладом по Академии. На другое утро рано императрица посылает за ней. Дашкова застаёт ее прослезившеюся, с журналом в руках. «Кто, — спросила она, — автор «Фелицы», который меня так тонко знает?» Через несколько дней, когда Державин по обыкновению обедал у своего начальника, князя Вяземского, скоро после стола сказывают ему, что его спрашивает почтальон. Он выходит и получает большой конверт с надписью: «Из Оренбурга от киргиз-кайсацкой царевны Державину». В конверте была золотая табакерка, осыпанная брильянтами, и в ней пятьсот червонцев (тысячи на три руб., как поэт пояснил в письме к Дашковой);

он идет к князю и спрашивает, принять ли присланный подарок. Тот сперва грозно на него взглянул, но, увидев табакерку последней французской работы, догадался, в чем дело, и говорит: «Вижу, братец: хорошо; для чего такой подарок не принять?» «Да за что бы это?» — прибавил он с видом некоторого неудовольствия. «Не знаю, — отвечает поэт, — разве не за сочинение ли, которое кн. Дашкова, не спрося меня, напечатала в «Собеседнике»?» Надо было показать это сочинение; его стали читать втихомолку и перешептываться. С тех пор особенно Державин почувствовал крайнее к себе нерасположение своего начальника, который после этого стал с насмешками и придирками принимать от него бумаги, так что он, потеряв терпение, вынужден был выйти в отставку.

Что «Фелица» была принята Екатериною милостиво, ясно из пожалованной Державину награды; но насчет того, как высказалась об этой оде императрица при дворе, есть у самого Державина два не совсем согласных между собою известия. В одном он говорит, что она разослала отписки тем приближенным, на которых в оде были намеки, и притом подчеркнула относившиеся к каждому стихи. В другом месте сказано, что хотя императрице очень понравилась ода, но она скрывала это от придворных и подавала вид, будто не принимает на свой счет похвал поэта, дабы и вельможи не относили к себе смелой, хотя и тонкой его критики. Чтобы согласовать эти два известия, надо предположить, что, может быть, государыня кому-нибудь и послала «Фелицу» со своими отметками, но что вообще она держала себя так, как объяснено во втором известии. Поэтому-то, как думает Державин, и подарок был ему пожалован под рукою. Затем ему позволено было лично принести благодарность императрице, которая, со своей стороны, любопытствовала увидеть своего певца. Он сам описал нам это представление: оно происходило в Зимнем дворце, при многих других лицах; Екатерина встретила его с важным видом; остановясь поодаль от него, несколько раз окинула его быстрым взором и потом дала ему поцеловать руку. Под впечатлением этого милостивого приема Державин задумал было особое стихотворение, но оно осталось неоконченным, или, вернее, принял после другой вид в оде «Видение мурзы», о которой поговорим в своем месте.

За содействие к такому блестящему успеху Державин считал себя обязанным трем лицам: княгине Дашковой, которая представила оду Екатерине; Безбородке как посреднику в доставлении за нее награды и Козодавлеву как первому виновнику известности «Фелицы». Получив подарок от киргиз-кайсацкой царевны, Державин на другой же день написал благодарственные письма ко всем троицам. Рассказав Дашковой о случившемся и выразив ей свой восторг, поэт кончает так: «Я почел за нужное о происшедшем со мною донести вашему сиятельству и просить вашего милостивого наставления, кого мне и как благодарить за полученный мною дар». Безбородке он пишет: «Думаю, сей дар ни откуда, как от всемилостивейшей государыни мне

ниспослан и отправлен от вашего превосходительства, как известного мне во многих случаях благодворителя». Всего любопытнее письмо к Козодавлеву. Поблагодарив его за поздравление «с получением драгоценного дара из Оренбурга», поэт продолжает: «Особливо же благодарю я вас за распространенный слух, касательный до оды «Фелице», по которому дошла она до сведения покровительницы муз... Вы всегда поощряли меня в поэзии и выхваляли малые мои способности... Я для Фелицы сделался Рафаэлем. — Рафаэль, чтоб лучше изобразить Божество, представил небесное сияние между черных туч. Я добродетели царевны противоположил моим глупостям. Не знаю, как обществу покажется такого рода сочинение, какого на нашем языке еще не было. Но оставим сие. Я более всего благодарен вам за то, что вы познакомили меня с истинною любительницею российского слова, с наперсницею Фелицы (Дашковой), и своим представлением подали мне способ узнать качества ее благородного и твердого сердца».

Тем достовернее для нас, с другой стороны, свидетельство самого Козодавлева о его участии в успехе оды Державина. Он был, как известно, главным помощником Дашковой в издании «Собеседника»; в его руках была вся внешняя сторона издания, и в последней книжке журнала он поместил статью «о причинах возвышения и упадка» его. Вот как объясняется тут «рождение «Собеседника»:

«Живший в Петербурге по делам своим некоторый татарский мурза, знающий весьма хорошо российский язык, сочинил в исходе 1782 года оду к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице. Сие сочинение, как всем известно, писано совсем иным слогом, как прежде такого рода стихотворения писывались. Мурза прочел сию оду другу своему, некоторому молодому россиянину, который, так же как и он, наполнен благоговением к сему примеру земных царей, а сверх того и благодарностью за изливающие Фелицею на воспитание его щедроты, которыми он, будучи хотя россиянином, но служа при ее дворе с осьми лет своего возраста, приобрел некоторые человеку нужные знания, ибо Фелица посылала его учиться за тридцать земель в десятое царство. Истина, избраженная в сем прекрасном произведении татарского пера, восхитила его до слез, и он, будучи знаком со многими покровителями и любителями наук, взял сию оду к себе и некоторым из оных дал с нее копии; но она довольно долго пребывала в карманах тех господ и не доходила до ушей Фелицы за неимением, может быть, курьера, который бы мог ее доставить в назначенное место.

В начале 1783 года помянутый россиянин определился в какую-то должность при российском Парнасе (в должность советника при Академии наук). Сие подало ему случай показать сие сочинение начальнице Парнаса, которая, красоты и истины находящиеся в сей оде почувствовав, решила приказать ее напечатать; а дабы чрез то подать случай и другим сочинителям изощрять свои дарования, вздумала она издавать книгу под за-

главием «Собеседник любителей российского слова». Для исполнения предприятия своего пригласила она мурзу, помянутого россиянина и некоторых других сочинителей. Вот рождение «Собеседника».

Мы видим, что сущность обоих рассказов о происхождении «Фелицы» и начале известности ее одна и та же; но в свидетельстве Козодавлева особенно важно подтверждение показания Державина, что эта ода послужила первым поводом к изданию знаменитого журнала.

«Лишь только первый лист сей книги, содержащий оду к премудрой Фелице (так продолжает Козодавлев в следующей главе — о возвышении «Собеседника»), напечатался, то издатели читали оный каждому желавшему слушать сие татарского мурзы стихотворение, и говорили встречному и поперечному о красотах, находящихся почти в каждом отделении сей оды. Болтливая богиня Слава вытвердила ее наизусть и распространила по всему городу. К премудрой Фелице полетел листок по почте, и лишь первая часть «Собеседника» печатанием окончилась, как мурза получил из Оренбурга пакет, заключающий в себе золотую брильянтами осыпанную табакерку, наполненную червонцами. Первая часть «Собеседника» вышла, и лишь о рождении сего издания публика известилась, то у каждого читать по-русски умеющего очутилась она в руках. Каждый восхищался сею новорожденною книжкою, и хотя некоторые сочинения и показались многим слишком солоны, однако же читались как грамотными, так и слезграмотными (?) читателями. Слух о щедром награждении, полученном мурзою от руки, награждать и ободрять умеющей, поощрил хороших сочинителей к дальнейшим трудам, а в дурных возбудил зависть. Начали браниться. Дурные стихотворцы и их приятели ополчились на издателей. Пустословы или Любословы начали писать критики — загорелась война; но война сия еще более возвысила «Собеседник». Он явился в Москву и во многие другие города Российской империи, где уже слух о нем давно распространился, и повсюду увеличивал свою славу».

Приложение к главе IX

Вот подлинные слова Пушкина: «Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал, как ни в чем не бывало, наслаждаться его бешенством». Дмитриев подробнее сообщает это предание. Вот его слова: «Державин, поэт еще неизвестный, вступаясь за москвичей, сделал на эпиграмму Сумарокова пародию и распустил ее по городу. Он выставил под ней только начальные буквы имени своего и прозвания. Сумароков хлопочет, как бы по ним добратся до сочинителя. Указывают ему на одного секретаря рифмотворца: он скачет к неповинному незнакомцу и приводит его в трепет своим негодованием. Вскоре после того смелый Державин успел познакомиться с Сумароковым;

однажды у него обедал и лично утешался тем, что хозяин ниже подозревал, что против него сидит и пирует тот самый, который столько раздражил желчь его». Есть еще третий рассказ, относящийся к этому обстоятельству. В журнале «Соревнователь» (1819, VI, 220) прибавлено, что по начальным буквам, подписанным под пародией, Сумароков заподозрил в сочинении ее молодого человека, который играл в домашнем театре князя П. М. Волконского, именно Гаврилу Дружерукова. Сумароков призывает его к себе. Молодой литератор, польщенный приглашением знаменитого писателя, приходит к нему. Наш трагик осыпает его ругательствами за сатиру и, не принимая никаких оправданий, отпускает так же, как и встретил. Молодой человек был не злопамятен; по смерти Сумарокова он участвовал в пожертвованиях, собранных по подписке на погребение стихотворца и написал в честь его «Разговор в царстве мертвых Сумарокова с Ломоносовым». Заметим, однако, что по Сопикову и Смирдину автором этого «Разговора» был А. Дружеруков.





Глава X

«Собеседник любителей российского слова»

(1783 – 1784)

1. Связь с «Фелицей». План издания. Сотрудники

Имя Державина так тесно связано с «Собеседником» княгини Дашковой, что этому журналу, по всей справедливости, должна быть посвящена особая глава в биографии поэта. Из его слов, подтвержденных и Козодавлевым, мы уже знаем, что первым поводом к основанию «Собеседника» послужила ода «Фелица». И в записках своих Державин положительно говорит, что от нее «возымел свое начало «Собеседник», как и самая Российская академия». Последняя половина этого свидетельства должна быть понимаема в том смысле, что издание «Собеседника», предпринятое, между прочим, в видах усовершенствования языка и обогащения литературы, позднее развило в княгине Дашковой мысль учреждения особого ученого общества с тою же целью. Что касается связи между возникновением журнала и «Фелицей», то дело в том, что, прочитав эту оду в рукописи, княгиня, незадолго перед тем назначенная директором Академии наук и уже мечтавшая о содействии успехам языка и словесности, увидела в этом стихотворении задатки того и другого и тогда же задумала, с помощью Державина и других даровитых сотрудников, основать при Академии наук литературный жур-

нал. Императрица одобрила эту мысль и обещала поддержать предприятие своим непосредственным в нем участием. В апреле 1783 г. в академической газете (№№ 30 и 33) появилось объявление о «Собеседнике любителей российского слова», а 20-го мая вышла первая книжка его, которая знаменательно открывалась одою «к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице». Подписи имени под одой не было, но в юмористическом заглавии автором ее показан «татарский мурза, издавна поселившийся в Москве, а живущий по делам своим в Санкт-Петербурге». К этому было прибавлено: «Переведена с арабского языка 1782 года», причем, однако, редакция сочла нужным поместить в примечании оговорку: «Хотя имя сочинителя нам неизвестно, но известно нам то, что сия ода точно сочинена на российском языке». Многие страницы «Собеседника» бросают свет на любопытную историю этой оды. В разных местах журнала, и в прозе, и в стихах, говорится, что перед ее появлением бездарные стихотворцы совершенно уронили торжественные оды, что они всем наскучили своею сухостью и напыщенным тоном. Вот, например, как один из сотрудников Дашковой, Княжнин, выразил тогдашний взгляд лучших писателей на этот род поэзии:

Я ведаю, что дерзки оды,
 Которы вышли уж из моды,
 Весьма способны докучать:
 Они всегда Екатерину,
 За рифмой без ума гонясь,
 Уподобляли райску крину,
 И, в чин пророков становясь,
 Вещая с Богом, будто с братом,
 Без опасения пером —
 В своем займы восторге взятом —
 Вселенну становя вверх дном,
 Отсель в страны богаты златом
 Пускали свой бумажный гром...

Истинному поэту, каков был Державин, естественно было пытаться обновить оду, приблизив ее к действительности, заменив пустой набор громких слов вещественным содержанием, и высокопарный тон — просторечием. Начало этой мысли кроется уже в легкой форме двух прежних од Державина, помещенных в «С.-Петербургском вестнике», — в стихах «На рождение порфирородного отрока» и «На отсутствие государыни в Белоруссию». Полное развитие эта идея получила в «Фелице», где к новым элементам тех двух од присоединились еще сатира и шутка, сделавшиеся одною из принадлежностей целого ряда державинских од. Вообще с этих пор ода, под пером нашего лирика, получает более жизненное содержание: он может быть назван преобразователем оды; в нем совершился переход от старой ломоносовской поэзии к эпохе Карамзина и Дмитриева. На этой переходной ступени являются и другие поэты, напр., Капнист и Княжнин; у них язык правильнее и чище, нежели у Державина,

но последний по своему таланту, по своеобразию в языке и приемах стоит неизмеримо выше их и остается единственным в своем роде. При всех неровностях и шероховатостях своего стиха он представляет местами и как бы невзначай образцы той звуковой и свободно-стройной строфы, которую окончательно развить мог только русский поэт 19-го века.

Цель и план издания «Собеседника» объяснены в «предупреждении», напечатанном в начале первой книжки его. Здесь сказано, что он должен служить к распространению знаний и просвещения и к пользе русского слова. Впоследствии к этим двум целям, как выражаемо было в разных статьях, присоединилась еще третья — исправление нравов. Необыкновенно для того времени заявленное в программе правило, что приниматься будут только оригинальные («подлинные») русские сочинения; допускаются, однако, и подражания; отвергнуты только переводы, «какого бы они рода ни были». Прибавленная к этому оговорка сделана, очевидно, в пользу Державина, как назвавшего свою оду переводом с арабского. «Ежели, — замечено тут, — напечатается что-нибудь под названием перевода, то сие только будет в таком случае, когда кто из сочинителей, желая остаться неизвестным, назовет себя переводчиком». Желавшие участвовать в «Собеседнике» приглашались присылать свои рукописи к княгине Дашковой, которая, однако, предоставляла себе право устранять все «непристойное, нравам вредное или какому-либо лицу предосудительное». Известно, что непосредственное участие в издании принимала сама императрица: кроме собственных объемистых трудов ее, в нем напечатанных, о том свидетельствует и сохранившаяся в государственном архиве переписка о «Собеседнике» между Екатериною и Дашковой; из этой переписки видно, что издательница представляла государыне многие статьи на предварительный просмотр. Вся внешняя часть издания, как-то расчеты с типографией, корректура и проч., лежала на советнике правления Академии Козодавлеве, который, кроме того, как литератор и подчиненное издательнице лицо принадлежал к числу самых деятельных сотрудников журнала, о чем сама княгиня свидетельствует в своих записках.

Срока для выхода книжек не было назначено, а предположено выпускать их по мере накопления трудов и печатания их, причем обещано о появлении каждой книжки извещать публику через «С.-Петербургские ведомости». Однако «Собеседник» появлялся довольно правильно по одной книжке каждый месяц в течение года и четырех месяцев; только в октябре 1783 года вышло две книжки. Прекратился он уже в конце второго года своего существования; такая ранняя смерть была следствием особенных обстоятельств, которые будут объяснены ниже. Одновременно с «Собеседником» другого журнала не выходило; поэтому естественно было, что после прекращения незадолго перед тем «С.-Петербургского вестника» все лучшие силы тогдашней нашей литературы по первому приглашению княгини Дашковой примкнули к новому изданию, тем более что совершенно исклю-

чительное положение, в каком оно находилось, не могло не привлекать к нему сотрудников. По свидетельству Козодавлева, «всякий умеющий писать старался помещать в «Собеседник» свои сочинения».

Между сотрудниками этого журнала явились: Богданович, недавно попавший в знаменитости своею «Душенькой», но не оправдавший своей славы теми плохими стихами и статьями, которые стал помещать в каждой почтой книжке «Собеседника» с полною подписью своего имени; Капнист, давший перепечатать свою известную сатиру, сперва появившуюся в «С.-Петербургском вестнике»; Костров, Фонвизин и некоторые другие. Фонвизин и Капнист, подобно Державину и Дашковой, печатали свои труды вовсе без подписи; так же поступали по большей части Княжнин и Козодавлев. Другие под статьями или стихами ставили начальные буквы или слоги своих имен, напр. Ер. Кост. (Ермил Костров), М. Х. (Михаил Храповицкий), М. С. (Марья Сушкова). Были и псевдонимы, о которых будет речь после. Что в то время, до громкого появления Державина со своею «Фелицей», никто из современных русских писателей не пользовался еще особенною славой, видно из следующих строк «Собеседника» (кн. IX, 244): «Бедные российские писатели!.. Не худо бы рассмотреть, отчего российское стихотворство, кажется, погребено с телом бессмертного Ломоносова и отчего подобные ему писатели, ежели ныне таковые есть, остаются в неизвестности, хотя науки и письмена ныне покровительствуемы российской Минервою более, нежели то во времена прошедшие бывало». Автор этих строк смеется над людьми, не знающими «Душеньки» Богдановича, которая вместе с другими сочинениями в стихах лежит в книжных лавках непроданною, тогда как многие переводные романы переживают по несколько изданий.

2. Участие Екатерины II в «Собеседнике»

Между безыменными сотрудниками «Собеседника» было еще одно лицо, — главная виновница успеха его, благодаря тому особенному характеру, который вскоре стал отличать этот журнал. То была сама Екатерина II, а своеобразный характер, усвоенный ею «Собеседнику», состоял в сатирической шутке и полемике. В конце первой книжки было напечатано объявление, в котором, рядом с приглашением литераторов к сотрудничеству, *издатели* просили всех любителей русского слова и *всю публику*, если кто захочет написать критику на помещенное в «Собеседнике» сочинение, не искать сторонних типографий для напечатания таких критик или сатир, но присылать их прямо на имя княгини Дашковой, которая, конечно, прикажет напечатать их без малейшей перемены в том же «Собеседнике». При этом выражена просвещенная мысль, что критика есть одно из лучших средств к очищению языка и развитию литературы. В той же книжке издатели, в примечании к одному письму, ис-

пешренному французскими словами, *просили всех* присылать им известия об иностранных словах и речениях, употребляемых модными женщинами и господчиками в *русских* разговорах, а они, со своей стороны, публику уверяют, что все таковые известия предадутся тиснению и послужат к осмеянию тех людей, которые природным языком своим гнушаются. Заметим мимоходом, что в этих двух приглашениях мы уже видим цели и задачи, для которых журнал вскоре окажется недостаточным, и у издательницы созреет план основать особую академию.

Прекрасное намерение открыть в журнале свободный доступ критике сообщило ему, конечно, много оживления, но вместе, как мы увидим, в окончательном результате погубило его.

Писатель, каждым вкладом которого дорожили, как украшением журнала, мог, конечно, подействовать своим примером на других сотрудников, и неудивительно, если шутка и сатира, отличающие «Фелицу», решили господствующее направление «Собеседника». Может быть, под этим же влиянием и сама императрица задумала свои «Были и небылицы»; даже заглавие их как будто навеяно стихом «Фелицы»:

И быль, и небыль говорить.

Со 2-ой книжки эти небрежные очерки нравов стали появляться каждый месяц, и в продолжение целого полугодия без них не выходил ни один номер «Собеседника».

Но уже и первая книжка явилась не без участия царственной сотрудницы: это были две странички, служившие предисловием к сочинению совершенно иного рода, занимавшему ее в то время, — к «Запискам касательно российской истории».

Когда началось издание «Собеседника», Екатерина II уже серьезно заботилась о будущем воспитании своих малолетних внуков, из которых старшему шел тогда только шестой год, а второму пятый. Уже тогда ее занимала мысль издать для них маленькую педагогическую библиотеку из своих собственных трудов, и с этою целью в предыдущие два года были напечатаны ею азбука с первоначальными нравственными правилами и две нравоучительные сказки о царевичах Хлоре и Февее. Для той же александро-константиновской библиотеки, как она сама называла этот ряд изданий, государыня трудилась и над составлением русской истории для первоначального чтения. Обнародование этой истории в журнале показалось ей лучшим средством для распространения своего труда в публике. «Записки» ее стали печататься в «Собеседнике» постоянно и составляли каждый раз самый значительный вклад, обыкновенно от 50 до 100 и однажды даже более 200 страниц, так что они вместе с «Былями и небылицами» заняли наибольшую часть журнала.

Уже во 2-ой книжке его на вызов издателей явился и критик. Это был некто, назвавший себя Любословом (очевидно, с намерением передать по-русски значение чужезычного «филолог»), лицо, с этой минуты приобретшее важность для «Собеседника»

не только потому, что Любослов и после того не раз возвращался со своими замечаниями, но и потому, что заставил много говорить о себе в журнале. Издатели, конечно, не могли отказать ему в напечатании его критики, но тут же не сумели скрыть некоторого неудовольствия, сказав, что считают себя очень одолженными за труд, который «сия критика уповательно нанесла сочинителю оной, ибо ни единое Е, ни единое И, нечаянно не у места поставленные, не пропущены». Любослов, сознавая, что он вместе с издателями приведен был в восторг «при общем торжестве восстановления российских муз», т. е. по поводу издания «Собеседника», но не нашел в выражениях их (т. е. издателей) того *довольства* (богатства языка?), красоты и силы, «кои внушают нам правила российского красноречия». Это было довольно смело. В следовавших за тем частных замечаниях зачеты были между прочим и Державин, и Дашкова, и сам автор «Записок о российской истории». Сказанное Любословом против некоторых выражений оды «Фелица» можно найти в примечаниях к этой оде. Относительно языка предисловия Екатерины было замечено: «вместо *единакий* лучше *одинакий*, вместо *выполнить* гораздо употребительнее *исполнить*». На это редакция возразила: «слово *единакий* в важном слоге гораздо пристойнее и правильнее, нежели *одинакий*, также и слово *выполнить* весьма часто употребляется в хороших сочинениях». Кроме того, неприятное впечатление, произведенное на Екатерину этою выходкой Любослова, выразилось тем, что редакция, признав пользу, «кою сия выработанная критика российским писателям принести может», прибавила: «Однако же один из издателей нижайше просит, чтоб дозволено было ему и не всегда исправные свои сочинения в «Собеседник» помещать, думая, что честные правила, здравый рассудок и приятная шутка предпочтительны педантству» и проч. В этой заметке всего любопытнее то, что императрица явно включена в число издателей, а это, без сомнения, не могло быть сделано без ее согласия. Следовательно, и во всех других местах, где упоминаются издатели, мы должны между ними разуметь и ее.

В сочинениях и письмах Екатерины II нередко повторяются одни и те же любимые мысли, почти в одинаковых выражениях. Так в письмах к г-же Бельке она говорила, как прежде в письмах к г-же Geoffrin, о неприятном чувстве, которое всякий раз испытывает, когда, входя в большое общество, производит действие головы Медузы, т. е. всех заставляет молчать. Так и в «Былях и небылицах» мы встречаем мысли, которые уже гораздо ранее были выражаемы ею в письмах ее к Гримму, напр.: «Во время сильного ветра отлично во мне действует воображение, или: «Я не могу видеть чистого пера, чтоб не пришла мне охота обмакнуть оного в чернила; буде же еще к тому лежит на столе бумага, то, конечно, рука моя очутится с пером на той бумаге». Это то, что она в шутку называет бумагомараньем. В чем же состояло содержание этих «Былей и небылиц», в которых встречались подобные шутки? Видя везде вокруг себя проявле-

ние человеческих слабостей и недостатков, Екатерина хотела действовать против них путем слова, но понимала, что при тогдашнем состоянии нашего общества нравоучение могло проникать в сознание его только в приятной и забавной форме. Поэтому она решилась писать беглые шуточные заметки о нравах и смешных сторонах современной жизни, почерпая их, по-видимому, из низких слоев общества, но на самом деле имея в виду известные ей лица и отношения и пользуясь к тому богатым запасом своих собственных опытов и воспоминаний. Принимаясь писать, Екатерина в «Былях и небылицах» часто предупреждает, что она сама не знает, о чем будет говорить, что она станет писать все, что попадется на кончик пера, но, в сущности, в большей части того, что она выражает, кроется намерение. В одном месте она объясняет, что «Были и небылицы» «почерпнуты из моря естества», и тем дает знать, что источником служит ей жизнь во всем своем разнообразии; но в другой раз замечает, что она касается только тех сторон жизни, которые могут доставить пищу веселости: поэтому отказывается, напр., взять на себя описание ябедника или лихоимца: «все, — говорит она, — влекущее за собой гнусность и отвращение, в «Былях и небылицах» места иметь не может; из них строго исключается все то, что не в улыбатальном духе». В самом деле, замечателен непринужденно-веселый тон, проникающий от начала до конца «Были и небылицы»; видно, что в это время и самая жизнь государыни была спокойна и ясна; это было перед мирным присоединением Крыма, когда к ближайшему обществу ее принадлежал тогдашний любимец А. Д. Ланской. Знакомство, какое автор обнаруживает с самой скромной житейскою сферой, объясняется тою простой домашней обстановкой, в которой Екатерина провела свое детство и часть молодости.

Что придавало «Былям и небылицам» особенный интерес, это были рассеянные в них портреты общественных деятелей, изображения, которые она заимствовала то из своих наблюдений над живыми, то из воспоминаний о мертвых. Разительный пример тому мы находим на первых страницах «Былей и небылиц», где под именем Самолюбивого изображен Чоглоков, муж обергофмейстерины, находившейся при дворе великой княгини (муж и жена представляются ею в весьма неблагоприятных красках). Далее, в портрете Нерешительного мы узнаем И. И. Шувалова. Является и Нарышкин со своим кубарем. Так же точно позднее в «Былях и небылицах» осмеивается вернувшийся недавно из-за границы граф Николай Петрович Румянцев в лице человека, который так плохо выражается на родном языке, что его сочинение похоже на плохой перевод с иностранного.

К сожалению, в «Былях и небылицах» есть много портретов, которых значение для нас, потомков, вероятно, навсегда утрачено. Современники были в более благоприятном положении и угадывали или по крайней мере старались угадывать, на кого метит то или другое описание. Зная, сколько по этому поводу было толков при выходе каждой новой книжки «Собеседника»,

императрица придумала для своих «Былей и небылиц» особое лицо под именем Угадаева, с которым вступила в вымышленную переписку, уверяя его, что «Были и небылицы» «наполнены тем, что в людях водится, но люди тут без имени, а описывается вообще умоположение человеческое; до Карпа и Сидора тут дела нет». Недостатки, которые осмеиваются в этом сочинении, суть самолюбие и чванство, тщеславное и безвкусное щегольство, пристрастие к французским нравам и языку, наконец, слабость плохих авторов к тому, что они пишут. Главные лица, выведенные в «Былях и небылицах» для прикрытия собственных размышлений автора и выражения их в шуточном тоне, — это, во-первых, дедушка, человек глубокомысленный и словоохотливый с многозначительным кашлем: хем, хем; он же поверенный каких-то двух не в ладу живущих супругов. Во-вторых, двоюродный брат автора, «человек веселый и проказливый». Далее дедушкина кума, дочь архангельского купца, высокая и толстая, воспитанная в пансионе на иностранный образец и выданная замуж за отставного дворянина. Она старалась быть проворною, но по дородству своему часто падала, тем более что по моде носила тесные башмаки на высоких тоненьких каблучках. Описание ее дурного нрава дает случай к насмешкам над масонством и над тайнственными масонскими словами, по-видимому, не заключающими в себе никакого смысла. Дедушка говорит, что он ничего так не любит, как смешить других, и сам охотно смеется. У него 15 внуков, перед которыми он любит хвалить доброе старое время с его шутовскими свадьбами, шутами и Ледяным домом. Он сам, однако, сознается что настоящее лучше. Здесь любопытны черты прогресса, на которые намекает государыня. Между прочим дедушка говорит: «Мысли и умы, долго быв угнетены под тяжестью тайны, вдруг яко плотина от сильной водополи прорвались, а накопленная вода стекает до тех пор, пока, не осушив дна, оно не откроет». Потом дедушка выставляет преимущество современного воспитания и наконец прибавляет: «Ничему я так не радовался последние сии годы, как тому, что к совестному разбирательству повсюду оказалось много охотников. Маятник сей подает о общем расположении добрую надежду, подобно как пульс врачу о состоянии больного». Здесь речь идет о совестных судах, явившихся за несколько лет перед тем с новым учреждением о губерниях: императрица особенно гордилась этою новою формой суда, как видно и из частной ее переписки.

В изложении «Былей и небылиц», как и в содержании их, сочинительница совершенно не держится никакого порядка, беспрестанно переходя от одного предмета к другому; это бесвязные, но остроумные речи о всякой всячине, обо всем, что взбредет на ум мыслящему, наблюдательному человеку, и, кажется, образцом ее в этом случае, более всякого другого автора, служил Стерн. Для возможно большей свободы в переходе от одного предмета к другому государыня, сверх главного текста, вводит часто, в виде отступлений, NB и примечания или встав-

ляет какой-нибудь полемический ответ на присланные в редакцию заметки. Для образчика тона и слога этой царственной шалости приведу самое начало «Былей и небылиц» под заглавием «Предисловие»: «Великое благополучие! Открывается поле для меня и моих товарищей, зараженных болячкою бумагу марать пером, обмакнутым в чернила. Печатается «Собеседник» — лишь пиши да пошли, напечатано будет. От сердца я тому рад. Уверяю, что хотя ни единого языка я правильно не знаю, грамматике и никакой науке не учился, но не пропущу сего удобного случая издать «Были и небылицы»; хочу иметь удовольствие видеть их напечатанными».

Легко представить себе, с каким любопытством читались в то время «Были и небылицы», происхождение которых ни для кого не было тайной. Государыне было хорошо известно, что это сочинение более всего остального доставляло «Собеседнику» читателей, и что при выходе каждой новой книжки все наперед бросались на «Были и небылицы». В самом журнале нередко являясь похвалы этим беседам; замечали, напр., что в них рассеяно множество тонких, острых, иногда и глубоких мыслей, но «они нимало не украшены слогом громким, важным и высоким». Вообще современники видели в них, как и в «Фелице» Державина, произведение совершенно в новом роде, небывалое в литературе явление, которое служило к украшению и поддержке журнала. Поэтому неудивительно, что сочинение «Былей и небылиц» сильно занимало императрицу, и что она заранее подготавливала к ним в уме своем материалы, о чем сама в шутку так выразилась: «На запасном дворе «Былей и небылиц» много различных качеств и количеств, действительно действующих и еще в дело не употребленных лиц и вещей».

3. Внутренняя полемика «Собеседника». Императрица и Фонвизин

Сама княгиня Дашкова постоянно писала для «Собеседника» то вымышленные письма на имя редакции (напр., из Звенигорода), то статьи в прозе, то, наконец, стихи. В этом последнем роде особенно замечательно помещенное уже в 1-й книжке послание ее к слову *так*, где рядом с плохими прозаическими стихами встречаются целые очень удачные тирады. Высказанные тут насмешки над *дакальщиками* должны были задеть многих, и это в последующих выпусках не раз отозвалось издателям. Сатирические выходы «Собеседника», вместе с обещанием принимать всякие критики, имели последствием то не совсем обыкновенное в истории периодической литературы явление, что в этом журнале завязалась полемика сперва между издателями с одной и сотрудниками с другой стороны, потом между сотрудниками, а напоследок, хотя глухо и неприметно, среди самих

издателей, и тогда-то «царство разделилось само в себе», и «Собеседник» мало-помалу зачах.

Из посторонних сотрудников, после Державина, особенное значение для этого журнала приобрел Фонвизин, и именно двумя из своих статей, хотя и небольшими, но, как выражаются в наше время, забористыми: «Челобитною к российской Минерве от российских писателей» и «Вопросами». Первая, напечатанная в 4-ой книжке, указывает на ту характеристическую черту тогдашнего русского общества, что занятия литературою подвергались сильному гонению со стороны некоторых вельмож. Это и было причиною тому, что многие из участвовавших в «Собеседнике» не подписывались под своими трудами: для появления в журнале со своим именем требовалось некоторое гражданское мужество. Особенно отличался своею враждою к литераторам, как мы уже видели, начальник Державина, князь А. А. Вяземский, который, по словам поэта, говаривал: «Когда им заниматься делом, когда у них рифмы на уме?» Княгиня Дашкова в своих записках подтверждает свидетельство самого поэта о том, как смотрел на его авторство генерал-прокурор. «Во всякой статье, сколько-нибудь отзывавшейся сатирою, — говорит она, — князь Вяземский непременно видел намеки на себя или на свою супругу, особливо когда он узнал, что и Державин участвует в этом журнале. Державин оставлен был им от должности; потому можно было предполагать, что он как поэт, которого все читали с восторгом, не упустит воспользоваться легким способом мести, бывшим в руках его». Услышав об этих подозрениях, Державин обратился к княгине с письмом от 25-го ноября 1783 года. «Осмеливаюсь, — пишет он, — ваше сиятельство, поставить себе свидетельницею, что ни язык мой, ни перо мое не были никогда производителями никакой сатиры, тем паче с намерением кого-нибудь тронуть, кроме что обыкновенные людские слабости в оде «Фелице» оборотил я собственно на меня самого. Равномерно ж небезызвестно вам и то, что никак не было сильного моего желания ни печатать, ни выдавать в свет и того сочинения моего, ибо оно и до вас дошло не чрез меня. В размолвках ваших с его сиятельством князь Александром Алексеевичем был я столь осторожен, что ни вы, ни он по справедливости сказать не можете, чтоб я прибавлял жару в сердца ваши, но старался еще по возможности моей, когда кстати и пристойно случалось, укротить несогласие, обоих вас недостойное. Но, невзирая на сие, многие от «Собеседника» должен был я терпеть неприятности, которые вливались даже и в... но, короче сказать, которые наконец так мне наскучили, что я оставил службу; ибо подал я уже о увольнении моем письмо. Вот плоды стихотворства, к которому вы меня столь часто убеждать изволили и которого я всемерно отказывался. — Но дело сделано».

Хотя Фонвизин в то время и не был знаком с Державиным, но, конечно, он через княгиню Дашкову знал о положении поэта, и весьма вероятно, что оно-то главным образом и дало автору «Недоросля» мысль написать в виде шутки помянутую, по

содержанию весьма нешуточную «Челобитную», подписанную «российских муз служителем Иваном Нельстецовым». Она составлена в приказной форме по титуле и начинается словами: «Бьют челом российский писатели». Жалоба направлена против людей, которые «высочайшею милостью достигли до знаменитости, не будучи сами умом и знанием весьма знамениты...» «Сии знаменитые невежды, возвышаясь на степени, забыли совершенно, что умы их суть умы жалованные, а не родовые, и что по статным спискам всегда справиться можно, кто из них и в какой торжественный день пожалован в умные люди... Реченные невежды вообразили, что к отправлению дел ни в каких знаниях нужды нет, ибо де мы сами в делах без малейшего в них знания... Они употребляют во зло знаменитость своего положения к тяжкому предосуждению словесных наук и к нестерпимому притеснению нас, именованных. Они, исповедуя друг другу неведение свое в вещах, которых не ведать стыдно во всяком состоянии, постановили между собою условие: всякое знание, а особливо словесные науки, почитать не иначе, как уголовным делом... Вследствие чего учинили они между собою определение: 1) всех упражняющихся в словесных науках к делам не употреблять; 2) всех таковых, при делах уже находящихся, от дел отрешать». Челобитная кончается просьбой «такое незаконное и век наш ругающее определение отменить; нас же, яко грамотных людей, повелеть по способностям к делам употреблять... К поданию надлежит в «Собеседник». Очевидно, что здесь, если не исключительно, то главным образом, имелась в виду неприязнь князя Вяземского к Державину, и, зная отношения между княгиней Дашковой и генерал-прокурором, можно быть уверенным, что она с радостью напечатала эту выходку против своего недоброжелателя, который, как она сама рассказывает, беспрестанно противодействовал ей, делал ей неприятности по ее представлениям об Академии наук и «долго не мог ей простить, что она приняла под свое начальство таких людей, которых он преследовал и, лишив мест, оставил без куска хлеба». Императрица, которая сама служила самым блестящим опержением теории Вяземского, что нельзя соединять литературных занятий с деловыми или государственными, также не могла дурно принять челобитной Фонвизина, без сомнения, обратившей на себя ее внимание. Что касается князя Вяземского, то, припоминая приведенные выше слова Дашковой о его мнительности, можно почти наверное сказать, что он в сочинении «Челобитной» подозревал Державина. К Вяземскому же, по всей вероятности, преимущественно относятся строки, которыми позднее княгиня Дашкова упрашивала государыню по-прежнему помещать в «Собеседнике» свои «Были и небылицы»: «Ваше величество изволите видеть, что не я одна так думаю о «Былях и небылицах» и что без них наш журнал упал бы. Скажу более. Нас будут еще более чуждаться; и те, которые мешают писателям помогать нам, сочтут себя более чем когда-либо вправе пре-

следовать всех осмеливающихся выказывать ум и любовь к литературе... Боюсь быть невинным орудием неприятностей, испытываемых честными людьми от своих начальников. Если бы автору «Былей и небылиц» угодно было сказать несколько слов в ободрение пишущих, то он обязал бы и скромную издательницу, и публику».

Знаменитые «Вопросы» Фонвизина были одним из последствий вызова на критику, с которым редакция «Собеседника» в самом начале издания обратилась к публике. Пример самих издателей должен был поощрять и других к доставлению сатирико-полемических статей. «Послание» княгини Дашковой к слову *так*, где некоторые колкие выходки могли быть приняты за личности, имело последствием возражение, показавшееся издателям таким неприличным, что они сочли нужным напомнить критику, с кем он имеет дело. Тем не менее редакция честно соблюдала свое обещание, и, не всегда одобряя присылаемые критические заметки, все-таки печатала их. К числу таких присылок принадлежали и «Вопросы» Фонвизина. Они появились в 3-й книжке особою статьею вместе с ответами Екатерины II, в два столбца, и притом с пояснением, снова подтверждающим, что государыня открыто причисляла себя к составу редакции. «Издатели «Собеседника», — было тут сказано, — разделили труд рассматривать присылаемые к ним сочинения между собою поделно, равно как и ответствовать на оные, ежели того нужда потребует. Сочинитель «Былей и небылиц», рассмотрев присланные «Вопросы» от неизвестного, на оные сочинил ответы, кои совокупно здесь прилагаются».

Конечно, и сам Фонвизин, и княгиня Дашкова чувствовали смелость некоторых из вопросов. Есть предание, что Дашкова вместе с И. И. Шуваловым уговаривала Фонвизина не присылать в журнал своих вопросов, но он не послушался. Сначала они так неприятно поразили Екатерину, что она приписала их мщению Шувалова. Относительно произведенного ими впечатления любопытно следующее письмо императрицы к Дашковой. «Внимательно перечитав, — говорит Екатерина, — известную статью, я нахожу ее не так предосудительною, как она мне сперва казалась. Если б можно было напечатать ее вместе с ответами, сатира потеряла бы свою резкость, хотя все-таки могла бы дать повод к таким же или еще большим дерзостям. Она, без сомнения, идет от обер-камергера в отплату за портрет Нерешительного во второй части «Собеседника». Заметьте, что 14-й пункт помещен два раза, может быть, с тем, чтобы можно было один из них исключить, не нарушая порядка нумеров. Не похожа ли эта мелочная предосторожность именно на обер-камергера, который при всех своих движениях делает один шаг вперед, а другой назад?»

Вот те два пункта, отмеченные цифрою 14, с ответами на них:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В. «14. Имея монархию честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом удаиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться проискывать их обманом и коварством?»</p> | <p>О. «На 14. Для того, что везде во всякой земле и во всякое время род человеческий совершенным не родится».</p> |
| <p>В. «14. Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а нынче имеют, и весьма большие?»</p> | <p>О. «На 14. Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей вопрос родился от свободозычия, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших».</p> |

Надобно согласиться, что оба эти вопроса были довольно бесцеремонны не только в отношении к приближенным Екатерины, но и к самой государыне, которой тут было прямо высказано, что она награждала недостойных. Оттого и в одном из ответов своих она не сумела скрыть некоторого раздражения.

Несколькими годами ранее Фонвизина подобную же шутку позволил себе Хемницер в басне «Заяц, обойденный при производстве», в которой позднее заяц заменен мартышкой. Здесь мартышка жалуется, что лев не дал ей награды, хотя она

Перед самим царем два года с половиной
Шутила всякий день.

Барсук ей отвечает, что хотя это все и правда, что труд ее, конечно, был не мед, но произвести ее по службе невозможно потому,

Что обер-шутов в службе нет.

Намек на награды, выслуживаемые шутством, находим мы также в басне Державина «Лев и волк» (напечатанной в 8-й книжке «Собеседника»), где волк жалуется, что он не получил ленты, когда

И пифик с лентою, и с лентою осел,
Когда их носит шут, да и слуга простой.
Лев дал ответ: «Ведь ты не токмо не служил,
Но даже никогда умно и не шутил».

Нельзя, кажется, сомневаться, что во всех трех случаях предметом намеков служил обер-шталмейстер Л. А. Нарышкин, о котором сама Екатерина некогда заметила, что он рожден арлекином. Позволить себе такие вопросы можно было только при большом доверии к великодушью и снисходительности монар-

хини. Прочитав в первый раз вопросы Фонвизина, Екатерина сказала: «Мы отместим ему», и действительно некоторые из ответов ее были так ловко придуманы, что Фонвизин признал себя побежденным.

Но главный ответ государыни, в котором она сдержала и свое обещание мести, был дан не в этих шуточных афоризмах, наскоро набросанных и появившихся вместе с вопросами, а в той главе «Былей и небылиц», которая вслед за тем напечатана в 4-й книжке. Там Екатерина отвечает резче устами дедушки. Этот старичок, прочитав «Вопросы и ответы», пускается в сравнение настоящего с давно прошедшим. «В наши времена, — говорит он, — никто не любил вопросов: ибо с оными и мысленно соединены были неприятные обстоятельства; нам подобные обороты кажутся неуместны; шуточные ответы на подобные вопросы не суть нашего века: тогда каждый, поджав хвост, от оных бегал». Продолжая шутить на эту тему, императрица представляет, как различно вопросы и ответы подействовали на друга ИИИ, который больше плачет, нежели смеется, и на ААА, который более смеется, нежели плачет. Первый огорчается от свободоязычия, последний уподобил вопросы сборной ухе, а ответы свежепросольным огурцам, оттого что он был голоден и у него на уме было кушанье. В свою очередь и дедушка, будучи не в духе, «твердил непрестанно меж зубов повторенный 14-й вопрос», прикашливая поминутно: хем, хем. «Отдохнув несколько, начал он разбирать подробно члены его и говорил: отчего?.. отчего?.. Ясно оттого, что в прежние времена врать не смели, а паче письменно без — хем-хем-хем — опасения... За сим следовало: шуты — дедушка всех их по именам знает, начиная с древних, отличившихся и отличенных, во всех пяти эпохах нашей истории...» (Тут приведены черты петровской и последующей старины: припоминаются Бахус, на бочке переезжающий с кардиналами через Неву, свадьба в Ледяном доме и проч.) «Когда дедушка дошел до шпыней, тогда разворчался, необычайно и крупно говоря: шпынь без ума быть не может, в шпыньстве есть острота; за то, что человек остро что скажет, ведь не лишит его выгод тех, кои в обществе даются в обществе живущим или обществу служащим». Но самую язвительную выходку дедушка приберег к концу своего рассуждения: «Дело дошло до балагуров, кои бывают не скучны, когда к словоохотному присоединяют природный ум или знание, а скучны лишь Маремьяны, плачущие и о всем в мире косо и криво пекущиеся, от коих уже в десяти шагах слышен дух скрытой зависти противу ближнего...» Это был тяжкий для Фонвизина намек на побудительную причину его вопросов, — намек тем более обидный, что он вовсе не согласовался с благородным образом мыслей и честным характером этого писателя и был явно вызван неудовольствием за высказанную им правду.

В ответах Екатерины отражается гордое сознание, что в ее время сделалось возможным многое, что прежде было немислимо. Ее не могло не огорчить, что один из передовых людей ее

царствования, по-видимому, не признает безмерной разницы между настоящим и прошлым. Спрашивая «чем можно возвысить упавшие души дворянства?» Фонвизин как будто не заметил именно того, что Екатерина с особенною гордостью себе приписывала, и она отвечала: «Сравнение прежних времен с нынешними покажет несумненно, колико души ободрены либо упали; самая наружность, походка и проч. то уже оказывает». В самом деле, на глазах современников совершилась в духе управления и в общем настроении неимоверная перемена; в настоящем не узнавали Россию времен Анны и даже Елизаветы. Не признание этого успеха не могло не быть чувствительным для той, которая считала себя его виновницей. В «Былях и небылицах» она так говорит об отсталом человеке: «он мысли и понятие о вещах, кои сорок лет назад имел, и теперь те же имеет, хотя вещи в существе весьма переменились: напр., и поныне еще жалуется на несправедливость воевод и их канцелярий, коих, однако, уж нигде нет. В свое время сей человек слыл смышленным и знающим, но как ныне вещи переменились и смысл распространился, а его понятие отстало, он же к тому понятию привык и далее не пошел, то о настоящем говорит он, как говаривал сорок лет назад о тогдашнем».

В одной книжке с этими строками помещено извинение, присланное Фонвизиным в виде письма на имя автора «Былей и небылиц». Он сам хорошо понял главную причину досады, явно просвечивавшей в ответах государыни, и знал, с чего начать свое оправдание. «Можете быть уверены, — говорит он, — что я ни вам и никому из моих сограждан не уступлю в душевном чувствовании неисчетных благ, которые в течение с лишком двадцати лет изливаются на благородное общество (т. е. на дворян). Надобно быть извергу, чтоб не признавать, какое ободрение душам подается». Затем Фонвизин восхваляет данное незадолго перед тем разрешение заводить частные типографии и выражает надежду, что оно «послужит не только к распространению знаний человеческих, но и к подкреплению правосудия». Не забыл Фонвизин коснуться и 14-го вопроса. «Статьею о шпынях и балагурах, — говорит он, — хотел я показать только несообразность балагурства с большим чином...» Далее он сознается, что не сумел исполнить своего доброго намерения и сообщить своим вопросам «приличного оборота», почему он и решился не выпускать новых заготовленных им вопросов, — чтобы не давать другим повода к дерзкому свободоязычию, которое он всей душой ненавидит. «Напечатание этого письма, — заключал автор «Вопросов», — будет для меня весьма лестным знаком, что вы моим объяснением довольны»; в противном случае он хотел «во всю жизнь за перо не приниматься».

Это оправдание не только было напечатано в следующей книжке «Собеседника», но удостоилось чести явиться в самом составе «Былей и небылиц» рядом с отпущением, в котором объяснение Фонвизина названо «добровольною исповедью», а сам он «кающимся»; но тут же очень тонко прибавлено: «в сем

случае разрешение зависит не от кого иного, как от многоголовой публики; мое же дело тут постороннее».

В одной книжке с вопросами Фонвизина, кроме ответов императрицы, помещены и объяснения редакции на разные критические заметки. Все это любопытно тем, что знакомит нас с толками, вызванными в публике появлением «Собеседника». Так некоторые находили, что первые две части его заключают в себе одну пустошь, глупости и враки; другие утверждали, что все без подписи напечатанные статьи написаны самими издателями: «превеликая толпа разного рода людей на них гневалась... Большая же часть читателей заражена охотою отгадывать. Всякая толстая баба на тонких каблучках сердится, думая, что наверное она — архангелогородская кума (являющаяся в «Былях и небылицах»). Один дедушка скольким повернул головы! С какою хитростью доискиваются, кто муж и жена, которым дедушка был друг!» — «Вы, — говорит издателям мнимый корреспондент, — имеете против себя всю чернь авторов и читателей. Первые гnevаются, для чего не печатаете того, что всех дремать заставляет; вторые — для чего печатаете то, что души от дремоты пробуждает. Вас не любят те, которые не умеют писать. Вас не любят и те, которые не умеют читать». Тут опять прорывается неудовольствие на Любослова. «Чрез не умеющих писать, — продолжает автор, — разумею я не тех, кои литер ставить не знают, но тех прескучных Любословов, кои слова без вещей писать любят». В заключение пишущий советует издателям держаться своих хороших сотрудников: сочинителей «Записок» и «Былей», какого-то звенигородского корреспондента — чуть ли не самой Дашковой — и Державина. О последнем сказано: «Продолжайте ободрять искусное и приятное перо арабского переводчика». Статейка кончается словами: «держитесь принятого вами единожды навсегда правила: не воспрещать честным людям свободно изъяняться. Вам нет причины страшиться гонения за истину под державою монархии».

4. Главный критик «Собеседника» Любослов. Неизвестный и граф Н. П. Румянцев

Из критиков «Собеседника» всех неприятнее издателям и сотрудникам был Любослов. Уже первые грамматические и стилистические замечания его, как было показано, очень не понравились; его упрекали в педантизме, иронически называли грамматиком и выражали желание увидеть никому не известные собственные его сочинения; он всем показался выскочкой и непризванным критиком. Почти все задетые им авторы, Капнист, Фонвизин, княгиня Дашкова и сама императрица, возражали ему, — лучшее доказательство, что его обвинения попали в цель. Но еще более раздражил он против себя участников «Собеседника», когда в 7-й книжке явилась его статья «Начер-

тание о российских сочинениях и российском языке», которую он написал, как сам пояснил, именно с тем чтобы показать образчик своего авторства. Хотя вообще Любослов выражал те же мысли, которые старались распространять сами редакторы «Собеседника», напр., указывал на богатство и силу русского языка, осуждал предпочтение ко всему иностранному, выставлял древность и многочисленность славянских народов в Европе, наконец, хвалил Екатерину II и Дашкову, но наставительный тон всей статьи, ученый склад ее и требование соблюдения строгих правил при всяком сочинении, — все это послужило новым поводом к нападкам на Любослова. Не полюбился издателям и слог его. Особенно первый, длинный и действительно неловкий период его статьи, с натянутыми выражениями, обратил на себя общее внимание, и многие сотрудники журнала, не исключая самой Екатерины, стали насмешливо повторять некоторые из этих выражений. Вот начало статьи:

«Эпоха нынешнего времени, в которое лучи мысленного света, разливающиеся из общего средоточия и озаряющие с большею нежели когда-нибудь силою обширные российские пределы, сильным преломлением в умах россиян возбуждают стремительное рвение к нравственному просвещению, когда несравненные монархини великодушным ободрением разные знания, художества и словесные науки очевидно возрастают, и, кроме многочисленных переводов, собственные сочинения с *чрезвычайною охотою, хотя без предписанных правил, однако утвержденные общим согласием* (не могла ли императрица принять этих слов насчет своих «Былей и небылиц») простираются от часу лучшими успехами, подают мне повод к сем полезному и притом не безтрудном деле расположить в порядок начертания мои, и сообщить оные всем остроумным словесных наук любителям».

После появления этого «Начертания» на Любослова посыпались колкие выходки. Хотя Дашкова менее всех была задета им (именно только несколькими легкими замечаниями о стихах послания к слову *так*), однако и она, в угождение государыне, очень резко отозвалась о нем, насмехаясь более всего над его «превыспренным и премного длинным периодом», в котором автор «словами помыкает, нагоняя слово на слово, как ребята кнутами кубари посылают... Мне, простаку, кажется, что г. Любослов *средоточие* здравого рассудка потерял». Ниже увидим, как сама императрица полемизировала против Любослова, и чем особенно он навлек на себя ее неудовольствие.

Кто был этот Любослов? Из статьи и заметок его видно, что он был человек ученый, знал древние языки и стоял в уровень с требованиями тогдашнего филологического образования, хотя его рассуждения о признаках сравнительной древности языков и возбуждают в нынешнее время улыбку. Замечательны его довольно верные сведения о славянских народах. Указав на древность славянских языков, он обращает внимание на распространение их «от гор Альпийских до Восточного океана, от Дуная до Ледовитого моря»; затем он называет «россиян, поляков, болгар,

сербов, моравов, кроатов, чехов, славян, литву, вендов, показующих ясно, и коль силен и велик был народ славенский, то-ликие произведший поколения». Такой взгляд, в то время довольно редкий, заставляет предполагать, что автор этих строк знал о других славянских народах не понаслышке, а сам побывал на местах их жительств. Главным предметом его занятий была, однако, по-видимому, не филология, а естествознание или математика; на эту мысль наводит нас между прочим его замечание, «что знание вещественных наук превосходит красоту речей». Что Любослов (хотя и выдавал себя за «филолога») любил математику, можно заключить из характера метафор его, предполагающих знакомство с оптикой и астрономией.

В одном письме к императрице, писанном, вероятно, около середины декабря 1783 г., Дашкова говорит: «Я припоминаю теперь, что ваше величество третьего дня сказали мне, будто я рассердилась на Морозова, и так как из этого вы можете заключить о моем дурном расположении духа, то я должна объяснить вашему величеству всю правду. Я Морозова не знаю, и он почти одну меня щадил в своих критиках: из этого вы усмотрите, что я не имела причины на него сердиться и что мне напрасно приписывали это чувство». Так как тут речь идет о *критиках* (т. е. о нескольких критических статьях, а не об одной) и притом касавшихся разных лиц, то имя Морозова не может относиться ни к кому иному, кроме Любослова. Дашкову он действительно задел только раз и притом, как мы уже заметили, слегка. Не был ли это тот Иван Морозов, который в 1783 году служил в кабинете при собственных делах и у принятия прошений при Храповицком? Что ему не чужды были как словесные, так и естественные науки, видно из его двух переводов с немецкого: «Сокращение всех наук» и «Философическое рассуждение о перерождении животных» (оба изданы в 1780-х годах).

Если бы не сведение, почерпаемое из указанного письма Дашковой, то за Любослова можно бы принять Румовского, который, по свидетельству митрополита Евгения, поместил в «Собеседнике» несколько статей, между прочим, как можно полагать, напечатанную в 1-й книжке «Систему мира». Своею фразеологиею эта статья довольно близко подходит к «Начертанию» Любослова. Впрочем, против такого предположения можно бы еще выставить вопрос: вероятно ли, чтобы член обеих академий захотел стать в неприязненное отношение к журналу, к которому популярная между академиками председательница питала материнские чувства? Поэтому еще менее можно допустить высказанную одним уважаемым литератором догадку, что под именем Любослова скрывался Лепехин, который, по показанию Евгения, также участвовал в «Собеседнике».

Из других критиков этого журнала заслуживают быть упомянутыми: во-первых, кто-то назвавшийся «Невеждой, желающим приобрести просвещение» и поместивший в своих «сомнительных предложениях» между прочим несколько замечаний на стихи «Фелицы», во-вторых, граф Николай Петрович Румянцев.

Статейка Невежды была сообщена в рукописи Державину и напечатана в 4-й книжке «Собеседника» вместе с возражениями поэта. И нападение, и защита очень оригинальны. Критик между прочим осуждает стих:

Младой девицы чувства нежа.

Державин отвечает: «Ежели нет у г. Невежды прекрасной женщины, которая бы приятными своими объятиями нежила его осзание, то не благоволит ли он приказать себя кому хорошенько ожечь или высечь? Когда сие ему сделает хотя небольшую боль, то вероятнее всех ученых доказательств из собственного своего опыта познает он, что оскорблять чувства, следовательно и нежить, можно». Окончив свои замечания, критик жалеет, что, может быть, «помешал удовольствию, которое стихотворец от звука похвал вкушает». — «Не коротко зная сочинителя, — говорит Державин, — напрасно г. Невежда сожалеет об этом, ибо свеча его, как кажется, худо просвещает, а сочинитель человек сырой, спит всегда крепко и мало слушает похвал; то и не огорчается, если кто и вздумает пресекать оные. Ежели ж кто его и разбудит не дельно, то он, без всякого однако сердца, отзывается: поди, братец, со своими пустяками от меня прочь и не мешай мне спать».

Граф Румянцев, незадолго перед тем возвратившийся из-за границы, прислал письмо на имя «сочинителя о российской истории» (т. е. Екатерины II), напечатанное в 3-й книжке без подписи. Критик, употребляя особенный риторический прием, как будто порицает то, что составляет достоинство «Записок», и говорит между прочим: «Вам все кажется, чему поверить трудно, того в истории и писать не должно. Да нам-то что ж за забава читать лишь бытия простые и возможные?.. Вы и слоновые кости, в Сибири лежащие, не вопрошаете... вы предпочитаете сему описание нравов и обычаев; а больше всего, мне кажется, остерегаетесь витийства слога». Но Екатерине этот способ одобрения, по-видимому, не понравился; может быть, ее уколол слишком поучительный тон письма и некоторые чересчур фамильярные выражения. По крайней мере, она не отвечала на это письмо и выразили неодобрение его тем, что в следующей главе «Былей и небылиц» представила дедушку гневающимся на то, что в «Собеседнике», назначенном для очищения языка, пишут авторы, которые, «писав по-русски, думают на иностранном языке, ибо, читая по-русски, мысли и обороты иностранного языка нам, русакам, кажутся сунбур несносный». Надобно заметить, что Румянцев перед тем долго жил в чужих краях и некогда слушал лекции в Лейденском университете. Правда, что у него можно найти несколько галлицизмов; но нельзя вообще упрекать его в нерусском складе речи. Затем в 7-й книжке появилась еще статья того же автора: «Предисловие к истории Петра Великого» при письме к сочинителю «Былей и небылиц». Остроумное, в шуточном тоне написанное письмо тут же удо-

стоило такое же ответа. Что касается самого предисловия, которое составляет род похвального слова Петру Великому, то о нем упомянуто лишь вскользь без всякого отзыва, из чего можно заключить, что и оно, подобно прежнему письму, не понаравилось. Еще яснее видно это из того, что когда в 8-й книжке появился разбор «Предисловия» Румянцева, то Дашкова в одной записке к императрице заметила, что автор получил добрый урок. Причиной неудовольствия была, кажется, исключительная честь, возданная в статье Петру Великому, так что на долю его продолжательницы приходилось уж слишком мало: Екатерина названа его «порождением» и притом замечено, что дело «нашего гражданского положения» могло бы быть им самим уже довершено, если б тому не помешала многолетняя война. Зато и досталось Румянцеву: в «Прошении к издателям», в 8-й книжке, опять несправедливые нападки на язык его и положительная просьба «впредь таких сочинений не печатать». Еще резче выходки Дашковой против того же автора в 9-й книжке, в «Записках разносчика». Хотя Румянцев нигде не назван, но в обеих статьях очень прозрачные намеки на знатность и даже на графский титул критикуемого лица.

Таким образом, мы видим в «Собеседнике» совершенно особенное явление, чуждое нравам и обычаям нынешней журналистики: издатели печатают все доставляемые им, против них же направленные заметки, но затем сами же защищаются и полемизируют. Наконец, однако, в самой редакции произошел разлад: по выражению Екатерины в одном письме к Гримму, шутники или шуты (les bouffons) журнала рассорились с издателями, веселый сатирический характер в нем исчез, и это было началом падения «Собеседника».

5. Нарышкин и княгиня Дашкова

Под шутниками «Собеседника» императрица разумела преимущественно Льва Ал. Нарышкина, хотя он, собственно говоря, был ее же орудием в этом журнале. Нарышкину, по самому свойству его ума и характера, многое должно было казаться смешным в личности княгини Дашковой, этого, на его взгляд, «академика в цепце». Мы не знаем, по каким причинам государыня уже в 5-й книжке (вышедшей 16-го сентября) заявила, что она намерена прекратить «Были и небылицы», так как дедушка уехал в деревню, друг ИИИ отправился в полк, друг ААА послан за масонскими делами в Швецию (намек на связь русских масонов со стокгольмскими), да и сам автор думает удалиться. Вследствие такого прискорбного заявления один из издателей (конечно, никто другой как Дашкова) в той же книжке упрашивает автора «Былей и небылиц» пощадить «Собеседник», которого, в случае их отсутствия, уже ни раскупать, ни читать не станут. В следующей книжке явилось письмо к издателям, писанное, очевидно, тем же пером и в том же духе, но в другой

форме, т. е. «Были и небылицы» как будто осуждаются за то, что в них нет риторических общих мест и метафор, нет нравоведения и ученых рассуждений, нет ни иносказаний, ни громкого высокого слога.

Это письмо, по-видимому, произвело на государыню неприятное впечатление; в 7-й книжке (вышедшей 28-го октября) явился сатирический ответ, подписанный «Каноник, известный покровитель «Былей и небылиц», член общества незнающих, которого принятая надпись есть Ignoranti Vambinelli... обыкновенная же надпись текущим делам слово *мимо*».

От княгини Дашковой не могло укрыться, что Каноником был Нарышкин; ей нетрудно было понять, что под обществом незнающих разумелась только что основанная Российская академия, а может быть и Академия наук. Содержание же ответа было очень колко и кончалось следующей недвусмысленною фразой: «Сожалетельно, конечно, что не всякому врачу разбирательство болезни повинуется: аще который примется, не узнав где, как, к чему и для чего, тот со всею прилежностью ошибкам подвержен быть может; из сего следует неминуемо, что не должно решительно располагать ни о чем, что не совершенно кому известно и не судить ближнего своего, не зная его ни с лица, ни с бока, ни с тыла и пр., и пр., и прочее». Не надо упускать из виду, что Нарышкин не мог перенести равнодушно 14-го вопроса Фонвизина и должен был чувствовать некоторое раздражение и против автора его, и против Дашковой. Действительно, в письме, откуда извлечено приведенное место, есть указание на то. «До метафор, — говорит Каноник, — по совести сказать, я не чрезмерный охотник с того времени, как я слышал от соседа моего, как шуты, шпыни и балагуры оными, аки ша-ром, играют».

К объяснению отношений между Нарышкиным и Дашковой служит одно свидетельство Державина. Он рассказывает, что «Были и небылицы» писались императрицею в собрании многих приближенных, которое для шутки называлось *палатою с чутьем* и в котором участвовала также княгиня Дашкова. Она была у государыни каждый день после обеда от 4 часов до 7 и этим вошла в большую силу. Между тем при открытии Российской академии она как президент этого учреждения произнесла речь (по словам Державина, кем-то другим сочиненную), и Екатерина в собрании названной палаты позволила Нарышкину представить отсутствовавшую княгиню в карикатуре, смешным голосом и с шутковскими ужимками. Княгиня рассердилась и всех разбранила. Нарышкин вместе с графом И. Г. Чернышевым поднял на смех и это. С тех пор императрица заперла княгине Дашковой двери на послеобеденные литературные беседы и оставила за нею только право являться по воскресеньям для доклада; вместе с тем, однако, пожаловала ей 25.000 руб. на постройку дачи, чтобы ей было чем после обеда заниматься. Вследствие того «Собеседник» стал упадать: императрица перестала участвовать в нем, потому что все присланное ею княгиня,

желая блеснуть умом, критиковала, переправляла и даже шутила насчет сочинительницы в присутствии не только многих соотечественников, но и иностранцев. В этом свидетельстве Державина есть неточности и преувеличения; но в основании оно справедливо. Доказательством тому служит напечатанная в 8-й книжке «Общества незнающих ежедневная записка», статейка, подписанная «Скрепил известный Каноник». *Записками* называла свои протоколы вновь учрежденная Российская академия. Из первых слов заглавия видно, как именно называлось шуточное собрание, едва ли в самом деле имевшее место, но предпологавшееся в комнатах императрицы. Это название, которое на стене было написано крупными буквами по-итальянски, Ignoranti Vambinelli, объясняется в самой статье одним из определений общества: «Предписывается отказать прием тому, кто не учась или учась не умеет выговорить слово *не знаю*; наипаче знающим все, и о всем в длину и поперек безумолкно рассуждающим, равномерно и тем, кои ближнему своему не дают выговорить ни слова». Мы здесь встречаемся с одной из любимых мыслей Екатерины, которую она не раз выражала и при других случаях; напр., по свидетельству графа Сегюра, она говорила ему: «Как жаль мне этих бедных ученых! Они никогда не смеют произнести двух самых простых слов: *не знаю*, которые для нас, простых невежд, так легки» и т. д. Согласно с этим взглядом Екатерины II и Державин в «Фелице» говорит об «ученых невеждах», которые нам

Как мгла у путников тмят вежды.

Что касается *палаты с чутьем*, упомянутой Державиным в приведенном выше свидетельстве, то в пасквиле Каноника, о котором речь идет, есть такое определение: «Собрание разделить на две палаты. Первая имеет слыться палата с чутьем, вторая — без чутья. Члены будут переходить по временам, как более или менее окажут способности, из одной палаты в другую». Около того же времени императрица, в своей переписке с Гриммом, несколько раз упоминая о «Собеседнике» как весьма забавном журнале, говорит: «Чтобы позабавить вас, мне бы хотелось послать вам в переводе некоторые шутки этого пестрого журнала: между прочим там является общество незнающих, разделенное на две палаты: одна с чутьем (так называется обоняние охотничьих собак), другая — без чутья. Эти две палаты судят обо всем вкривь и вкось; вторая решает по здравому смыслу дел, который первая ей представляет; все это ведется так серьезно и официально, что читатель помирает со смеху, и тут есть выражения, которые останутся поговорками».

Вся статья содержит в себе описание заседаний общества незнающих; здесь делаются самые пустые предложения, теряется время в нелепых рассуждениях или молчании, а решения по большей части заключаются в одном словечке: мимо. Без всякого толку члены переводятся из одной палаты в другую. Поста-

новляются правила приема сочинений и избрания членов, причем как необходимое условие требуется в члене веселость нрава; поэтому единодушно приняты сочинения известного Каноника, которые, как сущий клад, хранятся в архиве общества. Наконец, тут не забыт и Любослов, выражения которого осмеиваются на нескольких страницах. Одну из главных принадлежностей этой пародии академических протоколов составляют, так же как в «Былях и небылицах», примечания и NB, которые императрица не раз рекомендовала и Гримму как заслуживающие подражания. Что вся статья принадлежала перу самой Екатерины, в этом, кроме внутренних доказательств, убеждает и то, что дошедшая до нас часть рукописи *ежедневной записки* писана рукою императрицы.

Княгиня Дашкова не могла не оскорбиться и при первом же свидании с Нарышкиным выразила ему свое неудовольствие. Произошли недоразумения, которым не осталась чужда сама государыня. В середине ноября, за несколько дней до выхода 8-й книжки, она особою запиской потребовала у княгини обратно продолжение своих «Былей и небылиц» и все то, что было послано в журнал, но еще не напечатано. Исполняя волю императрицы, Дашкова умоляла ее по-прежнему печатать в «Собеседнике» названное сочинение и прислать статьи Каноника: «Я их напечатаю с большим удовольствием; я в отчаянии, что, повидимому, дурно выразилась, ибо уверяю вас, что только после того, как сам г. Каноник два раза со мною объяснялся о них, я не могла удержаться, чтоб не дать ему совета, который должен быть известен всякому вступающему на литературное поприще». Но напрасно Дашкова несколько раз возобновляла свою просьбу возвратить ей взятые рукописи и приказать доставить продолжение протоколов Каноника; напрасно она писала: «Я никогда не считала этого серьезным: ваше величество можете припомнить, что в продолжение трех недель, когда доходили до меня слухи о мнении публики, что над возникающею академией насмеются, я не только не обращала на то внимания, но сама шутила и диктовала Канонику...» В «Собеседнике» есть, однако, явное доказательство тому, что Дашкова немедленно по напечатании пародии Каноника позволила себе маленькое мщенье, и орудие к тому доставил ей Державин: нельзя, без сомнения, считать случайностью, что вслед за подписью Каноника, на той же странице, напечатана, конечно, без означения под нею имени автора, басня «Заслуги свои часто измеряем мы несправедливо», о которой было уже упомянуто выше в связи с 14-м вопросом Фонвизина.

Понятно, к кому издательница относил употребленное в этих стихах название шута. Действие басни хотела она смягчить приписанным к ней в прозе нравоучением, «что самолюбие наше употребляет разные весы, когда свои или чужие достоинства мы весим»; но тем не менее смысл басни был очень ясен и приложение ее легко.

Екатерина вполне понимала, чего лишается «Собеседник» с прекращением ее шутивных статей. Вот что она писала на этот счет Гримму: «Я нахожу, что вы прекрасно пользуетесь примечаниями и NB петербургского ералашного журнала. Как бы вы хохотали за чтением разных в нем пустяков; но теперь он уж не будет так хорош, потому что шутники этого журнала рассорились с издателями; но последние останутся в проигрыше: журналом не могли нахвалиться и город, и двор».



Е. Р. Дашкова.

Однако, чтобы не вполне лишить «Собеседника» своего сотрудничества, императрица продолжала в каждой книжке его помещать свои «Записки касательно российской истории». Как ни высоко ценила она это сочинение, от нее не могло укрыться, что не ему журнал княгини Дашковой преимущественно был обязан своим успехом. Содержа большею частью сухие выписки из летописей, «Записки» не могли привлекать читателей и спасти журнал от быстрого падения. После 8-й книжки, где в последний раз явились «Были и небылицы» (вместе с протоколами Каноника), «Собеседник» кое-как продержался только полгода.

С июня 1784 г. он перестал выходить регулярно; в этом самом месяце последовала кончина Ланского, повергшая Екатерину в глубокую печаль, и продолжительный перерыв в издании «Собеседника» мог быть в прямой зависимости от этого события. Княгиня Дашкова, конечно, ждала продолжения «Записок по русской истории», но не дождалась их, и наконец, не прежде сентября 1784 г., выпустила в свет последнюю, 16-ю книжку «Собеседника» с неоконченной статьей Козодавлева о причинах возвышения и упадка этого журнала. В этой книжке рассказаны только причины его возвышения; «Собеседник» умер, не успев даже досказать своей автобиографии. Да и как объяснил бы Козодавлев перед публикой разлад в среде редакции, бывший виною гибели издания? как прошел бы он невредимо между Сциллой и Харибдой?

6. Дальнейшее участие Державина в «Собеседнике»

В «Собеседнике» напечатано шестнадцать пьес Державина, но из них только пять совершенно новых (если не считать еще трех мелочей): остальные явились уже прежде в «С.-Петербургском вестнике». Перепечатка их служит доказательством, что они до тех пор были известны немногим. Теперь только они обратили на Державина общее внимание; некоторые из них, «К соседу моему Г.», «На смерть кн. Мещерского», «На рождение в Севере порфирородного отрока», «Ключ», принадлежат к числу самых удачных и впоследствии самых знаменитых его произведений. Новые его оды были: «Фелица», «Благодарность Фелице», «Решемыслу», «На присоединение Крыма» и ода «Бог». Из них первая и последняя наиболее утвердили его славу.

«Фелица» разом поставила его так высоко в мнении двора и публики, что уже во 2-ой книжке «Собеседника» Любослов, критикуя некоторые его выражения, заметил: «Впрочем, соблюдаю глубокое почтение к прекрасным сочинениям сего знаменитого стихотворца». В 3-й книжке, в письме к издателям («Искреннее сожаление об участи гг. издателей «Собеседника»), между прочим говорится: «Продолжайте ободрять искусное и приятное перо арабского переводчика» (намека на слова в заглавии «Фелицы»). С этой же книжки начинается появление стихов с похвалами Державину; причем, впрочем, следует заметить, что стихотворцы большею частью пользовались только его именем, чтобы хвалить самую Фелицу, т. е. не оду, а предмет ее. Тут напечатан посвященный ему плохой сонет какого-то В. Жукова. В сентябрьской книжке Марья Вас. Сушкова (сестра Храповицких) поместила, за подписью М. С., «Послание китаюца к татарскому мурзе», в стихах же. Ноябрьская книжка открывается посланием Козодавлева (О. К.) «К татарскому мурзе», где в шуточном тоне стихотворец упрекает Державина за то, что он перестал петь «Фелицу»:

Тот ангел во плоти, которого ты пел,
Уж множество еще наделал добрых дел
Для пользы своего любимого народа...

Затем исчисляются эти дела.

Здесь, так же как и в «Челобитной» Фонвизина, задет князь Вяземский:

Иль, может быть, тебя невежды уверяют,
Что люди дельные стихов не сочиняют,
Что люди с разумом не любят их читать
И, словом, что стихи постыдно сочинять.
Невежды обо всем так мыслят справедливо,
Как мнение слепцов о красках есть нелживо.
О стихотворстве мысль оттуда их идет,
Где в вечной мрачности невежество живет.

За этим следует «замечательное по поэтическому представлению предмета» описание храма Невежества. В заключение Козодавлев говорит:

Не слушай ты невежд, возмись опять за лиру:

Младой и слабый стих того не изъяснит,
Каким усердием мой дух во мне горит,
А ты, драгой мурза, так славись стихами,
Что Музы, кажется, их сочиняли сами.

Наконец и Ермил Костров в том же тоне обратился к автору «Фелицы».

Кроме того, о Державине упоминалось мимоходом и в других стихотворениях. Так в послании «К другу моему» говорилось:

Мурза в стихах своих к Фелице
Одну лишь истину писал:
Не льстя премудрой сей царице,
Что сделала она, сказал —
И звуки правды раздалися,
И нежны слезы полилися
У всех из радостных очей...

В «письме» к Ломоносову Козодавлев, который в то время, по поручению Дашковой, печатал его сочинения, рассказывает великому человеку, что делается на Руси после него, причем, разумеется, главная цель опять — восхвалить Екатерину. Потом указывается место, которое займет Державин в области нашей поэзии:

Из новых здесь творцов, последователь твой,
Любимец Муз и друг нелицемерный мой,
Российской восхитясь премудрою царицей,
Назвав себя мурзой, ее назвав Фелицей,

На верх Парнаса нам путь новый проложил,
 Великие дела достойно восхвалил.
 Но он, к несчастью, работает лениво.
 Я сам к нему писал стихами так учтиво,
 Что, кажется, нельзя на то не отвечать,
 Но и теперь еще изволит он молчать.

Впрочем, мы уже видели, что Державин не избег и некоторых нападок со стороны тех критиков, которые решились воспользоваться приглашением издателей «Собеседника» к сообщению своих замечаний на то, что помещалось в журнале. Сначала Любослов, а потом кто-то назвавший себя Невеждою указали в «Фелице» некоторые, по мнению их, неудачные выражения. Замечания последнего были обстоятельнее и серьезнее поправок первого, но поэт сумел отразить нападение: Добролюбов замечает, что «опровержения Державина оставили автора критики совершенно в дураках».

После оды «Фелица» первым новым стихотворением Державина в «Собеседнике» была «Благодарность Фелице», замечательная поэтическими картинками природы. Здесь он как будто отвечает тем, которые упрекали его, зачем он не продолжает писать в похвалу Екатерины. Любопытен взгляд самого Державина на новую его оду. «Автор думает, — говорит он, — что не первая ли она в российской поэзии, где натура не токмо в картинах, но и в ее колоритах изображена, как то: белый ковыль, подобный льну пушистому, колеблется в степях и волнуется, как море; небо в жаркий день блещет подобно янтарию; выются попутным ветром флаги и за кораблем протягается серебряная гряда и т. п. Что же касается до того изложения, где автор говорит: «когда от бремя дел случится свободный час иметь, тогда он будет воспевать свою героиню», сие относится единственно к тому, что князь Вяземский почитал ленивыми и неспособными заниматься своею должностью тех, кои упражнялись в поэзии, в чем от него даже императрица предубеждена была, ибо хотя любила авторство, но не писала и не могла писать стихов. А потому-то автор, служа в статской службе, употребил все свои усилия в доказательство, что несправедливо такое заключение: ибо, имея истинные способности, можно в том и другом преуспеть, если кто только захочет пожертвовать сим трудом, и напротив, кажется, голова поэта более удобна на избрание каких-либо новых постановлений».

Но гораздо более значения имела другая ода, написанная Державиным с целью выразить государыне свою благодарность и вместе ответить на толки, которые распространяли о нем люди, им задеты в «Фелице», и вообще его недоброжелатели или завистники. Выше было уже замечено, что он удостоился чести быть представленным императрице. Под впечатлением этой минуты он тогда же набросал несколько стихов, но отказался от продолжения их и 9-го мая начал свое «Видение мурзы». Для характеристики тогдашнего настроения поэта и взгляда его на

собственное свое отношение к Екатерине и к обществу драгоценен сохранившийся в его бумагах первоначальный эскиз этой оды, написанный им сперва стихами, а потом прозой, в сильном увлечении. Здесь он особенно оправдывается от упрека в лести. По-видимому, до Державина дошло, что его перед самую государыней обвиняли в неискренности похвал. Екатерина, явившись перед ним в том самом образе, в каком она представлена на знаменитой картине Левицкого, говорит ему между прочим:

Когда
 Поэзия не сумасбродство,
 Но вышний дар богов, тогда
 Сей дар — богов лишь к чести
 И к поученью их путей
 Быть должен обращен, — не к лести
 И тленной похвале людей.
 Владыки света — люди те же;
 В них страсти, хоть на них венцы;
 Яд лести их вредит не реже,
 А где поэты не льстецы?..

Для полного уразумения этой оды необходимо припомнить сказанное выше о слухах, доходивших до автора относительно приема Екатериною «Фелицы»: императрица в глазах двора подавала вид, что ее не трогали похвалы поэта, как будто отзывавшиеся лестью. Тревожное чувство, возбужденное в Державине такими слухами, и внушило ему помянутый эскиз, тем более замечательный, что он написан с полною искренностью самым безыскусственным, даже простонародным языком. Эта исповедь Державина показывает нам, что он вовсе не безотчетно воспевал Екатерину и некоторых из деятелей ее царствования, что он серьезно вдумывался в то, что делал как поэт. Здесь он определенно высказывает, что именно сам понимает под лестью, и отдает отчет в том невольном восторге, в какой его давно приводили дела Екатерины. «Твой просвещенный ум и великое сердце, — говорит он, — снимают с нас узы рабства, возвышают наши души, дают нам понимать драгоценность свободы, столь свойственной существу разумному, каков есть человек, на что мы, уповая, чувствуем свое счастье и в удовольствии сердца своего мыслим, делаем и говорим смело про себя и про тебя все то, что хотим, что пристойно гражданину, сообразующему волю свою с законами. Мы ныне, например, смеем говорить, что хотим или не хотим ехать на комедию, на бал и в маскарад,¹ будем и не будем там до утра, можем не плясать и плясать, играть и не играть, пить и не пить для твоего удовольствия. Ты не желаешь также, чтоб мы толкали друг друга по носкам, для того чтоб тебя потешить, чтоб тебя повеселить». — Любопытны далее сле-

¹ Намек на то, что в царствование Елизаветы Петровны в театр являлись по приказанию, под опасением строгого взыскания за отсутствие.

дующие строки этого эскиза: «Ты меня и в глаза еще не знала, и про имя мое слыхом не слыхала, когда я, плененный твоими добродетелями, как дурак какой, при наименовании имени твоего от удовольствия душевного плакал и, будучи приведен в восторг, в похвалу твою разные марал стихи, которых бы, может быть, были достаточные уже стопы на завертку в щепетильном ряду товаров, ежели б я их не драл и не сжигал в печи... Судьба бросила в мешочек два жребия и стала мешочек трясть: один жребий выдался тебе, богоподобная царевна, чтоб царствовать и удивлять вселенную, а другой мне, чтоб воспевать тебя и дела твои шуточными моими татарскими песнями. А как в противность судеб ничего не делается, то, следуя моему жребию, и стал я нечувствительно певцом твоим. Но, правду сказать, ежели б не для тебя, то не хотелось бы мне быть и ныне в числе шайки стихотворцев, которых я, а особливо похвальных од подносителей, почитаю подобными нищим, сидящим с простертыми руками и ковшичками на мостах и воспевающими богатырей, которых они мало или вовсе не знают».

Прозаическая часть эскиза не вошла, однако, в «Видение мурзы». Поэт удовольствовался одними самыми крупными чертами своего первоначального плана. Ода эта долго лежала в его портфеле: большая часть ее была написана в 1783 году, последние же стихи только через много лет, перед напечатанием оды. Она явилась в первый раз в 1-й книжке «Московского журнала» Карамзина на 1791 год. И. И. Дмитриев, который незадолго перед тем познакомился с Державиным, говорит, что она тогда (1790 г.) еще не была кончена. Как высоко ее ценили, доказывает тот, что она в том же году была перепечатана Дашковой в «Новых ежемесячных сочинениях», а в 1792 г. была издана отдельно.

Чтобы русский журнал, проходивший притом через руки императрицы, вовсе не упоминал о Потемкине, не могло бы не казаться странным, и потому Дашкова не раз просила Державина написать что-нибудь в похвалу всемогущего временщика. В октябрьской книжке «Собеседника» явилась вследствие этого его ода «Решемыслу». Как внешним поводом к «Фелице» послужила сказка о царевиче Хлоре, так, в параллель этой оде, стихи в честь Потемкина были в связи со сказкою о царевиче Февее (под именем которого опять разумелся великий князь Александр), где описывается мудрое воспитание и успешное развитие в разуме и смиренномудрии молодого Февея от детства до женитьбы. В этой сказке Потемкин является под именем Решемысла, чем Державин и воспользовался для новой своей оды. Сказка о Февее написана под влиянием того внимания, которое в тогдашней литературе вообще обращалось на Китай. Решемысл был ближний вельможа происходившего отсюда сибирского царя Тао-ау, супруга которого ездила на златорогих оленях и одевалась соболиными одеялами. Как вообще в своих литературных трудах, так и здесь императрица почерпает многие черты из своих собственных воспоминаний; в быте изнеженной китайской царицы она представила образ жизни покойной своей тетки Елизаветы

Петровны, как видно из сравнения сказки с некоторыми подробностями в записках Екатерины II. В сказке о Февее боярин Решемысл привел к своей хворой царице врача, по совету которого она переменила образ жизни и так поправилась в здоровье, что у нее даже родился сын, прозванный Февеем, т. е. красным солнышком (по имени Феба). Всеми этими чертами ловко воспользовался Державин, чтобы в шуточном тоне изобразить идеал вельможи в лице Решемысла, —

Великого вельможи смысла,
Наперсника царицы сей,
Которая сама трудится
Для блага области своей
И спать в полудни не ложится...

Нарисовав образ справедливого, благотворительного и мужественного сановника в общих чертах, Державин явно намекает на Потемкина двумя стихами:

Он вольность пленникам дарит,
Героям шьет коты да шубы;

а затем в последней строфе оговаривается:

Но, Муза! вижу ты лукава...

В 11-ой книжке «Собеседника» прочли оду на присоединение Крыма, написанную белыми стихами, что тогда было у нас так ново и смело, что Державин счел нужным присоединить к оде оправдательную заметку. Стихи начинаются ярко картиной летящего с Днепра к Петрополю Мира. Во второй строфе матери и жены, «не слыша громового треска» и видя, однако, возвращение в свой дом героев, с удивлением спрашивают их: как это случилось? какой бог, какой друг человечества «бескровным увенчал их лавром?»

Далее воздана честь как миролюбию Екатерины, так и искусству Безбородки:

...трость,
Водимая умом обширным,
Бессмертной пальмой обвилась.

Замечательно, что хотя этот вельможа был первым и главным покровителем Державина, однако поэт не посвятил ему ни одной цельной оды, ограничиваясь тем, что только мимоходом, при случае, выражал ему свою благодарность. Так в пьесе «Приглашение к обеду», относящейся к 1795 году, он говорит между прочим:

Приди, мой благодетель давний,
Творец чрез двадцать лет добра!

В оде на присоединение Крыма нельзя пропустить без внимания еще мысль об изгнании турок из Европы. Перед громом русского флота —

Магмет, от ужаса бледнея,
Заносит из Европы ногу,
И возрастает Константин!..

В 13-ой книжке «Собеседника» явилась ода «Бог», которую Державин достиг апогея своей славы. К этой оде относится любопытная биографическая подробность. Ода «Бог» была начата поэтом еще в 1780 году в Светлое Христово воскресенье, по возвращении от заутрени; но служба и столичные развлечения долго не давали ему снова приняться за нее. Выйдя в отставку в феврале 1784 года, он решился, для окончания этой оды, на короткое время уединиться. Сказав жене, что едет в свое белорусское имение, которого еще не видал, он остановился в Нарве и там нанял себе на несколько дней у старушки-немки маленькую комнату. Там и отделана им большая часть оды. Запершись, он писал несколько дней. Доказательством, как воображение его было разгорячено, может служить рассказ его об окончании оды: не дописав последней строфы, уже ночью, он заснул перед зарею; вдруг ему показалось, что кругом по стенам бегают яркие свет; слезы ручьями полились у него из глаз; он встал и при свете лампы разом написал последнюю строфу.

В то время духовная поэзия была в ходу по всей Европе; почти каждый поэт посвящал хоть одну оду восхвалению величия Божия; в большей части тогдашних русских журналов можно найти то оригинальные, то переводные стихи подобного содержания. Естественно, что и Державин, сознавая свой поэтический талант, хотел испробовать его на этой теме. Притом у него из самого раннего детства было одно воспоминание, по которому он считал себя особенно призванным к выполнению такой задачи: мать ему рассказывала, что на другой год после его рождения была комета, и что, глядя на нее, он произнес первое свое слово: Бог. Успех оды превзошел все его ожидания; она производила общий восторг, выучивалась наизусть, перепечатывалась не раз отдельно до издания в собрании его сочинений, переводилась на разные языки и более всех других его стихотворений способствовала к доставлению ему европейской известности. Действительно, беспристрастная критика не может не признать за эту одой неотъемлемых достоинств: кроме блестящих картин природы и возвышенных мыслей, она замечательна лирическим воодушевлением и искренностью, которые резко отличают ее от большей части произведений этого рода на других языках. В ней нет ничего лишнего: поэт прямо стремится к своей цели, и потому эта ода поражает быстротою движения, сжатостью и выдержанностью, чего именно недостает другим стихотворениям того же рода. Державину ставили иногда в вину заимствования, которые здесь находили, называли оду «Бог» подражанием; но,

по нашему мнению, совершенно несправедливо: правда, в ней есть мысли, встречаемые у Юнга, у Галлера, у Клопштока; но такого рода бессознательные заимствования или невольные воспоминания есть у всех поэтов и составляют неизбежное последствие их чтений; сущность пьесы заключается в настроении поэта, в общем содержании, в главных мыслях его, а не в некоторых отдельных второстепенных чертах, рассеянных в художественном создании.

Одою «Бог», если не считать коротенькой эпитафии «Мудрецу нынешнего века», напечатанной в 15 книжке, кончилось сотрудничество Державина в «Собеседнике», начавшееся «Фелицею». Поэт вышел из этого периода своей литературной жизни с громкою известностью, которая могла вполне удовлетворить и самому пылкому славолюбию, и, несмотря на испытанную в службе неудачу, занял видное общественное положение. Ода «Бог» с 13-ю книжкою явилась 28-го апреля, а менее чем через месяц, 22-го мая 1784 г., он был назначен правителем Олонецкого наместничества.

7. Член Российской академии

Было уже показано, что план основания Российской академии был только дальнейшим развитием той же мысли, которая породила «Собеседник», — желания содействовать успехам языка и литературы. Может быть, самая полемика, возникшая в «Собеседнике» вследствие замечаний Любослова о языке сотрудников, а также печатавшиеся в нем Фонвизиним сословы (синонимы) окончательно убедили издательницу в необходимости грамматики и словаря, а средством создать их и в то же время оживить литературу образцами сочинений представилась Дашковой особая академия вроде французской.

При самом учреждении Российской академии в 1783 году Державин, уже знаменитый поэт, включен был в число тех 34 лиц, которые в первом же заседании, 21-го октября, были избраны в члены. В списке их он стоит 19-ым и назван: «первой экспедиции государственных доходов член, статский советник». Сначала, после председательницы, идут высшие духовные чины, потом гражданские сановники, а за ними писатели; Державин помещен после Фонвизина и Н. В. Леонтьева (баснописца), перед Барсовым и Н. А. Львовым. Выше всех их, по своему положению в службе, между П. В. Бакуниным и П. И. Турчаниновым, поставлен Херасков. В протоколах Российской академии за первое время ее существования мы несколько раз встречаем, в числе присутствующих, имя Державина. Известно, что уже через месяц после своего открытия, академия приступила к составлению русского словаря. Чтобы правильно вести это дело, академики составили из себя три отдела: *грамматикальный* для грамматических пояснений; *объяснительный*, который принял на себя определение слов, и *издательный*, долженствовавший

заботиться вообще о распоряжениях по изданию. К последнему отделу причислен был и Державин. Потом, при распределении между членами собрания слов и расположения их в азбучном порядке, ему поручена была буква Т, и он исполнил эту работу с удивительной скоростью: уже в заседании 16-го декабря того же года академии сообщены были собранные им слова.

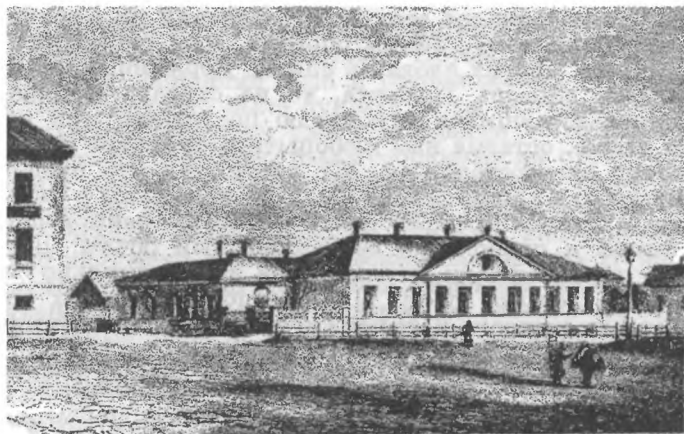
Черновой список их, писанный собственно его рукой, сохранился между его бумагами в особой тетради. Всех слов тут 1198, — гораздо более, нежели сколько впоследствии действительно включено в академический словарь на ту же букву. Это объясняется тем, что Державин записывал между прочим и собственные имена народов, которые в словарь не приняты, также областные слова и заимствованные из иностранных языков, допущенные академиею с большими ограничениями; кроме того, он отмечал некоторые слова в двойной форме, напр., *тот* и *тем*, *трудить* и *тружу*, *тратить* и *трачу*. Вообще он понимал задачу словаря шире, нежели академия, и более держался правил Болтина, изложенных в его «примечаниях», которые были разосланы членам вместе с программю, или «начертанием» для составления толкового словаря словено-русского языка». На полях экземпляра программы, доставленного Державину, есть несколько заметок его руки, заслуживающих внимания. Так в начертании было между прочим определено: «Провинциальные, неизвестные в столицах речения не должны иметь в словаре места». Против этого Державин заметил: «Кажется, и провинциальные слова, которые имеют выговор хороший (не противны слуху, сказали бы мы нынче) и выражение смысла точное, не мешают». Руководствуясь этим взглядом, он действительно занес в свой список некоторые провинциализмы, напр., слышанное им по средней Волге слово *тоуришь* (напрягать, плять), которое и употребил потом в первой редакции своей оды «На приобретение Крыма». Против правила о грамматических обозначениях имен поэт приписал: «Мужское или женское имя, например: *степень* какого рода?» В программе, далее, было правило: «Нужно упомянуть, что в словено-русском языке есть слова совершенно между собою в наименовании сходствующие, но в разных слогах употребляются, напр., *чело*, *лоб*; *око*, *глаз*; *щека*, *ланита*». Державин с замечательным для того времени пониманием возразил: «Сие суть не сословы, а слова двух языков».

Вместе с помянутым «начертанием» академикам разослано было особое наставление — «способ, коим работа толкового словаря скорее и удобнее производиться может». Из этого наставления видно, что главные труды по изготовлению словаря возлагались на пятнадцать академиков, причем, однако, и остальные приглашались к участию. Тут же указаны материалы, именно прежние лексикальные пособия, частью печатные, частью рукописные, и в числе последних «труд покойного Тауберта и словарь Кондратовича». — «Собрание сих материалов, — сказано далее, — должно быть разделено поровну на 15 частей и отдано по одной части на каждого из помянутых 15 особ для выписы-

вания из сих материалов всех слов и речений по алфавиту аналогическим порядком». Таким образом, нам становится понятно, почему при многих словах в списке Державина мы находим ссылки то на словарь Тауберта, то на словарь Кондратовича. Шлёцер, пользовавшийся рукописью последнего при изучении русского языка, оставил нам любопытное описание ее: при формате in-folio она состояла из 781 листа, так что представляла кипу вышиною в аршин; слова были расположены в ней по производству с латинским переводом и написаны неимоверно разгони́сто, отчего и происходил ее безобразный объем. Державин, как видно из его тетради, ограничился исключительно составлением списка слов (на букву Т). Труд пополнения их определениями смысла каждого и грамматическими обозначениями был не по нем. Ему недоставало на это не только нужных познаний и терпения, но и досуга при тогдашних обстоятельствах его жизни.

В рукописях Державина есть еще свидетельство его участия в занятиях Российской академии. В 1784 году в ней возник вопрос: писать ли *з* или *с* в предлогах *из*, *воз*, *раз* и т. п., когда они употребляются слитно с другими словами перед известными буквами. Члены приглашены были сообщить письменно свои мнения по этому спорному предмету. Уцелевшая черновая записка о том Державина начинается так: «Кажется мне, при всех этих предлогах надлежит держаться правописания церковного, потому что оно от коренного словенского языка происходит и что, отдаляясь от него, вводят новизны, без коих обойтись можно». Далее он рассматривает образование и произношение звуков, причем, конечно, впадает в ошибки и недоразумения, которые были неизбежны при общем в то время состоянии языкознания, а тем более при совершенно недостаточной в этом деле подготовке Державина.





Глава XI

Губернатор в Петрозаводске и Тамбове

(1784 — 1788)

1. Назначение олонечким губернатором. Отпуск

Еще до оставления службы при князе Вяземском Державин мечтал о губернаторстве, особенно на своей родине, в Казанской губернии. Был слух, что занимавший там эту должность генерал-майор Иван Андреевич Татищев выходит в отставку, и Державин метил на его место, вероятно, обнадеженный Безбородкой, что будет рекомендован на первую губернаторскую вакансию. Но сам он все еще не получал увольнения и в начале 1784 года жаловался в письме ко Львову, что Вяземский не выпускает от себя доклада. «Итак, — говорил он, — я стал как рак на мели — ни в службе, ни в отставке». Наконец, 15-го февраля, он был уволен с чином действительного статского советника, а 22-го мая последовал указ: «Всемиловитейше повелеваем действительному статскому советнику Державину отправлять должность правителя Олонечкого наместничества».

Назначение *позта*, гонимого Вяземским, в губернаторы было знаменательно: оно доказывало, что императрица, несмотря на силу генерал-прокурора в делах его обширного и сложного ведомства, не подчинялась его влиянию в вопросах, до него не касавшихся. Напечатанная в «Собеседнике» челобитная Фонвизина от имени русских писателей о притеснении их вельможами

не осталась без действия. Екатерина, будучи сама писательницей, очень хорошо понимала, что литературный талант сам по себе не может мешать служебной или общественной деятельности. При рассмотрении жизни Державина естественно представляется вопрос: может ли поэт, вообще литератор, быть годным чиновником или государственным человеком? Вопрос этот на практике разрешен в положительном смысле многими замечательными деятелями. Не говоря о некоторых примерах тому, бывших у нас в России, напр., Кантемире, Дмитриеве, графе Уварове, припомним Гизо, Тьера, лорда Брума, В. Гумбольдта или др. Тем не менее предубеждение против способности литераторов и ученых к служебным делам довольно обыкновенно, и сама Екатерина — живое опровержение этого взгляда, — однажды высказалась против министров-литераторов; впрочем, надо заметить, что она говорила это под влиянием нерасположения к Неккеру и Герцбергу. На вопрос, о котором речь идет, нельзя, кажется, безусловно отвечать ни *да* ни *нет*. Прежде всего спрашивается, в какой мере данное лицо посвящает свою деятельность литературе или науке. Само собою разумеется, что тот, кто в них полагает свою исключительную задачу, не должен вступать на служебное поприще. Нельзя не согласиться, что государство мало выиграло бы, если бы Карамзин принял пост министра, или если бы Пушкин прилежно занимался по своей должности в министерстве иностранных дел. Но весьма ошибочна выражаемая часто мысль, будто литератор потому не годен для службы, что лишен того практического смысла, той сообразительности и проницательности, которые необходимы для служебных и особенно административных обязанностей. Способности человеческие во всех званиях весьма разнородны, и, конечно, в числе людей, посвятивших себя науке или литературе, многие обладают означенными условиями даже в высшей степени, нежели те, которые, по тем или другим побуждениям избрав служебную карьеру, считают себя привилегированными носителями административных и всяких государственных способностей. Между тем в этих-то именно деятелях часто и оказывается либо отсутствие нужных для занимаемой должности качеств ума и характера, либо недостаток сведений, и притом не только специальных (каких у нас покада большею частью и не требуется), но относящихся к общечеловеческому образованию. А так как к расширению познаний особенно способствуют ученые и литературные занятия, то выходит, что человек, вращающийся в этом круге деятельности имеет, в отношении к сведениям, положительное преимущество перед тем, чей умственный горизонт ограничен однообразною областью дел известного рода.

Императрица Екатерина не считала поэтический талант помехою для отправления губернаторских обязанностей и, уважив ходатайство Дашковой, Безбородки и Воронцова, не усомнилась поручить управление губернией автору «Фелицы» и оды «Бог». И он оправдал это доверие в том отношении, что весь отдался заботам новой должности, надолго принеся в жертву службе

свое дарование. Что Державин оказался неудобным на губернаторском месте, в том не был виною талант его, а были тому другие причины, лежавшие частью в характере его, частью в самом порядке вещей и в обстоятельствах, с которыми он, именно по этому характеру, не в состоянии был мириться. Кн. Вяземский знал своего бывшего подчиненного и, услышав о его назначении, сказал пророчески: «пусть по моему носу полезут черви, если он долго просидит губернатором».

Однако Державин был не совсем доволен доставшеюся ему губернией, тем более что в надежде сделаться преемником Татищева он уже отправил все свое имущество в Казань. Но нечего было делать: надо было удовольствоваться отпуском на родину, где жила его престарелая мать; она давно звала к себе сына и невестку, чтобы навсегда проститься с ними. Олонецкое наместничество пока существовало еще только на бумаге: оно должно было открыться не ранее декабря месяца, и до тех пор супруги решились воспользоваться свободой; но к своему величайшему огорчению, они не застали уже старушки в живых: она умерла дня за три до их приезда. Этого обстоятельства они никогда не могли забыть и нередко со слезами вспоминали о нем. Державин горько жалел, что в ожидании губернаторского места слишком долго откладывал свою поездку в Казань. Феклу Андреевну похоронили рядом с ее мужем в казенном селе Егорьево, у церкви, к приходу которой принадлежала деревня Кармачи. В ограде этой церкви до сих пор видны две гробницы с именами родителей Державина. К этим могилам относится следующее четверостишие сына:

О праотцев моих и родных прах священный!
Я не принес на гроб вам злата и сребра
И не размножил ваш собою род почтенный;
Винюсь: я жил, сколь мог, для общего добра.

Оплакав смерть матери, Державин из Казани вместе с женой пустился в Оренбургский край, чтобы показать Катерине Яковлевне тамошнее свое имение. Пробыв там не более трех дней, супруги отправились обратно в Петербург. В Казани Гаврила Романович 30-го августа сделал распоряжение о поминании своих родителей, написав священнику села Егорьева, чтобы он и преемники его каждую субботу служили заупокойную литургию; на это он назначил из господских доходов деревни Бутырей по семи рублей в год. Это распоряжение должны были свято соблюдать все будущие владельцы Бутырей, а в противном случае егорьевскому священнику предоставлялось право жаловаться на наследников Державина. Посетив Егорьево в 1862 году, я с удивлением узнал, что это завещание не только давно уже не исполняется, но даже и вовсе неизвестно на местах; самый подлинник письма Державина, в котором оно было изложено, пропал бесследно.

2. Преобразование губернского управления. Наместники и губернаторы

При назначении Державина губернатором вверенная ему Олонецкая губерния еще не была открыта. Дело преобразования губернского управления, в котором Екатерина видела одно из главных условий улучшения всего государственного быта, занимало ее с самого вступления на престол. Со времени разделения России на губернии Петром Великим в 1708 году организация их в полустолетие мало подвинулась в своем развитии. Сначала их было только восемь; потом, в 1719 году, сам Петр увеличил число их до одиннадцати. При воцарении Екатерины II их было шестнадцать; вскоре прибавлено еще четыре. Комиссия о порядке государства (отдел комиссии о составлении проекта нового уложения) изменила отчасти состав губерний и учредила пять новых, а после приобретения Белоруссии и берегов Азовского моря вновь образованы три губернии (Псковская, Могилевская и Азовская); всего к 1775 году их было, следовательно, двадцать восемь. Но понятно, что такое число административных единиц не соответствовало обширности пространства, занимаемого русским государством. Притом существовавшее разделение не имело правильного основания; между частями не было соразмерности; губернские власти и круг действия каждого учреждения не были в точности разграничены; самая должность губернатора и его отношения к подчиненным лицам не были достаточно определены. Первым шагом к улучшению местной администрации при Екатерине II было издание в 1764 году «наставления губернаторам», точнее обозначавшего их отношения и обязанности. Между прочим оно предоставляло им право в важных случаях посылать свои донесения в собственные руки императрицы, чем ясно выражалось намерение возвысить значение местных властей, которые до тех пор были в полном и безотчетном распоряжении коллегий. По окончании же первой турецкой войны государыня сама занялась составлением «учреждения о губерниях», которое и было издано 7-го ноября 1775 года.

Основная мысль этого важного узаконения заключалась в том, чтобы губернское управление, в малом виде, было отражением государственного: столичным коллегиям должны были отвечать в губерниях новые учреждения, названные *палатами*. На каждую губернию полагалось от 300.000 до 400.000 душ, вследствие чего число губерний увеличено до сорока. Губерния считалась наместничеством, и потому в каждой, по первоначальному проекту, должен был находиться, во-первых, государев наместник, или *генерал-губернатор*; во-вторых, подчиненный ему *правитель наместничества*, или *губернатор*, а при нем еще *поручик правителя*, или *вице-губернатор* для заведования делами хозяйственными и финансовыми. На губернатора возлагалась вся ответственность по управлению губернией; наместнику же как непосредственному органу верховной власти принадлежал высший на местах надзор за администрацией и за действиями сословий, которым предоставлен был выбор лиц в

разные должности. Прежнее смешение ведомств было устранено особыми коллегияльными учреждениями, причем судебная власть отделена от административной и получила новое устройство. Вместо прежних воеводских и губернских канцелярий по части исполнительной и полицейской учреждены губернские правления, земские суды и приказы общественного призрения; по части судебной — палаты гражданского и уголовного судов и уездные суды; по финансовому управлению — казенные палаты и уездные казначейства. В 1781 году императрица несколько отступила от первоначального своего плана: она признала излишним назначать в каждую губернию особого наместника; в составленном тогда расписании наместничеств их положено только двадцать на сорок губерний, так что каждое наместничество, за исключением Петербургского, Московского и некоторых других, включало по две губернии; в немногих наместничествах было их по три. Для замещения новых должностей разрешено было брать способных людей из штаб- и обер-офицеров, но не иначе как с согласия Военной коллегии.

К сожалению, пределы власти наместника и губернатора не были в точности означены, отношения между ними не были ясно определены, а это не могло не послужить поводом к недоразумениям и раздорам. Притом главная цель Екатерины — чтобы между губерниями и верховным правительством не было посредствующих инстанций — осталась не достигнутою: по обязанности иметь надзор за местным управлением наместник приобретал высшее значение и становился именно такою посредствующею инстанцией. Не вполне осуществилась также мысль императрицы усилить местные установления и правильно распределить между ними дела, ибо этому не могла не препятствовать, по самой сущности своей, власть генерал-губернаторов, которые, будучи облечены полным доверием государыни, могли руководствоваться одним произволом и быть сами себе законом. Они пользовались почти царскими почестями; им были подчинены даже войска в их губерниях; при торжественных выездах они сопровождалась отрядом легкой конницы, адъютантами и молодыми дворянами, из которых «под их руководством должны были образоваться полезные слуги государства». Наконец, считая себя представителями государева лица, они окружали себя такими атрибутами власти, что у Державина в оде «На счастье» вырвался стих:

На пышных карточных престолах
Сидят мишурные цари.

Правда, для ограничения власти наместника в учреждении о губерниях было оговорено, что он не должен быть ни законодателем, ни судьей, не имеет права ни издавать собственным своим лицом новых постановлений или правил в руководство, ни наказывать без суда; виновных же обязан предавать действию законов и обращать в новые судебные учреждения; но понятно, что при отсутствии всякого контроля над этими высшими сановниками такая оговорка лишена была значения. Губернатор с самостоятельным и энергическим характером не мог не очутить-

ся в более или менее тягостном и опасном положении от созданного новым учреждением порядка вещей. Державин вскоре испытал это на себе.

Открытие наместничеств на основании помянутого учреждения производилось в десятилетие от времени издания его до 1785 г. В числе возникших всех позднее была Олонецкая губерния, которая вместе с Архангельской составила одно наместничество, вверенное генерал-губернатору Тутолмину. Правителями наместничества, т. е. губернаторами были назначены: в Архангельскую губернию Иван Романович Ливен, в Олонецкую Гавриил Романович Державин.

В начале царствования Екатерины II город Олонец, от которого вся губерния получила название, входил в состав Новгородской провинции, принадлежавшей к Новгородской губернии; позднее образован был Олонецкий уезд, приписанный к Петербургской губернии, а наконец он, вместе с другими семью уездами, отделен в новую губернию с назначением Петрозаводска центром ее управления. Началом этого города послужил устроенный Петром Великим в 1703 году, при самом устье реки Лососинки, железный завод для литья артиллерийских снарядов, почему это новое селение долго и называлось просто Петровским заводом. В 1777 году оно вошло в состав открытого тогда Новгородского наместничества и объявлено уездным (окружным) городом Петрозаводском, который в 1781 г., вместе с другими городами Олонецкой области, присоединен к С.-Петербургской губернии. В следующем году в Петрозаводск переведены из Олонца присутственные места, причем он переименован областным, а в 1784, по указу 22-го мая, он учрежден губернским городом. Его населяли тогда купцы, мещане и разночинцы; всех жителей обоего пола считалось в нем около 3000. Олонецкая губерния, по своему тогдашнему населению (206.000 жит.), составляла только 2/3 определенной для каждой губернии меры, но обширное пространство, которое она обнимала (2783 кв. м.), давало ей право на отдельное существование.

3. Тутолмин. Переселение Державина. Открытие губернии

Тимофей Иванович Тутолмин был тремя с небольшим годами старше Державина. Лишившись отца шести лет от роду и получив воспитание в Сухопутном кадетском корпусе, он по выходе оттуда поступил в военную службу и вскоре имел случай, сперва в Семилетнюю, а потом в турецкую войну, пройти хорошую практическую школу под знаменами Румянцева. Предводительствуя в авангарде легкой конницею против турок, он получил за отличие чин полковника и Георгиевский крест, а при праздновании мира в Москве был послан туда с Сумским гусарским полком. Лестные о нем отзывы главнокомандующего обратили на него внимание императрицы, и по открытии Тверского наместничества ранее всех других, в 1775 г., туда назначен был Тутолмин сперва вице-губернатором, а потом и губернатором. На-

чальником его, т. е. наместником в Твери, был знаменитый Яков Ефимович Сиверс. Они прекрасно ужились друг с другом. Наместник считал его лучшим губернатором и года через три так ходатайствовал за него перед императрицей: «Расстройство его дел заставляет его желать другого места, не столь видного и дорогого, как Тверь. Пожалование ему пятисот крестьян помогло бы ему расплатиться со своими кредиторами и сохранить в глазах вашего величества приобретенную им репутацию чести, заслуг и способностей». — «Он был в Твери от всех за справедливого, за умного и за дельного почитаем», — так и Державин писал впоследствии Львову. После таких отзывов о Тутолмине может, однако, показаться странным, почему Сиверс не постарался удержать его на службе в своем наместничестве. Согласно с приведенным ходатайством Тутолмин был переведен в 1779 году губернатором же в Екатеринослав, где он дослужился до чина генерал-лейтенанта. По словам Бантыш-Каменского, он так много сделал для Новороссийского края, что Потемкин, готовясь к приему там императрицы и желая присвоить себе всю честь улучшений в этой стране, позаботился об удалении деятельного губернатора и устроил перемещение его с юга на крайний север. Уже в Екатеринославе Тутолмин изумлял своею роскошною жизнью и расточительностью. По замечанию Вигеля, «он любил жить по-царски, и самые щедроты императрицы были недостаточны для поддержания его пышности». Близкий к нему в Петрозаводске Брокер говорит в своих записках, что «когда он выезжал, то его всегда конвоировала большая свита штаб- и обер-офицеров и вновь сформированных драгун. В табельные дни обедал он у подножия трона, а все прочие за большими столами; вечером давался бал с церемониею придворною». При этом рассказе невольно припоминаются выписанные выше два стиха Державина, который в примечании к ним поясняет, что «наместники все почти, хотя зависели от манования императрицы, но чрезвычайно дурачились, представляя ее лицо, сидя великолепно на тронах, когда допускали к себе, при открытии губерний, народных депутатов и выборных судей». Нет сомнения, что Державин, писав это, преимущественно и метил именно на Тутолмина.

В звании наместника двух северных губерний Тимофей Иванович по Олонецкому краю оказал услуги особенно военному делу: выписав мастеров из Англии, он увеличил на петрозаводском литейном заводе производство пушек; когда же возникла шведская война (1788 г.), то он сформировал ополчение из казенных крестьян и волонтеров и усилил гребной флот. В конце царствования Екатерины он был генерал-губернатором в новоприсоединенных от Польши юго-западных губерниях (Минской, Волынской и др.), при императоре Павле подвергся опале и аресту, а при Александре был главноначальствующим в Москве с 1806 года по 1809. В этом последнем году он по болезни оставил службу и умер 1-го ноября в Петербурге. В весьма неблагоприятном свете представляют его в своих отзывах Державин и некоторые из его сослуживцев (Свистунов и Пospelов), но по происшедшей между наместником и губернатором ссоре эти суждения должны быть, конечно, принимаемы с большою осмотрительно-

стью. Свистунов обвиняет его в высокомерии, пристрастии и сребролюбии; а Державин, даже в записках своих, следовательно, уже после смерти Туттолмина, называет его «человеком надменным, но низкого духа и угодником случая». Для отношений между наместником и губернатором Олонецкой губернии чрезвычайно неблагоприятна была дружба первого с князем Вяземским. Она могла иметь влияние на мнение, которое наместник скоро стал высказывать, что Державин — «изрядный» (т. е. отличный) стихотворец, но плохой губернатор. Так как между тем было известно, что и Туттолмин, в бытность свою екатеринославским губернатором, писал стихи в похвалу Потемкину, то в отплату ему Державин говорил (в письме ко Львову): «Я обрадовался, что он наш брат, но с тою только разностью, что он негодный стихоткач, как и худой законодатель». Наместником двух северных губерний Туттолмин оставался еще долго после выбытия Державина из Петрозаводска и занимал дом близ нынешнего городского сада (от этого дома следов давно уже не осталось). Кроме того, он имел дачу близ города, в Древлянке, месте гористом и живописном, где был роскошный дом со всеми барскими затеями того времени. Наместник привез с собой множество дворян, бывших при нем еще в Екатеринославе, так что петрозаводское общество вдруг оживилось, и по улицам, до того пустынным, стали снова ездить экипажи. При назначении в наместники Туттолмин считал неполных десять лет своей гражданской деятельности. Еще менее времени прошло с тех пор, как Державин оставил военную службу: кто из них более усвоил себе нужные для нового поприща условия, должно было, конечно, зависеть от способностей, познаний и понятий того и другого.

Перед отъездом в Петрозаводск Державин представлялся императрице. Финансы его были, по обыкновению, в весьма плохом состоянии. Хотя он и получил по этому случаю пособие в 2000 руб., но принужден был сделать еще заем для уплаты долга Еропкиным и заложил у какого-то англичанина разные вещи, между прочим и табакерку, пожалованную ему за «Фелицу». Вскоре по приезде в Петрозаводск он получил из казанских деревень 2700 руб., которые тотчас же отправил в Петербург ко Львову для уплаты долгов; главным займодавцем его был граф Матвей Федор. Апраксин. «А что процентов христианских возьмут, — писал Державин своему другу, — я того не знаю, но надобно их заплатить по требованию». Между прочим он поручал заплатить 200 р. Саблукову и Нелидову в число должных им, проигранных в карты, денег. При подобных поручениях Державин означает суммы только приблизительно, предоставляя точный расчет самому Львову, которого уполномочивает, в случае недостатка денег, какую-нибудь вещь заложить. Несмотря на такое незавидное положение своей казны, он при обзаведении своим в Петрозаводске сделал одну совершенно лишнюю издержку, или, как сам он выражается, «подурачился»: именно, обмелбировал на свой счет не только губернаторский дом, но и присутственные места. Вслед за мебелью, отправленной водою, и сам он прибыл в Петрозаводск в начале октября 1784 года. Там он занял небольшой одноэтажный дом на конце Английской

улицы, так названной потому, что в ней жили выписанные для завода мастера, большою частью англичане. Этот в то время казенный дом (в 11 окон со стороны фасада) принадлежал к ряду зданий присутственных мест, зданий, впоследствии отданных горному ведомству. Он был деревянный, снаружи обложен кирпичом, внутри оштукатурен. В середине фасада был балкон, или род террасы. С обеих сторон его стояло по небольшому флигелю; в правом из них находился кабинет губернатора. Во время нашего пребывания в Петрозаводске, в 1868 году, домик этот был еще цел, но стоял пуст, и комнаты в нем были расположены несколько иначе, нежели при Державине; рядом с ним было губернское правление, против нынешнего губернаторского дома.

Торжественное открытие губернии началось 9-го декабря 1784 г. и продолжалось целую неделю; богослужение совершал и произнес проповедь епископ Амвросий (Серебренников); праздника сопровождалась речами генерал-губернатора, чтением узаконений, пушечною пальбой, угощением народа на площади и пиршествами у Тутолмина. 17-го открыты наместническое правление, палаты, приказ общественного призрения и верхний земский суд, и тогда же произведены выборы из дворян, городских жителей и крестьян в члены губернских и уездных присутственных мест. При открытии наместнического правления Тутолмин вручил присутствию постановления о губернской администрации, а прокурор прочел важнейшие статьи об обязанностях правления. Императрица, получив донесение генерал-губернатора об открытии губернии, изъявила ему в рескрипте от 28-го декабря свое удовольствие и поручила объявить монаршее благоволение всем участвовавшим в этом деле, а равно и всему обществу губернии.

4. Отношения между наместником и губернатором

Сначала наместник и губернатор жили между собой мирно и почти каждый день проводили друг у друга вечера; но это согласие было непродолжительно, так как Тутолмин на первых же порах позволил себе превышение власти. В самый день открытия губернского правления он издал «новый канцелярский обряд», или, говоря словами Державина, «целую книгу законов, им написанных», т. е. совсем новое постановление о производстве дел не только по этому правлению, но также по всем палатам и нижним губернским местам. Державин находил, что этот «обряд» не был согласен ни с законами вообще, ни с учреждением о губерниях и прямо противоречил указу 1780 года, запрещавшему генерал-губернаторам делать собственно от себя какие бы ни было постановления. Недоумевая, как поступить при таком явном нарушении закона самим наместником, Державин приказал на первый случай готовить списки обряда для рассылки, об исполнении же его доложить впредь, а между тем решил-ся лично объясниться с наместником и, взяв с собой указ 1780

года, пошел к нему на дом. Чтобы не оскорбить его самолюбия, Державин говорил, что по опытности его и знанию дел обряд, конечно, хорош, что надо удивляться, в какое короткое время он составлен, но что тем не менее он не может быть исполнен без высочайшей конфирмации. Тутолмин сначала спорил и хотел сам приехать в присутствие, чтоб настоять на исполнении своих предписаний, но наконец согласился приостановить их, а 26-го декабря отправил к князю Вяземскому нарочного с письмом, в котором просил его совета. С тем же курьером и Державин писал как к генерал-прокурору, так и к Безбородке и к графу А. Р. Воронцову. Через несколько дней Тутолмин показал ему ответ князя, в котором между прочим было сказано: «Чего, мой друг, в законе нет, того и исполнять нельзя». Согласились, чтобы в исполнение приведены были те только статьи обряда, которые прямо не противоречили законам. Державин надеялся, что кто-нибудь из председателей или прокуроров поддержит его, и потребовал их мнений, но все преклонилось перед волей генерал-губернатора: все высшие чины отозвались, что обряд нужен, удобен, полезен. К этому способствовало полученное между тем Тутолминым от Вяземского другое письмо, в котором говорилось, что так как подобный обряд уже введен в Твери, то князь не находит препятствия к исполнению и настоящего. Это письмо разгласилось по всему городу, и губернский прокурор, по приказанию генерал-губернатора, настоял, чтобы обряд был целиком принят. Однако покуда добрые отношения между обоими начальниками наружно удержались. Когда Тутолмин в первых числах февраля поехал осматривать губернию, то Державин, приняв на себя попечение о его доме, каждый день посещал семейство отсутствующего и при смерти сына его показал родным особенное участие. Но по возвращении наместника причины раздора возобновились: он старался привести наместническое правление в совершенную от себя зависимость и не только не давал ему решать ни одного сколько-нибудь важного дела, но присвоил себе даже исключительное право перемещения и представления к наградам чиновников, привлекая их этим способом на свою сторону и отвращая от губернатора. По уверению Державина, Тутолмин стремился к тому, чтобы наместническое правление считало его предложения за указы, и, отняв таким же образом власть у палат, он хотел сделаться один производителем дел, судьей, правителем и чуть не законодателем.

Однажды, в апреле же месяце, он вздумал обревизовать присутственные места и остался недоволен, объявив, что нашел неисправность в производстве дел, особенно в низших учреждениях, подчиненных губернскому правлению, почему и вознамерился довести о том до сведения императрицы. Из следующего рассказа Державина в письме ко Львову видно, какие неудовольствия произошли между обоими правителями во время самой ревизии: «Может быть, он скажет, что в день его осмотра присутственных мест остался я в правлении, не пошел с ним, о чем мне он после выговаривал; но я на это имел причины: первое,

он мне сказал, что поедет осматривать суды; я был готов в правлении, принял его в оном; при разных его придирках за свой обряд, я однако не показал ему никакого огорчения, проводил его в совестный суд; тут он бранью непристойною судей безвинно сделал мне много огорчения, но я и после того вышел за ним в сени, хотел провожать его по судам; но он надел с неучтливостью и раздражением шапку, пошел в карету и не пригласил меня; а как у меня кареты не было, то я и возвратился в правление, за непристойное почтя бегать за ним пешком, а паче быть свидетелем его ругательств судьям, на счет мой относящихся. Невзирая на сие, ввечеру мы с Катериной Яковлевной поехали к нему. Он при всех, чтоб дать важность своей гордости, в зале собрания не устыдился меня шпетить, якобы за неисправность мест, а в самом деле за вздорный свой обряд, что не все его пустые табели сделаны были, ибо за его ужасно многоречивым камерально (или марально) лживым описанием всей губернии приказные служители были заняты. Я и тут стерпел, — но поутру при самом прощании он мне оказал совершенное презрение при целой публике: не говоря со мною ни слова, препоручал дела то тому, то другому, оказывал свои покровительства, в грощ меня не считая; с тем и расстался, поселив во всех ко мне явное неуважение».

В позднейших своих объяснениях по ссоре с Тутолминым Державин прибавляет, что наместник показал ему *даже и при купечестве* такое презрение, что «делал препоручения, до губернии принадлежащие, вице-губернатору и другим, а этим вице-губернатором (Зиновьевым) он прежде, пока тот не исполнял его обряда, был так недоволен, что хотел его удалить, теперь же выхвалял его и ставил губернатору в пример». На другое утро после своей ревизии Тутолмин уехал в Петербург, с тем чтобы подать жалобу на непокорного сослуживца.

Но Державин придумал отчаянную меру: чтобы отплатить своему противнику тою же монетой, он решился, тотчас по отъезде его, в свою очередь обревизовать те присутственные места, которые считались в исключительном ведении наместника. Тутолмин признал их состоянием вполне удовлетворительным, Державин же нашел в них «великое неустройство» и всякого рода отступления от законов вследствие исполнения нового обряда. В пример нелепости некоторых распоряжений наместника он указал на применение к лесистой Олонецкой губернии правила, предписанного им прежде для Екатеринославской, именно, чтобы крестьяне всякое лето сажали и сеяли леса и чтобы директор экономии ежегодно представлял отчет о количестве взятых под леса десятин. Или еще: устанавливались такие сборы и подати, о которых в правилах казенного управления не было и помину. Понятно, что на эту рискованную ревизию по зову Державина не явились многие из чиновников, в том числе и вице-губернатор, отговорившийся болезнью. Все найденное губернатором в присутственных местах было тут же записано в журнал и подтверждено подписями присутствовавших членов, которые, как он замечает, при этом случае бессознательно сами против себя свидетельствовали. Документы ревизии Державин отправил не-

медленно (15-го апреля) к Тутолмину при рапорте, в котором не скрыл от него, что вместе с тем о найденных беспорядках донесено императрице. В донесении своем он подробно изложил действия наместника и все, что считал в них противозаконным. Так в донесении он писал между прочим: «Уголовная палата, невзирая, что генерал-губернатор есть сберегатель изданных узаконений, ходатай за общую пользу и государеву, допустила его сделаться не токмо судьбою, но и производителем дел, ибо я нашел между бумагами резолюцию с чернением и примечаниями руки его. Предосудительного в тех примечаниях ничего нет, но сие есть весы и меч в одной руке». Далее говорится между прочим, что «все чины, — прокуроры, председатели, советники и др. — произвольно увольняются наместником в отпуск на большие сроки, а между тем в журналах числятся или больными, или наличными... Не можно было мне, все милостивейшая государыня, сего не ведать, что находящиеся чины в важных должностях уезжали из губернии. Всякий из них прихаживал ко мне и сказывал, что его высокопревосходительством отпущен. Мне оставалось токмо удивляться и отвечать, что ежели имеют на сие позволение главнокомандующего, то мне ничего делать не остается, уповая по крайней мере, что записано об их отпуске в журналах их мест или имеют какие-либо от него виды, ибо я и подорожных никому не давал: людям, не имеющим ни опыта в делах, ни твердости души, происходящей от знания оных, и живущим единым жалованьем, можно ли было кому не быть устранившим от великого человека, который носит высочайшую доверенность, прославляется своими дарованиями и берет, может быть, у многих преимущество своим долговременным упражнением и трудолюбием в делах? Но я повергаюсь пред освященным в. и. в. престолом и признаюсь, что с тех пор, как я прочел ему в. и. в. узаконения, воспрепятствующие притязать законодательную власть, а он их не уважил, то я все потерял к нему внутреннее почтение и, сохраняя наружность, соблюл ее до сих пор. Теперь прибегаю под высочайшую десницу и испрашиваю защиты себе, защиты императорским законам и преимуществам, или благоволите с меня снять время служения под его начальством, меня отягощающее».

Это донесение было вложено в письмо на имя Безбородки с просьбою о его заступничестве и отправлено в Петербург с нарочным, экзекутором губернского правления Николаем Федоровичем Эминным. Безбородко, недавно пожалованный в графы Римской империи, пользовался в это время полным доверием государыни. Что донесение было им действительно представлено ей, видно из благодарственного письма к нему Державина от 29-го апреля; притом и Львов, также через нарочного, перед тем уведомил своего друга губернатора, что граф обещал исполнить его желание. Под впечатлениями этой доброй вести Державин пишет ко Львову и Капнисту; он в шуточном тоне говорит им о своих отношениях к Тутолмину и подробно рассуждает о действиях обеих сторон. Между прочим из слов его видно, каким важным и рискованным делом сам он считал свое письмо к императрице. Объясняя, почему он заранее не сообщил Львову о своем намерении, он так выражается: «Не выговаривай ты мне

за то, что я тебе пространно не описывал предприятия моего. Ты, имея нежную душу и любя меня, прочетши наперед письмо мое, не захотел бы решительным быть на пагубу мою; но я того непременно желал. Для того я вложил письмо к императрице в письмо Александра Андреевича, чтоб ты тогда оное уже прочел, когда ему оно было небезызвестно. От воли его зависело вручить императрице; но ежели бы что лихо мне последовало, то бы ни ты себя, ни я тебя укорять не могли, поелику мы дружбою, то есть такими узами обязались, что в случае бешенства друг у друга нож отнимать должны и поневоле не допускать другого себя к несчастию: Александр же Андреевич, хотя благодетель наш, но я от него такого священного долга требовать не могу; и пусть бы я чрез него одного подвергся чему бы то ни было. Но когда гроза прошла, ты от радости вздохнул, — то я знаю цену тому вздоху».

Любопытно, что Львов считал недостаточным покровительство Безбородки и обращался еще к тогдашнему любимцу Ермолову с просьбой предупредить государыню о деле Державина, который потом благодарил за это своего друга. О действии письма своего к императрице поэт говорит в своих записках, что формального ответа не было, но после стало известно, что наместник был позван во дворец, где ему «прочтено было губернаторское донесение, и он должен был на коленях просить милости». О том, что Тутолмин в кабинете императрицы бросился ей в ноги, ходили действительно слухи, но тому были различные толкования. Противная Державину партия рассказывала, что Тутолмин, по приезде из Петрозаводска, несколько раз был приглашаем к столу императрицы, что в первый раз, после обеда, она дала ему прочесть донесение Державина, а через несколько времени потребовала у него отзыва об этой бумаге и на замечание о ее неосновательности будто бы сказала, что и сама ничего не находит в ней, кроме поэзии; будто бы Тутолмин, откланиваясь, заявил, что просит одной милости: стал на колени и, поцеловав руку государыни, ходатайствовал о пожаловании Державину ордена Владимира 2-й степени, что она и одобрила, похвалив Тутолмина за благородный поступок. О степени достоверности этого рассказа можно судить уже по тому, что Державин со времени своего назначения в губернаторы не получал никакой награды до 1787 года, когда управлял уже Тамбовской губернией и был удостоен Владимира не 2-й, а 3-й степени.

5. Две партии. Оригинальное взыскание

Оставшись на прежнем месте после ссоры с Тутолминым, он мог считать себя победителем в этой распри, но положение его не могло не быть затруднительным, тем более что председателем одного из присутственных мест (верхнего земского суда) был родной брат наместника Николай Ив. Тутолмин, который, разумеется, всегда держал сторону последнего. Вследствие разлада между представителями высшей власти весь местный чиновный люд распался на два лагеря: противниками губернатора были

между прочим вице-губернатор Зиновьев, прокурор и даже один из советников правления; по словам Гаврилы Романовича, они оказывали ему явное непослушание, которое он называл «благоприличным бунтом». Вот, напр., один из случаев, показывающих, в каких отношениях были между собою присутственные места, непосредственно подчиненные губернатору, и те, которые признавали над собою исключительно власть наместника. 18-го июля 1785 года правление требовало копий с предложений наместника, данных гражданской палате; ответ был тот, что палата, по точной силе законов, «не имеет долгу и обязанности подвергать себя под надзирание г. правителя, а потому и копий с тех предложений дать не может».

С прокурором (Грейцем) у губернатора были постоянные препирательства. Грейц подал в правление жалобу, что ему не показывают входящих дел и журналов. Оказалось, что он под предлогом болезни сам не посещал правления, а требовал, чтобы ему на дом приносили журналы и почту, на что он по закону не имел никакого права. Вообще прокурор очень небрежно исполнял свою должность; например, один колодник более трех недель содержался в тюрьме не спрошенным, и дела по бывшей Олонецкой области в некоторых судах, даже уголовные, оставались более десяти лет нерешенными, а прокурор о том губернскому правлению не доносил. Поэтому в претензии Грейца решительно отказано, и правление (т. е. губернатор, который сам писал почти все резолюции) объяснило ему, что если бы он действительно желал исполнять свои обязанности «и быть прямым орудием в неупустительном отправление дел, то бы он, видя такое множество входящих непрестанно бумаг и ощутительный недостаток в канцелярских служителях, по христианской совести устыдиться бы должен отвлекать секретарей и протоколиста от прямого их дела, единственно, кажется, для прихотей своих, а вместо того, входя тщательно в производство дел, был бы сотрудником правлению».

Разумеется, что Грейц не преминул пожаловаться генерал-губернатору, у которого и без того были беспрестанные столкновения с правлением. Так он в два новые города определил городничих и предложил о том правлению, но оно не сделало затем никакого распоряжения, а на выраженное наместником неудовольствие отвечало, что эти два городничие еще не утверждены сенатом. Палаты обыкновенно не устаивали отвечать правлению на его многочисленные сообщения. Магистрату оно послало выговор за медленное течение дел и леность и, получив от него неудовлетворительный ответ, дало указ, «чтобы магистрат впредь таких темных рапортов присылать не осмеливался»; иначе де правление долгом своим почтет «при первом подобном случае излечить его (т. е. магистрат) 96-ю статьею высочайших учреждений». Так как вина в нерадении магистрата возводилась правлением на прокурора, то Грейц и по этому поводу жаловался Туттолмину. Последствием было написанное в резких выражениях предложение наместника: прокурор объявлен был со-

вершенно правым, и при этом, наперекор правлению, приказано: все поступающие туда дела, протоколы и журналы отсылать с чиновником («приказным офицерского чина») в камеру губернского прокурора и оставлять в его руках для надлежащего по должности рассмотрения, а вдобавок наместник заключил свою бумагу таким советом: «Сим рекомендую в изъяснении резолюций своих соблюдать большую умеренность». При занесении всего этого дела в журнал правления протокол закончен замечательною выпискою из наставления губернаторам 1764 года, в которой между прочим заключалось следующее: губернатор в своей губернии наблюдает, чтобы все и каждый, исполняя свою должность с возможным рачением, содержали ненарушимо указы и узаконения, «чтоб правосудие и истина во всех судебных и подчиненных ему местах обитали, и чтоб ни знатность вельмож, ни сила богатых совести и правды омрачать, а бедность вдов и сирот, тщетно проливая слезы, в делах справедливых утеснена не была, и буде таковых нерадивых о должности своей приметит (губернатор), то может он понуждать и исправлять их разными в законах изображенными способами, в случае же безнадежного исправления имеет власть отрешить от места». Это не в бровь, а в глаз метило на прокурора.

Державин горячо сочувствовал человеколюбивым идеям, положенным в основание наставления губернаторам, откуда извлечены предыдущие строки, на которые он не раз официально ссылался, причисляя к способам утеснения «проволочку дел, привязки и нападки». Кроме того, желая подавать пример добросовестного отношения к своим обязанностям, он заявлял в журналах правления, что «не токмо от гг. прокуроров и страпчих, но и от всякого состояния людей во всякое время, ежели ему объявят противные законам и справедливости и собственные его поступки, то он с благодарностью примет и исправится». С этою целью он (употребляем опять подлинные его слова) позволил к себе вход во все часы дня людям всех состояний, не с тем, чтобы принимать ненужные дела челобитчиков, но чтобы ускорять исполнение приказаний и помощь угнетенным. Пользуясь таким позволением, в конце января 1785 года к губернатору пришел мещанин Мартьянов и со слезами просил защиты от городского магистрата, который без всякого основания отказывал ему в выдаче паспорта для проезда в Петербург, где он нанялся на мраморные работы по постройке Исаакиевского собора. Державин тотчас же послал в магистрат своего секретаря с приказанием немедленно удовлетворить просителя. Вместо того явился оттуда бургомистр с объяснением, что по просьбе всех мещанотцов в магистрате состоялось определение: без письменного их согласия никого из детей их не отпускать; Мартьянов же разрешения отца своего не представил. «Странны, — говорит Державин в данном им по этому поводу предложении, — показались мне таковые узы для обращающихся в коммерции»; однако он посоветовал просителю доставить в магистрат письменное согласие своего отца. Но каково было удивление Державина, когда

через несколько дней он узнал, что определения, на которое ссылался бургомистр, никогда не бывало; в подкрепление своего показания он, правда, принес несколько дел, касавшихся отношений между родителями и детьми, но прямо к этому случаю они вовсе не относились. Итак, губернатор приказал немедленно выдать Мартьянову паспорт; магистрату через наместническое правление сделано было замечание, на бургомистра наложена пеня, а чтобы он впредь лучше знал законы и был точнее в своих ссылках, то магистратскому стряпчему предписано «шесть месяцев каждый субботний день читать вслух магистрату высочайшие узаконения и толковать оные, дабы поучение сие могло послужить на предбудущее время в спасительное средство избежать от вящего наказания за преступление законов и утеснение челобитчиков». Об этом происшествии извещены все присутственные места губернии с тем, чтобы все чины впредь остерегались лживых показаний, даже на словах; в конце же губернаторского предложения по этому делу повторено приведенное выше приглашение всем и каждому бесстрашно указывать ему его «ошибки»; «что, ежели справедливо — прибавлял он, — то не токмо со снисхождением и благодарностью принято будет, но, елико можно, исправлено, а чего уже исправить нельзя, в том с уничтожительным благоговением не устыжусь я принести мое извинение поставленной надо мною вышней власти, и впредь исправлюсь».

Примером розни в чиновном мире вследствие разлада между начальствовавшими лицами могут служить неприятности, причиненные Державину советником правления Соколовым. По донесению секретаря Софонова, в конце июня возникло дело о каких-то неблагопристойных поступках этого советника. С досады Соколов под предлогом болезни перестал ходить в правление. 2-го июля канцелярист носил к нему на дом для скрепления протокол, уже подписанный губернатором. Но Соколов своей подписи не дал и вместо того написал что-то на лоскутке, который велел отнести к Державину. Дня через два после того Соколов заходил в правление, но журналов подписать и теперь не захотел. Поэтому на другой день губернатор в присутствии правления словесно предложил, что так как Соколов уже почти целую неделю в правление не ходит, то не угодно ли правлению приказать освидетельствовать его в болезни и потребовать, чтобы он исполнил губернаторские положения, а если он находит их неправильными, то в непродолжительном времени письменно внес бы свое мнение. Посетивший его, согласно с этим определением, штаб-лекарь Рач заявил, что он страдает геморроем и зубною болью. Между тем по городу распространился слух, что Державин бил или толкал Соколова, так что у него явились синяки на спине и на плечах. Виновником такой клеветы оказался советник казенной палаты Шишков, рассказавший в собрании почти целого городского общества, что он слышал это от самого Соколова. Но Соколов заявил посланному к нему вследствие того команданту Михайлову, что он с Шишковым даже не видался и

ничего подобного не говорил. На другой день Державин через правление поручил коменданту объявить как Соколову, так и всем чинам и обывателям следующее: «Ежели в самом деле учинил я не только с таким чиновным человеком, каков г. Соколов, но и с последним гражданином какой-либо неприличный моему характеру и вверенной мне власти поступок, как-то побои, брань или какого бы то ни было роду незаконное притеснение, домогательство, укоризну или насмешку, то, невзирая на то, что ежели бы прошли установленные по законам на подачу жалоб сроки, взносили бы на меня свои письменные прошения с ясными доказательствами, куда следует по законам». Через несколько дней после этой резолюции Державин выехал из Петрозаводска для обозрения губернии и открытия города Кеми, что, как он имел причину думать, было поручено ему Тутолминым из мест. Соколов и в отсутствии его не переставал останавливать ход дел своею строптивостью, так что еще и в августе месяце Державин из Повенца приказал сделать ему внушение; если же он не образумится, было прибавлено в предложении, то при первом случае имеет г. старший советник (Свистунов, сторонник губернатора) отправить ко мне нарочного и отрапортовать сенату, что я из-за поведения г. Соколова должен буду прекратить обозрение губернии и возвратиться, не исполнив предписания наместника открытием города Кеми. В этой угрозе скрывалось, как кажется, желание воспользоваться первым благовидным предложением для сокращения тягостного путешествия.

6. Дело о медведе

Всего нелепее было раздутое врагами Державина до невероятной степени и по этому самому в своем роде знаменитое «дело о медведе», причинившее ему, при всей пустоте своей, много беспокойства и неприятностей. Оно началось за несколько дней до отъезда губернатора, в июле, а кончилось только в октябре того же года. В записках поэта оно рассказано не совсем точно; мы сообщим главные черты его по подлинным актам.

В губернаторском доме, у ассессора Аверьянова, жил ручной медвежонок. Туда часто хаживал близкий к Державину чиновник, бывший артиллерии поручик Молчин, теперь заседатель верхнего земского суда, председатель которого Николай Иванович Тутолмин, брат наместника, в это время находился в отпуску в Петербурге. 10-го мая в суде присутствия не было. Когда Молчин в этот день отправился в суд, медвежонок пошел за ним. В судебной камере было налицо два заседателя: секунд-майор Скорняков и прапорщик Горлов. Войдя в комнату, Молчин шутя предлагал Скорнякову идти на встречу нового члена Михаила Ивановича, а потом сам вышел и, отворив дверь прихожей, впустил медведя. Другие два чиновника как приверженцы своего председателя и противники всего близкого к Державину увидели в этом неуважение к судебному месту и раскрича-

лись на Молчина; но тот, не обращая на них внимания, кормил медведя хлебом. Тогда Горлов велел сторожу выгнать четвероногого гостя и при этом ударил мишку палкой. Молчин вступился за обиженного, напоминая, что ведь это медведь — губернаторский. Казалось бы, дело должно было тем и кончиться. Оно, действительно, как будто было предано забвению. Но когда, спустя более месяца после этого случая, вернулся председатель и ему наговорили небылиц на Молчина, то он вздумал повести дело канцелярским порядком. Державин хотел предупредить неприятности, и так как председатель суда к нему не счит нужным явиться, то он призвал к себе родственника его, еще третьего Тутолмина, советника казенной палаты, и просил его посоветовать председателю не начинать письменным производством пустого дела, которое не принесет чести ни местным властям, ни всей губернии «и может только быть поводом к смеху целой империи». То же объяснил губернатор и двум заседателям, пригласив их к себе. Но эти увещания не имели никакого действия, и в суде состоялось определение послать рапорты как к наместнику, так и в правление «о учиненном Молчиным непорядке и несоблюдении должного к присутственному месту уважения», причем от правления требовать резолюции. Чтобы исполнить это требование, Державин 1-го июля положил в правлении резолюцию, сущность которой заключалась в следующем: так как запрещено наполнять архивы пустыми бумагами, то, «чтоб не уподобиться верхнему земскому суду по сему более странности и смеха нежели прямого уважения достойному делу, а паче не употребить священное императорское величества имя всеу, — не посылать в оный суд указа, а призвав чрез кого подлежит председателя Тутолмина, изъяснить ему: не может он сам не чувствовать, что скот и всякое другое безумное животное не в состоянии само по себе, ежели б оно и очутилось каким бы то случаем ни было в присутственном месте, сделать оному неуважения или пренебрежения; а потому, — что впущен или введен был в присутственную камеру медвежонок, казалось бы не весьма пристойно было делать о том предложения протокола, посылать письменного рапорта и извещать правящего генерал-губернаторскую должность, якобы о каком по высочайшей службе интересном деле». Далее в предложении было сказано, что если действительно Молчин был виноват, то бывшие при его поступке заседатели могли тогда же донести о беспорядке губернатору, а если бы он не обратил на то внимания, то по закону наложить на Молчина штраф; а так как ни ими, ни стряпчим этого сделано не было, то сами они, пропустив время, подлежали бы обвинению. И потому, «чтоб не начинать недельного дела», — поручить председателю Тутолмину сделать строгий выговор как заседателям своим и стряпчему, так и Молчину.

Но председатель Тутолмин на вызов правления не явился и определения его не исполнил. Тогда правление в заседании 4го июля сочло себя обязанным предать его суду и просило о том мнения наместника. Между тем Державин уехал на ревизию. В

его отсутствию Тимофей Иванович, который в то время также ездил по губернии, прислал в наместническое правление запрос: на каком основании дело было решено в этом правлении, а не в земском суде? Не удовлетворившись ответом, генерал-губернатор вошел с донесением в сенат, обвиняя Державина особенно в неправильном ведении дела и в несправедливом приговоре о предании председателя Тутолмина суду уголовной палаты. Вяземский торжествовал; в общем собрании сената он говорил: «Вот, милостивцы, как действует наш умница стихотворец: он делает медведей председателями!» Так как в то время сенат, поясняет Державин, был в крайнем порабощении у генерал-прокурора и наместники пользовались большим уважением, то естественно, что на имя губернатора последовал строгий указ с требованием ответа. Он отвечал, что с тех пор как земский суд вошел с рапортом в правление и к наместнику, т. е. с 17-го июня, по 1-ое июля прошло две недели, в которые наместник, находясь тогда в Лодейном поле (не далее 150 верст от Петрозаводска), мог бы, если бы хотел, прислать свое заключение, но он молчал и свою резолюцию потребовать от Молчина объяснения доставил тогда уже, когда к нему пришло второе определение, состоявшееся в правлении (4-го июля), которым председатель предан суду уголовной палаты. Справка, наведенная по распоряжению губернатора, обнаружила, что эта бумага была помечена задним числом (24-го июня) как будто из Лодейного поля, а в действительности отправлена из Каргополя, в бытность Тутолмина в этом городе 15-го июля. Вот почему правление, не получая ничего от наместника, и было вынуждено постановить свое определение; резолюция же наместника получена была только 19-го, когда приговор о председателе не только состоялся, но и отправлен был к наместнику с требованием его мнения. Тутолмин утверждал также, что по закону в подобном случае следовало просить у него не мнения, а согласия. Державин доказывал противное. «Наипаче, — говорил он в своем рапорте, — казалось мне весьма странно и безрассудно (в благословенный и просвещенный век премудро царствующей над нами великой Екатерины, благоволившей преподать нам божественный правила, что действия, ничего в себе не заключающие, нимало не подлежат законам, что законы установлены только для того, чтоб доставить спокойствие людям, что наказания должны быть извлекаемы из естества преступлений) заводить следствие и изыскание о проступке, происшедшем более от незнания службы, от легкомыслия и ветрености, нежели от злого сердца, проступке, который не нанес ничего, ни вреда, ни убытка, ни бесчестия...» Рапорт кончался выражением сенату благодарности за то, что это пустое дело, за которое губернатор считал несчастьем отвечать перед сенатом, приказано исследовать законным порядком, так как этим средством могла легче «открыться его невинность, помрачаемая от недоброхотствующих ему людей». Сенат, кажется, удовольствоваться этим объяснением, и дело более не возобновлялось.

7. Обзорение губернии и открытие города Кеми

В наказе 1764 года вменено губернаторам в обязанность каждые три года объезжать свою губернию. Неприятное положение, в каком находился Державин, побудило его не отлагать предстоявшего путешествия, и он писал Воронцову, что для некоторого отдохновения едет осматривать губернию и, по возможности, далее в лопские погосты. 18-го июля, накануне отъезда, он сделал распоряжение, чтобы в случае важных дел наместническое правление отправляло к нему нарочных курьеров. С собою взял он двух самых образованных из чиновников своих, привезенных им из Петербурга, — Адриана Моисеевича Грибовского, служившего секретарем в приказе общественного призрения, и Николая Федоровича Эмина, экзекутора в правлении. Оба они впоследствии приобрели известность и в службе, и в литературе. Эмин уже прежде ездил по губернии: еще в начале года, при учреждении пограничной стражи между русской и шведской Лапландией, Державин, отправив его по этому делу, поручил ему составить описание того края, которое и сохранилось в рукописи. То, что Эмин писал тогда с дороги, было неутешительно и для отправлявшегося в путь губернатора. «Что ж касается до описания моего, — говорил этот чиновник, — доношу вашему превосходительству, что оно будет в рассуждении исторических истин весьма недостаточно, ибо на все мои относительные до происхождения жителей края сего вопросы общий и единогласный дается ответ: не знаю, так что и в отборе домостройства и прочих полевых производств с трудом нужное для вписания дознаешь; рукописей нигде почти не находил и замечал и самые мелкости, дабы, удостоясь поднести вашему превосходительству, уверить, что не от поспешности, но от недостатка сведений описание мое будет скудно».

Кроме затруднений этого рода, Державина ожидали разные лишения: повенецкий исправник Иконников в ответ на письмо Грибовского предупреждал губернатора о страшно дурном состоянии дорог и мостов, удивлялся, как могли проезжать по ним даже крестьяне, и потому приложил к письму своему маршрут для облегчения путешественникам переездов. В дороге то Грибовский, то Эмин вели *поденную записку*, которая потом дополнена была сведениями, истребованными от местных властей и в обеих редакциях сохранилась в бумагах Державина. Целью при этой работе было, конечно, составить топографическое описание губернии, что было возложено на губернаторов особым указом 1777 года по поводу того, что губернаторы московский и воронежский, по собственному побуждению, представили в сенат такие описания и тем заслужили одобрение правительства. По упомянутой дневной записке можно составить себе полное понятие о ходе губернаторского путешествия.

По разнородности местностей, через которые лежал путь, нельзя было взять с собою экипажей, и пришлось пуститься из

Петрозаводска водою. Отплыв на 12 верст, путешественники пристали к острову Попову, где нашли одни рыбацьи хижины, а оттуда, миновав множество мелких островков, прибыли в деревню Суйсар, лежащую на берегу Онежского озера, и тут ночевали. На другое утро, сев опять в лодку, проехали 20 верст Онежскою губою и вышли, при впадении реки Суны в озеро, в деревне Янич-поле. Эта река, прославленная «Водопадом» Державина, мелка и не судоходна; среди живописных берегов ее путешественники в маленьких лодках поплыли по ней вверх, посетили бывшие Кончезерские заводы, также купоросный завод, потом вернулись и 21-го июля отправились к Кивачу, которого поэтическое изображение, сделанное Державиным, послужило началом величественной оды на смерть Потемкина. На другой день по реке Тивдии пустились к известным мраморным ломкам и по дороге в одной деревне видели сточетырехлетнего старика, который в бытность Петра Великого на марциальных водах наливал ему из колодезя воду.

26-го числа поднялись из озера рекою Водлою в Пудож, недавно еще называвшийся Пудожским погостом и только за 3 недели перед тем открытый как город самим наместником. Прожив там 6 дней, возвратились в Онежское озеро и посетили сперва на пустынном острове Полье древний монастырь (по преданию он древнее Соловецкого), потом Шунгский погост, Выгорецкое общежительство, — центр беспоповщины, далее Данилову обитель и богатую Алексинскую скитню, где жило тогда до 700 девиц. Здесь путешественники были поражены дурным состоянием богадельни, устроенной только для виду; богатые утопали в неге и роскоши, а бедные должны были безропотно переносить самовластие и злоупотребления строителя.

8-го августа прибыли в Повенец, только в 1782 году учрежденный городом из прежней Повенецкой пристани: открывал его начальник Петровских заводов Ярцев. Пробыв здесь 4 дня, выехали верхом, потом продолжали путь то водою, то сухим путем, между прочим горою Мансельскою, отделяющею воды, текущие в Белое море, от впадающих в Онежское озеро. Посетив затем оставленный Воицкий рудник, из которого прежде добывали золото, путешественники были остановлены ненастьем и бурей, которая еще два раза застигала их на Выг-озере.

Теперь они направлялись к Белому морю. Поводом к тому было полученное Державиным в Пудоже предписание генерал-губернатора ехать в Кемь и открыть там уездный город. По мнению Державина, Тутолмин, давая ему это поручение, надеялся, что он не будет в состоянии его выполнить и таким образом докажет справедливость обвинений в умышленном противодействии и ослушании по службе. Доехать до Кеми, говорит Державин в своих записках, было почти невозможное дело, потому что по обширным болотам и тундрам летом нет проезда: в Кемь можно попасть только из города Сум на судах, когда богомольцы в мае и июне месяцах ездят в Соловецкий монастырь, а в осенние месяцы, когда начинается сильный ветер, этот переезд

крайне опасен, и никто, кроме рыбаков, добровольно туда не ездит. Но, не желая давать своим врагам нового против себя оружия, Державин решился наперекор всем препятствиям исполнить волю наместника, и действительно он ее исполнил, хотя с большими трудностями.

От Повенца до Сум, или Сумского острога считалось 175 верст, а от Сум до Кеми — 95. Из устья реки Сумы (при котором лежит названная крепостца) пустились 19-го августа на больших лодках по Белому морю и, проплыв 35 верст, пристали к Туманскому острову, на котором нашли хижинку для промысляющих ловом тюленей. Переночевав здесь, проехали семь верст до устья речки Сороки; далее опять поплыли Белым морем и остановились на ночлег в устье реки Кеми, откуда оставалось еще десять верст до селения того же имени, построенного под 64° северной широты. По уверению Тутолмина, здесь были уже и присутственные места, и канцелярские служители, но Державин не нашел ни тех, ни других. Чтобы хоть чем-нибудь ознаменовать «открытие города», он решился, по крайней мере, отслужить обедню и молебен с водосвятием; но, на беду, священника не оказалось дома: насилу его отыскивали на каком-то острове, куда он поехал на сенокос. Обошли все селение и окропили его святой водою. Тем обряд и кончился. Державин рапортовал сенату об открытии города Кеми.

Против самой Кеми, верстах в 60-ти, лежат в Белом море Соловки. Державин не хотел упустить случая побывать на обратном пути в знаменитой обители. И вот смелые пловцы направились туда, но страшная буря с грозой заставила их воротиться. Жизнь их была в опасности. Эмин и Грибовский от сильной качки лежали уже без чувств на дне лодки; к счастью, Державин не потерял присутствия духа: он еще вовремя велел гребцам, «лапландцам, не умеющим управлять судном», переменить направление и держать вправо к островам; лодка вдруг очутилась за камнем, который помешал волнам залить ее. Поэт всю жизнь не мог забыть впечатления этих страшных минут, и при назначении его сенатором, в 1793 году, воспоминание о них послужило ему темою небольшого стихотворения «Буря»:

Судно, по морю носимо,
Реет между черных волн;
Белы горы идут мимо,
В шуме их надежд я полн.
Кто из туч бегущий пламень
Гасит над моей главой?
Чья рука за твердый камень
Малый челн заводит мой?
Ты, Творец, Господь весильный,
Без которого и влас
Не погибнет мой единый,
Ты меня от смерти спас!

Через четыре дня, именно 27-го августа, Державин со своими спутниками прибыл в город Онегу (на берегу Белого моря), «большой от верховой и тележной езды», как сказано в его дневнике. Несмотря на то, он на другой уже день отправился в Каргополь, лучший в губернии город, откуда после четырехдневного там пребывания поехал на Вытегру и 13-го сентября возвратился в Петрозаводск. Таким образом, путешествие его продолжалось два месяца без недели.

8. Занятия в дороге. Отъезд в Петербург

Во все это время Державин не переставал заниматься делами, о чем свидетельствует большое число бумаг, присланных им с дороги в наместническое правление. Из тогдашних распоряжений его заслуживает быть упомянуто мера, принятая им в Пудоже по поводу производившегося в губернии генерального межевания. Вытегорский земский суд доносил, что вследствие приказов экспедиции директора экономии (Ушакова) в Пудожском погосте и в целом Вытегорском уезде происходили между крестьянами «раздоры и драки, близкие к смертоубийству и междоусобному возмущению». Губернатор и сам, во время личного обозрения этой части края, заметил почти везде озлобление крестьян друг против друга, возникшее от разделения земель между ними. Во всех селениях, где ему случалось быть, к нему крестьяне приступали толпами и требовали, чтобы он рассмотрел их дело. Трудолюбивые жаловались, что тунеядцы и те, которые прежде обращались совсем в других промыслах, отнимают у них все полевые и запольные распашки единственно для того, чтобы по поводу приказов директора экономии воспользоваться чужим добром. Державин старался их успокоить, советуя произвести разделение земель общим мирским приговором; увидев же из рапортов нижнего земского суда, что при исполнении приказов директора экономии невозможно избежать неудовольствий, губернатор убедился в необходимости до обстоятельного о землях рассмотрения остановить по губернии раздел их везде, где он еще не кончен полюбовно, и потому отобрать от старост приказы директора экономии, разосланные со времени открытия губернии. Вместе с тем Державин предписывал казенной палате потребовать как от экспедиции директора экономии, так и лично от Ушакова объяснения в их самопроизвольном образе действий, тем более что Ушаков накануне отъезда губернатора был приглашен в правление и ему именно сказано было, что к общему разделу земель по губернии должно приступать с крайнею осторожностью, и что экспедиция наперед должна доставить наместническому правлению обстоятельные о землях ведомости, без которых оно не решится никому дать своих предписаний об общем по губернии разделе земель. Затем Державин писал, что экспедиция директора экономии не должна была действовать без предварительного сношения, через казенную палату, с намест-

ническим правлением, которое в силу законов управляет всею губерниею, имеет попечение о сохранении везде порядка, мира и тишины; поэтому экспедиция должна посылать приказы осмотрительнее: «ибо при обозрении губернии примечено мною (сказано в предложении), что по просьбе какого-либо крестьянина или крестьянки, без всяких откуда-либо подлежащих справок или с миром объяснения и разбирательства, предписываемо было чинить что-либо решительно, отдать кому что или отнять, отчего происходят с другой стороны неудовольствие и новые жалобы». В заключение Державин счел нужным прибавить, что ежели казенная палата в точности не исполнит всего здесь предписанного, то благоволит правление немедленно отрапортовать сенату, «дабы, в случае распространения раздоров по разделу земель, не могло оно понести какого на счет свой предосуждения или взыскания».

Понятно, что распоряжение Державина подало повод к новым неприятностям. Наместник нашел это действие противозаконным и донес о том сенату. Губернатор, со своей стороны, также отправил туда рапорт и в то же время просил Воронцова быть его защитником как в сенате, так и при дворе. Воронцов отвечал, что представления Державина подлежат рассмотрению 1-го департамента, в котором он не присутствует, а потому и входить в них не может. «Что же следует до происходимых между вами и начальником споров и несогласий, то также, по откровенности, скажу вам, что не произойдет от того никакой пользы обоим вам, а лучше советовал бы я вам согласие и, буде можно, все сии неудовольствия взаимно прекратить». Но исполнить этот благодушный совет было уже невозможно: раздор губернатора с наместником и некоторыми из чиновников принял слишком серьезный характер; одному из двух высших администраторов необходимо было сойти со сцены, и Державин нашел благовидный к тому предлог. При обозрении губернии им не были осмотрены два юго-западные уезда: Олонецкий и Лодейнопольский. Объявив наместническому правлению, что он намерен посетить и эти уезды, он снова выехал 28-го октября, а между тем испросил себе, через нарочного, отпуск, который позволил ему не возвращаться более в губернский город: из села Сермаксы он поворотил прямо в Петербург, где благодаря представлению его покровителей и вниманию императрицы к его таланту вскоре состоялся указ о переводе бывшего олонецкого губернатора в Тамбов. Таким образом, желание поэта перейти в Казань и теперь не осуществилось; но после всех ссор его с сановником, которого поддерживал генерал-прокурор, и это назначение могло считаться для Державина победой. Между тем слухи о его неудовольствиях распространились далеко, и, разумеется, при этом не было недостатка в преувеличенных и превратных толках. Из Казани его приятель Федор Иван. Васильев (брат Алексея Иван.) писал ему: «Скажи пожалуйста, хотя коротенько, что такое у тебя сделалось с Тутолминым? Татищев великие небывлицы несет на тебя, будто ты какого-то чину человека поколо-

тил палкою в правлении, чему никогда я не стану верить. Ей-ей, рад бы я был, ежели б (ты) приехал казанским губернатором; как можно, сердечный мой друг, старайся».

В записках Державина подробно изложены распоряжения его перед окончательным отъездом из Петрозаводска. Между прочим он снова осмотрел там присутственные места и в кассе приказа общественного призрения открыл недочет 1000 руб. Оказалось, что заведующий ею секретарь Грибовский, проигравшись в карты, уплачивал из казенных денег долги свои разным лицам, в том числе вице-губернатору и губернскому прокурору. Чтобы поправить дело и не погубить чиновника, вообще добросовестно исполнявшего свои обязанности, Державин пополнил кассу из своих собственных средств, но вместе с тем счел нужным напугать не только провинившегося секретаря, но также вице-губернатора и прокурора. Последние сначала отнекивались от участия в игре с Грибовским; однако наконец во всем сознались. Тогда Державин успокоил их и все дело покончил смехом за бутылкой шампанского.

9. Официальная полемика против Тутолмина

Из письменных возражений Державина на разные распоряжения и показания Тутолмина особенно любопытны замечания на «камеральное описание» губернии, составленное наместником во время объезда ее зимою 1785 года (от 4-го по 24-е февраля). Это описание, представленное императрице, было сообщено для сведения и губернатору, который, велел переписать его в несколько рук, во время своего путешествия набросал на полях этой копии свои заметки и впечатления. Еще прежде он насмешливо отзывался об этом описании и, между прочим, говорил в письме ко Львову: «В камеральных его описаниях написано, что открыты больницы и нормальные школы под ведомством приказа общественного призрения; но это неправда, для того что еще и деньги не все в процент отданы, на которые содержать заведения приказа должно. Больница строится, а школ и в почине нет! Подобно о здешней коммерции, о свойстве земли, о раскольниках и наврано, и солгано». В тетради опровержения развиваются подробно. Для краткости приведем два наиболее интересные примера. Тутолмин говорит: «Вообще во всех уездах несравненно более зажиточных, нежели бедных поселян». — Державин возражает: «Наоборот, можно сказать, что более бедных. Правда, что есть даже в самых лопских погостах такие зажиточные крестьяне, что я мало таковых видал внутри государства. Например, некоторые имеют несколько чисто отстроенных комнат с голландскими печами, содержат чай, кофе и французскую водку для гостей. Сами их жены чисто одеты; например, в Повенецком уезде, в Шунгском погосте, хозяйка трактовала меня, вынося сама на большом красного дерева подносе для меня и бывших со мною несколько чашек кофе, вкусно сваренного;

одета была хотя в телогрею, но имела на ногах чулки шелковые и белые глазетовые башмаки. Но должно сказать, сие-то малое количество зажиточных крестьян и есть причиную, что более бедных. Они, нажив достаточек подрядом или каким другим образом, раздают оный в безбожный процент, кабелят долгами почти в вечную себе работу бедных заимщиков, а чрез то усиливаются и богатеют более нежели где внутри России, ибо при недостатке хлеба и прочих к пропитанию нужных вещей прибегают не к кому, как к богачу, в ближнем селении живущему. Сие злоупотребление нужно, кажется, пресечь».

Далее, у Тутолмина сказано: «Наклонность к обиде, клевете, обманам и вероломству суть предосудительные свойства обитателей сей страны». — На это Державин замечает: «Все сие о нравах олончат, кажется, не очень справедливо. Ежели б они были обманщики и вероломцы, то за занятый долг не работали бы почти вечно у своих заимодавцев, имея на своей стороне законы, оборонить их от того могущие; не упражнялись бы в промыслах, где нередко требуется устойка и сдержанье слова; не были бы терпеливы и послушны в случае притеснений и грабительств, чинимых им от старост и прочих начальств и судов в глухой сей и отдаленной стороне бесстрашно прежде на всякие наглости поступавших. По моему примечанию я нашел народ сей разумным, расторопным и довольно склонным к мирному и бессорному сожителству. Сие по опыту я утверждаю. Разум их и расторопность известна, можно сказать, целому государству, ибо где олончане по мастерству и промыслу своему не знакомы? Нравы не сварливые и довольно мирные явственны мне стали из того, что при случае повеления экономии директора отнимать пахотные земли они, хотя с ропотом и негодованием, но были довольно смирны при таком обстоятельстве, при каковом в других губерниях без убийств и большого какого зла дело не обошлось бы. Коротко сказать: надобно только уметь с сим народом обходиться, тогда все из него сделать можно с лучшим успехом. Ревностные услуги, сделанные им Петру Великому, сие доказывают. Бесспорно, что главный начальник может повстречать при первом случае множество челобитчиков, которые без того не отступят, чтоб не прочел он несколько бумаг, ими принесенных. Но сие, может быть, происходит от того, что прежде в нижних местах мало было оказываемо им правосудия, и для того они всегда старались достигать до вышнего командира, который, приняв их ласковым образом и с кротостию прочтя их бумаги, легко рассуждением своим успокоить может, так что они отходят от него весьма довольны в судебное ли место, куда им прикажет, или тотчас оставляют свою претензию».

В некоторых из возражений Державина нельзя отрицать явной придиричivosti; тем не менее надо согласиться, что, вообще говоря, в его замечаниях видно более знания дела и наблюдательности, нежели в описании Тутолмина, представляющем большею частью компиляцию из разных источников. Из своих заметок Державин сделал после связанное извлечение, которое

вместе с другими бумагами было доставлено Воронцову. Тутолмин, со своей стороны, подал Потемкину и некоторым другим высокопоставленным лицам оправдательную записку. Державин отвечал подробными объяснениями. Записка и ответ равным образом весьма любопытные документы для истории губернского управления и общественных нравов России в последнюю четверть прошлого века. Справедливость требует заметить, что краткая записка Тутолмина написана в гораздо более спокойном и умеренном тоне, нежели пространные объяснения Державина, своею резкостью очень напоминающие подобные же бумаги, которые некогда писал Ломоносов в столкновениях со своими противниками. Несмотря на протекшие со времени смерти его два десятилетия, Державин, по своему нравственному воспитанию, принадлежал к представителям того же периода русского общественного развития. Впрочем, что касается замечания нашего о характере записки Тутолмина, то мы находим в самой полемике обоих лиц следующее: Тутолмин говорит, что губернатор взводит на него клевету, «отъемлющую у него последнее и единое счастье быть известным миролюбивым человеком». — Державин возражает: «издавна примечено знающими сердце человеческое, что трус выхваляет свою храбрость, жестокий свою кротость... Я бы мог сделать картину миролюбивого и кроткого его нрава: пристойнее почитаю молчать. Кадетский корпус, Сумский полк могут за меня сказать...» Для проверки этих слов мы, к сожалению, не довольно знакомы с прочими обстоятельствами жизни Тутолмина.

10. Отношение к литературе и науке

Само собою разумеется, что посреди таких тревог по новой должности Державину было не до литературы. Много исписал он бумаги в течение 1785 года, но эти писания были не литературного свойства. Исключение составляет разве только речь, сочиненная им по случаю открытия больницы в день восшествия на престол и произнесенная петрозаводским протоиереем Иоанном. Учреждение этой больницы, устроенной на 30 кроватей, каждый из препиравшихся между собой администраторов приписывал себе. В речи есть одно довольно удачное место. Петр Великий, сказано тут, устроил больницы в городах, в войске, во флоте; он исцелил и успокоил прославивших его героев; но он не успел довершить своих трудов. Россию в этом состоянии можно было уподобить евангельскому больному, не имеющему благодетеля. Она, без общего попечителя, скорбями сокрушенная, простирая к небу руки, взывала: «Господи! человека не имам, да свержет меня в купель». В сей день услышана молитва ее: воцарилась Екатерина Вторая, сошел к нам с небес тот благодетельный ангел, который возмущал и освящал воды Силоамские. Среди звуков победоносного оружия, среди цветущих градов, среди торжеств законодательства, среди фимиамов благо-

честия раздается ныне повсюду глас милосердия: «восстань, немощствующий, возьми одр твой и ходи!» И вот мы видим осуществление такого призыва: в эту лечебницу вводятся ныне больные неимущие. «Екатерина отверзает им покров свой: она печется о здравии убогих, ввергает их в купель исцеления, и никто не воззовет уже: «Человека не имам!» Имеешь ты теперь, страждущее человечество, общего о тебе попечителя, общего благотворителя в неисчерпаемом милосердии Помазанницы Вышнего. В сем доме, щедротю ее устроенном, она тебя призовет, насытит, исцелит и успокоит; здесь ты забудешь скорби твои; здесь, буде восхочешь, можешь сложить с себя все твои недуги, душевные и телесные» и т. д.

Была ли речь эта прочитана императрицею, нам неизвестно; из переписки Державина не видно даже, чтобы он, посылая ее в Петербург, упомянул о себе как авторе ее. Есть только свидетельство, что эта речь в Петербурге не обратила на себя внимания. Именно, когда впоследствии наделала шуму другая речь Державина, читанная в Тамбове однодворцем Захарьиным, то Козодавлев писал ему: «Однодворец тамбовский счастливее олонецкого попа, говорившего речь при открытии петрозаводской больницы».

Единственное стихотворение, написанное Державиным во время пребывания его в Петрозаводске, было подражание псалму, озаглавленное «Упование на свою силу» и вызванное, как сам он сообщает, неприятностями его положения; следующие стихи содержат намек на высокомерие Тутолмина:

Он (Господь) кротких в милость принимает
И праведным дает покров;
Надменных власть уничтожает
И грешных низвергает в ров.

Но пребывание в Олонецком крае отразилось в двух позднейших стихотворениях нашего поэта, именно в «Водопаде» описанием Кивача и в «Буре» воспоминанием об опасности, испытанной им на Белом море. Нельзя также не упомянуть, что во время служб его в Петрозаводске в первый раз была напечатана одна из прежних его пьес, написанная еще в 1780 году, именно посвященные Ржевскому стихи «Счастливое семейство», в которых особенно последние куплеты отличаются теплотю. Каким уважением тогда уже пользовалось в литературе имя Державина, показывает похвальный отзыв о «громком прославившемся вновь творце», сопровождавший это стихотворение при появлении его в журнале «Покоящийся трудолюбец». Еще в 1781 году отправлены были от Академии наук три ученые экспедиции в разные пункты России для определения географического положения мест посредством астрономических наблюдений; начальником той из этих экспедиций, которая должна была посетить между прочим Олонецкую губернию, назначен был академик Иноходцев. Известно, что он же в 1774 г. был помощ-

ником академика Ловица по такой же экспедиции в Оренбургский край и, застигнутый там ужасами пугачевщины, едва избег несчастной участи своего товарища. Новая экспедиция продолжалась около четырех лет.

В начале августа 1785 года, следовательно, во время отсутствия Державина, губернское правление получило предложение Тутолмина, от 30-го июля, «чтобы во время пребывания отправленной от Академии наук экспедиции в губернском городе Петрозаводске и в местах Олонецкого наместничества со стороны гражданских и земских правительств чинить приказать в следующих ей надобностях зависящие от них пособия». Предложение это было послано к Державину и возвратилось от него с резолюцией: «Принять за известие, и буде какое учинит г. профессор требование касательно до астрономических его наблюдений, то чинить пособие».

29-го августа в правлении слушаны отметки, сделанные Державиным на топографические запросы, присланные «от предводителя экспедиции», академика Петра Иноходцева. В этой бумаге губернатором указано было, от каких мест и лиц по тем или другим запросам следовало требовать сведений, например, от казенной палаты: «Определить число жителей наместничества, означив именно: какого звания, сколько в оном находится, кто какую платит подать и чем», или от нижних земских судов: «Назначить, где есть старых городов оставшиеся развалины или городища, в каких состоят остатках и признаках, и нет ли о таковых древностях по преданию дошедших каких известий». Относительно пункта — «В городах или монастырях, буде есть летописцы, прислать с них копии, за которые Академия заплатит не отчечется», — было замечено: «О сем, по многим деланным разведываниям, таких летописцев не имеется». По другим пунктам сказано было ожидать сведения от губернатора; «посему о чем куда надлежит, с приложением запросов, писать в самой скорости и требовать ответов; по которым же пунктам его превосходительством определено выполнить в правлении, то по тем, учиня должное исполнение, господину надворному советнику Иноходцеву неукоснительно доставить». Так как по остальным запросам следует отбирать ответы по всей губернии, а на это потребно немалое время, то «ему, господину надворному советнику, дать знать, что ежели отъезд его в С.-Петербург так скоро воспоследует, что он не будет иметь время дожидаться генерального собрания по губернии наименованных в его запросах всех соответствий (т. е. ответов, справок), то имел бы ожидать оных в С.-Петербурге, ибо г. губернатор изволил предоставить себе, по получении в правление, доставить ему оные лично от себя без продолжения времени».

Кроме Иноходцева, Олонецкую губернию почти в ту же пору, также в отсутствии Державина, посетил академик Озерецковский. Любопытно сведение о хозяйственной стороне жизни в тогдашнем Петрозаводске, которое сообщает этот ученый.

«Я был в сем городе в Госпожинки, — говорит он, — и, стоя в судне у пристани, видел, что по утрам привозили туда рыбаки на лодках по большей части ряпушку и соленую палю, которая весьма противный испускала запах; несмотря на то, жители раскупали ее наподхват, так что кто долго проспал, тому вонючей рыбы купить не оставалось. Из сего уже заключить можно, сколь много терпят нужды в съестных припасах служащие там при разных должностях особы, которые, не имея для домоводства никаких заведений, каждый день должны пецись о покупке чего-нибудь снедного».

В должности олонецкого губернатора Державин не пробыл и года, следовательно, говорить о результатах его деятельности на этом посту было бы странно. Впрочем, важнейшие из тогдашних распоряжений его исчислены в его записках.

11. Новое назначение. Пребывание в Петербурге. Приезд в Тамбов. Гудович

Во время пребывания Державина в Петербурге, 15-го декабря 1785 года, состоялся указ сенату: «Всемилоостивейше повелеваем действительному статскому советнику, правящему должность правителя Олонецкого наместничества, Гавриилу Державину отправлять ту должность в Тамбовском наместничестве». — Губернатором в Петрозаводск тогда же переведен был из Пскова статский советник Зуев.

Тамбовское наместничество было открыто уже в 1779 году. В расписании, изданном в 1781 г., Тамбовская губерния была соединена с Рязанскою под управлением одного генерал-губернатора. Должность эту сперва занимал отец княгини Дашковой, граф Роман Ларионович Воронцов, открывший наместничество; по смерти же его в 1781 году оно вверено было Михаилу Федотовичу Каменскому, преемником которого с 85-го года сделался известный уже в то время своими военными заслугами генерал-поручик и александровский кавалер Иван Васильевич Гудович. В протекшие с учреждения наместничества до назначения Державина шесть лет Тамбов уже четыре раза менял губернаторов. Последним перед Державиным был Григорий Дмитриевич Макаров, управлявший губерниею только год и оставивший ее в большом неустройстве.

Тамбовская губерния по своему пространству (1200 кв. м.) составляла менее половины Олонецкой, а по числу жителей (887.000) превосходила ее более чем вчетверо; следовательно, Державин вступал в несколько иные против прежнего условия администрации. Город Тамбов, первоначально построенный при царе Михаиле Федоровиче для защиты границы от набегов крымских татар, не имел ни торгового, ни промышленного значения, и население его в 80-х годах прошлого столетия едва ли доходило до 10.000 человек; самую значительную часть жителей

составляли однодворцы. По числу купечества Тамбов занимал между городами той же губернии седьмое место; первое принадлежало Козлову; за ним следовал Моршанск.

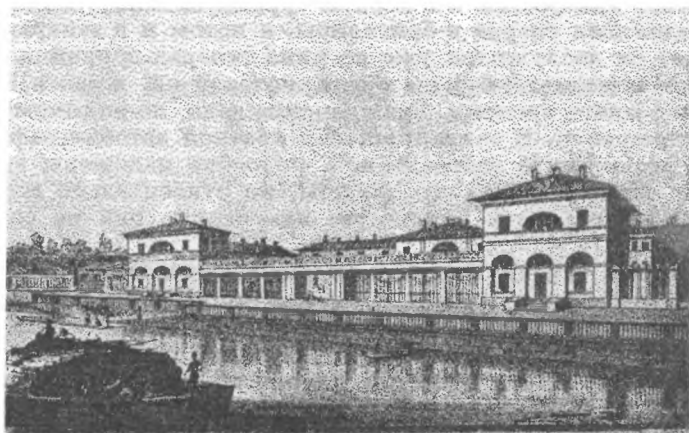
Хотя Державин во многих отношениях мог считать случившуюся в его положении перемену за повышение, однако он все еще жалел, что не мог получить того же места на родине. В Петербурге он встретился с тогдашним казанским губернатором. По его словам, генерал-майор Иван Андреевич Татищев был также недоволен своим начальником, князем П. С. Мещерским, и приехал было с тем, чтобы принести на него жалобу, но не решился на то и подал вид, что целью его было выхлопотать себе орден, в чем, может быть, и успел бы, говорит Державин, «если б почтмейстера не трактовал пощечинами». Державин старался выведать его мнение насчет своего желания сделаться его преемником, но тот «почти с досадою отозвался, что местом своим доволен», а потом, если верить поэту, разглашал по всему городу, что Державин хлопотал о получении его губернии.

В Петербурге в это время находился также Гудович, которому новый сослуживец и представился. Пребыванием своим в столице Гаврилы Романович пользовался особенно для полного очищения себя в глазах императрицы. Между тем сенат, под влиянием князя Вяземского, не слишком заботился о представлении дела в настоящем его свете и едва не скрыл от государыни поданного Державиным объяснения относительно раздела земель между крестьянами Олонецкой губернии. Главными ходатаями за поэта, при деятельном посредничестве Львова, были по-прежнему Безбородко и Воронцов; кроме того, он сумел настроить в свою пользу Потемкина и тогдашнего фаворита (с февраля 1785 г.) А. П. Ермолова. Известно, что этот последний был очень податлив на просьбы о покровительстве; вероятно, Державин нашел к нему доступ через Львова же. Впрочем, роль Ермолова уже кончалась, и друзья недолго могли рассчитывать на его поддержку.

Перед отъездом Державин ему откланивался. На вопрос представлявшемуся, правда ли, что он хочет поменяться губерниями с Татищевым, Державин отвечал, что вверенными ему «постами» не может желать меняться, как принадлежащими частным лицам вещами, что вполне доволен своим назначением и что разговор его с Татищевым был шуткою. По просьбе фаворита Державин обещал купить ему в Тамбовской губернии рысистую лошадь и впоследствии исполнил это обещание, но переслать лошади до падения Ермолова не успел. Точно так же опоздало и извещение Гаврилы Романовича, что по желанию фаворита прислана ему для покупки деревня близ Тамбова.

4-го февраля Державин выехал из Петербурга вместе с женою и братом ее, Александром Бастидоном, который до того служил во флоте: его хотели пристроить в Тамбове, но он оказался совершенно негодным и для гражданской службы. За ними должен был выехать секретарь Савинский, взявший на себя доставку экипажей и фортепиано. Переезд до Москвы продолжался

дней пять. В Москве, где пробыли до 26-го февраля, Державин посетил, между прочим, графа Ивана Ларионовича Воронцова, дядю Александра Романовича, и был отлично принят им. Обстоятельство, что у Воронцовых были имения в Тамбовской губернии, еще более сближало Державина с этим просвещенным семейством. В Рязани, где было постоянное местопребывание наместника, Державин не застал ни самого Гудовича, ни супруги его (урожденной Прасковьи Кирилловны Разумовской), но вместе с Катериной Яковлевной был у детей их. Приезжие навестили также рязанского губернатора Алексея Андреевича Волкова, были обласканы им и женою его и ужинали у них. При случившейся в то время оттепели путешественники от Москвы до Тамбова ехали целых восемь дней, в иные сутки проезжая не более 50 верст, и прибыли на место не ранее 4-го марта, т. е. на весь переезд от Петербурга употребили целый месяц.



Дом Державина в С.-Петербурге.

Хотя Тамбов, по числу жителей, и был втрое значительнее Петрозаводска, однако по своему наружному виду едва ли много отличался от последнего: за неимением архитекторов дома были большею частью построены кое-как, без планов, и разрушались; казенные строения, не исправленные много лет, просто походили на развалины; «там места присутственные, — говорит Державин, — не токмо самые бедные и тесные хижинны, но и весьма ветхи». По улицам в дождливое время местами не было проезда, так что и люди, и скот утопали в грязи. Около времени назначения Державина начаты были кое-какие новые казенные постройки, но по недостатку кирпича (заводов для этого материала поблизости не было) они замедлились, а потом турецкая война и вовсе остановила их. Губернаторский дом был деревянный и стоял на площади, которая впоследствии вошла в состав сада

Александринского девичьего института; кабинет поэта был в том месте этого сада, где теперь, на пригорке, стоит открытая беседка. Нынче следов дома не осталось; стены его пошли отчасти на позднейшие постройки. Оклад жалованья тамбовского губернатора составлял по штату не более 1800 рублей, из которых еще вычиталось 10 процентов на госпиталь.

В самый день своего приезда в Тамбов Державин, дав наместническому правлению так называемое «предложение» о своем вступлении в должность, поспешил уведомить о том генерал-губернатора не только официальным рапортом, но и частным письмом, извиняясь нездоровьем жены в продолжительности своего путешествия.

Иван Васильевич Гудович, в то время 44-х лет от роду (следовательно, двумя годами старше Державина), в молодости посещал германские университеты и знал несколько иностранных языков. Поступив в военную службу, он не раз имел случай отличиться храбростью и в первую турецкую войну, в 1770 году, произведен был сперва в бригадиры, а потом и в генералы. Через 7 лет он дослужился уже до чина генерал-поручика. Любимым развлечением его была охота, которой он, живя в Рязани, посвящал много времени. Гражданские дела, по-видимому, мало его интересовали. В сохранившейся краткой автобиографии его, вообще весьма сухо составленной, подробно изложены внешние обстоятельства военной его службы, но относительно его гражданской деятельности в качестве наместника она не содержит почти ничего.

Во вторую турецкую войну Гудович действовал с блестящим успехом, особенно на Кавказе, где взял приступом Анапу, и был потом кавказским генерал-губернатором. Император Павел возвел его в графы; при Александре Павловиче за новые подвиги на Кавказе он был пожалован в генерал-фельдмаршалы, а позднее, в 1812 году, назначен членом Государственного совета и умер почти 70 лет, в 1820 году.

По свидетельству Бантыш-Каменского, он был «нрава горячего, правил строгих, любил правду и преследовал только порочных; с виду казался угрюмым, неприступным, между тем как в кругу домашнем или в приятельской беседе был весьма ласков и приветлив».

Но есть о нем и другие отзывы; так Вигель, говоря о времени, когда Гудович был главнокомандующим в Москве (1809-1812), так о нем выражается: «Может быть, в зрелых летах имел он много твердости, но под старость она превратилась у него в своенравие. Несмотря на то, так сказать, выжив из лет, он совершенно отдал себя в руки одного своего родственника, который слыл человеком весьма корыстолюбивым. Оттого-то управление Москвою шло не лучше нынешнего: все было продажное, все было на откупе».

С этим согласны и показания графа Ростопчина за то же время. В 1810 году он писал великой княгине Екатерине Павловне:

«Жаль губернатора Ланского; жаль, что графа Гудовича опеленали мерзавцы... Злость Гудовича гонит Ланского, а вина его состоит в том, что он не был похож на окружающих и не хотел с ними быть в связи; я знаю Ланского за честного и благомыслящего человека... Гр. Гудович столько же мстителен, сколько груб, глуп, горд и бешен».

Если в двух последних отзывах и предположить преувеличение, то все же такие качества, хотя бы и в меньшей степени, угрожали опасностью отношениям между наместником и новым губернатором, тем более что эти отношения уже и в самих себе носили начала раздора, который должен был вспыхнуть ранее или позже, смотря по степени воспалительности приходивших в соприкосновение характеров; а в этом случае в горючих материалах, по крайней мере с одной стороны, не было недостатка. По отзывам Державина, Гудович был мягкосердечен, умерен, но в то же время слаб характером и легко подчинялся влиянию людей более энергических.

12. Приязнь между наместником и губернатором

Державин был горячо рекомендован Гудовичу в особом письме от Безбородки. За него ходатайствовали также перед новым начальником граф Андрей Шувалов и его супруга. В конце марта генерал-губернатор возвратился в Рязань. В Петербурге оба будущие сослуживца произвели друг на друга наилучшее впечатление. Кроме того, Державину нравилось, что Гудович в бумагах своих везде ссылался на законы и только их брал в основание. «Чего же мне по моему нраву лучше?» — писал новый губернатор своему бывшему советнику Свистунову. Он радовался также, видя в предложениях наместника «единственно те требования, которые точно к его должности относятся, умеренность в изъяснениях и предоставление должной власти наместническому правлению». В июне он уже благодарил Безбородку и Воронцова «за спокойствие, которое нашел в Тамбовской губернии в сожительстве тамошнего общества и под начальством Ивана Васильевича»; последнего он тут же называл кротким, благорасположенным, справедливым и честным начальником. Вскоре после того Гудович провел неделю в Тамбове. «Он встречен был здесь с нелицемерною от всех радостью, — писал Державин к графу А. Р. Воронцову 5-го июля. — Кроткое его, простое и снисходительное со всеми обращение, образ мыслей благородный и поступки, на истинных правилах чести основанные, усугубили к нему внутренним всех благорасположением то почтение, которое по наружности начальникам отдается. Не знаю, оттого ли, что почувствована здесь во всей силе всеми и мною самим кротким и снисходительным его нравом совершенная

разность против взмерчивых, горячих и самовольных начальников, но только скажу, так им все заняты, что изъяснить того вашему сиятельству не могу. Напротив того, и он кажется нами довольным. Весьма он счастлив и мы все, ежели возможем удержать навсегда таковые между нас расположения и спокойную жизнь, отчего и служба, конечно, будет иметь свои успехи. За сие же кому я более обязан, как не вашему сиятельству и графу Александру Андреевичу? Благодарность моя вам вечно в душе моей пребудет». Таким же образом благодарил Державин Ермолова и чету Шуваловых, восклицая в письме к графу Андрею Петровичу: «Осмелюсь попросту сказать: какая разница против бывшего моего начальника!»

Со своей стороны, и Катерина Яковлевна, хваля вообще дешевую и веселую жизнь в Тамбове, писала Капнистам: «Начальник очень хорош; кажется, без затей, не криводушничает, дал волю Ганюшке хозяйничать; теперь совершенный губернатор, а не пономарь». — «Я здесь против Петрозаводска длинно душевно и телесно воскрес», — писал Державин на Пасхе к Поспелову, служившему прежде в Олонецкой губернии при Тутолмине, а теперь в петербургском губернском правлении. Надо заметить, что и губернаторский дом в Тамбове был просторнее и удобнее, и тамошняя жизнь сравнительно дешевле. Когда Державин позднее приглашал перейти в Тамбов петрозаводского чиновника Аверьянова, предлагая ему 400 руб., то он объяснял при этом, что там эта сумма «несравненно выгоднее, нежели петрозаводских 1000 руб.»

Довольство новою жизнью отражается и в веселом тоне всей переписки супругов за это время. Вот, например, как сам Державин шутил в письме к Капнистам от 4-го мая: «Гаврил, тамбовский губернатор, и Екатерина, тамбовская губернаторша, здравия вам желают и нарочного курьера в Кременчуг наведать о здравье вашем отправляют, и о себе объявляют, что они очень весело и покойно поживают и всю петрозаводскую скуку позабывают, и вас к себе в гости приглашают, и бал для вас и пир сделать обещают» и т. д.

Наместник и губернатор оказывали друг другу разного рода любезности. Когда в Тамбове ожидали приезда Гудовича в половине июня, то Державин разослал циркуляр всем городничим и исправникам тех уездов, через которые генерал-губернатор должен был проехать. Сохранился написанный вчерне самим правителем наместничества ордер козловскому городничему Овцыну: «Приготовить что нужно, а меня, коль скоро в город придет, чрез нарочного уведомить. Г. капитан-исправнику объявите тож, чтоб он о сем его высокопревосходительства прибытии был извещен и непременно встретил его на своей границе, потребное число лошадей приготовил, по сношению с ряжским или лсбедянским капитан-исправником осмотрел мосты и дороги, и как скоро в округу его въедет, мне бы сразу дал знать как наискорее с нарочным».

Во время пребывания Гудовича в Тамбове на этот раз был праздник восшествия на престол, 28-го июня. К этому дню губернатор пригостил особо написанное им в честь начальника театральное представление. В конце галереи стоял храм, из которого, в подражание древнему афинскому обычаю, вышла группа детей, одетых в белое платье и увенчанных гирляндами, на встречу генерал-губернатора. После пропетого хором приветствия Гудовичу были поднесены: юношею, представлявшим Гения, венок из дубовых листьев, а девицею — корзина цветов, с изъявлением признательности «за оказанные обществу благодеяния». В Тамбове до сих пор помнят, что роль Гения, или «Ангела», как говорит предание, исполнял известный с того времени всему городу Иван Александрович Камбаров, умерший ста лет с лишком в 1876 году. Вечер кончился балом и иллюминацией, освещавшею три картины. На одной из них, изображавшей появление лучезарного Феба, была надпись: «Торжествуем приход своего благодетеля».

Гудович был в восторге от оказанной ему чести. Один из подчиненных Державина, Тютчев, находясь вскоре после того по делу в Рязани, писал ему: «Иван Васильевич по возвращении из Тамбова ежеминутно отзывался вашим угощением, которое ему показалось весьма приятным, и содержание всего приготовленного в честь ему читал публично, и столько часто повторял оное, что мне уже и рассказывать было нечего, и каждый знает понаслышке столько, как бы сами были свидетелями оного... Вчера было собрание у Алексея Андреича (Волкова, губернатора), и так случилось, что я с ним сидел особо. Материя дошла о Тамбове; Алексей Андреич начал говорить, что если поправится Тамбов, так это вами; я, будучи свидетелем, как вы трудитесь, рассказывал ему, что по приказу общественного призрения начала никакого не было и сколько вы стараетесь устроить к доставлению разных материалов, как для того, чтоб сумма оная имела оборот свой, так и для выгод тамбовским жителям, в чем и он вам отдавал справедливость своим заключением, рассказывая также и свои заведения оными ж рабочими людьми» и т. п.

Из этих строк между прочим видно, что Державин уже тогда приступил к улучшению общественных зданий в губернском городе. Еще в мае шла переписка о постройке дома для народного училища, сиротского дома, богадельни, больницы, дома для умалишенных, рабочего и смиренного. Кроме того, перестраивали генерал-губернаторский дом, присутственные места, церковь, и планы посылались в Петербург Львову для сообщения их на просмотр выписанному императрицею из Италии архитектору Тромбара. В самом начале своего пребывания в Тамбове Державин просил Волкова прислать план построенного в Рязани дома общественных собраний (клуба, или, по тогдашнему, «редута»). Особенно же он с самого начала заботился об улучшении общественной жизни и воспитания.

13. Старания об успехах образования и общежития

Естественно, что тамбовское дворянство того времени, хотя и довольно зажиточное, стояло на низкой степени просвещения, и недаром, конечно, один из предместников Державина, П. П. Ковновицын (1782-1784) в письме к нему из Петербурга упомянул о «невежестве» тамошних жителей и неумении их ценить просветительные меры Екатерины II. Для развития общественной жизни Державин устроил у себя два раза в неделю вечерние собрания: по воскресеньям танцы, по четвергам концерты. Сверх того, видя, что для образования молодежи в Тамбове почти ничего еще не сделано, он решился, не теряя времени, принять личное участие в доставлении средств к воспитанию и открыл свой собственный дом для обучения детей местных жителей, особенно дворян: именно, он завел у себя уроки для приходящих, пригласив учителей и распределив назначенную им умеренную плату между родителями учащихся. К нему сходились мальчики и девочки учиться то грамоте и арифметике, то танцам, для которых определены были послеобеденные часы по два раза в неделю и выписан танцмейстер с дочерью. За билет на эти танцевальные уроки каждое лицо платило по 50 коп., а так как танцевало не менее двадцати пар, то учитель каждый раз получал до 20 рублей; кроме того, он имел в губернаторском доме квартиру и стол и давал в других домах отдельные уроки, получая там по два рубля за час.

В конце года Державин писал в Петрозаводск бывшему своему подчиненному (ассессору Олонецкой уголовной палаты) Аверьянову, что у него собирается до полутора десятков девиц. Этот Аверьянов, бывший придворный певчий, спадший с голоса, знал музыку, и Державин еще при отъезде из Петрозаводска обещал перевести его в Тамбов. «Здесь, — писал он, — хотя есть в двух домах изрядная музыка, которой плачу за балы и за симфонии при столе по сту рублей на год; но хочется иметь городовую музыку, чтоб не зависела ни от кого, кроме меня».

Он прибавляет, что так как в Тамбове дворянство достаточное, то Аверьянов может найти учеников за особливую плату или «по крайней мере будете всегда снабжен не купленным столовым запасом», и во всяком случае не останется внакладе, потому что из бывающих у губернатора девиц может «избрать себе невесту с небольшою деревенькою». Аверьянов действительно перешел на службу в Тамбов (секретарем нижней расправы), ввел там в церковную службу греческое пение и, по желанию губернатора, устроил по воскресеньям певческий класс для охотников. «Забавно и приятно видеть, — говорит поэт, — когда слышишь вдруг человек 400 детей, смотрящих на одну черную доску и тянущих одну ноту... По городу загрела вокальная музыка».

В первые же месяцы пребывания Державина в Тамбове сделано было и начало устройству там театра. Представление 28-го июня, в присутствии Гудовича, было первым к тому шагом. Вслед за тем в доме губернатора завелись любительские спектакли; под непосредственным руководством Катерины Яковлены девицы шили и расписывали театральные костюмы, заучивали и репетировали роли. По примеру Державиных, и другие дворяне устраивали у себя драматические представления. В особенно близких отношениях к губернаторскому дому стояло семейство Ниловых, — помещик, бригадир Андрей Михайлович, некогда сослуживец Державина в Преображенском полку, жена его, известная несколькими литературными трудами Елизавета Корнильевна (урожденная Бороздина), и сын их Петр Андреевич, впоследствии тамбовский губернатор. У них в деревне также был устроен театр, как видно из одного письма, в котором жена Нилова обещает Державиным прислать в Тамбов декоратора, прося, однако, «отдать его на руки надежному человеку», потому что он «опять пить начал: у него в Тамбове много пьанных друзей, которых не худо бы к нему не пускать для лучшего успеха его в работе». У Ниловых гостили дочери двух тамбовских чиновников, княжна Давыдова и Мария Орлова, которые также являлись на сцене. Играли, между прочим, переводы французских комедий и опер, например, «Земиру и Азор» Мармонтеля, также трагедии Сумарокова и «Недоросля» Фонвизина. Роль Вральмана исполнял домашний врач Ниловых Лимнелиус. В приготовлениях к тамбовским спектаклям принимал иногда участие и сам губернатор. Ноты для театра и концертов выписывались то из Петербурга через приятеля его, бригадира Петра Евгр. Озерова, то из Москвы через княжну Волконскую, дочь сенатора Петра Михайловича. В начале 1787 года Державин просил разрешение наместника построить в Тамбове особый театр на месте, избранном самим Гудовичем во время его пребывания в Тамбове. На это ассигнована была сумма в 1000 руб., да столько же ежегодно на содержание театра, который должен был состоять в ведении приказа общественного призрения. Для улучшения строительной части Львов, по просьбе Державина, хлопотал о высылке ему из Петербурга «искусного каменного мастера», итальянца Лукини, который уже в июне 1786 года и был отправлен в Тамбов. Надзор за постройкою театра поручен был машинисту, итальянцу Барзанти, по-видимому, уже прежде находившемуся в Рязани: по особенному к нему расположению Гудович назначил ему в дополнение к жалованью сто руб. До окончания постройки театра представления происходили у губернатора. Так было, например, как увидим ниже, при праздновании открытия народного училища.

Поэтому можно уже судить, на какую широкую ногу Державины устроили свою жизнь в Тамбове. Они очень заботились об увеселении общества, о том, чтобы сделать свой дом приятным и блестящим центром собраний местного дворянства. Между прочим, губернатор заказал себе через Нилова бильярд по образцу

того, который он видел у этого помещика в деревне. Для обивки мебели выписан был сафьян (140 штук козлов разного цвета) из Казани. Из Петербурга, через А. И. Васильева, высылались большими партиями вина; из Малороссии получались от Капнистов варенья и конфеты. И дом, и стол у губернатора были открыты. Петербургский приятель его Львов, хорошо знавший денежные его обстоятельства, нередко подшучивал над таким образом жизни и уже по поводу праздника, данного в честь Гудовича, писал: «По сколькоку, бишь, вы за всякой праздник своих долгов уплачиваете? Помнится мне, что Катер. Яковл. мне этого не написала. Только полно, что за праздник! Правда, он должен был быть весьма хорош; только нельзя ли, мой друг, чтобы он был последний? — или ты на банк надеешься? Отпиши-ка ты ко мне об этом».

Однако этот образ жизни не мешал Державину деятельно заниматься по своей должности, и уже с самого начала он энергически приступил к устранению многочисленных неустройств по всем частям управления.

14. Прежние неустройства. Улучшения. Выписка указов и чиновников

О том, какие неустройства Державин нашел в губернии, и о заботливости, с какою он немедленно принялся за исправление их, лучше всего свидетельствует его замечательное письмо к Гудовичу, писанное им уже в конце марта, т. е. через три недели по приезде в Тамбов. «Я только еще присматриваюсь, — пишет он, — к порядкам, относящимся до управления губернии». Чтобы не говорить, как обыкновенно бывает, «одних слов насчет своих предместников», он решился сделать из текущих дел заметки и уже начал, с помощью советника Аничкова, вносить все замеченное в одну тетрадь, с тем чтобы потом, по рассмотрении ее, представить наместнику одну общую картину всех недостатков, требовавших исправления. Между тем он тут же кратко изображает, что найдено им с первого взгляда; сюда относилось следующее:

- 1) Неимоверная недоимка.
- 2) Нестроение присутственных мест и всего вообще города. О том и другом Гудович предварял его еще в Петербурге.
- 3) Запутанное, медленное и несогласное с законами делопроизводство.
- 4) Неточные сведения о границах губернии и числе ее жителей, так что с некоторых селений неправильно взыскивались повинности, иногда по двум губерниям; с других без основания не взыскивались они вовсе, отчего происходила неверность в сборе, а частью и недоимка.
- 5) Ужасное состояние губернских тюрем.
- 6) Бездействие приказа общественного призрения. При этом особенно упоминается, что по состоянию дорог в распутицу гу-

бернатор не мог доехать до смирительного дома, и что кирпичные сараи, несмотря на приказание наместника, не строятся, потому что на постройку недостает леса, а дров на обжигание кирпичей и совсем не заготовлено.

На представление своих замечаний и предположений о мерах к устранению этих недостатков Державин просить дать ему недели четыре. «Я, может быть, — прибавляет он, — и прежде удосужусь то сделать, но чтоб устоять в слове, я сроку себе беру более. Тогда же, ежели позволите для словесного обо всем объяснения побывать на несколько дней у вас (в Рязани), под образом осмотра здешней губернии, законами мне дозволенного, то я сочту (это) за особливую себе милость».

Но одного из исчисленных здесь недостатков человеколюбивый губернатор не мог видеть, не приняв тотчас же мер, чтобы хотя отчасти исправить его. «При обозрении моем губернских тюрем, — говорит он, — в ужас меня привело гибельное состояние несчастных колодников». И за этим следует описание, которое не лишено поэтической, хотя и мрачной картинности и заслуживает быть переданным здесь вполне:

«Не только в кроткое и человеколюбивое нынешнее, но и в самое жестокое правление, кажется, могла ли бы когда приуговляться казнь, равная их содержанию, за их преступления, выведенная из законов наших? Более 150 человек, а бывает, как сказывают, нередко и до 200, повержены и заперты без различия вин, пола и состояния в смердящие и опустившиеся в землю, без света, без печей избы, или, лучше сказать, скверные хлевы. Нары, подмощенные от потолка не более 3/4 расстоянием, помещают сие число узников, следовательно, согревает их одна только теснота, а освещает между собою одно осязание. Из сей норы едва видны их полумертвые лица и высунутые головы, произносящие жалобный стон, сопровождаемый звуком оков и цепей. Я осмелился, не дожидаясь от вашего превосходства резолюции, отвратить сей беспорядок, приказав сломать, по недостатку здесь лесу и что скоро взять его неоткуда, несколько ветхих строений под ведомством приказа общественного призрения без всякого употребления находящихся, и, перебрав их, сделать из них пристройки к кордегарде, имеющейся близ острога, где бы можно было содержать колодников, различая пол и состояние, которые не в тяжких винах судятся, а для больших преступников очистить и исправить в остроге избы».

Тогда же сделано было распоряжение, чтобы производство дел о колодниках было ускорено, и чтобы притом преступники, в отношении к месту их содержания, распределены были по степням виновности, а некоторые и отпущены на поруки. Одновременно Державин представил на усмотрение наместника свой рапорт в сенат о несправедливом решении одного дела в уголовной палате. «Судьи, — говорит он, — признав свою ошибку, хотели переменить свой приговор, но я не посмел сего без позволения вашего сделать, потому паче, что г. председатель Сабуров, крепивший оный, находится в отпуску». Затем Державин

вин входит в следующее замечательное рассуждение: «Может быть, они полагают, что я слишком подробно вхожу в обстоятельства; но я думаю, что в уголовных делах наиболее от судьбы требуется искусства, чтоб обнаружить действие, подвести оное под точный закон; а потом уже третья посылка сама по себе выйдет. Ежели судить не лица, а действия, то кажется, так должно; но вместо того я примечаю, что обвиняются здесь всегда малые чины, а большие, как из дел сих изволите увидеть, оправдываются. По мнению моему, закрывать в изыскании и в приговоре виновного не есть человеколюбие, но, напротив, зло, вредящее обществу. Гораздо бы более признал я соболезновательных к преступнику чувствований, ежели бы дело его решилось скорее, и он бы под стражею содержался не жестокосердно. Признаюся я вашему высокопрев., что господам уголовным судьям, между разговорами, приятельски советовал я взять способ к скорейшему решению их распри и разногласицы тот, чтоб они, хотя когда из любопытства, один раз заглянули в тюрьму и увидели, как страдают там люди».

Относительно улучшения тюрем комендант (полковник Булдаков) уже в начале июля доносил губернатору, что вследствие указа правления разные ветхие строения сломаны и вместе с имеющейся подле острога кордегардией перевезены; из этого материала построено девять покоев и при них пять сеней, а находившиеся внутри острога избы исправлены и очищены, печи переделаны, окна утверждены железными решетками.

Решительные меры были приняты также к устранению неисправности в сборе податей. В пример можно привести тот факт, что при выдаче жалованья спасскому городничему у него вычиталось, по определению наместнического правления, по 5 руб. в треть за медлительное взыскание недоимок и недоставление о них в срочное время ведомостей.

Одним из важных беспорядков управления была неисправность в поставке рекрут: помещики под разными предлогами уклонялись от этой повинности. Через несколько месяцев после своего вступления в должность Державин писал в Петербург к своему приятелю, сенатскому обер-прокурору Неклюдову: «Относительно медленности рекрутского набора, так не я в том виноват и не Иван Васильевич, а прежние хозяева, что у них был беспорядок: ни очередей, ни верного числа душ до сих пор добиться не можем, а потому можно ли и быть успешному набору? Можно бы было к вам кое-что написать, чем бы вы нас не токмо извинили, но и крайне удивились беспечности здешней. Ежели Алексей Иванович (Васильев, управлявший одною из экспедиций государственных доходов) захочет, то он молвит кое-что, судя по посланным к ним счетам, но я оставляю в молчании: авось, либо Бог поможет, и помалу справимся без дальних каверз. Вы только между тем пощадите и не будьте к нам строги и не расшевелите нас». Однако приведение этой части в порядок представляло большие трудности и не могло вполне утаться и

позднее, как видно из письма Державина к губернскому предводителю дворянства в конце 1788 года.

Успешнее были старания губернатора об ускорении производства дел. Об этом можно судить по письму, в котором лично незнакомый с ним человек, некто Кострицкий (уже в июле 1786 года) горячо благодарит его за окончание своего дела с однодворцами. «Оно, — говорит он, — столько лет волочься, верно никогда бы конца не получило, если бы ваше прев., по правосудию своему и всегдашнему о благе вверенного вам бдению, не обратили на него свое внимание. Сие тем паче мне чувствительно, что в самое кратчайшее вступления вашего в Тамбов время столь запутанное и много лет без всякого попечения брошенное дело решить изволили, не зная еще и меня и не имея о том к особе вашей от меня докуки. Правда, я хотя и искал еще случая прибегнуть о том чрез кого-либо с просьбою; но не будучи, м. г., вами знаем, не смел сам собою вас беспокоить; а в. прев. благодеянием своим в том меня упредили; поверьте, м. г., что я никогда не ожидал конца сему делу; много раз просил кого надлежит из бывших в правлении судей, да и Бельского (советника уголовной палаты) уже просил, однако и они просьбы моей не вняли. Вот какие, м. г., были судьи, что не могли столько лет дело сие решить. Теперь мне, по милости вашего пр., осталось просить, чтоб благоволили приказать сделать по определению исполнение и меня ввести во владение стяжанной еще дедом моим мельницы и тем довершить ваше ко мне благодеяние, а соперников моих про кончить».

Замечателен и ответ Державина на это письмо. С самого переселения в Тамбов его очень смущало обстоятельство, которое в наше время может казаться странным и едва вероятным: в присутственных местах не было собрания указов и других узаконений; они давно были затеряны. Когда их не нашлось и в архиве бывшей воеводской канцелярии, то Державин стал хлопотать о присылке ему печатных экземпляров или хотя копий из Москвы. Для этого воспользовался он случаем попросить о том Кострицкого. «В здешней губернии, — писал он ему, — великий недостаток в законах: безызвестно, были ли они когда здесь в употреблении; в таком случае, не можно ли, м. г. мой, взять на себя труд, по приложенной при сем записке, печатные или же и списанные, особливо с 765 года по сие время, купить, чем чувствительно меня одолжить изволите, и я с покорнейшею моею благодарностью издержанные на то деньги к вам доставить не премину. Что касается до произведения в самое действие определения по делу вашему, то извольте быть уверены, что я особливо приложу о том мое наблюдение: потому паче, что такая здесь вкоренена была во исполнении слабость, что указам почти ни у кого уважения не было, что надобно было несколько раз писать об одном деле, дабы добиться какого успеха. Словом, не похвально отзываться о ком-либо с осуждением; но необходимость иногда извлекает правду. Во осторожность свою, чтоб не подвергнуться иногда за проволочку без вины ответу, лишь

приказал я тронуть за дела прошлых лет и, освидетельствовав их, привести в порядок, то и увидел тысячу подобных вашему, или, лучше сказать, беззакония превзыдоша главу мою. Следовательно, всепокорнейшая моя просьба была б не несправедлива, чтоб некоторое время до водворения здесь порядка, грехи и беззакония наши седмерицею прощаемы были, как то и по рекрутским наборам какую справедливость спрашивать, когда все основывалось на как-нибудь? В будущее время, смею уверить господ просителей, что не будут они иметь причины утруждать об обидах своих вышнее правительство».

О присылке законов Державин еще прежде просил своего московского приятеля и родственника И. М. Арсеньева, который, однако, мог выслать ему только адмиралтейский регламент и полковничью инструкцию, объясняя при этом, что других законов в продаже не отыскалось, а так как они более не печатаются, то и впредь не предвидится надежды исполнить его желание. Поэтому Арсеньев советовал Державину выписать нужные указы из Петербурга, через Васильева, который по приязни с ним, конечно, найдет возможность собрать их и доставить.

Кроме законов, Державин просил Арсеньева о приискании в Москве приказных служителей, которые согласились бы перейти на службу в Тамбов, где и в этом отношении ощущался большой недостаток. «В бытность мою в Москве, — писал губернатор своему приятелю, — проговаривали вы, что от уничтожения Вотчинной коллегии осталось довольно канцелярских служителей: то не можете ли, батюшка, человека два-три хороших секретарей и несколько также получше прискаты копиистов? я бы им дал тотчас сколь можно места повыгоднее. Здесь крайняя в сих людях нужда; а особливо ежели бы были хорошего состояния, а более не пьяницы, я бы чувствительно вам был обязан».

При этом последнее желание так пояснялось Державиным (в первоначальной, после зачеркнутой редакции письма): «чтоб они были поведения хорошего, а больше всего чтоб не были заняты тою игрою, которая называется пьянством и которая, кажется, хуже всякого порока, яко отдаляющая нужное и важное доверие по должности».

В ответ Арсеньев прислал прошения нескольких канцелярских служителей, «людей порядочных», как он свидетельствовал, но прибавляя, что «так как они все люди бедные и несколько времени живут без жалованья», то «своим коштом» доехать до Тамбова не могут и просят назначить им пособие. Державин был не против исполнить это желание, только просил наперед объявить этим лицам, что они на первый случай могут быть приняты не иначе как в столоначальники, получающие в год по 180 р., или в помощники столоначальников, с жалованьем по 100 р.; но так как в Тамбове крайний недостаток в исправных секретарях, то по удостоверении в их способности к этой должности они «с великим удовольствием помещены будут на секретарские вакансии и представлены к производству в чи-

ны, конечно, прежде года. Вдруг дать им такие места было бы обидно для тех, которые теперь занимают те же должности. Надобно, чтоб они постыдились их (т. е. нынешних секретарей) как поведением своим, так трудами и знанием: в таком случае можно уже не краснеть и по справедливости отличить их достоинства». Эти переговоры длились до конца года; наконец, в ноябре Державин просил Гудовича сделать об этих лицах сношение с герольдиею.

Пополнить недостаток канцелярских служителей было, однако, легче, нежели исправить или заменить тех из высших чиновников, которые своею медлительностью или недобросовестностью тормозили дела. Таков был особенно советник уголовной палаты Бельский: на него в первое же время подана была палатою жалоба, что «он медлит, не подписывает дел и не отзывается притом никаким голосом». Державин сделал ему увещание и уведомил о том Гудовича. Как мы видели, и Кострицкий в письме к губернатору упомянул, что он по своему делу несколько раз напрасно обращался к судьям, в том числе и к Бельскому. Об этом последнем ходили по городу очень дурные слухи; рассказывали даже, что он был приговорен к каторге, но подошел под милостивый манифест; однако не велено было определять его ни к каким должностям.

Еще до приезда нового губернатора Гудович посылал Бельского в Козлов с каким-то поручением: тогда этот чиновник собирал на имя наместника взятки. Вследствие того Гудович частным образом через других велел ему подать в отставку, а Державин предложил палате сделать ему выговор. Несмотря на то, Бельский оставался на службе: тайна такого снисхождения заключалась в том, что он имел сильных покровителей в Петербурге и определен был по просьбе княгини Вяземской. Когда Державин был в Петербурге, то Васильев показывал ему письмо Бельского, просившего ходатайствовать о переводе его в наместническое правление. Убедившись в негодности его, Державин теперь сообщил все, что знал о нем, Васильеву, прося посоветовать ему, «чтоб он унялся от своих дурных дел и заслуживал бы лучшее о себе мнение». Васильев благородно отвечал, что отрывается от него, «когда он столько дурен, то и не заслуживает никакой помощи; вы знаете меня, что я не люблю никогда защищать то, что дурно, а и в вас я уверен, что вы напрасно на человека не нападете; то и оставляю на волю с ним поступать, как долг ваш велит». Но Державин не решился действовать по всей справедливости, т. е. «представить в сенат об отрешении его», как бы следовало по собственному сознанию губернатора, и это, конечно, потому, что за Бельского были еще и другие ходатаи: он исполнял поручения Л. А. Нарышкина по его имениям; Нарышкин за него просил, и Державин отвечал, что «поставит себе за особенное удовольствие исполнить повеление вельможи и оказывать в чем можно свое уважение и отличность г. советнику Бельскому».

Надобно, однако, заметить, что в 1788 году имя Бельского совершенно исчезает из списка служащих в тамбовских присутственных местах, и таким образом Державин, по-видимому, принужден был отказаться от той уступки светским отношениям, которую сделал было. Из таких же внешних соображений он должен был пристроить у себя несколько рекомендованных ему лиц; напр., по просьбе графа Воронцова и кн. Дашковой определил майора Берзилина в уездные стряпчие, а по просьбе Васильева дал место советника уголовной палаты Осипову, женатому на побочной дочери князя Урусова, родственника Вяземских. Как человек ненадежного поведения Осипов поручен был особенному попечению губернатора, который и принял его ласково, но после потерпел от него много неприятностей.

Между тем Державину не удалось перевести в Тамбов двух любимых петрозаводских чиновников: советника Свистунова и состоявшего прежде при Тутолмине Поспелова. Сначала он сошелся предлагать их Гудовичу, «чтоб не подать ему, — писал он, — ни малейшего подозрения, что я желаю набрать сюда к должностям людей мне преданных и тем составить какое-либо свое общество»; позднее же обстоятельства так сложились, что оба лица, как увидим в следующих отделах, получили должности в Петербурге.

Здесь же, кстати, укажем на шуточное письмо, которым Державин приглашал какого-то петрозаводского купца (вероятно, раскольника) перейти в Моршанск на должность купеческого маклера:

«Архимагир страны сей благосклонен ти есть, готовит ти место, место злочно, место покойно, отнюдуже отбеже всякая болезнь и воздыхание, а именно в Тамбовской губернии при реце Цне находится некий новосозидаемый град Моршанск, идеже с неких лет, а паче прошлый год стекалося из всего царства все-российского великое множество купечества, купли ради хлебные. — Богатство, яко река, лиется и обращается злата в торговле ежегодно около полутора миллионов рублей, велие сокровище! В сем граде нужен муж с твоими талантами, иже бы был сведущ в письмоводстве, в законах искусен и трудолюбив, в звание мытаря, а иначе сказуется, в должность купеческого маклера. Аще ты восхощеши, можешь сим мгновенно быти, для тебя бо единого место сие до ответствения твоего на писание сие оставяется праздно...» и т. д.

Было ли принято это предложение, нам неизвестно.

15. Строительная часть. Описание губернии. Заботы о судоходстве

Одна из главных забот Державина касалась строительной части. Поэтому он много хлопотал о приискании в окрестностях Тамбова мест для ломки камня и о доставлении городу кирпича, леса и дров. Уже 18-го апреля он поручил коменданту отправить

из рабочего дома человек двадцать колодников в Кирсановский уезд для ломки камня; однако на месте встретились затруднения со стороны жителей, уверявших, что камня более нет или что его можно ломать только зимою. Вследствие того губернатор сам ездил для осмотра бывшей каменоломни, но, кажется, никакого результата не добился. Заметим мимоходом, что при этом случае он осмотрел в Кирсанове присутственные места и, найдя в уезде-ном казначействе беспорядки, отдал казначея под суд.

С самого приезда в Тамбов Державин стал думать о подробном топографическом («камеральном») описании губернии, что, как мы видели, было поставлено губернаторам в обязанность. 11-го июля 1786 г. он разослал земским исправникам всех уездов программу такого описания, т. е. вопросы, по которым требовались сведения, с предписанием доставлять ответы по частям, «дабы не вдруг вам, оставя нужнейшие по должности вашей дела, заняться сим препоручением. Сей труд сделает вам особливую честь». Далее объяснен был самый способ собирания сведений: «в случае же, когда из которого селения будут отвечать, что темно, невразумительно или несоответственно прямой силе вопроса, то в таком случае можете кого-либо из заседателей ваших послать в то селение и на месте против каждого вопроса сделать очистку». Вследствие этого уже к началу сентября доставлены были из всех уездов, кроме двух (Елатомского и Темниковского) требовавшиеся сведения, по которым и было составлено описание губернии.

С особенным усердием заботился новый губернатор о судоходстве реки Цны. В начале мая (1786 г.) он командировал землемера описать берега ее и обстоятельно исследовать, удобен ли по ней водяной ход от Тамбова до Морши, от Морши до Мокши и даже до самой Оки. Он надеялся таким образом улучшить торговлю Тамбова и облегчить привоз как строевого, так и дровяного леса, в котором там чувствовался великий недостаток, а равно и камня, находившегося, по слухам, в большом количестве по берегам Цны ниже Морши. Чтобы удостовериться в этом лично, Державин, по желанию Гудовича, ездил в Моршанск. Он уже мечтал об устройстве шлюзов на Цне и в иколе писал Гудовичу: «Вечную вы бы имени своему оставили славу открытием судоходства до Тамбова, ибо тогда-то бы сей город выстройкою своею мог бы скоро прийти в цветущее состояние, и те самые, которые теперь вымышляют крайние препятствия, ощутили бы великую от онога (судоходства) пользу».

Позднее Державин составил по этому предмету записку, для которой вызывал в Тамбов елатомского мещанина. К концу года эта записка была готова и через генерал-губернатора представлена в Петербург, здесь же передана на рассмотрение инженерной комиссии. По просьбе Державина Васильев справлялся о ней; один из членов комиссии отозвался, что «описание весьма хорошо, планы, однако, недостаточны, ибо сделаны не по правилам гидравлики и по ним никак нельзя решиться, затем что ни падения, ни быстроты течения воды не видно, и необходимо

надобно для съемки посылать нарочного. До возвращения княжьего они, однако, никакого исполнения делать не будут. А рассмотря, будут дожидаться его; разве спросит государыня: тогда должны будут предстать со своим мнением». Это было писано в то время, когда Вяземский ездил в саратовский край. Дело, однако, кончилось ничем. Когда возникла вторая турецкая война, то генерал-прокурор сослался на неимение свободных денег для приведения предположений тамбовского губернатора в исполнение.

Мы видим, что Державин с величайшею энергией и при самых лучших предзнаменованиях приступил к отправлению новой своей должности; по всем отраслям управления закипела необыкновенная деятельность, которая могла бы привести к самым полезным для края результатам, если бы не встретились вскоре неожиданные препятствия. Виною были отчасти запальчивость и неосторожность самого губернатора; но нашлись и другие совершенно от него не зависевшие причины, заключавшиеся в характере и образе действий лиц, с которыми судьба привела его в соприкосновение. Львов, хорошо знавший своего друга, уже в одном из первых писем своих в Тамбов с шутовскою иронией заметил: «Рад я весьма, что ты Тамбовом доволен; потому только не очень я зарадовался, что ты и Олонцом был обрадован сначала».

16. Вести из Петрозаводска

Самым близким к Державину человеком в Петрозаводске был старший советник правления Свистунов: он искренно привязался к губернатору и, несмотря на перемену обстоятельств по удалении Державина, нисколько не изменился в своих чувствах к нему, не пристал к его противникам, даже не показал виду, что в чем-нибудь разделяет их образ мыслей на его счет. За это, разумеется, ему пришлось дорого поплатиться: его провозгласили главным виновником ссоры между губернатором и наместником; утверждали, что он, пользуясь слабым характером первого, лезть вкрался в его милость и водил его за нос. По переселении Державина в Тамбов между ним и Свистуновым началась деятельная переписка.

При проезде через Петербург Державин усердно рекомендовал его своему преемнику Харитону Лукичу Зуеву, который, прибыв в Петрозаводск, действительно обласкал этого чиновника и выразил сожаление, что он выходит из правления; но это, конечно, еще более возбудило против Свистунова злобу и зависть в его недоброжелателях. Вскоре Олонецкую губернию ревизовали сенаторы граф Ал. Ром. Воронцов и А. В. Нарышкин. Свистунов подробно описал своему бывшему начальнику пребывание их в Петрозаводске. Сделав несколько замечаний о разных частностях, ревизоры заявили вообще полное удовольствие за скорое и правильное течение дел в присутственных местах Олонецкой гу-

бернии, и Свистунов восклицает: «Теперь не ясно ли обличилась ложь Тимофея Ивановича, что губерния вся в таком неустройстве, что гибнет?» Однако Державину и его бывшему подчиненному не могло быть приятно, что сенаторы остались особенно довольны вице-губернатором и директором экономии, которые в глазах их вовсе того не заслуживали. Поэтому насчет первого Свистунов заметил: «Скажите ж мне теперь, — при всем том, что он явно грабил, — что он проиграл?» Вероятно, вследствие отзывов Тутолмина, граф Воронцов, несмотря на свое расположение к Державину и на рекомендацию нового губернатора, не оказал особенного внимания Свистунову, который об этом писал: «Он во все время первый самый вопрос мне сделал; подошел ко мне, при всех сказал: «вы были больны?» Я отвечал: «так» — тем наш разговор и кончился, с тем и разъехались. Хорошо тому на свете жить, за кем само счастье гоняется. Лишь только сенаторы от нас выехали, то на другой или на третий день Сергей Никитич (Зиновьев, вице-губернатор) получил копию с именного указа, что он перемещен в Петербург членом в новую экспедицию строения дорог с производением жалованья 1875 рублей. Он теперь так рад, что земли под собою не слышит. Да кто, полно, не обрадуется, выходя из здешнего ада?»

В этом же письме Свистунов уведомил, что он уже уволен сенатом и только ждет указа о том. Однако ему пришлось вынести еще унижение от Тутолмина, приехавшего в Петрозаводск незадолго перед Пасхой. Вот любопытное описание сделанного наместнику приема. Свистунов пишет: «Сего апреля 9-го ч. Тимофей Иванович к нам приехал и был встречен со всей им желаемою почестью, т. е. за 500 верст; в Каргополь на встречу его выслан был советник; потом, за 25 верст, на первую станцию выслан был другой советник, и к нему ж в сотоварищество выпросился сам волонтером Дмитрий Иванович, чтобы тем более унижить его ассистенсью. При въезде в город, на градской границе, встречен был комендантом с конвоем и всем купечеством, и в препровождении всей сей свиты когда показался он в виду города, то началась пушечная канонада и продолжалась во все шествие его до самого дворца, где при выходе из кареты он и с супругою принят был перед крыльцом губернатором и первостепенными чиновниками, и от того так он весел был, что не оставил изъяснить своего удовольствия, что он сделанною ему почестью весьма доволен, и говорил очень много и благосклонно поодиночке почти со всеми здешними чиновниками, кроме меня; меня ж старался и взглядом не удостоить. На другой день праздника, т. е. в понедельник, званы были на обеденной стол председатели палат и все советники, а меня именно звать не велели, и такое свое ко мне особенное неблаговоление нарочно велел расславить по всему городу. Подумайте, как он зол и малодушен, какую мелочью мстить мне вздумал, и тогда, когда со стороны моей во всех случаях должная к нему, как к начальнику, почесть соблюдена была как при встрече, так и в первый день праздника. Вот каково мое здезь положение: вся чувствуе-

мая им к вам ненависть обратилась на одного меня; ибо изо всего города один только я остался таков же, каков был и при вас. Но это только еще начало его злобы, а что будет вперед — не знаю, а я, к несчастию моему, и поныне не могу еще дожидаться моего увольнения».

Затем Свистунов описывает поведение своего товарища, советника Ставиского; благодаря своему «перевертливому расположению» он успел так понравиться Тутолмину и выставить перед ним свои заслуги, что тот на обеде (к которому Свистунов приглашен не был) успех ревизии по наместническому правлению приписал одному Ставискому и объявил себя ему одному обязанным, тем более что «по соображению службы нашей не надеялся, чтобы правление в состоянии было так отлично представить себя ревизорам».

Позднее положение Свистунова сделалось невыносимым, как видно из письма его от 25-го мая. Тутолмин всячески гнал его за приверженность к Державину; «неоднократно при собрании всех здешних чиновников, — сказано в этом письме, — начинал он порочить вас в отправлении вашей должности и в том всю вину относил на одного меня» и т. д. «О Боже мой, как злоба людская нагла!.. Если бы я тогда, когда вы были здесь, старался только лестью вкрасться в вашу благосклонность, не чувствуя в душе моей истинной к вам привязанности, то что бы меня теперь оставляло так твердо и постоянно к вам приверженным и для чего бы я, так же как и прочие, не мог перевернуться и, согласясь с злодеями вашими, обще с ними ругать и поносить вас, как они поносят, если бы я действительного в душе моей не имел отвращения от столь гнусной подлости? Потом г. Ставиский, желая более угодить ему, начал меня везде ругать и, всячески злословя, всех уговаривать, чтобы никто со мною не знался и в дом ко мне не ходил, если не хочет подвергнуть себя гневу его высокопревосходительства...»

В то время Свистунов не подозревал, что Тутолмин придумал против него еще более серьезное средство мщения: подал на него жалобу в сенат; в сентябре Державин благодарил графа А. П. Шувалова за покровительство Свистунову и «избавление его от уголовной палаты по несправедливой жалобе, правительствующему сенату принесенной на него (говорил Державин) из недоброхотства ко мне от Тимофея Ивановича».

Между тем, в ожидании своего увольнения, Свистунов взял отпуск в Петербург. Державин просил за него Воронцова и, упоминая о взведенных на него клеветах, так между прочим опровергал ходившие толки: «Пусть я дурен, худое имею воспитание и бешеную голову, но только рассудка от меня, думаю, никто отнять не может. Как же мог Свистунов водить меня за нос и делать из меня, что ему угодно, а особливо расстраивать с генерал-губернатором против моей и своей пользы? Словом, поелику многим я известен, то надобно было недоброжелателям моим, отвратив от себя, взвесть на кого-нибудь причину нашего несогласия; а он был мне предан и имеет душу неприменчивую,

то и устремились удары мести на него, бессильного и мало еще известного, поелику со мною, по покровительству моих благодетелей, не могла злора ничего сделать. Будьте милостивы, в. с., и удостоите его вашего покровительства по благотворительному свойству души вашей: как вы многим в несчастиях и в таковых худых обстоятельствах помогали, то заставьте и его быть вам благодарным и прославлять ваши добродетели».

Наконец в исходе июля Свистунов получил давно ожидаемое увольнение от должности. Еще до того Державин намеревался перевести его советником же в Тамбов и представил о нем Гудовичу записку. Эта бумага объясняет настоящую причину гонения Свистунова Тутолминым. Во время объезда Державиным губернии наместник прислал из Архангельска предложение, чтобы прокурор, принимая на его предложения резолюции от вице-губернатора, сообщал их советнику. Свистунов, находя это противозаконным, так как губернатор оставался в губернии, донес об этом Державину на разрешение. «Тимофей Иванович, — говорит Державин, — разгневался, что по намерению его исполнить не удалось; а для того, не смогши против меня, обратил все мщение на Свистунова: писал в сенат и просил об отрешении и суде его, жалуясь, что он его не послушал и отнес его предложение якобы ко мне на ревизию. Сенат, видя несообразное требование и ощутительную привязку, приказал Тимофею Ивановичу взять со Свистунова против его жалобы объяснение и доставить к нему на рассмотрение. Т. И. объяснения не взял, для того что оно по законам было бы не в его пользу. А наконец, по просьбе Свистунова, на 4 месяца в отпуск, не представлял долго сенату, и притесняя его всячески, длил с декабря по май. Свистунов, видя страшное гонение, должен был принимать меры, к осторожности служащие, а для того, как он и в самом деле нездоров, репортуясь больным, не выходил с полгода с квартиры по самый его в Петербург отпуск».

Однако перемещение Свистунова в Тамбов не состоялось. Предвидя, что Державин и на этом месте долго не останется, он предпочел искать службы в Петербурге и принят был Дашковой в советники Академии наук, где таким образом сделался одним из преемников Козодавлева. Хотя он и не получал довольно долго полного жалованья по этой должности, он все-таки дорожил ею и старался всеми силами «сыскивать благоволение княгини Екатерины Романовны, дабы, — писал он Державину, — не дать ей случаю сказать и обо мне то же, что она говорит об Эмине и Грибовском, что вы, по доброй вашей душе, в выборе людей ошибаетесь и с доверенностью вашей часто попадаете на людей ленивых, ветреных и много о себе мыслящих». Любопытны советы, которые по этому поводу Державин дает своему бывшему подчиненному. Они показывают, как хорошо он понимал и княгиню Дашкову, и житейскую мудрость известного рода: «Стерегитесь, ради Бога, что-нибудь в трудах ваших брать на себя, а относите все, а особливо публично, единственно к ней и не оставьте отдавать справедливость ее достоинству, это ей

приятно. Шарпинский (также служивший при Дашковой), я знаю, что опасен, но вы не преставайте у нее быть чаще и тем все его интриги пресекайте. Впрочем, я знаю время, когда за вас попросить, ежели паче чаяния продлится, что она вам долго полного жалованья давать не будет. Она, конечно, вам не оставит сделать добро, ежели хорошенько узнаете вы ее нрав и угодите. Козодавлев в один только год чрез нее получил полковничий чин, полное жалованье и от государыни изрядную с брильянтами табакерку».

До переезда своего в Петербург Свистунов служил Державину посредником в сношениях его с Петрозаводском, где у поэта были кредиторы и должники, где еще оставалась значительная часть его имущества в мебели и всякой домашней утвари. Мебель была продана новому губернатору, который, однако, долго не платил за нее, а Державин, несмотря на всегдашнее свое безденежье, не хотел его беспокоить. В одном из писем к Свистунову он так выразился о своем преемнике: «Я вас предуведомлял, что он честный и умный человек, и сверх того мне об нем его физиономия много хорошего изъяснила, а вы знаете, что я внутренним моим предчувствием не слишком много в заключении об людях ошибался». В то время, как Державина поносили враги его в Петрозаводске, многие из тамошних жителей жалели о его удалении; один из прежних его подчиненных писал ему из Архангельска: «Сколько мне известно из писем моих приятелей и приезжающих сюда из Петербурга морских офицеров, все честные люди в Петрозаводске и целой Олоонецкой губернии поселяне, лишась в особе вашей милостивого начальника, их благодетельствовавшего, чувствуют урон свой в полной силе».

Подобно Свистунову, бывшие подчиненные Державина Эмин и Грибовский вслед за ним оставили губернию. В начале 1786 года мы находим Эмина уже в Петербурге, и 1-го февраля он был определен Дашковой в канцелярию Академии наук; но недолго занимал он эту должность и расстался со своею начальницею недружелюбно. Она поручила ему принять участие в занятиях по составлению академического словаря, но ему это дело показалось недостойным его: он перестал являться на службу и написал грубое письмо к секретарю академии Лепехину. Призванный к княгине, он в оправдание свое сказал, что «очень огорчен был сею египетскою работою, за которую он себя потерять должен, и что он имеет такие способности, что в лучшее употреблен быть может, нежели эта безделица. Княгиня ему желала лучшего счастья в другой службе; он очень скоро то и исполнил, и, приехав к ней (в мундире) на дачу, когда ее не было дома, велел сказать, что он перешел в драгунский полк и с княгиней приехал прощаться». Так со слов Дашковой писала Державину жена Свистунова; вскоре и сама княгиня рассказала ему об этом поступке Эмина, приведя его отзыв, что «должность его при Российской академии человеку быстрого ума скучна и невместна». Считая себя талантливым писателем, Эмин в это

самое время напечатал свою комедию «Мнимый мудрец», в которой публика, зная отношения автора к Державину, приписывала последнему некоторые сцены. Послав ее своему покровителю в Тамбов, Эмин писал ему: «Колесо счастья я смазал дегтем случайности; я теперь квартирмейстер казанского кирасирского полку и первый фаворит первого фаворита большого фаворита. Вы меня, конечно, не поймете: я любим Львовым (Сергеем Лаврентьевичем), который любим его светлостью (Потемкиным). Сейчас еду с ним в Ригу». На письмо Дашковой Державин отвечал: «Весьма сожалею о дерзком поступке Эмина: что делать? когда люди не умеют сохранять своего счастья и, мечтая выше мер о своих достоинствах, стремятся на воздух, — их обыкновенная участь падение; но я, кажется, чистосердечно вашему сиятельству доносил, что он имеет остроу, но запрометчив и дерзок; никто его лучше не накажет, как он сам себя, что от тихого и спокойного пристанища пустился в волнение».

Незадолго перед тем в Петербурге приобрела большую известность басня Эмина «Сильная рука владыка», написанная на Тутолмина в защиту Державина и на перевод последнего в Тамбов. Разумеется, что она тогда ходила в рукописи; в печати явилась она не прежде 1801 года (в альманахе «Правдолюбец»). Здесь Тутолмин представлен волком, Державин — овечкою, сенаторы и во главе их Вяземский — медведями, наконец, императрица, под защиту которой овца прибегает, выведена под именем льва. В этой басне рассказывается, что волк невзлюбил овечку за то, что к ней были благосклонны

Сам Лев и ближние его...
Волк, у овцы отъевши хвост и уши,
Пред суд медведей сам предстал

и принес им жалобу:

«Овечка кроткая...
Когда-то раз
Меня, взбесясь, боднула рогом в глаз»,

почему волк и просил наказать ее:

И как кто суд держал весь в лапе (т. е. Вяземский),
Тот был ему и сват
И брат, —
Вмиг дело стало в шляпе!..
Тотчас
К овце указ
Наслали судьи знамениты:
Бесчестье, проести и волокиты
Овца чтоб волку заплатила. —
Овечку эта весть сразила...

Невинная, между прочим, отвечает:

«Теряюсь в мыслях и не постигаю:
 Как я рогатой сочтена?..
 Или законы суть такая хитра сеть,
 В которой лишь овца бессильна увязает,
 А волк, ее прервав, свободно пролезает?..
 Угодно ли овце вам будет предложить
 Пред суд предстать
 И дать
 Овечке с волком ставку?» —
 Плутяга волк, смекая делом,
 Что ежели оправится овца,
 Тогда доедут молодца...

собрал зверей в свидетели своей ссоры с овцой

И насулил всем золотые горы.

Звери клялись всеми богами, что овца действительно бодала их, что им уж и самим плохо жить с нею:

Овца и их рогами бьет и мучит...
 Овца, хотя и хлебосолка,
 Искусства в свете жить не знала
 И с заднего крыльца к медведям не ежала,
 А волк и так и сяк
 К судьям уж забегал.

Сутяга, волчий сват, представил судьям:

Понеже де в обиде
 Овцы реченной вышесказанному волку,
 Свидетелей в приказном виде
 Уж более числа указного скопилось,

то лучше истинным признать решение совета, дать овце строгий выговор и требовать от нее подробнейшего ответа.

Тогда овца смекнула,
 Что истины весы неправда пошатнула:
 Прибегнула к престолу
 И с сродной кротостью овечью полу
 Царя зверей просила.

Великий Лев, узнав, что овца в суде была признана рогатой, благоволил —

Овечку перевести на тихие луга,

т. е. перевести Державина в другую губернию.

Эту басню не раз припоминали друзья Державина в переписке с ним. Так Н. И. Ахвердов, впоследствии бывший кавалером при великих князьях Николае и Михаиле, писал ему в августе 1786 года: «Я вас знал всегда любящим делать добро и исполнять должности свои в тишине и без шума, и для того могу вас

поздравить с нынешним вашим положением. Овечка, на тихие луга переведенная, кажется, пасется с врожденною ей скромностью и добросердием в мире и добром союзе со всякого рода зверьми и зверками. Сие заключаю из того, что не слышно здесь ни реву волчьего, ни пищания крыс, ниже ядовитых и лукавых змий шипения. Сколь было бы спасительно для всех родов добрых и невинных зверей, если бы между ими, судьбами и промыслом Всевышнего, находилось побольше и почаще овечек с рогами, которые бы, в защиту себе и другим выбадывая глаза волкам, оставляли хищным зверям, надменным силою своею, примеры для содрогания:

Пасись, овечка дорогая,
 На жестких правоты лугах
 И, сердца пламень утоляя
 Невинной честности в струях,
 Ищи ты счастья в себе;
 Посей, примером научая,
 Зверей тамбовских ты в душах
 Желанье следовать тебе.

Несколько позже другой приятель поэта, Небольсин, так выражался в письме к нему: «П. В. Неклюдов, яко любитель большого города образа жизни, выдержал бы с вами сильный спор, приведя в пример случай недавно на тихих лугах ставшийся, чрез который разнесено здесь, что там при пастве смиренных овечек есть видно собаки, которых лай по ветру дошел до ушей зверей хищных во вред доброго пастуха, будто он пристрастно овечек пасет: сгоняя одних с нив, доставляет другим неправильно; хотя тот лай ложным все приемлют, однако и то правда, что по отдаленности от селения в чистых полях пастуху нужна более предосторожность, дабы волки и волчята не могли пастуху вред сделать». В бумагах Державина сохранился весьма любопытный черновой ответ на это уведомление, им самим, однако, и зачеркнутый. «За дружеское ваше письмо, — было тут сказано, — в котором вы уведомляете о злоречии насчет овцы, что будто она козлов и ослов выгоняет с покойных лугов и отдает оные другим, покорнейше вас от всего сердца моего благодарю».

Слухи, на которые намекается в этой переписке, найдут разъяснение в последующих рассказах.

17. Дело по клевете Сатина. Загрязский

В селе Конопляновке, Кирсановского уезда, жил богатый помещик, капитан Михаила Ларионович Сатин, старик, известный своею буйною и нетрезвою жизнью. Незадолго до приезда Державина в Тамбов Сатин составил духовную в пользу двух прижитых с крепостною женщиной незаконных детей своих, по имени Марковых. При этом он показал, что родственник его, живший также в Тамбовской губернии, генерал-майор Иосиф Сатин утвердил это распоряжение своим согласием и свидетель-

ством. Но по вступлении Державина в должность губернатора генерал Сатин заявил наместническому правлению, что это показание — бесстыдная ложь, и просил: тех незаконных детей в родство Сатиных не включать и «не бесчестить тем фамилию».

Законными наследниками капитана Сатина были: племянник его, полковник Николай Никол. Кормилицын, стоявший с полком своим в Тамбовской же губернии, и внук, подполковник Василий Алексеевич Зайцев, числившийся капралом в корпусе кавалергардов и, следовательно, сослуживец Мамонова, живший в Петербурге. Державин был уже прежде знаком с обоими и обещал им свое содействие в их домогательстве наследовать имение капитана Сатина. Для этого он вызвал последнего в Тамбов и, опираясь на заявление родственника его, генерала, уговорил старика переменить свое распоряжение, объявив своими наследниками племянника и внука. Михаил Сатин пригласил их к себе в деревню и отдал одно имение Кормилицыну, а другое Зайцеву, причем в то же время отпустил всех своих дворовых людей на волю.

Но потом он раскаялся в этом поступке и вместе с Марковыми стал разглашать, что Державин бранью и угрозами вынудил у него новое распоряжение, радея за Кормилицына по любовной связи с его женою. В июле 1786 г. отправлена была к государыне жалоба на Державина, в которой между прочим было сказано, что он для принуждения Сатина держал его под караулом и грозил как его самого, так и незаконных его детей посадить в смирительный дом. При этом следует заметить, что жалоба эта писана была в Саратове по поручению тамошнего губернатора Поливанова, которому хотелось за дешевую цену приобрести от Марковых имение Сатина. Для вернейшего успеха жалобы один из Марковых поехал в Петербург с новыми подробностями гнусной клеветы; враги Державина старались «вытащить» туда и самого старика, но это им, однако, не удалось. Императрица приказала Гудовичу произвести следствие. Капитан Сатин известен был всей губернии своим зазорным поведением; соседи его хорошо знали, что он с раннего утра бывал «в шумстве», нередко выезжал в таком виде на базар, многим «делал привязки» и многих приказывал бить своим людям. Сам генерал Сатин не скрывал, что буйный родственник его заставлял свою дворню стрелять в его дом залпами дробы и, поймав на дороге людей его, сек их плетью и приказывал выкалывать им глаза. Поэтому генерал-губернатор, и без того считавший капитана Сатина чуть не сумасшедшим, легко мог убедиться в истине. По подробном исследовании всех обстоятельств он нашел Державина невиновным и в рапорте императрице (от 18-го сент. 1786) не только вполне оправдал своего губернатора, но и просил ему защиты, отдавая справедливость его заслугам и трудолюбию; вместе с тем он представил об утверждении за Кормилицыным и Зайцевым отданных им деревень. Во время подачи Сатиным жалобы Львов отсутствовал из Петербурга по командировке, о ко-

торой будет сказано ниже. Узнав об этом деле из писем своего друга, он поспешил воротиться и, приехав в октябре, писал Державину:

«Я тотчас старался узнать, что здесь толкуют, и мне насклази Бог знает что в твою невыгоду; побежал я с изъяснениями к графу Алекс. Романовичу (Воронцову) и имел наконец удовольствие не раз уже от него слышать обещание на просьбу мою, что сего ложного доносу без взыскания, а тебя без удовольствия, конечно, ни в коем случае не оставят. Граф А. Андр. (Безбородко) сегодня то же мне сказал, говоря еще к тому, что дело сие сделало тебе больше добра, нежели зла вследствие донесения Ивана Васильевича государыне».

Державин между тем через Безбородку просил удовлетворения и обстоятельного исследования причины, побудившей Сатина к такой клевете, и затем «гласного перед публикою оправдания». Просьба эта не имела последствий.

Вскоре у капитана Сатина возникло новое дело, любопытное между прочим по распоряжениям губернской администрации и по высказанному о них суждению одного из петербургских вельмож. Неизвестно, по какому поводу, Сатин заманил к себе в дом однодворца Свиридова и едва не до смерти высек его «ездовыми кнутьями». По рапорту кирсановского земского суда в наместническое правление Державин донес о том Гудовичу, объясняя, что он не принял никаких других мер, даже не поручил этого дела «в особе замечание стряпчему», дабы не подать виду, что он притесняет Сатина за принесенную жалобу. Одно-временно с толками о новом подвиге этого старого буяна родственник жены его Леонтий Магницкий (отец известного попечителя) принес генерал-губернатору жалобу на дурное с нею обращение мужа. Гудович предложил наместническому правлению произвести исследование, а правление передало это поручение кирсановскому предводителю дворянства Сабурову, который вместе с соседними дворянами и отправился в дом обвиняемого для допроса жены его. Правление, недовольное таким распоряжением, сделало Сабурову выговор и поручило губернскому предводителю Панову о поведении Сатина «пристойным образом, с лучшею осторожностью собрать от дворян яснейшие, сколько можно, известия». Вследствие этого губернский и уездный предводители истребовали от дворян письменные отзывы. 11 человек подтвердили известные отзывы о Сатине, шестеро же, «хотя и не сделали огласки о худом его поведении, но ничем его и не одобрили, а отозвались неведением». Правление, имея в виду, что по силе манифеста (21-го апреля 1787 г.), иногда молчание выражает больше, нежели все разговоры, нашло, что сдержанность шести дворян не говорит в пользу Сатина, и потому определило предписать дворянской опеке, выбрав опекунов, взять имение жены Сатина в опеку. Однако Державин, по известной неприязни к нему Сатина, предложил: не приводя этого приговора в исполнение, представить дело на усмотрение наместника. Вслед за тем он обратился к графу А. Р. Воронцову с

просьбою сказать об этом определении свое мнение. Ответ Воронцова, стоивший ему много труда и переделывавшийся несколько раз (из чего видно, какое важное значение придавал ему просвещенный вельможа), так замечателен, что должен почти весь быть приведен здесь дословно:

«Как вы желали знать мнение мое о сделанном у вас по делу Сатина, то по обыкновенной моей чистосердечности, а особливо в рассуждении тех, с коими я дружбою обязан, как с вами, скажу откровенно, что в сем случае, кто бы и не предуведомлен был о деле сем по жалобам Сатина и Марковых, но читав уже определение наместнического правления, не мог бы не сделать заключения о недоброжелательстве к нему, а можно сказать и о притеснении, Сатину сделанном, как-то обыски и распросы о нем и также жене его учиненные совсем не в принадлежащем деле до наместнического правления, а единственно по требованию одного из ее родственников, умалчивая, что во внутреннее хозяйство и подробности сожития мужа с женою если будут таким образом начальники губерний вмешиваться, то выйдут произвольные инквизиции, отнюдь не сходные с образом мыслей государыни, ни с властью, данной наместническому правлению; да и законы в определении сего правления истолкованы совсем превратно, как-то манифест 21-го апреля, что и молчание означает более вины преступника, нежели иного разговоры, а в манифесте именно сие сказано более ко оправданию какого-либо преступника, а не к обвинению его. Мне Сатин не подал никакого особого случая заступаться за него, да он мне и незнаком, а я вступаюсь здесь для того только, что трогается тут личная безопасность и спокойствие каждого, ибо соделанное с ним может случиться и с другими, а потому и жить никому нельзя будет в своих деревнях. По сим уважения, если бы означенный Сатин здесь о том просить стал, то я считал бы долгом за него по справедливости ходатайствовать, конечно, не лично для него, но дабы упредить или воздержать, чтоб впредь правления, губернаторы или генерал-губернаторы не присваивали себе того, что им не дано. Я радуюсь, что сие определение, по приказу Ивана Васильевича, остановлено в исполнении своем, ибо оно упредит жалобу Сатина, которую здесь, конечно б, уважили. Примите сие чистосердечное примечание знаком моей дружбы к себе, а сверх того желанию моему, чтоб установление, столь полезное для спокойствия общества, каково учреждение о губерниях, в прямом своем смысле сохраняемо и исполняемо было».

В то время, когда против Державина строились описанные козни, была у него еще неприятная история, виновником которой был человек почти в том же роде, как капитан Сатин. Это был И. А. Загряжский, командир одного из полков, стоявших в Тамбовской губернии при предместниках Державина. Он не только забирал у сельских жителей безденежно все нужное для полка, не только делал то, «что не позволено войскам даже и в чужих землях», но наряжал на работу в свое село Куровщину (Кирсановского уезда) человек по тысяче и более крестьян, тре-

буя, чтобы они привозили с собою на постройки свой лес и лучшие свои избы, при них же или даже ими самими по его приказанию разобранные. Бедные и без того уже терпевшие разорение и обремененные недоимками поселяне прибегали толпами под защиту начальника, но отсылаемы были к тому же Загряжскому для требования себе удовлетворения, «а он, — по выражению Державина, — довольствовал их плетью». Незадолго до приезда Гаврилы Романовича полк этот переведен был на Кавказ, но там беспокойному командиру его не понравилось: он отпросился в отпуск, и теперь, уже в чине генерал-майора, опять явился в Тамбовскую губернию. Возобновив здесь свои прежние проказы, он между прочим переманил к себе губернского машиниста, держал его силой и заставлял работать в своем селе. Но Державин не захотел по примеру своих предшественников мирволить буяну и стал энергически требовать возвращения машиниста. Когда же Загряжский все-таки не отпускал его, то губернатор отрядил в село сперва капитана-исправника, а потом весь земский суд с поручением настоять на исполнении требования. Взбешенный генерал нагрянул в Тамбов, скакал по улицам с заряженными пистолетами и обнаженной саблей, ругал и стращал Державина в домах, куда ездил, и подстерегал его ночью, чтобы по-своему расправиться с ним. Наконец, видя, что все это ни к чему не ведет, он прислал к губернатору офицера с вызовом на дуэль. Но тот, считая все это «сумасбродным донкихотством», а дуэль — «дурачеством», несовместным с его положением, велел сказать генералу, что если он имеет до него надобность, то может — по частному делу — объясниться с ним у него на дому, а по казенному — в наместническом правлении. Недовольный таким ответом, Загряжский поскакал в Рязань к генерал-губернатору, но и там ничего не добившись, распустил слух, что едет в Киев принести жалобу Потемкину. Чтобы предупредить его наговоры, Державин написал к своему родственнику, бывшему екатеринославскому губернатору Синельникову, прося его обнаружить клевету и объясняя, как для этого следует действовать. Года через два, когда Державину опять угрожала беда, мы видим Загряжского в союзе с его врагом, вице-губернатором Ушаковым, который на имя этого генерала управляет в Петербург 20.000 руб. Уезжая перед тем из Тамбова, Загряжский хвалился, что «добиваться будет возвратиться туда губернатором».

18. Открытие народного училища

Время назначения Державина тамбовским губернатором было знаменательною эпохой в истории просвещения России. Екатерина II посвятила несколько лет соображениям по важному вопросу о введении общей системы народного образования, и теперь предстояло осуществление придуманных мер. На долю Державина выпала честь быть одним из деятельных участников

в этом достопамятном деле. Мысль о заведении в России, по примеру Западной Европы, училищ разных разрядов давно занимала императрицу. В 1773 и 1774 гг. она часто беседовала об этом предмете с приехавшими в Петербург французскими писателями Гриммом и Дидро и впоследствии получила от них составленные ими, по ее желанию, записки о том.

В «учреждении о губерниях», обнародованном 7-го ноября 1775 года, «попечение об установлении и прочном основании народных школ» возложено было на вновь образованные приказы общественного призрения. Они обязаны были заводить училища сначала во всех городах, а потом и в многолюдных селениях для всех, кто добровольно пожелает учиться. Но при совершенном недостатке и учителей, и учебных пособий от названных приказов в первое время нельзя было ожидать успешной деятельности.

Учреждение школ то в том, то в другом городе могло зависеть только от случайных обстоятельств. В Петербурге первая народная школа возникла под именем Исаакиевского училища в 1781 году на средства собственного Кабинета. «Нет сомнения, — сказано было в указе, данном по этому случаю, — что в прочих частях города обитатели, по мере состояния своего, не откажутся содействовать пользе сограждан своих». В самом деле, в том же году появилось в Петербурге еще шесть народных училищ.

Решительное влияние на ход этого дела имели беседы государыни с Иосифом II, приехавшим в 1780 году в Могилев на свидание с нею. Он ознакомил ее с образцовым устройством народных училищ, незадолго до того основанных в австрийских владениях, и лично сообщил ей учебники, изданные предварительно учрежденною там комиссиею училищ. План организации учебных заведений, осуществленный Марией-Терезией, с нормальными школами во главе, так понравился Екатерине, что она решила применить его к России. — В 1782 году учреждена была в Петербурге, по примеру венской, комиссия под председательством П. В. Завадовского; членами ее были назначены академик Эпинус и состоявший при Кабинете П. И. Пастухов. В сотрудники их приглашен был из Австрии уже опытный в деле организации учебной части бывший директор училищ в Темешваре Ф. И. Янкович де Мириево. Ему-то эта комиссия, в первом же заседании своем, и поручила все устройство будущих заведений. По его мысли, сперва предположено было учредить школы трех разрядов: малые (двухклассные), средние (трехклассные) и главные (с четырьмя классами), но впоследствии удержались только первый и последний разряды; заведенные кое-где средние школы были обращены в малые. В первые два года возникли малые народные училища в Петербурге и в других городах Петербургской губернии; в Петербурге же явились два главные народные училища: одно — русское, другое — немецкое, образованное из училища Св. Петра, существовавшего уже с 1703 года. Эти два заведения должны были служить нормальными, т. е. образцовыми для всех прочих. В 1786 году последовало наконец

открытие главных училищ во многих губернских городах империи. Показать, как происходило дело в Тамбовской губернии, и будет предметом последующего рассказа.

До означенного времени в Тамбове не было учебных заведений, кроме жалкой гарнизонной, или батальонной школы и духовной семинарии. Учреждение последней было предписано еще до открытия наместничества в конце 1779 года, но за неимением помещения в Тамбове она первые годы находилась в нижнелюдовском Казанском монастыре. Когда в 1780 г. открыт был в Тамбове приказ общественного призрения, и императрица пожаловала ему, между прочим, на заведение школ 15 т. руб., то зашла речь об основании в этом городе гражданского училища. Письмом от 2-го ноября 1783 наместник Каменский напомнил губернатору Коновницину о необходимости завести на первый случай хоть самую первоначальную школу. Коновницын немедленно собрал всех членов приказа с почетнейшими из дворян и предложил подписку на учреждение школы, но все присутствовавшие от участия в этой подписке отказались. Единственным учебным заведением, куда по нужде можно было отдавать детей всех сословий, кроме духовного, была по-прежнему гарнизонная школа. В таком положении дело народного образования и оставалось в Тамбовской губернии до Державина. На его счастье, время осуществления плана комиссии об учреждении народных училищ совпало с первым годом его управления этою губернией.

В указе на имя Гудовича от 12-го августа, данном в Царском Селе, было сказано, что комиссия об учреждении училищ приготовилась к открытию их в 25 губерниях, к числу которых принадлежали также наместничества Рязанское и Тамбовское. Открытие должно было происходить 22 сентября, в день коронации государыни. Гудович поспешил передать это приказание губернатору, поручая ему приготовить в Тамбове училищный дом и написать городничим в Козлове и Лебедяни, чтобы и там сделаны были надлежащие распоряжения. В то же время генерал-губернатор спрашивал, на какие средства всего удобнее могло быть отнесено содержание народных училищ. Около 25-го августа Державин получил о предстоящем и частное уведомление от своего приятеля Козодавлева, заранее облеченного в звание директора училищ. Письмо его, с которым послано было два учителя, содержало следующее: «Вручители сего суть люди, имеющие под руководством вашего превосходительства распространять просвещение в Тамбовской губернии; прошу их принять в ваше покровительство и ко мне писать, что вам случится в них примечать доброго и худого. Ее императорское величество изволила уже писать к И. В. Гудовичу обо всем, что до ваших училищ касается, также и П. В. Завадовский сообщил к нему все нужное. Устав народным училищам Российской империи, сочиненный комиссиею, уже подтвержден и теперь печатается; по сему уставу положен попечитель народных училищ; сие звание присвоится губернаторам яко председателям приказов общественного призрения; директор определяется генерал-губерна-

тором и присутствует в приказе бессленно по делам школьным. В письме к Ивану Васильевичу государыня указать изволила училище открыты 22-го сентября. Советую, любезный друг, все к сему числу приуготовить и краткий артикул об открытии прислать в петербургские и московские газеты, также и немецкий артикул пришлите ко мне для отсылки в Гамбург, а я имею туда переписку. Пространно же советую написать с рассуждениями от себя к издателю «Зеркала света».

До дня, назначенного для открытия училища, оставалось только три недели с небольшим, и в этот-то короткий срок надо было успеть сделать все распоряжения: приискать и приуготовить удобный для нового заведения дом, собрать необходимые денежные средства и найти учеников. К счастью, Гудович догадался отсрочить открытие училищ в других двух городах, о чем и уведомил Державина письмом от 1-го сентября, так что задача хоть сколько-нибудь облегчалась. Гудович опасался, что ко дню открытия тамбовского училища вскорости «не найдется желающих к обучению», и в таком случае предлагал стараться набрать хоть «несколько из школьников и тому подобных». Здесь Гудович, конечно, разумел главным образом учеников бывшей в Тамбове гарнизонной, или батальонной школы, при которой грамоте обучал неслужащий из дворян Севастьян Петров, получавший на прокормление и одежду по 15 руб. в год. Его Державин велел представить в новое училище ко дню его открытия «для преподавания наук». Но, к удивлению нашему, при открытии училища этот самый Петров, 20-ти лет от роду, является в числе учеников его!

Не теряя времени, Державин с обыкновенною энергиею принялся за дело; между Тамбовом и Рязанью стали скакать курьеры, закипела работа, и к назначенному сроку все было готово. Для помещения училища нанят был за 300 руб. в год дом купца Ионы Бородина; но дом этот был в таком плачевном состоянии, что походил на развалину, а между тем материалы для исправления его не было в приказе, да и в городе достать их покупкою было невозможно. Из этого затруднения губернатора выручила казенная палата, согласившись, по просьбе его, отпустить заимобразно из своего ведомства потребное количество досок, кирпича и извести. Разумеется, что это жалкое помещение могло годиться только на первое время.

На содержание тамбовского училища в уставе положено было 3000 руб. В письме от 1-го сентября Гудович указывал, что так как «пособия», т. е. средства на училища, «как они ни малозначны», могут иногда оказаться недостаточными «со стороны казенной», то следует, по примеру С.-Петербургской губернии, прибегнуть к сбору добровольных пожертвований, причем он, однако, счел нужным напомнить, что это «должно делаться без наималейшего принуждения». Для этого заказано было к Липецке 25 кружек из листового железа, которые и разосланы по церквям; о производстве же сборов писано к епископам: рязанскому Симеону и тамбовскому Феодосию. Кроме того, для при-

зывает к «доброхотным подаяниям» Державин отнесся к губернскому предводителю дворянства Бибикову и ко всем уездным предводителям, прося их вместе с тем пригласить всех местных дворян присутствовать на торжестве открытия тамбовского училища. С просьбою о сборе пожертвований губернатор обратился также к городским головам, а где их не было, — к городничим. В Моршанск и Кирсанов послан был приказ городничим о приглашении тамошних жителей вообще, «по недалежному расстоянию», прибыть в Тамбов на открытие училища. Сбор денег все время шел довольно туго; однако он доставил несколько сот рублей, но присылались они большею частью уже после открытия, во время которого также были собираемы пожертвования между присутствовавшими.

Для выполнения трудной задачи приискания учеников губернатор поручил коменданту Булдакову собрать сведения, кто из жителей разного звания готов отдать своих детей в училище. Сперва будущих учеников нашлось только 8, потом цифра эта возросла до 35. Ко дню открытия набралось их 51; это были, большею частью, восьми- и девятилетние мальчики; было несколько детей еще моложе, но между ними, как уже упомянуто, оказался один и двадцатилетний детина. В самый день открытия, когда уже началась «церемония», явилось еще 22 человека, которых отцы и матери, из самых бедных поселян, с радостным желанием, как выражается Державин, привели в училище: тогда всех учеников оказалось не менее 73.

По предписанию генерал-губернатора открытие училища должно было совершиться торжественно, с молебствием и освящением, для чего приказано было пригласить епископа Феодосия. Утром 22-го сентября в соборную Казанскую церковь собрались все служащие в Тамбове, дворянство и множество народу. Обедню отслужил сам архиерей, но слово произнесено было священником Петром Ивановым. Что касается преосвященного Феодосия, занимавшего тамбовскую кафедру с 1766 года, то он, при всем благочестии и строгости в исполнении своих обязанностей, не отличался книжным образованием; за несколько дней (16-го сентября) до торжества, он написал Державину, что, простудившись, не может не только произнести слова, но и служить в тот день молебна, разве почувствует облегчение, что, видно, и последовало.

При возглашении многолетия государыне и всему императорскому дому производилась пущечная пальба. По окончании богослужения все собрание, вслед за духовенством, направилось в училищный дом, который после молебна окроплен был святою водою; ученики уже стояли за учебными столами. Здесь снова возглашено было многолетие императрице; возобновилась пущечная пальба, и народ, собравшийся толпами вокруг дома, заявил громкими «ура» о своем присутствии при начале важного дела. В это время учитель Василий Роминский сказал благодарственную речь за оказанное народу благодеяние. При выходе преосвященного из залы собрания произошло, к общему удив-

лению, неожиданное обстоятельство: у самой двери публика была остановлена речью, которую начал однодворец Захарьин... Губернатор попросил присутствовавших возвратиться в дом, и речь произнесена была уже перед портретом Екатерины II. При тех словах, которыми оратор отдавал своего маленького сына в покровительство государыни, стоявшая за ним жена его вручила ему ребенка, а он, положив его перед портретом, продолжал со слезами... Растроганные слушатели щедро наделили витию деньгами.

По окончании церемонии губернатор (как сам он говорит в письме к Гудовичу) угощал как благородное общество, так и духовенство обеденным столом, а народ на площади перед наместническим домом «довольствован был питием и обедом от купца Матвея Бородина». Вечеру весь город был иллюминирован, и у Державина бал продолжался в многолюдном собрании большую часть ночи. «Словом, во весь этот день как благородное и гражданское общество, так и самая чернь оказывали прямые знаки своей искренней радости и неизреченной благодарности за материнское попечение государыни о просвещении народа». В письме упомянуты были и все предшествовавшие обстоятельства, за исключением, однако, речи Захарьина, о которой Державин до времени счел нужным умолчать, боясь, чтобы без предварительного объяснения этот эпизод не показался странным и не был превратно истолкован.

19. Захарьин и сказанная им речь

Дело в том, что автором речи, произнесенной Захарьиным, был сам губернатор. За несколько дней до открытия училища однодворец вызвался быть при этом случае оратором и действительно написал было речь, но она оказалась никуда не годною. Тогда Державин взялся за труд сам и, велев Захарьину прийти к себе накануне торжества рано утром, продиктовал ему речь, которую сообщаем здесь в извлечении:

«Дерзаю остановить тебя, почтенное собрание, среди шествия твоего... По воспитанию моему и по рождению я человек грубый: я бедный однодворец и теперь только от сохи; но услыша, что государыня благоволила приказать в здешнем городе открыть народное училище, почувствовал я восхитительное потрясение в душе моей... Прочих монархов проповедовали великие риторы, — у Екатерины Великой занимает простой поселянин их место... Чернь, рассеянная по лицу земли, везде себе подобна. Не имея расширенного сведениями разума, ни исправленного добрыми навыками сердца, весьма близко она подходит к бессловесным животным...» Представив некоторые черты неразумных действий черни, оратор упомянул о стараниях друзей человечества просвещать ее. Потом исчислены главные учреждения русских государей на пользу образования. Ныне Екатерина Вторая основала «воспиталище женского пола, Российскую акаде-

мию и повелела особой комиссии во многих губерниях учредить университеты»; но понимая, что и этих училищ для империи еще недостаточно, что они устроены почти только для дворян и духовных, что простому народу неудобно и невозможно заимствовать просвещение в академиях, университетах и семинариях, что надобно иметь рассадник и первоначальных знаний, «прозорливая монархиня обратила человеколюбивый взор свой на простой народ и, невзирая на адскую политику коварных умов, что ни обогащать, ни научать черни не должно, повелела установить и открыть ныне народные школы, в которых всякого состояния людям отверзты к просвещению двери и в которых, ежели мне поздно уже получить украшение неочищенному моему разуму и неустроенному сердцу, то сын мой, принесенный теперь сюда на руках матери его, будет невозбранно почерпать источник света от сокровищ Великой Екатерины.

Пробудитесь, в Бозе почивающие блаженные и человеколюбивые российские монархи, вводившие в народ сей просвещение! Пробудитесь, царь Федор Алексеевич и ты, великий император Петр! пробудитесь и воззрите на преемницу вашу, Екатерину Вторую... Вы основали духовную и светскую академии, а она — народные школы. Вы обучали дворян и духовенство, а она, усугубя ваши заведения, просвещает чернь! Кто из вас более? Предвечная Премудрость для восстановления падшего человеческого естества основала храм благовестия своего среди простых сердец. В сей храм, в сие народное училище, исторгая из объятий матерних сына моего, с радостным восторгом предаю я, да будет он человек!

Слушай, сын мой; услышь меня и ты, простой народ: ты будешь человеком... ибо Екатерина Великая желает управлять людьми...»

Речь оканчивалась наставлением сыну о благодарности, какую он должен весь свой век питать к своей «воспитательнице и просветительнице» с ежедневной молитвою о ее благоденствии и славе.

При таком заключении, говорит Державин в письме к Гудовичу, никто из слушателей не мог удержаться от слез. Получив эту речь, приписанную однодворцу, Гудович нисколько не усомнился в том, что он действительно ее автор, нашел ее в высшей степени замечательною и тотчас же отправил в Петербург к Завадовскому, с тем чтобы тот представил ее императрице. Уведомляя об этом Державина, Гудович просил сведений о таком самородном таланте и вместе выразил желание «поправить его состояние».

Однодворец Петр Михайлов Захарьин, из Козловского уезда, стал ходить к Державину месяца за два до открытия училища. Марая и прозу, и стихи (большею частью на темы, взятые из св. писания), он считал себя сочинителем и поспешил свести знакомство с знатным собратом по перу. Заметив в нем некоторую живость и остроту ума, Державин приласкал его, хотел даже определить его в канцелярские служители, но вскоре убедился, что никакого места дать ему невозможно по весьма обыкновен-

ной у русских людей этого звания привычке: Захарьин пил горькую. Несмотря на то, наш добродушный губернатор продолжал принимать его ласково и, как мы видели, даже решил-ся, в торжественном случае дать ему сыграть роль импровизированного оратора. Но не к добру послужила Захарьину эта честь. Слишком щедро награжденный слушателями за чужое красноречие, он тотчас после торжества запил снова и месяца два «обращался по деревням у дворян, его пригласивших». «Насилу его отыскал, — писал Державин, отвечая Гудовичу, — и теперь он в Тамбове; но при всем том не мог я от него по сие время добиться порядочной его истории. Страсть известная наипаче им овладела, и воздержать его почти нет способу, разве заключить под караул, ибо уже и из-под присмотра несколько раз погрузался в онучу.

Что ж касается до поправления его состояния, то когда он, наследовав после отца своего, обращавшегося по Козлову в торговых промыслах и подрядах, как сказывают, около ста тысяч капиталу, промотал оный беспутным образом, то разве малолетнему сыну его, ежели б сделали милость, исходатайствовали сот до пяти рублей, которые могли бы быть отданы из приказа общественного призрения до его возрасту в проценты, сие бы за наилучшее ему награждение, по моему мнению, почесть было можно. С 24-го числа сего месяца (ноября 1786 года) отправясь в Рязань, буду иметь честь представить в. высокопр. и привезть с собой его сочинения, по коим невозможно судить о талантах, в речи его признанных. Следовательно, кроме одного случая, где он показал свое усердие, слишком заботиться о его устройении большой нужды, по моему рассуждению, не предвидится. Может быть, удача или прославляющийся ныне чудесами своими магнетизм были причиною красноречия, которое, как я слышу, в Петербурге почитается за демосфеново».

В другом, более раннем письме к Гудовичу же Державин пишет о Захарьине: «Сколь мне, однако, о нем теперь вкратце известно, то в детстве своем воспитывался он в доме статского советника Луки Никифоровича Волкова в Саратове вместе с сыном его Петром Лукичем, что ныне генерал-майором, учился немецкому языку, арифметике и правописанию и, имея натуральную способность к словесным наукам, упражнялся в оных с самой своей молодости. Был отдан в военную службу, но получив разращение в своем поведении и сильное пристрастие к пьянству, не сделал в оной своего счастья, а потому по отставке или по исключении из службы препровождал жизнь свою на прежнем своем жилище в крайней бедности, обучая между прочим детей у бедных дворян российской грамоте и немецкому языку...»

Из сочинений Захарьина особенною известностью в свое время пользовался его сказочный роман в шести частях «Арфаксад, халдейская повесть», будто бы переведенная с татарского. Эта книга, в первый раз напечатанная в Москве в 1790-х годах, пришлась по вкусу тогдашним читателям и была вскоре вторично издана в Николаеве. В этот город Захарьин попал благодаря адмиралу Мордвинову, который был в таком восторге от

«Арфаксада», что, находясь проездом в Москве, отыскал там автора, уговорил его ехать с собою в Николаев и здесь доставил ему сперва место учителя, а потом и офицерский чин. Происхождение «Арфаксада» так объясняется преданием. За речь, прочитанную в Тамбове, Захарьину назначена была пенсия в 300 руб. Когда, уже по выбытии оттуда Державина, однодворец явился за получением ее, то на него будто бы посыпались насмешки, и он, чтобы доказать свои авторские способности, написал эту книгу. Есть сведение, что речь его, в первый раз изданная отдельно в Тамбове, позднее была перепечатана в Николаеве. Если так, то можно подозревать его в серьезном присвоении себе чужого сочинения. Он умер около 1810 года.

Мы видели, что Гудович отправил речь Захарьина к Завадовскому как председателю комиссии об училищах. Завадовский, не подозревая мистификации, пришел также в восторг и поспешил поднести чудо витийства императрице, которая при чтении его была тронута до слез. Друзья Державина наперерыв извещали его о впечатлении, произведенном речью в петербургском обществе: об этом писали ему Львов, Козодавлев, Саблуков (в то время государственный казначей), Терский (рекетмейстер), Ахвердов; из Москвы Херасков отозвался, что речь однодворца «и в устах самого правителя заслужила бы похвалу и уважение». Приятели сообщали ему, что, по мнению Завадовского, другой подобной речи еще не бывало на русском языке; что едва она явилась, как заставила забыть магнетизм, до нее занимавший весь город, что она переходит из рук в руки, что в ней открывают такие мысли, каких и покойный Ломоносов нигде не выражал. Находили даже, что Захарьин, по высказанному в ней усердию, сам годился бы в наместники. При этом у многих, конечно, рождалось сомнение, мог ли темный однодворец иметь не только такой талант, но и такие познания, какие обнаруживались в этой речи: многие догадывались, кто настоящий ее автор. «Я думаю, — писал Саблуков, — что уроженец реки Ра еще и не то напишет, проникая по привычке и прозорливости своей во все намерения, с коими 25-е лето выходят здесь новые установления, к благоденствию подданных служащие». Скоро все стали единогласно приписывать речь Державину, особенно когда распространился слух, что императрица, прочитав ее, сказала: «Речь прекрасная, каковую я еще не читывала. Я уверена в достоинствах и благородных чувствованиях г. Державина». Но едва прошло несколько дней, как безусловные похвалы стали уступать место критике. Нашлись люди, которые рады были воспользоваться случаем, чтобы повредить поэту. Первым между ними явился Тутолмин, случившийся в Петербурге при первых толках о речи. В присутствии Львова Завадовский «в жару риторическом — так писал другу Николай Александрович — благословил его (Тутолмина) новостью, как поленом... Он лишь только открыл рот, чтобы сказать, что это имитация, что сочинитель ее, может быть... как я, бесстыдным образом преврав, затрубил: «Зачем хотите вы отнять счастье у бедного одно-

дворца? вам он неизвестен, а я об нем наслышался» и проч. Потом, оборотясь к П. В. Завадовскому: «Вот Петр Вас., теперь за то, что похвалили, станут говорить, вы увидите, что это не он сочинил, что ему написал или поп, или учитель, а может, и самого архиерея не пощадят». Тимофей Иванович замолк, простился, попенял, что я его не люблю и забыл, и, вышед из комнаты, вчера уехал в Олонец, не предуспев распустить никаких вредных слухов против автора».

К числу недовольных речью принадлежала, к удивлению нашему, и княгиня Дашкова, гневавшаяся на Державина за то, что он тотчас не прислал этой новинки ей особо. Сообщая об этом своему бывшему начальнику, Свистунов также писал, что когда начали разыскивать истинного творца речи, то «Тутолмин не пропустил испустить своей желчи, — во многих домах уверял, что он точно знает, что ее сочинял Державин; однако при его мнении не остались, а почти везде наконец заговорили, что будто она сочинена здесь в Петербурге и отослана в Тамбов тем самым творцом, который сочинял манифест о новом заемном банке (т. с. Завадовским). Но почему ж суд публики остановился на сем заключении? Потому только, что нашли как в речи сей, так и в манифесте одинакие изречения *о правиле адской политики, внушающей не обогащать народ, а содержать в недостатке или бедности*. — Итак, одно сие слово родило для речи однодворца тысячи опровержений и насмешек; так что чрез несколько времени княгиня (Дашкова), хваля издателя «Московских ведомостей», что они речи оной не напечатали, досадовала, что она поторопилась удовлетворить желание Завадовского и выпустила в свет такую глупо сыгранную комедию посредством однодворца. Вот какова участь вашего нового пиита». Тем не менее речь была перепечатана также и в «Новых ежемесячных сочинениях», издававшихся Дашковою, и в «Зеркале света» Туманского.

В записке Державина упомянуто, что Захарьина хотели видеть в столице, что от Безбородки прислан был в Тамбов курьер и от имени императрицы приказано привезти однодворца в Петербург, но мы уже знаем из письма губернатора к Гудовичу, что захваленный оратор целые два месяца после своего торжества пьянствовал в гостях у помещиков и в то время явиться на приглашение не мог. Поэтому, когда в одном письме из Петербурга Львов говорит: «Однодворец приехал со своим мистицизмом», а в другом Терский пишет: «Я весьма рад был видеть усердного однодворца», то едва ли не следует под этим названием разуметь только речь ему приписанную, а не его самого, так как оба письма (от 1-го и 22-го ноября) принадлежат именно к тому времени, к которому Державин относит кочеванье Захарьина по тамбовским поместьям.

На прощание с мнимым оратором припомним разгульные стансы «Желание зимы», которые в следующем году посвятил ему поэт-губернатор, убедившись, что все старания вылечить его от несчастной страсти бесполезны.

20. Открытие театра в память учреждения училища

С торжеством открытия училища тесно связано празднество, устроенное губернатором в память этого события через два месяца, именно в день ангела императрицы, 24-го ноября. Это был спектакль, данный в доме Державина (так как театр еще не был отстроен) с помощью любителей и доморожденных артистов, причем, однако, изготовление декораций и костюмов было уже на попечение штатного механика Барзанти, которому в живописи помогали крепостные люди Ниловых и Сабуровых. Этим спектаклем совершилось и открытие тамбовского театра. С нраво-учительною целью избрана была к тому комедия «Так и должно» как сочинение бывшего директора Казанской гимназии Вревкина, и притом пьеса, направленная против подъячих и крючкотворцев, которых Державин застал немало в Тамбове. Но перед этою комедией представлен был пролог, имевший отношение к главной идее праздника и написанный самим губернатором. Содержание его было аллегорическое: малообразованное тамбовское общество означал дремучий лес, просвещение являлось в виде Гения, театр олицетворяли Мельпомена и Талия. Прежде всего на сцену выходит Петр Великий в образе пустычника. Гений говорит, что

...Некогда вертеп сей дикий
Пустыжник ревностный, могущий и великий,
Очистя, проложил дорогу в нем и след
Неслышанным трудом и попеченьем дивным.

Но после него еще долго лес

Едва лишь освещенным был,
Иль только просвещенным слыл;
Но наконец великое светило,
Взошед на высоту небес,
Свой лучезарный блеск спустило
На этот лес.

От Белых вод до Черных,
От тихих до сердитых,
Бегут толпы угрюмых туч;
В пещерах самых темных,
В норах, почти совсем забытых,
Сверкает светозарный луч!
Препоны нет ему нигде...

Потом Гений приглашает себе в помощь Мельпомену и Талию, которым говорит между прочим:

Где грубы головы, сердца не смягчены,
 Законы кроткие там тщетно изданы:
 Вы умягчайте их игрой своей и тоном,
 И просвещению, наукам и законам
 Подпорой будьте здесь.

Он подает Мельпомене кинжал, Талии — маску. Талия в ответ говорит:

Я знаю, должность в чем моя.
 Под ней сокрывшись, я, как будто не нарочно,
 Все то, что скаредно, и гнусно, и порочно,
 И так и сяк ни в ком никак не потерплю.
 Не в бровь, а в самый глаз я страсти уязвлю...
 И буду только тех хвалою прославлять,
 Кто будет нравами благими удивлять,
 Себе и обществу окажется полезен...
 Будь барин, будь слуга, но будет мне любезен.

В последней сцене лес исчезает; на место его является народная площадь с великолепной колоннадой, в конце которой виден храм просвещения, а по обе стороны его два обелиска, один с именем Петра Великого, другой с именем Екатерины II. Вдоль колоннады становятся мальчики и девочки в белых платьях с гирляндами; Гений занимает трон, поставленный в храме; Талия и Мельпомена располагаются на ступенях его. Пролог кончается хорами в честь Петра и Екатерины.

Пустынника представлял Беклемишев, Гения — девица Бибикова, Мельпомену и Талию — девицы же Орлова и Чичерина. Из прочих девушек особенно отличалась своею образованностью и талантами Анна Николаевна Свечина, которая участвовала собственно в музыкальной части представления.

Мы должны теперь возвратиться к учреждению училищ в Тамбовской губернии и упомянуть еще о некоторых связанных с этим событием обстоятельствах.

21. Дальнейшие подробности учреждения училищ

Заботу обнародования в газетах известия об открытии училища в Тамбове Державин передал Гудовичу; сам же он в своей переписке за это время слишком был занят впечатлением, которое производила в Петербурге речь Захарьина. Притом у него было еще множество практических хлопот по учебному делу. Сведения об открытии народных училищ в губернских городах печатались в «С.-Петербургских ведомостях», от 9-го октября по 10-е ноября. В одном из номеров газеты между этими числами (№ 87) сообщено вкратце и о тамбовском училище, причем за-

мечено: «В уездных городах Козлове и Шацке в скором времени откроются малые народные училища».

При открытии училища в Тамбове были собираемы пожертвования. На другой день губернатор внес в приказ общественного призрения книгу, в которой «доброхотодатели, и между ними приезжие из уездов и городов» подписались на 662 руб., сумму, которая через несколько дней возросла до 775 руб. В числе жертвователей были сам Державин и купец Бородин, подписавшиеся на 20 руб. каждый. Панов дал 50 руб. Из остальных лиц кто подписался на 25 руб., кто на 10, на 5 и менее, до 1 рубля. Коменданту сообщен список жертвователей, с тем чтобы он истребовал обещанные «подавания». Еще в начале следующего года из этих денег собрано было менее половины (357 руб.), а к концу апреля поступило в дополнение не более 15 руб. Из полученных денег было выдано учителям в счет жалованья 175 руб.

Результат сбора по уездам был также не блистательный: кирсановский городничий прислал 75 руб.; моршанский предводитель дворянства 52 руб., преосвященный Феодосий 50 руб., усманский градской глава 25 руб. Другие доставили от 10 до 20 руб. Некоторые присылали, впрочем, повторяя эти присылки несколько раз, от одного до 2-х руб. От усманского городничего получены собранные им в кружку 50 коп., от липецкого (Бурцева) 1 руб. 23 коп. Некоторые лица жертвовали вещами; так один армейский корнет (Зацепин) принес в дар лошадь, которая была продана с аукциона мещанину Спирину за 15 руб.

В первые уже дни по открытии училища начинается деятельная переписка о покупке необходимых учебных предметов и приискании учителей не только для тамбовского, но и для будущих малых училищ в других городах, что представляло большие трудности. Еще труднее было найти сведущего директора училищ. Для этого губернатор испрашивал себе у Гудовича некоторого срока, а покада поручил управление училищами заседателю верхнего земского суда, секунд-майору Якову Карамышеву, который и просил прежде всего распорядиться покупкою аспидных досок, грифелей, карандашей, рисунков и т. п. На это приказ общ. призрения отпустил смотрителю Степанову из пожертвованных денег 25 руб., которые Державин и отправил в Москву к Хераскову (жившему там в качестве куратора университета) с просьбою прислать сказанные вещи. Они были получены в исходе ноября.

Некоторые учебные книги были уже заранее присланы из Петербурга и отданы под присмотр учителю Савве Венедиктову вместе с разными таблицами, прописями, ландкартами и предметами, до геометрии и физики относящимися. Не явилось только означенное в списке увеличительное стекло, принадлежавшее к камере-обскуре, почему и велено его откуда следует истребовать. Учебники доставлялись и позднее, постепенно. Руководства по истории и географии еще не вышли из печати в самом Петербурге. В ожидании их Державин приказал учителям обучать этим предметам «по письменным своим тетрадам». Впро-

чем, уже 3-го октября он мог передать в приказ полученные от генерал-губернатора «книги для обучения наукам».

В тамбовском училище, как главным, было четыре класса. Первый (т. е. низший) начал свои занятия немедленно, а с 1-го ноября открылся и второй. В четвертый класс поступали только те, которые готовились быть учителями в малых училищах по уездным городам. В тамбовском училище преподавали в первое время следующие лица, присланные из Петербурга от Главного правления народных училищ:

1) Василий Роминский (который произнес речь 22-го сентября). Он обучал в 3-м и 4-м классах математике и физике, русскому и латинскому языкам и рисованию; последнему предмету учил он и во 2-м классе.

2) Савва Венедиктов — всеобщей и русской истории, географии и естественной истории в 3-м и 4-м классах.

3) Лукьян Антонов проходил пространный катехизис, священную историю, книгу «о должностях человека и гражданина», руководство к чистописанию, прописи и первую часть арифметики во 2-м классе, изъяснение евангелия и пространный катехизис с доказательствами в 3-м; сверх того он преподавал рисование во всех классах, кроме 1-го.

4) Василий Смирнов проходил в 1-м классе: таблицы азбучные, таблицы для складов, российский букварь, правила для учащихся, сокращенный катехизис, священную историю, прописи и руководство к чистописанию.

Роминский, Венедиктов и Смирнов происходили из духовного звания, а Антонов был сын подпрапорщика. Все они учились в семинариях, откуда были истребованы указом в Главное петербургское народное училище для приготовления к учительской должности. Они получали положенное в штате жалованье, именно: два учителя высших классов по 400 руб., учитель 2-го класса 200 руб., а учитель 1-го кл. 150 руб. Сверх того за уроки рисования обоим преподавателям производилось добавочных 150 руб. Впрочем, всем этим учителям жалованье в первый раз выдано было не прежде, как в исходе января следующего года по особенному требованию исправлявшего должность директора училищ.

В конце декабря 1786 года приказ общ. приizr. определил произвести ученикам экзамен, и коменданту предложено было пригласить в училище на 30-е число городских жителей, особенно родственников учащихся.

Число учеников со дня открытия училища постепенно увеличивалось, и при этом испытании их было уже 106 человек. В поданной Карамышевым, в начале 87-го года, ведомости о состоянии училища было между прочим сказано: «Жители города, будучи убеждены правителем Тамбовской губернии в пользе и выгодах матерних Ее И. В. заведений, начали добровольно и с великою охотою отдавать детей; посему, вероятно, впредь число учеников несравненно умножится (к сожалению, однако, надежда эта не осуществилась). Ученики, все родом россияне, состоя-

ния разного, именно бедные дворяне, купеческие, мещанские, однодворческие, солдатские и господские люди; все они возрастом от 7 до 15 и 17 лет. С самого начатия учителям не без труда было детей приучать к прилежному вниманию изъяснений учительских, к порядочным ответам; но вскоре исправились так, что публика, бывшая при открытом испытании, успехи учеников в предписанных науках одобрила». Эта записка может подать повод к некоторым комментариям. Чтобы угодить губернатору, действительно, даже иные дворяне, особенно небогатые, отдавали в новое училище детей своих, хотя и не легко мирились с мыслью, что благородные мальчики сидят рядом с разночинцами и даже дворовыми. Зажиточные дворяне, по большей части, поручали воспитание своих детей заезжим или нарочно выписанным иностранцам, и в этом отношении старались перещеголять друг друга. Так, некто Хвоцинский, в начале 1780-х годов, выписал учителя Диксона прямо из Лондона. Кроме того, дети чиновников и мелких дворян учились грамоте в присутственных местах. Совершенно неграмотные и крайне юные, лет 13 или 14, эти молодые люди поступали на службу, даже получали жалованье, по несколько копеек в месяц, и целые годы учились читать и писать у разных копиистов, подканцеляристов и канцеляристов, которые сами, в свое время, проходили такой же курс учения. На экзаменах Державин не только присутствовал, но любил и сам задавать вопросы, приглашая к тому и других посетителей, чтобы не было никакого сомнения относительно правильности испытания.

Судя по приведенному отчету Карамышева и по некоторым другим сведениям, сохранившимся в архиве приказа общественного призрения, Карамышев исправлял должность директора со знанием дела и добросовестно, но, согласившись принять ее только на время, он скоро удалился, и в марте на его место назначен был, по ордеру Гудовича, ассессор тамбовской казенной палаты капитан Жохов, с жалованьем по 500 руб. в год.

При училище недоставало еще певческого класса, учреждения которого требовал училищный устав «для благолепия церквей и большего прилепления учеников к молитве». В 1788 году Державин, по званию попечителя училищ, напомнил о том приказу, и класс был открыт: обучать пению за 150 руб. в год взялся секретарь нижней расправы Журавченко; в помощники к нему определен был архиерейский певчий Антип Травин (80 руб.), но «как оный Травин, по своему нерадению, не ходил в класс целую треть года, то приказ и отрешил его от сей должности».

Дом Бородина, купленный для помещения училища, вскоре оказался слишком тесным и вообще негодным: печи дымили и не грели, полы были гнилы, штукатурка обваливалась, двери в классах плотно не затворялись, в окнах недоставало стекол, крыши летом протекали. Поэтому, уже в январе следующего года куплен был в селе Куньи Липяги, в 39-ти верстах от города, у братьев Ознобишиных за 1200 руб. другой (деревянный) дом, который и перевезли в Тамбов. На покупку употреблена

была сумма в 1000 руб., завещанная умершим между тем преосвященным Феодосием, а 200 руб. взяты из процентной суммы прихода.

22. Малые училища в уездных городах

Тотчас по открытии тамбовского училища приняты были меры для учреждения малых училищ в других городах губернии. Прежде всего Державин обратился к архиерею с просьбой прислать из семинарии своей несколько студентов, которые окончили уже, по крайней мере, грамматику «для навыкновения метода учения народных школ, ибо, — прибавлял он, — здесь другого состояния людей способных к тому отыскать невозможно». Преосвященный Феодосий отозвался, что по недавнему существованию семинарии он не может прислать достаточного числа студентов, и действительно в ноябре месяце прислал только четырех семинаристов, именно: Лунина, Федорова, Иванова и Акимова, которые, по распоряжению приказа, и были немедленно отправлены в тамбовское главное училище для получения надлежащей подготовки к учительским занятиям. Для пополнения числа будущих преподавателей Державин обращался и в Рязань, к губернатору Волкову, с просьбою прислать из тамошней семинарии от 12 до 15 человек, и вследствие того в конце года явилось оттуда 10 семинаристов. Кроме того, в первое время имелись в виду на звание учителей: какой-то отставной поручик Ломоносов и «вольный однодворец» Захарьин. Мы уже знаем, что по крайней мере последний никак не мог оправдать такого предположения.

В исходе декабря отправлены были в уездные города шесть учителей: Половневский и Мизеревский (в Козлов), Михайловский (в Лебедянь) Протопопов (в Шацк), Данковский (в Моршанск) и Куликовский (в Елатьму), и всем им дано на дорогу, в счет жалованья, по 15 руб. С ними отпущено, сверх того, по экземпляру устава народных училищ на каждый город. Малых народных училищ во всей Тамбовской губернии предполагалось учредить одиннадцать. На основании городского положения суммы на них должны были идти преимущественно из городских доходов. На содержание училищных домов, на жалованье директору и учителям по училищам всей губернии (не исключая и главного в самом Тамбове) исчислено было в год 7904 рубля.

1-го января 1787 года открыты были с обыкнующею торжественностью народные школы: в Козлове с 24-ю учениками, в Лебедяни с 9-ю и в Елатьме с 8-ю; несколько позже — в Шацке и в Моршанске; в шацкую школу поступило 27 учеников, в моршанскую — 24. Об открытии школ в других городах сведений не имеется. Относительно Липецка известно только, что тамошнему купечеству предложено было, не найдутся ли в составе его желающие, вдвоем или втроем, общими средствами постро-

ить в городе дом для народного училища. Тамошний городничий Бурцев отвечал, что охотников не нашлось.

Наиболее известный дошло до нас о козловском училище. В день открытия, утром, смотритель училища, два учителя и 24 ученика отправились в соборную церковь, откуда, после литургии, возвратились в училище с иконами и хоругвями. Здесь совершенно было молебствие и прочитан устав о малых училищах. Учитель Половневский произнес речь о пользе новооткрытого заведения. На этом торжестве не присутствовал никто из обывателей города. Школа с двумя учителями должна была получать от общества квартиру, содержание, учебные пособия. Для училища отведены были две комнаты в одном доме, а для обоих учителей (оба были семейные люди с детьми) одна комната в другом доме, и притом комната холодная, сырая и темная. Учителя, Половневский и Мизеревский, исполняли свои обязанности с усердием и успехом, так что число учеников постоянно увеличивалось; но, несмотря на то, и сами они бедствовали, и училище терпело во всем недостаток вследствие враждебного к нему отношения общества: как на торжестве открытия, так и после на экзаменах не было никого из городских жителей.

26-го сентября училище посетил Державин. Учеников в то время было здесь уже 64. В продолжение пяти часов губернатор-попечитель сам экзаменовал их и неоднократно благодарил учителей за успехи мальчиков. Но помещение училища нашел он крайне тесным и неудобным и велел голове приискать другое; учителя не получали жалованья за две трети, и попечитель приказал удовлетворить их на счет городских доходов из сумм приказа общественного призрения. Узнав из поданной ему ведомости, что все ученики были дети дворян, приказнослужителей и дворовых людей, он собрал купцов и мещан и объяснил им, что училище учреждено главным образом для них как составляющих самую многочисленную часть населения Козлова, и потому они не должны упорством своим отдалять от себя доставляемые им выгоды образования. «В то же время он предложил им построить для училища дом и настоятельно потребовал от каждого посильных пожертвований. В присутствии его собрано было 408 рублей. Он поручил голове хранить эти деньги, наказав заботиться об умножении их и об изготовлении исподволь материалов для постройки дома. Затем, подтвердив смотрителю училища и голове, чтоб они не доводили учителей до крайности неисправностью в выдаче им жалованья, он внушил им прилагать всевозможное старание о развитии заведения на основании городского положения». Однако все это было напрасно: купцы и мещане по-прежнему не отдавали своих детей в училище, учителя получали жалованье неправильно, и недостаток в учебных пособиях продолжался. Даже и посещение Козлова приезжавшим из Петербурга на ревизию директором училищ Козодавцевым не помогло делу, так как и в тамбовском главном училище, откуда он наказал Жохову потребовать учебных пособий, все книги были распреданы.

Положение учебной части в Козлове, как и во всей Тамбовской губернии, еще значительно ухудшилось после удаления Державина в конце 1788 года; он с полным вниманием относился к училищам и делал для поддержания их все, что от него зависело. Подробности совершенного упадка их и жалкого положения учителей по выбытии Гаврилы Романовича из губернии сюда не относятся. Заметим только, что вскоре после его отъезда город Козлов положительно отказался от содержания училища, а смотритель Баженов, нисколько не стесняясь, говорил в обществе, что все училища, в том числе и козловское, вообще вредны. На этом основании он почти не являлся в классы; когда же являлся, то всегда был пьян, учеников бил палкой, а учителей публично ругал. «Когда Державин уехал навсегда из Тамбовского наместничества, то училищное дело в городах этого наместничества сразу ослабело. А в половине 90-х годов большинство малых народных училищ в городах Тамбовской губернии было и совсем закрыто. Так уничтожены были училища в Лебедяни, Шацке, Липецке, Спаске и Темникове».

23. Приискание директора училищ

Нам остается еще, по этой отрасли деятельности Державина, обратить внимание на его заботы о приискании директора тамбовских училищ. Поручив эту должность временно Карамышеву, он рекомендовал генерал-губернатору для замещения ее находившегося в Петербурге уже известного нам Пospelова как человека, вполне к ней подготовленного. На случай же его несогласия принять это назначение, губернатор предлагал либо какого-то Тимофеева, бывшего в Тамбове по своим нуждам, либо Грибовского: «поелику все сии люди знают латинский язык и прочие науки, в уставе обучать предписанные, то и могут быть способны иметь наблюдение над учителями; но я бы желал, чтоб заступил место директора кто-либо из первых двух, а особливо г. Пospelов, совершенно знаемый мною с хорошей стороны».

Грибовский, оставив службу в Петрозаводске, переехал в Петербург около середины мая и поселился сначала у Козодавлева. Ему очень хотелось перейти на директорскую должность в Тамбов, и Козодавлев горячо рекомендовал его своему старому сослуживцу. Сам Грибовский не скупился на изъявления чувств преданности и благодарности Державину, который, в случае неудачи плана определить его директором училищ, предлагал ему через Козодавлева место секретаря в наместническом правлении, а притом, прибавлял Державин, «он может иметь и те здесь выгоды, что по знанию его правописания и хорошему почерку охотно позволю ему в учреждаемом здесь для благородных детей пансионе преподавать означенные свои знания, за что может иметь по крайней мере сотню излишнего доходу; но здесь 350 рублей лучше, конечно, петрозаводских и петербургских 700 рублей».

Но у Грибовского был сильный враг, именно Дашкова. «Княгиня Екатерина Романовна, — писал Державину Свистунов от 17-го октября, — сегодня приказала мне к вам отписать, что она слышала, будто Козодавлев хвалится, что он Грибовскому место доставит опять при вас; то ежели вы это сделаете, послушаете Козодавлева и возьмете его опять к себе, то будет уж очень ветрено, и притом приказала приписать вам, что это будет ей весьма неприятно. Боже мой, как она не терпит Грибовского! Она и за то вас много винила, для чего вы первый раз, когда вы брали его к себе, с нею не посоветовались; граф Александр Романович хотел было его взять к себе и дал ему уж обнадежение, но княгиня, узнав, так сильно наступила на графа, что тот принужден был, в угодность ей, отказать ему».

О том же своим особенным языком писала Державину его теща, поясняя в явще предостережение: «Княгиня нынче так усилилась, что князь Вяземский у ней руки целует; а о Грибовском я наслышалась, что он Тимофея Ивановича возносит выше небес, а о тебе, когда дойдет, то: «Державин», а больше нет имя, да и то с гримасами; сие по пословице: «не споя, не скормя, ворога не видать». Так и Грибовский чувствует вашу хлеб-соль». Державин, следуя советам своих петрозаводских друзей, решился беспрекословно исполнить волю княгини. Узнав о таком исходе дела, Козодавлев писал Державину: «Сожалею сердечно о несчастье Грибовского, который, впрочем, от сего несчастья не будет так несчастлив, как себе особа, дышущая противу него злобою, представляет. — Господи отпусти ей, не ведает бо, что творит: вы не именуете сей особы, имеющей во устах своих всегда добродетель, от которой сердце ее всегда далеко отстоит; да я думаю, что сия знаменитая особа не согласилась бы ни для чего, чтоб Грибовский, как он перед нею ни мал, о сем ее поступке сведал. Свет, освещающий дела ее, ей всеконечно весьма противен и зрению ее несносен — и возлюбиа человека паче тму, нежели свет: беша бо их дела зла». Не устроилось также перемещение Пospelова, который между тем получал и другие предложения, и наконец, как кажется, остался в Петербурге советником губернского правления.

Мы уже видели, что директором тамбовских училищ, после кратковременного исправления этой должности Карамышевым, сделался Жохов. Он занимал ее около десяти лет (до 29-го октября 1797 г.) и исполнял свое дело весьма усердно: часто объезжал училища, по мере возможности снабжал их всем нужным и с участием входил в тягостное положение учителей. Судя по архивным источникам, это была личность чрезвычайно симпатичная. Человек, по-видимому, довольно образованный, Жохов всею душою был предан делу народного образования. Вот, напр., свидетельство его заботливости о доставлении училищам пособий: в марте 1788 г. он донес приказу общественного призрения, что учитель Роминский, ездивший для ревизии малых училищ, а также и смотрители их жалуются что они терпят великий недостаток в книгах и, кроме присланных при открытии,

больше никогда никаких не получали, а потому и просят послать в каждое училище хотя по 20 экземпляров «правил для учащихся». В октябре Жохов опять требовал разных книг для первоначального обучения, что и было исполнено отправкою одних по 25-ти экземпляров, других по 10-ти и 15-ти. «Между прочим Жохов вел отлично и канцелярские дела. Все его предложения и рапорты, адресованные в приказ общественного призрения или к наместникам, написаны очень складно, с достоинством и испещрены искусно подобранными указаниями на статьи закона».

24. Учреждение типографии

При открытии училищ Державин действовал только как просвещенный и усердный исполнитель правительственного распоряжения; учреждение же типографии было в полном смысле собственным его делом. Первоначально он при этом имел в виду только устранение лишней переписки, — цель, для которой он и впоследствии, будучи министром, завел при сенате печатные записки. Для сокращения делопроизводства по управлению Тамбовской губернии он придумал разные меры, подробно им самим изложенные. Одною из них было и учреждение типографии.

Для осуществления этой мысли он вступил в переписку с Москвою. Сперва он хотел было прибегнуть к посредничеству Хераскова, но потом решился прямо просить помощи людей, стоявших у самого дела, и обратился с письмом к князю Николаю Никитичу Трубецкому, главному сотруднику Новикова и одному из деятельнейших членов типографской компании. «По обширности здешней губернии и по множеству текущих дел, — писал губернатор между прочим, — весьма много таких бумаг, которые бы чрез типографию скорее течение свое имели: то ежели усмотрю я выгоду, что дешевле один стан, нежели множество пустокормов подъячих содержать, я бы решился, единственно для канцелярского производства, завести здесь типографию».

Поэтому Державин просил кн. Трубецкого переговорить с Новиковым, нет ли у него в типографии продажного станка со всеми принадлежностями, а также лишних людей, которые согласились бы ехать в Тамбов. На это письмо отвечал сам Новиков и сообщил смету расходов на заведение провинциальной типографии. Он полагал, что для нее достаточно будет одного наборщика и одного тередорщика (печатника), которых можно найти из русских, с жалованьем первому по 100, а второму по 80 руб. в год, и вместе с тем он советовал взять в ученики солдатских детей, которые в год могут обучиться, так что впоследствии содержание типографии может стоить еще дешевле. Что касается литер, то Новиков предлагал обзавестись подержанными, которых могло стать лет на десять. По этой смете все издержки на первоначальное устройство и на жалованье двум мастерам исчислены были в 1730 руб., а на содержание типографии, не счи-

тая учеников, требовалось 280 руб. в год. Переписка эта привела к скорому соглашению. Все нужные предметы были присланы в Тамбов зимним путем, и в начале 1788 года типография открыла свою деятельность.

Письмо Новикова, показывающее, что он считал Державина одним из старых приятелей своих, любопытно еще и в другом отношении: «именем всех членов типографской компании» он просил тамбовского губернатора содействовать к подписке на газеты и книги, означенные в приложенных к письму объявлениях. Тогда уже производилось дело о печатании Новиковым книг вредного содержания, начавшееся еще в конце 1785 года. Из письма его к Державину видно, что, несмотря на то, он продолжал свою торговлю, и догадка его биографа, что книжная лавка его в Москве тогда еще не была запечатана, оправдывается. В ту пору Новиков обвинялся еще только в качестве типографщика; преследование его и близких к нему лиц как масонов и мартинистов началось не прежде 1792 года.

К письму Новикова был также приложен счет книгам, высланным Державину перед отъездом его в Петрозаводск и в первое время пребывания его в этом городе. В счете значится около 300 заглавий, и итог его — 555 рублей, а за вычетом 20% — 444 р. Книги, отправленные в Петрозаводск, составляют целую библиотеку самого разнородного содержания: тут есть и духовные сочинения, и исторические, и путешествия, и сказки, и поэзия. Очевидно, что губернатор, отправляясь представителем власти в провинцию и притом в край, довольно еще мало развитый в отношении к гражданственности, хотел быть там и представителем просвещения, хотел иметь в руках своих средства для распространения образованности в местном обществе.

В новозаведенной тамбовской типографии стали печататься сенатские указы, предписания наместнического правления, требовавшие скорого исполнения, также разные публикации, между прочим сведения о ценах хлеба (чем обуздывалась алчность провиантских комиссионеров) и т. п. Для собирания материалов к этим публикациям и для самого составления последних учрежден был особый стол. При соблюдении известного, придуманного Державиным порядка в сдаче дел статьи, предназначенные для гласности, могли печататься каждую неделю по субботам и воскресеньям; потом они рассылались к городничим, а по оглашении их во всем уезде через нижний земский суд прибывались к стенам в церквях, на базарах и ярмарках для всеобщего сведения. Этим способом вся губерния в короткое время узнавала о всяких правительственных распоряжениях, о наложенных на имения запрещениях или снятии их, о подрядах и откупах, о беглых рекрутах и проч., «о чем, — замечает Державин, — неточные публикации производят в делах не токмо замешательство и затруднение, но и самые злоупотребления». Таким образом, Державину должно быть приписано первое начало издания губернских ведомостей, окончательно установленного в царствование императора Николая. Впрочем, Державину не удалось дать

своим публикациям ту степень развития, о которой он помышлял; препятствие к тому встретил он со стороны боязливого наместника. Получив от губернатора, в начале 1788 года, официальное сведение «о заведении в Тамбове вольной типографии» и первые напечатанные в ней известия, Гудович отвечал, правда, «что не нашел в таковом заведении ничего с законами несогласного, что известия касательно подрядов, продаж и прочие подобные объявления также ничего законопротивного в себе не заключают»; но за этим следовала знаменательная оговорка: «Одну токмо статью сих известий, сказывающую, что в Шацком и Елатомском уездах разбойническая партия делала многие грабежи и что часть оной 24-го декабря переловлена и главный атаман по поимке, когда чинил супротивление, застрелен из ружья, я считаю излишнею и ненужною, потому что заключающееся в ней первое объявление о бывших грабежах ничего приятного публике не приносит, а второе о поимке их еще не совсем достоверно, поколику и я по долгу звания моего ниоткуда о том надлежащего и порядочного сведения еще не имею; а потому и желал бы я, чтоб впредь таковые статьи вносимы в печать не были; а затем все известия, какие печататься будут, доставлялись бы впредь ко мне в копиях для сведения»; т. е., другими словами, Гудович желал видеть в печати только известия о том, что все по губернии обстоит благополучно, и присваивал себе право цензуры над публикациями губернатора.

Кроме официальных бумаг, в тамбовской типографии вскоре начали печататься и литературные труды; например, из сочинений самого Державина она напечатала «Речь, говоренную Захарьиным», «Торжество восшествия на престол Екатерины II» (представление, данное в честь Гудовича), «Пролог на открытие в Тамбове народного училища», а впоследствии (в 1792 году) и оду «На взятие Измаила». «Наша типография, — писал впоследствии Нилов Державину в Петербург, — снабдясь теперь щегольскими литерами, ожидает с нетерпеливостью ваших сочинений, дабы прославить себя ими». Сколько известно, однако, поэт не воспользовался этим предложением. Но в этой типографии были отпечатаны некоторые переводы двух тамбовских дам, Елиз. Корн. Ниловой и зубриловской помещицы, княгини Варвары Васильевны Голицыной. В 1790 году Нилова издала в Тамбове «Приключения англичанина Эдуарда Бальсона» (с немецкого, 2 части), а Голицына напечатала в тамбовской типографии, также в 1790 году, перевод с французского, «Заблуждения от любви». В конце 1793 года она уведомила из Тамбова Екатерину Яковлевну о своем переводе «Граф Вальмонт, или заблуждение рассудка», и обещала прислать первую часть его, как скоро она будет напечатана.

После смерти преосвященного Феодосия (24-го дек. 1786 г.) тамбовская епископская кафедра оставалась почти полтора года не замещенною. Наконец 6-го мая 1788 года назначен был на нее бывший старорусский епископ Феофил, святитель совсем другого закала, чем предшественник его. Вскоре он явил себя

достойным учеником своего бывшего начальника, митрополита Гавриила, энергически принялся за улучшение всех отраслей запущенного управления своей новой паствы и повсюду ввел строгий порядок: все под влиянием его благотворной власти приняло новый вид. К счастью вверенной ему епархии, он остался во главе ее 22 года. Недолго довелось Державину продолжать рядом с ним свою деятельность, но губернатор на первых же порах оценил просвещенного архиерея, и когда последний, по его приглашению, посетил недавно основанную типографию, Державин от всей души приветствовал его прекрасным четверостишием:

На память твоего, Феофил, к нам прихода,
Бессмертью здесь твое мы имя предадим.
И должно ли молчать учителю народа?
Рассыпь твой бисер нам: мы свет обогатим.

25. Ревизия губернии. Начало неудовольствий

Упомянув, по связи с предыдущими обстоятельствами, об учреждении в Тамбове типографии и сближении Державина с преосвященным Феофилом, мы опередили ход событий и должны возвратиться к прерванной нити рассказа.

Первый год своего управления Тамбовскою губернией Державин ознаменовал многими полезными делами; другие он предполагал совершить в будущем и, не испытав по службе (если исключить дело Сатиных) никаких особенных неприятностей, мог спокойно идти вперед. Последовавшая вскоре ревизия губернии должна была еще более ободрить его. В первых числах 1787 года пришло от графа А. Р. Воронцова письмо с любезным извещением, что ему и сенатору А. В. Нарышкину поручено ревизовать некоторые губернии, в том числе и Тамбовскую. «Но как, — писал граф, — сей осмотр намерены мы начать с Рязанской губернии, в вашу ж вступить полагаем около 20-го или 25-го числа будущего января, то, однако, я прошу вас не делать никаких приготовлений в рассуждении проезда нашего чрез губернию вашу, ибо из Рязани не оставлю вас обо всем нужном для нас уведомить, а извольте только приказать, чтоб в присутственных местах было все готово к нашему освидетельствованию; сверх же того прикажите изготовить для меня и Алексея Васильевича по особливому дому и также квартиры для канцелярии, которая при нас находиться будет».

В 20-х числах января оба сенатора действительно прибыли в Тамбов и остались вполне довольны всем, что видели. «Живо и сердечно порадовался я, — писал Державину петербургский приятель Васильев, — что так удачно вы сенаторов спустили». Ревизоры представили императрице рапорт, в котором между прочим говорили: «По окончании осмотра в Рязанской губернии следовали мы в Тамбовскую, в которой как в губернском, так и

в уездных трех городах, Козлове, Усмани и Борисоглебске, учиня всем учрежденным в оных присутственным местам и заведениям надлежащий осмотр, нашли мы вообще во всех оных также желаемый порядок и поспешное дел отправление; хотя ж в некоторых судах и есть неоконченные дела, а особливо по тамбовским уездному суду и городовому магистрату, но и те остались или за недавним вступлением, или же за неполучением из разных мест требуемых к объяснению дел нужных сведений. В наместническом правлении нашли мы течение дел весьма порядочное и желаемую во всем исправность; попечение ж и прилежание правителя губернии, действительного статского советника Державина, в отправлении его должности приносит ему истинную честь».



Г. Р. Державин — министр юстиции при Александре I.

Вследствие такого отзыва императрица в рескрипте на имя Гудовича изъявила ему удовольствие за порядок и успешное производство дел в Тамбовской губернии. Выражая Воронцову свою благодарность, искательный губернатор просил исходатайствовать ему орден, ссылаясь на то, что все его сослуживцы по экспедиции государственных доходов уже награждены, причем

нужным счел исчислить свои труды и заслуги. Воронцов написал о том Безбородке, но предупредил в то же время Державина, что без согласия Вяземского ничего нельзя сделать, «а он, даром что в деревне сидит, верьте, что с ним бороться трудно, ибо он и из деревни сенатской канцелярией распоряжается, как бы был в Петербурге».

Гудович, со своей стороны, представляя Державина к ордену, отозвался, что он, застав губернию расстроеною по болезни своего предшественника (Макарова), «всю ее привел в порядок». Державин ожидал Владимирской звезды 2-й степ., но получил только крест на шею. Воронцов так утешал его: «Не будьте в претензии против прочих товарищей своих, коим был дан 2-й класс; ныне другие правила: орден хотят поднять; я Николаю Александровичу поручил, чтоб он, для успокоения вашего и что тут нет ничего личного, вам бы все подробно объяснил». Державин отвечал: «Признаюсь откровенно вашему сиятельству: я было ласкался, — при ходатайстве знаменитых и сильных моих благодетелей и при справедливой рекомендации моего начальника, что я привел запущенную часть в надлежащее действие, а не содержал токмо в порядке, как в высочайшем рескрипте написано, — иметь благосклоннейший жребий счастья; но что делать, когда противное случилось? Богу так угодно; сердца царские в руке его. А для того все принимаю с терпением и благодарением».

Между тем Державин испытывал уже и другие разочарования. «Знать, не мне суждено совершенным спокойствием наслаждаться», — писал он Васильеву еще осенью 1786 года. Одно дело Сатина уже доставило ему много огорчений. Оно же дало пищу злым языкам в Петербурге. Противники распространяли о Державиных разные неблагоприятные слухи. Вот, например, что сообщил ему Васильев около того же времени: «Поговаривают здесь про тебя, будто бы ты весьма строгою на губернаторстве поступаешь и досаждаешь тем многим, особливо недовольны будто поступком Катерины Яковлевны; коротко сказать, будто вы оба очень даете чувствовать ваше губернаторство; я хотя не очень этому верю, однако ж в предосторожность вашу не хотел промолчать».

Это известие сильно встревожило Державина. Ответ его бросает неожиданный свет на его служебные отношения, на начинавшийся у него раздор с вице-губернатором, раздор, который позднее совершенно отравил его жизнь в Тамбове. «Поелику, — говорил он между прочим, — вы пишете глухо, что мы даем очень чувствовать наше губернаторство, то я сего, будучи в союзе моей правым, не разумею; а потому и думаю, не рассеяна ли сия молва от какого клеветника из зависти, что он сам не губернатором; ибо мне сие потому паче думать можно, что здешнее общество, кажется, довольно к нам ласково и отзывается благодарным. Итак, ежели в Петербурге другие вести, то стало, что спереди лижут, а сзади царапают. В сем же случае нечего делать, как надобно терпеть. Здесь подозревают, будто такую

молву некому другому в Петербурге распустить, как Михаилу Ивановичу (Ушакову); я этому не верю, но ежели он, то весьма удивительный человек».

В это время вице-губернатор был в Петербурге, и на него естественно падало подозрение. Вся эта поездка очень не нравилась Державину. Неприятно было ему и то, что Ушаков принимал там от друзей губернатора поручения, исполнять которые он считал своим исключительным правом, например, закупку хлеба для Васильева.

В то же время, однако, Державин получил и радостную весть о милостивом внимании к нему императрицы. Свистунов писал ему: «Княгиня на ваше письмо теперь не отвечает, потому что она не очень здорова, а просила меня приватно вас уведомить, дабы никто, кроме вас, о сем не знал, что так как она нынче часто бывает у государыни наедине, то в один день зашел разговор о вас и ваших стихах, и она со своей стороны сказала, что ежели бы вы продолжали упражняться в них, то бы со временем превзошли Михайлу Васильевича Ломоносова, на что государыня изволила спросить, *для чего ж вы не упражняетесь в них*; княгиня отвечала, что вы теперь заняты должностью; то государыня спросила: «Каково ему в этой губернии?» — на что княгиня сказала ей, что вы теперь как новым вашим наместником, так и обществом отзываетесь очень довольными, почему она заключает, что и вами там все довольны, а иначе б и вы довольны быть не могли, если бы противу вас что-либо дурно было. На сие государыня изволила сказать: «Я этому рада».

Вероятно, этот отзыв императрицы о знаменитом поэте не остался тайной, по крайней мере для высшего столичного общества, и, может быть, в связи с разнообразными толками о Державине распространился в Петербурге слух о его переводе туда губернатором на место Коновницына. Слух этот, однако, не имел никакого основания.

26. Путешествие императрицы и проезд князя Вяземского

С наступлением 1787 года должно было наконец начаться давно задуманное путешествие императрицы в Крым. В местах, близких к пути ее следования, еще с предшествовавшей осени делались распоряжения о поставке лошадей. Они распространялись и на Тамбовскую губернию. Один из тамошних помещиков, Иоасаф Иевлевич Арбенев (впоследствии командир Измайловского полка), просил губернатора о какой-то льготе по означенной, общей для всех землевладельцев повинности. Державин отвечал ему, что наместническое правление в распределение ее вовсе не вмешивается, а предоставляет эту заботу предводителям дворянства, которые определили не требовать поставки лошадей и при них людей натурою, а для покупки лошадей и упряжки

положили собирать от 19-ти до 24-х копеек с души. Впрочем, людям всякого состояния дозволялось отбывать эту повинность как кто найдет для себя удобным, либо натурою, либо по подряду, лишь бы при этом не переступали размеров назначенного сбора. «С моей стороны, — писал Державин Арбеневу, — сделано было все, что возможно, к выгодам общим и частным, а ежели бы, паче чаяния, вышло что тому несоответственное, то должно отнестись к сие на гг. предводителей дворянства».

Любопытна бывшая по поводу предстоявшего проезда государыни переписка губернатора с заседателем верхнего земского суда Мордвиновым. Этот последний осенью 1786 г. подал в названный суд просьбу об отставке по болезни. Просьба передана была в наместническое правление, которое сделало распоряжение о медицинском освидетельствовании Мордвинова. Но прежде исполнения указа о том суд нарядил его к проезду императрицы на подставу с лошадьми. Мордвинов нашел это крайне несправедливым и обратился к Державину с жалобой, что «он командирован без всякой очереди», и что председатель суда Ахлебинин «делает ему тем крайнюю обиду и притеснение». Весьма характеристический ответ Державина, до сих пор не напечатанный, помещается здесь целиком:

«Милостивый государь мой, Семен Михайлович! На вчерашнее письмо ваше имею честь служить вам моим ответом. Хотя 1-й департамент верхнего земского суда и представил об отставке вашей в наместническое правление; но как он же самый командировал теперь вас и в посылку ехать, для провождения лошадей, под высочайшее шествие наряженных, следовательно, и подверг болезнь вашу сумнению, которую, однако, и без сего наместническое правление долг имело приказать освидетельствовать, и по свидетельстве уже, а не прежде, отпустить вас от должности вашей. А потому ничто другое как новое свидетельство и разрешит, действительно ли вы больны и посылать ли вас в командировку? Впрочем, мне весьма удивительно, что благородный человек, как вы в письме вашем изъясняетесь, ставит себе за обиду, что наряжают его, якобы без очереди, к такой должности, где он удостоится увидеть лицо своей всемилостивейшей монархини! Позвольте, милостивый государь мой, мне откровенно изъяснить вам образ мыслей моих при сем случае. Предки ваши, то есть предки российского дворянства, никогда не были таковы, каковыми вы себя рекомендовать хотите. Каждой бы из них, лежа на смертной постели, услыша себя выбранным видеть своего государя, столько обрадовался бы, чтоб в беспомощности велел своему стремянному тотчас седлать себе коня своего. Много бы должно было употребить усилия, чтоб удержать его от неограниченной его ревности. Но никто не требует от вас службы сверх сил ваших. Буде здоровье ваше позволит вам, вы, конечно, поедете в путь, вам предлежащий. А когда вы больны, то останетесь покоиться в доме вашем. Сожаления только то достойно, что должно ныне и дворян в болезнях освидетельствовать. Это истинно обидно. Но извините меня в том,

когда я исполняю законами повеленное. А для того и желаю строго от лекарей, что когда они свидетельствуют больного дворянина, наряженного на высочайшую службу, то, невзирая на сильную свою привычку многие и частые делать немощным попускания, приносили бы мне решительные рапорты: или умер, или здоров, чего вам от искреннего сердца желая, пребываю с почетом».

При возвращении императрицы из Крыма Державин желал ей представиться и в конце марта просил у Гудовича совета, где бы лучше ее встретить. Наместник отвечал, что сам собирается в Москву и что, по его мнению, туда же всего удобнее ехать и Державину. «Вашему намерению, — писал он, — не могут помешать ни проезд сенаторов, которые проедут только как гости (на обратном пути в Петербург), ни проезд князя Александра Алексеевича, который, я думаю, не прежде Петрова дня возвратится». В Москве Екатерина II на этот раз останавливалась от 27-го июня по 4-е июля; следовательно, к этому времени относится и пребывание там губернатора, получившего отпуск на 29 дней. О самом представлении его до нас не дошло, к сожалению, никаких сведений.

По случаю путешествия императрицы и князь Вяземский испросил себе на время ее отсутствия отпуск и вскоре после ее отъезда отправился в свою саратовскую деревню, с тем чтобы на обратном пути побывать в Сарепте, которая славилась открытыми там в 1773 году минеральными водами, похожими на пирмонтские. Узнав о предстоявшем путешествии своего бывшего начальника, Державин выразил Васильеву желание встретить генерал-прокурора в Тамбове, но тот отвечал, что Вяземский теперь едет через Пензу, обратный же путь, может быть, возьмет через Тамбов. «Усердие ваше и других видеть его в Тамбове, — писал Васильев, — ему не неприятно было».

Пребывание генерал-прокурора на юге России продлилось долее, чем думал Гудович, ожидавший его возвращения уже к Петрову дню. 5-го сентября (1787 г.) Державин писал Вяземскому: «Сиятельный князь, м. г. Согласно соизволению вашего сиятельства, дошедшему до меня чрез г. советника Аничкова, чтоб приготовить для проезда вашего сиятельства в Москву по Кирсановской округе к 20-му числу сего месяца сто лошадей, я приказал тотчас исполнить, и всемерно как лошади, так и дороги исправны будут. Но я осмелюсь представить, что не благоугодно ли будет принять лучший и способнейший путь из Моршанска до Тамбова и оттуда на Козлов. Сверх сего присутствием вашего сиятельства очастливите вы такой город, в котором есть преданные и сохраняющие к вам неллицемерное почтение, в том числе и меня, с чувствительным огорчением известившегося, что вы намерены проехать Тамбов. Впрочем, с глубочайшим высокопочтанием и таковою же всегдашнею преданностью пребываю Державин».

Дней через десять после отправления этих строк наш губернатор получил от самого князя следующее письмо, помеченное

«10 сентября, Сарепта»: «Государь мой, Гаврило Романович! Получа сейчас высочайшее ее императорского величества повеление возвратиться наискорее в С.-Петербург, поспеваю выехать из Сарепты 12-го числа сего месяца и намерен ехать сколько возможно скорее, дабы тем поспешнее выполнить волю всемилоливейшей государыни, а потому и прошу покорно вашего превосходительства приказать заготовить для меня на каждой станции чрез губернию вашу по 80-ти лошадей; тракт же мой будет, не захватывая Тамбова, чрез Тамбовскую губернию на Моршу, Рязань, Коломну и Москву. С половины дороги думаю, оставя жену и всю свиту, ехать одному для скорейшего в езде успеху; однако ж прошу покорно вас, государя моего, дабы лошади, хотя и проеду, не были распускаемы, доколе жена моя не проедет. Я надеюсь, что по одолжению ко мне вашему не будет иметь в пути остановки пребывающий, впрочем, с истинным почтением всегда вашего превосходительства, государя моего, покорный слуга князь А. Вяземский». Это письмо уже не могло застать Державина в Тамбове, так как он выехал оттуда 14-го числа для встречи князя и распоряжений к облегчению ему проезда. То же случилось и с письмом Гудовича из Рязани, от 13-го сентября, которое вследствие того было отвезено в Козлов. Интересно видеть переполох, который произвело между начальствующими известие о скором проезде генерал-прокурора. Гудович извещал Державина о приказах, посланных им через особого курьера к городничим и земским исправникам, которым, писал он: «прошу подтвердить и с вашей стороны, чтоб сколько можно все выгоды его сиятельству, при случае его проезда, доставить постарались». Но Державин и без приказа поспешил еще прежде (как видно из приведенного выше письма его к Вяземскому) сделать от себя все нужные распоряжения, именно: велел устроить станции, поставить на каждой по 100 лошадей в хомутах, исправить мосты и перевозы, изготовить лучшие квартиры; городничим приказано было делать князю такую же точно встречу, какую делали сенаторам. Получив два разноречивые сведения о маршруте знатного путешественника, который, по извещению саратовского чиновника Цеттелера, сперва хотел ехать через Моршанск прямо на Рязань, а потом соглашался своротить на Козлов, город, которого он почему-то тщательнее избегал, — Державин вынужден был заготовить лошадей и все нужное по обоим трактам. По той же причине он должен был принять меры для встречи и угощения князя в двух разных пунктах, именно в Моршанске и в селе Гагарине, имении приятеля своего П. Е. Пашкова с просторным господским домом. На самом деле встреча произошла в Гагарине (Моршанского уезда), и к удовольствию обеих сторон она вполне удалась. Об этом Державин подробно рассказывал Гудовичу в письме от 23-го сентября. Он не мог нахвалиться расторопностью исправников: нигде не было никаких задержек; князь и княгиня несколько раз благодарили его и были тем более довольны, что в Саратовской губернии они терпели недостатков в лошадях и князь, по необхо-

димости, сам приказывал собирать их, так как нигде ни исправники, ни заседатели его не провожали. В Тамбовской губернии, напротив, он везде был встречаем и провожаем с приличными конвоями и вообще с теми же почестями, как сенаторы. В городе губернатор заблаговременно разослал военнослужителей для содержания караулов при квартирах, занимаемых генерал-прокурором. «Я же сам, — доносил Державин наместнику, — не по долгу, но по особливому к его сиятельству моему уважению и знакомству принял и угостил его и княгиню, сколько возможно, на дороге в селе Гагарине». В Моршанске чествовал знатную чету городничий с тамошним городским обществом, а в Козлове г. Дельвиг дал ужин княгине, потому что князь там ни на минуту не останавливался, да и проехать через город согласился только по заверению Державина, что по другой (сапожковской) дороге ему не избежать остановок у мостов и перевозов. «Словом, — так кончал Державин письмо, — кажется, доставлены были его сиятельству и супруге его по Тамбовской губернии всевозможные выгоды. Впрочем, не могу я пропустить и не донести вам достойного замечания разговора его сиятельства, бывшего в Гагарине при г. губернском прокуроре Хвоцинском и двух воронежских прокурорах, выезжавших нарочно для свидания с его сиятельством из своей губернии, и при некоторых наших дворянах. По поводу хорошо устроенного в том селе г. Пашкова винокуренного завода князь начал свою речь таким образом: «Да, ныне хороши везде винные заводы и больше их против преждего; но непонятно, отчего винный доход по государству упал. Я моей государыне, до открытия губерний, оставил винного дохода десять миллионов; тогда было в империи народу ревизских душ только семь миллионов; ныне народу прибыло почти вдвое и обращение денег свободнее, но доходу того великая часть упала. Я не знаю, отчего это. Знают про то господа управляющие. Мое — стороннее дело. Но как я, присягая государыне, ни в каком случае ее не продавал и не обманывал, то и ныне донесу все, что я видел. Видел я, проезжая многие губернии, что где ведерочко, где метелочка на шестиках висят. Все знают, что, слава Богу, привилегию имеют. Вот оттого-то и хлеба мало; где бы он и родился, да пашни не запаханы и не засеяны. В гульбе крестьянам когда работать? Правда, было время, что стали было слов слушать; а ныне нет никому нужды: видно, надобен опять топор, кнут и ссылка. Хотя Боже сохрани от топора, а кнута и ссылки не миновать». С прискорбием я был должен слышать такой жестокий разговор, хотя нимало не принял и не принимаю на свой счет оного, как я и его сиятельству донес: что до нас дойдет по бумагам, то не упускаем взыскивать того по законам, а подыскиваться под кем-либо самим собою без доносов и без уведомления не почитаем за особую и к нам принадлежащую обязанность. При нынешнем положении, когда деньги весьма надобны, уповаю я, приехав в Петербург, не оставит его сиятельство таковых справедливых своих замечаний к пользе употребить». — Позднее Державин слышал от подрядчиков, будто

князь Вяземский, проезжая через Тверь, велел, в ожидании каких-то своих судов, задержать караван.

27. Купец Матвей Бородин. Откупное дело

Одним из главных виновников неприятностей, сопровождавших последние два года службы Державина в Тамбове, был купец Матвей Петров Бородин. Имя его уже встретилось нам, когда шла речь о торжестве открытия училища; при этом случае он, желая угодить губернатору, взял на себя угощение народа. Может быть, из такого же побуждения брат его, Иона, продал свой дом под училище. Матвей Бородин играл в Тамбове роль первого капиталиста и принадлежал к тому разряду лиц, который так хорошо охарактеризован графом Салиасом в статье его «Поэт Державин, правитель наместничества». «Это, — говорит он, — мужик с миллионом, постигший своим неразвитым, но от природы сильным умом, в чем суть дела на земле. В жизни для него один смысл, одна цель, одно дело — нажива... Эта личность живет и теперь на Руси и, может быть, еще долго будет жить и процветать». В скором времени Державин по разным признакам стал сомневаться в честности Бородина и наконец увидел с его стороны явное плутовство. Обстоятельством, окончательно раскрывшим губернатору глаза на его счет, была поставка кирпича. Было уже замечено, что Тамбов вообще страдал недостатком каменного строительного материала. Незадолго до прибытия Державина там был устроен, в ведении приказа общественного призрения, кирпичный завод, на котором работы производились колодниками, содержащимися в рабочем доме; но так как между ними не было опытных в этом деле людей, то Державин посылал в Кострому своего бывшего секретаря Савинского для приискания кирпичных мастеров. Эта мера, однако, не привела к желанному результату. Пробовали также выписывать кирпич из Москвы, для чего туда ездил смотритель тамбовского кирпичного завода Степанов. Бывший там в то время проездом Гудович вместе с ним смотрел кирпич и велел закупить ящик этого материала для Тамбова. Позднее Державин хотел запасаться цокольным камнем из находившихся около города каменоломен. Между прочим он посылал колодников ломать камень в имени Лунина. Но Лунину не нравилось видеть у себя таких гостей: у него была машина для вырывания камня, и он надеялся, что она и без них может оказывать ту же услугу. Державин приглашал его взять подряд на доставку камня в Тамбов, но Лунин под разными предложениями уклонялся от этого. Между тем явилась надежда получить камень из имени обершталмейстера Л. А. Нарышкина. Один из приехавших отсюда земских уверил Державина, что там есть большая гора, «из которой всякого рода люди пользуются камнем безденежно», и это еще служит к выгоде владельца, так как земля тем очищается, камень же никакой прибыли ему не приносит, и потому может

быть добываем без всякой предварительной переписки с Нарышкиным. Державин положился на эти слова и послал дворянского заседателя просить, чтобы ему отвели место для ломки камня. Но другой земский объявил, что без позволения хозяина ломать камень нельзя. Сам Нарышкин подтвердил это заявление; Державин объяснил, как было дело, и прибавил, что постарается обойтись без камня; «а ежели он непременно нужен будет», то попросит уведомить, за какую цену с сажени позволят ломать его. Состоялось ли после по этому предмету какое-нибудь соглашение, неизвестно.

На выручку Тамбова из подобных затруднений явился Бородин. Он взялся ставить кирпич по подряду для казенного строения и в августе 1786 года объявил в казенной палате, что у него наготове имеется 1.145.000 кирпичей. Тогда же его кирпич был освидетельствован относительно количества ассессором строительной комиссии Смирновым, а относительно доброты губернским архитектором Усачевым; первый показал, что кирпич весь налицо, а второй, что он вполне доброкачествен. Бородин особою подпиской обязался хранить кирпич в целости и в следующую зиму перевезти его на место строения. По определению казенной палаты подрядчику выдана была вся следовавшая ему сумма, 3400 руб. Весною 1787 г. надо было, по назначению наместника, из заготовленного кирпича построить обжигальные печи. Между тем до Державина дошел слух, что купленный кирпич не только не привезен на место, «но и в готовности в сараях не находится». Поэтому он приказал коменданту вместе со Смирновым и Усачевым вторично освидетельствовать кирпич. При осмотре оказалось с небольшим всего 500.000 кирпичей, отчасти необожженных, в том числе около 137.000 прикупленных у других купцов, еще не получивших за это количество денег. Доставлено к собору было только 60.000; остальное же количество оставалось на заводах частью Бородина, частью продавцов, которые до получения денег не хотели отпустить своего кирпича; притом из наличного числа обожженного кирпича по крайней мере четвертая доля оказывалась негодною, а необожженный и весь никуда не годился. Между тем другого кирпича во всем городе ни за какие деньги достать было невозможно, и в казенных постройках неминуемо должна была произойти остановка. Таким образом, и Бородин, и оба лица, в первый раз свидетельствовавшие кирпич, подлежали ответственности. Бородин позволил себе явный обман и не исполнил своего обязательства, получив сполна деньги за такое количество кирпича, которого не только тогда, но и по прошествии года поставить не мог. Поэтому Державин предложил наместническому правлению купить недостающее количество кирпича на счет Бородина, а его самого отослать куда следует для отдачи под суд. «И ежели, — заканчивал губернатор свое письмо к Гудовичу об этом деле, — сие столь бесстрашное, явное похищение казны в основателе, можно сказать, по здешнему месту многих плутовств, Бородине, по законам строго не накажется, то я безнадежен произвесть здесь

что-либо полезное: ибо один худой или добрый корень бывает многим себе подобным отраслям причиною».

Однако это строгое отношение к делу не привело ни к чему: Бородин остался на свободе и продолжал действовать по-прежнему. Раздражение, выразившееся в приведенных строках Державина, писанных в исходе апреля 1787 года, было тем сильнее, что в конце предшествовавшего года открылось еще другое плутовство Бородина. В это время в казенных палатах происходили торги на винный откуп. Тамбовская палата, отдав его ненадежным лицам, Бородину со товарищами, допустила при этом уменьшение сложности количества вина на 20.000 ведер, отчего казна должна была в четырехлетие откупа понести убыток около полумиллиона рублей. По закону палата была обязана до заключения контракта отправить условия и сведения о предложенных залогах на обсуждение как генерал-губернатора, так и наместнического правления. Вместо того они были представлены только Гудовичу. При этом случае Державин в своих записках не без основания бросает подозрение на честность управлявшего казенной палатой вице-губернатора Ушакова, который был в дружбе с секретарем Гудовича, Лабою, державшим в руках своего начальника. Хотя Державин и напоминал Ушакову о соблюдении помянутого правила, но наместническое правление получило проект контракта только накануне нового года, когда уже некогда было заняться рассмотрением условий и залогов. Чтобы отклонить от себя всякую ответственность, Державин решил не входить уже в исследование благонадежности залогов, а просто просить у наместника предписания о введении контракта в действие, что и было исполнено. Затем о ходе всего дела губернатор донес сенату.

В письме своем к Гудовичу Державин не сумел, однако, скрыть ни своего неудовольствия на образ действий вице-губернатора, ни сомнений в благонадежности Бородина и прямо высказал, что откуп, по воле наместника, отдан «банкроту». Отвечая губернатору письмом от 16-го января 1787 года, Гудович всячески старался оправдать и себя, и казенную палату, указывал, «что все способы, к ненадежной отдаче питейных сборов в руки неисправных откупщиков послужить могущие, теперь уже отняты», но прибавлял: «если наместническое правление по делам какого-либо откупщика находит сомнительным, то может о том дать знать палате, которая в таковом случае должна будет от отдачи откупа ему удержаться и меня тоже уведомить. А затем, — говорил Гудович, — не зная подлинно, кого вы разумеете под именем банкрота, берущего откуп, признаюсь вам чисто-сердечно, что ежели вы именуете таковым купца Бородина, содержавшего в прошедшее время откуп исправно, то нельзя не удивляться, каким образом полагали вы сами, несколько недель тому назад, возможным поручить ему закупку хлеба для с.-петербургских запасных магазинов на 70.000 руб., и по каким обстоятельствам сей купец, которого я и все в Тамбове считали верным капиталистом, мог вдруг переменить свое состояние и сделаться ненадежным. Я покорно прошу поспешить о сем меня

уведомить обстоятельно, желая, впрочем, чтобы как в сем деле, так и в других соблюдено было всегда, вместе с нужной осторожностью, и миролюбие». По поводу такого требования Державин немедленно взял из городского магистрата справки и в письме от 20-го января дал полное объяснение своих слов. При описи имения Бородина, писал он, оказалось капитала, вместо объявленных им 10.000, всего 1.176 руб. Что же касается намерения подрядить его для поставки провианта, то это предположение не состоялось; вследствие «взятой осторожности и сведений, отобранных о Бородине у магистратских членов», Державин «на заключение с ним условий не отважился, тем более что и поступки, при сем случае им оказанные, не токмо были дерзостны, но и весьма непозволительные и наказанная достойные». Письмо кончалось следующей меткой характеристикой Бородина и смелым возражением на совет Гудовича о миролюбии: «А потому и почел я его более за хитрого и совершенного плута, нежели за добросовестного и порядочного купца, с которым по правилам чести дело иметь можно, несмотря на то, что он минувший откуп содержал исправно и считается всеми за капиталиста; ибо такого разбора люди до того времени только бывают верны и исправны, пока предусматривают свои пользы; а когда противное тому случится, то объявляют себя бессовестно банкротами и ввергают в несчастие всех тех, кто имел с ними какие-либо законные обязательства. Словом, я подозреваю его в здешней губернии, по нынешнему моему разведыванию, за такого человека, который скрытным образом, для каких-либо непозволенных видов имеет в руках своих на все монополию и, употребляя большие свои капиталы под именами своих родственников и товарищей как в казенные подряды и откупы, так и в партикулярные торги и промыслы, вредит другим, а может быть и казне, единственно же к своей прибыли и своих сообщников. Сие можно по поводу тому тотчас исследовать: каких ради причин, чувствуя себя не в состоянии не весьма большие долги своим кредиторам заплатить, обязывался на хлебную поставку на 80.000 руб., и тогда же вступал в столь знатный откуп? Но я сие оставляю на тончайшее проницание и рассмотрение вашего превосходительства. Относительно же наставления вашего, чтоб поступать в сем деле и в прочих миролюбивее, я поистине недоумеваю: нет ли какого против меня внушения? Всепокорнейше прошу сделать мне милость в сем случае не лишить меня изъяснительнейшего вашего предписания, по которому, может быть, в состоянии я буду или исправиться, или донести вам то, что по некоторым обстоятельствам более я миролюбив, нежели должно быть начальнику. Но так бывает со всеми нами, что когда кому напомним об исполнении его должности, то тотчас рождаются и неудовольствия, которым и дают совсем другие виды и причины».

Из переписки Державина видно, что дело это не было конечно еще и через год после отдачи откупа Бородину, который между тем действительно объявил себя банкротом. В декабре 1787 года Державин собирался в Рязань для переговоров о том с Гу-

довичем и писал графу А. Р. Воронцову: «Не знаю, что из сего выйдет, ибо ежели пойдет дело до переторжки, то хотя без сомнения казна выиграет, но что будет с палатою? А я, с моей стороны, за дела ее в нарекании себя не оставлю. Я предостерегал, сколько моих сил было, разными образами, но что делать!» Затем он сетует на то, что никакими стараниями не удалось ему избавиться от Ушакова, «через что час от часу дела запутываются» и придется наконец обличить палату письменным порядком. Оказывается, что на Бородине, еще по прежним откупам и подрядам, одних штрафных денег числилось около 25.000 руб., о которых палата четыре года не показывала в счетах своих и правлению не сообщала о взыскании их. Державин требовал переторжки, но на это нужно было разрешение сената.

Излагая в письме к Гудовичу затруднения, которые повлекла за собою неправильная отдача откупа Бородину, Державин говорит между прочим, что палата никакими извинениями не защитит себя от ответственности; «а потому и может она или Михайло Иванович (Ушаков) вашему высокопревосходительству, буде какие бумаги из правления кажутся неприятны, писать и представлять что угодно, но того я не опасюсь... Словом, я не отступлю от порядка и законов, здесь ли кончиться должно будет, согласно вашему предложению, сие дело, или пойдет к высшему рассмотрению сената».

Таков был благородный язык, которым губернатор заявлял наместнику о своей твердой решимости не терпеть злоупотреблений. Но как ни прав был Державин, как ни много значило покровительство Воронцова и Безбородки, однако враги его, Гудович и Ушаков, под защитою князя Вяземского, оказались сильнее, и сила одержала верх над правдой. В то время, когда Державину вследствие другого дела, о котором речь еще впереди, уже предстояло отрешение от должности, сенат наложил на наместническое правление штраф в 17.000 руб. за то, что оно для удовлетворения вексельных претензий и разных казенных взысканий по своей обязанности подвергло имение Бородина аресту. По этому поводу Державин писал рекетмейстеру Терскому: «Неправосудия такого ни по естественным, ни по гражданским законам я вообразить себе не мог. Я же предохранил ущерб интереса императорского величества, могущий последовать от объявления Бородиним себя умышленно банкротом, да с меня же, по его только одним сказкам, определено взыскать реченную сумму якобы претерпенных им убытков, о коих он только в сенате объявил, а при исследовании в судебных здесь местах нигде не говорил о том ни слова. Могу сказать, что г. Поленов столь наглым образом сразил меня в угождение Бородина, и я в свое время, как чрезвычайно угнетенный человек, по необходимости должен буду принести всемиловитейшей государыне жалобу». Позднее увидим дальнейший ход этого дела, а теперь возвратимся к недоразумениям между Гудовичем и Державиным, возобновившимся вопреки совету гр. Воронцова, который писал последнему: «Дружески советую стараться сохранить к себе благосклонность Ивана Васильевича, которого чест-

ность и кротость мне очень известны, а сверх того я знаю, что он к вам хорошо расположен». Губернатор, с позволения наместника, ездил в Рязань объясняться с ним по откупному делу в надежде, что он наконец открыто вступится за правую сторону, перестанет держать себя «политически». Выражаясь таким образом в письме к Воронцову, Державин намекал на ту нейтральную роль, которую старался играть Гудович в борьбе между правителем наместничества и вице-губернатором. Надо заметить, что как прежде в Петрозаводске, так теперь и в Тамбове служащие разделились на две партии. К Ушакову примкнули: Аничков, из советников правления переведенный наместником в должность директора экономии, и советник Макшеев. На стороне же Державина были советники Савостьянов и недавно определенный (на место Аничкова) Филонов, а также и комендант Булдаков. Поездка Державина в Рязань не привела ни к какому результату, а между тем и противники его стали ездить к генерал-губернатору. Державин хотя и понимал цель таких посещений, однако не считал себя вправе отказывать этим лицам в отпуске и в последних числах декабря разрешил сперва Ушакову, а потом и Аничкову отправиться на несколько дней в Рязань. Незадолго перед тем пропали какие-то казенные деньги, хранившиеся под надзором Аничкова, и Державин жаловался на него наместнику. Гудович, как человек осторожный и сдержанный, старался успокоить взволнованного губернатора. «Весьма приятно мне, — отвечал Державин, — видеть в особе вашей покровителя и слышать из уст ваших апостольское слово: «да не зайдет солнце во гнев вашем». Из сего я заключаю, что я не совсем виноват в моей против него (Аничкова) досаде. А потому охотно и оставляю все известные мне его против меня неблагоприятные поступки. Сожалее только, что, не сделав никому по сие время какими-либо незаконными привязками нечестия, не могу удостоверить вашего высокопревосходительства, что ни на г. Аничкова и ни на кого личного гнева, проистекающего из собственности, не имел и не имею. Елико же касается до взыскания утраченных денег в наместническом правлении, бывших у него в надзирании, то, согласно с предписанием вашего высокопревосходительства, они, конечно, с виновного взысканы будут. Да и все казенные интересные дела, вам чрез меня известные, не иначе как со всею строгостию закона произведены быть имеют. Я воздам Божие Богови и кесарево кесареви, да не услышу оного страшного гласа: «вверзите неключимого раба во тму кромешнюю, то будет плач и скрежет зубов», к сохранению которых священных истин я во всю мою жизнь расположен».

Несколько позднее Державин, в письме к Воронцову, обвинял Гудовича за то, что он, вопреки ходатайству этого вельможи о другом лице, определил в директоры экономии «совершенно дурного человека — Аничкова, который, — прибавлял он при этом, — по согласию с Ушаковым был главным инструментом произведенной между нами (т. е. между губернатором и наместником) оступды».

28. Комиссионер Потемкина Гарденин. Провиантское дело

В августе 1787 года Турция объявила России войну. Вскоре обе действующие армии, Екатеринославская и Украинская, вверены были верховному предводительству Потемкина, в то время соединявшего в лице своем звания генерал-фельдмаршала, президента военной коллегии и генерал-губернатора екатеринославского, таврического и харьковского. На продовольствие армии экспедиция о государственных доходах в Петербурге ассигновала казенным палатам суммы, которыми они должны были снабжать екатеринославскую провиантскую комиссию. Между тем армия терпела недостаток в провианте тем более чувствительный, что в 1787 году почти по всей России был неурожай, а местами даже и голод. Вследствие того Потемкин в начале 1788 г. отправил в разные губернии комиссионера с открытым указом о содействии в покупке и доставке провианта для армии. Это был воронежский купец (или, как Державин называет его в своих бумагах, «воронежский гражданин» — конечно, мещанин), Иван Гарденин. 23-го марта он явился к Державину и рассказал, что, закупив большое количество хлеба в Тамбовском и Симбирском наместничествах, в задаток уплатил разным помещикам уже до 50 тыс. рублей; екатеринославская комиссия ассигновала ему на доплату за этот хлеб и отправку его 35 т. р. из тамбовской казенной палаты, куда он и поспешил явиться, ибо, говорил он, срок внесения денег за купленный провиант кончается в последних числах марта, и если он не исполнит обязательства, то провиант останется не отправленным, так как с одной стороны продавцы от выдачи ему хлеба могут отказаться и уплаченные им 50 т. р. удержать в своих руках, а с другой — отправление судов по реке Вороне возможно только тотчас по вскрытии вод в начале апреля; одна неделя промедления может остановить отправку хлеба водою, и тогда необходимо будет перевезти его сухим путем, отчего для казны произойдет немалый убыток, а для армии еще большая нужда в продовольствии.

Державин отправил Гарденина к вице-губернатору как председателю казенной палаты, но тот объявил, что ассигнованной суммы в сборе еще нет и что палата комиссионера удовлетворить не может. Побывав опять у Державина, Гарденин вторично явился в казенную палату, на этот раз с секретарем наместнического правления (Савинским), и палата определила выдать ему 7235 руб.; но так как этой суммы было недостаточно, то Державин, боясь бедственных для армии последствий от неисполнения требования Гарденина, просил удовлетворить его хотя из других сумм палаты. Однако Ушаков, в надежде на поддержку князя Вяземского и Гудовича, снова наотрез отказал, объявив притом, что он по указу сената должен отлучиться из Тамбова для ос-

мотра Кутлинского винокуренного завода, куда и действительно уехал, несмотря на возобновленное требование губернатора.

Соображая, что наместник находится в другой губернии и посылать к нему за его резолюцией в таком важном и экстренном случае некогда, Державин счел себя вправе действовать самостоятельно на свой страх: он послал за губернским казначеем и дал ему официально запрос о количестве и движении сумм казенной палаты за 1787 и 88-й годы. Напрасно прождав ответа целый день, губернатор ввечеру дал стряпчему казенной палаты ордер вытребовать те сведения у губернского казначея. Тогда же он позвал к себе губернского прокурора и поручил ему настоять на доставлении этих сведений не позже утра 25-го числа (Благовещенья). Но прокурор, явсь к губернатору, уведомил его, что стряпчий болен, управляющий же палатою (за отсутствием вице-губернатора) директор экономии Аничков без присутствия палаты не решается приказать доставить желаемую ведомость. Державин объявил, что по экстренности случая директор экономии может собрать палату, вследствие чего ведомость действительно была доставлена. Но, не находя в ней сведения о наличных и остаточных суммах, из которых палата еще в предшествовавшем году обязана была удовлетворить все правительственные места, Державин решился на крайнюю меру: «чтобы превозмочь сие упорство и найти скрываемые деньги», он велел освидетельствовать находившуюся в ведении палаты казну и поручил это коменданту с одним советником правления и секретарем. Можно представить себе, как такое необычайное распоряжение поразило весь состав палаты; но нечего было делать: на другой же день произведена была ревизия. При этом наличных остаточных сумм от 1787 года оказалось около 177.600 руб., и в том числе 17.280 руб., которые по сообщению в означенном году экспедиции о государственных доходах были ассигнованы к выдаче екатеринославской провиантской комиссии, но отосланы ей не были. Получив это сведение, Державин отнесся к казенной палате с требованием, чтобы она, «оставя свое сумнение, помянутую задержанную ею сумму реченному его светлости комиссионеру без всякого задержания выдала и донесла о том генерал-прокурору, отнеся точно сию выдачу на мой ответ, о чем и я куда следует донести не оставлю». Кроме того, Державин считал справедливым выдать Гарденину и прежде назначенные ему палатою 7.235 руб. Что же касается недостающих к следовавшей ему сумме (всего в 35 т.) денег, то на выдаче их Державин не настаивал.

При ревизии палаты в ней открылись в значительном количестве и другие остаточные суммы, не высланные своевременно в надлежащие места; а вместе с тем обнаружались также разные неправильности и неурядиства в хранении казны. Они исчислены Державиным в письме к гр. Воронцову, писанном несколько дней спустя после осмотра казначейства. «Обо всем этом, — говорит он, — чрез наместническое правление вскорости отправлен будет в сенат рапорт...» Опасаясь, однако, последствий сво-

его чересчур смелого распоряжения, он просит своего благодетеля о покровительстве и защите в сенате. Далее он упоминает о неприятностях, испытанных им от Гудовича, «сего снисходительного и мягкосердечного человека, к ободрению явным образом интриганов». Под последними он понимает преимущество вице-губернатора. «Я, с моей стороны, Бога в свидетели совести моей поставляю, какие легчайшие средства употреблял я, чтоб сколько-нибудь пришел в чувство г. Ушаков; но когда ничто не успело, пусть теперь идут дела своим порядком, ибо охранение казны точно по учреждению на меня возложено, и были примеры, что губернаторы за слабое смотрение за казною заслужили нареkanie». Последние слова показывают, в чем именно Державин полагал главное оправдание своих решительных мер. Итак, он отправил в сенат два рапорта: один — о выдаче комиссионеру Потемкина денег, другой — о ревизии казначейства и обнаруженных при этом беспорядках. Вскоре сделалось известным, что и казенная палата, со своей стороны, послала в сенат рапорт с жалобой на какие-то бывшие при ревизии «притеснения». Державин, случайно узнав о том, позвал к себе губернского прокурора (Хвощинского) и сделал ему выговор за то, что он, вопреки закону, не донес правлению о таком действии казенной палаты. Прокурор поспешил подать рапорт. Чтобы опровергнуть взведенную на ревизоров клевету, губернатор на другой же день, на Страстной неделе, пригласил в правление председателей палат (вместо Ушакова опять явился Аничков), и в присутствии их все находившиеся при освидетельствовании казны были спрошены, какого рода притеснения или принуждения происходили при этом случае. Казначей и присяжные заявили, что показания их были вынуждены комендантом, но в чем состояло его насилие, они объяснить не могли, кроме того, что приказывая одному присяжному открыть коробку с деньгами, он задел его спину концом своей трости. Об этом заседании было опять донесено сенату и сообщено для сведения генерал-губернатору, который между тем и со своей стороны вошел в сенат с жалобой на распоряжения Державина. Прежде того, однако, Гудович, подобно своему противнику, обратился к Воронцову и отправил к нему следующее письмо:

«Рязань, 7-го апреля 1788. М. г. мой, граф Александр Романович. Скрывая долгое время наносимое мне беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи от губернатора Державина и стараясь, сколько мне можно было, самими дружескими способами приводить его к умеренности, вышел я, однако же, наконец из терпения; но, не вступая еще в формальное на него представление, по милостивому вашему дозволению осмеливаюсь к вам отнестись и прошу вас покорнейше постараться, чтобы он был переведен в другое место, и развести меня с ним. Злость, властолюбие неумеренное, пристрастие заводить по партикулярной злобе следствия, угнетая почти всех живущих с ним без изъятия, довели его до того, что он себя совсем и против начальника позабыл, не ездя в губернское прав-

ление и усиливаясь сделать его своею канцеляриею, занимаясь не наблюдением и порядком течения дел, но по большей части сочинением пустых следствий, газет и тому подобного, и, будучи удерживаем мною для общего и его собственного добра, осмелился против узаконения почесть меня, по надобности ему в одном деле, в отлучке от губернии, для того что я на то время был не в Тамбове, а в Рязани, вступил прямо с рапортами в сенат мимо меня совсем не принадлежащими, переписывается с другими губерниями и вошел в мою должность, как бы меня и не было.

Вашему сиятельству известен мой с ним поступок, известно и то, сколько я ему доброжелательствовал; но все то когда не помогало привести его в резон, то, избавляя себя от непрестанных хлопот, а его от неизбежного взыскания, покорнейше прошу постараться о его перемещении: вы сделаете и мне, и ему милость и одолжение. Ожидая благосклонного на сие ответа, пребуду навсегда с особеннейшим почтением и совершенною преданностью вашего сиятельства покорнейший слуга Иван Гудович».

Из этого письма ясно видно, что главное неудовольствие наместника против губернатора заключалось в том, что последний осмеливался действовать независимо, считая своего начальника отсутствующим из губернии, тогда как на бумаге он, находясь в Рязани, числился налицо и в Тамбове. Как мог губернатор позволить себе переписываться, помимо его, с другими губерниями? Очевидно, что виною такого странного неудовольствия были неправильные отношения, которые самый закон установил между двумя властями. Не менее странно было обвинение Державина в «сочинении пустых следствий и газет». Что разумел Гудович под сочинением газет, мы уже знаем из другого, приведенного в своем месте письма его, а выражение о следствиях относилось, быть может, к столкновениям губернатора с Сатиным и Загряжским. Остальные затем высказанные тут обвинения могли основываться только на заочных отзовах, слышанных наместником от Ушакова, Аничкова и других благоприятелей губернатора. Заметим, что в то же время Державин совсем иначе отзывался о Гудовиче, приписывая его действия недоразумениям вследствие наущничества своих врагов. Обвинения, изложенные наместником в письме к Воронцову, были повторены и в рапортах его сенату; но еще до получения этих последних сенат, на основании представлений правления и палаты, нашел, что Державин самовластно распоряжался такими доходами, которые без разрешения генерал-прокурора запрещено было употреблять в расход, и за это в указе сената, от 22-го июня, Державину сделан был выговор, о чем тогда же сообщено генерал-губернатору.

Все эти обстоятельства отозвались очень тяжело на положении Державина в остальное, до конца 1788 года продолжавшееся время его пребывания в Тамбове. Повторилось, но еще в несравненно больших размерах, пережитое им в Петрозаводске. Теперь обвинения были еще серьезнее, последствия должностывали быть решительнее, а оттого и страсти были распалены

сильнее, в раздражении было более горечи. Завязалась борьба партий, в которой обе стороны не разбирали уже средств для одержания победы. Друзья Державина в Петербурге не одобряли его поведения. Васильев, которому он сообщил копии с самых документов, писал ему от 27-го апреля: «Привыкши всегда с вами дружески и искренне обращаться, скажу вам и теперь откровенно, я поступка вашего не хвалю: 1) не выдавала казенная палата деньги комиссионеру, присланному из Екатеринослава; она бы за то и отвечала; положим, что сей комиссионер к вам адресован, но вы могли от себя отвести тем, чтоб сообщить в казенную палату, что время не терпит держать сего человека, а ежели б они и потому не сделали, то и тогда бы оставалось на их отчете, и не было нужды настоять о выдаче; а тем меньше входить в объяснение предложением; тут можно сказать, что вы входите в распоряжение другого и до вас не принадлежащего дела; 2) комиссия об освидетельствовании казенной палаты еще больше может вам нанести нарекания; ежели откроется что-либо по свидетельству, то скажут, что вы по ненависти и мщению оное сделали, ибо тут дело уже идет до чести; буде же ничего не откроется, то еще больше скажут, что придирка, и отнесть могут оную к той же причине; ведь всякая этакая ревизия не иначе быть должна, как по какому-нибудь подозрению, а когда его нет, то каково же целую палату обесчестить?»

Огорчение Державина было так велико, что он задумывал какой-то отчаянный поступок: кажется, намеревался уехать навсегда из России. На эту мысль наводит одно место в письме его к императрице, писанном позднее, уже по оправдании его. «Если б не царствовала Екатерина II, — говорил он, — то, как Богу, вашему величеству исповедую, должен бы я был давно оставить мое отечество». Об этом плане недовольного поэта слышали мы также от покойного графа Д. Н. Блудова, считавшего его своим дядей. И Львов, во время производства в сенате провиантского дела, едва ли не то же разумел, когда писал своему приятелю: «Из последнего письма твоего вижу твое героическое намерение; ноне очень его понимаю. Курциусу хорошо было одному в яму прыгнуть: спасение отчизны его от того зависело! Но мне и не можно, и не должно подавать советы такому человеку, к которому душевная моя преданность может меня слепо руководствовать, который больше меня жил, а потому себя и людей знать лучше должен».

По известной поговорке, что беда никогда не приходит одна, Державин в то же время испытал неожиданные неудачи по отправке хлеба в Петербург. Надо заметить, что он принял на себя эту заботу не только по просьбам частных лиц, но и по поручению казны. В 1787 году он отправил из Моршанска с купцами Кудиновым и Наставиным большой запас провианта для петербургских казенных магазинов. В мае следующего года он получил уведомление, что туда пришло с Кудиновым только 20 барок, из которых одна уже по прибытии на место затонула, и притом весь хлеб на них подмок и сгнил; остальные же 13 барок

остались в Вышнем Волочке, но бывший при них Наставин уехал неизвестно куда, вследствие чего казенная палата распорядилась, чтоб эти барки приведены были в Петербург на его счет. Одновременно Васильев и Львов изведали Державина, что из посланного им хлеба они получили только пятую часть. Много потеряли также Арбенов и Дьяков. Почти то же случилось и с хлебом, отправленным для графа Воронцова, и по уверению подрядчиков это произошло от крушения в пути барок. Изъявляя свое сожаление о том в письме к графу, Державин испрашивает его согласия на взыскание пропавшего хлеба с подрядчиков. Между тем тогдашний провиантмейстер Новосильцев нашел способ вознаградить частных людей, потерпевших при этом убытки. Недостающие в казенных магазинах 4000 кулей как-то отыскались, но Новосильцев вместо того, чтобы принять их, роздал это количество хлеба пострадавшим частным лицам, в числе которых был и сам он, а для удовлетворения казны обязал поставщиков доставить недостающий хлеб на будущее лето. Державин, уверенный что 4000 назначенных для казны кулей действительно были утрачены, заключил с подрядчиками новое условие, приняв в залог принадлежавшие одному помещику (князю Несвицкому) 250 душ. Мы увидим, что после оставления Державиным тамбовского губернаторства это распоряжение чуть было не сделалось для него источником новых затруднений.

29. Ссора двух дам

Взаимное озлобление враждебных партий неожиданно разыгралось скандальной сценой в обществе, и действующими лицами очутились жены двух высокопоставленных противников. В мае месяце (1788 г.) Катерина Яковлевна, принимавшая, как известно, самое горячее участие в делах и отношениях своего мужа, имела в чужом доме прискорбное столкновение с другою дамой, которое окончательно испортило положение Гаврилы Романовича в Тамбове. Была ли эта ссора умышленно вызвана врагами его или естественно произошла сама собой, трудно сказать, но впечатление, произведенное ею на местное общество, было так сильно, что еще спустя три четверти столетия (в 1862 году, в первое пребывание наше в Тамбове) предание о ней там сохранялось. К сожалению, она известна нам только в самых общих чертах, и притом почти исключительно из рассказа самого Державина (в письме к Безбородке); но, зная по многим современным свидетельствам прекрасную личность жены поэта, мы не можем не верить его показанию, что не она была первой виновницей столкновения. Другою стороной была жена председателя гражданской палаты Василия Петровича Чичерина. По словам Державина, дела Чичериных, при вступлении его в должность тамбовского губернатора, были очень расстроены, и он на первых порах помог супругам поправиться, но они, забыв сделанное им добро, перешли на сторону его врагов, и г-жа Чи-

черина не щадила его своим языком. По этому поводу Державин в своем доме высказал ее мужу несколько жестких истин, прося унять ее, «не давать ей злоречить и лгать». Когда спустя немного дней обе дамы встретились в гостях у помещика Арапова, на этот раз в отсутствие Державина, то Чичерина обратилась к Катерине Яковлевне с какими-то придирчивыми вопросами, а та, в ответ, повторила ей те самые горькие истины, какие незадолго перед тем были высказаны мужу Чичериной. По слышанному нами в Тамбове преданию, губернаторша при этом задела (толкнула?) свою противницу опахалом, что, конечно, провинциальным сплетням легко было раздуть в драку между дамами. Не иначе взглянул на это сам Чичерин, и захотел воспользоваться случаем, чтобы нанести губернатору самый чувствительный удар: вместо того, чтобы заявить свое неудовольствие наместнику, в то время находившемуся в Тамбове, он решил обратиться с жалобой прямо к императрице. До нас дошло достоверное известие о том, чьими совокупными трудами и как написана была эта жалоба. К советнику Макшееву пришел сын Чичериных Петр, председатель верхней расправы, и звал его к вице-губернатору для сочинения всеподданнейшего прошения, а в то же время явились сам Ушаков с Аничковым и начали вместе сочинять ту просьбу, причем каждый приправлял свои выражения обидными для губернаторши и непочтительными словами; но, не дописав жалобы, они пошли в дом к Ушакову и там ее кончили. При сочинении письма присутствовал, смеясь, и секретарь генерал-губернатора Лаба.

Державин, узнав не только о подаче этой жалобы, но и о способе ее составления, счел необходимым защитить себя от наветов врага и разом предупредить об этом деле своих петербургских покровителей: Безбородку, Воронцова, Терского и Новосильцева. Извещая их о поданной на него жалобе, он говорил: «Какого она точно содержания, я не знаю; но ежели верить рассеянному слуху, то она состоит в клевете, что якобы жена моя его, Чичерина, жену в компании у дворянина Арапова не токмо бранила, но даже била и выгнала вон. Я не буду в защищение говорить того, что жена моя воспитана в Петербурге; что поведение ее известно многим знатым особам, которое никогда мне стыда не приносило; следовательно, и не могла она быть столько буйною, чтоб еще и в чужом доме браниться и драться. Не буду я также подробно изъяснять того, какое в самом деле случилось происшествие с женою моею в доме Арапова и не была ли она более обижена Чичериною, яко женщиною довольно многим по ее злоязычеству и наглости известною, приехавшею с мною своею партиєю в дом Арапова, где была жена моя одна, и принудившею ее своими придирчивыми вопросами к разговору; из чего хотя и произошла между ними размолвка, но ничего однако непристойного не было, что могут хозяин и хозяйка и многие тут бывшие по присяге засвидетельствовать».

Изложив дело, как оно нами со слов его представлено, Державин разбирает, каким образом Чичерин, зная законы, мог

решиться подать жалобу прямо императрице, а не Гудовичу, который, в случае если бы его посредничество к прекращению ссоры не помогло, сам мог бы, — так продолжает Державин, — «довести до сведения престола мою строптивость, мой беспокойный и горячий нрав, которым, будучи не в состоянии ничего другого к бесславию моему сказать, меня упрекают, что я дал волю жене своей обидеть благородную женщину, и яко начальник разрушил тем спокойствие общества и т. п. Личную же обиду предоставить бы Чичериной отыскивать где должно по законам, и мужа ее от таковой дерзновенности приносить прямо к престолу жалобы воздержать; ибо, чаятельно, нигде и в непроswещенных народах того не водится, чтоб женские сплетни разбирали императоры. Но я в пользу Ивана Васильевича убеждаю себя верить, что столь неосновательная жалоба простерта к ее императорскому величеству без его сведения, хотя она и в бытность его в Тамбове отправлена на почту и хотя при сочинении ее был его секретарь; но, может быть, что он (Гудович) про нее и не ведал, которую, конечно, ежели бы от Чичерина о неудовольствии его был я извещен, без возможного б удовлетворения и без посредства Иван Васильевич не оставил. Про ссору же, между дам случившуюся, лично от меня и от хозяина Иван Васильевич знал, и как ничего уважения достойного в ней не заключалось, и я, имея более права быть в неудовольствии за неуважение жены моей, но перенес сию историю сколько можно холодно, посмеявшись только насчет обеих соперниц, то и думал, что она дальнейших следствий иметь не будет». Настоящею причиною вражды Чичерина Державин считает озлобление его за ревизию казначейства, так как и он был небезучастен в открытых там беспорядках. Главным же виновником жалобы выставлен Ушаков, которому давно хотелось «очистить себе место правителя, каковые скрытые козни и подборы извели над собою и прежде бывшие губернаторы». Мимоходом, в том же письме, Державин упоминает, что враги его гласно бросают на него подозрение в лихоимстве. Поводом к этому замечанию была дошедшая до него сплетня, будто он, во время объезда губернии, в Темникове взял с тамошнего откупщика 2000 руб. Это рассказывал дворовый человек Макшеева как слух, переданный ему женой бывшего городничего майоршей Канищевой, которая, однако, будучи спрошена о том, письменно показала, что никогда ничего подобного не говорила, да и сама «совсем об оном ни от кого не слыхала, да и откупщик кто именно, она его не знает». Об этом коммандант довел до сведения наместнического правления. При слушании его рапорта Державин отозвался, что он по этому, как лично до него самого касающемуся делу, дать своего мнения не может, в чем к нему присоединились и советники. Когда дело дошло до Гудовича, то он, к чести своей, положил такую резолюцию: «Без ясного и точного доказательства слова, которые служитель Родионов говорил, может быть, и в пьянстве, не заключающие, как, конечно, надеяться и можно, и должно, никакой справедливости, не стоят уважения и влечь за собою следст-

вия недостойны, тем более что в манифесте 1787 года сказано: «заочная брань ни во что да вменится и да обратится в поношение тому, кто ее произнес».

Чтобы иметь возможность лично оправдаться по всем поданным на него жалобам, Державин испрашивал у императрицы дозволения явиться в Петербург, причем целью его было объяснить вообще причины неудовольствий генерал-губернатора. На это ему через генерал-прокурора было объявлено, чтобы он «просился по команде». Тогда он подал на высочайшее имя прошение через наместническое правление, что после также вменено ему было в вину, так как он в правлении находился сам «первенствующею особою».

Не получая ответа, он решился действовать через Потемкина и написал к нему письмо, в котором просил исходатайствовать себе позволение ехать в Петербург для объяснения. В то же время он обратился с письмом к правителю канцелярии князя В. С. Попову, давнишнему своему приятелю. «Вас, м-вого г-ря, — писал он, — дружбою Ивана Максимовича и моею покорнейшею убеждаю просьбою подать мне в сем случае вашу руку помощи и, если можно, исходатайствовать у его светлости хотя одну черту в защищение моей невинности к ее императорскому величеству; ибо без того все на меня восстали. Вот каково служить верою и правдою! Не скрою также от вас, м-й г-рь, и того, что, по видимому, Иван Васильевич, желая снисходить всем беспорядкам казенной палаты, весьма слегка исполнил сенатский указ и не сделал в точности по тому взыскания над виновными, а между тем, чтоб оный оставить в бездействии, старается меня отселить вытеснить. — А как по несчастию моему, от переводов из губернии в губернию по небогатому моему состоянию я уже довольно потерпел и разорился, то и опасаясь я, чтоб меня отсель опять куды не перевели; а для того и желательно бы мне было, чтоб я здесь был оставлен: ибо, если я в чем виноват, то пусть поступают со мною по законам, а не играют, как шашкою, по прихотям генерал-губернатора. Пусть докажут мою неспособность к службе и спросят у здешнего дворянства, довольно ли оно мною, кроме казенной палаты, которой в необходимости я был свидетельством денег открыть беспорядки и утрату знатных сумм казны. Ежели меня не одобряют, то не токмо куды перейти, но и вовсе я готов оставить службу без малейшего роптания».

Оба письма были отправлены в очаковский лагерь на имя генерал-майора князя С. Ф. Голицына (женатого на племяннице Потемкина, Варваре Васильевне Энгельгардт), известного владельца Зубриловки, где Державин не раз бывал во время своих разъездов по губернии. Исполнив его поручение, Голицын доставил ему ответ светлейшего и при этом заметил, что князь к нему «весьма благорасположен».

Одновременно (16-го сентября) и В. С. Попов писал: «Чувствительно меня трогают неприятности, вам встретившиеся, и по преданности моей к вам, и потому, что ревностное исполнение требования его светлости послужило поводом к оным. Князь

из ваших писем видеть изволил все обстоятельства и по окончании кампании, возвратясь в Петербург, не преминет, конечно, отдать вам справедливость». Благосклонность Потемкина служит нам лучшим объяснением счастливого исхода дела Державина после тамбовских невзгод.

30. Вины Державина и определения сената

По рапортам Гудовича сенату от 17-го и 31-го июля вины Державина состояли в следующем: 1) он присваивал себе власть не только генерал-губернатора, но и генерал-прокурора; созывал членов палат в наместническое правление для следствия и очных ставок, для чего учреждена уголовная палата; затруднял собрание, по секретному указу, заштатных церковников; занимался по пристрастию и недоброхотству выискиванием следствий частных людей и утруждал ими сенат, представляя ему о многих ненужных делах прямо от наместнического правления, помимо генерал-губернатора; замедлял течение дел, так что их по последней ведомости осталось 604 не решенных; не исполнял указов самого сената, не доставлял ему требуемых сведений, делал «напрасные возражения» генерал-губернатору, «переписки с ним, затруднения и остановки» и, наконец, позволил себе «последний больше еще прежних противузаконный поступок». Именно: когда после 11-дневного пребывания в Тамбове генерал-губернатор 27-го июля собрался ехать в Рязань рано поутру в 5-м часу и шел садиться в повозку, то Державин вдруг явился к нему в дом. Гудович, увидев его, из вежливости спросил: «Что так рано потрудились?» Державин ему отвечал: «Я слышал, что вы рано отъезжаете; не изволите ли в правление?» — Гудович, заключая по раннему его приходу, что случилось что-нибудь необыкновенное, спросил о причине. — «Трактовать по делам!» — «По каким?» — «По разным». Гудович выразил удивление, почему Державин прежде не говорил ему об этих делах, тогда как он, генерал-губернатор, ни одного дела без резолюции своей не оставляет и не удерживает у себя без ответа. После того Державин начал вдруг с запальчивостью ему выговаривать. «Вы сами, — сказал он, — не ходите в правление, никакого дела не делаете, а на нас взыскиваете... Какие делаете вы резолюции!» — «Ежели вы, — отвечал Гудович, — мою резолюцию по своему делу недовольны, то, не делая мне выговоров, можете просить на меня в сенате». — «И то стану просить», — подтвердил Державин. Когда же Гудович заметил ему, что служит государине беспристрастно, со всею беспредельною ревностью, то губернатор с насмешкою сказал: «Ну и служите!» — «Помните ли вы, — спросил наместник, — с кем говорите? Как вы смеете делать неприличные выговоры и доношение своему начальнику и нарушать тем должное к нему почтение?» На это Державин отвечал только, что «говорить может». Затем генерал-губернатор ему объяснял, что, имея в своем ведении два наместнических

правления, мог он присутствовать только в одном из них, и что, впрочем, губернатор при нем, наравне с советниками, не более как заседатель правления, на что Державин отвечал, что этого нигде не сказано, что он не заседатель, а правитель губернии, и продолжал спорить с наместником при многих подчиненных чиновниках, стоявших тут же при открытых дверях. Все это Гудович выставлял как оскорбление «от подчиненного, который, упуская сам свою прямую должность и вмешавшись в генерал-губернаторскую, завел у себя с особливим секретарем большую домовую канцелярию, ему по законам не положенную, и занимаясь делами больше в оной, по пристрастию и недоброхотству к некоторым подчиненным, мешая тут и дела, до наместнического правления не принадлежащие» и проч. В заключение Гудович просил у сената, как обиженный начальник, суда на подчиненного, преступившего между прочим статью манифеста о спокойствии и тишине, а между тем «повелеть ему не отправлять свою должность, дабы по таковому противузаконному его Державина с ним поведению не могли прийти дела в окончательное замешательство».

Вследствие этих жалоб сенат указом 24 августа предписал тамбовскому губернатору по всем пунктам обвинения в непродолжительном времени прислать ответ. Державин очень хорошо знал, что объяснения, не подкрепленные справками, мало убедительны и что если, отлучив его от должности, передадут дело в сенат, то там справки будут собираться несколько лет, и притом такие, какие угодны будут начальнику. Поэтому он принял свои меры, чтобы самому прежде всего собрать справки. Не объявляя указа в правлении, он созвал к себе секретарей и приказал им, как будто по какой-нибудь другой надобности, доставить сведения о всех обстоятельствах, по которым сенат требовал у него ответа, напр.: «Не было ли со стороны моей каких упущений в собирании доходов, в сборе рекрут и церковников? Не было ли каких пристрастных моих предложений или резолюций, относившихся к следствию частных людей, в которых не заключалось бы пользы общей? Не имеется ли в наместническом правлении таких законов, которые бы воспрещали ему входить со своими представлениями прямо от себя в сенат, и не иначе как чрез генерал-губернатора? Не значит ли по правлению, что я входил в такие дела, которые бы относились собственно до должности генерал-губернатора? Не бывало ли в правлении с моей стороны замешательства по делам, и отчего с нынешнего года накопилось более 600 не исполненных дел? Со времени моего назначения присутствовал ли когда в правлении генерал-губернатор, и если присутствовал, то когда именно, и осматривал ли когда порядок и производство дел в правлении? Нет ли каких письменных по званию моему от генерал-губернатора приличных наставлений, которых бы я держаться был должен и о которых он в первом своем рапорте упоминает?» и т. п. Справки были без замедления представлены в губернаторскую канцелярию. Советники, не зная, с какою целью они собраны,

подписали их, а губернский прокурор пропустил без всякого возражения. Получив эти справки, Державин объявил правлению сенатский указ о доставлении требуемого ответа и, основываясь на них, тотчас написал и отправил в сенат свои объяснения. Губернский прокурор счел долгом отправить с уведомлением о том нарочного в Рязань. При этом известии Гудович пуще расвирепел и 2-го октября послал в сенат новую жалобу на Державина. Здесь он говорит, что губернатор своим противозаконным обращением за справками к наместническому правлению оскорбил чин и звание генерал-губернатора, предал своего начальника рассмотрению и следствию правления, «из чего сенат усмотрит, укрощается ли правитель Державин и после сделанного ему от сената подтверждения в своих против него противозаконных поступках»; а потому наместник вновь просит сенат «о повелении не отправлять ему, правителю, своей должности» до решения дела по поданным Гудовичем жалобам.

Между тем Державин все еще не терял надежды получить через своих покровителей разрешение отправиться в Петербург для объяснений. Поверив какому-то слуху, что там ждут Потемкина, он отправил туда нарочного с письмами к Попову и Грибовскому: последний, не получив в Тамбове места директора училищ, сумел приютиться под покров всемогущего вельможи. В этих письмах Державин жалуется, что Гудович запрещает давать ему справки и старание получить их называет возмущением. В то же время Гаврила Романович написал еще письмо и к самому Потемкину, объясняя, что произошло после высочайшего повеления проситься в отпуск «по команде», и возобновляя просьбу исходатайствовать ему «увольнение в Петербург на самое краткое время». «Я же с собою, — кончает он, — могу и ответы мои правительствующему сенату доставить, и если найдусь виновным, да подвергнуся строгости законов».

Петербургские друзья Державина, смотря на его обстоятельство с точки зрения обыкновенной житейской философии, не могли, разумеется, одобрять его образа действий. Так Козодавлев 30-го октября писал ему: «Позвольте, любезный друг, попенять вам, что вы не во всем следовали правилам честного, позволительного или, лучше сказать, должного благоразумия. Например, когда от вас требует ответа вышнее правительство, тогда приказываете вы отвечать месту, в коем вы председательствуете. Когда вам велят проситься в отпуск по команде, тогда вы относитесь к тому же месту, где вы законами посажены командовать, ибо советники ваши суть вам совершенно подчинены. Сие и сему подобное можно толковать на разные образы; а в том-то и состоит *быть мудру яко змия*, чтоб из ответов ваших и из исполнения поведения вышние власти ничего иного извлечь было не можно, как ваше оправдание. Что сделано, того уже не переделаешь. Бог, видя ваше сердце, исторгнет вас, конечно, из бездны беспокойствий. От всего сердца желаю, чтоб хлопоты ваши не повредили вашего здоровья, в чем на твердость духа вашего полагаюсь совершенно. О Катерине Яковлевне я сожалею

от всей души и предчувствовал, что она занеможет от своей чувствительности и воображения. Поцелуйте у нее ручку и скажите ей мое совершенное почтение».

Прежде нежели в Петербурге получены были объяснения Державина, в сенате, по последней жалобе Гудовича, состоялся указ, которым от советников правления требовалось ответа, на каком основании они давали губернатору справки, и вместе с тем объявлялось, что императрице представлен доклад об отрешении Державина от должности и предании его суду. Этот обширный доклад кончался следующим образом:

«Всемиловейшая Государыня! Сенат, рассматривая все выше изъясненные происшествия, поставляет долгом вашему императорскому величеству всеподданнейше донести, что хотя по поводу первовступивших донесений о беспорядках тамбовского правителя Державина во отправлении порученной ему должности, также в несохранении должного к начальнику своему повиновения, и требовано от него ответа, но он, вместо скорейшего исполнения лично до него касающегося о том указа, не только вознамерился собранием ненужных справок отдалить требуемый ответ на долгое время, привлекая в соучастие своих беспорядков служащих в правлении чиновников, но в то же самое время подверг к некоторому исследованию и правящего должность генерал-губернатора, причиня тем явную обиду званию его и чину и не уважая предписания сената, яко вышнего правительства, над ним поставленного, и хотя по силе законов без ответа и суда никого винить не должно, но поступки оною Державина в последнем его предложении суть гласны и видимы сенатом, что он дерзновением и упорством отвергает должное повиновение, упослеждая тем власть начальства, установленную от вашего императорского величества, и развращает дела службы. Чего ради, во отвращение дальнейших из того последствий, сенат и осмеливается вашему императорскому величеству всеподданнейше представить свое мнение, чтоб помянутого Державина от должности отрешить и во всех его противозаконных деяниях предать суду, где оный над ним произвесть благоугодно будет».

Виновниками такого строгого решения, как весьма правдоподобно утверждает Державин, были князь Вяземский и, еще более, родственник Гудовича Завадовский, который своею рукою написал весь доклад и при этом «показал искусство свое в словоизобретении». Вместе с указом, где заявлено было об этом решении, прислан был еще другой о наложении на губернское правление по делу Бородина штрафа в 17.000 руб. (см. выше). Мы уже видели, какое впечатление этот приговор произвел на Державина. Естественно, что слух о содержании обоих указов должен был совершенно уронить его в глазах тамбовского общества, и он 11-го декабря писал Терскому (в котором предполагал искреннее к себе участие, но, как после оказалось, ошибался): «Таковые гостинцы от сената и тому подобные о моем несчастии разглашения, как равно и приезд генерал-губернатора, который, как все здесь твердили, привез с собою мое отрешение, отвергли

от меня самых близких ко мне людей и по должности, и по приятности; даже и советники правления, бывшие со мною всегда единогласными и всегда мною уважаемые, восстали против меня в самых ничего не значащих делах».

Поводом к приезду Гудовича в Тамбов были предстоявшие в начале декабря выборы, для которых собиралось и дворянство. Державин старался сохранять наружное спокойствие и, продолжая исполнять свои обязанности, представил генерал-губернатору рапорт о состоянии губернии и список съезжавшихся дворян.

В Николин день он явился к своему начальнику на поклон с другими представлявшимися лицами, но тот не удостоил его ни единым словом. Случайно Державин узнал от посторонних, что выборы назначены 8-го числа; накануне вечером он позвал к себе коменданта (исправлявшего и должность городничего) и от него услышал, что ему словесно велено оповестить через полицию, чтоб завтра в девять часов утра дворянство собралось в дом наместника, а купечество в магистрат для выборов, насчет же губернатора не было никакого приказания.

В недоумении, не отрешен ли он уже от должности, Державин хотел было, сказавшись больным, остаться дома; но по совету случившихся у него «почтенных людей» из других губерний решился в назначенное время явиться к наместнику для принятия его повелений. Подойдя к нему при многих чиновниках и губернском прокуроре, Державин сказал: «До сведения моего дошло, что сегодня назначено открытие выборов: то не угодно ли будет вашему превосходительству чего и мне поручить?» — Гудович отвечал, что все нужные приказания отданы губернскому предводителю, а в нем, Державине, нет никакой надобности. Губернатор поклонился и, не говоря ни слова, вышел. Затем, не имея никакого предписания о времени производства городских выборов, для которых сроки по закону должен был назначать наместник, Гаврила Романович письменным рапортом отнесся к нему с просьбою решить этот вопрос и копию с этого рапорта сообщил наместническому правлению. Советники правления, напуганные сенатским указом, требовавшим от них ответа за выдачу Державину справок, не приняли этой бумаги и подали генерал-губернатору свое мнение. Гудович вошел в сенат с новым донесением на Державина, обвиняя его за неназначение своевременно сроков городским выборам. Ожидая, что вследствие этого «будет еще новая история и материя для суждения сената» и уже не полагаясь на правосудие его, Державин просил Терского, «где можно замолвить за него слово и внушить, что он поистине не заслуживает такого гонения, которым безвинно все на него восстали».

Действительно, положение Державина было невыносимо; вот как он в том же письме описывал его: «Губернатор больше уже здесь не существует. Я с каждым шагом опасаясь, чтоб не сделали какой привязки. И даже до того загнан и презрен, что весь город до последнего офицера приглашается в дом генерал-

губернатора на обеды, на маскарады и на балы, бывающие по случаю выборов; но я и Катерина Яковлевна ни в какое публичное собрание не призываемся, и хотя означенные пиры в доме государевом и, можно сказать, от щедрот великой Екатерины устраиваются, но губернатор оных с его женою лишен. Напротив того, в торжественные дни, когда назначал я у себя публичное собрание, как-то и в нынешний Екатеринин день, то я даже самых моих злодеев всех приглашал; ибо, по моим мыслям, в таковые дни должно оставлять всякие личные между собою неудовольствия и неприязни. Меня это нимало не трогает; но я удивляюсь, что люди, носящие великую доверенность, славящиеся знатным родством и воспитанием, забываются из злобы до такой крайности; ибо (наместник) не хотел сюда и въезжать до того времени, покуда меня не отрешат; но когда стал в необходимости приехать для выборов, то вот какие творит чудеса. Напротив того я, лишь бы приведены были подчиненные всякий к исполнению своих должностей, нимало не ужасаюсь быть под его начальством. Иногда не безужно иметь и врагов, чтобы лучше не сбиваться с пути законов. Пусть подыскивается: это мне делает более чести, что со всем своим домогательством притеснить меня, кроме пустяков, ничего не находит».

Роковой доклад сената долго оставался без конфирмации, и Державину пришлось жить недели три между страхом и надеждой. В Петербурге получены были между тем объяснения его; тамошние друзья опального губернатора спешили известить его о ходе его дела или, по крайней мере, о носившихся в городе по поводу этого дела слухах. Живший в Петербурге отец моршанского городничего Михаила Титов вместе с известием о взятии Очакова сообщал Державину 18-го декабря: «Поданный доклад государыня изволила оставить у себя, который и поныне не вышел, да, может быть, и не выйдет никогда. Причины (для отрешения губернатора) весьма слабы, а полученное от вас объяснение у многих переменяло мысли». В тот же день писали Державину Львов и Терский. Первый уведомлял его: «Третьего дня, говорят, граф Мамонов хорошо об тебе отзывался; говорят, что будто он получил от тебя письма; я этого не знаю, и ты мне не писал. Он говорил, что тебя несправедливо притесняют, что уведомлен о тебе, как о человеке прямо и правом, что ты по поступкам своим ему таковым кажешься. Между тем по докладу ничего нет... Ответы твои читают; но тут уж так тайно, что ничего узнать и в сенате не можно».

Терский столько же неутешительно писал: «О слухе вы пишете касательно доклада; то и здесь то же было, и что-нибудь с правдою похоже. Однако, кажется теперь, будто все затихло; дай Бог, чтобы так и осталось. Мой дружеский совет вам все забыть, держась моего правила: терпения сколько можно!» Как обыкновенно бывает в таких случаях, друзья, на помощь которых рассчитывал пострадавший, отделявались утешениями и советами.

Через два дня (21-го декабря) опять полетели в Тамбов новые вести о деле Державина. Львов писал ему: «Сегодня опять худые слухи... Говорят, что московскому сенату приказано рассмотреть все дело; указа еще нет, а говорят, завтра выйдет. Не знаю, право, и боюсь, поможет ли что-нибудь и письмо твое; если писать станешь, то, пожалуй, будь весьма осторожен; я все не могу никого видеть. Говорят, что князь (Таврический) будто к новому году будет сюда. Не знаем, не ведаем, каким странным оборотом в два дни дела такой вид взяли, и узнать никак нет средства. Прости».

Удивительно, что на этот раз Львов, служивший при Безбородке, знал менее провиантмейстера Новосильцева, который так извещал своего приятеля о решении его участи:

«М. г. мой, Г. Р. Непостоянство счастья, играющего нашу участь, изменяя в надежде, которую имели мы из продолжения по поданному об вас от сената докладу, наконец, к сердечному соболезнованию моему, определяет вам явиться в 6-й департамент для отчета в принесенных жалобах от генерал-губернатора, и должность ваша поручается старшему по списку из назначенных к определению, генерал-поручику Звереву. Я не в состоянии изъяснить безмерного оскорбления, которое причиняет сия неожиданная превратность мне и другим, вас любящим. Но что делать, когда все в свете подвержено переменам и когда истина почасту представляется в ложном виде? Прилагаю здесь копии с указов, всеискренно желая, чтоб вы, м. г. мой, сию неприятность приняли с свойственным вам благорассуждением и чтоб справедливость доставила вам всеовершенное торжество и воздаяние».

Именной указ об отдаче Державина под суд состоялся в тот самый день, когда писаны были первые из приведенных здесь писем, именно 18-го декабря. Окончательное распоряжение содержало еще один важный пункт, о котором не упомянул Новосильцев: велено было обязать подсудимого подпиской, что он до окончания своего дела останется безвыездно в Москве.

Храповицкий в дневнике своем еще 29-го ноября записал: «По докладу сената приказано Державина отдать под суд. Он стихотворец, и легко его воображение может быть управляемо женою». Затем следовал приведенный уже выше весьма нелестный отзыв императрицы о теще поэта.

Итак, на этот раз не помогла и благосклонность Безбородки, подогреваемая Львовым. Просьбы Державина о позволении ему приехать в Петербург были оставлены без внимания. Воронцов хранил упорное молчание. Сам поэт объясняет дурной исход дела тем, что Безбородко, по старинной дружбе с земляком своим Завадовским, принял сторону его родственника Гудовича, принадлежа притом к сильной партии князя Вяземского, ибо, по словам Державина, Потемкин, Безбородко и Вяземский, «чтоб не мешать друг другу, составили между собой триумвират». Так ли действительно было, или Безбородко, получив от Гудовича частное письмо с резкой жалобой на Державина, не мог ничего

сделать в пользу поэта, или, видя его неосмотрительные поступки, решил временно им пожертвовать, в надежде скоро поправить дело с помощью Потемкина, — как бы ни было, он должен был доложить государыне письмо генерал-губернатора, к тогда только Екатерина, которая до тех пор держала у себя доклад сената без движения, решила утвердить его. Как между тем смотрел Потемкин на все это дело, раскрывает письмо Грибовского к Державину, писанное из Кременчуга в конце января 1789 года по поручению Попова: «Его светлость, — говорит он, — никак не переменял к вам своего благорасположения, но отлагал защитить вас в Петербурге самолично, не желая писать к князю Александру Алексеевичу (Вяземскому) и что приехавши туда, конечно сделает в вашу пользу все возможное».

31. Некоторые частные случаи

Рассматривая главные стороны деятельности Державина по Тамбовской губернии, мы не могли останавливаться на некоторых отдельных чертах ее, также заслуживающих внимания. Обращаемся к ним теперь. Они доставят нам еще несколько данных для оценки личности этого человека, в котором было такое удивительное смешение самородных элементов высокого благородства с последствиями недостаточного образования.

Вот, например, случай, доказывающий его человеколюбивое настроение.

В августе 1786 года при выходе из присутствия наместнического правления губернатор увидел на крыльце мальчика лет семи или восьми, с большою железною цепью на шее. Мальчик этот, по имени Матвей Петров, имел оторопелый вид. При осмотре у него на лице и на спине оказались следы побоев. Державин возвратился с ним в присутствие. Оказалось, что это был сын дворового человека поручика Дулова из села Борщовки, что в 15-ти верстах от Тамбова. Накануне, когда мальчик по своей должности пас свиней, случилось, что одна из них убежала на село. За это помещик высек его езжалым кнутом и, надев ему цепь на шею, приковал к стулу, страшая, что еще будет сечь его. Испуганный Матвей, заметив, что цепь была надломана, успел половину ее снять с кольца и прибежал в город искать у начальства защиты, так как помещик часто его сек; он не щадил и других дворовых людей и крестьян своих: привязывая их к колесу, бил кнутьями и палками. Положено было расследовать поведение этого помещика, а мальчика, сняв с него цепь, отправить между тем в приказ общественного призрения на прокормление и излечение, причем штаб-лекару велено описать бывшие на нем боевые знаки. По указу, посланному на имя уездного предводителя дворянства, собраны были насчет Дулова сведения от соседних дворян. Некоторые отозвались о нем одобчительно, другие показали, что совсем его не знают. Уездный суд заявил, что на него никто не подавал просьб и жалоб, и

только в нижний земский суд представлены были в 1784 году однодворческим старостой и помещичьими крестьянами два малолетних мальчика, найденные ими на гумнах в соломе, да в 1786 году комендантом прислан был крестьянский сын в побеге — от причиняемых господином их побоев; эти мальчики отданы были Дулову под расписку, и более просьб на него ни от кого не поступало. Удовольствовавшись этими сведениями, правление определило: взятого на прокормление мальчика отослать к предводителю дворянства и велеть отдать его Дулову, подтвердив, «чтобы он с рабами своими столь жестоким образом не поступал, а имел к оным человеколюбие; если же впредь в таких поступках замечен будет, то с ним поступлено быть имеет по законам». Прибавим побочные, но не лишние интереса подробности: на содержание мальчика в приказе назначено было по 5 коп. в сутки; всего же издержано 13 руб. 70 коп. Из этого следует, что мальчик просидел в приказе ровно 9 месяцев. В конце мая 1787 года правление определило: взыскать эти деньги с поручика Дулова; последняя же бумага по этому делу, посланная из правления в приказ, была от 14-го июля означенного года, следовательно, на производство всего дела потребовалось не менее 11 месяцев, за что, конечно, нельзя винить одного губернатора, так как задержка произошла главным образом от медленности в собирании справок.

Вот еще одно распоряжение Державина в том же духе: оно состояло в смягчении строгого приговора. Рядовой тамбовского батальона Марк Григорьев, самовольно отлучившись от команды, женился на крепостной девке купца Бородина и обвинялся в сносе вместе с нею разных вещей, что, однако, доказано не было. По произведенному следствию комендант полагал прогнать виновного шпицрутенами два раза сквозь строй пятисот человек. Но Державин, пользуясь предоставленным губернаторам правом решать дела по неважным проступлениям военнослужащих, отвечал на уведомление о том Булдакова, что так как из допроса Григорьева и засвидетельствования его командира подпоручика Зеньковича видно, что этот солдат отлучился из квартиры своей не для какого-либо злого умысла, а чтобы обвенчаться по взаимному согласию с крестьянкой Акулиной, и пробыл в отсутствии в селе Лысые Горы не более 9-ти часов, по возвращении же в Тамбов немедленно явился к начальнику с повинною, то губернатор определил вместо присужденной виновному жестокой кары наказать его телесно при собрании команды и затем оставить при прежней должности.

В противоположность этому случаю следует рассказать другой, свидетельствующий, что Державин в служебных отношениях не всегда руководствовался чувством человеколюбия и, подчиняясь какому-нибудь стороннему влиянию, мог во взыскании за вину поступать с крайнею строгостью. Сохранилось следующее предложение губернатора наместническому правлению от 12-го июня 1786 года:

«Усмотрено, что секретарь Данилов в исправлении своей должности весьма медлителен и неисправен, о чем неоднократно докладывано было мне и от г. советника сего правления Аничкова, а потому и выговоры ему деланы были, но и затем не исправляется. Наместническому правлению предлагаю, не благоволит ли оное приказать его, Данилова, за таковую его неисправность содержать в правлении полмесяца на хлебе и воде, за которым иметь наблюдение стоящему на гауптвахте унтер-офицеру, чтоб он из правления не отлучался и чтоб ничего больше как хлеб и вода ему в пищу даваемые не были».



Сейчас Державин?

К сожалению, нельзя отрицать, что Державин, по личным своим отношениям, иногда ошибался в оценке людей и легко становился жертвою лести, обмана или пристрастия. Вот один

разительный тому пример: спасский капитан-исправник секунд-майор Рогожин бессовестно грабил крестьян и, собирая подать, вместо одного положенного законом рубля брал с них по десяти; а если кто-нибудь осмеливался не удовлетворить его алчности, то он прибегал к жестоким, едва вероятным истязаниям. Так, когда разоренное им местное начальство села Бокового Майдана отказалось платить налоги в пользу Рогожина, то он над сотским и головою этого села произвел страшную экзекуцию. Вместе с тем он имел обычай, утоливши в каком-нибудь селе свое мщение за противодействие его жадности, требовать от крестьян письменного себе одобрения, в чем, конечно, ему не смели отказывать. В селе Майдане проживал приказчик полковника Мельгунова, Ульяновский. «Это был человек замечательно развитый для своей среды и своего времени», — говорит г. Дубасов, которому мы обязаны сведением о настоящем случае. В 1787 г., во время неурожая, Ульяновский на свой счет скупал хлеб и по дешевым ценам раздавал его бедному деревенскому люду. Узнав подвиги Рогожина, он написал о них губернатору и другим тамбовским властям. Внезапно в село Майдан нагрянул весь спасский нижний земский суд и, настраивая собранных им сельских стариков, заставил их единогласно одобрить все действия своего председателя, капитан-исправника. Ульяновский же был обвинен Рогожиным в том, что держал у себя в работниках беспаспортных, что брал у майданских крестьян казенную землю и обрабатывал ее посредством этих самых крестьян как бы в отплату за то, что давал им взаймы деньги, а они от того терпели разоренье и не могли платить государственных податей. Все это по произведенному дознанию оказалось чистою ложью. Кроме того, следователи обнаружили, что у Рогожина были с Ульяновским личные неприятности, причем первый являлся в самом невыгодном свете. Однажды капитан-исправник послал полицейских солдат наловить рыбы в пруде Ульяновского; когда же тот воспротивился насилью, то ему было объявлено: «велено тебя в воду посадить, если не дашь рыбы», — и он должен был уступить.

Во время судебного разбирательства по клевете на Ульяновского в Спаск приехал Державин. Здесь, по наущению Рогожина, губернатора уже поджидала депутация из села Бокового Майдана. Восемь стариков подали ему просьбу на Ульяновского, выхваляя Рогожина как примерного начальника. Но и противная сторона не дремала. Отставной сержант Кардамин принес Гудовичу жалобу, в которой было изложено следующее. Раз Кардамин, по обязанности питейного поверенного, конфисковал бочку корчемного вина, которую везли к приятелю Рогожина Самгину, и для заявления об этом отправился к Рогожину же, как начальнику уезда. Там встретился он с Самгиным, который, увидев его, закричал: «Я застрелю тебя из ружья 25-ю пулями», а сам Рогожин прямо набросился на Кардамина и ударил его по лицу. Кардамин просил исправника засвидетельствовать угрозу

Самгина, но тот отвечал новыми побоями, приговаривая: «Вот тебе свидетельство», — а потом отослал его в холодную.

Гудович решил поступить с Рогожиным по всей строгости законов и отправить его в уголовную палату под суд. Но за подсудимого вступился Державин, и Рогожин полатился одною отставкой, да и то уже при следующем губернаторе Звереве. Г. Дубасов замечает при этом, что Державин принял сторону виновного «по неизвестной причине». Нам причина эта очень ясна: Державин, по свойственному ему легковерию и простодушию, был введен в заблуждение не только приверженцами Рогожина, но и теми одобрительными свидетельствами, которые этот капитан-исправник, как мы видели, не раз вымогал у крестьян.

Но что Державин непритворно стремился к добру и справедливости, тому мы имеем много доказательств. Между прочим на это указывают некоторые до сих пор живущие в Тамбовской губернии предания. Еще лет двадцать тому назад в Липецке помнили, как он, приехав в этот город, ласково обращался с жителями и брал сторону бедных против богатых. Останавливался он там у городничего Петра Тимофеевича Бурцева, умершего в январе 1826 года, 115-ти лет от роду, отцом двадцати четырех детей. Из них в свое время известен был гусарский офицер Алексей Петрович, отчаянный гуляка и головорез, к которому Денис Давыдов написал послание:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой...

Сохранился журнал «бытности в Липецке его превосходительства», из которого видно, что Державин, приехав туда 15 декабря 1786 г., осматривал там заводы и присутственные места. При освидетельствовании уполномоченными чинами (в числе которых был и Бурцев) за два дня до того денежной казны было замечено, что как скоро отворили двери в кладовую, то присяжные Баранов и Карпов вместе с уездным казначеем Сальковым бросились к сундуку, и так как он не был замкнут, то они вложили в него тысячу рублей ассигнациями. Оба присяжные сознались в том, а по приезде губернатора Сальков повинился, что он прежде взял помянутую тысячу из сундука для своих надобностей; по случаю же предстоявшей ревизии казначейства отдал эту сумму присяжным, с тем чтобы они непременно положили ее в сундук.

Имело ли это дело какие-нибудь последствия, из документов не видно. При осмотре городского магистрата в бумагах его также найден беспорядок.

Вот еще местное предание о Державине. Помещица Липецкого уезда, вдова Редькина, разбитая параличом, имела тяжбу по полученному от отца наследству. Дело тянулось очень долго и кончено было в пользу ее противника. Тогда она отправилась в Тамбов просить губернатора о пересмотре этого дела, но сторонники выигравшего процесс долго не допускали ее до Державина.

Наконец она приказала подвезти себя в ручной тележке к окну губернаторского дома и оставалась там до тех пор, пока не увидела Державина. Объяснившись сперва на словах, она подала ему жалобу на неправильное решение; губернатор потребовал к себе все дело, внимательно прочитал его сам и дал ему другой оборот в пользу Редькиной, которая умерла в глубокой старости в 90-х годах прошлого столетия.

Между частными случаями губернаторства Державина в Тамбове нельзя не упомянуть также о полученном им безыменном доносе на подчиненных ему представителей власти. 25-го января 1788 года он предъявил в наместническом правлении письмо, поднятое в его сенях и запечатанное в конверте с надписью: «Его благородию Александру Яковлевичу» (Бастидону, шурина Державина). По распечатывании оказалось, что оно было прислано из Козлова и обличало происходившие в наместничестве злоупотребления разных должностных лиц и беспорядки в производстве дед. Автор выражался почтительно и в конце письма обещал принести со временем извинение в причиняемом беспокойстве. Жалобы были направлены против помощника полиции, частных смотрителей, секретаря и церковников. Вот, напр., что говорилось о первом из означенных лиц: «Не доволен грабежом помощник полиции, сокровища которого во весь свой век служа не удавалось столько получить, как бывши здесь в Тамбове на ста рублях, коим жалованьем и в продовольствии семейства пищею, исключая имеющих лошадей и содержания оных фуражом, а равно чрезвычайным ныне одеянием хорошего платья и содержания своего отличного и против тех, кои больше 500 рублей получают и жалованья, содержать бы себя было нечем, как ныне всегда пиво и с прочими напитки бутылки не перемежаются» и проч. По существовавшему в то время закону, подлинное письмо, очевидно написанное полуграмотным человеком, было сожжено на городской площади руками палача.

32. Тамбовская переписка и отношение губернатора к литературе

Из Тамбова Державин вел обширную и самую разнообразную переписку, которая бросает яркий свет на все его тогдашние отношения и обстоятельства. Большая часть ее дошла до нас благодаря его привычке не только сохранять получаемые письма, но и оставлять у себя отпуски с тех, которые он отправлял в разные стороны. У него были корреспонденты во многих местностях России: на родине его, в Казани (Ф. И. Васильев), в Москве (Арсеньев, граф И. Л. Воронцов, Херасков), в Малороссии (Синельников, Капнист), в Белоруссии (Лунин), в Вятке, в Саратове. С Петрозаводском его сношения нам уже знакомы. Всего деятельнее переписывался он с Петербургом, где у него были многочисленные связи и между высшими сановниками, и в более скромном, но также имевшем для него важное значение чи-

новном мире, и наконец в кругу родных и знакомых по жене. К числу знатных его покровителей или, по крайней мере, благожелателей за это время принадлежали: графы Безбородко, А. Р. Воронцов, А. П. Шувалов, И. Г. Чернышев, княгиня Дашкова, любимец Ермолов, Л. А. Нарышкин, князь С. Ф. Голицын, наконец, сам Потемкин с своим фактотумом Поповым. Между переписывавшимися с Державиным лицами находим также графиню Матюшкину и княжну Волконскую. Хотя его отношения к Вяземским со времени бывших неприятностей охладели, но он не совсем отдалился от этого семейства. Вследствие прежнего знакомства получил он портрет князя, гравированный Скородумовым, и иногда обменивался с княгинею поклонами; по случаю же путешествия генерал-прокурора в Саратовскую губернию переписывался даже и с ним самим. Сношения его с некоторыми вельможами поддерживались тем, что они имели поместья в Тамбовской губернии и поручали ему наблюдение за своими делами. В таком положении был один из главных покровителей его граф Воронцов; по той же причине обращались к нему Чернышев, Нарышкин, Терский, Домашнев, графиня Матюшкина.

Из второстепенных влиятельных лиц, находившихся в переписке с Державиным, особого внимания заслуживают, кроме друга его Львова, бывшие сослуживцы его А. И. Васильев, Козодавлев, Кологривов, П. И. Новосильцев, затем кавалергард Зайцев, сенатский обер-прокурор Неклюдов, Небольсин, Нелидов, Ахвердов (в то время помощник экзекутора в сенате) и Поленов (обер-секретарь). Наконец, особую категорию корреспондентов поэта составляли имевшие более или менее отношения к литературе Антоновский, Грибовский, Херасков и Новиков; к этому же разряду принадлежали, впрочем, и ближайшие друзья Державина, Львов и Капнист, с которыми он, разумеется, и переписывался всего прилежнее. Названные нами выше служаки и дельцы поддерживали в Петербурге доброе мнение о Державине, подавали ему руку помощи, предостерегали его; когда же наконец над ним стряслась беда, они сообщали ему известия о ходе дела.

Н. А. Львов, хотя по своему шутовскому характеру и посмеивался иногда над самообольщением своего друга, над розовыми ожиданиями его в первое время сношений с Гудовичем, над его жизнью выше средств в Тамбове, однако постоянно радел о его интересах, ходатайствовал за него и подогревал благорасположение к нему своего начальника Безбородки. Письма Львова отличаются от всех других своим задумчивым, веселым, часто даже шутовским тоном, и очевидно, что он стремился к оригинальности. Так, возвратясь из своей каменноугольной командировки, он пишет: «Слава Богу, что по приезде моем в Петербург первое перо обмакнул я в удовольствие писать к тебе, мой друг-радость». Потом, находясь в свите императрицы во время крымского путешествия, он начинает письмо свое из Киева словами: «Не стыдно ли тебе, г. губернатор, что ты мне уже на два письма не отвечаешь? Горой бы ты, проклятого ленивца» и т. д. Бес-

церемонность Львова распространялась и на Катерину Яковлеву, к которой он, напр., так обращался в своих письмах: «Утешь тебя так сила небесная и земная, премилая наша губернаторша, как ты меня силуэттами» (своей работы). Иногда он называл ее неоцененной, дорогой или чернобровой губернаторшей. Переписка его с Державиным важна как материал и для собственной его биографии: мы видим тут его подвижную натуру то в хлопотливой чиновнической деятельности при Безбородке, то среди проектов и спекуляций, которыми он вечно был занят в надежде поправить свое расстроенное состояние. Между прочим Львов, подобно многим другим, выписывал через Державина хлеб из Тамбовской губернии. По его письмам можно также проследить весь ход его поездки в Новгородскую губернию для отыскания каменного угля в Валдайских горах.

Самые дружеские чувства Державин питал, по-видимому, к Капнисту: по крайней мере ни к кому он не писал так часто и в таких сердечных выражениях. Кажется, и Катерина Яковлевна с привязанностью к жене его соединяла такое же предпочтение к другу своего мужа. С обеих сторон мы встречаем в их переписке, говоря словами Пушкина, «ласковых имен младенческую нежность». Еще из Петрозаводска Державин так обращался к Капнисту: «Васенька, любезный мой друг, Христос воскрес. Дожидаюсь нетерпеливо, как сам приедешь; тогда душу к тебе с словами выпущу и напою тебя моим открытым сердцем». Таким языком он, сколько нам известно, ни с кем другим не говорил. Катерина Яковлевна называла эту малороссийскую чету «милые наши Копиньки». Наскучив столичной суетой, Капнист, вопреки советам друзей, решил оставить службу в петербургском почтамте и переселился на юг, в свою Обуховку, где и доживал век, разделяя досуги от обязанностей предводителя дворянства между сельским хозяйством и литературой.

Получив известие о приезде Державиных в Тамбов, он поспешил выразить им свою радость, что теперь только 500 верст отделяют его от них. Еще более Львова он был пламенным обожателем Катерины Яковлевны и в том же письме говорил ей: «Благодарю вас за жену и за себя, за прекрасный подарок корзинки и силуэтов. Неоцененный подарок, а наипаче когда воображу, что все то работали прекрасные ваши ручки, которые тысячу раз мысленно целую. Ах! Ежели б удалось хоть сотую часть сей суммы в самом деле их поцеловать; а то в мыслях так целую, как голодный во сне ест. Только зубами воздух кусает. Так-то и я. Но надеюсь, что Бог позволит мне удовольствие вас, любезнейших мне людей, видеть, а следовательно, и ручки ваши целовать; сиречь ваши, сударыня, а не ваши, господин кривой мизинец». Затем речь идет о детях Капнистов Ганюшке и Катеньке, так названных по имени дорогой четы.

«Здравствуйте, г-жа веселая губернаторша тамбовская и г. веселый губернатор тамбовский, — начинал в другой раз свое письмо Василий Васильевич по случаю пирований в их доме. —

Боже мой! Как бы я полетел к вам, ежели б были крылья! А то нет, привязан к дому и женой, и детьми, и экономией, и должностью, и делами. Сколько цепей! Но, право, думаю, что нетерпение мое всех их разорвет и понесет меня к вам на воскрилиях кибиточных. Понесусь к вам целовать-расцеловать ваши ручки, Катерина Яковлевна, а тебя обнять-переобнять, дорогой губернатор. Видно, что я об вас с великим рвением думаю, что часто вижу вас во сне, но ни разу так приятно не видел, как сегодня. Казалось, я пришел к вам, встретил Катерину Яковлевну, бросился к ней, расцеловал ее руки и обрадовался до слез, и так до слез, что, проснувшись, я действительно ощутил себя в слезах». Далее Капнист еще раз благодарит Катерину Яковлевну за подарки: «Я расцеловал работу вашу, признаюсь. Мне казалось, что, видя столь прекрасное ваше рукоделье, я вас самое вижу», — и потом в конце письма он говорит: «Катенька будет красавица, только не брюнетка и тем на вас, сударыня, не похожа; я ее за это не столько люблю, но желаю, чтоб она по крайней мере душою и дарованиями на вас похожа была, а всего больше любезностью. Целую ваши руки, ваши прекрасные руки с таким жаром, как сегодня во сне целовал, тысячу раз и более». Кажется, и Катерина Яковлевна была равнодушна к Капнисту. Приглашая супругов в Тамбов, она прибавляла: «Ежели нельзя вместе с Александрой Алексеевной, то хотя бы один приехал», и в заключение опять: «Утешь, батюшка, приезжай ради Бога».

Между тем как наши тамбовские друзья в радужных красках описывали свое новоселье при самых приятных отношениях к тамошнему обществу и к генерал-губернатору, украинский помещик-поэт писал им: «Сказать вам мое житье-бытье? Вот оно: душевно отстал я от всяких великосветских замыслов. Сыскиваю свое истинное счастье в уединении, в содружестве Сашеньки, в воспитании детей, в созерцании прекраснейшей девственной природы, лелеющей обитель мою, в погружении себя иногда в недра души моей и в воспарении оттуда иногда к Источнику ее и всей твари. Вот мои упражнения душевные. Руками упражняюсь то в очищении и украшении сада моего, какого прекраснее и редкие цари имеют, в обозрении хозяйства, в построении нового домика, словом, во всех сельских приятных и, можно сказать, покойных трудах. Часто и, лучше сказать, каждый день мы ходим с Сашенькой прогуливаться в прекрасных при реке. После лежащих рощах, водим с собою Ганюшку, на травке ребячимся с ним, то ляжем под густою и расширившею тень и ветви грушею, читаем, беседуем и прочее... Прямо вам сказать, живем счастливо. Ежели бы вы могли оторваться от вашей цепи и приехали видеть нас, то бы удивились и позавидовали верно тишине нашего пустынножития. Но сего удовольствия ожидать нам невозможно. Вы предопределены жертвовать свету. Радуюсь теперь, что не тягостна стала ныне вам сия жертва, что вы жертвуете ему с удовольствием. Будьте благополучны, любезные друзья. Вы того достойны».

В обмен за подарки, получаемые от Державиных, Капнист, по поручениям супругов, высылал им большие запасы киевского варенья, также вино, транспорты волов и телег для возки кирпича, камня и других строительных материалов. Узнав о постигшей нашего губернатора катастрофе, Капнист выразил ему свое соболезнование замечательным по искренности и горячности письмом, откуда выпишем следующие строки:

«Умирающие тогда около меня сыны мои не занимали всей моей души: она была исполнена скорбью о вас, скорбью, свойственною той дружбе, которую я с вами связан и которая составляет великую часть моего благоденствия. Бессилен помогать, мне оставалось лишь сострадать с вами. Несколько раз принимался писать к вам, — перо падало из рук; печаль моя не находила слов. Я опасался, чтоб изображением чувств моих я не травмировал более вашей горести. Решился молчать и терпеть, и желать и молить Бога, чтоб Он обратил ваши неприятности в покой и удовольствие. Не зная, где вы, наведывался о том от друзей моих. Наконец Николай Александрович уведомил меня, что Катерина Яковлевна в Петербурге, а вы в Москве».

Другим корреспондентом Державина в Малороссии был родственник его (свойственник, по словам самого поэта) Иван Максимович Синельников. Как они доводились друг другу, мы в точности не знаем: видим только, что Синельников в своих письмах постоянно называет Гаврилу Романовича дядюшкой (однажды Ганюшкой), Катерину же Яковлевну — матушкой-тетушкой; взаимно и Державин, величая его обыкновенно по имени и отчеству, иногда также называет его «любезный дядюшка», а однажды говорит: «М. г. мой, любезный дядюшка, племянничек, друг и все то, что мне драгоценно». В конце 1770-х годов Синельников занимал место воеводы в Славянске (Екатеринославской губернии), а позднее, в чине генерал-майора, был губернатором в том же наместничестве и жил в Кременчуге, откуда и переписывался довольно прилежно с Державиным. Он был хорошо знаком с делопроизводителем Потемкина В. С. Поповым и потому часто мог быть полезен Гавриле Романовичу, который между прочим был обязан ему приобретением земли в Малороссии. В то время Потемкин как наместник, а с ним и подчиненные ему губернаторы распоряжались раздачею новоприсоединенных по Днепру (как и на Таврическом полуострове) земель: они предоставлялись частным лицам безденежно, под одним условием заселения. Из этих земель в 1779 году Синельников выхлопотал нашему поэту в Херсонском (в то время Кизикерманском) уезде 6000 десятин с поселенными на них 130 запорожцами. Главная из доставшихся ему при этом деревень, слобода Еремина (прежде Рождественка), лежала в 122 верстах от Херсона и по имени нового своего владельца была переименована *Гавриловкою*.

С этим приобретением, по словам Державина, оказалось у него при ревизии 1782 года около 1200 душ, чем уже и ограничилась его недвижимая собственность до конца жизни. Услужи-

ливый Синельников принял на себя надзор за хозяйством Гавриловки и пересылал своему «дядюшке» получавшиеся с нее доходы. Когда Гаврила Романович сделался тамбовским губернатором, Синельников, так же как и Капнист, выразил ему непритворную радость, что они приблизились друг ко другу, и переписка между ними оживилась. Вскоре, по ходатайству Синельникова, Потемкин утвердил за новым помещиком отмежеванные ему земли в потомственное владение, и в Тамбов отправлен был план их с межевыми книгами. В том же году Гавриловка была заложена под заем ссуды из государственного заемного банка. По временам Державин посылал в Малороссию нарочного за разными потребностями и за приготовленными там по его поручениям запасами. Вместе с Капнистом Синельников хлопотал о высылке общему другу их варений и конфет целыми пудами, вин, телег и волов для возки кладей. Но годы Синельникова уже были сосчитаны: во время осады Очакова он был убит возле Потемкина при рекогносцировке, которую производил светлейший, посылая гребной флот под крепость. Граф Самойлов в своих записках о жизни Потемкина рассказывает, что эта смерть сухопутного генерала и гражданского губернатора подала повод к насмешкам над могущественным главнокомандующим, но поясняет в защиту его, что Синельников, находясь при армии в качестве провиантмейстера, любил издавна военную службу, за которую получил георгиевский крест, и участвовал в морской рекогносцировке добровольно.

Земляки поэта, братья Васильевы, один в Петербурге, другой в Казани (тамшний вице-губернатор), исполняли для него хозяйственные поручения. Особенно Алексей Иванович (управлявший контрольной экспедицией) был неизменным и неутомимым комиссионером по его запутанным денежным делам. Искренно преданный Державину, он часто в своих письмах обнаруживает благородный образ мыслей и, когда нужно, не падит самолюбия своего приятеля. Так, получив известие о распоряжениях его вследствие требования Гарденина, Алексей Иванович Васильев откровенно высказывает ему свое неодобрение и между прочим пишет: «Я бы желал очень, ежели б возможно было, сие дело как-нибудь потушить; не подумайте, чтоб я это писал для того только, что мне Михайло Иванович приятель; нет! истинно для вас больше, чтоб не говорили, что вот человек нигде не уживется; буде не с начальником, то с подчиненными заводит разные раздоры. Впрочем, не скрою от вас, что и для Михайла Ивановича хотелось бы, чтоб это дело как-нибудь без дальних следствий кончилось, ибо и он мне приятель; то жаль, ежели оно проиведет ему хлопоты. Не подосауду на меня, что я так откровенно к тебе пишу; ежели б я тебя не любил, то, конечно, сего не сделал бы, а то тут истинная дружба и привязанность моя к тебе действует».

Козодавлев, служивший под начальством Завадовского по управлению народных училищ, переписывался с Державиным частью по своим хозяйственным делам (у жены его, урожденной

княжны Голицыной, было имение в Тамбовской губернии), частью по служебным и приятельским отношениям. Мы видели в своем месте, что по поводу открытия школ в Тамбовской губернии он послал Державину училищный устав и двух учителей; позднее он старался определить Грибовского директором тамбовских училищ (и тем, может быть, избавиться от лишнего домохозяина: Грибовский жил у него до приискания себе места). Чем кончились эти старания, нам уже известно. Козодавлев, сам трудившийся как автор и переводчик, сообщил нашему поэту и литературные известия. То же делал и Грибовский. Из их писем летом 1786 года Державин узнал, что в Петербурге «никогда не было столько журналов, как теперь», именно там издавались «Новые ежемесячные сочинения» княгиней Дашковой, «Зеркало света» и «Лекарство от скуки и забот» Туманским, «Новый с.-петербургский вестник» П. Ф. Богдановичем и «Растущий виноград» петербургским главным училищем. «Правда, — говорил Грибовский, — все они посредственны; однако, как лучше иметь что-нибудь, нежели ничего, то любители литературы желают, чтобы они продолжались все сколько возможно долговременнее». О «Новом с.-петербургском вестнике» он прибавлял: «Сей журнал издает Богданович единственно в досаду Туманскому, с которым он поссорился». В свою очередь, Козодавлев писал: «Театр русский ныне в таком состоянии, в каком он никогда не бывал. Не пройдет месяца, чтоб не играли новой оригинальной комедии или оперы». Этим оживлением петербургская сцена, конечно, более всего была обязана особенно усилившейся в то время деятельности императрицы для театра. В августе 1786 года Грибовский отправил к своему бывшему начальнику комическую оперу «Февей» и комедию «Тоисёков». О последней он говорил: «Она равномерно не избегла бы похвал журналистов, если бы вышла из рук творца «Обманщика» и «Февея»; но сочинитель ее есть княгиня Е. Р. Дашкова», которая, как мы знаем, ненавидела Грибовского и, естественно, возбуждала в нем те же чувства. По мнению Козодавлева, лучшим из тогдашних журналов было еженедельное «Зеркало света» Туманского, человека, по его словам, «весьма ученого и умного».

По приезде в Тамбов Державин получил от «издателей «Зеркала света» (так подписано было письмо) приглашение способствовать к распространению его и присылать в редакцию известия о всех происшествиях, случаях, новых учреждениях и т. п., которые будут заслуживать внимания во вверенном ему крае. Державин, благодаря за присланное ему извещение об этом журнале, тотчас же подписался на него и обещал раздать остальные экземпляры объявления. Вскоре после того Козодавлев предлагал поэту свое посредничество для сношений с редакцией; но Державин этим предложением не воспользовался и через несколько месяцев писал Козодавлеву: «Зеркало света», за бедные наши употребленные на его подписку денюжки, по имени, какжется, только существует».

Литературного содержания была отчасти и переписка Державина с Антоновским, к которому он обратился как к секретарю адмиралтейской коллегии по делу своего шурина. Мичман Александр Бастидон вследствие своего легкомысленного поведения должен был просить увольнения от службы во флоте, и теперь шла речь о производстве его при отставке в следующий чин. Вице-президент коллегии, граф Ив. Григ. Чернышев, по особенной благосклонности к Державину, обещал постараться о том и дать молодому человеку возможно лучший аттестат. Антоновский, получивший образование в Московском университете, принадлежал к числу ревностных сотрудников Шварца и Новикова, был одно время председателем основанного первым «собрания университетских питомцев» и издавал вместе с товарищами журнал «Вечернюю зарю», продолжение новиковского «Утреннего света». Как видно из одного письма Антоновского, он по переселении в Петербург сделался членом «общества друзей словесных наук», которое собиралось предпринять ряд изданий в новиковском духе, но его удержала от того «сумятица, в целом государстве о цензуровании книг от монахов происшедшая по случаю напечатанных у г. Новикова высочайше замеченных вредными и раскольническими книг...» «Однако же, — прибавлял Антоновский, — мы ныне изыскиваем уже другие к тому средства и надеемся вскоре пуститься в море».

Антоновский в одном из писем своих упоминает о своем университетском товарище и впоследствии сочлене по московскому обществу Поспелове, с которым, как мы уже знаем, Державин также переписывался из Тамбова, особенно по предположению перевести его туда на службу, что, однако, не удалось. В 90-х годах, решившись издать собрание своих сочинений, поэт думал было поручить Поспелову надзор за их печатанием.

Любопытна часть переписки Державина с княгиней Дашковой. Он находился в особенных к ней отношениях не только по своей близости к графу Воронцову, но и по сотрудничеству в ее «Собеседнике», ей он обязан был главным своим литературным успехом и милостью императрицы.

После его перевода из Петрозаводска княгиня взяла под свое покровительство и начало того из бывших подчиненных его, которым он наиболее дорожил (Свистунова); а что она удалила от себя Эмина и Грибовского, этого он не мог принять к сердцу, так как не особенно ценил их. Мнение его о характере Дашковой видно из совета, который он давал Свистунову относительно поведения с нею. Сколько мы знаем ее, взгляд этот был довольно верен. Мы увидим, что позднее Державин вследствие бывших у него с княгиней недоразумений очень резко отзывался о ней. Из Тамбова переписывался он с нею обыкновенно по поводу ходатайств, с которыми они друг ко другу обращались, о разных лицах; но из числа писем их выдается особенно одно, написанное Державиным вследствие известия, сообщенного ему Свистуновым об отзыве императрицы насчет ее певца в разговоре с Дашковой. Разумеется, что Державин не замедлил поблагода-

речь княгиню «за полезные ему разговоры вверх». При этом он чрезвычайно ловко объяснил, отчего ему удаются стихи в похвалу Екатерины. О том, чтоб сравняться с Ломоносовым, а не только превзойти его, он де не смеет и помышлять, но в одном он счастливее великого своего учителя: тот, воспевая Елизавету, должен был прибегать к вымыслам, к искусственным прикрасам; Державину же нужно обращаться «к одной натуре, к одной той истине, с которою, — говорит он, — и после меня история будет согласна. Я через сие разумею то, что Ломоносов был в необходимости героиню свою прославлять через героя, родителя ее, а мне, или нам, к нашей героине не надобно присовокуплять ни богов, ни славных предков, но указать только на одни дела ее; то все блистательные и божественные титулы и все величества принадлежать будут собственно Фелице. Я сие мнение подтверждаю доказательством. Славный наш поэт в одной своей надписи, да и везде почти, подобно нижеследующему изъяснялся:

Герой тебя родил, носила героиня.
Какой быть должен плод? не иной, как богиня!

Нам же довольно — просто говорить, что она

Проступки правит снисхожденьем;
Как волк овец, людей не давит,

великодушно прощает врагов своих и т. п., то есть, что мы можем хвалить вещь самую вещь, а не посторонними и чуждыми ей украшениями. Страшная разница — родиться от бога или героя, или самому творить дела их».

Далее Державин говорит, что он продолжал бы петь Фелицу, «если б не был уверен, что ей приятнее действия наши, отвечающие божественной воле ее, нежели слова», в которых часто скрывается лесть. При этом он приводит то место своего «Видения мурзы», где ему является Екатерина с увещанием не быть льстецом:

Благотворителю прямому
В хвале нет нужды никакой;
Хранящий муж благие нравы,
Творящий должности дела,
Царю приносит больше славы,
Чем всех поэтов похвала.

При всем том, говорит он в заключении, «ежели б я узнал, что подлинно угодно будет мое иногда в поэзии упражнение и не причтется сие в укоризну должности и званию моему, то, невзирая на ненависть моих недоброжелателей, не терпящих сильно стихотворства, я бы посвятил навсегда слабые мои способности на прославление благодетельницы человеческого рода». Отвечая так, Державин в наивности своей, кажется, не подозревал, что

императрица и Дашкова только потому и интересовались им, что ожидали от него новых хвалебных од.

При деятельности его в Тамбове, сперва только напряженной, а потом исполненной тревог и огорчений, неудивительно, что он здесь, как и в Петрозаводске, не сделал почти ничего для поддержания своей литературной славы. Кроме немногих мелочей, к этому времени относятся только две новые оды его: «На смерть графини Румянцевой» и «Осень во время осады Очакова». Первая вызвана была, по-видимому, не только письмом о кончине маститой статс-дамы, но и приложенными к нему стансами какого-то Дарагана на это обстоятельство. Вторая ода написана в утешение княгини Варвары Васильевны Голицыной (урожденной Энгельгардт), когда она долго не получала известий о своем муже, находившемся под Очаковым в армии дяди ее. С Голицыным поэт сблизился, вероятно, уже после своего переселения в Тамбов. В письме, писанном осенью 1786 года, князь Сергей Федорович, опровергая слух, будто Марков через него доставил в Петербург жалобу на Державина, выражает последнему свою благодарность «за все его благосклонности». Поэт вместе с Катериной Яковлевной посещал иногда прекрасное имение Голицыных Зубриловку, до которого от Тамбова около 150 верст. Там супруги находили самый радушный прием в богатой усадьбе, живописно расположенной на высоком берегу Хопра. Княгиня тем более дорожила дружбою губернатора, что сама любила заниматься литературой.

Обе оды принадлежат к числу наиболее удачных произведений Державина и отличаются тою оригинальностью, которая, несмотря на устарелый язык, придает некоторым стихотворениям его какую-то особенную прелесть. В оде «На смерть Румянцевой» поэт обращается к княгине Дашковой, утешает ее в скорби, причиненной ей браком сына, и намекает на ее англоманию. В конце Державин, припоминая неприятности, претерпеваемые им в борьбе с врагами, в гордом сознании своего литературного значения говорит:

Меня ничто вредить не может,
Я злобу твердостью сотру;
Врагов моих червь кости сгложет,
А я пиит — и не умру!

Вторая ода стоит выше по обилию и красоте образов; в последних строфах замечательна поэтическая характеристика княгини Голицыной.

Ко времени тамбовского губернаторства Державина относится появление в печати знаменитой оды его «Властителям и судьям». Мы видели, что Туманский, предпринимая издание «Зеркала света», приглашал нашего лирика к сотрудничеству в этом журнале, но просил у него не стихов (вероятно, считая звание губернатора несовместным с поэзией), а только известий. Приглашение это осталось со стороны Державина без последствий. В

первой книжке «Зеркала света» за 1787 год напечатана была названная ода, но, по словам автора, это произошло без его позволения и даже без его ведома. Как бы ни было, значит, что в 1787 году сделалось возможным то, что не удалось в 1780-м. Кажется, однако, что при появлении своем эта ода осталась незамеченною, что и понятно при равнодушии, какое публика оказывала к журналу Туманского и которое, в конце того же года, заставило его прекратить это издание с жалобой на «малое число подписателей, сей год бывших, а и того меньше на будущий явившихся». К счастью Державина, смелая ода его была напечатана в такое время, когда еще не разгорелась его борьба с озлобленными врагами: иначе эти стихи могли бы им послужить новым против него оружием. Вот все, что можно заметить о литературной деятельности Державина во время второго его, тамбовского губернаторства.

В ряду лиц, с которыми Державин переписывался из Тамбова, является, наконец, придворный банкир Сутерланд. По тогдашнему значению этой должности в круг ее входили отчасти обязанности министерства финансов. Поэтому Сутерланд, премьерник барона Фридрикса, впоследствии пожалованный также в бароны, а позднее в статские советники, имел весьма почетное положение: между прочим, он был посредником правительства при заключении заграничных займов и других сделок. Через его руки проходили огромные суммы. Особенный вес умел он придать себе тем, что ему в частных письмах нередко сообщались важные политические известия, и он спешил с ними либо во дворец, к Храповицкому, либо к кому-нибудь из других высокопоставленных лиц. Из дневника Храповицкого видно, что императрица не очень-то доверяла этим известиям, похожим, по ее замечанию, на биржевые новости; тем не менее, доставленные Сутерландом сведения сообщались то Безбородкой, то Чернышевым Государственному совету, обсуждались там и служили основанием для заключений. Но главное тайной значения Сутерланда при дворе было то, что он вместо отсылки по назначению сумм, которые поверялись ему для перевода в чужие края, выдавал их в ссуду влиятельным людям. Открылись эти злоупотребления вследствие донесения нашего посла в Лондоне гр. Воронцова, что он не получил ассигнованных ему на какое-то поручение денег. Сутерланд оказался виновным в растрате огромных сумм: им роздано было в ссуду разным лицам (между прочим Потемкину и великому князю), а отчасти и употреблено на свои надобности до 2.500.000 руб. Некоторые из одолженных им лиц (например, князь Вяземский и Безбородко) немедленно внесли причитающиеся на их долю суммы; но Сутерланд все-таки вынужден был объявить себя банкротом и, не дождавшись суда, отравился. В числе тех, которые пользовались легкостью занимать у него деньги, был и Державин благодаря своим отношениям к Безбородке. Еще до назначения в губернаторы он имел случай обращаться к этому банкиру, и скоро после переезда Державина в Тамбов Васильев внес за него в контору Сутер-

ланда 1000 руб. После того Сутерланд молчал почти три года. Когда наконец положение Державина решительно испортилось, то он около середины декабря 1788 года получил от придворного банкира письмо: Сутерланд требовал, чтобы он к новому году уплатил 2000 руб. с процентами по векселю, которому срок вышел уже в конце октября; в противном же случае заимодавец грозил предъявить этот вексель ко взысканию. Державин поручил П. И. Новосильцеву уплатить 1000 руб., а на другую дать вексель на шесть месяцев. Но на последнее Сутерланд не согласился и в письме, полученном Державиным уже в Москве, отвечал, между прочим: «Сколько я прежде сего был расположен ко службе всякого честного человека, столько же я и наказан за добрую мою волю неустойкою всех моих должников; почему я и нашелся принужденным сделать завещание ниже ни отцу родному более терпения не давать, вследствие чего вы, м. г., на мне не взыщите, что я более ни ждать, ниже посланные 1000 руб. в зачет взять не могу, да сверх того и без процентов. Я знаю, что всякому бы сходно было держать чужие деньги по году или более без интереса, но мне-то оно несколько накладно. В рассуждении сего и прошу вас покорно немедленно мне все деньги и с процентами на срок переслать; в противном случае принужденным найдусь вексель ваш протестовать, что мне весьма будет жаль».

Бумаги Державина не разъясняют нам, как он вышел из этого затруднения. Далее увидим, что ему по смерти Сутерланда пришлось играть немаловажную роль в разборе запутанных дел этого афериста.

33. Общий взгляд на тамбовское губернаторство

Державин занимал место тамбовского губернатора несколько менее трех лет (от марта 1786 до конца декабря 1788 года); но, просматривая все то, что он успел написать по этой должности, можно бы подумать, что он отправлял ее в течение долгого времени. Хотя в Тамбове, как и повсюду в России, с 1840-х годов множество архивных дел уничтожено, но в архивах этого города сохранилась изумительная масса бумаг, писанных рукою Державина; на всем следе его непосредственного, личного участия; везде отражается заботливость его о всех сторонах управления. Жаль только, что вторая половина означенного трехлетия прошла для него в треволнениях, посреди которых благотворная мирная деятельность была невозможна.

При всем том очевидные факты не позволяют отвергать, что в некоторых отношениях он оказал краю действительную пользу, и мы должны отдать ему справедливость в том, что в краткое время своей администрации он, между прочим, ввел более исправности в сборе недоимок и в отправлении рекрутской повинности, улучшил по возможности устройство тюрем и содержание преступников, открыл во многих местах беспорядки в хранении

казны, умножил доходы приказа общественного призрения, исправил отчасти казенные здания, дороги и мосты. О том, что в последнем отношении сделано им для Тамбова, приведем свидетельство жившего на местах современного нам писателя: «Постройки Державина в Тамбове, все каменные, сохранились до сих пор и в том числе даже будки, или караулки на главных пунктах города, служащие и теперь для городских. Равно уцелел до сей поры и большой каменный мост на Астраханской дороге при въезде в город. Много, вероятно, с того времени каменных мостов выстроилось и провалилось на Руси за целое почти столетие, а мост Державина и теперь целехонек». Старания Державина об оживлении общества и о воспитании юношества в Тамбове, конечно, также не остались без благотворных следов в жизни тамошнего дворянства. Мы уже знаем, что учебное дело в губернии было не только впервые устроено Державиным, но и составляло предмет особенной его заботливости. В делопроизводстве наместнического правления он ввел новый, упрощенный порядок и для сокращения переписки учредил типографию.

Для ознакомления со многими подробностями его деятельности по тамбовскому губернаторству и уразумения ссор его с Гудовичем очень важен один документ, который, хотя и писан им уже после его увольнения, однако значительно дополняет другие источники. Это его «Объяснения о делах Тамбовской губернии и причинах неудовольствия генерал-губернатора». Объяснения эти несколько сходны с теми, которые написаны им были против Тутолмина, но отличаются от них и своею обширностью, и более серьезным содержанием. Они составляют дополнение к тому официальному ответу, который Державин подал в сенат на сделанные ему запросы. Здесь, в этих дополнительных объяснениях, изложено им то, что он хотел высказать лично, когда просился в Петербург. Отсюда мы еще более убеждаемся, что хотя Державин по своей запальчивости часто выходит из пределов предоставленной ему власти и потому является неправым, но и Гудович не может быть освобожден от обвинения во многих пристрастных поступках, как, напр., в потворстве Бородину, в невнимании к некоторым существенным нуждам губернии, в недостаточной поддержке тех распоряжений губернатора, которые действительно клонились к ее благу. Так, напр., Державин представлял генерал-губернатору об ужасном положении колодников в остроге, но от Гудовича «никогда по сей части никакого никому предписания не делано»; напротив того — за распоряжение губернатора, направленное к улучшению содержания преступников, Гудович, возвратясь из Петербурга, показал ему «род некоторого неудовольствия», как видно из донесений его сенату, где замечено, «что якобы губернатор вместо рабочего дома построил белые тюрьмы». При самом своем вступлении в должность Державин, по поводу замеченной им неисправности во взыскании казенных повинностей, представлял генерал-губернатору об упущениях со стороны казенной палаты, которая, «не имея у себя верных окладов доходам по неточному зна-

нию ревизских душ и населений, не присылала в наместническое правление в предписанных законах сроки верных о неисправных плательщиках реестров». Состоявшееся об этом определение правления было принято генерал-губернатором холодно; довольствуясь слабыми предложениями, он «не сделал палате никакого строгого побуждения»; когда же, по случаю предстоявшей ревизии губернии, Державин упомянул об означенном обстоятельстве в записке, составленной им для сенаторов, то Гудович это место «из записки исключил и прочие известные ему беспорядки казенной палаты до сведения гг. сенаторов не довел, выговоря губернатору, что сенаторы не для следствия, а для осмотра только губернии посланы». Еще хуже наместник отнесся к распоряжению губернатора об упущениях казенной палаты по рекрутским наборам (за 6 лет не было делано счетов, и относившиеся к ним документы были в крайнем беспорядке): когда, за отсутствием Гудовича, Державин заметил в рекрутском департаменте эти упущения, то предложил правлению потребовать от департамента их устранения и рапортовал о том сенату, но наместник в особом предложении (от 12-го августа 1788) выразил на то губернатору свое негодование. Неблагоприятно были встречены также старания Державина о снабжении присутственных мест экземплярами или списками законов и об улучшении судоходства по р. Цне: торговавшие при Моршанске иногородние купцы, более 50 человек, подали губернатору прошение, чтобы на их собственные деньги позволено было означить фарватер бревенчатыми вежами, вследствие чего им и разрешена добровольная складчина, как допускаемая законом; но наместник эту складчину «вменил яко бы в наряд и сбор с народа, законами запрещенный, а устройство веж остановил потому де, что ставить вежи велено только по мелям, а не по разливу рек». Кроме того, наместник оказывал явное неуважение наместническому правлению, напр., в противность законам представлял, без одобрения его, прямо в сенат о замещении некоторых должностей.

По мнению Державина, первоначальным виновником несогласий между наместником и губернатором был откупщик Бородин, которому первый оказывал особенное покровительство: несмотря на числившиеся на нем казенные долги и неисправность его в исполнении обязательств перед казною, несмотря на то, что имущество его было неоднократно описано и сам он предан суду за лживые поступки, Гудович настоял на признании его именитым гражданином и утверждении выбора его в должность городского головы. К такому нарушению всякой справедливости много содействовал любимец генерал-губернатора экономии директор Аничков, который, участвуя в откупах и подрядах, состоял в тесной связи с Бородиным. Будучи прежде советником правления, он утратил какие-то находившиеся под наблюдением его деньги, и Державин хотел за то произвести с него взыскание. Сильную поддержку Аничков и Бородин находили в вице-губернаторе Ушакове, который вместе со всею подчиненною ему казенной палатой был послушным в руках их орудием. Державин

вин же энергически противодействовал расхищению казны и просился в Петербург, чтобы раскрыть все эти обстоятельства. Так представляет он положение дел в своих объяснениях о причинах несогласий, бывших у него с Гудовичем. Но в старости незлобивый поэт забыл свои неудовольствия с Ушаковым, и в одном письме его (от 8-го ноября 1808 г.) мы читаем следующий примирительный отзыв о бывшем враге: «Касательно Михаила Ивановича Ушакова, у нас с ним были неприятности, но не лично, а по делам. Я исполнял свой долг по моим чувствованиям, а он по своим или в чью-либо благоугодность; но когда все это прошло так, как сон, то несправедлив бы он был, ежели бы по сие время злобился за сновидения. Мы все здесь на театре, и когда с него сойдем, тогда всем объяснится, кто как свои роли играл; может быть, и я делал более погрешностей, нежели он: то и будет сие зависеть от решения всеобщего Судьи, от Которого никто ничего скрыть не может».





Глава XII

Суд. Оправдание и возвышение

(1789 – 1796)

1. Пребывание в Москве

При отрешении Державина от должности положение его могло казаться отчаянным, и всякий на его месте легко бы мог предаться унынию; но в нем мы ничего подобного не видим, и в этом отражается одно из отличительных свойств его могучей натуры. Во всех постигающих его превратностях он ни разу не обнаруживает малодушия; в первую минуту оглушенный ударом, он скоро оправляется и снова начинает смелую борьбу. В настоящем случае, впрочем, относительное спокойствие его понятно: на его стороне был сильнейший из сильных, окружавших Екатерину, тот, за которого он пострадал из усердия оказать ему в трудных обстоятельствах помощь.

Поэтому Державин, отправляясь из Тамбова в Москву, чтобы там предстать на суд перед сенатом, принял деятельные меры для обеспечения себе надежной опоры своего естественного защитника. Еще до отъезда своего он отправил курьера в Кременчуг, где тогда находился Потемкин, к его двум приближенным Попову и Грибовскому, а немедленно по приезде в Москву написал к самому князю Таврическому. Из сохранившегося отрывка этого письма узнаем, что главным желанием нашего подсудимо-

го, на первый случай, было по-прежнему — лично явиться для своего оправдания в Петербург. О том же без сомнения он просил и императрицу в не дошедшем до нас письме, о котором упоминает Катерина Яковлевна.

Письмо его к Потемкину было помечено 14-м января; в Москву приехал он, вероятно, вскоре после 10-го. Так как в то время стоял, конечно, хороший зимний путь, то можно полагать, что Державин выехал из Тамбова в первых числах января. Желю он завез в Зубриловку к княгине Голицыной, а сам отправился оттуда в Москву, где и остановился в доме своего приятеля А. А. Наумова, за Пречистенскими воротами, в приходе Троицы в Зубове.

Указ о нем (со многими приложениями) был уже получен в 6-м департаменте сената и заслушан там 8-го января, причем положено, как скоро обвиненный явится, доложить дело немедленно. В журнале 16-го января 1789 года записано: «По докладу сенатского эзекутора впущен был пред собрание правительствующего сената бывший тамбовской губернии правитель, действительный статский советник и кавалер Державин, коему именным высочайшим ее императорского величества указом велено явиться к ответу в 6-м сената департаменте. — Рассуждено: означенного г-на действительного статского советника и кавалера Державина в несъезде из Москвы до решения об нем дела обязать подпискою, а присланные из с.-петербургских департаментов сената о нем бумаги предложить к слушанию». Дело тянулось, однако, очень долго. В феврале было одно только заседание (26-го), в котором заявлено о получении трех новых обвинительных рапортов Гудовича; 5-го марта доложено о присылке из петербургских департаментов ответа Державина на позднейшее обвинение со стороны Гудовича, именно в неисполнении Державиным ордера о приготовлении в петербургские запасные магазины полного количества подрядного хлеба. Наконец, только 16-го апреля началось слушание самого дела «о поступках бывшего в Тамбовской губернии правителя».

Посмотрим теперь, какие затруднения он должен был испытать в Москве, как велось его дело, что между тем предпринимал и с кем переписывался Державин.

Самым влиятельным между московскими сенаторами был князь П. М. Волконский как родственник генерал-прокурора. В доме последнего он лично познакомился с Державиным, но теперь, по своим отношениям, конечно, не мог быть на стороне его, и — как подозревал наш бывший губернатор — с намерением тянул его дело, не посещая сената под предлогом болезни. Напрасно Державин обращался к обер-прокурору князю Гавриле Петровичу Гагарину: он не смел тревожить Волконского. Между тем и князь С. Ф. Голицын находился в Москве, но также не мог подвинуть дела. Остававшаяся в Зубриловке Катерина Яковлевна, узнав из письма его к княгине о приезде мужа в Москву, писала к Гавриле Романовичу: «Пожалуй, попроси князя Сергея Федоровича, чтоб он с тобою к сенатору Маслову съездил и попросил бы его хорошенько: на этого человека можно, как

говорит княгиня, положиться; а Гагарин не таков, и у него была некогда связь с Анною, и он Мамонову помогал, то и не то ли причиною поступка с тобою сделанного? Ты не верь его наружным разговорам, они бывают несправедливы. Будь осторожен: свои дела всем говори, а расположение в своих никому, кроме князя С. Ф. ».

Во втором письме своем, от 25-го января, Катерина Яковлевна продолжает наставлять мужа, как вести себя. Между прочим, она упрекает его в том, что он мало советуется с князем Голицыным, который «знает все связи», и что мало о себе пишет. «Не знаю, куда ты едешь, где что с тобою приключалось; я думаю, что не грешно бы было каждый вечер прибавить строчку или две твоего похождения; я бы была как будто не розно с тобою, но теперь очень чувствую мое уединение... Я думаю, что ты ленишься твоими выездами, мой друг: теперь надо быть не лениву и стараться быть тут, где тебе нужно. Я не знаю, для чего тебе хочется, чтоб твое дело было продолжено; я бы лучше желала, чтоб узнали гласным образом о твоём деле и твою невинность, а в Петербург пошли экстракт коротенькой, но ясно изобрази все клеветы, на тебя нанесенные; что тебе менажировать сего злого и ужасного человека (т. е. Гудовича)? Он достоин теперь, чтоб все дела его были ясно обнаружены. Князь светлейший, будучи неизвестен о последних представлениях на тебя и на оные твоё оправдание, не может так ясно ей (императрице) объяснить твою невинность. Сделай сие, пошли как можно сие к нему поскорее, или ежели будешь сам в Петербурге, то подай ему этот экстракт. Я не живу праздно у княгини и прилежание мое за шитьем беспредельно, ибо я, работая, размышляю о тебе и не вижу, как от того поспешно идет моя работа; я почти вышла уже камзол князю Сергею Федоровичу, который, кажется, очень хорош вышился. Ежели твои дела пойдут лучше и ты поедешь в Петербург, вели мне за собою следовать. Княгинин курьер еще не бывал от светлейшего; она его ждет с нетерпеливостью, так как и я, верный твой друг, твоих писем и твоей к себе доверенности, и чтобы ты отнял от меня право себе пенять. Сего желает твоя Катюха».

(Следует приписка княгини Голицыной): «Благодарю покорно за приписанное ваше мне сухое почтение; желала бы лучше, чтобы вы нам сказали что-нибудь о деле вашем приятное; перестаньте разезжать по клобам; боюсь, чтобы вы там не сгорели; право, мне кажется, нарочно его зажигают. К. Я. здорова, но не скрою от вас того, что часто она грустит как о вас самих, так и от неизвестности, что с вами там делается».

2.хлопоты в Петербурге

Стремясь в Петербург, Державин, по-видимому, знал, что в то же время туда собирался Потемкин, в деятельности которого после взятия Очакова наступил период некоторого отдыха: приезда его в столицу ожидали уже с 15-го января. По этому поводу

домашний секретарь Державина Савинский около 20-го отправился в Петербург. В ожидании светлейшего он обивал пороги у всех друзей Державина, который между тем и сам прилежно с ними переписывался. Савинский был у Львова, Терского, Зайцева. О последнем, близком к Мамонову, писал он: «Василий Алексеевич мне сказывал, что Гарновский столько вашу сторону защищал и защищает, что уповать должно, не оставит по приезде светлейшего князя объяснить ему все ваше дело, для чего обещался меня ему и Василью Степановичу (Попову) рекомендовать: то и не оставлю я употребить моих при том мер».

Из этого же письма видно, что Державин послал Мамонову через Зайцева записку о своем деле, составленную известным Михаилом Никитичем Муравьевым, на сестре которого был женат приятель поэта, тамбовский помещик Сергей Лунин, родной брат служившего при Бибикове в пугачевщину Александра Михайловича. Записка еще не была доставлена фавориту, а между тем в пользу Державина уже произошла какая-то благоприятная перемена, — в расположении ли императрицы, или в способе решения его участи: может быть, прежде предполагалось формально отдать его под суд или просто отрешить без суда. Державин думал, что причиной сравнительно благоприятного оборота дела было письмо его к Мамонову, но Савинский объяснял: «Сумнение ваше, что не письмо ли содействовало таковой с вами перемене, разрешилось: совсем не оно, а радостное получение известия о взятии Очакова». Известие это привезено было в Петербург полковником Боуром 15-го декабря вечером, а указ о Державине подписан 18-го числа.

Зайцев просил Савинского сообщить Державину, что просьба его Мамонову пригодится для переды и советовал обо всем относиться прямо к светлейшему. «О письме к государыне, — говорил далее Савинский, — я уповаю, не неудобен совет Николая Александровича, и для того не угодно ли будет доставить другое, содержащее в себе только одно дело без дальних похвал, и чтоб не включать просьбы о позволении избрать в Москве особ, а только чтоб позволено было прежде вам объяснение здесь дать в том, для чего просились вы прежде доносов, и тогда делать что угодно, ибо сие, кажется, сколько я ни судил, с обстоятельствами мною здесь слышимыми будет, может быть удобнее. Ежели экстракт готов, весьма бы не худо суды доставить. Он не безнужен бы, уповаю, здесь был. Хотя все здесь сильные вооружены противу вас, но ежели малое согласие к вашему защищению будет со стороны вам известной, то, все вас любящие уверяют, ничто постоять не может. Граф Матвей Васильевич Мамонов завтра или послезавтра отсель едет в Москву, следовательно, он там будет скоро, то не рассудите ли у него побывать?»

В конце письма Савинский, со слов Терского, намекал на какие-то неприятности, ожидающие Гудовича по другим делам, и, между прочим, что по доносу на недостаток соли в Тамбовской губернии назначено следствие. В заключение он спрашивал: «Каково с вами в сенате обошлись и трактуют, весьма, особливо

любящим вас, не безнужно знать: то хотя кратко ко мне ли, или к Николаю Ал. не рассудите ли писать? ибо некоторые у меня любопытствуют: то что я знал при мне, то и отвечал, а именно, что хорошо; но только не надежно о скором окончании».

В другой раз, несколько позже, Савинский уведомлял, что все письма Державина он раздал. Разумеется, что более всех в Петербурге хлопотал по делу поэта Львов; 23-го января последний писал своему другу в Москву: «Тебе всего нужнее сюда приехать; об этом только я просить и молить станем. Сейчас зашел ко мне человек и говорит, что князь еще будет нескоро: это вероподобно. Отправь в запас в Кременчуг письмо, а меня уведомь. Теперь ты сам видишь, что ты худо сделал, что не сказал мне про письмо к Зайцеву: оно еще и теперь не подано; хорошие же отзывы произведены были моим одним приятелем, которого имя не для почты. Вчера и другой говорил, но без дальнего успеха». Под этими двумя лицами Львов, конечно, разумел графов Безбородку и Воронцова. Между тем Грибовский, узнав о случившемся с Державиным, обнадеживал его из Кременчуга защитою Потемкина. Он писал от 31-го января: «Прискорбные до нас дошли слухи, поразившие меня несказанно. Наконец сила превозмогла добродетель. Василий Степанович, — пред которым я не мог скрыть моих слез, объявляя, что вы смены, — приказал отписать к вам, что его светлость никак не переменил к вам своего благорасположения; но отлагал защитить вас в Петербурге самолично, не желая писать к князю А. А. Вяземскому, и что, приехавши туда, конечно, сделает в вашу пользу все возможное. Прискорбное участие сопровождало его слова. Я просился сам к вам заехать; но как имею дела на руках крайне нужные и важные, то он не захотел их поручить другому. Курьер ваш продержан здесь затем единственно, чтоб узнать, не намерится ли его светлость писать об вас в Петербург. Теперь он к вам возвращается. Мы сегодня сами спешим отправить. Не пожалуете ли и вы к нам? Как бы я был обрадован, увидя вас и получа случай устно изъяснить вам мое глубокое почтение и неограниченную преданность».

Наконец 4-го февраля Потемкин приехал в Петербург, и надежды друзей Державина оживились. «Весь город, — писал Савинский, — был на поздравлении его светлости». Но Львов хотел повременить, «чтоб дать пройти чаду», тем более что Потемкина еще не было в самом городе. Между тем, однако, Николай Александрович уже обещал, что будет написано в Москву к обер-прокурору князю Гагарину. Теперь и Козодавлев собрался писать Державину — добрый знак! За несколько дней до Потемкина прибыла в Петербург жена Державина с княгиней Голицыной, которая уже на другой день по приезде светлейшего обедала у него, но в первое время, как писала Катерина Яковлевна своему мужу, «еще ничего не говорила, чтоб не показать, что только за делами и приехала». Катерина Яковлевна, со своей стороны, также не дремала: она собиравлась на поклон к супруге обер-штальмейстера Нарышкиной (Марине Осиповне), считая ее в

большой силе: «Я ее себе приготовлю; она может быть нужна, ежели уже от других что не выйдет. Он (т. е. Потемкин) предан этому дому. Я знаю, что они родня Гудовичу, но я возьмусь за это осторожно: буду хвалить Ивана Васильевича, но жаловаться на окружающих его». К этому она прибавляет: «Теперь спешу к княгине (Голицыной), но сказывают, что лучше, ежели бы она менее об нас старалась». Между тем комиссионер Державина Савинский каждый день ходил в канцелярию Потемкина к Грибовскому, где его видел и Попов. Последний заверял, что не забыл тамбовского дела, и приговаривал, что в Кременчуге очистилось место обер-провиантмейстера, которое мог бы получить Гаврила Романович. Савинский, упоминая о том в письме, уведомлял в то же время, что умер казанский губернатор, и намекал Державину на возможность сделаться его преемником; но друзья считали более благоразумным не хлопотать покуда ни о чем ином, как о позволении опальному лично явиться в Петербург. «Однако, — прибавлял Савинский, — при случае о первом наиболее месте, как и все вас любящие советуют, говорить и искать должно, чтоб только поступить в службу к князю». И Катерина Яковлевна так рассуждала: «Уведомь меня, желаешь ли этого места; кажется, это очень хорошо: тут можно без греха поправиться; оное же есть место полномочное, и ни от кого, кроме светлейшего, не зависит». Что отвечал Державин, мы не знаем; но кажется, его желания устремлялись выше, и в этом случае он не ошибался, как показали последствия.

3. Решение судьбы Державина в Москве

Несмотря на хлопоты петербургских друзей и на ходатайство, с которым Львов обратился к Гагарину, дело Державина не подвигалось. В марте он решился еще раз потревожить императрицу и через Терского отправил на ее имя письмо, прося опять позволения приехать в Петербург для объяснений. При этом он жаловался, что 1-й департамент сената, получив его ответы после состоявшейся об нем резолюции, не доложил о них государыне; «но ежели бы, — говорил он, — вашему императорскому величеству было доложено о присылке тех моих ответов, то, уповаю, не изволили бы высочайше повелеть явиться мне в 6-й департамент для ответов, которые даны уже 1-му департаменту. А как между тем отлучен уже я от должности моей и определен на место мое другой, то и стал я, в просвещенное и благосердое вашего величества царствование, не токмо без суда, но и без рассмотрения моих ответов наказан... А для того и осмеливаюсь всеподданнейше просить позволить мне для объяснения дел по губернии лично предстать пред ваше императорское величество; а особливо, когда мои ответы уже и в 6-й департамент теперь более трех месяцев присланы и от меня какого-либо к оным дополнения не требуют и нахожусь я празден, то между тем, покуда рассматриваются оные, имею я свободное время упасть к

освященным стопам вашего величества и изъяснить связь происшествий, по коим я несчастлив. После же сего, ежели мне должно будет паки явиться за чем-либо в 6-й департамент или я достоин явлюсь быть под судом или без оного за дерзновение, что напрасно обеспокоил священную особу вашего величества сими моими прошениями, готов подвергнуть и честь, и жизнь мою самой тягчайшей строгости законов. Одна моя надежда — Бог и ты, Государыня; да будет воля твоя со мною!»

Письмо такого же содержания, но в сокращенном виде, отправил Державин несколько позже и к Потемкину, объясняя, что он «безмолвно ожидал бы разрешения тягостной судьбы своей», ежели бы не слух о скором отъезде князя из Петербурга и не опасение, что в отсутствии его положение обвиняемого еще ухудшится.

Наконец, 16-го апреля, т. е. почти через три с половиной месяца после приезда Державина в Москву, в сенате началось слушание его дела. По собственному рассказу его, он достиг этого тем, что посетил князя Волконского, с которым был знаком еще в Петербурге, и подействовал на него угрозой, что если он еще будет медлить, то Державин вынужден будет принести императрице жалобу и раскрыть ей все противозаконные поступки князя Вяземского: тогда будто бы князь Волконский, давно не присутствовавший в сенате, решился выехать туда, и дело было кончено в одно заседание. Так ли было действительно, или поэт ошибался, во всяком случае, последнее показание его неверно: 16-го апреля прочитан был только первый пункт губернаторского ответа. Затем слушание продолжалось четыре дня сряду: 17-го прочитаны были пункты 2-й и 3-й; 18-го — 4-й, 5-й и 6-й пункты; 19-го — 7-й, 8-й и 9-й. После перерыва, вероятно, по случаю Пасхи, рассмотрение дела возобновилось 23-го апреля: в этот день слушаны переданные из 1-го департамента два новые рапорта Гудовича: 1-й, об истребовании Державиным справок от губернского правления и 2-й, о неправильном будто бы неутверждении Бородина городским головою; 24-го апреля слушаны еще четыре рапорта, также переданные из 1-го департамента: 1-й, о непризнании советниками Державина выбора разных лиц от купечества и поселян в должности; 2-й и 3-й, о неисправностях в доставке в петербургские запасные магазины подрядного хлеба; и 4-й, об уклонении Державина от подписи журнала и подачи мнения по указу сената о разрешении из-под ареста имения купца Бородина. В это заседание положено было: обо всех замечаниях сената «сочиня со обстоятельством для поднесения ее императорскому величеству всеподданнейшего доклада приговору, предложить правительствующему сенату на апробацию». Приговор и доклад писались целый месяц: 24-го мая они были наконец слушаны, одобрены и подписаны. Вместе с тем определено было: до воспоследования высочайшей на этот доклад конфирмации «Державину объявить, что сенат теперь никакой до него надобности не имеет». При слушании доклада некоторые выражения, касавшиеся личных пререканий между наместни-

ком и губернатором и взвешивавшие взаимную важность обеих должностей, показались князю Волконскому неуместными, и потому было еще собрание 31-го мая, в котором, по совещании этого сенатора с его сочленами, положено было исключить эти выражения и, переписав приговор и доклад, вновь подписать их, что и было исполнено 4-го июня.

Все рассуждения сената по ответам Державина отличались особенною в отношении к нему мягкостью и снисходительностью, в чем, независимо от правоты его дела, нельзя не видеть влияния Потемкина, прямо заинтересованного в этом деле. Все заключения сената были благоприятны Державину, все оправдывали его. Не касаясь первой части этого обширного доклада (занимающего в копии около 150 страниц), где представлены сперва все обвинения Гудовича, потом определение 1-го департамента и ответы Державина, обратимся прямо ко второй части, содержащей самое определение 6-го департамента, и сообщим его в извлечении.

В начале этого отдела не забыли упомянуть с особым ударением, что департамент на рассмотрение всех принадлежавших к делу бумаг *употребил целых шесть дней*, и сейчас же прибавлено, что по всем пунктам сенат «ни Державина, ни советников правления виновными и тяжкому осуждению подлежащими не находит». Преступления первого по существу своему — двоякого рода: одни заключаются в упущениях по должности, «в непорядках и противных закону поступках, а другие в несоблюдении должного повиновения начальнику, в неприличных против него выражениях и укоризне, и в нанесенной чрез то званию и чину его обиде, в чем главнейше и вся жалоба генерал-губернатора состоит, и в чем просит он на него, Державина, суда. Остается теперь, всемилостивейшая государыня! сделать соображение для различия, в чем заключаются и те и другие, и какие именно обстоятельства Державина в том и другом или совершенно оправдывают, или остаются под сомнением; поелику сенат не следствие производил, на что и высочайшего повеления не имеет, а рассматривал представления генерал-губернатора и ответы Державина по содержанию сделанных ему от 1-го сената департамента вопросов, которые состоят в том: 1-е) «Для чего созывал он сам собою, в противность учреждения, членов палат в наместническое правление для следствия и очных ставок?» Против сего Державин отвечает и обстоятельства дела показывают, что приглашены им были в правление не все члены палат, а по одному из каждой, и не для следствия и очных ставок, но для предупреждения следствия, дабы узнать истину и защитить оклеветанных. Державину нужно было вступить за себя и за избранных им, поелику свидетельство денежной казны, по силе учреждений, непосредственно на губернатора возложено и сказано точно сими словами: «губернатор яко хозяин губернии может во всякое время денежную казну в губернии ему вверенной освидетельствовать сам или чрез уполномоченных от него», следовательно, в сем случае виновным его, Державина, почесть се-

нат причины не находит; 2-е) «Вместо наблюдения за подчиненными местами о точности исполнения по делам важным, требующим по нынешним военным обстоятельствам скорейшего решения, причиняет затруднения и упущения, отчего многие церковники не собраны». Против сего пункта ответы Державина, а не меньше и доставленные к нему от наместнического правления справки свидетельствуют, что со стороны его, Державина, по всем означенным делам не только никакого упущения и затруднения не сделано, но, напротив того, ясно видно, что в собрании государственных доходов, рекрут и заштатных церковников всевозможное старание прилагалось и как лично от него, так и от правления неослабные и многократные предписания деланы, за неисполнение же и медленность в том с виновных učinено должное взыскание, а что и затем оставалось как денежных сумм в недоимке, так рекрут и церковников в недоборе, тому были особливые причины, которые означены именно в его ответе и которых дальнейшее поправление зависело непосредственно от генерал-губернатора; буде же бы Державин не исполнил в сем случае в чем-либо его предписаний, то следовало бы на него представить сенату, но не иначе как в свое время, со всеми необходимо нужными объяснениями, и прежде нежели начал производить на него личную жалобу. 3-е) «Занимается по пристрастию и недоброхотству выискиванием частных людей следствий, отвлекающих от дел полезных службе». Сей пункт не представляет ничего известного. Из ответов Державина и из справок правления никакого пристрастия и недоброхотства его, Державина, выискиванием следствий частных людей не видно, тем паче что и сам генерал-поручик Гудович, в донесении своем о том сенату, кому б от него, Державина, причинено было из пристрастия недоброхотство, никого лично не означает; впрочем же, и жалоб в том на него, Державина, ни от кого никаких нет. И для того сенат признает Державина в обоих вышесказанных случаях невинным. 4-е) «Миновав генерал-губернатора, представлял о многих делах в сенат». Сие обвинение само по себе ничего важного в себе не заключает, и Державин признается, что о некоторых делах представления от правления, миновав генерал-губернатора, прямо в сенат подлинно были, но тем ни должности, ни закону противности Державин не сделал, поелику всем правлениям вообще, по некоторым случаям, силою учреждений предписано то должностью. В чем же состоит вина Державина? Ибо он не больше сделал, как то, что в должности правления предписано, а по важным делам всегда относился к генерал-губернатору и ожидал на то его согласия; иначе же, буде бы паче чаяния представлял он, Державин, в сенат, как генерал-губернатор пишет, о многом ненадобном, в таком случае сенат не оставил бы сего в молчании и без его, генерал-поручика, особенного о том представления. 5) «Вмешавшись в должность своего начальника и в дела посторонние и оставляя свою собственную, накопил в наместническом правлении с 1787 года и не исполнил более 600 дел, в числе коих и на сенатские указы

многих исполнительных рапортов посылаемо не было, хотя о том от генерал-губернатора неоднократно подтверждено было». В чем именно вмешивался Державин в должность его, генерал-поручика, и в чем оставлял свою собственную, сенат не видит, и как по ответам Державина, так и по учиненным в правлении справкам того не значится, а впрочем и упущения в делах по правлению, в рассуждении их количества, не примечается; ежели же когда и случилось, что не скоро указы сената или сообщения других мест исполнялись, то сие происходило, как из ответов Державина явствует, от нижних присутственных мест, на которые за то и взыскание полагалось; а что собственно по правлению отправляемы были дела с должною поспешностью, в том свидетельствуется он, Державин, многими полученными лично от генерал-поручика письмами и рекомендацією о нем бывшим в Тамбове при обозрении губернии сенаторам, и к получению ордена. 6) «По приказу общественного призрения со времени вступления его многих заведений не сделано». Державин объясняет, что причиною тому недостаток в принадлежащих приказу денежных суммах (около 30.000 рублей), и делал он такового рода заведения частно, смотря по нужде и обстоятельствам, сколько польза и сумма того приказа дозволяла; причем со вступления его в должность доставил он той сумме с лишком 20.000 рублей приращения, и сверх того по казенной палате открыл не взысканных с неисправных поставщиков штрафных процентных денег с лишком 60.000 рублей, да за невзнос в срок в казну денег содержателями оброчных статей без малого 6.000 рублей таковых же причитается, следовательно, и по всем сим трем пунктам виновным его, Державина, сенат не находит. 7) Содержание этого пункта в том состоит: «якобы завел у себя Державин домовую с особливым секретарем канцелярию, по законам ему не положенную». При Державине был секретарь, но не особо определенный, а из штата губернии, которого употреблял он не с канцелярией домовою, какой у него не было, но единственно для отправления дел по должности правителя и по возлагаемым лично на Державина особенным комиссиям, брав на то временно, для переписки, и канцелярских служителей, без чего он, ведя от лица своего со многими местами и лицами переписку, обойтись не мог, следовательно, и в сем случае также не виноват. 8) «Будучи извещен генерал-прокурором о высочайшем повелении, чтоб в рассуждении позволения предстать пред престолом для донесения по делам Тамбовской губернии просился он, Державин, по команде, дерзнул вопреки монаршему повелению, миновав своего начальника, подать прошение на высочайшее имя в наместническое правление, где в отсутствии генерал-губернатора находился сам первенствующею особою». В сем случае сказать можно подлинно, что не соблюл Державин надлежащей благопристойности и должного к начальнику уважения и, следовательно, не мог бы в том извинен быть; но поелику из ответов его явствует, что все то произошло по причине откровенного уже между ними неудовольствия, и что генерал-

губернатор неблагоприятно к нему расположен был, отчего Державин в приезд свой к нему дней с пять, под видом болезни генерал-поручика, был не допускаем, хотя в то же самое время члены казенной палаты почасту у него бывали, то если все сказанное Державиным справедливо, не может сенат почесть и сего последнего его поступка столь важною виною, а тем паче сделать таковое заключение, якобы дерзнул он поступить на то вопреки монаршему повелению, чего сенат и помыслить, всемилоливейшая государыня, страшится, чтоб кто-либо, как и Державин, мог вздумать, забыв себя, пуститься на таковое, можно сказать, беспримерное бесстрашие. Преступление такового рода есть уголовное, и чем оно важнее, тем более требует основательных доказательств к обвинению преступившего, нежели одно донесение правящего должность генерал-губернатора, и потому, не осмеливаясь сделать в столь важном деле никакого заключения, по причинам, достаточного основания не имеющим, поступок в сем случае Державина, находя с своей стороны невинным, предает, впрочем, прозорливому вашему императорского величества благорассмотрению.

Что принадлежит особенно до других генерал-губернатора представлений, составляющих подобным образом обвинение Державина и советников правления, оные сенат рассматривал также во всей их подробности и каждое порознь и потому находит: 1) Что требовал и взял Державин от наместнического правления необходимо нужные ему для принесения оправданий, против учиненных на него от генерал-губернатора донесений, справки, дабы доказать ими свою невинность. В сем случае винить Державина отнюдь было бы не можно, поелику требует того справедливость, чтоб обвиняемому предоставлены были все способы к его оправданию, как о сем довольно пространно сказано в наказе комиссии о составлении проекта нового уложения; но неосторожность Державина единственно в том состоит, для чего требовал он сии справки данным правлению предложением, которые мог бы он приказать сделать и собрать нужные сведения чрез секретарей и других канцелярских служителей и без таких вопросов, каковые в предложении его правлению означены, и которые показывают некоторым образом вид, якобы требовал он тем отчет и в поведении генерал-губернатора, а по поводу сего 1-й сенат департамент, нашед в деянии сем поступок Державина против персоны генерал-губернатора оскорбительным, и во отвращение дальнейших от того последствий всеподданнейше представлял, чтоб его, Державина, отрешить от должности, по каковому случаю и удален он наконец от должности, и лишился чрез то своего места, следовательно, соразмерно неосторожному его поступку тем уже наказан, а генерал-губернатор сим самым удовлетворен: то и не почитает сенат ничего более в штраф ему, Державину, прибавить. 2) Относительно неутверждения Державиным выбранного тамбовским купечеством и мещанством в градские головы именитого гражданина Бородина, вместо коего утвердил он следующего по нем по порядку, по

большинству баллов, купца Толмачева, поелику дозволение заседания вновь выбранным из купечества и мещанства в городские головы и прочие звания зависит не от генерал-губернатора, а от правителя губернии, то в неутверждении Державиным Бородина, по причине изъясненных в рапорте Державина пороков, виновным его сенат не почитает, тем паче что буде Бородин находил себя тем обиженным и имел справедливые и основательные причины, то мог на Державина принести надлежащую, на основании законов, жалобу. 3) Что касается переписок, веденных Державиным при начале возобновления выборов, из чего, как генерал-губернатор представляет, будто бы последовало замешательство, поелику в сем случае никакого замешательства со стороны Державина сенат не видит, а испрашивал он себе у него, генерал-поручика, по дворянским и мещанским выборам предписания, не получив никакого о том от него повеления на словах, получив же потом ордер, остался спокоен, и для того виновным его, Державина, относительно сего происшествия не поставляет, как и в том, что внес он в правление для сведения с рапорта, поданного о том к нему, генерал-поручику, копию, в чем никакой важности не заключается, а впрочем, что написал он, Державин, в означенном рапорте не те точно слова, какие генерал-поручик ему сказал, на вопрос его, сего доискиваться сенат не почитает за нужное, тем больше, что оные хотя не точно так изображены, как в рапорте Державина означено, но тот, однако, смысл имеют и доказывают весьма явственно, что генерал-губернатор от всякого с Державиным благоприятного обращения удалялся и изъяснял чрез то вид неудовольствия и раздражения. 4) В рассуждении нескорой присылки Державиным требуемых, по предписанию генерал-губернатора, с заключенных Державиным с поставщиками из Тамбовской губернии в петербургские запасные магазины хлеба контрактов и с поручителей по ним копии, как из рапорта генерал-поручика и из ответа Державина явствует, что все требуемое в надлежащее время потом исполнено и никакого чрез то казне убытка не последовало: то сие обстоятельство само собою уже решилось, а что прислал все оное Державин не в такое время, как генерал-губернатору желалось, за препятствиями, о коих он, генерал-поручик, от Державина предварительно был извещен, то мог он, генерал-поручик, по силе указа 1766, буде требуемое им весьма скоро иметь ему было нужно, учинить ему, Державину, вторичное о том по команде понуждение, но когда бы и по сему последнему не исполнил, в таком уже случае о непослушании его представлять в сенат, а не прежде.

За всем сиим следует теперь, всемилоостивейшая государыня, тот важный пункт жалобы генерал-губернатора на Державина, по которому он, генерал-поручик, как обиженный начальник, просил от сената к вашему императорскому величеству представительства и суда на подчиненного, сей пункт подвержен, всемилоостивейшая государыня, сомнению по разнообразным с обеих сторон показаниям. Поелику Державин в ответе своем против

принесенной на него от генерал-губернатора жалобы ни в чем не признается, объясняясь, что всегда обращался он с ним, генерал-поручиком, с подобострастием и должною к начальнику вежливостью, как и при самом его, генерал-поручика, из Тамбова отъезде, просил его в правление также учтивым образом, не для собственного своего дела, а для трактования о распоряжении, в рассуждении представляемых тогда от дворян из усердия к благу отечества по случаю шведской войны рекрут, и для осмотра в правлении течения дел, о коих он, генерал-поручик, в предложении своем в правление накануне того дня изъяснял, якобы их много запущено, о собственном же своем деле объяснял по случаю нечаянно зашедшей о том речи, а что подлинно говорил он, Державин, ему, генерал-поручику, в то время с великою учтивостью и благопристойностью, в том ссылается на бывших тогда в передней генерал-поручика чинов: но как сие показание представлению генерал-губернатора во всем противоречит и утвердиться ни на том, ни на другом не можно, для изыскания же в сем случае истины завести о сем следствие (по причине, что именным высочайшим указом повелено Державину явиться в сенат для надлежащего токмо в том ответа, а не для следствия) сенат сам собою не смеет, и для того по всем выше-сказанным обстоятельствам осмеливается сенат всеподданнейше представить, не угодно ли вашему величеству будет высочайше повелеть, для общего обоих спокойствия, оставить все оное без дальнейшего изыскания. Причины, побуждающие сенат к такому заключению, всемиловитейшая государыня, суть следующие: 1) Из всех приносимых генерал-губернатором на Державина жалоб и из ответов сего последнего, не меньше как и из обстоятельств самого дела, ничего другого не усматривается, кроме личного их одного против другого неудовольствия, чрез что Державин лишился своего места, а тем самым и все личные неудовольствия между тем и другим кончились. 2) Что кроме личных неудовольствий генерал-губернатора из всего вышеизъясненного, никакого, впрочем, злоупотребления и как казенному интересу упущения, так и частным людям со стороны Державина притеснения не последовало и ни от кого никаких на то жалоб не вышло, более же все то предаст сенат всемиловитейшему вашему императорского величества благоволению».

Как ни благоприятно для Державина было решение сената, однако он остался не совсем доволен им; именно, он сетовал на то, что с него не взяли ответа по обвинению в истребовании от наместнического правления справок, и хотел принести императрице жалобу на такое «кривое и темное решение». Но так как определение сената долго оставалось необъявленным, то он ничего не мог предпринять. Тогда (по рассказу в его записках) он через одного стряпчего дал обер-секретарю 2000 руб. за допущение снять копию с приговора. Кроме того, он просил князя Гагарина принять меры, чтоб ему наконец было объявлено решение сената и позволено выехать из Москвы. 4-го июня, в понедельник, ему действительно дано было знать о подписании се-

натского доклада государыне и о том, что в нем, Державине, нет более надобности. К достижению такого результата, — по его предположению, высказанному в записках, — содействовал граф П. И. Панин, который доживал свой век в Москве и, несмотря на бывшие у него прежде с нашим поэтом недоразумения, дружелюбно принимал его, помогая ему своим ходатайством у Гагарина и сенаторов. Заметим, однако, что с Паниным Державин мог видаться разве только в первые месяцы своего пребывания в Москве, так как граф Петр Иванович скончался там уже 15-го апреля, т. е. накануне того самого дня, в который сенат приступил к слушанию дела Державина.

12-го июня наш бывший тамбовский губернатор был еще в Москве и писал к Капнисту: «Дело мое здесь кончилось. Я, слава Богу, по всем клеветам Гудовича, взведенным на меня, нашелся невинным, о чем и подан доклад; при всем том в угодность сильных моих гонителей не оставили завернуть ерихонский крючок, который, сколько сам собою ничего не значущ, но при всем том мне не может быть приятен. Если не подтвержден доклад до приезда моего в Петербург, то постараюсь его отвернуть; но да будет воля Всевышнего со мною, на Которого одного надеюсь».

Что разумелось под «ерихонским крючком», мы уже знаем. К устранению его просьба действительно была подана императрице: оправданный просил, чтобы у него было истребовано еще дополнительное объяснение, и чтобы оно поднесено было, вслед за докладом сената, на высочайшую конфирмацию. Но, как мы скоро увидим, просьба эта опоздала; дело окончилось без нее.

Прежде, однако, нежели последуем за Державиным в Петербург, скажем несколько слов о стихах, написанных им в Москве. Само собою разумеется, что при тех обстоятельствах, в каких он здесь прожил целые полгода, нельзя ожидать от его музыки за это время обильных даров. Мы упомянули, что еще до выезда его из Тамбова Львов советовал ему воспеть взятие Очакова. По поводу этого события и написана, в подражание 90 псалму, ода «Победителю», т. е. Потемкину. Понятно, что при тогдашнем настроении Державина в этой оде не могло быть много вдохновения и поэзии: содержание ее натянуто, и стихи тяжелы. Она была тогда же отправлена по адресу, однако, как уверяет поэт, без обозначения имени автора, так что князь Таврический будто бы никогда и не узнал, кем она сочинена. Как бы ни было, при жизни Потемкина осталась она неизданною и явилась в печати только в 1798 году, причем, по известному отношению императора Павла к памяти любимца Екатерины, цензура исключила последнюю строфу:

Но кто ты, вождь, кем стены пали,
Кем твердь Очаковска взята?
Чья вера, чьи уста зывали
Нам Бога в помощь и Христа?
Чей дух, чья грудь несла монарший лик?
Потемкин ты! С тобой, знать, Бог велик!

Положение Державина в Москве естественно влекло его к духовной поэзии; о том свидетельствует более счастливое переложение прекрасного 103-го псалма («Величество Божие»), за который принимался также Ломоносов, который перелагал и Сумароков. Самым же замечательным произведением Державина за время его пребывания в Москве была его своеобразная по шуточному тону и сатирическому характеру ода «На счастье», написанная будто бы, как он означил в первом ее издании, на масленице. Она полна намеков на тогдашние политические события, на черты современной общественной жизни и, наконец, на некоторых представителей высшей администрации. После «Фелицы» это было первым значительным стихотворением Державина в том же юмористическом роде, и талант его здесь явился опять во всем блеске самобытной силы. Из пояснительных примечаний к оде «На счастье» легко убедиться, как хорошо он был знаком с политическими обстоятельствами эпохи, в которую Россия вела две войны и находилась в щекотливых отношениях к другим державам. Строфы 9-12 содержат игривое изображение деятельности Екатерины. Затем поэт касается самого себя, и, начиная с 14-й строфы, ода получает автобиографическое значение. Обращаясь потом к Счастью с просьбой о перемене своей судьбы, он весьма ловко задевает своих гонителей, Гудовича и Завадовского:

Гудок гудит на тон скрипицы
И вьется локоном хохол.

Эти строфы, по живости содержания и легкости стиха, принадлежат к числу самых удачных, когда-либо написанных Державиным. В конце оды он хочет уверить себя и других, что, несмотря на испытываемые им внешние невзгоды, он остается совершенно спокоен в душе. Мы выше заметили, что он и самых тяжелых обстоятельствах не предавался отчаянию, но от этого состояния до спокойствия еще далеко: из переписки его ясно видно, с какою тревожною заботливостью он обращался во все стороны, ища выхода из своего трудного положения. Когда потом он возвратился в Петербург и снова занял почетное место, ода «На счастье», — хотя она и оставалась в рукописи, — приобрела большую известность, или, как выразился Болотов, «носилась в народе морганически» (т. е. втайне).

4. Милость императрицы. Жизнь в столице

В Петербург Державин приехал во второй половине июня 1789 года, — в какой именно день, нам неизвестно. В дневнике Храповицкого под 27-м июня записано: «Читал доклад о Державине, 6-ым департаментом сената оправданном. Приказано отыскать оду «Фелица». Затем 11-го июля: «Читал просьбу Державина и поднес оду «Фелица». В ней, — говорит Храповицкий, — прочтено при мне:

Еще же говорят не ложно,
Что будто всегда возможно
Тебе и правду говорить.

Приказано сказать Державину, что доклад и просьба его читаны, и что ее величеству трудно обвинить автора оды к «Фелице»: *cela le consolera*. Донес о благодарности Державина, — *on peut lui trouver une place*. Вместе с тем утверждён был доклад сената с означением такой же резолюции на последней просьбе Державина, и в тот же день написано о том к генерал-прокурору.

В своих записках поэт говорит, что Храповицкий тогда же «объявил ему высочайшее благоволение», и гофмаршалу велено было представить его государыне. Вследствие того он спустя несколько дней ездил в Царское Село; императрица Екатерина приняла его очень милостиво, дала ему поцеловать руку и оставила у себя к обеду. У Храповицкого об этом представлении вовсе не упомянуто: такое умолчание могло бы показаться очень странным, если бы оно не объяснялось тем, что в знаменитом «Дневнике» совсем пропущен целый день, именно 16-е число, к которому, вероятно, и следует отнести сообщаемые Державиным обстоятельства. В достоверности его рассказа не позволяет сомневаться следующее подлинное письмо его к Капнисту, писанное 18-го июля, в котором он несколько наивно и грубовато возвещает другу свое торжество: «Спешу, мой любезный друг Василий Васильевич, сообщить тебе наше удовольствие. Дело мое кончено. Гудович дурак, а я умен. Ее величество с особливым вниманием изволила рассмотреть доклад 6-го департамента о моих проступках, о которых Гудович доносил, и приказала мне чрез статс-секретаря объявить свое благоволение точно сими словами: «Когда и сенат уже его оправдал, то могу ли я чем автора «Фелицы» обвинить?» — вследствие чего дело повелела считать решенным, а меня представить. Почему я в Царском Селе и был представлен; оказано мне отличное благоволение: когда пожаловала руку, то окружающим сказала: «Это мой собственный автор, которого притесняли». А потом, как сказывают, чего я, однако же, не утверждаю, во внутренних покоях продолжать изволила, что она желала бы иметь людей более с таковыми расположениями, и оставлен был я тот день обедать в присутствии ее величества. Политики предзнаменуют для меня нечто хорошее; но я все слушаю равнодушно, а поверю только тому, что действительно сбудется». В конце письма подпись: «Ее величества собственный автор». Итак, Державин не только был полностью оправдан, но и удостоился особенного благоволения императрицы.

Можно быть уверенным, что такое окончание дела было крайне неприятно князю Вяземскому и сторонникам его, особенно Завадовскому, не говоря уже о самом Гудовиче. Но делать было нечего: непреоборимая сила Потемкина, при содействии

Безбородки и Воронцова, ниспровергла все ухищрения противников, и генерал-прокурор должен был через петербургский сенат сообщить высочайшую резолюцию московскому: 23-го июля 6-й департамент слушал указ о том и в журнал его за этот день записано, что по докладу сената «ее императорское величество высочайше отозваться соизволила, что сие дело почитает ее величество совершенно оконченным и помянутый доклад приемлет во известие».

С благоприятным решением дела Державина еще не кончились для него все последствия управления Тамбовской губернией, и взыскание, которому он подвергался за неполную поставку хлеба, должно было причинить ему еще много хлопот. Но и независимо от этого, он, как мы уже заметили, был не вполне доволен высочайше утвержденным решением сената. Возвращаясь после своего представления из Царского в Петербург, «размышлял он сам в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе или не в службе?» И потому он решил написать к императрице еще письмо, в котором, принося благодарность за правосудие, просил на основании указа 1726 года повелеть, чтобы ему выдано было и впредь производилось до определения его к должности остановленное жалованье; вместе с тем он испрашивал аудиенции для личного объяснения по делам губернии. Императрица была так милостива, что исполнила обе просьбы. Дня через три после подачи его письма (оно было читано 29-го июля, в воскресенье, но не сохранилось) он был вторично принят государынею в Царском Селе. Это было 1-го августа, в среду, в 9 часов утра. Об этой любопытной аудиенции мы имеем не только двойной отчет самого Державина, но и сообщение Храповицкого собственными словами Екатерины; оба свидетельства довольно согласны между собой.

Державин повез в Царское Село всю официальную переписку, бывшую у него с Гудовичем, которою он желал окончательно доказать императрице свою невинность. К счастью, однако, он, входя в кабинет Екатерины, догадался оставить этот груз в соседней комнате. Государыня, дав ему поцеловать руку, спросила, «какую он имеет до нее нужду». Он отвечал, что желает благодарить ее за оказанное ему правосудие и с документами в руках объяснить по делам губернии. Понятно, что это не могло понравиться императрице, и она вслед за тем его спросила: отчего он не объяснил всего в своих ответах сенату или особо на письме.

— Я просился для объяснения в Петербург, — отвечал он, — но получил приказание проситься через генерал-губернатора, чего я не мог сделать по его неприязни ко мне.

— Но, — возразила Екатерина, — не имеете ли вы в нраве чего-нибудь строптивного, что ни с кем не уживаетесь?

— Я начал службу своим простым солдатом и сам собой возвысился до почетного чина и губернаторства; никто не жаловался на мое управление.

— Но отчего же вы не поладили с Тутолминым?

— Он издал свои законы, а я привык исполнять только ваши.

— Отчего вы разошлись с Вяземским?

— Ему не понравилась моя ода «Фелице»: он начал осмеивать и притеснять меня.

— А какая была причина ссоры вашей с Гудовичем?

— Он не соблюдал ваших интересов; в доказательство могу представить целую книгу, которая со мною.

— Хорошо, — сказала она, — после.

Тогда он подал ей краткую записку о случаях нарушения выгод казны по Тамбовской губернии: императрица, приняв эту записку, отпустила его с обещанием дать ему жалованье и определить к месту. По свидетельству Храповицкого, Екатерина после так отозвалась об этом разговоре: «Я ему сказала, что чинчина почитает. В третьем месте не мог ужиться; надобно искать причины в себе самом. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи». Затем в дневнике Храповицкого приписано: «Велено выдать неполученное им жалованье, а граф Безбородко прибавил в указе, чтобы и впредь производить оное до определения к месту». Державин говорит, что этот указ вышел уже на другой день, 2-го августа. В словах императрицы «пусть пишет стихи» выразилось уже некоторое разочарование в административных способностях Державина, что, однако, не помешало ей впоследствии поручать ему опять важные посты по государственной службе.

Теперь, в надежде на новое назначение, он мог спокойно жить в Петербурге, но ему пришлось ждать довольно долго, — около двух лет с половиной. К сожалению, мы об этом периоде его жизни находим мало сведений в его записках, посвященных главным образом рассказу об обстоятельствах его службы. Сохранившаяся за это время переписка его также довольно скудна содержанием. Тем не менее, принимая в пособие его стихотворения и некоторые сторонние источники, особенно записки Дмитриева, мы можем представить несколько любопытных известий о его жизни и за эту эпоху. Как сам он смотрел на нее, видно из одного выражения его о себе в записках: «шатался, — говорит он, — по площади, проживая в Петербурге без всякого дела».

Время это, однако, не прошло бесплодно для его успехов по службе и поэтической славы: мы видим, что он тогда составил себе некоторые новые связи, упрочил прежние, написал несколько крупных стихотворений и приобрел дружбу двух молодых еще в то время, но много обещавших писателей — Карамзина и Дмитриева.

25. Сближение с Зубовым. «Изображение Фелицы»

Несмотря на давнишний разлад с князем Вяземским, Державин возобновил сношения с его домом и был принимаем там довольно ласково. С самим князем в это время сделался паралич, и наш поэт, по сродному ему самообольщению, приписал это действию, произведенному на князя благополучным для Державина

вина окончанием дела с Гудовичем. По своему чину Гаврила Романович имел право ездить на выходы во дворец, но так как императрица не удостоивала его особенного внимания и оттого ему казалось, что она забыла свое обещание, то он решился искать покровительства нового любимца, который начал входить в милость почти одновременно с возвращением Державина в Петербург. Свое сближение с Платоном Зубовым он сам рассказывает в своих записках с простодушием, которое делает честь его правдивости и вместе доказывает, что по ходячим понятиям того времени (от которых отрешиться могли только немногие избранные) такой образ действий не считался предосудительным. Поэт без всяких околичностей сознается, что несколько раз придворные лакеи не допускали его до молодого счастливица, и что не оставалось другого средства победить препятствия, как «прибегнуть к своему таланту». Он задумал сочинить опять род похвальной оды Екатерине и написал самое длинное из всех когда-либо вышедших из-под пера его лирических стихотворений — «Изображение Фелицы». Средство оказалось вполне действительным. Рукопись новой оды, богатой яркими картинками, представлявшими важнейшие события царствования и черты мудрости великой монархини, была представлена Зубову ко дню коронации (22-го сентября 1789 года) через близкого к нему человека, бывшего сослуживца Державина Н. Ф. Эмина. Государыня, прочитав оду, приказала любимцу своему на другой день «пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать в свою беседу». С этих пор Державин стал вхож к Зубову, бывал у него часто, по временам даже ежедневно, и хотя долго не получал никакого места, но одно это приближение к фавориту уже давало ему в глазах двора и общества особенное значение. От Зубова, в то время еще очень молодого человека (ему было 22 года), получившего весьма поверхностное воспитание, нельзя было ожидать, чтобы он в надлежащей мере ценил талант и вообще всякого рода умственное превосходство. Державину казалось даже, что его поэтическая слава была неприятна Зубову. Итак, неудивительно, что этот последний вовсе не отличал его от бездарного Эмина и, напротив, находил забаву в том, чтобы сорить их. Как пример такого обращения с ними молодого вельможи поэт передает обстоятельство, случившееся по поводу появления его оды «На взятие Измаила» в начале 1791 года. Известие об этом славном подвиге было привезено в Петербург Валерианом Александровичем Зубовым. Когда он пришел к брату с радостною вестью, Державин был у фаворита и под впечатлением ее обещал написать оду. Когда ода была готова и заслужила общее одобрение, Эмин не мог скрыть своей досады и в присутствии Зубова всячески осуждал ее, говоря, что она «груба, без смысла и без вкуса». Державин горячился, предлагал напечатать рядом с одой критику Эмина и отдать ту и другую на суд публики; но Эмин на то не соглашался, а Зубов слушал спор стихотворцев и молчал, улыбаясь.

Говоря об отношениях Державина к Плутону Зубову, нельзя оставить без внимания двух стихотворений нашего поэта: «На умеренность» и «К лире», хотя, впрочем, только второе прямо посвящено любимцу, первое же относится к нему только отчасти и притом косвенно. Ода «На умеренность» написана в 1792 г., когда Державин был уже статс-секретарем. Не сумев на этом месте вполне сохранить благосклонность императрицы, испытывая часто ее терпение своими докучными докладами, он в этой пьесе с некоторою иронией философствует о своем положении и в последних строфах читает мораль Зубову, которым, очевидно, не совсем доволен, советуя ему быть умеренным в счастье:

Умей быть без обиды скромн,
Осанист, тверд, но не гордец,
Решим без скорости, спокоен,
Без хитрости ловец сердец;
Вздвув в ясном паруса лазуре,
Умей их не сронить и в буре.

Другое стихотворение, «К лире», написано спустя три года после предыдущего — когда Державин уже не служил при императрице, — в приветствие Зубову по случаю его именин; оно содержит только похвалу музыке и потом несколько любезностей тому, кто ею занимается; это ничто иное, как дань признательности за доброе расположение и гостеприимство. Отсюда ясно, как несправедливо автор напечатанной не так давно биографической статьи о Зубове говорит по поводу этой пьесы: «Позолотив струны лиры Державина, Зубов был им воспет не менее восторженно, как незадолго перед тем Потемкин». Сколько нам известно, для первой половины приведенной фразы нет никакого основания, а последняя прямо противоречит истине, ибо легонькие стансы «К лире» ни в каком отношении не идут в сравнение с «Водопадом». Воспевать Зубова как государственного мужа никогда не приходило на мысль Державину; но при всех недостатках, при гордости и спеси, какими отличался этот временщик, особенно по смерти Потемкина, он, конечно, имел в своей личности и некоторые привлекательные стороны, и поэт, хваля его в своем приветствии, мог быть искренним. Нельзя, кажется, сомневаться, что краски, в которых изображают Зубова Ростопчин и Масон, не без примеси желчи. Едва ли Екатерина поставила бы его на такую высокую степень, если бы не находила в нем никаких душевных и умственных достоинств.

Известно, например, что он под ее руководством пристрастился к литературе и много читал для пополнения своего недостаточного образования. Осенью 1790 года Екатерина писала Гримму: «Хотите ли знать, чем мы прошлое лето, в часы досуга, занимались с Зубовым в Царском Селе при громе пушек? Мы переводили по-русски том Плутарха. Это доставляло нам счастье и спокойствие посреди шума; он, кроме того, читал Полибия». Есть еще свидетельство, показывающее, что Зубов сумел внушить Державину уважение к себе. Поэт находил в нем много

природных способностей. «Во время моего статс-секретарства, — говорил он, — часто случалось мне перед докладом императрице заходить к Зубову и объясняться с ним по делам: его заключения были очень правильны».

К чести Державина надо сказать, что он и впоследствии, когда настали другие времена, не изменился в отношении к Зубову. Еще в 1812 году они были приятелями: во время нашествия Наполеона Зубов каждое утро рано приходил к Державину; они вместе читали новые известия с театра войны и следили за движениями армии по большой географической карте, разложенной перед ними на столе.

Ода «На взятие Измаила» имела большой успех: императрица пожаловала за нее автору осыпанную брильянтами табакерку в 2000 руб. и, увидев его во дворце в первый раз после ее напечатания, сказала ему: «Я по сие время не знала, что труба ваша так же громка, как и лира приятна». Но все подобные знаки внимания нисколько не приближали Державина к главной его цели. Княгиня Дашкова, которая по-прежнему благоволила к нему и старалась привлечь его к сотрудничеству в своем академическом журнале «Новые ежемесячные сочинения», придумала было для него особое назначение и советовала императрице взять его к себе «для описания славных дел ее царствования». Но так как Екатерина Романовна повсюду сама хвастливо разглашала свою мысль, то это, по его мнению, именно и помешало его определению.

Здесь мы должны на минуту возвратиться к оде «Изображение Фелицы», чтобы упомянуть об одном обстоятельстве, уясняющем нам положение Державина среди его литературных друзей. А для этого необходимо напомнить и основную идею этого стихотворения. Анакреон, в одной из своих од, просил живописца написать ему изображение его возлюбленной. Ломоносов, воспользовавшись этой мыслью, пригласил «первого в живописи мастера» нарисовать ему Россию, или, вернее, императрицу Елизавету Петровну. Державин, по примеру Ломоносова, обращается к Рафаэлю с просьбой начертить ему образ его «богоподобной царевны» и затем объясняет ему, как, в каких обстоятельствах и положениях желает ее видеть. Ода кончается строфою:

Но что, Рафаэль, что ты пишешь?
Кого ты, где изобразил?
Не на холсте, не в красках дышишь,
И не металл ты оживил:
Я в сердце зрю алмазную гору;
На нем божественны черты
Сияют иступленну взору;
На нем в лучах, Фелица, ты!

Произведение Державина внушило его другу Капнисту мысль написать в стихах же шуточный «Ответ Рафаэля певцу Фелицы». В этих стихах поэт воображает, что Рафаэль отказывается

от исполнения такого трудного дела; в последней (16-й) строфе великий живописец говорит:

Итак, Фелицына портрета,
 Ниже картины дел ее
 Тебе доставить не намерен.
 Когда ж ты в способах уверен
 Те чуда живо написать,
 То кисть и краски пред тобою:
 Пиши волшебною рукою,
 Что столь красно умел сказать.

Написав свой «Ответ», Капнист поспешил отправить его из Малороссии к Державину под заглавием: «Рапорт лейб-автору от екатеринославских муз трубочиста Василия Капниста. Перевод с итальянского». Эта невинная шутка очень не понравилась нашему самолюбивому, уже сильно избалованному похвалами лирику. Крайне резкий и грубый ответ его Капнисту доказывает, каким безусловным авторитетом он пользовался в кругу своих друзей и с каким высокомерием, как непогрешимый учитель и оракул, он позволял себе относиться к ним. «Скажу откровенно, — изрекал он между прочим, — мои мысли о твоих стихах: ежели они у вас в Малороссии хороши, то у нас в России весьма плоховаты... Нет ни правильного языка, ни просодии, следовательно, и чистоты. Мысли низки... изображения смешны и отвратительны... шутки не забавны, а язвительны... Словом, весь твой план неоснователен... Ежели ты хочешь вперед писать прямо по-русски, то приезжай к твоим друзьям и советуй с ними или оставляй, что напишешь, про твоих земляков; а без того не токмо читать или печатать, любя твою славу, стихов твоих, но и принимать их не будем; ибо, кроме твоей оды «Надежды» и сатиры, здесь при твоих друзьях написанных, последующие твои сочинения никакого уважения не заслуживают. Ежели таковыми стихами подаришь ты потомство, то и в самом деле прослынешь парнасским трубочистом, который хотел чистить стихи других, а сам нечистотою своих был замазан. Сие не я один, но и все, прочтя твои присланные сюды стихи, сказали, и я их речи лишь положил на бумагу с таковою же искренностью, с каковою есмь навсегда» и пр.

Однако Львов не подтвердил этих слов и на рукописи Капниста написал: «Гаврила не прав в некоторых своих бурных примечаниях; я ему скажу; а если некоторые мною справленные неровности ты простишь и помилуешь, то, переписав, как должно печатать, пришли: я напечатаю».

Действительно, «Ответ Рафаэля» вместе с «Изображением Фелицы» явился вскоре в академическом журнале княгини Дашковой. Мы не знаем, как принял Капнист горькую пилюлю от своего приятеля, но видим, что дружеская переписка между ними еще долго не прерывалась. Вообще личность Капниста в сношениях его с Державиным является в самом благоприятном свете. Державин был также не злопамятен: несмотря на свой

грозный приговор, он в скором времени стал опять советоваться с Капнистом насчет отделки своих стихов и пользоваться некоторыми из его поправок.



Екатерина II в последние годы.

Между тем тяжкая забота удручала Державина: при отрешении его от должности губернатора на тамбовское наместническое правление наложен был штраф в 17.000 р. за то, что оно подвергло аресту имение купца Бородина. На это несправедливое распоряжение Державин, по переселении в Петербург, принес через генерал-рекетмейстера Терского всеподданнейшую жалобу, которую императрица осенью 1790 года повелела рассмотреть в общем собрании сената. Гаврила Романович, узнав, что просьба его целый год не докладывалась, тогда как с нею сопряжен был

казенный интерес, подал императрице через Безбородку новое прошение, в котором представил, что так как сенат заведомо враждебно к нему расположен, но «главная дирекция сенатской канцелярии находится в прежних руках, — писал он, — те же самые будут производить мое дело, которые прежде производили или, лучше сказать, угнетали и угнетают меня до крайности, то чего я и какого удовлетворения ожидать должен? Справки одни и выписки до последнего моего издыхания меня задавят». Но ежели высочайшей резолюции уже изменить нельзя, то он просил облегчить его судьбу хоть тем, что «препоруча в особое кому-либо из обер-прокуроров наблюдение, сие дело повелеть прежде всех других выслушать», а покуда наложенного штрафа с него не взыскивать. В заключение он просил: «до определения к месту, которое высочайше мне обещано, позволить мне с жалованьем моим отлучиться в мои деревни. Проживая здесь время без должности, не приношу я ни обществу, ни себе никакой пользы». На другой день он просил, однако, Безбородку, нельзя ли дело это, еще не отправленное в сенат, рассмотреть в совете: «я надеюсь на мою справедливость и прошу только, чтоб с меня взыскание снято было, чтоб я с сенатом никакого дела не имел». В то же время Державин старался оградить Терского от всяких неприятностей по жалобе на его медленность в докладе дела. Но через две недели Державин, не дождавшись решения, подал императрице новую и на этот раз странную жалобу: так как в сенате дело будет докладываться по неизвестному ему экстракту, то, для наблюдения, все ли обстоятельства в нем изложены, дозволить ему, Державину, присутствовать в сенате при слушании его, к нему руку приложить, и повелеть решительное определение ему объявить. На подлинной просьбе, сохранившейся в Государственном архиве, отмечено коротко и ясно: «отказано 2-го ноября 1790». Об окончании самого дела мы сведений не отыскали, но из того, что об этом взыскании позднее нет более речи, следует заключить, что оно было сложено.

6. Сближение с Потемкиным. Праздник его. «Водопад»

Потемкин приехал в Петербург 28-го февраля 1791 года, в пятницу, на первой неделе поста. По известным отношениям его к Зубову, положение Державина становилось щекотливым. До сих пор князь Таврический знал поэта только по немногим встречам, по некоторым стихам его, но особенно по тамбовскому делу, в котором бывший губернатор оказал такое усердие в угождении ему. Смелость Державина в этом случае, а потом энергия его в борьбе с Гудовичем и самая настойчивость, с какою он прибегал к защите Потемкина должны были обратить на него внимание сильного вельможи, тем более что служившие при последнем Попов и Грибовский, конечно, не упускали случаев говорить в пользу обвиненного. Приехав в Петербург, светлейший

позволил ему явиться к себе и принял его милостиво. Неудобство служить обоим соперникам вскоре дало себя почувствовать. Поэт очутился между двух огней по поводу дела, возникшего между майором Бехтеевым и отцом Зубова, Александром Николаевичем, занимавшим место обер-прокурора в сенате. Они были соседями по своим поместьям во Владимирской губернии. Отец фаворита оттягал у Бехтеева часть имения: «Крез завладел чужой деревней», как сказано в оде «На умеренность». Однажды Бехтеев неожиданно явился в приемной Потемкина и с азартом принес ему жалобу на Александра Зубова. Этот обратился к Державину с просьбой быть его посредником в совестном суде. Весь город заговорил о происшедшем скандале. Поэт не знал, как поступить, и поехал советоваться с Платоном Зубовым, который, разумеется, пожелал окончить дело полюбовно. Предложение о том было тотчас принято Бехтеевым, но Зубов-отец соглашался идти на мировую только с тем, чтобы истец заплатил ему 16.000 руб. в вознаграждение убытков. Бехтеев уже готов был подать жалобу императрице; наконец Державин успел, однако, примирить тяжущихся.

Известно предание, будто Потемкин, отправляясь к армии, сказал своим приближенным, что он едет в Петербург *зубы дергать*. Этот каламбур, конечно, дошел по адресу и не мог быть приятен императрице, и без того уже охладевшей к старому временщику. Со своей стороны, и Суворов, по словам Державина, «тайно шел против неискусного своего фельдмаршала, которому со всем своим искусством должен был повиноваться». В подобном положении Потемкин, чтобы удостоиться внимания Екатерины, мог без сомнения прибегать к таким средствам, о которых он прежде не помышлял. Но то, что Державин рассказывает о нем по этому поводу, должно быть принимаемо с осторожностью, так как сам поэт, в ожидании устройства своей участи, был в напряженном состоянии и легко мог видеть то, чего на самом деле не было. Мы, например, не совсем уверены, чтоб он прав был в предположении, будто Потемкин ласкал его с тем, чтобы добиться от него похвальных себе стихов. Более вероятным находим мы рассказ, что Зубов, стараясь привлечь поэта на свою сторону, однажды сказал ему от имени государыни, «что он может писать для князя все, что тот прикажет, но отнюдь бы от него ничего не принимал и не просил, что он и без него все иметь будет». Зубов прибавил, что императрица назначает к себе Державина секретарем по военной части. Но Екатерина, как полагал поэт, хотела сделать это помимо Потемкина, и чтобы уколоть его, употребила будто бы следующее средство: однажды на вечеру в Эрмитаже шепотом отозвала Державина, повела его в другую комнату, и, остановившись перед бюстом Чичагова, таинственно поручила ему написать стихи на известный подвиг этого адмирала. Исполнить это приказание ему не удалось: как он ни старался, ничего порядочного не мог написать; но цель государыни была достигнута: Потемкину нанесена досада. Довольно странна догадка Державина, что светлейший вследствие

этого «не вышел в собрание и, по обыкновению его сказавшись больным, перевязал себе голову платком и лег в постель». Вскоре после того Потемкин, желая снова привлечь к себе сердце императрицы, а может быть и отплатить Петербургу за то гостеприимство, которым его здесь почти ежедневно чествовали, дал свой знаменитый праздник. Он хотел изумить Екатерину необычайным доказательством своей беспредельной приверженности, и пиршество должно было превзойти в великолепии все, что до тех пор бывало в этом роде. Днем его окончательно назначено было 28-е апреля 1791 года, приходившееся в понедельник после Фоминой недели, а местом избран так называвшийся в то время конногвардейский дом князя Таврического (нынешний Таврический дворец). Державин был на этом празднике и, по желанию Потемкина, описал его, но так как его описание в некоторых отношениях неполно, то мы, пользуясь и другими источниками, постараемся представить здесь, с возможною краткостью, самые выдающиеся черты славного вечера.

Конногвардейский дом, по словам Державина — величественное, но простое, без пышных украшений здание, был еще не совсем достроен. Вдруг появилось множество работников и художников для поспешного окончания его. Отовсюду брались нарпокат зеркала и люстры; припасали воск сотнями пудов, свечи тысячами, шкалики для иллюминации десятками тысяч. Стекланный завод завален был заказами Потемкина. Ливреи шли на сто с лишком слуг. Весь город был занят рассказами об этих приготовлениях. Слухи преувеличивали действительность до волшебных размеров. Много было догадок о настоящей цели праздника: толковали, между прочим, не мир ли неожиданный будет на нем объявлен. По мере того, как подвигались работы, план пира все расширялся: в последние дни решено было, сверх угощения внутри дома, устроить народный праздник под открытым небом, и внезапно перед зданием на месте ветхих деревянных строений явилась площадь; против главного входа воздвигнуты были триумфальные ворота. На площади расставлены столы со съестными припасами, кадки с медом, квасом и сбитнем. На нарочно сделанной деревянной стене развешены принадлежности мужской одежды: кафтаны, кушаки, шляпы, сапоги, лапти. Народ начал собираться уже с утра, но его смущал распущенный кем-то слух, что солдаты будут хватать всякого, кто дотронется до разложенных и развешенных предметов. Гости, приглашенные по билетам, начали съезжаться в 3 часа дня. Вскоре кареты потянулись в несколько рядов от самой Литейной до места праздника. Позднее присоединившиеся к ним императорские экипажи не могли подвигаться свободно. Народное угощение должно было начаться не прежде, как когда звук трубы возвестит прибытие государыни, которую ожидали в 5 часов; но уже кончался седьмой час, а ее все еще не было. Между тем народ, вымокший и иззябший от стоявшей весь день ненастной погоды, терял терпение. Наконец к развязке привел комический случай. Выскочившая из толпы собака произвела суматоху, ко-

торую приняли за условленный знак: все бросились на выставленные подарки, и в одно мгновение все исчезло. Преследуемая усердными казаками и полицейскими чернь устремилась во все стороны, и многие дорого заплатились за свою поспешность. Императрица сама рассказывает, что она, подъезжая, увидела только остатки народного угощения.

Потемкин давно дожидался Екатерины в залах своего чертога. На нем был малиновый фрак и епанча из черных кружев в несколько тысяч рублей; брильянты сияли везде, где только можно было придумать им место. Унизанная ими шляпа была так тяжела, что он ее передал своему адъютанту (генералу Бору) и велел везде носить за собою. Все гости, по словам Державина, были в маскарадном платье. При появлении императрицы, которую Потемкин сам высадил из кареты, «чистосердечное ура наполнило воздух».

Сначала царственные гости побыли несколько времени в огромной круглой зале, или ротонде, которая, по словам государыни, после храма св. Петра в Риме считалась самою великолепною в мире постройкою; на хорах ее, поддерживаемых колоннами, поставлен был орган. Промежутки между колоннами вели в обширную галерею, которая с обеих сторон оканчивалась овальными углублениями и могла вместить до 5000 человек. На левом конце устроена была обитая зеленым сукном эстрада, с диваном и стульями для императорской фамилии и ее свиты. Такое же возвышение на правом конце галереи было занято хором певчих и оркестром роговой музыки из 300 человек. Вдоль обеих окраин галереи шли две колоннады с расположенными попарно колоннами. Задняя колоннада отделяла галерею от зимнего сада, — громадного здания, в котором для большего эффекта освещения расставлены были колоссальные зеркала, обитые зеленью и цветами. В этом саду, против середины или выхода галереи, устроен был небольшой открытый храм с жертвенником, на котором высилась статуя Екатерины II из белого мрамора, в античной мантии. В саду рассеяны были небольшие пригорки, густо обсаженные лимонными, померанцевыми и т. п. деревьями с поделанными из стекла плодами, внутри освещенными наподобие разноцветных фонарей. В глубине сада, перед оранжереєю, красовался сделанный из зеркал, убранный зеленью и цветами грот, а перед ним стояла хрустальная пирамида с вензелем Екатерины II. Зимний сад окружен был другим, обширным и роскошным садом в английском вкусе с речкой и водопроводом, с мостиками и статуями; этот сад был также великолепно освещен, а воды в нем украшены гондолами.

Внутри дома, по обе стороны галереи, находились комнаты, назначенные для маскарада. Они разделялись на две половины; в одну вход был от царского дивана, в другую — от оркестра, между колоннами. Половина, начинавшаяся от дивана, приготовлена была для приема императорского семейства; эти покои блистали картинами, коврами, великолепными обоями и разными прихотливыми украшениями, в числе которых особенное

внимание обращал на себя золотой слон, носивший на спине великолепные часы и во время игры курантов шевеливший глазами, ушами и хвостом: он был куплен у герцогини Кингстон, так же как и многие находившиеся тут картины и часть мебели. По поводу роскошного убранства этих комнат Державин замечает: «Казалось, что все богатство Азии и Европы сокуплено там было к украшению храма торжеств великой Екатерины». Здесь императрица и великая княгиня Мария Федоровна провели часть вечера за картами.

Но самое лучшее украшение праздника составляли две кадрили, которые, при самом вступлении государыни в галерею, вышли навстречу ей из зимнего сада промежду колонн. В ту же минуту воздух огласила знаменитая песня Державина:

Гром победы раздавайся! —

первый стих которой, по замечанию Жуковского (присутствовавшего мальчиком на этом вечере), служил выражением всего века Екатерины. Вот как сама императрица, на другой день после праздника, описала эту часть его: «Мы увидели две кадрили, розового и небесно-голубого цвета; в первой был Александр Павлович, во второй Константин. Каждая кадрили состояла из 24-х пар; все это была самая красивая петербургская молодежь обоего пола, и все было покрыто, с ног до головы, всеми драгоценными камнями столы и ее предместий. Кадрили чудесно исполнили свои разнохарактерные танцы; нельзя представить себе ничего прекраснее, блистательнее и разнообразнее. Это продолжалось около трех четвертей часа». Прибавим, что одну кадрили вел принц Александр Виртембергский (брат великой княгини) с фрейлиною Протасовою; а за ними следовал Александр Павлович со старшею Салтыковою. Впереди другой кадрили шел офицер конной гвардии князь Голицын с графинею Брюс; а за ними — Константин Павлович со старшею Голицыною. Кадрили устраивал знаменитый балетмейстер Пик; когда они кончили свое дело, он протанцевал соло.

После танцев хозяин повел императрицу и все собрание в залу, устроенную для спектакля: там увидели сперва балет, а потом комедию Мармонтеля «Le Marchand de Smyrne». Когда Екатерина возвратилась в покинутые перед тем покои, то, ослепленная светом ста тысяч огней, она спросила: «Неужели мы там, где прежде были?» Между тем она посетила и зимний сад во время происходившего за ним фейерверка. Около полуночи начался ужин, накрытый в театральной зале и в амфитеатре, что, по словам государыни, производило восхитительный эффект. Потемкин стоял за креслами императрицы, пока она не приказала ему сесть. «Еще после ужина, — говорит императрица, — в передней зале была вокальная и инструментальная музыка, после которой я уехала в два часа утра. Вот, — прибавляет она, — как среди шума войны и угроз диктаторов ведут себя в Петербурге». В продолжение всего вечера, по временам пелись

хоры, сочиненные Державиным. По окончании последнего из них «хозяин, — как рассказывает поэт, — с благоговением пал на колени перед своею самодержицею и облобызал ее руку, принося усерднейшую благодарность за посещение».

В приготовлениях к этому небывалому празднику участвовал, следовательно, и Державин сочинением «хоров», которые, как кажется, были заранее напечатаны и раздавались гостям на самом вечере. Довольный хорами, Потемкин через несколько дней после 28-го февраля пригласил к себе Державина обедать и поручил ему составить описание праздника. Но этим трудом поэту не удалось удовлетворить ожиданиям вельможи. Почему, будет объяснено ниже; а теперь посмотрим, что представляла вообще поэзия Державина в отношении к Потемкину.

Еще Белинский заметил: «Судя по могуществу Потемкина, можно бы предположить, что большая часть стихотворений Державина посвящена его прославлению; но Державин при жизни Потемкина очень мало писал в честь его». В первый раз он является у нашего поэта в шуточных намеках оды «Фелица» рядом с другими вельможами, которых Державин как будто критикует, чтобы ярче выставить достоинства своей героини. Восхвалив ее разум и трудолюбие, он прямо переходит к привычкам неги и мечтательным планам главного из сотрудников ее. Он боялся, что Потемкин оскорбится слишком смело набросанными штрихами своего портрета; но вышло напротив, и в записках своих поэт не забыл отметить благодушие, с каким первенствующий сановник Екатерины встретил его шуточки на свой счет.

Целиком посвящена ему ода «Решемыслу», написанная для «Собеседника» по настоятельным просьбам издательницы. Здесь поэт заявляет, что в Решемысле он хотел изобразить идеал вельможи, и в заключение, обращаясь к Музе, говорит:

Ты Решемысловым лицом
Вельможей должность представляешь:
Конечно; ты своим пером
Хвалить достоинства лишь знаешь.

Последними двумя стихами Державин как бы отклоняет от себя подозрение в лести, напоминая, что только истинные заслуги могут вдохновлять его. Действительно, если внимательно рассмотреть, кого пел Державин, то нельзя не согласиться, что почти все имена, которые возвеличивала его лира, сохранили свою славу навсегда, что его похвалы современникам по большей части скреплены историей. Алексей Орлов, Румянцев, Суворов, Потемкин, Дашкова, Лев Нарышкин, А. С. Строганов, Кутузов Смоленский, Львов, Капнист, Храповицкий, — вот те лица, с которыми мы чаще всего встречаемся в его стихах, и все эти лица являются у него с общепризнанными за ними отличительными чертами их духовной физиономии. Правда, он по своим личным отношениям посвятил несколько куплетов и Плато-

ну Зубову, но в них мы вовсе не находим похвал высшим достоинствам, каких у этого фаворита не было. Ода, которую Державин приветствовал императора Павла, написана в первые дни его царствования, когда качества, до тех пор обнаруженные новым монархом, внушали всем самые отрадные надежды. В большей части последующих од, где о нем упоминается, похвалы перемешаны с наставлениями, намекающими на некоторые его недостатки.

Из всех стихов Державина, прославляющих Потемкина, наименее удачною была ода «Победителю», о которой мы недавно говорили. По возвращении в Петербург Державин 24-го августа 1789 г. был на празднике, данном И. И. Шуваловым на даче (по петергофской дороге). Здесь в числе гостей была Марья Львовна Нарышкина, вторая дочь обер-штабмейстера (впоследствии княгиня Любомирская), в которую был влюблен Потемкин. Во время своего трехмесячного пребывания в Петербурге, в означенном году, он почти нигде не показывался, но посещал очень усердно дом Льва Александровича. Он бывал у него каждый вечер, и в городе все были уверены, что он женится на Марье Львовне. По свидетельству Сегюра, он очень настойчиво и страстно ухаживал за Марией Львовной и, не обращая внимания на множество присутствовавших, был как бы наедине с нею. Поэт, плененный на помянутом празднике ее пением и игрою на арфе, написал к ней стансы; называя ее Евтерпой, он с похвалами ее таланту связывает воспоминание о Потемкине, в котором видит сочетание сына неги и полководца:

С сыном неги Марс заспорит
 О любви твоей к себе;
 Сына неги он поборет
 И понравится тебе.
 Качества твои любезны
 Всей душою люблю,
 Опершись на щит железный,
 Он воздремлет близ тебя.

Около двух лет спустя, в 1791 году, Потемкин снова приехал в Петербург. В это пятимесячное и последнее пребывание свое в столице он превзошел самого себя в расточительности и роскоши, в легкомысленной спеси и праздной лени. Он жил с такою пышностью, какой не позволял себе ни один из европейских дворов, и являлся в публике не иначе, как окруженный множеством генералов и пленных пашей. При встрече с ним народ почтительно кланялся. Но вся эта пышность была ничто перед великолепием праздника, данного им императрице. Историком этого праздника он избрал Державина. Исполнив его поручение, поэт в конце мая или начале июня отвез свою рукопись Потемкину, жившему тогда в Летнем дворце (деревянном, бывшем на месте построенного при императоре Павле Михайловского замка). Вельможа в знак благодарности пригласил его отобедать с

собою в тот же день. Но пока Державин сидел в его канцелярии, дожидаясь, не будет ли еще какого приказа, князь, прочитав описание, остался им очень недоволен, с гневом вышел из своей спальни и, несмотря на ненастную погоду, куда-то уехал. «Все пришли в смятение, — говорит Державин, — столы разобрали — и обед исчез». Такое неудовольствие он объясняет тем, что в описании его не было особенных похвал учредителю праздника, и он был поставлен наравне с Румянцевым и Орловым, тут же упоминаемыми. Может быть, это предположение было отчасти справедливо; но, кажется, неприятное впечатление происходило более от других причин: во-первых, описание хотя и отвечало блестящими картинами великолепию зрелища, было витиевато-напыщенно; во-вторых, Потемкин являлся в нем каким-то смешным селадонном; например, в стихах:

Нежный, нежный воздыхатель,

позднее напечатанных под заглавием «Анакреон в собрании», выставлялись «любовные искания» Потемкина во время праздника. Уже Дмитриев поражен был в этом описании шутливою, хотя и довольно верною характеристикой вельможи, и ей-то приписывал он неудовольствие, с которым оно было принято последним. В стихах:

Он мечет молнию и громы...

не забыта привычка Потемкина вертеть («чистить», как выразился поэт) пальцами брильянты, и тут же говорится о нем:

То крылья вдруг берет орлины,
Парит к Луне и смотрит вдаль;
То рядит щеголей в ботины
Любезных дам в прелестну шаль.
И если б он имел злодеев,
Согласны б были все они,
Что видят образ в нем Протеев,
Который жил в златые дни.

К числу неловкостей принадлежит также то, что, говоря об изображении на стенах Амана и Мардохея, Державин, в обращении последнего к Эсфири, как будто намекает на положение Потемкина перед Зубовым:

И если я не мил того вельможи оку...

Впрочем, стихи в описании праздника вообще гораздо выше прозы, и некоторые из вошедших сюда пьес причисляются к лучшим произведениям Державина. Особенною картинностью отличается изображение самого пира, начинающееся известными стихами:

Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по ним и золото, и серебро...

«Казалось, — говорит поэт, — вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей великой владычицы...»

Огорченный своею неудачею, Державин рассказал о ней Зубову, а в следующее воскресенье снова отправился на поклон к Потемкину, только что переехавшему в Таврический дом. Князь принял его холодно, но не выразил неудовольствия. В это время он уже готовился к отъезду в армию; императрица давно желала побудить его к тому, но он медлил, боясь удалением своим довершить торжество своего соперника; наконец, по современному свидетельству, Екатерина лично выразила ему свою положительную волю. Снарядясь в путь, Потемкин перебрался сперва в Царское Село. Державин поехал туда проститься с ним. Попов спрашивал поэта, чего он желает, уверял, что Потемкин все для него сделает, но Державин, помня совет Зубова, ничего не просил. Перед своим отъездом князь «позвал его к себе в спальню, посадил наедине с собою на софу и, уверив в своем к нему благорасположении, простился с ним». 24-го июля он отправился «по белорусской дороге», конечно, не думая, что расстанется со своею государынею и Петербургом навеки.

Но на берегах Прута его ожидала смерть. Весть о его кончине внушила Державину одно из самых оригинальных и величественных по замыслу, смелых по исполнению произведений его. Если бы он не написал ничего другого, «Водопад» спас бы его имя от забвения. С лихвой заплатил он долг благодарности своему покровителю, воздвигнув этот поэтический памятник на могиле его в то время, когда многие без стыда поносили память павшего кумира. «Водопад» есть блестящая апофеоза всего, что было в духе и делах Потемкина действительно достойного жить в потомстве. Только даровитый поэт мог так понять и начертить этот исполинский исторический образ России 18-го века. Воображению поэта представляется в облаках оссиановская тень, и он спрашивает:

Но кто там идет по холмам,
Глядясь, как месяц, в воды черны?..

Характеризуя Потемкина в ответах своих, он, между прочим, говорит:

Не ты ль, который взвесить смел
Мощь Росса, дух Екатерины,
И, опершись на них, хотел
Вознесть твой гром на те стремнины,
На коих древний Рим стоял
И всей вселенной колебал?..

Се ты, отважнейший из смертных
Парящий замыслами ум!
Не шел ты средь путей известных,
Но проложил их сам...

Вот одна из самых типических черт изображения. Белинский заметил, что «Водопад» — столько же благородный, как и поэтический подвиг. Но никто не определил так оригинально и метко отличительного характера этой оды, как Гоголь, сказав: «В «Водопаде», кажется, целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. Здесь перед Державиным пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нам зримой природы, люди могучее нам знакомых людей, а наша обыкновенная жизнь, перед величественною жизнью там изображенною, точно муравейник, который где-то далеко колыхнется внизу».

7. Знакомство с Дмитриевым и Карамзиным

Державин, оправданный сенатом, отличаемый вниманием самых влиятельных вельмож и озаренный блеском литературной славы как первый русский поэт своего времени, не мог не внушать особенного уважения тогдашним молодым писателям. Вскоре после его переселения в Петербург с ним сблизилась двое литераторов, только что начинавших поприще, на котором вскоре и они должны были приобрести громкую известность. Мы видели, что Дмитриев уже в «Читалагайских одах» и первых стихотворениях Державина, появившихся без подписи в «С.-Петербургском вестнике», узнал ех ungue леопед и с тех пор высоко ценил талантливого лирика. В своих записках он сам рассказывает нам ход своего знакомства с Державиным. «Кроме «Фелицы», — говорит он, — долго я не знал об имени автора упомянутых стихотворений. Хотя сам писал и худо, но по какому-то чутью находил в них более силы, живописи, более, так сказать, свежести, самобытности, нежели в стихах известных мне современных наших поэтов. К удивлению, должно заметить, что ни в обществе, ни даже в журналах того времени не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. Малое только число словесников — друзей Державина — чувствовали всю их цену. Известность его началась не прежде, как после первой оды к Фелице. Наконец я узнал об имени прельстившего меня поэта; узнал и самого его лично, но только глядявал на него издали во дворце с чувством удовольствия и глубокого уважения. Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним и в знакомство». Затем Дмитриев объясняет и повод к этому знакомству, и хотя в точности не определяет времени рассказываемых им обстоятельств, но из его слов можно заключить, что это было в первые месяцы 1790 года. Во вторую шведскую кампанию (следовательно, летом 1789) Дмитриев ездил на границу

Финляндии, т. е. в окрестности Фридрихсгама или Нейшлота, для свидания со старшим братом своим, Александром Ивановичем, который служил в армейской пехоте. «В продолжение дороги, — говорит он, — я вел поденную записку; описывая в ней, между прочим, красивое местоположение, употребил я обращение в стихах к Державину и назвал его единственным у нас живописцем природы. По возвращении моем знакомец мой, Павел Юрьевич Львов, переписал эти стихи для себя и показал их поэту. Он захотел узнать меня, несколько раз говорил о том Львову, но я совестился представиться знаменитому певцу в лице мелкого и еще никем не признанного стихотворца, долго не мог решиться и все откладывал. Наконец, одним утром знакомец мой прислал собственноручную к нему записку Державина. Он еще напоминал Львову о желании его сойтись со мною. Эта записка победила мою застенчивость. Итак, в сопровождении Львова отправился я к поэту, с которым желал и робел познакомиться. Мы застали хозяина и хозяйку в авторском кабинете: в колпаке и в атласном голубом халате, он что-то писал на высоком налое; а она, в утреннем белом платье, сидела в креслах посреди комнаты, и парикмахер завивал ей волосы. Добросердечный вид и приветливость обоих с первых слов ободрили меня. Поговорив несколько минут о словесности, о войне и пр., я хотел, соблюдая приличие, откланяться, но оба они стали унимать меня к обеду. После кофья я опять поднялся, и еще упрощен был до чая. Таким образом, с первого посещения я просидел у них весь день, а чрез две недели уже сделался коротким знакомцем в доме. И с того времени редко проходил день, чтоб я не виделся с этой любезной и незабвенной четой».

Державину было в то время 47 лет, а Дмитриеву только 29, и последний всегда сознавал важность этого знакомства для своего литературного развития. «Со входом в дом Державина, — говорит он, — как будто мне открылся путь и к Парнасу. Дотоле будучи знаком только с двумя стихотворцами, Е. И. Костровым и Д. И. Хвостовым, я увидел в обществе Державина вдруг несколько поэтов и прозаистов: Ип. Ф. Богдановича, И. С. Захарова, Н. А. и Ф. П. Львовых, А. Н. Оленина». В его же доме Дмитриев встретился и с Фонвизиным, в первый и последний раз, за несколько часов до его смерти. Львовы, Оленин и Вельяминов, по словам Дмитриева, составляли почти ежедневное общество Державина. «У него же, — продолжает Дмитриев, — познакомился я с В. В. Капнистом. Он по несколько месяцев проживал в Петербурге, приезжая из Малороссии, и веселым остроумием, вопреки меланхолическому тону стихов своих, оживлял нашу беседу. Но я еще более находил удовольствия быть одному с хозяином и хозяйкою». Затем Дмитриев с большою любовью передает черты из жизни обоих супругов (мы в предыдущих рассказах уже воспользовались некоторыми из его воспоминаний) и в заключение восклицает: «Почитатели Державина! я не в силах был говорить вам об его гении: по крайней мере в двух или трех чертах показал его сердце».

Во всю жизнь, несмотря на случавшиеся между ними позднее недоразумения, Дмитриев не переставал питать к нашему лирику глубокое уважение. Так, получив известие о смерти Державина, он писал к А. И. Тургеневу: «Он был гений, благонамеренный гражданин и некогда любил меня». В конце своих записок Дмитриев, вспоминая последнюю встречу с ним, говорит: «Я всегда был искренним почитателем высокого поэтического таланта и душевных качеств его. Уверен, что и он любил меня, особенно в первые годы нашего знакомства. В продолжение же моего министерства (1810-1814), хотя он по временам и досадовал на меня; может быть, считал даже и непризнательным, ибо я не всегда мог исполнять его требования об определении к месту или по тяжёлым делам тех или других; но это нимало не ослабляло нашего внимания друг к другу». Рассказы-вают, что когда Дмитриев был министром юстиции, то Державин просил его за кого-то. Ходатайства этого, по закону, невозможно было удовлетворить. По окончании дела Дмитриев стал объяснять Державину, почему оно решено так, а не иначе, а тот, всплыв, отвечал только: «Ну что говорить, Иван Иванович! покривил душой, покривил душой!» Произошла размолвка, и друзья несколько времени не видались, но вскоре все было забыто. Отношения между обоими писателями были самые короткие. По праву старшинства, Державин некогда говорил своему собрату «ты» и иногда в шутку называл его «косой заяц». Известно, как часто Державин, доверяя вкусу его, поправлял свои стихи по указаниям Дмитриева, который поэтому и говорит, что Гаврила Романович «снисходительно выслушивал советы и замечания и охотно принимался за переделку стиха». Также известно, что в правильности языка и внешней отделке поэтического выражения молодые друзья Державина далеко превосходили его.

Нельзя, однако, умолчать, что Дмитриев в своих отзывах о Державине является гораздо в лучшем свете, нежели последний, который в записках своих вообще равнодушно упоминает о Дмитриеве и однажды, как будет видно ниже, позволяет себе даже неблагоприятный отзыв о деятельности его как министра, именно обвиняет его в небрежном отношении к консультациям. Надо вспомнить, что записки Державина писались именно в то время, когда Дмитриев был министром.

Когда Карамзин, возвращаясь из своего заграничного путешествия, три недели оставался в Петербурге (в сентябре 1790 года), то Дмитриев ввел и его в дом Державина. Поэт пригласил приезжего писателя к обеду. За столом Карамзин сидел возле любезной и прекрасной хозяйки. Между прочим речь зашла о французской революции; Карамзин, недавно бывший свидетелем некоторых явлений ее, отзывался о ней довольно снисходительно. Во время этого разговора Катерина Яковлевна несколько раз толкала ногою своего соседа, который, однако, никак не мог догадаться, что бы это значило. После обеда, отведя его в сторону,

она ему объяснила, что хотела предостеречь его, так как тут же сидел П. И. Новосильцев, петербургский вице-губернатор (некогда сослуживец Державина): жена его, рожденная Торсукова, была племянницей М. С. Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника могли в тот же день дойти до сведения императрицы.

Карамзин, в это время приближавшийся к 25-тилетнему возрасту, ехал в Москву с обширными планами будущей деятельности на пользу молодой русской литературы. Для него это новое знакомство было чрезвычайно кстати. Возвратясь к себе, он предпринял издание «Московского журнала» и в объявлении, напечатанном в «Московских ведомостях» 6-го ноября 1790 года, между прочим так выразился: «Первый наш поэт — нужно ли именовать его? — обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей Музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни». Через несколько дней, 12-го ноября, Карамзин писал к Державину: «В бытность мою в Петербурге был я столько обязан вашей ласкою, что всегда буду почитать себя должником вашим. Я вас сердечно почитаю и всегда почитать буду вместе со всеми теми, которые вас знают и которые умеют чувствовать достоинства. — Через Ивана Ивановича Дмитриева получил я окончание «Видения мурзы», за которое вас покорнейше благодарю. Могу ли сию в своем роде прекрасную пьесу напечатать в январе или в феврале месяце? Мне очень хочется, чтобы вы отвечали — да. Хотя и не много, однако есть у нас люди со вкусом, — люди, знающие, что такое поэзия, знающие, что мурза есть истинный поэт. Я приступаю к исполнению своего намерения, вам известного, и с января начну издавать журнал, который по крайней мере хотя тем будет приличия достоин, что в нем поместятся сочинения певца Фелицы. При сем прилагаю публикованное мною объявление. Нельзя ли показать его в Петербурге вашим знакомым, любящим литературу? Вы бы потрудились сообщить мне имена охотников с их адресом. За верность пересылки журнала ручаюсь. В первых числах января могу прислать в Петербург первую книжку. Весь год с пересылкою будет стоить семь рублей. Но я боюсь вас беспокоить. Только прошу вас не позабыть меня и впредь присылать мне, что вдохнет в дух ваш Муза. Когда вы окончаете оду «Коварство», то вспомните, что для нее бережется место в моем журнале. Не оставьте меня в сиротстве. Я бы осмелился спросить вас, навсегда ли вы думаете остаться в Петербурге или нет? Прошу засвидетельствовать мое почтение милостивой государыне Екатерине Яковлевне».

Ответ Державина на эти приветливые строки не сохранился (известно, что Карамзин уничтожал все письма, которые получал), но о содержании его можно судить по следующему, второму письму издателя «Московского журнала» от 16-го декабря: «Некоторые, пишете вы, недовольны тем, что я в своем объявлении превознес похвалами певца Фелицы. Я сих господ не по-

нимаю. Разве певец Фелицы не достоин похвалы? или разве я слишком похвалил его? Правда, можно слишком похвалить и Гомера, и Оссиана, и Шекспира, и Клопштока; но в чем же состояла излишняя похвала моя? Я сказал только: *кто не знает певца мудрой Фелицы?* Правда, в сем вопросе есть похвала; я полагаю, что сей певец известен всем, читающим русские стихи; но кому же из сих людей он в самом деле неизвестен? Где тут излишняя похвала? И не так еще можно похвалить мурзу, не сказав никакой неправды. — Мне сделают много чести, если и по выходе первой книжки моего журнала скажут, что вы его издаете. Между тем, конечно, нельзя вам собирать субскрипентов, когда так говорят. — Вы меня чувствительно одолжите, прислав мне оду «Коварство». Можно ли будет ее напечатать или нет, одолжение ваше останется в равной цене. Журнал мой уже печатается. В сей первой книжке помещено «Видение мурзы». Пожалуйте, не оставляйте меня и впредь. М. М. Херасков хочет писать для моего журнала и стихами, и прозою. Я надеюсь на вас — надеюсь на вашу ко мне благосклонность и на вашу любовь к литературе. — Как скоро первая книжка будет отпечатана, тотчас ее к вам доставлю. Я осмелился не взять денег у г. офицера, который отдал мне ваше письмо и хотел заплатить за ваш экземпляр журнала. Позвольте мне иметь удовольствие доставлять его вам без семи рублей. Прошу вас уверить милостивую государыню Екатерину Яковлевну в моем почтении к ее достоинствам».

Из этого письма ясно, что похвалы Державину, высказанные Карамзиным в объявлении о новом журнале, подали повод к неблагоприятным для нашего поэта сплетням. Что значит, стали толковать завистники, что какой-то неизвестный журналист ставит его выше всех русских стихотворцев? Стало быть, настоящим издателем будет Державин: его именем хотят заманить подписчиков!

Начавшиеся таким образом дружеские отношения между обоими писателями никогда уже не изменялись. Державин сделался одним из усерднейших вкладчиков «Московского журнала»: редкая книжка выходила без его стихов. Ода «Коварство», которою так интересовался Карамзин и начало которой он, очевидно, слышал в доме поэта, была окончена только по прекращении «Московского журнала». Причиною заявляемого в переписке сомнения в возможности напечатать ее были высказанные в ней намеки на высокопоставленных врагов Державина и на безвинно испытанные им от них гонения. Но в этом журнале впервые увидели свет многие из наиболее известных произведений его, напр.: «Песнь дому, любящему науки» (гр. Строганову), «На смерть графини Румянцевой», «Величество Божие», «Памятники герою» (кн. Репнину), «Прогулка в Царском Селе» (пьеса, посвященная Карамзину). К некоторым из этих стихотворений мы еще возвратимся. Карамзин навсегда остался почитателем Державина. В похвальном слове Екатерине II (1801 г.)

он так охарактеризовал славного лирика: «Державин в русских стихах оживил Горация и представил новые, сильные черты поэтической живописи».

Как дорожил наш будущий историограф приятнью Державиных, видно из его переписки с Дмитриевым, в которой он часто упоминает о них с особенным уважением и благодарностью. В конце 1791 или в начале 1792 года друг его Петров отправился в Петербург советоваться с врачами и, разумеется, был радушно принят в доме поэта.

14-го июня 1792 г. Карамзин писал к Дмитриеву: «Я очень рад, что ты в Державиных, по-видимому, не нашел перемены, и что они по-прежнему любят своих приятелей. Что принадлежит до Петрова, то мне кажется, что они еще не знают его, — кажется, что и ты вместе с ними его не знаешь... Наивного ответа его (на зов Державиных) «я привык дома обедать» не должно принимать за грубость — он напоминает ответы Руссо». Через месяц читаем опять в тех же письмах: «Я нимало не сердился на тебя за то, что ты писал ко мне об Александре Андреевиче (Петрове). Напротив того, еще благодарю тебя, потому что мне очень хотелось знать, как думают об нем Г. Р. и К. Я. (Державины)... Сколь ни люблю А. А., однако соглашусь, что он может показаться странным тому, кто нехорошо знает его — и особливо женщине, даже самой любезной и самой почтенной, например, Катерине Яковлевне. И вперед, мой милый друг, прошу тебя писать ко мне о их расположении к моему любезному нелюдиму».

Карамзин надеялся украсить свой журнал, между прочим, «Водопадом». Ход сочинения этой оды очень занимал обоих друзей-литераторов. В июне Карамзин писал Дмитриеву: «Дай мне идею о «Водопаде» Державина и скажи ему, что я дожидаюсь его с нетерпением — разумеется, если это будет кстати сказать»; потом, 18-го июня, он так рассуждал о некоторых местах оды: «Мысль привести к водопаду зверей кажется мне пиитической; в рассуждении солдата и П**... не скажу ничего — надобно прочесть стихи. Положение умершего, думаю, хорошо и трогательно описано. Полушек не понимаю. Когда пьеса будет окончена, нельзя ли достать ее для прочтения». Однако ода не была кончена во все время издания «Московского журнала»; она была дописана только в 1794 году, а напечатана не прежде 1798-го, в собрании сочинений поэта, которое издавалось в Москве под наблюдением Карамзина. До тех пор эта знаменитая ода, по свидетельству Болотова в 1795 году, «носилась в народе» рукописною.

Осенью 1795 г. Карамзин, собираясь издать к новому году первый русский альманах (по образцу французского *Almanach des Muses*), пригласил и Державина, через посредство Дмитриева, принять в нем участие. Действительно, в книжке «Аонид», вышедшей в 1796 году, мы находим четыре пьесы Державина, а в следующих двух частях этого издания еще более стихотворений его.

8. Поправление обстоятельств. Приближение к императрице

От хлопот и неприятностей по тамбовскому губернаторству оставалась еще одна статья, тяжко отзывавшаяся на экономическом положении Державина. Это было запрещение, которому подвергнуто его именье по взысканию, наложенному на него за убытки, причиненные казне неисправною доставкой хлеба в петербургские запасные магазины. Сенат определил купить хлеб на счет Державина. От последствий этого приговора он спасся только тем, что упросил сенатского секретаря прибавить в заключение слова «и крепивших с ним определение в наместническом правлении». Этим часть взыскания обращалась на советника Савостьянова, который, разумеется, употребил все усилия, чтобы деньги окончательно уплатил сам поставщик. О неудовольствии, возбужденном этим решением в Тамбове, можно судить по письмам преданного Державину советника Филонова. Из них же мы узнаем, что вообще делалось там после Державина. Преемник его в должности губернатора, генерал-поручик Зверев, был человек слабый и болезненный, лишившийся на губернаторстве одного глаза, и очутился совершенно в руках Ушакова и Савостьянова. После того, как состоялось помянутое определение сената, Филонов писал: «О разрешении имения вашего по провианту еще все ничего не сделано; я уже раз со сто говорил, но все откладывают день от дня. Савостьянов уверил, что он в Петербурге все это дело переделает и что будет просить на вас государыню и где б то не было: хоша во дворце, при всех министрах, не устыдится и не убоится всем говорить; ибо, дескать, и его там не меньше знают у двора, как и вас; а начальник наш говорит так: «пожалуй, защити и меня», и так в сем дурачестве уверен, что ни самим Христом уже теперь не уверишь, чтоб Савостьянов при дворе был не в силах все по-своему переделывать».

Наконец деньги внесены были подрядчиками, и Державин вздохнул свободно. Вскоре обстоятельства его так поправились, что он купил себе дом в Петербурге, тот самый, о котором говорится в оде ко второму соседу (Гарновскому) и где поэт с тех пор постоянно жил, — на Фонтанке, близ Измайловского моста. Он был куплен у Захарова, и тогда же приступили к перестройке его. «Катерина Яковлевна, — писал Державин Капнисту 7-го августа 1791 года, — в превеликих хлопотах о строении дома, который мы купили». По переезде в Петербург наша чета стала думать и о приобретении не слишком далеко от столицы имения для летнего житья. Речь шла о покупке какой-то «деревеньки» близ Черенчиц Львова, в Тверской губернии; Катерина Яковлевна, приглашая и Капнистов переселиться туда же, мечтала, как друзья будут вместе проводить время. «Что, кабы и вы также? — писала она. — Вы бы иногда, поэты, и поссорились, и поми-

рились; ведь это у вас чистилище ваше в прежние времена бывало, и я уверена, что будут у вас выходить редкости в рассуждении ваших друг к другу строгостей; а мы бы, жены ваши, другого рода редкости делали, украшали бы жилища ваши своими трудами, забавляли бы вас, а иногда и разнимали, когда далеко споры ваши зайдут». Однако эти мечты не осуществились; впоследствии вторая жена Державина приобрела Званку.

После отъезда Потемкина он еще несколько месяцев оставался в прежнем неопределенном положении. Зубов обращал на него мало внимания, хотя иногда и давал ему особые работы. Так он должен был изложить свои соображения о том, как бы без отягощения народа увеличить государственные доходы, предмет, по которому и позднее, в 1794 году, было истребовано мнение Державина, как видно из составленной им об этом записки. Мнение, поданное им Зубову, не сохранилось; мы знаем только из собственных слов его, что он предлагал учредить какой-то патриотический банк для выдачи ссуд под залог дворянских имений.

Наконец на Державина возложено было поручение, в котором он мог видеть явный знак доверия государыни. Во второй половине августа на имя его дан был рескрипт с повелением рассмотреть претензию, предъявленную русским поверенным в делах во Флоренции графом Мочениго на придворного банкира Сутерланда. Характер деятельности этого последнего нам уже достаточно известен; скажем теперь несколько слов о Мочениго. Он принадлежал к знаменитому венецианскому роду, давшему республике целый ряд дождей, именно к той отрасли его, которая, переселившись в Морею, присоединилась к Восточной церкви. По матери своей граф Дмитрий Мочениго сделался богатым землевладельцем на острове Занте, где и имел постоянное местопребывание. Побуждаемый сочувствием к единоверной России, он, во время войны ее с Турцией, имел случай спасти наш фрегат от крушения: из благодарности граф А. Г. Орлов пригласил его в русскую службу и прислал ему патент на чин подполковника. С тех пор Мочениго сделался усердным исполнителем поручений наших адмиралов: снабжал флот продовольствием и лоцманами, доставлял описания и карты местностей, ставил даже вооруженных солдат. Между прочим он, по желанию гр. Орлова, принимал под свое покровительство тех несчастных морейцев, которые, спасаясь от турецкого мщения, искали убежища в Занте. Тогда-то он подал первую мысль о том, чтобы брать детей у этих несчастных и отсылать их в Россию на воспитание, что послужило поводом к учреждению известного «греческого корпуса». Но венецианское правительство давно с неудовольствием смотрело на такую деятельность своего подданного, и под тем предлогом, что он ссорит республику с Портою, гр. Мочениго был схвачен в своем доме, несмотря на протест местных жителей, отвезен на о. Корфу и там посажен в темницу. Однако благодаря заступничеству русских властей заточение его было непродолжительно. По окончании войны Мочениго обра-

тился к нашему правительству с просьбой о вознаграждении его за понесенные убытки и о доставлении ему дипломатического поста в Тоскане. Вследствие этого-то и был он назначен в 1782 г. нашим поверенным в делах во Флоренции. В последующие годы Сутерланд для поправления своих запутывавшихся дел прибегнул к торговым оборотам и, получая между прочим от Мочениго товары из Италии, употреблял вырученные с них деньги на свои спекуляции. Через несколько лет Мочениго, потерпев от этого убытков на 120.000 р., просил петербургские коллегии помочь ему во взыскании их, но, не получив никакого удовлетворения, обратился, наконец, к императрице с просьбою поручить рассмотрение дела Державину. Употребив несколько месяцев на справки, он лично докладывал государыне о собранных им сведениях, и хотя ясно было, что Мочениго прав, но так как на стороне Сутерланда были все имевшие в нем надобность, то доклады Державина и оставались без всякого результата: императрица несколько раз отсылала его в нерешимости. Между тем 12-го октября пришло известие о смерти Потемкина. Для окончания начатых с Портою мирных переговоров Безбородко, по выраженному им самим желанию, был отправлен в Яссы, а лежавшие на его обязанности доклады переданы П. А. Зубову. Два месяца спустя, 13-го декабря 1791 года, последовал указ сенату: «Всемиловитейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений». При этом назначении императрица, между прочим, имела в виду поручить своему новому секретарю просмотр сенатских меморий. Однажды Зубов спросил его, можно ли по каким-нибудь подозрениям переносить нерешенные дела из одной губернии в другую. Державин объяснил, что это противно закону. Как после оказалось, поводом к вопросу Зубова было недовольствие императрицы, когда она из сенатской мемории узнала, что такой перенос дел производился по 2-му департаменту, где Колокольцев был обер-прокурором. Колокольцев исправлял тогда должность генерал-прокурора, заменяя разбитого параличом князя Вяземского, и при докладе должен был вынести гнев государыни за допущение подобного беспорядка в ведении дел. Очевидно, что Екатерина II, во все свое царствование стремившаяся к ограничению власти сената, хотела теперь воспользоваться обстоятельствами для подчинения его ближайшему своему контролю. Только что Державин вступил в должность, императрица поспешила передать ему рапорт Колокольцева (как обер-прокурора) с выпискою из переведенных в другие губернии дел, а в следующий раз, выслушав его соображения, повелела написать указ сенату с выговором за отступление от закона. Державин, желая дать государыне время обдумать это распоряжение, просил ее предварительно передать в совет составленную им записку. По одобрении советом этой записки он должен был написать уже не только проект выговора сенату, но еще и другой указ, которым по этому делу требовались объяснения от князя Вяземского, от Колокольцева и двух обер-секретарей. По-

лученные от них ответы были опять препровождены в совет, который при возвращении их поверг все дело на милостивое воззрение императрицы. Указ с выговором сенату был подписан; но между тем прошло много времени; гнев государыни успел поостыть, с приездом Безбородки многое в положении дел изменилось, и указ предан забвению. Тем не менее по случаю болезни князя Вяземского Державину было приказано на все сенатские мемории делать свои замечания и обо всем, что он найдет в них не согласным с законами, докладывать императрице.

9. Кабинетский секретарь

Итак, Державин сделался близок к престолу. Назначение его было, конечно, в связи с новыми обязанностями, возложенными на Зубова по отъезде Безбородки в Яссы. Екатерина хотела доставить своему любимцу надежного помощника в человеке, знавшем законы и строгом в соблюдении их, и выбор ее пал на Державина, который смелым противоборством всякой неправде приобрел почетную известность. Это возвышение не обошлось для него без обыкновенных последствий: с одной стороны, приходя его стала наполняться искателями мест и просителями всякого рода; с другой, против него зашевелились зависть и недоброжелательство. Через несколько дней после его назначения императрица спросила у него, каким образом в иностранных газетах явился слух, будто она во власть его отдала сенат. После открылось, говорит Державин, что сплетня вышла чрез служившего при дворе Торсукова, которому Храповицкий неосторожно передал слова Державина, что ему поручено рассматривать сенатские мемории.

Казалось бы, приближение к Фелице восторженного певца ее должно было сопровождаться самыми отрадными для обеих сторон впечатлениями. Вышло совсем иное: Державин не сумел угодить императрице. Он сам рассказывает, что когда он докладывал по делу Мочениго, которое еще и при назначении его к принятию прошений не было кончено, то она раз шесть отказывалась утвердить его мнение, говоря, что он «в делах еще нов». Что Екатерина действительно так смотрела на поэта, видно и из дневника Храповицкого. 2-го марта, т. е. ровно через два с половиною месяца после вступления Державина в должность, в этом дневнике записано: «Как-то не в добрый час Державин докладывал по делу графа Мочениго с банкиром Сутерландом. По наклонению его не захотели решить на основании приговора, в Пизе учиненного, и с неудовольствием Державина отпустили. Потом, тотчас призвав меня, рассказывали об обстоятельствах дела. «Как мне это решить? Пусть разбираются меж собой или помирятся. Он со всяким вздором ко мне лезет». Я отвечал, что как это дело заключается только в купеческих расчетах, то могут выбрать посредников, коммерцию знающих, и кончить расчет. Пошли к прическе волос и скоро, кликнув Державина, при

парикмахерах, со слов моих дали резолюцию. После и без него говорили: «Он так нов, что ходит с делами, до меня совсем не принадлежащими».

Однако дело Мочениго и тут еще не было решено окончательно. Через несколько времени Державин должен был опять напомнить о нем. Императрица с неудовольствием отвечала: «Ох, уж ты мне с твоим Моченигом! Ну, помири их!» Действительно, в апреле 1792 года дело наконец приведено было к положительной развязке: Мочениго рад был, что мог получить хотя одну треть причитавшейся ему с Сутерланда суммы.

Через два дня после того как записаны были приведенные строки Храповицкого, находим у него еще заметку, показывающую, как вредила поэту репутация старой тещи его: «Говорено мне еще о Державине (по случаю просьбы купца Милютина, по почте из Софии присланной, где ссылается он на просьбу, Державину поданную), что он принимает все прошения о деньгах, готов принять на миллион; это работа его тещи; она самая негодница и доходила до кнута; но так оставлено за то только, что была кормилицею великого князя. Говорено с жаром». Ежедельные доклады Державина по сенатским мемориям и частые его замечания на них скоро наскучили императрице, и она приказала ему объясняться по ним только с обер-прокурорами и правящим должностю генерал-прокурора, с тем чтобы они, ежели найдут его замечания основательными, испрашивали у сенаторов новые резолюции и исправляли ошибки; в случае же, если сенаторы останутся при своих мнениях, Державин должен был только вести записку своим замечаниям. Эта продолжалась около года. По его словам, возражения его большею частью принимались во внимание обер-прокурорами и сенаторами.

Между тем доклады его у императрицы становились все реже и реже, так что иногда он не бывал у нее по целым неделям. Сам он приписывал это тому, что через его руки проходили только дела неприятного свойства, как-то: жалобы на неправосудие, награды за заслуги и прошения о пособиях, тогда как доклады о более важных и интересных предметах относились к обязанностям других секретарей; но главною виною было очевидно то, что Державин не обладал тою ловкостью и уклончивою гибкостью, которые необходимы для успеха в придворной сфере, что он вовсе не умел не только скрывать своих мыслей, но и выражать их с приличною осторожностью. Вскоре неудовольствие государыни выразилось очень резко. Под 30-м апреля читаем у Храповицкого: «При отдаче мне бумаг для доклада граф Безбородко сказывал, что и с ним говорили о пашнях Державина. Граф внулшил, что по мемориям именных указов давать сенату нельзя». Безбородко хотел доложить императрице о предположениях Потемкина, представленных Поповым. «Давай их сюда!» — сказала она, думая найти какие-нибудь проекты, но когда увидела вместо того разные незначительные записки и в том числе ходатайство о пожаловании Державину Владимира 2-го класса, все худо очень принято и особенно о

Державине отвечали: «он должен быть мною доволен, что взят из-под суда в секретари, а орден без заслуг не дается».

Неловкость Державина обнаружилась между прочим в том, что по некоторым порученным ему делам он привозил с собою в комнаты государыни целые кипы бумаг и обременял ее чтением их. Мы уже упомянули, что он на один из первых докладов своих явился с огромною массой документов по несогласиям с Гудовичем. Особенно испытывал он терпение императрицы своими докладами по делу о бывшем иркутском генерал-губернаторе Якоби, обвиненном в возбуждении китайцев к войне с Россией. Когда Державин, употребив на рассмотрение этого дела целый год, наконец заявил, что оно готово, то в кабинет государыни «целая шеренга гайдуков и лакеев внесла превеликие кипы бумаг». Испуганная императрица с неудовольствием велела принять эти тюки и потребовала, чтобы прочитана была только самая краткая из заготовленных Державиным докладных записок. По выслушивании Екатерина, однако, усомнилась в правильности заключения, оправдывавшего Якоби, и сочла необходимым ознакомиться с делом подробно, а для этого приказала Державину являться каждый день после обеда часа на два. Во время этих чтений она, потеряв терпение, нередко отсылала его, и однажды, когда он в глухую осень приехал, несмотря на страшную погоду, велела через камердинера Тюльпина сказать ему: «Удивляюсь, как такая стужа вам гортани не захватит». Подобные рассказы, свидетельствующие о правдивости Державина и перед потомством, показывают, до какой степени он сумел сделаться при дворе неприятным своей упорной прямою. Впрочем, в записках своих он приводит и случаи другого рода, доказывающие, что императрица нередко удостаивала его особенной милости.

Державину было поручено также рассмотреть дело о злоупотреблениях придворного банкира Сутерланда. Однажды государыня опять увидела у себя на столике увязанную в салфетку кипу бумаг. Развернув ее, она в гневе приказала кликнуть Храповицкого, и когда узнала, кто принес эти бумаги, то вскрикнула: «Державин! так он меня еще хочет столько же мучить, как и якобиевским делом! Нет, я не дам ему водить себя за нос. Пусть он придет сюда!» Когда он сам явился для доклада, то императрица позвала дожидавшегося в соседней комнате Попова и, против обыкновения, велела в его присутствии докладывать Державину. «Он входит, видит государыню в чрезвычайном гневе, так что лицо пылает, скулы трясутся. Тихим, но грозным голосом говорит: «Докладывай». Державин спрашивает: по краткой или пространной записке докладывать? — «По краткой», — отвечала. Он начал читать, а она, почти не слушая, беспрестанно поглядывала на Попова. Державин, не понимая тому причины, спокойно кончил и, встав со стула, спросил, что государыня приказать изволит. Она снисходительнее прежнего сказала: «Я ничего не поняла; приходи завтра и прочти мне пространную записку». После она объяснила Попову, что Державин при док-

ладах не только грубил ей, но и бранился, а потому-то она и сошла нужным призвать свидетеля. Так рассказывает сам Державин. Современники несколько иначе передают этот случай, именно прибавляют, будто Державин так забылся на докладе, что в горячности объяснения осмелился схватить императрицу за конец мантильи; тогда государыня позвонила, велела позвать дожидавшегося в смежной комнате Попова, и когда он вошел, сказала ему: «Побудь здесь, Василий Степанович; а то этот господин много дает воли рукам своим». Однако, как всегда великодушная и незлопамятная, Екатерина приказала Державину быть на другой день, приняла его милостиво и «даже извинилась, что вчера горячо поступила, промолвя: ты и сам горяч, все споришь со мною». Дело, однако, и на этот раз не обошлось без неудовольствия. Державин читал пространную записку и реестр, «кем сколько казенных денег из кассы у Сутерланда забрано». Здесь опять предоставим слово самому Державину. «Первым явился князь Потемкин, который взял 800.000 рублей. Извинив, что он многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои деньги, приказала принять на счет свой государственному казначейству. Иные приказала взыскать, другие небольшие простить долги; но когда дошло до великого князя Павла Петровича, то, переменяв тон, зачала жаловаться, что он мотает, строит такие беспрестанно строения, в которых нужды нет, «не знаю, что с ним делать», — и, продолжая с неудовольствием подобные речи, ждала как бы на них согласия; но Державин, не умея играть роли хитрого царедворца, потупив глаза, не говорил ни слова. Она, видя то, спросила: «Что ты молчишь?» Тогда он ей тихо проговорил, что наследника с императрицею судить не может, и закрыл бумагу. С сим словом она вспыхнула, покраснелась и закричала: «Пооди вон!» Он вышел в крайнем смущении, не зная, что делать. Решился зайти в комнату к фавориту. «Вступитесь хотя вы за меня, Платон Александрович, — сказал он ему с преисполненным горести духом. — Поручают мне неприятные дела, и что я докладываю всю истину, какова она в бумагах, то государыня гневается, и теперь по Сутерландову банкротству так раздражена, что выгнала от себя вон. Я ли виноват, что ее обворовывают? да я и не напрашивался не токмо на это, но ни на какие дела; но мне их поручают, а государыня на меня гневается, будто я тому причиною». Он его успокоил и, зная что тот же вечер говорил, что на другой день, выслушав порядочно все бумаги, дали резолюцию, чтоб, как выше сказано, генерал-прокурор и государственный казначей предложил сенату взыскать деньги с кого следует по законам. Тем дело сие и кончилось».

При неприятностях, какие испытывал Державин в личных сношениях с императрицею, он, конечно, не мог долго оставаться в должности статс-секретаря. Первым поводом охлаждения к себе императрицы он считал несчастный случай, бывший с ним летом 1792 года, когда он после доклада, играя в царскосельском саду с великими князьями в горелки, упал и вывихнул

себе руку. Пока он шесть недель лежал без движения, недоброжелатели (как он рассказывает) сумели так расположить против него императрицу, что когда он явился к ней по выздоровлению, то нашел ее уже совсем переменившеюся. В этом объяснении нет ничего неправдоподобного: люди, видевшие в Державине лицо вовсе не подходившее к их понятиям и требованиям, легко могли воспользоваться его отсутствием, чтобы очернить его или представить в смешном виде. Но напрасно, кажется, Державин бросает подозрение на прямодушие давнишнего своего благодетеля Безбородки, который будто бы не без умысла поручал ему неприятные дела под тем предлогом, что он справедливее, дельнее и прилежнее прочих статс-секретарей, а в самом деле с тем, чтобы он, «будучи всем ревностью и правдою своею неприятен или, лучше сказать, опасен, наскучил императрице и остудился в ее мыслях». Естественно, впрочем, что Безбородко несколько свысока смотрел на Державина: по возвращении из Ясс, скучая своим бездействием, когда доклады его были переданы Зубову, он писал С. Р. Воронцову 15-го мая 1792 года: «Кажется, (императрица) не прочь от того, чтобы вести меня с Турчаниновым, Державиным и Храповицким, у которых еще и дела никакого нет».

Еще при производстве дела банкира Сутерланда решено было пожаловать Державина в сенаторы, с определением на место его в секретари Троцинского. Рядом с высказанными выше предположениями он приписывал свое удаление от двора внушениям графа Н. И. Салтыкова (бывшего воспитателя двух старших великих князей) и княгини Дашковой. По его подозрению, Салтыков, в то время президент Военной коллегии, мстил ему за то, что вследствие доноса одного донского чиновника Державин потребовал из коллегии справок, которые обнаружили в ней взяточничество при производствах в чины; а княгиня Дашкова не могла простить ему, что он помимо ее выхлопотал прибавочное жалованье служившему при Академии наук механику Кулибину, которого она преследовала за неисполнение какого-то ее желания. Что Дашкова действительно обиделась таким, как ей казалось, вмешательством Державина в ее дела, видно из ее письма к Безбородке, в котором она негодует, что поэт в указе назвал пожалованные Кулибину 900 руб. не пенсией, а прибавкою к академическому жалованью, и таким образом будто бы «отдал ее под команду Стрекалова»; вместе с тем Дашкова сетует, что Державин «за прежнее ее к нему доброе расположение» наговорил ей много неприятного. Другая вина его перед нею, по его словам, состояла еще в том, что он не умел или не хотел через Зубова спросить награды некоторым из ее подчиненных за поднесенные ими вещицы. Когда он, вскоре после того, однажды вместе с женою приехал к княгине, то услышал от нее так много грубостей и даже насчет императрицы столько непочтительного (например, будто она подписывала указы, не читая их), что он поспешил уехать и прекратил с Екатериною Романовною знакомство. Заметим, что по другому его рассказу он вследствие

такого же приема, сделанного ему княгиней Вяземскою, окончательно перестал посещать дом генерал-прокурора.

Кроме того, по его догадкам, неблагоприятие к нему государыни происходило от того, что он не мог более хвалить ее в стихах, хотя она часто выражала ему намеками желание, чтобы он писал оды вроде «Фелицы». Он сознается, что высокий идеал, который прежде издали представлялся ему в Екатерине, помрачился, когда он вблизи увидел ее человеческие слабости и не было никаких особенных дел, которые бы воспламеняли его. Много раз он брался за перо, запирался по неделе дома, но не был в состоянии ничего произвести, чем бы сам мог быть доволен: все выходило слабо, холодно, натянуто, «как у цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства». Свое охлаждение приписывает он также беспрепятственным придворным интригам и «толчкам», которыми его раздражали. К этому относится написанное им тогда четверостишие:

Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой:
Пищит бедняжка вместо свисту, —
А ей твердят: Пой, птичка, пой!

Больно было Державину на собственном опыте разувериться в справедливости слуха, «что будто завсегда возможно Фелице правду говорить», убедиться, что даже и при ее лице трудно выполнить завет доблестного вельможи:

Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять — и правду говорить.

Очерчивая тогдашнее положение свое при дворе, он рассказывает несколько случаев в доказательство, что Екатерина II в своих действиях часто руководилась более разными личными соображениями, желанием угодить тому или другому из своих приближенных, нежели попечением об истинном благе государства и строгим правосудием. Вместе с тем, однако, он отдает справедливость милосердию Екатерины, ее снисходительности к людским слабостям, ее заботливости о страждущих и угнетенных, ее умению привлекать к себе сердца и удивительному самообладанию, в подкрепление чего предлагает опять несколько фактов. «Часто случалось, — говорит он, — что она рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит; начнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и делается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в иступлении сказал: «Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить;

но вы против воли моей делаете из меня, что хотите». Она засмеялась и сказала: «Неужто это правда?»

В должности статс-секретаря¹ Державин пробыл менее двух лет: 2-го сентября 1793 г., при праздновании Ясского мира, он был назначен сенатором, причем ему пожалован орден св. Владимира 2-й ст. После того он еще несколько раз докладывал императрице, но только по таким делам, которых не успел кончить ранее. К числу их принадлежало возбужденное в свое время много толков дело откупщика Логина, который в 1770-х годах содержал питейные сборы. Благодаря особенному покровительству Потемкина он снял откуп без представления залогов и без переторжки и, не имея денег, склонил в Москве комиссариатского казначея Руднева дать ему в ссуду 400.000 руб. из казенных сумм. Возникшее отсюда дело тянулось около 20 лет и наконец передано было Державину, который сперва в звании статс-секретаря, а потом сенатора способствовал к правильному решению его вопреки всему сенату и тогдашнему генерал-прокурору Самойлову, племяннику Потемкина: Логинов присужден был уплатить в казну более двух миллионов рублей. — Об определении, на место Державина, в секретари императрицы Троцинского сохранилось следующее предание. Императрица спросила Безбородку, не может ли он рекомендовать ей кого-нибудь в эту должность. Безбородко указал на своего земляка и подчиненного, уже известного государыне со времени крымского путешествия. В день мирного торжества Троцинский неожиданно получил указ о своем новом назначении. На первом докладе его императрица прежде всего дала ему прочесть бумагу о пожаловании ему 1700 крестьян. Тронутый докладчик бросился к ногам своей благодетельницы. На вопрос его, чем он заслужил такую милость, Екатерина будто бы отвечала: «Я слышала о вашей честности; на новом месте вы встретите много искушений, а я хочу, чтобы вы оставались честны». До тех пор у Троцинского было де не более 30-ти душ крестьян.

10. Литературная деятельность

Во время приближения своего к императрице Державин не посвятил похвале ее ни одного крупного стихотворения. Чем же выразился в эту пору его поэтический талант? Мы должны начать с самого возвращения его в Петербург. Естественно, что вследствие сильных впечатлений, испытанных им в предыдущие годы, первые стихотворения, написанные им по приезде из Москвы, должны были носить автобиографический оттенок. Преж-

¹ Называя так должность Державина при императрице, я следую примеру его самого и общему обыкновению, но считаю нужным оговориться, что звание статс-секретаря было установлено только при Александре I; современники поэта, в том числе и Карамзин, употребляли выражение *кабинетский секретарь*.

де всего он, в подражаниях двум псалмам (1-му и 100-му), как бы излагает житейские правила, которым отныне намерен всегда следовать:

Я милость воспою и суд,
И возглашу хвалу я Богу;
Законы, поученье, труд,
Премудрость, добродетель строго
И непорочность возлюблю.

В оде «На коварство», так заинтересовавшей Карамзина, поэт сперва хотел изобразить дурных вельмож, к которым причислял своих гонителей, и противопоставить им честных сановников. Поэтому-то Карамзин выражал сомнение в возможности напечатать ее. Идеалом полководца и вельможи Державин в заключение выставляет Пожарского, называя его «муж великий мой». Это был издавна любимый герой нашего лирика: еще до 1780 года он начал в честь Пожарского эпическую поэму, а впоследствии написал драматическое сочинение такого же содержания. В наброске задуманной поэмы он так характеризует спасителя Москвы: «образ совершенного героя, любителя отечества: великодушен, терпелив, бескорыстен, милосерд, щедр, скромн, богочтителен». Когда разыгрались события французской революции, то Державин решил применить к ним неоконченную оду «На коварство» и таким образом сгладить следы первоначально приданного ей личного характера. Тем не менее во многих стихах ее все-таки слышится голос негодования на те несправедливости, которые сам поэт испытывал. Таковы, например, строфы, вылившиеся у него, вероятно, еще во время производства его дела в Москве и содержащие в себе ясные намеки:

О ты, который властью, саном
Себя желаешь отличить
И из пигмея великаном
Бессмертно в летописях жить!
Хотя дела твои днесь громки,
Но если поздние потомки
Путей в них правых не найдут,
Не будешь помещен ты в боги:
Несправедливые дороги
В храм вечный славы не введут...
Доколь сияние короны
Страстям мрачить не возбранишь,
Священну веру и законы
И правый суд не сохранишь;
Доколь не удалишь бесчинность,
Доколь не защитишь невинность
И с лихвой мзду не пресечеши;
Доколе роскошь и пороки,
Как быстрые с горы потоки,
Своим примером не прервешь...
Дотоль, о смертный! сколь ни звучен
И сколь ты ни благополучен,

Хоть славой до небес возник,
Хоть сел на троне превысоком, —
Пред любомудрым, строгим оком
Еще, еще ты не велик!

Покупка Державиным дома вызвала послание ко второму соседу. Надо припомнить, что в 1780 году он написал свои удачные стихи к первому соседу, откупщику Голикову, который жил против него на Сенной и кончил тем, что разорился от непомерной роскоши и корысти. Вторым соседом Державина, когда он купил себе дом на Фонтанке, был управитель, или поверенный Потемкина Гарновский, заведовавший, между прочим, его Таврическим домом и наживший огромное состояние. Строя себе великолепное здание, походившее на дворец, он презрительно смотрел на скромные постройки, предпринятые в то же время новым соседом, который поэтически упрекает его в том, что он своим пышным зданием застывает ему свет солнца и теснит забор безграничным двором. Поэт кончает пророческой догадкой о будущей судьбе роскошного здания:

Быть может, что сии чертоги,
Назначенны тобой царям,
Жестоки времена и строги
Во стойла конски обратят.

Предвещание сбылось: когда при императоре Павле Гарновский был посажен в крепость, дом, проданный с публичного торга, поступил в казну и превращен в казармы. По другую сторону дома Державина был дом одного из братьев Зубовых с обширным садом.

Ода «На умеренность», написанная во время статс-секретарства Державина, полна намеков на тогдашнее его положение, на императрицу, на Зубова и на разные современные обстоятельства. Так об отношениях своих к императрице он говорит, между прочим:

А ежели б когда и скучно
Меня изволил царь принять,
Любя его, я равнодушно
И горесть стал бы ощущать,
И шел к нему опять со вздором
Суда и милости просить.
Равно, когда б и светлым взором
Со мной он вздумал пошутить
И у меня просить прощенья:
Не заплясал бы с восхищенья,
Но с рассужденьем удивлялся
Великодушию его.

Пьеса «Горелки», в которой поэт обращается с нравоучением к молодому великим князьям, написана под впечатлением несчастного падения его в царское сельском саду.

«Прогулка в Царском Селе», куда поэт ездил весной 1792 года вместе с Катериной Яковлевной, посвящена Карамзину, и в заключении поэт от песен соловья обращается к молодому писателю с неожиданным приветствием:

Доколь сидишь при розе,
О ты, дней красных сын!
Пой, соловей! — И в прозе
Ты слышен, Карамзин.

Получив эти стихи без подписи автора и собираясь напечатать их в «Московском журнале», Карамзин писал Дмитриеву: «Прогулку в Царском Селе» получил и тотчас узнал сочинителя. Я напечатаю ее в августе (разумеется, что имени моего тут не будет)... Однако ж, не сказывай Г. Р., что я знаю автора». По поводу этой пьесы Погодин замечает: «Державин — надо отдать ему справедливость — прежде всех современников его оценил достоинство Карамзина... Карамзин не остался неблагодарным и в этой же книжке за август напечатал «Сельские песни», из творений Оссиановых, с надписью «Гаврилу Романовичу Державину посвящает переводчик».

Стихотворение «Любителю художеств», первоначально напечатанное в «Московском журнале» под заглавием «Новый год — песнь дому, любящему учение», восхваляет просвещенное отношение графа А. С. Строганова к наукам и искусствам. Еще Белинский обратил в этой оде внимание на следующее место:

Боги взор свой отвращают
От не любящего Муз;
Фурии ему влагают
В сердце черство грубый вкус,
Жажду злата и серебра:
Враг он общего добра!
Ни слеза вдовиц не тронет,
Ни сирот несчастных стон;
Пусть в крови вселенна тонет,
Был бы счастлив только он,
Больше б собрал серебра:
Враг он общего добра!
Напротив того, взирают
Боги на любимца Муз;
Сердце нежное влагают
И изящный, нежный вкус;
Всем душа его щедра:
Друг он общего добра!

По замечанию Белинского, эти стихи (если оставить в стороне их шероховатость) легко бы принять за перевод из какой-нибудь пьесы Шиллера.

В послании Львову поэт, по следам Горация, воспекает счастье друга в сельском уединении и искренние отношения между своим и его семейством. Львов отвечал стихами же. Надобно припомнить, что в 1792 году Безбородко, возвратясь из Ясс, застал на своем месте Зубова и лишился прежнего значения. Вероятно, еще во время его отсутствия Львов вышел в отставку и поселился в деревне. К этому-то обстоятельству и относится послание Державина. Через него Львов также познакомился с Карамзиным и сделался таким образом одним из сотрудников «Московского журнала».

Послание Державина к Храповицкому служит ответом на стихи, с которыми к нему обратился этот давнишний его приятель и сослуживец. В статс-секретарской должности они опять сблизились и жили рядом в царскосельском дворце. Храповицкий, желая угодить императрице, советовал поэту писать в похвалу ее и менее заниматься неприятными ей делами Якоби и Логинова. Ответ Державина написан в шуточном же тоне. Ты, говорит он, даешь мне умный и очень выгодный совет, но если суждено, чтобы не Аполлон меня вдохновлял,

Но я экстракты б сочинял,
 Был чтец и пономарь Фемиды,
 И ей служил пред алтарем...
 То как Якобия оставить,
 Которого весь мир теснит?
 Как Логинова дать оправить,
 Который золотом гремит?
 Богов певец
 Не будет никогда подлец.
 Ты сам со временем осудишь
 Меня за мгlistый фимиам;
 За правду ж чтить меня ты будешь:
 Она любезна всем векам;
 В ее венце
 Светлеет царское лице.

Стихи «Буря», написанные Державиным при пожаловании его в сенаторы, были уже приведены нами в другом месте по биографическому их значению.

Политические события, вызвавшие в рассматриваемый период творчество Державина, были: взятие Измаила, победа Репнина при Мачине, бракосочетание великого князя Александра Павловича, французская революция и казнь Людовика XVI.

Ода «На взятие Измаила» замечательна не столько по изображению геройских подвигов русской армии, местами слишком витиевatomу, сколько по высказываемым поэтом мыслям о предназначении России в восточном вопросе и о враждебном противодействии ей других европейских государств, которые «тщатся помочь врагу Христову и изменить своей вере».

Хотя Потемкин, отъезжая в Петербург после взятия Измаила, и не желал, чтобы в отсутствии его происходили какие-

нибудь решительные военные действия, однако Репнин, пользуясь случаем, напал близ Мачина на 80-тысячный турецкий корпус, разбил его и при Галаце подписал с турецкими уполномоченными предварительные условия мира. По этому поводу Державин превознес Репнина в оде «Памятник герою», которая по тону и по форме напоминает оду «Решемыслу», посвященную похвале Потемкина. Ода в честь Репнина написана под впечатлением недавнего чтения переведенной неумолимым Веревкиным книги о Конфуции, или, как в ней назван этот мудрец, Кун-тсее. Обращаясь вначале к музе Конфуция, поэт спрашивает: не служат ли и памятники в честь победителей знаками жестокости людской?

Развалины, могилы, пепел,
Черепья, кости им подобных,
Не суть ли их венец и слава?

Нет, отвечает он, герои — друзья человечества, они «соль земли, во мраке звезды»:

Они — великие зеркала
Богopodobных слабых смертных,

и затем поэт представляет идеал героя. Только в последней строфе он уже прямо называет Репнина:

Строй, Муза, памятник герою,
Кто мужествен и щедр душою,
Кто больше разумом, чем силой
Разбил Юсуфа за Дунаем,
Дал малой тратой много пользы.
Благословись, Репнин, потомством!

Похвала, содержащаяся в этих стихах, относится к тому, что Репнин искусным маневром, т. е. занятием горы, быстро решил исход сражения.

Ода «Памятник герою» была написана, конечно, еще при жизни Потемкина и тогда же отправлена от имени неизвестного к Карамзину, который и напечатал ее в октябрьской книжке «Московского журнала» с заявлением, что автор пожелал остаться неизвестным. Таков был вообще обычай Державина; но на этот раз он мог иметь еще и особенную причину скрыть свое имя — опасение не угодить Потемкину, который, как мы знаем, был так недоволен победою при Мачине и начатыми вследствие ее мирными переговорами, что Репнин принужден был уехать в Москву. Репнин был масоном, и потому ода Державина, как уверяют, встречена была очень сочувственно приверженцами этой секты, которых было очень много в Москве.

Весть о казни Людовика XVI произвела сильное впечатление не только на императрицу и двор, но и на все петербургское общество. Чувство общей скорби и негодования отразилось в двух

новых одах Державина, из которых в поэтическом отношении особенно замечательна «Колесница» по множеству мыслей и картин, набросанных могучею кистью.

В первоначальной ее редакции некоторые места значительно отличались от напечатанного текста; между прочим, в заключении, позднее измененном, поэт так обращался к венчанным возницам и всем держащим в руках бразды правления:

Учитесь из сего примеру
Царями, подданными быть,
Блюсти законы, нравы, веру
И мудрости стезей ходить.
Учитесь, знайте: бунт народный,
Как искра, чуть сперва горит,
Потом лиет пожара волны,
Которых берег небом скрыт.

Впрочем, эта ода была окончена не ранее 1804 года. Ода же на панихиду Людовика XVI была напечатана отдельно вскоре после получения рокового известия. Панихида была отслужена в исходе марта месяца, в католической церкви, по случаю приезда в Петербург графа д'Артуа. В этой оде особенно выдаются те строфы (6-8), в которых окровавленная тень короля является на лобном месте с речью к народу.

По поводу бракосочетания Александра Павловича со старшею из приехавших в Петербург в 1792 году баденских принцесс Державин написал несколько стихотворений. В оде к «Каллиопе», «царице песней», он воспевает красоту и любовь царственной четы, припоминая свое приветствие «порфирородному отроку» при его рождении:

Гордись, моя, гордися, лира,
Пророчеством теперь твоим;
Уже оно почти сбылося...

10-го мая 1793 года был стговор великого князя. По этому случаю явилась пьеска «Амур и Психея», написанная на хоро-вод, называемый «Заплетися плетень», во время которого жених и невеста так спутались лентою, что пришлось разрезать ее:

Ни крылышком Амур не тронет,
Ни луком, ни стрелой;
Психея не бежит, не стонет:
Свились, как лист с травой.

Так будь, чета, век нераздельна,
Согласием дыша:
Та цепь тверда, где сопряженна
С любовию душа.

Напечатанные тогда же, эти стихи были положены на музыку и петы в присутствии императрицы.

Такой же чести удостоилась «Песнь брачная чете порфиородной», подражание псалму, написанная на совершившееся 28-го сентября бракосочетание; в ней поэт удачно предрекает характер царствования Александра I, не исключая и ознаменовавших эту эпоху европейских войн:

Сам Бог тебя благословляет,
Величеством в тебе сияет,
И при бедре твой сильный меч:
Блеснешь ты им — и ополчишься,
В защиту правды устремись
Невинных стон и вопль пресесть.

Ты бросишь громы из десницы,
От запада к вратам денницы
Покажешь чудеса, герой!
Рассыплешь изощренны стрелы,
Распространишь твои пределы,
Попрешь врагов своей ногой.

Престол твой Богом утвердится,
Щедротой скипетр позлатится,
Явишься ты царем сердец...

Здесь место упомянуть и о двух стихотворениях в честь Державина, напечатанных в «Московском журнале». Одно из них озаглавлено «К честному человеку», другое — «Доброму человеку». Первое принадлежит перу Дмитриева, как видно из подписи И., которую находим под всеми тогдашними его стихами; автор другого неизвестен. Обе пьесы сочинены, очевидно, по поводу назначения Державина в должность секретаря императрицы. Дмитриев так приветствует почитаемого им поэта:

Что слышу? О приятна весть!
Питомец Аонид любимый,
Порока враг непримиримый,
Стяжал заслугой нову честь!
Излейте, звуки скромной лиры,
Сердечну радость вы мою!
А вы несите их, зефиры,
К тому, которого пою.

Потом речь идет о вдовицах и воинах, которым он оказывает помощь, о спасаемых им юношах, которые, предавшись разврату и впадши в нищету, уже готовы были поднять на себя руку; в конце обращение к Музам:

Сойдите с Пиндовой вершины
И пред лицом Екатерины
Воспойте должну Ей хвалу:
Коварства посрамя хулу,
Она ток милостей сугубит
К тому, кого сам вождь ваш любит

И кто сим богом предызбран
 Предать бессмертью в песнях лирных
 Владычицу морей обширных,
 Пяти держав и многих стран.

Стихи «Доброму человеку», как можно заключать уже по заглавию, написаны под непосредственным влиянием предыдущих. Вначале говорится:

Блажен, кто средь честей блестящих
 Не принимает их цепей;
 Кто в царском тереме богатом,
 Не изменяясь в лице,
 Идет по золотым помостам
 За тем лишь, чтоб творить добро!

.....
 Прияв в себя и стон вдовицы,
 И слезы молодых сирот,
 Ты сам несешь их ко престолу,
 От коего, склоня стезю,
 Златую к ним ты льешь струю.
 Когда же, должности исполня,
 В своем тулупе голубом
 Ты сядешь на диван зеленый
 И дух свой, благом восхищенный,
 Пленяешь гласом лирных струн:
 Склоняешь ты с небес перун!

Как Дмитриев в своей пьесе намекнул на оду «Коварство», которая тогда занимала Державина, так неизвестный автор в заключении своего послания припоминает «Водопад»:

Когда ж тебя поля и селы
 В гостях увидят у себя,
 На посохе тогда покоясь
 При водопаде в летний день,
 Как солнца луч во всякой капле,
 Ты в каждом миге дней твоих
 Увидишь память дел благих
 И смерть с улыбкою ты встретишь!

Все доказывает, что в то время Державин пользовался громкою славой. Кроме поэтического таланта его, к тому много способствовали и внешние обстоятельства его жизни — шум, какого наделало в обществе сперва отрешение, потом оправдание его и приближение к императрице по званию ее статс-секретаря. В числе просителей, которых, разумеется, множество стало обращаться к нему, были и писатели, между прочим старый его знакомый Херасков и бывший его начальник по казанской гимназии Веревкин. Хераскова обвиняли в мартинизме; Державин вступился за него перед Зубовым, и автор «Россияды» благодарил поэта за «доставление ему мецената». Веревкину Державин

выхлопотал еще в 1791 г. позволение печатать переводы его, до 300 листов ежегодно, на счет Кабинета с платою за каждый печатный лист по 10 руб. Печатание, по соглашению с княгиней Дашковой, должно было производиться в академической типографии. В следующем году Веревкин уже хлопочет о том, чтобы Державин помог ему перевести печатание в другую типографию. В июне 1792 г. он опять просит поэта исходатайствовать ему через Салтыкова и Зубова средства продолжать перевод многотомного сочинения «Полная картина Оттоманской империи» и перевести всю Энциклопедию. Любопытна при этом оговорка его: «Возразят ли мне: какой вздор! одному человеку да и старику переводить такое море!.. Прошу только одного года сроку: кто перевел уже 168 томов, довольно вальяжных, тот всеконечно переведет по одному, а может быть и по два тома Энциклопедии на каждый год. Еще могут сказать: *да как исполнить сие? надобно иметь переводчику универсальную ученость.* Отвечаю: совпрошаяся и наставляяся с учеными людьми разных профессий и возвещая имена таковых примечаниями. Только бы высочайше повелела тридцатилетняя моя с семейством Питательница, подобно же или инако, по ее единому святому благоизволению, допропитывать меня немногие годишки, жить мне остающиеся». Несколько позже Веревкин доставил Державину список своих сочинений и, называя себя его взысканцем, выражал желание получить пенсию.

11. Знакомство с Коцебу и Мертваго

Около этого времени с Державиным сблизился переселившийся в Россию с 1782 года веймарский уроженец Август Коцебу. Он решил познать Германию с замечательнейшим русским поэтом и в 1792 г. напечатал на немецком языке отдельно сперва «Видение мурзы», а потом «Изображение Фелицы». Карамзин, заявляя в своем журнале о выходе в свет первого перевода, похвалил его и отозвался о Коцебу, как об одном из талантливых представителей германской поэзии, хорошо знающим русский язык. Что касается перевода «Изображения Фелицы», то в «Московском журнале» было замечено: «Строгая немецкая критика (в «Иенских ученых ведомостях») не весьма довольна переводом, находя в нем некоторые неисправности и слабые прозаические стихи... Он (т. е. Коцебу) переведет, может быть, и другие сочинения нашего поэта, которые еще более уверят немецкую публику в том, что воображение русских не хладдеет от жестоких морозов их климата. Все писатели должны, конечно, думать сперва о благоволении своей публики, но приятно, когда имена их сделаются известны и в других землях». Около того же времени Карамзин писал к Дмитриеву: «Уведомь, в Петербурге ли Коцебу? Гаврила Романович может поздравить себя с таким хорошим переводчиком. Он имеет *жени, дух и силу.* Я желал бы знать его лично».

В 1793 году Коцебу напечатал в Лейпциге уже целый сборник переведенных им сочинений Державина под заглавием «*Gedichte des Herrn Staatsraths von Derschawin, ubersetzt von A. v. Kotzebue*». И так, по странной случайности первое собрание стихотворений нашего поэта (не считая его ранних опытов, известных под именем «Читалагайских од») появилось на иностранном языке. Экземпляр этого томика, изданного с портретом Державина, был послан им Карамзину, который, поздравляя его с пожелованием в сенаторы, благодарил за подарок. «С великим удовольствием, — писал он, — читал я все пиесы и радовался, узнавая мысли российского поэта в немецких выражениях».

Есть повод думать, что прежде того Державин, при определении своем к императрице, приглашал Карамзина в секретари к себе. Карамзин, сначала колебавшийся, как поступить, скоро, однако, принял решение, от которого никогда уже не отступал, — избегать всяких обязательных занятий, чтобы иметь возможность всецело посвящать себя литературе. Не получив его согласия, Державин, по-видимому, обратился с тем же предложением к Коцебу. Что об этом по крайней мере говорили, видно из письма Петрова к Карамзину: «Коцебу скоро будет в Петербург: он переводит сочинения Гаврила Романовича; но что будет жить у Г. Р. в доме, этого я не слышал; напротив того, я слышал, что П. А. Зубов берет его себе в секретари».

Из этого можно заключить, что Державин рекомендовал своего почитателя Зубову, но дело почему-то не устроилось.

Коцебу отправился на службу в Ригу, куда Репнин, навлекший на себя неудовольствие Екатерины за участие в масонстве, был назначен генерал-губернатором и тем как бы удален в почетную ссылку.

В начале 1793 года Державин просил его доставить Коцебу место губернского прокурора. Репнин отвечал очень учтиво, что этому мешают недостаточное знакомство Коцебу с русским языком и русскими законами, так что «он неумышленно может упущения делать в порядке надлежащем или запутать правительство... Хотя же г. Коцебу и переводил с русского на немецкий язык разные сочинения, но оное может делаться с помощью лексикона и совета других людей, коей помощи в должности прокурора употреблять нельзя, и времени к тому не достанет. Вот, м. г. мой, резоны мои; а затем осмелюсь у вас просить той дружеской доверенности, чтобы вы мне поручили жребий г. Коцебу. Я постараюсь ему в ином случае служить и уповаю, что он от того ничего не потеряет».

Из другого письма Репнина, писанного в конце того же года, видно, что он предлагал Коцебу место советника одной из палат, но что тот просился в председатели земского суда, который, как выражался Репнин, «имеет свой назначенный отпуск» (вакантное время), почему Коцебу и надеялся иметь в этой должности досуг «упражняться в науках, коих однако, — прибавлял генерал-губернатор, — империя Российская от него не требует: какового неусердного расположения хотя я отнюдь в

человеке служащем не апробую, но по искреннему желанию делать вам удобность исполнил бы, однако ж, и сие требование, коли бы мне возможно было; но поелику верхний земский суд есть точно суд дворянства, почему заключите сами, что если в нем на место председателя поставлен будет пусть хотя дворянин, как о себе г. Коцебу сказывает, но чужестранец, то сим непременно все эстляндское дворянство крайне обидится, тем более что тот суд точно заменяет бывший их гофгерихт, который николи иначе, как из дворянства эстляндского, составлялся. Вследствие чего я никого, кроме эстляндского дворянина, из пристойного уважения к дворянскому их корпусу на сие место представить не могу; а сверх того не хочу, по участию, которое вы в г. Коцебу берете, скрыть от вашего превосходительства, что он недавно писал ко мне письмо весьма непристойное и крайне дерзкое в его рассуждениях о правительстве, говоря, что чины здесь за деньги покупаются, на которое я ему в ответ сделал строгий выговор: хотя сие никому не известно, но я счел обязанностью вам о том в откровенности и по дружбе сообщить».

Любопытно, что и сама императрица в письмах к Гримму неблагоприятно отзывалась о Коцебу, жалуясь, что он недобросовестно исполнял свои служебные обязанности, часто бывал в отпуску и всех заставлял просить за себя. «У нас, — заключала она, — он слывет завзятым пруссаком и имел много сношений с королем Вильгельмом, который в качестве всемирного покровителя, вероятно, чествовал его как талантливое человека и известного литератора».

В том же году, когда Коцебу знакомил Германию с произведениями нового русского поэта, другой немец, ученый Шторх, уроженец города Риги, бывший на службе в Петербурге, говоря о русской литературе в своей книге, перепечатал перевод «Видения мурзы» и следующим образом охарактеризовал Державина: «Между живущими ныне поэтами, по-видимому, ни один не может так справедливо рассчитывать на бессмертие, как г. Державин, столько же уважения заслуживающий государственный муж, патриот и друг человечества, как и любви достойный писатель. При неутомимой деятельности на обширном и важном поприще он еще находит возможность посвящать свободные минуты музам и обогащать отечественную литературу произведениями своего оригинального, усовершенствованного высшим образованием таланта. Самобытность, тонкость и изящество составляют отличительные черты этого писателя; неподражаемы гармония его дикции и благозвучие его легкого стиха; он сумел сочетать роскошнейшее воображение с самым очищенным вкусом. Так судят о нем знатоки».

Как высоко тогда уже ценили в России поэзию Державина, доказывается между прочим тем, что некоторые стихотворения его, появившиеся либо отдельно («Изображение Фелицы», «На шведский мир»), либо в «Московском журнале» («Видение мурзы», «Хоры, петые на праздник Потемкина» и др.) почти сразу же перепечатывались княгиней Дашковой в «Новых ежемесячных сочинениях».

Между тем его стихотворения вновь издавались также то в Москве, то в основанной им провинциальной типографии. Тамбовский приятель его Нилов в июле 1792 писал ему: «Напечатанная в нашей типографии «Лирическая песнь россу» перепечатана в Москве и выпущена в продажу, почему наших почти и не покупали. С первою оказиею пришлю к вам один экземпляр московской, который я нарочно купил у книгопродавца на тамбовской ярмонке. Видел я также и оду «Бог», напечатанную там же особливою тетрадкою. Постарайтесь, батюшка, отвратить сие злоупотребление».

В то время, когда Державин занимал место кабинетского секретаря, с ним познакомился приехавший из отдаленной провинции сравнительно еще молодой человек, который впоследствии приобрел на службе почетное имя, а не так давно сделался и в литературе известен своими записками. Это был уроженец Оренбургского края Дмитрий Борисович Мертваго. Крестник его С. Т. Аксаков называет его «в обширном и строгом смысле честнейшим человеком, которого вся жизнь была борьба правды и чести с ложью и подлою корыстью». Мертваго служил в Уфе советником губернского правления и, имея там разные неприятности по службе, приехал в Петербург для оправдания себя перед бывшим уфимским генерал-губернатором, графом О. А. Игельстромом. Сблизившись здесь с Державиным, он поместил в своих записках рассказ об этом знакомстве, составляющий важное свидетельство для оценки нашего поэта как человека. «С первого же раза Державин обошелся со мною хорошо, — говорит он, — и дозволил мне иметь свободный вход в его дом. Вскоре случилось мне рассуждать с ним о делах; понятия мои ему понравились; он откровенно мне это высказал и изъявил желание быть чаще со мною. Пользуясь этим дозволением, я, часто бывая у него в доме, познакомился с ним коротко». Они сообщили друг другу печальные опыты, вынесенные ими из своих служебных отношений, и Державин показал своему новому приятелю «объяснения», которые подавал сенату о делах Тамбовской губернии. Мертваго просил его совета, что предпринять по своим обстоятельству. «Если не желаете мщениа, — отвечал Гаврила Романович, — то бросьте все это, потому что дело пустое». Вместе с тем он обещал постараться все-таки вывести Мертваго из Оренбургской губернии. Записки последнего продолжают:

«День ото дня делаясь знакомее с этим человеком, достойным всякого почтения, и бывая с ним часто по несколько часов наедине, я наслаждался умными его рассуждениями, клоняющимися к добру, восхищался его доверенностью и был счастлив знаками его ко мне дружества. Жена, подобно ему, не родилась обыкновенною в свете женщиною; пылкость ее разума и воображения и обширные познания украшали прекрасное ее тело и давали блеск великодушному и щедролубивому ее сердцу. Страстная ее любовь к мужу, а еще более к славе возвышала душу Державина, делала разум его деятельнейшим к добру».

В то время Зубов искал письмоводителя, и ему предложили на эту должность Мертваго. Державин стал хлопотать о помешении его не только при Зубове, но и в какое-нибудь звание при Кабинете, чтобы дать более прочности его положению. Но это до того не понравилось новому правителю кабинетских дел, что он не захотел принять Мертваго и в письмоводители. Приятель Державина возвратился в Уфу к прежней должности.

Дружеские отношения к Мертваго не охлаждались уже во всю жизнь Державина, который не раз имел случай оказывать ему важные услуги и в начале царствования императора Александра Павловича доставил ему место главного надзирателя крымских соляных озер. Со своей стороны, Мертваго, пока оставался в Оренбургском краю, оплачивал Державину тем, что имел наблюдение за делами тамошней его деревни и устроенного в ней винокуренного завода.

Известно, что покойный С. Т. Аксаков был одним из самых пламенных почитателей Державина. В своем «воспоминании» о Мертваго он рассказывает, что однажды в 1808 году, когда последний служил уже в Петербурге генерал-провиантмейстером, он, Аксаков, увидел в его кабинете над письменным столом вид принадлежавшего Державину сельца Званки, и между ними завязался разговор о знаменитом поэте. Аксаков восторженно прочел наизусть несколько од его, а Мертваго, посадив своего крестника на диван, «рассказал про свое знакомство с Державиным, прибавив, что он не только великий стихотворец, приносящий честь и славу своему отечеству, но и честный сановник и добрейший человек, и что все, что говорят про него дурного, — выдумка подлых клеветников и завистников».

12. Сенатор и президент коммерц-коллегии

Звание сенатора (по межевому департаменту) с чином тайного советника и пожалованием одного из высших орденов не удовлетворяло честолюбия Державина. Перед тем императрица и Зубов разговаривали с ним о предстоявшем назначении нового генерал-прокурора, и по их пристальным на него взглядам он заключил, что при этом именно его и имели в виду. После того Зубов призывал его к себе и от имени государыни советовался с ним, кого бы избрать в эту должность. Державин отвечал, что это зависит от воли ее величества, но в душе находил, что никто не имел на то такого права, как он, почти целый год уже делавший замечания на мемории сената. К удивлению своему, однако, он на следующее утро услышал от Зубова, что преемником князя Вяземского назначен племянник Потемкина А. Н. Самойлов. Вслед за тем Державин был позван к императрице, и на вопрос ее, записывал ли он свои примечания на «сенатские ошибки», как она приказывала, отвечал утвердительно. — «Принеси же их завтра ко мне». — Записки были представлены; через несколько дней государыня лично возвратила их со своим

одобрением, сказав: «Отдай их новому генерал-прокурору и объяви от меня, чтоб он поступал по ним и во всех бы делах советовался с тобою». Вскоре она подтвердила это приказание самому Самойлову, который и заявил о том Державину. Вследствие того Гаврила Романович был несколько раз приглашаем на совет к генерал-прокурору, но так как они в мнениях своих часто не сходились, а притом Самойлов совершенно подчинился влиянию правителя своей канцелярии (П. А. Ермолова, отца известного полководца), то разлад между генерал-прокурором и Державиным сделался неизбежен.

К этому присоединилось еще то обстоятельство, что при разделе оставшихся после Потемкина в польских губерниях имений Самойлов, в ущерб других племянников и племянниц покойного, хотел присвоить себе несоразмерно выгоднейшие участки. Никто из сонаследников, не исключая даже и столь близкой к Екатерине графини Браницкой, не в силах был противоборствовать генерал-прокурору. Наконец, по желанию этой дамы Державин от имени ее подал просьбу в 3-й департамент сената; по происшедшему там разногласию дело перенесено было в общее собрание и единогласно решено в пользу графини и ее соучастников. По этому поводу Самойлов имел с Державиным весьма крупное объяснение. Явные следы бывшей между ними розни можно найти и в тогдашних произведениях нашего поэта. Так, по собственному его объяснению, к Самойлову относятся следующие стиха «Вельможи»:

Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться,
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться.

То же надобно сказать и о некоторых местах оды «Афинейскому витязю», где поэт применяет к Самойлову мысль, что свет кулибинского фонаря уменьшается по мере приближения к нему, и в примечании прямо говорит, что он метил «на знатного человека или министра, который вдали гремит своим умом и своими способностями, но коль скоро короче его узнаешь, то увидишь, что он ничего собственного не имеет, а ум его и таланты заимствуются от окружающих его людей, т. е. секретарей и т. п.»

Хотя Державин и не совсем был доволен своим новым званием, однако он просил Зубова выразить императрице свою благодарность за это назначение. Зубов, рассказывает он, очень удивился тому, так как сенат «приближенными к государыне вельможами, или, лучше сказать, ею самой доведен был до крайнего унижения или презрения».

— Неужто доволен? — спросил Зубов.

— Как же, — отвечал он, — бедному дворянину, без всякого покровительства служившему с самого солдатства, не быть довольным, что он посажен на стул сенатора Российской империи?

Ежели кто почитает их (т. е. сенаторов) ничтожными, то я сумеем снискать себе уважение.

Как он смотрел на некоторых из своих сочленов, видно из собственного его примечания к известным стихам оды «Вельможа»:

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

В записках своих Державин говорит, что во все время служения в звании сенатора он, невзирая ни на какие лица и обстоятельства, строго стоял за соблюдение правды и законов и вел постоянную борьбу то с самими сенаторами и даже генерал-прокурорами, когда они действовали вопреки своим обязанностям, то с обер-прокурами и обер-секретарями. Неутомимое усердие его к исполнению долга простиралось до того, что он ездил в сенат даже по воскресеньям и праздникам и там «наедине прочитывал кипы бумаг, делал на них замечания, сочинял записки или и самые голоса». Во всем этом нельзя не подтвердить собственного его свидетельства, хотя его правдолюбие и выражалось вообще в слишком резких, а иногда и грубых формах и подавало повод к бурным сценам. Представим беглый очерк двух-трех дел, по которым он во время своей деятельности в сенате с особенной энергией отстаивал правую сторону.

Упорство его в защите своих мнений видно между прочим из его переписки с Зубовым и Самойловым по делу о землях, пожалованных в Саратовской губернии Потемкину, а потом доставшихся покупке капитану Шемякину. На этих землях жило до 3000 малороссиян, которые, поселясь там давно и получив в собственность землю, считали себя свободными; Шемякин же доказывал свое право владеть ими как крепостными на том основании, что они, после бывшего между ними возмущения, военною силою приведены были в покорность князю Потемкину и дали подписку повиноваться ему.

В сенате произошло по этому делу разногласие. Державин и с ним меньшинство сенаторов, против Завадовского и его партии, находили, что помянутая подписка взята была у малороссиян насильно «через многие побои и истязания», что земли у них были отобраны и отданы князю несправедливо под предлогом негодных, и потому они должны быть признаны вольными, принадлежащими казне, которая в противном случае лишалась более 100.000 руб., числившихся на них в недоимке.

При рассмотрении этого дела в сенате обер-прокурор Башилов, подав предложение к соглашению мнений, присоединил к тому после еще свое особое объяснение против мнения Державина, разбирая его по частям. Державин находил этот способ возращения противным закону, допускающему оговорку мнений только при докладе или записке в журнал. Поэтому он пожелал

после заседания прочесть объяснение обер-прокурора, но Башилов ему в том отказал, ссылаясь также на закон и обещая прочесть свою записку в общем собрании вместе с другими объяснениями. Державин, жалуясь генерал-прокурору на Башилова, просил приказать ему «дать прочесть свое объяснение если не в доме Державина, то по крайней мере в сенате, дабы к будущему общему собранию мог он, Державин, основательнее вникнуть в его мысли, согласиться с ним или остаться при своем мнении». В то же время он обратился к Зубову с письмом, в котором смело и резко жаловался не только на противника своего в сенате, Завадовского, но и на самого генерал-прокурора. «Я еще не имею, — говорит Державин, — никакого отзыва на свое письмо от генерал-прокурора; но по обыкновенной моей участи ожидаю неприятностей. Прежде всего скажут: какой вздорный и неспокойный человек! вот опять новую завел историю! Не оставя может быть внушить, согласно мнению графа Петра Васильевича Завадовского, и того, что опасно дать сим малороссиянам свободу, для того что будто все малороссияне, утвержденные манифестом 1783 года к землям помещиков, возмутятся и пожелают в казенное ведомство; но сия хитрая софизма, при здравом рассудке и при усердии к прямому благу, весьма слаба» и проч. «Производство правосудия не стратажем воинских требует против неприятеля, не уловок и крючков стряпчих к преодолению соперников (что все Петр Великий в настольном указе называет *минами под фортецею правды*); но требует оно усердного, чистосердечного и рачительного разбирательства дел; к чему все вообще и каждый служители правосудия совестью и присягою своею обязаны. Когда же мнения сенаторов поданы, записаны, то объяснять их или перетолковывать не токмо г. обер-прокурору, но и генерал-прокурору уже поздно. Усмотреть неосновательность, оценить их и решить уже ни в чьей другой власти, как токмо монаршей. Вот куды забрел г. обер-прокурор, и вот, м. г., как производятся дела наши! Те самые, которые должны споспешествовать правосудию, запутывают оное; то место, которое должно облегчать бремя правления, отягчает оное».

На другой день после этого письма Державин, получив от Самойлова ответ, вполне оправдывавший Башилова, снова написал к Зубову. Прилагая свой отзыв, он жалуется, что и генерал-прокурор не позволил записать в журнал этого отзыва, в котором он протестовал только против новой, по его мнению, процедуры. В заключении он выражает желание лично поднести свой отзыв императрице и считает это тем более своим долгом, что «ее величество, при отпуске его из прежней должности, позволила ему нужные случайности в сенате доводить до ее сведения»; почему он и просит Зубова исходатайствовать, чтоб «соизволили без гнева и с милостивым вниманием его выслушать». Чем кончилось дело, нам не удалось отыскать, но, по всей вероятности, оно было решено против Державина, так как он в записках своих ничего об этом деле не упоминает.

13. Дело Дмитриева со Всеволожским

Другой, особенно ярко выдающийся пример неуступчивости Державина в том, что он считал справедливым, мы видим в деле о наследстве после бывшего астраханского губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова, дяди поэта И. И. Дмитриева. Дело это производилось не в сенате, а в совестном суде, но и тут противниками Державина были сенаторы.

Старик Бекетов умер в 1794 году, в своем селе Отрада, лежащем между Царицыном и Сарептой, и отказал почти все свое огромное имение двум незаконным дочерям своим, а Дмитриеву и сестрам его (их мать была родная сестра покойного) завещал 40.000 руб. Муж одной из тех дочерей, Всеволод Андреевич Всеволожский, не довольствуясь доставшимся ему богатством (более 100.000 руб. ежегодного дохода, да наличного капитала более 200.000), стал оспаривать право племянника и племянниц завещателя на отказанную им сумму, так как при составлении духовной не были будто бы соблюдены какие-то формальности. Сначала Дмитриев, отправясь в Астрахань, искал правосудия в тамошних присутственных местах, но испугавшись затруднений, которые встречал на каждом шагу, решил кончить тяжбу совестным разбирательством в Петербурге. На это согласился и Всеволожский, взяв в посредники сенаторов А. И. Васильева и Сушкова. Посредничество со стороны Дмитриева принял на себя Державин. После нескольких съездов Всеволожский, в доме Васильева, обещал пойти на мировую и уплатить Дмитриеву завещанные ему с сестрами 40 т. руб. Каково же было удивление Державина, когда на другой день он получил от Васильева приглашение снова приехать к нему для обсуждения спорной бумаги, поданной Всеволожским. Так как после изъясненного ответчиком согласия на мир посредники, по закону, могут без участия тяжущихся решать дело полюбовно, то Державин нашел, что Васильев, приняв протест Всеволожского, поступил неправильно. Поэтому Гаврила Романович в негодовании отвечал, что, значит, мир не состоялся, и посредники должны подать свои мнения в совестный суд. Это и было сделано в ноябре 1795 года. Не прежде как в следующем феврале, на масленице, и притом в день торжества по случаю бракосочетания великого князя Константина Павловича, Державин получил приглашение явиться в суд для выслушивания определения. Несмотря на странный выбор времени (когда ему следовало бы находиться во дворце), Державин из любопытства отправился на зов. Присутствующими оказались только совестный судья Ржевский, посредники противной стороны и один секретарь (подпоручик Куликов). С Ржевским Державин был некогда в приятельских отношениях, о чем свидетельствует его стихотворение 1780 года «Счастливое семейство». При входе в суд Гавриле Романовичу показалось, что лица присутствовавших выражали «некоторое скрытое намерение или, лучше сказать, стачку на что-либо ему против-

ное». Когда же после прочтения мнений посредников секретарь стал читать определение суда, обвинявшее Дмитриева в том, что он в поданном императрице прошении употребил колкие выражения, то Державин, видя, что совестный суд совершенно забывает свою роль примирителя, вышел из себя и потребовал учреждение. Произошел шум и крик. Кончилось тем, что когда, после некоторого колебания, секретарь таки вынужден был подать учреждение, то Державин, не раскрывая его, встал и стремительно удалился. В подробном описании этого присутствия он оправдывается тем, что в последнюю минуту ему ясно представилась бесполезность всяких представлений: некого даже было попросить записать в журнал то, что он намеревался сказать.

Державин собирался принести императрице особую жалобу на действия совестного суда; но прежде нежели он успел исполнить это намерение, Ржевский подал петербургскому генерал-губернатору Н. П. Архарову записку, в которой описал поведение Державина на суде в самых темных красках. Архаров представил ее государыне и получил приказание истребовать от Державина письменное объяснение. Ответ поэта был доставлен Архарову при письме от 4-го марта 1796 года, в котором он просил как особенной милости к Дмитриеву исходатайствовать, чтобы повелено было дело его со Всеволожским пересмотреть в полном присутствии совестного суда, «приняв с обеих сторон замечания на противоречия, а потом уже да предложит суд свое мнение и средство, как примирить, а не обвинить тяжущихся».

Из последующих обстоятельств видно, однако, что эта просьба Державина не была уважена. Что касается приложенного к письму объяснения его, то оно представляет некоторые очень характеристические черты. В нем по пунктам кратко разбираются показания Ржевского с простым обозначением, что справедливо и что неверно. Например:

«Что он, г. Ржевский, один не составляет совестного суда, это правда, я говорил».

«Что будто указывал на него пальцем и говорил ему ты, это неправда».

«Что я вскочил со стула с телодвижением, это правда, для того что без телодвижения встать нельзя».

Ржевский в своей жалобе заметил между прочим, что истину его показаний могут подтвердить не только секретарь и посредники, но и сами тяжущиеся, бывшие в комнате возле судейской камеры. На это Державин возражает: «Если г. Ржевский ссылается на Дмитриева, то пусть его спросят», и к этому прибавляет следующие любопытные рассуждения: «Дмитриев должен по присяге сказать, что был у нас разговор с г. Ржевским обоюдно горячий, но не непристойный или ему обидный, каковым он его в жалобе своей на меня представляет, хотя, впрочем, не один раз имел я несчастье, что в подобных случаях противу меня согласившиеся, тонкие и хладнокровные люди старались обратить в предсуждение мне правоту мою и горячую любовь к истине, но и здесь в том, кажется, не преуспели; потому что, основыва-

ясь на законах и истине и защищая правого, не вышел я нигде из благопристойности. Множество чрез мои руки перешедших совестных разбирательств, в здешней и других губерниях и даже по особым высочайшим повелениям моему одному лицу и посредству вверенных, и не в таких важных делах, мною кончены были, и никто из тяжущихся нигде не приносил на меня жалоб. Делами свидетельствоваться я почитаю себе правилом, а слова употребить нахожусь принужденным в собственное мое защищение, имея при том утешительное в душе моей оправдание собственного суда совести моей, по которой, нередко выбираемый в посредники, не отрекался никогда защищать невинность».

Во второй половине своей записки Державин подробно излагает весь ход дела и, выставив в конце все допущенные в нем отступления от справедливости, заключает свое послание словами: «После всего того осмеливаюсь спросить: где же по сему делу был тот совестный, благотворный и святой суд, который установлен премудрою нашею законодательницею для защиты угнетаемого человечества?»

Императрица, по поднесении ей всех этих бумаг, приказала Трощинскому передать их генерал-прокурору, с тем чтобы он представил ей свое по ним мнение. Самойлов в отзыве своем только сопоставил главные обвинения Ржевского с оправданиями Державина и затем вывел следующее заключение: «Впрочем, оказывается, однако ж, из собственного г. Державина объяснения, что он не соблюл всей той умеренности, какая в суде сохранена быть должна; сам он пишет: 1-е, что у него с г. Ржевским был разговор обоюдно горячий; 2-е, что он, почувствовав оказываемую Дмитриеву несправедливость, не мог вытерпеть, чтоб не спросить высочайшего учреждения. Таковые выражения, в собственном объяснении г. Державина написанные, не показывают сохранения всего должного суду уважения, и посему, ежели отдать вероятность представлению совестного судьи, г. Ржевского, то выходит, что г. Державин против него собственно поступил обидным; а для совестного суда несоответственным образом».

В объяснении Державина был намек на то, что он защищал сторону слабую и небогатую, тогда как противники его имели большие средства и пользовались сильною поддержкой. В записках своих он выражается яснее, говоря прямо, что Всеволожский «пронырствами и подарками» сумел задобрить не только семейства Васильева и Ржевского, но и при дворе привлечь на свою сторону Торсукова, Трощинского и Перекусихину. Противники Державина, по словам его, всячески старались возбудить против него гнев императрицы, и действительно она «так была раздражена, что хотела примерно наказать пренебрегшего ее законы». Внезапная смерть Екатерины остановила ход этого дела; по восшествии на престол императора Павла совестные суды были упразднены, и дело это сдано в архив, а когда воцарился Александр Павлович и Державин сделался генерал-прокурором, то Всеволожский «без памяти прискакал из Моск-

вы в Петербург» и просил кончить дело полюбовно на том самом основании, как предполагалось прежде посредничеством со стороны Дмитриева, который таким образом наконец и получил справедливое удовлетворение.

Для личных отношений Державина дело это имело важные последствия: оно скрепило его дружбу с Дмитриевым, но навсегда рассорило его с Васильевым и Ржевским. Последнего он в записках своих изображает «человеком весьма честным, но слабым, худо знающим законы и удобопреклонным на сторону сильных». Известно, что Ржевский по своим родственным связям принимал некоторое участие в обстоятельствах, предшествовавших возведению Екатерины II на престол. По этому поводу княгиня Дашкова упоминает о нем в своих мемуарах и произносит о его характере отзыв, подтверждающий приговор Державина. Но лет за шестнадцать до рассказанного случая поэт, в посвященных Ржевскому стихах, с искренним воодушевлением говорил:

Благословится от Сиона,
Благая снидут вся тому,
Кто слез виновником и стона
В сей жизни не был никому!

Кто не вредит и не обидит,
И злом не воздаст за зло, —
Сыны сынов своих увидит
И в жизни всякое добро.

Мир в жизни сей и мир в дни оны,
В обители избранных душ,
Тебе, чувствительный, незлобный,
Благочестивый, добрый муж!

Сдержаннее и осмотрительнее Державин вел себя в сенате при возбужденном им разногласии по делу о сумасшествии некоего Жукова. Было два брата этого имени, и один из них держал в опеке другого как помешанного. Племянница их, молодая девушка Безобразова, подала на это жалобу, утверждая, что поддерживающийся под опекою дядя ее вовсе не страдает расстройством умственных способностей. Дело поступило во 2-й департамент сената. Жуков, по словам Державина, подвергался помешательству периодически, особенно в новолуние или под ущерб луны, в остальное же время он был только пасмурен и тих. В таком именно положении он был представлен сенату для освидетельствования, и так как он сносно отвечал на предложенные ему незначительные вопросы, то его и признали здоровым. По несогласию обер-прокурора Кононова дело было перенесено в общее собрание, которое, однако, утвердило решение департамента. Узнав о том, другой Жуков обратился к Державину, объяснил ему подробно все обстоятельства дела и показал отцовские письма, в которых брат его положительно признаваем был сумасшедшим,

вследствие чего и назначена опека. Соображая сверх того, что Жуков увезен был из Москвы восемнадцатилетнею своею племянницею и дал ей принести за него просьбу императрице, чего бы, конечно, не могло быть, если бы он был в здравом уме, Державин решился объявить в сенате, что он с другими не согласен. Начались возражения и споры; наконец, говорит он в записках, «восстал превеликий шум», среди которого он не уступал и горячился, однако не вышел из благопристойности и никого слишком резкими словами не обидел; затем он подал особое мнение, при чтении которого опять сумел остеречься от всяких возражений на задирательные речи сенаторов, очевидно желавших будто бы вывести его из терпения, чтобы донести государыне, что с ним присутствовать невозможно. Таким образом, оставалось только по тогдашним законам представить дело, за разногласием, на высочайшее благоусмотрение. Императрица, уже слышавшая о нем от Самойлова, сказала докладывавшему ей обер-прокурору Башилову: «Посмотри, стоило ли это дело такого содому». Державин, против которого Безобразова по своим связям сумела возбудить приближенных к Екатерине лиц, мог ожидать больших неприятностей, но, к счастью его, сама судьба позаботилась об оправдании его мнения: спустя недели две больной Жуков в припадке сумасшествия выбросился из окна и раздробил себе череп.

14. Президент коммерц-коллегии

Назначение Державина в сенаторы в сентябре 1793 года было почетным удалением его от службы при императрице. Через несколько месяцев, 1-го января 1794, на него возложена была еще должность президента коммерц-коллегии, очистившаяся после увольнения графа А. Р. Воронцова. Сам он приписывал это покровительству Зубова, желавшего доставить ему вполне обеспеченное положение; но, может быть, он еще более обязан был в этом случае рекомендации благоволившего к нему Воронцова. Впрочем, новая должность не могла особенно льстить его честолюбию, так как Екатерина, давно уже приступившая к уничтожению коллегий, учреждением о губерниях нанесла чувствительный удар и коммерц-коллегии: она находила, что заведование торговлей должно входить в круг деятельности наместников; эта мысль была внушена ей Потемкиным, который в подвластных ему обширных областях хотел быть полным хозяином. По Петербургской губернии Екатерина предоставила одной себе высшую административную власть, хотя для вида и назначала генерал-губернатора; для надзора же за таможенною употребляла своим орудием вице-губернатора Алексева, который, по словам Державина, имел притязание управлять и таможенными другими губерний. В преобразованных губерниях таможи переданы были в ведение казенных палат. В зависимости от коммерц-коллегии оставлены только дела английского купечества до истече-

ния срока торговому трактату с Великобританией. Таким образом, остальные годы существования этой коллегии были уже сочтены, и, действительно, незадолго до своей кончины Екаторина подписала указ о ее упразднении. Следовательно, последнее назначение Державина было только временное. Но он, по видимому, не знал новых порядков и хотел быть президентом коллегии в прежнем значении этого звания, чем, разумеется, на первых же порах восстановил против себя и управлявшего казенной палатой Алексева, и директора таможи Даева. По запискам Державина, первым поводом к неудовольствиям было посещение им амбаров на бирже, при осмотре которых таможенные чиновники оказали ему явное неуважение и непослушание. Вскоре случилась еще другая, более чувствительная неприятность. Граф Мочениго, в знак признательности к Державину, рассматривавшему его дело, прислал для жены его морем из Италии кусок атласу. Так как ввоз товаров этого рода был запрещен, то Державин приказал отправить присылку обратно; но Алексеев и Даев представили императрице, что он вопреки запретительному указу сам выписал этот атлас и велел ввезти его тайно. Следствием того была резолюция поступить по закону, т. е. публично при барабанном бое, на площади перед коммерц-коллегией, сжечь выписанную президентом ее контрабанду и взыскать с него штраф. Совершенно для него неожиданно первая часть приговора и была уже приведена в исполнение. Как громом пораженный этим позором, он написал объяснительную записку, которую доставил Зубову для поднесения императрице, но, «сколько ни хлопотал», не мог получить на нее никакого ответа даже от фаворита.

Так рассказывает сам Державин, но из других документов открываются обстоятельства, полнее объясняющие причины новых испытанных им неудовольствий. В 1782 году особым указом разрешено было при петербургской таможе содержать нескольких сверхштатных служителей для изучения таможенных дел, т. е. для приготовления к занятию должностей по этому ведомству. На этом основании при здешней таможе было сорок учеников. По праву, предоставленному президенту коммерц-коллегии, Державин еще в феврале месяце взял одного из этих учеников в коллегию, но так как таможня уже не была в ее ведении, то вице-губернатор пожаловался на это распоряжение императрице, и советник казенной палаты Беер потребовал ученика обратно под тем предлогом, что он командирован уже в Кронштадт. Державин сначала протестовал, но потом согласился отдать его.

Несколько позже встретился еще другой повод к пререканиям. В сенат поступили два дела о злоупотреблениях по таможам ревельской и астраханской. 1-го апреля 1794 года Державин доложил о том императрице, и ему дана была словесная резолюция, что эти дела должны быть решены немедленно, без очереди, и что он как сенатор при слушании их «может делать по своей части свои замечания». Из этого он вывел заключение,

что ему по всем делам, касающимся таможен и торговли, разрешается присутствовать во всех департаментах сената, о чем он и известил письменно генерал-прокурора. Самойлов послеполднем представил письмо его императрице и 4-го апреля, призвав его к себе, объяснил, что императрица не так понимала данное ему разрешение. Но Державин этим не уgomонился и в записке, посланной к Зубову, старался доказать, что президенту коллегии, по закону Петра Великого и по учреждению о губерниях, несомненно принадлежит право присутствовать в сенате по делам своего ведомства, ему же, Державину, это право принадлежит тем более, что он сам сенатор. Результатом всех этих пререканий было то, что 12-го мая генерал-прокурор объявил ему высочайшее повеление «в дела петербургской таможни не мешаться». Вследствие того Державин обратился к Зубову с исполненным горечи письмом, прося исходатайствовать повеление императрицы, как ему в подобных случаях поступать. В то же время он написал советнику Бееру, что отказывается от ученика и возвращает его. Тогда казенная палата задним числом сделала распоряжение: взятого ученика оставить у Державина и отрешить от должности. «Извольте видеть, — писал Зубову президент коллегии, — когда я требую, тогда говорят: отпустить не можно, а когда отпускаю, тогда не принимают и отрешают. Меня бесят шиканами: зная мое вспыльчивое сложение, хотят меня вывести совсем из пристойности». Очень характерны в том же письме следующие размышления поэта о самом себе: «Репутация моя известна, и я надежно всякому в глаза скажу, что я не запустил нигде рук ни в частный карман, ни в казенный. Не зальют мне глотки вином, не закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности к моей монархине, и никто меня не в состоянии удалить от пользы государя и своротить с пути законов: то что за причина, что и здешняя таможня духу моего терпеть не захотела? Я еще до нее и волосом не тронулся. Требование мое одного ученика по праву закона, хотя бы и без нужды, еще не могло причинить какого-либо важного беспорядка... Что делать? Ежели я выдался урод такой, дурак, который ни на что несмотря жертвовал жизнью, временем, здоровьем, имуществом службе и личной приверженности обожаемой мною государыне, животворился ее славою и полагал всю мою на нее надежду, а теперь так со мною поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтоб я ничего не боялся, и не токмо не доказав меня в вине моей, но и не объяснив ее, благоволила снять с меня покровительствующую свою руку. Имея столько врагов за ее пользу, куда я гожуся, какую я отправлять в состоянии должность? Я, кажется, со всех сторон слышу: погоним, Бог его оставил; исследую тысячу раз себя и не нахожу, что б я сделал. На все случаи, которые я могу придумать, чем бы ее неблагоприятие заслужил, как выше я донес вашему сиятельству, не оставлю под-

нести мои объяснения. Тогда буду настоятельно просить или уволить меня, или возвратить мне ее величества благоволение и законную доверенность; или, когда достоин явлюсь, судить».

К большому еще раздражению вице-губернатора Державин определил к петербургской таможне маклера, хотя по преобразовании управления эту часть маклеры переданы были в ведение казенных палат. В оправдание своего распоряжения он представил Зубову особую записку, в которой сослался на целый ряд прежних узаконений; вместе с тем он заявил, что вопреки устранению его от дел таможни, она не перестает присылать ему свои рапорты и ведомости, — доказательство, что связь между нею и коммерц-коллегиею нелегко может рушиться. Для разъяснения вопроса об определении маклеров он просил исходатайствовать ему личный доклад у императрицы; между тем Алексеев собирался принести на него жалобу.

В таких обстоятельствах Державин в июне 1794 года решился подать государыне просьбу об увольнении его от службы. Почти совершенно согласно с собственным его рассказом о том Н. Н. Вантыш-Каменский в письме от 21-го июня сообщал князю Куракину: «Державин подавал просьбу об увольнении на два года, но ни гр. Зубов, ни гр. Безбородко не приняли на себя поднести оную; вручена чрез камердинера. Сказано: отставить его не мудрено, по пусть прежде кончит новый тариф, сочиняемый коммерц-коллегией. Падение его оттого, что он начал присваивать себе власть над таможнями, не ему, но казенной палате принадлежащую».

О составлении им нового тарифа ничего не упоминается в записках его, а потому сведение это и лишено достоверности; вероятно, оно основывается на том, что он рассказывает по поводу наблюдения, сделанного им относительно неблагоприятного положения нашего торгового баланса. Вскоре после отказа императрицы Державина постигло давно грозившее ему домашнее горе, — смерть Екатерины Яковлевны, о чем скажем подробнее в своем месте. Вслед за тем он неожиданно испытал новое оскорбление от давнишнего неприятеля своего, Тутолмина, в то время занимавшего место генерал-губернатора присоединенных от Польши юго-западных губерний. В этом звании Тутолмин вздумал определять таможенных чиновников без сношения с коммерц-коллегиею и на запрос о том президента ее прислал ему, без всякого со своей стороны объяснения и даже без своей подписи, один список чиновников с отметкою против каждого имени, по чьей рекомендации кто определен. Зубов, к которому Державин и по этому делу обратился с жалобой, взял сторону Тутолмина, ссылаясь на то, что Потемкин (предместник Зубова в управлении Новороссийским краем) всегда сам по своему усмотрению определял таможенных чиновников во вверенных ему губерниях. Державин, разгорячившись в происшедшем при этом споре, пошел прямо к императрице, был на этот раз принят и представил присланный Тутолминым список. Государыня обещала рассмотреть дело, но через несколько дней велела сказать

Державину, чтобы он более не беспокоился по делам коммерц-коллегии, которую она решила упразднить, и действительно 16-го сентября 1796 г. последовал указ об окончательном закрытии этого учреждения.

В исходе 1795 года Державину таки удалось лично испросить себе отпуск для поправления своего хозяйства в оренбургском имении; по крайней мере императрица обещала дать о том повеление генерал-прокурору. Но вместо того, через несколько дней последовало совершенно другое распоряжение: на Державина было возложено новое, крайне щекотливое дело; он был назначен членом особой комиссии по поводу открытого в Заемном банке похищения.

15. Комиссия о растрате денег в Заемном банке

13-го января 1796 года Болотов записал в своей памятной книжке: «Перед Рождеством в Петербурге случилась покража ассигнаций из Заемного банка одним кассиром». Похищенная сумма простиралась до 600.000 р. Членами комиссии, учрежденной для расследования этого дела под председательством главного директора банка, Завадовского, назначены были, вместе с Державиным, петербургский генерал-губернатор Н. П. Архаров и главный директор Ассигнационного банка сенатор Мятлев. Избрание Державина доказывало, что императрица, несмотря на многие причины неудовольствия против него, не утратила доверия к его беспристрастию и опытности, ибо хотя он и был еще президентом коммерц-коллегии, но так как из его ведения уже были изъяты маклеры и вообще он оставался в названной должности только по имени, то легко было бы обойти его при учреждении следственной комиссии. Собиралась она в доме Мятлева. Из допросов, произведенных членам и чиновникам банка, а также имевшим с ними дело маклерам и иностранным купцам, оказалось, что в течение долгого времени при освидетельствовании банка кассир Кельберг клал в сундуки запечатанные пакеты с надписью 10.000, в которых вместо ассигнаций, однажды сосчитанных, лежала белая бумага. «Г. кассир, — говорит Болотов, — подделал казенную печать, все деньги вынул и на место их положил и запечатал мягкую бумагу, а сам дал было стрелка, но Архаров не выпустил его из Петербурга». Жена его, как рассказывает Державин, чтобы приготовить средства к пополнению дефицита, продавала ко двору, при праздновании шведского мира, брильянтовые вещи, и вот что, еще в 1790 году, подало императрице повод заподозрить честность банковских чиновников, так что по ее повелению директоры обоих банков тогда же произвели в них ревизию, но ничего не открыли. Теперь Завадовский поставил себя в трудное положение: в ночь после открытия покражи он велел вывезти из банка к себе на дом два стоявшие там сундука; сведение о том дошло

до императрицы, и она приказала Архарову потребовать у Завадовского объяснения. Он отвечал, что в этих сундуках хранились принадлежавшие ему старые золотые и серебряные вещи и что когда пришлось запечатать банк, то он счел нужным вывезти их. Державин же в записках своих объясняет это тем, что Завадовский, вопреки правилам банка, брал свое жалованье серебром и, кроме того, променивал ассигнации на серебро без платежа лажа, а для прикрытия этого держал в одном сундуке серебряную монету, в другом ассигнации, переводя деньги из одного в другой, для пополнения же происходившего при том дефицита стали брать с заемщиков непомерные проценты.

В записках своих Державин ничего не упоминает о том, что к следствию по этому делу привлечен был комиссиею и сенатор Алексеев (петербургский вице-губернатор) как один из прежних директоров банка, хотя и оставивший эту должность еще в январе 1792 г. Но мы узнаем о том из любопытной переписки Алексеева с князем Н. В. Репниным. Услышав, что в комиссии зашла речь и о времени его управления банком, Алексеев изливает свое негодование на Державина, который, говорит он, имея злостью к П. В. Завадовскому и ко мне, усиливается распространять случившееся несчастье, в предосуждение банкового начальства, даже до времени моей в нем бытности. Но я ласкаюсь, что соблюдение с моей стороны законных постановлений во всей предписанной точности и неприкосновенность к каким-либо самонаималейшим злоупотреблениям сохранят меня от преследования сего злобного человека, пред которым я тем только виновен, что угодно было государыне отказать ему начальство над здешними таможенными, присваиваемое им в лице президента коммерц-коллегии, давно во всем почти уничтоженной. В главное преступление банковым членам приписывает он то, что деньги печатаемы были в пакеты для избежания ежемесячного всех их пересчитывания, которое подлинно введено было в мою еще там бытность по сущей необходимости; ибо находилось тогда в банке от 20-ти до 30-ти миллионов наличных денег, и если бы всех их каждый месяц пересчитывать, то надлежало бы всему банку беспрестанно тем только заниматься, ничего другого не делая... С того времени, по несчастью, сие печатание продолжалось доныне, и злодей на сем распорядке, с помощью фальшивой печати, основал свое хищение... На сей материи случилось мне быть с государынею, и я имел смелость ее величеству признаться, что если печатание денег в пакеты есть преступление, то я нахожусь в числе первых преступников, потому что оное печатание в банке заведено в бытность мою там первым директором, по причине необходимости, выше сего описанной. Всемилостивейшая государыня изволила принять оное со всею благотворною снисходительностью, примечая только, что надобно бы было, вместо сплошных пакетов, делать такие перевязки, чтобы можно видеть, деньги ли в сих перевязках лежат или простые бумаги, и советуя как можно остерегаться подобных подлогов, и прочее». Так писал Алексеев 8-го января 1796 года. Вслед за тем комис-

сия обратилась к нему с требованием объяснения по некоторым представившимся на следствии обстоятельствам. Из вопросов, предложенных Алексееву, легко убедиться, что члены комиссии имели полное основание отнестись к нему за разъяснениями.

Управление банка состояло из главного директора (Завадовского) и нескольких других под ведением его находившихся директоров, из которых один, называвшийся первым, имел высшее наблюдение за хранением денег. По банковому уставу деньги должны были храниться в сундуках в кладовой, а вне кладовой в особых сундуках могло находиться не более как по 10 т. в каждом; все, что окажется свыше этой суммы, должно было всякий день относимо быть в сундуки кладовой. Между тем на деле вне кладовой находились гораздо большие суммы, из которых директора временно брали деньги на свои надобности. Кроме того, кассир Кельберг показал, что в 1790 году первому директору Алексееву поверены были в особый присмотр главным директором Завадовским 240.000, принадлежавших последнему и находившемуся под опекой его камер-юнкеру кн. Голицыну. Эта сумма лежала в особом сундуке без замка за печатью Алексеева, и из нее он по срокам производил платежи. Отсюда, с согласия Алексеева, Кельберг взял на покупку брильянтов 80 т. руб., а когда брильянты были куплены, все же партикулярные деньги между тем потребовались в выдачу, то взамен их взято было, с позволения Алексеева же, из казенных денег 40.000, на место которых положены четыре пакета с пустыми бумагами за печатью Кельберга и в залог коробочки с брильянтами, что и послужило началом расхищения банка. Поэтому главный вопрос Алексееву со стороны комиссии состоял в следующем: «Не с позволения ли вашего сперва партикулярные деньги браны, а потом Кельбергом казенными были заменены или, по крайней мере, не ведали ли вы о том и о другом тогда и после? а ежели не ведали и как по уставу о банке не можно было входить в кладовую без присутствия вашего, то каким образом без примечания вашего и без взыскания все то могло случиться?» Алексеев, ссылаясь на протекшее с тех пор значительное время, почему и не мог он будто бы помнить всех обстоятельств, дал уклончивый ответ, указав только на то, что *невероятно и ненатурально*, чтобы показание Кельберга было действительно, но не мог, однако, не упомянуть, что запечатанные пакеты с надписью 10 т. по решению советников банка были заведены в его время, и при этом заметил, что когда это раз было сделано и потом от времени до времени накопившиеся деньги опять были вкладываемы в пакеты, то банк должен был свидетельствовать запечатанную казну по пакетам, «не имея ни причины, ни права усумниться в верном перечеке своих начальников, и потому осмелиться открывать оные без нового их приказанья... Каким же образом, в какое время и по чьему упущению или оплошности последовало в банке похищение знатной суммы, изыскание сего зависит уже от прозорливости почтенной комиссии». Полученными от комиссии вопросами Алексеев

чрезвычайно оскорбился, что и выразил как в своем официальном объяснении, так и в письме к Репнину от 5-го марта 1796 г., тем более любопытном, что в нем излагается взгляд замешанного в деле лица на образ действий всех членов комиссии и особенно Державина.

В это время следствие было уже окончено комитетом, и доклад для поднесения императрицы изготовлен Державиным. При подписании этого доклада, говорит Алексеев, «происходят теперь между членами комитета споры. Сей комитет явил себя здешнему городу совершенною инквизициею. Одно ночное его заседание всех призываемых приводило в ужас, а грубое и угрожающее с ними обращение гг. Мятлева и Державина оный еще умножало... Последний всем членам банковым не усумнился сказать в глаза, что не кассир вор, а они, слабым, по его мнению, исполнением должностей своих подавшие ему к тому повод... Н. П. Архаров, попавшись между ними, не рад своей жизни. Он, зная, с какой цепи оные псы спущены кусать и лаять, опасается им противоречить, чтобы не бросились и на него для уязвления пристрастием и потачкою. Между прочим, не пропустил случая г. Державин придрататься и ко мне с вопросами...» Эти вопросы и объяснения Алексеева были приложены к письму его, и он продолжает: «Ваше сиятельство изволите усмотреть, каким духом они составлены, изволите увидеть, что г. Державин, не приобрета искомого им против меня оружия из всех показаний преступника и ссылок банковых членов, вознамерился напоследок оскорбить меня хотя одними обидными вопросами, которым никакого места и ни малейшей пристойности совсем не было. О сем Н. П. Архаров предварительно со мною объяснялся в таком виде, что оное необходимо нужно для спасения советника Зайцева против клеветы преступного кассира в рассуждении денег графа П. В. Завадовского, под моим единственною сбережением находившихся, уверив меня, что никаких других вопросов мне не будет. Я, согласившись дать объяснение по истинной правде, просил, однако, его (Архарова), во-первых, чтобы он доложил прежде государыне, будет ли на вопрошение меня ее воля, донеся притом ее величеству и о случае, по какому хотят меня спрашивать; а во-вторых, пожаловал бы, взяв на себя яко начальник здешней губернии вопрос комитетский сам ко мне препроводить, дабы я не имел с оною инквизициею никакого директного сношения. То и другое было с его стороны исполнено, и когда государыня, по его словам, так изволила отозваться, что этот человек не сомнителен и может быть спрашиваем без всякой для него опасности, в то время принял я и вопрос, при письме его, Николая Петровича, ко мне присланный. Но сколь удивился я, найдя в нем весьма много против объяснения Н. П. примеси, и притом толико ядовитой! Первое мое движение было показать вопросы государыне с жалобой на комитет, что он не объяснения от меня требует, надобного к производству дела, а ищет только оскорбить меня обидными вопросами, которые приличны одним открытым и уличенным уже

преступникам; но напоследок, чтобы не досадить Николаю Петровичу, который весьма ко мне милостив, решил я объяснить ся комитету без всякого шума, как ваше сиятельство из включенных бумаг усмотреть изволите».

В том же письме относительно председателя комитета и директора банка сказано: «Граф П. В. Завадовский так был поражен банковым делом, что не только упал духом, но наконец лежал в постели и даже жизнь его считали в опасности. Во время председательствования своего в комитете ничего он не делал и не говорил почти ни слова, оставляя сочленам своим полную свободу терзать банковых служителей и его самого без малейшей пощадки и со всею натяжкой личного к нему недоброчинства... Не могу скрыть моего к нему негодования за малодушие, которым он предал всех своих банковых подчиненных гонению врагов своих собственных... Действия банка и правления, по точным его изволениям, но в некоторое отступление от банкового устава, вменяются им в преступление должности, и оттого люди гибнут, а граф Петр Васильевич молчит. Тем менее он в сем случае извинителен, чем более употреблял в управлении сего департамента собственную свою волю, которую надлежало бы ему теперь обнаружить и, оправдав своих подчиненных, самому дать отчет государыне в причинах, его к тому руководствовавших... Кто бы подумал, что граф П. В., весьма строго поведения человеческие судящий, на первом опыте несчастья совершенно преткнется?»

Как между тем оправдывался сам Завадовский? За несколько дней до приведенного сейчас письма Алексеева он писал об этом деле к графу С. Р. Воронцову. Рассказав о своей болезни и о кознях врагов, он так продолжает: «Уставом банка главные директора уволены от свидетельства казны и ежедневного в правлении присутствия; следственно, я не подлежу ответу. Но не меньше стражду о чинах, которые ни в чем не виноваты опричь оплошности по доверию к мошеннику, что маску носил преверного и преисправного... Из украденных денег половина в беспутных торгах промотана, другая разошлась по купцам на заплату великих процентов, чтоб вносили капиталы в банк, коих наличность, обращая в течение вседневное, закрывал вор свой подлог».

Болезнь Завадовского, поспешность, с какою он вывез из банка свои сундуки, а наконец и его поведение в комиссии заставляют сомневаться, чтобы он был совершенно чист в этом деле. Весьма естественно, что Державин, — при том неуклонном стремлении к справедливости, которое всегда отличало его в подобных делах, и, прибавим, при том нерасположении, какое ему оказывал Завадовский, — не чувствовал никакого побуждения смягчать падавшую на последнего тень. По свидетельству Грибовского, Екатерина, прочитав доклад комиссии, назвала Державина «следователем жестокосердым». По повелению ее, доклад был передан в сенат; там генерал-прокурор и другие приверженцы Завадовского дали делу такой оборот, что произведен-

ное комиссиею следствие признано было недостаточным и определено пополнить его. Пересмотр поручен был Зубову и Безбородке, который во время действий комитета находился в отпуску, в Москве, и только недавно был вызван оттуда. Приезд его ободрил Завадовского. Результатом нового следствия было полное оправдание принадлежавших к высшему управлению банка лиц; осуждены были только кассир Кельберг с женою и несколько человек, признанных его сообщниками: купцов, художников и мастеровых, а также второстепенных чиновников банка. Впрочем, приговор был исполнен не прежде как в царствование императора Павла. Решено: Кельберга лишить чинов и дворянства и сослать вместе с женою в тяжкую работу. Из сообщников его одни присуждены к наказанию кнутом, другие к ссылке равным образом в тяжкую работу, третьи к денежным взысканиям. С бывшего директора банка Туманского положено взыскать 15.000, с нотариуса Кремпина 11.000 руб., советников же правления и директоров — отрешить от должностей их. На этот приговор 4 декабря 1796 г. последовала высочайшая резолюция: 1) Кельберга выводить по три дня на площадь и ставить у столба с привешенною на груди таблицею: вор государственной казны; 2) сообщников его второй степени от наказания кнутом освободить «из единственного человеколюбия и милосердия нашего».

Поводом к такому частному смягчению приговора было то, что великий князь Александр Павлович ходатайствовал за одного из главных сообщников. Император Павел готов был допустить в пользу этого преступника исключение и помиловать его; Безбородко поддерживал это намерение, но И. В. Лопухин энергически противился подобной несправедливости и представлял, что в таком случае и все виновные того же разряда должны воспользоваться облегчением наказания. В приговоре все осужденные поименованы; тот, за которого просил великий князь, был, как оказывается, архитектор Кавалиари, благодаря которому, таким образом, и все в равной с ним мере провинившиеся были освобождены от телесного наказания.

27-го марта 1796 года Державин писал к Мертваго: «Банковая комиссия была трудная и щекотливая, которая меня беспрестанно занимала, а теперь, слава Богу, хотя кончилась, но на поднесенный доклад конфирмация еще не вышла». В том же положении дело находилось еще и в мае, как видно из письма Державина от 5-го этого месяца; «однако ж, — говорит он тут, — Завадовский сменен Румянцевым» (Н. П.); при императоре же Павле будущий министр просвещения, вследствие другого подобного дела, был отставлен от службы, чем, вероятно, обязан был Ростопчину.

Что касается поведения Державина как члена банковской комиссии, то он сам отдает нам отчет в нем. Завадовского как председателя этой комиссии допрашивать было невозможно, трудно было и противоречить ему, а между тем следствие не достигло бы цели, если бы истина осталась не вполне раскрытою; комиссия в таком случае заслужила бы упрек в недобросо-

вестности и криводушии: поэтому Державин принял за правило обо всем, что будет обнаруживаться на следствии, сообщать Зубову, так как все ему известное непременно доходило и до сведения императрицы. Весь образ действий Державина в комиссии не мог не усилить вражды к нему Завадовского, которая с тех пор уже никогда не угасала: когда при императоре Александре I Державин занял пост министра юстиции, то Завадовский в письме к графу Воронцову весьма резко отозвался о своем собрате; говорил о «природном ему сумасбродстве», о преобладании в нем воображения над здравым рассудком, и в заключение заметил: «Открывается, что благодать сия нам пришла от Зубовых, и хотя не могу думать, чтобы комета пребыла долго, которой пища — розыски и доносы, но и в малые дни следы колобродства не на поверхности останутся».

Упоминая в своих записках о кончине Екатерины, Державин не удержался от упрека ее памяти в том, что он не получил от императрицы никаких особенных наград, но в то же время он помянул ее и добром, признав за самую бесценную награду, «что она, при всех гонениях сильных и многих неприятелей, не лишила его своего покровительства и не давала, так сказать, задуть его». «Однако ж, — прибавляет он, — не давала и торжествовать явно над ними огласкою его справедливости и верной службы или особливою какою-либо доверенностью, которую она прочим оказывала». Это объясняется тем, что в самых похвальных поступках Державина приемы его были обыкновенно жестки и резки: великую честь Екатерине приносит то, что, несмотря на его часто чересчур смелые выходки, она все-таки умела ценить в нем хорошее и продолжала давать ему поручения и возвышать его. И тут нельзя опять не отдать справедливости ее умению пользоваться для своих целей даже недостатками известных ей лиц. Находя, что Екатерина не безусловно служила правде, и потому сомневаясь, чтобы она в отдаленном потомстве сохранила название Великой, обвиняя ее в излишнем славолюбии и даже в завоевательном духе, особливо за последние годы ее царствования, когда, по его словам, и в администрации размножились всякого рода злоупотребления, Державин кончает однако желанием: «Да благословенна будет память такой государыни, при которой Россия благоденствовала и которую долго не забудет!»

16. Частная жизнь. Смерть жены

Обозрев служебную деятельность Державина до кончины Екатерины II, взглянем теперь на другие стороны его жизни со времени назначения в кабинетские секретари. Здесь в первый раз представляются нам его хозяйственные заботы по деревенским делам. Чтобы жить в Петербурге сообразно со своим положением, надо было подумать об увеличении своих доходов, и для этого супруги занялись улучшением своего оренбургского

имения, к которому еще прежде они прикупили земли у соседних башкир и куда перевели крестьян из рязанской деревни. Теперь в имении Державине был новый управляющий. В конце 1790 года Гаврила Романович взял в эту должность по контракту, за 500 р. в год, губернского секретаря Онисима Мих. Перфильева и вступил в деятельную с ним переписку. Речь шла об устройении в деревне винокуренного завода, но с тем чтобы не отрывать крестьян от их работ, употребляя их не иначе как по найму. В то же время предположено было завести там полотняную и суконную фабрики, на которых крестьяне выучились бы из своей собственной пряжи ткать для себя посредственные полотна и для себя же делать порядочные сукна. При этом Державин объяснял, что его цель вовсе не личная прибыль и не заведение фабрик на широкую ногу: он желал так устроить их, чтобы не только работники для себя и для своего господина ткали, но чтобы и всякий крестьянин мог ими пользоваться так, как пользуются мельницами, толчеями и т. п. Эта мысль, говорил он, «покажется многим странною, но со временем она, по своей пользе, лучшими экономами похулена не будет». В руководство он послал Перфильеву наставление известного казанского заводчика Осокина и велел отправить на его фабрику в учение несколько крестьян из своих казанских деревень. Между тем в оренбургском имении строилась также церковь; в Петербурге писались для нее «самым лучшим мастерством образа». Державин вызывался закупить в синоде не только церковных, но и других поучительных книг, обещал прислать нот для партесного пения и благодарил Перфильева за исходатайствование у архиерея хорошего священника, прося поддерживать последнего в обучении крестьянских мальчиков грамоте и пению. Когда церковь была готова и в ней началась служба, Державин писал между прочим: «Священника нашего благодарите за проповеди, я очень ими доволен: он имеет и способности, и знания для сего дела нарочитые; прошу, чтоб продолжил; в благодарность мою купите ему сукна на рясу и подарите, а книг ему для наставления в проповедях прислать не умедлю».

Столь же благоприятно в пользу Державина свидетельствуют его заботы о крестьянах. Так, по поводу постройки винокуренного завода он пишет к своему управляющему: «О казанских крестьянах скажу: это недурно, что их употребили в помощь уфимским, но только, как они платят оброк, то не тягостно ли им будет? ибо уже вдвойне от них подать через то придет». В другой раз он просит производить по настоящим ценам плату всем, при работах употребляемым, не только мастерам, присланным от соседа (Столыпина), но и своим людям. И позднее он подтверждал, чтобы все делалось наймом, позволяя брать крестьян только в крайней необходимости, с величайшею бережливостью, чтобы не удалять их от настоящего их хозяйства и не угнетать лишнею работою. Во всех своих предписаниях по имениям он является истинно просвещенным помещиком.

За делами оренбургской деревни Державина наблюдал издали и новый приятель его Мертваго, который, живя в Уфе, особенно занимался об устройстве поставки с его завода вина в Ураленко, Оренбург и другие города тамошнего края. Между тем финансы Державина были в очень дурном положении; в Петербурге ему не удавалось сводить концы с концами: он просил Перфильева присылать остающиеся за экономическими нуждами деревенские доходы, «ибо, — говорил он, — здесь по дороговизне почти беспрестанно занимаю». В другой раз он сознавался, что кругом должен. Завод не приносит ожидаемой прибыли: вместо 10.000 ведер вина, как надеялись, выкуривалось в зиму не более половины того. Денег на устройство было истрачено уже до 15.000 руб. Мало-помалу доверие к Перфильеву поколебалось. Вместо того, чтобы добросовестно заниматься на месте управлением имения, он, вопреки совету Державина, приезжал в Петербург; воротившись же в деревню, не присылал отчетов, которых владелец настойчиво требовал. Наконец, в покупке для завода кубов, оказавшихся негодными, обнаружился несомненный обман, а вскоре открылись и другие плутни, напр., утайка части вырученного дохода и выкуренного вина. В начале 1794 года родственник Державина, подполковник А. В. Страхов, отправляясь по своим делам в Оренбургский край, обещал заняться и его деревенскими делами, — потребовать у Перфильева отчета во всех его действиях по управлению имением и в случае надобности просить на него суда. Из дальнейшей переписки Державина видно, что Перфильев, избегая ответственности, бросил все дела его и тайно увез часть его имущества; когда же на имение Перфильева было наложено запрещение, то он явился в Петербург с жалобой на Державина и на Мертваго. Требовали, чтобы он воротился к месту своей деятельности, но он разными каверзами так ловко повернул дело, что добродушный поэт сам просил о снисхождении к своему управляющему. «Перфильев, — писал он к Мертваго, — просьбою убедил меня, чтоб не настоять о скорой его высылке к вам, вследствие чего и просил я гг. сенаторов, чтоб приостановить его отселе отправление, доколе не рассмотрится от вас присланное объяснение, или паче пока лично не удостоверюсь я с деревни, стоит ли того, чтоб продолжать с ним хлопоты». Между тем надежды на Страхова также рушились. Долго не было об нем ни слуху ни духу; Державин дивился, что около двух лет не имел о нем известий: «Поистине, — писал поэт, — грустно и вспомнить, что имеешь деревни». Наконец пришел отчет, но вскоре опять получено неутешительное уведомление, что Страхов из деревни выехал и завод оставлен без всякого попечения. Державин убедился, что на родственника, занятого своею службой, также надеяться нельзя, и для приведения дел оренбургского имения в порядок необходимо было бы самому туда съездить, но, как мы видели, служебные обязанности не позволяли ему отлучиться. Тогда он решился прибегнуть к помощи зятя Мертваго, Петра Ив. Чичагова, также служившего в Уфе, и просить его принять на себя главное

наблюдение за хозяйством села Державина и освящением тамошней церкви. Дело устроилось, и в июле 1796 года поэт писал к Мертваго: «Спешу вас благодарить за такого человека, которого ум и сведения уверяют меня в полной мере, что деревни мои будут иметь не расхитителя, а устроителя и попечителя как о моем, так и о их благе». В то же время Державин хлопотал о займе 12.000 рублей для уплаты долга графине Браницкой, которая ссудила его этой суммой для внесения в банк по окончании срока займу. Мертваго обещал помочь ему занять эту сумму в провинции.

К неприятностям, которые испытывал Державин и по службе, и по своим хозяйственным делам, присоединилась тяжкая семейная скорбь: 15-го июля 1794 года он лишился жены, так нежно любившей его и так умевшей облегчать ему житейские невзгоды. Здоровье ее сильно поколебалось в Тамбове, где и теперь жалуются на климат, располагающий к лихорадкам. После известной злополучной ссоры Катерина Яковлевна слегла на несколько недель и уже никогда не могла вполне оправиться. В конце 1793 года Елиз. Корн. Нилова, в письме из Тамбова, выражала ей сожаление, что она «все еще не освободилась от болезни, которую ее наградило *здесь* губернаторство». 22-го апреля следующего года Гаврила Романович писал Дмитриеву: «Катерина Яковлевна моя насилу-насилу теперь только стала отдыхать и воскресает из мертвых». Но эта надежда была непродолжительна: 24-го июля поэт в немногих строках уведомил друга о кончине «своей Пленеры, которая, — говорил он, — для меня только жила на свете, которая все мне в нем составляла».

Мы уже не раз говорили о качествах Катерины Яковлевны. Она была не только отлично хозяйкой, верною помощницей и утешительницей мужа, но умела также ценить и ободрять его поэтический талант. По собственному его сознанию, она «любила его сочинения, с жаром и мастерски нередко читывала их». В последнее время жизни она дала ему трогательное доказательство своей заботливости о его славе: тайком от него собрала все его стихотворения и своей рукой переписала их в одну тетрадь. Так как ему не удавалось новыми стихотворениями удовлетворить ожиданиям императрицы, то Катерина Яковлевна посоветовала ему поднести по крайней мере собрание прежних произведений своих, между которыми были и не известные еще государыне. Высказав эту мысль, она, к удивлению мужа, вручила ему переписанную ею тетрадь.

Мы не боимся возмутить прах Державина, упомянув об оставшемся в переписке его свидетельстве, что по крайней мере однажды между супругами произошло несогласие, виною которого была, вероятно, его вспыльчивость. В одной записке из Царского Села, отнесенной к 1793 году, он упрекает жену, что она к нему не едет по своенравию и гордости. «Не хочешь, — говорит он, — по случившейся размолвке унизиться пред мужем... Где же та добродетель, которою ты отличаешься от прочих женщин и которою ты даже хвалишься?.. Забудь, душа

моя, прошедшую ссору; вспомни, что уже целую неделю я тебя не видал и что в середине Ганичка твой — именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга».

Смерть Екатерины Яковлевны составила чувствительную потерю и для друзей поэта; Дмитриев и Капнист оплакали ее в стихах: первый написал по этому случаю послание «К Державину»; второй — элегию «На смерть Пленеры» и, кроме того, «Годовое воспоминание Пленериной кончины». Сам Державин посвятил ее памяти престелное элегическое стихотворение «Ласточка» и набросал было еще эскиз другой пьесы, в подражание Оссиану, имевшей то же назначение, но не совладал с нею, как видно из его письма к Дмитриеву от 17-го октября 1794 г. Изъявляя другу благодарность за стихи на смерть Екатерины Яковлевны, он говорит, что они стоили ему много слез, что он и теперь еще не может читать их без рыдания, и прибавляет: «я хотел было сам писать, но или чувствуя чрезмерно мою горечь, не могу привести в порядок моих мыслей, или, как окаменелый, ничего и мыслить не в состоянии бываю». Что Державин в первое время по смерти жены действительно тяжело скорбел, это подтверждают многие современные свидетельства. Мертваго, около этого времени приехавший в Петербург по своим делам, говорит: «Я нашел там благодетеля своего в самом грустном положении: жена его — больная при смерти, и через несколько дней при мне скончалась; он — в ссоре со всеми знатными боярами; императрица была им недовольна. Рассказывая ему все несчастные мои обстоятельства, я просил доброго его совета, не ожидая от него никакой помощи; но он, придумывая разные способы, через несколько дней, несмотря на болезнь жены ему милой, поехал на праздник в Царское Село только для того, чтобы узнать, получил ли генерал-прокурор донесение губернатора и что думает он сделать. Екатерина Яковлевна, уже смерти ожидавшая, лежала в постели; я сидел возле нее, держа ее за руку; муж, ходя близ кровати, говорит: «Как мне ехать в Царское Село и оставить ее на два дни!» Она, его подозвав, сказала: «Ты не имеешь фавору, но есть к тебе уважение; поезжай, мой друг, ты можешь говорить за него; Бог милостив: может, я проживу столько, что дождусь с тобой проститься». Гаврила Романович страстно любил свою жену, но поступил великодушно... Вскоре скончалась Екатерина Яковлевна, женщина действительно отличных достоинств. Он предался горчайшей печали, и я не отходил от него».

Со слов Дмитриева Жихарев рассказывает: «По кончине первой жены своей Державин приметно изменился в характере и стал еще более задумчив, и хотя в скором времени опять женился, но воспоминание о первой подруге, внушившей ему все лучшие его стихотворения, никогда его не оставляет. Часто за приятельскими обедами, которые Гаврила Романович очень любит, при самых иногда интересных разговорах или спорах, он вдруг задумается и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной, драгоценные ему буквы К. Д. Вторая супруга его, заметив это несвоевременное рисование, всегда выводит его из мечтания

строгим вопросом: Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь? — Так, ничего, матушка! — обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая себе глаза и лоб, как будто спросонья». При передаче этого рассказа Жихарев повторяет слухи о Катерине Яковлевне как «женщине необыкновенной по уму, тонкому вкусу, чувству приличия и вместе по своей милovidности».

Тело ее погребено на Лазаревом кладбище Александроневской лавры, невдалеке от могилы Ломоносова. На гробнице ее высечена эпитафия, сочиненная мужем:

Где добродетель? где краса?
Кто мне следы ее приметит?
Увы! здесь дверь на небеса...
Сокрылась в ней — да солнце встретит!

17. Второй брак

Ровно через полгода после такой тяжелой утраты Державин вступил в новый брак. В объяснение этой странности близкие к нему лица указывали на особенности его духовной природы, чувствовавшей неодолимую потребность в общении, в разделении всedневных забот и тревог; более же всего выставляли его беспомощность в практической жизни, его совершенную неспособность вести самому свои хозяйственные дела. Кроме того, нельзя не принять во внимание, что второю женой его сделалась девица, которую он давно знал, которую любила Катерина Яковлевна и во взаимности которой он заранее был уверен. Дарья Алексеевна Дьякова была невесткою (сестрою жен) двух друзей его, Львова и Капниста, и еще при жизни Катерины Яковлевны не скрывала своего доброго расположения к ее мужу, как видно из одного рассказанного им в записках случая. Отца ее, Алексея Афанасьевича Дьякова, в это время уже не было в живых. Вот несколько сохранившихся о нем известий. Он родился в 1721 г., воспитывался в Сухопутном шляхетном корпусе и долго служил потом обер-прокурором в сенате. Для своего времени он был человеком довольно образованным: знал четыре языка, любил чтение, особенно исторических книг и путешествий. Женат он был на княжне Авдотье Петровне Мышецкой, сестра которой была замужем за Бакуниным, братом известного дипломата. Это родство доставило Дьяковым несколько знакомств в высшем петербургском обществе. Красавицы дочери его блистали на вечерах у Льва Александровича Нарышкина и составляли кадрили великого князя Павла Петровича. По тогдашнему они были воспитаны недурно. Александра Алексеевна, вышедшая за Капниста, получила образование в Смольном монастыре; другие две, Мария (жена Львова) и Дарья, были воспитаны дома: они говорили по-французски, но, как вообще водилось в то время, очень неправильно писали по-русски. У них

были еще две сестры, из которых Екатерина была за графом Стейнбоком. Выйдя в отставку в 1789 году, старик Дьяков гостил то у Стейнбоков, живших в Ревеле, то у Капнистов в Обуховке. В этом имении он и умер 7-го июля 1791 года, и похоронен в тамошнем саду. Дарья Алексеевна жила у графини Стейнбок. В конце 1794 г. обе приехали на время в Петербург. Державин пригласил их к себе на обед, а через несколько дней сделал девице Дьяковой предложение, которое и было принято. Жениху шел 52-й год, а невесте 28-й: она родилась 8-го марта 1767 года. Это была красавица высокого роста и крупных форм, величавая, но холодная; правильным чертам лица ее недоставало одушевления и живости.

От времени, протекшего между помолвкой и свадьбой, которая была 31-го января 1795 года, сохранился ряд записок Державина к невесте. В них он уже называет ее то Дашенькой, то Миленой, двумя именами, под которыми она с тех пор является и в стихах его. К этому же промежутку времени относится замечательная его пьеса «Призывание и явление Пленеры». Она состоит всего из двух строф; в первой, призывая тень умершей, он сетует:

Хоть острый серп судьбины
Моих не косит дней,
Но нет уж половины
Во мне души моей!

Во второй строфе поэт воображает, что тень Пленеры, сойдя к нему на этот зов, благословляет его на новый брак и говорит ему:

Миленой половину
Займи души твоей.

Таким образом, он как будто оправдывается перед самим собой в скором решении своем. Другое тогдашнее стихотворение его «Мечта» написано на стговор с Дьяковой и в оригинальных грациозных образах рисует зарождение любви в сердце невесты. В сущности, ни Дарья Алексеевна, ни жених ее не были влюблены друг в друга; хотя она и была почти на четверть века моложе его, но для нее пора первой молодости также уж миновала. Он сам в своих записках сознается, что это супружество основывалось более на чувстве давнишней дружбы и на благоразумии, нежели на страсти. Дарья Алексеевна получила светское воспитание, училась немногому, но имела талант к музыке и играла на арфе. По характеру она во многих отношениях составляла совершенную противоположность покойной Катерине Яковлевне: была сосредоточена в самой себе, сдержана и суха в обращении даже с близкими людьми, часто нелюбезна к друзьям своего мужа, но вместе с тем, однако, добра, благотворительна, спра-

ведлива, великодушна, и потому, несмотря на свои недостатки, любима и уважаема жившими с нею: она не терпела злословия и никогда не позволяла при себе дурно говорить об отсутствующих. В ней были необъяснимые противоречия: при видимой холодности она иногда, среди разговора, вдруг растрогается и отойдет в сторону, чтобы никто не видел ее слез. В хозяйстве она была чрезвычайно расчетлива, когда дело шло о мелочах; но не жалела денег на крупные расходы и была щедра к зависевшим от нее людям: так, после смерти мужа, она до конца жизни не увеличивала оброка со своих крестьян, хотя ее и уверяли, что, напр., оренбургское имение могло бы давать гораздо более. Благодаря твердому характеру и экономическим способностям Дарьи Алексеевны материальная сторона жизни Державина скоро улучшилась; но вместе с тем, кажется, первенство власти в его доме решительно перешло в руки новой хозяйки.

18. Литературная деятельность

Как видно из переписки Державина с Мертваго, ода «Водопад» была кончена вскоре после смерти Екатерины Яковлевны. К первой половине того же года относятся два больших стихотворения его: «Мой истукан» и «Вельможа». Первое написано по поводу сделанной Рашетом бюста его; второе передано из пьесы «На знатность», напечатанной им почти за двадцать лет перед тем в книжке «Читалагайских од»: изображая вообще величие истинного достоинства, оно в особенности посвящено похвале Румянцева. По содержанию обе оды в близком между собой соотношении. В первой нельзя не отметить обращения поэта к самому себе и вызванных тем опасений за свою славу в потомстве (строфы 19 и 20); вторая, о которой мы уже говорили при первоначальном ее появлении, замечательна по сатирическим выходкам против недостойных вельмож, по живости образов и множеству счастливых стихов.

В конце 1794 года написана ода «На взятие Варшавы». С появлением ее связано довольно любопытное обстоятельство. И. И. Дмитриев находился на родине, в Сызрани. По одному из тех слухов, которые легко возникают в военное время, он, перед отъездом своим в Астрахань (где у него была известная тяжба), написал оду «На покорение Варшавы», и хотя еще в дороге узнал, что слух неверен, но по привычке сообщить Державину всякое свое сочинение все-таки отправил к нему новую оду. Между тем в Петербурге получено было известие о победе, одержанной Ферзенем над Костюшкой, и Державин по этому случаю представил оду своего приятеля Зубову. Она тогда же была напечатана на счет Кабинета под заглавием «На разбитие Костюшки глас патриота». Весь город и сама императрица приписали ее Державину, хотя на ней и было выставлено имя настоящего ее автора. «Невероятным показалось, — говорит Дер-

жавин в письме к Дмитриеву, — как в Астрахани сочиненные стихи могли так скоро сюда перелететь» и явиться в печати почти одновременно с известием о победе Ферзена. Чтобы отдать Дмитриеву принадлежавшую ему честь, Державин должен был показать Зубову полученное от Ивана Ивановича письмо. Со своей стороны, и Карамзин в Москве старался вывести любителей поэзии из заблуждения.

Не так посчастливилось оде, написанной вскоре после того Державиным. История ее появления также любопытна. При первом известии о взятии Варшавы Суворовым поэт написал только четверостишие:

Пошел — и где тристаты злобы?
Чему коснулся, все сразил!
Поля и грады стали гробы;
Шагнул — и царство покорил!

Эти стихи тогда же были отправлены автором, при поздравительном письме, к Суворову, который, как читатели помнят, было давно с ним знаком. Но затем Державин решился распространить это четверостишие и написал, по собственным словам его, «в один присест» целую оду. Через несколько времени (уже в 1795 году) эта ода, прочитанная и одобренная императрицей, была напечатана в числе 3000 экземпляров в пользу двух каких-то бедных вдов. Но ей не суждено было тогда же явиться: в печати она, как писал Державин к Мертваго, «не полюбилась» государыне, и все экземпляры были «заперты в Кабинете ее». Причину неудовольствия императрицы поэт объясняет следующим образом. Попов, читая ей оду вслух, поставил не на месте одно ударение; именно прочел:

Бессмертная Екатерина!
Куда и что еще? Уж полно... —

вместо «Уже полна» (великих ваших дел вселенна).

Императрице показалось, что поэт вздумал давать ей советы. Не понравились также слова, в начале оды сказанные на счет государыни и вместе русского народа:

Уж ваши имена
Триумф, победы, труд не скроют времена!

Всего же неприятнее подействовали стихи, обращенные к Суворову, в которых государыня увидела, как ей показалось, отражение мыслей якобинцев:

Трон под тобой, корона у ног,
Царь в полону.

Так рассказывал Державину присутствовавший при чтении граф А. И. Мусин-Пушкин. Независимо от приведенных мест, ода эта и в художественном отношении не могла произвести на Екатерину особенно приятного впечатления: при длинноте своей она содержит довольно того, что Белинский называет риторикою, т. е. стихов хотя и громких, но не согретых жаром чувства или вдохновения. Гиперболические образы, в которые поэт облакает подвиги Суворова как героя, напоминающего сказочных богатырей, были, конечно, согласны с духом народной поэзии, но едва ли могли быть вполне оценены императрицей или очень понравиться ей.

В последние два года жизни Екатерины II Державин, несмотря на встречавшиеся ему неприятности, а может быть и вследствие их, обнаружил особенную производительность. В это время он написал несколько замечательных и отчасти обширных стихотворений в разных родах. Некоторые из них, получившие форму посланий, имеют прямое отношение к его биографии.

В «Приглашении к обеду» он обращается к И. И. Шувалову, к Безбородке и Зубову. Это одна из тех пьес, где типически проявился талант Державина в простоте и сердечности тона, в народности языка, в яркой живописи праздничной обстановки. Ода открывается блестящей картиной накрытого для гостей праздничного стола:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовонья льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть.
Хозяйка статная, молодая
Готова руку протянуть.

При исчислении того, что составляет богатство его дома, поэт отмечает «и твердый свой, нельстивый нрав». В 3-й строфе говорится между прочим:

На русский мой простой обед
Я звал одну благоприятность;
А тот, кто делает мне вред,
Пирушки сей не будет зритель...
И вражий дух да отженется,
Моих порогов не коснется
Ни чей недобротный шаг.

В последующих двух строфах поэт философствует, и мы находим тут несколько оригинальных выражений:

И знаю я, что век наш тень,
 Что, лишь младенчество проводим, —
 Уже ко старости приходим
 И смерть к нам смотрит чрез забор.

.....
 Слышал, слышал я тайну эту,
 Что иногда грустит и царь;

Ни день, ни ночь покоя нету,
 Хотя им вся покойна тварь.
 Хотя он громкой славой знатен,
 Но, ах! и трон всегда ль приятен
 Тому, кто век свой в хлопотах?
 Тут зрит обман, там зрит упадок:
 Как бедный часовой тот жалок,
 Который вечно на часах!

Эта-то строфа и выходка против врагов Державина, вероятно, были причиной, что осторожный Карамзин, получив стихотворение для своих «Аонид», не решился напечатать его и в письме к Дмитриеву заявил: «Приглашение к обеду» останется между моими бумагами и не пойдет в типографию». Кроме того, Карамзин мог опасаться, что похвала Безбородке не понравится первенствовавшему в то время при дворе Зубову, на отсутствие которого намекала последняя строфа: он обещал также быть, но перед самым обедом прислал сказать, что его удержала государыня. Вот почему поэт в заключении говорит:

А если ты или кто другие
 Из званых, милых мне гостей,
 Чертоги предпочтя золотые
 И яства сахарны царей,
 Ко мне не срядитесь откушать, —
 Извольте вы мой толк прослушать:
 Блаженство не в лучах порфир,
 Не в вкусе яств, не в неге слуха,
 Но в здравьи и спокойстве духа:
 Умеренность есть лучший пир.

Державина упрекали в противоречии, оказывающемся между этою похвалою умеренности и описанием довольно прихотливых принадлежностей пира в начале стихотворения. Но уже Белинский, отдававший справедливость красоте оды «Приглашение к обеду», заметил, что понятие об умеренности относительное: и в самом деле, Державин говорит здесь о своем столе по сравнению с этою роскошью, которая ожидала гостей в царственных чертогах.

Две маленькие пьесы «Гостю» и «Другу» принадлежат к антологическому роду, к которому наш поэт более и более склонялся с этого времени, и в котором он мог бы создать много превосходного, если бы имел истинное понятие о требованиях

художественности в целом и в отделке стиха. Но на той степени эстетического образования, на какой стоял Державин, он мог только инстинктивно и, так сказать, случайно иметь удачу в стихотворениях этого рода. Первое из двух названных особенно посчастливилось ему по затейливости образов и выражений, так верно передающих дух века. В этих стансах поэт предлагает своему гостю уснуть после обеда в его спальне и, рисуя негу этого отдыха, кончает так:

Хоть девушки мои домашни
Рукой тебе махнут, я рад:

Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни клад.

Под гостем разумел он Вельяминова, одного из своих приятелей, отличавшегося оригинальностью и часто упоминаемого в стихах его.

Другая пьеса, «Другу», написана на прогулку в саду принадлежавшей Н. А. Львову дачи близ Невского монастыря. Это стихотворение, так же как и предыдущее, обращает на себя внимание по новости оборота и некоторой шаловливости содержания. И здесь поэт не забывает домашних девушек, очерчивает их наружность и исполняемую ими перед господами пляску. Даша и Лиза были две цыганки, взятые Львовым в дом его. В заключение поэт предлагает выпить за здоровье не друзей только, но и врагов:

. . . за тех, кто нам злодеи:
С одними нам приятно быть,
Другие же, как скрыты змеи,
Нас учат осторожно жить.

Мысль о пользе, приносимой человеку и врагами его, выражена Державиным также в известном его четверостишии о самом себе:

Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных содом —
Природа, нужда и — враги.

Врагов у Державина было много при жизни, немало и по смерти его людей, готовых принять на веру всякое, как бы ни было голословно, пущенное в ход обвинение против него. Враги этого рода также полезны: они заставляют биографа пристальнее вглядываться во все обстоятельства, чтобы добиться истины. В ряду взводимых на Державина нареканий к последним годам царствования Екатерины относятся толки о той роли, какую он будто бы играл в деле Радищева. Здесь будет кстати рассмотреть эти толки.

18. Отношение к делу Радищева

В сборнике «Вчера и сегодня», изданном в 1845 году гр. Соллогубом, напечатано частное письмо из Москвы от 14-го июня 1802 года, в котором пишущий (Каменев), собираясь в Петербург, говорит между прочим: «Поеду по тем станциям, где идеально блуждал Радищев и мечтал, пером своим, в желчи обмокнутым, давать уроки властям. Сказывают, что сочинитель «Водопада» надписал еще на манускрипте его «Путешествия»:

Езда твоя в Москву со истиною сходна,
Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна;
Я слышу, на коней ямщик кричит: вирь, вирь!
Знать, русский Мирабо, поехал ты — в Сибирь.

Приведенное место из письма Каменева дает знать, будто Радищев сообщал Державину свое «Путешествие» в рукописи; но обнаруженные в истекшие два десятилетия довольно обильные сведения о деле Радищева не позволяют ни на минуту усомниться в ложности этого известия. Остается принять, что записанные Каменевым стихи просто ходили по рукам под именем державинских. Приписывать какой-нибудь знаменитости то, что вышло довольно удачно из-под пера безыменного автора и распространилось в публике, — дело весьма обыкновенное; так и Державину легко могла быть приписана эпиграмма на Радищева; но чтобы он действительно был автором ее — ничем не подтверждается. Напротив, важным доводом к отрицанию этого является то обстоятельство, что ни в чистых, ни в черновых тетрадах нашего поэта, куда он заносил все, что ни писал, нет никаких следов этой эпиграммы, а одного постороннего указания, конечно, недостаточно, чтобы положительно признать ее за произведение «сочинителя «Водопада».

Из детей Радищева младший сын его, Павел Александрович, достиг глубокой старости и оставался в живых до 1870-ых годов. Около того времени, когда в нашей литературе началось почти общее гонение на Державина, в «Русском вестнике» (1858 года, № 23) появилась статья г. Корсунова о Радищеве, при которой было, между прочим, приведено сообщенное сыном последнего сведение, будто Державин поднес императрице доставленный ему экземпляр «Путешествия», «отметив карандашом все важнейшие места». Это рассказывал, по уверению Павла Радищева, сам отец его. В 1868 году тот же Павел Александрович напечатал отдельно брошюру «Радищев и его книга» и здесь прежнее сведение насчет Державина пополнил следующим образом: «Он (т. е. Радищев-отец) разослал свою книгу знакомым, чем, по мнению Пушкина, поставил в очень неловкое положение Державина. Надо, однако, заметить, что если положение и было сколько-нибудь неловко, то Державин вывернулся из него чрез-

вычайно ловко: он представил императрице сочинение Радищева с подробным доносом на автора». Такое усиленное обвинение сомнительно уже потому, что его не было при первоначальном показании того же лица, а кроме того, нельзя упустить из виду, что оно явилось тогда, когда поругание памяти Державина было одною из любимых замашек нашей журналистики. Понятно, что вообще свидетельства Павла Радищева не могут внушать большого доверия: так как ему при задержании отца его было не более 6 лет от роду, то он в своих позднейших показаниях мог основываться только на давнишних рассказах отца (умершего в 1802 году); но этот последний, взятый под стражу вскоре после выпуска книги, сам мог узнать разные подробности касательно преследования ее только по случайно доходившим до него слухам, в которых, естественно, кое-что справедливое смешивалось со многим неверным. Что сыну его не был в точности известен ход дела о книге «Путешествие», видно между прочим и из рассказа его о цензуровании ее, по поводу чего г. Шугуров в своей статье о Радищеве замечает: «Этот рассказ положительно неверен: Павел Александрович, очевидно, не знал обстоятельств дела, которое происходило иначе». Кто читал его книгу и вдобавок имел, так как мы, случай лично познакомиться с ним, тому хорошо известно, можно ли было ожидать от него самостоятельно-го суждения в занимающем нас вопросе и был ли он способен устоять против господствовавших в тогдашней журналистике течений.

Молва о том, будто Державин представил со своими комментариями книгу Радищева императрице, опровергается свидетельством Храповицкого, записанным в его дневнике под 26-м июня 1790 года: «Говорено о книге «Путешествие от Петербурга до Москвы». Тут рассевание заразы французской: отвращение от начальства; автор мартинист; я прочла 30 страниц. Посылка за Рылеевым. Открывается подозрение на Радищева». Итак, Екатерина, прочитав тридцать страниц книги, еще не знает, кто автор ее. Он неизвестен государыне еще и тогда, когда она дошла до 88-й страницы, ибо в разборе своем она по поводу этой страницы говорит: «88 стр., упоминается о знании, что имел случай по счастью моему узнать: кажется, сие знание в Лейпциге получено и доходит до подозрения на господ Радищева и Челищева, паче же буде у них заведена типография в доме, как сказывают». Слух, переданный сыном Радищева, в прямом противоречии как с этой заметкой Екатерины II, так и с несомненными показаниями Храповицкого, который не прежде как под 2-м июля положительно называет Радищева как автора книги, уже сидящего в крепости. Если бы Державин представил императрице свой экземпляр «Путешествия», то, конечно, не утаил бы и имени сочинителя, от которого получил его. Притом, по достоверному свидетельству Гельбига, об этой книге императрица узнала от Шешковского.

Но есть еще одно сведение, представляющее в неблагоприятном свете отношение Державина к делу Радищева. По поводу запрещения трагедии Княжнина «Вадим» в ноябре 1793 года княгиня Дашкова в письме к брату, графу А. Р. Воронцову, передает свой разговор с Поповым, приехавшим к ней прямо от императрицы. В этом разговоре речь мало-помалу дошла до книги Радищева, и Попов сообщил княгине слова государыни, что она не хотела верить клевете, будто Дашкова и брат ее участвовали в сочинении этой книги. «Если бы я другую душу имела, — отвечала я (продолжает Дашкова в письме своем), — то бы я тем паче желала с нею говорить о сей книге, что когда Козодавлева посадили в коммерцию, то Державин сказал при многих: «Вот какой я души человек, что я не сказал о Козодавлеве, что он участие имел в сочинении Радищева». Козодавлев против меня неблагоприятен, меня злословит. Державин меня и брата злословит: я имею де способ изболочить обоих и не хочу. Для чего, когда Державин, почувствовав ужас к следствиям преступного сочинения и зная прямых сочинителей, марал и клеветал честных людей? Вышеупомянутая речь мне пересказана от честного и нелживого человека, от Богдановича, при котором он говорил». — Зная тогдашние отношения между Державиным и княгиней Дашковой, надо согласиться, что и на этой сплетне, рассказанной через три с лишком года после истории с книгой Радищева, трудно основаться для положительного обвинения Державина в приписываемом ему поступке. Нет, конечно, никакого сомнения, что по своему образу мыслей он не был расположен к Радищеву и строго осуждал его сочинения. Это становится еще яснее из другого места того же письма. «Однажды, когда мы были в Российской академии, — пишет кн. Дашкова, — Державин, говоря о том, что у нас вообще плохо знают русский язык и не вполне понимают значение слов, а все-таки хотят быть писателями, сказал мне, что недавно прочел глупую книгу Радищева об одном из умерших друзей его (Ушакове) и спросил, читала ли я эту книгу. Когда я отвечала отрицательно, но заметила, что едва ли она глупа, так как автор неглуп, то он послал за нею и дал мне ее. По прочтении книги я увидела ясно, что автор старлся подражать Стерну, сочинителю «Чувствительного путешествия», что он читал Клопштока и других немецких писателей, но не понял их, что он запутался в метафизике и сойдет с ума». — Из этого места ясно, что Державин был очень невысокого мнения о Радищеве как писателе, но этого еще далеко не достаточно для вывода, что он участвовал в усилении перед верховною властью вины Радищева, особенно в виду объясненных выше обстоятельств, препятствующих такому выводу. В конце концов остается заключить, что относительно прикосновенности Державина к делу Радищева есть только одно достоверное, на документальном свидетельстве основанное известие, именно собственное показание автора «Путешествия» в его оправдательной записке: «Экземпляров я роздал очень мало, да и не имел наме-

рения моего много отдавать, а хотел употребить их в продажу для прибытка. Один экземпляр г. Козодавлеву, ему же один для г. Державина, один прапорщику Дарагану. Если спросят, с каким намерением я их раздавал, то только, чтобы читали, ибо все они упражняются в литературе; еще экземпляр иностранцу Вицману и г. Олсуфьеву». Чтобы кто-нибудь из этих лиц отплатил Радищеву употреблением своего экземпляра для обвинения автора, на это нет никаких заслуживающих доверия указаний.

19. Последние песни при Екатерине II

Возвращаясь к прерванному обзору литературной деятельности Державина за последние годы царствования Екатерины, остановимся в заключение на стихотворениях, которыми он принес поэтическую дань похвалы некоторым высокопоставленным лицам, частью живым, частью умершим.

Небольшое обращение к Суворову написано было по случаю приезда его в Петербург и приема, сделанного им Державину. После взятия Варшавы знаменитый полководец оставался там целый год. Вызвав его в Петербург, императрица назначила для пребывания его Таврический дворец, где он и прожил три месяца. В первые дни по приезде он не хотел принимать никого, кроме немногих избранных, и ранее всех оказал это отличие Державину, которому не мог не быть признательным за его оду «На взятие Варшавы»: из переписки поэта нам известно, что еще прежде, нежели эта ода была написана, Державин отправил к Суворову четверостишие, послужившее началом ее, в поздравительном письме, на которое герой отвечал, отчасти в стихах же. Года за два перед тем ему воздана была честь одою «На взятие Измаила». Таким-то образом укрепилась между полководцем и поэтом приязнь, начавшаяся взаимным сочувствием и уважением еще во время пугачевщины. Поселившись в Таврическом дворце, Суворов не только с особенною лаской принял Державина, но и оставил его у себя обедать. Удерживая поэта, он как будто хотел доставить ему случай видеть различные способы приема посетителей. В стихах, которые дали нам повод к этому отступлению, Державин выхваляет особенно суровый образ жизни и воздержность героя «в пышном царском доме», восклицая между прочим:

Суворов! страсти кто смирить свои решился,
Легко тому страны и царства покорить,
Друзей и недругов себя заставить чтить.

Суворов и Державин были оба в полном смысле русские люди, в природе и в воззрениях которых было много сходного. Они ценили друг в друге прямоту и благочестие; Державин благоговел особенно перед величием Суворова как полководца и в

громозвучных одах воспевал его победы. В простых, но более человеческих чертах он изобразил героя после смерти его, как ниже увидим.

ПУТЕШЕСТВИЕ.

и з ъ

ПЕТЕРБУРГА ВЪ МОСКВУ.

„Чудное обла, озорно, огромно, спознано,
и алаи,“

Талеманада, Томъ II. Кн: XVIII, стритъ §14.

1790.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

Александръ Гривинъ 20 Ян.
Мнъ клещуторъ шъ 100000
гидъ 100000 рублемъ.

Титульный лист «Путешествия» Радищева
с припиской А. С. Пушкина.

Послание к Нарышкину («На рождение царицы Гремиславы») содержит яркую, в задушевном тоне начертанную характеристику то пышной, то простой жизни беспечного вельможи и гостеприимного, для всех открытого дома его. Несмотря на некоторые устарелые выражения, эта пьеса и теперь не утратила вполне своей прелести: она носит верный отпечаток времени и блещет самородным вдохновением. В этом именно роде, в сочетании игривости русского ума с простотою речи, заключается торжество таланта Державина, и нельзя не пожалеть, что он слишком редко настраивал на этот лад свою лиру. Стихотворе-

ние «На рождение Гремиславы» было послано Карамзину для помещения в «Аонидах», но, вероятно, оно также показалось ему слишком смелым и из опасения не угодить Зубову излишними похвалами покойному, а может быть и самой императрице, осталось не напечатанным. Затем Мартынов собирался поместить его в своей «Музе», но в сентябрьском номере этого сборника оно означено только в оглавлении, в самую же книжку не попало и явилось в печати только в издании сочинений Державина 1798 года.

Такою же смелою и оригинальною кистью поэт изобразил Алексея Орлова в оде «Афинейскому витязю», взяв за образец Пиндара, с героями которого, победителями на греческих играх, этот знаменитый атлет и любитель конских ристалищ представлял некоторое сходство: к нему, без всяких натяжек, могли быть применены многие выражения древнего лирика. В то время Орлов жил в Москве «отставным героем», по выражению Державина. Поэт не забыл, чем был обязан ему в молодости, когда по его предстательству произведен был из рядовых в капитаны, и вот теперь, из благодарности, он задумал воспеть своего бывшего начальника:

Я славить мужа днесь избрал,
Который спел с театра славы,
Который удержал те нравы,
Какими древний век блистал:
Не горд — и жизнь ведет простую,
Не лжив — и истину святую,
Внимая, исполняет сам;
Почтен от всех не по чинам;
Честь, в службе снисканну, свободой
Не расточил, а приобрел;
Он взглядом, мужеством, породой,
Заслугой, силою — орел.

Естественно, что Державин, видя в настоящем много безотрадного, не раз обращается в этой оде к воспоминаниям блестящей эпохи, с которою совпала его молодость в первые годы царствования Екатерины. Об этом времени он, между прочим, так выражается:

Тогда не прихоть чли — закон;
Лишь благу общему радели;
Той подлой мысли не имели,
Чтоб только свой набить мамон.
Венцы стяжали, звуки славы,
А деньги берегли и нравы,
И всякую свою ступень
Не оценили всякий день;
Хоть был и недруг кто друг другу, —
Усердие вело, не месть:
Умели чтить в врагах заслугу
И отдавать достойным честь.

К этим стихам Державин, отчасти справедливо, отчасти под влиянием свойственного пожилым людям сожаления о прошлом, присоединяет любопытные пояснения в прозе, напр.: «Взятки тогда строго наказывались, а под конец царствования так было ослаблено сие злоупотребление, что, можно сказать, на словах запрещалось, а на деле поощрялось». По обыкновению, Державин в этой оде мешает величественные образы с чертами всендневной жизни; представив громкие подвиги и исполинскую силу Орлова, он напоминает его простой русский быт, его любовь к народным увеселениям, его доступность и радушие к друзьям. В конце, после торжественного обращения к языческим богам древнего мира, он просит их ниспослать герою всякие земные блага и наслаждения. Само собою разумеется, что эти стихи в то время не могли быть напечатаны; они явились не прежде 1808 г. (в котором умер чесменский герой) во втором издании сочинений нашего поэта.

Ода в честь В. Зубова написана по поводу «покорения Дербента», первого подвига его в войне, предпринятой по обширному плану, об осуществлении которого мечтал еще Потемкин. Смерть императрицы вскоре остановила отважное предприятие в самом начале его. Ода эта принадлежит к числу слабых произведений Державина. Вообще из всех стихотворений его торжественные оды наименее удачны, хотя и в них, большею частью, нельзя отрицать того обилия мыслей, которое, рядом с богатством ярких и оригинальных образов, составляет неотъемлемую черту поэзии Державина. Из этого-то обилия мыслей произтекала плодovitость его музыки и излишняя обширность многих из его стихотворений. Весьма часто можно критиковать у него неправильность или неловкость выражения, неизящный и шероховатый стих, но редко он заслуживает упрека в отсутствии мысли или праздном наборе слов. В этом — его отличие от бездарных или посредственных стихотворцев: даже в неудачных стихах Державина все-таки чувствуется талантливый и мыслящий писатель.

В августе 1795 года умер в глубокой старости Бецкий, который во все царствование Екатерины II был одним из ближайших ее сотрудников: всем известно его значение по основанию так называемых воспитательных домов, по управлению учебными и благотворительными заведениями; в то же время он заведовал Академиею художеств и всею строительною частью в Петербурге. Державин помянул и ту и другую сторону его деятельности одою «На кончину благотворителя». «И камни о тебе гласят», — говорит он, намекая на множество зданий и других сооружений, возникших под его надзором, к числу которых принадлежали между прочим дом Академии художеств, памятник Петра Великого, Эрмитаж, набережные Невы и двух каналов, гранитные мосты и т. п. Сущность другой отрасли трудов Бецкого выражена в стихе: «Луч милости был, Бецкий, ты!» — и при праздновании в 1863 году столетней годовщины основания Московского воспитательного дома этот стих был начертан золотыми буквами

на подножии мраморного бюста Бецкого. Но, восхваляя мирные и скромные подвиги его, поэт напоминает, как «неблагодарен смертных род»: люди прославляют только громкие и блестящие дела, победы и завоевания; ряд стихов, посвященных развитию этой истины, кончается хотя и преувеличенным, но в основании не лишенным некоторой справедливости размышлением:

История есть цепь злодейств.

В художественном отношении гораздо замечательнее небольшое, всего из двух строф состоящее стихотворение, вылившееся у поэта по случаю кончины Федора Григ. Орлова, который при начале первой турецкой войны поступил в военную службу, прославился действиями в Морее и участвовал в Чесменском бою, где едва не погиб со взорванным на воздух кораблем «Евстафий».

Эта ода в свое время считалась образцовою даже между знатоками литературы, и потому мы здесь, по краткости пьесы, приведем ее целиком:

Что слышу я? Орел из стаи той высокой,
Котора в воздухе плыла
Впреди Минервы светлоокой,
Когда она с Олимпа шла, —
Орел, который над Чесмою
Пред флотом россиян летал,
Внезапно, роковой стрелою
Сраженный, с высоты упал!

Увы! где, где его под солнцем днесь парень?
Где по морям его следы?
Где бурно громов устремленье
И пламенны меж туч бразды?
Где быстрые всезрящи очи
И грудь, отважности полна?
Все, все сокрыл мрак вечной ночи;
Осталась слава лишь одна!

По мнению Плетнева, в этой оде «нет ни одной черты неоконченной и ни одной лишней... нет ни одного стиха, который не заключал бы в себе движения». В начале употреблен в первый раз образ, которым впоследствии воспользовался Пушкин, сказав про Кутузова:

Сей остальной, из стаи славной
Екатерининских орлов.

В числе стихотворений, написанных Державиным за это время на разные случаи придворной жизни, заслуживает быть упомянутою пьеса «Хариты», в которой описание пляски великих княжон особенно удалось поэту:

Видел ли Харит пред ними,
Как под звук приятных лир
Плясками они своими
Восхищают горний мир;
Как с протяжным, тихим тоном
Важно павами плывут;
Как с веселым, быстрым звоном
Голубками воздух вьют;
Как вокруг они спокойно
Величавый мещут взгляд;
Как их все движенья стройно
Взору, сердцу говорят?

Написанные полугодом позже стансы на крещение великого князя Николая Павловича приводились часто в прошедшее царствование как одно из тех пророчеств, которых насчитывают несколько у Державина.

Лебединою песнью его в честь Екатерины можно назвать знаменитое «Приношение монархине», при котором он поднес ей рукописную тетрадь своих стихотворений, вчерне приготовленную Катериной Яковлевной. Года два до того императрица, на одном из докладов его в Царском Селе, изъявила желание видеть его сочинения напечатанными. Извещая о том жену свою, он писал ей: «Попроси Василия Васильевича (Капниста) и Ивана Ивановича (Дмитриева), чтобы они пожаловали взяли труд и пересмотрели мои сочинения, замечая ошибки... Они могут у нас собраться и несколько часов на сие (каждый раз) употребить». Далее он выражал намерение поручить печатание своих сочинений служившему некогда под его начальством Поспелову и украсить издание виньетами, которые ему обещал Храповицкий. «Пусть выберут, — заключал он, — теперь только те стихотворения, которые получше, на один том, и назовем: том первый собранных сочинений, а прочие после издадим». Из этого письма видно, как Державин в то время сознавал недостатки своей поэзии и более нежели себе доверял друзьям своим в деле вкуса и внешней отделки стихов.

Есть известие, что Дмитриев и Капнист действительно сходились несколько раз для пересмотра сочинений своего друга; но что их требования окончательно оказались поэту слишком строгими. По возвращении его в Петербург они, вместе с ним разбирая его стихотворения, советовали ему переделывать то одно выражение, то другое. Сначала он соглашался, но потом рассердился и сказал: «Что же? Вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?» Может быть, что-нибудь подобное и было; но есть доказательство, что дело этим не кончилось: сохранилась писанная, кажется, писарем толстая тетрадь стихотворений Державина, в которой многие стихи исправлены или переделаны рукою то Дмитриева, то Капниста, и часть этих изменений явилась потом в печати. По этой-то рукописи, конечно, составлена была чистая тетрадь, или книга с виньетами

Оленина, лично поднесенная императрице Державиным 6-го ноября 1795 года, а по кончине ее возвращенная поэту и подаренная им Дубровскому, от которого она досталась Императорской публичной библиотеке.

Поднесение рукописи императрице, по рассказу Державина, имело для него неприятное последствие. Будучи при дворе недели через три после того, он заметил холодность к себе государыни; все приближенные к ней чуждались его. В тот же день на обеде у графа А. И. Мусина-Пушкина оказалось, что причиною тому была одна из помещенных в рукописи од — «Властителям и судьям», которая врагами поэта была истолкована как выражение якобинского вольнодумства. Узнав, что тетрадь его через Безбородку передана на рассмотрение Троцинскому, Державин написал оправдание (под заглавием «Анекдот») и разослал эту записку в трех экземплярах Зубову, Безбородке и Троцинскому. Вследствие этого государыня сама прочитала оду, переменила свой взгляд на нее и на следующем выходе обошлась с поэтом милостиво; все придворные стали опять приветливо с ним разговаривать.

Лирическое творчество Державина при Екатерине II завершается его «Памятником», пьесой, в которой он с большим достоинством выразил собственное сознание своего значения, искусно переделав оду Горация и удачно выставив главные черты своей поэзии. Белинский справедливо заметил, что по оригинальности формы этого стихотворения можно приписать честь мысли его столько же Державину, как и римскому поэту. Многозначительна особенно вторая половина:

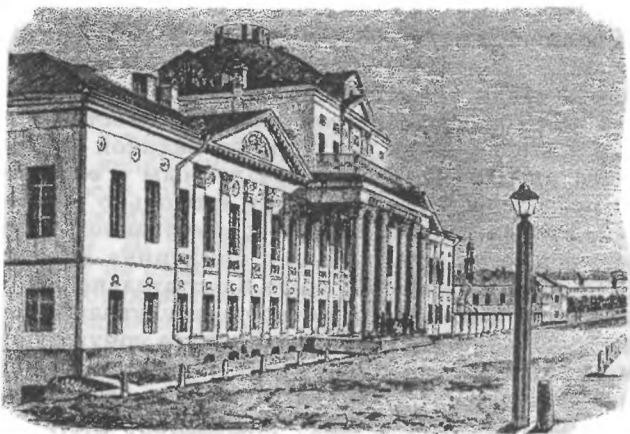
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
 Как из безвестности я тем известен стал,
 Что первый я дерзнул в *забавном русском слоге*
 О добродетелях Фелицы возгласить,
 В сердечной простоте беседовать о Боге
 И истину царям с улыбкой говорить.
 О муза! возгордись заслугой справедливой,
 И презрит кто тебя, сама тех презирай;
 Непринужденною рукой, неторопливой
 Чело твое зарей бессмертия венчай.

Рядом с этою пьесой должно быть поставлено упомянутое выше посвящение его («Приношение монархине») как дополнение к «Памятнику», очерчивающее определенное отношение поэта к государыне: тут с неподдельным жаром высказались благоговение его и признательность к той, которая своим вниманием так много содействовала к усовершенствованию и успеху его таланта. Нельзя отрицать справедливости слов поэта к Екатерине о своей музе:

Под именем твоим громка она пребудет;
 Ты *славою*, твоим я *эхом* буду жить...
 В могиле буду я, но буду говорить.

В наше время эти слова получили видимое осуществление. На величественном памятнике Екатерины II Державин удостоен почетного места среди знаменитейших ее сподвижников. В лице его воздана честь не государственной деятельности, а литературной заслуге в изображении дел и людей великой эпохи. В памяти потомства имя его осталось неразлучным с ее историею. Да будет нам позволено повторить здесь несколько слов из заключения речи, произнесенной нами в торжественном собрании Исторического общества при открытии памятника Екатерине 25-го ноября 1873 года: «Державин всего блистательнее выполнил ту сторону своего призвания, на которую ему указывало глубокое понимание духа Екатерины и восторженное сочувствие славным событиям ее царствования. Величавые образы, в которых он начертал ее и главных ее пособников, так же бессмертны, как и самые дела их». По замечанию критика, на которого мы уже несколько раз ссылались, «поэзия Державина в лучших ее проявлениях есть прекрасный памятник царствования Екатерины».





Глава XIII

Деятельность при императоре Павле

(1796 – 1801)

1. Опала и примирение

В первые дни после вступления на престол, говорит Державин, император Павел оказал большие милости: множество людей, а особливо содержавшихся за оскорбление величества, освободил из тюрем; набранных по указу Екатерины рекрут возвратил в дома; хлеб, взятый из сельских магазинов для провиантского департамента, приказал отдать обратно. Вообще он обнаруживал небывалую щедрость, разрешил всем доступ к себе, принялся за переустройство армии, ввел в войска строгую дисциплину, укомплектовал полки и сам подавал пример изумительной деятельности. Справедливость этого свидетельства подтверждается многими рассказами Болотова. Все это должно было производить благоприятное действие в народе: опасения, возбужденные некоторыми свойствами Павла Петровича в то время, когда он был великим князем, уступали место надежде. Но вскоре стало ясно, что государь в своих поступках руководился только минутными увлечениями и порывами, а не зрело обдуманными намерениями. Вспыльчивость, которой он предавался, легко могла сделаться бедственною для человека с необузданным характером Державина. Не надо забывать, что поэт со времени первой женитьбы своей сделался известен и в некотором смысле

близок великому князю, считал его покровителем, отцом семьи своей, и, кажется, в своих денежных затруднениях иногда пользовался от него пособиями. По крайней мере, был слух, что во время отрешения Державина от тамбовского губернаторства Павел пожаловал Екатерине Яковлевне тысячу рублей.

Вскоре по воцарении своем он велел позвать к себе Державина, обласкал его и обещал назначить правителем своего совета. Известно, что это совещательное собрание было учреждено Екатериною II в 1768 году, собственно, для обсуждения мер по поводу вспыхнувшей тогда турецкой войны, по окончании же ее получило более обширное значение: туда вносились всякие вообще государственные дела, по которым императрица желала знать мнение своих приближенных. Членами этого совета были сановники, пользовавшиеся особенным доверием монархини. При кончине ее в нем заседали: графы Разумовский, Румянцева-Задунайский, И. Г. Чернышев, Н. И. Салтыков и др. Правителями дел совета были последовательно: Стрекалов (1768-1777), граф Самойлов (1777-1788) и Вейдемейер (с 1788). Император Павел тотчас по вступлении на престол призвал в совет новых членов, в числе которых были оба князья Куракины, М. Ф. Соймонов, Васильев и граф Я. Е. Сиверс. Державина же он прочил на место Вейдемейера. Но поэт, приняв слова государя в буквальном смысле, думал, что будет назначен правителем самого совета, т. е. делается для этого учреждения тем же, чем генерал-прокурор был для сената, с правом пропускать или оттаивать определения. Так как, однако, такой должности в совете никогда не было, то неудивительно, что состоявшимся вслед за тем указом Державин назначен был *правителем канцелярии совета*. Это звание показалось ему унижительным для сенатора: крайне озадаченный неожиданным оборотом дела, он решился просить у государя *инструкции* для своей новой должности. Такую инструкцию, как он слышал от Стрекалова, намеревалась дать еще покойная императрица, но тому противился князь Вяземский, а после его удаления от дел это предположение было забыто. Державин говорит, что в мысли просить инструкции его утвердили сами члены совета, которых он объезжал, чтобы узнать их мнение. М. А. Дмитриев, рассказывая этот эпизод со слов Ростопчина, замечает, что вельможи, боясь возвышения Державина, желали уронить его и для того нарочно напустили на этот шаг: они стали рассуждать, что, конечно, новая должность — возвышение; однако что же это за звание? выше ли оно сенаторского? стоять ли Державину или сидеть в присутствии? В справедливости этого рассказа нет причины сомневаться: сам же поэт сознается, что ему *присоветовали* просить инструкции. В первом бышем после того заседании совета он был действительно в недоумении, как ему держать себя, и оставался на ногах между столом членов и столом правителя канцелярии или ходил около присутствовавших. После заседания князь Александр Куракин потребовал, чтобы он привез к нему на дом протокол для поднесения государю. Державин оскорбился этим:

он имел личное дозволение Павла являться к нему во всякое время и в предыдущие дни был приглашаем во дворец к обеду и ужину вместе с членами совета. Поэтому на другой день после заседания, т. е. в пятницу, рано утром он отправился к государю для испрошения себе инструкции, но не был принят и должен был возвратиться в субботу.

Послушаем здесь собственный рассказ его.

Император спросил:

— Что вы, Гаврила Романович?

Он отвечал:

— По воле вашей, государь, был в совете; но не знаю, что мне делать.

— Как не знаете? делайте, что Самойлов делал.

— Я не знаю, делал ли он что-нибудь: в совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государыне протоколы совета; потому осмеливаюсь просить инструкции.

— Хорошо, предоставьте мне.

Этим следовало бы и кончить; но «Державин по той свободе, которую имел при докладах у покойной императрицы, продолжив речь, сказал: не знает он, сидеть ли ему в совете или стоять, то есть быть ли присутствующим или начальником канцелярии. С сим словом вспыхнул император; глаза его как молнии засверкали, и он, отворив двери, во весь голос закричал стоявшим пред кабинетом Архарову, Троицкому и прочим, из коих первый тогда был в великом фаворе: «Слушайте, он почитает быть в совете себя лишним!» — а оборотясь к нему: «Поди назад в сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу!» — Державин уехал в великом огорчении. Через несколько дней, 22-го ноября 1796 г., дан был сенату такой указ: «Тайный советник Гаврила Державин, определенный правителем канцелярии совета нашего, за непристойный ответ, им пред нами učinенный, отсылается к прежнему его месту». Легко представить себе, какого шума наделало в Петербурге это посрамление, нанесенное знаменитому писателю и сановнику. Болотов, в своем «Памятнике претекших времен», посвящает этому случаю целую главу под заглавием «Государь наказывает одного из ближних своих вельмож за необузданность языка». Здесь любопытны отзвы повествователя о Державине, показывающие, как вообще на него смотрели в публике. Болотов говорит о нем, как «о великом стихотворце и прославившемся в особенности своим патриотизмом, неуступчивостью ни перед кем и многими другими знаменитыми деяниями муже. Все пророчили ему в новое царствование особенную милость не только по великим его способностям к гражданской службе, по известной его ревности ко всему справедливому и потому, что он покойною императрицею всегда защищаем был от всех его врагов, но и по обстоятельству, что он прежде был женат на дочери кормилицы государевы. Но, к общему изумлению, вдруг разнеслась крайне прискорбная и обидная для него молва: начал летать и списываться везде клочок бумажки, содержавший в себе копию с именного и в не-

многих только строках состоявшего государева указа». С сожалением увидел, что «великий муж сей потерял себя и в сем случае тоу ж своею слабостью, которая и до того была много раз ему бедственна, а именно: излишнею своею смелостью и отважностью в словах». Но особенно любопытны догадки, которые ходили в обществе насчет «непристойного ответа» Державина. Говорили, что государь, может быть, из любви к нему стал ему напоминать, чтобы был он скромнее и терпеливее и не так дерзок на словах; а он будто бы, не перенеся этого напоминания, отвечал, что он себя переделать не может, а это и возбудило негодование государя. Многие припоминали пословицу: «погибла птичка от своего язычка»; толковали, что жестокий указ составит великому мужу вечное пятно и сделает ему все чины и должности ненавистными, погасит в нем все прежнее его усердие к службе.

Последствия показали, однако, что постигшая Державина опала не произвела на него такого действия. Он рассказывает, что когда его родные узнали о случившемся, то они собрались к нему и вместе с женой, «осыпав его со всех сторон журьбою, что он бранится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха». Он решился просить кого-нибудь из бывших тогда в случае о предстательстве в его пользу, и выбор его пал на князя Н. В. Репнина как вельможу, который давно оказывал ему расположение и на покровительство которого он, по-видимому, мог тем более рассчитывать, что за несколько лет назад успел его заслуги в особой оде («Памятник герою»). Но, против всякого чаяния, Репнин, по словам Державина, принял его очень грубо и на просьбу его сухо отвечал: «Не мое дело мирить вас с государем». Иначе представляет их свидание тогдашний адъютант князя Лубяновский, доживший ему о приходе Державина: он утверждает, что генерал принял поэта ласково, пробыл с ним в кабинете около часу, потом проводил его до третьей комнаты и, расставаясь с ним, сказал: «Прощай, друг мой, Гаврила Романович». Заметим, однако, что Лубяновский не присутствовал при разговоре их, а слышал только, как Репнин прощался со своим просителем; нет, следовательно, основания вполне отвергать показание Державина. Очень вероятно, впрочем, что вследствие полученного отказа прием князя показался ему суровее, чем был на самом деле. Зная достоинства этого государственного мужа, которого высоко ценила Екатерина и о котором дошло до нас так много благоприятных свидетельств, трудно поверить, чтобы он обошелся презрительно с человеком, имевшим также свои несомненные заслуги, и нельзя не пожалеть, что Державин, по внушению оскорбленного самолюбия, отозвался с такою горечью о вельможе, им же прежде превознесенном похвалами.

Однако неудача не угомонила поэта: подстрекаемый «ропотом домашних», он вспомнил как «Изображение Фелицы» открыло ему путь к милости Екатерины и вздумал попытаться «возвратить себе благоволение монарха посредством своего та-

ланта», как он с обычной своею наивностью сам сознается. Плодом этой попытки была его ода на новый 1797 год, или, говоря точнее, на восшествие на престол императора Павла. Она была в рукописи представлена государю через близкого к нему вице-адмирала С. И. Плещеева и произвела желанное действие: государь потребовал к себе автора, принял его милостиво и разрешил снова впускать его в ту дворцовую залу, куда вход ему был запрещен при постигшей его опале. Державину сообщено было, за подписью генерал-адъютанта Шаховского, следующее высочайшее повеление от 12-го января 1797 года: «Его императорское величество всемилостивейше указать соизволил: иметь вам вход за кавалергардов». 27-го января Державин писал своему приятелю Гасвицкому: «Был государем сначала из всех избран и в милости; но одно слово не показалось, то прогневал; однако помалу сходимся мировою и уже был у него несколько раз пред очами. Крутовато, братец, очень дело-то идет; ну, да как быть?»

Названная ода, в том же году напечатанная в «Аонидах» Карамзина, часто служила противникам Державина обвинительным против него актом. Правда, что побуждения к написанию ее, даже и с тогдашней точки зрения, одобрить нельзя, но что касается самого содержания оды и недоумения, как мог певец Фелицы приветствовать воцарение ее преемника, то к некоторому извинению Державина могут служить факты, указанные нами в начале настоящей главы и подтверждаемые всеми современными свидетельствами о первой поре царствования Павла. Впоследствии Державин сам почувствовал несообразность этой оды с дальнейшим ходом дел: он не решился включить ее в московское издание своих сочинений, и ода, хотя уже набранная в конце тома, не появилась в нем. Тем не менее нельзя не признать поэтического достоинства, правды и живости многих черт, в которых здесь изображены первые дни царствования Павла. Как сам поэт в позднейшее время смотрел на некоторые места этой оды, видно из его любопытных примечаний к стихам ее.

2. Московское издание сочинений Державина

Екатерина II, просмотрев поднесенную ей Державиным тетрадь его стихотворений, приказала, через графа Безбородку, напечатать ее на счет Кабинета; но граф Платон Зубов, взяв рукопись для прочтения, продержал ее у себя до самой кончины императрицы. Впоследствии она была возвращена поэту бывшим при императоре Павле у принятия прошений Нелединским-Мелецким.

Между тем И. И. Шувалов, имевший в руках своих другой, более полный список стихотворений Державина, уговорил его дать свое согласие на напечатание их. Что действительно так было, доказывается письмом поэта к этому вельможе. Выразив свое согласие «повиноваться воле» своего покровителя, он про-

сит И. И. «приказать напечатать труды свои в типографии Московского университета из той книги, — говорит он, — которая находится у вашего превосходительства и которая составлена будет первую часть». Вместе с тем он заявил желание, чтобы эта часть по содержанию совершенно соответствовала рукописи, поднесенной покойной императрице, и потому приложил список стихотворений, которые должны были войти в этот том, с устранением лишних. В заключение он прибавил, что соглашение с типографией и чтение корректурных листов поручено им «хорошему его приятелю» Н. М. Карамзину.

В то же время Державин написал об этом тогдашнему куратору Московского университета, племяннику Шувалова князю Ф. Н. Голицыну, к которому тетрадь стихотворений тогда же и была отправлена дадей. Это было в июне 1797 года. К декабрю месяцу книга была отпечатана; но Шувалов не дожид до выхода ее в свет: он умер 14-го ноября. Между тем университетские цензоры не дали явиться изданию без искажений: уже при рассмотрении рукописи они потребовали исключения некоторых пьес, особенно оды «Властителям и судьям», и поэт должен был подчиниться тому; когда же началось печатание, «вздумали еще, — говорит он в письме к Куракину, — не пропускать некоторых мест, которые уже несколько раз были печатаны»; сколько им ни было представляемо, «что препятствие, чинимое ими, несправедливо, но они, ничему не внемля», не решались снять своего запрещения без согласия генерал-прокурора. Всего более затрудняли их стихи:

Да век мой на дела полезны
И славу их я посвящу,
Самодержавства скиптр железный
Моей щедротой позлащу.

Державин жаловался князю Голицыну, бывшему в конце года в Петербурге, и выражал удивление, почему цензоры, разрешив печатание книги, теперь не выпускают ее. «Зачем же, — спрашивал он, — за такой фразой, которая уже не один раз была напечатана, всем известна и которая одна за многие истинную делает честь самодержавному нашему правлению? Ее при покойной государыне приняли все с чрезвычайной похвалою; почему же теперь нет? Разве теперешнее правление не столь щедро и великодушно, как прошедшее? Истинно, я боюсь подумать, чтоб, выпустив две строки, не сделать сатиры оскорбительнейшей, нежели Ювенал на свое время». Поэтому Державин просил князя Голицына спасти честь покойного дяди и свою собственную, поговорить с князем Алексеем Куракиным и сообщить его разрешение директору университета или самим цензорам. Когда же князь Голицын уехал из Петербурга, ничего не сделав по этой просьбе, то поэт в начале марта 1798 года обратился к самому Куракину, прося его приказать вразумить цензоров, что пугающая их фраза «ни божескому, ни гражданскому

закону, ниже самой политике не противна; тем более, когда уже она несколько раз была напечатана, то, кажется, и не вправе они воспрепятствовать ей. Ваше сиятельство проницательным своим и просвещенным разумом согласитесь со мною, что самый ее строжайший смысл состоит в том, что похвалит она самодержавное правление, умягченное щедротами; то почему же ныне или в какое другое время мысль сия, пиитическим выражением сказанная, не может быть позволена? почему она будет противна или опасна?» Оказалось, однако, что цензоры знали, что делали. На письме Державина Куракин написал резолюцию: «Государь император приказать соизволил: внушить господину Державину, что по искусству его в сочинении стихов подчеркнутые бы непременно переменял, чтоб получить дозволение сочинения его напечатать».

Но Державин этого не сделал, и вместо последних двух из приведенных стихов в книге явился пробел. Около середины июня она могла быть выпущена; но поэт так был недоволен изданием, что решил было не давать ему хода. Вот что он писал кв. Голицыну: «Сочинения мои перепортили в Москве. Кроме того, что не по тому порядку напечатали, как я приказал, и не те пьесы, коим в 1-й части быть следует; но само по себе так скверно, что истинно в руки взять не можно, и бумага, и печать плоха, и ошибок премножество. Итак, я рассудил, заплатив типографии, весь завод истребить; а поелику сим я огорчу Н. М. Карамзина, которому я поручил смотрение над печатанием и который мне хороший приятель, то и хочется мне это так сделать, чтоб он и не сведал». Поэтому Державин просил Голицына, призвав директора типографии, заплатить ему деньги за печатание (как он полагал, от 400 до 500 руб.), потом взять все экземпляры и сжечь их. Вновь напечатать издание он хотел в типографии медицинской коллегии.

Однако это решение, следствие минутной вспышки, скоро было отменено: в письме, на другой же день посланном Голицыну, поэт взял назад свое поручение. Книга появилась с предупреждением, где между прочим сказано: «По ошибке дошел в типографию неверный список, бывший у покойного И. И. Шувалова, в котором безо всякого разбора размещены были и внесены такие стихотворения, которым в 1-ой части или и совсем напечатанными быть не следовало; притом с такими неисправностями, что вовсе бы лучше не издавать». Карамзин объяснял дело иначе; в декабре 1798 г. он писал Дмитриеву; «В печатных сочинениях Гаврила Романовича есть пропуски оттого, что они были в манускрипте. Какая беспечность — послать рукопись в типографию, не взяв на себя труда прочитать ее!»

Том вышел под заглавием «Сочинения Державина, часть I» (Москва, 1798). К нему приложена целая страница поправок; но надо правду сказать, что опечаток, за которые ответственность падала бы на Карамзина, почти вовсе нет. Поправки, сделанные по указаниям Капниста (как нам известно из рукописей), касались самой тетради, бывшей в типографии; неверности этого

списка, очевидно, затрудняли Карамзина и заставляли его часто решать дело по собственным соображениям. Вообще же издание много обязано ему в отношении к орфографии и к пунктуации, которые в рукописи были очень неудовлетворительны.

3. Участие в совестных судах и опеках

Совестный суд, впервые введенный Екатериною II при новой организации губернского управления, был одним из тех учреждений, которыми она, как видно из ее собственных отзывов, особенно гордилась, называя этот суд могилою ябедничества. На долю Державина выпал жребий сделаться одним из видных деятелей в этом установлении. Было уже упомянуто о той репутации честного человека и неумытного судьи, какою он пользовался, начиная особенно со времени своего возвращения в Петербург оправданным после тамбовского губернаторства. Суворов называл его Аристидом.

Приобретенное им общественное доверие имело следствием, что его чаще и чаще стали избирать в совестные, или третейские судьи и поручать ему опеки. Еще ранее, в 1783 г., он по желанию братьев Демидовых участвовал в полюбовном решении семейной тяжбы их по имению, ценностью более миллиона; потом, в бытность правителем наместничества в Тамбове, он таким же образом окончил дело девицы Орловой (впоследствии по мужу Мосоловой) со вдовою Яковлевой. Великодушный поступок первой для удолетворения противной стороны был по достоинству оценен просвещенным губернатором, и он так выразил Орловой свое одобрение: «Не оставлю я совестному суду объявить снисходительного намерения вашего. Приятно мне быть посредником между такими тяжущимися, как вы, что из малого своего капитала, на часть вашу достающегося, уделяете вы сопернице вашей 500 руб. и тем даете средства к примирению. Но то еще похвальнее, что сия щедрость ваша происходит из самого благородного источника, т. е. из любви к покойному вашему родителю, коею вы сохраняете память его от нареkania. Желательно б было, чтоб и все к совестному суду прибегающие были наполнены таковыми чувствованиями».

О деятельности Державина по тяжбе Дмитриева со Всеволожским было уже говорено. Могут заметить, что в этом случае он не всегда вел себя согласно с основною идеей примирительного учреждения. Но припомним, что взрыв его негодования и ссора со Ржевским вызваны были данным делу неправильным ходом и оказанною в нем явною несправедливостью, без чего, конечно, все обошлось бы мирно. Нам уже известно равным образом успешное посредничество Державина по претензии Мочениго на Сутерланде.

Особенно много тяжebных дел прошло через руки Гаврилы Романовича в царствование Павла. К числу лиц, поручавших ему решение своих споров, принадлежали: графиня Кат. Як.

Мусина-Пушкина Брюс, И. И. Шувалов, графы Григорий Ив. Чернышев, А. Н. Самойлов, Матвей Федор. Апраксин, Федор Григ. Орлов, Соллогуб, английский купец Джемс (Ямес), Анна Александр. Лопухина, сыновья Л. А. Нарышкина и мн. др. Всех таких дел посредничеством его было решено до ста. С большою подробностью рассказывает он в своих записках, как ему удалось кончить третейским судом тяжбу по иску, предъявленному Маркловским (который при жизни Потемкина управлял имением его, Дубровной, в западном крае) на графа Самойлова и его сонаследников. Маркловский, через графов Кутайсова и Палена, успел склонить на свою сторону самого императора. Государь приказал немедленно решить дело в пользу истца, удовлетворив всю его претензию в 120.000 руб., составлявших итог неуплаченного ему покойным вельможей жалованья и другого числившегося на нем долга. Державин убедил наследников согласиться на выдачу по крайней мере половины этой суммы. Маркловский долго противился принятию такого предложения, но Державин внезапно предъявил предосудительный для чести его документ с угрозою тотчас же представить его императору: побежденный истец побледнел, затрясся и, ни слова не говоря, подписал приговор. Державин гордился множеством оконченных им полюбовно спорных дел. В старости, незадолго до смерти, показывая одному из молодых почитателей своих большую связку бумаг в своем кабинете, он говорил: «Вот что более всего меня утешает: я окончил миром с лишком двадцать важных запутанных тяжб; мое посредничество прекратило не одну многолетнюю вражду между родственниками».

Кроме того, в царствование Павла на Державина возложено было не менее 8 опеки и попечительства, именно: г-ж Фурсовых, названного уже гр. Чернышева, графинь Брюс и Матюшкиной, князей Гагарина (Ивана Алексеевича) и Голицына, Семена Гавриловича Зорича и г-жи Колтовской. Скажем несколько слов по поводу некоторых из этих опеки.

Григорий Иванович Чернышев (впоследствии обер-шенк, ум. 1830 г.) был сын известного вице-президента адмиралтейской коллегии, пожалованного императором Павлом в небывалое до того звание генерал-фельдмаршала по флоту. Граф Иван Григорьевич (умер в 1797 г.) был тамбовским помещиком, и потому Державин еще в бытность свою губернатором того края имел особенное попечение о делах его имения. Мотовством сына они были приведены в совершенное расстройство: он впал в неоплаченные долги и частным людям, и казне. Назначив Державина опекуном его, государь принял особенное участие в положении Чернышева и предоставил ему разные льготы в уплате долгов. «Таким образом, — замечает Державин, — нерешимый узел их вдруг развязался»: большая часть кредиторов согласилась на предложенные посредничеством условия, и рассроченные долги были мало-помалу уплачены. При всем том Чернышев, по привычке к роскоши и расточительности, пожелал освободиться от попечительства, которое и было снято с него в 1806 году. Сохра-

нилось подлинное письмо его от 4-го апреля: здесь он в самых теплых выражениях приносит Державину свою признательность, называя его своим благодетелем и обещая заявить в газетах, не только русских, но и заграничных, сколько считает себя ему обязанным. «Я не скрою в них, — говорит он, — ни единого из тех благотворений ваших мне, которыми вы успокоили жизнь мою и сохранили для потомства имение, доставшееся мне в наследство, уплатив более миллиона долгов и возвратив чрез выкуп родительский дом мой на немалозначущую сумму. Пусть всякий благомыслящий увидит, что вы из единого побуждения к соделанию добра ближнему предавались толиким заботам и попечениям для составления счастья многим славным фамилиям, и определит в сердце своем достойное вам воздаяние. Мне остается, в подкрепление чувств самой искренней моей вам благодарности, запечатлеть в душе моей на всю жизнь мою ваше имя и оставить оное детям моим в предбудущие времена незабвенным памятником».

Другой пример того, как лица, делами которых заведовал Державин, ценили его заботы о их интересах, представляет письмо графини Мусиной-Пушкиной Брюс, написанное ею в 1804 г., когда по прекращении его опеки она снова сама вступила в управление своим имением. «По возвращении моем в Россию и по рассмотрении в подробности дел моих, в попечительстве вашем состоявших, — писала графиня, — я с живейшими чувствами удовольствия нашла, что ни самая малость относительно моих интересов упущена не была, доходы против прежнего ощутительно умножены, а в дополнение к тому, при всей расстроенности моего имения, в попечительство ваше поступившего, я с восхищением увидела, что заплачено до 165.000 рублей моих долгов, и наконец имение приведено в столь лестное положение, что я за таковые ваши ко мне благодеяния совершенно теряюсь в способах изъявить вам ту благодарность, которую я преисполнена».

Иногда Державин в качестве опекуна даже слишком увлекался заботами о выгодах своих доверителей, не обращая должного внимания на положение другой стороны. Из документов тамбовских архивов видно, что по делам лиц, имевших собственность в этой губернии, Державин, пользуясь своим служебным положением в Петербурге, старался производить давление на местные власти, однажды стращал губернатора докладом государю и в неурожайный 1801 год требовал полного оброка с крестьян графини Матюшкиной, тогда как в отношении к собственным своим крепостным он всегда поступал человеколюбиво. Нельзя также умолчать о жалобе, позднее поданной Неранчичем, братом и наследником Зорича, на опеку Державина с просьбой устранить его от управления шкловским имением. О ходе этого дела будет сказано в своем месте.

В назначении Державина опекуном и попечителем многих высокопоставленных лиц несомненно выразилось доверие императора Павла к его способностям и распорядительности в подоб-

ных делах. О деятельности его на этом поприще общественного служения есть и постороннее, весьма благоприятное для него свидетельство одного известного современника. Это — писанная в 1802 году записка А. М. Лунина «О дворянских опеках вообще и особливо управляемых сенатором Державиным». После изложения мер, принятых последним по порученным ему опекам и попечительствам, в этой записке замечено: «Таковыми благоуспешными и согласными с законами средствами не только недвижимые имущества знатных дворянских родов от описи, разорения и продажи сбереглись, но и правительство было избавлено от нескольких сот продолжительных и весьма трудных к развязке тяжб и процессов».

Обременение Державина занятиями по опекам и попечительствам было причиною, что он весной 1800 года решил завести при своем доме особую контору, «где бы нужные для тех опеку служители жительствовавшие могли». По этому поводу он просил у военного губернатора, графа Палена, разрешения сделать к своему дому несколько деревянных пристроек, так как он терял слишком много времени, посылая в разные части города за домоправителями и писцами, когда в них встречалась надобность по опекумским делам. Просьба эта была уважена. Впоследствии эти самые пристройки послужили к расширению помещений, в которых добродушный поэт давал приют многим из гостивших у него родных.

4. Шкловская командировка

В июне 1799 года Державину поручено было ехать в местечко Шклов (Могилевской губернии) для следствия по жалобе тамошних евреев на притеснения владельца его, Зорича. Известно, что Семен Гаврилович Зорич, родом серб, был любимцем Екатерины II с июня 1777 по май 1778 года. К числу милостей, с беспримерною щедростью излитых на него императрицей, относится и пожалование ему Шкловского имения, которое при переходе Белоруссии под власть империи принадлежало Чарторижским, а от них потом было куплено в казну. Зорич жил там с пышностью владетельного принца; чтобы угодить государыне, он основал в Шклове училище, впоследствии принятое императором Павлом в казенное ведомство. В 1780-х годах Зорич был замешан в дело двух братьев своих, графов Зановичей, приехавших к нему из Вены с большим запасом фальшивых ассигнаций и заподозренных в самой подделке их, вследствие чего они и были заключены на пять лет в нейшлотскую крепость. Что касается самого Зорича, то Храповицкий сохранил нам весьма любопытный о нем отзыв императрицы: «Можно сказать, что две души имел: любил доброе, но делал дурное; был храбр в сражениях, но лично трус, и виноват по делу графов Зановичей о фальшивых ассигнациях». Надобно, однако, заметить, что по

произведенному строгому следствию Зорич оказался не причастным к этому делу и был совершенно оправдан.

По мнению самого Державина, главным поводом к командировке его в Шклов — это местечко с жителями, — зрением коих, как выразился митрополит Платон, оскорблялся и взор, и дух — было желание государева любимца Кутайсова приобрести имение Зорича по дешевой цене. В этом Кутайсову рад был действовать и тесть сына его, тогдашний генерал-прокурор П. В. Лопухин, который, кроме того, имел еще и другую причину стараться об удалении Державина из столицы. Тогда в сенате должно было окончательно решиться дело о взыскании с тамбовского купца Бородина по винному откупу 300.000 руб.; а так как это дело возникло по жалобе Державина в бытность его губернатором, то противники его, Гудович, Завадовский и государственный казначей А. И. Васильев, охотно помогли Кутайсову своим влиянием на Лопухина отправить нашего сенатора в Белоруссию. Справедливы ли были эти догадки о причинах его командировки, сказать трудно. Впрочем, некоторое вероятие придает им то обстоятельство, что Кутайсов через своих друзей действительно намекал ему, чтобы он, «утесня Зорича, за дешевую цену доставил имение его». Державин отправился в Шклов, но дело кончилось ничем: Зорич, со своей стороны, жаловался, что обвинявшие его евреи не исполняли принятых ими на себя обязательств, и потому невозможно было найти основательных причин, чтобы подвергнуть его суду. Державин, пользуясь данным ему перед отъездом разрешением, несколько раз писал о ходе следствия самому Павлу, но, как он думает, эти письма скоро наскучили императору, и назначенный между тем новый генерал-прокурор, Беклешов, сообщил ему высочайшее повеление возвратиться в Петербург.

С этою командировкой было связано еще другое поручение, именно, побывать в деревне Березятне (Могилевской же губернии) и произвести там следствие об оказанном крестьянами местным властям сопротивлении. Дело заключалось в том, что когда была просрочена запись графа Полье на Березятню, то губернское правление предписало отдать эту деревню другому помещику, имевшему запись; но приказчик прежнего владельца, зная только польские законы, не допустил нижний земский суд до исполнения указа, и при происшедшей от того драке, в которую вмешались поселяне, нанесены были побои капитану-исправнику и полицейским служителям. Сделанное Державиным дознание привело его к убеждению, что причиною противодействия властям со стороны населения было неустройство недавно присоединенного края при неизбежном смещении новых порядков с прежними. По возвращении в Петербург он донес о том сенату, но сознается, что еще и во время занятия им поста министра (в 1803 году) ему не удалось поправить этого положения дел в приобретенных от Польши губерниях. Воспоминанием первой поездки поэта в Белоруссию остались два его стихотворения, «Горы» и «Горки», написанные по поводу посещения ле-

жащей близ этих мест Березятни. В Горах он нашел гостеприимное пристанище у графа Соллогуба, женатого на дочери И. А. Нарышкина. Однажды, возвращаясь туда ночью со следствия, он был встречен молодой дочерью графа, которая, для шутки нарядясь жидовкою, поднесла поэту несколько застреленных бекасов. Он отблагодарил ее пьеской «Горы». Тогда же написано им небольшое стихотворение «Виша», посвященное могилевскому помещику Жуковскому, у которого он также нашел радушный прием.

5. Вторая командировка в Белоруссию

В следующем 1800 году, весною, предполагалось отправить Державина в Вятскую губернию для проверки результатов произведенной сенаторами И. В. Лопухиным и М. Г. Спиридовым ревизии, которую представили государю в неблагоприятном свете. Гаврила Романович готовился ехать туда вместе с женою, но между тем старался и действительно успел отклонить от себя это щекотливое поручение. Затем на него возложена была опека над именем Натальи Алексеевны Колтовской, которая вела тяжбу с мужем. По домогательству последнего Беклешов, державший сторону его, назначил было опекунами ее Алябьева и Шнезе; но Павел, лично заинтересованный ходом дела Колтовской, пленившей его своею красотою, приказал передать опеку Державину. Однако едва последний приступил к собиранию справок по этому процессу, как ему вторично пришлось ехать в Белоруссию. На имя его дан был следующий высочайший рескрипт:

«Господин тайный советник Державин!

По дошедшему до нас сведению, что в Белорусской губернии недостаток в хлебе и некоторые помещики из безмерного корыстолюбия оставляют крестьян своих без помощи к прокормлению, поручаем вам изыскать о таковых помещиках, где нуждающиеся в пропитании крестьяне остаются без помощи от них, и оных, имения отобрав, отдать под опеку и распоряжением оной снабжать крестьян из господского хлеба, а в случае недостатка заимствовать оный для них на счет помещиков из сельских магазинов. Казенные же имения, состоящие во временном владении, в таком случае из оного тотчас обратиться в казенное ведомство и предоставить распоряжению казенной палаты, давая знать об оном нашему генералу-прокурору с точным показанием, кем какое чрез то, где в казенном имении расстройство произведено. Пребываем вам благосклонны.

Июня 16 дня 1800 года. Павловск. Павел».

В это время шел четвертый год царствования этого государя, и должность генерал-прокурора занимало уже четвертое при нем лицо, именно Петр Хрисанфович Оболянинов, бывший в приятельских отношениях с Державиным, Это был человек добро-

душный, честный, набожный, от природы умный, но малообразованный, грубый и вспыльчивый: подчиненным его и вообще людям, имевшим с ним дело, нередко приходилось выслушивать от него площадную брань. Судя по некоторым рассказам современников, он был даже способен на жестокие поступки, когда, по его понятиям, того требовала служба или воля государя. С другой стороны, утверждают, что, будучи назначен при воцарении Павла генерал-адъютантом, он не раз способствовал к смягчению крутости его и заботился о беспристрастии в судах. Зная характер императора, легко понять, что сановник с такими свойствами должен был ему нравиться и снискать его доверие. Во все это царствование Обольянинов занимал важные должности: был генерал-провиантмейстером, сенатором и наконец, возвысившись до звания генерал-прокурора, сделался едва ли не самым сильным вельможею, влияние которого распространялось отчасти и на военное ведомство: приемная его каждое утро наполнялась знатными лицами; иногда между ними являлись и великие князья. В эти часы перед домом его (на углу Большой Морской и Почтамтской, где ныне дом Карамзина) экипажи тянулись рядами. Мертваго, стоявший очень близко к Обольянинову, сравнивает его с великим визирем: через него восходили к государю все доклады, и неудивительно, что при скудости познаний такого посредника беспрестанно происходили недоразумения, возбуждавшие неудовольствие, тем более, что с усилением его власти в нем росли также самолюбие и гордость.

В один день с рескриптом государя Державин получил от Обольянинова официальное письмо с уведомлением, что на случай недостатка хлеба у владельцев или в запасных магазинах к нему явится в Витебске находящийся там провиантский комиссионер. Попросив Державина постоянно сообщать о своих наблюдениях и принимаемых им мерах, генерал-прокурор прибавлял: «А как, по сведениям, немалою причиною истощения белорусских крестьян суть жиды, по оборотам их в извлечении из них своей корысти, то высочайшая воля есть, чтобы ваше превосходительство обратили особое внимание и примечание на промысел их в том и, к отвращению такого общего от них вреда, подали свое мнение по надлежащем всех местных обстоятельстве соображении». В частном письме от того же дня Обольянинов говорил: «Жалею, что на несколько времени с вами разлучимся, но не сумнюсь в продолжении дружбы вашей ко мне». На другой день он препроводил к Гавриле Романовичу испрошенные у государя и доставленные Кутайсовым 2000 руб. на путешествие командированного сенатора.

Надо согласиться, что возложенное на Державина двойное поручение было само по себе нелегко и, кроме того, в высшей степени щекотливо: ему казалось, что между строками рескрипта можно было прочесть тайное желание, чтобы голод и неисполнение арендаторами во всей точности своих обязательств послужили предлогом для отобрания в казну возможно большого числа старост: после необдуманно щедрой «раздачи русских

казенных дворцовых крестьян и польских аренд при восшествии на престол и коронации, — говорит он, — нечем уже почти было награждать истинных заслуг». Исследование положения евреев было также сопряжено с немалыми трудностями. Действовать в обоих отношениях по своему крайнему разумению могло быть опасно; но Державин, скрепя сердце, решился ехать с твердым намерением, по всегдашнему своему правилу, не отступать и теперь от того, что ему предписывали долг и совесть.

Выехав из Петербурга 19-го июня 1800 года с одним канцелярским служителем и двумя крепостными людьми, он пробыл в отсутствии до середины октября. В начале путешествия он остановился в Тосне и там ночевал в ожидании Дарьи Алексеевны, которая хотела также приехать туда, чтобы еще раз проститься с мужем, однако удовольствовалась присылкою записки. С дороги он писал ей изо всех мест, где были почтовые конторы; по тогдашнему обычному состоянию наших путей сообщения карета его частехонько ломалась, и он каждый раз останавливался для починок.

Проведя несколько дней в Витебске, потом посетив Дубровну, село, некогда принадлежавшее Потемкину (в 56-ти верстах от Шклова), и другие окрестные селения, Державин в конце июня отправил к генерал-прокурору первое свое донесение. Из его наблюдений оказывалось, что в большей части Белоруссии жители от недостатка хлеба не терпели изнурения; правда, что они ели хлеб, смешанный с мякиною, но это бывает в том краю и в самые хлебородные годы, особливо весною до новой жатвы. Только в некоторых округах, между прочим в имениях Заранка и Гурки, крестьяне принуждены были вместо хлеба употреблять в пищу то щавель, то лебеду и коренья, отчего «они не только стали слабы и тощи, но у некоторых показывалась уже и опухоль на лицах и на грудях. Помещики не оставляют снабжать их своим хлебом и раздают последний запас, объясняя при том, что и крестьяне не пекутся о себе: иные данный им хлеб пропивают, а некоторые, имея значительные денежные суммы, из скупости едят, как бедные. В корчмах у всех жидов найден порядочный запас, кроме другого съестного, в ржаной муке. В продолжение пути встретил он около ста повозок со ржаной мукой, закупленною евреями в Кричеве, Мстиславле и других местечках по 5-ти, 6-ти и 8-ми рублей и везомою в Витебск, как они объявляли, для отправления Двиною в Ригу и Минск к отпуску за границу». Видя в этом прямое нарушение закона, Державин приказал остановить хлеб, предназначенный к вывозу, и в округах, наиболее нуждавшихся, снабдить им крестьян на счет владельцев. Губернским начальствам предписано было привозить хлеб из обильных уездов в округи, терпящие недостаток; на случай, если бы это распоряжение осталось безуспешным, Державин предложил, на основании петровского указа 1723 года, описывать хлеб, какой у кого есть, и раздавать его заимообразно нуждающимся.

Доводя об этих мерах и предположениях до сведения государя, Оболянинов испрашивал высочайшего повеления на приведение их в действие и, кроме того, представлял, чтобы в казенных селениях хлеб раздаваем был на счет казны, «для чего и ассигновать сумму тысяч до десяти рублей». Этот доклад был очень милостиво принят императором, и на имя Державина немедленно последовал собственноручный рескрипт:

«Петергоф. Июля 7, 1800.

Весьма апробую, Гаврила Романович, распоряжение ваше, по которому и исполните в точности. Вам благосклонный

Павел.

А для казенных селений взять деньгами из казенной палаты».

В письме Оболянинова, сопровождавшем этот рескрипт, было между прочим сказано: «К местным познаниям, какие ваше превосходительство о крае сем по личному вашему опыту имеете, я считаю нужным для соображения вашего присовокупить, что некоторые временные казенных имений владельцы посылают крестьян в отдаленные места для земляных работ по принятым ими подрядам: а как они никакого не имеют права крестьян казенных, в собственность им не принадлежащих, отлучать от земли; то беспорядок сей, для надлежащего прекращения, и поставляю я во внимание ваше».

В новом донесении своем Державин изведал генерал-прокурора о двух принятых им решительных и строгих мерах:

Во-первых, он узнал, что в местечке Лёзне (в нынешней Могилевской губернии), в 40-ка верстах от Витебска, евреи, выманивая у крестьян хлеб попойками, обращают его в вино. Тотчас отправясь на место и еще застав там следы винокурения, Державин запечатал завод и запретил продолжать работы; припавший же на вино хлеб приказал задержать впредь до решения дела.

Во-вторых, следуя к местечку Лёзне и проезжая деревни великого кухмистра князя Яна Огинского, под Витебском он заходил в крестьянские хаты и видел, что жители едят весьма дурной, смешанный с мякиною хлеб. Спрошенный о том приказчик предъявил письменное повеление господина этих крестьян взыскивать с хаты по три рубля сер. за то, что они в том году не давали подвод для привоза соли из Риги. Такое жестокое распоряжение во время голода побудило Державина, в пример и страх другим, воспользоваться предоставленным ему полномочием: он предписал взять белорусское имение Огинского в опеку и, немедленно закупив на его счет нужное количество хлеба, приказал раздать его угнетенным крестьянам. По уверению Державина, эти две меры много способствовали к прекращению голода в Белоруссии. Что он в своих распоряжениях по этой командировке не руководился угодливостью, видно уже из первого его донесения, в котором он далеко не подтвердил предположений

правительства о степени существовавшего в Белоруссии голода. Все, что он видел и слышал в деревне Огинского, достаточно свидетельствовало об отношениях владельца к подвластным ему крестьянам. Доказательством, что Державин в тогдашних своих действиях соблюдал умеренность, может служить то, что он в имении другого помещика (Дроздовского) в той же местности удовлетворился заявлением, что крестьяне получили небольшое количество ржи от своего господина и на некоторое время кое-как обеспечены.

Обольянинов, одобрив его действия, со своей стороны испросил вдобавок разрешение государя предать суду как куривших вино в Лёзне евреев, так и лиц, допустивших это своим слабым надзором; хлеб же, взятый у первых, считать безвозвратно конфискованным в казну. Павел был так доволен этими распоряжениями, что, надписав на докладе генерал-прокурора резолюцию «быть по сему», пожаловал Державину две награды разом, — чин действительного тайного советника и почетный командорский крест св. Иоанна Иерусалимского.

В письме к Гавриле Романовичу, поздравляя его и уведомляя о результатах своего доклада, Обольянинов коснулся еще другого предмета. От белорусского губернского прокурора поступила на губернатора П. И. Северина жалоба, что он, принимая на свое имя прошения, делает предписания, противные резолюциям губернского правления, самим им подписанные, и т. п. Вследствие того генерал-прокурор просил Державина рассмотреть эту жалобу и сообщить свое мнение о том, что окажется. Державин не побоялся поступить вопреки явному желанию генерал-прокурора и оправдал Северина. «Соглашаясь, — отвечал Обольянинов, — с отзывом вашим о белорусском губернаторе, не могу, однако же, не признать слабости его управления, и хотя новость, а паче уверенность, что сие не от недостатка усердия его произошло, извиняет его; тем не менее в осторожность с сею же почтою даю я ему мой совет, чтоб, смотря на ваши распоряжения, учился он, каким образом в решительных случаях должно распоряжаться и заставлять исполнять свои распоряжения. Я уверен, что ваше высокопревосходительство, со своей стороны, изволите ему сделать того же рода внушения и наставления». Затем Державин, разъезжая по Белоруссии, поверял с большою строгостью контракты, по которым староства отданы были казною в аренду; посетил Шклов для принятия этого имения, по особому повелению, в попечительство после умершего в 1799 году Зорича и собирал подробные сведения о быте и промыслах евреев. Остановясь потом в Витебске, он составил об арендах обстоятельную табель, сведения же, доставленные ему относительно еврейского населения, разработал в обширной записке, известной под именем «Мнения о евреях».

Между тем учрежденная над имением Огинского опека и строгие предостережения, данные по этому поводу другим землевладельцам, возбудили в белорусской шляхте большое неудовольствие. Местные дворяне стали между собой придумывать

средства, как бы отомстить строгому следователю, обвиняли его в потворстве простому народу и отправили в Петербург донос на него, стараясь вострожить правительство опасностью бунта крестьян как неизбежного последствия принятых мер. Главным руководителем этой агитации является бывший председатель могилевского губернского магистрата, статский советник Иосиф Заранек (ошибочно названный в записках Державина предводителем дворянства Зарянкою). Разослав циркулярные письма дворянам, он убедил хорунжего Микошу взять на себя в этом случае роль предводителя дворянства: Микоша подписал прошение на имя императора и письмо к генерал-прокурору, наполненные жалобами на Державина. Особенно поставляли ему в вину то, что он, видев только одну деревушку Огинского, отдал в опеку все разбросанное в разных поветах Белорусской губернии имение его или, как Заранек выразился в одном частном письме, — все имения Огинского, что было, однако, неверно.

По получении в Петербурге жалоб Микоши первым распоряжением было «отрешить его, яко вмешавшегося не в свое дело, от должности», а затем, по докладу Оболянинова, повелено: как Заранека, так и Микошу привезти в Петербург с посланным за ними нарочным и судить — первого за циркулярное письмо, а второго за вступление его в должность маршала и за внушения, направленные против принятых Державиным мер. Оба подсудимые в начале августа (1800 года) были привезены, посажены под арест на сенатской гауптвахте и подвергнуты обстоятельному допросу в уголовной палате. Дело кончилось тем, что Заранек сослан был в Тобольск, где и оставался до начала царствования Александра Павловича, когда был возвращен по ходатайству Державина.

6. Новые назначения

Во время своего отсутствия Державин в августе 1800 года получил совершенно неожиданно еще новое назначение, или, вернее, прежнее звание президента коммерц-коллегии. Известно, что император Павел с самого воцарения своего задумал возвратиться к отмененному Екатериню коллегиальному управлению и вскоре действительно восстановил берг-, мануфактур- и коммерц-коллегии. Но при этом могла быть восстановлена, собственно, только форма этих учреждений, так как вследствие переустройства губерний с 1775 года в новых учреждениях (палатах и губернских правлениях) возникли местные коллегии, столичные же с тем вместе делались излишними, и потому при восстановлении коллегий некоторое значение могли получить не сами они, а разве президенты их. Таким образом, на деле единоличное начало, приобретающее в администрации более и более силы еще при Екатерине II, продолжало развиваться и при сыне ее. Впрочем, и президенты коллегий получили только номинальную власть: над ними посажены еще главные директоры, которые

должны были служить посредниками между верховною властью и коллегиями. Вскоре, однако, и эта новая должность оказалась не довольно обширною или важною, и император Павел начал раздавать звание министра. Но сперва оно введено было только по одной отрасли управления: одновременно с «учреждением об императорской фамилии» (1797 г.) назначается, в лице князя Алексея Куракина, министр департамента удельных имений. Через три года, в 1800 г., новое звание является по ведомству коммерции: бывший до тех пор президентом коммерц-коллегии князь Гаврила Петрович Гагарин переименован министром коммерции, а Державину указом 30-го августа велено занять место президента коллегии.

Легко было предвидеть затруднения, неизбежно сопряженные с таким разделением власти по одному и тому же ведомству. Оставаясь еще в Витебске, чтобы от маршалов и комиссаров дожидаться рапортов по проверке казенных имений и чтобы вчерне окончить свою записку о евреях, Державин писал жене от 10-го сентября:

«Я знаю, что надобно поспешить мне к новой должности, которой ты радуешься, но я не очень. Часть преобширная; а я, право, так, как прежде, работать не могу: и от здешней комиссии не раз голова вертелась... В Шклов сегодня поеду дни на четыре, между тем как моя канцелярия теперь день и ночь трудится и обрабатывает мои приказания. Ведь 50.000, душа моя, казенных крестьян не так-то легко поверить и сказать, в расстройке они или не в расстройке? а также и жидов преобразовать в новый род жизни и какими средствами доставить им пропитание, — вещь не бездельная, чтоб дать о том мнение... А вы все кричите: что так долго? что там делать?»

Около 15-го октября Державин возвратился в Петербург. В Гатчине он виделся с Обольяниновым и даже остановился у него во дворце, но тут испортил свои дела, не сумев скрыть от генерал-прокурора своего неудовольствия по поводу недавнего назначения. «Где же, — сказал он, — полная ко мне доверенность? я ничто иное, как рогожная чучела, которую будут набивать бумагами, а голова, руки и ноги, действующие коммерцией, — князь Гагарин». — «Так угодно было государю», — отвечал Обольянинов, изменив в лице. Едва ли не этой откровенности Державина надо приписать, что он по возвращении из командировки не был лично принят государем, который, по словам генерал-прокурора, отклонил это, сказав: «Он горяч, да и я; так мы, пожалуй, опять поссоримся: пусть доклады его ко мне идут через тебя».

Этим путем и были представлены императору донесения Державина об исполнении возложенных на него поручений и мнение его о евреях: то и другое велено было передать на рассмотрение сената. Державин прибавляет, что хотя ему в рескрипте и было объявлено монаршее благоволение, однако он замечал в обращении с собою некоторую сухость и приписывал ее тому, что не отобрал в казну ни одного старства, тогда как это-

го явно желали. Может быть, такое предположение отчасти и справедливо, но более повредил ему, конечно, неосторожный разговор с Оболяниновым в Гатчине о своем пожаловании в президенты коммерц-коллегии. Учреждение звания министра по той же части он объяснял себе особенными отношениями государя к князю Гагарину. Мы не станем повторять здесь его соображений о своем назначении; довольно заметить, что министру вверялось все главное заведение торговыми делами, а коллегии предоставлялась одна исполнительная часть. Коллегия была подчинена министру, который один имел право личного доклада государю с полномочием сообщать ей высочайшие повеления и сноситься с другими ведомствами, однако не мог изменять ее определений и в случае несогласия с нею должен был предлагать на ее обсуждение свои замечания; если же она не примет их, — представлять дело на решение императора. Чтобы предупредить последствия такого странного порядка вещей и неизбежной при нем неопределенности отношений между двумя властями, Державин по возвращении в Петербург условился с князем Гагариным, что ни тот ни другой не будут по своей должности предпринимать ничего без предварительного соглашения между собой обоюдного соглашения.

Кутайсов все еще не отказывался от мысли получить при посредстве Державина шкловское имение покойного Зорича (вероятно, в этой надежде и отданное под попечительство Гаврилы Романовича); просил его о том лично и подсылал к нему с тою же целью евреев, обещая денежные и другие награды. Но Державин постоянно отвечал, что это может устроиться не иначе, как покупкою имения при продаже его с публичного торга за неплатеж лежавших на нем непомерных долгов; а так как для такого распоряжения необходимо наперед собрать всех кредиторов, то оно и не может скоро состояться. Раздраженный таким упорством, Кутайсов охотно оказал поддержку одной еврейке, которая, по внушению своих соплеменников, враждебно расположенных к Державину, подала на него государю жалобу. Она обвиняла его в том, что он, в бытность свою на лезненском заводе, будто бы бил ее палкою, отчего она, будучи беременна, вскоре выкинула мертвого младенца. По словам Державина, это была чистая клевета, так как он на том заводе пробыл всего четверть часа и никакой жидовки даже в глаза не видал. Жалобу эту особым указом велено было рассмотреть в сенате. Мысль судиться с презренной жидовкой, выдумавшей такую небылицу, когда все его действия в Белоруссии были уже одобрены императором, до того возмутила Державина, что он в собрании сената совершенно вышел из себя и решился тотчас же ехать к государю. Оленин, бывший тогда обер-прокурором, и другие принимавшие в нем участие лица с трудом удержали его силой. Опомнившись, он хотел отправиться к генерал-прокурору, но, чувствуя себя еще слишком взволнованным, просил встречавшегося ему на сенатском подъезде сенатора Захарова сесть с ним в карету и проехать вместе по городу. Оболянинов, которого они

навестили после продолжительной прогулки, так был встревожен отчаянием Державина, что всячески старался его успокоить, даже (как уверяет поэт) целовал его руки, доказывая, что объявленный сенату указ не заключал в себе никакой важности. Державин приглашал генерал-прокурора ехать вместе с ним во дворец, но тот отклонил это. Стали придумывать другие средства уладить дело, и наконец, по предложению Державина, остановились на том, чтобы высочайшие повеления и рескрипт, изъяслявшие Державину монаршее удовольствие за его белорусскую командировку, но до тех пор еще не записанные в сенате, были предъявлены общему собранию и тем опровергнута клевета жидовки. Так и было сделано; еврей же, писавший лживую жалобу, посажен был на год в смиренный дом. По вступлении на престол Александра Павловича Державин испросил ему прощение.

Не прошло еще и трех месяцев со времени вступления Державина в должность президента коммерц-коллегии, как ему повелено было, 21-го ноября 1800 года, «*быть вторым министром*» при государственном казначействе и управлять делами обще с государственным казначеем». В этом последнем звании находился тогда известный нам А. И. Васильев (при короновании императора Павла пожалованный в бароны). Тут повторилась та же несообразность, какая произошла при назначении Державина в президенты коммерц-коллегии, т. е. управление одной и той же части вверено было двум лицам. На этот раз ему удалось выйти с полным успехом из затруднения. Он объяснил Оболянинову неудобство такого двоевластия, и по докладу генерал-прокурора последовало на другой же день, 22-го ноября, в отмену вчерашнего назначения новое распоряжение: Державину быть государственным казначеем, а Васильев, хотя старший из двух и по чину, и по службе, вовсе отставлен. При этом, естественно, является мысль, что таким образом Державин сместил своего старинного приятеля, что и было уже выражено в печати. Но Державин слагает с себя такое обвинение, объясняя, что внезапная опала Васильева была следствием наговоров Кутайсова, который хотел отомстить ему за невыдачу каких-то денег и представил, что он постоянно утаивает наличные в казначействе суммы, не уплачивая всего положенного даже военному ведомству. Отсюда следовало бы, что заявление Державина генерал-прокурору послужило только поводом к подготовленному уже прежде устранению Васильева. Любопытно, что в это время почти пять дней сряду следовали одно за другим высочайшие повеления о Державине: кроме упомянутых уже назначений 21-го и 22-го ноября, ему 20-го числа повелено было засесть в советах Смольного монастыря и Екатерининского института; 23-го — присутствовать в императорском совете, а 25-го — в 1-м департаменте сената (до тех пор он был в межевом); наконец, 27-го ноября Державину пожаловано 6.000 руб. столовых ежегодно.

Кратковременная деятельность его по званию государственно-го казначея состояла главным образом в контроле счетов по все-

му государству за многие годы и во введении лучшей отчетности, так как его внимание издавна, с самого времени службы в экспедиции о государственных доходах, было обращено на недостатки и неправильности этой части. Излагая употребленные им к устранению их средства, Державин, между прочим, рассказывает, что в возвращенной от императора ведомости, представленной Васильевым за время его управления, оказались несходства с государственною росписью и что от него зависело бы подвергнуть Васильева и всех его советников тяжкой ответственности, но он этого не сделал и дал им время объяснить и оправдать такие неверности, за что Васильев, приехав к нему, со слезами благодарил его. При этом Державин хвалится тем, что, забыв неприятности, некогда испытанные им в Тамбове по влиянию будто бы Васильева на Вяземского, он спас от гибели бывшего государственного казначея, которого Кутайсов, а в угодие ему и Оболянинов жестоко преследовали. Их неудовольствию за покровительство, оказанное Державиным Васильеву, приписывает он то, что для надзора за делами финансовой экспедиции назначен был обер-прокурор, при посредстве которого властолюбивый Оболянинов желал и эту часть подчинить себе. Между тем «объяснение несходств в ведомостях продолжалось более месяца, так что Кутайсов и Оболянинов зачали о том громко поговаривать, и Державин боялся, чтобы, снисходя Васильеву, себя самого вместо его не управить в крепость». Наконец в марте месяце труд был окончен, и Державин, на основании всех объяснений в собрании экспедиций и обер-прокурора, поднес императору рапорт, в котором, не скрывая недостатков отчетности за прежнее время, показал, однако, что счета Васильева, по проверке их, оказались между собою согласными. Рапорт этот доложен был в совете, в присутствии великого князя Александра Павловича, в последний день царствования родителя его. При рассмотрении этого доклада наследник престола горячо вступался за предшественника Державина, а Оболянинов, желая угодить Кутайсову, с явным пристрастием старался выставить неисправность Васильева. Что касается Державина, то он, как сам сознается, «балансирует на ту и другую сторону», прикрывая, сколько можно было, невинные ошибки и поддерживая справедливость. Дело кончилось тем, что когда по вступлении на престол Александра в заседании совета 15-го апреля рассматривались отчеты Васильева вместе с замечаниями на них Державина, то совет нашел все действия Васильева вполне согласными с государственной пользой и оценил, с одной стороны, его «усердное старание к исполнению порученной ему должности», а с другой — «соединенные с оною затруднения». Еще до того, уже в самый день воцарения Александра I, особым указом повелено барону Васильеву вступить во все прежние его должности, а Державину «остаться в сенате». В целом рассказе Гаврилы Романовича об этом эпизоде его службы ясно проглядывает усилие выставить свое великодушие к человеку, в отношении к которому он считал нужным оправдать се-

бя: в последних, быстро следовавших одно за другим назначениях Державина нельзя не видеть действия интриги, в которой он является орудием Кутайсова и Обольянинова.

7. Отдельные случаи

Из частных случаев, имевших отношение к службе Державина при Павле, внимания заслуживает дело шацкого помещика Свицова, начавшееся еще при Екатерине II. Оно состояло в том, что овдовевший Свицов предъявил подложную дарственную запись покойной жены своей на ее имение, а шурин его Енгальчев оспаривал достоверность этой записи. Державин честно сознается, что он по этому делу два раза поддался влиянию заступников неправой стороны, именно сперва Зубовых, а потом Кутайсова. Вначале Енгальчев, или, вернее, его покровитель, граф Мусин-Пушкин, устроил, что дело внесено было в совестный суд и просил Державина быть посредником. По настоянию сильных временщиков Державин отказался от этого под предлогом болезни, хотя по учреждению о губерниях никто не имел права уклоняться от посредничества. Впоследствии дело это поступило в сенат; Кутайсов грозил Державину враждою, если он подаст свой голос в пользу Енгальчева. Тот обещал присоединиться к большинству голосов, и действительно, когда дело слушалось в сенате, то он исполнил это обещание и принял сторону Свицова, успокоив свою совесть тем, что Енгальчев не представил доказательств, «чтобы верующее письмо завещательницы, данное человеку мужа ее, было подписано точно не ее рукою». «Это дело, — заключает Державин, — может служить образцом, что в правлении, где обладают любимцы, со всею честностью и правотою души и при всем желании последовать законам, не всегда можно устоять в правде». Не забудем, что Державин имел полную возможность в своих записках умолчать об этом случае, и отметим еще раз его добросовестность. В противоположность тому, примером честного отношения к своим обязанностям может служить его поведение в деле князя Юрия Владимировича Долгорукого, рассматривавшемся в сенате, о чем, однако, он сам не упоминает. На просьбу князя взять его сторону Державин отвечал: «Я не могу изъяснить того высокопочитания, которое как к давнему моему начальнику лично к особе вашего сиятельства имею; но сожалею, что в качестве судии по делу вашему, в общем собрании правительствующего сената находящегося, не могу мыслить согласно с пользами вашими. Признаюсь, я уже и подал противу вас мое мнение. Извините в сем случае мое беспристрастие, которым я Богу и государю обязан. Впрочем, ваше сиятельство извольте быть несумненно уверены, что вы сию тяжбу вашу выиграете, для того что большинство голосов на вашей стороне». Таким же образом он в конце 1798 года уведомлял своего старинного приятеля Гасвицкого, что по его ходатайству ничего сделать не может, ибо «когда в тонкость рассматривать, то обстоятельства более противную сторону оправ-

дывают...» «Я же, — прибавляет он, — люблю защищать ясное дело, а по-пустому, в чем сам не уверен, не хочу ссориться, то и извини в неудаче».



Н. М. Карамзин в молодости.

Естественно, что Державин вследствие прежней службы своей при князе Вяземском и в качестве президента коммерц-коллегии слыл опытным финансистом, и потому он должен был, по воле Павла, участвовать в составлении банкротского устава, целью которого было, собственно, затруднить дворянству возможность отдавать свои имения в залог и делать долги выше ценности их; однако в скором времени этот устав, говорит Державин, «разными толкованиями и каверзами ослаблен, так что ни доверия, ни скорого взыскания кредиторам не доставлял». По званию государственного казначея на обязанности Державина лежало, между прочим, каждое воскресенье посылать государю краткие «репортицы» о состоянии казны, т. е. отчет о приходах и расходах в течение недели. По его свидетельству, в этом случае имеющему значение источника, казна безмерными издерж-

ками так истощена была и беспрестанно истощалась, что не только не было в ней никаких остаточных сумм, но она была обременена давними недоимками и долгами, для покрытия коих принуждены были печатать новые ассигнации и только этим способом удовлетворяли императора, который не хотел верить, что казна его в таком жалком состоянии».

К этому способствовали и два известных распоряжения: наложение эмбарго на английские суда во всех русских портах (1800 ноября 18-го и 1801 января 8-го) и запрещение вывоза русских товаров в Пруссию (1801 февраля 24-го). Так как вследствие этого прекратился и пошлинный доход, то для исправления финансов Державин придумал такую меру: «напечатав миллионов на сорок ассигнаций, скупить ими находившиеся на бирже купеческие товары и тем, оживив внутреннюю торговлю, сколько-нибудь воспользоваться от них пошлинами». Доклад об этом проекте подан был императору накануне кончины его. С царствованием Павла окончилась, как мы видели, и финансовая деятельность Державина.

С тех пор как с нашего поэта снята была опала, он во все это царствование, за исключением кратких перерывов, пользовался царскою милостью, а со времени назначения государственным казначеем получил и право личных докладов. Некоторые из приемов его у императора рассказаны им с типическими подробностями. Так он пишет, что, когда в 1799 г., при общей раздаче наград, он был обойден и об этом стали говорить при дворе, то государь захотел пожаловать ему звезду учрежденного незадолго перед тем Аннинского ордена и послал за ним, чтобы лично надеть на него ленту. Это было вечером 8-го ноября, в день ангела великого князя Михаила Павловича, когда во дворце был бал. Державин, которого не случилось дома, когда за ним приезжал ездовой, на этот раз опоздал, но тогдашний генерал-прокурор князь Лопухин, увидев его во дворце, предложил ему ехать на другое утро вместе к государю. Державин принял предложение. Дорогой Лопухин, посадивший его в свою карету, говорил ему: «Государь хотел было вчера надеть на вас ленту вместе с прочими, но поусумнился, что вы все колкие какие-то стихи пишете, но я уж его упросил, и так он приказал представить вас сегодня». Державин поблагодарил, хотя и знал очень хорошо, что Лопухин не только не рекомендовал его, но скорее отговаривал государя. Поэт был позван в императорский кабинет; Павел своими руками набросил на него ленту и, произнеся какие-то невнятные звуки, в ту же минуту удалился.

8. Частная жизнь

Из писем Державина, сохранившихся в довольно значительном числе за это время, мы узнаем между прочим некоторые любопытные черты царствования Павла. Так на просьбу родственника своего Ивана Яковлевича Блудова о принятии участия в его деле, поступившем в общее собрание сената, он отвечал (в

марте 1800 года): «Надлежит вам объяснить, что только по указам нынешнего государя докладывают, а те дела, кои по указам покойной государыни, остаются без всякого движения; а как указы его величества беспрестанно прибавляются, то само по себе выходит, что старые в одинаком пребывают положении. Сие распоряжение сделал бывший генерал-прокурор князь Куракин, а потому, думаю я, необходимо будет должно вам просить государя императора письмом, чтоб благоволил приказать установить справедливую очередь, чтоб по тем и другим указам дела течение имели; а то и во веки веков очереди дожидаться не можно будет, ибо хотя ныне дела скоро решаются, а именно — каждую неделю два дела; но как непрестанно новые вступают, следовательно, до указов покойной государыни никогда очередь дойти не может».

В начале 1797 года Державин, вместе со всеми разъезжавшими в своих экипажах, был озабочен заведением новой упряжи. «Приказано здесь ездить в шорах: не знаю, где лошадей к тому годных достать», — писал он к своему приятелю Гасвицкому в Курск, прося его по возможности похлопотать, чтобы один из тамошних заводчиков уступил ему шестерку или хоть пару «хорошеньких лошадок».

В июне поэт благодарит Капниста за обещанных лошадей. «По описанию, — говорит он, — вижу, что лошади очень добры, но только трогается несколько мое самолюбие тем, что для Дарьи Алексеевны жив и горяч аргамак, а для меня мерин гнедой, смиренный, спокойный: то неужто ты ее мужчиной, а меня бабой считаешь? Ну, да так и быть; только лошадей-то пришли». Наконец, в последних числах декабря опять напоминание Гасвицкому: «Лошадей Ильинский мне не присылает, а мне бы в них крайняя нужда, ибо ныне от государя императора подтверждено, чтоб непременно к святой неделе ездили в шорах. Хорошо, как бы серых прислал, ибо я жду из Оренбургской губернии также пару серых, то бы как-нибудь и скропал цуг».

В этом же письме любопытное указание на другой заведенный императором порядок: «О детях ваших (т. е. Гасвицкого) с человеком вашим я не писал ничего, для того что словесно ему наказывал вам пересказать, что надобно от вашего имени положить письмо в ящик государя и просить его прямо, как служивый человек, чтоб принял в службу детей его, по недостатку его, в корпус и сделал бы их достойными быть в его службе. Протекция же в сем случае никакая не поможет, а может быть и будут счастливы, что принять прикажет; а ежели не примутся, то других дорог искать будем».

Подобно большинству русских бар и чиновных людей, Державин жил выше своих средств, и в денежных делах его покуда продолжалась прежняя неурядица. У него с женой было два каменных дома. В том из них, который был куплен в 90-х годах близ Измайловского моста, они жили сами; другой же, на Сенной площади, принадлежавший собственно Дарье Алексеевне, отдавался внаймы под съезжую; но полиция неисправно вносила

за него плату, и Державин должен был переписываться о том с военным губернатором гр. Паленом.

Первый из этих домов, как можно и теперь видеть — его занимает римско-католическая коллегия — был довольно обширен, так что в нем, кроме просторного помещения для супругов, оставалось еще место и для некоторых родных и близких лиц обоего пола. В то время из камня построен был только главный корпус здания, и над фасадом его высились сохранявшиеся долгое время статуи четырех богинь. С обеих сторон были деревянные пристройки, первоначально назначенные, как было выше упомянуто, для помещения опекунской канцелярии Державина; впоследствии их занимали также родные. Каменные флигели построены были позднее, еще при жизни поэта (1809), и отдавались внаймы. Главное здание находится в глубине большого двора; со стороны фасада были, как и теперь, два боковых подъезда, а третий выход позади дома вел в сад, разведенный стараниями Дарьи Алексеевны. От фасада по обоим краям двора шли колонны, которые потом продолжались и вдоль улицы, параллельно с Фонтанкой. Дом состоял из двух этажей. Кабинет поэта был наверху с большим венецианским окном, обращенным на двор; за кабинетом находилась небольшая гостиная (главная же — внизу); рядом с верхней гостиной, влево, был так называемый *диванчик*, а далее столовая; другая большая столовая, служившая и залом для танцев, была в нижнем этаже. Прямо с подъезда входили в аванзалу, а вправо от нее была большая галерея в два света, где впоследствии происходили заседания пресловутой шишковской Беседы; еще далее вправо был театр, также в два света. Во втором этаже находились, между прочим, комнаты для приезжих, особая комната для секретаря и особая же для доктора.

Не имея детей, Державины как значительнейшие по своему положению представители обширного родства (со стороны Дарьи Алексеевны) радушно открывали свой дом всем близким и даже давали многим из них убежище под гостеприимным кровом своим. В письмах к жене из белорусской поездки Гаврила Романович является не только нежным супругом, но и вообще добрым человеком. Посылая почти в каждом письме поклоны «всем домашним, родным и детям своим богоданным», он пишет из Витебска: «От тебя, душа моя, зависит отдать нищим, сколько ты хочешь. Но только, ежели находишь состояние наше лучшим, то сделай лучшим и людское. Прибавь им харчевых денег и жалованья — по соразмерности. Я не знаю, как ты услугой довольна, а я очень: особливо Кондратьем... У меня бы еще и остались деньги, да я двести отдал тоже бедным, а двести в долг Неранжичу» и т. д. Вообще замечательно, с каким радушием Державины готовы были принимать на свое попечение чужих детей и сирот; так Гаврила Романович в 1800 году писал в ответ старинному приятелю своему И. Я. Блудову: «Относительно птенцов ваших я желаю, чтоб вы сами подолее пожили, были здоровы и были в состоянии воспитывать их и составить их сча-

стие. Но ежели на нечаянный смертный случай, чему все мы сами подвержены, угодно вам мое о них попечение, то ежели я жив и здоров буду, от сего не отрицаюся; но надобно, о сем размыслив, согласно законам сделать такое заблаговременно распоряжение, по которому бы я имел право войти в их пользы и защищать их в случае быть могущих притеснений и обид от дальних и ближних ваших, без чего я быть им ничем полезным не могу; для сего, я думаю, вам нужно хотя на короткое время суды самим приехать». Несмотря на известную расчетливость Дарьи Алексеевны, дом Державиных всегда отличался хлебосольством. Сохранилось несколько записок, которыми поэт приглашает к себе на обед или на вечер. Одною из них он звал отобедать Обольянинова с Мертваго, служившим под начальством первого как провиантмейстера, и с М. М. Бакуниным, позднее петербургским губернатором.

Оба принадлежавшие Державиным дома были заложены в Опекунском совете; в начале 1798 года наступал срок платежа, но за неимением денег поэт желал перевести долг, под залог недвижимых своих имений, в учреждавшийся тогда Вспомогательный банк, о чем и просил попечителя Воспитательного дома, известного Якова Ефимовича Сиверса. Имения, о которых шла речь при этом случае, уже известны нам: это были белорусские деревни (в Себежском уезде), Гавриловка (в Херсонском) и новоприобретенная на Волхове Званка, вскоре так прославленная поэтом и с этих пор играющая важную роль в его жизни. Она куплена была на деньги, полученные Дарьей Алексеевной в приданое у ее матери (за 10.000 рублей). Это сельцо (ныне село) с плохую землей, отчасти покрытою камнями, лежит на левом берегу Волхова, водою в 55-ти верстах от Новгорода, сухим путем более 70-ти. В тогдашних актах Званка показана принадлежащею к Грузинскому погосту, и, приобретя ее, Державин сделался соседом Аракчеева, с которым, однако, отношения у него всегда были довольно холодные. В числе соседей Державина заметим еще: Тыркова (в имении Вергежи), Путятина (в Пшеничице), Яхонтова (в Антоньеве, по другую сторону Волхова), Кожевникова (в имении Змейско, с усадьбою Пристань, также на другом берегу, верстах в тридцати от Званки).

О новой собственности Державина в первый раз упоминается в письме его к Капнисту от 9-го августа 1797 года: «Мы едем сегодня на Званку, которую купили». Вскоре после того решено было построить там усадьбу, и для этого из белорусского имения перевели туда часть крестьян. Тогда же Державин стал помышлять о заведении на Званке разных фабричных производств и готовить к тому людей: так, побывав на Александровской мануфактуре в начале 1800 года, он, с согласия директора ее (Брусилова), решился отдать двух деревенских мальчиков для обучения на ней ткацкому ремеслу. Несколько позже он писал И. Я. Блудову: «Прошу мне сделать одолжение: на Новотроицкой суконной вашей фабрике выучить моих несколько баб прясть шерсть, которых я тотчас прикажу туда из Оренбургской

губернии отправить; а между тем прошу одолжить приказать вашим пряхам несколько шерсти перепрясть для присылки ко мне, ибо я завел в новгородской деревнишке маленькую фабрику. Что будет стоить, я пряхам вашим за работу заплачу».

Для предполагавшихся пристроек к петербургскому дому он хлопотал о привозе теса и камня из новгородского поместья, где вскоре и начал ежегодно проводить летние месяца. Званка сделалась любимым его местопребыванием; по временам, особенно в июле месяце, ко дням рождения и именин гостеприимного хозяина (3-го и 13-го числа) туда съезжалось множество гостей не только из соседних имений, но и из Петербурга. Между тем он не переставал придумывать разные меры для улучшения хозяйства и в других принадлежавших ему имениях. В Гавриловке он хотел завести овцеводство и поручал тамошнему управляющему, Заозерскому, послать к Николаю Алексеевичу Дьякову (брату жены) в харьковскую деревню за тонкошерстными овцами лучшей породы, а до пригона их изготовить «на две тысячи хорошие и теплые кошары». Пользуясь случаем, он велел отправить к другому помещику, соседу Дьякова, несколько мальчиков для обучения музыке. В оренбургском имении, которым по-прежнему управлял Чичагов, был устроен кроме винокуренного еще и конский завод. Но вот пожар истребил первый из этих заводов вместе с частью деревни. Замечательно, с каким спокойствием известие о том было принято Державиным: «Крайне сожалею, — писал он Чичагову, — о таком неприятном случае. Но что делать? Да будет во всем воля Божия! Видно, нам не судьба поправить свое состояние. Но вы не огорчайтесь, я охотно разделяю с вами убыток, как следует, и в том полагаюсь на вашу видимую честность. Пришлите только обстоятельную мне ведомость по исчислению всего сгоревшего, до какой суммы по тамошним ценам вся утрата простирается, и от какой именно причины и где сперва пожар начался. На первый случай оставьте у себя из наличных, следующих к получению за вино денег 2000 рублей, а остальные 5000 вышлите ко мне. Я и сей суммою на нынешний год буду доволен. — Весьма хорошо вы сделали, что не ослабели и принялись тотчас за рубку леса для постройки нового завода, которым и прошу в сентябре поспешить... Осенью крестьянские сгоревшие дворы всеми вообще деревнями простроить должно, как и впредь (чего Боже сохрани!) в таковых несчастиях всем миром помогать следует и погоревших обстраивать. Я не только не отказываю вам от правления деревень моих, но всеусердно прошу вас продолжать оное и уверен в том, что вы честностью, искусством, расторопностью и прилежанием вашим не токмо вознаградите мою и вашу потерю, но и доставите впредь себе и мне желаемые выгоды; а для того я не токмо не хочу от вас какого-либо наполнения в убытке, но желаю, чтоб вы вознаградили свой и не потерпели разорения, стараясь при том и о моих пользах».

С таким же благодушием Державин писал и к управляющему в казанских деревнях Иванову по поводу жалоб тамошних кре-

стьян на его распоряжения: «Вы от меня поставлены управлять деревнями; то и просить должно было прежде у вас милости, буде работы и поборы тягостны, и я надеюсь на вашу справедливость и хорошее устройство, что вы, с одной стороны, не отяготите их и не приведете в разорение, а с другой — не оставите пещися о приращении моих доходов, держась умеренности, по пословице, чтоб волки были сыты и овцы целы, о чем вас и прошу усерднейше».

Между тем, однако, лица, заведовавшие именными Державина, большею частью не оправдывали его доверия. Так Заозерский в Гавриловке отклонял от себя всякую отчетность. Долго терпел Державин; наконец написал ему строгое письмо, настоятельно требовал отчета и вызывал его самого в Петербург, даже просил губернатора прислать его, но ничто не помогало. Пришлось сменить Заозерского и отдать Гавриловку под надзор одного из соседних помещиков. Естественно, что при таких управляющих доходы с имений не могли поступать исправно; поэт часто нуждался, и потому неудивительно, что он решился продать две табакерки, пожалованные ему императором Павлом за оды: на рождение великого князя Михаила и на Мальтийский орден.

9. Литературная деятельность

Давно замечено, что в нашей литературе, как и вообще в жизни русского общества, всегда отражались те направления, которые несколькими годами, иногда несколькими десятилетиями ранее господствовали в Западной Европе. Так в 90-х годах прошлого века у наших стихотворцев стали чаще и чаще слышаться отголоски анакреонтической и древней скандинавской поэзии: это было результатом знакомства с иностранной литературой отчасти в подлинниках, более же в русских переводах. Эти два новые направления начали около того же времени являться и в поэзии Державина. В некоторых стихотворениях его, например, в «Водопаде», в одах на взятие Измаила и Варшавы, мы встречаемся с образами и именами, заимствованными то из Оссиана, то из скандинавского языческого мира. В древнюю германскую мифологию Державин был издавна посвящен Клопштоком, у которого нередко упоминаются и священные дубы, и барды, и Валгалла. Много черт доставила нашему поэту переводная книжка А. И. Дмитриева «Поэмы древних бардов» (1788); после нее напечатаны были в «Московском журнале» переведенные Карамзиным и посвященные Державину «Сельмские песни», а в 1792 году Костров издал свой перевод шотландского барда.

Еще прежде всего этого, именно в 1785 г., вышел перевод французского сочинения Маллета «Введение в историю датскую», содержащего обзор всей скандинавской древности. Нам становится, таким образом, понятно, откуда Державин почерпал

свои сведения о северной поэзии, отражающиеся в его одах 90-х годов, между прочим и в тех, которые относятся к занимающей нас эпохе, особенно в одах «На победы Суворова в Италии» и «На переход Альпийских гор». В последней он знаменательно называет Оссиана «певцом туманов и морей», как позднее Пушкин назвал Байрона певцом моря. Те же литературные влияния мы находим у Львова, который около того же времени перевел песнь норвежского короля Гаральда. Друзья-литераторы беспрестанно встречались на тех же предметах изучения и творчества, хотя и в разных родах поэзии. Особенно Львов действовал своим примером и познаниями на Державина. Это обнаружилось всего более в анакреонтических песнях нашего поэта.

В германской поэзии переводы и переделки из Анакреона являются обильнее прежнего со второй половины 18-го века. В русской литературе попытки этого рода мы находим уже у Ломоносова (Кантемир не успел издать своих «Анакреоновых од»), далее у Сумарокова, Хераскова и др. У Державина, начиная с самых ранних опытов его, попадают стихи эротического содержания; таковы, например, его пьесы «Объявление любви», «Пламиде», «Нине», «Разлука», а позднее «Мечта», «Хариты», «Пчелка». В 90-х годах два русских перевода подстрекнули Державина к усилению своей производительности в этой области поэзии. В 1794 году Львов издал под заглавием «Анакреон» стихотворный перевод теосского певца вместе с греческим текстом. Сам он не знал языка подлинника и переводил так же, как в наше время Жуковский Гомера, — по чужому подстрочному переложению. Львову оказал такую услугу известный грек, переселившийся в Россию, архиерей Евгений Булгар, который составил и примечания к его изданию. Спустя год бывший подчиненный Державина Н. Эмин напечатал, также в стихах, книжечку «Подражания древним», посвященную Валериану Зубову. Это были переводы с французского, отчасти из Анакреона. Встречая пьесы того же содержания у Державина, написанные позднее, и помня его препирательство с Эминым у Платона Зубова по поводу «Изображения Фелицы», невольно приходишь к мысли, что Державин, возвращаясь весьма часто к анакреонтическим песням, имел между прочим в виду доказать в этом деле свое превосходство над Эминым. Но анакреонтический род был и вообще во вкусе тогдашней эпохи. В пьесе «Венец бессмертия», отнесенной нами к 1798 году, поэт говорит об Анакреоне:

Цари к себе его просили
 Поесть, попить и погостить;
 Таланты злата подносили, —
 Хотели с ним друзьями быть.
 Но он покой, любовь, свободу
 Чинам, богатству предпочел:
 Средь игр, веселий, хороводу
 С красавицами век провел;
 Беседовал, резвился с ними,

Шутил, пел песни и вздыхал,
И шутками себе такими
Венец бессмертия снискал.

Затем автор переходит к самому себе:

Посмейтесь, красоты российски,
Что я в мороз, у камелька,
Так вами, как певец тииский,
Дерзнул себе искать венка.

С этих пор у Державина в довольно значительном обилии яв-ляются эротические пьесы трех родов. Одни, самые многочис-ленные, почерпнуты прямо из переводов Анакреона, причем он держится большею частью львовского перевода, часто заимствуя из него целые стихи без изменения. Другие пьесы подобного со-держания («Горючий ключ», «Геркулес») составляют подража-ния греческой «Антологии» по разным немецким переводам и переделкам; наконец, третьи — оригинальные произведения, каковы, наприм., «Цепи», «Стрелок», «Птицелов», «Мельник». Почти все эти стихотворения отличаются легкостью стиха и про-стым, отчасти народным языком; но в некоторых шуточное со-держание имеет цинический характер. Нельзя не заметить, что иногда к этим поэтическим шалостям приводили Державина служебные неудачи и неудовлетворенное честолюбие. Место Фе-лицы, заметили мы при другом случае, опустело в храме его по-эзии; ему нужны были теперь другие источники вдохновения, и одним из любимцев его старческой музы становится Анакреон. Об этом отделе его произведений высказывались в нашей лите-ратуре большею частью благоприятные суждения. Батюшков в своей речи о влиянии легкой поэзии на язык, говоря об анакре-онтическом роде, ограничился в отношении к нашему поэту только следующим отзывом: «У нас преемник лиры Ломоносова, Державин, которого одно имя истинный талант произносит с благоговением, — Державин, вдохновенный певец высоких истин, и в зиму дней своих любил отдыхать со старцем теосским». Пушкин, защищая своего «Графа Нулина» против нападок журнальной критики на безнравственность содержания и приво-дя многие знаменитые имена писавших в том же роде, как у других народов, так и у нас, кончает восклицанием: «А эротиче-ские стихотворения Державина, невинного, великого Держави-на? Но, отстранив неравенство поэтического достоинства, «Граф Нулин» должен им уступить и в вольности, и в живости шу-ток». Автор статьи о греческой эпиграмме в «Современнике» 1840 года (т. XII) говорит: «Державин так удачно умел передать нам на отечественном языке всю прелесть од Анакреона». На-против, С. Т. Аксаков, при всем своем благоговении к таланту Державина, находил, что его анакреонтические стихотворения, «лишенные прежнего огня, замененного иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление». Наконец, вот

что заметил Белинский: «Первый начал у нас писать в антологическом роде Державин. В своих так называемых анакреонтических стихотворениях он является тем же, чем и в оде, — человеком, одаренным большими поэтическими силами, но не умевшим управляться с ними по недостатку вкуса и художественного такта». Затем, выписав целую пьесу «Рождение Красоты», «замечательную по мысли и отличающуюся необыкновенными красотою», критик продолжает: «Вот уж подлинно глыба грубой руды с яркими блестящими чистого, самородного золота! И таковы-то все анакреонтические стихотворения Державина: они, больше нежели все прочее, служат речательством его громадного таланта, а вместе с тем и того, что он был только поэт, а отнюдь не художник». Выше мы высказали свой взгляд на этот отдел поэзии Державина. Прибавим, что при всех недостатках, или, вернее, неровностях антологических его стихотворений, справедливость требует признать, что хотя и до него были попытки в этом роде, но он первый представил на русском языке вполне удовлетворявшие современников образцы этой поэзии, которые и утвердили ее в нашей литературе.

В ряду произведений его с этим характером следует еще отметить блестящие картинами природы маленькие пьесы «К Музе», «Пришествие Феба» и «Возвращение весны», имеющие, как видно из объяснений поэта, косвенное отношение к современным обстоятельствам при дворе. Пьеса «К самому себе» может служить подтверждением сказанного выше, что заходить в эту область поэзии Державина побуждало отчасти разочарование вследствие испытываемых им огорчений. В записках своих он сам подробно объясняет происхождение этой пьесы. Здесь достаточно заметить, что Лопухин, в бытность свою генерал-прокурором, отказал ему в обмене некоторой части званской земли на излишек, остававшийся от надела, полученного казенными крестьянами на противоположном берегу Волхова. Видя, как люди, стоявшие у кормила правления, в то же самое время бесстыдно обогащались на счет казны, Державин часто спорил с ними в сенате; но, убедившись, что они не обращали никакого внимания на его упреки, он излил свое негодование в названной пьесе, начинающейся стихами:

Что мне, что мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если свет за то бранится,
Что иду прямой стезей?

.....

Но коль тем я бесполезен,
Что горяч и в правде черт, —
Музам, женщинам любезен
Может пылкий быть Эрот.
Стану ныне с ним водиться,
Сладко есть, и пить, и спать:
Лучше, лучше мне лениться,
Чем злодеев наживать...

В грустном расположении другого рода поэт, скорбя о кончине Румянцева и опале великого Суворова, говорил в подражание Анакреону:

Так не надо звучных строев:
Переладим струны вновь;
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.

Впрочем, к этому роду поэзии влекла Державина главным образом влюбчивость, которою он отличался, несмотря на лета свои, до конца жизни. Имена молодых девушек или женщин, внушавших ему нежные чувства, стоят то во главе посвященных им стихов, то в его объяснениях. Это были, например, Параша и Варя Бакунины, Люси Штернбер, графиня Соллогуб, Жегулина, Колтовская. В одном примечании к своим «Анакреонтическим песням», изданным отдельно в 1804 году, Державин шутя говорит, что поводом к сочинению их был недостаток денег на отделку сада при петербургском доме его. Когда Дарья Алексеевна тужила о том, то он смеясь отвечал ей, что музы дадут ему деньги, и принялся писать стихи во вкусе Анакреона. Мы не можем оставить этого отдела поэзии Державина, не упомянув о его известной пьесе «Русские девушки», поразительной по грации образов и выражений в описании русской пляски:

Зрел ли ты, певец тииский,
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки российский
Под свирелью пастушка;
Как, склонясь главами, ходят,
Башмачками в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят...

Оды с элегической основой издавна удавались Державину. В этом роде на первом месте стоят его оды «На смерть князя Мещерского» и «Водопад». На кончину Екатерины он долго не откликался; наконец, запустение любимого ею Царского Села при императоре Павле внушило ему пьесу «Развалины», в которой он под влиянием непритворной грусти связывает воспоминания о Екатерине, о ее занятиях и развлечениях с описанием мест, некогда освященных ее присутствием и славою. Жаль только, что он, по обычаю времени, не сумел при этом обойтись без помощи греческой мифологии, без Киприды, нимф, сирен и купидонов. Любопытно сообщаемое самим поэтом сведение, что стихи эти в первый раз были напечатаны за границей Орловым-Чесменским, жившим там в изгнании. Но никаких данных для подтверждения этого известия мы не имеем.

В четырехлетнее царствование Павла окончили свое земное поприще: И. И. Шувалов, Румянцев-Задунайский, Л. А. Нарышкин, Безбородко и Суворов. Оды, посвященные Держави-

ным памяти Шувалова («Урна») и Нарышкина («На смерть его»), не возвышаются над уровнем посредственности; кончина Румянцева, уже неоднократно вызывавшего его похвалы при жизни своей, не внушила поэту новых стихов в честь его; Безбородку помянул он только двумя надписями, из которых одна, к сожалению, не отвечает той благодарности, с какою Державин некогда говорил о своих отношениях к этому человеку. Она начинается словами:

Он мне творил добро, —
Быть может, что и лихо...

Для объяснения этих слов припомним, что Державин в последние годы царствования Екатерины считал Безбородку одним из тайных врагов своих. От сердца оплакал он только Суворова в оригинальной пьеске «Снигирь», где довольно грациозное в некоторых чертах изображение личности героя согрето неподдельною грустью. К этому же периоду относится одно из самых удачных элегических стихотворений его — «Арфа», написанное на Званке и посвященное девице Бакуниной, которая играла на арфе. Меланхолически настроенный ее игрою, поэт переносится мыслью на родину и в правильных, звучных стихах выражает тоску по ней.

Отдел духовных и дидактических стихотворений Державина за рассматриваемое время получил довольно значительное приращение. Его подражания псалмам — весьма различного достоинства. Из прежних его произведений в этом роде особенно выделяются оды «Властителем и судьям» и «Величество Божие». Самая обширная из оригинальных его пьес духовного содержания, относящаяся еще к концу царствования Екатерины — «Бесмертие души» (которую так высоко ценил Мицкевич), по нашему мнению, содержит много возвышенных мыслей, но походит более на метафизическое рассуждение, нежели на оду. К разряду дидактических его стихотворений можно причислить некоторые подражания древним, например: Архилоху («Правосудие»), Клеанту («Гимн Богу»), Пиндару и Сафо, особенно же Горацию. Древних языков наш поэт не знал, и потому у него в подобных стихотворениях, конечно, нельзя искать достоинства верности; но в Державине было «живое сочувствие к древнему миру, как свидетельство глубоко художественного элемента в натуре поэта». В этом отношении нас поражают своею красотой некоторые оригинальные его стихотворения, по идее заимствованные из классической древности, например «Рождение Красоты», о котором мы недавно упомянули уже, и «Победа Красоты». В переложениях же его из греческих поэтов более замечательны те места, в которых он, удаляясь от подлинника, самостоятельно рисует природу или русскую жизнь, например в «Похвале сельской жизни». Как введение к знаменитому гимну Клеанта он написал особое большое стихотворение «Утро», со-

держашее целый ряд величественных, смелою кистью набросанных картин в свободно льющихся, звучных стихах.

К дидактическому роду примыкают послания. Обращение к лицу было издавна одним из любимых приемов поэзии Державина: многие оды его, начиная с «Фелицы», по форме своей подходят к посланиям. Но в собственном смысле сюда относятся в данную эпоху только две пьесы, в которых он обращается к старинным приятелям своим: Капнисту и Храповицкому. Первая — довольно удачное подражание Горацию; укажем в ней особенно на строфы от 2-й до 6-й включительно. Еще более внимания заслуживает послание к Храповицкому, с которым Державин вел в то время поэтическую переписку. В этом послании любопытны особенно последние куплеты, подавшие повод к различным толкованиям:

Страху связанным цепями
И рожденным под жезлом,
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
А хотя б и возлетали, —
Чувствуем ярмо свое.
Должны мы всегда стараться,
Чтобы сильным угождать,
Их любимцам поклоняться,
Словом, взглядом их ласкать.
Раб и похвалить не может, —
Он лишь может только льстить.
Извини ж, мой друг, коль лестно
Я кого где воспевал:
Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалял.
За слова — меня пусть гложет,
За дела — сатирик чтит.

Известно возражение Пушкина, что «слова поэта суть уже дела его». Гоголь подтвердил это замечание. Жуковский находил мысль Державина неясною, указывая, что «ошибки писателя не извиняются его человеческими добродетелями». Князь Вяземский в одном письме к Плетневу справедливо заметил, что есть дурные стихи, за которые можно осудить поэта, а никак не человека, но вслед за тем дополнил, что с Пушкиным согласиться можно, если иметь в виду два предыдущие стиха:

Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалял,

к которым последующие относятся как оправдание. Иначе говоря: двух заключительных стихов Державина нельзя отделять от предшествующих. «Впрочем, — прибавляет покойный Вяземский, — где найти определение, суждение, со всех сторон безошибочное и бесспорное? Всякая человеческая истина, всякое и

здоровое мнение имеет, как Ахиллес, свою незастрахованную пятку, в которую уязвить их можно».

Кажется, два стиха, о которых так много рассуждали названные писатели, становятся нам вполне понятными только теперь, когда мы точнее узнали поступки, отношения и образ мыслей Державина. В последней строфе он сознается, что в стихах своих иногда позволял себе лести и тем заслужил упрек строгого критика («сатирика»), но в делах своих остался безукоризнен, т. е. не кривил душой из угодливости, не изменял своим обязанностям и убеждениям. В опровержение этого порицатели Державина могут указать на средство, которое он употребил, чтобы возвратить себе милость Екатерины II и императора Павла, «прибегнув к своему таланту»; но мы уже заметили, что он, по недостаточному образованию своему, по влиянию среды, в которой вращался полжизни, не всегда верно понимал нравственное достоинство. Из откровенных рассказов в его записках ясно, что он в поступках этого рода не видел ничего унижительного. Интересно еще остановиться на выражении:

Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалял.

Чтобы понять, кого именно здесь разумеет поэт, надо припомнить, что послание его написано в ответ на стихи, в которых Храповицкий между прочим говорил ему:

Люблю твои я стихотворства:
В них мало лести и притворства,
Но иногда — *полы лощишь*...
Я твой же стих напоминаю
И сам поистине не знаю,
Зачем ты так, мой друг, грешишь.
Достойны громкой славы звуков
Пожарский, Минин, Долгоруков
И за Дунаем храбрый Петр;
Но Зубовых дела не громки,
И спрячь Потемкиных в потемки:
Как пузырей, их свет ветр...
И Зубов, ставши размундирен,
Для всех россиян только смех.
Твоею творческой рукою
И пылкою стихов краскою
Достойных должно прославлять,
Великих, мудрых, справедливых,
Но случаем слепым счастливых
В забвеньи вечном оставлять.

Итак, Храповицкий, поставив на одну доску Платона Зубова и Потемкина, упрекает Державина в том, что он хвалил последнего наравне с первым, и поэт принимает упрек без возражения. Это можно объяснить разве тем только, что дело происходило в

царствование Павла, когда Потемкин, естественно, казался таким же померкнувшим светилом, как и Зубов.

Но что Державин и в это время (когда, употребляя выражение Карамзина, музы ходили под черными облаками) способен был независимо от обстоятельств хвалить тех, кого считал достойными того, это он доказал своею одой «На возвращение Зубова из Персии» (Валериана). Поводом к сочинению этой оды был разговор его при дворе с князем С. Ф. Голицыным, который, упрекнув Державина одой на взятие Дербента, заметил, что уж теперь герой его не Александр и льстить нет никакой выгоды. Державин, в некотором противоречии с признанием, которое вскоре после того вырвалось у него в минуту откровенности, отвечал, что в рассуждении достоинства он никогда не перемечает мысли и никому не льстит, а пишет по внушению своего сердца. — «Это неправда, — возразил Голицын, — нынче ему не напишешь». — «Вы увидите», — сказал Державин и, приехав домой, сочинил эту оду. Хотя она и не была тогда же напечатана, но в списках находилась у многих, несмотря на то, что Зубов был в совершенной опале. Известно, как поступил с ним император Павел по вступлении на престол, когда Зубов с действующей армией находился за Кавказом: полковым командирам посланы были отдельные приказания немедленно возвратиться со своими полками. Зубову приходилось оставаться в лагере одному: он отправился вслед за своей армией в пределы России; по прибытии же в Петербург немедленно подал в отставку и получил приказание жить под присмотром в своих курляндских деревнях.

Современники восхищались этим стихотворением. Жихарев называет его одною из прекраснейших од Державина и приводит 10-ую строфу, в которой нельзя не отметить очень удачного выражения:

Как счастье к тебе хребет
Свой с грозным смехом повернуло...

По-прежнему Державин продолжал как бы вести поэтическую хронику важнейших современных событий. В оде «На новый 1798 год», написанной вскоре после заключения мира в Кампо-Формио, в первый раз является у него Наполеон, с которым мы с этих пор так часто встречаемся в стихах его. Назвав завоевателя «галльским витязем», поэт пророчески спрашивает: кто знает, не придет ли пора, когда он —

Гордыней обуяв,
Еще на шаг решится смелый
И, как Сампсон, столпы дебелы
Сломив, падет под ними сам?
Мы видим троны сокрушенны
И падших с них земных богов:
На их развалинах рожденны,
Не расцветут ли царства вновь?

По случаю рождения великого князя Михаила Павловича в январе 1798 года во дворце был выход. Завадовский и Козодавлев советовали Державину увековечить это событие стихами. В первый за тем съезд при дворе он привез новую оду и передал обоим по списку ее. В ней ангел новорожденного —

Ищи, — твердит ему, — в незлобьи
Ты образца делам своим:
Престола хищнику, тирану
Прилично устрашать рабов;
Но Богом на престол воззвану
Любить их должно, как сынов.

Ода сделалась известна всему городу. Некоторые из стихов ее, особенно сейчас приведенные нами, возбуждали много толков и заставляли опасаться за участь автора. По его словам, осторожные люди, как например Козодавлев, стали избегать его, боясь, чтобы их не заподозрили в сочувствии к нему. Но император, к общему удивлению, совсем иначе взглянул на содержание многих смелых стихов. На первой неделе Великого поста поэт вместе с женою был у обедни; вдруг в церковь входит фельдтегерь и подает ему толстый пакет. Жена обмерла от испуга; но Державин, распечатав конверт, нашел в нем золотую табакерку с брильянтами, при письме Нелединского-Мелецкого, уведомлявшего, что это подарок, жалуемый ему за оду.

Великолепное торжество, бывшее при дворе в конце 1798 года по случаю принятия Павлом звания великого магистра Мальтийского ордена, внушило Державину обширную оду на этот орден, или, вернее, на покровительство, какое император оказывал ему. Ода «Орел» была как бы поэтическим комментарием на известные слова, сказанные Павлом Суворову при отправлении его в Вену: «иди спасать царей!» Знаменитые подвиги этого полководца послужили предметом двух новых обширных од: «На победы в Италии» и «На переход Альпийских гор», из которых особенно прославилась последняя.

Между тем московское издание сочинений Державина много способствовало к распространению известности его стихов, до той поры рассеянных в журналах или вовсе не напечатанных. Приятным для него свидетельством признания его таланта в молодом поколении было неожиданно полученное им приношение двух воспитанников Московского университетского пансиона. Один был будущий славный поэт, Жуковский, другой — Семен Родзянко, которого не должно смешивать с однофамильцем его (Аркадием), впоследствии довольно известным поэтом. Они перевели на французский язык оду «Бог» и прислали свой перевод знаменитому автору при следующем письме:

«Милостивый государь! Творения ваши, может быть, столько ж делают чести России, сколько победы Румянцевых. Читая с восхищением «Фелицу», «Памятник герою», «Водопад» и проч., сколь часто обращаемся мы в мыслях к бессмертному творцу их и говорим: он россиянин, он наш соотечественник. Плененные

редкими, неподражаемыми красотами оды вашей «Бог», мы осмелились перевести ее на французский язык и вам на суд представляем перевод свой. Простите, м. г., если грубая кисть копиистов обезобразила превосходную картину великого мастера. Чтобы удержать всю силу, всю возвышенность подлинника, надобно иметь великий дух ваш, надобно иметь пламенное ваше перо. Именем всех своих товарищей, мы просим вас, милостивый государь, снисходительно принять сей плод трудов наших, уверяя, что мы почтем себя весьма счастливыми, если он удостоится благосклонного вашего внимания.

С совершенным высокопочтанием имеем честь быть вашего превосходительства, милостивого государя,
всепокорнейшие слуги

Василий Жуковский, Семен Родзянка.
Генваря дня 1799 года. Москва».

Поэт отвечал молодым людям четверостишием, в котором, едва ли искренно, советовал им идти лучше по следам русского Пиндара и Гомера, т. е. Ломоносова.

Очерк поэтического творчества Державина за Павлово время показывает, что хотя талант его еще и вспыхивал нередко прежним огнем и во многих из тогдашних стихотворений встречаются места, достойные славы певца Фелицы, но лучшая пора его поэзии уже навсегда миновала.





Глава XIV

Служба при Александре I

(1801 – 1803)

1. Воцарение нового императора

Век новый! Царь молодой, прекрасный
Пришел к нам днесь весны стезей...

Так начал Державин свое приветствие внуку Екатерины. Известно, с каким восторгом было встречено не только в столице, но и во всей России вступление на престол Александра I. Оно привело в движение перья стихотворцев. Оды, появившиеся по этому случаю, считаются десятками; никакое событие еще не вызывало такого обилия стихов. Запели Херасков, Мерзляков, Карамзин, Измайлов, Озеров; запели старые и молодые. Как было смолчать Державину? Его громкий голос заглушил все прочие; ода его переписывалась и выучивалась наизусть. Но она не могла быть напечатана: новый генерал-прокурор Беклешов, назначенный на место уволенного Обольянинова, запретил ее, находя в ней ясные намеки на совершившуюся катастрофу. Напрасно Державин уверял, что стихи:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд

относятся ко времени года, когда воцарился новый монарх, так же как в оде на его рождение в декабре месяце говорилось о Боре и зиме: никто ему не верил, тем более что такое же отношение к недавней действительности представляли тут и целые строфы (8-10).

Оправдывался Державин особенно в виду неудовольствия, которое он этими стихами навлек на себя со стороны вдовствующей императрицы Марии Феодоровны; толкование же их в превратном смысле приписывал он своим недоброжелателям. Между тем в намеках его нельзя не видеть отголоска общего настроения. Но замечательно, что оно в таких резких чертах отразилось у одного Державина, и что только его ода подверглась запрещению.

Особенно поражала всех своею смелостью строфа, представляющая Екатерину в облаках:

Стоит в порфире и вещает,
Сквозь дверь небесну долу зря:
«Се небо ныне посылает
Вам внука моего в царя.
Внимать вы прежде не хотели
И презрели мою любовь;
Вы сами от себя терпели,
Я ныне вас спасаю вновь».
Рекла, — и тень ее во блеске,
Как радуга, сокрылась в свет.

Здесь поэт как будто «ставит обществу в вину, что оно прежде не позаботилось о возведении Александра на престол, как этого желала Екатерина; что ему должно было бы не допускать Павла до престола: оно этого не сделало, и потому терпело само от себя». На это можно, однако, заметить, что едва ли сам поэт придавал именно такой смысл своим словам; в них, кажется, следует видеть не более как поэтический оборот, такой же как и в стихе:

«Я ныне вас спасаю вновь»,

из которого, конечно, нельзя заключить, чтобы Державин в самом деле приписывал Екатерине вступление на престол внука ее. Обращаясь к русским вообще, императрица могла употребить известную риторическую фигуру и разуметь вместо целого только часть, т. е. тех или того, кто, по преданию, скрыл приписываемое ей заведение об устранении сына ее от престола.

Александр не только не прогневался на Державина за эту оду, но еще пожаловал ему брильянтовый перстень в 5000 рублей (Карамзин получил такой же подарок в 2000 рублей). Есть известие, что вместе с тем, однако, сам государь изъявил желание, чтобы ода Державина осталась не напечатанною. Рассказывали, что Троцкийский, занявший важный пост докладчика при Александре, во время присутствия в сенате отозвал поэта в сто-

рону и передал ему волю императора, чтобы он не только не печатал оды, но и не давал с нее списков. Державин с огорчением возразил, что едва ли государь приказал сообщить ему это повеление в сенате. — «Да, — отвечал будто бы Трощинский, — ежели бы существовала Тайная, то вы там услышали бы это; но мне не было назначено ни время, ни место». По другому преданию, Александр, получив оду Державина, сказал: «Пусть он вспомнит, что писал при восшествии на престол моего отца». *Se non e vero, e ben trovato*.

При коронации, бывшей 15-го сентября, опять зазвучали дощужие лиры. Стихи посыпались еще в большем количестве; снова заговорили давно замолкшие певцы; явились и новые. Державин, бывший также в Москве, не отстал от других и написал (не считая «Песнь» и «Хоры» на этот случай) целых два стихотворения: «Венчание Леля» и «Гимн кротости», но так как вступившие в состязание певцы получали подарки, то он, не желая подать мысли, что также ищет награды, издал свои два стихотворения несколько позже.

2. Деятельность в первое время

Пользуясь большим почетом как поэт и сановник, Державин в первое время царствования Александра Павловича увидел себя в весьма невыгодном служебном положении. Хотя государя еще окружали люди старого поколения, Беклешов, Трощинский и вызванный из деревни граф А. Р. Воронцов, но Державин, принадлежа к той же категории «служивцев», не ладил вполне ни с одним из них.

Мы уже видели, как сам государь выразил свой взгляд на финансовую деятельность Державина, возвратив должность государственного казначея, порученную ему Павлом, Васильеву. Затем, когда в первые же дни царствования (марта 26) упразднен был прежний совет как временное установление «без ощутительного влияния на дела общественные», а через четыре дня учрежден был для рассмотрения государственных дел новый «непременный» совет (вскоре названный Государственным), то Державин не был включен в число лиц, назначенных в его члены, «почтенных доверенностью государя и общему». В прежний совет Державин был посажен императором Павлом на другой день после назначения государственным казначеем (в ноябре 1800 года). На устранение его из нового совета кто-то написал двустушие:

Тебя в совете нам не надо:
Паршивая овца все перепортит стадо.

Так рассказывает сам Державин; по другому известию, этот пасквиль был ответом на сочиненную им надпись к портрету Александра:

Се образ ангельский любезныя души:
Ах, если б вокруг него все были хороши!

Но ежели бы, действительно, это последнее двустипшие вызвало пасквиль, то Державин, конечно, не упустил бы упомянуть о том в своих записках. Автора пасквиля он называет подлым стиходеем. Неправдоподобно показание Греча, будто этим автором был князь Платон Зубов, который, как мы знаем, постоянно сохранял доброе расположение к Державину.

Виновниками новых служебных невзгод Гаврилы Романовича были, по его предположению, Беклешов, Трощинский и граф А. Воронцов (некогда благодетель его), которые, впрочем, сами вскоре разошлись в своих интересах. По его словам, Трощинский и Беклешов поссорились и, противоборствуя друг другу, ослабили доверенность к себе государя, так что он не знал, кому из них верить. Призванный по внушению Трощинского, Воронцов пошел вместе с ним против Беклешова, который и действительно только полтора года оставался генерал-прокурором. В этой борьбе и Державин присоединился к ним. Трощинский в первое время был правою рукою государя: ему поручено было заведование канцеляриею нового совета, и таким образом он сделался докладчиком и редактором при лице Александра.

В предыдущее царствование обширная власть генерал-прокурора еще усилилась; в сенате он часто решал дела по своему произволу, и сенаторы в угоду ему беспрепятственно позволяли себе нарушения закона. Теперь явилось еще новое побуждение к отступлениям от справедливости: «охуждая правление императора Павла, зачали, — говорит Державин, — так сказать, коверкать все, что им сделано». Незадолго до перемены правления сенат отдал доставку соли из крымских озер на откуп коммерции советнику Перетцу и херсонскому купцу Штиглицу; по контракту, утвержденному покойным императором, они обязались вместо привозной из-за границы соли доставлять соль крымскую в западный край с 1801 г. на восемь лет, и таким образом им продолжен срок содержания крымских соляных озер. Теперь этот контракт был внезапно объявлен недействительным в общем собрании сената, в котором присутствовало около сорока человек. Хотя в принципе Державин был также того мнения, что соляной откуп для государства вреден и должен быть отменен, но в данном случае он находил, что на время правительство связано заключенным контрактом. По этому поводу он написал довольно обширную записку, в которой, ссылаясь на закон, предписывающий свято соблюдать контракты, хотя бы и в ущерб казне, напомнил, что государь при вступлении на престол обещал строго держаться законов. На это мнение Беклешов предложил замечания, которые вызвали новые энергические возражения со стороны Державина. За болезнью последнего окончательное определение сената было принесено ему на дом, но он не подписал его, а на другой день отправил к Трощинскому для поднесения

государю своих возражений на записку Беклешова. Несмотря на то, высочайше утверждено было мнение сената об уничтожении контракта.

Вскоре генерал-прокурору представился новый случай выказать свою силу. Это было по делу Колтовской, опекуном которой, по воле императора Павла, назначен был Державин взамен других лиц, бывших на стороне ее мужа и потому устраненных. Беклешов требовал восстановления прежней опеки как утвержденной письменным указом покойного государя, тогда как замещение ее Державиным состоялось по словесному высочайшему повелению. Державин, соглашаясь, что письменный указ действительно, доказывал, однако, что в этом случае словесное повеление не может быть отменено, так как оно уже принято сенатом к исполнению, и притом письменный указ, в противность коренным законам, лишал Колтовскую всего ее имения без рассмотрения дела в нижних инстанциях. Поэтому он настоял, чтобы государю поднесен был доклад с прописанием всех обстоятельств и хотел подать особое мнение; но, к удивлению его, через несколько дней дали ему в сенате прочесть высочайше конфирмованный доклад, в котором не только было скрыто его мнение, но даже и имя его не было упомянуто. Приведенный в негодование таким презрением к правам сенаторов и к закону Петра и Екатерины, по которому каждый отдельный голос наравне с прочими должен был восходить на решение верховной власти, Державин тотчас же написал письмо к статс-секретарю Михаилу Никитичу Муравьеву с просьбою исходатайствовать ему аудиенцию у императора и, удостоясь приема, довел до высочайшего сведения о поступке Беклешова. Дело Колтовской имело важное влияние на устройство всего государственного состава относительно производства дел: так говорит Державин в своих записках, полагая, что преобразование сената и учреждение министерств были отчасти последствием его жалобы на самовластие Беклешова.

Не без связи с делом Колтовской было также издание указа 21-го мая 1801 года об опекунах и попечителях. Опеки и попечительства, было сказано в этом указе, выходят из пределов своей обязанности, присваивают себе власть судебных мест и, самовольно решая силу обязательств, удовлетворяют их или отвергают по частным своим побуждениям. Вследствие того повелено, чтобы опекуны и попечители немедленно отдали правительству отчет о всех своих распоряжениях по вверенным им имениям, представив свои донесения в те губернские правления и дворянские опеки, в ведомстве коих они состоят. Такой отчет должен был подать и Державин. Но он представил его прямо в сенат, ссылаясь на то, что имения порученных его опеке и попечительству лиц находятся в разных губерниях. В то же время он особым письмом донес государю об этом действии своим и, изъявляя надежду, что все его распоряжения по вверенным ему опекам будут признаны вполне согласными с законом, представил записку об опеках вообще и об управляемых им в частности. Это

была та самая, составленная Луниным записка, о которой нами при другом случае уже упомянуто.

Вслед за этим по некоторым из возложенных на Державина опек состоялись какие-то распоряжения, которыми он остался недоволен. Это видно из сохранившейся в его бумагах небольшой записки, читанной им лично государю, как на ней отмечено рукой Державина, в ноябре 1801 г. Вот ее содержание: «Кроткая и справедливая душа побуждает пред нею быть во всем откровенну. Всемилоостивейший Государь великодушно выслушает мое сердечное сокрушение. Из многих указов касательно опеки, мною управляемых, вижу я гнев монарший, и даже в одном лично на меня устремленный. Не находя в совести моей упреков, покушаюсь думать, не очернен ли я какими хитрыми клеветами моих недоброжелателей: ибо что делает мне общую доверенность, то не может, кажется, быть неприятно Монарху. Всепопданнейше прошу, благоволите приказать кому, в присутствии только моем, спросить тех, чьими я имениями управляю, не корыстуюсь ли я их добром или их доходами, также их кредиторов, не делано ли мною им каких притеснений, кроме миролюбивых соглашений на добровольные уступки и рассрочки по правилам кураторским и кроме отсылки к суду для решения сомнительных претензий? Наконец, хотя занимался я сими делами без всяких своих польз, а единственно из христианского подвига делать добро ближнему, и хотя без моего посредства и пособия могут погибнуть фамилии, вверившие мне свои участи, ибо их кредит зависит от моего кредита; но когда угодно Вашему Величеству, я тотчас от них публично откажусь: ибо я, сколько их ни просил, но они дел своих от меня не принимают, да и самые благодарные кредиторы, я думаю, на сие не согласятся». Записка эта подействовала: бывшие в заведовании Державина опеки остались в его руках. Изъявления благодарности, полученные им от графини Мусиной-Пушкиной Брюс и от графа Чернышева, были уже приведены нами.

В 1802 году в сенате рассматривалось дело об отмене монополии на астраханские рыбные ловли, отданные Павлом в вечное владение Куракиным с платежом в казну суммы, которую прежде вносило пользовавшееся ими купечество. Вопрос возник по поводу предствления астраханского землевладельца кн. Долгорукого об уничтожении учугов и других рыболовных орудий, препятствовавших рыбе входить в устье Волги ко вреду промышленности прибрежных жителей. Несмотря на старания князя Александра Куракина, который разослал сенаторам записку, отрицавшую эти жалобы, дело было решено против него, и 27 августа состоялся указ о предоставлении всех каспийских рыбных ловель в общее употребление. К этому результату много способствовало поданное Державиным мнение.

О тогдашнем деятельном участии его в решении разных правительственных вопросов можно судить по следующим строкам из письма его к Капнисту от 28 августа 1802 г.: «Не так мне досужно, как ты думаешь, чтоб я мог стихами заниматься. Вместо того я отягощен беспрестанно бумагами, поручаемыми кроме

моей настоящей должности. Из числа их увидишь и печатные указы моей фабрики, как-то: по должности губернаторов, по выборам дворянства, по разноречащим предписаниям сената и тому подобные». Вследствие возвращения крымских соляных озер в ведение казны сенат около того же времени поручил Державину составить проект правил о содержании этих озер. Узнав о том, Александр Павлович в июле 1802 года приказал Новосильцеву препроводить к Державину все бывшие у государя по этому делу бумаги и послать к нему для объяснения чиновника, долгое время занимавшегося по управлению озерами (Сафонова). Уже 2-го августа обширный проект Державина был готов. В нем, между прочим, предполагалось поставить над крымскими озерами особого главного надзирателя, избрав к тому человека известного честностью, расторопностью и усердием к общему благу. Сенат, в главных чертах одоблив проект, с тем чтобы ввести его в виде опыта, сделал на некоторые статьи свои замечания. Державин отвечал, что так как его проект весь основывается на добытых им практических сведениях и утверждение его будет зависеть от испытания правил на деле, то он не может согласиться на изменение ни единой статьи. Представленные им при этом объяснения могут служить нам образчиком того тона, в каком он вообще спорил со своими сочленами по сенату, не щадя их самолюбия; напр., указав на противоречие между двумя замечаниями их, он восклицает: «Там сенат боится тягостной процедуры, а здесь сокращения!» — или в другом месте: «Удивительно, что сенат благоволит давать откупщикам миллионы, а народу — ничего!»

Доклад сената, представленный вместе с проектом Державина и объяснениями его, был утвержден государем, и указ о том состоялся 23 сентября 1802 года. По рекомендации Гаврилы Романовича, «главным надзирателем крымских озер и всей соляной операции» назначен был отсутствовавший в то время «отставной генерал-майор» Мертваго. Тогда Державин был уже, с недавнего времени, министром юстиции, и приведение в действие принятой меры было предоставлено сенату под главным его наблюдением; по окончании же всех приготовительных распоряжений вся эта часть должна была отойти в ведение министра внутренних дел, что и совершилось при преемнике Державина по министерству юстиции, князе Лопухине.

3. Калужское следствие

Уже в бытность государя в Москве по случаю коронации до него доходили слухи о противозаконных поступках и злоупотреблениях калужского губернатора Лопухина (Дм. Ардалион.), назначенного в эту должность еще при Павле. Он был женат на Шереметьевой, находился в родстве с князем Лопухиным, имел и другие связи при дворе (с Беклешовым, Троцинским, Торсуковым) и потому, надеясь на безнаказанность, позволял себе то возмутительные дела, то неприличные шалости к соблазну всей

губернии. Государь получил несколько доносов на него от местных дворян, частью через известного Каразина, сумевшего стать в близкие отношения к Александру и в это время жившего в Москве. Для производства следствия по этому делу государь избрал Державина, сохраняя полное доверие к его правдолюбию и беспристрастию и понимая, что по отношениям обвиняемого трудно было бы добиться полной истины при неудачном выборе следователя.

23-го ноября 1801 года, вскоре по возвращении из Москвы, Александр, призвав к себе Державина, объявил ему свое решение послать его в Калугу и при этом передал ему полученные доносы. Державин старался было отклонить от себя это щекотливое поручение, но видя, что государь с неудовольствием принимает его возражения, обещал повиноваться и просил только защиты от сильных людей, напоминая, что он получал много поручений от Екатерины и Павла, но вельможи беспрестанно обманывали их и правда оставалась в затмении. Государь, говорит Державин, поклялся поступить как должно. Как польщен был поэт этим поручением, видно из его стихов «Беседа с Гете», написанных по возвращении из дворца. Положено было, что он сперва отправится в Калугу негласно, под видом отпуска, в имение графини Брюс, состоявшее под его опекой, и прежде всего будет под рукою прислушиваться к общей молве о губернаторе и его подчиненных а потом, если окажется нужным, произведет ревизию присутственных мест. В таком смысле был составлен Державиным проект секретного указа, подписанный государем 25-го декабря 1801 года.

Приехав в Калугу, Державин с обыкновенною своей энергией приступил к делу и, разведав о поступках Лопухина, пригласил его в губернское правление, где тотчас же велел представить себе дела и чиновников, которые их производили. Здесь он показал себя тем же строгим следователем, каким нашла его Екатерина в деле о растрате сумм Заемного банка. На расставленных в комнате столах обвиняемые должны были, в его присутствии, дать письменные ответы. Открылось, что Лопухин занял у фабриканта, подполковника Гончарова, 20.000 руб. и потом угрозою ссылки в Сибирь за мнимое преступление принудил его возвратить вексель; в деле об убиении помещиком Хитрово родного брата он потворствовал преступнику, взяв у него 5000 руб., и т. п. Кроме большого числа важных дел этого рода, было еще множество других, по которым губернатор оказывался виновным в буйстве и неблагопристойных поступках; например, он в пьяном виде разбивал по улицам окна, или в губернском правлении «ездил верхом на раздьяконе». С донесением о результате следствия Державин отправил в Петербург нарочного курьера, который и привез ему 15-го февраля 1802 года состоявшийся по его представлению собственноручный высочайший указ от 8-го числа: «Гаврила Романович! объявите губернатору Лопухину, чтобы он сдал должность свою впредь до указа виц-губернатору» (Козачковскому). Вместе с этим Державин удостоился получить

от государя следующий собственноручный же рескрипт, доказывающий, каким неограниченным доверием Александра I он в то время пользовался:

«Гаврила Романович. Получил я донесения ваши, с нарочным присланные, и по желанию вашему прилагаю здесь об вступлении в начальство губернию вице-губернатору. Прилагаю также здесь просьбу помещицы Домогацкой, жалующейся на губернатора Лопухина; взойдите в рассмотрение по сему делу и присокупите оное к прочему производству комиссии вашей. Здесь также прилагаю просьбу губернатора на вас, чего бы мне и не должно было делать, но зная вашу честность и что у вас личностей нету, я уверен, что оное не послужит ни к какой перемене в вашем поведении с Лопухиным. Уверен также, что умеренностью вашею вы отнимите способы у него на столь нелепые притязания на ваш счет. Касательно до Каразина, согласно с его желанием писал я ему, что он может остаться в Москве. Превываю навсегда с искренним уважением вам доброжелательный

Александр.

Февраля 8, 1802 года».

Жалобу Лопухина вместе с письмами к его покровителям привез в Петербург отправленный им тайно особый курьер. На Державина взведены были разные небылицы, напр., будто он завел у себя тайную канцелярию и пытками вынуждал наговоры на губернатора. Во время следствия случилось крайне неблагоприятное для Державина обстоятельство: Гончаров, привезя к нему формальное прошение на губернатора и дожидаясь в приемной, внезапно почувствовал себя дурно и, выйдя в сени, был поражен параличом, от которого скоро и умер. Лопухин не преминул воспользоваться этим случаем для обвинения Державина в смерти Гончарова, последовавшей будто бы от жестокого с ним обращения при допросах. Чтобы опровергнуть клевету, Державин поручил вице-губернатору собрать обвиняемых в губернское правление и в присутствии председателей палат спросить их, как происходили допросы. Сначала вице-губернатор, под влиянием внушений, полученных из Петербурга от сторонников Лопухина, сделал не то: обвиняемые были только подвергнуты новому допросу и дополнили прежние свои показания. Но Державин настоял на своем требовании, и все показания послужили к совершенному опровержению напраслины. Тогда он оставил Калугу и на обратном пути опять пробыл несколько времени в Москве. В марте 1802 года князь А. И. Вяземский (отец поэта) писал оттуда к гр. Воронцову: «Державин приехал сюда несколько дней тому назад. Я очень дружен с одним из его самых коротких приятелей, которому он сказал, что ждет возвращения курьера, посланного им к государю. Он везет массу бумаг, относящихся ко множеству полученных им жалоб».

Возвратясь в Петербург после трехмесячного отсутствия, Державин поспешил к императору, но не был принят и получил приказание явиться на другой день. Встреченный суровыми словами «на вас есть жалобы», он успокоил государя, представив ему противоречие между двумя рапортами губернатора, писанными в один и тот же день: именно, в одном из них — всеподданнейшем — сказано было, что вся губерния встревожена жестокими поступками Державина и надо ожидать народных волнений, а в другом — на имя его самого, — что в губернии все обстоит благополучно.



Александр I.

Удостоверясь из этого в недобросовестности Лопухина, государь приказал Державину написать проект указа об отдаче виновного под суд. Но Державин отвечал, что по поводу сомнения, выраженного в его справедливости, он просит пересмотра следствия. Государь немедленно назначил комитет из гр. А. Воронцова, В. Зубова, Н. П. Румянцева, Вязмитинова и самого Державина. Этот комитет после тщательной проверки каждой бумаги с подлинными показаниями подсудимых нашел как все дейст-

вия, так и заключения своего сочлена правильными. Важных дел по всем обвинениям Лопухина оказалось 34, а признанных неважными 12; к числу последних, по просьбе Державина, отнесен был и ложный о нем рапорт губернатора. В производстве всего следствия не усмотрено никаких притеснений или домогательств, а тем менее истязаний подсудимых. По докладу о том Воронцова как старшего из членов комитета состоялся 16 августа указ, которым ведено Лопухина с соучастниками в его преступлениях предать суду. В конце концов, однако, Лопухин вышел сух из воды: в «Полном собрании законов» мы не нашли ничего, что бы указывало на его осуждение, а между тем в мае 1803 г. (стало быть, через год после упомянутого сейчас указа) Ростопчин писал кн. Цицианову по поводу какого-то другого дела: «Ты увидишь, что из этого дела выйдет самая слабая переписка, и останется все по-прежнему, по примеру калужской истории, коей конца до сих пор нет. Лопухин, бывший губернатор, живет очень весело в Петербурге; сообщники же его уголовною палатою осуждены по всей строгости законов, и мне кажется, что весьма приятное и безопасное место быть атаманом разбойников». Несколько позже, именно в конце 1804 года, мы находим в той же переписке Ростопчина следующее относящееся сюда место: «Московский сенат нашел Лопухина правым; и я не знаю, что теперь его защитник (т. е. кн. Лопухин) сделает с тем указом, при коем сей шельма губернатор отослан был к суду».

Доклад сената по этому делу в начале 1806 года рассматривался в Государственном совете. В заседании 6 февраля совет успел выслушать только часть дела и не постановил ничего, но любопытна записанная в журнал этого заседания оговорка двух членов: «Министр юстиции (т. е. кн. Лопухин) и действительный тайный советник Троцкий отозвались, что они при суждении сего дела быть не могут по причине, что от некоторых участвующих в оном лиц изъявлены были на них неудовольствия и подозрения в покровительстве якобы ими губернатора Лопухина». В следующем за тем заседании прочитано было между прочим следствие Державина. В журнале 19-го февраля отмечено только, что при подписании журнала предыдущего собрания министры коммерции и военный (Румянцев и Вязмитинов) объявили, что так как их мнение уже известно его величеству, то они ссылаются на изъяснения, в нем содержащиеся. В заседании 26 февраля совет слушал обстоятельства, касающиеся самых тяжких обвинений Лопухина, но отложил рассмотрение оных до следующего собрания. Затем было еще только одно заседание, 14-го мая, но в журнале его назначены легкие наказания только некоторым из прикосновенных к делу лиц, да братоубийца Хитрово присужден к ссылке в Нерчинск на каторжные работы, о самом же Лопухине упоминается только мимоходом и никакого приговора о нем не постановлено; а в заключении сказано, что «совет, по рассмотрении всех обстоятельств, положе-

ния правительствующего сената находит правильными и с законами согласными». Лопухин не понес никакого наказания.

4. Участие в проекте преобразования сената

Сенат давно утратил свое первоначальное значение. Дмитриев, бывший обер-прокурором при Павле, говорит, что особенно в бытность Куракина генерал-прокурором сенат был потрясен в своем основании; внимание правительства всего более обращено было на скорость в производстве дел, для чего, по словам Сперанского, положено было переменить прежнее правило единогласных решений и ввести новое, на простом большинстве голосов основанное. Кроме того, сенат был унижен преобладанием генерал-прокурорской власти, что Завадовский называл «его порабощением». Выше было уже упомянуто, как поступил Беклешов с мнением Державина по делу об опеке Колтовской. Державин, лично принеся на то государю жалобу, спросил, на каком основании угодно его величеству оставить сенат. «Ежели, — прибавил он, — генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего сенаторам делать, и я всеподданнейше прошу меня из службы уволить». Александр обещал вникнуть в дело, и через несколько дней последовал указ (5-го июня 1801 г.), которым сенату повелено подать мнение об определении его прав и обязанностей.

Вскоре после этого указа, встреченного обществом с большим сочувствием, возник неофициальный комитет, состоявший, под председательством императора, из четырех приближенных к нему лиц: графа Кочубея, Н. Н. Новосильцева, графов Строганова и Чарторийского. Из протоколов этого комитета, веденных Строгановым, видно, что уже в первом заседании его, бывшем 24-го июня, государь «выразил нетерпение перейти прямо к административному отделу и начал говорить о сенате». На первый случай определено было составить настоящую картину сената и поручить эту работу графу Завадовскому, который в самом начале царствования вызван был из деревни после полуторагодового отсутствия и тотчас же посажен в совет и в сенат. Во все продолжение второй половины 1801 года внимание неофициального комитета разделялось главным образом между предположениями о преобразовании сената и крестьянским вопросом. В заседании 5-го августа уже рассматривался доклад сената о восстановлении его прав, основанный преимущественно на мнении Завадовского.

На этот проект «Начертания прав и обязанностей сената» поручено было всем сенаторам представить свои замечания. Эти замечания, а в числе их и записка Державина, внесены были в неофициальный комитет. В докладе о том Новосильцев, выбрав из отдельных мнений что было в них лучшего, предложил слить все это вместе, чтобы составить общее законоположение. При этом Новосильцев держался той основной мысли, что, руководствуясь началами Петра Великого, не следует обращать сенат в

законодательное учреждение, а достаточно предоставить ему власть судебную. В заключение он находил, что государь мог утвердить доклад, пополнив его из мнений гр. Воронцова и Державина.

Сущность мнения Державина состояла в том, что он считал нужным согласить организацию сената с учреждением о губерниях, и так как в основание этого последнего положено было разделение власти на четыре отрасли: 1) законодательную; 2) судебную; 3) исполнительную и 4) сберегательную (прокурорскую), то он полагал и в сенате разграничить эти четыре власти, с тем «чтобы лица, которым они присвоены будут, имели свободный доступ к монарху по делам, управлению их вверенным...

Петр Великий, по частым своим отлучкам и великим занятиям, не имел времени в точности определить права сената, а по тогдашним простым нравам будучи со всеми в свободном и личном обращении, не имел, может быть, и нужды разделить эти власти и назначить для каждой особые к себе пути, кроме одной власти сберегательной (в лице генерал-прокурора). После Петра эта власть, по праву начальства своего над канцеляриею сената, имея в период императриц исключительный доступ к престолу, вместила в себе все другие власти».

На ошибочность этого взгляда, как и на другие слабые стороны проекта Державина, в юридической литературе уже обращено было внимание: во время кабинета и верховного тайного совета никак не могла усилиться власть генерал-прокурора. Из предыдущего мы уже знаем, что чрезвычайное расширение этой власти началось только при Екатерине II. При обсуждении проекта Державина не надо, однако, терять из виду, что излагаемые им мысли о разделении властей и приурочении устройства сената к губернскому управлению первоначально принадлежат этой гениальной монархини. В черновом письме своем к Сперанскому о новом преобразовании сената Державин говорит: «Императрица видела, что организация Петра Великого, на которой сенат был основан, не соответствует ее организации средних и нижних мест... Много раз изволила говорить о желании ее образовать сенат согласно ее учреждению о губерниях; но войны и прочие политические обстоятельства препятствовали ей приняться за сей важный труд. Наконец, в последние годы своей жизни принялась было, но смерть великие ее намерения пресекла». Эти слова Державина вполне подтверждаются свидетельством Сперанского в его записке о наших государственных установлениях. «Из оставшихся после императрицы Екатерины бумаг, — говорит он, — видно, что около 1781 года, т. е. пять лет спустя после введения учреждения о губерниях, ее величество помышляла уже о преобразовании сената. Труд сей, занимавший внимание ее много лет, доведен был почти до совершения. Мысль государыни состояла, кратко, в следующем: устроить сенат на тех же главных началах и с тем же в роде дел разделением, как устроено губернское управление: 1-й департамент сената должен был соответствовать губернскому правлению; 2-й — ка-

зенной палате; прочие — палатам уголовной и гражданской. Для дел важнейших полагаемо было устроить в сенате верховный уголовный и верховный совестный суд».

Потому ли что императору Александру известен был источник мыслей Державина, или по самому существу своему, — по мнению его более всех других понравилось государю, и ему приказано было составить на этом основании проект организации сената. 5-го августа 1801 г. в протоколе неофициального комитета, между прочим, записано: «По прочтении донесения Новосильцева его величество спросил: не лучше ли отложить решение этого дела, пока Державин представит обещанное им объяснение относительно организации сената». — «Мы думали иначе. — продолжает Строганов. — После мнения Державина, представленного письменно в сенат им самим, где он предлагает весьма ошибочно разделение властей, нельзя ничего ожидать от его ложных идей. Новосильцев был принужден распространиться об истинных началах раздела властей, которые Державин думал соединить в сенате. Впрочем, как составление указа на основании доклада требовало некоторого времени, то предложили императору, чтобы Трошинский занялся этим делом, а между тем могла явиться и работа Державина». Что она действительно была вскоре представлена, видно из дальнейших протоколов комитета. Но до нас этот окончательный проект Державина в полном виде своем не дошел: содержание его известно нам частью из поданного прежде «мнения» Державина, частью из его записок, в которых, впрочем, сущность проекта изложена довольно сбивчиво. «Состав сей организации, — говорит Державин, — был самый простой»; сенат должен был состоять из двух частей: правительствующего и судебного сената. Первый в проекте назывался еще имперским правлением. В обеих частях предполагалось по 3 отдела, именно:

— в 1-й части: исполнительный департамент, или благочиния (отвечал бы губ. правлению); далее в той же части: хозяйственный департамент, или казенное управление, финансы (отвечал бы каз. палате); и призрение, или воспитание народное (отвечал бы приказам общественного призрения);

— во 2-й части: гражданский, уголовный и межевой департаменты.

Каждый из департаментов должен был состоять под надзором особого министра: первый — под надзором министра внутренних дел, второй — министра финансов; третий — министра просвещения; три остальные — министра юстиции или генерал-прокурора. На каждом министре лежала бы обязанность заботиться об исправности и усовершенствовании своей части при содействии сената, и все власти из министерств стекались бы к общему их центру — государю, при посредстве генерал-прокурора. В случае разногласия, каждые три департамента составляли бы из себя общее собрание, и единогласные решения их были бы равносильны.

Этот проект Державина, возбудивший в свое время разные толки, сделался известен под именем его конституции, или кортесов. На обертке первого мнения Державина, рукою неизвестного, в архиве сената написана была следующая заметка: «Трое ходили тогда с конституциями в кармане: Державин, кн. Платон Зубов со своим изобретением и гр. Никита Петрович Панин с конституциею английскою, переделанной на русские нравы и обычаи. Новосильцеву стоило большого труда наблюдать за царем, чтобы он не подписал какого-либо из проектов». Есть известие, что с подобным планом в то время носился также адмирал Мордвинов. Кроме Державина, князь Пл. Зубов представил особый проект преобразования сената, отличавшийся тем, что в нем предполагалось обратить сенат в законодательное собрание. Государь, сочувствуя идеям обоих, приказал Троцинскому при составлении нового доклада принять и их в соображение. Но молодые сотрудники Александра представили ему, что они считают нужным отступить от этих двух проектов. Однако во время последующих рассуждений государь не раз возвращался к этим проектам. Когда зашла речь о способе замещения должностей по герольдии, то император прочел проект Державина, по мнению которого надлежало избирать для этого кандидатов из лиц первых четырех классов и предоставлять в каждом уезде выбор дворянам первых восьми классов, а потом уже назначать сенаторов из общего списка кандидатов. Но это предположение было отвергнуто, во-первых, потому что лица первых четырех классов не могут быть достаточно известны избирателям, а во-вторых, дворянские выборы у нас всегда много зависят от губернаторов. Заметим, однако, что первоначально сам государь склонялся в пользу такого способа избрания сенаторов, и что его предлагал также Мордвинов в написанном им мнении. В одном из первых заседаний комитета Александр высказал мысль, что каждый губернатор должен бы от себя представлять двух кандидатов для составления общего списка лиц достойных избрания в сенаторы.

Наконец, после долгих прений в неофициальном комитете составленные Новосильцевом проекты указов о правах и обязанностях сената переданы были в совет; там некоторыми из членов были поданы особые мнения, по соображении которых и издан указ 8 сентября 1802 года. На основании этого указа сенат должен был составлять верховное в империи место, которому подчинялись все другие присутственные места. Как хранитель законов он обязан заботиться о повсеместном соблюдении правосудия, для чего и сами министры представляют ему свои отчеты (постановление, не совсем нравившееся государю). Если бы по общим государственным делам существовал указ, сопряженный с великими неудобствами в исполнении, то сенат имеет право представлять о том императору. По всем судебным делам сенат становится последнею инстанциею. Генерал-прокурор и прокуроры сохраняют прежние свои права и обязанности, и в случае несогласия генерал-прокурора с общим собранием от сената может являться к государю депутация. Таким образом, в главных

частях утверждено было составленное самим сенатом начертание его прав и обязанностей. Один из современных нам писателей заметил, что мнение Державина не вошло в представление сената, но это было естественным последствием того, что первое, как видно из самого начала его, составлено после проекта *начертания*, на который, говорит Державин, «каждому из нас поручено представить свои замечания». Напротив того, сравнение указа с предположениями, высказанными в мнении Державина, показывает, что некоторые из них приняты были в соображение. Так он предлагал, «чтобы приговоры общего собрания печатались во всеобщее сведение, с одной стороны для того, чтобы приобрести ими в государстве более доверенности, а с другой, чтобы они были средством для приучения молодых людей к познанию законов и применению их, между тем как теперь гниют таковые приговоры в архивах, не принося никакой пользы обществу. Бояться пересудов, если дела решены справедливо, было бы малодушием или гордостью; надобно только сенату быть сенатом. Мечта ужаса от просвещения народного тотчас исчезнет». В указе (пункт 22) читаем: «публиковать ежемесячно о делах решенных, означая вкратце, в чью пользу или каким образом решены». Припомним, что Державин и в бытность свою губернатором в Тамбове первый ввел там обнародование правительственных распоряжений путем печати.

Далее, постановления (в пунктах 21, 23 и 24 указа) о введении открытых настольных реестров и кратких записок из дел, а также о том, чтобы самые дела лежали на столах до их слушания, — эти постановления состоялись также согласно с положительно выраженными требованиями в мнении Державина. Свою благодарность за составленный им проект государь выразил пожалованием ему при коронации ордена Александра Невского.

5. Учреждение министерств

В один день с указом о сенате, 8-го сентября 1802 года, обнародован был и манифест об учреждении министерств. В сущности, это преобразование было естественным последствием тех перемен в государственном управлении, которые происходили одна за другой от начала царствования Екатерины II. По свидетельству Сперанского, коллегии уже со времени издания губернаторского наказа (1764) остались почти без действия, по введении же нового губернского учреждения сделались и совсем излишними: власть их перешла на палаты и губернские правления и приведена была, как заметил кн. Кочубей, в те же почти пределы, как и власть палат. Таким образом, продолжает он же, коллегии, по беспольности их, мало-помалу и почти сами собой погасли. Впрочем, сама Екатерина очень хорошо понимала упадок их значения и вскоре приступила к постепенному упразднению коллегий. Император Павел хотел было восстановить их, но по общей системе государственного управления это было уже

невозможно: в 1797 году явилась только тень их, и чтобы поддержать мнимое их существование, найдено было нужным приставить к каждой коллегии главного директора. Вместе с тем при Павле назначаются уже и министры; и хотя это делалось не систематически, как бы случайно, но единоличный характер высшего управления уже определился и необходимо было дать этому получившему перевес элементу правильные формы. В одном из собраний неофициального комитета Кочубей читал свою записку о министерствах; в ней между прочим упоминалось, что все преемники Петра чувствовали необходимость реформ, так как он не успел надлежащим образом организовать государственное управление; сама Екатерина имела уже намерение преобразовать его, и граф Панин представил ей план, в который входило устройство нескольких министерств. То же свидетельствовал и граф А. Р. Воронцов. Вообще в неофициальном комитете часто возобновлялся этот важный вопрос. Большое влияние на решение государя имел бывший его наставник Лагарп. Впоследствии граф Кочубей говорил, что мысль Александра при этом преобразовании главным образом состояла в том, чтобы дать всем частям управления связь, какой они прежде не имели, усилить действие правительства и поставить Россию в некоторое равенство с другими державами, сообразно с требованиями современного просвещения, причем имелись в виду особенно Австрия и Пруссия.

Иначе смотрело на эту реформу большинство людей старого поколения: обширный трактат Троцинского о превосходстве коллегияльного порядка делопроизводства известен; в том же смысле отзывался об учреждении министерств и знаменитый своим государственным умом гр. Семен Ром. Воронцов. Уже в 1803 г. он называл новое управление жалким и советовал брату не ездить в комитеты, чтобы не поддерживать своим участием и авторитетом того, что заслуживает общего порицания. При том же мнении остался граф Семен Воронцов и впоследствии: в 1814 году, в письме к гр. Ростопчину, он резко осуждает бывших молодых сотрудников государя за поспешность их нововведений и «опытов над бедной Россией». «Один только сенат и установление коллегий, основанных Петром Великим, — говорит он, — могут поправить вред, который причинили и всегда будут причинять министры, работающие с государем с глазу на глаз и могущие вводить его в заблуждение намеренно или невольно, по неведению или будучи сами обмануты другими». По тем же соображениям и Державин сделался одним из самых строгих критиков того характера, какой приняло преобразование, хотя он при учреждении министерств и был поставлен во главу одного из них.

Замечательно, что в министры избраны были государем почти исключительно старые дельцы: гр. А. Р. Воронцов (государственный канцлер), Вязмитинов (министр военных и сухопутных сил), Мордвинов (морских сил), Васильев (финансов), Завадовский (просвещения), гр. Н. П. Румянцов (коммерции) и

Державин (юстиции). Из молодых любимцев Александра один Кочубей получил министерство (внутренних дел); остальные должны были удовлетворяться званием товарищей министров: Строганов (при Кочубее), Чарторийский (при Воронцове), Новосильцев (позднее при мин. юстиции). Кроме того, товарищами министров назначены были: Гурьев (по финансам) и М. Н. Муравьев (по народн. просвещению). В назначении Державина нельзя не видеть самостоятельного проявления воли государя, вопреки большинству окружавших его лиц. Противниками Державина были не только молодые сотрудники Александра, но и многие из старых «служивцев», особенно граф Завадовский, Трощинский и гр. А. Р. Воронцов. Отношения к нему молодых сановников видны, наприм., из того, что когда в конце 1801 года после кн. Гагарина открылась вакансия директора банка, и государь в числе кандидатов назвал Державина, то члены неофициального комитета, отдавая справедливость уму Румянцева и Державина, признали их за людей путающих дела и отклонили этот выбор.

О своем назначении в министры сам Державин рассказывает следующее:

8-го сентября 1802 года, вечером, когда у него были гости, приехал к нему статс-секретарь Новосильцев с новым манифестом и, прочитав его, предложил от имени государя принять министерство юстиции. При этом Новосильцев сообщил, что сперва предполагалось дать ему министерство финансов, а Васильева сделать генерал-прокурором, но так как последний не пожелал принять это звание, то оно предоставляется Державину; Васильеву же вверены финансы. Державин решил принять возлагаемый на него доверием монарха высокий пост. В манифесте говорилось, между прочим, что пределы власти каждого министра будут впоследствии определены особыми инструкциями; что в случае, если какой-либо министр встретит по своей части неудобство или затруднение, он может войти о том с докладом к государю, сообщив его наперед прочим министрам на обсуждение; для этого учреждается комитет министров, рассматривающий кроме того «дела обыкновенные». Министры суть также члены совета и присутствуют в сенате, от которого они находятся в некоторой зависимости: через сенат они представляют государю ежегодные письменные отчеты, каждый по своей части; сенат рассматривает отчет в присутствии самого министра, в случае надобности требует от него каких-либо объяснений, сравнивает его показания с рапортами, прямо от мест сенату доставленными, и, наконец, подносит отчет государю вместе с мнением своим об управлении и состоянии дел каждого министерства.

Уже 10-го сентября было собрание комитета министров у графа Воронцова как старшего из них; оно, по словам Державина, было, так сказать, для пробы, каким образом комитету заниматься производством дел в личном присутствии государя.

Затем Державин, в своих записках, представляет в весьма непривлекательном свете ход новоучрежденного управления, жалуясь особенно на затруднительность отношений между комитетом министров и сенатом и на произвол, с которым министры начали, с утверждения государя, располагать миллионами, «тащить казну всякий по своему желанию», «заключать контракты сверх власти, им данной, на превосходные суммы без уважения сената»; «стали делать, что кому захотелось» и «потянули все дела ко вреду государства, а не к пользе».

Конечно, читая записки Державина, мы не должны забывать что так говорит лет через девять после невольного оставления своего поста экс-министр, недовольный правительством и отыскивающий не без ожесточения о своих бывших противниках. Но, устраняя некоторые лжеобвинения и преувеличения его, мы на основании многих других свидетельств должны согласиться, что хотя краски его картины, без сомнения, слишком густы, однако в основании ее много правды. Кроме произвола в действиях министров, легко представить себе неизбежную путаницу в производстве дел при переходе от старого порядка к новому, до переустройства прежних коллегий в департаменты и канцелярии, сообразно с новым распределением ведомств. Главную причину неправильности министерских распоряжений Державин видел в отсутствии инструкций, обещанных в манифесте.

6. Начало управления министерством юстиции

Мы не имеем повода сомневаться в справедливости рассказа Державина, что уже в первом собрании комитета министров, бывшем у Воронцова, он настойчиво высказал мнение о необходимости инструкций. При лаконической краткости, с какою в первое время составлялись журналы комитета, нельзя удивляться, что в протоколе этого заседания ничего не упомянуто о заявлении Державина, который и в записках своих замечает, что дела там «докладывались без справок и соображений». Один из современных нам критиков посмеивается над его любовью к инструкциям (припомним его требование от императора Павла); но, в сущности, эта особенность его вовсе не заслуживает порицания и свидетельствует, напротив, о похвальном стремлении к законности. В самом манифесте об учреждении министерств обещаны были инструкции, и из журналов неофициального комитета видно, что в нем неоднократно рассуждали об этом вопросе: сам государь признавал важность, но вместе и трудность решения его. Граф Строганов заметил, что следовало бы определить предмет инструкций; император отвечал, что в них надлежит выяснить механизм занятий и обязанности каждого министра. Сотрудники Александра полагали, что эта работа не потребует много времени, но сам он был другого мнения. В проекте министерств, читанном Новосильцевым, было положительно вы-

ражено, что каждый из министров должен будет руководиться инструкцией, которая в точности определит его права и обязанности. Воронцов считал нужным снабдить каждого министра двумя инструкциями, из которых одна, с изложением всей системы преобразования, была бы секретною. Сходно с Державиным смотрел на необходимость инструкций Трощинский: в одной из глав упомянутого нами труда его он, рассуждая о намерениях государя при учреждении министерств, одну из целей видит в том, чтобы отвратить злоупотребление власти, а в числе средств к тому ставит возложение на сенат верховного наблюдения за всеми министрами и определение точных пределов власти их *особенными инструкциями*. Другую важную цель преобразования Трощинский полагал в том, «чтобы удержать от отмены старых и введения новых узаконений, исключая чрезвычайных случаев», и в заключение говорил: «Всякому очевидно, что если бы предположенные в манифесте *инструкции* последовали немедленно за учреждением самих министров и составлены были на основании *главных правил и в духе обоих высочайших манифестов*, то благотворная воля его императорского величества была бы исполнена непременно».

Впрочем, государь, уступая настояниям Державина, приступил было к исполнению этой мысли и приказал каждому министру представить свои соображения, каким образом могут быть составлены предполагаемые инструкции и что они должны содержать. Но почти все прочие министры смотрели на этот вопрос очень легко, и это было первым поводом к несогласию между ними и Державиным. Каков был действительно образ мыслей первых министров в этом отношении, видно, напр., из записки, представленной, вследствие упомянутого высочайшего повеления, Кочубеем 27-го марта 1803 года. Достаточным ручательством, что министры не будут злоупотреблять своею властью, служит, по мнению его, то, что в этот сан обыкновенно избираются люди, облеченные полною доверенностью своего монарха, люди государственные, которые должны иметь одну только страсть — благо общественное и чтить выше всего суд публики; «а потому опасение деспотизма министерского, о коем иногда я слышал, ничто иное есть, как химера, тем менее доказательств требующая, что правила, манифестом 8-го сентября начертанные, поставляют всех министров в обязанность друг с другом по делам своей части сноситься и все доводить до высочайшего сведения». Затем Кочубей особенную важность полагает в предоставлении сенату обязанности наблюдения над министрами и видит в этом «сугубую беспечность» (т. е. гарантию) против «многого самовластия министров». Поэтому главною задачею общей для них инструкции он считает разграничение обязанностей сената и обязанностей министерства; изложив свои соображения об этом предмете, он в заключение переходит к рассмотрению отношений и деятельности собственно министерства внутренних дел. Что касается инструкции для министра юстиции, то Державин заявил, что так как по манифесту 8-го сентября он остается на прежнем основании генерал-

прокурором, то он имеет уже инструкцию и может ограничиться ордерами прокурорам, которые и были разосланы в октябре месяце того же года.

Примером того, что Державин в собраниях комитета министров не молчал насчет недоразумений, встречавшихся в исполнении манифеста о министерствах и указа о сенате, может служить то, что уже в заседании 16-го сентября он в присутствии императора читал «свои замечания» по этому предмету. Между прочим он представил, «что как 1-й департамент сената состоит весь почти из министров, то и письменные отчеты по окончании года, по силе манифеста министрами представляемые чрез сенат, будут подлежать собственному их же рассмотрению; комитет единогласно положил, что как по силе манифеста отчеты должны поступать чрез правительствующий сенат, то сие означает общее собрание сената, а не 1-й департамент, и потому суждение производимо будет целым сенатом».

По словам самого Державина, он сначала тем вооружил против себя прочих министров, что по званию генерал-прокурора настаивал на правильной со стороны их отчетности и требовал, чтобы они уже за первый год представили свои отчеты. Основываясь на слухах и сплетнях, которые вследствие того ходили в обществе, княгиня Дашкова говорит, что он хотел играть роль Катона и своими настояниями и выходками рассорился со всеми сенаторами и министрами. Он сам сознается, что, смело противореча и возражая даже на своих докладах, «стал приходить час от часу у императора в остуду, а у министров во вражду».

При этом Державин, по обыкновению своему, обнаруживал изумительную деятельность. До нас дошел листок, на котором следующим образом распределены на каждый день занятия и выезды его как министра юстиции:

«Воскр. Поутру в 10 часов во дворец к императору с мемуарами и докладом сената.

Понед. Поутру в 11 часов во дворец в совет.

Вторн. Поутру в 9 часов во дворец к императору с разными докладами, а после обеда в 6 часов в комитет министерства.

Среда. Поутру в 7 часов до 10-ти говорить с гг. обер-прокурорами и объясняться по важнейшим мемориям, а с 10-ти часов ездить в сенат по разным департаментам по случаю каких-либо надобностей.

Четв. Поутру в 8 часов и до 12-ти дома принимать, выслушивать просителей и делать им отзывы.

Пятн. Поутру с 7-ми до 10-ти часов другой раз в неделю заниматься с обер-прокурорами объяснением по мемориям, а с 10-ти часов ездить в сенат в общее собрание и в тот же день после обеда в 6 часов во дворец в комитет министерства.

Суббота. Поутру от 8-ми до 12-ти часов принимать, выслушивать и отзывы делать просителям.

Затем, после обеда в воскресенье, понедельник, среду, четверг и субботу с 6-ти до 10-го часа вечера заниматься с гг. секретарями прочтением почты, выслушанием и подписанием заготовленных ими бумаг для внесения в комитет и иногда в сенат, а

также и прочитыванием откуда-либо полученных посторонних бумаг, кроме почты.

Наконец, каждый день поутру с 5-ти до 7-ми часов заниматься домашними и опекунскими делами и ввечеру с 10-ти до 11 часов беседою приятелей, и в сей последний час запираеть ворота и никого уже не принимать, разве по экстренной какой нужде или по присылке от императора, для чего в какое бы то ни было время камердинер должен меня разбудить».

Заметим, что в бытность министром Державин несколько позднее переехал в казенный дом, некогда принадлежавший кн. Вяземскому, на Малой Садовой, где и поныне живет министр юстиции.

Уже вскоре после вступления в эту должность Державин ввел два новые распорядка, которые до сих пор остаются памятниками его кратковременного управления министерством. 21-го октября 1802 года государь утвердил доклады его: 1) об учреждении обер-прокурорской консультации и 2) о составлении записок из дел и о сокращении канцелярского делопроизводства.

Применяясь к учреждению о губерниях, в котором сказано: «прокурор с помощниками своими говорит едиными устами», Державин признал полезным, чтобы министр юстиции при затруднениях в окончании важных дел вступал в совещания с обер-прокурорами, и когда в деле, перенесенном за разногласием в общее собрание, произойдут разные мнения, то эти последние, вместе с представлениями обер-прокурора, предлагаются министром на совет всех обер-прокуроров для составления общего заключения, на основании которого министр уже и соглашает разные мнения общего собрания.

Любопытны отзывы некоторых современников Державина об этом нововедении. Известный своим благородным характером Ив. Вл. Лопухин заметил, что оно делает ему честь. Напротив, Воронцов и Кочубей осуждали державинскую консультацию, видя в ней род новой инстанции. «Пускай, — говорил Кочубей во французском письме к гр. А. Р. Воронцову, — генерал-прокурор желает советоваться с юрисконсультами и жаль, что он слишком мало с ними советовался. Но ежеминутно выставлять консультацию и ссылаться на нее, это похоже на уловку. Генерал-прокурор сам за себя несет ответственность, как и все мы. У нас нет консультации, и ради чего же он будет вешать бедных юрисконсультов за глупости, которые сам делает?»

Время оправдало, однако, меру Державина, хотя вскоре и изменился несколько ее характер. Сделавшись правильно организованным учреждением, консультация стала составляться из определенного числа членов, обязанных вести журнал своих заседаний и излагать письменно свое заключение, а отдельные мнения представлять особо. Преемник Державина князь П. В. Лопухин не всегда уже присутствовал на консультации, так что она из совещания министра с лицами, ее составляющими, обратилась в совещание этих лиц между собою. И. И. Дмитриев, занимавший пост министра от 1810 по 1814 год, говорит об этом

учреждении: «При моих предместниках заседание консультации, состоящей из обер-прокуроров и трех юрисконсультов, всегда (?) происходило в министерском доме, под председательством самого министра; но я предоставил ей слушать заключение очередного юрисконсульта и судить о предложенном деле в моем отсутствии, дабы не стеснять свободы каждого в изложении своего мнения и не давать ему ни малейшего направления. После консультации составлялся журнал и за подписанием всех присутствующих представляем был на мое рассмотрение. Я утверждал общее или частное мнение или соглашал сенаторов на основании собственного моего заключения». Мы сочли нужным привести эти строки, чтобы сопоставить их с обвинением в лени и нерадении об истине, которое Державин взводит на своих преемников: по его замечанию, кн. Лопухин и особенно Дмитриев, редко присутствуя на консультациях, подали повод к такому накоплению дел, что министр должен был доверяться своей канцелярии, а она не уважала обер-прокурорских и консультантских мнений; консультации послужили к обиде сенаторов и т. п. Хотя и нельзя отрицать справедливости этих замечаний, но строгость Державина в его отзывах о старинном его приятеле Дмитриеве может показаться странною. Мы уже прежде объяснили ее тем, что он писал свои записки во время министерства последнего, вскоре после бывшего между ними недоразумения. Дмитриев, со своей стороны, писавший свои воспоминания спустя много лет по смерти нашего поэта, говорит о нем совсем в другом духе. Замечателен, между прочим, как прекрасное доказательство незлопамятности Дмитриева отзыв его о бывших между ним и Державиным ссорах, относящихся, впрочем, еще к тем годам, когда оба они были сенаторами. «Я имел неудовольствие, — пишет Дмитриев, — два раза быть хотя и в легкой, но для меня чувствительной размолвке с тем, которого любил и уважал от всего сердца, с Г. Р. Державиным. Благородная душа его, конечно, была чужда корысти и эгоизма; но пылкость ума увлекала его иногда к решениям, требовавшим, для большей осторожности, других мер, некоторых изъятий или дополнений. Та же пылкость его оскорблялась противоречием, — однако же не на долгое время: чистая совесть его скоро брала верх, и он соглашался с замечанием прокурора».

Из описания деятельности Державина по управлению Тамбовской губернией нам известно, что он уже и тогда заботился о сокращении делопроизводства. Мы видели также, что в указе о правах и обязанностях сената по мысли Гаврилы Романовича предписано было держать открыто настоящие реестры делам, ежемесячно публиковать в газетах об очереди дел и составлять краткие по делам записки. Теперь, заняв пост министра, он пошел еще далее: он представил государю доклад о сокращении делопроизводства сообщением кратких записок тяжущимся для прочтения и рукоприкладства; записки эти, скрепленные делопроизводителями и самими тяжущимися, должны были за неделю или за две до представления дела к слушанию раздаваться в

департаментов сенаторам, а в общем собрании — на каждый департамент экземпляра по три; таким образом, сенаторы имели возможность прочитывать их на досуге дома и, сообразясь с делом, на столе в присутствии находящемся, заранее изготовлять письменно краткие резолюции. «Такое сокращение производства и основательность решений, — сказано было в конце доклада, — приближать, конечно, к той священной цели, чтобы сенат как верховное судилище был примером всему государству правого суда, деятельности и скорого удовлетворения тяжущимся». Доклад этот был утвержден, и вследствие введенного таким образом нового порядка Державин, как сам он рассказывает, имел удовольствие видеть, что иногда в одно заседание общего собрания решаемо было не менее четырех дел.

Сенатор И. В. Лопухин хотя и находил, что со времени введения Державиным кратких записок рассмотрение дел стало поверхностнее и мнения, заранее составленные, сделались менее основательными; однако он признавал «учреждение этих записок весьма полезным, лишь бы всегда сохранялась прямая цель его», и соглашался, что «оно, как и учреждение консультации, делает честь предприимчивому, к общему благу усердному министру и большому гению-поэту, который представлял о сих учреждениях».

7. Борьба против мнения графа Потоцкого

Вскоре случилось обстоятельство, которое окончательно испортило отношения Державина не только к другим министрам, но и к самому государю. В грамоте о вольности дворянства и в жалованной грамоте 1785 года было правило, по которому дворяне, поступившие нижними чинами в военную службу и не выслужившие офицерского чина, не могли выходить в отставку до истечения 12-ти лет действительной службы (исключение допускалось только для одержимых болезнями). Но с течением времени это постановление было забыто: унтер-офицеры из дворян, особливо из поляков, всячески уклонялись от службы и, едва поступив в полк, уже просились в отставку. Поэтому военный министр счел нужным восстановить старый закон: доклад его, в который, между прочим, вошла и эта статья, был высочайше утвержден 5 декабря 1802 года; состоявшийся затем указ прошел в общем собрании сената без всякого замечания и отослан в Военную коллегия для исполнения.

Вдруг, через несколько времени, один из сенаторов, гр. Северин Потоцкий, — поляк, по словам Завадовского, еще не обрусевший (член правления училищ, впоследствии попечитель Харьковского округа, а еще позднее член Государственного совета), — нашел, что этим постановлением унижено русское дворянство, и, чтобы спасти честь его, вздумал воспользоваться недавно дарованным сенату правом входить к государю с представлением в случаях, когда какой-либо указ окажется сопряженным «с великими неудобствами в исполнении».

Составленная Потоцким обширная записка прочитана была в общем собрании сената 16-го января 1803 года. После общей критики всего доклада Военной коллегии автор останавливается на главном пункте и утверждает, что из самой редакции его, из слова *ныне*, употребленного в грамоте о вольности дворянства, видно, что это правило было первоначально установлено только на время бывшей тогда войны. Затем развиваются неудобства, какие произведет 12-летнее принужденное служение. «Выгодное, напр., супружество с особою, не могущею решиться сопутствовать мужу в места службы воинской, его жилище, равно и другие обстоятельства невольно могут заставить благонамеренного дворянина желать отставки. Одно опасение таковых препон и врожденное отвращение от принуждения не произведут ли действий, совсем противных тем, какие, кажется, имела в виду коллегия? Вместо ограниченного числа людей, которые удержаны будут на несколько лет в службе насильно (печальное прибежище полководцу), сколько тысяч других и вступить в оную побоятся! Не прискорбно ли будет столь известную российского юношества ревность к воинской службе видеть погасающую, ревность, которая разительнее нежели когда-либо окажется в нынешнее благословенное царствование многочисленностью дворян, ежедневно ищущих определяться? Не жестоко ли столь чувствительным образом опечалить дворянство целой империи повреждением силы драгоценнейшего для него постановления, которое Петр III называет «непоколебимым утверждением самодержавного всероссийского престола», которое бессмертная Екатерина столько уважила, распространила, — постановления, напоследок, которое обожаемый Александр торжественно наименовал и удостоверил «коренным и непрелагаемым законом?» В заключение гр. Потоцкий обращается к своим сотоварищам сенаторам с увещанием не бояться злобы сильных и не колебаться, «когда священный глас должности взывает». Он напоминает, что доклад военного министра коснулся почти единственного коренного закона, которым Россия справедливо может гордиться. «Не обязаны ли мы говорить, когда общее мнение, кажется, нас уже предварило? Не должны ли мы следовать духу царствования сего, вероятно единственного в веках, чтобы нам, подвижимым благоволением монарха-благотворителя, возвратить верховному сословию империи, хранилищу законов первобытную его силу, достоинство и славу? Ежели нерадением нашим упустить такое время, то не понесем ли праведной укоризны позднейшего потомства? Вследствие сего, мнение мое — чтобы правительствующий сенат, на основании указа сентября 8-го дня 1802 года, вошел к его величеству со всеподданнейшим докладом: не благоугодно ли будет повелеть министрам рассмотреть вновь столь важное узаконение?»

В день общего собрания (пятницу) обер-секретарь представил генерал-прокурору мнение Потоцкого, сам не решаясь его принять как по содержанию его, так и потому, что дело это в общем собрании уже кончено. Державин, приведенный таким мнением

в негодование, счел нужным испросить высочайшую волю, внести ли его в сенат. При докладе ему показалось, что государю оно было уже известно и написано с его позволения. Император отвечал резко: «Что же? мне не запретить мыслить, кто как хочет... Пусть его подаст, сенат пусть рассуждает». Державин заговорил о вреде таких мнений, особенно когда они подаются несвоевременно. Государь отвечал: «Сенат это и рассудит, а я не мешаюсь». При слушании записки в сенате произошло смятение: большинство присоединилось к Потоцкому и положило войти к государю с представлением о пересмотре доклада Вязмитинова министрами. Заседание это возбудило много толков. Ростопчин писал Цицианову, что «в сенате явная война, почти все сенаторы в оппозиции, как-то: Троцинский, Васильев и, о чудо! — Строганов. Они входят от сената с докладом к государю, дабы положение сие отменено было, а притом и с жалобой на Державина, оскорбившего сенат языком своим».

Министр юстиции должен был написать согласительное мнение, но занемог, так что прошло довольно много времени, пока могло состояться новое по этому делу заседание. Между тем к нему заехал, по поручению государя, Валерян Зубов и потребовал его записку для предварительного представления его величеству. Она оказалась написанною в таких сильных выражениях, что государь признал нужным зачеркнуть некоторые строки; при возвращении ее Державину была объявлена высочайшая воля, чтобы предложение сенату дано было скорее для прекращения ложных слухов.

В этом предложении обращалось особенное внимание на то, что в докладе военного министра нового ничего нет, и никаких неудобств в исполнении указа быть не может, так как при соблюдении тех же правил в течение сорока лет в нижних чинах из дворян недостатка не было, да и сами те нижние чины никакого неудовольствия не изъявляли и от службы не уклонялись. Затем Державин старался доказать, что целью дворянской грамоты было дать льготы только дворянам, приобретшим на то право службой и образованием. «Порода, — говорил он, — есть только путь к преимуществам; запечатлевается же благородное происхождение воспитанием и заслугою». Далее он опровергает ложное толкование слова *ныне* в дворянской грамоте и наконец спрашивает: «Почему и чем дворянство опечалено? Подтверждением того, что оно несколько лет столь ревностно исполняло? Почему удалаться оно будет от службы при напоминании столь давно известных ему обязанностей, когда, принимаясь ныне прямо унтер-офицерами, весьма против прежнего облегчено? Словом, таковым неправильным о дворянстве заключением не может оно не оскорбиться. Сколько примеров в прошедших царствованиях видимо было, что дворяне с лона роскоши, из среды великолепия двора, из страстнейших объятий любви при едином звуке оружия летели на поприще славы! Никогда им в мысль не входило ни выгодное супружество, ни расстройство их состояния, но они из единой ревности своей всем жертвовали

общему благу, пользам любезного своего отечества, и, презирая самую жизнь свою, стяжали венцы славных побед... Разве нынешними иноплеменными развратами и несоответственными нашим законам внушениями будучи развлечены дворяне, которым в своей преданности к отечеству и престолу? Но нет, я сему поверить не могу! Кому учителем был Петр Великий, проходивший сам все нижние степени службы и все трудности оной переносивший и показавший примеры терпения, мужества и повиновения; то те ли воины, те ли российский дворяне, которым воля монарха есть собственная их воля, обольстятся гласом мечтательной, буйной вольности, бывшей единственною причиною гибели многих царств? Нет, я сего не думаю и смею поручиться за благородное дворянство».

За болезнью Державина внесение этого предложения поручено было обер-прокурору князю А. Н. Голицыну. «По неопытности своей, — жалуется Державин, — молодой обер-прокурор дал прежде рассуждений высказаться Трощинскому, вследствие чего большинство осталось на стороне Потоцкого, к которому не примкнули только Шепелев, Ананьевский и Гурьев. Все министры, хотя прежде представление Вязмитинова было ими одобрено, молчали «из политических видов»: мнение Потоцкого было им по душе, потому что, как думает Державин, согласовалось с их стремлением усилить сенат на счет верховной власти. Когда Гаврила Романович, выздоровев, в следующую пятницу присутствовал в сенате при подписании журнала, то произошли опять шумные прения и пререкания. По закону, мнение сената и вместе с ним согласительное предложение генерал-прокурора надлежало поднести государю без приговора, но многие сенаторы настаивали, чтобы в журнале записано было и заключение, о чем с криком даже приказывали обер-секретарю. Заседание приняло такой чрезмерно бурный характер, что генерал-прокурор, выйдя из себя, решился пустить в ход петровский молоток, чем, разумеется, он навлек на себя новые нарекания; однако отважная мера достигла цели: мгновенно все смолкло, сенаторы заняли чинно места свои и закон не был нарушен. По поведению Державина в этом деле сильно вооружило против него заинтересованных лиц. В мае 1803 года Семен Ром. Воронцов писал брату: «Не сомневаюсь в том, что вы более никогда не поедете в сенат после того обращения, какое с ним позволил себе Державин».

Как смотрел государь на ход этого дела? По рассказу Державина, он сперва был сильно встревожен оборотом, какой оно приняло, и обещал генерал-прокурору свою поддержку против несогласных с ним сенаторов; но потом окружавшие Александра лица, особенно поляки и польки, мало-помалу изменили его образ мыслей. Когда дело поступило на высочайшее разрешение, то государь долго держал его у себя, не упоминая о нем ни слова даже на докладах министра юстиции. Наконец на Фоминой неделе позволено было, чтобы на основании данного сенату нового права от него явилась к императору депутация. Ее составляли,

со стороны большинства, гр. А. С. Строганов и Троцинский, единственным же представителем противного мнения был сопровождавший их генерал-прокурор. После прочтения Троцинским как записки Потоцкого, так и заявленных в сенате мнений государь отпустил депутацию, сказав, что даст указ, который и действительно последовал 21-го марта 1803 года. В нем особенно важно пояснение, что дарованное сенату право входить с представлениями против того или другого указа не касается вновь издаваемых или подтверждаемых верховною властью законов, и потому сенат не имел основания к своему представлению. Затем замечено, что в силу манифеста о министерствах сенат может во всякое время представлять о таких распоряжениях министров, которые он найдет несогласными с настоящим положением дел. Но Военная коллегия, в докладе своем о сроке службы дворян в нижних чинах, руководствовалась правилами, которые действовали уже сорок лет и не были уничтожены никаким новым законоданием. При этом среди громких фраз о достоинстве сената довольно ясно выражено, что он вмешался не в свое дело, коснувшись вопроса, относящегося собственно к военной службе, — «частного распоряжения, единственно до армии принадлежащего». Итак, мнение Потоцкого оставлено без последствий, и, в сущности, утверждено предложение Державина, который, однако, весьма темно говорит о том в своих записках.

Дело это произвело много шума не только в Петербурге, но и в провинции. В Москве, по словам самого Державина, мнение Потоцкого было принято дворянством с таким восторгом, что в многолюдных собраниях клали списки с него на голову и пили за здоровье автора, провозглашая его покровителем и защитником русского дворянства. Державин и Вязмитинов, напротив, были преданы публичному поруганию: какой-то озлобленный враг выставил на перекрестках загаженные бюсты их. Если это правда, то подозрение в том естественно падает на кого-нибудь из соотечественников Потоцкого. Доказательством, как сильно слухи об этом деле занимали умы, может служить ода неизвестного лица в честь графа Потоцкого, написанная, по одному указанию, в Орле.

В ней также Потоцкий представляется героем правды, подобным Долгорукому, и защитником дворянства, который обесмертил себя своим подвигом. В противниках же его стихотворец видит льстецов из среды приказного рода («крапивное, вредное семя»), который он противопоставляет дворянству:

А вы, что против нас восстали,
Приказный род, в корню гнилой?
Не вы Россию защищали,
Не ваша кровь текла рекой:
Не ваше мужество и сила
Низвергли стены Измаила,
Стамбул надменный потрясли;
Не вы прямые россияне;
Но, жизнью жертвуя, дворяне
России славу вознесли.

Тебе ль, из праха извлеченну,
 Тебе ль, писец, чернильный вран,
 Забыв породу униженну,
 Судить о жребии дворян, —
 Дворян, отечеству подпоры!
 Страшись теперь возвесть к нам взоры!
 Падешь с наружной высоты,
 Презрнем общим наградишься,
 С толпою подлою смесишься
 И будешь червь ползущий ты!

По-видимому, автору оды вовсе было неизвестно, какое участие в деле принимал Державин; иначе он едва ли бы привел в следующей строфе два стиха из оды «Вельможа» с похвалою самому поэту. Обращаясь опять к Потоцкому, он говорит:

Нельзя, нельзя не восхищаться,
 Что делом ты умел явить:
Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять — и правду говорить.
 Слова великие, священны,
 Бессмертным бардом изреченны,
 Твоим водили днесь пером,
 И ты, стремяся быть полезным,
 Как брат дворянам всем любезный,
 Дышал и правдой, и добром.

Как смотрел сам Державин на поступок гр. Потоцкого, вполне высказано им в его записках: он называет его врагом отечества, а мысли его революционными, и полагает, что в его мнении выразилось польское стремление расстроить нашу военную силу. Любопытен, с другой стороны, взгляд одного из остальных министров, именно Завадовского, на обоих противников. Вот что он писал, кажется, в марте 1803 года, гр. С. Р. Воронцову: «В сенате, который считают поднятым, в первый раз после дерзкого поступка князя Долгорукого в царство Петра Великого произошло великогласное прение. Указ состоялся, чтобы дворян из унтер-офицерских чинов военной службы не отставлять, не выслуживших 12-ти лет. Сенатор, г. Потоцкий, еще не обрусевший, подал в сенат свой голос, что сей указ противен привилегии дворянской, по которой дворянин волен служить, сколько хочет. Большинство сената согласилось на голос его, чтобы войти с представлением государю об отмене такого указа, основываясь на праве то чинить, изображенном в изданных преимуществах сената. Генерал-прокурор по сему делу внес свое нелепое предложение, в котором столько ругает, как и пугает сенат за дерзновение, якобы он выходит из границ повиновения указам. Таковая бумага и побудила сенат изложить пред государем и свое право, и чувствуемую обиду. По сумасбродству министра, которое природно ему, дело сие столько коверкано против коренных обрядов сенатских, что трудно предузнать, чем оно ре-

шится». Затем следует уже известный нам отчасти отзыв Завадовского о Державине; вот и опущенное там начало его: «Вовсе голова министра не по месту: школа Аполлона требует воображения, весы Фемисы держатся здравым рассудком».

В здравом уме у Державина не было недостатка, но беда была в том, что он в критические минуты легко уступал страстным порывам своего пылкого нрава. Никогда еще эти увлечения не были так сильны, как теперь, когда ему на каждом шагу приходилось сталкиваться с новым духом, охватившим высшие правительственные сферы и крайне ему несочувственным. Plus royaliste que le roi, он считал своею обязанностью охранять неприкосновенность неограниченной власти против самого императора и досаждал ему своими противоречиями. Хотя в решении дела Потоцкого Александр и поступил согласно с желанием Державина, однако явно охладил к нему. Дело это окончательно рассорило Державина и со всеми министрами и сенаторами, к какому бы лагерю ни принадлежали они. Чувства гнева и негодования, волновавшие душу поэта среди тогдашних обстоятельств, резко отпечатались в его записках, хотя и писанных почти через десять лет после того. Вообще не отличаясь объективностью, они особенно за это время заслуживают упрека в пристрастии. Пробыв очень недолго на достигнутой им высоте, он сохранил на остальные годы жизни враждебное отношение к эпохе Александра, и оттого-то чтение последней части записок его производит тяжелое впечатление. Обо всех деятелях этой эпохи он отзывался неблагоприятно: с одной стороны, он изливает свою желчь на нововодителей, Кочубея и Сперанского; с другой — не щадит сторонника прежних порядков Трошинского, бранит молодого Новосильцева и почтенных летами Воронцова и Строганова, наконец, расточает обвинения всем сенаторам и министрам.

Несмотря, однако, на все эти крайности и увлечения, нельзя не согласиться, что он в основании верно судил о многом, понимал сущность многих вопросов, знал потребности России и ясно видел начинавшиеся происки польско-еврейской интриги. Если он вдавался в излишества, то нельзя от этого упрека освободить и его противников; нельзя не отдать ему справедливости, что по крайней мере он всегда действовал честно и открыто, без ухищрений и козней; дорого приходилось ему платить за свою открытость и прямоту, и он, по человеческой слабости, не умел равнодушно сносить устремленных на него ударов.

Не надо, впрочем, забывать, что записки Державина не суть сочинение обдуманное и сколько-нибудь отделанное: это не более как беглый рассказ, поспешно и небрежно набросанный под впечатлением минуты, и к которому автор никогда более не возвращался. Мы не можем тем не менее оставить без порицания, что в воспоминаниях, назначенных для потомства, он не сумел быть сдержаннее и по личным своим отношениям позволил себе взводить самые тяжкие обвинения на людей, имевших свои несомненные достоинства и заслуги. Для неприкосновенности сла-

вы Державина было бы желательно, чтобы он после первой редакции своих записок успел тщательно пересмотреть их и очистить от пристрастных нареканий на своих современников.

8. Другие столкновения по управлению министерством

Неудовольствие государя Державин навлекал на себя не только упорством в проведении своих мыслей, не согласных с господствовавшими взглядами, но и многими крайне неловкими поступками. Таково было в начале его министерства вмешательство в неприятности, происшедшие между министром финансов Васильевым и его племянником, государственным казначеем Голубцовым. Последний обратился к генерал-прокурору с жалобой на расстройство казны под управлением дяди и вместе с тем просил исходатайствовать чин одному казначею. Державин, вопреки всякому благоразумию, согласился доложить о том государю и объявил указ о производстве казначея. Это, разумеется, сильно раздражило Васильева как против Державина, так и против Голубцова, который, в оправдание свое, сложил всю вину на первого. Васильев жаловался государю. Когда же вследствие нового объяснения генерал-прокурора Голубцову повелено было присутствовать в комитете министров, и между ним и министром финансов водворилось полное согласие, то Державину представилось, что вся эта история была интригою, умышленно затеянною против него, чтобы ослабить доверие к нему государя.

Ему вообще казалось, что с самого начала все министры старались очернить его разными наветами, и что особенно подкапывался под него граф Кочубей, так как по своему отношению к судебным местам министр внутренних дел беспрестанно сталкивался с генерал-прокурором. Были и другие поводы к пререканиям между этими двумя сановниками. Так Кочубей предложил дозволить иезуитам через миссионеров обращаться в католическую веру некрещеных инородцев в Астраханской, Оренбургской и сибирских губерниях. Державин возразил, что это значило бы простирать веротерпимость слишком далеко и было бы не согласно с достоинством господствующей церкви, а кроме того могло бы со временем сделаться источником религиозных смут и междоусобий, какие некогда бывали на Западе. Поэтому он полагал, что полезнее было бы отправить в названные губернии русских миссионеров для распространения православия и введения там хлебопашества и русского гражданского быта, что, конечно, способствовало бы к усилению государства. К министру юстиции присоединился граф Н. П. Румянцев, и предложение Кочубея не было принято.

По словам Державина, Сперанский водил Кочубея за нос и делал из него все, что хотел. По поручению своего министра он составил проект образования министерства внутренних дел. В июле 1803 г. этот проект читался в заседаниях комитета мини-

стров у государя на Каменном острове. Чтобы ближе ознакомиться с ним, министры пожелали прочесть его у себя на дому. Пока он был у генерал-прокурора, Кочубею понадобилось просмотреть проект. Державин, посылая его при письме, не удержался, чтоб снова не заговорить о необходимости инструкций. Недели через две частное письмо это было читано в комитете министров в присутствии Александра. Его величество заметил Державину, что он не имеет права торопить составлением инструкций, когда сами министры в полгода не собрались подать свои мнения о том, что по части каждого нужно изложить. При этом, однако, государь повторил, что намерен дать инструкции.

Другою любимую мыслью Державина во время его министерства было доставить силу закона выработанному им в 1801 г. проекту правил третейского суда; однако этот проект не был утвержден государем. Списки его Державин рассылал на просмотр многим лицам в Москву, в Малороссию, в Белоруссию, в остзейские губернии; кроме того, сообщал его и в Петербурге законоведам. В числе этих лиц были Капнист, А. М. Луин. В. С. Попов, — и Державин воспользовался полученными от некоторых из них замечаниями. Сам он был чрезвычайно высокого мнения об этом труде, «основательнее и осторожнее которого не могло быть, ибо никто не мог, — писал он к Гасвицкому, — иметь таких способов сколько по практике моей во многих третейских судах, столько и по посту, который я занимал». В другой раз он говорил Капнисту: «Бог знает, какое лучшее усердие можно было показать отечеству в посту моем, чтобы отправлялося скорое и беспристрастное правосудие, как не сим способом; но, видно, Богу не угодно было излечить нас от ябеды». Оба письма, откуда мы заимствовали эти строки, писаны Державиным уже в отставке, в 1804 г.; но проект устава третейского суда занимал его еще и до назначения его в министры. Тогда же, прося Капниста сообщить свое мнение об этом труде, он упоминал загадочно о каком-то другом плане: «Я и по сию пору не могу не досадовать на тебя за трусливый твой совет, коим меня отвратил ты от исполнения известного плана, при начале нынешнего царствования мною сделанного, которым можно было отвратить все вздоры, и теперь продолжающиеся, и водворить тишину. Он даже одобрен был ныне, когда я его переписал, тем, для которого был сделан. Но что делать? Пролитое полно не живет».

Не успев достигнуть утверждения своего проекта, Державин все-таки надеялся, что в частных случаях, по желанию тяжущихся или по условию, между ними заключенному записью, правила его могут быть принимаемы в руководство. Это ясно выражено им в письме к Гасвицкому. Его проект третейского суда дошел до нас. Основною его мыслью было соединить третейские суды с совестными. Главный недостаток его проекта, по мнению одного уважаемого юриста, заключается в слишком сложных, на практике не совсем удобных формах, тогда как этот род суда преимущественно перед всяким другим должен отличаться простотою и предоставлять тяжущимся большую

свободу. Третейский суд как обычай составляет в России очень древнее явление: есть много записей с подробным указанием условий третейского суда; но Державин стремился сделать из него суд обязательный, а посредников обратиться в судей от правительства. Во всяком случае, проект его замечателен как выражение мыслей делового человека по вопросу, заслуживающему внимания законодателей. «На этот проект можно смотреть как на образец сокращенного порядка судопроизводства, при котором Державин еще в 1801 году полагал допускать в суд посторонние лица, печатать приговоры суда, даже дозволить посторонним лицам печатать, следовательно, и публиковать, свои замечания на решения суда».

Не соглашаясь во многих случаях со взглядами и распоряжениями господствовавшей правительственной партии, Державин с особенною настойчивостью противился любимой мысли императора приготовить мало-помалу отмену крепостного состояния. Первоначальный ход дела, возникшего по прошению графа С. П. Румянцева, изложен в записках Державина не совсем точно. Румянцев сначала испрашивал, чтобы помещикам даровано было право заключать с крестьянами условия и укреплять им в собственность участки земли, каждому особенно или целым обществам; из уволенных таким образом крестьян должно было образоваться новое в государстве сословие. Румянцев надеялся, что многие помещики найдут существенную пользу в том, чтобы крестьян, вместо продажи их, отпускать целыми селениями на волю. При этом он представил и предположения свои о подробностях исполнения нового закона. Совет, одоббив общую мысль проекта как согласную и с прежними узаконениями, сделал несколько возражений против общего приведения ее в действие. Любопытно особенно первое из этих замечаний. «Мнение об освобождении крестьян, — рассуждал совет, — разными обстоятельствами столь усилилось в умах, что малейший повод и прикосновение к сему предмету может произвести опасные заблуждения. Примеры ослушаний доказывают ясно, сколь много народ расположен к новостям сего рода и сколь легко предается он всем слухам о перемене его состояния. При таком расположении умов издание общего закона об освобождении крестьян по условиям может превратиться превратные толки, и вместо того, чтоб видеть в нем установление, на прежних законах и на взаимной пользе основанное, многие помещики, пораженные слухами, усмотрят в нем первое потрясение их собственности, а крестьяне возмечтают о неограниченной свободе». Державин, со своей стороны, рассказывает: «Все гг. члены совета, хотя находили сей проект не полезным, перешептывали между собою о том, но согласно все одобрили, как и указ, заготовленный о том, апробовали». Затем изложение особого его мнения должно быть следующим образом исправлено по журналу Государственного совета: «Генерал-прокурор к сему присоединил, что хотя по древним законам права владельцев на рабство крестьян нет, но политические виды, укрепив крестьян земле, тем самым ввели

рабство в обычай. Обычай сей, утвержденный временем, соделался столько священным, что прикоснуться к нему без вредных последствий великая потребна осторожность».

Результатом бывших в совете, отчасти в присутствии самого Румянцева, рассуждений было издание известного указа о свободных хлебопашцах. Встревоженный тем, Державин поехал во дворец для откровенного объяснения с государем. Доводы, представленные им против освобождения крестьян, были почти те же самые, какие и мы слышали от многих наших современников в приснопамятную эпоху окончательной отмены крепостного состояния. Для удовлетворения жалоб на частные случаи притеснений со стороны помещиков он советовал созвать, не вдруг изо всей империи, а по частям, из нескольких губерний разом, предводителей дворянства, с тем чтобы они определили размер податей и повинностей, какие могут быть заочно требуемы землевладельцами в разных местностях, а также и взыскания, которые должны быть налагаемы за проступки и неисполнение обязанностей. Государь, по-видимому, уступил этим убеждениям и приказал пересмотреть в совете указ о вольных хлебопашцах. Но на другой день к Державину приезжает Новосильцев и объявляет высочайшее повеление немедленно препроводить указ в сенат к исполнению. Однако Державин не успокоился и задумал устроить, чтобы сенат, пользуясь дарованным ему правом, вошел к государю с представлением о неудобоисполнимости упомянутого указа. Он и уговорил было престарелого сенатора Колокольцева сделать в этом смысле предложение; но перед общим собранием сената Колокольцев сказался больным. Государь, узнав обо всем через обер-прокурора князя А. Н. Голицына, обедавшего у него каждый день, призвал Державина и сказал ему: «Как это вы, Гаврила Романович, идете в сенате против моих указов и критикуете их, тогда как ваша обязанность их поддерживать и настаивать на непрременном их исполнении?» Между тем указ из общего собрания передан был в первый департамент для исполнения. Государь повелел за разногласием в департаменте указа этого в общее собрание не обращать, а исполнить его непосредственно.

Взгляд Державина на крестьянский вопрос отразился и в одном из тогдашних его стихотворений, именно в пьесе «Голубка», заимствованной им из Анакреона, но получившей у него согласный с этим взглядом тенденциозный оттенок.

Мы не находим нужным, в извинение такого образа мыслей, приводить сходные с ним мнения многих из лучших людей того времени. Притом в последние два десятилетия уже не раз было писано о том; считаем достаточным сослаться на обзор подобных мнений в сочинении проф. Иконникова «Граф Н. С. Мордвинов», поправляющем, между прочим, ошибку тех, которые без оговорки ставят этого государственного мужа наряду с защитниками крепостного права. Впрочем, хотя граф Мордвинов в принципе и признавал необходимость освобождения крестьян, но и он находил эту меру преждевременною, считал ее завися-

цего от некоторых предварительных условий политической свободы и улучшения хозяйственного быта и потому всегда стоял за постепенность.

Обзор г. Иконникова может быть дополнен еще мнениями замечательного по своему человеколюбию И. В. Лопухина и княгини Дашковой: оба лица высказались по этому предмету в своих записках. Лопухин, горячо желая уничтожения рабства и стыдясь даже произносить слово «холоп», говорит, однако, также, что «в России ослабление связей подчиненности крестьян помещикам опаснее самого нашествия неприятельского», и что «ничего не может быть пагубнее для внутренней твердости и общего спокойствия России, как расслабление тех связей». При рассмотрении в сенате крестьянских просьб «о вольности от помещиков» Лопухин часто спорил против тех, которые, по его словам, «вдруг приняли за правило всячески натягивать в пользу таковых ищущих, и это не по сердечному расположению и не по законной справедливости, а для того, что угождать думают тем государю». «Для сохранения общего благоустройства, — говорит он же, — нет надежнее полиции, как управление помещиков». Почти те же мысли выражает и княгиня Дашкова, передавая свой разговор с Дидро о рабстве в России. В защиту крепостного состояния она употребляла, между прочим, такой силлогизм: «От богатства и счастья наших крестьян исключительно зависит наше собственное благосостояние, увеличение наших доходов, а так как это аксиома, то надо быть безумным, чтобы действовать к обеднению источника наших личных интересов. Дворянство — посредствующая власть между казенным управлением и крепостными людьми: итак, наша выгода требует охранять последних от хищничества губернаторов и мелких чиновников» и т. д.

На основании подобных соображений и Державин был одним из самых крайних консерваторов в крестьянском вопросе. При обвинении его потомство должно, конечно, принимать во внимание смягчающие обстоятельства, но нельзя не скорбеть, что певец Фелицы, так хорошо оценивший человеколюбивые стремления Екатерины, ее кроткие законы и учреждения, не сумел стать выше понятий своего времени и вместо того, чтобы всеми средствами своего характера и положения поддерживать один из самых великодушных планов Александра, настойчиво противодействовал его намерению «освободить народ от рабства» и называл эту мысль предассудком.

9. Участие в Еврейском комитете

Мы видели, что Державин во время своей командировки в Белоруссию составил свое знаменитое «Мнение о евреях». Сущность этой обширной записки состояла в том, что для прекращения вредного влияния, производимого мелкими промыслами и оборотами еврейского населения на весь экономический быт

Западного края, необходимо расселить обывателей этого племени. Император Павел повелел передать записку Державина на обсуждение сената. Вскоре по учреждении министерств указом 9-го ноября 1802 года назначен был для рассмотрения еврейского вопроса особый комитет из следующих членов: Валериана Зубова, Державина, Кочубея, Чарторийского и Потоцкого. Уже по противоположным элементам этого состава можно было предвидеть, что дело ничем не кончится: Державин был назначен как человек, давший решительный толчок всему вопросу, Кочубей — как министр внутренних дел, а затем остальные три члена были связаны между собой одинаковым отношением к делу, — двое как люди польской национальности, а третий как владелец обширных поместьев в польском крае, разделявший сочувствия Чарторийского и Потоцкого, чему вскоре и дал он ясное доказательство, женившись на польке. «Назначение особого Еврейского комитета, — говорит один русский писатель, изучивший на местах еврейский и польский вопросы, — грозною вестью пробежало по всему еврейскому населению Западной России. Тьма покрывала еврейские дела; но евреи знали пронизательность Державина по его белорусской поездке 1800 года. Обстоятельство, что Еврейский комитет учрежден вследствие записки Державина и что сам автор ее назначен в его состав, показалось особенно опасным. В еврейском мире начались экстраординарные собрания, начались складки денег...»

Между тем в комитет повелено было пригласить еврейских депутатов от всех губернских кагалов (общин); такие лица, большею частью купцы 1-й гильдии, и были присланы из губерний Могилевской, Минской, Подольской и Киевской. Кроме того, членам комитета дано право из известных им просвещенных и благонамеренных евреев избрать несколько человек для объяснений в комитете. Почти всю зиму продолжались явки и представления съезжавшихся лиц. Разумеется, все, что они видели и слышали, тщательно сообщалось в места их жительства, где и образовалось немедленно энергическое противодействие мерам, которые предлагал Державин; главною из них было запрещение евреям продавать вино по деревенским корчмам, чтобы спаивать и разорять крестьян. При всей таинственности распоряжений, которые предпринимались кагалами, слухи об их деятельности доходили до землевладельцев, а вскоре стали подтверждаться и несомненными доказательствами. Так в руки могилевского помещика Гурко попало письмо одного из белорусских евреев к поверенному их в Петербурге о том, что они по всем кагалам наложили на своего гонителя Державина херем, или проклятие, что на подарки по этому делу собрали они и уже отправили в Петербург миллион и просят всячески стараться о смещении генерал-прокурора, а если это невозможно, то хоть извести его, на что дается срок до трех лет. Это перехваченное письмо было отправлено к Державину.

Справедливость этого рассказа, помещенного в записках его, вполне подтверждается изданными в Вильне лет десять тому на-

зад документами. Здесь впервые раскрылась перед русским обществом твердо сплоченная организация кагала. Некоторые из этих актов прямо направлены против деятельности Державина в Еврейском комитете. Это ряд постановлений общего собрания представителей кагалов об обложении евреев денежными сборами на издержки для сопротивления мерам правительства. В чрезвычайном общем собрании, в присутствии многих почетных членов кагала, представителей города, состоялось следующее определение: «Вследствие неблагоприятных вестей из столицы о том, что судьба всех евреев перешла ныне в руки пяти сановников, которым дана полная власть распоряжаться ими по своему усмотрению, мы принуждены отправиться в Петербург с целью просить государя, да возвысится его слава, чтобы у нас никаких нововведений не делали. А так как это дело требует много расходов, то с общего согласия решено: установить временный процентный сбор», и затем подробно изложен порядок взимания этого сбора. С тою же целью в Минской губернии постановлено собирать по 1 рублю с каждого уездного жителя, созвать в губернский город поверенных от кагалов всех уездов и произвести выбор уполномоченных для отправления в Петербург. Несколько дней спустя определены штрафы, которым должны подвергнуться неисправные плательщики. Наконец, на евреев обоого пола наложен строжайший трехдневный пост с обязательным посещением большой синагоги для усиленной молитвы, и притом объявлено, что кто в дни поста не уплатит всего числящегося на нем долга по процентному сбору, тот, кроме других штрафов, навлечет на себя отлучение от своего народа.

С самого начала в Еврейском комитете обнаружилось неизбежное разногласие, которое поддерживалось множеством различных записок и мнений, присылавшихся посторонними лицами не только из разных местностей России, но и из других государств, где польские евреи сумели найти себе защитников. Между тем белорусская партия, решившаяся на борьбу с Державиным, вздумала прибегнуть к новому, еще не испытанному ею средству, чтобы заставить его переменить свой образ действий. Однажды к нему является вкравшийся в его доверенность еврей Нотко и под видом желанья ему добра советует не противиться мнению других членов комитета, которые все на стороне евреев: в случае согласия на эту просьбу он обещает 100.000 или даже 200.000 рублей. Державин не дал ему положительного ответа, довел о подкупе до сведения государя, показал ему письмо, полученное от Гурко, и спрашивал, как поступить. Государь, удержав письмо у себя, обещал сказать решение через несколько дней. Державин сообщил все это Вал. Зубову, к которому питал большое доверие и ожидал от него поддержки; но в первое после того заседание комитета Зубов, по своим близким отношениям к Сперанскому, а через него и к министерству внутренних дел, не явился; остальные же члены, кроме Державина, подали голос за оставление винной продажи по-прежнему в руках евреев. За этим разногласием и отсутствием Зубова дело осталось нерешен-

ным. Положение о евреях, основанное на работах комитета, издано было не прежде конца 1804 года, когда Державин, находясь в отставке, уже не был членом его.

На рассмотрение Еврейского комитета было передано еще другое дело, относившееся к польскому населению Западного края, именно дело о так называемых панцирных боярах, составлявших особый разряд сельских обывателей и домогавшихся возвращения старинных прав на пожалованные их предкам земли и освобождения их от всяких повинностей. Законодательство наше различало две категории панцирных бояр: одних — собственников по древнему праву, других — безземельных, попавших с течением времени на владельческие земли и плативших оброк своим помещикам. Державин в своих записках говорит, собственно, только об этом втором классе. По его словам, эти панцирные бояре при выборах на сеймах служили послушным орудием землевладельцев, от которых зависели и которые за то брали с них лишь самый ничтожный оброк. Зная, что Екатерина II намеревалась выселить этих обывателей в южные губернии, Державин подал проект о том же: он считал такую меру очень важною с политической точки зрения, что и оправдалось впоследствии, когда из этого класса людей сформировались полки, которые литовские магнаты выставляли для Наполеона. Государь, выслушав проект Державина очень сочувственно, повелел внести его в Еврейский комитет, но о дальнейшем ходе этого дела ничего не известно; Державин приписывает неуспех его тому, что в нем были сильно заинтересованы не только Чарторийский с Потоцким, но и Зубов как владелец жалованного имения в Шавельском уезде.

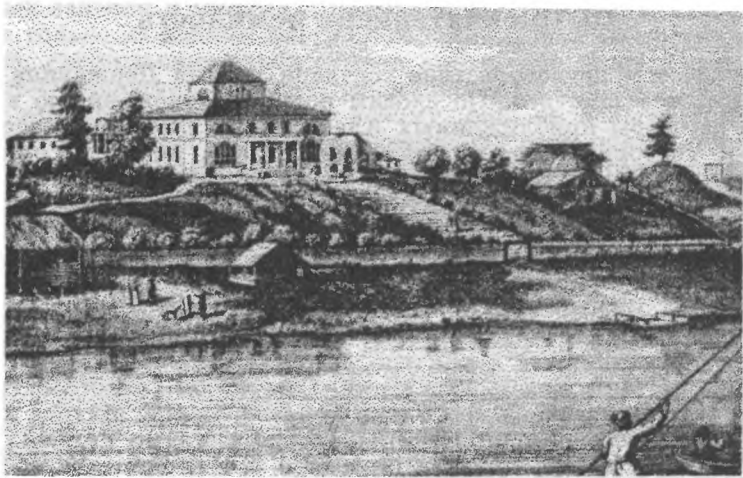
10. Окончательная немилость

Между тем неудовольствие государя против Державина становилось все заметнее. По словам поэта, главною виною в том были наговоры приближенных Александра, особенно Новосильцева и Чарторийского, сопровождавших его, когда он ездил в Лифляндию в мае 1803 года. На время этого путешествия Державин был отпущен в Званку; когда же по возвращении императора князь Голицын, исполняя поручение министра, доложил, что нездоровье удерживает его в деревне, государь отвечал, что не имеет в нем никакой надобности, что он может и вовсе не приезжать. Подозрение Державина можно допустить с оговоркою, что враги его находили себе большую помощь в его собственном неуклончивом характере, в твердости, с какою он бесстрашно отстаивал свои убеждения. Сам же он свидетельствует, что не контрастировал нескольких указов, между прочим указа о вольных хлебопашцах. Наконец государь прямо выразил ему свое неудовольствие, поверив слухам о неисправностях в делопроизводстве по министерству юстиции, а именно:

1) что дела в нем идут медленно; это основывалось на том, что одно частное письмо залежалось у министра; но Державин в оправдание свое объяснил, что доклады по частным письмам должны идти через статс-секретарей, а не через министра юстиции. Однако объяснение это кончилось тем, что Александр сказал ему: «Ты меня всегда хочешь учить; я самодержавный государь и так хочу»;

2) что канцелярия министра юстиции не знает о некоторых делах, исполняемых по министерству. Оказалось, что такое обвинение возникло по поводу некоторых секретных дел, по коим исполнение с намерением сделано было помимо канцелярии для избежания преждевременной огласки;

3) что некоторые бумаги, находившиеся в канцелярии министра, известны были в других ведомствах прежде исполнения их. Державин объясняет это тем, что у Сперанского были везде агенты или шпионы, особенно из бывших семинаристов, которые и доносили ему обо всем, что происходило в разных канцеляриях, а через него узнавали о делах молодые советники государя и могли заранее готовить решение. Из канцелярии министра юстиции бумаги даже выкрадывались или пропадали по вине чиновников; так по вине директора канцелярии Колосова пропал именной указ, в подлиннике сообщенный Троицким, о производстве одного служившего под его начальством в почтовом департаменте чиновника. О поведении Колосова, рекомендованного графом Валерианом Зубовым и поддерживаемого самим государем, Державин доводил до высочайшего сведения, но император не обратил внимания на эту жалобу и велел только сделать Колосову выговор, подписав о нем другой указ вместо приготовленного Державиным об удалении его.



Усадьба Державина Званка.

По всем этим обстоятельствам, подробнее изложенным в записках Державина, легко судить о степени неблагоприятия к нему Александра. Увольнение министра юстиции было решено. Когда в начале октября 1803 года он приехал во дворец с докладом, государь не принял его, а на другой день прислал ему рескрипт, в котором, похвалив его за отправление должности, объявил, что для пресечения жалоб на неисправность его канцелярии просит его очистить пост министра, продолжая присутствовать в совете и сенате. К сожалению, этот рескрипт до нас не дошел, равно как и вызванная им переписка опального министра с монархом. На аудиенции, которой за тем удостоился Державин, государь знаменательно заметил ему, что он слишком ревностно служит. При этом Александр лично повторил Державину предложение остаться в совете и сенате, подав просьбу только об увольнении от должности министра. Потом ему дано было знать, что если он примет такое положение, то ему сохранено будет все министерское жалованье, 16.000 руб., и он получит Андреевскую ленту; но Державин, чувствуя себя оскорбленным, отказался от этих милостей и написал по форме краткую просьбу об увольнении его вовсе от службы. Следствием была полная отставка с позволением носить сенаторский мундир. 7-го октября 1803 года, ровно через тринадцать месяцев после назначения первых министров, дан был сенату следующий именной указ: «Снисходя на прошение действительного тайного советника Державина, всемилостивейше увольняем его от всех дел с оставлением ему полного жалованья и 6000 рублей столовых денег ежегодно». Министром юстиции назначен был князь Лопухин.

О службе и падении Державина при императоре Александре автор «Сведений о польском мятеже» высказывает следующее мнение: «С конца 1802 года начались проявления польской партии, которая образовалась под сенью русских англоманов и которой князь Чарторийский стал главою и руководителем. Эта партия польских патриотов с первых шагов руководствовалась правилом, которого потом постоянно держались все нисходящие от нее генерации: работать в тени и уметь находить влиятельных людей из русских, которые легко убеждались, что проводимая поляками мысль принадлежит собственно им и потому они добровольно выступили на сцену ревностными ее представителями. Более прозорливые доходили до источника настаивания или отстаивания узаконений, более или менее касавшихся до поляков. Поляки эти личности называли *людьми русской партии*. Опаснейшим противником польской партии явился министр юстиции Г. Р. Державин. Его падение через год борьбы было решительною победою этой партии. Державин оценен как замечательный поэт, но потомство еще не оценило его дела как государственного человека, которые до звания министра довели педца Фелицы, сановника пронизательного, практического, который понимал Россию, ее значение и требования, а вместе с тем разгадывал поляков, их домогательства и их интриги... Менее чем в год времени Державин остановил миссионерство иезуитов

и пропаганду латинства в империи, содействовал к задержанию попытки помилованных польских мятежников за службу, замечая штраф, быть награждаемыми чином, отстаивал права самодержавной власти против первой попытки Потоцкого ввести в самодержавную Россию чуждые обычаи Речи Посполитой, поднял вопрос о евреях, противный панским выгодам, и, наконец, поднял вопрос о выселении безземельной шляхты из Западного края. Державин ясно показал польской партии, что, проникая ее замыслы, он стоит против них самым бдительным стражем. Польские магнаты видели всю необходимость от него избавиться, и они скоро достигли цели».

Действительно, нет никакого сомнения, что польская интрига главным образом способствовала к окончательной опале Державина, но приписать его падение исключительно стараниям партии Чарторийского можно бы только в таком случае, если бы он, противоборствуя ей, не раздражал в то же время самого императора своими противоречиями и настойчивостью; если бы, кроме того, он не восстановил против себя, как сам он сознается, всех министров и сенаторов, напр., Завадовского, Воронцова и Трошинского, которых едва ли можно подозревать в единомыслии с польской партией. Оглядываясь беспристрастно на всю его служебную деятельность в царствование Александра I, нельзя отрицать, что сам он в значительной мере был виною своих неудач в борьбе с мнениями, которые оспаривал; что хотя он большею частью и прав был в своих взглядах и требованиях, но своими слишком резкими приемами, неловкостями и заносчивостью портил дело и подавал врагам оружие против себя. Близкий к Державину по службе в министерстве юстиции сенатский обер-прокурор князь А. Н. Голицын оставил в своих неизданных записках следующую любопытную характеристику Гаврилы Романовича за это время: «В минуту желчи гений блистал в его глазах; тогда с необыкновенною пронизательностью он схватывал предмет; ум его был вообще положительен, но тяжел; память и изучение законов редкие, но он облекал их в формальности до педантизма, которым он всем надоедал. Олицетворенную честность и правдивость его мало оценивали, потому что о житейском такте он и не догадывался, хотя всю службу почти был близок ко двору».

В доказательство, как различно современники смотрели на Державина, приведем тут же то, что другой знаменитый сановник того времени, гр. Семен Романович Воронцов, в письме к своему брату от 28-го октября 1803 года высказывает об отношениях автора предыдущей характеристики к своему министру: «Вы удивляете меня, говоря, что Державин успел привязать к себе нашего маленького Голицына. Как мог этот молодой человек, у которого так много ума и нет недостатка в рассудительности, дать ослепить себя человеку, нисколько не прикрывающему лицемерием того, что он делает, и всеми своими действиями представляющему напоказ свой неуживчивый, бешеный и мстительный характер. Если б я узнал это от кого-нибудь другого, а не от вас, то никогда бы тому не поверил».

Вражда, которую навлек на себя Державин в высших сферах, выразилась во многих современных отзывах того же рода. Мы уже видели, что говорили о нем Завадовский и Ростопчин в бытность его министром. Так и кн. Дашкова вскоре после его назначения, в ноябре 1802 года, писала из Москвы к брату своему, гр. А. Р. Воронцову: «Здесь очень смеются над нападками, с которыми Державин выступил против министров и сенаторов своими лживыми докладами». Около того же времени она в другом письме к тому же лицу говорила: «Здесь иначе понимают организацию министерств, и уморительно слышать рассуждения по этому предмету. Доклады Державина неприятно поразили всех московских сенаторов».

С другой стороны, Ростопчин в начале июня 1803 года писал к Цицианову из Воронова, откуда он благодаря своим петербургским корреспондентам мог внимательно следить за ходом дел в столице: «Мне рассказывали очень смешное про Державина, что он бранит просителей за дурной слог их прошений и иногда вместо ответа по делу доказывает им ошибки против грамматики». Может быть, что-нибудь подобное раз-другой и было, но уж, наверное, Державин занимался не грамматическими поправками. Известно, что он всегда откровенно сознавался в незнании грамматики.

Читая отзывы современников, необходимо вообще помнить, что их нельзя принимать без исторической критики: кому не известно, что такие приговоры часто зависят от личных отношений, от разных временных и случайных обстоятельств? Но особенно важно иметь это в виду при чтении отзывов гр. Ростопчина, которые, как заметил еще издатель части его переписки, отличаются крайним пристрастием и изобилуют противоречиями: иногда он оценивает различно одно и то же лицо, «смотря по тому, в какую минуту подвернулось оно под желчное перо его». Тем менее мы можем удивляться, когда Ростопчин, вообще с видимым удовольствием сообщая неприятные вести о Державине, в то же время обращается к нему самому с лестными приветствиями. В письме от 14-го января 1803 года, ходатайствуя за Болотова, у которого был процесс в сенате, он между прочим говорит Державину: «Ободрите страждущих и погибающих от ябеды находить в вас защитника пред лицом правосудия, с коим вы с молодых лет самых жили, как любовник с любовницею».

11. Пасквиль на Державина

С отставкою Державина особенно зашевелились перья врагов его. Невольно припоминается тут известная басня Крылова о состарившемся и обессилевшем льве:

Не только он теперь не страшен для зверей,
Но всяк, за старые обиды льва в отмщенье,
Наперерыв ему наносит оскорбленье:

То гордый конь его копытом крепким бьет,
 То зубом волк рванет,
 То острым рогом вол боднет.

«Все бранят Державина, и вот, между прочим, стихи на него сделанные», — сообщал Цицианову Ростопчин в письме, при котором, однако, стихов не сохранилось. С явным злорадством давнишний враг нашего экс-министра Завадовский писал к С. Р. Воронцову 16 ноября 1803 г.: «Общее возрадование, что князь Лопухин переменял Державина! Не дай Бог, чтоб когда-нибудь в министерстве очутился подобный поэт».

20-го января 1804 года Ростопчин опять писал Цицианову: «Стихи на Державина прекрасны: в них его портрет, картина падения, и ничего счастливее нет последнего стиха, который столь ясно изображает выдачу пенсiona и шум, который привлечет внимание на министра-поэта»:

Tete le lion,
 Coeur de mouton.

Про него можно сказать, что он утром ругает и кричит, вечером же гнется и молчит».

Какие стихи здесь разумеет Ростопчин, нам неизвестно, но, конечно, не следующий пасквиль, тогда же написанный из мест неумелым рифмачом и долго ходивший в списках. Печатаем его по современной копии, найденной нами в бумагах покойного П. А. Плетнева под заглавием «Послание к его в.-пр. Г. Р. Державину, экс-министру юстиции».

Ну-ка, брат, певец Фелицы,
 На свободе от трудов
 И в отставке от юстицы
 Наполняй бюро стихов.

Для поэзии ты способен,
 Мастер в ней играть умом,
 Но за то стал неугоден
 Ты министерским пером.

Иль в приказном деле хватка
 Стихотворцам есть урок?
 Иль, скажи, была нападка,
 Иль ты изгнан за порок?

Не причиной ли доносы?
 Ты протектор оным был
 И чрез вредны их наносы
 Тьму несчастных погубил.

Не затеи ли пустые
 Быть счастливей в свете всех
 Помрачили дни златые
 Вместо чаемых утех?

Не коварство ль то лихое,
Коиm жадно ты дышал,
Повернуло жало злое
И чтоб ты под ним упал?

Не стремленье ль твое дерзко
Людей добрых затмевать
Укусило тебя едко
И заставило хромать?

Не жена ль еще виною,
Ум которой с волосок,
К взяткам долгою рукою
Задала тебе щелчок?

Расскажи мне откровенно
Напасть, съевшую тебя,
И тогда я совершенно
Дам узнать тебе себя.

Покажи и те примеры,
Как нам в свете надо жить,
На какой и вес, и меры
Нам рассудок положить;

Как с Фортуной обращаться,
Ее благом управлять,
Прямо смертным называться,
Честь и совесть сберегать.

А коль плохо в неудаче,
То теперь ты испытал:
Из коня залез во клячи,
Не был знатный Буцефал.

Значение этих стихов вполне объясняется их происхождением: по свидетельству Жихарева, они написаны секретарем бывшего калужского губернатора Лопухина, отрешенного от должности на основании произведенного Державиным следствия. Обоих сослуживцев Жихарев видел в Москве в 1805 г. По его словам, Лопухин, сделавшись непримиримым врагом Державина, не мог слышать о нем равнодушно, а бывший губернаторский секретарь, великий говорун Николай Ив. Кондратьев, разделивший участь своего начальника и оставшийся верным его наперсником, приходил даже в бешенство, когда заговорят о Державине, и особенно если его похвалят. «Этот Кондратьев, — прибавляет Жихарев, — пописывает стишки, разумеется, для своего круга, и по выходе Державина в отставку спустил, по выражению, кажется, Сумарокова, *свою своевольную музу, как ценную собаку*, на отставного министра...» Приведя часть его «стихотворного бреда», Жихарев далее замечает: «Кроме неудовольствия слышать эти гадкие, кабацкие стихи, грустно видеть

в них усилие мелочной души уколоть гениального человека, который, вероятно, никогда и не узнает об этих виршах». Последнее предположение едва ли было справедливо: невероятно, чтобы в течение 12-ти лет, прожитых еще Державиным, кто-нибудь из его многочисленных приятелей и родных не познакомил его с довольно распространенными в публике куплетами.

На этот пасквиль появилось и возражение, неизвестно кем сочиненное. Литература, вызванная на свет падением высокопоставленного человека, имевшего много врагов, не лишена своего интереса, а потому приводим и этот «Ответ на запрос»:

Не в моей, друзья, то воле,
Что свободен стал от дел;
Не министр теперь я боле:
Знать, такой мне в том удел,

Что мне нужды издеваться,
Дрязги, вздор пустой болтать?
Я умею сам смеяться,
Только стоит лишь начать.

Кто глупец, о том ни слова:
Мой закон таким прощать.
Муза петь моя готова,
Яд злодеев отражать.

Сидя дома, от досуга
Должен с лиры пыль стереть;
Ну-ка, милая подруга,
Что бы нам теперь запеть?

Иль помедлить, до случая
Дать смеяться шалунам?
Я сим вздором не скучаю;
Будет праздник скоро нам.

Ну! зачесется затылок,
Как Пегас наш полетит,
И от шуточных посылок
Нос лукавцев засвербит.

Ляг же, Муза, успокойся,
Ты без дел теперь, как я;
Как проснешься, так умойся
И воспой, душа моя.

В одном из писем Ростопчина к Цицианову, в конце 1804 года, читаем: «Державин сочинил прекрасные философические стихи, уподобляя жизнь дежурству, и видно, что прямо из генерал-прокурорского дома взлез опять на Парнас. Опасно, чтоб там не прибил Аполлона и не обругал Муз».

Упомянутая здесь пьеса озаглавлена «Дежурство». Действительно ли она принадлежит его перу, остается и теперь сомни-

тельным; но в пользу этого предположения служит, однако, то, что в тетрадах поэта мы в позднейшее время нашли ответное послание, которое обращено к Державину как несомненному автору «Дежурства», и в котором чересчур плохие стихи исправлены рукою его. Оно подписано «Рожанский». Для образца приведем из этого послания отрывок, начиная с первых стихов:

Это правда, муж священный:
 Всем нам должно угасать...
 Обща всем та часть жестока —
 Отдежурить и идти...
 Но когда твое дежурство
 Было правды караул...
 Для чего скорбеть и духом,
 Что прошла твоя чреда?..
 Кончил ты свое дежурство, —
 Наш, не твой сие урон.
 Память, слава, сердца чувство
 Есть твой вечный пансион.

Сравнивая последние два стиха с приведенными выше словами Ростопчина, можно бы подумать, что он разумел именно это стихотворение, которое могло дойти до него прежде самого «Дежурства», если бы только было вероятно, чтоб он признавал стихи Рожанского и вообще стихи благоприятные для Державина «прекрасными».

Кроме этого послания, по рукам ходил еще другой ответ на «Дежурство», но написанный совершенно в противоположном смысле, т. е. против Державина, и уже сообщенный нами в своем месте.

В начале 1804 года бывший до учреждения министерств генерал-прокурором Беклешов назначен был главнокомандующим в Москву. По этому поводу Завадовский писал графу С. Р. Воронцову: «Теперь и Державин не может отчаиваться, чтоб его голове и сердцу не возвратили прежней цены; весьма естественно видеть на вертящемся шару и внизу, и вверху те же предметы».

По тому же случаю кем-то написаны были, под заглавием «Бостон», следующие стихи на главных деятелей того времени, между которыми является и Державин:

Игра бостон явилась снова,
 Ее Совет апробовал.
 В Москву послали *Беклешова*:
 Играть в нее не пожелал,
 И *Воронцов*, король бубновый,
 Доволен сей пременой новой.
 С тем *Чарторийский* князь под масть;
 Товарищ сей не помогает,
 Он вечно на свои играет;
 То ведь его охота, страсть.

А grand souverain в руках имея,
Весь *Кочубей* объемлет свет,
Но разыграть его не смея,
Поставить может он лабет,
Некстати козыря подложит,
Ренонс он также сделать может
И станет масти подводить.
С ним, правда, *Строганов* играет,
Но козырей сей граф не знает,
С чего, не знает, подходить.

Бостона правила известны:
Державин! сам ты написал,
И как в игре должны быть честны,
Стихами, прозой объявляя;
А карты в руки — и забылся,
Ремизы ставить ты пустился,
Чужие фишки подбирать,
И доказал тем очень ясно,
Что можно говорить прекрасно,
Но дело трудно исполнять.

Расклавши карты на уделы,
Троцинский сюры подхватил;
Когда б не бабы престарелы,
Игрок больших он был бы сил.
Но люди созданы все слабы:
Им овладели девки, бабы,
Тащат все у него из рук;
Без них-то был бы без лабету,
На пользу был бы всему свету,
Но что ж? кто бабушке не внук?

Румянцев носится с мизером,
Платя за все двойной платёж,
И хочет собственным примером
Рубли ходить заставить в грош.
Давно по свету слух промчался,
Что женщин он всегда боялся
И для того относит дам:
Игру он худо разумеет
И карты лишь в руках имеет:
Играть велит секретарям.

А ты, холоп винцовой масти,
Вязмитинов! Какой судьбой,
Забывши прежние напасти,
Ты этой занялся игрой?
Ты — человек, сударь, небожий,
Тебя всегда мы знали двойкой;
Теперь — уже фигура ты,
Но не дивись тому нимало:
Всегда так будет, как бывало,
Что в гору лезут и кроты.

Наконец, по случаю отставки Державина, на него написана была следующая эпитаграмма:

Когда тебе весы Фемида поручала,
Заплакала она, как будто предвещала,
Что верности вовек другим в них не видать:
Ты все их искривил, стараясь поправлять.

12. Два неприятных дела

Итак, в конце 1803 года служебное поприще Державина навсегда кончилось. Но прежде нежели мы займемся его положением в отставке, нам предстоит поговорить еще о двух делах, которые возникли в последний период его службы и продолжались отчасти еще и после того, как он оставил ее.

Припомним, что когда, во время второй белорусской командировки его, Зорич умер, то Державину поручена была опека над шкловским имением, которое наследовал брат Зорича по матери, генерал-майор Давид Гаврилович Неранчич, бывший флигель-адъютант Екатерины II. Сначала последний был чрезвычайно доволен этим распоряжением, благодарил за него императора Павла и просил как милости поручить Державину же заботиться не только об уплате долгов покойного, но и войти в полное и непосредственное управление всеми оставшимися после него имениями, на что государь и изъявил свое согласие. В это время Неранчич, по словам Державина, прежними опекунами доведен был до того, что у него от 200.000 р. не оставалось ни полушки, и он выпросил у своего нового попечителя 200 р. займа. Незадолго до своего увольнения Державин представил план уплаты долгов, лежавших на имении Зорича: он считал нужным продать это имение с публичного торга в пользу Воспитательного дома и Заемного банка как учреждений, в которых оно было заложено. Но Неранчич подал на это распоряжение жалобу, обвиняя Державина в том, что он неправильными действиями и невыгодными сделками разорил имение и растратил до 400.000 руб. дохода, а сверх того не сложил с себя попечительства после указа 21 мая 1801 года, которым уничтожены все установленные правительством опеки, кроме учрежденных над малолетними и сумасшедшими. По поводу жалобы Неранчича государь назначил особый комитет для рассмотрения дел шкловского имения. Этот комитет нашел все действия Державина правильными: все злоупотребления, какие только доходили до его сведения, он предавал гласности и сообщал местным властям; вообще никто не мог бы даже о собственном своем имении прилагать более попечений и трудов, сколько Державин имел об интересах Неранчича. Многие частные кредиторы формальным актом дали Державину полную доверенность и согласились на сделки и отсрочку платежа единственно с тем, чтобы Неранчич сам в управление не мешался и долгов более не делал. Впрочем,

сказано было в журнале комитета, если Неранчич испросит себе позволение управлять имением самому, то Державин во всякое время готов отказать от дел его.

Новая всеподданнейшая жалоба Неранчича передана была в Государственный совет. По мнению совета, после выраженного просителем желания выйти из-под опеки Державина последнему нет основания долее управлять имением; что же касается претензий наследника, то они по существу своему относятся к разряду дел, подлежащих рассмотрению низших присутственных мест, к которым Неранчич и может обратиться со своим иском.

Державин, напротив того, настаивал, чтобы дело рассмотрено было в совете и чтобы ему в нареканиях и клевете Неранчича дано было справедливое удовлетворение. Но большинство членов совета (Завадовский, Васильев, Кочубей и Трощинский) находило, что это было бы неудобно и с ходом всего дела не согласно, так как решением подлежит ничто иное как тяжёлое дело между помещиком и опекуном, требующее исследования всех обстоятельств на местах, что несовместно с образом производства дел в совете. Жалобе Неранчича совет не даёт веры и не винит опекуна; сложить опеку определил он потому, что не согласно было бы с общим порядком, чтобы после указа, уничтожающего все опеки, существовала одна из них вопреки воле помещика.

Против этого В. Зубов и Н. Румянцев подали особые мнения, находя, что справедливость, приличие и уважение к званию Державина, наконец, честь и самое достоинство Государственного совета предписывают войти в рассмотрение бумаг, представленных министром юстиции: определение специально учрежденного по этому делу комитета, чтобы Державину состоять на праве куратора, было советом одобрено и утверждено государем. Гр. Румянцев присовокупил, что так как жалоба Неранчича раз дошла до совета и касается лица общественного, то она уже не может следовать стезею дел обыкновенных. «Не касаясь лично человека, о котором идет речь, — заключил Румянцев, — хотя и почитаю его всякого уважения достойным, вступаюсь я за звание, которое в сем случае г. Неранчичем оскорблено явно. Министр юстиции тогда только полезен государству быть может, когда убедятся, что он ведаёт законы и более иного радеет о правде. Когда сей министр будет отлучен от опеки без рассмотрения дел его, в глазах публики будет он только вполнину оправдан. Если удостоенное сего звания лицо полуоправданным останется, я осмеливаюсь спросить: не вопреки ли то будет государственному благоустройству? ибо потеряется тогда доверенность и должное уважение, сему министерству принадлежащее».

Сам Державин представил объяснительную записку, в которой изложил, что управлявший на месте шкловским имением поручик Гарденин находился в этой должности по контракту, утвержденному правительством, и что, кроме того, были местные опекуны, которых он, главный попечитель, несколько раз поручал наблюдению губернатора, и, следовательно, он по управлению имением из Петербурга не сделал никакого упущения. Когда же он заметил в имении беспорядки и неисправности в уплате казенных долгов по вине самого Неранчича, то немедленно представил государю о продаже имения с публичного торга. Указ 1801 года об уничтожении опеки не мог служить основа-

нием для снятия опеки со шкловского имения, так как она не частная, учрежденная по одной воле помещика, но наложена по особому высочайшему повелению за казенные долги. Доказывая затем, что жалоба Неранчича, в сущности, есть жалоба на особый комитет, а вместе и на совет, и потому должна быть рассмотрена в совете, а не в низших присутственных местах, Державин так кончает свою записку: «Должного уважения по всему вышесказанному ожидаю и от Государственного совета, не яко опекун, но яко сочлен оного, и на тот единственно конец, дабы государю императору дело сие представлено было в настоящем его виде и дабы клевета Неранчича, по рассмотрении комитетом признанная не имеющей никакого основания, не могла оставить в мыслях государя и тени даже подозрения в правоте моей, что для меня всего дороже».

Эта записка почена 24-м августа 1803 года, следовательно, подана, когда Державин был еще министром; заключение же совета последовало не прежде как через двенадцать дней после его увольнения. Это заключение было неблагоприятно для Державина и, что замечательно, противно предложению государя, очевидно желавшего оказать внимание заслуженному сановнику, из чего ясно обнаруживается нерасположение большинства членов совета к экс-министру. В журнале совета сказано, что государь, рассмотрев определение его о снятии опеки с Державина и обращении дела в губернские присутственные места, «изволил отозваться, что, с одной стороны, неприлично было бы оставить министра юстиции в подозрении и не принять от него оправдания, а с другой — и Неранчич не может ожидать в жалобах своих удовлетворения от разбора их в тех самых присутственных местах, которые, по показанию его, действуют под влиянием министра юстиции; а потому его величеству благоудно было повелеть: предложить на уважение совета избрать удобнейший способ к рассмотрению претензии Неранчича с обращением ли всех сведений к тому относящихся в совете или составлением особой местной комиссии, как того сам Неранчич желает».

Совет рассуждал, что с увольнением Державина от должности обстоятельства дела приняли другой вид; что теперь не может быть достаточной причины устранять дело это от обыкновенного течения рассмотрением его в совете или учреждением особой комиссии; что Неранчич, предъявив притязания свои на опекуна как на частного человека, в присутственных местах может получить надлежащее удовлетворение обыкновенным законным путем, который для всех лиц по имениям вообще установлен. Поэтому совет находил, что заключение его, в журналах июля 6 и 27 изображенное, «ныне со всею удобностью приведено быть может в действие». Вследствие этого попечительство Державина было снято, и имение было оставлено под надзором местных опекунов.

При чтении приведенного определения совета нельзя не чувствовать в словах его некоторого злорадства в отношении к падшему министру-поэту, который своею настойчивостью в проведении того, что считал справедливым, очевидно вооружил против себя всех своих сочленов. К сожалению, с этим последним актом Государственного совета против Державина теряются все

нити производства его дела. В 1804 году министр финансов внес в совет записку о покупке в казну шкловского имения, и совет предоставил ему совершить ее на предлагаемых Неранчицем условиях, причем цена имения (с 10.000 жителей) назначена в 1 мил. руб. и обывателям Шклова вменено в обязанность выплатить сумму, какая употреблена будет на покупку, взнося ежегодно по 60.000 р.

Дальнейший ход дела о продаже шкловского имения сюда не относится. Нельзя не пожалеть, что Державин в записках своих вовсе не упомянул о неприятностях, испытанных им по опеке над Неранчицем. Лишь слабый след их мы находим в частной его переписке, когда он, летом 1804 г., в письме к Капнисту объясняет, что не может ехать в Малороссию вследствие «некоторых шикан, которые открылись со стороны его недоброжелателей по опеке покойного Зорича». Тогда же он упоминает о каких-то других внушениях против него и их же, может быть, разумеет в следующих строках письма своего к г-же Горихвостовой от 3 августа 1806 года: «Вельможи, мои приятели, такую было сколбали мастерскую штуку и беду на меня, что удивления достойно! Однако мой добрый государь, спасибо ему, прислал ко мне и позволил объясниться: то теперь с помощью Божиею надеюсь, что в яму, которую на меня копали, сами попадут и провалятся, — разве государь по милосердию своему помилует. Итак, теперь около уже месяца занимаюсь этим делом и работаю денно и нощно, так что, в жаркие дни особливо, голова кружилась: то не до гостей мне, м-вые мои г-ни; извините, что за этим проклятым делом у вас быть не могу. Коль скоро отделюсь, то должен буду ехать в Петербург и представить мои объяснения. Как увидимся, то я перескажу вам чудеса, со мною совершившиеся в хвалу Всемогущего Бога, как Он, лоскутком ничего не значащей, брошенной бумаги, спасает невинность. Какие я сны видел — и вы помолитесь за меня Богоматери». Об интриге, которую здесь разумеет Державин, он также совершенно умолчал в своих записках.

Довольно загадочно еще и другое письмо этого рода, писанное им к В. В. Капнисту через месяц после своего увольнения, именно 4 ноября 1803 года: «Уведомление твое о каверзах против меня мне не могло служить к пользе и отвратить интриги, возымевшие уже давно действие свое. Как бы я ни оправдался, все должно было уступить домогательству и желанию самого государя; но как уволен, слава Богу, без оскорбления, по моей просьбе и с милостью, то и дело тем кончилось, что я остаюсь здоров, спокоен и весел; а будучи в той должности, три болезни должен был перенести и одну весьма опасную. Касательно обвинения меня, то оно неосновательно и неуспешно бы было, ежели бы и придрались захотели; ибо определение сената подписано всемогущим Строгановым, вездесущим Козодавлевым и велемудрым Неплюевым, которые никаких более замечаний по делам не принимали; но как дело сие основано и на законах, то и опасаться мне нечего, тем паче что указ 1783 г. гласит только о переходе, разумеется, посполитых подданных, а не о казаках, которых права утверждены грамотами древних царей и новых

императоров, а потому, кажется, и депутация ваша будет в дураках; но я это сужу по собственному своему уму, а как сделаю, не знаю».

О каком деле здесь речь идет? Кажется, это письмо имеет отношение к следующему месту протоколов неофициального комитета, где говорится о заседании 3 ноября 1803 года: «император сообщил членам, что ему случилось видеть письмо из Малороссии насчет тамошних дел, в коем приписывали указ, наделавший столько шума, интригам Трощинского и князя Куракина, которые будто бы желали взволновать крестьян и повредить Державину (как генерал-прокурору, допустившему такое определение сената)... Хотя нельзя было подозревать в чем-либо Державина, однако же, быть может, ему и другим не было неприятно небольшое волнение между крестьянами, которое оправдало бы предсказания, что после такого указа и шести месяцев не пройдет спокойно».

Эти строки протокола и письмо Державина писаны почти в один и тот же день. Государь разумел, кажется, указ 28 июля 1803 года, которым малороссийским казакам предоставлено было распоряжаться недвижимыми имениями на основании старинных прав и привилегий, жалованных Малороссии. Доклад сената по этому предмету состоялся вследствие представления малороссийского генерал-губернатора князя Алексея Куракина. В своей записке он объяснил, что эти казаки, с самых древних времен и даже находясь под властью Польши, имели каждый недвижимую собственность в полном распоряжении своем. Поэтому Куракин считал справедливым и полезным восстановить права казаков на владение землею. Сенат находил тем менее препятствий к удовлетворению такого ходатайства, что предлагаемая мера сходствовала с незадолго перед тем изданными постановлениями о дозволении казенным крестьянам приобретать земли и о вольных хлебопашцах, так как казаки должны быть причисляемы к разряду казенных крестьян. Между тем эта мера, как оказывается, произвела некоторое волнение в Малороссии.





Глава XV

Положение в отставке

(1803 – 1816)

1. Отношение ко двору

С увольнением от службы не вполне прекратились прежние отношения Державина к государю и императорскому семейству. Сам он нисколько не изменился в своем благоговении к высоким свойствам Александра и в приверженности к лицу его, как видно из многих позднейших отзывов и стихов поэта. Несколько раз подавал он императору записки по государственным вопросам, особенно же о мерах к обороне империи от Наполеона: сперва представлял он о том письменно и словесно в конце 1806 и в начале 1807 года, а потом в 1812 году. Последняя из них была передана им лично принцу Ольденбургскому в Новгороде, куда поэт ездил на дворянское собрание по поводу манифеста о всеобщем ополчении и пожертвованиях. Но, кажется, государь мало обратил внимания на представления своего бывшего министра, который, посылая В. С. Попову копию со второй из упомянутых записок, сообщал о приеме первой: «Меня обещали призвать и выслушать мой план, но после пренебрегли и презрели как стихотворческую горячую голову; но теперь, к несчастью, все, что я говорил, сбывается». В частных своих отношениях ко двору он продолжал пользоваться милостью царской фамилии, и в начале 1804 года писал своему другу Капнисту:

«При дворе мне кажут довольно уважения, зовут на обеды, на балы, и вчера был у вдовствующей императрицы, а сегодня к императору зван на ужин, да и каждую неделю достаиваюсь сей чести от государыни».

В Екатеринин день 1804 года император Александр во дворце подошел к Державину и спросил, был ли он накануне в театре на первом представлении трагедии Озерова «Эдип в Афинах» и как ему эта трагедия понравилась. «Я и прочие, — говорит Державин в записке к Оленину, — ответствовали, что очень хороша, а он отозвался, что непременно поедет ее смотреть. Мы ответствовали, что ваше величество ободрите своим благоволением, которому подобного в России прежде ее видали. — Я рад, — сказал он».

В начале 1812 года, когда Державин ездил к императрице Марии Феодоровне в Гатчину, она просила его написать стихи в альбом ее, и он доставил графу Головкину заимствованную из скандинавской древности, странную по вымыслу «балладу» «Жилище богини Фригги», разумея под этим именем государыню. Когда ожидали возвращения Александра из армии в июне 1814 года, дворянство Новгородского уезда избрало Державина своим депутатом при встрече государя. Говоря об отношениях поэта к императору, нельзя не упомянуть о его послании «К царевичу Хлору», написанном еще в 1802 году (летом, в Званке), вскоре после калужского следствия и за несколько месяцев до назначения в министры. Читатели, конечно, помнят, что царевичем Хлором назван Александр в сказке, написанной Екатериною II для своего малолетнего внука и подавшей повод к сочинению «Фелицы». Послание к Хлору — явное подражание этой последней оде; оно гораздо слабее ее, но содержит несколько стихов, удачно характеризующих молодого императора.

Последним знаком внимания Александра к Державину был рескрипт от 16 мая 1816 г., данный, следовательно, менее чем за два месяца до смерти поэта. Родственник его Ф. П. Львов, оставшись без места по случаю издания новых штатов для комиссии законов, где он служил, обратился к государю со всеподданнейшим прошением о назначении ему другой должности, и Державин писал о том статс-секретарю Кикину. Государь, не находя возможным удовлетворить это ходатайство, счел нужным объяснить причины того в рескрипте Державину: «Видя сомнение ваше насчет присланной ко мне Львовым просьбы, извещаю вас, что просьба сия мною не забыта, но оставлена мною без внимания, потому что...» и проч.

Несмотря на сохранение лестной связи со двором и вообще почетное положение свое, Державин, лишившись прежнего своего влияния и чувствуя себя уединенным, тяготился иногда своею отставкою. Когда в 1806 году Попов, поздравляя его с новым годом, прислал ему каких-то гостинцев с Решетилковской ярмарки, он отвечал: «Я принимаю их (т. е. поздравление и подарок) тем в наибольшей цене, что оказываете вы мне в такое время

дружеское расположение, когда другие, имевшие опыты большого лично к ним доброжелательства, меня совсем позабыли».

2. Литературные связи и предприятия

21-го декабря 1803 года умер Н. А. Львов, который в последние годы жизни стал очень болезнен, часто отсутствовал из Петербурга и потому не мог уже иметь для Державина прежнего значения. В последнее время он ездил лечиться к кавказским минеральным водам и составил их описание. При кончине ему было не более 52-х лет от роду. По случаю этой потери Державин писал Капнисту: «Поистине сие нас поразило. Вот, братец, уже двое из стихотворческого круга нашего на том свете. Я говорю о Хемницере и Николае Александровиче». На смерть последнего он написал стихи «Память другу», которые, с некоторыми поправками Дмитриева, и были напечатаны в «Вестнике Европы». Жена Львова прожила еще до 1807 года и также была оплакана Державиным (в пьесе «Поминки»). Оба супруга похоронены в своем Никольском, при посещении которого в 1810 году поэт опять написал стихи («На гроб переводчика Анакреона»). Свою верность давнишней дружбе и уважение к памяти Львова он, однако, лучше всего доказал тем, что трех осиротевших дочерей его приютил у себя. Две старшие, Елизавета и Вера, еще при жизни Державина вышли замуж (первая в 1810 г., за Ф. П. Львова; вторая в 1812-м, за генерала Воейкова); меньшая же, Прасковья Николаевна, оставалась при нем до самой смерти его, любила и лелеяла его, как отца, услаждала досуги его чтением вслух и подробно описала последнее время его жизни. Позднее она вышла за известного Константина Матвеевича Бороздина.

В конце прошлого и в начале нынешнего столетия была мода издавать поэтические труды с виньетами. Так в Германии изготовлялись рисунки к стихотворениям Рамлера. По примеру издания драматического произведения Екатерины II «Начальное правление Олега» Капнист в 1796 году напечатал свои сочинения с гравюрами, а в 1799-м таким же образом изданы были Олениным и Львовым басни Хемницера. Из переписки Державина видно, что и он еще в 90-х годах 18-го столетия намеревался издать свои стихотворения с рисунками, и для этого, при посредстве Оленина, договаривался с художником Майром, который гравировал портрет Катерины Яковлевны; однако это предположение тогда не осуществилось. Так как, между тем, московское издание сочинений его разошлось довольно быстро, так что в конце 1800 года уже шла речь о немногих оставшихся еще экземплярах этой книги, то он по выходе в отставку снова задумал роскошно напечатать свои стихотворения и заказать виньетки для них за границей. Для этого он посылал в Англию поднесенную Екатерине II рукопись, с рисунками работы Оленина; но британские художники потребовали за гравирование их

такую сумму (12 т. руб.), что и этот план расстроился. Тетрадь была возвращена в Петербург, причем один рисунок, именно изображавший русского солдата, дошедшего до Геркулесовых столбов, оказался вырезанным. Оленин обещал заменить его новым, что и вызвало послание Державина к этому известному археологу и любителю искусств, которого поэт называет «моей поэзии изограф» и между прочим говорит ему:

Оленин милый! вспомяни
 Твое мне слово и черкни...
 Услуги верной ждать не должно
 От иностранных слабых рук.
 И впрямь, огромность Исполина
 Кто облечет, кроме сына
 Его, и телом и душой?
 Нам тесен всех других покрой.

С заказом гравюр Державин обратился тогда к находившемуся в Петербурге английскому гравюру Сандерсу, и решено было для пробы напечатать отдельно, в небольшом формате, «Анакреонтические песни». С самого начала столетия Державин думал об издании особой книжкой тех из своих стихотворений, которые относились к эротическому роду и почти все были написаны в последние десять лет. Исполнение этого плана было приостановлено назначением его в министры; по выходе же его из службы книжка была напечатана в 1804 г. Но и это издание было не вполне удовлетворительно. При посылке экземпляра его Капнисту, Державин, жалуясь на опечатки, говорил, что с ними стыдно в люди показаться. «Что делать, — прибавлял он, — с такими бестиями, каковы наши художники?». Со стороны своего внутреннего достоинства книжка вызвала также далеко не общие похвалы. Выше было уже показано, какие различные суждения произносились об этом отделе творчества Державина. Тогдашний корифей нашей критики Мерзляков писал к Жуковскому: «Державин выдал анакреонтические песни. Пьесы многие — старые, напр., «Хариты», «На рождение порфирородного отрока», «Грации» и проч. Нового немного, и почти все нехорошо. Этот Анакреон пел при Павловом дворе, и Павла самого, иногда под именем Феба, иногда Амура, иногда... Языка нет. Золота и серебра кучи; остроты не видно; неблагопристойности много, а naïf, которое должно быть душою такого рода творений, не найдешь почти нигде. Вот тебе критика после первого моего чтения. Прошу тебя ей не верить. В другой раз покажется, без сомнения, мне все лучше, и я буду иметь удовольствие поздравить тебя с новым приобретением нашего Парнаса». Разнообразие во мнениях об анакреонтических стихотворениях Державина главным образом происходило, конечно, от неровности их. При проверке отзыва Мерзлякова надо помнить, что большее число стихотворений Державина в этом роде написано после 1804 года.

Для будущего издания своих сочинений он имел в виду то Капниста, то давнишнего сослуживца и приятеля своего Поспелова. Для гравюр хотел он обратиться в Лейпциг. В последующие годы он и готовил великолепное издание своих сочинений с виньетами, в шести частях; в то же время Дарья Алексеевна, которая сама играла на арфе, собирала ноты к тем из его пьес, которые были положены на музыку капельмейстерами Трутовским, Сарти, Бортнянским, Козловским, Нейкомом и др. Тщательно переписанное набело собрание стихотворений Державина в тетрадях листового формата, украшенных рисунками лучших русских художников, было тогда же прочитано императрицей Елизаветой Алексеевной, которая пожелала ознакомиться с ними. Вскоре после того, в 1807 году, приступлено было к новому изданию, под наблюдением А. Ф. Лабзина, бывшего в то время директором департамента морского министра и конференц-секретарем Академии художеств. Печатание производилось в типографии Шнора, помещавшейся на Невском проспекте, в доме лютеранской Петропавловской церкви. Началось оно в августе месяце, а в феврале 1808 года все издание в четырех томах было готово и пущено в продажу. Виньеты явились только в начале и в конце каждого тома. Державин и этим изданием остался не совсем доволен; заметим, однако, что за исключением некоторых неверностей, по большей части находившихся в тексте самых рукописей, издание 1808 года вообще очень исправно. В предисловии заслуживают внимания слова: «Со временем все, касающееся до моих письмен, объяснено будет если не мною самим, то по оставленным мною запискам другим кем-либо». Сочинения в прозе и стихотворные мелочи, как-то эпиграммы, эпитафии и т. п., не вошли еще в это издание.

В начале 1804 года Державин просит Дмитриева подписаться за него на все выходящие в Москве журналы. В числе их был «Друг просвещения», который с этого года предприняли издавать граф Григ. Серг. Салтыков, Д. И. Хвостов и П. И. Голенищев-Кутузов. Для этого журнала Хвостов выпросил у поэта два стихотворения, незадолго перед тем отдельно напечатанные: «Колесница» и «Фонарь». О первом мы уже говорили в своем месте, второе было внушено Державину теми размышлениями о суете мирской, с какими он не мог не оглядываться на недавно оконченное им служебное поприще. По поводу размножения журналов он, между прочим, писал Дмитриеву: «Куда как за-журналилось и, по привычке к рифме, хочется сказать затуманилось вместо света, которого ожидали». В журнале «Патриот» Вл. Измайлов разбил Ильина за то, что он в своей драме «Великодушие, или Рекрутский набор» изображает людей низкого звания и заставляет их говорить простонародным языком, что, по мнению критика, опасно для слога самого автора. Державин, в том же письме, осуждает Измайлова за резкость его приговора. И в следующие годы он продолжает выписывать московские журналы через Дмитриева; однако в конце 1805 уже просит сделать выбор из множества периодических изданий, ко-

торы, по обилию их, уподобляет грибам. На это излишество он несколько позднее написал стихи под заглавием «Разноцветные журналы». К числу этих журналов принадлежали в Москве «Вестник Европы» (Каченовского), «Ученые ведомости» (проф. Буле), «Друг просвещения», «Новости русской литературы» (Сохацкого и Победоносцева) и «Московский курьер» (Павла Львова). На 1807 год Державин пожелал иметь только три первые издания.

В это время он уже был в приятельских отношениях к Шишкову. Сблизились они, конечно, как сочлены по Российской академии, к которой Шишков, будучи гораздо моложе, принадлежал только с 1796 года. В 1802 он издал свое знаменитое «Рассуждение о старом и новом слоге». В 1804 году Державин пишет к Дмитриеву: «Шишков вызывал меня в разговорах на похвалу своей критики, сделанной им насчет новых писателей и, как кажется, более Николая Михайловича. Я ему отвечал, что я не грамматик, о всех тонкостях языка судить не могу, но мне кажется, что слишком пристрастны его рассуждения. Он отошел с неудовольствием. Я желаю Николаю Михайловичу такого же успеха в истории, как в изданных им творениях; но боюсь подражателей его, что они, выказывая свои таланты, силятся слишком проповедовать те правила, которых следствия опасны. Мы видим тому примеры. Не быв в делах, они все легко принимают и ищут только блестящего. Но мудрость заключается в середине крайностей». Нам рассказывали, что Шишков, вскоре после издания своей книги, приехал к Державину с жалобой на «мальчишек», которые нападают на него под знаменем Карамзина.

— Что же вы думаете сделать? — спросил его поэт.

— Написать возражение и жестоко отделать их!

— Не советую. — отвечал Державин и затем прибавил словами Иисуса Сираха. — Дунь на искру — разгорится, а плюнь — так погаснет.

Этот анекдот очень правдоподобен, тем более что то же самое поэт писал Дмитриеву по поводу полемики, возникшей между Херасковым и Николевым.

Мы уже знаем, с каким уважением Державин смотрел на Карамзина: следовательно, Шишков напрасно искал в нем ревностного союзника против этого писателя. В 1807 году Жихарев, посещая в Петербурге шишковский литературный круг и удивляясь презрительному отношению его к московским писателям, заметил между прочим: «Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горюю». Хотя Державин впоследствии и дал сделать из себя орудие в борьбе против карамзинской школы, приняв под свое покровительство Беседу и подчинившись влиянию Шишкова в языке, но он никогда не предавался этой партии вполне и не разрывал связей с противниками ее. Иногда, однако, он, еще и в прежнее время, позволял себе подшучивать над слабыми сторонами Карамзина, напр., в пись-

ме к Дмитриеву он поднял на смех конец послания «К женщинам», напечатанного в «Аонидах», и заметил,

Что с таковыми жен друзьями
Мужья с рогами,

а потом написал по этому поводу особую эпиграмму под заглавием «Другу женщин».

Позднее, когда Дашков издал свою книгу «О легком способе возражать на критику», Державин обнаружил даже шишковскую нетерпимость и, получив это сочинение от автора, возвратил ему обратно присланный экземпляр. В конце 1813 года Дашков писал кн. Вяземскому: «Кстати, о нашем Горадии. Он вздумал формально рассердиться на меня и даже жаловаться на то, что я кой-кому показывал его замечания на возвращенной мне книжке».

В переписке с Дмитриевым Державин высказывал иногда здравые критические взгляды. Дурных писателей он бичевал эпиграммами, не щадил и преданных Шишкову Павла Львова, Павла Кутузова и гр. Хвостова, хотя, высказывая им самим свои мысли о их творениях, старался золотить пилюлю. «Хотя я и люблю правду, — объяснял он Дмитриеву, — но говорю ее, где только по должности от меня требуется; а между нашими братьями-авторами самое лучше дело, ежели и при запахе стервы нос залегает. По сей-то самой правде и маленький Львов, но великий надутым самолюбием, позабыв все благодеяния, мною ему сделанные, более уже ко мне не ходит. И правду сказать, как не возмериться и не поднимать носу, когда (как слышу здесь) московская публика превозносит его «Храм великих мужей». После сего советовал бы я умолкнуть и всякой лучшей рецензии. Почто глухим петть и дуть на ветер! Но как бы то ни было, предвижу я между Москвою и Петербургом великую литературную бурю. Твердят уже здесь на театре русского Стерна; тут-то полетят громы и молнии; штыки нового и старого штиля засверкают...» Предвидение поэта вполне оправдалось: «Новый Стерн» не только породил предсказанную им бурю, но и послужил одним из поводов к появлению впоследствии Арзамасского общества.

С гр. Хвостовым, как давнишним сослуживцем своим по сенату и племянником Суворова, Державин уже несколько лет был в приятельских отношениях и, переписываясь с ним, старался тонким образом высказывать ему правду насчет его метромании. Так, когда тот в своем «Друге просвещения» в 1805 году напечатал оду в честь Державина, наш лирик писал ему: «Не нахожу ни мыслей, ни слов довольно возблагодарить вас за ваше ко мне дружеское расположение, а по этому самому, что заплатить хочу вам истинным и душевным чистосердечием, прошу послушать моего беспристрастного совету и не торопиться писать скоро стихов ваших, а паче не предавать их скоро в печать. Что прибыли отдавать себя без строгой осмотрительно-

сти суду критиков? Вы знаете, что не количество, а качество парнасских произведений венчает авторов. Итак, заключу тем, что бывало мне друзья мои говаривали:

Писания свои прилежно вычищай:
Ведь из чистилища лишь идут в рай».

Между тем гр. Хвостов в своих письмах к Державину восторженно хвалил его, а последователей Карамзина презрительно называл *элегантами*. Отвечая ему, Державин выразил любопытный взгляд на «признаки истинного достоинства поэтов». Оно, по его мнению, бесспорно: 1) когда стихи их затверживаются наизусть и передаются в потомство; 2) когда апофтегмы из них в заглавия других сочинений вносятся, и 3) когда они переводятся на другие просвещенные языки.

По желанию Каченовского Державин в начале 1806 года послал в «Вестник Европы» два стихотворения. Это были, против его обыкновения, переводы: «Цирцея», одна из знаменитейших в свое время од Жан-Батиста Руссо, и «Дева за клавесином», пьеса Шиллера. Из-за них чуть не произошло ссоры между поэтом и журналистом. Поводом к недоразумению послужило то, что Каченовский, не совсем довольный этими переводами, перед напечатанием «Цирцеи» сделал в ней несколько изменений. Державин оскорбился и написал о том Дмитриеву. Чтобы оправдаться, Каченовский сложил вину на последнего, который и действительно принял ее на себя. Державин, привыкший к поправкам своего приятеля, успокоился. Серьезнее было дело с переводом из Шиллера. Каченовский вовсе не хотел печатать его и, чтобы иметь к тому предлог, просил Мерзлякова перевести ту же пьесу точнее. Между тем Державин, не видя своего перевода в «Вестнике Европы», приписал это тому, что он сделан белыми стихами, которых не любил Дмитриев, и потому потребовал «Деву за клавесином» обратно. Каченовский просил Дмитриева еще раз послужить козлом отпущения, но Иван Иванович не согласился и вдобавок выразился неуважительно о самом «Вестнике Европы»; для отвращения неприятностей пьеса тем временем явилась в этом журнале, но между обоими московскими литераторами вследствие этого случая произошло охлаждение, которое еще усилилось, когда вслед за тем Каченовский напечатал придирчивый разбор басен Дмитриева. Здесь кстати упомянуть, что Державин вообще не сочувствовал Шиллеру; от природы чуждый всякой мечтательности и романтизма, почитатель Горация, Пиндара и немецких поэтов классической школы, он не мог увлекаться красотами нового светила германской поэзии и находил, что в нем недостает «Пиндарова огня, который, подхватив, с собою возносит, или приятного нектара Горация, который вместе щекочет, учит и услаждает»; ему не нравились «писания, не приправленные аттической солью нравоучения или сатиры».

3. Эпиграммы и басни Державина

В 1805 году граф Хвостов, печатавший в своем «Друге просвещения» хвалебные стихи в честь Державина, просил его дать в этот журнал что-нибудь из своих произведений.

Уклоняясь от появления в журнале, издававшемся очень небрежно и не пользовавшемся уважением публики, поэт отвечал, что так как он готовит полное издание своих «кропаний», то боится набить читателям оскомину. При этом он упомянул, что не мог отделаться от одного петербургского журналиста и передал ему «некоторую мелочь, по лоскуткам у него валявшуюся», т. е. надписи на разные случаи и несколько басен; в письме к гр. Хвостову он прибавил, что считает себя в этом роде весьма неискусным и тяжелым.

Хотя, действительно, этот отдел его стихотворений не представляет, вообще говоря, особенных достоинств, но так как он довольно обширен и притом не лишен исторического интереса, то мы должны несколько остановиться и на нем. В своем месте было уже замечено, что Державин с самого начала своей литературной деятельности писал иногда эпиграммы и басни. В позднейшее время, готовя полное собрание своих сочинений, он намерен был отвести целый том этому роду стихов, но не успел выполнить своего плана. Между рукописями его мы нашли две тетради, из которых одна содержала до 25 басен, а другая около 200 разных мелких сочинений, как-то эпиграмм, надписей к портретам, эпитафий и т. п. Они знакомят нас с разными подробностями тогдашней литературы, а также со взглядами поэта на некоторые современные лица и события. Из ранних стихотворений его в этом роде мы имели уже случай узнать его отношение к Сумарокову. Есть у него несколько эпиграмм и на других современных писателей. Особенно любил он потешаться насчет Николева, Струйского, графа Хвостова и бывшего сослуживца своего Эмина. С последним соперничал он когда-то в анакреонтической поэзии. Одну из таких пьес Эмин начал стихами:

Недавно в темну ночь,
Окончив день пристойно,
Прогнав заботы прочь,
Я спал себе спокойно.

По этому поводу Державин, сочинив впоследствии эпиграмму на комедию Эмина, кончил стихом:

Лишь день один в свой век
Умел провесть пристойно.

Николев, автор знаменитой в свое время трагедии «Сорена», издавший свои творения в пяти томах, напечатал в «Аонидах»

Карамзина в честь Петра Великого рондо, в котором каждый куплет начинался и оканчивался восклицанием «Петр велик!» Державин осмеял автора под именем кулика.

Двустипшие:

По имени струя,
А по стихам болото.

относится к пензенскому помещику и литератору Струйскому, защитнику Сумарокова, заведшему в своем имении типографию для печатания собственных своих сочинений.

Переписываясь с графом Хвостовым, Державин сначала говорил ему любезности насчет его неутомимой и плодovitой музы, но вскоре, как мы видели, нашел нужным сдерживать его Пегаса, а позднее написал на него даже несколько эпиграмм. Племянник Суворова и благодаря этому родству камер-юнкер, а потом и граф, Хвостов еще с 90-х годов прошлого столетия начал предаваться метромании, печатая свои стихи в «Новых ежемесячных сочинениях» княгини Дашковой. В своих одах он тщился и, как ему самому казалось, успевал не уступать знаменитому лирику. Между прочим он также написал оду «Бог» и спрашивал Державина:

Как нравится тебе моя о Боге ода?

В эпиграмме, послужившей ответом на этот вопрос, Самохвалов хвастает, что хотя он не срисовывал описанного Горацием коня, а все-таки, —

Где быть бы голове, намалевал там хвост.

Как смотрел Державин на журнал «Друг просвещения», где ему так усердно курили фимиам, видно из эпиграммы его по случаю перемены в 1806 г. цвета обертки на книжках этого издания:

В одежде красной был в год прошлый сей журнал,
И просвещение нам суриком блистало;
Но ныне голубым он стал:
Неужель нам вранье приятнее в нем стало?

Особенною картинностью и изобретательностью в описании разных неизящных образов и звуков отличается эпиграмма на Скрыплева (Хвостова), начинающаяся так:

Скрипит немазанна телега
В степи песчанистой без брега
И с золотом везет навоз...

Рядом с этой эпиграммой может быть поставлена другая, «На рифмоплета», также замечательная пластичностью выражений:

Видал ли, рифмоплет, на рынке ты блины
 Из гречневой муки, холодные, сужие,
 Без соли, без дрождей, без масла спечены,
 И, словом, черствые и жесткие такие,
 Что в горло могут быть пестом лишь втолчены?
 Не трудно ль — рассуди — блины такие кушать,
 Не казнь ли смертная за тяжкие грехи?
 Вот так-то, рифмоплет, легко читать и слушать
 Увы! твои стихи.

Во время приятельских сношений с Державиным Хвостов успел вовлечь его даже в поэтическую с собой переписку, в которой лирика представляет Волхов, а собеседник его является под именем речки Кубры, омывавшей имение его во Владимирской губернии. В ответ на приветствия сиятельного стихотворца в «Друге просвещения» было напечатано «Послание Волхова к Кубре»:

Напрасно, Кубра дорогая,
 Поешь о славе ты моей;
 Прелестна девушка младая!
 Мне петь бы о красе твоей.
 Хотя утрюм и важен взором
 И седина на волосах,
 Но редко бурями и громом
 В моих бушую я лесах.
 Я мирный гражданин, торговый,
 И беспрестанно в хлопотах;
 За старым караваном новый
 Ношу лениво на плечах;
 Наполнен барками, судами,
 На парусах и бичевой,
 Я русских песен голосами
 Увеселяю слух лишь свой...

Таким образом, мы видим, что литературные отношения Державина к гр. Хвостову были в разное время неодинаковы; по взаимной личной приятности обоих эти отношения были для первого довольно затруднительны и потому со стороны его не всегда искренни. Его эпиграммы на бездарного приятеля оставались, разумеется, в рукописи. Гораздо прямее были его отношения к двоюродному брату певца Кубры, Александру Семеновичу Хвостову, некогда сослуживцу Державина при князе Вяземском. Он принадлежал к одному литературному кружку со Львовым и Хемницером, сам писал очень немного, но слыл человеком с талантом и вкусом и был известен как острослов и эпикуреец. Когда однажды гр. Хвостов упрекнул его за леность, то он отвечал:

Лениться жребий мой, и жребий неизбежен:
 Скажи, любезный друг, что в том, что ты прилежен?

Иногда однофамильцы не на шутку ссорились, как увидим ниже, когда речь будет о Беседе; теперь упомянем только о другом менее серьезном случае. Однажды между ними завязался спор о том, позволительно ли в русских стихах рядом с ямбом и хореем вставлять пиррихий, стопу, состоящую из двух слогов без ударения. Граф Хвостов, обвиняемый в употреблении его, справедливо приводил, что пиррихий неизбежен и часто встречается у всех наших поэтов, начиная с Ломоносова. Находя что он прав, Державин написал его противнику несколько шуточных стихов, в которых заметил, что граф

Гордясь победою своею,
Пиррихьем вновь звучит, как скриплюю телегой.

Александр Семенович Хвостов отвечал стихами же, хотя и плохими, но любопытными по выраженному в них взгляду на стихотворство его родственника; они кончаются так:

Желал бы только я, чтоб граф за сто красот
И Ломоносова, и ваших
Один хоть путненький дал мыслям оборот
Во все течение своих лет и лет наших.

Державин очень дорожил советами Александра Семеновича и между прочим сообщил ему на просмотр в 1808 году свою трагедию «Ирод и Мариамна» при особом послании, на которое тот отвечал:

Державина прияв велье,
Отнынь я критик и пиит;
Певца Фелицы одобренье
Кого, кого не возгордит?

В другой раз он так защищал нашего поэта от нападений критиков:

Удары волн бывают ли ужасны?
Пигмеев замыслы Ираклу не опасны;
Дым Этны пламенной Олимп беспечно зрит;
Зоилов слабый крик Омира не страшит.
Певца Фелицы лавр средь дерзка вранов гласа
Растет и высится в честь русского Парнаса.

Есть у Державина, между прочим, эпиграммы на Кострова («Хмельнина») как переводчика Гомера, на Каченовского («надутого и хромоногого историка») и на Воейкова. Последний провинился тем, что вместе с Каченовским очень резко напал в «Вестнике Европы» на сочинение Станевича, одного из самых усердных поклонников Шишкова. Нельзя также оставить без внимания эпиграмм Державина на Карамзина (о чем уже было упомянуто) и на Жуковского (по поводу ссоры, о которой будем говорить позднее), а рядом с ними — и саркастического ответа

его на следующий отзыв Сергея Глинка, напечатанный в «Русском вестнике» 1809 г. по поводу нового издания сочинений нашего поэта: «В *третьей* части находятся анакреонтические оды, бывшие уже в печати, с прибавлением некоторых новых в сем роде сочинений. Анакреон и Сафо несомненно поллюбовались бы многими из сих песен. Должно, однако, признаться, что *есть между ими и такие, на которые бы Грации желали накинуть покров...*»

В своем ответе на этот отзыв Державин обращается к защите русских Граций:

Велит вам, Грации, надернуть покрывало
На песенки мои шуточные мудрец.

Знать, его не прельщало яблоко Эдема, его мать не из ребра Адама, отец его не из глины:

Не любопытен он, как деда его были.

Но вы, Грации, идете, конечно по стопам своей прабабушки:

Сквозною дымкой вы те песенки закрыли
И улыгнулися на запрещенный плод.

Вот, стало быть, оправдание самого поэта против того обвинения, которое, как мы видели, взводил на него не один Глинка за некоторые из его анакреонтических песен.

В «Журнале российской словесности» (в майской книжке 1805 г.) издатель его Н. И. Брусилов поместил следующую эпиграмму на Державина:

Проходит слава царств, и царства исчезают!
Пальмира гордая, где ты?.. Увы! не знают!
И Александров гроб, и город разрушен,
В котором сильный царь земли был погребен.
Героев град забыт, забыт и с их делами —
А ты жить в вечности с великими мужами,
Тромпетин! захотел стихами!¹

В «Друге просвещения» явился вскоре ответ Державина, впоследствии несколько им измененный:

Трубит Тромпетин во тропету:
Его глас вторят холм и дол;
Булавкин колет жалом в мету,
Но чуть слышна булавки боль.
Блестали царства — и их нету;
Живет в стихах своих Пиндар;
Толпятся мошки солнца к свету;
Но дунет ветер — и где комар?

¹ Тромпетиным назвал Княжнин одно из лиц в своей комедии «Чудаки».

В связи с этими стихами находится написанная, вероятно, несколько позже и не изданная при жизни Державина пьеса «Лирик», где изображение им своего величия как поэта достигает уже гиперболических размеров.

К одному роду поэзии с эпиграммами можно отнести те стихи Державина, в которых он высказывает свои размышления о вынесенных им уроках жизни или разочарованиях, напр., «Доказательство талантов»:

Надлежит всякое полезно сочиненье
 Вельможам доказать чрез вист и рокамболь;
 А без того царю, отечеству раченье
 У нас пред ними — ноль.

Или вот как он обращается к правде:

Слуга, сударыня, покорный!
 Пускай ты божеская дочь, —
 Я стал уж человек придворный
 И различу, что день, что ночь.
 Лет шестьдесят с тобой водился,
 Лбом за тебя о стены бился,
 Чтоб в верных слыть твоих слугах;
 Но вижу, Неба дщерь прекрасна,
 Что верность та моя напрасна:
 С тобой я в чистых дураках!

Мысль о своих заслугах и неудачах сильно занимала престарелого поэта. Об этом свидетельствуют две его эпиграфии самому себе:

1

Сребра и злата не дал в лихву
 И с неповинных не брал мзды,
 Коварством не вводил в ловитву
 И не ковал ничьей беды;
 Но, верой-правдой вержа злобу,
 В долгу оставил трех царей.
 Приди вздохнуть, прохожий, к гробу,
 Покоющу его костей.

2

Здесь лежит Державин, который поддерживал правосудие;
 Но, подавлен неправдами, пал, защищая законы.

Таково же содержание отрывка, сохранившегося в его рукописях под заглавием «Кубок», песни, которую он, по собственному его выражению, «подносит молодому дворянству». Приводим оттуда несколько стихов:

Восстань со кресел куриальных,
 Неопытный боярский сын,
 И пышным древом предков дальних
 Не дмись, случайный властелин!
 Но слушай старика седого,
 Что с детства, с нижних степеней
 Шел без подпор и без покрова,
 Лишь правды, мужества стезей,
 Был щит отчизны, руль законов,
 Стоял пред троном трех царей.

Здесь поэт обращается, конечно, к молодым сотрудникам Александра I, и преимущественно к Кочубею. В последнем куплете отрывка они названы юными патрициями.

Эти же лица, с придачею к ним еще Аракчеева, Сперанского и молодого полководца Каменского, доставили пищу позднейшим басням Державина. В первую эпоху его литературной деятельности, встречающиеся у него стихотворения этого рода еще не имеют никакого применения к современным обстоятельствам и лицам, и сюжеты их заимствованы просто из эзоповского и федрова аполога. Позднее, и особенно в царствование Павла, в баснях Державина заметна уже историческая основа, намерение представить иносказательно какую-нибудь черту времени или особенность лица. Таковы, напр., басни «Корабль и игла», «Струя и дом», «Хозяйка». Все басни, написанные им в царствование Александра I, имеют сатирическое значение: «Аист» представляет Аракчеева; «Жмурки» — молодого государя с его сотрудниками; тут ясно и нравоучение: «не надо допускать класть на себя повязку»; басня «Лашманы» доказывает необходимость единства власти; «Выбор министров» — имеет предметом избрание хотя и шумливой, но горячей в заботе об общем благе трудолюбивой пчелы (самого Державина), помимо паука и муравья; «Паук» метит на Кочубея или Сперанского. В басне «Старые и молодые голуби» выставляется вообще ненадежность молодых деятелей и в особенности произносится порицание молодым военачальникам, кажется, по поводу битвы при Аустерлице или неудач в турецкую кампанию 1810 года. На это указывает нравоучение басни:

Без стариков вождей, да не узнав и броду
 Соваться в воду, —
 Опасно по одной теории воевать.

В басне «Бойница и водопад» русские солдаты, под начальством старого полководца, хотя и «простого человека, не мудреца и не героя», оказывают чудеса храбрости:

Какой бы нам извлечь из притчи сей совет?
 Ум опытный лишь зрит и отвращает вред.

Своими баснями в царствование Александра Державин оправдал поговорку: «что у кого болит, тот о том и говорит». В литературном отношении всем им недостает отделки; хотя в них и заметно стремление к простоте и народности, но язык басен Державина вообще небрежен и неправилен. Крылов тогда еще не являлся на сцену. Идеалом нашего поэта в этом роде был старый его приятель Хемницер, как показывает позднейшее четверостишие Державина «Суд о басельниках»:

Эзоп, Хемницера зря, Дмитрова, Крылова,
 Последнему сказал: ты тонок и умен;
 Второму: ты хорош для модных, нежных жен;
 С усмешкой первому сжал руку — и ни слова.

4. Драматические сочинения

Вступление Державина на поприще драматической поэзии было, конечно, заблуждением, но так как она в последний период его жизни более всего занимала его и он обнаружил в ней изумительную производительность, то мы, по обязанности биографа, должны рассмотреть хоть в главных чертах и эту отрасль его деятельности вместе с побуждениями, обратившими его к ней, и степенью достигнутого им успеха.

Мы знаем, что он, еще будучи тамбовским губернатором, а потом и поселившись опять в Петербурге, написал по разным случаям несколько сочинений для представления на театре. Но особенно предался он этому роду поэзии с 1804 года. Успех в лирике казался ему слишком легким и дешево приобретенным. К новому направлению его могло способствовать и жалкое состояние, в каком находился тогда русский театр. В последнее время только и явилось на нем одно замечательное произведение, именно «Ябеда» Капниста; но, запрещенная после первых представлений в царствование Павла, эта комедия еще и при Александре долго не могла быть играна и разрешена была только в продаже. Шаховской еще не начиная своего авторского поприща; русская сцена, за редкими исключениями, которыми обязана была Ильину и Крылову, пробавлялась либо старинными пьесами Княжнина и Фонвизина, либо плохими переводами и переделками. Между последними особенно посчастливилось волшебной-комической опере «Русалка», заимствованной из немецкой пьесы «Das Donauweibchen», производившей фурор в Вене и Берлине. Один из усердных переводчиков для тогдашнего театра нашего, Краснопольский, переложил ее на русские нравы с превращением Дуная в Дон. Эта переделка в первый раз явилась на сцене осенью 1803 года в великолепной обстановке и при участии лучших артистов. Несмотря на нелепость своего содержания, «Русалка» сделалась надолго любимой пьесой петербургской публики и давалась через день. Везде слышались из нее арии, напр., «Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут».

Незадолго перед тем дебютировавшая Катерина Семеновна Семенова приводила слушателей в восторг.



Евгений Болховитинов.

В июле 1804 года Державин писал Капнисту: «Теперь вкус здесь на шуточные оперы, который украшены волшебными декорациями и утешают более глаза и музыкаю слух, нежели ум. Из них одну, «Русалкой» называемую, представляли почти всю зиму непрерывно и теперь представляют, но не так, как прежде, в единстве времени и никогда не менее 5 актов, напротив того по частям. Первую часть давали зимой, ныне зачали вторую, а там третью, четвертую и так далее, дондеже вострубит труба Ангела и декорация света сего, переменясь, представит нам другое зрелище. Вы спросите меня, как это делается? ибо где есть связь, там должен быть план, начало и конец. Но вы ошибаетесь. Представьте себе сонные грезы. Без всякого соображения и последствия, что видят, то и бредят. Вот в коротких словах описание нынешнего театра».

Уверенный в многосторонности своего поэтического таланта, уже и прежде пробовав его в сочинениях драматической формы, Державин захотел принять участие в возвышении русской сцены своими собственными трудами. За полгода перед письмом, откуда заимствованы только что приведенные строки, именно 30-го января 1804 года, он писал к А. М. Бакунину: «Теперь хочу попытаться в драматическом поле, и вы бы меня обязали, если бы из Метастазиевых опер некоторые выписки или планы их вкратце сообщили, дабы я, с расположением и духом его познакомясь, мог надежнее пуститься в сие поприще, ибо таковые важные лирические пьесы, кажется, мне более других свойственны».

Из этих слов нам становится понятно, под каким влиянием написаны Державиным два больших драматических сочинения его с музыкой, хорами и речитативами: «Добрыня» (в пяти актах) и «Пожарский» (в четырех). Оттуда и сходство их, по характеру и составу, с подобными же произведениями Екатерины II, которая в свое время равным образом прилежно вчитывалась в Метастазиио.

Заимствование как ею, так и Державиным сюжетов из сказочного мира и отечественной истории было согласно с общим направлением, которое тогда из западной литературы стало переходить и к нам. В первой из названных пьес Державина видно старание обильно пользоваться элементом народной поэзии, хотя вместе с тем обнаруживается, на каком низком уровне тогда еще находилось у нас изучение старины и древней словесности. Одним из главных источников служили Державину только что изданные Ключаревым «Древние русские стихотворения» (былины), а также собрания сказок Попова и Чулкова, давно ему знакомые. Четвертое действие Добрыни открывается хором девушек:

Что по гридне князь,
 Что по светлой князь,
 Наше солнышко Владимир князь похаживает;
 Что соколий глаз,
 Молодецкий глаз,
 Как на пташечек, младых девиц посматривает,
 Что у ласточки,
 У касаточки,
 Алу белу грудь, сизы крылья потрогивает.
 Парчевой кафтан,
 Сапоги сафьян,
 Золоту казну и соболи показывает;
 Веселым лицом,
 В обиняк словцом
 Мысли девичьи и думу их изведывает.
 Не мани нас, князь!
 Не гадай нас, князь!
 Красно солнышко! ему боярышни возговорят.
 Не златой казне,
 Не твоей красе

Очи и сердца свои давно все продали.
 Ты взгляни на нас,
 Ты вздохни хоть раз,
 Дай в залог перстень любой тебе, ту выбери.

Между тем, однако, пьеса на каждом шагу представляет несообразности: рядом с заимствованиями из русских былин беспрестанно упоминаются рыцари, и Добрыня на самой сцене посвящается в это звание. Героиня оперы, Прелепа, по образцу французской комедии, имеет наперсницу Способу, с которою любезничает плутоватый слуга Добрыни Тороп. Прелепа росла в Холмограде, священном для всего Севера месте, куда, по словам Татищева, ездили на богомолье северные короли. Там-то Прелепа воспитывалась вместе с Добрынею в училище волшебницы Добрады. Когда же Владимир захотел жениться, то она привезена была в Киев со многими другими девицами, и на нее пал выбор князя. Но вот в лице Тугарина является Змей Горыныч и утверждает, что был в связи с нею. Владимир вызывает его на поединок и побеждает клеветника, но Тугарин с помощью какого-то письма успевает подкрепить свое обвинение, и суд произносит над Прелепою приговор. Наконец, однако, открывается ее невинность, и Владимир, узнав историю ее детства, благословляет ее на брак с Добрынею; в то же время и Тороп женится на Способе. Действие беспрестанно прерывается хорами, дуэтами и пляскою. Местами только талант автора проявляется в удачных стихах.

Такие же странности замечаются и в Пожарском, «героическом представлении», оконченном в 1806 году, следовательно, за год до появления на сцене известной трагедии Крюковского на тот же сюжет, имевшей огромный успех. При тогдашнем положении России естественно было, что писатели считали своею задачей возбуждать в обществе патриотическое настроение. Нам уже известно, с каким благоговением Державин смотрел на Пожарского, «великого», по его словам, «каковых история мало представляет». Форму оперы избрал он потому, что согласно с господствовавшим в то время взглядом видел в ней высший род драматического творчества, соединявший в себе все отрасли искусства и потому способный сильнее всякого другого представлять действовать на зрителей. Среди козней, направленных против Пожарского Трубецким и Заруцким, Марина, сходно с народным поверьем, является у Державина чародейкой и хочет завлечь в свои сети Пожарского, который в самом деле колеблется, но наконец выходит победителем из борьбы со своею страстью. И тут перед глазами зрителей действует волшебство, являются амуры, сильфиды, нимфы, сатиры.

Скоро, однако, Державин захотел испытать свои силы и в трагедии. На это поприще увлек его успех Озерова: он считал для себя возможным достигнуть первенства во всех отраслях

поэзии. 23-го ноября 1804 года была в первый раз представлена трагедия «Эдип в Афинах», и публика, отвыкшая посещать русский театр, приняла ее с таким восторгом, какому давно не было примера. Здесь Екат. Сем. Семенова дебютировала в трагедии. По окончании пьесы зрители единодушно требовали автора, но он уклонился от этой чести. Высшее общество стало ездить на представления «Эдипа». Напечатав пьесу, Озеров посвятил ее Державину при письме, написанном в непомерно хвалебных выражениях; никто еще так не превозносил Державина, как Озеров, «желая принести дань удивления и восторга тому великому гению, который явил себя единственным соперником Ломоносова». «Вдохновенным песням вашей музыки, — говорит трагик, — я обязан живейшими наслаждениями в жизни». Это посвящение вызвало со стороны Державина не менее напыщенное послание; в приложенном письме объяснено, что он замедлил ответом, потому что хотел присоединить к нему и замечания «некоторого общества приятелей, которое, предприяв рассмотреть сие творение, думало приметить несравненные красоты его и некоторые погрешности». Упомянутое здесь общество приятелей состояло, конечно, из последователей Шишкова, сделавшихся несколько лет спустя членами известной Беседы. Естественно, что многое у Озерова не могло им нравиться. Еще более недостатков находили они в его «Дмитрии Донском», представленном в первый раз в начале 1807 года. Свои замечания об этой трагедии Державин открыто высказал при дворе. Он находил между прочим, что этой трагедии недостает исторической верности, и был недоволен тем, что тут без всякого основания Дмитрий Донской выставлен влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинешенька прибыла в стан и, вопреки всем обычаям тогдашнего времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Дмитрию. Это дошло до Озерова. Уже и прежде оскорбленный нападками на «Эдипа», он стал громко приписывать зависти критику поэта, говорил о том даже императрице и прекратил знакомство с Державиным. Тогда-то лирик решился проучить молодого трагика и сам принялся сочинять трагедии. Первая из них носила заглавие «Ирод и Мариамна». Она была предпринята вследствие вызова, с которым Российская академия в конце 1806 года обратилась к русским писателям, приглашая желающих написать трагедию в стихах. Премию составляла сумма в 500 руб., присланная в академию неизвестным. Она присуждена была Хераскову за трагедию «Зореида и Ростислав». Что касается Державина, то он не представил своего труда на конкурс, а напечатал его от себя с посвящением Российской академии. Предварительно он сообщал свою трагедию на просмотр А. С. Хвостову, к которому обратился по этому поводу с посланием.

Вольтер, при издании своей «Мариамны», заметил, что богатый сюжет этой трагедии заслуживал бы разработки по более обширному плану, и вот что руководило Державина в избрании им предмета для своего труда. Входить в разбор как этого, так и

остальных драматических сочинений его мы не считаем нужным; суд о них уже произнесен и современниками, и потомством. Мерзляков остроумно называл их «развалинами Державина». Разумеется, что в каждом из них встречаются отдельные места, замечательные то по лирической силе своей, то по счастливой мысли, но вообще они страдают недостатком живости действия, скроены по мерке так называемой ложноклассической драмы; кроме того, язык диалога в них большею частью тяжел и неправилен.

С тех пор, как явилась трагедия «Ирод и Мариамна», драматическая производительность Державина становится изумительною. Вслед за тем он написал трагедии «Евпраксия», «Темный» и «Атабалибо, или Разрушение перуанской империи». Действие «Евпраксии» вращается около героического поступка рязанской княгини, бросившейся из терема с ребенком на руках при виде приближавшегося Батыева войска. Вероятно, поводом к сочинению этой трагедии послужило также приглашение Российской академии, напечатанное в начале 1808 года, в течение которого она была написана. Пресвященный Евгений, получив ее на просмотр и собираясь переписать ее для себя, дал о ней такой отзыв в письме к поэту: «Монологи Евпраксии весьма характерны, и патриотизм разлит во всей трагедии разительнейшими чертами, которые могут пристыдить нас в нынешнее время». При трагедии «Темный» Державин излагает условия, признаваемые им необходимыми в этом роде сочинений; таковы соблюдение единств, любопытная завязка, естественность в ходе действия, нечаянный и поразительный конец. Особенную важность придавал он сохранению исторической истины. «Все действующие лица, — говорит он, — суть не вымышленные, а подлинные исторические и имеют каждое приличные им свойства». Вообще он хвалился соблюдением исторической верности в своих трагедиях. «Атабалибо», вероятно, плод чтения «Инков» Мармонтеля и «Гишпанцев в Перу» Коцебу, писалась в последнее время жизни Державина и осталась неоконченною. По словам Аксакова, который читал ее вслух в его доме, «эта трагедия с хорами и великолепным, неисполнимым на сцене спектаклем, была любимым произведением Державина».

После четырех названных трагедий он успел в немногие годы написать еще оперы: «Иоанн Грозный, или Покорение Казани», «Дурочка умнее умных» и «Рудокопы», последние две в народном вкусе. Возвращение его от трагедий к опере объясняется тем высоким понятием, какое он имел об этом последнем роде как венце искусства. Он мечтал о возможности придать исторической опере такое же значение, какое у древних греков имела трагедия с хорами, и действовать посредством ее на возбуждение патриотизма. Екатерина II, по его мнению, вполне понимала превосходство оперы и ее воспитательное значение. «Мы видели и слышали, — говорит он, — какое действие имело героическое музыкальное представление, сочиненное ею в военное время под

названием «Начальное правление Олега». В этих-то мыслях он написал в 1814 году оперу «Грозный». Зрелище покорения Казанского царства, казалось ему, подходило к обстоятельствам России после торжества над Наполеоном; французам сравнивал он с кровожадными татарскими ордами, а вожда их уподоблял волшебнику, который более обманом и обаянием, нежели истинным искусством, хотел устрашить своих соперников.

Но и этим еще не ограничивалась деятельность Державина в области драматической поэзии; в то же время он успел перевести в стихах «Федру» Расина, также несколько опер из Метастазиио, одну из де Беллуа и проч. В заключение упомянем и о маленькой комедии-шутке «Кутерьма от Кондратьев», написанной им для своего домашнего театра и основанной на том, что у него было три служителя этого имени, отчего нередко происходили забавные недоразумения. Многие подозревали в этой пьесе затаенный намек на тогдашних министров, которые, по замечанию Державина, не знали своих должностей и кто из них первый.

В пример выдающихся мыслей и метких наблюдений, рассеянных в драмах нашего поэта, приведем из «Евпраксии» несколько стихов, показывающих, как верно он уже понимал одну всеми признанную в наше время черту русского народного характера. Батый говорит своему приближенному, Бурундаю:

О русской храбрости твоя хвала мне тщетна.
Их каменная грудь народам всем приметна;
Россиян победить оружием не можно,
А хитростью, — и я берусь за то не ложно:
Примеры многие я рассказать бы мог.
И самый Святослав погиб в стану врасплох.
Пройдет лишь грозна брань, — веселие их свойство,
Беспечность стихия, пиры и хлебосольство.
Средь мира брань ковать у них заботы нет.
Сколь крат незапно им нанес союзник вред!

К сожалению, этот же отрывок может служить образчиком дурного языка и однообразного размера трагедий Державина. О том, как сам он между тем высоко ценил свои драматические сочинения, нам достаточно известно из рассказов С. Т. Аксакова. Из переписки поэта мы знаем также, что он любил рассылать их в рукописи своим друзьям и почитателям: Дмитриеву, Карамзину, Капнисту, А. С. Хвостову, Евгению Болховитинову. Особенно дорожа советами знаменитого актера И. А. Дмитревского, он и ему сообщал на просмотр свои тетради. При чтении их тот отмечал на полях места, требовавшие объяснений. Эти заметки очень тревожили Державина, и когда Дмитревский, возвращая ему рукопись, в присутствии его перевертывал листы, то поэт с беспокойством заглядывал вперед и пробегал глазами страницы. Видя это, уклончивый старик говорил ему: «Ваше высокопревосходительство, будьте совершенно спокойны: эти замечания делаю я не для вас, но, вы знаете, на театре все-

гда бывают прощелыги, готовые придираются к авторам: от них-то я хочу предостеречь вас». К числу литераторов, к которым Державин обращался со своими драматическими трудами, принадлежали, еще молодые в то время люди, Гнедич и П. А. Корсаков (впоследствии издатель «Маяка» и переводчик с голландского). Первый в 1810 г. читал у Державина перед собранием гостей его перевод расиновой «Федры», а последний, по его поручению, позднее (1813) сличал этот перевод с подлинником и указал ему места, требовавшие изменений. Вскоре после издания четырех томов своих стихотворений Державин думал уже и о напечатании трагедий «Ирод и Мариамна», «Евпраксия» и «Федра». Выше мы видели, что первая была действительно издана при жизни поэта; другие же остались не напечатанными. Об издании их переписывался он в 1809 г. с известным московским издателем Бекетовым, который отвечал ему, что «поставит себе за честь и удовольствие напечатать их в своей типографии» и просил заказать хорошие рисунки для гравирования заглавных листов. Дело, однако, на том и остановилось.

Желание Державина видеть свои трагедии поставленными на сцену далеко не осуществилось. Единственная его пьеса, игранная на петербургском театре, была «Ирод и Мариамна». Сомневаясь, чтобы она могла иметь успех, князь Шаховской, тогдашний директор театра, долго не соглашался принять ее, отзываясь автору недостатком денег для постановки его произведения с надлежащим блеском. Наконец, однако, он согласился, и 23 ноября 1808 года трагедия Державина была представлена с хорами, положенными на музыку Давыдовым. Главные роли, Ирода и Мариамны, были исполнены Яковлевым и Каратыгиною. Благодаря этим двум талантам успех превзошел все ожидания, и представление повторено несколько раз. Кн. Шаховской был тем более доволен, что ученица его Валберхова, игравшая Соломию, была хорошо принята публикою. По рассказу Жихарева, Державину очень хотелось видеть на сцене и «Евпраксию»; чтобы заставить князя Шаховского принять пьесу, он вызывался даже взять на себя издержки ее постановки. Шаховской, боясь неудачи, упорствовал, но наконец уступил убеждениям Дмитриевского, с тем однако, чтобы в трагедии сделаны были некоторые изменения и сокращения. Державин соглашался на это; но Дмитриевский, опасаясь, что пьеса все-таки не будет иметь успеха на театре, объяснил автору, что ему выгоднее поставить ее у себя дома, так как тогда декорации и костюмы останутся в его руках. Державин послушался этого совета.

У него в доме была зала, устроенная для домашнего театра, где, конечно, и игрались некоторые из его пьес. Следы того мы находим в его переписке: так в августе 1815 года он из Званки сносился с родными, бывшими в Петербурге, о приготовлениях к представлению на домашнем его театре оперы Метастазиио «Титово милосердие» в сделанном им русском переводе. В том же году молодые любители из круга его знакомых готовились

сыграть «Евпраксию» у Н. И. Ахвердова, жившего в Михайловском замке, но спектакль почему-то не состоялся.

5. Переписка с преосвященным Евгением и автобиография

Говоря о литературных связях Державина в рассматриваемое время, мы не коснулись его знакомства с преосвященным Евгением Болховитиновым, потому что оно имело совершенно особенный характер и подало повод к переписке, которая заслуживает отдельного очерка. В начале 1804 года Евгений, назначенный старорусским епископом и новгородским викарием, переселился из Петербурга в Хутынский монастырь, лежащий на Волхове верстах в 10-ти от Новгорода, и таким образом сделался соседом званского помещика; они познакомились в следующем году. Поводом к их сближению было то, что ученый святитель, интересуясь особенно историею литературы, занимался составлением словаря писателей и, имея надобность в сведениях о Державине, пожелал лично с ним познакомиться. Посредником в этом деле послужил ему граф Хвостов, который с 1799 до начала 1803 г. был обер-прокурором св. синода, следовательно, давно пользовался знакомством Евгения, и притом сам также собирал материалы для словаря писателей.

В мае 1805 года он получил от преосвященного письмо, содержавшее между прочим следующие строки: «Вам коротко знаком Г. Р. Державин. А у меня нет ни малейших черт его жизни. Буква же Д близко. Напишите, сделайте милость, к нему и попросите его именем всех литераторов, почитающих его, чтобы вам сообщил записки: 1) которого года, месяца и числа он родился и где, а также нечто хотя о родителях его, 2) где воспитывался и чему учился, 3) хотя самое краткое начертание его службы, 4) с которого года начал писать и издавать сочинения свои и которое из них было самое первое. 5) не сообщит ли каких о себе и анекдотов, до литературы касающихся? Он живет теперь от Новгорода верстах в тридцати, но никогда сюда не ездит и мне незнаком».

О том, что поэт живет в соседстве его, Евгений незадолго перед тем узнал от Хвостова же, который писал к нему: «Заезжайте к барду». Не догадываясь, кого под этим именем должно разуметь, преосвященный отвечал, что в тамошних лесах только кукушки и филины, а барда нет. Когда же дело разъяснилось, и Евгений изъявил желание сблизиться с поэтом, то Хвостов тотчас же послал ученому святителю рекомендательное письмо к Державину, которого оно должно было предупредить о новом знакомстве. 24-го мая Евгений отвечал: «Письмо к Державину еще не успел я доставить. Ищу вернее случаев». Наконец это письмо дошло по назначению. Гаврила Романович отвечал гр. Хвостову: «Сейчас получил письмо вашего сият. от 15 текущего месяца. Усерднейше за оное благодарю. Из него я ви-

жу, что преосв. Евгений Новгородский требует моей биографии. Охотно желаю познакомиться с сим почтенным архипастырем. Буду к нему писать и попрошу его к себе. Чрез 30 верст, может быть, и удостоит посетить меня в моей хижине. Тогда переговорю с ним о сей материи лично; ибо не весьма ловко самому о себе класть на бумагу, а особливо некоторые анекдоты, в жизни моей случившиеся».

Вскоре после того преосвященный начал посещать Званку. «На прошедшей неделе, — писал он 29 июня 1805 г., — ездил к Гавриле Романовичу, но не застал его дома. Он был в Петербурге». Потом 20 июля: «К Гавриле Романовичу я на сих днях опять еду». Наконец, письмо Евгения к гр. Хвостову от 22 августа почти все наполнено воспоминаниями о первом знакомстве с поэтом. Выписываем здесь все это письмо:

«На прошедшей почте я писал к вам, а теперь пишу для того только, чтобы уведомить вас, что я ездил к Гавриле Романовичу в другой раз и, застав дома, препроводил с отменным удовольствием время, целые сутки. Начитался, наговорился и получил еще надежду впредь пользоваться знакомством нашего Горакия; слышал собственными ушами тысячи эх, около его живущих, и теперь только понял, что такое в его сочинениях значит *грохочет эхо*. Подлинно, может быть, из всей России в одной его только деревне этот чудной феномен природы, которому, не слышав, трудно поверить. Почтенный пиит на сих днях обещался и меня посетить в Хутыне; и всем этим я обязан вам, любезный граф! Итак, благодарю от чувствительного сердца. Не с пустыми также руками выехал я от нового моего знаконца. Он препоручил мне переслать к вашему сият. прилагаемую при сем его эпиграмму в ответ зоилу Брусилову, напечатавшему в мае месяце «Журнала российской словесности» презрительную на него эпиграмму. Но не велел Гаврила Ром. подписывать под сим ответом имени его. Всяк узнает сочинителя».

Со своей стороны и Евгений произвел на Державина самое благоприятное впечатление. Польщенный его желанием, поэт поспешил доставить ему свою биографию и в конце августа лично отдал ему визит. 30 сентября преосвященный писал к гр. Хвостову: «Я убедил Гаврилу Романовича (который был у меня в Хутыне 24 августа и ночевал), чтобы он написал хотя краткую поэму о Новгороде, и он обещал это исполнить в Петербурге, где он теперь уже и находится. Похваюсь вам, что он прислал мне самую обстоятельнейшую свою биографию и пространные примечания на случаи и на все намеки своих од. Это драгоценнейшее сокровище для русской литературы. Но теперь еще и на свет показать их нельзя. Ибо много живых витязей его намеков. Я также присоветовал ему напечатать самое дешевое издание своих од. А он, кроме того, готовит самое великолепнейшее издание в 6 частях с виньетами всех своих сочинений».

Приспособив автобиографическую записку Державина к своему словарю, Евгений передал ее на просмотр автору, как видно

из следующих слов его письма к Хвостову от 17 января 1806 г.: «В дополнение к Марту пришло статью о Державине, которому самому отдал я ее на рассмотрение, но от него не получал». Наконец, 13-го февраля преосвященный так уведомлял издателя «Друга просвещения» о скорой присылке этой статьи: «На следующей почте отправлю к Бантыш-Каменскому «Биографию Державина», у него самого в кабинете правленую и всеми мелочами распространенную. Но он требует, чтобы все это напечатано было. Сделаем удовольствие почтенному нашему Горадию. Эпиктитова и глиняная лампадка у потомства сделалась в великой цене. А биография не история и терпит всякие мелочи описываемых лиц».

Так начались дружеские сношения между Евгением и Державиным. В последующие годы поэт посвятил иерарху несколько стихотворений. Из них самое замечательное и обширное — «Жизнь званская», написанное в 1807 г.; здесь стареющий уже лирик явился не без отблесков прежнего таланта в оригинальной картине своего любимого местопребывания, тамошних удовольствий, занятий и размышлений. В глубине светлых образов сельского быта лежит в пьесе Державина тихая грусть, вынесенная им из долгого опыта жизни и выражающаяся то мрачным мировоззрением, то унылым воспоминанием или предчувствием. В позднюю осень того же года, печально озаменованного Тильзитским миром, Евгений в письме к Державину приводит одно место из этой пьесы, говоря: «Декларация о разрыве с Англиею дошла и до нас. Тут припоминаю я ваш стих:

Иль в зеркало времен, качая головой,
 На страсти, на дела зрю древних, новых веков,
 Не видя ничего, кроме любви одной
 К себе — и драки человек».

Вскоре после того как написано было это элегическое стихотворение, Евгений в июле 1807 года опять посетил сельскую обитель гостеприимного поэта, и в доме Державина нарисован был для ученого друга его вид Званки. Этот рисунок, посланный в Хутынь с написанным на нем четверостишием вызвал поэтическое приветствие и со стороны преосвященного.

Первое известное нам письмо Евгения к Державину относится к осени 1805 года. Оно писано 4-го октября из Новгорода в Петербург. Оба писателя только что возвратились на зиму в город. Как в этом, так и в следующих своих письмах ученый является наставником поэта в истории и литературе. Здесь он отвечает на письмо, к которому поэт приложил «Марфу Посадницу» Карамзина. Преосвященный уясняет его сведения о двух новгородских побиошцах, в 1471 и в 1570 г., и предлагает прислать ему описание их из печатавшейся в то время «Истории русской церкви», соч. Платона. Из этого можно заключить, что Державин, по совету Евгения, действительно задумал было поэму из новгород-

ской истории. После он отказался, однако, от этой мысли и удовольствовался тем, что написал «балладу» «Новгородский волхв Злогор».

Другое дошедшее до нас письмо святителя к поэту писано ровно через два года после первого, именно 4 октября 1807 г. Державин около этого времени опять предпринял большой стихотворный труд. Это было послание к великой княжне Екатерине Павловне «о покровительстве отечественному слову». Из отделанного им начала этого послания видно, что он намеревался написать в такой форме род дидактической поэмы, которая должна была изобразить значение словесности, поэзии и покровительства им со стороны сильных. Державин, приступив к историческому изучению своего предмета, просил Евгения помочь ему в этом. Пресвященный составил для него две записки, одну об ученых и о покровителях их как в Европе, так и в Аравии, а другую о русских меценатах от Владимира Св. до боярина Ртищева. Кроме того, он указал поэту на «Исторический словарь», изданный в русском переводе в Москве в конце прошлого и в начале нынешнего столетия, и приложил, в переводе же, книжку Баррохия о римских писателях разных эпох. Эту книжку послал он в подарок Державину для его библиотеки, «ибо, — говорил он, — она у меня лишняя...» «Если что и за сим нужно, — прибавлял Евгений, — то извольте требовать от меня. Я готов делать все в угоду вашу».

Вскоре Державин доставил ему уже готовое начало своего нового труда. «Начало эпистолы вашей, — отвечал Евгений, — я с отменным удовольствием прочитал. Материя обширна и доставит на целую поэму. По моему мнению, более надобно распространиться над отечественною словесностью, а иностранщину зацепить вскользь, яко общий только пример. Простите еще откровенности моей — стихи в эпистоле должны быть сколько можно простее, плавнее и без затруднительной для смысла перестановки слов. В оде фразеологический слог производится парением мыслей, а эпистола есть дружеская, откровенная беседа. Впрочем, не испортят эпистолы и такие высокие, разительные стихи, каков например:

Коснулся тме — и тма бысть образ всей вселенной».

В первой записке Евгения были упомянуты цветочные игры (jeux floraux). Вероятно, Державин, получив ее, просил объяснения этого названия, потому что вместе с приведенным отзывом об эпистоле пресвященный послал ему записку о цветочных играх. «Тут, — говорит он, — о происхождении оных два мнения, и хотя первое достовернее, но для эпистолы вашей второе приличнее кажется. А стихотворцу нет нужды строго держаться исторической истины. Описание сих игр будет прекрасною картиною под вашим пером, и этот пример покровительства и одобрения поэзии можно выставить разительнее всех прочих».

Прошло более полутора лет. 8-го июля 1809 Евгений пишет из Вологды, куда он за год перед тем переведен был: «Почтеннейшее письмо вашего высокопревосходительства от 6 июня из достопамятной Званки получил я. Вы опять в соседстве с бессмертным эхом, которое, верно, в первый день вашего приезда проснулось от зимнего сна». Евгений, говорит Державин, любил слушать на Званке эхо от пушечных выстрелов, несколько раз отдававшееся по лесам волховских берегов. В письме, которого начало мы сейчас сообщили, Евгений приводит далее описание эха из Овидиевых «Превращений» и прибавляет: «Званское эхо также может упрекать своего любимого барда, не пропевшего ему ни одного приветливого стихка. Нарцисс у Овидия был, по крайней мере, приветливее». Следствием этого вызова было новое стихотворение Державина «Эхо» (1811 г.), опять посвященное Евгению, к которому он здесь обращается со словами:

О мой Евгений! Коль Нарциссом
Тобой я чтусь, — скалой мне будь,
И как покроюсь кипарисом,
О мне твердить не позабудь,
Пусть лирой я, а ты трубою
Играя, будем жить с тобою...

Между тем поэт во время пребывания преосвященного в Вологде в 1809 г. сообщил ему в рукописи свою недавно оконченную трагедию «Евпраксию». Отзыв Евгения об этом труде уже приведен нами выше. «Желательно, — говорил он тут же, — со временем прочитать бы и «Василия Темного», трагедию. Вашему высокопревосходительству от всех предоставлено титуло российского Горация. Для чего же не подражать ему и во всем, т. е. попытаться бы и в эпистолах, и в сатире, дабы и в сем не уступить римскому певцу? В надежде вашего в.-пр. милостивого ко мне расположения пишу я столь откровенно. А притом я усерднейший желатель распространения славы вашей». Заметим, впрочем, что через несколько лет преосвященный отступил от выраженного тут взгляда. Разбирая одно место «Рассуждения Державина о лирической поэзии», он в 1815 году говорил ему: «Когда читатели приравнивают новых писателей к древним классикам, то не всегда справедливо. Так, наприм., очень опрометчиво поспешили назвать Сумарокова Расином, а Хераскова Виргилием, хотя и никто не спорит, что первый состоит в классе трагиков, а последний в классе эпиков. Можно даже быть и лириком, и эпиком, и трагиком превосходным с другим гением, не похожим ни на Пиндара и проч., ни на Расина, ни на Виргилия. Может быть, и из похожих на них явятся гораздо лучшие их...» Мысль, кажется нам, совершенно справедливая, но за нею следует другая, о которой никак нельзя сказать того же: «...так как Виргилий, подражая Гомеру, превзошел его, ибо совершенство беспредельно».

За 1810, 11 и 12 годы не осталось ничего из переписки обоих писателей. Но от 1813 сохранилось письмо Державина, касающееся известного исследования преосвященного о так называемой Юрьевской грамоте 12-го века. Последующие письма Евгения относятся к 1815 году, когда он был епископом калужским; здесь рассматривается уже «Рассуждение Державина о лирической поэзии», читанное автором в собраниях Беседы любителей русского слова. Отказавшись от мысли продолжать свое большое послание, маститый поэт воспользовался некоторыми из полученных от Евгения сведениями для нового теоретического труда своего. «Рассуждение о лирической поэзии» было сообщаемо ученому епископу как в рукописи, так и в печати и вызывало с его стороны целые тетради заметок, которые составляют любопытное дополнение к труду Державина. Здесь мы знакомимся со многими литературными взглядами Евгения. Так, например, Державин с пренебрежением отозвался о разделении лирической поэзии на разные виды. На это Евгений возразил ему: «Советую вам не вооружаться против сего разделения поэзии. Оно не школярное, а коренное греческое, как увидите из прилагаемой при сем выписки из Руссова музыкального словаря. Сие разделение по песнопевцам вовсе не годится, потому что 1) все авторы писали в разных родах и во многих примерно; 2) ни один автор не был совершен и не выполнил всех тех правил, какие могут быть предписаны в классификации стихотворений по материям. Гораций говорит и о Гомере, что *он иногда дремлет*. А по вашему разделению и дремота Гомерова, и частые отступления Пиндаровы, и срамословие Горациево будут образцами» и т. д. Надо согласиться, что в этом случае более верное понимание дела было на стороне Державина, который и прежде не любил школьных правил и произвольных разграничений, а теперь тем более признавал их в области поэзии, что уже чувствовал в ней присутствие новых веяний.

В феврале 1816 года Евгений переведен был во Псков и пожалован в сан архиепископа. Литературная переписка обоих друзей не прекращалась до самой смерти Державина.

Хотя и не все замечания ученого корреспондента его, иногда довольно резкие, нравились поэту, как сам он откровенно сознавался в своих письмах, однако он принимал их с благодарностью, и Евгений, посылая ему заметку о славяно-русских лириках, говорил: «Из письма вашего я вижу, что для вас приятнее критика, нежели похвалы льстивые. Гораций и Боало советовали также слушать больше первых, нежели последних. Еще скажу вам, что в сочинении вашем часто слог слишком отрывен и инде нет связи мыслей и замечаний. Нужно сии места посвящать, а линеечки (тиреты) многие выключить».

Как бескорыстно Евгений помогал Державину в его труде, о том свидетельствует следующее замечание преосвященного на одно место рукописи «Рассуждения о лирической поэзии»: «Ссылку на меня покорно прошу выключить. Вы сами в числе знаменитейших классических наших писателей, на коих нам

должно ссылаться. Притом русские материи должны быть известны всякому русскому писателю самому, а не по ссылке на соотечественников. В иностранных материях только это простиительно». Впрочем, могла быть и другая причина видимой скромности Евгения: может быть, он не желал брать на себя доли ответственности в сочинении, которое не имело вполне ученого характера и где он мог не сочувствовать многому.

Несмотря на некоторое разномыслие в литературных вопросах, дружба обоих писателей с годами принимала все более задушевный характер. Незадолго перед своею смертью Державин отправил к Евгению только что отпечатанный 5-й том своих сочинений и другие подарки. Преосвященный благодарил письмом из Пскова от 2 июля 1816 г., дошедшим до Державина едва ли не накануне смерти его.

«На прошлой неделе, — писал он, — с новгородскою почтою получил я посылку без письма с 5-юю частью ваших сочинений, теплыми сапогами и штукою ткани. По книге заключаю, что это от вашего высокопревосходительства, и потому покорнейше благодарю. Вы согреваете меня и благосклонностью вашею, и подарками. В фигурных сапогах и я буду подобен киргизкайсацкому мурзе. Но в новоизданной вашей части я не нахожу еще многих мне знакомых ваших стихотворений и прекрасного опыта о лирической поэзии. Разве готовится еще 6-ая часть. Хорошо, что вы сами при жизни издаете. После нас издатели иногда портят сочинения, всяк по-своему».

Таковы были дружеские сношения между двумя разнородными во всех отношениях представителями тогдашней литературы. В приведенных отрывках из их переписки отраднo видеть, как оба они искренно уважают и ценят друг друга: ученый архипастырь благоговееет перед оригинальным талантом знаменитого лирика, а этот, сознавая его превосходство в науке и образовании, с доверием и благодарностью принимает его наставления и пользуется ими. Это были две высоко развитые личности, вполне русские люди, сошедшие совершенно различными путями в любви к литературе, но тем не менее взаимно признававшие заслуги друг в друге, с любовью делившие приобретенные трудом и опыта жизни.

Из переписки Державина и из предисловий его к своим сочинениям известно, что он для объяснения в них множества намеков на современные лица и события давно признавал необходимым составить к ним исторические примечания. Пример тому он видел в изданиях некоторых немецких писателей, например, Гагедорна. Серьезное начало осуществлению этой мысли он положил в 1805 году вследствие просьбы преосвященного Евгения. Спустя четыре года он, по поводу вышедшего перед тем нового издания своих сочинений, продиктовал другой, более подробный комментарий к своим стихотворениям в том порядке, как они были тогда напечатаны. Это происходило на Званке в течение летних месяцев 1809 и 1810 годов. Секретарем ему при этом служила двадцатилетняя в то время племянница его Елизавета

Николаевна Львова, вскоре после того вышедшая замуж за родственника своего, Федора Петровича Львова.

Таким образом составились два комментария к сочинениям Державина. Первая редакция, оставшаяся в руках Евгения, была передана им по смерти поэта Остолопову, служившему под начальством Державина, когда он был министром, а потом находившемуся на службе в Вологде, где Евгений занимал тогда епископскую кафедру. В 1821 году Остолопов, сделав в этом комментарии разные изменения, издал его от своего имени под заглавием «Ключ к сочинениям Державина». Евгений был недоволен этим изданием, как свидетельствует о том Анастасевич, которому преосвященный позволил снять точную копию с подлинной рукописи поэта. Вторая редакция комментария, названная «Объяснения к сочинениям Державина» и писанная г-жою Львовой, была издана в 1834 году также с изменениями как в расположении ее, так и в содержании мужем этой дамы в применении к смирдинскому изданию сочинений Державина. На этот комментарий сам поэт смотрел как на некоторый отчет в своей литературной деятельности.

После выхода Державина в отставку Капнист советовал ему приняться за составление своей автобиографии. Поэт тем охотнее ухватился за эту мысль, что в исполнении ее видел способ оправдаться перед потомством в тех невзгодах, которые часто постигали его во все продолжение его службы и особенно в последний период ее. Находя, что он в своих «Объяснениях» уже достаточно коснулся одной стороны своей жизни, он хотел отдельно описать другую, т. е. служебную, и изложению ее посвятил в 1812 году свои «Записки».

Эти записки, как уже было нами замечено, дошли до нас в том самом виде, как они вылились из-под пера Державина при поспешной черновой редакции, со всеми погрешностями и неисправностями горячей первоначальной работы. Вот что необходимо иметь в виду при оценке его записок, и что не было принято в соображение нашею критикой при появлении их в 1859 году в московском журнале «Русская беседа». Писав их под впечатлением еще довольно свежих воспоминаний об испытанных им неудачах и неприятностях, Державин часто пристрастен в оценке людей и событий, и не только не хвалит почти никого из тех, с кем имел дело, но, напротив, произносит им весьма строгие и не всегда справедливые приговоры. Но зато он передает с большою искренностью и откровенностью все, что припоминает. Правда, что у него пропущены некоторые обстоятельства, по которым желательно было бы иметь разъяснение, но этого нельзя приписывать намерению: он писал свои воспоминания прямо набело, без всяких приготовлений и справок, и потому касался только того, что оставило в нем наиболее сильные впечатления. Но, ошибаясь в своих суждениях о людях и делах, он замечательно правдив в изложении фактов, и с этой стороны записки его составляют весьма важный и ценный материал для истории его времени. Проверка по архивным документам множества упо-

минаемых им случаев и обстоятельств вполне убедила нас в достоверности его рассказов. Но Державин внезапно явился в них среди русского общества второй половиной истекающего столетия человеком другого времени, с понятиями и взглядами, часто совершенно противоположными тем, которые именно в ту минуту пробудились с особенною силой, — явился притом с речью устарелою, тяжелою. Поэтому он своими записками, естественно, произвел на наших современников впечатление крайне неблагоприятное. Чтобы оценить хорошие стороны этих записок, необходимо было отрешиться от злобы дня, стать твердо на исключительно историческую точку зрения и простить автору многое ради великих заслуг, которых нельзя отрицать в его жизни и деятельности.

Через несколько лет после записок Державина вышли в свет (в 1866 г.) записки столь близкого к нему некогда Дмитриева. Они во многих отношениях представляют резкую противоположность с первыми; но и им не посчастливилось: по крайней мере журнальная критика встретила их с холодной строгостью. Дмитриев писал их чрезвычайно осторожно, обдуманно, несколько раз переделывал и сокращал, боялся оскорбить своими суждениями чью-либо память. Оттого его записки слишком коротки, слишком многого недоговаривают и несколько сухи. По остроумному замечанию князя Вяземского, Дмитриев писал их в мундире. Если так, то про Державина можно сказать, что он в своих записках является нараспашку. Этим характеризуются, конечно, их недостатки, но, с другой стороны, составленные таким образом записки имеют для разъяснения событий свои неотъемлемые преимущества.

6. Беседа любителей русского слова и «Арзамас»

По смерти Н. А. Львова в конце 1803 года около Державина образуется мало-помалу новый литературный кружок. Уже через год он в письме к Озерову упоминает об обществе приятелей, которое намеревалось рассмотреть трагедию «Эдип в Афинах». В конце 1805 года он пишет Дмитриеву, что похвальное слово Павла Львова Пожарскому и Минину читано было «в собрании авторов», которое одной серединой этого сочинения занималось от 7 часов вечера до часу ночи. Шишков в своих записках также упоминает о подобных собраниях, начавшихся, по-видимому, еще ранее; в них, кроме его самого, принимали участие Державин, М. Н. Муравьев, А. С. Хвостов и некоторые другие любители литературы.

В январе 1807 года молодой Жихарев, недавно приехавший в Петербург и посещавший этот кружок, записал в своем дневнике, что когда Державин представил его Шишкову, то этот «очень долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, в которые бы допускались и приглаша-

лись молодые литераторы для чтения своих произведений, и предлагал Гавриле Романовичу назначить вместе с ним попеременно, хотя по одному разу в неделю, литературные вечера, обещая склонить к тому же А. С. Хвостова и сенатора И. С. Захарова, которых дома и образ жизни представляли наиболее к тому удобств. Державин чрезвычайно обрадовался этой идее и прислал Шишкова как можно скорее устроить это дело».

Литературные вечера тогда же назначены были по субботам и должны были происходить поочередно у названных лиц; первая суббота и была у Шишкова 2 февраля 1807 года. Вот, собственно, отдаленное начало будущей Беседы. Все литераторы, представленные хозяину дома, имели право на этих вечерах читать свои труды, но кроме того положено было приглашать тех, которые каким-нибудь сочинением уже обратили на себя внимание, так как одною из главных целей этих собраний было приводить в известность наиболее замечательные произведения текущей литературы. Начавшиеся с этих пор собрания описаны подробно Жихаревым, который находился под особым покровительством Державина и иногда приезжал вместе с ним. На первом вечере у Шишкова собралось около 20 человек; тут были: Державин, Захаров, А. С. Хвостов, Карабанов, кн. Шихматов, Крылов, кн. Горчаков, флигель-адъютант Кикин, полковник Писарев, Лабзин, Тимковский, Павел Львов, молодой Корсаков, Язвицкий и Галинковский. Сначала долго рассуждали о кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау, о котором известие пришло накануне. Наконец Державин, задумчиво ходивший взад и вперед по гостиной, напомнил, что пора бы и к делу приступить, и все уселись по местам. Между прочим прослушан был привезенный Державиным «Гимн кротости». Читал его Жихарев; похвалам не было конца. Тут же Крылов прочитал свою басню «Крестьянин и смерть».

Второй вечер был у Державина, и по его желанию Жихарев прочел его новые стихи «На выступление в поход гвардии», хотя и очень не полюбившиеся чтецу. Поэма князя Шихматова «Пожарский, Минин и Гермоген», читанная Шишковым, поражала слушателей множеством прекрасных стихов и богатством рифм, в которых автор тщательно избегал употребления глаголов. Чтения закончил после ужина известный своим остроумием флигель-адъютант Марин, только что приехавший с известием, что государь скоро отправляется в армию: он прочел стоя свои стихи на современные события. Крылов, который перед тем с лукавой улыбкой прислушивался к спору о том, что лучше: *драгая* или *дорогая*, не прочел ничего, как его ни просили, — извиняясь, что нового не написал, а старое читать не стоит.

Вечер у Захарова не похож был на литературный: тут были сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий столицы Вязмитинов, приглашенный, впрочем, как автор изданной им когда-то оперетки и отличавшийся необыкновенной любезностью. Державин долго и с жаром разговаривал с двумя сенаторами и потом, живо обратясь к обер-прокурору По-

литковскому, вдруг спросил его: «Да за что ж, Гаврила Герасимович, вы мучите человека? Вот я сейчас просил Дмитрия Ивановича (Хвостова) и князя (Салагова) поскорее кончить дело этого несчастного Ананьевского: они ссылаются на вас, что вы предложили потребовать еще какие-то новые от палат справки, но ведь справки были давно собраны все; если же нет, то зачем не потребовали их в свое время?» Политковский извинялся, уверяя, что дело Ананьевского скоро кончено будет. — «Кончено будет! — возразил Гаврила Романович. — Но покамест он и с детьми может умереть с голоду». — «Мне стало понятно, — заключает Жихарев, — отчего многие не любят Державина».

Во время одного из чтений некоторые стихи подали повод к замечаниям о словах, вроде того, что нельзя сказать *деревня милая*, так как этот эпитет будто бы может прилагаться только к одушевленным предметам. Слушая такие умные рассуждения, Державин на какой-то вопрос одного из своих соседей отвечал: «Так себе, переливают из пустого в порожнее».

У графа Хвостова Гнедич, явившийся в первый раз на таком вечере, читал свой перевод александрийскими стихами 7-й песни Илиады и всех привел в восхищение. В числе слушателей был и Оленин. Через неделю Гнедич же прочел у Шишкова 8-ю песнь Илиады. При этом он так напрягал свой голос, что можно было бояться за его грудь; «еще несколько таких вечеров, — говорит Жихарев, — и он, того и гляди, начитает себе чахотку».

На втором вечере Державина, 23 марта, был между гостями министр народного просвещения гр. Завадовский. Он говорил о войне и о намерениях государя достигнуть общего мира; но сам мало надеялся на осуществление этих планов по ненависти, какую к нам питают западные державы, и их постоянному старанию мешать России в ее внутреннем развитии. В то время много толков возбуждал известный своими подделками древних рукописей Селакадзев. Державин очень интересовался его коллекциями редкостей, и, несмотря на заверения Оленина о их подложности, выражал желание ознакомиться с ними. Это желание было действительно исполнено им, но гораздо позже, именно в 1810 году. Селакадзев жил в Семеновском полку. Однажды Державин, после бывшего у него обеда, отправился туда вместе со своими гостями Шишковым, Мордвиновым, Дмитриевым и Олениным; вперед поехали молодые люди Жихарев и Корсаков, чтобы предупредить мнимого антиквария о приезде важных посетителей. Внимание Державина особенно привлекали так называемые новгородские руны: он сделал из них несколько выписок, которые после и включил в свое «Рассуждение о лирической поэзии».

Последний литературный вечер в эту весну был 4 мая у А. С. Хвостова; тут был между прочим столь известный своими остроумиями и шутками Сергей Лавр. Львов, некогда адъютант Потемкина; он рассказал много забавного из своих воспоминаний: Шишков и Державин хохотали до упаду. Тут же Крылов увлек всех чтением своей новой басни «Пустынник и Медведь». Державин уже собирался в свою Званку и выражал Жихареву на-

мерение заняться на досуге описанием сельской своей жизни, что он потом и исполнил в стихотворении, посвященном Евгению. «Лири мне больше не по силам, — говорил он, — хочу приняться за цевницу». Через несколько дней Жихарев записал в своем дневнике: «Г. Р. уезжает завтра и что-то очень невесел; впрочем, говорили, что он и всегда таков перед отъездом, потому что не любит суеты, неразлучной со сборами в дорогу».

Жихарев вскоре уехал из Петербурга, и мы не имеем сведений о дальнейших собраниях этого литературного круга. Но что они продолжались, видно как из переписки Державина, так и из свидетельства Аксакова в его «Воспоминаниях о Шишкове», у которого, по его словам, в 1809 и 1810 годах собирались литераторы и кое-что читали. Кроме названных прежде лиц, тут стал являться с 1810 г. Дмитриев, назначенный министром; тут бывали и простые любители, как, напр., Н. С. Мордвинов, М. М. Бакунин и граф А. С. Строганов. Иногда собирались и у Державина: в одном письме к Гнедичу он приглашает его на обед, чтобы прочесть «охотникам» перевод расиновой «Федры», а также «что-нибудь из Илиады».

Из этих-то чтений перед небольшим обществом гостей возникла идея публичных литературных собраний, которая и привела к основанию Беседы. По собственному сознанию Шишкова первую мысль обратить домашние собрания в общественные подал «приехавший из Москвы князь Голицын, разумевший более по-французски, нежели по-русски». «Предложение сие нам понравилось», — говорит Шишков. Борьба из-за старого и нового слога продолжалась: понятно, что он рад был создать себе новое орудие против своих противников, становившихся более и более опасными. Главного собеседника нашел он в податливом Державине, который для этой цели радушно открыл залу в своем доме. «Дом Державина, — по замечанию Уварова, — сделался важным двигателем тогдашней литературной деятельности». О постепенном развитии плана учреждения такого литературного общества мы читаем любопытное известие в одном письме Гнедича, который сначала играл в этом кругу какую-то нерешительную роль. Вот что он писал 2-го января 1811 года Капнисту, издеваясь над возникавшим обществом: «У нас заводится названное сначала Ликей, потом Атений, и наконец Беседа — или Общество любителей российской словесности. Это старая Российская академия, переходящая в новое строение; оно есть истинно прекрасная зала, выстроенная Гаврилом Романовичем при доме. Уже куплен им и орган и поставлен на хорах; уже и стулья расставлены, где кому сидеть, и для вас есть стул; только вы не будете сначала понимать языка гг. членов. Чтобы в случае приезда вашего и посещения Беседы не прийти вам в крайнюю конфузию, предуведомляю вас, что слово проза называется у них *говор*, билет — *значок*, номер, — *число*, швейцар — *вестник*; других слов еще не вытвердил, ибо и сам новичок. В зале Беседы будут публичные чтения, где будут *совокупляться знатные особы обоего пола* — подлинное выражение одной статьи устава Беседы».

Право читать в публичных собраниях предоставлялось каждому, хотя бы он и не был членом Беседы. Державин не только предложил для чтений свой дом («затейливый и своеобразный», по выражению Стурдзы), но и принял на себя все расходы, какие по обществу могли понадобиться; для заведения же при нем библиотеки он пожертвовал книг на 3600 руб. Собрания должны были происходить в осеннее и зимнее время по одному разу в месяц, и кроме того предполагалось основать повременное издание, в котором печатались бы и труды посторонних лиц. Беседа должна была состоять из 24-х действительных членов и из член-сотрудников. Для соблюдения порядка в чтениях она разделялась на четыре разряда, каждый с шестью членами, считая и председателя; разряды должны были собираться по очереди. В каждом торжественном заседании, председателю очередного разряда вменялось в обязанность прочесть написанную им главную статью, после чего могли читать и другие, но не иначе как с предварительного одобрения всего общества, и притом с тем, чтобы каждый раз чтения продолжались не более двух или двух с половиною часов. Составленный Шишковым на этих основаниях устав Беседы представлен был через министра народного просвещения, графа Разумовского, на высочайшее утверждение и одобрен государем, причем повелено объявить обществу монаршее благоволение «за сие полезное намерение». Открытие Беседы и первое чтение последовали 14-го марта 1811 года; присутствовало до двухсот лиц обоего пола. Ждали государя, и Державин приготовил на этот случай особый гимн «Сретение Орфеом Солнца», положенный на музыку Бортнянским, но император не приехал.

Состав Беседы при ее основании был следующий:

1-й разряд. Председатель Шишков. Члены: Оленин, Кикин, князь Д. П. Горчаков, князь С. А. Шихматов и Крылов.

2-й разряд. Председатель Державин. Члены: И. М. Муравьев-Апостол, граф Хвостов, Лабзин, Д. О. Баранов и Ф. П. Львов.

3-й разряд. Председатель А. С. Хвостов. Члены: князь Б. Вл. Голицын, кн. Шаховской, Филатов, Марин и П. И. Соколов (секретарь Российской академии).

4-й разряд. Председатель Захаров. Члены: Г. Г. Политковский, Дружинин, Карабанов, Писарев и П. Ю. Львов.

Над председателями во главе каждого разряда были поставлены еще попечители, именно: 1) гр. Завадовский; 2) Н. С. Мордвинов; 3) гр. А. К. Разумовский и 4) И. И. Дмитриев, все министры: три настоящие (2, 3, 4) и один — бывший (1).

В члены-сотрудники избраны были молодые литераторы, подававшие надежды или умевшие снискать расположение старших. Между ними находились В. Ф. Тимковский, А. Е. Ермолаев, Станкевич, Н. И. Ильин, Судовщиков и Корсаков. Князь Вяземский, принадлежавший к противоположному лагерю, презрительно видит в них «род служек и послушников в этом литературном монастыре». Наконец Беседа имела и почетных членов; к числу их принадлежали: преосвященные Евгений и Ам-

вросий; граф А. С. Строганов, Ростопчин, Козодавлев, Сперанский, Магницкий, Уваров и др. высокопоставленные лица; литераторы: Озеров, Капнист, Карамзин, Николев (какое смешение!), актер Дмитриевский и три девицы: княжна Урусова, А. П. Бунина и Волкова.

Через два года состав Беседы представлялся уже в несколько измененном виде. Завадовский умер в 1812 году, и место его занял В. С. Попов; из почетных членов выбыл удаленный из Петербурга Сперанский, заменил его Новосильцев; прибавились имена Сестренцевича и архимандрита Фотия. Между сотрудниками явились также новые лица: Жихарев (впоследствии перешедший из Беседы в «Арзамас»), Греч, Востоков и др.

Станным может показаться, что не только между действительными членами, но и между сотрудниками Беседы не встречается имени Гнедича. Из переписки его с Державиным оказывается, что это было следствием происшедшего между ними недоразумения. В декабре 1810 года Державин, думая что Гнедич уже приглашен Шишковым к участию в Беседе, просил его к себе. Гнедич отговорился нездоровьем; Державин повторил свою просьбу, приглашал его в свой разряд и очень настойчиво советовал не отказываться. Гнедич отвечал, что «нездоровье лишает его удовольствия приехать для переговоров по словесности, ему неизвестных, которые, производясь таким количеством приглашаемых особ, ни его отсутствием не расстроятся, ни его присутствием не получат лучшего успеха». Державин продолжал уговаривать его, представлял, что участвовать в Беседе ему будет нетрудно: «Через три месяца раз прочтеть что-либо, не токмо свое сочинение, но и чужое, кажется нетрудно. Вы познакомитесь с первыми людьми в империи и нигде лучше талантов своих открыть не можете, как тут. Когда повыздоровеете, пожалуйте ко мне; то объяснитесь вам весь порядок, как Атений наш будет действовать. Если вы согласны, то подпишите на приложенной бумаге при 9-м № свое имя и возвратите мне оную с сим же посланным».

Любопытен колкий ответ оскорбленного в своем самолюбии молодого литератора. «Из записки о занятиях второго разряда вижу, — писал Гнедич, — что все гг. составляющие отделение именуются членами; на пакетной надписи наименован я просто сотрудником. — Всякий член общества есть сотрудник оного; но не всякой сотрудник может почестся членом. — Когда общество составляется не по жребию, не по чинам, но по избранию, то и натурально, что всякой избранный смотрит на достоинство места, какое дается ему. Из порядка, каким написаны имена гг. членов 2-го разряда, я заключаю, что они расставляются по чинам. Отдавая всю справедливость и уважение заслугам по службе, я тогда только позволю себе видеть имя свое ниже некоторых господ, после каких внесен я в список, когда дело будет идти о чинах. Так как ваше в.-пр. позволили мне иметь честь именоваться вашим сотрудником, то я, умея ценить честь сию, и прошу позволения видеть себя как в списке гг. членов, так и в

других случаях по бумагам Атеней под именем *член-сотрудник его высокопревосходительства Державина*. Когда ж сие покажется непристойною отличительностью, то я приму на себя обязанность Атеней просто под именем члена, но не сотрудника. — Если ж на это или не дадут согласия гг. члены, или не буду я вправе по моему чину, то в обоих случаях мне ничего не остается, кроме заслуживать еще и лучшее о себе мнение, и больший чин».

До какой степени такая смелость раздражила запальчивого поэта, видно из следующих строк Гнедича, писанных через несколько месяцев после того к Капнисту: «Здесьняя Беседа доблестно подвигается; о некоторых ее подвигах можете читать в «Вестнике Европы», а о прочих пером не написать: Гаврила Романович, съехавшись один раз со мною у князя Бор. Голиц., выгнал меня из дому за то, что я изъявил нежелание быть сотрудником общества. Не подумайте, что сказка, — существонное приключение, заставившее в ту минуту думать, что я зашел в кибитку скифа». Позднее, однако, Гнедич помирился с Беседой, как показывают напечатанные в ее «Чтении» отрывки из его переводов Илиады и переписка его с Уваровым о греческом гекзаметре. К «Арзамасу» он также не примкнул и остался вне обоих обществ. Место, приготовленное для Гнедича в ряду сотрудников Беседы, занял автор комедий Ильин, человек совсем другого закала. На предложение вступить в это звание он отвечал, что глубочайшее почтение побуждает его совершенно «вручить себя» Державину; «членом ли сотрудником быть мне в Беседе, — писал он поэту, — или чем иным, лишь бы только согласно с волею вашего высокопревосходительства; я все то вменяю себе в особливую честь».

Состав Беседы показывает, что в действительные члены ее принимались только люди известного положения и возраста; общий характер ее был бюрократический; кажется, в самом устройстве ее взят был за образец Государственный совет, с 1810 года состоявший из четырех департаментов, отчего и басню Крылова «Квартет» применяют к обоим учреждениям. Вероятнее, однако, что она написана на Беседу, которую баснописец знал не издали и над которой любил подтрунивать так же, как и над родною ее сестрой, Российской академией, осмеянной им в басне «Парнас». Выше, в описании дома Державина, мы упомянули, что для собраний Беседы в нем отведена была зала, или галерея в два света: по словам очевидца, это была «зала средней величины, обставленная желтыми, расписанными под мрамор, красивыми колоннами и казавшаяся еще изящнее при блеске роскошного освещения». Посередине ее стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол, вокруг которого на креслах располагались члены Беседы и участвовавшие в чтениях лица. Вдоль стен были расставлены уступами, для посторонних посетителей, кресла меньшего размера, — «ряды хорошо придуманных сидилиц», говорит Стурдза. Посетители впускались по разосланным наперед билетам. Не только члены, но и гости собирались в

мундирах и орденах, дамы же в бальных платьях. В особенных случаях бывала и музыка с хорами, которые сочинял Бортнянский нарочно для Беседы. В конце января 1812 года в одном из публичных собраний общества присутствовали все члены синода, кроме митрополита (Амвросия Подобедова), который не мог быть по болезни и заранее предупредил о том Державина через синодального обер-прокурора князя А. Н. Голицына. В числе этих духовных лиц был и священник Державин, известный стихотворною полемикой со своим знаменитым однофамильцем. По свидетельству В. И. Панаева, посещавшего Беседу в Великом посту 1816 года, ее торжественные собрания «в полном смысле могли назваться блестящими. Многочисленная публика наполняла ярко освещенную залу. Между государственными сановниками и первенствующими генералами были тут граф Витгенштейн, гр. Сакен, гр. Платов, которого маститый хозяин встретил с каким-то особенным радушием. На последнюю беседу ждали государя. Но когда все заняли свои места, вышел в залу с.-петербургский главнокомандующий, гр. Вязьмитин, и объявил Державину, что государь, занятый полученными из-за границы важными депешами, к сожалению, приехать не может.

Тогда началось чтение, и все вскоре поняли истинную причину отсутствию государя: член Беседы Политковский произнес ему похвальное слово! Не говоря уже о том, что оно было плохим подражанием Плиниева слова Траяну, возможно ли было ожидать, чтобы тот, кто постоянно уклонялся от похвал целого света, согласился выслушать их лицом к лицу от доморощенного оратора, говорившего битый час?»

Публичным собраниям, бывавшим раз в месяц, предшествовали предварительные, частные или домашние заседания. Вот образчик повесток, рассылавшихся к членам перед собраниями. Это черновая своеручная записка Державина: «Беседе публичной любителей российской словесности положено быть в будущей четверг, т. е. сего марта 30 дня, в обычном часу; а перед тем во вторник, т. е. 28 числа в 7 часов после обеда, благоволят гг. председатели и члены собраться в дом Державина для экономического распоряжения: 1) о издержках; 2) какие пьесы кому читать и прочее».

Высокопоставленные лица приглашались иногда особыми именными повестками. Так В. С. Попову 3 января 1814 года послана была следующая записка: «Державин честь имеет известить его в.-пр. В. С. Попова, что назначенное чтение публичное в Беседе любителей русского слова 27 числа минувшего декабря, отмененное по жестокой стуже, ныне вновь назначается в наступающую среду, т. е. сего января 7 числа, в обыкновенном часу после обеда, если стужа не превзойдет выше 17 градусов».

В мае того же года Оленин просил у Державина позволения иметь на другой день в доме его предварительное собрание 1-го разряда для прочтения заготовленных пьес, а через неделю сообщил ему такую же просьбу от имени князя Шихматова.

Статьи и стихи, присылавшиеся в Беседу для публичного чтения, предварительно сообщались членам ее на рассмотрение и с этою целью передавались из одного разряда в другой. В бумагах Державина сохранились замечания, сделанные разными лицами по поводу проходивших через руки их сочинений.

С учреждением Беседы связана была мысль издавать ее чтения за каждое публичное собрание, присоединяя к ним иногда и труды, не читанные в заседаниях. «Чтение в Беседе любителей русского слова» выходило в неопределенные сроки книжками, содержащими от 5 до 9 листов. Первая вышла весной 1811 года, последняя — 19-ая — в апреле 1815-го. Печатаением «Чтения» заведовал Шишков, в отсутствии же его, когда он в качестве статс-секретаря сопровождал государя в его путешествиях, А. С. Хвостов. Печаталось издание тщательно, но весьма не изящно, — на плохой то желтоватой, то синей бумаге. В 1814 году не вышло ни одной книжки его. Когда Шишков в 1813 г., возвратясь из-за границы, занял место президента Российской академии, то Д. В. Дашков писал князю Вяземскому: «Шишков, сделавшись президентом академии, хочет соединить с нею Беседу, а Державину это очень неприятно». Известно, что Беседа еще несколько лет продолжала свое отдельное существование. Заметим мимоходом, что перед тем, по случаю смерти прежнего президента Нартова, тогдашний министр народного просвещения граф А. К. Разумовский предлагал Державину принять на себя временное управление Российской академией, но Державин отказался, ссылаясь на свою старость и привычку проводить летние месяцы в деревне. После взятия Парижа и возвращения императора Александра в Петербург торжественные собрания Беседы утратили большую долю своего прежнего интереса и значения, потому что тогда их уже не оживляло патриотическое чувство, которому Беседа была обязана некоторым блеском в начале своего существования. По словам Вигеля, Шишков утверждал, что самое учреждение ее было делом патриотическим, вызванным необходимостью противодействовать наплыву чужеземных элементов, уже достигшему неблагоприятных размеров.

Это-то направление придало некоторую занимательность и первым книжкам «Чтения в Беседе», вообще отличающегося скудостью и бесцветностью содержания. Большинство статей и стихов, входивших в состав их, доказывает только бездарность авторов и ребяческое отношение к науке и искусству. Патриотическим настроением отличались особенно чтения Шишкова. Первое собрание Беседы открылось его речью о богатстве русского языка и литературы, о любви к отечественному языку как необходимом условии успехов его; способствовать к развитию этой любви — цель учреждения Беседы. Основная мысль речи выражена в следующих словах: «Похвально знать чужие языки, но непохвально оставлять для них свой собственный. Язык есть первейшее достоинство человека, следовательно, свой язык есть первейшее достоинство народа. Без него нет словесности, нет наук, нет просвещения. Но каким средством может процветать и

возвышаться словесность? единственным: когда все вообще любят свой язык, говорят им, читают на нем книги; тогда только рождается в писателях ревность посвящать жизнь свою трудам и учению». Жаль только, что члены Беседы доставили публике слишком мало таких трудов, которые бы могли действительно возбуждать любовь к родному языку и к чтению писанных на нем книг.



Иван Крылов

И. А. Крылов.

Еще сильнее выразилось патриотическое одушевление Шишкова в его «Рассуждении о любви к отечеству», читанном в Беседе осенью 1811 года. Замечательно собственное его признание, что он, написав эту речь, сперва не смел прочесть ее; наслышавшись о преобладании над нами французского двора и грубом чванстве Наполеонова посла Коленкура, а притом зная и неблагоприятие к себе государя, он опасался, чтобы ему «не поставили в какое-нибудь смелое покушение — без воли правительства возбуждать гордость народную», или чтобы толки по поводу этого чтения не увеличили еще царского гнева против автора. «В сем страхе, — говорит он, — потребовал я, чтоб чтение определено было согласием всех четырех разрядов Беседы. Все согла-

сились подписать. День настал. Собрание было многолюдное. Я старался читать вразумительно, ясно». Чтение произвело сильное впечатление; слух о нем дошел до государя и послужил поводом к тому, что Александр, призвав Шишкова к себе, поручил ему написать манифест о рекрутском наборе и затем, назначив его государственным секретарем, взял с собою в путешествие для составления и других подобных воззваний, которые поднимали бы народный дух своим патриотическим тоном и красноречием. Во второй речи своей Шишков говорит, между прочим, о необходимости национального воспитания, — «отечественного, а не чужеземного». К тому же разряду трудов можно отнести чтения Шишкова о Феофане и Кантемире и статью некоего Филатова «о несправедливых суждениях иноплеменных писателей касательно России». В этой статье автор, приведя неблагоприятные отзывы о России Кондильяка и Милло, старается доказать, что она издревле имела законы и словесность, и для этого ссылается на Левека, Болтина и Шлецера. Наконец, в этом отделе чтений особенное внимание обращает на себя письмо архимандрита (впоследствии московского митрополита) Филарета к Оленину «о нравственных причинах успехов наших в отечественной войне». Изложив свои мысли об этих причинах, знаменитый святитель восклицает: «Ныне, благословенная Богом Россия, познай твое величие и не воздремли, сохраняя основания, на которых оно воздвигнуто!»

Вскоре после окончания войн с Наполеоном Греч в основном им «Сыне отечества» заметил, что во второй половине 1812 и первой 1813 года не только не вышло в свет, но и не написано ни одной страницы, которая не имела бы предметом тогдашних происшествий. Говоря это, он, конечно, упустил из виду собрания Беседы, на которых читались по большей части безделки, не имевшие ни малейшего отношения к современности. В той же статье, однако, Греч признает заслугу Беседы в том, что во время застоя нашей литературы, продолжавшегося от 1808 до 1812 г., основатели этого общества позаботились о сближении, посредством его, отечественной литературы с публикою.

«В 1814 году, — замечает он далее, — наших литераторов занимал важный филологический вопрос — о переводе древних поэтов размером подлинника». Разработка этого вопроса происходила в собраниях Беседы и принадлежит к другому направлению, отличающему целый ряд трудов, напечатанных в ее издании. Это направление состояло в изучении древней классической литературы. И. М. Муравьев-Апостол переводил с комментариями Горация, А. С. Хвостов — Саллюстия, Галинковский — Вергилия и Овидия, наконец, Гнедич — Гомера.

В «Чтении Беседы» появилось знаменитое письмо Уварова к Гнедичу о переводе Илиады размером подлинника, и Беседа же служила посредницею в ученом споре, возникшем вследствие этого письма между Уваровым и Капнистом. Тут же находим любопытное доказательство, что гораздо ранее Гнедича другой, менее известный писатель употребил гекзаметр в переводе из

древних: именно Галинковский в переводе Вергилия, причем он в пояснительном вступлении высказал те же мысли, какие мы находим в письме Уварова.

Наконец, особый отдел в «Чтении Беседы» могут составить басни Крылова, которых в восьми книжках помещено не менее 22. Они особенно оживляли собрания в доме Державина и всегда принимались публикою с восторгом. Тут в первый раз читаны были многие из самых знаменитых басен Крылова, например: «Осел и соловей», «Лжец», «Кот и повар», «Демьянова уха», «Щука и кот». Басня «Квартет», написанная вскоре после основания Беседы, в собраниях ее читана не была: тем вероятнее становится догадка о настоящем ее значении. Одна из читанных в Беседе, «Вельможа и философ», очевидно метила в особенности на гр. Хвостова. Вельможа (не Оленин ли?) между прочим говорит мудрецу:

Как это? Что мы ни начнем
Суды ли, общества ль учены заведем,
Ну, не успеем оглянуться,
Как первые невежи тут вотрутся.
Неужли уж от них совсем лекарства нет? —
Не думаю, — сказал мудрец в ответ. —
И с обществами та ж судьба, сказать меж нами,
Как с деревянными домами. —
Как? — Так же! Я вот свой достроил сими днями:
Хозяева еще в него не вобрались,
А уж сверчки давно в нем завелись.

Зная отношения между Крыловым и графом Хвостовым, трудно усомниться в верности нашего предположения, хотя, впрочем, в Беседе было и несколько других членов того же сорта. Известно, что Хвостов, считая себя по таланту ничем не ниже Крылова, не мог равнодушно переносить успехов его и не пропускал случаев мстить ему за колкие насмешки. Уже вскоре после учреждения Беседы он просил у Державина позволения прочесть в предварительном собрании какое-то стихотворение свое «на Обжоркина», без сомнения, разумея под этим именем Крылова. Это было, вероятно, «Послание к Гнедичу», впоследствии напечатанное в собрании сочинений гр. Хвостова. Здесь есть тирада, так начинающаяся:

Обжоркин каждый день для всех твердит одно,
Что вкусный был обед и вкусное вино.

Крылов в кругу литераторов известен был, между прочим, своею слабостью к хорошему столу, почему и Батюшков сказал о нем:

Крылов, забыв житейско море,
Пошел обедать прямо в рай.

Басня «Вельможа и философ», как кажется, и была ответом на пасквиль графа Хвостова.

Другой член Беседы, с которым граф Хвостов жил не в ладах, был родственник и однофамилец его, Александр Семенович, председатель 3-го разряда. Чтобы свести с ним литературные счеты, неутомимый стихотворец написал для чтения в Беседе послание к Стамбулову (А. С. был некогда нашим поверенным в делах при Оттоманской Порте). Но Державин, получив эти стихи, возвратил их автору от имени своего разряда с просьбой «уволить его (Державина) от таких сочинений, где чья-либо уязвляется честь». Вместе с тем он выразил сожаление, что по неосторожности принял и первую его сатирическую пьесу — на Обжоркина; друзьям же своим объяснял он, что послание к Стамбулову «было возвращено не с иным чем, как только чтоб не раздвигать больше вражды между однофамильных стихотворцев». Граф Хвостов так обиделся, что несколько месяцев был в ссоре с Державиным и даже намеревался выйти из Беседы.

Некоторые литераторы, уже пользовавшиеся почетным именем, как напр., названный А. С. Хвостов, также Марин и кн. Горчаков, ничего не прибавили к своей репутации теми немногими статейками и стихами, которые поместили в «Чтении». В послании Марина к М. М. стоит отметить очень ясную выходку против Карамзина:

...Займусь наукою знать самого себя,
И впрямь, что нужды мне в дела других мешаться?
На свете может всяк, чем хочет, заниматься.
Пускай наш Ахалкин стремится в новый путь
И, вздохами свою наполня томну грудь,
Опишет, свойства плакс дав Игорю и Кию,
И добреньких славян, и милую Россию.

Между стихотворениями самого Державина, читанными в Беседе, нет ни одного особенно выдающегося; все это лишь слабые отголоски прежней его лиры. В это время он занимался преимущественно своим «Рассуждением о лирической поэзии», которое и печаталось постепенно в «Чтении», но осталось неоконченным. Знаменитый лирик на склоне дней как будто захотел раскрыть современникам и потомству тайну своего творчества, объяснить правила, которым следовал в поэзии. Подобные труды по теории литературы и вообще искусства были в духе того времени. Это была эпоха господства эстетики, наступившая перед началом нового периода поэзии. Сам Державин имел как бы предчувствие этого периода, ознаменованного освобождением от школьных форм. В этом-то настроении и он уже говорил в письме к Евгению: «Педантские разделы лирических стихотворений я не очень уважаю, но чтобы не поднять всю араву школ на себя, несколько только касаюсь». Мы уже прежде упомянули о его мысли делить поэзию по особенностям ее представителей: «у каждого гения есть своя собственность», — замечал он; мы привели также возражение Евгения против этой мысли. Прие-

мы, какие престарелый поэт употреблял при составлении своего «Рассуждения», собирая предварительно материалы для него и обрабатывая их, доказывают, что он еще и теперь умел с энергией вести даже непривычный для него труд. Между прочим, он перечитал всего Ломоносова, делая на полях заметки о тех достоинствах, примерами которых могли служить поражавшие его стихи. Справляясь с другими писателями, он хотел быть самостоятельным в своей теории и издевался над «правилами нынешней модной эстетики». По мере того как писалось его «Рассуждение», он посылал свою рукопись на просмотр Евгению и по его замечаниям исправлял или дополнял ее, не всегда, однако, безусловно принимая его указания. Так однажды он отвечал на критику Евгения: «скажу по правде, что иные заметки ваши мне не очень нравятся, ибо, кажется, вы не так-то справедливо судили». По совету Евгения, он собирался издать свое «Рассуждение» отдельной книжкой, но не успел этого сделать. Последняя, 19-я книжка «Чтения Беседы» была одобрена цензором 26-го марта 1815 года, но собрания Беседы продолжались еще и в следующем году, почти до отъезда Державина в деревню, как можно было видеть из приведенного выше рассказа Панаева, посещавшего их в Великом посту этого года, последнего в жизни поэта.

Можно сказать, что Беседа только и держалась блеском нескольких крупных имен, особенно же Державина, Шишкова и Крылова. Второстепенною известностью из числа ее членов пользовались Марин, А. Хвостов, Оленин, Муравьев-Апостол, князь Шаховской и Милонов. Одна из главных целей Беседы — посредством публичных чтений обращать общее внимание на возникающие таланты — осталась, разумеется, не достигнутою по той простой причине, что таковых в рядах беседников (как Карамзин называл членов Беседы) не явилось. То, что было в тогдашней литературе более свежего и даровитого, держалось Карамзина и, конечно, не могло сочувствовать партии, которая необыкновенный успех его объясняла тем, что «временная слава возрастает от некоторого стечения обстоятельств, от случайного расположения умов и часто от размножения пустых голосов, повторяющих один другого». Шишков и его приверженцы были так слепы, что не придавали серьезного значения действию, произведенному на все образованное общество «Письмами русского путешественника» еще в конце прошлого века и «Вестником Европы» в начале нынешнего. Тем не менее слава Карамзина как самого даровитого и увлекательного писателя была так велика, что учредители Беседы не могли не выразить своего уважения к нему и, несмотря на его отсутствие как московского жителя, избрали его в почетные члены своего общества. Дмитриев, тогда уже министр, получил в нем звание попечителя. Но еще за несколько лет до того Жихарев, посещая шишковские вечера и удивляясь равнодушию, с каким участники их смотрели на московских литераторов, говорил: «из москвичей один И. И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор

и кавалер, а Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою». О Мерзлякове, Жуковском и Василии Пушкине эти господа едва слышали. Захаров, толковавший беспрестанно о грамматике, отзывался о них как об учениках, а между тем покровительствовал разным Станевичам, Львовым, Шулепниковым и т. п. Литературный кружок Шишкова не читал даже сочинений Жуковского. За ужином у Державина Шишков рассказывал, что Логин Ив. Кутузов читал ему в удачном переводе своего брата (Павла Ив.) Грееву элегию «Сельское кладбище». Присутствовавшие не хотели верить Жихареву, когда он заметил, что эту самую элегию гораздо ранее и лучше перевел Жуковский. В доказательство он вызвался прочесть этот перевод наизусть. «Так, пожалуйста, нельзя ли тотчас же?» — подхватил нетерпеливый Державин. По окончании чтения все смотрели на Жихарева как на человека, сделавшего любопытное открытие: мелодические стихи московского поэта не могли не произвести впечатления.

Один Карамзин был слишком хорошо известен почитателям Шишкова, которые потому и старались уронить его своими насмешками. С этою целью Шаховской еще в 1807 г. вывел его на сцену в комедии «Новый Стерн» под именем князя Пронского. Когда возникла Беседа, Дмитриев писал ему о выходках, которые в ней позволяли себе против него. «О Беседе шишковской слышал я, — отвечал Карамзин. — Желаю ей успеха, но только в добре. Для чего сии господа не хотят оставить меня в покое? Впрочем, мое правило не злиться».

В. Л. Пушкин, горячо преданный Карамзину, написал к Жуковскому послание, направленное против Шишкова и его партии. Тут он между прочим говорит:

Не ставлю я нигде ни *семо*, ни *овамо*.
Я, признаюсь, люблю Карамзина читать,
И в слоге Дмитрову стараюсь подражать...

Кончается пьеса стихами:

В славянском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу.
В душе своей ношу к изящному любовь;
Творенье без идей мою волнует кровь.
Слов много затвердить не есть еще ученье;
Нам нужны не слова, нам нужно просвещение.

Князь Шаховской решился отплатить автору за своих друзей, но вместо прямого ответа пародировал эти стихи в своей комической поэме «Расхищенные шубы», которая печаталась в «Чтении Беседы»; в ней много намеков и на других литераторов противоположного лагеря, на Карамзина, на Блудова. Кроме того, Шаховской в 1815 году написал комедию «Липецкие воды», в которой осмеял Жуковского в лице балладника Фиалкина. Все это произвело жаркую полемику в журналах и послужило поводом

к тому, что когда в этом самом году Жуковский переселился в Петербург, то литературные друзья его на своих сходках завели обычный потешаться насчет Беседы, поражать ее оружием шутки и насмешки. Таково было начало знаменитого общества, получившего название Арзамасского. В этом кругу видную роль играли будущие министры: Блудов, Дашков и Уваров. Первый, несмотря на родство с Державиным и на старинную приязнь отца своего и дяди с поэтом, сделался одним из самых деятельных членов нового союза против Беседы. Дашков давно уже заявил себя талантливым борцом в защиту нового слога. Уваров, хотя и почетный член Беседы, охотно изменил ей, тем более что также задет был Шаховским в комедии «Урок волокитам»; по своему положению в свете и в служебной иерархии он приобрел большое значение в «Арзамасе». Карамзин, приехав в Петербург со своей «Историей» в начале 1816 г., с огромным восторгом был принят в это общество как почетный член его, и в письмах своих к жене с любовью и уважением отзывался об «арзамасцах». В то же время он говорил Державину: «Гаврила Романович! Не верьте беседникам».

Но мы должны возвратиться несколько к предшествовавшему времени, чтобы взглянуть на постепенное развитие «Арзамаса». По поводу полемических статей в прозе и эпиграмм на Шаховского, являвшихся в журналах 1815 г., Жуковский осенью этого года писал к родным в Белев: «Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы когда бы и все молчали». Особенного рода выходку против автора «Расхищенных шуб» придумал Блудов. Он написал от лица Шаховского юмористически-напыщенное «Видение в некоторой ограде, изданное обществом ученых людей», разумея под оградой Беседу. С этой пародией он соединил воспоминание из недавнего путешествия своего в Арзамас, близ которого находилось его имение. Сочинение сопровождалось письмом якобы от одного арзамасского литератора. В письме рассказывалось, что в арзамасском трактире собралось несколько местных литераторов. Узнав от трактирщика, что в соседней комнате остановился какой-то проезжий, они подошли к дверям и слышали как он, лежа в постели, декламировал свое «Видение». Он повторял его столько раз, что они заучили творение наизусть. В нем Шаховской рассказывал, как он после одного заседания Беседы, оставшись в опустевшей и уже темной зале дома Державина, подошел к окну, за которым бушевал ветер, и стал исповедовать тайные грехи свои (отношения к актрисе Ежовой). Разумеется, что и «Видение», и письмо остались не напечатанными; друзья позаботились, однако, чтобы это произведение дошло до Шаховского. Так образовалось Арзамасское общество; полное первоначальное название его было Общество арзамасских неизвестных литераторов. Вигель говорит, что первое собрание было у С. С. Уварова 14 октября 1815 года по циркулярному приглашению, которое он разослал к друзьям своим. Впоследствии собрания бывали иногда и у Блудова. Секретарскую должность исполняли

то Блудов, то Жуковский, отличавшийся своим юмором и изобретательностью на затейливые шутки; из различных его баллад были почерпнуты шутливые имена, присвоенные каждому члену, как то: Светлана был сам он; Ахилл — Батюшков; Кассандра — Блудов, Асмодей — Вяземский; Рейн — М. Ф. Орлов; Громобой — Жихарев; Чу — Дашков; Вот — Вас. Пушкин; Сверчок — А. С. Пушкин; Старушка — Уваров; Эолова арфа — А. И. Тургенев; Варвик — Н. И. Тургенев; Пустынник — Д. А. Кавелин и т. д.

Впрочем, «Арзамас» резко отличался от Беседы тем, что, по словам гр. Уварова, он не представлял собственно никакой определенной формы, никем не был утвержден, не имел ни устава, ни публичных собраний, и ничего от общества не издавал. Вместо закона он руководствовался обычаем: каждый новоприняемый член должен был, по примеру того, что делалось во французской академии, произнести похвальное слово умершему; но так как в «Арзамасе» все бессмертно, то вступающий выбирает для первой речи своей одного из живых покойников Беседы или Академии заимобразно и напрокат. Основатели общества должны были равным образом, каждый в свою очередь, играть роль вступающих. Так Блудов сказал похвальное слово Захарову. «До сих пор, — писал Дашков к кн. Вяземскому в конце ноября 1815 года, — таких мертвецов отпето у нас пять, и Светлана (Жуковский) превзошла сама себя, отпевая петого и перепетого Хлыстова (т. е. Хвостова). То-то была речь! То-то протоколы!.. Очередной председатель у нас каждую неделю новый, и по именному указу, как в Академии, отвечает оратору пристойным приветствием, в котором искусно мешает похвалы ему с похвалами усопшему». При приеме Василия Пушкина соблюден был еще особенный обряд: новичка покрыли шубами, и он, лежа под ними, должен был выслушать несколько тирад из поэмы «Расхищенные шубы». Дашков сочинил на этот случай кантату, которую пели хором все «арзамасцы».

С каждым собранием общество более и более оживлялось. Вечер начинался тем, что прочитывали протокол предыдущего заседания, иногда написанный Жуковским в гекзаметрах; потом шутили, смеялись над противниками или по поводу явлений текущей литературы и кончали вечер ужином, редко без арзамасского гуся, изображением которого Жуковский хотел украсить герб общества. Однако и «Арзамас» существовал недолго — по свидетельству Блудова, года три, т. е. до 1818 года. После бракосочетания великого князя Николая Павловича в середине 1817 г. Жуковский, назначенный преподавателем русского языка к великой княгине, вместе с двором отправился осенью в Москву, и прерванные этим собрания «Арзамаса» впоследствии почти уже не возобновлялись. Блудов скоро уехал советником посольства в Лондон, Дашков — в Константинополь. Незадолго до отъезда Жуковского было одно из последних собраний «Арзамаса» (20-е) у С. С. Уварова, на Карповке (стало быть, летом). Из сохранившегося стихотворного протокола его видно,

что шутка и праздное глумление начинали уже надоедать «арзамасцам», и что они задумывали придать более серьезный характер своему обществу, приняться за какое-нибудь дело. В уста Кассандры (Блудова) влагаются между прочим следующие слова:

Полно тебе, Арзамас, слоняться бездельником! Полно
Нам, как портным, сидеть на катке и шить на халдеев,
Сгорбясь, дурацкие шапки из пестрых лоскутьев Беседных:
Время проснись!..

...Нас доселе собирала беспечная шутка

...Но что же? Она уж устала, иль скоро устанет!
Смех без веселости только кривлянье! Старые шутки —
Старые девки!..
Бойся же ты, Арзамас, чтоб не сделаться старою девкой.

Поэтому Блудов приглашал товарищей тесно соединиться для какого-нибудь дельного предприятия. М. Ф. Орлов в том же собрании предложил издавать «Арзамасский журнал» с политическим оттенком, но вместе с тем сознался, что программа его еще не составлена. Вслед за ним такую программу развил кн. Вяземский. Продолжение заседания и вместе характеристика собраний «Арзамаса» изображаются в последних стихах протокола:

...Совещанье

Начали члены. Приятно было послушать, как вместе
Все голоса слились в одну бестолковщину. Бегло
Своим язычком работала Кассандра. Реин
Громко шумел; Асмодей воевал на Светлану; Светлана
Бегала взад и вперед с протоколом; впившись в Старушку,
Криком кричал Громобой, упрямясь родить анекдотец.
Арфа мурлыкала песни, Пустынный возился с Варвиком.
Чем же сумятица кончилась? Делом: журнал состоялся.

В том то и дело, что не состоялся. Года через два-три Уваров попробовал было возобновить «Арзамас» и однажды пригласил к себе остававшихся в Петербурге членов его, но и это не удалось: время его навсегда миновало,

Поэтически остроумный характер этого общества, даровитость и слава большей части членов его придали ему в глазах потомства какое-то особенное обаяние, которое еще увеличивается тенью, падающею на побежденную Беседу. Но едва ли можно принимать в точном смысле свидетельство Уварова, что «лица, составлявшие «Арзамас», занимались (в собраниях его) строгим разбором литературных произведений, применением к языку и словесности отечественной всех источников древней и иностранных литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой, самостоятельной теории языка и прочим». Не говорил ли сам Жуковский: «Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье»? Нельзя, конечно, отрицать, что общий дух «арзамасских шалостей» и тесный дружеский союз стольких та-

лантов оказывали благотворное влияние на деятельность самих членов этого общества, а через них отчасти и на современную литературу, но в собраниях его исключительно господствовал, кажется, шуточный характер, как видно между прочим из приведенных выше стихов Жуковского, из рассказов гр. Блудова, кн. Вяземского и из писем Дашкова. Память об «Арзамасе» сохранилась только в предании; существовал он короткое время, собирался редко, а потому и не следует преувеличивать его значения.

7. Последний период поэзии Державина

Новые течения в русской литературе начала 19-го столетия не могли, хотя в некоторой мере, не отразиться и на поэзии Державина. Борьба за старый и новый слог имела на него двоякое влияние. С одной стороны, подчиняясь учению своего сочлена по Российской академии, Шишкова, он в своих торжественных одах, и особенно в переводах из Пиндара, более прежнего пользовался церковно-славянским элементом и в доказательство самостоятельного обращения с языком иногда непомерно насиловал его, или, по остроумному выражению Стурдзы, «обходился с орудием мысли, как обходится исполин с недорослем». Но с другой стороны, будучи, подобно Шишкову, заклятым врагом реформы Карамзина, уважая этого писателя и будучи издавна в приятии с Дмитриевым, Державин не оставался вполне чужд и новому направлению современной литературы. В первом отношении, именно при переводах из Пиндара, он приобрел ученого наставника в Евгении, который, будучи знатоком древних языков, переводил ему этого лирика слово в слово. В 1805 году преосвященный писал: «Я не виню немцев и французов за недостаточные переводы Пиндара. Признаюсь, труднее и непонятнее всех греческих стихотворцев этот автор. У него, кроме того, что особенный дикий какой-то ход мыслей, самые слова и фразы необыкновенны и прибраны из разных провинциальных греческих диалектов. Сие крайне затрудняет переводчика и с самыми лучшими пособиями, а буквально перевести его можно разве только на русский язык. Прочих же языков обороты не способны следовать ему слово за словом, а особливо в сложных словах, которые он отменно любит. Да и русский язык под его многословным напряжением иногда щетинится и корчится. Посему-то я часто принужден был и в моем переводе, для приведения смысла слов в натуральный порядок, размечивать слова цифрами, а в строфе не мог не отступить и от оригинального порядка стихов, потому что выходила в переводе путаница для русского читателя совсем непонятная. Сводил я тщательно с оригиналом и перевод ваш первой пифической оды, а перевода другой оды у меня нет. Вы, к удивлению моему, чрезвычайно близко напали на оригинал».

Этим письмом Евгения объясняется та неестественность в словорасположении, те неловкие, большею частью сложные слова, которые за это время часто встречаются у Державина и особенно поражают нас в его переводах. В пример его сочувствия взглядам Шишкова можно привести из его стихотворения «Обитель Добрады» выражение: «Дом благодатный, неблазныя Добрады», как назван им Павловский дворец императрицы Марии Феодоровны. Здесь употреблены два церковно-славянских прилагательных, в пользу допущения которых в русском языке Шишков ратовал против одного из духовных сочленов своих.

Во втором отношении Державин, следуя духу времени, более и более удовлетворял своей любви к народному языку и, пользуясь приобретенным с детства глубоким знанием его, нисходил к тем родам поэзии, в которых уместно употребление народной речи. Так в 1805 г. по получении известия о подвиге Багратиона под Шенграбеном он написал народную песню, откуда приведем отрывок:

Французов русские побили:
Здоровье храбрых войнов пьем;
Но не шампанским пьем, как пили:
Друзья! мы русским пьем вином.
 Подай нам доброй штоф сивухи,
 Дай пива русского кулган.
Мы, братцы, не немецки шлюхи,
Без боя не покинем стан.
 Ура! здоровье русских пьем...
Хоть отступал назад Кутузов,
Против обычья русаков, —
Велел так царь, — но он французов
Пугнул, как тьму тетеревов.
 Подай нам доброй штоф сивухи...
Кто русских войск царю вернее?
Где есть подобные полки?
На брань и дети пламенея,
Знамена вражьи рвут в куски.
 Подай нам доброй штоф сивухи...

Примерно в таком же духе описан им в деревне «Крестьянский праздник»:

Горшки не боги обжигают,
Не все пьют пиво богачи:
Пусть, Муза! нас хоть осуждают;
Но ты днесь в kobac пробренчи
И, вспед на холм высокий званский,
Прогаркни праздник сей крестьянский...

Тогда же, сознавая ослабление своего лирического таланта, он сочинял разного рода шуточные послания и другие стихотворения в этом роде. Вот некоторые из них:

«Милорду, моему пуделю» (это был прекрасный белый пудель, который происходил от собак Екатерины II):

Сиятельнейший твой отец
 Покоится в саду прекрасном
 И там, чувствительных сердец
 К отраде, в плаче их ужасном,
 Над ним поставлен монумент;
 То мне ли быть неблагодарным?..
 Нет! гроб твой освещу лучами,
 Вкруг прах обмою весь слезами.

«Похвала комару» — чересчур длинное стихотворение, к которому подало повод обилие комаров над болотистыми берегами Волхова («Царство комарье, царица в нем Дарья»):

Пиндар воспевал орла,
 Митрофанов сокола,
 А Гомер, хоть для игрушек,
 Прославлял в грязи лягушек;
 Попе — женских клок волос.
 И Вольтер, я мню, в издевку
 Величал простую девку;
 Ломоносов — честь усов.
 Я, в деревне, для забавы,
 В подражание их славы,
 Проворчу тара-бара...
 Я пою днесь Комара!

Послание молодому Злобину, сыну того известного откупщика, которому так много был обязан родной его город Вольск (прежде село Малыковка, столь знакомое Державину). По словам Гаврилы Романовича, молодой Злобин был

Поэт душой, купец породой.

Замечая в нем борьбу двух направлений, Державин советует ему:

Итак, ты выбрось рознь из мозгу,
 Двух зайцев вдруг не поймать;
 Чтоб быть и все и вся, уж розгу
 Волшебну днесь нельзя сыскать.
 Барышник, стиходей, суть двое:
 Ты выбери добро любое.

И, разумеется, поэт советует Злобину предаться вполне Аполлону. Это было в 1808 году.

К тому же разряду стихотворений должен быть отнесен знаменитый «Приказ моему привратнику», вызванный в этом же году тем, что однажды швейцар его принял пакет, адресованный на имя другого Державина, обер-священника Ивана Семеновича. На это послание явился длинный и язвительный ответ, который,

естественно, приписали тому, кто был предметом ошибки, хотя, вероятно, он принадлежал перу другого священника (Пакатского). Оба стихотворения вместе наделали много шума и распространились во множестве списков. Каким образом подействовал на Державина ответ, который, конечно, многим понравился, лучше всего видно из нескольких стихов, найденных нами в его рукописях:

Отзыв на пасквиль.

Ужель мне отвечать
На то, что так меня за шутку злобно колгот?
Благоразумнее молчать:
Избытком лишь сердец уста у нас глаголют.

Издание Ключаревым в 1804 году древних былин не осталось без влияния на поэзию Державина. Любопытно, какое впечатление эти стихотворения произвели на него. «В них нет почти поэзии», — говорит он в своем «Рассуждении о лирической поэзии», — они одноцветны и однотонны. В них только господствует гигантск, или богатырское хвастовство как в хлебосольстве, так и в сражениях, без всякого вкуса. Выпивают одним духом по ушату вина, побивают тысячи бусурманов трупом одного, схваченного за ноги, и тому подобная нелепица, варварство и грубое неуважение женскому полу изъясляющая».

Можно подивиться, что Державину не понравился именно тот элемент нашей народной поэзии, который сам он любил вводить в свои оды, именно — гиперболизм образов. Между тем, очевидно, что появление былин пробудило в нем желание обработать в стихах какой-нибудь предмет, заимствованный из русской старины. Сперва, по совету Евгения, он думал было предпринять поэму о Новгороде, и по этому поводу они переписывались о Марфе Посаднице и о новгородских войнах; но потом Державин предпочел область героической и сказочной древности. В 1812 году, следовательно, уже во время существования Беседы, он написал род баллады «Царь-девица», собирая в этой сказочной личности черты характера и образа жизни императрицы Елизаветы Петровны. Здесь он был явно под влиянием нового в русской литературе рода поэтических произведений, образцы которого дал Жуковский в «Людмиле» (1808) и «Светлане» (1811). Здесь есть игриво-грациозные образы:

Царь жила-была Девица,
Шепчет русска старина:
Будто солнце светлолица,
Будто тихая весна.
Очи светло-голубые,
Брови черные дугой,
Огнь — уста, власы — златые,
Грудь — как лебедь белизной.

В жилах рук ее пуховых,
Как эфир, струилась кровь;
Между роз, зубов перловых,
Усмехалась Любовь.
Родилась она в сорочке
Самой счастливой порой,
Ни в полудни, ни в полночке, —
Алой, утренней зарей...

Это писано в 1812 году, а к 13-му относится «Новгородский волхв Злогор», пьеса, заимствованная из того же мира преданий, с примесью новейшего вымысла и скандинавских мифов. Тут являются рядом Боян и Скальд, Один и Велес. Волхв Злогор обратился некогда в реку Волхов; по приглашению хора скальд поет:

Злогора душу взяли черти;
Но слух так страшен был о нем,
Что люди добрые, по смерти
В гроб положивши ниц лицом,
Так спрятали его в могилу,
Чтоб им не вреден был тиран;
Осинов кол ему вбив с тылу,
Над ним насыпали курган.
Но он и по свой кончине
Творил премножество проказ...

Злогор был виною всех бед, посещавших Новгород в последние времена: он поднял Вадима на Гостомысла, ссорил славян с варягами, мешал Добрыне крестить народ, противился введению «Русской Правды» в суд и велел возить на вече Марфу Посадницу, злую бабу Ягу, на колымаге с железным пестом.

И днесь на Званке он проказит,
Тьмы ночью делая чудес:
Златой луной на Волхов слазит,
Лучом в нем пишет горы, лес
И, лоснясь с колкунами длинной
Как снег брадой, склонясь челом,
Дрожит в струях, — иль, в холм могильной
Залегши, в мрак храпит, как гром».

По преданию, под холмом возле господской усадьбы на Званке был погребен какой-то волхв, который, превращаясь в крокодила и в разных чудовищ, пожирал людей, плававших по Ильмену и по Волхову, отчего эта река будто бы и получила название. Это-то предание и внушило поэту мысль написать «Злогора». Оба указанные стихотворения, рядом с посланием к Платову, принадлежат к числу самых удачных произведений Державина в этом роде.

Пьесу «Царь-девица» назвал он романсом, а «Злогора» — балладой. Это делается нам понятным, когда мы припомним, что Евгений, возражая на замечание Державина о былинах, писал ему: «Напрасно вы относите к песням древние русские стихотворения Ключарева. Они суть ничто иное, как северные баллады, или романсы, как и сами вы прежде сказали... Самая дикость и грубость нравов, изображенных в сих стихотворениях, доказывает древность сей поэзии, хотя вы, вероятно, заключаете, что стихотворения сии в татарском веке уже писаны, по крайней мере духом древнейших сих времен. В наших летописях видно, что праотцы наши были пияки и забияки. Древние наши русские сказки прозаические такого же вкуса. А потому как сказки сии, так и стихотворения Ключарева почитаю я драгоценными для нас, хотя и испорченными остатками нашей древности».

Естественно предположить, что Державин, недовольный былинами, захотел попытаться написать по-своему что-нибудь в том же роде. Так как он о романсе в своем «Рассуждении» упомянул только мимоходом и выразил намерение посвятить особое сочинение рассмотрению новейших видов лирики, то очень возможно, что романс «Царь-девица» был им заранее приготовлен как пример к теории этого вида. Поэтическая разработка древних народных сказаний не была чужда уже и тогдашней литературе. Мы не говорим здесь о способе, как она производилась; довольно того, что идея ее существовала. В этом еще Екатерина II подавала пример другим писателям. Сам Державин, может быть, под влиянием «Добрыни» Львова написал в 1804 г. свое драматическое сочинение вроде оперы, названное им также «Добрыня». Из подобной мысли проистекла и «Царь-девица», довольно выдержанная в основном своем характере, хотя и в ней встречаются нимфы вместе с Полканами. Известный эстетик того времени Эшенбург не полагал разницы между романсом и балладой, которые по содержанию относил он к повествовательному, а по форме к лирическому роду, но романс должен был иметь содержание комическое, а баллада — трагическое. Этого различия, очевидно, держался и Державин. Еще под 1807 годом мы находим у него небольшую пьесу «Луч», заимствованную из баснословных сказаний и названную также романсом.

Самым удачным стихотворением его в духе народного эпоса надо признать известную пьесу «Атаману и Войску Донскому», написанную также в 1807 году, на подвиги Платова в окрестностях Кенигсберга после сражения при Прейшиш-Эйлау. Оно замечательно по чисто народному тону и складу, будучи от начала до конца основано на образах родной старины, переданных игривым, бойким и легким стихом. До этого стихотворения Державин ничего подобного не создавал в таком объеме и с такою выдержкою; здесь он является мастером в этом роде поэзии, знатоком народных сказаний, народного духа и языка.

Послание к Платову резко выделяется из ряда тех стихотворений, которыми Державин, свободный от службы, считал сво-

им долгом как присяжный певец русской славы увековечивать всякое достопамятное событие во время наших войн с Наполеоном, — всякую победу, всякий отъезд и возвращение государя и т. п. Таковы его стихотворения «Поход Озирида», «Глас с.-петербургского общества», «На отправление гр. Каменского», «Персей и Андромеда» и мн. др., по которым можно проследить весь ход событий и настроений общества в ту славную эпоху. Два стихотворения, написанные по поводу Тильзитского мира — одно под заглавием «На мир 1807 года», представленное до возвращения государя императрицам, и другое, «Сетование» (псалом Давида), поднесенное государю по приезде его, — не понравились Александру: на напечатание первого он не дал своего согласия, а по прочтении второго заметил с некоторым неудовольствием: «Россия не бедствует». По замечанию П. И. Бартенева, эти две пьесы не были голосом брюзгливого и удаленного от дел старика, а выражением чувств всей России, уже испытывавшей тяжесть континентальной системы.

Падение Наполеона, которое Державин несколько раз предсказывал, сильно возбуждало деятельность его угасавшего таланта. Не довольствуясь стихотворениями, написанными им по этому поводу в духе торжественной лирики, поэт видел в этом событии богатый предмет для разгула народного юмора, которым сам он обладал в значительной степени. Под влиянием этой идеи он несколько раз принимался создавать какое-нибудь шуточное произведение на низвержение грозного властителя. Об этом свидетельствует целый ряд черновых автографов, собранных нами из его бумаг и представляющих подобные попытки под разными заглавиями и в разных формах. Они не отделаны, но интересны по намерению передать художественно те образы, в которых рисовался падший исполин в русской народной фантазии. В пример того, как Наполеон своими неслыханными успехами вообще поражал воображение современников, можно привести несколько слов из письма атамана Платова, весной 1815 года, к Державину: «Запертая хищная птица из Эльбы улетела в стадо, подобное себе, которое, встретив ее с радостью, снова является послушным зловным велениям ее. Теперь новое потребно единодушие, дабы стереть с лица земли это беспокойное творение».

На возвращение Александра из-за границы в 1814 году Державин сочинил кантату, начинающуюся словами:

Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч сердца.

Эти стихи положены были на музыку для пения на празднике, данном в Павловске императрицей Марией Феодоровной; они приобрели довольно большую известность и долго пелись по всей России.

Нельзя не упомянуть также об обширном «Лиро-эпическом гимне на прогнание французов», в котором выразилось, между

прочим, мистическое направление, в последние годы жизни Державина более и более овладевавшее им. Оно проявляется и в некоторых из относящихся к этому времени духовных стихотворений его, для которых он с большим тщанием собирал материалы и делал выписки из св. писания и сочинений по истории церкви. В том же духе переводил он из Клопштока и Козегартена. Самым сильным проявлением этого настроения была его духовная ода «Христос», в которой он подражал своей оде «Бог», так же как в «Послании Хлору» подражал «Фелице». В своем месте было нами показано, как высоко ценил оду «Христос» Мицкевич, мистик ближайшего к нам времени. «Начало оды, — говорил он, — очень слабо. Державин все смотрит на Христа, как на царя; эта идея державной власти у него господствует. Он восхищается особенно происхождением Христа, его внешним могуществом, блеском его славы. Но около середины оды поэт становится достоин себя: он развивает свою систему, весьма философическую, и, основываясь на некоторых религиозных преданиях, признает человека созданным без материи и материализованным по собственной своей вине. Иисус, божественный свет, является к нему на помощь. Есть стихи изумительные по простоте и чистосердечности; ничего подобного не нахожу в других сочинениях Державина». Действительно, в этой оде выражены высокие и святые истины, но это не поэзия, тем более что они облечены в тяжелый, неизящный стих.

На все замечательные обстоятельства в царском семействе по-прежнему откликнулась лира Державина. Между стихотворениями этого рода внимание на себя обращает «Эродий над гробом праведницы», где поэт оплакивает преждевременную кончину несчастной, угасшей одиноко на чужбине великой княгини Александры Павловны, бывшей в замужестве за палатином венгерским Иосифом. Замечательно выразившееся в этой пьесе, хотя и не вполне правильное, сознание отношений России к западнославянскому миру:

Теките ж к праведницы гробу,
 О Влах и Серб, близнец Славян!
 И, презря сокровенну злобу,
 Ее лобзайте истукан,
 Клянясь пред всемогущим Богом
 Сим нам и вам святым залогом,
 Что некогда пред ним ваш меч
 В защиту веры обнажится,
 Чрез рвы и горы устремится
 Вас к стаду нашему привлечь.
 Одним бы солнцем греться нам!
 Не разделяет тех пространство,
 В ком кровь, и ум, и дух один:
 Славяно-русско-сербско царство —
 Один со Венгром исполин;
 И праведны ли те уставы,
 Чтоб нас лишать одной державы?

Меж братьев нерушим союз:
Гроб Александры вкрут цветами
Осыпав и оплакав с нами,
Еще ли вы средь чуждых уз?

8. Отношения к Жуковскому, Карамзину и Вяземскому

По весьма обыкновенной человеческой слабости Державин иногда поддавался чужим влияниям, когда умели воспользоваться его доверчивостью. Эта черта обнаружилась особенно в его столкновении с Жуковским. В 1810 году автор «Светланы» вздумал издать род поэтической хрестоматии («Собрание русских стихотворений») и через А. И. Тургенева выпросил у Державина позволение напечатать в этой книге, между прочим, несколько од его. Когда вышли два первые тома и в них оказалось довольно большое число стихотворений певца Фелицы, то книгопродавец Глазунов представил ему, что после этого никто не станет покупать отдельно изданных сочинений его, тем более что Жуковский намерен напечатать еще несколько томов этого собрания. Под впечатлением внушенного Глазуновым опасения Державин, за несколько дней до открытия Беседы, написал к Тургеневу очень резкое письмо, наполненное оскорбительными обвинениями и угрозами. «Согласитесь со мной, м. г. мой, — писал поэт, — что таковой поступок не совсем совестен. Нигде не позволяется похищать чужие труды и обогащаться на счет ближнего. В рассуждении чего прошу покорно отписать к нему, чтоб он, окромя уже напечатанных в двух частях, не изволил впредь моих сочинений печатать и выдавать в свет совместно с другими. Ежели не благоугодно будет ему принять сего моего совета, то я принужденным найдусь просить правительство, чтоб и напечатанные отобранные были и проданы в пользу казенных ученых институтов. Я думаю, м. г. мой, что и вы такую мысль не похулите, дабы наказать того, кто, не хотя сам трудиться, вознамерился пользоваться чужими произведениями, которых собрать немудрено и несколько десятков томов без всякого таланта, труда и усердия к благу общему. А когда таким образом, как я сказал, они проданы будут, то по крайней мере воспользуется общество».

Граф Блудов рассказывал нам, что к возбуждению гнева Державина много способствовало то обстоятельство, что ему еще не было доставлено издателем экземпляра напечатанных томов, которых не успели вовремя переплести. Таким образом, говорил шутя граф Блудов, настоящим виновником этого неудовольствия был московский переплетчик. Верность факта подтверждается тем, что во втором письме своем, написанном по поводу ответа Тургенева, Державин говорит: «Предисловия я не читал и читать его не могу, потому что я их (т. е. изданных двух томов) не

имею, а покупать их не хочу». Ответ Тургенева, написанный им при значительном участии Блудова (которому принадлежат тут все колкости, не менее любопытен. В нем говорится, что Державину заранее был сообщен и им одобрен подробный план издания: «Я не знаю, почему ваше в.-пр. могли подумать, что г. Жуковский поместит в своем собрании одни только *выписки некоторых куплетов*, а не целые пьесы. Примите на себя труд взглянуть на подобные собрания, сделанные французами, англичанами, итальянцами и даже немцами, которые любят обогащать книги свои *примечаниями*, и вы нигде не найдете *комментарии*» (на отсутствие которых, между прочим, жаловался Державин). Поэт наш был еще недоволен тем, что стихи его помещены наряду с произведениями плохих стихотворцев. На это Тургенев не без некоторой иронии возражает: «Теряют ли сочинения вашего в.-прев. от того только, что подле их другие посредственные, или слабые, или, когда вам угодно, дурные? Я думаю, напротив: и (позвольте бедному прозаисту употребить пиитическое сравнение) не свойственно ли мелким деревьям цвести под тенью дубов, красоты леса?» Дерзкие и противные логике уверения Глазунова опровергаются тем, что выбранные Жуковским оды уже несколько раз были напечатаны в разных сборниках, и это не мешало покупать новое отдельное издание сочинений Державина. «Но, — говорится далее, — вам, м. г., угодно, чтобы ваших сочинений более не было в «Собрании русских стихотворений»; издатель, конечно, исполнит ваше желание не для того, чтобы он страшился угроз вашего в.-прев. и обещаемого вами наказания (в России в наше время может ли человек благонамеренный чего-либо страшиться?), но единственно для того, что ему и мне приятно во всем угождать вам, славнейшему из наших лирических поэтов. Впрочем, взглянув на приложенный план, вы увидите, что это пожертвование не будет дорого стоить ни ему, ни читателям его. Между тем я поставлю себе приятнейшим долгом уверить ваше в.-прев. в чувствах моего приятеля, уверить, что его пламенная привязанность к великим произведениям вашего гения никогда и ничем не уменьшится. Может быть даже, что его скромность признает справедливым строгий приговор, произнесенный труду его и ему самому. Но друг его, который не должен участвовать в этом смирении, осмеливается изъяснить вашему в.-прев., сколько этот приговор ему кажется оскорбителен. Не отрицая того, что можно без отличного дарования и обширных сведений составить такую книгу, как это «Собрание русских стихотворений», я думаю, что надобно предполагать в издателе по крайней мере знание отечественной словесности, хороший вкус, образованный чтением хороших авторов, трудолюбие и усердие ко благу общему, в которых вы, м. г., столь решительно ему отказываете. Осмеливаюсь еще прибавить, что Жуковскому 28-й год; многие из наших поэтов, которые после сделали украшением Парнаса, не написали в эти лета ничего даже изрядного, а некоторые стихотворения Жуковского и теперь уже заслуживают лестное

внимание. Их немного, но все они ознаменованы печатью истинного таланта и не могут не быть известны вашему высокопревосходительству».

Державин не удовлетворился этим объяснением и отвечал Тургеневу в прежнем тоне. «Дарований г. Жуковского, — говорил он, — не отрицаю, но он нимало тем не приведет их в совершенство, когда соберет кипы чужих сочинений и будет печатать их». Тургенев не продолжал переписки; Державин же, не довольствуясь ею, написал еще и эпиграмму, которая, однако, не пошла далее черновой тетради его, — «На издателя чужих стихотворений»:

О редкий, славный ум, изящный из умов,
Ум прямо Аполлонов,
Который в год один пять томов
Прекрасных написал, но лишь чужих стихов!

Однако это недоразумение скоро было забыто. Державин, отдавая полную справедливость высокому таланту «певца в стане русских воинов» (стихотворение это сперва ходило по рукам в списках под заглавием «Кубок воина»), набросал на одной из своих рукописей четверостишие:

Тебе в наследие, Жуковский,
Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою.

Со своей стороны и Жуковский не сохранил в сердце ни малейшего неудовольствия на старшего собрата и в одной из строф названной патриотической пьесы помянул его, в числе других певцов, добрым словом:

О камские дубравы,
Гордитесь: ваш Державин сын!
Готовь свои перуны,
Суворов, чудо-исполин:
Державин грянет в струны.

В это время слава певца Фелицы была так велика и имя его пользовалось таким безусловным уважением, что слабые произведения последних лет его жизни принимались публикою с прежним вниманием. Все курили ему фимиам. Превознесенные им знаменитые полководцы выражали ему свою признательность. Кутузов благодарил его «за того орла, который при Бородине, воскрыленный великим бардом нашим, парил над главою россиянина, придавая блеск скромным его заслугам». Герой не забыл благодарить поэта и за присланный ему «Лиро-эпический гимн», жалея, что получил только один экземпляр этого сочинения. Таким же образом и Платов изъявлял Державину свою благодарность за приветствие «Атаману и Войску Донскому.

Между близкими к поэту людьми нашелся, однако, один, который решился высказать ему несколько критических замечаний о его произведениях. Это был молодой человек, некто Евграф Озеров, которому Державин, занимаясь своим «Рассуждением о лирической поэзии», поручал готовить материалы для этого труда. При этом случае Озеров перечитал все прежние сочинения Державина и в одном письме к нему позволил себе так выразиться: «Желая быть вам полезным, посылаю вам выписанные из первой части ваших сочинений рифмы, которые требуют поправки; и еще некие целые пиесы заметил, которые лучше бы вам из будущего издания выкинуть; о чем мои замечания, дочитавши все части, сообщу вам. Не знаю, не будете ли бранить: я писал в надежде, что до сих пор, как прежде, правде к вам двери отворены». Как было принято письмо, нам неизвестно, но едва ли избалованный похвалами поэт был особенно доволен такою откровенностью.

Не прежде как весною 1816 года, т. е. месяца за три до смерти Державина, Жуковский лично с ним познакомился. Поводом к тому послужил приезд Карамзина в Петербург: историограф прибыл туда 2-го февраля с восемью рукописными томами своей «Истории». С ним был и молодой шурин его, князь Вяземский. Карамзин, поехав с визитом к маститому поэту, представил ему при этом случае Жуковского и Вяземского. Разговор коснулся, между прочим, полемики Дашкова против главы защитников старого слога. Державин, по своему обыкновению, заметил, что не надо раздувать огня. При расставании он пригласил к себе Карамзина обедать в один из следующих дней, прибавив довольно пренебрежительно просьбу привезти с собой кстати и спутников своих. Между тем в назначенный день Карамзин был отозван к императрице Марии Феодоровне, и наши два «арзамасца» одни отправились к Державину. Он принял их в халате и колпаке и общелся с ними несколько сухо, по-видимому, расстроенный отсутствием Карамзина. Никаких других гостей у него на этот раз не было. После обеда он повел обоих литераторов в свой кабинет и стал показывать им тетради своих стихотворений, приготовленных к изданию с рисунками. Пропустив без внимания лучшие свои произведения, он остановился на оде «На коварство» и заметил, что теперь ему уже так не написать. Вскоре друзья простились с ним, унося не слишком приятное впечатление от его приема. Рассказывая нам об этом, князь Вяземский заметил, что, впрочем, по такому обращению Державина с ними несправедливо было бы заключать вообще о несочувствии его к молодому поколению писателей: Жуковский и Вяземский были известными противниками школы Шишкова; тогда уже возник «Арзамас», и они не скрывали своей принадлежности к этому обществу. Несмотря на то, оба навсегда сохранили глубокое уважение к таланту Державина. Уехав вскоре после этого посещения в Дерпт, Жуковский прислал ему сделанный там студентом Боргом немецкий перевод оды «Вельможа» и при этом выразил Державину «сердечную благодарность за несколько часов,

проведенных в беседе с ним». «Видеть великого поэта Екатерины и России, — говорил он в этом письме, — было для меня счастьем. Смею надеяться, что ваше высокопревосход. иногда удостоите своего воспоминания человека, привязанного к вам искренно, хотя и весьма недолго имевшего счастье пользоваться вашим знакомством». Такова была незлопамятность благородного поэта.



Н. М. Карамзин.

Что касается кн. Вяземского, то он через несколько месяцев доказал, как ценил Державина, некрологом его, напечатанным в «Вестнике Европы» и «Сыне отечества». Это дало Дмитриеву повод заметить, что Державин, конечно, ласковее принял бы молодых писателей, если бы мог предвидеть, что один из них вскоре напишет первое теплое слово над его прахом. Вяземский до конца жизни не переставал признавать достоинство екатерининского певца и находил, что внимания заслуживают не одни лучшие его сочинения, но и многие второстепенные, замечательные не только по историческому своему значению, но и по вспышкам оригинального таланта и содержанию, несмотря на свои неровности и внезапные падения поэта (в пример чего он приводил оду на возвращение Зубова). Наиболее выдержанными

стихотворениями Державина Вяземский считал оды «На смерть кн. Мещерского» и «К первому соседу».

Шишков нередко посещал Державина и по привычке критиковал Карамзина. Однажды, когда при этом присутствовали дочери покойного Н. А. Львова, Гаврила Романович шутил просил Шишкова не обижать при них писателя, от которого они в восторге. Тогда Шишков пуще напал на него и в доказательство своих слов, потребовал сочинения Карамзина, стал отыскивать в них галлицизмы и несообразности; но девицы продолжали горячо защищать своего любимого автора. На один из своих обедов, в середине февраля 1816 года, Державин опять пригласил к себе Карамзина, на этот раз вместе с Шишковым, воображая, что они лично еще не знакомы между собой. Но он ошибался: уже 8-го февраля, стало быть, менее чем через неделю после своего приезда в Петербург, Николай Михайлович писал жене: «Знай, что я видел и Шишкова: беседовал с ним втроем около трех часов. Сперва он чинился, а после свободно рассуждал со мною о происхождении... славянских слов». Жаль, что Карамзин не упомянул, где это было. По рассказу, слышанному от него самого Гречем, он в первый раз встретился с Шишковым у великой княгини Екатерины Павловны. Услышав имя Карамзина, Александр Семенович несколько смутился, но тот успокоил его, уверив, что никогда не чувствовал к нему вражды, что считает себя не врагом а учеником его. Известно, что Карамзин и перед другими не раз признавал в рассуждениях Шишкова много правды. 14-го февраля он писал жене: «Нынешний день буду у Державина обедать со всеми моими смешными неприятелями и скажу им: есмь един посреди вас и не устражуся». Девицы Львовы, которые также были на этом обеде, рассказывали впоследствии, что Державин посадил возле себя по одну сторону Карамзина, а по другую Шишкова; первый, когда пили его здоровье, выразил свою благодарность Александру Семеновичу за умение писать, которым ему обязан. Шишков сидел угрюмо, наклонясь над своей тарелкой, и несколько раз повторял сквозь зубы: «Я ничего не сделал». Карамзин в том же письме к жене, откуда заимствованы только что приведенные строки, произнес такой приговор своему противнику: «Шишков честен и учтив, но туп». Через несколько дней он писал: «Славный мой обед с неприятелями не был для них весел: все сидели нахмуясь, хотя я и старался забавить их грамматикою, синтаксисом, этимологиєю. Добрый старик Державин вздумал было произвести меня в члены российской шишковской академии; но я сказал ему, что до конца моей жизни не назовусь членом никакой академии и не буду ни в каком так называемом ученом обществе». Прибавим, однако, что Карамзин не мог остаться верным этому зароку: через два года он был избран почетным членом Академии наук, а несколькими месяцами позже попал и в действительные члены Российской академии, президенту которой выразил свою благодарность за эту честь. Позднее он произнес речь в торжественном собрании академии.

После описанной встречи с Шишковым в доме Державина Карамзин обедал там еще раз. Но стол гостеприимного поэта ему не понравился: он рассказывал князю Вяземскому, что хотел поправить дело горчицей, но горчица оказалась всего хуже. Между тем известно, что Державин очень дорожил изящным убранством своего стола, симметрическим размещением блюд и даже красивой формой кушаний, напр., подбором красок на узорчатом десерте.

10-го марта Карамзин опять писал Катерине Андреевне: «Я обещал ныне в 7 часов к Державину для чтения, но получил зов к великой княгине Марии Павловне». С. Т. Аксаков, бывший на этом вечере у Державина, описал нам, с каким нетерпением поэт ждал почетного гостя и как был огорчен внезапно полученным от Карамзина письмом о причине его отсутствия. Тут были Шишков, оба Хвостова, Ф. П. Львов, Кикин, Гнедич и др. Когда пробило семь часов, нетерпение Державина стало усиливаться с каждой минутой. Спустя полчаса оно перешло в беспокойство и волнение: он не мог сидеть на одном месте и беспрестанно ходил взад и вперед по своему длинному кабинету между сидевшими по обеим сторонам гостями. Несколько раз порывался он поехать к Карамзину спросить, будет ли он или нет, но Дарья Алексеевна его удерживала. Наконец бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку: при этом он беспрестанно перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. К счастью, в самое это время принесли письмо от Карамзина. Несмотря на искренность, простоту и спокойствие, с какими в этих строках было выражено сожаление Карамзина с просьбой назначить другой день для чтения, Державин не скоро мог совладать с собой, и с кем ни говорил, беспрестанно вскакивал, и многие гости поспешили разъехаться. Наконец Дарья Алексеевна, стараясь поправить впечатление, произведенное всею этою сценой на оставшихся еще посетителей, попросила Аксакова прочесть что-нибудь, и он исполнил это желание; мало-помалу Державин успокоился и даже немного развеселился.

9. Путешествие в Малороссию

Как только Державин освободился от забот службы, он стал мечтать о путешествии в Малороссию, куда его давно звал Капнист и влекло желание взглянуть на свою Гавриловку. Еще в марте 1804 года он писал в Обуховку: «Сбираемся весной ехать на Званку, а около июня к вам, и думаю, целой колонией»; но когда настало лето, он известил своего друга, что был удержан неожиданными неприятностями по опеке Зорича. Потом наступило время войн с Наполеоном, и наконец друзей разделила ссора, продолжавшаяся несколько лет. Причина ее — семейная тайна, с которой мы не считаем себя вправе, да и не имеем вполне возможности поднять завесу.

В письме от 18-го июля 1812 года В. В. Капнист с редким благородством протягивает обоим супругам руку примирения: «Любезный друг Г. Р. Я уверен, что мы друг друга любим: зачем же слишком долго представлять противные сердечным чувствам роли? Вы стары; я весьма стареюсь; не пора ли кончить так, как начали? У меня мало столь искренно любимых друзей, как вы: есть ли у вас хоть один, так прямо вас любящий, как я? — По совести скажу: сомневаюсь; в столице есть много, — но стличных же друзей. Не лучше ли опять присвоить одного, не престававшего любить вас чистосердечно? Если я был в чем-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. Всяк человек есть ложь: я мог погрешить, только не против дружества: оно было, есть и будет истинною стихиею моего сердца; оно заставляет меня к примирению нашему сделать еще новый — и не первый шаг. Обнимем мысленно друг друга и позабудем все прошедшее, кроме чувства, более тридцати лет соединявшего наши души. Да соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю».

В таком же тоне обратился Капнист и к Дарье Алексеевне. Державин отвечал дружелюбно: «Я готов всегда тебя обнять и возобновить прежнюю нашу связь». Вместе с тем он выразил надежду «в будущем году, ежели Бог успокоит военные, весьма мудреные обстоятельства», наверно быть в Малороссии. Действительно, летом 1813 года супруги собрались в путешествие, с которым теперь соединялось и исполнение обета, данного ими во время неприятельского нашествия, — отправиться в Киев на богомолье в случае благополучного исхода войны. Взяв с собою меньшую племянницу, Прасковью Николаевну Львову, и домашнего доктора, Державины выехали из Званки 15-го июня и прибыли в Москву 24-го. Там они увидели свежие еще следы пребывания французов. Поэт ходил в Кремль и возвратился в смущении от всего, что представилось там его взорам. 28-го в Лопасне им пришлось дожидаться лошадей, но эта задержка послужила к спасению утопленника, благодаря помощи, которую ему оказал сопровождавший путешественников доктор. В Мценске, 2-го июля, встретило их в нескольких экипажах семейство Хлоповых, считавшее себя обязанным Гавриле Романовичу за правое решение когда-то их дела. В сопровождении этой вереницы экипажей он прибыл в Орел и в доме Хлоповых приятно проведен был день его рождения. Путешествие шло медленно, так как везде являлись к нему то почитатели его таланта, то чиновники в мундирах, воображавшие, что он едет в качестве ревизора. В Батурине он много рассказывал своим о Разумовских, о том как ловко Екатерина II сумела привлечь их к своему двору, осыпала их богатствами и почестями, но лишила гетманского сана. В Обуховку прибыли 7-го июля.

Эти подробности заимствованы нами из тетради, в которую Прасковья Николаевна Львова, живя на Званке, регулярно заносила свои воспоминания. В записках же, веденных дочерью Капниста, Софьею Васильевной (впоследствии г-жою Скалон) и

обязательно сообщенных ею нам, о посещении Державиным Обуховки рассказано следующее:

«В 1813 году, 7-го июля, мы неожиданно испытали такую радость, какая редко случается в жизни. В то время, когда мать моя обыкновенно отдыхала после обеда, пришли мне сказать, что какая-то бедная женщина желает ее видеть. Я спешила передать это матери моей; она вышла к женщине и, посадив ее подле себя на диване, начала спрашивать, откуда она и что ей нужно? Та отвечала, что она из Москвы, разоренной французами, всего лишилась и просит помощи... При этом она засмеялась. Мать моя, испугавшись и полагая, что это какая-нибудь сумасшедшая, поспешно встала и хотела уйти; но та, сняв поспешно с головы капюшон салопы, схватила ее за руку и сказала: «Друг мой Сашенька! неужели ты меня не узнаешь?» Мать моя, узнав в ней сестру свою, Дарью Алексеевну Державину, которую более двадцати лет не видала, до того обрадовалась, что с нею сделалось дурно... Услышав, что и дядя наш, Гаврила Романович, тоже приехал и остановился на горе в экипаже с племянницей своей, Прасковьей Николаевной Львовой, мы все поспешили навстречу к нему. Как описать общую радость нашу?.. Пришедши в дом, добрые родные поражены были чудным местоположением, представившимся их глазам, и еще более обществом, которого вовсе не предполагали найти в Обуховке. Для нас особенно интересна была встреча Троицкого и Державина, двух сановников в царствование Екатерины II, впрочем, не совсем дружелюбных в то время. С каким взаимным уважением они раскланивались! как величали друг друга «ваше высокопревосходительство» и не хотели сесть один прежде другого... Сначала в их отношениях заметна была некоторая холодность, но, прожив несколько дней вместе, они сошлись, и можно себе представить, как для отца нашего и для нас всех интересны и поучительны были беседы и суждения таких опытных, благомыслящих и умных людей!

Гаврила Романович был в восхищении от Обуховки и несколько раз повторял, что он был бы счастлив, если б мог доживать свой век в таком месте, где все дышит поэтическим вдохновением. Покрытый сединами, он был чрезвычайно приятной наружности; в хорошем расположении духа он обыкновенно припевал или присвистывал что-нибудь, или обращался стихиками то к птичкам, которых было так много в комнатах, то к собачке своей Тайке, которую обыкновенно носил он за пазухой. Отдавая всегда полную справедливость красоте, он очень полюбил двух девиц, проживавших в то время у нас, прехорошеньких блондинку и брюнетку, с которыми обыкновенно гулял под руку и много шутил.

Тетка наша, Дарья Алексеевна, и в то время была еще хороша собою, большого роста, чрезвычайно стройна, и с величественным видом соединяла много приятности. Кузина наша, Прасковья Николаевна Львова, красивая брюнетка, была очень мила, удивительно как скромна и приветлива. Она впоследствии

созналась нам, что не совсем с приятными чувствами ехала в Малороссию, как в дикий край, где и в нас всех думала встретить полудиких, необразованных людей, и как для нее было неожиданно увидеть во всем совершенную противоположность. Прожив у нас около двух недель, дорогие гости уехали и оставили нам самые отрадные воспоминания. Мы проводили их за 70 верст к дяде нашему, Петру Васильевичу, откуда они и пустились в обратный путь через Киев в Петербург».

В Обуховке посетил Державина покойный князь Николай Андреевич Цертелев, живший верстах в 60 оттуда в своем имении. Престарелый поэт был очень польщен вниманием этого в то время еще молодого человека, с которым прежде не был знаком. Читая вслух его стихотворения, Цертелев в одном из них обратил внимание на какое-то звукоподражание. При этом Державин заметил, что люди часто находят у поэта то, о чем он сам никогда и не думал. «Здесь звукоподражание, — сказал он, — явилось совершенно случайно».

19-го июля Державины поехали в Киев. Верстах в 10 от Трубайц (имения П. В. Капниста) их застигла ужасная гроза, так что путешественники вынуждены были искать убежища и переночевать в пустынном доме какого-то Галицкого. Гаврила Романович шутил над этой неудачей, говорил, что напишет поэму и в ней представит двух волшебниц, добрую и злую, которые попеременно управляют их путешествием. 25 июля супруги прибыли в Киев и три дня осматривали все примечательное. Гаврила Романович обещал графине Браницкой побывать в ее прекрасном имении Александрии, в 73-х верстах от Киева. Благодаря распоряжениям киевского губернатора, графа Санти, они перенеслись туда в несколько часов. Здесь главным предметом разговоров был, естественно, Потемкин. Графиня повела их в здание, составлявшее род пантеона и воздвигнутое в честь князя Таврического. Там стоял бюст его посреди многих других, в числе которых был и бюст Державина. Налюбовавшись чудными садами Александрии и осмотрев близлежащее местечко Белую Церковь, возвратились в Киев и пробыли там еще несколько дней. Приехав 13 августа в Москву, они удивились перемене, происшедшей в ней во время их краткого отсутствия: многие каменные дома, которых только стены уцелели от пожара, не только были исправлены, но уже и снова сделались обитаемы. Везде кипела работа; шум топора и молотка сливался с веселыми песнями каменщиков, составлявшими странную противоположность с поражавшими взоры остатками разрушения.

На обратном пути из Москвы, откуда выехали 17-го августа, племянница Державина читала ему вслух новую в то время книгу «Матильда, или Записки из крестовых походов», соч. г-жи Коттен, перевод Д. Бантыш-Каменского (6 частей). Сам же Гаврила Романович много рассказывал своим спутникам про Екатерину II, про ее восшествие на престол, говорил также о Наполеоне и особенно о его попытке вступить в русскую службу, чтобы скорее «сделать карьеру».

В Званку путешественники воротились 26-го августа, в годовщину Бородинской битвы, ровно через год после этого славного дня. Нескольким дней спустя они получили от Капниста письмо, в котором он говорил: «Не поверите, какую пустоту поселили вы в Обуховке: все хочется иттить в ваш домик; все кажется, вы из него выйдете. Я уже и мимо его не хожу. — Грустно! Долго не виделись, увиделись на короткое время и долго не увидимся! Очень грустно».

В Гавриловку Державин не заезжал. Может быть, причиною тому были дурные вести о тамошнем управлении. На совет Капниста определить туда честного приказчика с большим жалованьем, хотя бы в 1000 р., он отвечал: «Но где найдешь такого человека? Кого я ни определял в течение 30 лет, то только разоряли и обкрадывали; даже поручал благородным людям и собственникам своим, — но и тех приказчики обманывали, то мне было все не прибыльно». Наконец, по рекомендации Капниста (уже после путешествия Державина), взят был в управляющие некто Сулецкий, обещавший давать до 10.000 р. доходу. Но уже года через два он был отрешен по доносу гавриловского писаря, и управление имением поручено предложившему свои услуги соседу Морозову. По этому поводу Державин в письме к Сулецкому исчислил все плутни последнего и просил его из имения выехать. К чести поэта служат тут следующие строки: «Что же касается до того беспокойства вашего, чтоб я не стал мстить сыну вашему, то этим вы меня чувствительно обижаете: я никогда никому не мстил. Но Бог с вами; Иван Григорьевич (Морозов) и по прочим взысканиям может вам сделать снисхождение, ибо я все ему предоставил и готов всячески вам служить, ежели где и что могу».

Сын Сулецкого воспитывался в Петербурге в каком-то корпусе, куда был помещен стараниями Державина, и посещал его дом. По смерти Гаврилы Романовича эта деревня досталась жене его, а от нее по духовному завещанию перешла в собственность любимого ее племянника, Семена Васильевича Капниста.

Кстати, скажем несколько слов и об оренбургском имении. Мы оставили его под управлением Чичагова после бывшего там в 1800 году пожара. В 1802 Державин жалуется, что Чичагов ему вовсе не пишет и никаких доходов не высылает, вероятно потому, что, будучи занят службой и откупом, не имеет времени заботиться о посторонних делах. В 1809 году он пишет тогдашнему управителю (кажется, сыну Чичагова) и выражает удивление, что не получает от него ответов на свои письма, особенно на то из них, при котором посланы были брильянтовые перстни: «Получили вы их и довольны ли вы ими? Не приняли ли вы на сердце, что я препроводил к вам дошедшие ко мне сведения о беспорядках моих сельских управителей? Но то, поверьте, милостивый государь мой, отнюдь к вам не относится, а только к замечанию, с одной стороны, тех, которые, может быть, желают нас помутить и охолодить мою к вам доверенность, а с другой —

к осторожности начальников сельских, дабы они не ослабевали в управлении их должности».

Таким-то образом наш добродушный землевладелец щадил своих управителей, все еще не проученный опытом и продолжая верить им. Наконец, в последнее время жизни ему удалось поручить свой винокурный завод (в оренбургском имении) более надежному человеку, крестьянину Разуваеву, которого он и благодарит за хороший доход, объявляя, что в знак признательности освобождает «дочерей его и вестов от господских работ. Служите только верно: я и всем крестьянам и людям сделаю такую милостивую льготу, что они после меня вечно будут меня благодарить». В другой раз он говорит, что им написана духовная, исполнение которой наследниками доставит всем подвластным ему облегчение. В то же время он принимает меры, чтобы «отвязаться от прежнего надзирателя за своими (оренбургскими) деревнями» и заявляет намерение передать их управление Ф. М. Карамзину (брату историографа) как одному из ближайших соседей своих, и для этого ожидает его прибытия в Петербург. Письмо о том было послано за несколько месяцев до смерти Державина. Оренбургское имение, как будет видно ниже, было завещано им родственнику его Миллеру.

10. Черты домашней жизни в Петербурге

Мы еще не говорили вообще об образе жизни Державина. Он вставал рано, в пять или шесть часов утра, и, вставши, пил чай; в два часа обедал, ужинал в десять; вина почти совсем не пил, кофе не любил. Уже со времени первой женитьбы он не увлекался картами и играл умеренно, но все-таки проигрывал в год до тысячи или полутора тысяч рублей, которые Дарья Алексеевна и выдавала ему на его «маленькие проигрыши». При ежегодном доходе от 60.000 до 70.000 руб. она охотно допускала эту трату. Все деньги были в ее руках; она распорядилась безотчетно всеми хозяйственными делами и расходами, не исключая покупки и продажи земель и т. п. Раз в неделю у Державиных собирались гости к обеду, который тогда бывал в 3 или 4 часа, а вечером устраивались для молодежи танцы, продолжавшиеся далеко за полночь. Но сам Гаврила Романович, по крайней мере в последние годы жизни, удалялся уже часов в одиннадцать. Дарья Алексеевна провожала его наверх и, уложив, возвращалась к гостям. Он любил музыку, особенно Баха и Крамера; часто, слушая ее, ходил по комнате и ударял в такт; если он при этом все ускорял шаги и, наконец, исчезал в кабинет, то все знали, что надо ожидать новых стихов. Почти до конца жизни он сберег хорошее зрение и только для самого мелкого шрифта иногда употреблял лупу.

Кроме обоих супругов и трех племянниц их, девиц Львовых, в доме Державина в последнее время жили еще: Вера Петровна Лазарева, дочь знаменитого впоследствии адмирала; старший

сын Петра Никитича Миллера; родственник его, молодой Фок (оба позднее замешаны были в историю 14-го декабря); далее, сыновья В. В. Капниста, и долее других Семен Васильевич (с 1813 по 1822 г.). По месту жительства Державины принадлежали к приходу церкви бывшего Дворянского полка (ныне Константиновского училища), что на Обуховском (ныне Забалканском) проспекте. По смерти мужа Дарья Алексеевна пожертвовала в эту церковь 2400 рублей.

Молодые дамы вышивали Гавриле Романовичу кушаки, которыми он подпоясывал свой халат. Дома, когда не было гостей, он обыкновенно носил шелковый шлафрок, подбитый беличьим мехом, и колпак. В этом костюме описывают его молодые люди, оставившие нам свои воспоминания о нем. Один из посетивших его в 1813 году (некто Кузминский) видел его в халате, опущенном соболями, во фланелевой плотно застегнутой фуфайке; на шее был у него белый кисейный платок, а на голове белый же вязаный колпак. Он давно был лыс и, одевшись, являлся в парике с мешком; выезжал во фраке, в коротеньких панталонах и гусарских сапожках, над которыми видны были чулки.

Любопытные подробности о быте и привычках Державина в последние годы его жизни сообщили нам приезжавшие на время в Петербург Жихарев, Панаев и С. Т. Аксаков.

С. П. Жихарев был внук тамбовского помещика, с которым Державин сблизился во время своего губернаторства в тамошнем крае. Молодой Жихарев, воспитанный в благоговении к певцу Фелицы, сам мечтал о славе поэта и, написав трагедию «Артабан», хотел показать ее знаменитому писателю. Приехав в Петербург в конце 1806 года, он послепил представиться ему и 5-го декабря записал в своем дневнике: «Был у Державина и до сих пор не могу прийти в себя от сердечного восхищения. С именем Державина было соединено в моем понятии все, что составляет достоинство человека: вера в Бога, честь, правда, любовь к ближнему, преданность к государю и отечеству, высокий талант и труд бескорыстный... И вот я увидел мужа,

Кто, строя лиру,
Языком сердца говорил».

В большом волнении, с трепетом и нетвердою поступью молодой человек, по указанию дремавшего в прихожей лакея, поднялся по деревянной лестнице. Взойдя наверх, он остановился перед стеклянною дверью, завешенной зеленою тафтою. Случившаяся тут прелестная девушка лет 18-ти (старшая дочь Львова), видя его смущение, растворила перед ним дверь. Он застал Державина за письменным столом, стоявшим посредине кабинета; поэт сидел в описанном выше домашнем костюме; из-за пазухи его торчала головка белой собачки.

Державин принял юношу очень радушно и тотчас предложил ему свои услуги для определения его в службу, но тот отвечал, что уже имеет место, и объяснил бескорыстную цель своего по-

сечения. Затем поэт, увидев у него под мышкой тетрадь и узнав, что это его сочинение, попросил прочесть отрывок из «Артабана». Прослушав чтение с видимым удовольствием, он выразил желание удержать на время рукопись. Предложение остаться обедать Жихарев не мог принять, обещав быть в другом доме. «Ну, так милости просим послезавтра, — сказал поэт, — но у нас это день невеселый: память по Н. А. Львове». По назначению Жихарев явился в 3 часа. Домашние уже были собраны в большой гостиной, в нижнем этаже, и сидели у камина; а сам поэт, в том же синем шелковом тулупе, но на этот раз в парике, задумчиво расхаживал по комнате и по временам гладил головку собачки, которая высовывалась у него из-за пазухи. Он тотчас представил гостя Дарье Алексеевне, а потом, обратившись к племянницам, продолжал: «Вам рекомендовать его нечего: сами познакомятся». И тут же с большою живостью стал говорить об «Артабанах»: «Читал я, братец твою трагедию и, признаюсь, оторваться от нее не мог: ну, право, прекрасно! Да откуда у тебя талант такой? Все так громко, высоко; стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова». Жихарев отвечал, что с малолетства напитан был чтением св. писания и его сочинений; что едва только выучился лепетать, как знал уже наизусть оду «Бог», «Вельможу», «Мой истукан», «На смерть князя Мещерского», и что эти стихотворения служили для него лучшим воспитательным средством. За обедом приезжего посадили возле хозяйки, которая была к нему чрезвычайно ласкова и просила посещать их запросто, как родных. Сам Державин помалкивал; напротив, прелестные племянницы его говорили много, умно и мило. После обеда Гаврила Романович сел в кресла за дверью гостиной и тотчас же задремал. Жихарев спросил у Веры Николаевны, что это за собачка за пазухой у него. «Это воспоминание доброго дела», — отвечала она. К Державину ходила по временам за пособием одна бедная старушка с этой собачкой на руках. Однажды зимою бедняжка притащилась, окоченевшая от холода, и, получив обыкновенное пособие, со слезами умоляла своего благодетеля взять себе эту собачку, которая всегда к нему так ласкалась, как будто чувствовала доброе дело. Он согласился, но с тем чтобы старушка по смерти получала от него свою пенсию. С тех пор собачка не оставляет своего господина ни на минуту, и если она у него не за пазухой или не вместе с ним на диване, то лает, визжит и мечется по целому дому. За пенсию старушка уже не в силах была приходить; Державин сам заносил ей деньги всякий месяц.

«Покамест наш бард дремал в своем кресле, — продолжает Жихарев, — я рассматривал известный портрет его, писанный Тончи. Какая идея! как написан и какое до сих пор сходство! Мне хотелось видеть его бюст, изваянный Рапетом и так им прославленный в стихотворении «Мой истукан», но он, по желанию поэта, находился наверху, в диванной его супруги. Еще при жизни Катерины Яковлевны Державин писал о нем:

А ты, любезная супруга,
Меж тем возьми сей истукан;
Спрячь для себя, родни и друга
Его в серпьяный твой диван.

Проснувшись, Гаврила Романович опять, между прочим, повторил предложение дать мне на всякий случай рекомендательные письма к князю Лопухину и к графу Румянцеву и даже настаивал на том, чтобы я к ним представился. «Князь Лопухин, — сказал мне Гаврила Романович, — человек старинного покроя и не тяготеет принять и приласкать молодого человека, у которого нет связей; да и Румянцев человек обходительный и покровительствует людям талантливым и ученым. Правду молвить, и все-то они (разумея министров) большею частью люди добрые; вот хоть бы и граф Петр Васильич (Завадовский), хотя и не может до сих пор забыть моего Беатуса. Да как быть!»

Жихарев решился воспользоваться рекомендациями Державина и не имел причины раскаяться в том: министры приняли его крайне радушно и бесцеремонно. Позднее Державин представил своего молодого почитателя также Оленину и Козодавлеву.

11-го декабря Жихарев опять записал в своем дневнике: «Обедал у Гаврилы Романовича; это не человек, а воплощенная доброта; ходит себе в своем тулупе с Бибишкой за пазухой, насупившись и отвеся губы, думая и мечтая, и, по-видимому, не занимаясь ничем, что вокруг его происходит. Но чуть его слуха коснется какая-нибудь несправедливость или оказанное кому притеснение, или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело, — тотчас колпак набекрень, оживится, глаза засверкают, и поэт превращается в оратора, поборника правды, хотя, надо сказать, ораторство его не очень красноречиво, потому что он недостаточно владеет собою: слишком горячится, путается в словах и голос имеет довольно грубый, но со всем тем в эти минуты он очень увлекателен и живописен. Кажется, мое чтение ему понравилось, потому что он заставлял меня читать некоторые прежние свои стихотворения и слушал их с таким вниманием, как будто бы они были для него новостью и не его сочинения. Меня поразило в нем то, что он не чувствовал настоящих красот в своих стихотворениях, и ему нравились в них именно те места, которые менее того заслуживали.»

Несколькими годами позднее посетил поэта молодой Панаев, дальний родственник и земляк его, в то время еще студент. Давно бредил он стихами Державина и горел нетерпением увидеть его. Собравшись в Петербург в 1815 году, он получил от казанского Общества любителей российской словесности поручение выпросить у знаменитого лирика копию с его портрета и экземпляр его сочинений. «Копию? — сказал Державин. — Да ведь это денег стоит». — «Зато, — возразил Панаев, — с какою благодарностью примет Общество изображение великого поэта,

своего почетного члена! Да и где приличнее, как не там, стоять вашему портрету?» — «Ну, хорошо. Но с которого же списать копию? С Тончиева, что у меня внизу? Да он очень велик, во весь рост». — «А с того, что был на нынешней академической выставке», — подхватил Панаев, разумея недавно сделанный художником Васильевским портрет его; но вдруг заметил свою неловкость и замолчал. — «Как это можно? — возразил Державин. — Там написан я в колпаке и в тулупе! Нет, лучше с того, который в Российской академии, писанный отличным художником Боровиковским. Там изображен я в сенаторском мундире и в ленте. Когда будет готов, я пришлю его к тебе для отправления, а сочинения можешь, пожалуй, взять и теперь. Их вышло четыре тома; пятый отпечатается летом: его пошлем тогда особо». В этот раз Панаев, при входе в кабинет Державина, застал его сидящим у окна за маленьким столиком с аспидною доскою, на которой он набрасывал или исправлял стихи свои, и опять с собачкою за пазухой. Так большею частью он заставлял его и в последующие утренние посещения. В продолжение же разговора о портрете они очутились на диване, который имел особенное устройство: был гораздо шире и выше обыкновенных, со ступеньками от полу и с двумя по бокам шкапиками, верхние доски которых заменяли собою столики. В этих шкапиках были ящики, где хранились рукописные труды поэта. Кликнув человека, он велел принести 4 тома своих сочинений и, по просьбе Панаева сделав на первом томе надпись, передал их молодому человеку.

Это свидание происходило дней за пять до Рождества. Прощаясь, любезный старец потребовал, чтобы Панаев как родной 25-го непременно у него обедал, причем обещал познакомить его и с женою. При этих словах Панаев вспомнил, что когда он отъезжал в Петербург, то дядя его выразил ему сомнение, чтобы Дарья Алексеевна приняла его так же благосклонно, как Гаврила Романович: был слух, что она старалась отклонить мужа от казанских родных его и вообще от старых друзей и окружала своими родственниками. Действительно, опасение это вполне подтвердилось. Когда Панаев явился к Державиным в день Рождества, хозяйка обошлась с ним очень сухо. В этот раз Державина трудно было узнать: он был в коричневом фраке, с двумя звездами, в хорошо причесанном парике. Гостей было человек тридцать, большею частью пожилых. В числе их особенное внимание своими рассказами и даром слова возбуждал Лабзин. О святках молодой казанский приезжий был у Державина раза два на танцевальных воскресных вечерах; упоминая о них, он опять жалуется на нелюбезность хозяйки. В эти два вечера его наиболее занимали два предмета: во-первых, нежное обращение хозяина с тогдашней красавицей Колтовской, женщиной лет 35, бойкою, умною; Гаврила Романович почти не отходил от нее и казался бодрее обыкновенного; во-вторых — очаровательная грациозность в танцах меньшей племянницы Державиных, Пракскови Николаевны Львовой.

Во время пребывания Панаева в Петербурге, 19-го марта 1816 года, праздновалась там годовщина взятия Парижа: в этот день был великолепный парад на дворцовой площади. Столица была в восторге от давно не виданного зрелища. Державин написал сонет. Несмотря на несомненное ослабление его таланта, всякие новые стихи его обращали на себя общее внимание: о них говорили, их переписывали и сообщали друг другу в списках. Узнав об этой поэтической новинке, Панаев отправился к поэту. Это было в воскресенье после обедни. Он сидел за большим письменным столом, а от него полукругом пятеро гостей (в том числе Ф. П. Львов и Н. Г. Политковский, члены Беседы), критиковавших какое-то стихотворение Жуковского. Когда Панаев, пользуясь минутою молчания, попросил у хозяина вновь написанных им стихов, чтобы взять их с собою и списать, то он отвечал: «У меня только и есть один экземпляр; между тем приезжают, спрашивают. Лучше сядь сюда к столу и спиши здесь». Последний раз Панаев был у него во вторник на Фоминой неделе и застал его в кабинете уже убирающим свои бумаги для отъезда через неделю на Званку. По приглашению Державина он принялся помогать ему. Увидев большую связку с надписью «Трагедии и оперы», он выразил свое удивление и спросил, играли ли их на театре. «Куда тебе? — отвечал поэт. — Теперь играют только сочинения кн. Шаховского, потому что он всем там распоряжает». При этом Державин предложил Панаеву взять на дом для прочтения трагедию «Василий Темный» и оперу «Эсфирь» и возвратить их в следующую субботу с отзывом, как они ему понравятся. Панаев, очень недовольный ими, не решился идти к Державину в назначенный день, и когда вечером к нему явился швейцар поэта звать его, то он притворился больным и возвратил тетради через посланного. Вскоре Державин действительно уехал в деревню, и Панаев более не видал его.

Всех подробнее и живее описал свое знакомство с нашим поэтом покойный С. Т. Аксаков, сблизившийся с ним также незадолго до его смерти, в начале 1816 г. Аксаковы считали себя соседями Державина по оренбургскому имению и были давно несколько знакомы с ним: младший брат Сергея Тимофеевича, подпрапорщик Измайловского полка, живший поэту в доме Гарновского, был уже прежде вхож к нему. Наслышавшись от этого молодого человека об искусном чтении Сергея Тимофеевича, Державин нетерпеливо желал познакомиться с ним, чтобы заставить его читать вслух свои трагедии. Когда этот, в то время двадцатитрехлетний юноша, приехал в Петербург, то Гаврила Романович не мог дожидаться его посещения и часов в 10 утра, на другой день по приезде его, посылал за ним. Аксаков был одним из самых восторженных почитателей поэта, знал множество стихов его наизусть и потому считал знакомство с ним счастливейшим событием своей жизни. В величайшем волнении, с робостью вступил он в дом его, но, раз уже будучи там, совершенно оправился. Из залы налево была дверь в кабинет Державина.

вина; он благоговейно, но смело вошел в это «святилище русской поэзии». Гаврила Романович сидел на знакомом уже нам диване с аспидной доской и грифелем в руках. Встреча была с обеих сторон сердечная. «Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстука, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями; на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал, как две капли воды». Во время разговора об интересных для обоих предметах, об оренбургском крае, о Казани, о гимназии и университете, молодой гость с одушевлением прочел несколько стихов из пьесы «Арфа», где поэт обращается к Казани. Лицо Державина оживилось, глаза вспыхнули. «Вы хотите мне что-нибудь прочесть?» — и в глазах его заветился тот святой огонь, который внушил ему многие бессмертные строфы. Видя непритворное волнение Аксакова, он просил его успокоиться, а между тем встал и начал выдвигать ящики, которых находилось множество по бокам и над спинкой дивана. Вытащил две листовые тетради, переплетенные в зеленый сафьян.

— В одной книге мои мелочи, — сказал он, — а о другой поговорим после. Вы что хотите мне читать? Верно, оды «Бог», «Фелицу» или «Видение мурзы»?

— Нет, — отвечал Аксаков, — их читали вам многие, особенно актер Яковлев. Я желаю прочесть вам оду «На смерть князя Мещерского» и «Водопад».

— А я хотел вам предложить прочесть мою трагедию...

— Сердечно рад, но позвольте мне начать этими двумя стихотворениями.

— Извольте.

— Я знаю наизусть почти все ваши стихи, но на всякий случай желал бы иметь в руках ваши сочинения; верно, они есть у вас.

— Как не быть? — улыбнувшись сказал Державин. — Как сапожнику не иметь шильев? (сравнение довольно странное, замечает Аксаков) — и он достал из ящика свои стихотворения, богато переплетенные в красный сафьян.

Чтение оды «На смерть князя Мещерского» произвело на самого поэта потрясающее впечатление: он обнял чтеца со слезами на глазах. «Я услышал себя в первый раз», — сказал он после некоторого молчания и стал хвалить чтение; но Аксаков скоро заметил, что у него что-то совсем другое на уме. Он понял, что дело шло о чтении трагедии. «Скрепя сердце, — говорит Аксаков, — я пожертвовал на этот раз «Водопадом» и хорошо сделал: Державин стал бы слушать меня рассеянно. Впоследствии я нашел минуту, когда он свободно мог устремить все свое внимание на это чудное стихотворение, дико составленное, но богатое первоклассными красотоми: выражение этих красот было им тогда почувствовано вполне». Разговор о чтении трагедии привел к тому, что Державин велел слуге собрать экземпляр «Ирода

и Мариамны» из печатных листов, лежавших большим тюком в нижнем ящике того же дивана. Позваны были жена Державина, племянница ее (Прасковья Николаевна Львова) и племянник, сын Капниста. Аксаков прочел всю трагедию в один присест почти без отдыхов и с такою восторженностью, которая, конечно, может быть объяснена не содержанием трагедии, а наэлектризованным настроением читавшего. Он сознается, что для него самого это чтение было психологическим, весьма замечательным явлением: «Чтение было в то же время, мало сказать, неверно, несообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно. Я чувствовал это, хотя неясно, в самое то время как читал. Тем не менее чтение и на других, и на меня произвело магическое следствие. Можно себе представить, что было с Державиным: он решительно был похож на человека, одержимого корчами. Все мои сердечные ноты, каждый переход из тона в тон, каждый одушевленный звук перечувствовала его восприимчивая, страстная душа! Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело было в движении. Восхищению, восторженным похвалам, объятиям не было конца, а моему счастью не было меры. Державин через несколько минут схватился за аспидную доску и стал писать грифелем. Все присутствовавшие, кроме меня, вышли. Державин писал стихи на мое чтение. Торопливо писала его дрожащая рука и беспрестанно стирала написанное. Наконец Гаврила Романович взял читанную мною трагедию и на первом листе вверху заглавия написал четыре стиха». Впоследствии книга эта как-то затерялась, и Аксаков помнил только, что стихи оканчивались словами «себя услышал в первый раз», теми самыми, которые вырвались у него после чтения оды «На смерть Мещерского».

Естественно, что после этого молодой Аксаков сделался частым и любимым гостем певца Фелицы. Чего не перечитал он Державину: и переведенную поэтом «Федру» Расина, и собственные его трагедии — «Евпраксию», «Темного», «Атабалибо», и сверх того две большие тетради в лист разных мелких его стихотворений, состоявших из басен, картин, нравственных изречений, надписей, эпитафий, эпиграмм, мадригалов и проч. «В этой громаде стихов, лишенных иногда всякого достоинства (речь идет о драматических сочинениях), изредка встречались стихи очень сильные и блестящие лиризмом, впрочем, по большей части несвойственные лицу их произносившему. В мелких стихотворениях также изредка мелькал, может быть, не строго верный, но оригинальный взгляд, и если не цельный, то односторонне живой и поэтический образ. Вулкан потухал, но между грудями камней, угля и пепла мелькали иногда светлые искры прежнего огня. Дарования драматического Державин решительно не имел; у него не было разговора, — все была песнь; но увы! он думал, что его имеет; часто он говорил мне с неуважением о своих одах и жалел, что в самом начале литературного своего поприща не посвятил себя исключительно трагедии и вообще драме».

Бывая у Державина, Аксаков почти всякий раз упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. По окончании чтения он обыкновенно с улыбкой говаривал: «Ну да, это недурно, есть огонь, да ведь все пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет: все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои анталогические пьесы будут оценены и будут жить». Эротические стихотворения Державина, как уже было показано, также не нравились Аксакову.

Эти чтения кончились тем, что Державин от излишнего напряжения нервов прихворнул, и Дарья Алексеевна вынуждена была тайно от мужа просить Аксакова прекратить на время свои посещения, что, впрочем, было исполнено ею очень деликатно. По этому поводу было много шуток и смеха в доме Гарновского, где Аксаков был знаком почти со всеми офицерами, и в родственном кругу Державина. Говорили, что приезжий зачитал старика и сам зачитался, и что оба принуждены были не шутя лечиться. Молва подхватила это простое событие и распустила по городу с обычными украшениями. Рассказывали, что какой-то приезжий сумасшедший декламатор и сочинитель едва не умолил старика Державина чтением своих сочинений и что, наконец, принуждены были через полицию вывести этого чтедасочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю. Когда Державин поправился, Аксаков опять стал посещать его, но уже более не читали. О чтении его в тот памятный вечер, когда напрасное ожидание Карамзина так взволновало поэта, было уже говорено. Прибавим только, что при этом случае Аксаков упоминает о холодности, которую он в последнее время, подобно Панаеву, постоянно испытывал со стороны Дарьи Алексеевны.

19-го марта должно было происходить одно из торжественных заседаний Беседы. Желая, чтобы и Аксаков в этот вечер прочел что-нибудь, Державин назначил ему для этого рассказ из трагедии «Атабалибо» и стихотворение «Развалины Греции» Аркадия Родзянки, молодого человека, служившего в лейб-егерском полку. Аксаков согласился, но по стечению обстоятельств должен был за несколько дней до собрания Беседы уехать в Москву. Накануне своего отъезда он провел вечер наедине с Державиным и, вспоминая о том, говорит: «Сколько простосердечия, теплоты, живости и благодушия сохранялось еще в этом 73-летнем старце, в этом гениальном таланте! Много добрых советов сказал он мне на прощанье, искренно благодарил, много предсказывал мне в будущем. Самый последний совет состоял в следующем: не переводите, а пишите свое, что в голову войдет; в молодости переводить вредно: сейчас заразишься подражательностью; в старости переводите, сколько угодно».

Внимания заслуживает общее суждение Аксакова о личности Державина. «Благородный и прямой характер Державина был так открыт, так определен, так известен, что в нем никто не ошибался. Можно представить себе, что в молодости его горяч-

ность и вспыльчивость были еще сильнее, и что живость увлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на всю свою опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава, и я думаю, что она много надела-ла ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах».

К молодым начинающим писателям Державин вообще относился очень снисходительно, готов был поощрять всякий труд и часто видел дарование там, где его вовсе не было. Этим объясняется, почему в числе лиц, которые в последние годы его жизни имели легкий к нему доступ и находили у него самый радужный прием, мы встречаем таких литераторов, как Станевич, Павел Львов, Борис Федоров и др.

В 1815 году он отдал в печать рукопись V тома своих стихотворений, в который вошла часть того, что было им написано после издания первых четырех томов. Печатание происходило под надзором секретаря Российской академии П. И. Соколова. Вышел этот том в мае того же года, т. е. только месяца за полтора до кончины поэта. Тогда же Соколов, по его поручению, приступил к изданию VI тома, который должен был заключать в себе его драматические сочинения и начинался трагедией «Ирод и Мариамна». Но V том расходился так туго (частью, может быть, от глухой поры, в которую он был выпущен), что Державин за неделю до своей смерти писал С. В. Капнисту: «Лучше несколько повременить печатанием тех драм, а о продаже V-й части еще сделать публикацию в газетах, и когда станут покупать, тогда и приступить к печатанию новых пьес. Видно, что последняя часть худо нравится, что так мало расходится. Я это предвещал, зная что мало вкусу имеет публика для такого рода книг». Между тем Евгений, получив присланный ему поэтом V том, выражал особенное сожаление, что не находил в нем «многих ему знакомых стихотворений и прекрасного опыта о лирической поэзии».

Незадолго до того Державин возвратился к мысли, много раз его занимавшей: сделать роскошное иллюстрированное издание своих сочинений, к которому рисунки в его рукописях давно были готовы. После неудачных попыток найти к тому граверов за границей, он решился обратиться к известному уже в то время русскому художнику Н. И. Уткину и в начале 1816 года пригласил его к себе. В продолжение переговоров по этому предмету Уткин однажды обедал у Державина. После супа поэт удалился в свой кабинет, где Уткин, по окончании обеда, и застал его раскладывающим пасьянс, по обыкновению в халате, с собачкой за пазухой. Пока они рассматривали рисунки в тетрадях его и толковали о задаче художника, Дарья Алексеевна подходила к дверям и заглядывала в кабинет, как будто с тем, чтобы удержать мужа от какой-нибудь невыгодной сделки. Однако на этот раз совещание кончилось только тем, что Уткин

обещал составить смету издержек и занести ее лично, когда она будет готова. Но между тем Державин успел уехать в Званку, и Уткин отправил ему свою смету по почте. Всех виньеток предполагалось 515, больших и малых; цена за каждую первого ряда назначалась во 100 руб., второго — в 50 руб.; вся сумма составляла 39.000 руб. Случившаяся вскоре смерть Державина расстроила это предприятие.

11. Экзамен в Царскосельском лицее

В последние годы жизни Державин как высокопоставленное лицо и литературная знаменитость часто приглашаем был на разные торжественные случаи. В бумагах его остались печатные приглашения за несколько лет на выпускные экзамены в губернскую гимназию; а в начале 1815 года он получил из Царскосельского лицея такое же приглашение присутствовать на публичном испытании воспитанников, переходивших из младшего курса в старший. Это были те молодые люди, которые поступили в это заведение при открытии его 19-го октября 1811 г. и из которых многие приобрели впоследствии всеобщую известность, а некоторые и громкую славу. В списке 28 юношей были, между прочим, еще ничего не говорившие имена Вальховского, кн. Горчакова, Дельвига, Илличевского, барона Корфа, Кюхельбекера, Матюшкина, Пуцина и др. Не называем Пушкина, так как он уже обратил на себя внимание и вне стен лицея. Первый директор этого заведения, Малиновский, умер около года перед тем, и преемника ему еще не было назначено. Шел так называемый в летописях лицея период междуцарствия; управление училищем вверено было инспектору его по учебной части Фролову под главным наблюдением директора лицейского пансиона Гауэншильда. Для помянутого переходного экзамена назначено было два дня: 4 и 8 января, и в разосланной предварительно печатной программе предметы испытания были распределены следующим образом: на 1-й день — закон Божий, логика, география, история, немецкий язык и нравоучение, а на 2-й — латынь, французский язык, математика, физика и «русский язык», поставленный последним, конечно, в том соображении, что экзамен по этому предмету обещал быть самым интересным и блестящим. Подробная программа всех испытаний оканчивалась заявлением, что воспитанники могут быть спрашиваемы и посетителями. «В заключение (сказано в ней) показаны будут опыты воспитанников в рисовании, чистописании, фехтовании и танцевании». Специальную программу экзамена из русского языка составляли:

- 1) Разные рода слогов и украшение речи.
- 2) Краткая литература красноречия в России.
- 3) Славянская грамматика.
- 4) Чтение собственных сочинений.

Для этого-то экзамена, преимущественно, и отправился Державин 8-го января в Царское Село. Конечно, он не мог не знать

о необыкновенном таланте Пушкина, уже являвшегося в печати, и хотел послушать гениального юношу. В истории русской литературы навсегда останется достопамятным день, когда славнейший из отживавших представителей поэзии встретился с новым, еще более ярким светилом ее. Пушкин сам и описал для потомства эту незабвенную встречу. Вот его слова, которые должны найти место в биографии обоих писателей:

«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцеловать руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь выйти? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плюсовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил: он сидел, поджавши голову рукою; лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился: глаза заблестали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Державин слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось упительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли».

В одной из тетрадей, содержащих рукописные сочинения и брошюры, которые подносились Державину, нашелся между прочим тщательно написанный рукою самого Пушкина список этого стихотворения, конечно, тот самый, который представлен был ветерану русской поэзии на лицейском экзамене. Заметим, что оно резко отличается от других произведений Пушкина своим торжественным тоном и вообще приемами ломоносовской оды; некоторые места отзываются явным подражанием Державину; слова к нему относящиеся читаются в конце 8-ой строфы:

О громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали.
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

Это чтение было, конечно, торжеством и для лицейского профессора Галича, который в то время заменял больного Кошанского и «заставил» Пушкина написать к экзамену «Воспоминания в Царском Селе». На Державина произвело оно сильное впечатление: он вполне оценил талант Пушкина и понял, чего можно ожидать от него в будущем. В самый день экзамена был большой обед у министра народного просвещения, графа А. К. Разумовского. Тут в числе гостей были, между прочим, отец поэта и Державин. За столом хозяин-вельможа, обращаясь к Сергею Львовичу, заметил: «Я бы желал, однако ж, образовать сына вашего к прозе». — «Ваше сиятельство, — с пророческим жаром возразил Державин, — оставьте его поэтом». При первом свидании с Аксаковым он вспомнил даровитого юношу. «Мое время прошло, — сказал он, — теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уж ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей».

Пушкин и в стихах своих два раза вспомнил о сцене на лицейском экзамене. В год выпуска из лицея (1817, следовательно, уже по смерти Державина) он в послании к Жуковскому говорил следующее:

И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, неизвестное мной.

Потом, в начале 8-й главы «Евгения Онегина» (декабрь 1829 г.), возвращаясь в воображении к своей юности, он сказал:

И свет ее (т. е. его музу) с улыбкой встретил.
Успех нас первый окрылил:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Вообще Пушкин до конца жизни не переставал уважать талант и память знаменитого лирика. Только однажды (1825 г.) он, очевидно утомленный предпринятым трудом перечитать его, в письме к Дельвигу произнес строгий о нем приговор: «По твоем отъезде перечел я Державина всего — и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения: вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы (исключая чего — знаешь). Что же в нем? Мысли, картины и движения истинно поэтические. Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-Богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем (не говоря уж о его министерстве). У

Державина должно сохранить будет од восемь, да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова: жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом♦.



Державин в последние годы.

Заметим, что в этом отзыве осуждается исключительно внешняя сторона поэзии Державина. Пушкин вполне оставляет за ним достоинство содержания и судит только с эстетической точки зрения. Нет сомнения, что если бы ему пришлось говорить о Державине не в дружеском письме, а для печати, то он отозвался бы обстоятельнее и принял бы во внимание историческое значение произведений нашего поэта. Пушкин очень хорошо понимал, что оценка старых писателей не может быть верною, если упускать из виду эту сторону. В том же году, когда писано приведенное письмо, он высказал о Ломоносове мнение, которое с полною справедливостью может быть отнесено и к Державину: «Странно жаловаться, что светские люди не читают Ломоносова, и требовать, чтоб человек, умерший семьдесят лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики». Ясно сознавая недостат-

ки поэзии Державина, он, однако, высоко ставил его, как видно из разных отзывов, произнесенных им около того же времени вместе с жалобами на печальное положение нашей поэтики. Так в замечаниях на обзор русской литературы в «Полярной звезде» 1825 г. он говорит: «Кумир Державина, 1/4 золотой, 3/4 свинцовый, донныне еще не оценен. Ода к Фелице стоит наряду с «Вельможей», ода «Бог» с одой на смерть Мещерского, ода к Зубову недавно открыта (?)... Мы не имеем ни единого комментария, ни единой критической книги. Мы не знаем, что такое Крылов, Крылов, который стоит выше Лафонтена, как Державин выше Ж. Б. Руссо». На вопрос Бестужева «отчего у нас нет гениев и мало талантов?» Пушкин отвечает: «Во-первых, у нас Державин и Крылов; во-вторых, где же бывает много талантов?» Наконец, по поводу отзывов о «Графе Нулине» в 1829 году, поэт, ссылаясь на анакреонтические оды Державина, назвал его великим. Вот еще один, более ранний о нем отзыв Пушкина:

Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачил кумиры.

12. Черты деревенской жизни в Званке

В 1863 году, посетив Званку, мы сказали в статье, которая тогда же была напечатана: «Плывя по Волхову, вы тщетно стали бы искать на возвышенном его берегу жилище поэта, двухэтажный дом с мезонином. Берега Волхова от самого Новгорода вообще низки и ровны; но здесь земля подымается довольно длинным овальным холмом. Посредине его возвышалась усадьба: перед фасадом ее, обращенным к реке, находился балкон на столбах, с каменной лестницей, перед которою бил фонтан; снизу по уступам холма был устроен покойный вход. Теперь ничего этого уже нет; видны только остатки крыльца, на месте же самого дома лежат разбросанные кирпичи и сложена груда камней. Рано исполнилось предвещание поэта, выраженное им в стихотворении «Жизнь званская»:

Разрушится сей дом, заглохнет бор и сад.

Зато не оправдался следующий за этим стих:

Не вспомняется нигде и имя Званки.

Оно известно всякому образованному русскому.

Влево от дома (если стоять перед ним лицом к реке) был сад, теперь совершенно заросший: только на стоящем отдельно крупном холме видны деревянные столбы находившейся тут беседки, около которой еще и теперь особенно густо растет зелень с одичалыми цветами. Здесь поэт любил подолгу сидеть и обдумывать новые стихотворения; здесь, любуясь Волховом, он заставлял его говорить:

Я мирный гражданин, торговый...

Уцелели только немногие строения: баня, где отводилось иногда помещение некоторым из гостей, съезжавшихся на Званку; каретный сарай и часовня. Стоявшая внизу, вправо от усадьбы, ткацкая, где готовились сукна и полотна, совершенно исчезла. Но сзади места, где был господский дом, виден теперь навес, под которым сложены разобранные бревна и доски его; там же стоят два каменные небеленые флигеля, построенные по смерти Державина его вдовою для келий предполагавшегося монастыря. Все здесь тихо, пустынно, мрачно; а было время, когда в этих местах кипела жизнь привольная и шумная».

Быт и хозяйство Званки, несмотря на известную расчетливость Дарьи Алексеевны, были устроены на широкую ногу; дом и сад часто оглашались веселым говором многочисленного общества, громом домашней музыки и даже пушек. К таким-то дням относится то, что поэт говорит о своей усадьбе:

Стекл заревом горит мой храмовидный дом,
 На гору желтый всход меж роз осиявая,
 Где встречу водомет шумит лучей дождем,
 Звучит музыка духовая.
 Из жерл чугунных гром по праздникам ревет;
 Под звездной молнией, под светлыми древами
 Толпа крестьян, их жен вино и пиво пьет,
 Поет и пляшет под гудками. —

или, например, описываемый им тут же обед, состоявший из блюд, которые —

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус,
 Но не обилием иль чуждых стран приправой,
 А что опрятно все и представляет Русь:
 Припас домашний, свежий, здоровой.
 Когда же мы донских и крымских кубки вин,
 И липца, воронка и чернопенна пива
 Запустим несколько в румяный лоб хмелин, —
 Беседа за сладьми шутлива.
 Но молча вдруг встаем: бьет, искрами горя,
 Древ русских сладкий сок до подвенечных бремен:
 За здравье с громом пьем любезного Царя,
 Цариц, царевичей, царевен.
 Тут кофе два глотка; схрапну минут пяток;
 Там в шахматы, в шары иль из лука стрелами,
 Пернатый к потолку лаптой мечу леток
 И тешусь разными играми.

Но в обыкновенные дни —

Возможно ли сравнять что с вольностью златой,
 С уединением и тишиной на Званке?

Поэт тут же описывает нам, как он проводит один из таких дней то в поле, то в «светлице», где он, читая «Вестник Европы» или газеты, дивится подвигам русской армии; куда приходит к нему врач сельской больницы;

Где также иногда по палкам, по костям,
Усастый староста иль скопидом брюхатый
Дают отчет казне, и хлебу, и вещам,
С улыбкой часто плутоватой...

Это стихотворение до мельчайших подробностей представляет верный и точный очерк жизни Державина в деревне. Многие черты его подтверждают как сохраняющимися там до сих пор в среде сельских жителей преданиями, так и записками, которые вела в Званке молодая племянница его, Праск. Ник. Львова. Так 14 августа 1811 года она записала: «Поутру, после завтрака, дядя мой обыкновенно уходит в свой кабинет, где собирается множество детей, которым он раздает по будням крендели, а по воскресеньям пряники. И тут, как во всем, он любит соблюдать строжайшую справедливость. Если случится, что которому-нибудь из мальчиков не достанет кренделя, дядя посылает искать его по всему дому и успокоится не прежде, как когда всем достанется поровну. Тогда они расходятся довольные, с тем чтоб воротиться на другой день. Я часто присутствую при этом дележе и любуюсь почтенным лицом дядюшки; в каждом слове его отражается ангельская доброта. Иногда он берет на себя роль судьи, выслушивает жалобы ребят друг на друга и при себе заставляя их мириться». Немногие крестьяне, еще помнившие его, говорили нам, что он был для них истинным отцом: бедным покупал лошадей, коров, давал хлеб и строил избы. В последние годы жизни он вставал часов в 6 утра, выходил на крыльцо, где его каждое утро ожидали до тридцати мальчиков и девочек, садился среди них, заставлял читать молитвы и раздавал им гостинцы. Часов в 11 уходил он в кабинет или в упомянутую беседку (на холме) и занимался, с небольшими перерывами, всю остальную часть дня, нередко под звуки игравшей в саду музыки или хора певчих из своих крестьян. В праздничные дни поселяне и поселянки собирались около барского дома, составляли хороводы и веселились до позднего вечера. Из своих рук поэт потчевал мужичков водкою, бабам и девушкам раздавал ленты, платки и лакомства. Когда в саду попевали яблоки, то почти каждый праздник, в заключение гулянья, выносили наполненные ими мешки, высыпали яблоки под гору и крестьяне с шумом бросались подбирать их. Хозяйством Державин вовсе не занимался и, прогуливаясь в поле, не обращал никакого внимания на работы, тогда как появление колоссального образа Дарьи Алексеевны уже издала выводило ленивых из бездействия.

Отношения между супругами были вообще дружелюбные, но у Гаврилы Романовича были две слабости, дававшие иногда повод к размолвкам: это была, во-первых, его слабость к пре-

красному полу, возбуждавшая ревность в Дарье Алексеевне, а во-вторых — его неумеренность в пище.

За аппетитом мужа Дарья Алексеевна зорко следила и часто без церемонии конфисковала у него то или другое кушанье. Однажды она не положила ему рыбы в уху, и раздосадованный этим Гаврила Романович, встав тотчас из-за стола, отправился в кабинет раскладывать пасьянс. В доказательство его добродушия рассказывают, что когда после обеда жена, придя к нему с другими домашними, стала уговаривать его не сердиться, то он, совершенно успокоенный, спросил «за что?» и прибавил, что давно забыл причину неудовольствия.

Когда не было гостей, стол у Державина был простой, но вообще сытный. Плодов, которые подавались в виде десерта, он сам никогда не ел, кроме арбузов. В жаркое время он снимал свой халат, надевал белый пикейный сюртук и, вооружась палкой, отправлялся с барышнями гулять по берегу Волхова. Но большую часть дня он проводил либо на балконе, внизу перед домом, либо, по привычке, в своем кабинете. С балкона он любил наслаждаться обширным и оживленным видом на Волхов с плывущими по нем судами. На берегу стояла сельская флотилия Державина: просторная лодка с домиком, названная «Гавриилом», и маленькая шлюпка, или ботик, всегда ее сопровождавший и окрещенный «Тайкой» по имени любимой его собачки. На «Гаврииле» Державин отправлялся к своим соседям.

Прямо с балкона входили в гостиную, где обыкновенное место его было на большом диване, перед которым он раскладывал свой пасьянс — «блокаду» и «пирамиду». Вечером, когда становилось темно, все садились тут кругом стола, говорили о полученных в течение дня письмах и газетах, о том и сем, что поэт в шутку называл «*тара-бара про комара*». В кабинете его была простая мебель и между прочим массивный диван, на котором он в последнее время часто отдыхал. Стена над диваном убрана была охотничьими ружьями; тут же висели лук и колчан, вывезенные им из Оренбургского края. Сидя на балконе, он иногда заставлял слугу своего метать из лука стрелы с горы на реку, на что есть намек и в его стихотворении «Жизнь званская». В углу кабинета находился, в виде печи, шкаф с потаенною дверью, через которую на зов Державина приходил сверху домашний секретарь его, знаменитый в обширном кругу родных и знакомых поэт Евстафий Михайлович Абрамов. Несмотря на свою страсть к рюмочке, он был неоцененным человеком, особенно в деревне: вместе с С. В. Капнистом принимал главное участие в устройении всяких празднеств и фейерверков, а в случае надобности исправлял даже должность архитектора и живописца. Подлинный акварельный рисунок вида Званки, подаренный Евгению, был сделан им, чем и объясняются замеченные в этом рисунке ошибки. Абрамов всегда обедал с господами. Когда от него слишком пахло вином, Дарья Алексеевна просила мужа не пускать его за стол при гостях, но добродушный поэт отвечал: «Ничего, душенька: делай, как будто ничего не замечаешь».

Тесная дружба связывала Абрамова с барской барыней Анисьей Сидоровной, которая часто угощала его кофе и водочкой. Эта почти 70-летняя дева была некогда получена Дарьей Алексеевной в приданое. Бывало, когда Анисья Сидоровна стоит на плоту и занимается ужением рыбы, Дарья Алексеевна с лестницы закричит ей по старинному обычаю: «Девчонка, девчонка!», а старуха, подымаясь по лестнице, отвечает: «Сейчас, сударыня!»

Первоначально только самое сельцо Званка и деревушка Залозье составляли поместье Дарьи Алексеевны; постепенно прикуплены были еще деревни Дымна, Антушево, Авадны и Подшивалово, так что занимаемое этими именьями протяжение вдоль Волхова, начиная от большой московской дороги, составляло верст девять и число душ доходило в них до четырехсот. Обширный двухэтажный (деревянный) дом, службы для многочисленной дворни, фабрики и все прочие принадлежности выстроены были уже Дарьей Алексеевной. Для снабжения сельца водою и особенно для действия фабрик устроена была под горой, близ реки, паровая водоподъемная машина, которая поддерживала и фонтан, находившийся перед домом на горе. Благодаря живописному местоположению, большой реке, протекавшей мимо самой усадьбы, и относительной близости столицы Званка составляла весьма приятное сельское местопребывание. Недоставало только церкви, и молиться ездили оттуда за пять верст в приходскую церковь близ Соснинской пристани. По какому-то суеверию Дарья Алексеевна не решалась строить церковь у себя, пока жив был ее муж; но в первый же год после его смерти храм был заложен и в 1826 году освящен архиереем вместе с архимандритом Фотием.

Из родных и близких жили с Державиными в Званке девицы: три племянницы Львовы, из которых, однако, только младшая, Прасковья Николаевна, оставалась при них после 1812 года, племянница же Александра Николаевна Дьякова, Любовь Аникитична Ярцева и Вера Петровна Лазарева. Кроме того, гостила в Званке Александра Павловна Кожевникова. Из Петербурга приезжали часто братья Львовы, Дьяковы и Капнисты. Семен Вас. Капнист, в городе исполнявший отчасти роль секретаря при поэте, в деревне был душою праздников, на которые он иногда привозил с собою фейерверки. Он благоговел к Державину, знал множество од его наизусть, любил декламировать их и сам писал стихи; зато и дядя души в нем не слышал. Живя в Званке, Державин к нему обыкновенно обращался со своими поручениями; напр., когда имел надобность в какой-нибудь книге или рукописи из Петербурга, то просил его прислать их «с телятинками». Особенно оживлялась Званка в июле месяце, по случаю рождения и именин Гаврилы Романовича. Из числа посторонних лиц, съезжавшихся здесь около этого времени и вообще посещавших Званку, самыми обычными гостями были Ф. П. Львов, Вельяминов, Яхонтов и Кожевниковы. Последние жили верстах в 30 в своем имении Пристань, также лежавшем на берегу Волхова. Муж и жена пользовались особенным расположением Гав-

рилы Романовича, который и сам бывал у них, и всячески делал добро их семейству. Почти в таком же расстоянии от Званки жили и Яхонтовы.

Из остальных соседей должен быть назван граф Аракчеев, владелец лежавшего в 18-ти верстах от Званки села Грузина. Державин, находясь уже в отставке в эпоху наибольшей силы этого временщика, мог держать себя в отношении к нему независимо. По смежности заречной деревни Антушевой с Грузиным между обоими помещиками возникла тяжба о размежевании земель, продолжавшаяся много лет, пока не была решена оригинальным способом уже после смерти Гаврилы Романовича. В 40 верстах от Званки жил тогда в своей деревушке Теремце Иван Григорьевич Воеводский, отставной сержант екатерининского корпуса кавалергардов, богатырь ростом и видом. Во время пугачевщины он был сослуживцем Державина. Будучи во всем околотке известен своею правдивостью, он пользовался общим доверием и в спорах не раз избираем был посредником. Не видя конца своей тяжбе, к нему же обратились вдова Державина и Аракчеев. Воеводский явился на место за землемером и решил дело, не поехав ни к тому, ни к другому из тягавшихся лиц. Оба беспрекословно подписали его определение, выразили ему письменно свою благодарность и сверх того прислали ему по подарку: Дарья Алексеевна — рысака со своего оренбургского завода, а Аракчеев — медвежью шубу, так что подарки обошлись дороже земли, из-за которой был процесс.

Этого Воеводского Державин после пугачевщины совсем потерял было из виду, пока не встретил его случайно во Пскове, когда ездил туда летом 1812 г. по случаю продажи белорусского имения Левенгагена. Однажды, когда он во время своего пребывания во Пскове возвращался домой, у подъезда дожидался его старый сослуживец. Обрадованный Державин принял его чрезвычайно ласково, привел с собой в гостиную, усадил на почетном месте и до того заговорился с ним, что едва замечал других гостей, которые между тем наезжали. Эта встреча и была, вероятно, поводом к переселению Воеводского в окрестности Званки. Воротясь из Пскова, Державин ездил в Новгород, куда местные дворяне были созваны вследствие известного манифеста об ополчении. Туда прибыл в то время и принц Ольденбургский Георгий, чтобы по поручению государя склонять дворянство к пожертвованиям. «С 13-го июля, — писал Державин В. С. Попову, — живу тут. Принц, великая княгиня были здесь, вчерась отправилась в Тверь, где их государь ожидает, и слух носится, что будто будет суды и на короткое время в Петербург. Мы в дворянском собрании по случаю экстренного требования хлеба, муки, овса и круп в Торопец положили оной купить и доставить более 150.000 четвертей, да войска представить 10.000 человек одетого и на нашем содержании. Принц сим был очень доволен. Только мы просили оружия и артиллерии». Тогда же Державин подал принцу для представления государю свою записку об обороне России от Наполеона. Между тем в Новгороде, к общему

соблазну, происходили ссоры и неприличные сцены между губернатором и прокурором. В негодовании Державин собирался уехать, не дождавшись окончательного определения. «Надобно бы, — писал он, — единодушное и скорое исполнение, на самом деле полагаемого ополчения; вместо того у них распри и вздоры, чем они единственно занимаются. Вот вам сказки. Боже избави: ежели по всему государству таковое несогласие и медленность произойдет в защите отечества, то мы неминуемо погибли!»

О последних годах жизни Державина в Званке любопытные подробности сохранила нам Прасковья Николаевна Львова. Этим мы обязаны ее наставнице Леблер-Лебеф, которая заставляла ее, в виде упражнения, исподволь записывать по-французски свои воспоминания и впечатления. Так составилась объемистая тетрадь ее руки, переданная нам покойною сестрой ее Елизаветой Николаевной Львовой. Мы представим из этих записок, в переводе, несколько извлечений.

Тетрадь начинается 1812 годом. Рассказав о поездке Державина во Псков и Новгород, племянница его продолжает: «По приезде в Петербург, мы нашли весь город в унынии. Смоленск только что был взят, и все готовились к отъезду; многие жители уже удалились поспешно в Вытегру; все присутственные места были закрыты; говорят даже, что часть казны и имущества многих вельмож уже перевезена в Або. Но особенно возмущало жителей то, что посреди всех приготовлений к отъезду Опекунский совет отказывал частным людям в выдаче отданных ему на хранение денег под тем предлогом, что он не имел возможности всех удовлетворить. Все хлопоты моих братьев были напрасны; тогда добрый мой дядя, видя общее затруднение, решился написать письмо к вдовствующей императрице, в котором, изложив обстоятельства, представил, что в случае продления отказа правительстве лишится доверия общества, и кредит ломбарда упадет. Благодаря Богу, это письмо подействовало, и на другой же день г. Саблуков, почетный опекун, приезжал от имени всей публики благодарить дядю за эту услугу. Мы получили свои капиталы, и с этой минуты дядя и тетушка стали хлопотать о приготовлениях к нашему отъезду. Нас хотели отправить с моим зятем Ф. П. Львовым в Каргополь; что касается дяди, то он с первых же известий об опасности объявил, что не тронется и ничего не отправит из Петербурга, пока неприятель не будет в нескольких верстах оттуда. Тетушка также твердо решилась не покидать мужа, и наши дорожные приготовления, ежеминутно напоминавшие нам скорую с ними разлуку, с каждым днем становились нам тяжелее. Наконец в один вечер мы собрались на семейный совет и просили их позволить нам оставаться с ними до последней крайности...»

Далее следует описание путешествия в Малороссию в 1813 году, которое мы в своем месте уже сообщили.

К 1814 году относится только одна заметка от 18-го июня: «Все это время дядя заставлял меня читать ему вслух похвальные слова разным великим людям, говоря, что он намерен на-

писать такое слово императору Александру по поводу целого ряда одержанных им блистательных побед, и что, будучи вовсе не знаком с этим родом сочинений, он желает узнать, что написано подобно другими. Всего более ему понравилась похвала Марку Аврелию, хотя он находит, что она написана не совсем согласно с правилами, так как в ней действие смешано с повествованием. Другие похвальные слова иногда усыпляли дядю, и наконец он объявил мне, что им овладела лень и что он от своего намерения отказывается. «Я на своем веку написал много, — сказал он мне, — теперь состарился, и мое литературное поприще конечно; предоставляю молодым поэтам занять мое место». По временам он любил вспоминать моего покойного отца Н. А. Львова, говорил, как много в своих сочинениях был обязан его советам и заставлял меня перечитывать вслух те из своих стихотворений, которыми особенно дорожил, а также стихи, написанные им на смерть батюшки».

13. Последнее лето в деревне. Болезнь и смерть

Большая часть дневника г-жи Львовой посвящена воспоминаниям о последних неделях, проведенных Державиным в Званке, описанию кончины и погребения его. Эти страницы начала она писать через три недели после его смерти, случившейся так неожиданно, что первое время домашние не могли опомниться от отчаяния и вполне осознать свою потерю. «Начну, — пишет Прасковья Николаевна, — с минуты нашего приезда на Званку. Мы прибыли 30-го мая, в самую чудную погоду, в 5 часов утра. Едва взобрались мы на гору, как нас обрадовал вид цветущих сиреней, особенно тех деревьев, которые стояли вправо от дома и под окнами дядина кабинета. Восхищаясь всегда красотами природы, он вместе с нами как будто помолодел при этом виде и несколько раз подходил к деревцам, дивясь необыкновенной величине цветов и свежести темно-зеленых листьев в сравнении с деревьями, оставленными нами в петербургском нашем саду. Побыв недолго в комнате, мы опять вернулись на воздух наслаждаться великолепным утром. Но каково же было наше удивление, когда ни одного из поразивших нас цветов уже не было видно: целая туча крупных жуков вдруг спустилась на милые наши сирени и в одну минуту уничтожила весь пышный цвет, а листья потеряли свежесть и приняли красный оттенок. «Видно, сглазили!» — сказал дядюшка, и мы с грустью воротились в комнату. За завтраком много говорили мы об этом странном явлении: Александра Николаевна увидела в нем дурное предзнаменование, а я пожурила ее за суеверие. Дядя и тетюшка пошли отдохнуть до обеда. Только что откушали, и люди едва успели убрать со стола, как поднялся ужасный ветер. Волхов страшно надулся, началась гроза, молния ежеминутно сверкала. В 5 часов управляющий пришел сказать, что возле Верочкина вяза

четыре женщины свалило с ног ударом молнии; одну, совсем почерневшую, принесли в дом без признаков жизни, другие две лежали без движения, а у четвертой опалили ноги и руки и отшибло слух. «Как нынешний год наш приезд несчастлив!» — сказала Дарья Алексеевна; во всех нас случившееся пробуждало самые печальные мысли. Между тем гроза прошла, явилось солнышко, ступени крыльца совсем обсохли, и дядя, севши на них, вместе с нами наслаждался видом, который действует так успокоительно на душу. «Как здесь хорошо! — повторял он, глядя на проходившие мимо дома парусные суда. — Не налюбуюсь на твою Званку, Дарья Алексеевна, прекрасна, прекрасна!» Говоря это, он иногда вполголоса пропевал любимый им марш Безбородки.

Наша жизнь потекла безмятежно обыкновенным порядком. Каждый день я читала вслух дяде — час поутру и час же или два под вечер. После обеда он немного отдыхал, потом мы читали до бостона, который сменялся ужином, и этим оканчивался спокойно проведенный день. Часто дядя, расставаясь с нами, повторял свой стих:

Блажен кто поутру проснется
Так счастливым, как был вчера.

Читали мы то газеты и журналы, то «Историю» Роллена в переводе Тредьяковского; слушая его ужасную прозу, дядя смеялся или пожимал плечами и предсказывал мне, что я над этим слогом вывихну себе челюсти. Для разнообразия мы иногда после обеда читали «Бахарияну» Хераскова, эту смесь всякой всячины из русских сказок с привидениями, превращениями и разным тому подобным вздором. Из этой книги мы, впрочем, читали не более одной песни в день. «Экой бред! — говорил дядя. — Однако забавно; стихи гладки, описания природы хороши, и к тому же так хитра завязка, что все хочется конца дознаться». Иногда он от души смеялся. Мне кажется, я и теперь вижу перед собой его доброе, улыбающееся лицо, когда он сидел на этом красном диване с Тайкой за пазухой, то слушая мое чтение, то раскладывая гран-пасьянс. Часто я представляю себе, как он рассказывал взад и вперед по комнате или объяснял нам разные места из священного писания, упоминая о самых замечательных толкователях его. Тогда глаза его сияли ярким блеском; огонь души возвращал ему прежнюю силу; цвет лица оживлялся; он говорил красноречиво и убедительно. Особенно я замечала это, когда речь шла о Боге, о правде или о поэзии. Любил он также говорить о времени Екатерины II, когда еще молодое воображение его было во всей своей силе и расцветивало жизнь обольстительными мечтами. Он говорил мне о славе России в это царствование, о великих людях, украшавших его, о первых своих одах, которые без его ведома были представлены государыне и внушили ей желание увидеть его; вспоминал, как милостиво он был принят ею, каким взором она окинула с головы до ног того,

кто, как она выразилась, «так хорошо знает меня». «Я век этого взгляда не забуду, — говорил добрый дядя, — я был молод; ее появление, величие, ее окружавшее, этот царственный взгляд, — все меня так поразило, что она мне показалась существом сверхъестественным. Но теперь, как все это поразмыслию, должен сознаться, что она... мастерски играла свою роль и знала, как людям пыль в глаза бросать».

Желая продолжать «Объяснения», которые он продиктовал старшей сестре моей на первые четыре тома своих сочинений, он велел мне читать вслух недавно отпечатанный V том; но через несколько времени сказал мне: «Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в которое она писана была, или, попросту сказать, оттого что я стар стал». Зять мой Воейков, приехав из Тамбова, привез с собой книгу, которую очень хвалил, — объяснение литургии. Державин уже прежде читал ее, но, позабыв содержание, захотел снова перечитать и взял свою лупу (зрение его в это время стало ослабевать); но через несколько минут сказал мне: «Паша, почитай мне вслух, но не торопись: ты плохо договариваешь окончательные слова, а я и совсем плохо слышу». Часто, прельстая хорошей погодой, мы прерывали чтение, и он садился на ступени крыльца. Зная, что он любит слушать наше пение, я принималась играть на арфе, и мы с Александрой Николаевной (Дьяковой) пели его стихи «Вошел в шалаш мой торопливо». А он между тем любовался картинами природы, особливо тихим Волховом, в котором, как в зеркале, отражались красивые берега. Раз утром (кажется, 1-го июля) я читала то место объяснения литургии, где речь идет о благоговении, с каким присутствующие должны все свое внимание сосредоточивать на священнодействии. «Как это трудно! — сказал дядя. — Как часто во время службы о молитве и не думаешь. Правда, иной раз сердце разогрется, слезы брызнут от восторга; кажется, как бы искра Господня заронится в душу, вспыхнет; но потом суета мирская опять займет собою, и искра эта божественная совсем потухнет. Я в таком восторге, стоя у заутрени на Светлый праздник, написал первую строфу оды «Бог»; слезы катились градом, и с чувством, исполненным благодарности, я написал то, что сердце мне сказало». После этих слов, сильно на меня подействовавших, дядя стал прохаживаться по комнате. Я села за фортепиано и взяла *andante* арии принца Людвиг Прусского; эта тихая, меланхолическая музыка понравилась дяде. Подойдя ко мне, он спросил: «Что это ты играешь?.. как это мне нравится!.. Верно, принц Людвиг был меланхолик». Я рассказала ему подробно, как этот принц умер молод, как о нем жалели лучшие знатоки музыки. Выслушав меня, он попросил повторить пассаж; я сыграла его несколько раз еще и после обеда, пока дяденька раскладывал пасьянс. «Прекрасно, прекрасно!» — твердил он, проходя мимо в свой кабинет, чтобы там отдохнуть немного. Мы пошли наверх, читали и работали, пока он проспится. Услышав, что он встал, мы сошли вниз, чтобы с ним и с тетушкой провести остальной вечер. Только что он меня

увидел, «представь себе, — сказал он, — твоя музыка так мне понравилась, что я сейчас видел во сне твоего принца Людвига и с ним об ней говорил». Желая развлечь дядюшку, который показался мне невесел, я предложила ему прочесть что-нибудь из его V тома. Он выбрал небольшую оду в греческом вкусе под заглавием «Полигимнии», имя вымышленное для обозначения девицы Стурдзы, которая однажды очаровала его на вечере у г-жи Свечиной, прочитав ему в совершенстве всю оду «Бог». Мы вышли из комнаты, так как он пожелал прогуляться по саду, и, взойдя на тот холм, что стоит влево от дома, встретили там тетюшку. Она указала ему, как все посаженные ими обоими деревья хорошо принялись, так что и любимой его бани стало не видно. «Все это хорошо, прекрасно, — ответил он, — но все это меня что-то не веселит!» Когда же через минуту тетюшка нас оставила, то он сказал: «Я стар стал и кое-как остальные деньки дотаскиваю». Это меня очень огорчило. Я поцеловала у него руку и заметила, что такое унылое расположение происходит, может быть, от состояния его здоровья, «Нет, — возразил он, — благодаря Бога, я сегодня здоров». С этим словом он воротился в комнату и опять принялся за пасьянс.

Наступало 3-е июля, день его рождения. Накануне приехал Семен Васильевич Капнист, чтобы провести этот день с нами; это порадовало дядю: он стал его расспрашивать о политических новостях, о том что говорят в Петербурге и, услышав, как много недовольных и ропщущих, выразил удовольствие, что его там нет. «Живем мы здесь спокойно, — сказал он, — и долго меня в Петербург не заманят». Тетюшка послала за священником, чтобы отслужить вечерню и молебен.

Дядя был совершенно здоров, и нам оставалось только молиться, чтоб Бог сохранил нам его таким же. Сам он, стоя у двери, ведущей в гостиную, молился с тем выражением спокойствия и покорности, какое мы всегда привыкли в нем видеть в подобные минуты. Тайка лежала смиренно на подушке, с которой приучена была не сходить, пока в комнате находился священник. По окончании молебна дядюшка пригласил священника выпить с нами чаю, говорил о хлебах, об ожидаемой хорошей уборке и спросил, когда граф Аракчеев ожидает к себе государя. «8-го или 9-го этого месяца», — было ответом. Время пребывания у нас моего двоюродного брата Семена протекло очень приятно: он сменял меня в чтении, а в промежутках мы предпринимали прелестные прогулки.

Однажды (это было 4-го июля) Семен Васильевич предложил нам отправиться в Дымну. Погода была прекрасная, и так как он все утро был занят с дядей, то мы воспользовались для этой прогулки послеобеденным временем. Мы уже весело шли вдоль Волхова, когда вдруг нас догоняет посланный и объявляет, что дядюшка нас зовет, просит вернуться. Делать было нечего, пришлось отложить прогулку. «Куда это вы собрались?» — спросил меня Гаврила Романович, когда мы вошли в дом. — «В Дымну, дяденька: брат Семен там не бывал». — «Так и быть:

другой раз там побывает, а теперь, Семен Васильевич, возьми-ка ты книжку да почитай мне, а вы, мои голубушки, садитесь». Вот мы и расселись, повесив нос, вокруг стола. Через минуту разыгралась страшная гроза с проливным дождем, и дядя, улыбаясь, заметил: «Хорошо же, что я вас вернул; посмотрите, какая погода; вы бы все перемокли, распростудились, занемогли бы; чего? перемерли, может быть. Смотрите, от скольких бед я вас избавил!» — Мы от всего сердца смеялись при этом перечислении внезапных несчастий, которые его предусмотрительность отвратила от нас. Вечер самым приятным образом закончил тихий и счастливый день. В среду, 5-го июля, дядя с утра не совсем хорошо себя чувствовал и за завтраком сказал нам, что ночью имел легкие спазмы в груди, после которых у него сделался жар и пульс поднялся; «вот тут забилось», — прибавил он, приложив пальцы к виску. Это встревожило тетеньку, так как он редко жаловался на спазмы, и она стала уговаривать его ехать в Петербург. «И! вздор какой, матушка! к чему мне ехать в Петербург? стоит ли того?» — отвечал он и, обратившись к Капнисту, решительно объявил, что не поедет. День был чудесный. Дарья Алексеевна, стоя у подъезда и любуясь гладкою, как зеркало, рекой, закричала мужу, сидевшему в гостиной: «Мамичка, поди-ка ты к нам; посмотри, как здесь хорошо!» Он тихо встал и побрел было к нам, но, почувствовав сырость вечернего воздуха, поспешно воротился и опять сел к столу за пасьянс. Вдруг я заметила сквозь окно быструю перемену в лице его; он лег на спину и стал тереть себе грудь; Дарья Алексеевна побежала за доктором. С этой минуты начались страдания Гаврилы Романовича; он стонал и даже кричал, но потом, успокоясь немного, удалился в кабинет и уснул. Мы между тем оставались на крыльце; расстроенная Дарья Алексеевна с необычайным выражением печали на лице проговорила: «Какой на нас на всех черный год! Куда ни обернись, везде горе: Лиза Ганичку схоронила, Нилов в петлю лезет, Бакунины разорены; вот, Боже мой, и у нас горе». Когда под вечер Державин проснулся и, чувствуя себя лучше, позвал своих на партию бостона, все стали уговаривать его ехать в Петербург советоваться с докторами, но он категорически отвечал, что ни за что не поедет и вместо того пошлет к доктору Симпсону подробное описание своих недугов. За бостоном он много смеялся, особенно тому, что мы ели такое множество плодов. По окончании игры он послал за Абрамовым и, гуляя по комнате, продиктовал ему письмо к Симпсону. Мы были так успокоены на его счет, что вместе с ним шутили над подробностями, которые он в письме сообщал доктору. Рассстались мы совершенно веселые, видя доброе расположение дяди, который уверял, что после принятого лекарства он «встреппенется молодцом». На другой день, 6 июля, Семен Васильевич уехал в Петербург. Перед тем он показал мне хорошенькое четверостишие Вольтера, которое кончалось стихом:

Il est grand, il est beau de faire des ingrats.

Дядя вошел к нам в эту самую минуту, и я была очень удивлена, услышав, что он читал наизусть эти самые четыре стиха. Никогда еще он не произносил при мне французских стихов, и я не могла воздержаться от улыбки. Он сказал мне, что знал их давно, и прибавил: «Тут очень тонкая философия». Желая поправить наше, по его мнению, ошибочное произношение стиха, он прочитал: «Il est grand, il est gras beau de faire des ingrats»; ему казалось, что тут непременно должна быть рифма.

7-го июля он чувствовал себя бодрим и велел мне взять том «Всемирного путешественника», книги, к которой мы всегда прибегали за неимением другого чтения, почему я и называла ее «Вечный путешественник». «Ну, как же ты можешь не любить этой книги? — говорил он мне. — Сколько тут любопытного, и у кого память хороша, сколько пользы прочесть ее! но я что прочел, то и забыл; опять за новое читаю». При этом чтении случилось незначительное обстоятельство, которое чуть не сделало меня суеверной, напомнив мне и попорченные сирени, и четырех женщин, разбитых грозой в самый день нашего приезда. Читая, я слышала, как пол несколько раз трещал, и мне невольно вспомнилось, что народ считает это дурной приметой: значит, говорят, хозяев выживает. Я старалась не обращать на это внимания и стала читать громче прежнего, но звук повторился, и дядя, заметив это, сказал: «Слышишь ли, Паша, как пол трещит?» Для успокоения самой себя и особенно дяди я объяснила это тем, что бюсты государя и императрицы недавно переставлены были из углов комнаты к дивану. «Нет, мой друг, — возразил он, — это трещит не по углам, а подле самых мраморных столбиков; мы сегодня перед обедом слышали все это с Дарьей Алексеевной; она и причины тому искала». Он не добавил, была ли найдена причина.

Настало 8-е июля, последний день его жизни. Встав по обыкновению рано, он за чаем сказал нам: «Ну, слава Богу, мне стало гораздо легче». Обрадованная этим известием, я поспешила написать о том моим сестрам. Между тем меня позвали назад; я думала, что это для чтения, но дядя, видя что я готовлюсь приняться за «Всемирного путешественника», сказал мне: «совсем не я тебя звал, и не для того, чтоб читать; а вот кто изволит тебя спрашивать», — и при этом указал на двух птичек, которых с месяц тому назад тетушка взяла из гнезда и которые сделались до того ручными, что прилетали клевать корм из рук моих. Эти две проказницы обыкновенно садятся на самый верх люстры; но как скоро я лягу на пол, они тотчас спускаются, чтобы получить приготовленный для них хлеб с молоком. Это очень тешило дядю. Полубоившись на них и в этот раз, он сказал мне: «Впрочем, мой друг, ежели тебе не скучно, то почитай мне». — «Я с удовольствием читать стану, милый дяденька», — отвечала я и тотчас взяла книгу. Тетушка, бывшая при этом, поцеловала его несколько раз и пошла заниматься своим делом. Я читала до самого обеда. Дяде захотелось кушать, но по совету врача он согласился потерпеть до ужина и заказал себе к 8-ми

часам вечера уху, заметив, однако, доктору: «Хорошо тебе, братец, с полным брюхом мне есть запрещать; мой-то желудок ведь пуст и есть просит». Между тем спазмы в груди возвращались несколько раз; но он продолжал сидеть за бостоном. Вечером, в восьмом часу, приехали к нам соседи, князь Шихматов и его зять, молодой Тырков, и дядя разговаривал с ними, жалуясь в шутку, что его морят голодом, что против него заговор. После отъезда гостей он расположился ужинать, но едва съел две тарелки ухи, как ему сделалось очень дурно. Побежали за доктором. Он прописал шалфей; а я советовала лучше напитокя чаю с ромом. Гаврила Романович шутил над людским самолюбием, которое заставляет всякого настаивать на своем мнении. Однако больной должен был перейти в спальню и лечь в постель. Пока девицы ужинали, Дарья Алексеевна оставалась у него; но вскоре вышла совершенно расстроенная его стонами и бредом. Я сменила ее; он очнулся, но страдания продолжались. «Ох, тяжело! ох, тошно! — вскрикивал он по временам. — Господи, помоги мне, грешному... Не знал, что будет так тяжело; так надо! Господи, помилуй меня, прости меня!..» «Так надо, так надо! не послушал», — повторял он, разумея, вероятно, что поел слишком много ухи против запрещения жены. Наконец, однако, он успокоился, и его кроткое расположение духа возвратилось. «Вы отужинали? — спросил он. — Больно мне, что всех вас так взбудоражил; без меня давно бы спали». Вошла Дарья Алексеевна и стала уговаривать его ехать на другое утро в Петербург. Сначала он противился, но потом обещал. Скоро страдания и стоны возобновились. Доктор потерял голову и послал за советом к Дарье Алексеевне, которая не в силах была оставаться свидетельницею мучений мужа. Вдруг больной захрапел, и потом все смолкло...»

Прасковья Николаевна одна не отходила от него и молилась. Не переводя духа, она прислушивалась, не издаст ли он еще хоть одного вздоха. И вот он, приподнявшись немного, вздохнул глубоким и долгим вздохом. И опять воцарилось молчание. При виде смутившегося доктора Прасковья Николаевна с беспокойством спросила: «Дышит ли он еще?» — «Посмотрите сами», — отвечал доктор и протянул ей руку больного; рука была еще тепла, но биение пульса прекратилось. Она приблизила губы свои к его губам, но уже не почувствовала его дыханья. Все было кончено. Через минуту за ней прислала Дарья Алексеевна и, несмотря на старания племянницы скрыть в первые минуты истину, она все поняла и воскликнула: «Его на свете нет! Господи, он скончался, приобщиться не успел!» Невозможно описать ее отчаянья, говорит молодая Львова. Последняя приняла на себя все печальные заботы, вызываемые кончиною близкого человека. Трогательно описывает она впечатления, испытанные ею в первые минуты: «Я воротилась в скорбную комнату, где так недавно еще всего надеялась. Какая ужасная перемена! шум, рыдания, говор нескольких голосов разом, открытые окна, стол посредине комнаты, а он! он лежал в постели, как будто спящий

глубоким и тихим сном. Лицо его сохраняло всю свою ясность, никакого отпечатка страдания; казалось, ему снились приятные сны... Я послала нарочного в Петербург к С. В. Капнисту с просьбою скорее приехать. Вскоре явились Тырков и князь Шихматов, которых мы видели накануне; но тогда они оставили нас спокойными и счастливыми, а теперь... Как все изменила одна минута!.. Как описать отчаяние всех, меня окружавших, и собственное горе мое при мысли, что я более не увижу того, кто заменял мне отца, кого я не покидала целых тринадцать лет, кто любил меня, как родную дочь. Между тем по моему приглашению пришел священник и стал читать отходную. Дядя уже лежал на столе со сложенными руками; в головах был образ, кругом горели свечи... Горячо помолившись за него и за бедную тетеньку, я не в состоянии была оставаться долее в комнате и, отворив дверь, которая вела из гостиной в сад, я стала бродить по горе. Было три часа утра; солнце вставало во всем своем величии; ни облачка на небе, везде глубокая тишина, легкий туман покрывал еще поля, Волхов как будто остановился в своем течении, со всех сторон пели и щебетали птички. Но я ничем не могла наслаждаться: мне бы хотелось, чтоб все отвечало моей скорби. Увидев за окном тетеньку, я воротилась в комнату; мы вошли в кабинет покойного. Там все еще дышало его присутствием: еще горела свечка, которую сам он зажег; молитвенник был раскрыт на той странице, где остановилось его чтение; тут лежало еще платье, которое он недавно скинул. Мы увидели аспидную доску, на которой он за два дня перед смертью (6-го июля) начал оду о быстроте времени; первая строфа была ясно написана, и он сам читал ее Семену Васильевичу. За нею следовали два стиха второй строфы, которую смерть помешала ему кончить... Мы ушли наверх, чтобы дать перенести тело в столовую. Потом, сойдя опять вниз, я просила священника остаться с нами, чтобы отслужить панихиду вечером и на другой день рано утром. Этот добрый старик, горько плакавший вместе с нами, не мог исполнить моего желания. «Государь, — сказал он, — в Грузине. Он завтра в 7 часов утра проедет близехонько от моей церкви и, может быть, пожалует ко мне». Тогда я вспомнила разговор дядюшки с этим самым священником о времени проезда государя. «А что, — спросил молодой Тырков, — если государь, будучи только в 5-ти верстах отсюда, узнает о кончине Гаврилы Романовича и пожелает заехать, чтобы в последний раз проститься с ним? Как вы примете его?» — Этот вопрос был сделан потому, что печальному зрелищу совершенно недоставало того благолепия, которое бы сколько-нибудь отвечало положению и средствам дяденьки. Ни в одной из церквей в окрестностях нельзя было достать даже приличного покровя, так что я принуждена была прикрыть тело простой кисеей, чтобы защитить его от мух. Занятая одним горем своим, я едва слышала то, что говорил Тырков: он повторил, что государь так уважал моего дядю, что, конечно, захочет почтить его память своим посещением. — «Он не приедет, — сказала я, — я в том

уверена». И правду сказать, по всему, что я тогда чувствовала и что происходило вокруг меня, я желала в душе, чтобы предположение Тыркова не осуществилось. Так было на самом деле. Священник воротился в восемь часов утра; государь проездом входил в его церковь, и, поцеловав крест, много говорил со священником, но, по-видимому, вовсе не знал о смерти моего дяди. Вероятно, граф Аракчеев, радуясь великой чести видеть императора в своем имении, не пожелал возмущать его удовольствия горестным известием, а может быть и сам он еще не знал об этой потере».

В понедельник, 10-го июля, приехали в Званку Александр Николаевич Львов и Семен Васильевич Капнист, но ничего не привезли с собой для похорон. Тогда только Прасковья Николаевна поручила брату закупить все нужное в Новгороде, а по желанию Дарьи Алексеевны он должен был выхлопотать там разрешение похоронить останки Гаврилы Романовича в Хутынском монастыре, местоположение которого всегда ему нравилось и где он часто бывал у преосвященного Евгения.

«Между тем домашняя челядь, не видя над собой твердой власти хозяина, позволяла себе разные беспорядки; рассылаемые туда и сюда по разным надобностям, люди возвращались с целыми бочонками водки и приходили в пьяном виде спрашивать приказаний или толковать о своем освобождении. Не одни мужчины, но и женщины напивались, как они говорили, с горя. С 10-го по 11-е, в три часа ночи, меня вызвали в прихожую. «Сударыня, — сказал Савка, — извольте пожаловать еще водки: у пономаря в горле пересохло». Я сошла с лестницы, и как болезненно сжалось мое сердце, когда я услышала с одной стороны молитвы над прахом дяди, а с другой, на дворе, — песни и пляски беспутной прислуги! Разумеется, я заставила замолчать эту челядь; изнуренная от всех напряжений, так как с памятного вечера я еще ни на минуту не смыкала глаз и горела в беспрерывном жару, я чувствовала себя так дурно, выдавая водку этому пьянице, что непременно упала бы, если б он же не подержал меня.

11-го июля все было доставлено из Новгорода, и Дарья Алексеевна решила в следующую ночь отвезти тело. Я сошла вниз, чтобы присутствовать при последней службе. Покойник был уже в гробу; несколько священников окружили его и начали тихим голосом петь вечную память. В комнате раздавались рыдания; став на колени, я про себя повторяла: «Вечная память и в сердцах наших милому дяденьке!» Сколько сирот, которым он так же, как и мне, заступал место отца, будут вечно благословлять его; сколько людей, несправедливо гонимых и нашедших в нем защитника, будут молиться за эту праведную душу! Какая в нем была поспешность, какое нетерпение делать добро! Какой в нем являлся юношеский жар, когда дело шло о том, чтобы помочь ближнему! Как он тогда не любил откладывать! — Я желала проводить печальную процессию хоть до лодки, которая повезет тело в Хутынь, но мне пришлось сказать, что тетюшка обо мне

тревожится. Я поспешила ее успокоить; она взяла с меня обещание непременно остаться с нею. Тяжело мне было согласиться; я пожелала по крайней мере в последний раз проститься с дядюшкой. Двоюродный брат Семен проводил меня к нему: ужасная минута!..

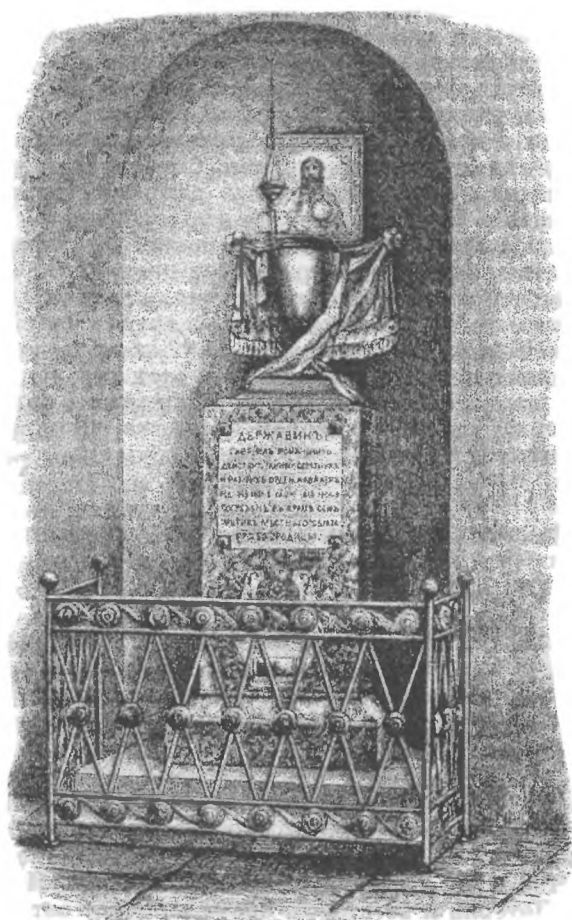
Было двенадцать часов ночи, когда я воротилась к тетушке: она была в угловой комнате. Боясь, чтобы она не увидела из окон, как будут переносить гроб на лодку, я попросила ее перейти во внутренние покои — она послушалась и легла в постель. Кузины и я расположились в угловой комнате. Долго царствовало вокруг нас тяжелое молчание. Но как были мы потрясены, когда вдруг раздалось погребальное пение! Гроб только что понесли, и это пение вполголоса походило скорее на протяжные стоны, которых мы, может быть, и не расслышали бы, если б в комнате не было так тихо. Я бросилась запирать все двери и, войдя в комнату, обращенную окнами во двор, увидела толпу людей, которые, неся гроб на головах, стали медленно спускаться с горы. Величественно было это зрелище в тихую, темную ночь; различать предметы можно было только при свете фонарей: сквозь тьму ясно светились широкие серебряные галуны на гробе, который беспрерывно удалялся и наконец поставлен был на лодку.

Брат мой Александр вернулся только в четверг, 13-го июля, день именин покойного дяди. От него мы узнали, что погребение совершенно было накануне с таким благолепием и порядком, каких он и не ожидал. Офицеры конно-егерского полка, в котором брат мой прежде служил, пожелали сами нести гроб в церковь. Скучный Новгород, где обыкновенно ничего нельзя найти, на этот раз доставил все нужное, и благодаря помощи доброй г-жи Путятиной все обошлось вполне прилично. Службу отправлял сам архиерей.

Как я узнала, обычай требовал, чтобы после погребального обряда сделано было два угощения, одно священникам соседних селений, а другое — бедным. Я выбрала для этого 13-е число, день собора Гавриила. Надо было накормить более 500 человек. В день приезда Александра вся эта толпа собралась на большой поляне вправо от господского дома, под горой. Там мы прежде всегда устраивали праздник крестьянам, а теперь тут должны были пировать священники, хоронившие дядю моего! Итак, вот гости, которых он нам обещал на этот день! вот какое пение суждено нам было слушать в день его ангела! Вот для чего, за несколько времени перед тем, он просил тетушку припрятать настрелянную дичь и благодарил ее за испеченные булки.

Приближалось окончание шестинедельного срока, и Дарья Алексеевна решила провести наступавшие дни в монастыре. Мы отправились из Званки 15-го августа водою. Сперва остановились мы у Кожевниковых, а 16-го, около 7 часов вечера, увидели монастырь. Он возвышался над горою, и заходящее солнце проральными лучами позлащало его колокольни. Архиерей был предварен о приезде тетушки, и когда из Хутыня завидели ее

лодку, то по его приказанию зазвонили к вечерне, в предположении что вдова отправится прямо в церковь. Но она только на другое утро присутствовала на заупокойной обедне и панихиде по своем муже; молясь на коленях, рядом со мною, она заливалась слезами, и скоро при имени боярина Гавриила вся церковь огласилась рыданием, как будто ее наполняли дети, оплакивавшие своего отца».



Надгробие Державина в Хутынском монастыре.

Этим кончаем мы извлечения из рассказов П. Н. Львовой. Вот еще несколько подробностей, относящихся к погребению Державина и слышанных нами от других его родственников.

Гроб был малиновый; он был поставлен на устроенный в лодке катафалк с балдахином и четырьмя массивными свечами, которые возвышались с обеих сторон на церковных подсвечниках. Ночь была так тиха, что они горели во все время плавания. На переднем конце лодки поместились певчие; на корме перед налом псаломщик читал молитвы. Лодка шла бечевою; позади следовала другая лодка, в которой были провожавшие первую родственники.

Тело погребено в приделе соборной церкви монастыря, против местного образа Пресвятой Богородицы; над гробом на каменном полу высечена надпись. В стороне против стеной ниши, за чугунною решеткой, стоит мраморный памятник: над высоким четырехугольным пьедесталом, передняя сторона которого покрыта медной доской с надписью, возвышается мраморная же урна, а у подошвы, над ступенями, медная лира. Вверху ниши, перед образом Спасителя, горит неугасимая лампада (только зимой не выдерживающая холода и сырости). На содержание этой лампы и на поминание Гаврилы Романовича вдова назначила проценты с пожертвованных ею на этот предмет 3000 руб. В сооружении надгробного памятника приняла участие в 1833 году Российская академия, уделив на него из своих сумм 5000 руб.

По смерти Дарьи Алексеевны, в 1842 году, повторилось погребальное шествие по Волхову, но на этот раз ладью буксировал пароход, на котором находились ближайшие родные со священником; прах вдовы похоронен здесь же, причем склеп несколько увеличен.

14. Завещания. Дарья Алексеевна. Аракчеев и Фотий

В наших руках находятся списки завещаний как самого Державина, так и пережившей его Дарьи Алексеевны. По интересу, который представляют подобные документы для характеристики составителей их, мы познакомим читателя с сущностью обоих, а также и с некоторыми поясняющими эти документы обстоятельствами.

Первоначально Державин написал духовную вскоре по выходе в отставку. Черновая редакция ее подписана им 1-го января 1804 года. Но в этой редакции была статья, которую позднее пришлось исключить, так как для нее не отыскалось исполнителя. Известно, что у Державина от Катерины Яковлевны не было детей. Потеряв и во втором браке надежду оставить по себе потомство, он возымел странную мысль передать свою фамилию одному из своих родственников с правом сделаться, по смерти обоих супругов, единственным наследником всего их имени. Выбор его пал на младшего племянника, Александра Николаевича Львова, и мысль эта была изложена в одном из последних пунктов завещания: предполагалось испросить Львову высочайшее позволение «присовокупить к своей и Державина фамилию,

как тому многие примеры бывали». Но Львов от этого отказался, говоря, что чувствует себя недостойным такой чести и не будет знать, куда деваться от стыда. «Не такие нужны плечи, — говорил он, — чтоб вынести на себе славное имя Державина», и вслед за тем уехал за границу. Тогда Гаврила Романович обратил внимание на другого родственника и земляка своего, полковника конной гвардии Дятлова, предназначая ему вместе со своей фамилией и руку старшей племянницы, Елизаветы Николаевны Львовой; но она объявила, что не желает выйти за человека, которого не только не любит, но и не знает. Есть известие, что после того Державин предлагал свою фамилию другому казанцу, Ивану Васильевичу Бутлерову (дяде нашего академика), но также безуспешно. Наконец, Д. Н. Блудов рассказывал нам, что прежде всего поэт имел в виду его для передачи своей фамилии, но по настоянию жены отдал предпочтение ее родному племяннику, Львову. При этом покойный граф припоминал холодность, с какою его принимала Дарья Алексеевна, вследствие чего он, как молодой человек с благородною гордостью, перестал посещать дом Державиных; позднее же, когда шла полемическая переписка между поэтом и А. И. Тургеневым о хрестоматии Жуковского, Блудов доставил себе немало удовольствия подбавить соли в ответ Тургенева. Из своих сношений с Державиным граф Блудов еще рассказывал, что однажды в день Нового года Гаврила Романович возил его к Бакунину, отцу известного выходца.

После неудачи, испытанной Державиным в одном из пунктов своего завещания, он должен был изменить его редакцию и в окончательном виде подписал его 30-го мая 1813-го, за три года до своей смерти. По этой духовной Дарье Алексеевне досталась вся его благоприобретенная собственность, в том числе белорусские деревни и Гавриловка; родовые же имения свои в Казанской губернии (194 души мужского пола) и пожалованное отцу его в Оренбургской село Державино (214 душ) отказал он двоюродному племяннику своему, Петру Никитичу Миллеру, кроме винокуренного завода, также предоставленного Дарье Алексеевне. Сенат встретил было препятствие в утверждении родового имения за Миллером на том основании, что закон дозволяет бездетному отдавать родовое свое имение только лицу *своей фамилии*, Миллер же к фамилии Державина не принадлежал как племянник его по женскому колену; но Государственный совет отверг такое толкование.

Не касаясь распоряжений завещателя относительно уплаты долгов его и т. п., упомянем еще об одном пункте, который содержится только в первоначальном проекте его духовной: там была выражена им воля, чтобы по смерти Дарьи Алексеевны все подвластные ему крепостные люди и крестьяне на основании указа 1803 года обращены были в свободных хлебопашцев. В окончательном завещании этого пункта нет. Объяснение такого на первый взгляд странного изменения мы находим в записках Державина. Видя, сказано там, что указ о вольных хлебопаш-

цах не исполняется и исполниться не может, он в своем завещании сделал относительно освобождения принадлежавших ему крестьян распоряжение, которым, с одной стороны, ограничил самовластие своих наследников, а с другой — не дал и крестьянам никакого повода к своеволию или переходу в другие места. Вот, конечно, та льгота, которую он за несколько лет перед смертью сулил в будущем одному из своих приказчиков. Но желание Державина не могло осуществиться: когда он в 1808 или 1809 году просил через Молчанова об утверждении государем этого распоряжения, то Александр не изъявил на то своего соизволения, «а сказано было, чтоб Державин просил о том в судебных местах по законам, чего без воли монаршей никому не можно сделать». В позднейшей духовной он завещал только отпустить на волю после своей смерти нескольких дворовых людей и в том числе своего камердинера Кондратия Тимофеева, с выдачею ему 500 руб. в награждение.

Овдовев, Дарья Алексеевна отказалась от пенсии в 10.000 руб., которую государь великодушно предложил ей. Впоследствии, когда утихло первое горе, она жалела о том, говоря, что этими деньгами могла бы сделать немало добра. Впрочем, она и из своих собственных средств многим помогала, напр., всем не нужным ей более служителям и служительницам дала у себя помещение и содержание по 15 руб. в месяц до тех пор, пока они пристроятся. Распоряжаясь своею собственностью с величайшим умением и благоразумием, она к концу жизни успела довести свое состояние до весьма обширных размеров, как видно из ее завещания. Прожив во вдовстве еще 26 лет, она умерла также в Званке (где по-прежнему проводила лето) 16-го июня 1842 года на 76-м году от рождения и похоронена, согласно ее воле, в Хутынском же монастыре, в одном склепе с мужем.

Во время пребывания Дарьи Алексеевны в деревне выдаются ее отношения к Аракчееву и к архимандриту Фотию.

По смерти Державина Аракчеев возымел виды на Званку, приобретением которой ему хотелось распространить пределы своих грузинских владений. Но для исполнения такого плана он придумал довольно странный и, как на деле оказалось, не совсем удачный способ. Однажды ко вдове является от его имени генерал фон Фрикен и требует, чтобы она продала Званку в казну. Удивленная неожиданным предложением, она отвечала очень решительно, что никогда не продаст этого имения: «Здесь жил и умер Державин; это мое вдове убежище». — «Но я должен объявить вам, — возразил генерал, — что это положительная воля государя императора». — «В таком случае я прошу вас доложить его величеству, что он может взять у меня Званку, но продать ее я не согласна». — С этим ответом фон Фрикен уехал; дело тем и кончилось.

После смерти Александра Павловича Аракчеев решил, наконец, сблизиться с владительницею Званки. Поводом к тому послужил переданный ему кем-то благоприятный отзыв о нем Дарьи Алексеевны, выразившей в разговоре уверенность, что он

непритворно любил государя и должен теперь глубоко скорбеть об утрате благодетеля. Вскоре после того Аракчеев приехал в Званку и с низким поклоном, касаясь пола рукою, просил извинения в том, что ранее не искал знакомства достойной соседки. С тех пор между ними начались добрые отношения, и они стали посещать друг друга. Аракчеев читал Державиной и ее племянницам письма, некогда полученные им от императора Александра и замечательные по тону задушевной дружбы, который в них господствовал; они были разложены в витринах отдельными связками по годам. Посетительницы из Званки видели у Аракчеева также часы особого, придуманного им устройства: в минуту смерти Александра Павловича являлся на них гроб и раздавалась мелодия «Вечной памяти».

С 1820 года настоятелем Деревяницкого монастыря в Новгороде сделался знаменитый архимандрит Фотий, и вскоре установились известные всем отношения между ним и графиней Анной Алексеевной Орловой: признав его отцом своим, она предалась ему в полное порабощение, и он стал полновластным хозяином не только в душе, но и в доме «девицы», как он называл ее. По словам самого Фотия (в рукописной автобиографии его) примеру графини Анны последовала и также «дщерью его учинилась вдовица благочестивая Державина». Не надо, однако, думать, чтобы Дарья Алексеевна действительно с таким же изуверством подчинилась его влиянию. По своему холодному и рассудительному характеру она вовсе не была способна к подобному увлечению, и хотя оказывала Фотию подобающее почтение, но всегда сохраняла надлежащую долю самостоятельности и достоинства. Случалось даже, что она ссорилась с Фотием. Однажды, когда он вместе с графиней Орловой был в Званке, Дарья Алексеевна упрекала его в слишком грубом обращении с князем Голицыным и другими сановниками. Чтобы выразить ей свое неудовольствие за такую смелость, архимандрит в ее присутствии позволил себе лечь на диван, отворотясь от нее лицом к стене. Дело чуть не дошло до разрыва. Спор между Фотием и кн. Голицыным в доме Державиной дошел раз до того, что последний, выйдя из себя, начал говорить архимандриту «ты». — «А знаешь ли, — спросил Фотий, — кто ты такой? Ты — волк в овечьей шкуре!» На отношения Фотия к Голицыну указывает между прочим письмо первого к Дарье Алексеевне, писанное около 1823 года: в этом письме он изливает свою злобу на А. И. Тургенева, который в то время управлял канцеляриею князя Голицына как министра духовных дел и пользовался большим влиянием. Архимандрит, сказав, что надменный комар Тургенев наделал ему много пакостей, кончает словами: «Вот эпитафия и панегирик Тургеневу, о котором ты спросила и написала». Окончательно Фотий восторжествовал над Голицыным, успев вытеснить его из духовного ведомства.

Известно, что Дарья Алексеевна завещала между прочим, чтобы в Званке после ее смерти учреждено было нечто вроде женского монастыря. Обыкновенно думают, что эта мысль была

внушена ей Фотием; но родные покойной свидетельствовали, что такое распоряжение было придумано, совершенно независимо от него, ею самой с целью более надежным образом упредить на вечные времена существование Званки как достопамятного и дорогого потомству жилища Державина. Если бы, рассуждали родные, Дарья Алексеевна действовала под влиянием Фотия и Орловой, то она, вероятно, завещала бы на богоугодную цель не некоторую только часть своих капиталов, а все свое значительное состояние.

К этому распоряжению вдовы поэта мы еще возвратимся; а теперь упомянем о некоторых других статьях ее завещания, подписанного 30-го мая 1839 г. и потом еще дополненного 15-го июня того же года. Разделяя большую часть своих имений между родными и близкими ей людьми, она не забыла никого из тех, которые ей так или иначе служили: назначила кому тысячи, кому сотни, кому десятки рублей, некоторых же из крепостных отпустила на волю. Следующие два распоряжения ее имеют общественное значение: 1) В знак благодарности казанскому дворянству проценты с капитала в 30.000 руб. определены ею на воспитание в казанском университете двух или трех бедных дворян тамошнего края. 2) Ею завещан капитал на учреждение приюта для освобожденных из-под стражи. Этого последнего распоряжения мы не нашли в ее духовной, но знаем из газет, что из процентов оставленной ею суммы 11-го октября 1865 года такой приют открыт был в Москве с панихидою по Державиной. Из недвижимой собственности своей она отказала белорусское имение племянникам своим по брату Дьяковым, а Гавриловку, как выше было уже упомянуто, Семену Васильевичу Капнисту.

Из собственности, лично принадлежавшей Гавриле Романовичу, — так сказать, кабинетной его собственности, — библиотека его, вместе с книгами Дарьи Алексеевны, отдана была Бороздину, главному душеприказчику покойной. Эта библиотека не отличалась богатством. В ней оказалось между прочим много мистических сочинений и переводов, доставшихся вдове Державина по смерти брата ее, Николая Алексеевича Дьякова. Поэтому разбиравшие эту библиотеку А. А. Воейков (сын Веры Николаевны) и Д. В. Поленов (женатый на сестре его) решили сбить большую часть книг Державиных букинистам. Поленов удержал у себя лишь несколько книг, в том числе экземпляр старинного издания сочинений Ломоносова с заметками, сделанными на полях его рукой Державина при составлении им «Рассуждения о лирической поэзии».

Бумаги Державина разделены были между теми из родственников, которые ими наиболее дорожили. По завещанию вдовы, рукописи стихотворений, как изданных, так и неизданных, между прочим и украшенные виньетами, достались старшему племяннику ее, Леониду Николаевичу Львову (а после него сыну его Леониду Леонидовичу, который передал их нам). Тетрадь записок поэта была предоставлена Бороздину вместе с маленькой черновой тетрадью анакреонтических стихотворений, пи-

санных рукой Державина. Последнюю рукопись Бороздин в 1847 г. принес в дар казанскому университету. Тетрадь «Записок» составляет ныне собственность Императорской публичной библиотеки.

Два портрета обоих супругов во весь рост (один работы Тончи, другой Боровиковского) получил Александр Николаевич Львов, живший в Москве. Страдая слабостью зрения, он не особенно доволен был этим подарком. Поясные портреты супругов были отказаны Семену Васильевичу Капнисту. Наконец, маленький портрет Державина, писанный Боровиковским, наследовала внучка Львова (дочь Елизаветы Николаевны) Марья Федоровна Ростовская. Из принадлежавших Державину вещей письменный стол его, чернильница и кресла пожертвованы были Бороздиным в 1845 году Казанскому университету, в библиотеке которого они и сохраняются.

Относительно Званки, в дополнение к завещанию Дарьи Алексеевны, выражена была положительная воля ее: устроить в этом селе женский монастырь во имя Знамения Божией Матери с употреблением на то 50.000 руб. асс., а на содержание этого монастыря внести в Опекунский совет 100.000 руб. асс. В случае же, если бы встретились какие-либо препятствия к осуществлению этой мысли, завещательница определила село Званку продать и проценты с вырученной за это имение суммы употреблять на ежегодную раздачу во все женские монастыри Новгородской губернии.

По засвидетельствовании духовной и исполнении прочих формальностей главный душеприказчик Дарьи Алексеевны сенатор Бороздин в 1844 году просил св. синод исходатайствовать дозволение на учреждение в Званке не только женского монастыря, но и духовного при нем училища для бедных девиц духовного звания, так как он, по смыслу предоставленного ему вдовою Державиной полномочия, считал себя вправе не держаться одной буквы ее завещания, но дать этому распоряжению более полное развитие в духе изъявленной ею воли. При этом Бороздин обязался внести капитал в 150.000 р., как скоро каменный дом у Измайловского моста будет продан.

Вследствие того по докладу синода состоялся 11 августа 1851 года указ о принятии в духовное ведомство с помянутою целью угодьев и земель села Званки, причем крестьян его повелено обратить в казенное ведомство. По исполнении указа синодом назначена была специальная комиссия для предварительного осмотра господского дома и других строений поместья. Эта комиссия состояла из членов Новгородской консистории: архимандрита Юрьевского монастыря Варлаама и протоиерея Софийского собора Богословского.

Обозрев здания, они вместе с архитектором духовно-учебного управления Кудиновым 15 мая 1858 года положили: 1) на месте господского дома, пришедшего в совершенный упадок, воздвигнуть новый каменный корпус для училища девиц духовного звания, и 2) два каменные флигеля возобновить для помещения

монастырских келий; из прочих же деревянных строений одни, как негодные, разобрать, а другие перенести в более удобные места. По предложению архитектора Кудинова тогда же было приступлено к разборке здания, чтобы сберечь материалы еще не поврежденные, ибо строения, по совершенной негодности крыши, подвергались гниению от повсеместной течи. Это-то распоряжение и было причиною того разрушения, в каком мы застали усадьбу Званки при посещении ее в 1863 году.

На основании составленного комиссии акта в духовно-учебном управлении изготовлены были проекты на возведение в Званке новых зданий для помещения женского монастыря и училища, и в 1860 году проекты эти препровождены к митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому. Но по рассмотрении их высокопреосвященный Исидор находил: 1) что пожертвованных сумм и имеющихся в виду доходов едва ли будет достаточно для устройства помещений и на содержание монахинь и воспитанниц, и 2) что при заведении училища в монастыре, удаленном от города, всегда могут встречаться затруднения в добывании свежих припасов и, еще более, в приискании учителей. Поэтому владыка полагал: 1) согласно с находящеюся в завещании оговоркой имение Званку продать; 2) во внимание к мысли Державиной мужской Деревяницкий монастырь, лежащий только в трех верстах от Новгорода, преобразовать в женский и при нем устроить училище для девиц духовного звания.

Но на эти предположения не изъявили согласия остававшиеся в живых наследники Дарьи Алексеевны (Бороздин умер еще в 1848 году), Елизавета Николаевна Львова, Вера Николаевна Воейкова и племянник их Алексей Васильевич Капнист: они ссылались на положительную волю завещательницы, дорожившей тем, чтобы придуманным ею распоряжением почтить память знаменитого супруга своего.

Вследствие того указом синода от 19 июля 1865 года Новгородскому епархиальному начальству разрешено было приступить к устройству в Званке каменного здания для женского монастыря с училищем. Через два года здание было выстроено по контракту, заключенному со штабс-капитаном Пороховщиковым, и затем, по представлению митрополита Исидора, обер-прокурор святейшего синода граф Д. А. Толстой испросил высочайшее разрешение открыть в селе Званке женский монастырь под названием «Знаменского» с 10-ю монахинями и учредить при нем «Державинское» трехклассное училище для 30 бедных девиц духовного звания. Доклад об этом утвержден 23 марта 1869 года, и таким образом предположение Дарьи Алексеевны приведено в исполнение через 25 лет после того, как душеприказчик ее начал это дело.

По сведениям, опубликованным в 1879 году архимандритом Иосифом, «первою игуменьей монастыря и начальницею училища была монахиня Поликсения, вызванная из тверского Христорождественского монастыря, дочь генерал-лейтенанта Н. А. Ушакова. Под ее личным надзором устроился двухэтажный ка-

менный дом посреди двух каменных флигелей и приспособлен для трех классов в верхнем этаже и для рекреационной залы, столовой и спальных комнат в нижнем этаже... Монастырские кельи деревянные; монахинь и указных послушниц 9, и кроме того 15 послушниц живут по паспортам. Одна из послушниц состоит преподавательницей пения в училище.

Нынешняя начальница училища и монастыря, игуменья София, служила при первой игуменье с самого основания этих учреждений в селе Званке в звании ее помощницы; с февраля же 1877 года по смерти игуменьи Поликсении она заняла ее место. Помощницей по училищу и казначеей по монастырю состоит ныне монахиня Аркадия, окончившая курс в С.-Петербургском Екатерининском институте.

Учаций персонал состоит из трех учителей семинарского образования и трех воспитательниц, окончивших курс в местном училище. Всех воспитанниц 46; из них в первом классе 20, в среднем 14, а в высшем 12. Можно пожелать, — говорит архимандрит Иосиф, — чтобы епархиальное духовенство придумало средства для удержания учителей по крайней мере на 6 лет и для привлечения сюда особого законоучителя с высшим образованием, кроме священника местного, отвлекаемого от преподавания обязанностями исполнять требы для соседних поселян и совершать службы для монашествующих».

Так осуществилась и продолжает жить мысль завещательницы. Нет сомнения, что если бы поэт наш, столь расположенный к благочестию и благотворительности, при жизни своей мог предвидеть назначение, данное супругою его любимой их Званке, то он благословил бы ее предприятие.

15. Чествование памяти Державина

Уже в августе 1816 г. между членами Беседы шла речь о торжественном собрании в память поэта: 2-й разряд, в котором покойный был председателем, обращался к Ф. П. Львову с просьбой испросить позволение Дарьи Алексеевны собраться с этою целью в ее доме. Но Львов отвечал, что, видя глубокую скорбь вдовы, он не может решиться говорить с ней об этом, и что по его мнению удобнее было бы устроить такое собрание в зале Российской академии, при которой, по слухам, предполагалось возобновить Беседу. О мысли Львова было заявляемо Шишкову еще и в 1818 г., но, неизвестно почему, эти переговоры остались без последствий.

Есть рукописное известие, что в память Державина было какое-то собрание в Москве; но достоверное сведение мы имеем только о состоявшемся в Казани торжественном заседании тамошнего Общества любителей отечественной словесности, к которому поэт с 1815 года принадлежал в качестве почетного члена. Это заседание происходило 24-го сентября 1816 года в празднично убранной зале, где висевший на стене портрет поэта

под лавровым венком покрыт был черным крепом и перевязан белыми лентами; перед ним на столе находились символические изображения. Собрание было открыто речью председателя общества профессора И. Ф. Яковкина; после того секретарь Кондырев прочел очерк биографии Державина. Были и другие чтения. Читались между прочим некоторые стихотворения чествуемого. В заключение принято было предложение председателя написать похвальное слово покойному и биографию его и поставить ему урну или памятник. Состоялось еще странное определение: испросить позволение ежегодно означать в адрес-календаре: «Был Гавриил Романович Державин». На всеподданнейший доклад об этом управлявший министерством народного просвещения, в марте 1817 года, объявил высочайшее повеление, что «ежели Общество пожелает поставить у себя портрет или бюст Державина, то сие дозволяется, но в адрес-календарь имена умерших не вносятся».

Естественная мысль воздвигнуть Державину в Казани памятник, по примеру поставленного в Архангельске Ломоносову, была уже в первые годы по смерти поэта высказываема несколько раз. В 1825 году она была возобновлена на публичном акте 1-й казанской гимназии (где воспитывался Державин) директором заведения Лажечниковым в присутствии попечителя учебного округа Магницкого и губернатора Жмакина, которые и обещали свою поддержку этому делу. Но к исполнению его приступлено было не ранее 1828 года, когда новый секретарь Общества Суворовцев опять поднял вопрос о том. Тогда попечитель округа М. К. Мусин-Пушкин поручил Обществу составить проект памятника и в мае 1830 г. препроводил его к министру народного просвещения князю Ливену. Но Академия художеств, на рассмотрение которой он был передан, его не одобрила. Составленный по ее поручению академиком Мельниковым новый проект утвержден был императором Николаем: 5-го декабря 1831 года последовало через комитет министров высочайшее разрешение открыть по всей империи подписку на сооружение памятника Державину, и все распоряжения по этому делу возложены на попечителя Казанского учебного округа. По успешному сбору пожертвований тогдашний министр внутренних дел Д. Н. Блудов увидел возможность «соорудить памятник в таком виде, который бы по изяществу рисунка и размерам соответствовал цели изъявить уважение России к одному из первейших ее поэтов и с тем вместе служил бы украшением довольно важного в империи города, какова Казань». Поэтому министр испросил дозволение государя, не стесняясь сметой академика Мельникова, открыть через Академию художеств конкурс для составления проектов памятника. Конкурс объявлен был в апреле 1832 года. Поступило довольно большое число проектов; из них совет академии остановил свое внимание на трех. В мае 1875 император Николай, по представлению Блудова, утвердил проект профессора Тона с применением к нему статуи и барельефов, проектированных академиком Гальбергом. Предполагалось поставить памятник на

городской площади, но государь во время пребывания своего в Казани 20-го августа 1836 года лично указал место для сооружения его на внутреннем университетском дворе.

В 1842 году поступившие на этот предмет пожертвования составляли наличными деньгами 12.048 руб. и билетами Московской сохранный казны 6.705 руб. Весь сбор от пожертвований препровожден был к министру внутренних дел. Затем сооружение памятника возложено было на казанскую строительную комиссию под наблюдением Академии художеств. Закладка происходила 15 сентября 1844 года в присутствии военного губернатора Шипова, архитекторов Крампа и Коринфского и ректора университета Лобачевского.

Касательно перевозки на место камня, доставленного водою к Казани, до нас дошел следующий рассказ очевидца. Чтобы приискать лучший к тому способ, университетское начальство созвало архитекторов, которые, разумеется, и указали на употребительные в таких случаях сложные и недешево стоящие приспособления. Но приказчик судна решил вопрос гораздо проще. У старого канала бывает биржа, или род ярмарки, на которую стекается множество народа. К этому-то сборищу и обратился он с такою речью: «Народ православный! Вот приехала Держава, и перевезти ее надо, а как это сделать, если ты не поможешь? Народ православный! Помоги перевезти Державу!» Толпа, не задумываясь, выразила свою готовность исполнить просьбу: тотчас устроены были салазки, и весь материал дружно перевезен с берега к университету. Торжественное открытие памятника последовало 23 августа 1847 года. По месту его сооружения это было университетским празднеством, но, конечно, весь город принял в нем живое участие. Перед памятником устроен был амвон; парадное крыльцо и лестницы университетского здания убраны были редкими растениями, устланы красивыми коврами, уставлены бюстами знаменитых людей. В комнатах, также украшенных зеленью и цветами, приготовлены были столы для завтрака; на одной из стен висел портрет Державина, на другой красовался вензель его, сделанный из цветов.

С раннего утра толпы любопытных спешили на обширный университетский двор; ближайшее к памятнику место занимали студенты; за ними следовали воспитанники двух казанских гимназий. В числе присутствовавших находились все городские власти. После обедни в университетской церкви архиепископ Владимир и городское духовенство с крестами и хоругвями, в сопровождении множества народа, отправились к памятнику, еще завешенному полотном, и там отслужили панихиду по Державине. Зрелище было величественное; университетский двор едва мог вместить массу собравшихся; во всех окнах главного здания виднелись люди; многие взобрались на кровлю; были зрители даже на Вознесенской колокольне и на полицейской башне. По провозглашении «вечной памяти» упала завеса, и преосвященный окропил монумент водою. Тогда на возвышение,

приделанное к памятнику, взошел казанский вития архимандрит Гавриил и произнес глубоко прочувствованное слово.

По окончании церемонии университетская актовая зала быстро наполнилась слушателями. Перед кафедрой поставлены были стол и кресла, некогда принадлежавшие чествуемому поэту и принесенные в дар университету; на столе находились письменный его прибор и том его сочинений, а возле кафедры возвышался бюст его. На кафедру взошел профессор русской литературы К. К. Фойхт и прочел одушевленную речь, которая произвела сильное впечатление. В заключение секретарь Общества любителей отечественной словесности Суровцев прочитал историю сооружения памятника и заявил между прочим, что это Общество определило ежегодно иметь свое публичное собрание в годовщину открытия памятника Державина. По окончании чтений ректор университета И. М. Симонов передал профессору Фойхту как университетскому библиотекарю присланный Бороздиным автограф «Анакреонтических песней» Державина. Утреннее празднество окончилось завтраком, который сопровождался обычными тостами, речью ректора и музыкой народного гимна. Вечером иллюминация снова привлекла на университетский двор толпы жителей Казани.

Мысль художника, осуществленная памятником, объясняется в академической записке следующим образом:

Статуя. Поэт сидит на камне, на скалистой почве, углубленный в размышление; он вдруг почувствовал себя вдохновенным; голова его поднялась, чтобы ловить мысль, в ней сверкнувшую; правая рука осталась в том же положении, как она поддерживала голову; левая берется за лиру.

Пьедестал. На лицевой стороне его надпись: «Г. Р. Державину 1846». Барельефы: На левой стороне Минерва, карающая мятеж, и Державин следует за нею (намек на деятельность его во время Пугачевского бунта). Вместе с Аполлоном видна Фемида, приглашающая поэта к своему служению. На правой стороне Державин в сопровождении Граций, поставив лиру на алтарь, посвященный отечеству, поет свои гимны; ему внимают Фелица, готовая увенчать его. Нева, сказано в официальном описании, восплещет его песням. На задней стороне Ночь и День, как эмблема непрерывных трудов поэта, осыпают цветами его песни.

В начале 1867 года казанское губернское земское собрание постановило ходатайствовать о разрешении перенести памятник Державина на театральную площадь, против дворянского собрания. В подкрепление этого ходатайства приведено было следующее: «Находясь на университетском дворе, окруженном со всех сторон высокими зданиями и каменными стенами, этот памятник малодоступен для публики, многим и совершенно неизвестен, не может способствовать ни украшению города, ни поддержанию в обществе воспоминания о трудах покойного поэта, и получает от местоположения своего значение какого-то частного монумента, почти излишнего». По всеподданнейшем докладе о том государь император 9-го февраля 1868 года высочайше соиз-

волил на приведение в действие ходатайства губернского собрания. Вместе с тем было дозволено открыть при казанской земской управе подписку на добровольные пожертвования для расходов по перенесению памятника, которые тогда же исчислены были приблизительно в 2000 руб. В 1870 году памятник был действительно перенесен на предположенное место, а в 1871 г., по определению губернского собрания, вокруг него устроен сад с решеткой, составляющий нынче так называемый Державинский сквер. Таким образом, по местному народному рассказу, «чугунный генерал из наверститута, где студентов обучают, поехал к театру, и поставили его тут на площади потому-де, что монументу эдакого человека, вельможного и генерала, стоять на дворе наверститута не пригоже». По другому воззрению, однако, стоящие у памятника казанские извозчики, бранясь между собою, говорят друг другу: «Эх ты, идол! Державин ты эдакой!» От великого до смешного только один шаг.

Высокая честь оказана памяти Державина в новейшее время помещением его изображения на двух величественных монументах, воздвигнутых в царствование императора Александра Николаевича: на памятнике, поставленном в Новгороде в ознаменование годовщины тысячелетия Русского государства, и на памятнике Екатерины II, сооруженном в Петербурге на площади Александринского театра.

16. Заключение

Нам остается собрать разбросанные в труде нашем черты личности и таланта Державина, чтобы представить, по возможности, цельный образ его как человека, общественного деятеля и поэта.

Если принять в соображение время, когда он родился, и обстоятельства, посреди которых развивался, то нельзя не признать его замечательным и необыкновенным явлением в истории русского общества. После глубокого нравственного падения в той растлевающей среде, где ему пришлось прожить большую часть молодости, он внезапно восстает из грязи порока с твердым намерением вступить на путь правды и чести, и этот важный шаг делается началом всех последующих успехов его. Припоминая его семейные, служебные и общественные отношения, всякий беспристрастный наблюдатель отдаст ему справедливость как доброму сыну и родственнику, как человеколюбивому начальнику и помещику, вообще как христианину, всегда расположенному делать добро; причем излишняя доверчивость и необыкновенное добродушие часто бывали причиною, что сам он становился жертвой обмана.

К государственной службе Державин имел несомненные способности. Об этом достаточно свидетельствуют быстрота и легкость, с какими он, перейдя с военного поприща на гражданское, усвоил себе основательное знакомство с законами и дело-

производством. Но для вполне успешной деятельности в этой сфере ему недоставало многого; прежде всего недоставало ему спокойствия духа, самообладания и терпения; не было у него также благоразумного умения уживаться с людьми, применяться к обстоятельствам, к характеру, взглядам и поведению других, быть ловким и гибким, хотя бы для вернейшего достижения своих целей. Оттого-то он ни в одной должности не мог утвердиться прочно и отовсюду принужден был удаляться вследствие ссор с поставленными над ним властями или с сослуживцами. Но эти ссоры происходили не от строптивости в его характере, как думала Екатерина II, и не от сварливости, а от крайне строгого, даже педантического уважения к закону и долгу, от смелой откровенности и неуклонной прямоты в выражении своих убеждений и применении к ним своего образа действий; наконец, от необыкновенного горячего и нетерпеливого нрава его. Главною причиною всех его столкновений было стремление во что бы ни стало доставить победу правде или тому, что он считал справедливым. Если бы он более дорожил внешними выгодами, то, конечно, сумел бы удержаться по крайней мере в милости Екатерины II и императора Александра, к которым был близок.

Ему ставят в упрек, что он, желая поправить свое положение при дворе, два раза употреблял на то свой талант, но при этом забывают, что к бывшему питомцу новоучрежденной провинциальной гимназии времен Елизаветы Петровны нельзя прилагать мерки нынешних требований. По той же причине несправедливо было бы строго относиться к Державину и за то, что он, естественно придавая большую цену чинам и вообще служебным отличиям, хлопотал о получении наград, когда считал себя обиденным в сравнении со своими сослуживцами. По полученному им воспитанию надо еще удивляться, какой высокой степени развития он успел достигнуть благодаря плодотворной школе жизни, своим дарованиям, любознательности и обширной начитанности. Конечно, выражавшаяся в его делах и сочинениях благородная человечность была отчасти плодом того духа, который проникал вообще учреждения и все царствование Екатерины II, но необходимое условие к тому лежало в собственной природе его. За время тамбовского губернаторства особенную честь приносят Державину заботы его о народном образовании: во всех своих распоряжениях по этой части он показал себя в полном смысле просвещенным правителем.

Немногие государственные люди знали Россию, как Державин, изучивший ее лицом к лицу от Казани до Белоруссии, от низовьев Волги до Северного океана, от крестьянской хаты и солдатской казармы до царских чертогов; немногие так хорошо понимали ее исторические судьбы и призвание. Сам отличаясь редкою энергиею и деятельностью, он вел неутомимую борьбу против некоторых коренных недостатков русского человека, — против его слабости воли и беспечности, против равнодушного отношения его к закону и легкости, с какою он дает употреб-

лять себя орудием враждебных козней. В служебной деятельности своей Державин всегда руководился более опытом жизни, практикою, нежели теориею, часто основанною на непригодных для России началах; он не дорожил канцелярскими формальностями и бюрократическою рутиной, любил быстроту производства и гласность, во все вносил дух жизни и правды.

Эта последняя черта составляет существенное отличие и поэзии его. В Державине жила кипучая сила, ознаменовавшаяся в его литературном творчестве между прочим чрезвычайною производительностью. Это один из самых плодovitых русских писателей. Вот первая трудность полного изучения и верной оценки Державина. Другая причина, почему критике нелегко установить свой взгляд на него, заключается в разнородности содержания его сочинений и неравенстве их достоинств. Превосходное смешано у него не только с посредственным, но и с дурным. Естественно, что в суждении о таком писателе должно входить много субъективного: каждый судит о нем по тем впечатлениям, которые оказываются сильнее; один более поражается красотами его поэзии, другой ее недостатками, и на этом основании в приговорах о нем преобладает то похвала, то порицание. Не от того ли происходит и различие между взглядом на Державина современников его и большинства нынешних его читателей? Не этим ли объясняется и то противоречие, на которое мы указали в разновременных суждениях о нем Пушкина? Старики видели в нем одно хорошее; внуки склонны замечать преимущественно дурное. И это очень понятно: справедливость требует прямо допустить, что поэзия Державина представляет много такого, что несогласно с понятиями и вкусом нашего времени. В сущности, ода как выражение высшего лиризма составляет совершенно законный и всем временам свойственный род поэзии. Но естественно, что характер и форма ее не могут не видоизменяться по требованиям каждой эпохи. Оду 18-го столетия обыкновенно представляют себе хвалебною, льстивою по содержанию и напыщенною по форме. Но этими чертами обозначается, собственно, только весьма распространенное в 18-м веке злоупотребление оды, а не самая ода. С тех пор литература вместе с жизнью постоянно стремилась к упрощению форм, отвергая все изысканное и принужденное, всякую ложь и притворство. Свобода и простота во всех проявлениях общественной жизни, такова была одна из главных задач позднейшего времени. Под условием этих двух качеств и ода могла продолжать свое существование, хотя уже и отказавшись от своего громкого имени. Еще и под пером Пушкина она иногда воскресала, но не иначе, как в чертах простой и мужественной красоты, как, напр., в его стихотворениях «Наполеон», «Бородинская годовщина», «Клеветникам России».

Но первый шаг к изменению у нас характера оды 18-го столетия, введенной Ломоносовым, а вместе и первый шаг к переходу русской поэзии в новый период был сделан Державиным. В «Фелице» и в примыкающих к ней стихотворениях он создал новый род оды, который можно назвать русской народной одой.

Но, найдя в ней настоящую сферу для своего поэтического призвания, Державин не мог вполне отречься и от торжественной лирики, в которой с не меньшим блеском являлся его талант к изображению великих дел и помыслов человека или картин природы. Жаль только, что богатству воображения и высокому настроению духа не вполне соответствовало у него умение владеть языком и художественное чувство. Конечно, и торжественные оды его, по оригинальности замысла и достоинству подробностей, не похожи на другие стихотворения этого рода; но нельзя отрицать, что рядом с первоклассными красотами поэзии у него встречается риторический пафос и иногда, после поразительного возвышения, поэт вдруг падает, а в то же время и язык его местами становится в высшей степени небрежным и неправильным. И вот эти-то недостатки мешают многим справедливо оценивать Державина как поэта.

Неровность языка составляет в нем одно из загадочных на первый взгляд явлений. С одной стороны, кажется странным, как человек, не знающий основательно ни грамматики, ни орфографии, часто достигает такой пластичности выражения, такого плавного и легкого стиха, такой ловкой и звучной поэтической фразы, какие свойственны только мастеру дела. С другой стороны, нас поражает его тяжелая, запутанная, неуклюжая проза; наконец, рядом с совершенным неведением теории слова у него является удивительное богатство материала из всех сфер языка: из церковно-славянского, из русского книжного, из простонародного и даже из областных наречий. Таким образом, он представляет блестящее исключение из высказанного Сумароковым правила:

Нельзя, чтоб тот себя письмом своим прославил,
Кто грамматических не знает свойств и правил.

Но противоречия, замечаемые в стихотворном языке Державина, объясняются тем, что он, обладая изумительным природным чутьем, вообще отличающим талант, мог удачно побеждать трудности версификации только тогда, когда был открыт вдохновением, но, никогда не вникав в разнообразные формы и законы языка, не умел совладать с ним в обыкновенном, как бы будничном настроении духа. Точно так же он вовсе не имел понятия о законах художественной стройности произведения, и оттого-то проистекает господствующее в его одах отсутствие выдержанности. Эти два существенные недостатка его стихотворений, неровность языка и слабость художественного элемента, всегда останутся тенью в его поэтической славе. Естественно, что после совершенства, достигнутого позднейшими поэтами не только в форме, но и в художественной разработке содержания, недостатки поэзии Державина должны сильно чувствоваться в настоящее время.

Но наш взгляд на писателя другой эпохи никогда не будет верен, если мы, увлекаясь только требованиями настоящего, не

будем уметь стать твердо на почву исторической критики. Посмотрим теперь, чем Державин был для своих современников.

Конечно, тогдашнее общество сознавало живую его связь с собою: иначе оно не могло бы так горячо сочувствовать его поэзии. Потомкам трудно представить себе неимоверную славу, какую Державин пользовался в свое время. После Ломоносова в русской литературе только и было два писателя, к которым так чутко и восторженно прислушивалось общество: Державин и Пушкин. Всякое новое произведение их переписывалось сотнями рук, быстро разносилось в отдаленнейшие концы России и выучивалось наизусть; часто даже и напечатанные стихи их продолжали распространяться в списках. Державин еще и при императоре Александре I сохранял прежнее обаяние. Когда в 1804 году он переслал в Москву известному графу А. И. Мусину-Пушкину отклик своей только что отпечатанной «Колесницы», тот писал к нему: «Напрасно не поставили вы своего имени; все те, которые у меня оную читали, единогласно сказали, что это вашего пера. Копий столько писец мой писал по требованиям желающих, что, думаю, он знает ее теперь наизусть». В современных поэту периодических изданиях и рукописных сборниках встречается множество стихов, которых предметом он, его талант, его громкая слава, наконец, его достоинство и заслуги: справедливость, любовь к добру и к человечеству, преследование лжи и порока.

Поэтому любопытно исследовать, что именно в такой степени влекло к нему современников, почему они так понимали и ценили его. Необходимо всмотреться, действовали ли на них вечные, не стареющие элементы поэзии или только случайные интересы минуты, теряющие цену для потомства.

Когда началась литературная известность Державина, прошло уже около двадцати лет с воцарения Екатерины: уже давно славился ее «Наказ», учреждены были банки и воспитательные дома, присоединена Белоруссия, заключен мир в Кучук-Кайнарджи, устраивались наместничества. Государыня успела уже поразить воображение своих подданных блеском славных дел и внушить им доверие к ее мудрости и величию; уже все сознавали кроткий и благотворный дух ее царствования. Много было попыток воздать ей стихами заслуженную хвалу; но все эти напыщенные оды, не имевшие никакого отношения к жизни, оставались незамеченными. Тогда-то раздался голос поэта, который облек в живое, игривое слово то, что многие чувствовали, но не умели выразить. В «Фелице» воплотилась гениальная Екатерина не только со всем своим величием, но и со всею своею глубокою человечностью, со своими либеральными воззрениями и целями, со своею снисходительной приветливостью, со своими литературными занятиями в тиши царственного кабинета. При этом она явилась тут не одна, но во всем блестящем своем окружении, в среде своих пышных и прихотливых вельмож. В описании ее и их образа жизни, в тоне обращения поэта к сильным мира, обитающим на высотах, считавшихся недосягаемыми, бы-

ло столько нового и смелого, что образованное общество с восторгом приветствовало появление необыкновенного таланта.

Но «Фелица» имела еще и другое, чисто литературное значение. Незадолго перед тем начали слышаться выходки против тяжелых, бездушных од, которые наводняли литературу; уже ощущалась потребность чего-нибудь более живого, и «Фелица» явилась неожиданным ответом на эту потребность. Шуточно-сатирический тон этой оды, простой язык ее и легкий, естественный стих были так поразительны, что произведенное ею впечатление может быть сравнено разве только с тем, какое ода Ломоносова «На взятие Хотина» произвела на его современников своим новым размером и складом.

Но самым существенным условием успеха «Фелицы» была та искренность, которую в ней почувствовали, и это свойство, без которого немислимо полное торжество таланта, сделалось одною из отличительных принадлежностей поэзии Державина. Без искреннего чувства он не мог воодушевляться; тогда ни один писатель не становился так бессилен, как Державин. Одних житейских побуждений было недостаточно, чтобы дать крылья его таланту; оды «Изображение Фелицы» и «На восшествие на престол императора Павла», хотя и предпринятые им по внешнему побуждению, удались ему потому, что он действительно чувствовал все в них высказанное. Напротив, когда императрица приблизила его к себе, сделав его своим секретарем, когда для него была бы особенно выгодна роль придворного певца, тем более что сама Екатерина не раз вызывала его писать стихи вроде «Фелицы», он не в состоянии был создать ничего подобного, потому что, как сам говорит, приближение ко двору, где он увидел перед собой игру человеческих страстей, охладило его и он уже «почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу государыни».

Придворным стихотворцем Державин никогда не был и не мог быть. Правда, что дух современной ему литературы и самые обстоятельства сильно влекли его в сферу подобной деятельности; но тому противились, с одной стороны, сила и самобытность его таланта, а с другой — энергический его характер. Хвалебное стихотворство, каким оно является при разных европейских дворах прошлого столетия, отличается холодною высокопарностью и бездушною сухостью. Поэзия Державина остается чуждою этого характера, и если некоторые из его од по направлению действительно подходят под этот разряд стихотворства, то по рассеянным в них красотам они носят, однако, печать истинно поэтических созданий. Следует заметить, что в отношении почти ко всем фаворитам Екатерины Державин хранил молчание. Даже Потемкина при жизни его он хвалил мало; в Платоне Зубове он похвалил его музыкальный талант и приветствовал этого вельможу за ласковый прием в его доме. Валериан Зубов внушил ему стихи своим несчастьем в Польше и подвигом в Персии: Державин искренно уважал его как человека. О других любимцах нет и помину в его стихах. Нельзя также забыть,

что Суворова и Валериана Зубова он продолжал воспевать в то время, когда они были в немилости, и в какую же пору? в царствование императора Павла.

Главная ода Державина в честь Потемкина написана была по смерти его. «Водопадом» он воплотил в величественный и вечный образ свое глубоко поэтическое понимание этого необыкновенного человека, который еще далеко не разъяснен историей, но, конечно, недаром сохранил до конца полную уверенность Екатерины и оставался во всех обстоятельствах ее советником — «решитель дум в войне и мире, могущ, хотя и не в порфире». В этой удивительной оде Державин проявил во всей полноте именно ту сторону своего духа, в которой главным образом заключалась тайна его могущественного действия на современников. Певцом величия назвал его Гоголь, и это слово чрезвычайно метко. Таким является Державин в двух отношениях: как выразитель великих общечеловеческих идей и как певец величия России и русского народа.

Если обратимся к общим направлениям 18-го столетия, то найдем, что важная дума о человеке, о его отношении к высшему миру и положению в здешнем составляла везде одну из господствующих тем литературы и искусства. Это настроение проникло и к нам; но тогда как у других русских писателей оно порождало только скучное прозаическое нравоучение, оно же у Державина становилось основой сильного и глубокого лиризма. Даже и из лириков других наций не было ни одного, который бы такими резкими чертами, в таких потрясающих картинах умел выставлять противоположность между роскошью земных наслаждений и их непрочностью, и вместе так осязательно изображать высоту духовной нашей природы.

Нас не должно поражать, что Державин в действительной жизни сам не всегда удовлетворяет требованиям высшего нравственного закона. В нем живут как бы два человека: один — в минуты творчества, с величавым, недосыгаемым идеалом человеческого достоинства, другой — в треволнениях житейской суеты, со всеми страстями человеческой природы. Эту двойственность поэта прекрасно выразил Пушкин, сознававший ее в самом себе; и к Державину, столько же как к нему самому, применяется сказанное им о поэте, поглощаемом прозою жизни:

Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Зная историю детства и юности Державина, мы недоумеваем, как мог развиться такой высокий идеал в человеке, который не получил почти никакого воспитания и провел лучший возраст в самом дурном обществе, — сперва рядовым, в низшей полковой сфере, а потом офицером, в омуте разврата, в праздности, карточной игре и разгуле всякого рода. Но здесь мы находим и раз-

гадку явления. Из гибельной борьбы страстей эта сильная натура вышла с торжеством благодаря глубоко запечатленным в молодой душе воспоминаниям детства и опытам жизни.

Дорого купленное нравственное перерождение отразилось в поэзии Державина религиозным ее направлением в последующее время. Самым решительным выражением этого направления была его ода «Успокоенное неверие», которая, по собственным его словам, первая обратила на него внимание любителей литературы, вероятно, переработанная им через несколько лет после первого ее зарождения. Таким образом, и в области духовной лирики, в которой венцом его славы сделалась впоследствии ода «Бог», Державин собственным опытом выстрадал свое творчество, и здесь мы опять встречаемся с тою искренностью, на которую уже было указано как на одно из существенных свойств его духа, с тем чистосердечием, о котором сам он говорит в своем «Признании».

Об оде «Бог» в наше время судили различно. Со своей стороны, замечу только, что причины ее беспримерного успеха должно искать в силе ее лирического полета, глубине религиозного убеждения и величии начертанных в ней образов. Сравнив оду «Бог» с лучшими произведениями других европейских литератур в том же роде, мы будем невольно поражены ее превосходством со стороны быстроты движения, высоты лиризма и поражающей картинности. В отношении к его духовной поэзии вообще можно прибавить, что в ней, по замечанию покойного митрополита Киевского Арсения, обнаруживается большое знание церковного богословия.

Потрясая своих современников как защитник Божией правды на земле Державин не менее возбуждал их сочувствие пламенным изображением величия судеб России, ее исполинской силы и обширности, ее грозного торжества над всеми врагами. То была пора гордого юношеского самосознания русского общества, и Державин сделался органом этого сознания, или, вернее, самочувствия. Как глубоко и твердо верит он в несокрушимость России, в высокое назначение русского народа, и особенно, — что весьма замечательно, — в призвание его дать мир Европе (Афету):

Афету мир? О труд избранный,
Достойнейший его детей,
Великими людьми желанный!
Свершишься ль ты средь наших дней?

Так восклицает поэт во время второй турецкой войны, в 1790 году.

Доколь, Европа просвещенна,
С перуном будешь устремленна
На кровных братьев своих?
Не лучше ль внутрь раздор оставить
И с Россом грудь одну составить
На общих супостат твоих?

Речь идет о Турции. Тогдашним фазисом восточного вопроса был греческий проект, любимая мечта Потемкина:

За ним золотая колесница
По розовым летит зарям;
Сидящая на ней царица,
Великим равная мужам,
Рукою держит крест одною,
Возжженный пламенник другою
И сыплет блески на Босфор:
Уже от северного света
Лицо бледнеет Магомета
И мрачный отвратил он взор...

Пусть только ум Екатерины,
Как Архимед, создаст машины,
А Росс вселенной потрясет! —

Чего не может род сей славный,
Любя царей своих, свершить?
Умейте лишь, главы венчанны,
Его бесценну кровь щадить.
Умейте дать ему вы льготу,
К делам великим дух, охоту
И правотой сердца пленить.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною,
Весь мир себя заставить чтить.

Для таланта Державина было особенным счастьем, что пора полного его развития совпала с царствованием Екатерины. В этот героический век русской истории события и люди своими исполинскими размерами именно соответствовали смелости этой оригинальной фантазии, размаху этой широкой, своенравной кисти. В тогдашней России на всех поприщах деятельности встречаются лица, которые, при всем разнообразии своих физиономий, представляют одну черту общего сходства: это — их резкие особенности, дающие им как бы типический характер. Орловы, Потемкин, Суворов, Безбородко и другие, — все это чрезвычайно оригинальные, своенравно обозначившиеся личности, в которых слабости так же резки, как и достоинства: во всех них много поразительного, странного, загадочного для нас, людей 19-го века. Все эти своеобразные лица, вместе с громадными событиями, в которых они участвовали, прошли сквозь призму поэзии Державина, и мысль, не раз уже выраженная, что в созданиях его живет целая эпопея чудной эпохи, совершенно справедлива. Если для таланта Державина было счастьем жить в век Екатерины, то, с другой стороны, и время это могло гордиться появлением поэта, призванного увековечить его в образах. Но не одни герои встают у него, как живые: он сохранил нам очертания и многих лиц совершенно другого характера. Возьмем хоть графа А. С. Строганова и Льва Нарышкина: как

выразительны у него их фигуры, особенно дышащее веселостью изображение последнего, без которого картина двора Екатерины была бы неполна.

Лев именем — звериный царь,
Ты родом — богатырь, сын барский;
Ты сердцем — стольник, хлебодарь;
Ты должностью — конюший царский;
Твой дом утехой расцветает,
И всяк под тень его идет.

Идут прохладой насладиться,
Музыкой душу напитать;
То тем, то сем повеселиться,
В бостон и в шашки поиграть;
И, словом, радость всю, забаву
Столицы ты к себе вместил...

Что нужды мне, кто, все зефиром
С цветка лишь на цветок летя,
Доволен был собою, миром,
Шутил, резвился, как дитя;
Но если он с столь легким нравом
Всегда был добрый человек, —

Хвалю тебя: ты в смысле здоровом
Пресчастливо провел свой век...

И в противоположность этому беззаботному баловню счастья выступает И. И. Шувалов, этот остаток другого времени, этот идеал просвещенного и благодушного вельможи-покровителя, о котором Державин всегда говорит с таким теплым чувством, как о своем благодетеле с детства. С равным уважением за гражданские подвиги, хотя и с меньшим сочувствием, изображает он Безбородку. И над всеми этими лицами сподвижников или приближенных Екатерины господствует собственный ее образ, самый разительный и величавый из всех не по одному месту, которое она занимает, но по истинному величию и гению. Никто не понимал ее так высоко, никто не изображал ее с таким одушевлением, с такою поэтической истиною и наглядностью, как Державин. Те создания его, которые рисуют Екатерину, лучше истории сохраняют для потомства прекраснейшие стороны ее сущности и деятельности. Как понимал он ее, можно между прочим видеть из следующих строф «Изображения Фелицы». Поэт проникает в самые сокровенные мысли монархини и слагает «молитву Екатерины Великой», как назвал это место Карамзин:

Ты, Всесильный и Превечный,
Который волею Своей
Колеса движешь быстротечно
Вратящейся природы всей!

Когда ты есть душа едина
Движенью сих огромных тел,
То Ты ж, конечно, и причина
И нравственных народных дел:
Тобою царства возрастают,
Твое орудие — цари;
Тобой они и померцают,
Как блеск вечерняя зари.

Наставь меня, миров Содетель,
Да, воле следуя Твоей,
Тебя люблю и добродетель,
И зижду счастье людей:
Да век мой на дела полезны
И счастье их я посвящу,
Самодержавства скиптр железный
Моей щедротой позлащу!

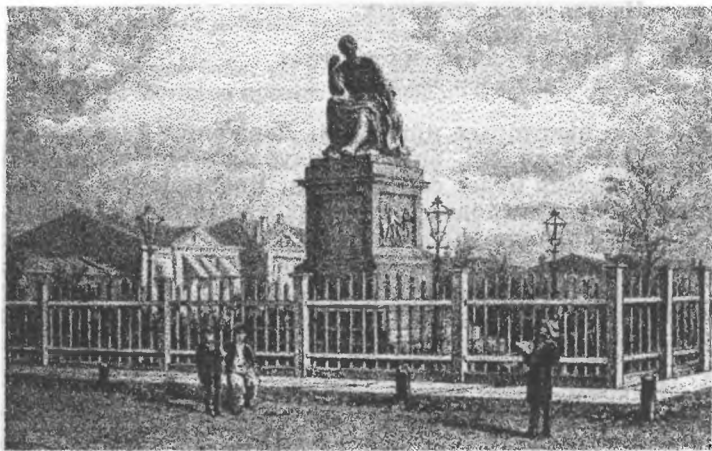
Да, удостоенна любви,
Назрения Твоих очес,
Чтоб я за каждую каплю крови,
За всякую бы каплю слез
Народа моего пролитых,
Тебе ответствовать могла
И чувств души моей открытых
Тебя свидетелем звала!

По мнению некоторых критиков, Державин изображал только внешние события; но, вникнув глубже в содержание его поэзии, с этим нельзя будет согласиться. Внешние события, действительно, доставляли повод к его стихотворениям и служили им рамкою; но достаточно проследить ход его мыслей в одах, посвященных Фелице, Шувалову и Строганову, в «Вельможе», в «Монументе милосердия», чтобы убедиться, что самое глубокое сочувствие питал он к гражданской доблести, к духу царствования Екатерины, к возникшим с нею либеральным и гуманным идеям, которых первым изъяснителем он и явился как один из передовых людей своего времени.

Замечательно, что Державин был свидетелем и певцом двух из величайших эпох славы России. Он видел дела и торжество Екатерины, видел ужасы и усмирение пугачевщины, славил подвиги Румянцева и Суворова, пел елизаветинского министра Шувалова, — и на его же веку совершилось нашествие и падение Наполеона, прославился Александр со своими полководцами и молодыми министрами. Какие два различные века, — один со своим грозным концом, другой со своим светлым началом, — встретились на глазах Державина! При воцарении Александра талант поэта еще не утратил всей своей силы, и в его приветствиях молодому царю слышались величавые отголоски лиры, славившей Фелицу. Достоинство Екатерины обрисован им и внук ее, которого Державин уже при рождении его в поэтическом предчувствии нарек человеком на троне, и которого роль как

примирителя Европы была им предначертана уже при самом начале войн с Наполеоном. Но любопытно, что из всех героев Александра типически представлен им только один Платов; кисть его, начертав исполненные образы екатерининских орлов, уже не чувствовала силы для новых созданий этого рода. Сам сознавая это, Державин в 1812-м году смотрел на Жуковского как на своего преемника.

И действительно, перед «певцом в стане русских воинов» автор «Лиро-эпического гимна на прогнание французов» являлся как бы окаменелым организмом отжившего мира. Устарелый певец Фелицы не мог переродиться, не мог усвоить себе новых, более свободных и изящных форм, в которые постепенно облекалась поэзия. Но так живуча была эта лира, что и посреди слабевших ее тонов иногда раздавались звуки, отзывавшиеся прежнею силой и величием. Живой памятник другого века, старец встречал с недоверием явления новой жизни и рядом с одой, посвященной громким событиям царствования Александра, является у него басня, род поэзии, который он разрабатывал уже и прежде, но полюбил особенно теперь, находя в нем удобную форму для протеста против того, что видел вокруг себя.



Памятник Державину в Казани.

Таким образом, разнородные явления двух великих эпох отразились различно в поэзии Державина, и не без основания некоторые писатели давно называли его поэтом-летописцем своего времени. Теперь, когда литературное наследие его сделалось известным во всем своем объеме, историческая сторона его стихотворений выдается еще полнее и разительнее. Обставленные собственными его объяснениями, они становятся живою хроникой эпохи. При совершенном почти отсутствии политического элемента в тогдашних наших периодических листах, при малочисленности у нас мемуаров и сравнительной бедности анекдотиче-

ской истории сочинения Державина, богатые применениями к обстоятельствам и лицам, приобретают еще не довольно оцененное значение. В этом отношении особенного внимания заслуживают его посмертные мелочи, как-то: эпиграммы, надписи и т. п., которые уже им самим приготовлены были к печати. Из них мы в первый раз почерпаем разные историко-литературные подробности, видим отношения между тогдашними деятелями, узнаем тогдашние взгляды на события и лица, знакомимся короче и с теми влияниями, под которыми находился сам поэт. С этой стороны его сочинения всегда будут представлять обильный запас исторических данных для ближайшего изучения его времени. Перед нами проходит в его стихах целая жизнь даровитого русского писателя, тысячами нитей связанная с жизнью всей эпохи.

И посреди всех лиц, ярко начертанных его кистью, с особенно выпуклостью выступает его собственной образ, эта характерная физиономия сына России 18-го века. Державин неоспоримо принадлежит к разряду тех типических лиц царствования Екатерины, на которые мы указывали; к нему самому, как поэту, с полным правом можно отнести слова, сказанные им в «Водопаде» Потемкину:

Не шел ты средь путей известных,
Но пролагал их сам...

Оставляя за ним все его слабости и темные стороны, мы все-таки должны признать в нем необыкновенного человека, который, силою природных способностей и энергической воли возвысившись из ничтожества, достиг влияния, почестей и славы. Как ни полон он противоречий, мы не можем не видеть в нем в высшей степени замечательного коренного русского по воспитанию, быту, уму и нраву. Несмотря на раннее, случайное знакомство его с немецким языком, ни его молодость, ни дальнейшая жизнь не могли привить к нему ничего иностранного. Он родился и вырос в провинции, в приволжских низовых губерниях; обстановка, среди которой он развивался, была довольно сходна с тою, которую в наше время так искусно и верно изобразил нам покойный автор «Семейной хроники». Во всех сочинениях Державина явственно проглядывает его глубокое знакомство с жизнью и языком народа, его давнее слияние с Церковью, его совершенное знание славянской Библии и богослужебных песен. Первоначальная основа воспитания была у него общая с Ломоносовым; но как расходятся затем пути их развития! Классическое образование едва коснулось Державина скудными уроками латыни в казанской гимназии; ему не удалось побывать в чужих краях. Довольно обширные исторические и литературные знания, которыми он нас нередко удивляет в своих сочинениях, были плодом собственных его трудов и большой начитанности. В России, сравнительно с другими странами богатой самоучками, Державин является одним из самых блестящих явлений этого рода. Вследствие того образование его представляло, конечно, много пробелов, но с тем вместе он легче мог сохранить полную самостоятельность и сделаться оригинальным.

У русских не было другого писателя, который бы представлял такие отличительные черты творчества. Своенравное воображение его давно уже оценено; но в его уме было одно свойство, на которое, кажется, еще не обращалось довольно внимания: это какая-то насмешливость, или, как ее тогда называли, издевка, которая иногда прорывалась у него посреди самого торжественного настроения, и за которую Екатерина в душе не любила его. Следуя современным литературным обычаям, Державин хвалил; но посреди похвалы он готов был как будто невзначай разразиться («брякнуть вслух») каким-нибудь смелым словом истины. Этим Державин особенно гордился как выражением своего правдолюбия. По ходу всего его развития резкие противоположности были неизбежны в существе его, и с исканием милости сильных, как чертою тогдашних нравов, в нем действительно соединялась прямота, выработанная собственным его характером, — источник множества невзгод, постигших его в жизни. Итак, чисто русская натура, выразившаяся в поэзии Державина, хотя со всеми недостатками века, его ясный сатирический ум, его пылкий нрав, его здравый смысл, чуждый всякой болезненной сентиментальности и холодной отвлеченности, наконец, его изумительно могучее и яркое воображение, — вот что составляет сущность его таланта и всегда останется достойным изучения.

Все это придало поэзии Державина оригинальный характер. Справедливо было замечено, что он из пределов какой-то беспочвенной области витиеватых возгласов свел поэзию в мир осязательной действительности и жизни. Ломоносовские земные боги еще остались по-прежнему на сцене, но они явились теперь с людскими страстями и заговорили языком человеческим. Удаление Державина от школы, его влечение к непосредственной жизни, его практический смысл были первым началом всего возрождения русской литературы. Отсюда уже ясно, как односторонне мнение, будто он не имел никакого влияния на дальнейшие судьбы нашей поэзии. Правда, что он не создал школы: хотя в подражателях ему и не было недостатка, но так как они не имели его таланта, то их произведения, нося на себе чуждый и искусственный отпечаток, не могли занять места в истории литературы. Но Державин не только подал пример сближения поэзии с жизнью: он же первый, в свое время, стал вводить в русскую поэзию народность, которой начатки мы встречаем только у Ломоносова. Народность явилась у Державина частью в характере его воззрений на природу, человека, общество, церковь, в духе его сатиры и шутки, частью в изображении им разных сторон русского быта, наприм., в «Кружке», в «Фелице», в оде «На счастье», в «Похвале сельской жизни», в послании к Платову. Народность выразилась также в языке Державина. Несмотря на частую неточность и даже неправильность его оборотов, на встречающееся нередко небрежное обращение его с формами языка, речь его замечательна, во-первых, своим поэтическим благородством, во-вторых, чисто русским складом, обилием выражений и слов, почерпнутых из простонародного быта, наконец, уместным употреблением пословиц и поговорок и заимствованиями из русской сказочной и песенной литературы.

Но что еще более обещает прочности его славе, это тот великий нравственный и обществeнный идеал, который он постоянно стремится выставлять перед своими согражданами. Его ода «Властителям и судьям», цикл од, изображающих Фелицу, «Вельможа», ода «На возвращение графа Валериана Зубова» (бывшего тогда в опале) и некоторые другие поражали современников своею смелостью. В оде «Властителям и судьям» он именем совести и Бога взывает ко всем земным властям вообще. В «Фелице» уяснил он самой Екатерине идеал, к которому она стремилась. Как ей, так и двум ее преемникам он, в виде похвал, часто давал советы, выражал общественные желания, начертывал как бы программу достойной монарха деятельности. В «Вельможе» он противопоставляет могущественным в то время Зубову и Самойлову бывшего долго в немилости Румянцева и ставит его всем власть имеющим в пример скромной доблести. Но трудно было бы исчислить все те оды, в которых он, по словам Гоголя, усиливается начертать образ крепкого мужа правды, закаленного в деле жизни и борьбе, и этому идеалу умеет он всегда придать черты того величия, о котором мы уже говорили. Что нам нужды до того, что сам он на деле не вполне осуществил этот идеал? Довольно, что в минуты творчества он служил великим идеям человечества с таким жаром, какого мы не замечаем ни у кого из других поэтов. Силою своего пламенного воображения, своей здоровой мысли и резкого слова он переносит нас в тот высший нравственный мир, где умолкают страсти, где мы невольно сознаем ничтожество всего житейского и преклоняемся пред духовным величием. Таково содержание главных од Державина: несмотря ни на какие изменения времен, ни на какие успехи просвещения и языка, образы, им начертанные, сохраняют навсегда свою яркость, и до тех пор пока идеи Бога, бессмертия души, правды, закона и долга будут жить не пустыми звуками на языке русского народа, до тех пор имя Державина как общественного деятеля и поэта не утратит в потомстве своего значения.



Издательство "АЛГОРИТМ"

СЕРИЯ: ГЕНИЙ В ИСКУССТВЕ

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ШЕКСПИР. Жизнь и произведения. | Брандес Г |
| Жизнь ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. | Волынский А. |
| БЕТХОВЕН. Биографический этюд. | Корганов В. |
| Жизнь П.И.ЧАЙКОВСКОГО. | Чайковский М. |
| Рихард ВАГНЕР. | Лиштанберже А. |
| Жизнь ДЕРЖАВИНА | Грот Я. |
| Биография Л.Н.ТОЛСТОГО. | Бирюков П. |

СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Зверь из бездны (НЕРОН). | Амфитеатров А. |
| Новое жизнеописание НАПОЛЕОНА I. | Слоон В. |
| Жизнеописание ФРИДРИХА Великого. | Кони Ф. |
| Ришелье | Беллок Х. |

СЕРИЯ: БИБЛИОТЕКА КЛАССИЧЕСКОГО ДЕТЕКТИВА

| | | | |
|--------|---------|--------|------|
| Хэммет | Вильямс | Айриш | |
| Стаут | Кристи | Маклин | Чейз |

СЕРИЯ: АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Д.Иловайский | История России (7 томов) |
| Н.Шильдер | Император Павел I |
| Н.Шильдер | Император Николай I в 2-х т. |
| С.Татищев | Император Александр II в 2-х т. |
| Н.Костомаров | Собрание сочинений (17 томов) |

Издательство "АЛГОРИТМ"

Издательство "Алгоритм" готовит к выпуску исторические энциклопедии, написанные замечательными учеными 19-го века. Каждое из этих произведений составило эпоху в исторической науке и безусловно окажется интересным для современного читателя широтой охвата материала и прекрасным слогом. Все книги хорошо иллюстрированы.

Иегер

Всеобщая история

в 4-х томах.

Полевой

История Русской словесности

в 3-х томах.

Шерр

Иллюстрированная всеобщая история литературы.

в 2-х томах.

Шантепи де ля Сосей

Иллюстрированная история религий.

в 2-х томах.

Выход книг планируется в конце 1997 начале 1998 года. По вопросам приобретения обращаться в издательство "Алгоритм" (197-3597) или в книжный магазин "Родник" (117-9817).

Яков Грот

ЖИЗНЬ ДЕРЖАВИНА

(Серия: ГЕНИЙ В ИСКУССТВЕ)

ТОО "АЛГОРИТМ"

123308, Москва, ул.Д.Бедного, д.16, тел.197-35-97

Лицензия ЛР N063845 от 04.01.95

Сдано в набор 5.08.97. Подписано в печать 20.08.97.

Формат 60 × 90/16. Бумага офсет. Печат. листов 43.

Тираж 6000 экз. Заказ № 2054

АО "Арт-Бизнес-Центр"

103055, Москва, ул. Новослободская, 57/65. Тел. 973-1612.

Лицензия N 060920 от 30.09.92 г.

ISBN 5-7287-0063-2

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
по заказу АО "Арт-Бизнес-Центр"
в ОАО "Можайский полиграфический комбинат"
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

